А. П. ЧЕХОВ

СОБРАНИЕ ЮМОРИСТИЧЕСКИХ РАССКАЗОВ



Собрание рассказов
из юмористических журналов
1880-1892 годов

Юмористические рассказы
Антон Павлович Чехов

Аннотация
Антон Павлович Чехов. ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ. РАССКАЗЫ
Письмо к ученому соседу
Что чаще всего встречается в романах, повестях и т. п.
За двумя зайцами погонишься,. ни одного не поймаешь
Каникулярные работы институтки Наденьки N
Папаша
За яблочки
Перед свадьбой
По-американски
Жены артистов. (Перевод... с португальского)
Петров день
Темпераменты. (По последним выводам науки)
В вагоне
Суд
Контора объявлений Антоши Ч
И то и се. (Поэзия и проза)
И то и се. (Письма и телеграммы)
Дополнительные вопросы к личным картам

статистической переписи, предлагаемые Антошей Чехонте
Комические рекламы и объявления
Задачи сумасшедшего математика
Забыл!!!
Жизнь в вопросах и восклицаниях
Исповедь, или Оля, Женя, Зоя. (Письмо)
Встреча весны. (Рассуждение)
Календарь «Будильника». на 1882 год март-апрель
«Свидание хотя и состоялось, но...»
Корреспондент
Сельские эскулапы
Пропащее дело. (Водевильное происшествие)
Летающие острова. (соч. Жюля Верна, перевод А. Чехонте)
Глава I. Речь
Глава II. Таинственный незнакомец
Глава III. Таинственные пятна
Глава IV. Скандал на небе
Глава V. Остров князя Мещерского
Глава VI. Возвращение
Заключение
Скверная история. (Нечто романообразное)
Двадцать девятое июня. (Рассказ охотника, никогда в цель не попадающего)

Нарвался
Два скандала
Идиллия — увы и ах!
Барон
Добрый знакомый
Месть
Философские определения жизни
Мошенники поневоле. (Новогодняя побрехушка)
Гадальщики и гадальщицы
Кривое зеркало. (Святочный рассказ)
Два романа
Тайны ста сорока четырех катастроф, или Русский рокамболь. (Огромнейший роман в сжатом виде. Перевод с французского)
Глава I
Глава II
Глава III
Ряженые
Мысли читателя газет и журналов
Двое в одном
Радость
Библиография
Единственное средство. (A propos процесса Петерб. общества взаимного кредита)
Случаи Mania Grandiosa. (Вниманию газеты

«Врач»)
Исповедь
На магнетическом сеансе
Ушла
В цирульне
Современные молитвы
На гвозде
Роман адвоката. (Протокол)
Что лучше?. (Праздные рассуждения штык-юнкера Крокодилова)
Благодарный. (Психологический этюд)
Совет
Вопросы и ответы
Крест
Женщина без предрассудков. (Роман)
Брак по расчету. (Роман в 2-х частях)
Коллекция
Репка. (Перевод с детского)
Баран и барышня. (Эпизодик из жизни «милостивых государей»)
Патриот своего отечества
Умный дворник
Жених
Дурак. (Рассказ холостяка)
Рассказ, которому трудно подобрать название
Братец

Случай из судебной практики
Загадочная натура
Хитрец
Разговор
Рыцари без страха и упрека
Обер-верхи
Двадцать шесть. (Выписки из дневника)
Закуска. (Приятное воспоминание)
Съезд естествоиспытателей в Филадельфии. (Статья научного содержания)
Кот
Раз в год
Находчивость г. Родона
Депутат, или Повесть о том,. как у Дездемонова 25 рублей пропало
О том, как я в законный брак вступил. (Рассказец)
Из дневника помощника бухгалтера
Козел или негодяй?
Смерть чиновника. (Случай)
Злой мальчик
3000 иностранных слов, вошедших в употребление русского языка
Перепутанные объявления
Добродетельный кабатчик. (Плач оскудевшего)
Дочь Альбиона

Справка
Мои чины и титулы
Краткая анатомия человека
Знамение времени
Новая болезнь и старое средство
Майонез
Толстый и тонкий
Признательный немец
Список экспонентов, удостоенных чугунных медалей по русскому отделу на выставке в Амстердаме
Мои остроты и изречения
Дочь коммерции советника. (Роман)
Опекун
В почтовом отделении
Юристка
Из дневника одной девицы
Начальник станции
Клевета
Сборник для детей
Экзамен. (Из беседы двух очень умных людей)
Либерал. (Новогодний рассказ)
Завещание старого, 1883-го года
Орден
Контракт 1884 года с человечеством
75 000

Марья Ивановна
Комик
Нечистые трагики и прокаженные драматурги. (Ужасно-страшно-возмутительно-отчаянная тррагедия)
Perpetuum mobile
Месть женщины
Прощение
Ванька
На охоте
Репетитор
Наивный леший. (Сказка)
Сон репортера
Певчие
Жалобная книга. (Нечто современное. Сценка)
Чтение. (Рассказ старого воробья)
Жизнеописания. достопримечательных современников
Трифон
Плоды долгих размышлений
Несколько мыслей о душе
Говорить или молчать?. (Сказка)
Гордый человек. (Рассказ)
Альбом
Несообразные мысли
Самообольщение. (Сказка)

Дачница
С женой поссорился. (Случай)
Русский уголь. (Правдивая история)
Письмо к репортеру
Дачные правила
Брожение умов. (Из летописи одного города)
Дачное удовольствие
Идеальный экзамен. (Краткий ответ на все длинные вопросы)
Водевиль
Ярмарочное «итого»
Невидимые миру слезы. (Рассказ)
Идиллия
Хирургия
Хамелеон. (Сценка)
Из огня да в полымя
Надлежащие меры
«Кавардак в Риме». (Комическая странность в 3-х действиях,. 5-ти картинах с прологом и двумя провалами)
Винт
Затмение Луны. (Из провинциальной жизни)
И прекрасное должно иметь пределы
Маска
Господа обыватели. (Пьеса в двух действиях)
Свадьба с генералом. (Рассказ)

К характеристике народов. (Из записок одного наивного члена Русского географического общества)
Задача
Ночь перед судом. (Рассказ подсудимого)
Картинки из недавнего прошлого
Либеральный душка
Страшная ночь
Не в духе
Масленичные правила дисциплины
Капитанский мундир
У предводительши
Жон репортера
Служебные пометки
В бане
I
II
Разговор человека с собакой
О марте. Об апреле. О мае. Об июне и июле. Об августе. (Филологические заметки)
Оба лучше
Мелюзга
Праздничные. (Из записок провинциального хапуги)
Красная горка
Безнадежный. (Эскиз)

Упразднили!
В номерах
Канитель
Жизнь прекрасна!. (Покушающимся на самоубийство)
На гулянье в Сокольниках
Женщина с точки зрения пьяницы
Последняя могиканша
Дипломат. (Сценка)
О том, о сем
Финтифлюшки
Угроза
Ворона
Кулачье гнездо
Кое-что об А. С. Даргомыжском
Бумажник
Сапоги
Моя «она»
Нервы
Дачники
Вверх по лестнице
Стража под стражей. (Сценка)
Мои жены. (Письмо в редакцию — Рауля Синей Бороды)
Надул. (Очень древний анекдот)
Интеллигентное бревно. (Сценка)

Рыбье дело. (Густой трактат по жидкому вопросу)
Симулянты
Налим
Из воспоминаний идеалиста
Лошадиная фамилия
Не судьба!
Необходимое предисловие
В вагоне. (Разговорная перестрелка)
Мыслитель
Заблудшие
Злоумышленник
Жених и папенька. (Нечто современное). Сценка
Гость. (Сценка)
Конь и трепетная лань
Утопленник. (Сценка)
Свистуны
Отец семейства
Староста. (Сценка)
Унтер Пришибеев
Женское счастье
Стена
После бенефиса. (Сценка)
Записка
Общее образование. (Последние выводы зубо-

врачебной науки)
Два газетчика. (Неправдоподобный рассказ)
Психопаты. (Сценка)
На чужбине
Циник
Индейский петух. (Маленькое недоразумение)
Средство от запоя
Домашние средства
Дорогая собака
Контрабас и флейта. (Сценка)
Руководство для желающих жениться. (Секретно)
Ниночка. (Роман)
Писатель
Пересолил
Без места
Брак через 10–15 лет
Ну, публика!
Тряпка. (Сценка)
Моя беседа с Эдисоном. (От нашего собственного корреспондента)
Святая простота. (Рассказ)
Шило в мешке
Mari d'elle
Антрепренер под диваном. (Закулисная история)

Восклицательный знак. (Святочный рассказ)
Ряженые
Новогодние великомученики
Шампанское. (Мысли с новогоднего похмелья)
Визитные карточки
Письма
Художество
Ночь на кладбище. (Святочный рассказ)
Неудача
К сведению мужей. (Научная статья)
Первый дебют. (Рассказ)
У телефона
Детвора
Открытие
Беседа пьяного с трезвым чертом
Глупый француз
Самый большой город
Блины
О бренности. (Масленичная тема для пропо-
веди)
Иван Матвеич
Отрава
Шуточка
Мой разговор с почтмейстером
Волк
В Париж!

Много бумаги. (Архивное изыскание)
Грач
Гриша
Сильные ощущения
О женщинах
Знакомый мужчина
Сказка. (Посвящается балбесу, хвастающему своим сотрудничеством в газетах)
Счастливчик
В пансионе
На даче
От нечего делать. (Дачный роман)
Роман с контрабасом
Список лиц, имеющих право на бесплатный проезд. по русским железным дорогам
Аптекарша
Лишние люди
Словотолкователь для «барышень»
Rara avis
Ты и вы. (Сценка)
Муж
Розовый чулок
Страдальцы
Пассажир 1-ГО класса
В потемках
Светлая личность. (Рассказ «идеалиста»)

Длинный язык
Ах, зубы!
Месть
Статистика
Предложение. (Рассказ для девиц)
Мой домострой
Жилец
Тссс!
Драматург
Оратор
Произведение искусства
Кто виноват?
Человек. (Немножко философии)
То была она!
Новогодняя пытка. (Очерк новейшей инквизиции)
Нищий
Добрый немец
Неосторожность
Накануне поста
Беззащитное существо
Выигрышный билет
Житейские невзгоды
Весной. (Сцена-монолог)
Тайна
Удав и кролик

Обыватели
Ненастье
Драма
Один из многих
Скорая помощь
Беззаконие
Злоумышленники. (Рассказ очевидцев)
Перед затмением. (Отрывок из феерии)
Из записок вспыльчивого человека
Сирена
Мститель
Интриги
Дорогие уроки
Лев и солнце
Без заглавия
Сапожник и нечистая сила
В Москве
Отрывок
История одного торгового предприятия
Из записной книжки старого педагога
Рыбья любовь
СОДЕРЖАНИЕ
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Аннотация

Издание включает более 340 юмористических произведений А. П. Чехова, опубликованных в отечественных журналах в период с 1880 по 1892 г. Эта подборка является наиболее полной коллекцией коротких юмористических произведений знаменитого классика. Издание проиллюстрировано рисунками талантливой петербургской художницы Ольги Венедиктовны Граблевской, оформившей более сотни книг отечественных и зарубежных авторов. Стиль ее легких работ как нельзя лучше передает искрометный стиль рассказов раннего Чехова.

Антон Павлович Чехов
ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ

Санкт-Петербург СЗКЭО

Ч56 Чехов А. П., Юмористические рассказы — Санкт-Петербург, СЗКЭО, 2021, — 880 с.: ил.

ISBN 978-5-9603–0479-5

© СЗКЭО, 2021 © О. Граблевская, иллюстрации, 2019

БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

БМЛ



Антон Павлович Чехов

Антон Павлович
Чехов

ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ



Санкт-Петербург
СЗКЭО

Письмо к ученому соседу

Село Блины-Съедены



Дорогой Соседушко!

Фриедрих… (забыл как по батюшке, извените великодушно!) Извените и простите меня старого старикашку и нелепую душу человеческую за то, что осмеливаюсь Вас беспокоить своим

жалким письменным лепетом. Вот уж целый год прошел, т. е. погрузился в волны вечности как Вы изволили поселиться в нашей части света по соседству со мной мелким человечком, а я все еще не знаю Вас, а Вы меня тоже не знаете. Позвольте ж драгоценный соседушка хотя посредством сих старческих гиероглифов познакомиться с Вами, пожать мысленно Вашу ученую руку и поздравить Вас с приездом из Санкт-Петербурга в наш недостойный материк, населенный мужиками и крестьянским народом т. е. плебейским элементом. Давно искал я случая познакомиться с Вами, жаждал, потому что наука в некотором роде мать наша родная, все одно как и цивилизацыя и потому что сердечно уважаю тех людей, знаменитое имя и звание которых, увенчанное ореолом популярной славы, лаврами, кимвалами, орденами, лентами и аттестатами с дипломом гремит как гром и молния по всем частям вселенного мира сего видимого и невидимого т. е. подлунного. Я пламенно люблю астрономов, поэтов, метафизиков, приват-доцентов, химиков и других жрецов науки, к которым Вы себя причисляете чрез свои умные факты и отрасли наук, т. е. продукты и плоды. Говорят, что Вы много книг напечатали во время умственного сидения с тру-

бами, градусниками и кучей заграничных книг с заманчивыми рисунками. Недавно заезжал в мои жалкие владения, в мои руины и развалины местный максимус понтифекс[1] отец Герасим и со свойственным ему фанатизмом бранил и порицал Ваши мысли и идеи касательно человеческого происхождения и других явлений мира видимого и восставал и горячился против Вашей умственной сферы и мыслительного горизонта покрытого светилами и аэроглитами. Я не согласен с о. Герасимом касательно Ваших умственных идей, потому что живу и питаюсь одной только наукой, которую Провидение дало роду человеческому для вырытия из недр мира видимого и невидимого драгоценных металов, металоидов и бриллиантов, но все-таки простите меня, батюшка, насекомого еле видимого, если я осмелюсь опровергнуть по-стариковски некоторые Ваши идеи касательно естества природы. О. Герасим сообщил мне, что будто Вы сочинили сочинение, в котором изволили изложить не весьма существенные идеи на щот людей и их первородного состояния и допотопного бытия. Вы изволили сочинить что человек произошел от обезьянских

[1] Примечания: 1
Верховный жрец (лат. pontifex maximus).

племен мартышек орангуташек и т. п. Простите меня старичка, но я с Вами касательно этого важного пункта не согласен и могу Вам запятую поставить. Ибо, если бы человек, властитель мира, умнейшее из дыхательных существ, происходил от глупой и невежественной обезьяны то у него был бы хвост и дикий голос. Если бы мы происходили от обезьян, то нас теперь водили бы по городам Цыганы на показ и мы платили бы деньги за показ друг друга, танцуя по приказу Цыгана или сидя за решеткой в зверинце. Разве мы покрыты кругом шерстью? Разве мы не носим одеяний, коих лишены обезьяны? Разве мы любили бы и не презирали бы женщину, если бы от нее хоть немножко пахло бы обезьяной, которую мы каждый вторник видим у Предводителя Дворянства? Если бы наши прародители происходили от обезьян, то их не похоронили бы на христианском кладбище; мой прапрадед например Амвросий, живший во время оно в царстве Польском, был погребен не как обезьяна, а рядом с абатом католическим Иоакимом Шостаком, записки коего об умеренном климате и и горячих напитках хранятся еще доселе у брата моего Ивана (Маиора). Абат значит католический поп. Извените меня неука за то, что мешаюсь в Ваши

ученые дела и толкую посвоему по старчески и навязываю вам свои дикообразные и какие-то аляповатые идеи, которые у ученых и цивилизованных людей скорей помещаются в животе чем в голове. Не могу умолчать и не терплю когда ученые неправильно мыслят в уме своем и не могу не возразить Вам. О. Герасим сообщил мне, что Вы неправильно мыслите об луне т. е. об месяце, который заменяет нам солнце в часы мрака и темноты, когда люди спят, а Вы проводите электричество с места на место и фантазируете. Не смейтесь над стариком за то что так глупо пишу. Вы пишете, что на луне т. е. на месяце живут и обитают люди и племена. Этого не может быть никогда, потому что если бы люди жили на луне то заслоняли бы для нас магический и волшебный свет ее своими домами и тучными пастбищами. Без дождика люди не могут жить, а дождь идет вниз на землю, а не вверх на луну. Люди живя на луне падали бы вниз на землю, а этого не бывает. Нечистоты и помои сыпались бы на наш материк с населенной луны. Могут ли люди жить на луне, если она существует только ночью, а днем исчезает? И правительства не могут дозволить жить на луне, потому что на ней по причине далекого расстояния и недосягаемо-

сти ее можно укрываться от повинностей очень легко. Вы немножко ошиблись. Вы сочинили и напечатали в своем умном соченении, как сказал мне о. Герасим, что будто бы на самом величайшем светиле, на солнце, есть черные пятнушки. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Как Вы могли видеть на солнце пятны, если на солнце нельзя глядеть простыми человеческими глазами, и для чего на нем пятны, если и без них можно обойтиться? Из какого мокрого тела сделаны эти самые пятны, если они не сгорают? Может быть по-вашему и рыбы живут на солнце? Извените меня дурмана ядовитого, что так глупо съострил! Ужасно я предан науке! Рубль сей парус девятнадцатого столетия для меня не имеет никакой цены, наука его затемнила у моих глаз своими дальнейшими крылами. Всякое открытие терзает меня как гвоздик в спине. Хотя я невежда и старосветский помещик, а все же таки негодник старый занимаюсь наукой и открытиями, которые собственными руками произвожу и наполняю свою нелепую головешку, свой дикий череп мыслями и комплектом величайших знаний. Матушка природа есть книга, которую надо читать и видеть. Я много произвел открытий своим собственным умом, таких открытий, каких

еще ни один реформатор не изобретал. Скажу без хфастовства, что я не из последних касательно образованности, добытой мозолями, а не богатством родителей т. е. отца и матери или опекунов, которые часто губят детей своих посредством богатства, роскоши и шестиэтажных жилищ с невольниками и электрическими позвонками. Вот что мой грошовый ум открыл. Я открыл, что наша великая огненная лучистая хламида солнце в день Св. Пасхи рано утром занимательно и живописно играет разноцветными цветами и производит своим чудным мерцанием игривое впечатление. Другое открытие. Отчего зимою день короткий, а ночь длинная, а летом наоборот? День зимою оттого короткий, что подобно всем прочим предметам видимым и невидимым от холода сжимается и оттого, что солнце рано заходит, а ночь от возжения светильников и фонарей расширяется, ибо согревается. Потом я открыл еще, что собаки весной траву кушают подобно овцам и что кофей для полнокровных людей вреден, потому что производит в голове головокружение, а в глазах мутный вид и тому подобное и тому подобное прочее. Много я сделал открытий и кроме этого хотя и не имею аттестатов и свидетельств. Приежжайте ко мне дорогой

соседушко, ей-богу. Откроем что-нибудь вместе, литературой займемся и Вы меня поганенького вычислениям различным поучите.

Приежжайте, пожалуйста, сделайте милость, удружите не разумному соседу. Приежжайте хоть завтра например. Мы теперь постное едим, но для Вас будим готовить скоромное. Дочь моя Наташенька просила Вас, чтоб Вы с собой какие-нибудь умные книги привезли. Она у меня эманципе, все у ней дураки, только она одна умная. Мо-лодеж теперь я Вам скажу дает себя знать. Дай им бог! Чрез неделю прибудет ко мне брат мой Иван, человек хороший но между нами сказать, Бурбон и науки не любит. Это письмо должен Вам доставить мой ключник ровно в 8 часов вечера. Если привезет его пожже, то побейте его по щекам, по профессорски, нечего с этим племенем церемониться. Если позже доставит, то значит в кабак анафема заходил. Обычай ездить к соседям не нами вздуман не нами и окончится, а потому всепременно приежжайте к нам с инструментами и книжками. Моя жена не любит немцев, но я ей сказал, что Вы не Фриедрих, а Максим русскоподданный. Извените за беспокойство и простите. Ожидаем Вас с нетерпением.

Остаюсь любящий Вас Войска Донского отстав-

ной урядник из дворян, ваш сосед
Василий Семи-Булатов.

Что чаще всего встречается в романах, повестях и т. п.



Граф, графиня со следами когда-то бывшей красоты, сосед-барон, литератор-либерал, обедневший дворянин, музыкант-иностранец, тупоумные лакеи, няни, гувернантки, немец-управляющий, эсквайр и наследник из Америки. Лица некрасивые, но симпатичные и привлекательные. Герой — спасающий героиню от взбешенной лошади, сильный духом и могущий при всяком удобном случае показать силу своих

кулаков.

Высь поднебесная, даль непроглядная, необъятная… непонятная, одним словом: природа!!!

Белокурые друзья и рыжие враги.

Богатый дядя, либерал или консерватор, смотря по обстоятельствам. Не так полезны для героя его наставления, как смерть.

Тетка в Тамбове.

Доктор с озабоченным лицом, подающий надежду на кризис; часто имеет палку с набалдашником и лысину. А где доктор, там ревматизм от трудов праведных, мигрень, воспаление мозга, уход за раненым на дуэли и неизбежный совет ехать на воды.

Слуга — служивший еще старым господам, готовый за господ лезть куда угодно, хоть в огонь. Остряк замечательный.

Собака, не умеющая только говорить, попка и соловей.

Подмосковная дача и заложенное имение на юге.

Электричество, в большинстве случаев ни к селу ни к городу приплетаемое.

Портфель из русской кожи, китайский фарфор, английское седло, револьвер, не дающий осечки, орден в петличке, ананасы, шампанское, трюфе-

ли и устрицы.

Нечаянное подслушиванье как причина великих открытий.

Бесчисленное множество междометий и попыток употребить кстати техническое словцо.

Тонкие намеки на довольно толстые обстоятельства.

Очень часто отсутствие конца.

Семь смертных грехов в начале и свадьба в конце.

Конец.

За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь

Пробило 12 часов дня, и майор Щелколобов, обладатель тысячи десятин земли и молоденькой жены, высунул свою плешивую голову из-под ситцевого одеяла и громко выругался. Вчера, проходя мимо беседки, он слышал, как молодая жена его, майорша Каролина Карловна, более чем милостиво беседовала со своим приезжим кузеном, называла своего супруга, майора Щелколобова, бараном и с женским легкомыслием доказывала, что она своего мужа не любила, не любит и любить не будет за его, Щелколобова, тупоумие, мужицкие манеры и наклонность к умопомешательству и хроническому пьянству. Такое отношение жены поразило, возмутило и привело в сильнейшее негодование майора. Он не спал целую ночь и целое утро. В голове у него кипела непривычная работа, лицо горело и было краснее вареного рака; кулаки судорожно сжимались, а в груди происходила такая возня и стукотня, какой майор и под Карсом не видал и не слыхал. Выглянув из-под одеяла на свет божий и

выругавшись, он спрыгнул с кровати и, потрясая кулаками, зашагал по комнате.

— Эй, болваны! — крикнул он.

Затрещала дверь, и пред лицо майора предстал его камердинер, куафер и поломойка Пантелей, в одежонке с барского плеча и с щенком под мышкой. Он уперся о косяк двери и почтительно замигал глазами.

— Послушай, Пантелей, — начал майор, — я хочу с тобой поговорить по-человечески, как с человеком, откровенно. Стой ровней! Выпусти из кулака мух! Вот так! Будешь ли ты отвечать мне откровенно, от глубины души, или нет?

— Буду-с.

— Не смотри на меня с таким удивлением. На господ нельзя смотреть с удивлением. Закрой рот! Какой же ты бык, братец! Не знаешь, как нужно вести себя в моем присутствии. Отвечай мне прямо, без запинки! Колотишь ли ты свою жену или нет?

Пантелей закрыл рот рукою и преглупо ухмыльнулся.

— Кажинный вторник, ваше в<ысокоблагороди>е! — пробормотал он и захихикал.

— Очень хорошо. Чего ты смеешься? Над этим шутить нельзя! Закрой рот! Не чешись при мне:

я этого не люблю. (Майор подумал.) Я полагаю, братец, что не одни только мужики наказывают своих жен. Как ты думаешь относительно этого?

— Не одни, ваше в-е!

— Пример!

— В городе есть судья Петр Иваныч… Изволите знать? Я у них годов десять тому назад в дворниках состоял. Славный барин, в одно слово, то есть… а как подвыпимши, то бережись. Бывало, как придут подвыпимши, то и начнут кулачищем в бок барыню подсаживать. Штоб мне провалиться на ентом самом месте, коли не верите! Да и меня за конпанию ни с того ни с сего в бок, бывало, саданут. Бьют барыню да и говорят: «Ты, говорят, дура, меня не любишь, так я тебя, говорят, за это убить желаю и твоей жисти предел положить…»

— Ну, а она что?

— Простите, говорит.

— Ну? Ей-богу? Да это отлично!

И майор от удовольствия потер себе руки.

— Истинная правда-с, ваше в — е! Да как и не бить, ваше в — е? Вот, например, моя. Как не побить! Гармонийку ногой раздавила да барские пирожки поела. Нешто это возможно? Гм!..

— Да ты, болван, не рассуждай! Чего рассужда-

ешь? Ведь умного ничего не сумеешь сказать? Не берись не за свое дело! Что барыня делает?

— Спят.

— Ну, что будет, то будет! Поди, скажи Марье, чтобы разбудила барыню и просила ее ко мне... Постой!.. Как на твой взгляд? Я похож на мужика?

— Зачем вам походить, ваше в-е? Откудова это видно, штоб барин на мужика похож был? И вовсе нет!

Пантелей пожал плечами, дверь опять затрещала, и он вышел, а майор с озабоченной миной на лице начал умываться и одеваться.

— Душенька! — сказал одевшийся майор самым что ни на есть разъехидственным тоном вошедшей к нему хорошенькой двадцатилетней майорше, — не можешь ли ты уделить мне часок из твоего столь полезного для нас времени?

— С удовольствием, мой друг! — ответила майорша и подставила свой лоб к губам майора.

— Я, душенька, хочу погулять, по озеру покататься... Не можешь ли ты из своей прелестной особы составить мне приятнейшую компанию?

— А не жарко ли будет? Впрочем, изволь, папочка, я с удовольствием. Ты будешь грести, а я рулем править. Не взять ли нам с собой закусок?

Я ужасно есть хочу…

— Я уже взял закуску, — ответил майор и ощупал в своем кармане плетку.

Через полчаса после этого разговора майор и майорша плыли на лодке к средине озера. Майор потел над веслами, а майорша управляла рулем. «Какова? Какова? Какова?» — бормотал майор, свирепо поглядывая на замечтавшуюся жену и горя от нетерпения. «Стой!» — забасил он, когда лодка достигла середины. Лодка остановилась. У майора побагровела физиономия и затряслись поджилки.

— Что с тобой, Аполлоша? — спросила майорша, с удивлением глядя на мужа.

— Так я, — забормотал он, — баааран? Так я… я… кто я? Так я тупоумен? Так ты меня не любила и любить не будешь? Так ты… я.

Майор зарычал, простер вверх длани, потряс в воздухе плетью и в лодке… o tempora, o mores![2]… поднялась страшная возня, такая возня, какую не только описать, но и вообразить едва ли возможно. Произошло то, чего не в состоянии изобразить даже художник, побывавший в Италии и обладающий самым пылким воображением… Не успел

---

[2] Примечания: 2
О времена, о нравы! (лат.).

майор Щелколобов почувствовать отсутствие растительности на голове своей, не успела майорша воспользоваться вырванной из рук супруга плетью, как перевернулась лодка и…



В это время на берегу озера прогуливался бывший ключник майора, а ныне волостной писарь Иван Павлович и, в ожидании того блаженного времени, когда деревенские молодухи выйдут на озеро купаться, посвистывал, покуривал и размышлял о цели своей прогулки. Вдруг он услышал раздирающий душу крик. В этом крике он узнал голос своих бывших господ. «Помогите!» — кричали майор и майорша. Писарь, не долго думая, сбросил с себя пиджак, брюки и сапоги, перекрестился трижды и поплыл на помощь к средине озера. Плавал он лучше, чем писал и разбирал писанное, а потому через какие-нибудь три минуты был уже возле погибавших. Иван Павлович подплыл к погибавшим и стал в тупик.



«Кого спасать? — подумал он. — Вот черти!» Двоих спасать ему было совсем не под силу. Для него достаточно было и одного. Он скорчил на лице своем гримасу, выражавшую величайшее недоумение, и начал хвататься то за майора, то за майоршу.

— Кто-нибудь один! — сказал он. — Обоих вас куда мне взять? Что я, кашалот, что ли?

— Ваня, голубчик, спаси меня, — пропищала

дрожащая майорша, держась за фалду майора, — меня спаси! Если меня спасешь, то я выйду за тебя замуж! Клянусь всем для меня святым! Ай, ай, я утопаю!

— Иван! Иван Павлович! По-рыцарски!.. Того! — забасил, захлебываясь, майор. — Спаси, братец! Рубль на водку! Будь отцом-благодетелем, не дай погибнуть во цвете лет… Озолочу с ног до головы… Да ну же, спасай! Какой же ты, право… Женюсь на твоей сестре Марье. Ей-богу, женюсь! Она у тебя красавица. Майоршу не спасай, черт с ней! Не спасешь меня — убью, жить не позволю!

У Ивана Павловича закружилась голова, и он чуть-чуть не пошел ко дну. Оба обещания казались ему одинаково выгодными — одно другого лучше. Что выбирать? А время не терпит! «Спасу-ка обоих! — порешил он. — С двоих получать лучше, чем с одного. Вот это так, ей-богу. Бог не выдаст, свинья не съест. Господи благослови!» Иван Павлович перекрестился, схватил под правую руку майоршу, а указательным пальцем той же руки за галстух майора и поплыл, кряхтя, к берегу. «Ногами болтайте!» — командовал он, гребя левой рукой и мечтая о своей блестящей будущности. «Барыня — жена, майор — зять… Шик! Гуляй, Ваня! Вот когда пирожных наемся да

дорогие цыгары курить будем! Слава тебе, господи!» Трудно было Ивану Павловичу тянуть одной рукой двойную ношу и плыть против ветра, но мысль о блестящей будущности поддержала его. Он, улыбаясь и хихикая от счастья, доставил майора и майоршу на сушу. Велика была его радость. Но, увидев майора и майоршу, дружно вцепившихся друг в друга, он… вдруг побледнел, ударил себя кулаком по лбу, зарыдал и не обратил внимания на девок, которые, вылезши из воды, густою толпой окружали майора и майоршу и с удивлением посматривали на храброго писаря.

На другой день Иван Павлович, по проискам майора, был удален из волостного правления, а майорша изгнала из своих апартаментов Марью с приказом отправляться ей «к своему милому барину».

— О, люди, люди! — вслух произносил Иван Павлович, гуляя по берегу рокового пруда, — что же благодарностию вы именуете?

Каникулярные работы институтки Наденьки N

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

а) Пять примеров на «Сочетание предложений».

1) «Недавно Росия воевала с Заграницей, причем много было убито турков».

2) «Железная дорога шипит, везет людей и зделана из железа и матерьялов».

3) «Говядина делается из быков и коров, баранина из овечек и баранчиков».

4) «Папу обошли на службе и не дали ему ордена, а он рассердился и вышел в отставку по домашним обстоятельствам».

5) «Я обожаю свою подругу Дуню Пешемореперехoдященскую за то, что она прилежна и внимательна во время уроков и умеет представлять гусара Николая Спиридоныча».

б) Примеры на «Согласование слов».

1) «В великий пост священники и дьяконы не хотят венчать новобрачных».

2) «Мужики живут на даче зиму и лето, бьют ло-

шадей, но ужасно нечисты, потому что закапаны дегтем и не нанимают горничных и швейцаров».

3) «Родители выдают девиц замуж за военных, которые имеют состояние и свой дом».

4) «Мальчик, почитай своих папу и маму — и за это ты будешь хорошеньким и будешь любим всеми людьми на свете».

5) «Он ахнуть не успел, как на него медведь насел».

в) Сочинение

«Как я провела каникулы?

Как только я выдержала экзамены, то сейчас же поехала с мамой, мебелью и братом Иоанном, учеником третьего класса гимназии, на дачу. К нам съехались: Катя Кузевич с мамой и папой, Зина, маленький Егорушка, Наташа и много других моих подруг, которые со мной гуляли и вышивали на свежем воздухе. Было много мужчин, но мы, девицы, держали себя в стороне и не обращали на них никакого внимания. Я прочла много книг и между прочим Мещерского, Майкова, Дюму, Ливанова, Тургенева и Ломоносова. Природа была в великолепии. Молодые деревья росли очень тесно, ничей топор еще не коснулся до их стройных стволов, негустая, но почти сплошная тень ложилась от мелких листьев

на мягкую и тонкую траву, всю испещренную золотыми головками куриной слепоты, белыми точками лесных колокольчиков и малиновыми крестиками гвоздики (похищено из „Затишья“ Тургенева). Солнце то восходило, то заходило. На том месте, где была заря, летела стая птиц. Где-то пастух пас свои стада и какие-то облака носились немножко ниже неба. Я ужасно люблю природу. Мой папа все лето был озабочен: негодный банк ни с того ни с сего хотел продать наш дом, а мама все ходила за папой и боялась, чтобы он на себя рук не наложил. А если же я и провела хорошо каникулы, так это потому, что занималась наукой и вела себя хорошо. Конец».

АРИФМЕТИКА.

Задача. Три купца взнесли для одного торгового предприятия капитал, на который через год было получено 8000 руб. прибыли. Спрашивается: сколько получил каждый из них, если первый взнес 35 000, второй 50 000, а третий 70 000?

Решение. Чтобы решить эту задачу, нужно сперва узнать, кто из них больше всех взнес, а для этого нужно все три числа повычитать одно из другого, и получим, следовательно, что третий

купец взнес больше всех, потому что он взнес не 35 000 и не 50 000, а 70 000. Хорошо. Теперь узнаем, сколько из них каждый получил, а для этого разделим 8000 на три части так, чтоб самая большая часть пришлась третьему. Делим: 3 в восьми содержится 2 раза. 3 х 2 = 6. Хорошо. Вычтем 6 из восьми и получим 2. Сносим нолик. Вычтем 18 из 20 и получим еще раз 2. Сносим нолик и так далее до самого конца. Выйдет то, что мы получим 2666 ⅔, которая и есть то, что требуется доказать, то есть каждый купец получил 2666 ⅔ руб., а третий, должно быть, немножко больше.

Подлинность удостоверяет — *Чехонте.*

Папаша

Тонкая, как голландская сельдь, мамаша вошла в кабинет к толстому и круглому, как жук, папаше и кашлянула. При входе ее с колен папаши спорхнула горничная и шмыгнула за портьеру; мамаша не обратила на это ни малейшего внимания, потому что успела уже привыкнуть к маленьким слабостям папаши и смотрела на них с точки зрения умной жены, понимающей своего цивилизованного мужа.

— Пампушка, — сказала она, садясь на папашины колени, — я пришла к тебе, мой родной, посоветоваться. Утри свои губы, я хочу поцеловать тебя.

Папаша замигал глазами и вытер рукавом губы.

— Что тебе? — спросил он.

— Вот что, папочка… Что нам делать с нашим сыном?

— А что такое?

— А ты не знаешь? Боже мой! Как вы все, отцы, беспечны! Это ужасно! Пампушка, да будь же хоть отцом наконец, если не хочешь… не можешь быть мужем!

— Опять свое! Слышал тысячу раз уж!

Папаша сделал нетерпеливое движение, и мамаша чуть было не упала с колен папаши.

— Все вы, мужчины, таковы, не любите слушать правды.

— Ты про правду пришла рассказывать или про сына?

— Ну, ну, не буду… Пампуша, сын наш опять нехорошие отметки из гимназии принес.



— Ну, так что ж?

— Как что ж? Ведь его не допустят к экзамену! Он не перейдет в четвертый класс!

— Пускай не переходит. Невелика беда. Лишь бы учился да дома не баловался.

— Ведь ему, папочка, пятнадцать лет!

Можно ли в таких летах быть в третьем классе? Представь, этот негодный арифметик опять ему вывел двойку… Ну, на что это похоже?

— Выпороть нужно, вот на что похоже.

Мамаша мизинчиком провела по жирным губам папаши, и ей показалось, что она кокетливо нахмурила бровки.

— Нет, пампушка, о наказаниях мне не говори… Сын наш не виноват… Тут интрига… Сын наш, нечего скромничать, так развит, что невероятно, чтобы он не знал какой-нибудь глупой арифметики. Он все прекрасно знает, в этом я уверена!

— Шарлатан он, вот что-с! Ежели б поменьше баловался да побольше учился… Сядь-ка, мать моя, на стул… Не думаю, чтоб тебе удобно было сидеть на моих коленях.

Мамаша спорхнула с колен папаши, и ей показалось, что она лебединым шагом направилась к креслу.

— Боже, какое бесчувствие! — прошептала она,

усевшись и закрыв глаза. — Нет, ты не любишь сына! Наш сын так хорош, так умен, так красив… Интрига, интрига! Нет, он не должен оставаться на второй год, я этого не допущу!

— Допустишь, коли негодяй скверно учится… Эх, вы, матери!.. Ну, иди с богом, а я тут кое-чем должен… позаняться…

Папаша повернулся к столу, нагнулся к какой-то бумажке и искоса, как собака на тарелку, посмотрел на портьеру.

— Папочка, я не уйду… я не уйду! Я вижу, что я тебе в тягость, но потерпи… Папочка, ты должен сходить к учителю арифметики и приказать ему поставить нашему сыну хорошую отметку… Ты ему должен сказать, что сын наш хорошо знает арифметику, что он слаб здоровьем, а потому и не может угождать всякому. Ты принудь учителя. Можно ли мужчине сидеть в третьем классе? Постарайся, пампуша! Представь, Софья Николаевна нашла, что сын наш похож на Париса!

— Для меня это очень лестно, но не пойду! Некогда мне шляться.

— Нет, пойдешь, папочка!

— Не пойду… Слово твердо. Ну, уходи с богом, душенька… Мне бы заняться нужно вот тут кое-чем…

— Пойдешь!

Мамаша поднялась и возвысила голос.

— Не пойду!

— Пойдешь!!! — крикнула мамаша, — а если не пойдешь, если не захочешь пожалеть своего единственного сына, то…

Мамаша взвизгнула и жестом взбешенного трагика указала на портьеру… Папаша сконфузился, растерялся, ни к селу ни к городу запел какую-то песню и сбросил с себя сюртук… Он всегда терялся и становился совершенным идиотом, когда мамаша указывала ему на его портьеру. Он сдался. Позвали сына и потребовали от него слова. Сынок рассердился, нахмурился, насупился и сказал, что он арифметику знает лучше самого учителя и что он не виноват в том, что на этом свете пятерки получаются одними только гимназистками, богачами да подлипалами. Он разрыдался и сообщил адрес учителя арифметики во всех подробностях. Папаша побрился, поводил у себя по лысине гребнем, оделся поприличнее и отправился «пожалеть единственного сына».

По обыкновению большинства папашей, он вошел к учителю арифметики без доклада. Каких только вещей не увидишь и не услышишь, вошедши без доклада! Он слышал, как учитель сказал

своей жене: «Дорого ты стоишь мне, Ариадна!.. Прихоти твои не имеют пределов!» И видел, как учительша бросилась на шею к учителю и сказала: «Прости меня! Ты мне дешево стоишь, но я тебя дорого ценю!» Папаша нашел, что учительша очень хороша собой и что будь она совершенно одета, она не была бы так прелестна.

— Здравствуйте! — сказал он, развязно подходя к супругам и шаркая ножкой. Учитель на минуту растерялся, а учительша вспыхнула и с быстротою молнии шмыгнула в соседнюю комнату.

— Извините, — начал папаша с улыбочкой, — я, может быть, того… вас в некотором роде обеспокоил… Очень хорошо понимаю… Здоровы-с? Честь имею рекомендоваться… Не из безызвестных, как видите… Тоже служака… Ха-ха-ха! Да вы не беспокойтесь!

Г-н учитель чуточку, приличия ради, улыбнулся и вежливо указал на стул. Папаша повернулся на одной ножке и сел.

— Я, — продолжал он, показывая г. учителю свои золотые часы, — пришел с вами поговорить-с… Мм-да… Вы, конечно, меня извините… Я по-ученому выражаться не мастер. Наш брат, знаете ли, все спроста… Ха-ха-ха! Вы в университете обучались?

— Да, в университете.

— Так-ссс!.. Н-ну, да... А сегодня тепло-с... Вы, Иван Федорыч, моему сынишке двоек там наставили... Мм... да... Но это ничего, знаете... Кто чего достоин... Ему же дань — дань, ему же урок — урок... Хе-хе-хе!.. Но, знаете ли, неприятно. Неужели мой сын плохо арифметику понимает?

— Как вам сказать? Не то чтобы плохо, но, знаете ли, не занимается. Да, он плохо знает.

— Почему же он плохо знает?

Учитель сделал большие глаза.

— Как почему? — сказал он. — Потому, что плохо знает и не занимается.

— Помилуйте, Иван Федорыч! Сын мой превосходно занимается! Я сам с ним занимаюсь... Он ночи сидит... Он все отлично знает... Ну, а что пошаливает... Ну, да ведь это молодость... Кто из нас не был молод? Я вас не обеспокоил?

— Помилуйте, что вы?.. Очень вам благодарен даже... Вы, отцы, такие редкие гости у нас, педагогов... Впрочем, это показывает на то, как вы сильно нам доверяете; а главное во всем — это доверие.

— Разумеется... Главное — не вмешиваемся... Значит, сын мой не перейдет в IV класс?

— Да. У него ведь не по одной только арифме-

тике годовая двойка?

— Можно будет и к другим съездить. Ну, а насчет арифметики?.. Ххе!.. Исправите?

— Не могу-с! (Учитель улыбнулся.) Не могу-с!.. Я желал, чтобы сын ваш перешел, я старался всеми силами, но ваш сын не занимается, говорит дерзости… Мне несколько раз приходилось иметь с ним неприятности.

— М-молод… Что поделаешь?! Да вы уж переправьте на троечку!

— Не могу!

— Да ну, пустяки!.. Что вы мне рассказываете? Как будто бы я не знаю, что можно, чего нельзя. Можно, Иван Федорыч!

— Не могу! Что скажут другие двоечники? Несправедливо, как ни поверните дело. Ей-ей, не могу!

Папаша мигнул одним глазом.

— Можете, Иван Федорыч! Иван Федорыч! Не будем долго рассказывать! Не таково дело, чтобы о нем три часа балясы точить… Вы скажите мне, что вы по-своему, по-ученому, считаете справедливым? Ведь мы знаем, что такое ваша справедливость. Хе-хе-хе! Говорили бы прямо, Иван Федорыч, без экивок! Вы ведь с намерением поставили двойку… Где же тут справедливость?

Учитель сделал большие глаза и… только; а почему он не обиделся — это останется для меня навсегда тайною учительского сердца.

— С намерением, — продолжал папаша. — Вы гостя ожидали-с. Ха-хе-ха-хе!.. Что ж? Извольте-с!.. Я согласен… Ему же дань — дань… Понимаю службу, как видите… Как ни прогрессируйте там, а… все-таки, знаете… ммда… старые обычаи лучше всего, полезнее… Чем богат, тем и рад.

Папаша с сопеньем вытащил из кармана бумажник, и двадцатипятирублевка потянулась к кулаку учителя.

— Извольте-с!

Учитель покраснел, съежился и… только. Почему он не указал папаше на дверь — для меня останется навсегда тайной учительского сердца…

— Вы, — продолжал папаша, — не конфузьтесь… Ведь я понимаю… Кто говорит, что не берет, — тот берет… Кто теперь не берет? Нельзя, батенька, не брать… Не привыкли еще, значит? Пожалуйте-с!

— Нет, ради бога…

— Мало? Ну, больше дать не могу… Не возьмете?

— Помилуйте!..

— Как прикажете… Ну, а уж двоечку исправьте!.. Не так я прошу, как мать… Плачет, знаете ли… Сердцебиение там и прочее…

— Вполне сочувствую вашей супруге, но не могу.

— Если сын не перейдет в IV класс, то… что же будет?.. Ммда… Нет, уж вы переведите его!

— Рад бы, но не могу… Прикажете папиросу?

— Гранд мерси… Перевести бы не мешало… А в каком чине состоите?



— Титулярный… Впрочем, по должности VIII класса. Кгм!..

— Так-ссс… Ну, да мы с вами поладим… Единым почерком пера, а? Идет? Хе-хе!..

— Не могу-с, хоть убейте, не могу!

Папаша немного помолчал, подумал и опять наступил на г. учителя. Наступление продолжалось еще очень долго. Учителю пришлось раз двадцать повторить свое неизменное «не могу-с». Наконец папаша надоел учителю и стал больше невыносим. Он начал лезть целоваться, просил проэкзаменовать его по арифметике, рассказал несколько сальных анекдотов и зафамильярничал. Учителя затошнило.

— Ваня, тебе пора ехать! — крикнула из другой комнаты учительша.

Папаша понял, в чем дело, и своею широкою фигуркой загородил г. учителю дверь. Учитель выбился из сил и начал ныть. Наконец ему показалось, что он придумал гениальнейшую вещь.

— Вот что, — сказал он папаше. — Я тогда только исправлю вашему сыну годовую отметку, когда и другие мои товарищи поставят ему по тройке по своим предметам.

— Честное слово?

— Да, я исправлю, если они исправят.

— Дело! Руку вашу! Вы не человек, а — шик! Я им скажу, что вы уже исправили. Идет девка за парубка! Бутылка шампанского за мной. Ну, а когда их можно застать у себя?

— Хоть сейчас.

— Ну, а мы, разумеется, будем знакомы? Заедете когда-нибудь на часок попросту?

— С удовольствием. Будьте здоровы!

— О ревуар[3]! Хе-хе-хе-хмы!.. Ох, молодой человек, молодой человек!.. Прощайте!.. Вашим господам товарищам, разумеется, от вас поклон? Передам. Вашей супруге от меня почтительное резюме… Заходите же!

Папаша шаркнул ножкой, надел шляпу и улетучился.

«Славный малый, — подумал г. учитель, глядя вслед уходившему папаше. — Славный малый! Что у него на душе, то и на языке. Прост и добр, как видно… Люблю таких людей».

В тот же день вечером у папаши на коленях опять сидела мамаша (а уж после нее сидела горничная). Папаша уверял ее, что «сын наш» перейдет и что ученых людей не так уломаешь деньгами, как приятным обхождением и вежливеньким наступлением на горло.

---

[3] Примечания: 3
До свидания! (фр. au revoir).

За яблочки

Между Понтом Эвксинским и Соловками, под соответственным градусом долготы и широты, на своем черноземе с давних пор обитает помещичек Трифон Семенович. Фамилия Трифона Семеновича длинна, как слово «естествоиспытатель», и происходит от очень звучного латинского слова, обозначающего единую из многочисленнейших человеческих добродетелей. Число десятин его чернозема есть 3000. Имение его, потому что оно имение, а он — помещик, заложено и продается. Продажа его началась еще тогда, когда у Трифона Семеновича лысины не было, тянется до сих пор и, благодаря банковскому легковерию да Трифона Семеновича изворотливости, ужасно плохо клеится. Банк этот когда-нибудь да лопнет, потому что Трифон Семенович, подобно себе подобным, имя коим легион, рубли взял, а процентов не платит, а если и платит кое-когда, то платит с такими церемониями, с какими добрые люди подают копеечку за упокой души и на построение. Если бы сей свет не был сим светом, а называл бы вещи настоящим их именем, то Трифона Семеновича звали бы не Трифоном Семеновичем, а иначе;

звали бы его так, как зовут вообще лошадей да коров. Говоря откровенно, Трифон Семенович — порядочная таки скотина. Приглашаю его самого согласиться с этим. Если до него дойдет это приглашение (он иногда почитывает «Стрекозу»), то он, наверно, не рассердится, ибо он, будучи человеком понимающим, согласится со мною вполне, да, пожалуй, еще пришлет мне осенью от щедрот своих десяток антоновских яблочков за то, что я его длинной фамилии по миру не пустил, а ограничился на этот раз одними только именем и отечеством. Описывать все добродетели Трифона Семеновича я не стану: материя длинная. Чтобы вместить всего Трифона Семеновича с руками и ногами, нужно просидеть над писанием по крайней мере столько, сколько просидел Евгений Сю над своим толстым и длинным «Вечным жидом». Я не коснусь ни его плутней в преферансе, ни политики его, в силу которой он не платит ни долгов, ни процентов, ни его проделок над батюшкою и дьячком, ниже прогулок его верхом по деревне в костюме времен Каина и Авеля, а ограничусь одной только сценкой, характеризующей его отношения к людям, в похвалу которых его тричетвертивековой опыт сочинил следующую скороговорку: «Мужички, простачки, чудачки,

дурачки проигрались в дурачки».

В одно прекрасное во всех отношениях утро (дело происходило в конце лета) Трифон Семенович прогуливался по длинным и коротким аллеям своего роскошного сада. Все, что вдохновляет господ поэтов, было рассыпано вокруг него щедрою рукою в огромном количестве и, казалось, говорило и пело: «На, бери, человече! Наслаждайся, пока еще не явилась осень!» Но Трифон Семенович не наслаждался, потому что он далеко не поэт, да и к тому же в это утро душа его с особенною жадностью вкушала хладный сон, как это делала она всегда, когда хозяин ее чувствовал себя в проигрыше. Позади Трифона Семеновича шествовал его верный вольнонаемник, Карпушка, старикашка лет шестидесяти, и посматривал по сторонам. Этот Карпушка своими добродетелями чуть ли не превосходит самого Трифона Семеновича. Он прекрасно чистит сапоги, еще лучше вешает лишних собак, обворовывает всех и вся и бесподобно шпионит. Вся деревня, с легкой руки писаря, величает его Опричником. Редкий день проходит без того, чтобы мужики и соседи не жаловались Трифону Семеновичу на нравы и обычаи Карпушки; но жалобы эти оставляются втуне, потому что Карпушка незаменим в хозяй-

стве Трифона Семеновича. Трифон Семенович, когда идет гулять, всегда берет с собою верного своего Карпа: и безопаснее и веселее. Карпушка носит в себе неистощимый источник разного рода россказней, прибауток, побасенок и обладает неумением молчать. Он всегда рассказывает что-нибудь и молчит только тогда, когда слушает что-нибудь интересное. В описываемое утро шел он позади своего барина и рассказывал ему длинную историю о том, как какие-то два гимназиста в белых картузах ехали с ружьями мимо сада и умоляли его, Карпушку, пустить их в сад поохотиться, как прельщали его эти два гимназиста полтинником и как он, очень хорошо зная, кому служит, с негодованием отверг полтинник и спустил на гимназистов Каштана и Серка. Кончив эту историю, он начал было в ярких красках изображать возмутительный образ жизни деревенского фельдшера, но изображение не удалось, потому что до ушей Карпушки из чащи яблонь и груш донесся подозрительный шорох. Услышав шорох, Карпушка удержал свой язык, навострил уши и стал прислушиваться. Убедившись в том, что шорох есть и что этот шорох подозрителен, он дернул своего барина за полу и стрелой помчался по направлению к шороху. Трифон Семенович,

предчувствуя скандальчик, встрепенулся, засеменил своими старческими ножками и побежал вслед за Карпушкой. И было зачем бежать…

На окраине сада, под старой ветвистой яблоней, стояла крестьянская девка и жевала; подле нее на коленях ползал молодой широкоплечий парень и собирал на земле сбитые ветром яблоки; незрелые он бросал в кусты, а спелые любовно подносил на широкой серой ладони своей Дульцинее. Дульцинея, по-видимому, не боялась за свой желудок и ела яблочки не переставая и с большим аппетитом, а парень, ползая и собирая, совершенно забыл про себя и имел в виду исключительно одну только Дульцинею.

— Да ты с дерева сорви! — подзадоривала шепотом девка.

— Страшно.

— Чего страшно?! Опришник, небось, в кабаке…

Парень приподнялся, подпрыгнул, сорвал с дерева одно яблоко и подал его девке. Но парню и его девке, как и древле Адаму и Еве, не посчастливилось с этим яблочком. Только что девка откусила кусочек и подала этот кусочек парню, только что они оба почувствовали на языках своих жестокую кислоту, как лица их искривились,

потом вытянулись, побледнели… не потому, что яблоко было кисло, а потому, что они увидели перед собою строгую физиономию Трифона Семеновича и злорадно ухмыляющуюся рожицу Карпушки.

— Здравствуйте, голубчики! — сказал Трифон Семенович, подходя к ним. — Что, яблочки кушаете? Я, бывает, вам не помешал?



Парень снял шапку и опустил голову. Девка начала рассматривать свой передник.

— Ну, как твое здоровье, Григорий? — обратился Трифон Семенович к парню. — Как живешь-можешь, паренек?

— Я только один, — пробормотал парень, — да и то с земли…

— Ну, а твое как здоровье, дуся? — спросил Трифон Семенович девку.

Девка еще усерднее принялась за обзор своего передника.

— Ну, а свадьбы вашей еще не было?

— Нет еще… Да мы, барин, ей-богу, только один, да и то… так.

— Хорошо, хорошо. Молодец. Ты читать умеешь?

— Не… Да ей-богу ж, барин, мы только вот один, да и то с земли.

— Читать ты не умеешь, а воровать умеешь. Что ж, и то слава богу. Знания за плечами не носить. А давно ты воровать начал?

— Да разве я воровал, што ли?

— Ну, а милая невеста твоя, — обратился к парню Карпушка, — чего это так жалостно призадумалась? Плохо любишь нешто?

— Молчи, Карп! — сказал Трифон Семенович. —

А ну-ка, Григорий, расскажи нам сказку…

Григорий кашлянул и улыбнулся.

— Я, барин, сказок не знаю, — сказал он. — Да нешто мне яблоки ваши нужны, што ли? Коли я захочу, так и купить могу.

— Очень рад, милый, что у тебя денег много. Ну, расскажи же нам какую-нибудь сказку. Я послушаю, Карп послушает, вот твоя красавица-невеста послушает. Не конфузься, будь посмелей! Воровская душа должна быть смела. Не правда ли, мой друг?

И Трифон Семенович уставил свои ехидные глаза на попавшегося парня… У парня на лбу выступил пот.

— Вы, барин, заставьте-ка его лучше песню спеть. Где ему, дураку, сказки рассказывать? — продребезжал своим гаденьким тенорком Карпушка.

— Молчи, Карп, пусть сперва сказку расскажет. Ну, рассказывай же, милый!

— Не знаю.

— Неужели не знаешь? А воровать знаешь? Как читается восьмая заповедь?

— Да что вы меня спрашиваете? Разве я знаю? Да ей-богу-с, барин, мы только один яблок съели, да и то с земли…

— Читай сказку!

Карпушка начал рвать крапиву. Парень очень хорошо знал, для чего это готовилась крапива. Трифон Семенович, подобно ему подобным, красиво самоуправничает. Вора он или запирает на сутки в погреб, или сечет крапивой, или же отпускает на свою волю, предварительно только раздев его донага… Это для вас ново? Но есть люди и места, для которых это обыденно и старо, как телега. Григорий косо посмотрел на крапиву, помялся, покашлял и начал не рассказывать сказку, а молоть сказку. Кряхтя, потея, кашляя, поминутно сморкаясь, начал он повествовать о том, как во время оно богатыри русские кощеев колотили да на красавицах женились. Трифон Семенович стоял, слушал и не спускал глаз с повествователя.

— Довольно! — сказал он, когда парень под конец уж совершенно замололся и понес чепуху. — Славно рассказываешь, но воруешь еще лучше. А ну-ка ты, красавица… — обратился он к девке, — прочти-ка «Отче наш»!

Красавица покраснела и едва слышно, чуть дыша, прочла «Отче наш».



— Ну, а как же читается восьмая заповедь?

— Да вы думаете, мы много брали, што ли? — ответил парень и отчаянно махнул рукой. — Вот

вам крест, коли не верите!..

— Плохо, родимые, что вы заповедей не знаете. Надо вас поучить. Красавица, это он тебя научил воровать? Чего же ты молчишь, херувимчик? Ты должна отвечать. Говори же! Молчишь? Молчание — знак согласия. Ну, красавица, бей же своего красавца за то, что он тебя воровать научил!

— Не стану, — прошептала девка.

— Побей немножко. Дураков надо учить. Побей его, моя дуся! Не хочешь? Ну, так я прикажу Карпу да Матвею тебя немножко крапивой… Не хочешь?

— Не стану.

— Карп, подойди сюда!

Девка опрометью подлетела к парню и дала ему пощечину. Парень преглупо улыбнулся и заплакал.

— Молодец, красавица! А ну-ка еще за волоса! Возьмись-ка, моя дуся! Не хочешь? Карп, подойди сюда!

Девка взяла своего жениха за волосы.

— Ты не держись, ему так больней! Ты потаскай его!

Девка начала таскать. Карпушка обезумел от восторга, заливался и дребезжал.

— Довольно, — сказал Трифон Семенович. —

Спасибо тебе, дуся, за то, что зло покарала. А ну-ка, — обратился он к парню, — поучи-ка свою молодайку… То она тебя, а теперь ты ее…

— Выдумываете, барин, ей-богу… За что я ее буду бить?

— Как за что? Ведь она тебя била? И ты ее побей! Это ей принесет свою пользу. Не хочешь? Напрасно. Карп, крикни Матвея!

Парень плюнул, крякнул, взял в кулак косу своей невесты и начал карать зло. Карая зло, он, незаметно для самого себя, пришел в экстаз, увлекся и забыл, что он бьет не Трифона Семеновича, а свою невесту. Девка заголосила. Долго он ее бил. Не знаю, чем бы кончилась вся эта история, если бы из-за кустов не выскочила хорошенькая дочка Трифона Семеновича, Сашенька.

— Папочка, иди чай пить! — крикнула Сашенька и, увидав папочкину выходку, звонко захохотала.

— Довольно! — сказал Трифон Семенович. — Можете теперь идти, голубчики. Прощайте! К свадьбе яблочков пришлю.

И Трифон Семенович низко поклонился наказанным.

Парень и девка оправились и пошли. Парень пошел направо, а девка налево и… по сей день бо-

лее не встречались. А не явись Сашенька, парню и девке, чего доброго, пришлось бы попробовать и крапивы… Вот как забавляет себя на старости лет Трифон Семенович. И семейка его тоже недалеко ушла от него. Его дочки имеют обыкновение гостям «низкого звания» пришивать к шапкам луковицы, а пьяным гостям того же звания — писать на спинах мелом крупными буквами: «асел» и «дурак». Сыночек же его, отставной подпоручик, Митя, как-то зимою превзошел и самого папашу: он вкупе с Карпушкой вымазал дегтем ворота одного отставного солдатика за то, что этот солдатик не захотел Мите подарить волчонка, и за то, что этот солдатик вооружает якобы своих дочек против пряников и конфект господина отставного подпоручика…

Называй после этого Трифона Семеновича — Трифоном Семеновичем!

Перед свадьбой

В четверг на прошлой неделе девица Подзатылкина в доме своих почтенных родителей была объявлена невестой коллежского регистратора Назарьева. Сговор сошел как нельзя лучше. Выпито было две бутылки ланинского шампанского, полтора ведра водки; барышни выпили бутылку лафита. Папаши и мамаши жениха и невесты плакали вовремя, жених и невеста целовались охотно; гимназист восьмого класса произнес тост со словами: «O tempora, o mores!»[4] и «Salvete, boni futuri conjuges!»[5] — произнес с шиком; рыжий Ванька Смысломалов, в ожидании вынутия жребия ровно ничего не делающий, в самый подходящий момент, в «самый раз» ударился в страшный трагизм, взъерошил волосы на своей большой голове, трахнул кулаком себя по колену и воскликнул: «Черт возьми, я любил и люблю ее!», чем и доставил невыразимое удовольствие девицам.

---

[4] Примечания: 4
«О времена, о нравы!» (лат.).

[5] Примечания: 5
«Да здравствуют будущие добрые супруги!» (лат,).

Девица Подзатылкина замечательна только тем, что ничем не замечательна. Ума ее никто не видал и не знает, а потому о нем — ни слова. Наружность у нее самая обыкновенная: нос папашин, подбородок мамашин, глаза кошачьи, бюстик посредственный. Играть на фортепьяне умеет, но без нот; мамаше на кухне помогает, без корсета не ходит, постного кушать не может, в уразумении буквы «ять» видит начало и конец всех премудростей и больше всего на свете любит статных мужчин и имя «Роланд».

Господин Назарьев — мужчина роста среднего, лицо имеет белое, ничего не выражающее, волосы курчавые, затылок плоский. Где-то служит, жалованье получает тщедушное, едва на табак хватающее; вечно пахнет яичным мылом и карболкой, считает себя страшным волокитой, говорит громко, день и ночь удивляется; когда говорит — брызжет. Франтит, на родителей смотрит свысока и ни одну барышню не пропустит, чтобы не сказать ей: «Как вы наивны! Вы бы читали литературу!» Любит больше всего на свете свой почерк, журнал «Развлечение» и сапоги со скрипом, а наиболее всего самого себя, и в особенности в ту минуту, когда сидит в обществе девиц, пьет чай внакладку и с остервенением

отрицает чертей.

Вот каковы девица Подзатылкина и господин Назарьев!

На другой день после сговора, утром, девица Подзатылкина, восстав от сна, была позвана кухаркой к мамаше. Мамаша, лежа на кровати, прочла ей следующую нотацию:

— С какой это стати ты нарядилась сегодня в шерстяное платье? Могла бы нонче и в барежевом походить. Голова-то как болит, ужасть! Вчера лысая образина, твой отец то есть, изволил пошутить. Нужны мне его шутки дурацкие! Подносит это мне что-то в рюмке… «Выпей», говорит. Думала, что в рюмке вино, — ну, и выпила, а в рюмке-то был уксус с маслом из-под селедок. Это он пошутил, пьяная образина! Срамить только, слюнявый, умеет! Меня сильно изумляет и удивляет, что ты вчера веселая была и не плакала. Чему рада была? Деньги нашла, что ли? Удивляюсь! Всякий и подумал, что ты рада родительский дом оставить. Оно, должно быть, так и выходит. Что? Любовь? Какая там любовь? И вовсе ты не по любви идешь за своего, а так, за чином его погналась! Что, разве неправда? То-то, что правда. А мне, мать моя, твой не нравится. Уж больно занослив и горделив. Ты его осади… Что-о-о-о? И

не думай!.. Через месяц же драться будете: и он таковский, и ты таковская. Замужество только девицам одним нравится, а в нем ничего нет хорошего. Сама испытала, знаю. Поживешь — узнаешь. Не вертись так, у меня и без того голова кружится. Мужчины все дураки, с ними жить не очень-то сладко. И твой тоже дурак, хоть и высоко голову держит. Ты его не больно-то слушайся, не потакай ему во всем и не очень-то уважай: не за что. Обо всем мать спрашивай. Чуть что случится, так и иди ко мне. Сама без матери ничего не делай, боже тебя сохрани! Муж ничего доброго не посоветует, добру не научит, а все норовит в свою пользу. Ты это знай! Отца также не больно слушай. К себе в дом не приглашай жить, а то ты, пожалуй, чего доброго, сдуру… и ляпнешь. Он так и норовит с вас стянуть что-нибудь. Будет у вас сидеть по целым дням, а на что он вам сдался? Водки будет просить да мужнин табак курить. Он скверный и вредный человек, хоть и отец тебе. Лицо-то у него, негодника, доброе, ну, а душа зато страсть какая ехидная! Занимать денег станет — не давайте, потому что он жулик, хоть он и тютюлярный советник. Вон он кричит, тебя зовет! Ступай к нему, да не говори ему того, что я тебе сейчас про него говорила. А то сейчас

пристанет, изверг рода христианского, горой его положь! Ступай, покедова у меня сердце на месте!.. Враги вы мои! Умру, так попомните слова мои! Мучители!

Девица Подзатылкина оставила мать свою и отправилась к папаше, который сидел в это время у себя на кровати и посыпал свою подушку персидским порошком.

— Дочь моя! — сказал ей папаша. — Я очень рад, что ты намерена сочетаться с таким умным господином, как господин Назарьев. Очень рад и вполне одобряю сей брак. Выходи, дочь моя, и не страшись! Брак — это такой торжественный факт, что… ну, да что там говорить? Живи, плодись и размножайся. Бог тебя благословит! Я… я… плачу. Впрочем, слезы ни к чему не ведут. Что такое слезы человеческие? Одна только малодушная психиатрия и больше ничего! Выслушай же, дочь моя, совет мой! Не забывай родителей своих! Муж для тебя не будет лучше родителей, право, не будет! Мужу нравится одна только твоя материальная красота, а нам ты вся нравишься. За что тебя будет любить муж твой? За характер? За доброту? За эмблему чувств? Нет-с! Он будет любить тебя за приданое твое. Ведь мы даем за тобой, душенька, не копейку какую-нибудь, а

ровно тысячу рублей! Ты это понять должна! Господин Назарьев весьма хороший господин, но ты его не уважай паче отца. Он прилепится к тебе, но не будет истинным другом твоим. Будут моменты, когда он… Нет, умолчу лучше, дочь моя! Мать, душенька, слушай, но с осторожностью. Женщина она добрая, но двуличновольнодумствующая, легкомысленная, жеманственная. Она благородная, честная особа, но… шут с ней! Она тебе того посоветовать не может, что советует тебе отец твой, бытия твоего виновник.



В дом свой ее не бери. Мужья тещей не обожают. Я сам не любил своей тещи, так не любил, что неоднократно позволял себе подсыпать в ее кофей жженой пробочки, отчего выходили весьма презентабельные проферансы. Подпоручик Зюмбумбунчиков военным судом за тещу судился. Разве не помнишь сего факта? Впрочем, тебя еще тогда на свете не существовало. Главное во всем и везде отец. Это ты знай и одного его только и слушай. Потом, дочь моя… Европейская цивилизация породила в женском сословии ту оппозицию, что будто бы чем больше детей у особы, тем хуже. Ложь! Баллада! Чем больше у родителей детей, тем лучше. Впрочем, нет! Не то! Совсем наоборот! Я ошибся, душенька. Чем меньше детей, тем лучше. Это я вчера читал в одной журналистике. Какой-то Мальтус сочинил. Так-то. Кто-то подъехал… Ба! Да это жених твой! С шиком, канашка, шельмец этакой! Ай да мужчина! Настоящий Вальтер Скотт! Пойди, душенька, прими его, а я пока оденусь.

Прикатил господин Назарьев. Невеста встретила его и сказала:

— Прошу садиться без церемоний!

Он шаркнул два раза правой ногой и сел возле невесты.

— Как вы поживаете? — начал он с обычною развязностью. — Как вам спалось? А я, знаете ли, всю ночь напролет не спал. Зола читал да о вас мечтал. Вы читали Зола? Неужели нет? Ай-я-яй! Да это преступление! Мне один чиновник дал. Шикарно пишет! Я вам прочитать дам. Ах! Когда бы вы могли понять! Я такие чувствую чувства, каких вы никогда не чувствовали! Позвольте вас чмокнуть!

Господин Назарьев привстал и поцеловал нижнюю губу девицы Подзатылкиной.

— А где ваши? — продолжал он еще развязнее. — Мне их повидать надо. Я на них, признаться, немножко сердит. Они меня здорово надули. Вы заметьте… Ваш папаша говорили мне, что оне надворный советник, а оказывается теперь, что оне всего только титулярный. Гм!.. Разве так можно? Потом-с… Оне обещали дать за вами полторы тысячи, а маменька ваша вчера сказали мне, что больше тысячи я не получу. Разве это не свинство? Черкесы кровожадный народ, да и то так не делают. Я не позволю себя надувать! Все делай, но самолюбия и самозабвения моих не трогай! Это негуманно! Это нерационально! Я честный человек, а потому не люблю нечестных! У меня все можно, но не хитри, не язви, а делай

так, как совесть у человека! Так-то! У них и лица какие-то невежественные! Что это за лица? Это не лица! Вы меня извините, но родственных чувств я к ним не чувствую. Вот как повенчаемся, так мы их приструним. Нахальства и варварства не люблю! Я хоть и не скептик и не циник, а все-таки в образовании толк понимаю. Мы их приструним! Мои родители у меня давно уж ни гу-гу. Что, вы уж пили кофей? Нет? Ну, так и я с вами напьюсь. Пойдите мне на папироску принесите, а то я свой табак дома забыл.

Невеста вышла.

Это перед свадьбой… А что будет после свадьбы, я полагаю, известно не одним только пророкам да сомнамбулам.

По-американски

Имея сильнейшее поползновение вступить в самый законнейший брак и памятуя, что никакой брак без особы пола женского не обходится, я имею честь, счастие и удовольствие покорнейше просить вдов и девиц обратить свое благосклонное внимание на нижеследующее:

Я мужчина — это прежде всего. Это очень важно для барынь, разумеется. 2 аршина 8 вершков роста. Молод. До пожилых лет мне далеко, как кулику до Петрова дня. Знатен. Некрасив, но и недурен, и настолько недурен, что неоднократно в темноте по ошибке за красавца принимаем был. Глаза имею карие. На щеках (увы!) ямочек не имеется. Два коренных зуба попорчены. Элегантными манерами похвалиться не могу, но в крепости мышц своих никому сомневаться не позволю. Перчатки ношу № 7 ¾. Кроме бедных, но благородных родителей, ничего не имею. Впрочем, имею блестящую будущность. Большой любитель хорошеньких вообще и горничных в особенности. Верю во все. Занимаюсь литературой и настолько удачно, что редко проливаю слезы над почтовым ящиком «Стрекозы». Имею

в будущем написать роман, в котором главной героиней (прекрасной грешницей) будет моя супруга. Сплю 12 часов в сутки. Ем варварски много. Водку пью только в компании. Имею хорошее знакомство. Знаком с двумя литераторами, одним стихотворцем и двумя дармоедами, поучающими человечество на страницах «Русской газеты». Любимые мои поэты — Пушкарев и иногда я сам. Влюбчив и неревнив. Хочу жениться по причинам, известным одному только мне да моим кредиторам. Вот каков я! А вот какова должна быть и моя невеста:

Вдова или девица (это как ей угодно будет) не старше 30 и не моложе 15 лет. Не католичка, т. е. знающая, что на сем свете нет непогрешимых, и во всяком случае не еврейка. Еврейка всегда будет спрашивать: «А почем ты за строчку пишешь? А отчего ты к папыньке не сходил, он бы тебя наживать деньги науцил?», а я этого не люблю. Блондинка с голубыми глазами и (пожалуйста, если можно) с черными бровями. Не бледна, не красна, не худа, не полна, не высока, не низка, симпатична, не одержима бесами, не стрижена, не болтлива и домоседка. Она должна:

Иметь хороший почерк, потому что я нуждаюсь в переписчице. Работы по переписке мало.

Любить журналы, в которых я сотрудничаю, и в жизни своей направления оных придерживаться.

Не читать «Развлечения», еженедельного «Нового времени», «Нана», не умиляться передовыми статьями «Московских ведомостей» и не падать в обморок от таковых же статей «Берега».

Уметь: петь, плясать, читать, писать, варить, жарить, поджаривать, нежничать, печь (но не распекать), занимать мужу деньги, со вкусом одеваться на собственные средства (NB) и жить в абсолютном послушании.

Не уметь: зудеть, шипеть, пищать, кричать, кусаться, скалить зубы, бить посуду и делать глазки друзьям дома.

Помнить, что рога не служат украшением человека и что чем короче они, тем лучше и безопаснее для того, которому с удовольствием будет заплачено за рога.

Не называться Матреной, Акулиной, Авдотьей и другими сим подобными вульгарными именами, а называться как-нибудь поблагороднее (например, Олей, Леночкой, Маруськой, Катей, Липой и т. п.).

Иметь свою маменьку, сиречь мою глубокоуважаемую тещу, от себя за тридевять земель (а то, в

противном случае, за себя не ручаюсь) и

Иметь minimum 200 000 рублей серебром.

Впрочем, последний пункт можно изменить, если это будет угодно моим кредиторам.

Жены артистов
(Перевод... с португальского)

Свободнейший гражданин столичного города Лиссабона, Альфонсо Зинзага, молодой романист, столь известный... только самому себе и подающий великие надежды... тоже самому себе, утомленный целодневным хождением по бульварам и редакциям и голодный, как самая голодная собака, пришел к себе домой. Обитал он в 147-м номере гостиницы, известной в одном из его романов под именем гостиницы «Ядовитого лебедя». Вошедши в 147-й номер, он окинул взглядом свое коротенькое, узенькое и невысокое жилище, покрутил носом и зажег свечу, после чего взорам его представилась умилительная картина. Среди массы бумаг, книг, прошлогодних газет, ветхих стульев, сапог, халатов, кинжалов и колпаков, на маленькой, обитой сизым коленкором кушетке спала его хорошенькая жена, Амаранта. Умиленный Зинзага подошел к ней и, после некоторого размышления, дернул ее за руку. Она не просыпалась. Он дернул ее за другую руку. Она глубоко вздохнула, но не проснулась.

Он похлопал ее по плечу, постукал пальцем по ее мраморному лбу, потрогал за башмак, рванул за платье, чхнул на всю гостиницу, а она… даже и не пошевельнулась.

«Вот спит-то! — подумал Зинзага. — Что за черт? Не приняла ли она яду? Моя неудача с последним романом могла сильно повлиять на нее…»

И Зинзага, сделав большие глаза, потряс кушетку. С Амаранты медленно сползла какая-то книга и, шелестя, шлепнулась об пол. Романист поднял книгу, раскрыл ее, взглянул и побледнел. Это была не какая-то и отнюдь не какая-нибудь книга, а его последний роман, напечатанный на средства графа дон Барабанта-Алимонда, — роман «Колесование в Санкт-Московске сорока четырех двадцатиженцев», роман, как видите, из русской, значит самой интересной жизни — и вдруг…

— Она уснула, читая мой роман?! — прошептал Зинзага. — Какое неуважение к изданию графа Барабанта-Алимонда и к трудам Альфонсо Зинзаги, давшего ей славное имя Зинзаги!

— Женщина! — гаркнул Зинзага во все свое португальское горло и стукнул кулаком о край кушетки.

Амаранта глубоко вздохнула, открыла свои черные глаза и улыбнулась.

— Это ты, Альфонсо? — сказала она, протягивая руки.

— Да, это я!.. Ты спишь? Ты… спишь?.. — забормотал Альфонсо, садясь на дряблохилый стул. — Что ты делала перед тем, как уснула?

— Ходила к матери просить денег.

— А потом?

— Читала твой роман.

— И уснула? Говори! И уснула?

— И уснула… Ну, чего сердишься, Альфонсо?

— Я не сержусь, но мне кажется оскорбительным, что ты так легкомысленно относишься к тому, что если еще и не дало, то даст мне славу! Ты уснула, потому что читала мой роман! Я так понимаю этот сон!

— Полно, Альфонсо! Твой роман я читала с большим наслаждением… Я приковалась к твоему роману. Я… я… Меня особенно поразила сцена, где молодой писатель, Альфонсо Зензега, застреливается из пистолета…

— Эта сцена не из этого романа, а из «Тысячи огней»!

— Да? Так какая же сцена поразила меня в этом романе? Ах, да… Я плакала на том месте, где русский маркиз Иван Ивановитш бросается из ее окна в реку… реку… Волгу.

— Аааaа… Гм!

— И утопает, благословляя виконтессу Ксению Петровну… Я была поражена…

— Почему же ты уснула, если была поражена?

— Мне так хотелось спать! Я ведь всю ночь прошлую не спала. Всю ночь напролет ты был так мил, что читал мне свой новый, хороший роман, а удовольствие слушать тебя я не могла променять на сон…

— Аааа… Гм… Понимаю! Дай мне есть!

— А разве ты еще не обедал?

— Нет.

— Ты же, уходя утром, сказал мне, что будешь сегодня обедать у редактора «Лиссабонских губернских ведомостей»?

— Да, я полагал, что мое стихотворение будет помещено в этих «Ведомостях», чтобы черт их взял!

— Неужели же не помещено?

— Нет…

— Это несчастие! С тех пор как я стала твоей, я всей душой ненавижу редакторов! И ты голоден?

— Голоден.

— Бедняжка Альфонсо! И денег у тебя нет?

— Гм… Что за вопрос?! Ничего нет поесть?

— Нет, мой друг! Мать меня только покормила,

а денег мне не дала.

— Гм…

Стул затрещал. Зинзага поднялся и зашагал… Пошагав немного и подумав, он почувствовал сильнейшее желание во что бы то ни стало убедить себя в том, что голод есть малодушие, что человек создан для борьбы с природой, что не единым хлебом сыт будет человек, что тот не артист, кто не голоден, и т. д., и, наверное, убедил бы себя, если бы, размышляя, не вспомнил, что рядом с ним, в 148-м номере «Ядовитого лебедя», обитает художник-жанрист, итальянец, Франческо Бутронца, человек талантливый, кое-кому известный и, что так немаловажно под луной, обладающий уменьем, которого никогда не знал за собой Зинзага, — ежедневно обедать.

— Пойду к нему! — решил Зинзага и отправился к соседу.

Вошедши в 148-й номер, Зинзага увидел сцену, которая привела его в восторг как романиста, и ущемила за сердце как голодного. Надежда пообедать в обществе Франческо Бутронца канула в воду, когда романист среди рамок, подрамников, безруких манекенов, мольбертов и стульев, увешанных полинялыми костюмами всех родов и веков, усмотрел своего друга, Франческо Бутрон-

ца... Франческо Бутронца, в шляпе a la Vandic и в костюме Петра Амьенского, стоял на табурете, неистово махал муштабелем и гремел. Он был более чем ужасен. Одна нога его стояла на табурете, другая на столе. Лицо его горело, глаза блестели, эспаньолка дрожала, волосы его стояли дыбом и каждую минуту, казалось, готовы были поднять его шляпу на воздух.



В углу, прижавшись к статуе, изображающей

безрукого, безносого, с большим угловатым отверстием на груди Аполлона, стояла жена горячего Франческо Бутронца, немочка Каролина, и с ужасом смотрела на лампу. Она была бледна и дрожала всем телом.

— Варвары! — гремел Бутронца. — Вы не любите, а душите искусство, чтобы черт вас взял! И я мог жениться на тебе, немецкая холодная кровь?! И я мог, глупец, свободного, как ветер, человека, орла, серну, одним словом, артиста, привязать к этому куску льда, сотканному из предрассудков и мелочей… Diablo[6]!!! Ты — лед! Ты — деревянная, каменная говядина! Ты… ты дура! Плачь, несчастная, переваренная немецкая колбаса! Муж твой — артист, а не торгаш! Плачь, пивная бутылка! Это вы, Зинзага? Не уходите! Подождите! Я рад, что вы пришли… Посмотрите на эту женщину!

И Бутронца левой ногой указал на Каролину. Каролина заплакала.

— Полноте! — начал Зинзага. — Что вы ссоритесь, дон Бутронца? Что сделала вам донна Бутронца? Зачем вы доводите ее до слез? Вспомните вашу великую родину, дон Бутронца, вашу родину, страну, в которой поклонение красоте

---

[6] Примечания: 6
Дьявол! (исп.).

тесно связано с поклонением женщине! Вспомните!

— Я возмущен! — закричал Бутронца. — Вы войдите в мое положение! Я, как вам известно, принялся по предложению графа Барабанта-Алимонда за грандиозную картину… Граф просил меня изобразить ветхозаветную Сусанну… Я прошу ее, вот эту толстую немку, раздеться и стать мне на натуру, прошу с самого утра, ползаю на коленях, выхожу из себя, а она не хочет! Вы войдите в мое положение! Могу ли я писать без натуры?

— Я не могу! — зарыдала Каролина. — Ведь это неприлично!

— Видите? Видите? Это — оправдание, черт возьми?

— Я не могу! Честное слово, не могу! Велит мне раздеться да еще стать у окошка…

— Мне так нужно! Я хочу изобразить Сусанну при лунном свете! Лунный свет падает ей на грудь… Свет от факелов сбежавшихся фарисеев бьет ей в спину… Игра цветов! Я не могу иначе!

— Ради искусства, донна, — сказал Зинзага, — вы должны забыть не только стыдливость, но и все… чувства!..

— Не могу же я пересилить себя, дон Зинзага! Не могу же я стать у окна напоказ!

— Напоказ… Право, можно подумать, донна Бутронца, что вы боитесь глаз толпы, которая, так сказать, если смотреть на нее… Точка зрения искусства и разума, донна… такова, что…

И Зинзага сказал что-то такое, чего умному человеку нельзя ни в сказке сказать, ни пером написать, — что-то весьма приличное, но крайне непонятное.

Каролина замахала руками и забегала по комнате, как бы боясь, чтобы ее насильно не раздели.

— Я мою его кисти, палитры и тряпки, я пачкаю свои платья о его картины, я хожу на уроки, чтобы прокормить его, я шью для него костюмы, я выношу запах конопляного масла, стою по целым дням на натуре, все делаю, но… голой? голой? — не могу!!!

— Я разведусь с тобой, рыжеволосая гарпигия! — крикнул Бутронца.

— Куда же мне деваться? — ахнула Каролина. — Дай мне денег, чтобы я могла доехать до Берлина, откуда ты увез меня, тогда и разводись!

— Хорошо! Кончу Сусанну и отправлю тебя в твою Пруссию, страну тараканов, испорченных колбас и трихины! — крикнул Бутронца, незаметно для самого себя толкая локтем в грудь

Зинзагу. — Ты не можешь быть моей женой, если не можешь жертвовать собою для искусства! Вввввв… Ррр… Диабло!

Каролина зарыдала, ухватилась за голову и опустилась на стул.

— Что ты делаешь? — заорал Бутронца. — Ты села на мою палитру!!!

Каролина поднялась. Под ней действительно была палитра со свежеразведенными красками… О боги! Зачем я не художник? Будь я художником, я дал бы Португалии великую картину! Зинзага махнул рукой и выскочил из 148-го номера, радуясь, что он не художник, и скорбя всем сердцем, что он романист, которому не удалось пообедать у художника.



У дверей 147-го номера его встретила бледная, встревоженная, дрожащая жилица 113-го номера, жена будущего артиста королевских театров, Петра Петрученца-Петрурио.

— Что с вами? — спросил ее Зинзага.

— Ах, дон Зинзага! У нас несчастье! Что мне делать? Мой Петр ушибся!

— Как ушибся?

— Учился падать и ударился виском о сундук.

— Несчастный!

— Он умирает! Что мне делать?

— К доктору, донна!

— Но он не хочет доктора! Он не верит в медицину, и к тому же… он всем докторам должен.

— В таком случае сходите в аптеку и купите свинцовой примочки. Эта примочка очень помогает при ушибах.

— А сколько стоит эта примочка?

— Дешево, очень дешево, донна.

— Благодарю вас. Вы всегда были хорошим другом моего Петра! У нас осталось еще немного денег, которые выручил он на любительском спектакле у графа Барабанта-Алимонда… Не знаю, хватит ли?.. Вы… вы не можете дать немного взаймы на эту оловянную примочку?

— Свинцовую, донна.

— Мы вам скоро отдадим.

— Не могу, донна. Я истратил свои последние деньги на покупку трех стоп бумаги.

— Прощайте!

— Будьте здоровы! — сказал Зинзага и поклонился.

Не успела отойти от него жена будущего артиста королевских театров, как он увидел пред собою жилицу 101-го номера, супругу опереточного певца, будущего португальского Оффенбаха, виолончелиста и флейтиста Фердинанда Лая.

— Что вам угодно? — спросил он ее.

— Дон Зинзага, — сказала супруга певца и музыканта, ломая руки, — будьте так любезны, уймите моего буяна! Вы друг его… Может быть, вам удастся остановить его.

С самого утра бессовестный человек дерет горло и своим пением жить мне не дает! Ребенку спать нельзя, а меня он просто на клочки рвет своим баритоном! Ради бога, дон Зинзага! Мне соседей даже стыдно за него… Верите ли? И соседские дети не спят по его милости.

Пойдемте, пожалуйста! Может быть, вам удастся унять его как-нибудь.

— К вашим услугам, донна!

Зинзага подал жене певца и музыканта руку и отправился в 101-й номер.

В 101-м номере между кроватью, занимающею половину, и колыбелью, занимающею четверть номера, стоял пюпитр. На пюпитре лежали пожелтевшие ноты, а в ноты глядел будущий португальский Оффенбах и пел. Трудно было сразу понять, что и как он пел. Только по вспотевшему, красному лицу его и по впечатлению, которое производил он на свои и чужие уши, можно было догадаться, что он пел и ужасно, и мучительно, и с остервенением. Видно было, что он пел и в

то же время страдал. Он отбивал правой ногой и кулаком такт, причем поднимал высоко руку и ногу, постоянно сбивал с пюпитра ноты, вытягивал шею, щурил глаза, кривил рот, бил кулаком себя по животу… В колыбели лежал маленький человечек, который криком, визгом и писком аккомпанировал своему расходившемуся папаше.



— Дон Лай, не пора ли вам отдохнуть? — спросил Лая вошедший Зинзага.

Лай не слышал.

— Дон Лай, не пора ли вам отдохнуть? — повторил Зинзага.

— Уберите его отсюда! — пропел Лай и указал подбородком на колыбель.

— Что это вы разучиваете? — спросил Зинзага, стараясь перекричать Лая. — Что вы разу-чива-ете?

Лай поперхнулся, замолк и уставил глаза на Зинзагу.

— Вам что угодно? — спросил он.

— Мне? Гм… Я… то есть… не пора ли вам отдохнуть?

— А вам какое дело?

— Но вы утомились, дон Лай! Что это вы разучиваете?

— Кантату, посвященную ее сиятельству графине Барабанта-Алимонда. Впрочем, вам какое дело?

— Но уже ночь… Пора, некоторым образом, спать…

— Я должен петь до десяти часов завтрашнего утра. Сон нам ничего не даст. Пусть спят те, кому угодно, а я для блага Португалии, а может быть, и всего света, не должен спать.

— Но, мой друг, — вмешалась жена, — мне и ребенку нашему хочется спать! Ты так громко кричишь, что нет возможности не только спать, но даже сидеть в комнате!

— Коли захочешь, так заснешь!

Сказавши это, Лай ударил ногой такт и запел.

Зинзага заткнул уши и как сумасшедший выскочил из 101-го номера. Пришедши в свой номер, он увидел умилительную картину. Его Амаранта сидела за столом и переписывала начисто одну из его повестей. Из ее больших глаз капали на черновую тетрадку крупные слезы.

— Амаранта! — крикнул он, хватая жену за руку. — Неужели жалкий герой моей жалкой повести мог тронуть тебя до слез? Неужели, Амаранта?

— Нет, я плачу не над твоим героем…

— Чего же? — спросил разочарованный Зинзага.

— Моя подруга, жена твоего друга-скульптора, Софья Фердрабантеро-Неракруц-Розга, разбила статую, которую готовил ее муж для поднесения графу Барабанта-Алимонда, и… не перенесла горя мужа… Отравилась спичками!

— Несчастная… статуя! О жены, чтобы черт вас взял, вместе с вашими всезацепляющими шлейфами! Она отравилась? Черт возьми, тема для романа!!! Впрочем, мелка!.. Все смертно на этом свете, мой друг… Не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра твоя подруга, все одно,

должна была умереть… Утри свои слезы и лучше, чем плакать, выслушай меня…

— Тема для нового романа? — спросила тихо Амаранта.

— Да…

— Не лучше ли будет, мой друг, если я выслушаю тебя завтра утром? Утром мозги свежей как-то…

— Нет, сегодня выслушай. Завтра мне будет некогда. Приехал в Лиссабон русский писатель Державин, и мне нужно будет завтра утром сделать ему визит. Он приехал вместе с твоим любимым… к сожалению, любимым, Виктором Гюго.

— Да?

— Да… Выслушай же меня!

Зинзага сел против Амаранты, откинул назад голову и начал:

— Место действия — весь свет… Португалия, Испания, Франция, Россия, Бразилия и т. д. Герой в Лиссабоне узнает из газет о несчастии с героиней в Нью-Йорке. Едет. Его хватают пираты, подкупленные агентами Бисмарка. Героиня — агент Франции. В газетах намеки… Англичане. Секта поляков в Австрии и цыган в Индии. Интриги. Герой в тюрьме. Его хотят подкупить. Понима-

ешь? Далее…

Зинзага говорил увлекательно, горячо, махая руками, сверкая глазами… говорил долго, долго… ужасно долго!

Амаранта два раза засыпала и два раза просыпалась, на улицах потушили фонари и взошло солнце, а он все говорил. Пробило шесть часов, желудок Амаранты ущемила тоска по утреннем чае, а он все говорил.

— Бисмарк подает в отставку, и герой, не желая долее скрывать своего имени, называет себя Альфонсо Зунзуга и умирает в страшных муках. Тихий ангел уносит в голубое небо его тихую душу…

Так кончил Зинзага, когда пробило семь часов.

— Ну? — спросил он Амаранту. — Что скажешь? Не находишь ли ты, что сцену между Альфонсо и Марией не пропустит цензура? А?

— Нет, сценка мила!

— Вообще хорошо? Ты говори откровенно. Ты женщина, а большинство моих читателей — женщины, потому мне необходимо знать твое мнение.

— Как тебе сказать? Мне кажется, что я твоего героя где-то уже встречала, не помню только, где именно…

— Не может быть!

— Право. С твоим героем я встречалась в одном романе, и, надо тебе сказать, в глупейшем романе! Когда читала этот роман, я удивлялась, как это могут печатать подобную чушь, а когда прочла его, то решила, что автор должен быть, по меньшей мере, глуп как пробка… Чушь печатают, а тебя мало печатают. Удивительно!

— Не припомнишь ли хотя название этого романа?

— Названия не помню, но имя героя помню. Это имя врезалось мне в память, потому что имеет в себе четыре «р» подряд… Глупое имя. Карррро!

— Не в романе ли «Сомнамбула среди океана»?

— Да, да, да, в этом самом. Как хорошо ты помнишь нашу литературу! В этом самом. Твой герой очень похож на Карррро, но твой, разумеется, умней. Что с тобой, Альфонсо?

Альфонсо вскочил.

— «Сомнамбула среди океана» — мой роман!!! — крикнул он.

Амаранта покраснела.

— Значит, это мой роман глупейший, мой? — крикнул он так громко, что даже у Амаранты заболело горло. — Ах, ты, безмозглая утка! Так-то вы, сударыня, смотрите на мои произведения?

Так-то, ослица? Проговорились? Больше меня уж вы не увидите! Прощайте! Гм… бррр… идиотка! Мой роман глупейший?! Граф Барабанта-Алимонда знал, что издавал!

Бросив презрительный взгляд на жену, Зинзага нахлобучил на глаза шляпу, хлопнул дверью и вышел из 147-го номера.

Амаранта вздохнула, но не заплакала и в обморок не упала. Она знала, что Альфонсо Зинзага воротится в 147-й номер, как бы сильно ни был сердит. Оставить навсегда 147-й номер для романиста значит то же самое, что начать жить, а следовательно, и писать и иметь даровую переписчицу на лиссабонских бульварах, под голубым португальским небом. Это знала Амаранта и не сильно волновалась по уходе супруга. Она только вздохнула и принялась утешать себя. Обыкновенно после частых ссор с мужем она утешала себя чтением старого газетного листка, который хранился у нее в жестяной коробочке из-под монпансье, рядом с крошечной бутылочкой из-под духов. Старый газетный листок между объявлениями, телеграммами, политикой, хроникой и другими рук человеческих делами заключал в себе перл, известный в газетах под именем смеси. В этой смеси, под рассказом о том, как амери-

канец перехитрил американца и как известная певица мисс Дубадолла Свист съела бочку устриц и прошла, не замочив ботинок, Анды, помещался рассказец, весьма годный для утешения Амаранты и других жен артистов. Привожу дословно этот рассказ:

«Вниманию португальцев и их дочерей. В одном из городов Америки, открытой Христофором Колумбом, человеком крайне энергичным и отважным, жил-был себе доктор Таннер. Этот Таннер был более артистом в своем роде, чем ученым, а потому известен земному шару и Португалии не как ученый, а как артист в своем роде. Будучи американцем, он в то же самое время был и человеком, а если он был человеком, то рано или поздно он должен был влюбиться, что и сделал он однажды. Влюбился он в одну прекрасную американку, влюбился до безумия, как артист, влюбился до того, что однажды вместо aquae distillatae[7] прописал argentum nitricum[8], — влюбился, предложил руку и женился. Жил он с прекрасной американкой на первых порах весьма счастливо, так счастливо, что медовый

[7] Примечания: 7
Дистиллированной воды (лат.).

[8] Примечания: 8
Ляпис (лат.).

месяц[9] тянулся, вопреки естеству этого месяца, не месяц, а шесть месяцев[10]. Нет сомнения, что Таннер, будучи человеком ученым, а следовательно, и самым уживчивым, прожил бы с женой счастливо до самой могилы, если бы не усмотрел за нею одного страшного порока. Порок madame Таннер заключался в том, что она ела по-человечески. Этот порок жены кольнул Таннера в самое сердце. „Я перевоспитаю ее!“ — задал он себе задачу и начал развивать m-me Таннер. Сперва отучил он ее завтракать и ужинать, потом чай пить. Через год после свадьбы m-me Таннер приготовляла к обеду уже не четыре, а только одно блюдо, через два же года после подписания свадебного контракта она умела уже довольствоваться баснословным количеством пищи.

А именно, в одни сутки поедала и выпивала она следующее количество питательных веществ:

1 gr. солей,
5 gr. белковых веществ,
2 gr. жира,
7 gr. воды (дистиллированной),

---

[9] Примечания: 9

Медовый месяц меньше лунного. Содержит он в себе 20 дней, 5 часов, 15 минут, 16 секунд. — Примеч. переводчика.

[10] Примечания: 10

Невероятно! — Примеч. переводчика.

$^{1}/_{23}$ gr. венгерского вина.

Итого $^{151}/_{23}$ гран.

Газов мы не считаем, потому что наука еще не в состоянии точно определять количеств потребляемых нами газов. Таннер торжествовал, но недолго. На четвертый год его брачной жизни его начала терзать мысль, что m-me Таннер поедает много белковых веществ. Он еще с большей энергией принялся за дрессировку и, пожалуй, достиг бы сокращения 5 гран до одного или нуля, если бы не почувствовал, что он разлюбил свою жену. Будучи эстетиком, он не мог не разлюбить своей жены. M-me Таннер, вместо того чтобы до глубокой старости быть американской красавицей, вздумала ни с того ни с сего обратиться в подобие американской щепки, лишиться своих прекрасных форм и умственных способностей, чем и показала, что она хотя и годится еще для дальнейших дрессировок, но стала уже совершенно негодной для супружеской жизни. D-r Таннер потребовал развода. Явились в его дом ученые эксперты, осмотрели со всех сторон m-me Таннер, посоветовали ей ехать на воды, делать гимнастику, прописали ей диету и нашли требование своего уважаемого коллеги вполне законным. D-r Таннер дал своим коллегам-экспертам по

доллару, угостил их хорошим завтраком и… с этих пор Таннер живет в одном месте, а жена его в другом. Печальная история! Женщины, как часто вы бываете причиною несчастий великих людей! Женщины, не вы ли виновницы того, что великие люди очень часто не оставляют после себя потомства? Португальцы, на вашей совести лежит воспитание ваших дочерей! Не делайте из ваших дочерей разорительниц домашних очагов и гнезд! Мы кончили. Завтрашний номер, по случаю дня рождения редактора, не выйдет. Португальцы! Кто из вас не взнес подписных денег сполна, тот пусть поспешит доплатить!»



— Бедная m-me Таннер! — прошептала Амаранта, пробежав этот рассказец. — Бедная! Как она несчастлива! О, как я счастлива сравнительно с нею! Как я счастлива!

Амаранта, обрадованная тем, что есть на этом свете люди несчастнее ее, старательно сложила газетный лист, положила его в коробочку и, радуясь, что она не m-me Таннер, разделась и легла спать.

Спала она до тех пор, пока не разбудил ее ужаснейший голод в лице Альфонсо Зинзаги.

— Я хочу есть! — сказал Зинзага. — Оденься, моя дорогая, и ступай к своей madre за деньгами. A propos[11]: я извиняюсь перед тобой. Я был неправ. Я сейчас только узнал от русского писателя Державина, который приехал вместе с Лермантофф, другим русским писателем, что есть два романа, совершенно не похожие друг на друга и носящие одно и то же имя: «Сомнамбула среди океана». Иди, мой друг!

И Зинзага рассказал Амаранте, пока она одевалась, один случай, который он намерен описать, сказав между прочим, мимоходом, что описание этого трогающего за душу и тело случая потребует у нее некоторой жертвы.

— Жертва, мой друг, будет невелика! — сказал он. — Ты должна будешь писать это описание под мою диктовку, что отнимет у тебя не более семи-восьми часов, и переписать его начисто и между прочим, этак мимоходом, изложить на бумаге и свое мнение относительно всех моих произведений… Ты женщина, а большинство моих читателей составляют женщины…

---

[11] Примечания: 11
Кстати (фр.).

Зинзага немножко солгал. Не большинство, а всех его читателей составляла одна только женщина, потому что Амаранта была не «женщины», а только всего «женщина».

— Согласна?

— Да, — сказала тихо Амаранта, побледнела и упала без чувств на растрепанный, вечно валяющийся, пыльный энциклопедический словарь…

— Удивительный народ эти женщины! — воскликнул Зинзага. — Прав был я, когда назвал женщину в «Тысяче огней» существом, которое вечно будет загадкой и удивлением для рода человеческого! Малейшая радость способна повалить ее на пол! О, женские нервы!

И счастливый Зинзага опустился на колено перед несчастной Амарантой и поцеловал ее в лоб…

Такие-то дела, читательницы!

Знаете что, девицы и вдовы? Не выходите вы замуж за этих артистов! «Цур им и пек, этим артистам!», как говорят хохлы. Лучше, девицы и вдовы, жить где-нибудь в табачной лавочке или продавать гусей на базаре, чем жить в самом лучшем номере «Ядовитого лебедя» с самым лучшим протеже графа Барабанта-Алимонда.

Право, лучше!

Петров день

Наступило утро желанного, давно снившегося дня, наступило — урааа, господа охотники! — 29-е июня… Наступил день, в который забываются долги, жучки, дорогие харчи, тещи и даже молодые жены, — день, в который г. уряднику, запрещающему стрелять, можно показать двадцать кукишей…

Побледнели и затуманились звезды… Кое-где послышались голоса… Из деревенских труб повалил сизый едкий дым. На серой колокольне показался не совсем еще проснувшийся пономарь и ударил к обедне… Послышалось храпенье растянувшегося под деревом ночного сторожа. Проснулись щуры, закопошились, залетали с одного конца сада на другой и подняли свое невыносимое, надоедливое чириканье… В терновнике запела иволга… Над людской кухней засуетились скворцы и удоды… Начался даровой утренний концерт…

К развалившемуся, живописно обросшему колючей крапивой крыльцу дома отставного гвардии корнета Егора Егорыча Обтемперанского подъехали две тройки. В доме и во дворе подня-

лась страшная кутерьма. Все живущее вокруг Егора Егорыча заходило, забегало и застучало по всем лестницам, сараям и конюшням… Переменили одного коренного. У кучеров слетели с голов картузы, у лакея, Катькина прихвостня, засиял под носом красный фонарь, кухарок назвали «стервозами», послышалось имя сатаны и аггелов его… В пять минут тарантасы наполнились коврами, полостями, кульками с провизией, ружейными чехлами.

— Готово-с! — пробасил Аввакум.

— Пожалуйте! Готово! — крикнул сладеньким голоском Егор Егорыч, и на крыльце показалась многочисленная публика. Первый вскочил в тарантас молодой доктор. За ним вполз архангельский мещанин Кузьма Больва, старичок в сапогах без каблуков, в рыжем цилиндре, с двадцатипятифунтовой двустволкой и с желто-зелеными пятнами на шее. Больва — плебей, но гг. помещики, из уважения к его преклонным летам (он родился в конце прошлого столетия) и уменью попадать в подброшенный двугривенный, не брезгуют его плебейством и берут с собой на охоту.

— Пожалуйте, ваше превосходительство! — обратился Егор Егорыч к маленькому седому

толстячку в белом со светлыми пуговицами кителе и с аннинским крестом на шее. — Подвиньтесь, доктор!

Отставной генерал крякнул, стал одной ногой на подножку и, поддерживаемый Егором Егорычем, толкнул животом доктора и грузно уселся возле Больвы. За генералом вскочили генеральский щенок Тщетный и легавый Егора Егорыча, Музыкант.



— М-м-м... того, братец... Ваня! — обратился генерал к своему племяннику, юноше-гимназисту с длинной одностволкой через спину. — Ты можешь сесть здесь, возле меня. Иди сюда! Н-да... Вот здесь. Не шали, мой друг! Лошадь может

испугаться!

Пустив еще раз в нос коренному табачного дыма, Ваня вскочил в тарантас, отодвинул Больву от генерала и, повертевшись, сел. Егор Егорыч перекрестился и сел рядом с доктором. На козлах, рядом с Аввакумом, примостился длинный и сухой преподаватель математики и физики в Ваниной гимназии, г. Манже.

Первый тарантас наполнился. Началась нагрузка второго тарантаса.

— Готово! — крикнул Егор Егорыч, когда во второй тарантас, после долгих споров и беганья вокруг и около, поместились остальные восемь человек и три собаки.

— Готово! — крикнули гости.

— Ну? Итак, значит, трогать, ваше превосходительство? Господи благослови, — трогай, Аввакумка!

Первый тарантас покачнулся и тронулся с места. Второй, вмещавший в себе самых ярых охотников, покачнулся, отчаянно скрипнул, взял немного в сторону и, очутившись впереди первого, покатил к воротам. Охотники улыбнулись все разом и захлопали от восторга в ладоши. Все почувствовали себя на седьмом небе, но… злая судьба!.. Не успели они выехать со двора, как

случился скандал…

— Стой! Подожди! Стой!!! — раздался сзади троек пронзительный тенор.

Охотники оглянулись и побледнели. За тройками гнался невыносимейший в мире человек, известный всей губернии скандалист, брат Егора Егорыча, отставной капитан 2-го ранга Михей Егорыч… Он отчаянно махал руками. Тройки остановились.

— Что тебе? — спросил Егор Егорыч.

Михей Егорыч подбежал к тарантасу, стал на подножку и замахнулся на Егора Егорыча. Охотники зашумели.

— Что такое? — спросил покрасневший Егор Егорыч.

— То такое, — закричал Михей Егорыч, — что ты Иуда, скотина, свинья!.. Свинья, ваше превосходительство! Ты отчего не разбудил меня? Отчего ты не разбудил меня, осел, я тебя спрашиваю, подлеца этакого? Позвольте, господа… Я ничего… Я его только поучить хочу! Ты почему не разбудил меня? Не хочешь брать с собой? Я помешаю тебе? Напоил меня вчера вечером нарочно и думал, что я просплю до двенадцати часов! Каков молодец! Позвольте, ваше превосходительство. Я его только раз… смажу. Позвольте!

— Чего вы лезете? — крикнул генерал, растопыривая руки. — Разве не видите, что нет места? Вы уж слишком… позволяете…

— Напрасно ты бранишься, Михей, — сказал Егор Егорыч. — Я не разбудил тебя потому, что тебе незачем ехать с нами… Ты не умеешь стрелять. Зачем тебе ехать? Мешать? Ведь ты не умеешь стрелять!

— Не умею? Не умею я стрелять? — закричал Михей Егорыч так громко, что даже Больва заткнул уши. — Но, в таком случае, за каким чертом доктор едет! Он тоже не умеет стрелять! Он лучше меня стреляет?

— Он прав, господа, — сказал доктор. — Я не умею стрелять, не умею ружья даже держать… Я терпеть не могу стрельбы… Я не знаю, зачем вы берете меня с собой. За каким дьяволом? Пусть он садится на мое место! Я остаюсь!.. Есть место, Михей Егорыч!

— Слышишь, слышишь? Зачем же ты его берешь?

Доктор поднялся с явным намерением вылезти из тарантаса. Егор Егорыч схватил доктора за фалду и потянул его вниз.

— Но… не рвите сюртука! Он тридцать рублей стоит… Пустите! И вообще, господа, я просил бы

вас не беседовать со мной сегодня… Я не в духе и могу неприятностей наделать, сам того не желая. Пустите, Егор Егорыч! Садитесь на мое место, Михей Егорыч! Я спать пойду!

— Вы должны ехать, доктор! — сказал Егор Егорыч, не выпуская фалды. — Вы дали честное слово, что поедете!

— Это было вынужденное честное слово. Ну, для чего мне ехать, для чего?

— А для того, — запищал Михей Егорыч, — чтобы вы не остались с его женой! Вот для чего! Он ревнует к вам, доктор. Не езжайте, голубчик! Назло не езжайте! Ревнует, ей-богу ревнует!

Егор Егорыч густо покраснел и сжал кулаки.

— Эй, вы! — крикнули с другого тарантаса. — Михей Егорыч, будет вам ерундить! Идите сюда, нашлось место!

Михей Егорыч ехидно улыбнулся.

— А что, акула? — сказал он. — Чья взяла? Слышал? Нашлось место! Назло поеду! Поеду и буду мешать! Честное слово, буду мешать! Ни черта не убьешь! А вы, доктор, не езжайте. Пусть лопнет от ревности.

Егор Егорыч поднялся и потряс кулаками. Глаза его налились кровью.

— Негодяй! — сказал он, обращаясь к брату. —

Ты не брат мне! Недаром прокляла тебя матушка покойница! Батюшка скончался во цвете лет чрез твое безнравственное поведение!

— Господа… — вмешался генерал. — Я полагаю… достаточно. Братья, рродные братья!

— Он родной осел, ваше превосходительство, а не брат! Не езжайте, доктор! Не езжайте!

— Трогай, чтобы черт побрал вас… А-а-а… Черт знает, что такое! Трогай! — крикнул генерал и ударил кулаком в спину Аввакума. — Тррогай!

Аввакум ударил по лошадям, и тройка тронулась с места. Во втором тарантасе писатель, капитан Кардамонов, взял себе на колени двух собак, а на их место усадил ретивого Михея Егорыча.

— Счастье его, что нашлось место! — сказал Михей Егорыч, усаживаясь в тарантасе, — а то бы я его… Опишите-ка этого разбойника, Кардамонов!

Кардамонов послал в прошлом году в «Ниву» статью под заглавием «Интересный случай многоплодия среди крестьянского народонаселения», прочел в почтовом ящике неприятный для авторского самолюбия ответ, пожаловался соседям и прослыл писателем.



Согласно предначертанному плану действий решено было ехать прежде всего на крестьянский сенокос, находящийся в семи верстах от имения Егора Егорыча, — ехать на перепелов. Приехавши на сенокос, охотники вылезли из тарантасов и

разделились на две группы. Одна группа, имея во главе генерала и Егора Егорыча, направилась направо; другая, с Кардамоновым во главе, пошла налево. Больва отстал и пошел сам по себе. На охоте он любил тишину и молчание. Музыкант с лаем побежал вперед и через минуту согнал перепела. Ваня выстрелил и не попал.

— Высоко взял, черт возьми! — проворчал он. Щенок Тщетный, взятый «приучаться», услышав первый раз в жизни выстрел, залаял и, поджав хвост, побежал к тарантасам. Манже выстрелил в жаворонка и попал.

— Нравится мне эта птичка! — сказал он, показывая доктору жаворонка.

— Проваливайте… — сказал тот. — Вообще я просил бы вас не беседовать со мною… Я сегодня не в духе. Отойдите от меня!

— Вы скептик, доктор!

— Я-то? Гм… А что значит скептик?

Манже задумался.

— Скептик значит человеко… человеко… нелюбец, — сказал он.

— Врете. Не употребляйте тех слов, которых вы не понимаете. Отойдите от меня! Я могу наделать неприятностей, сам того не желая… Я не в духе…

Музыкант сделал стойку. Генерал и Егор Егорыч

побледнели и притаили дыхание.

— Я выстрелю! — прошептал генерал. — Я… я… позвольте! Вы во второй раз уж того…

Но не удалась стойка. Доктор от нечего делать пустил камешком в Музыканта и попал между ушей….. Музыкант взвизгнул и подскочил. Генерал и Егор Егорыч оглянулись. В траве послышался шорох и взлетел крупный стрепет. Во второй группе зашумели и указали на стрепета. Генерал, Манже и Ваня прицелились. Ваня выстрелил, у Манже осеклось. Поздно было! Стрепет полетел за курган и опустился в рожь.

— Полагаю, доктор, что… не время теперь шутить! — обратился генерал к доктору. — Не время-с!

— А?

— Не время теперь шутить.

— Я не шучу.

— Неловко, доктор! — заметил Егор Егорыч.

— Не брали бы… Кто вас просил брать меня? Впрочем… не желаю объясняться… Я не в духе сегодня…

Манже убил другого жаворонка. Ваня согнал молодого грача, выстрелил и не попал.

— Высоко взял, черт возьми! — проворчал он.

Послышались два подряд выстрела: Больва уло-

жил за курганом своей тяжелой двустволкой двух перепелов и положил их в карман. Егор Егорыч согнал перепела и выстрелил. Подстреленная перепелка упала в траву. Торжествующий Егор Егорыч поднял ее и поднес генералу.

— В крылышко, ваше превосходительство! Жива еще-с!

— Н-да….. Жива. Надо предать скорой смерти.

Сказавши это, генерал поднес перепелку ко рту и клыками перегрыз ей горло. Манже убил третьего жаворонка. Музыкант сделал другую стойку. Генерал сбросил с головы фуражку, навел ружье… «Пиль!» Взлетел крупный перепел, но… мерзавец доктор торчал как раз в области выстрела, почти перед дулом!

— Прочь! — крикнул генерал.

Доктор отскочил, генерал выстрелил, и, разумеется, дробь опоздала.

— Это низко, молодой человек! — крикнул генерал.

— Что такое? — спросил доктор.

— Вы мешаете! Черт вас просит мешать! По вашей милости я промахнулся! Черт знает что такое — из рук вон!

— Да вы-то чего кричите? Пфф… не боюсь! Я генералов не боюсь, ваше превосходительство, а

в особенности отставных. Потише, пожалуйста!

— Удивительный человек! Ходит и мешает, ходит и мешает, — ангел выйдет из терпения!

— Не кричите, пожалуйста, генерал! Кричите вот на Манже! Он, кстати, боится генералов. Хорошему охотнику никто не помешает. Скажите лучше, что стрелять не умеете!

— Довольно-с! Вам слово — вы десять… Ваничка, дай-ка сюда пороховницу! — обратился генерал к Ване.

— Для чего ты пригласил на охоту этого бурбона? — спросил доктор Егора Егорыча.

— Нельзя, брат! — ответил Егор Егорыч. — Нельзя было не взять. Ведь я ему того… восемь тысяч… Э-хе-хе, братец! Не будь этих проклятых долгов…

Егор Егорыч не договорил и махнул рукою.

— Правда, что ты ревнуешь?

Егор Егорыч отвернулся и прицелился в высоко летевшего коршуна.

— Ты его потерял, молокосос! — раздался громовый голос генерала. — Ты потерял его! Он сто рублей стоит, поросенок!

Егор Егорыч подошел к генералу и осведомился, в чем дело. Оказалось, что Ваня потерял генеральский патронташ. Начались поиски за патронташем, и охота была прервана. Поиски

продолжались час с четвертью и увенчались успехом. Нашедши патронташ, охотники сели отдохнуть.

Во второй группе перепелиная охота была тоже не совсем удачна. В этой группе Михей Егорыч был тем же, чем доктор в первой, даже хуже. Он выбивал из рук ружья, бранился, бил собак, рассыпал порох, словом — выделывал черт знает что… После неудачных выстрелов по перепелам Кардамонов со своими собаками погнался за молодым коршуном. Коршуна подстрелили и не нашли. Капитан 2-го ранга убил камнем суслика.

— Господа, давайте анатомировать суслика! — предложил письмоводитель предводителя дворянства, Некричихвостов.

Охотники сели на траву, вынули перочинные ножи и занялись анатомией.

— Я в этом суслике ничего не нахожу, — сказал Некричихвостов, когда суслик был изрезан на мелкие кусочки. — Даже сердца нет. Вот кишки так есть. Знаете что, господа? Поедемте-ка на болота! Что мы тут можем убить? Перепела — не дичь; то ли дело кулички, бекасы… А? Едем!

Охотники поднялись и лениво направились к тарантасам. Приближаясь к тарантасам, они сделали залп по свойским голубям и убили одного.

— Ваше превосх… Егорыгорч! Ваше… Егорч… — закричала вторая группа, увидев отдыхающую первую. — Ау, ау!

Генерал и Егор Егорыч оглянулись. Вторая группа замахала фуражками.

— Зачем? — крикнул Егор Егорыч.

— Дело есть! Дрохву убили! Скорей сюда!

Первая группа дрохве не поверила, но к тарантасам пошла. Усевшись в тарантасы, охотники порешили оставить перепелов в покое и согласно маршруту проехать еще пять верст — к болотам.

— Я ужасно горяч на охоте, — обратился генерал к доктору, когда тройки отъехали версты на две от сенокоса. — Ужасно! Отца родного не пощажу. Уж вы того… извините старику!

— Гм.

— Каким добряком, шельмец, стал! — шепнул Егор Егорыч доктору на ухо. — Что значит мода пошла дочек за докторов отдавать! Хитер его превосходительство! Хе-хе-хе…

— А просторней стало! — заметил Ваня.

— Да.

— Отчего бы это? Совсем просторно…

— Господа, а Больва где? — хватился Манже.

Охотники посмотрели друг на друга.

— Где Больва? — повторил Манже.

— Должно быть, на той тройке. Господа, — крикнул Егор Егорыч, — Больва с вами?

— Нет, нету! — крикнул Кардамонов.

Охотники задумались.

— Ну, черт с ним! — порешил генерал. — Не ворочаться же за ним!

— Надо бы, ваше превосходительство, воротиться. Слаб уж очень! Без воды умрет. Не дойдет.

— Захочет, так дойдет.

— Умрет старичок. Ведь ему девяносто!

— Пустяки.

Подъехав к болотам, наши охотники вытянули физиономии… Болота были запружены охотниками, и вылезать из тарантасов поэтому не стоило. Немного подумав, охотники порешили проехать еще пять верст, к казенным лесам.

— Кого же вы там стрелять будете? — спросил доктор.

— Дроздов, орлиц… Ну, тетеревов.

— Так-с. Ну, а что поделывают теперь мои несчастные больные? И зачем вы меня взяли с собой, Егор Егорыч? Эх!

Доктор вздохнул и почесал затылок. Подъехав к первому попавшемуся леску, охотники повылезли из тарантасов и начали совещаться: кому идти направо и кому налево?

— Знаете что, господа? — предложил Некричихвостов. — В силу того закона, так сказать, в некотором роде природы, что дичь от нас не уйдет… Гм… Дичь от нас не уйдет, господа! Давайте-ка прежде всего подкрепимся! Винца, водочки, икорки… балычка… Вот тут, на травке! Вы какого мнения, доктор? Вам лучше это знать: вы доктор. Ведь нужно подкрепиться?

Предложение Некричихвостова было принято. Аввакум и Фирс разостлали два ковра и разложили вокруг них кульки со свертками и бутылками. Егор Егорыч порезал колбасу, сыр, балык, Некричихвостов раскупорил бутылки, Манже нарезал хлеба… Охотники облизнулись и возлегли.



— Ну-с, ваше превосходительство! По маленькой…

Охотники выпили и закусили. Доктор тотчас же налил себе другую и выпил. Ваня последовал его примеру.

— А ведь тут, надо полагать, и волки есть, — глубокомысленно заметил Кардамонов, посматривая искоса на деревья.

Охотники подумали, поговорили и минут через десять порешили, что волков, надо полагать, нет.

— Ну-с? По другой? Пропустим-ка! Егор Егорыч вы чего смотрите?

Выпили по другой.

— Молодой человек! — обратился Егор Егорыч к Ване. — Вы-то чего думаете?

Ваня замотал головой.

— Но при мне можешь, — сказал генерал. — Без меня не пей, но при мне… Выпей немножко!

Ваня налил рюмку и выпил.

— Ну-с? По третьей? Ваше превосходительство…

Выпили по третьей. Доктор выпил шестую.

— Молодой человек!

Ваня замотал головой.

— Пейте, Амфитеатров! — сказал покровительственным тоном Манже.

— При мне можешь, но без меня… Выпей

немного!

Ваня выпил.

— Чего это небо сегодня такое синее? — спросил Кардамонов.

Охотники подумали, потолковали и через четверть часа порешили, что неизвестно, отчего это небо сегодня такое синее.

— Заяц… заяц… заяц!!! Держи!!!

За бугром показался заяц. За ним гнались две дворняги. Охотники повскакали и ухватились за ружья. Заяц пролетел мимо, помчался в лес, увлекая за собой дворняг, Музыканта и других собак. Тщетный подумал, посмотрел подозрительно на генерала и тоже помчался за зайцем.

— Крупный!.. Вот его бы того… Как это мы… прозевали?

— Да. Чего же эта бутылка тут того… Это вы не выпили, ваше высокопревосходительство? Э-э-э-э… Так вот вы как? Хо-ро-шо-с!



Выпили по четвертой. Доктор выпил девятую, с остервенением крякнул и отправился в лес. Выбрав самую широкую тень, он лег на травку, подложил под голову сюртук и тотчас же захрапел. Ваню развезло. Он выпил еще рюмочку, принялся за пиво, и в нем взыграла душа. Он стал на колени и продекламировал 20 стихов из Овидия.

Генерал заметил, что латинский язык очень похож на французский… Егор Егорыч согласился с ним и добавил, что при изучении французского языка необходимо знать похожий на него латинский. Манже не согласился с Егором Егоры-чем, заметив, что не место толковать там про языки, где сидит физико-математик и стоит так много бутылок, добавив, что ружье его прежде дорого стоило, что теперь нельзя найти хорошего ружья, что…

— По восьмой, господа?

— Не много ли будет?

— Ну-у-у… Что вы! Восемь, и много?! Вы, значит, не пили никогда!

Выпили по восьмой.

— Молодой человек!

Ваня замотал головой.

— Полно! Ну-ка, по-военному! Вы так хорошо

стреляете…

— Выпейте, Амфитеатров! — сказал Манже.

— При мне пей, но без меня. Выпей немного!

Ваня отставил в сторону пиво и выпил еще рюмочку.

— По девятой, господа, а? Какого мнения? Терпеть не могу числа восемь. Восьмого числа у меня умер отец… Федор… то есть, Иван. Егор Егорыч! Наливайте!

Выпили по девятой.

— Жарко, однако.

— Да, жарко, но это не помешает нам выпить по десятой!

— Но…

— Плевать на жару! Докажем, господа, стихиям, что мы их не боимся! Молодой человек! Покажите-ка пример. Пристыдите вашего дядюшку! Не боимся ни хлада, ни жары…

Ваня выпил рюмочку. Охотники крикнули «ура» и последовали его примеру.

— Солнечный удар может приключиться, — сказал генерал.

— Не может.

— Не может… при нашем климате? Гм…

— Однако бывали же случаи… Мой крестный умер от солнечного удара…

— Вы, доктор, как думаете? Может ли при нашем климате удар приключиться… солнечный, а? Доктор!

Ответа не последовало.

— Вам не приходилось лечить, а? Мы про солнечный… Доктор, где же доктор?

— Где доктор? Доктор!

Охотники посмотрели вокруг себя: доктора не было.

— Где же доктор? Исчезоша? Яко воск от лица огня! Ха-ха-ха.

— К Егоровой жене отправился! — ляпнул Михей Егорыч.

Егор Егорыч побледнел и уронил бутылку.

— К жене его отправился! — продолжал Михей Егорыч, кушая балык.

— Чего же вы врете? — спросил Манже. — Вы видели?

— Видел. Ехал мимо мужик на таратайке… ну, а он сел и уехал. Ей-богу. По одиннадцатой, господа?

Егор Егорыч поднялся и потряс кулаками.

— Я спрашиваю: куда вы едете? — продолжал Михей Егорыч. — За клубникой, говорит. Рожки шлифовать. Я, говорит, уж наставил рожки, а теперь шлифовать еду. Прощайте, говорит, ми-

лый Михей Егорыч! Кланяйтесь, говорит, свояку Егору Его-рычу! И этак еще глазом сделал. На здоровье… хе-хе-хе.

— Лошадей! — крикнул Егор Егорыч и, покачиваясь, побежал к тарантасу.

— Скорей, а то опоздаешь! — крикнул Михей Егорыч.



Егор Егорыч втащил на козлы Аввакума, вскочил в тарантас и, погрозив охотникам кулаком, покатил домой…

— Что же все это значит, господа? — спросил генерал, когда скрылась с глаз белая фуражка Егора Егорыча. — Он уехал… На чем же, черт возьми, я уеду? Он на моем тарантасе уехал! То есть не на моем, а на том, на котором мне нужно уехать… Это странно… Гм… Дерзко с его стороны…

С Ваней сделалось дурно. Водка, смешанная с пивом, подействовала как рвотное… Нужно было везти Ваню домой. После пятнадцатой охотники порешили тройку уступить генералу, с тем только условием, чтобы он, приехавши домой, немедленно выслал свежих лошадей за остальной компанией.

Генерал стал прощаться.

— Передайте ему, господа, — сказал он, — что… что так делают одне только свиньи.

— Вы, ваше превосходительство, векселя его протестуйте! — посоветовал Михей Егорыч.

— А? Векселя? Нда-с… Пора уже ему… Нужно честь знать… Я ждал, ждал и наконец утомился ждать… Скажите ему, что протест… Прощайте, господа! Прошу ко мне! А он свинья-с!

Охотники простились с генералом и положили

его в тарантас рядом с заболевшим Ваней.

— Трогай!

Ваня и генерал уехали.

После восемнадцатой охотники отправились в лес и, постреляв немного в цель, улеглись спать. Перед вечером приехали за ними генеральские лошади. Фирс вручил Михею Егорычу письмо с передачей «братцу». В этом письме была просьба, за неисполнение которой грозилось судебным приставом. После третьей (проснувшись, охотники повели новый счет) генеральские кучера уложили охотников в тарантасы и развезли их по домам.

Егор Егорыч, приехавши домой, был встречен Музыкантом и Тщетным, для которых заяц был только предлогом, чтобы удрать домой. Посмотрев грозно на свою жену, Егор Егорыч принялся за поиски. Были обысканы все кладовые, шкафы, сундуки, комоды — доктора не нашел Егор Егорыч. Он нашел другого: под жениной кроватью обрел он псаломщика Фортунатова…

Было уже темно, когда проснулся доктор… Поблуждав немного по лесу и вспомнивши, что он на охоте, доктор громко выругался и принялся аукать. Ответа на ауканье, разумеется, не последовало, и он порешил отправиться домой

пешочком. Дорога была хорошая, безопасная, светлая. Двадцать четыре версты он отмахал в какие-нибудь четыре часа и к утру был уже в земской больнице. Побранившись всласть с фельдшерами, акушеркой и больными, он принялся сочинять огромнейшее письмо к Егору Егорычу. В этом письме требовалось «объяснение неблаговидных поступков», бранились ревнивые мужья и давалась клятва не ходить никогда более на охоту, — никогда! Даже и двадцать девятого июня.

Темпераменты
(По последним выводам науки)

Сангвиник. Все впечатления действуют на него легко и быстро: отсюда, говорит Гуфеланд, происходит легкомыслие… В молодости он bebe[12] и Spitzbube[13]. Грубит учителям, не стрижется, не бреется, носит очки и пачкает стены. Учится скверно, но курсы оканчивает. Родителей не почитает. Когда богат, франтит; будучи же убогим, живет по-свински. Спит до двенадцати часов, ложится в неопределенное время. Пишет с ошибками. Для любви одной природа его на свет произвела: только тем и занимается, что любит. Всегда не прочь нализаться до положения риз; напившись вечером до зеленых чертиков, утром встает как встрепанный, с чуть заметной тяжестью в голове, не нуждаясь в «similia similibus curantur»[14]. Женится нечаянно. Вечно воюет

---

[12] Примечания: 12
Малыш (фр.).

[13] Примечания: 13
Плут (нем.).

[14] Примечания: 14
«Подобное лечится подобным» (лат.).

с тещей. С родней в ссоре. Врет напропалую. Ужасно любит скандалы и любительские спектакли. В оркестре он — первая скрипка. Будучи легкомысленен, либерален. Или вовсе никогда ничего не читает, или же читает запоем. Газеты любит и сам не прочь погазетничать. Почтовый ящик юмористических журналов выдуман исключительно для одних только сангвиников. Постоянен в своем непостоянстве. На службе он чиновник особых поручений или что-либо подобное. В гимназии преподает словесность. Редко дослуживается до действительного статского советника; дослужившись же, делается флегматиком и иногда холериком. Шалопаи, прохвосты и брандахлысты — сангвиники. Спать в одной комнате с сангвиником не рекомендуется: всю ночь анекдоты рассказывает, а за неимением анекдотов, ближних осуждает или врет. Умирает от болезней органов пищеварения и преждевременного истощения.

Женщина-сангвиник — самая сносная женщина, если она не глупа.

Холерик. Желчен и лицом желто-сер. Нос несколько крив, и глаза ворочаются в орбитах, как голодные волки в тесной клетке. Раздражителен. За укушение блохи или укол булавкой готов

разорвать на клочки весь свет. Когда говорит, брызжет и показывает свои коричневые или очень белые зубы. Глубоко убежден, что зимой «черт знает как холодно», а летом «черт знает как жарко…». Еженедельно меняет кухарок. Обедая, чувствует себя очень скверно, потому что все бывает пережарено, пересолено… Большею частью холостяк, а если женат, то запирает жену на замок. Ревнив до чертиков. Шуток не понимает. Все терпеть не может. Газеты читает только для того, чтобы ругнуть газетчиков. Еще во чреве матери был убежден в том, что все газеты врут. Как муж и приятель — невозможен; как подчиненный — едва ли мыслим; как начальник — невыносим и весьма нежелателен. Нередко, к несчастью, он педагог: преподает математику и греческий язык. В одной комнате спать с ним не советую: всю ночь кашляет, харкает и громко бранит блох. Услышав ночью пение котов или петухов, кашляет и дребезжащим голосом посылает лакея на крышу поймать и во что бы то ни стало задушить певца. Умирает от чахотки или болезней печени.

Женщина-холерик — черт в юбке, крокодил.

Флегматик. Милый человек (я говорю, разумеется, не про англичанина, а про российского флегматика). Наружность самая обыкновенная,

топорная.

Вечно серьезен, потому что лень смеяться. Ест когда и что угодно; не пьет, потому что боится кондрашки, спит 20 часов в сутки. Непременный член всевозможных комиссий, заседаний и экстренных собраний, на которых ничего не понимает, дремлет без зазрения совести и терпеливо ожидает конца. Женится в 30 лет при помощи дядюшек и тетушек. Самый удобный для женитьбы человек: на все согласен, не ропщет и покладист. Жену величает душенькой. Любит поросеночка с хреном, певчих, все кисленькое и холодок. Фраза «Vanitas vanitatum et omnie vanitas»[15] (Чепуха чепух и всяческая чепуха) выдумана флегматиком. Бывает болен только тогда, когда его избирают в присяжные заседатели. Завидев толстую бабу, кряхтит, шевелит пальцами и старается улыбнуться. Выписывает «Ниву» и сердится, что в ней не раскрашивают картинок и не пишут смешного. Пишущих считает людьми умнейшими и в то же время вреднейшими. Жалеет, что его детей не секут в гимназии, и сам иногда не прочь посечь. На службе счастлив. В оркестре он — контрабас, фагот, тромбон. В театре

---

[15] Примечания: 15
«Суета сует и всяческая суета» (лат.).

— кассир, лакей, суфлер и иногда pour manger[16] актер. Умирает от паралича или водянки.

Женщина-флегматик — это слезливая, пучеглазая, толстая, крупичатая, сдобная немка. Похожа на куль с мукою. Родится, чтобы со временем стать тещей. Быть тещей — ее идеал.

Меланхолик. Глаза серо-голубые, готовые прослезиться. На лбу и около носа морщинки. Рот несколько крив. Зубы черные. Склонен к ипохондрии. Вечно жалуется на боль под ложечкой, колотье в боку и плохое пищеварение. Любимое занятие — стоять перед зеркалом и рассматривать свой вялый язык. Думает, что слаб грудью и нервен, а потому ежедневно пьет вместо чая декокт и вместо водки — жизненный эликсир. С прискорбием и со слезами в голосе уведомляет своих ближних, что лавровишневые и валериановые капли ему уже не помогают… Полагает, что раз в неделю не мешало бы принимать слабительное. Давно уже порешил, что его не понимают доктора. Знахари, знахарки, шептуны, пьяные фельдшера, иногда повивальные бабки — первые его благодетели. Шубу надевает в сентябре, снимает в мае. В каждой собаке подо-

---

[16] Примечания: 16
Ради хлеба (фр.).

зревает водобоязнь, а с тех пор как его приятель сообщил ему, что кошка в состоянии задушить спящего человека, видит в кошках непримиримых врагов человечества. Духовное завещание у него давно уже готово. Божится и клянется, что ничего не пьет. Изредка пьет теплое пиво. Женится на сиротке. Тещу, если она у него есть, величает прекраснейшей и мудрейшей особой; наставления ее выслушивает молча, склонив голову набок; целовать ее пухлые, потные, пахнущие огуречным рассолом руки считает своей священнейшей обязанностью. Ведет деятельную переписку с дяденьками, тетеньками, крестной мамашей и друзьями детства. Газет не читает. Читал когда-то «Московские ведомости», но, чувствуя при чтении этой газеты тяжесть под ложечкой, сердцебиение и муть в глазах, он бросил ее. Втихомолку читает Дебе и Жозана. Во время ветлянской чумы пять раз говел. Страдает слезотечением и кошмарами. На службе не особенно счастлив: далее помощника столоначальника не дотянет. Любит «Лучинушку». В оркестре он — флейта и виолончель.



Вздыхает день и ночь, а потому спать с ним в одной комнате не советую. Предчувствует потопы, землетрясение, войну, конечное падение нравственности и собственную смерть от какой-нибудь ужасной болезни. Умирает от пороков сердца, лечения знахарей и зачастую от ипохондрии.

Женщина-меланхолик — невыносимейшее,

беспокойнейшее существо. Как жена — доводит до отупения, до отчаяния и самоубийства. Тем только и хороша, что от нее избавиться нетрудно: дайте ей денег и спровадьте ее на богомолье.

Холерико-меланхолик. Во дни юности был сангвиником. Черная кошка перебежала дорогу, черт ударил по затылку, и сделался он холерико-меланхоликом. Я говорю о известнейшем, бессмертнейшем соседе редакции «Зрителя». Девяносто девять процентов славянофилов — холерико-меланхолики. Непризнанный поэт, непризнанный pater patriae[17], непризнанный Юпитер и Демосфен… и т. д. Рогатый муж. Вообще всякий крикливый, но не сильный.

[17] Примечания: 17
Отец отечества (лат.).

В вагоне

Почтовый поезд номер такой-то мчится на всех парах от станции «Веселый Трах-Тарарах» до станции «Спасайся, кто может!». Локомотив свистит, шипит, пыхтит, сопит… Вагоны дрожат и своими неподмазанными колесами воют волками и кричат совами. На небе, на земле и в вагонах тьма… «Что-то будет! что-то будет!» — стучат дрожащие от старости лет вагоны… «Огого-гого-о-о!» — подхватывает локомотив… По вагонам вместе с карманолюбцами гуляют сквозные ветры. Страшно… Я высовываю свою голову в окно и бесцельно смотрю в бесконечную даль. Все огни зеленые: скандал, надо полагать, еще не скоро. Диска и станционных огней не видно… Тьма, тоска, мысль о смерти, воспоминания детства… Боже мой!

— Грешен! — шепчу я. — Ох, как грешен!..

Кто-то лезет в мой задний карман. В кармане нет ничего, но все-таки ужасно… Я оборачиваюсь. Предо мной незнакомец. На нем соломенная шляпа и темно-серая блуза.

— Что вам угодно? — спрашиваю я его, ощупывая свои карманы.

— Ничего-с! Я в окно смотрю-с! — отвечает он, отдергивая руку и налегая мне на спину.

Слышен сиплый пронзительный свист… Поезд начинает идти все тише и тише и наконец останавливается. Выхожу из вагона и иду к буфету выпить для храбрости. У буфета теснится публика и поездная бригада.

— Гм… Водка, а не горько! — говорит солидный обер-кондуктор, обращаясь к толстому господину. Толстый господин хочет что-то сказать и не может: поперек горла остановился у него годовалый бутерброд.

— Жиндаррр!!! Жиндаррр!!! — кричит кто-то на плацформе таким голосом, каким во время оно, до потопа, кричали голодные мастодонты, ихтиозавры и плезиозавры… Иду посмотреть, в чем дело… У одного из вагонов первого класса стоит господин с кокардой и указывает публике на свои ноги. С несчастного, в то время когда он спал, стащили сапоги и чулки…

— В чем же я поеду теперь? — кричит он. — Мне до Ррревеля ехать! Вы должны смотреть!

Перед ним стоит жандарм и уверяет его, что «здесь кричать не приходится»… Иду в свой вагон № 224. В моем вагоне все то же: тьма, храп, табачный и сивушный запахи, пахнет русским духом.

Возле меня храпит рыженький судебный следователь, едущий в Киев из Рязани… В двух-трех шагах от следователя дремлет хорошенькая… Крестьянин, в соломенной шляпе, сопит, пыхтит, переворачивается на все бока и не знает, куда положить свои длинные ноги… Кто-то в углу закусывает и чамкает во всеуслышание… Под скамьями спит богатырским сном народ. Скрипит дверь. Входят две сморщенные старушонки с котомками на спинах…

— Сядем сюда, мать моя! — говорит одна. — Темень-то какая! Искушение да и только… Никак наступила на кого… А где Пахом?

— Пахом? Ах, батюшти! Где ж это он? Ах, батюшти!

Старушонка суетится, отворяет окно и осматривает плацформу.

— Пахо-ом! — дребезжит она. — Где ты? Пахом! Мы тутотко!

— У меня беда-а! — кричит голос за окном. — В машину не пущают!

— Не пущают? Который это не пущает? Плюнь! Не может тебя никто не пустить, ежели у тебя настоящий билет есть!

— Билеты уже не продают!



Касс заперли!

По плацформе кто-то ведет лошадь. Топот и фырканье.

— Сдай назад! — кричит жандарм. — Куда лезешь? Чего скандалишь?

— Петровна! — стонет Пахом.

Петровна сбрасывает с себя узел, хватает в руки большой жестяной чайник и выбегает из вагона.

Бьет второй звонок. Входит маленький кондуктор с черными усиками.

— Вы бы взяли билет! — обращается он к старцу, сидящему против меня. — Контролер здесь!

— Да? Гм… Это нехорошо… Какой?.. Князь?

— Ну… Князя сюда и палками не загонишь.

— Так кто же? С бородой?

— Да, с бородой…

— Ну, коли этот, то ничего. Он добрый человек.

— Как хотите.

— А много зайцев едет?

— Душ сорок будет.

— Ннно? Моллодцы! Ай да коммерсанты!

Сердце у меня сжимается. Я тоже зайцем еду. Я всегда езжу зайцем. На железных дорогах зайцами называются гг. пассажиры, затрудняющие разменом денег не кассиров, а кондукторов. Хорошо, читатель, ездить зайцем! Зайцам полагается,

по нигде еще не напечатанному тарифу, 75 % уступки, им не нужно толпиться около кассы, вынимать ежеминутно из кармана билет, с ними кондуктора вежливее и… все что хотите, одним словом!

— Чтоб я заплатил когда-нибудь и что-нибудь?! — бормочет старец. — Да никогда! Я плачу кондуктору. У кондуктора меньше денег, чем у Полякова!

Дребезжит третий звонок.

— Ах, матушки! — хлопочет старушонка. — Где ж это Петровна? Ведь вот уж и третий звонок! Наказание божие… Осталась! Осталась бедная. А вещи ее тут… Што с вещами-то делать, с сумочкой? Родимые мои, ведь она осталась!

Старушонка на минуту задумывается.

— Пущай с вещами остается! — говорит она и бросает сумочку Петровны в окно.

Едем к станции Халдеево, а по путеводителю «Фрум-Общая Могила». Входят контролер и обер-кондуктор со свечой.

— Вашшш… билеты! — кричит обер-кондуктор.

— Ваш билет! — обращается контролер ко мне и к старцу.

Мы ежимся, сжимаемся, прячем руки и впи-

ваемся глазами в ободряющее лицо обер-кондуктора.

— Получите! — говорит контролер своему спутнику и отходит. Мы спасены.

— Ваш билет! Ты! Ваш билет! — толкает обер-кондуктор спящего парня. Парень просыпается и вынимает из шапки желтый билетик.

— Куда же ты едешь? — говорит контролер, вертя между пальцами билет. — Ты не туда едешь!

— Ты, дуб, не туда едешь! — говорит обер-кондуктор. — Ты не на тот поезд сел, голова! Тебе нужно на Живодерово, а мы едем на Халдеево! Вааазьми! Вот не нужно быть никогда дураком!

Парень усиленно моргает глазами, тупо смотрит на улыбающуюся публику и начинает тереть рукавом глаза.

— Ты не плачь! — советует публика. — Ты лучше попроси! Такой здоровый болван, а ревешь! Женат небось, детей имеешь.

— Вашшшш… билет!.. — обращается обер-кондуктор к косарю в цилиндре.

— Га?

— Вашшшш… билеты! Поворачивайся!

— Билет? Нешто нужно?

— Билет!!!

— Понимаем… Отчего не дать, коли нужно?

Даадим! — Косарь в цилиндре лезет за пазуху и со скоростью двух с половиною вершков в час вытаскивает оттуда засаленную бумагу и подает ее контролеру.

— Кого даешь? Это паспорт! Ты давай билет!

— Другого у меня билета нету! — говорит косарь, видимо, встревоженный.

— Как же ты едешь, когда у тебя нет билета?

— Да я заплатил.

— Кому ты заплатил? Что врешь?

— Кондухтырю.

— Какому?

— А шут его знает какому! Кондухтырю, вот и все… Не бери, говорил, билета, мы тебя и так провезем… Ну, я и не взял…

— А вот мы с тобой на станции поговорим! Мадам, ваш билет!

Дверь скрипит, отворяется, и, ко всеобщему нашему удивлению, входит Петровна.

— Насилу, мать моя, нашла свой вагон… Кто их разберет, все одинаковые… А Пахома так и не впустили, аспиды… Где моя сумочка?

— Гм… Искушение… Я тебе ее в окошко выбросила! Я думала, что ты осталась!

— Куда бросила?

— В окно… Кто ж тебя знал?

— Спасибо… Кто тебя просил? Ну да и ведьма, прости господи! Что теперь делать? Своей не бросила, паскуда… Морду бы свою ты лучше выбросила! Аааа… штоб тебе повылазило!

— Нужно будет со следующей станции телеграфировать! — советует смеющаяся публика.

Петровна начинает голосить и нечестиво браниться. Ее подруга держится за свою суму и также плачет… Входит кондуктор.

— Чьи веш-ш-ш…чи! — выкрикивает он, держа в руках вещи Петровны.

— Хорошенькая! — шепчет мне мой vis-a-vis старец, кивая на хорошенькую. — Г-м-м-м… хорррошенькая… Черт подери, хлороформу нет! Дал бы ей понюхать, да и целуй во все лопатки! Благо все спят!..

Соломенная шляпа ворочается и во всеуслышание сердится на свои непослушные ноги.

— Ученые… — бормочет он. — Ученые… Небось, против естества вещей и предметов не пойдешь!.. Ученые… гм… Небось не сделают так, чтоб ноги можно было отвинчивать и привинчивать по произволению!

— Я тут ни при чем… Спросите товарища прокурора! — бредит мой сосед-следователь.

В дальнем углу два гимназиста, унтер-офицер

и молодой человек в синих очках при свете четырех папирос жарят в картеж…

Направо от меня сидит высокая барыня из породы «само собою разумеется». От нее разит пудрой и пачулями.

— Ах, что за прелесть эта дорога! — шепчет над ее ухом какой-то гусь, шепчет приторно до… до отвращения, как-то французисто выговаривая буквы «г», «н» и «р». — Нигде так быстро и приятно не бывает сближение, как в дороге! Люблю тебя, дорога!

Поцелуй… Другой… Черт знает что! Хорошенькая просыпается, обводит глазами публику и… бессознательно кладет головку на плечо соседа, жреца Фемиды… а он, дурак, спит!

Поезд останавливается. Полустанок.

— Поезд стоит две минуты… — бормочет сиплый, надтреснутый бас вне вагона. Проходят две минуты, проходят еще две… Проходит пять, десять, двадцать, а поезд все еще стоит. Что за черт? Выхожу из вагона и направляюсь к локомотиву.

— Иван Матвеич! Скоро ж ты, наконец? Черт! — кричит обер-кондуктор под локомотив.

Из-под локомотива выползает на брюхе машинист, красный, мокрый, с куском сажи на носу.



— У тебя есть бог или нет? — обращается он к обер-кондуктору. — Ты человек или нет? Что подгоняешь? Не видишь, что ли? Ааа... чтоб вам всем повылазило!.. Разве это локомотив? Это не локомотив, а тряпка! Не могу я везти на нем!

— Что же делать?

— Делай что хочешь! Давай другой, а на этом не поеду! Да ты войди в положение.

Помощники машиниста бегают вокруг неис-

правного локомотива, стучат, кричат… Начальник станции в красной фуражке стоит возле и рассказывает своему помощнику анекдоты из превеселого еврейского быта… Идет дождь… Направляюсь в вагон… Мимо мчится незнакомец в соломенной шляпе и темно-серой блузе…

В его руках чемодан. Чемодан этот мой…

Боже мой!

Суд

Изба Кузьмы Егорова, лавочника. Душно, жарко. Проклятые комары и мухи толпятся около глаз и ушей, надоедают… Облака табачного дыму, но пахнет не табаком, а соленой рыбой. В воздухе, на лицах, в пении комаров тоска.

Большой стол; на нем блюдечко с ореховой скорлупой, ножницы, баночка с зеленой мазью, картузы, пустые штофы. За столом восседают: сам Кузьма Егоров, староста, фельдшер Иванов, дьячок Феофан Манафуилов, бас Михайло, кум Парфентий Иваныч и приехавший из города в гости к тетке Анисье жандарм Фортунатов. В почтительном отдалении от стола стоит сын Кузьмы Егорова, Серапион, служащий в городе в парикмахерской и теперь приехавший к отцу на праздники. Он чувствует себя очень неловко и дрожащей рукой теребит свои усики. Избу Кузьмы Егорова временно нанимают для медицинского «пункта», и теперь в передней ожидают расслабленные. Сейчас только привезли откуда-то бабу с поломанным ребром. Она лежит, стонет и ждет, когда, наконец, фельдшер обратит на нее свое благосклонное внимание. Под окнами

толпится народ, пришедший посмотреть, как Кузьма Егоров своего сына пороть будет.

— Вы все говорите, что я вру, — говорит Серапион, — а потому я с вами говорить долго не намерен. Словами, папаша, в девятнадцатом столетии ничего не возьмешь, потому что теория, как вам самим небезызвестно, без практики существовать не может.

— Молчи! — говорит строго Кузьма Егоров. — Материй ты не разводи, а говори нам толком: куда деньги мои девал?

— Деньги? Гм… Вы настолько умный человек, что сами должны понимать, что я ваших денег не трогал. Бумажки свои вы не для меня копите… Грешить нечего…

— Вы, Серапион Косьмич, будьте откровенны, — говорит дьячок. — Ведь мы вас для чего это спрашиваем? Мы вас убедить желаем, на путь наставить благой. Папашенька ваш ничего вам, окроме пользы вашей… И нас вот попросил… Вы откровенно. Кто не грешен? Вы взяли у вашего папаши двадцать пять рублей, что у них в комоде лежали, или не вы?

Серапион сплевывает в сторону и молчит.

— Говори же! — кричит Кузьма Егоров и стучит кулаком о стол. — Говори: ты или не ты?

— Как вам угодно-с… Пускай.

— Пущай, — поправляет жандарм.

— Пущай это я взял… Пущай! Только напрасно вы, папаша, на меня кричите. Стучать тоже не для чего. Как ни стучите, а стола сквозь землю не провалите. Денег ваших я никогда у вас не брал, а ежели брал когда-нибудь, то по надобности… Я живой человек, одушевленное имя существительное, и мне деньги нужны. Не камень!..

— Поди да заработай, коли деньги нужны, а меня обирать нечего. Ты у меня не один, у меня вас семь человек!

— Это я и без вашего наставления понимаю, только по слабости здоровья, как вам самим это известно, заработать, следовательно, не могу. А что вы меня сейчас куском хлеба попрекнули, так за это самое вы перед господом богом отвечать станете…

— Здоровьем слаб!.. Дело у тебя небольшое, знай себе стриги да стриги, а ты и от этого дела бегаешь.

— Какое у меня дело? Разве это дело? Это не дело, а одно только поползновение. И образование мое не такое, чтоб я этим делом мог существовать.

— Неправильно вы рассуждаете, Серапион Косьмич, — говорит дьячок. — Ваше дело почтен-

ное, умственное, потому вы служите в губернском городе, стрижете и бреете людей умственных, благородных. Даже генералы, и те не чуждаются вашего ремесла.

— Про генералов, ежели угодно, я и сам могу вам объяснить.

Фельдшер Иванов слегка выпивши.

— По нашему медицинскому рассуждению, — говорит он, — ты скипидар и больше ничего.

— Мы вашу медицину понимаем… Кто, позвольте вас спросить, в прошлом годе пьяного плотника, вместо мертвого тела, чуть не вскрыл? Не проснись он, так вы бы ему живот распороли. А кто касторку вместе с конопляным маслом мешает?

— В медицине без этого нельзя.

— А кто Маланью на тот свет отправил? Вы дали ей слабительного, потом крепительного, а потом опять слабительного, она и не выдержала. Вам не людей лечить, а, извините, собак.

— Маланье царство небесное, — говорит Кузьма Егоров. — Ей царство небесное. Не она деньги взяла, не про нее и разговор… А вот ты скажи… Алене отнес?

— Гм… Алене!.. Постыдились бы хоть при духовенстве и при господине жандарме.

— А вот ты говори: ты взял деньги или не ты?

Староста вылезает из-за стола, зажигает о колено спичку и почтительно подносит ее к трубке жандарма.

— Ффф… — сердится жандарм. — Серы полный нос напустил!

Закурив трубку, жандарм встает из-за стола, подходит к Серапиону и, глядя на него со злобой и в упор, кричит пронзительным голосом:

— Ты кто таков? Ты что же это? Почему так? А? Что же это значит? Почему не отвечаешь? Неповиновение? Чужие деньги брать? Молчать! Отвечай! Говори! Отвечай!

— Ежели…

— Молчать!

— Ежели… Вы потише-с! Ежели… Не боюсь! Много вы об себе понимаете! А вы — дурак, и больше ничего! Ежели папаше хочется меня на растерзание отдать, то я готов… Терзайте! Бейте!

— Молчать! Не ра-а-азговаривать! Знаю твои мысли! Ты вор? Кто таков? Молчать! Перед кем стоишь? Не рассуждать!

— Наказать-с необходимо, — говорит дьячок и вздыхает. — Ежели они не желают облегчить вину свою сознанием, то необходимо, Кузьма Егорыч, посечь. Так я полагаю: необходимо!

— Влепить! — говорит бас Михайло таким низким голосом, что все пугаются.

— В последний раз: ты или нет? — спрашивает Кузьма Егоров.

— Как вам угодно-с… Пущай… Терзайте! Я готов…

— Выпороть! — решает Кузьма Егоров и, побагровев, вылезает из-за стола.

Публика нависает на окна. Расслабленные толпятся у дверей и поднимают головы. Даже баба с переломленным ребром, и та поднимает голову…

— Ложись! — говорит Кузьма Егоров.

Серапион сбрасывает с себя пиджачок, крестится и со смирением ложится на скамью.

— Терзайте, — говорит он.

Кузьма Егоров снимает ремень, некоторое время глядит на публику, как бы выжидая, не поможет ли кто, потом начинает…

— Раз! Два! Три! — считает Михайло низким басом. — Восемь! Девять!

Дьячок стоит в уголку и, опустив глазки, перелистывает книжку…

— Двадцать! Двадцать один!

— Довольно! — говорит Кузьма Егоров.

— Еще-с!.. — шепчет жандарм Фортунатов. —

Еще! Еще! Так его!

— Я полагаю: необходимо еще немного! — говорит дьячок, отрываясь от книжки.

— И хоть бы пискнул! — удивляется публика.

Больные расступаются, и в комнату, треща накрахмаленными юбками, входит жена Кузьмы Егорова.

— Кузьма! — обращается она к мужу. — Что это у тебя за деньги я нашла в кармане? Это не те, что ты давеча искал?

— Оне самые и есть… Вставай, Серапион! Нашлись деньги! Я положил их вчерась в карман и забыл…

— Еще-с! — бормочет Фортунатов. — Влепить! Так его!

— Нашлись деньги! Вставай!

Серапион поднимается, надевает пиджачок и садится за стол. Продолжительное молчание. Дьячок конфузится и сморкается в платочек.

— Ты извини, — бормочет Кузьма Егоров, обращаясь к сыну. — Ты не того… Черт же его знал, что они найдутся! Извини…

— Ничего-с. Нам не впервой-с… Не беспокойтесь. Я на всякие мучения всегда готов.

— Ты выпей… Перегорит…

Серапион выпивает, поднимает вверх свой

синий носик и богатырем выходит из избы. А жандарм Фортунатов долго потом ходит по двору, красный, выпуча глаза, и говорит:

— Еще! Еще! Так его!

Контора объявлений Антоши Ч

для удобства гг. публикующих арендовала в «Зрителе» на 1881 год отдел для помещений реклам и публикаций разного рода.

АРТЕЛЬ ТЕАТРАЛЬНЫХ БАРЫШНИКОВ

Сим имеет честь уведомить, что, для удобства публики, она избрала своим местопребыванием портерную, близ театра. Ввиду предстоящего приезда знаменитой Сары Бернар, вошла в соглашение с кем следует и предлагает услуги.

ДОКТОР ЧЕРТОЛОБОВ

Специалист по женским, мужским, детским, грудным, спинным, шейным, затылочным и многим другим болезням. Принимает ежедневно с 7 ч. утра до 12 ч. ночи. Бедных лечит 30-го февраля, 31-го апреля и 31-го июня бесплатно и 29-го февраля с большой уступкой. Молчановка, Гавриков пер., собственный дом.

В КНИЖНОМ МАГАЗИНЕ «НОВОГО ВРЕМЕНИ»

поступили в продажу следующие книги:

В интересном положении. Роман в 4 ч. Морского. Цена 5 р. 23 к.

Памяти д-ра Дебе, брошюра, его же.

Свиной хлев, устройство оного и его обитатели, соч. ритора Ев. Львова.

Я не был на юбилее, лирическое стихотворение, его же.

Туда ему и дорога! Ода иезуита Тараканчио и социуса его Цитовича. Ц. 30 к.

В облаках, роман Андрея Печерского в 14 ч. (Продолжение «На горах» и «В лесах».)

Газетчики и кумовство, соч. прогоревшего редактора.

Славянофило-русский словарь. 40 000 слов, необходимых для чтения «Руси».

!!!ДЕСЯТЬ ПРОЦЕНТОВ!!!

из 10 000 годового дохода гг. врачам, желающим войти со мною в комиссию.

ГРОБОВЫХ ДЕЛ МАСТЕР ЧЕРЕПОВ

Имеются готовые гробы всевозможных сортов. Для умирающих оптом уступка. Прошу гг. умирающих остерегаться подделок.

НУЖНА КУХАРКА

трезвая, умеющая стирать и не сотрудничающая в одном Листке. Большая Ордынка, Замоскворецкий пер., д. поручика Негодяева.

ТРИХИНЫ БЕЗ КОЛБАС
можно получать в магазине купца Махаметова, в Охотном ряду.

ПРИСЯЖНЫЙ
ПОВЕРЕННЫЙ И. Н. МОШЕННИКОВ
ведет дела. На случай обвинительного приговора предлагает залог.

Потеряв всякую надежду выйти замуж, продаю свое приданое.
Егорушка! Иди, возьми меня! Девица Невиннова.



ЯСНОВИДЯЩАЯ С ЦВЕТНОГО БУЛЬВАРА

имеет честь уведомить гг. редакторов, что ей известно, сколько имеют и сколько будут иметь подписчиков любой журнал в будущем 1882 году. Плата за одно слово — рубль.

ДУШЕПРИКАЗЧИКИ КУПЦА ВИСЛЯЕВА

имеют честь уведомить, что 10 рублей, остав-

ленные покойным для выдачи тому, кто напишет невозможно глупую комедию, выданы 15 ноября автору комедии «Город упраздняется».

Тысяча сто сорок четыре издателя «Русской газеты» с глубоким прискорбием извещают своих дядюшек, тетушек, читателей и сотрудников об безвозвратной кончине своего любезного детища «Русской газеты», последовавшей после тяжкого и продолжительного тления. Погребения, за неимением благодетелей, не будет. Тело покойной сдано в анатомический театр. Вскрытие обнаружило атрофию мозга и голодную смерть. Бренные остатки наспиртованы и отправлены, как препарат, в секретное отделение музея Винклера, на Цветном бульваре.



В МУЗЕЕ ВИНКЛЕРА,

на Цветном бульваре, кроме всевозможной чепухи стран Старого и Нового Света, показываются

еще и следующие редкости:

1) Театральная карета, сооруженная в 1343 году. Вмещает в себе 26 балерин, 8 благородных отцов и 5 комических старух. Никуда не годна, но величественна. Верх проломан, на прошлой неделе, перед репетицией, воробьем, севшим на карету, дабы воспользоваться ватой, выпавшей из шапки возницы.

2) Две театральные лошади, впряженные в означенную карету, неопределенной масти, безгривые, бесхвостые, с винтообразными ногами. Одной 84 года, другой — 67. На одной из них в 1812 году был взят в плен французский генерал, маркиз Бланманже. Питаются соломой и бурьяном. Говорят, что это лучшие из театральных лошадей. Для скачек едва ли годны… Театральное дело любят и (o, equina simplicitas![18]) считают себя непременными членами артистической корпорации.

3) Портрет иезуита Цитовича в монашеской одежде. Уста раскрыты, и правая рука внушительно поднята вверх. Под ним подпись: «Veni, vidi, non vici[19], взял и… разумеется, ушел. Homo

---

[18] Примечания: 18
О, лошадиная простота! (лат.).

[19] Примечания: 19
Пришел, увидел, но не победил (лат.).

maximissimus»[20].

4) Аполлон Бельведерский. Перл искусства. Приобретен за 10 000 руб. Принимая во внимание, что наш музей посещают иногда mesdames, mesdemoiselles и юноши моложе 25 лет, мы, в видах нравственности, по совету г. инспектора училища живописи, нарядили статую в фрачную пару. Одевал Айе, цилиндр от Поша и обувь от Львова.

5) Сети, в кои увлекла развратного Антония прекрасная Клеопатра.

6) Белая крыса (stultum animal[21]), 1 ¼ фута роста. Редкий экземпляр. Найдена в 1880 году запеченной в филипповском калаче. Наспиртованный препарат. Новинка для молодых зоологов.

ЗУБНОЙ ВРАЧ ЛУМПЕНМАК

Показывает публике зубы. Ахахаевский проезд, дом № 35 ½.

---

[20] Примечания: 20
Величайший человек (лат.).

[21] Примечания: 21
Глупое животное (лат.).

И то и се
(Поэзия и проза)

Прекрасный морозный полдень. Солнце играет в каждой снежинке. Ни туч, ни ветра. На бульварной скамье сидит парочка.

— Я вас люблю! — шепчет он.

На ее щечках играют розовые амурчики.

— Я вас люблю! — продолжает он… — Увидев впервые вас, я понял, для чего я живу, я узнал цель моей жизни! Жизнь с вами — или абсолютное небытие! Дорогая моя! Марья Ивановна! Да или нет? Маня! Марья Ивановна… Люблю… Манечка… Отвечайте, или же я умру! Да или нет?

Она поднимает на него свои большие глаза. Она хочет сказать ему: «да». Она раскрывает свой ротик.

— Ах! — вскрикивает она.

На его белоснежных воротничках, обгоняя друг друга, бегут два большущие клопа… О, ужас!..

* * *

«Милая маменька, — писал некий художник своей маменьке. — Еду к Вам! В четверг утром я

буду иметь счастье прижимать Вас к своей полной любовью груди! Чтобы продолжить сладость свидания, я везу с собой… Кого? Угадайте! Нет, не угадаете, маменька! Не угадаете! Я везу с собой чудо красоты, перл человеческого искусства! Везу я (вижу Вашу улыбку) Аполлона Бельведерского!..»

«Милый Колечка! — отвечала маменька. — Очень рада, что ты едешь. Господь тебя благословит! Сам приезжай, а господина Бельведерского не вези с собой, нам и самим есть нечего!..»

* * *

Воздух полон запахов, располагающих к неге: пахнет сиренью, розой; поет соловей, солнце светит… и так далее.

В городском саду, на скамеечке, под широкой акацией сидит гимназист восьмого класса, в новеньком мундирчике, с пенсне на носу и с усиками. Возле него хорошенькая. Гимназист держит ее за руку, дрожит, бледнеет, краснеет и шепчет слова любви.

— О, я люблю вас! О, если б вы знали, как я люблю вас!

— И я люблю! — шепчет она.

Гимназист берет ее за талию.

— О жизнь! Как хороша ты! Я утону, захлебнусь

в счастье! Прав был Платон, сказавший, что… Один только поцелуй! Оля! Поцелуй — и больше ничего на свете.

Она томно опускает глазки. О, и она жаждет поцелуя! Его губы тянутся к ее розовым губкам. Соловей поет еще громче…

— Идите в класс! — раздается дребезжащий тенор над головою гимназиста.

Гимназист поднимает голову, и с его головы сваливается кепи… Перед ним инспектор…

— Идите в класс!

— Кгм… Теперь большая перемена, Александр Федорович!..

— Идите! У вас теперь латинский урок! Останетесь сегодня на два часа!

Гимназист встает, надевает кепи и идет… идет и чувствует на своей спине ее большие глаза… Вслед за ним семенит инспектор…

* * *

На сцене дают «Гамлета».

— Офелия! — кричит Гамлет. — О, нимфа! Помяни мои грехи…

— У вас правый ус оторвался! — шепчет Офелия.

— Помяни мои грехи… А?

— У вас правый ус оторвался!

— Прррроклятие!.. в твоих святых молитвах…

* * *

Наполеон I приглашает на бал во дворец маркизу де Шальи.

— Я приеду с мужем, ваше величество! — говорит m-me Шальи.

— Приезжайте одни, — говорит Наполеон. — Я люблю хорошее мясо без горчицы.

И то и се
(Письма и телеграммы)

Телеграмма

Целую неделю пью за здоровье Сары. Восхитительно! Стоя умирает. Далеко нашим до парижан. В кресле сидишь, как в раю. Маньке поклон. Петров.

* * *

Телеграмма

Поручику Егорову. Иди возьми у меня билет. Больше не пойду. Чепуха. Ничего особенного. Пропали только деньги.

* * *

От доктора медицины Клопзона

к доктору медицины Ферфлюхтершвейн

Товарищ! Вчера я видел С. Б. Грудь паралитическая, плоская. Костный и мышечный скелеты развиты неудовлетворительно. Шея до того длинна и худа, что видны не только venae jugulares[22],

---

[22] Примечания: 22
Яремные вены (лат.).

но даже и arteriae carotides[23]. Musculi stemocleido-mastoidei[24] едва заметны. Сидя во втором ряду, я слышал анемические шумы в ее венах. Кашля нет. На сцене ее кутали, что дало мне повод заключить, что у нее лихорадка. Констатирую anaemia[25] и atrophia musculorum[26]. Замечательно. Слезные железы у нее отвечают на волевые стимулы. Слезы капали из ее глаз, и на ее носу замечалась гиперемия, когда ей, согласно театральным законам, нужно было плакать.

* * *

От Нади N. к Кате X.

Милая Катя! Вчера я была в театре и видела там Сару Бирнар. Ах Катечка сколько у нее брилиянтов! Я всю ночь проплакала от мысли, что у меня никогда не будит столько брилиянтов. О платьи ее передам на словах… Как бы я желала быть Сарой Бирнар. На сцене пили настоящее шинпан-

---

[23] Примечания: 23
Сонные артерии (лат.).

[24] Примечания: 24
Мышцы грудно-ключично-сосковые (лат.).

[25] Примечания: 25
Малокровие (лат.).

[26] Примечания: 26
Истощение мышц (лат.).

ское! очень странно Катя я говорю отлично по французски но ничего не поняла что говорили на сцене актеры говорили как то иначе. Я сидела… в галерке мой урод не мог достать другого билета. Урод! жалею что я в понедельник была холодна с С. тот бы достал в партер. С. за поцелуй готов на все. На зло уроду завтра же у нас будет С. достанет билет тебе и мне.

Твоя Н.

* * *

От редактора к сотруднику

Иван Михайлович! Ведь это свинство! Шляетесь каждый вечер в театр с редакционным билетом и в то же время не несете ни одной строчки. Что же вы ждете? Сегодня Сара Бернар злоба дня, сегодня про нее и писать нужно. Поспешите, ради бога!

Ответ: Я не знаю, что вам писать. Хвалить? Подождем, пока что другие напишут. Время не уйдет.

Ваш Х.

Буду сегодня в редакции. Приготовьте денег. Если вам жалко билета, то пришлите за ним.

* * *

Письмо г-жи N. к тому же сотруднику

Вы душка, Иван Михайлыч! Спасибо за билет. На Сару насмотрелась и приказываю вам ее похвалить. Спросите в редакции, можно ли и моей сестре сходить сегодня в театр с редакционными билетами?! Премного обяжете.

Примите и проч.

Ваша N.

Ответ. Можно… за плату, разумеется. Плата невелика: позволение явиться к вам в субботу.

* * *

К редактору от жены

Если ты не пришлешь мне сегодня билета на Сару Бернар, то не приходи домой. Для тебя, значит, твои сотрудники лучше, чем жена. Чтоб я была сегодня в театре!

* * *

От редактора к жене

Матушка! Хоть ты не лезь! У меня и без тебя ходором ходит голова с этой Сарой!

* * *

Из записной книжки капельдинера.

Нонче впустил четверых. Читирнадцать руб.

Нонче впустил пятерых. Пятнацать р.

Нонче впустил трех и одну мадам. Пятнацать руб.

* * *

…Хорошо, что я не пошел в театр и продал свой билет. Говорят, что Сара Бернард играла на французском языке. Все одно — ничего не понял бы…

Майор Ковалев.

* * *

Митя! Сделай милость, попроси как-нибудь помягче свою жену, чтобы она, сидя с нами в ложе, потише восхищалась платьями Сары Бернар. В прошлый спектакль она до того громко шептала, что я не слышал, о чем говорилось на сцене. Попроси ее, но помягче. Премного обяжешь.

Твой У.

* * *



* * *

От слависта Х. к сыну.

Сын мой!.. Я открыл свои глаза и увидел знамение разврата… Тысячи людей, русских, православных, толкующих о соединении с народом, толпами шли к театру и клали свое золото к но-

гам еврейки… Либералы, консерваторы…

* * *

Душенька! Ты мне лягушку хоть сахаром обсыпь, так я ее все равно есть не стану…

Собакевич.


SARAH · BERNHARDT

Дополнительные вопросы к личным картам статистической переписи, предлагаемые Антошей Чехонте

16) Умный вы человек или дурень?

17) Вы честный человек? мошенник? разбойник? каналья? адвокат или?

18) Какой фельетонист вам более по душе? Суворин? Буква? Амикус? Лукин? Юлий Шрейер или?

19) Иосиф вы или Калигула? Сусанна или Нана?

20) Жена ваша блондинка? брюнетка? шантретка? рыжая?

21) Бьет вас жена или нет? Вы бьете ее или нет?

22) Сколько вы весили фунтов, когда вам было десять лет?

23) Горячие напитки употребляете? да или нет?

24) О чем вы думали в ночь переписи?

25) Сару Бернар видели? нет?

Комические рекламы и объявления



ЗАЯВЛЕНИЕ ЗУБНОГО ВРАЧА ГВАЛТЕРА

До сведения моего досло, цто мои пациенты принимают недавно прибывшего зубного враца Гвалтера за меня; а потому имею цесть известить, цто я зиву в Мошкве и просу моих пациенты не смешивать меня с Гвалтером. Не он Гвалтер, а я

— Гвалтер. Вставляю зубья, продаю социненный мною толценый мел для циски зубьев и имею самую больсую вывеску. Вижиты делаю с белым галстухом.

Зубной врач при зверинце Винклера — Гвалтер.

В КНИЖНОМ МАГАЗИНЕ ЛЕУХИНА

продаются следующие ужасные книги:

Самоучитель пламенной любви, или Ах, ты, скотина! Сочинение Идиотова, цена 1 р. 80 к.

Собрание писем. Соч. доктора сквернословия Мерзавцева, ц. 4 р.

Таинственные тайны таинственной любви, или Портфель любовных наслаждений, ц. 5 р.

Словарь всех неприличных слов, употребляемых во всех странах света. Ц. 7 р.

Записки женского чулка, или **Ай да невинность**! Ц. 1 р. 50 к.

Способ совращать, обольщать, портить, разжигать и проч. Настольная книга для молодых людей. Цена 6 р. за 4 тома.

Тайны природы, или Что такое любовь? Книга для детей младшего возраста с политипажами

в тексте. Ц. 3 р. 50 к.

Выписывающим 25 % уступка. Покупающие более чем на 50 р. получают бесплатно 50 фотографических карточек и часовой ключик с панорамой.



ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1882 ГОД

на большую ежедневную политическую, литературную, коммерческую и удивительную газету

«НОВОСТИ И БИРЖЕВАЯ ГАЗЕТА»

издаваемую акционерным товариществом с основным капиталом 3 000 000 финск. мар., или около 1 200 000 р., разделенных на 3000 акций по 1000 ф. м. каждая. Газета «Новости» имеет:

собственные две писчебумажные фабрики, собственного очень остроумного редактора, собственную типографию, собственный книжный магазин и, с 1882 года, будет иметь:

собственный дом, собственную конюшню для собственных ослов, собственный дом для умалишенных, собственное долговое отделение и собственную портерную. Газета печатается на акциях вышеупомянутого товарищества.

СБЕЖАЛИ ПОДПИСЧИКИ.

Кто найдет их, тот пусть доставит в редакцию «Минуты». Вознаграждение — рукопожатие редактора.

ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ СЛЕДУЮЩИЕ СОЧИНЕНИЯ

ПРИСЯЖНОГО ПОВЕРЕННОГО СМИРНОВА:

Кулачное право. Перевод с татарского. Для студентов-юристов. Ц. 1 р.

Бить или не бить? Ц. 3 р.

Физиология кулака. Ц. 1 р.

Книгопродавцам и присяжным поверенным — уступка.

В МОСКВУ ПРИБЫЛИ:

Французская подданная Нана Сухоровская из Петербурга. Остановилась в Петровских линиях.

ИЗ МОСКВЫ ВЫБЫЛИ:

Корреспондент Молчанов в Южный полюс.

Сто сорок пять адвокатов в Таганрог.

МУЗЫКАЛЬНО-ВОКАЛЬНО-ЛИТЕРАТУРНО-ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ

ВЕЧЕР
С УЧАСТИЕМ Г-ЖИ НАНЫ СУХОРОВСКОЙ

в пользу пострадавших от Везувия жителей Геркуланума и Помпеи, в Славянском базаре,

29-го февраля.

Программа:

«Холодно, страннички, холодно!» Проплачет г. Иванов-Козельский.

«Где же у нас таланты?!? Черт возьми!» Пронегодует г. Аверкиев.

«Голова голове головою голову пробил». Прошипит редактор Ланин.

«Виновата ли я…» Споет m-me Бренко.

«Нужда скачет, нужда пляшет…» Цыганский танец, исполнят артисты Пушкинского театра.

«А вот Николай-покойник да я…» Увертюра, исполнит г. Шостаковский.

«Не всяк тот нищ, кто наг!» Пропоет, танцуя, г-жа Нана Сухоровская.

«Для чего скромничать? Пушкин первый, Лермонтов второй, а я, Величков, — третий…» За не умеющего читать г. Величкова прочтут его друзья.

«Завтра, завтра, не сегодня — так ленивцы говорят!» Споет редактор «Слепца»…

Начало в 7 ½ час.

На случай обмороков от духоты (45° R) имеется

врач и даровой нашатырный спирт.

Задачи сумасшедшего математика

1) За мной гнались 30 собак, из которых 7 были белые, 8 серые, а остальные черные. Спрашивается, за какую ногу укусили меня собаки, за правую или левую?

2) Автолимед родился в 223 году, а умер после того, как прожил 84 года. Половину жизни провел он в путешествиях, треть жизни потратил на удовольствия. Сколько стоит фунт гвоздей, и был ли женат Автолимед?

3) Под Новый год из маскарада Большого театра было выведено 200 человек за драку. Если дравшихся было двести, то сколько было бранившихся, пьяных, слегка пьяных и желавших, но не находивших случая подраться?

4) Что получается по сложении сих чисел?

5) Куплено было 20 цибиков чая. В каждом цибике было по 5 пудов, каждый пуд имел 40 фунтов. Из лошадей, везших чай, две пали в дороге, один из возчиков заболел, и 18 фунтов рассыпалось. Фунт имеет 96 золотников чая. Спрашивается, какая разница между огуречным рассолом и недоумением?

6) Английский язык имеет 137 856 738 слов,

французский в 0,7 раз больше. Англичане сошлись с французами и соединили оба языка воедино. Спрашивается, что стоит третий попугай и сколько понадобилось времени, чтобы покорить сии народы?

7) В среду 17-го июня 1881 года в 3 часа ночи должен был выйти со станции *A* поезд железной дороги, с тем чтобы в 11 час. вечера прибыть на станцию *B*; но при самом отправлении поезда получено было приказание, чтобы поезд прибыл на станцию *B* в 7 часов вечера. Кто продолжительнее любит, мужчина или женщина?

8) Моей теще 75 лет, а жене 42. Который час?

Сообщил *Антоша Чехонте.*



Забыл!!!

Когда-то ловкий поручик, танцор и волокита, а ныне толстенький, коротенький и уже дважды разбитый параличом помещик, Иван Прохорыч Гауптвахтов, утомленный и замученный жениными покупками, зашел в большой музыкальный магазин купить нот.

— Здравствуйте-с!.. — сказал он, входя в магазин. — Позвольте мне-с…

Маленький немец, стоявший за стойкой, вытянул ему навстречу свою шею и состроил на лице улыбающийся вопросительный знак.

— Что прикажете-с?

— Позвольте мне-с… Жарко! Климат такой, что ничего не поделаешь! Позвольте мне-с… Мммм… мне-е… Мм… Позвольте… Забыл!!!

— Припомните-с!

Гауптвахтов положил верхнюю губу на нижнюю, сморщил в три погибели свой маленький лоб, поднял вверх глаза и задумался.

— Забыл!!! Экая, прости господи, память демонская! Да вот… вот… Позвольте-с… Мм… Забыл!!!

— Припомните-с…

— Говорил ей: запиши! Так нет… Почему она не

записала? Не могу же я все помнить… Да, может быть, вы сами знаете? Пьеса заграничная, громко так играется… А?

— У нас так много, знаете ли, что…

— Ну да… Понятно! Мм… Мм… Дайте припомнить… Ну, как же быть? А без пьесы и ехать нельзя — загрызет Надя, дочь то есть; играет ее без нот, знаете ли, неловко… не то выходит! Были у ней ноты, да я, признаться, нечаянно керосином их облил и, чтоб крику не было, за комод бросил… Не люблю бабьего крику! Велела купить… Ну да… Ффф… Какой кот важный! — И Гауптвахтов погладил большого серого кота, валявшегося на стойке… Кот замурлыкал и аппетитно потянулся.

— Славный… Сибирский, знать, подлец!.. Породистый, шельма… Это кот или кошка?

— Кот.

— Ну чего глядишь? Рожа! Дурак! Тигра! Мышей ловишь? Мяу, мяу? Экая память анафемская!.. Жирный, шельмец! Котеночка у вас от него нельзя достать?

— Нет… Гм…

— А то бы я взял… Жена страсть как любит ихнего брата — котов!.. Как же быть теперь? Всю дорогу помнил, а теперь забыл… Потерял

память, шабаш! Стар стал, прошло мое время… Помирать пора… Громко так играется, с фокусами, торжественно… Позвольте-с… Кгм… Спою, может быть…

— Спойте… oder[27]… oder… или посвистайте!..

— Свистеть в комнате грех… Вон у нас Седельников свистел, свистел да и просвистелся… Вы немец или француз?

— Немец.

[27] Примечания: 27
Или (нем.).



— То-то я по облику замечаю… Хорошо, что не француз… Не люблю французов… Хрю, хрю, хрю… свинство! Во время войны мышей ели… Свистел в своей лавке от утра до вечера и просвистел всю свою бакалию в трубу! Весь в долгах теперь… И мне двести рублей должен… Я иногда певал себе под нос… Гм… Позвольте-с… Я спою… Стойте. Сейчас… Кгм… Кашель… В горле свербит…

Гауптвахтов, щелкнув три раза пальцами, закрыл глаза и запел фистулой:

— То-то-ти-то-том… Хо-хо-хо… У меня тенор… Дома я больше все дишкантом… Позвольте-с… Три-ра-ра… Кгррм… В зубах что-то застряло… Тьфу! Семечко… О-то-о-о-уу… Кгррм… Простудился, должно быть… Пива холодного выпил в биргалке… Тру-ру-ру… Все этак вверх… а потом, знаете ли, вниз, вниз… Заходит этак бочком, а потом берется верхняя нота, такая рассыпчатая… то-то-ти… рууу. Понимаете? А тут в это время басы берут: гу-гу-гу-туту… Понимаете?

— Не понимаю…

Кот посмотрел с удивлением на Гауптвахтова, засмеялся, должно быть, и лениво соскочил со стойки.

— Не понимаете? Жаль… Впрочем, я не так пою… Забыл совсем, экая досада!

— Вы сыграйте на рояли… Вы играете?

— Нет, не играю… Играл когда-то на скрипке, на одной струне, да и то так… сдуру. Меня не учили… Брат мой Назар играет… Того учили… Француз Рокат, может быть, знаете, Венедикт Францыч учил… Такой потешный французишка… Мы его Буонапартом дразнили… Сердился. «Я, говорит, не Буонапарт. Я республик Франце»… И рожа у него, по правде сказать, была республиканская… Совсем собачья рожа… Меня покойный мой ро-

дитель ничему не учил… Деда, говаривал, твоего Иваном звали, и ты Иван, а потому ты должен быть подобен деду своему во всех своих поступках: на военную, прохвост! Пороху!!! Нежностей, брат… брат… Я, брат… Я, брат, нежностей тебе не дозволяю! Дед, в некотором роде, кониной питался, и ты оной питайся! Седло под головы себе клади вместо подушки!.. Будет мне теперь дома! Заедят! Без нот и приезжать не велено. Прощайте-с, в таком случае! Извините за беспокойство!.. Сколько эта рояля стоит?

— Восемьсот рублей!

— Фу-фу-фу… Батюшки! Это называется: купи себе роялю и без штанов ходи! Хо-хо-хо! Восемьсот руб…лей!!! Губа не дура! Прощайте-с! Шпрехензи! Гебензи[28]… Говорите! Дайте. Обедал я, знаете ли, однажды у одного немца… После обеда спрашиваю я у одного господина, тоже немчуры, как сказать по-немецки: «Покорнейше вас благодарю за хлеб, за соль»? А он мне и говорит… и говорит. Позвольте-с… И говорит: «Их либе дих фон ганцен герцен!» А это что значит?

— Я… я люблю тебя, — перевел немец, стоявший за стойкой, — от всей сердцы!

---

[28] Примечания: 28
Говорите! Дайте…(нем. sprechen Sie, geben Sie).

— Ну вот! Я подошел к хозяйской дочке, да так прямо и сказал… С ней конфуз… Чуть до истерики дело не дошло… Комиссия! Прощайте-с! За дурной головой и ногам больно… Так и мне. С дурацкой памятью беда: раз двадцать сходишь! Будьте здоровы-с!

Гауптвахтов отворил осторожно дверь, вышел на улицу и, прошедши пять шагов, надел шляпу.

Он ругнул свою память и задумался…

Задумался он о том, как приедет он домой, как выскочат к нему навстречу жена, дочь, детишки… Жена осмотрит покупки, ругнет его, назовет каким-нибудь животным, ослом или быком… Детишки набросятся на сладости и начнут с остервенением портить свои уже попорченные желудки… Выйдет навстречу Надя в голубом платье с розовым галстухом и спросит: «Купил ноты?» Услышавши «нет», она ругнет своего старого отца, запрется в свою комнатку, разревется и не выйдет обедать… Потом выйдет из своей комнаты и, заплаканная, убитая горем, сядет за рояль… Сыграет сначала что-нибудь жалостное, пропоет что-нибудь, глотая слезы… Под вечер Надя станет веселей, и наконец, глубоко и в последний раз вздохнувши, она сыграет это любимое: то-то-ти-то-то…

Гауптвахтов треснул себя по лбу и, как сумасшедший, побежал обратно к магазину.

— То-то-ти-то-то, огого! — заголосил он, вбежав в магазин. — Вспомнил!!! Вот самое! То-то-ти-то-то!

— Ах… Ну, теперь понятно. Это рапсодия Листа, номер второй. Hongroise[29]…

— Да, да, да… Лист, Лист! Побей меня бог, Лист! Номер второй! Да, да, да… Голубчик! Оно самое и есть! Родненький!

— Да, Листа трудно спеть… Вам какую же, original[30] или facilité[31]?

— Какую-нибудь! Лишь бы номер второй, Лист! Бедовый этот Лист! То-то-ти-то. Ха-ха-ха! Насилу вспомнил! Точно так!

Немец достал с полки тетрадку, завернул ее с массой каталогов и объявлений и подал сверток просиявшему Гауптвахтову. Гауптвахтов заплатил восемьдесят пять копеек и вышел, посвистывая.

---

[29] Примечания: 29
Венгерская (фр.).

[30] Примечания: 30
Оригинальную (фр.).

[31] Примечания: 31
Облегченную? (фр.).

Жизнь в вопросах и восклицаниях

Детство. Кого бог дал, сына или дочь? Крестить скоро? Крупный мальчик! Не урони, мамка! Ах, ах! Упадет!!! Зубки прорезались? Это у него золотуха? Возьмите у него кошку, а то она его оцарапает! Потяни дядю за ус! Так! Не плачь! Домовой идет! Он уже и ходить умеет! Унесите его отсюда — он невежлив! Что он вам наделал?! Бедный сюртук! Ну, ничего, мы высушим! Чернило опрокинул! Спи, пузырь! Он уже говорит! Ах, какая радость! А ну-ка, скажи что-нибудь! Чуть извозчики не задавили!!! Прогнать няньку! Не стой на сквозном ветре! Постыдитесь, можно ли бить такого маленького? Не плачь! Дайте ему пряник!

Отрочество. Иди-ка сюда, я тебя высеку! Где это ты себе нос разбил? Не беспокой мамашу! Ты не маленький! Не подходи к столу, тебе после! Читай! Не знаешь? Пошел в угол! Единица! Не клади в карман гвоздей! Почему ты мамаши не слушаешься? Ешь как следует! Не ковыряй в носу! Это ты ударил Митю? Пострел! Читай мне «Демьянову уху»! Как будет именительный падеж множественного числа? Сложи и вычти! Вон из

класса! Без обеда! Спать пора! Уже девять часов! Он только при гостях шалит! Врешь! Причешись! Вон из-за стола! А ну-ка, покажи свои отметки! Уже порвал сапоги?! Стыдно реветь такому большому! Где это ты мундир запачкал? На вас не напасешься! Опять единица? Когда, наконец, я перестану тебя пороть? Если ты будешь курить, то я тебя из дома выгоню! Как будет превосходная степень от facilis[32]? Facilissimus? Врете! Кто это вино выпил? Дети, обезьяну на двор привели! За что вы моего сына на второй год оставили? Бабушка пришла!

[32] Примечания: 32
Легкий? (лат.).



Юношество. Тебе еще рано водку пить! Скажите о последовательности времен! Рано, рано, молодой человек! В ваши лета я еще ничего такого не знал! Ты еще боишься при отце курить? Ах, какой срам! Тебе кланялась Ниночка! Возьмемте Юлия Цезаря! Здесь ut consecutivum? Ах, душка! Оставьте, барин, а то я… папеньке скажу! Ну, ну… шельма! Браво, у меня уже усы растут! Где? Это ты нарисовал, а не растут! У Nadine прелестный подбородок! Вы в каком теперь классе? Согласитесь же, папа, что мне нельзя не иметь карманных денег! Наташа? Знаю! Я был у нее! Так это ты? Ах

ты, скромник! Дайте покурить! О, если б ты знал, как я ее люблю! Она божество! Кончу курс в гимназии и женюсь на ней! Не ваше дело, maman! Посвящаю вам свои стихи! Оставь покурить! Я пьянею уже после трех рюмок! Bis! bis! Браааво! Неужели ты не читал Борна? Не косинус, а синус! Где тангенс? У Соньки плохие ноги! Можно поцеловать? Выпьем? Ураааа, кончил курс! Запишите за мной! Займите четвертную! Я женюсь, отец! Но я дал слово! Ты где ночевал?

Между 20 и 30 годами. Займите мне сто рублей! Какой факультет? Мне все одно! Почем лекция? Дешево, однако! В Стрельну и обратно! Бис, бис! Сколько я вам должен? Завтра придете! Что сегодня в театре? О, если бы вы знали, как я вас люблю! Да или нет? Да? О, моя прелесть! В шею! Челаэк! Вы херес пьете? Марья, дай-ка огуречного рассольцу! Редактор дома? У меня нет таланта? Странно! Чем же я жить буду? Займите пять рублей! В Salon! Господа, светает! Я ее бросил! Займите фрак! Желтого в угол! Я и так уже пьян! Умираю, доктор! Займи на лекарство! Чуть не умер! Я похудел? К Яру, что ли? Стоит того! Дайте же работы! Пожалуйста! Эээ… да вы лентяй! Можно ли так опаздывать? Суть не в деньгах! Нет-с, в деньгах! Стреляюсь!!! Шабаш! Черт с ним,

со всем! Прощай, паскудная жизнь! Впрочем… нет! Это ты, Лиза? Песнь моя уже спета, maman! Я уже отжил свое! Дайте мне место, дядя! Ma tante[33], карета подана! Merci, mon oncle[34]! Не правда ли, я изменился, mon oncle? Пересобачился? Ха-ха! Напишите эту бумагу! Жениться? Никогда! Она — увы! — замужем! Ваше превосходительство! Представь меня своей бабушке, Серж! Вы очаровательны, княжна! Стары? Полноте! Вы напрашиваетесь на комплименты! Позвольте мне кресло во второй ряд!

Между 30–50 годами. Сорвалось! Есть вакансия? Девять без козырей! Семь червей! Вам сдавать, votre excellence[35]. Вы ужасны, доктор! У меня ожирение печени? Чушь! Как много берут эти доктора! А сколько за ней приданого? Теперь не любите, со временем полюбите! С законным браком! Не могу я, душа моя, не играть! Катар желудка? Сына или дочь? Весь в отца! Хе-хе-хе… не знал-с! Выиграл, душа моя! Опять, черт возьми, проиграл! Сына или дочь? Весь в…. отца! Уверяю

---

[33] Примечания: 33
Тетя (фр.).

[34] Примечания: 34
Благодарю, дядя! (фр.).

[35] Примечания: 35
Ваше превосходительство (фр.).

тебя, что я ее не знаю! Перестань ревновать! Едем, Фани! Браслет? Шампанского! С чином! Mercі! Что нужно делать, чтобы похудеть? Я лыс?! Не зудите, теща! Сына или дочь? Я пьян, Каролинхен! Дай я тебя поцелую, немочка! Опять этот каналья у жены! Сколько у вас детей? Помогите бедному человеку! Какая у вас дочь миленькая! В газетах, дьяволы, пропечатали! Иди, я тебя высеку, скверный мальчишка! Это ты измял мой парик?



Старость. Едем на воды? Выходи за него, дочь моя! Глуп? Полно! Плохо пляшет, но ноги прелестны! Сто рублей за… поцелуй?! Ах, ты, чертенок! Хе-хе-хе! Рябчика хочешь, девочка? Ты, сын, того… безнравствен! Вы забываетесь, молодой

человек! Пст! пст! пст! Ллюблю музыку! Шям… Шям… панского! «Шута» читаешь? Хе-хе-хе! Внучатам конфеток несу! Сын мой хорош, но я был лучше! Где ты, то время? Я и тебя, Эммочка, в завещании не забыл! Ишь я какой! Папашка, дай часы! Водянка? Неужели? Царство небесное! Родня плачет? А к ней идет траур!

От него пахнет! Мир праху твоему, честный труженик!

Исповедь, или Оля, Женя, Зоя
(Письмо)

Вы, ma chère[36], мой дорогой, незабвенный друг, в своем милом письме спрашиваете меня между прочим, почему я до сих пор не женат, несмотря на свои 39 лет?

Моя дорогая! Я всей душой люблю семейную жизнь и не женат потому только, что каналье судьбе не угодно было, чтобы я женился. Жениться собирался я раз 15 и не женился потому, что все на этом свете, в особенности же моя жизнь, подчиняется случаю, все зависит от него! Случай — деспот. Привожу несколько случаев, благодаря которым я до сих пор влачу свою жизнь в презренном одиночестве…

СЛУЧАЙ ПЕРВЫЙ

Было восхитительное июньское утро. Небо было чисто, как самая чистая берлинская лазурь. Солнце играло в реке и скользило своими лучами по росистой траве. Река и зелень, казалось, были

---

[36] Примечания: 36
Моя милая (фр.).

осыпаны дорогими алмазами. Птицы пели, как по нотам… Мы шли по аллейке, усыпанной желтым песком, и счастливыми грудями вдыхали в себя ароматы июньского утра. Деревья смотрели на нас так ласково, шептали нам что-то такое, должно быть, очень хорошее, нежное… Рука Оли Груздовской (которая теперь за сыном вашего исправника) покоилась на моей руке, и ее крошечный мизинчик дрожал на моем большом пальце… Щечки ее горели, а глаза… О, ma chère, это были чудные глаза! Сколько прелести, правды, невинности, веселости, детской наивности светилось в этих голубых глазах! Я любовался ее белокурыми косами и маленькими следами, которые оставляли на песке ее крошечные ножки…

— Жизнь свою, Ольга Максимовна, посвятил я науке, — шептал я, боясь, чтобы ее мизинчик не сполз с моего большого пальца. — В будущем ожидает меня профессорская кафедра… На моей совести вопросы… научные… Жизнь трудовая, полная забот, высоких… как их… Ну, одним словом, я буду профессором… Я честен, Ольга Максимовна… Я не богат, но… Мне нужна подруга, которая бы своим присутствием (Оля сконфузилась и опустила глазки; мизинчик за-

дрожал)… которая бы своим присутствием… Оля! Взгляните на небо! Оно чисто… но и жизнь моя так же чиста, беспредельна…

Не успел мой язык выкарабкаться из этой чуши, как Оля подняла голову, рванула от меня свою руку и захлопала в ладоши. Навстречу нам шли гуси и гусята. Оля подбежала к гусям и, звонко хохоча, протянула к ним свои ручки… О, что это были за ручки, ma chère!

— Тер… тер… тер… — заговорили гуси, поднимая шеи и искоса поглядывая на Олю.

— Гуся, гуся, гуся! — закричала Оля и протянула руку за гусенком.

Гусенок был умен не по летам. Он побежал от Олиной руки к своему папаше, очень большому и глупому гусаку, и, по-видимому, пожаловался ему. Гусак растопырил крылья. Шалунья Оля потянулась за другим гусенком. В это время случилось нечто ужасное. Гусак пригнул шею к земле и, шипя, как змея, грозно зашагал к Оле. Оля взвизгнула и побежала назад. Гусак за ней. Оля оглянулась, взвизгнула сильней и побледнела. Ее красивое девичье личико исказилось ужасом и отчаянием. Казалось, что за ней гналось триста чертей.

Я поспешил к ней на помощь и ударил по голо-

ве гусака тростью. Негодяю-гусаку удалось-таки ущипнуть ее за кончик платья. Оля с большими глазами, с исказившимся лицом, дрожа всем телом, упала мне на грудь…

— Какая вы трусиха! — сказал я.

— Побейте гуску! — сказала она и заплакала…



Сколько не наивного, не детского, а идиотского было в этом испугавшемся личике! Не терплю, ma chère, малодушия! Не могу вообразить себя

женатым на малодушной, трусливой женщине!

Гусак испортил все дело… Успокоивши Олю, я ушел домой, и малодушное до идиотства личико застряло в моей голове… Оля потеряла для меня всю прелесть. Я отказался от нее.

СЛУЧАЙ ДРУГОЙ

Вы, конечно, знаете, мой друг, что я писатель. Боги зажгли в моей груди священный огонь, и я считаю себя не вправе не браться за перо. Я жрец Аполлона… Все до единого биения сердца моего, все вздохи мои, короче — всего себя я отдал на алтарь муз. Я пишу, пишу, пишу… Отнимите у меня перо — и я помер. Вы смеетесь, не верите… Клянусь, что так!

Но вы, конечно, знаете, ma chère, что земной шар — плохое место для искусства. Земля велика и обильна, но писателю жить в ней негде. Писатель — это вечный сирота, изгнанник, козел отпущения, беззащитное дитя… Человечество разделяю я на две части: на писателей и завистников. Первые пишут, а вторые умирают от зависти и строят разные пакости первым. Я погиб, погибаю и буду погибать от завистников. Они испортили мою жизнь. Они забрали в руки бразды правления в писательском деле, именуют себя редакторами,

издателями и всеми силами стараются утопить нашу братию. Проклятие им!!!

Слушайте…

Некоторое время я ухаживал за Женей Пшиковой. Вы, конечно, помните это милое, черноволосое, мечтательное дитя… Она теперь замужем за вашим соседом Карлом Ивановичем Ванце (à propos[37]: по-немецки Ванце значит… клоп. Не говорите этого Жене, она обидится). Женя любила во мне писателя. Она так же глубоко, как и я, верила в мое назначение. Она жила моими надеждами. Но она была молода! Она не могла понимать еще упомянутого разделения человечества на две части! Она не верила в это разделение! Не верила, и мы в один прекрасный день… погибли.

Я жил на даче у Пшиковых. Меня считали женихом, Женю — невестой. Я писал, она читала. Что это за критик, ma chère! Она была справедлива, как Аристид, и строга, как Катон. Произведения свои посвящал я ей… Одно из этих произведений сильно понравилось Жене. Женя захотела видеть его в печати. Я послал его в один из юмористических журналов. Послал первого июля и ответа

---

[37] Примечания: 37
Кстати (фр.).

ожидал через две недели. Наступило 15 июля. Мы с Женей получили желанный нумер. Поспешно распечатали его и прочли в почтовом ящике ответ. Она покраснела, я побледнел. В почтовом ящике напечатано было по моему адресу следующее: «Село Шлендово. Г. М. Б — у. Таланта у вас ни капельки. Черт знает что нагородили! Не тратьте марок понапрасну и оставьте нас в покое. Займитесь чем-нибудь другим».

Ну, и глупо… Сейчас видно, что дураки писали.

— Ммммммм… — промычала Женя.

— Ка-кие мерр-зав-цы!!! — пробормотал я. — Каково? И вы, Евгения Марковна, станете теперь улыбаться моему разделению?

Женя задумалась и зевнула.

— Что ж? — сказала она. — Может быть, у вас и на самом таки деле нет таланта! Им это лучше знать. В прошлом году Федор Федосеевич со мной целое лето рыбу удил, а вы все пишете, пишете… Как это скучно!

Каково? И это после бессонных ночей, проведенных вместе над писаньем и читаньем! После обоюдного жертвоприношения музам… А?

Женя охладела к моему писательству, а следовательно, и ко мне. Мы разошлись. Иначе и быть не могло…

СЛУЧАЙ ТРЕТИЙ

Вы, конечно, знаете, мой незабвенный друг, что я страшно люблю музыку. Музыка моя страсть, стихия… Имена Моцарта, Бетховена, Шопена, Мендельсона, Гуно — имена не людей, а гигантов! Я люблю классическую музыку. Оперетку я отрицаю, как отрицаю водевиль. Я один из постояннейших посетителей оперы. Хохлов, Кочетова, Барцал, Усатов, Корсов… дивные люди! Как я жалею, что я не знаком с певцами! Будь я знаком с ними, я в благодарностях излил бы пред ними свою душу. В прошлую зиму я особенно часто ходил на оперу. Ходил я не один, а с семейством Пепсиновых. Жаль, что вы не знакомы с этим милым семейством! Пепсиновы каждую зиму абонируют ложу. Они преданы музыке всей душой. Украшением этого милого семейства служит дочь полковника Пепсинова — Зоя. Что это за девушка, моя дорогая! Одни ее розовые губки способны свести с ума такого человека, как я! Стройна, красива, умна… Я любил ее… Любил бешено, страстно, ужасно! Кровь моя кипела, когда я сидел с нею рядом. Вы улыбаетесь, ma chère… Улыбайтесь! Вам незнакома, чужда любовь писателя. Любовь писателя — Этна плюс Везувий. Зоя

любила меня. Ее глаза всегда покоились на моих глазах, которые постоянно были устремлены на ее глаза… Мы были счастливы. До свадьбы был один только шаг…

Но мы погибли.

Давали «Фауста». «Фауста», моя дорогая, написал Гуно, а Гуно — величайший музыкант. Идя в театр, я порешил дорогой объясниться с Зоей в любви во время первого действия, которого я не понимаю. Великий Гуно напрасно написал первое действие!

Спектакль начался. Я и Зоя уединились в фойе. Она сидела возле меня и, дрожа от ожидания и счастья, машинально играла веером. При вечернем освещении, ma chère, она прекрасна, ужасно прекрасна!

— Увертюра, — объяснялся я в любви, — навела меня на некоторые размышления, Зоя Егоровна. Столько чувства, столько… Слушаешь и жаждешь… Жаждешь чего-то такого и слушаешь…

Я икнул и продолжал:

— Чего-то такого особенного… Жаждешь неземного… Любви? Страсти? Да, должно быть… любви… (Я икнул.) Да, любви…

Зоя улыбнулась, сконфузилась и усиленно замахала веером. Я икнул. Терпеть не могу икоты!

— Зоя Егоровна! Скажите, умоляю вас! Вам знакомо это чувство? (Я икнул.) Зоя Егоровна! Я жду ответа!

— Я… я… вас не понимаю.

— На меня напала икота. Пройдет. Я говорю о том всеобъемлющем чувстве, которое. Черт знает что!

— Вы выпейте воды!

«Объяснюсь, да тогда уж и схожу в буфет», — подумал я и продолжал:

— Я скажу коротко, Зоя Егоровна. Вы, конечно, уж заметили…

Я икнул и с досады на икоту укусил себя за язык.

— Конечно, заметили (я икнул)… Вы меня знаете около года… Гм… Я честный человек, Зоя Егоровна! Я труженик! Я не богат, это правда, но…

Я икнул и вскочил.

— Вы выпейте воды! — посоветовала Зоя.

Я сделал несколько шагов около дивана, подавил себе пальцами горло и опять икнул. Ma chère, я был в ужаснейшем положении! Зоя поднялась и направилась к ложе. Я за ней. Впуская ее в ложу, я икнул и побежал в буфет. Выпил я воды стаканов пять, и икота как будто бы немножко утихла. Я

выкурил папиросу и отправился в ложу. Брат Зои поднялся и уступил мне свое место, место около моей Зои. Я сел и тотчас же… икнул. Прошло минут пять — я икнул, икнул как-то особенно, с хрипом. Я поднялся и стал у дверей ложи. Лучше, ma chère, икать у дверей, чем над ухом любимой женщины! Икнул. Гимназист из соседней ложи посмотрел на меня и громко засмеялся… С каким наслаждением он, каналья, засмеялся! С каким наслаждением я оторвал бы ухо с корнем у этого молокососа-мерзавца! Смеется в то время, когда на сцене поют великого «Фауста»! Кощунство! Нет, ma chère, когда мы были детьми, мы были много лучше. Кляня дерзкого гимназиста, я еще раз икнул… В соседних ложах засмеялись.



— Bis! — прошипел гимназист.

— Черт знает что! — пробормотал полковник Пепсинов мне на ухо.

— Могли бы и дома поикать, сударь!

Зоя покраснела. Я еще раз икнул и, бешено стиснув кулаки, выбежал из ложи. Начал я ходить по коридору. Хожу, хожу, хожу — и все икаю.

Чего я только не ел, чего не пил! В начале четвертого акта я плюнул и уехал домой. Приехавши домой, я, как назло, перестал икать… Я ударил себя по затылку и воскликнул:

— Икай теперь! Теперь можешь икать, освистанный жених! Нет, ты не освистанный! Ты не освистал себя, а… объикал!

На другой день отправился я, по обыкновению, к Пепсиновым. Зоя не вышла обедать и велела передать мне, что видеться со мною по болезни не может, а Пепсинов тянул речь о том, что некоторые молодые люди не умеют держать себя прилично в обществе. Болван! Он не знает того, что органы, производящие икоту, не находятся в зависимости от волевых стимулов.

Стимул, ma chère, значит двигатель.

— Вы отдали бы свою дочь, если бы таковая имелась у вас, — обратился ко мне Пепсинов после обеда, — за человека, который позволяет себе в обществе заниматься отрыжкой? А? Что-с?

— Отдал бы… — пробормотал я.

— Напрасно-с!

Зоя для меня погибла. Она не сумела простить мне икоты. Я погиб.

Не описать ли вам еще и остальные 12 случаев?

Описал бы, но… довольно! Жилы надулись на моих висках, слезы брызжут, и ворочается печень… Братья писатели, в нашей судьбе что-то лежит роковое! Позвольте, ma chère, пожелать вам всего лучшего! Жму вашу руку и шлю поклон вашему Полю. Он, я слышал, хороший муж и хороший отец… Хвала ему! Жаль только, что он пьет горькую (это не упрек, ma chère!). Будьте здоровы, ma chère, счастливы и не забывайте, что у вас есть покорнейший слуга

Макар Балдастов

Встреча весны
(Рассуждение)

Борея сменили зефиры. Дует ветерок не то с запада, не то с юга (я в Москве недавно и здешних стран света еще достаточно не уразумел), дует легонько, едва задевая за фалды… Не холодно, и настолько не холодно, что можно смело ходить в шляпе, пальто и с тросточкой. Мороза нет даже ночью. Снег растаял, обратился в мутную водицу, с журчаньем бегущую с гор и пригорков в грязные канавы; не растаял он только в переулках и мелких улицах, где безмятежно покоится под трехвершковым бурым, землистым слоем и будет покоиться вплоть до мая… На полях, в лесах и на бульварах робко пробивается зеленая травка… Деревья еще совершенно голы, но выглядывают как-то бодрей. Небо такое славное, чистое, светлое; лишь изредка набегают тучи и пускают на землю мелкие брызги… Солнце светит так хорошо, так тепло и так ласково, как будто бы славно выпило, сытно закусило и старинного друга увидело… Пахнет молодой травкой, навозом, дымом, плесенью, всевозможной дрянью,

степью и чем-то этаким особенным… В природе, куда ни взглянешь, приготовления, хлопоты, бесконечная стряпня. Суть в том, что весна летит.

Публика, которой ужасно надоело тратить деньги на дрова, ходить в тяжелых шубах и десятифунтовых калошах, дышать то жестким, холодным, то банным, квартирным воздухом, радостно, стремительно и став на носки протягивает руки навстречу летящей весне. Весна желанная гостья, но добрая ли? Как вам сказать? По-моему, не то, чтобы слишком уж добрая, и нельзя сказать, чтобы слишком уж и злая. Какая бы она ни была, но ждут ее с нетерпением.

Поэты старые и молодые, лучшие и худшие, оставив на время в покое кассиров, банкиров, железнодорожников и рогатых мужей, строчат на чем свет стоит мадригалы, дифирамбы, приветственные оды, баллады и прочие стихоплетные штуки, воспевая в них все до единой весенние прелести… Воспевают по обыкновению неудачно (я не говорю о присутствующих). Луна, воздух, мгла, даль, желания, «она» — у них на первом плане.

Прозаики тоже настроены на поэтический лад. Все фельетоны, ругательства и хваления начинаются и оканчиваются у них описанием

собственных чувств, навеянных приближающейся весной.

Барышни и кавалеры того… Страждут смертельно! Пульс их бьет 190 в минуту, температура горячечная. Сердца полны самых сладких предчувствий… Весна несет с собой любовь, а любовь несет с собой: «Сколько счастья, сколько муки!» На нашем рисунке весна держит амурчика на веревочке. И хорошо делает. И в любви нужна дисциплина, а что было бы, если бы она спустила Амура, дала ему, каналье, волю? Я пресерьезный человек, но и ко мне по милости весенних запахов лезет в голову всякая чертовщина. Пишу, а у самого перед глазами тенистые аллейки, фонтанчики, птички, «она» и все такое прочее. Теща уже начинает посматривать на меня подозрительно, а женушка то и дело торчит у окна…

Медицинские люди очень серьезные люди, но и они не спят спокойно… Их душит кошмар и снятся самые обольстительные сны. Щеки докторов, фельдшеров, аптекарей горят лихорадочным румянцем. И недаром-с! Над городами стоят зловонные туманы, а туманы эти состоят из микроорганизмов, производящих болезни… Болят груди, горла, зубы… Разыгрываются старинные ревматизмы, подагры, невралгии. Чахоточных

тьма-тьмущая. В аптеках толкотня страшная. Бедным аптекарям некогда ни обедать, ни чая пить. Бертолетову соль, Доверов порошок, грудные специи, йод и дурацкие зубные средства продают буквально пудами. Я пишу и слышу, как в соседней аптеке звенят пятаками. У моей тещи флюс на обеих сторонах: урод уродом!


АПТЕКА
Г ГРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО
ГАНИМЕДОВЪ и К°

Мелкие коммерсантики, ссудосберегатели, практические людоедишки, жидки и кулаки пляшут от радости качучу. Весна и для них благодетельница. Тысяча шуб идут в ссудные кассы на съедение голодной моли. Все теплое, еще не переставшее быть ценным, несется к жидкам благодетелям. Не понеси шубу в ссуду, останешься без летнего платья, будешь щеголять на даче в бобрах и енотах. За мою шубу, которая стоит minimum 100 рублей, мне дали в ссуде 32 рубля.

В Бердичевах, Житомирах, Ростовах, Полтавах — грязь по колена. Грязь бурая, вязкая, вонючая… Прохожие сидят дома и не показывают носа на улицу: того и гляди, что утонешь черт знает в чем. Оставляешь в грязи не только калоши, но даже и сапоги с носками. Ступай на улицу, коли необходимость, или босиком, или же на ходулях, а лучше всего и вовсе не ходи. В матушке Москве, надо отдать справедливость, сапог в грязи не оставишь, но в калоши непременно наберешь. С калошами можно распрощаться навсегда только в весьма немногих местах (а именно: на углу Кузнецкого и Петровки, на Трубе и почти на всех площадях). От села до села не проедешь, не пройдешь.

Все собирается гулять и ликовать, кроме от-

роков и юношей. Молодежь и не увидит за экзаменами весны. Весь май пойдет на получение пятерок и единиц. Для единичников весна не желанная гостья.

Погодите немножко, дней через 5–6, много через неделю, коты запоют под окнами громче, жидкая грязь станет густою, почки на деревьях станут пушистыми, травка выглянет повсюду, солнце запечет — и весна установится самая настоящая. Из Москвы потянутся обозы с мебелью, цветами, тюфяками и горничными. Закопошатся огородники, садовники. Охотники начнут заряжать ружья.

Подождите недельку, потерпите, а пока накладывайте на ваши груди прочные бинты, дабы не выскочили из грудей ваши разбушевавшиеся, не терпящие отлагательств сердца.

Между прочим, как прикажете изобразить на бумаге весну? В каком виде? В былые времена ее изображали в виде прекрасной девицы, сыплющей на землю цветы. Цветы — синоним радостей. Теперь иные времена, иные нравы, иная и весна. У нас она изображена тоже дамочкой. Цветов не сыплет, ибо нет цветов и руки в муфте. Следовало бы изобразить ее тощей, худой, скелетообразной, с чахоточным румянцем, но пусть она будет ко-

мильфо[38]! Делаем ей эту уступку только потому, что она дама.



[38] Примечания: 38
Как следует (фр. comme il faut).

Календарь «Будильника» на 1882 год март-апрель

Число и день.

Выдающиеся события, метеорология, пророчества, всеобщая история, коммерция, советы, рецепты и пр.

ОБЕДЫ

8, Понедельник, Lundi Montag

Родится великий человек. Затмение солнца, видимое только в одном г. Бахмуте, Екатер. губернии. На о. Мадагаскаре волнение умов. Солнце вступает в зенит в 7 ч. 35 м. в. Мороз и снег. Среди комет и планет особенного ничего не произойдет. Вчера было новолуние. Восх. солнца 6 ч. 1 м. Зах. его же 6 ч. 14 м. В сей день Автолимед II был побежден персидским царем Додоном IV (342 г.) и произошел суд Париса.

1) Суп с апельсинами.

2) Газетная утка-фри.

3) Каша с репейным маслом.

4) Желе из каштанов.



9, Вторник, Mardi Dienstag

Начало весны. Юноши и девы, в томительном ожидании счастливых дней, заболевают нервным сердцебиением (affectio cordis[39]; средства излечения: kalium bromatum, valeriana[40] и лед). Ярмарка в с. Вознесенском. Затмения солнца не будет. Оттепель и снег. В Испании родится великий писатель, который умрет на 7-й день после рождения. Восх. сол. 5 ч. 58 м. Зах. его же 6 ч. 16 м. В сей день некогда произошло возрождение наук (1441 г.).

1) Гороховый суп с фасолью.

2) Жареный гусь à la князь Мещерский.

3) Жареные лимоны под соусом.

4) Кишмиш в уксусе.

[39] Примечания: 39
Сердечный припадок (лат.).

[40] Примечания: 40
Бромистый калий, валериановые капли (лат.).



10, Среда, Mercredi Mittwoch

Все будут счастливы. В г. Лебедяни, Тамбовской губ., видна будет звезда с двумя хвостами и одним крылом: признак неурожая на картофель. Мороз. В Алжире град. Будет пойман некий кассир. Ярмарки: в Алапаевске, Пермской губ. (ситец, колеса, иголки, деготь и изюм), в Самаре, Самарской губ. (кумыс, сукно и гитары), и в Ржеве, Тверской губ. (тарелки, ножи, вилки, солонки и табакерки). Восх. сол. 5 ч. 55 м. Зах. его же 6 ч. 19 м. В сей день произошла смерть пана Твардовского в трактире «Рим» (1811), а Цезарь перешел Рубикон (54 г.).

1) Малороссиянские щи.

2) Жареные устрицы.

3) Соус из соловьиных языков.

4) Девичья кожа.



11, Четверг, Jeudi Donnerstag

На К. Х. А. ж. дороге, близ станции «Разбейся!», снегом занесет поезд. Метель. В г. Конотопе, Черниговской губ., появится самозванец, выдающий себя за Гамлета, принца датского. Астрономы открывают на луне нечто сверхъестественное. На о. Борнео дифтерит. Восх. сол. 5 ч. 52 м. Зах. его же 6 ч. 21 м. В сей день в Клеопатру влюбился Антоний (42 г.), а Александр Филиппович Македонский ездил на Буцефале на богомолье (312).

1) Суп с мокрой курицей.
2) Каракатица с начинкой.
3) Раковые мозги с грибами.
4) Белозерские снетки с ванилью.



12, Пятница, Vendredi Freitag

В Шанхае произойдет падение нравственности. Оттепель. Московским присяжным поверенным приснится Фемида с длинными ножницами,

употребляемыми в клинике профессора Склифасовского для отрезывания опухших языков; присяжные поверенные побледнеют и почувствуют угрызения совести. В Сызрани ярмарки нет. В Нахичевани всемирный потоп. В Таганроге сквозной ветер. В Шуе, Владим. губ., землетрясение, которое будет вскоре прекращено старанием местных властей. Восх. сол. 5 ч. 48 м. Зах. его же в 6 ч. 24 м. В сей день, в 148 г., Муций Сцевола проиграл в стуколку свое имущество.

1) Солянка из электрических угрей.
2) Поросенок с хреном.
3) Поросенок без хрена.
4) Хрен без поросенка.
5) Жареные ананасы со спаржей.
6) Канифолевое мороженое.



13, Суббота, Samedi Sonnabend

Родится великий человек. Гладстон будет обедать у короля ашантиев и будет говорить с ним о

положении дел в Китае; король ашантиев ответит двусмысленно. В Бухаре потонет 25 кораблей. В Карфагене всеобщее недоумение. Все Африканы именинники. По мнению артистов Малого театра, в сей день в г. Полтаве, Полтавской губ., произойдет северное сияние. Восх. сол. 5 ч. 45 м. Зах. его же 6 ч. 26 м. Извержение Везувия в 8 ч. 32 м.

1) Консоме с шафраном.
2) Вареная свинья с рахат-лукумом.
3) Лавровый лист с подливкой.
4) Дули.



14, Воскресенье, Dimanche Sonntag

Правление К. Х. А. железной дороги пошлет нарочного на станцию «Разбейся!» узнать, не растаял ли снег, засыпавший поезд 11 числа? Родится великая женщина. В редакции «Гражданина» затмение солнца и засуха. В Томском клубе произойдет ученый спор о том, «какое море самое

большое» и «какой город самый маленький»? Спор окончится поднятиями рук и вмешательством полиции. Восх. сол. 5 ч. 42 м. Зах. его же 6 ч. 29 м. В сей день Отелло задушил жену свою, Дездемону (1112 г.), а король лангобардов Авторис пожал мизинец своей невесты, стыдливой Теоделинды (728 г.).

1) Бульон из слоновой кости.
2) Горох à la «Шут», на сале.
3) Акриды с гвоздикой.
4) Лавровишневые капли с маком.



ПРИМЕЧАНИЯ К КАЛЕНДАРЮ

1) Все врут календари, за исключением нашего.

2) Календарь будет тянуться в продолжение всего 1882 г. Начали мы его с 8-го марта потому, что предвидели, что в январе, феврале и в начале марта решительно ничего не произойдет, кроме

всем надоевших вторников, четвергов и пр. По причинам, неизвестным заведующему календарем, в истекшем феврале не было даже 29 и 30-го чисел.

3) Желательно было бы по возможности скорей собрать в каком-нибудь городе календарный конгресс, чтобы на оном:

а) присутствовал со стороны России г. Сталинский. Сей последний укажет конгрессу мотивы, по которым он, Сталинский, один из нумеров покойного «Харькова», в 1880 г., пометил тридцатым февралем;

б) присутствовали бы родившиеся 29-го февраля, чтобы узнать от конгресса, можно ли благородному человеку не праздновать дня своего рождения ежегодно. Конгресс или даст право на ежегодное существование упомянутым числам или же укажет число, в которое родившиеся 29-го февраля могли бы праздновать день своего рождения ежегодно.

4) Нашедшие в нашем календаре какую-либо неправду или желающие поделиться с нами плодами своего уменья предсказывать и предугадывать благоволят обращаться с своими указаниями (письменно) в редакцию «Будильника», на имя заведующего календарем.

5) Для составления календаря наняты два профессора черной магии и один профессор белой магии. Для той же цели заведующий календарем подыскивает сомнамбулу, или ясновидящую. Жалованье последней 1200 руб. в год.

Заведующий календарем «Будильника» — *Антоша Чехонте*.



15, Понедельник, Lundi Montag

Северного сияния не будет. В г. Нежине, Полтавской губернии, утонут в грязи два хохла, а в остальных городах Российской империи, кроме понедельника, ничего не произойдет. На о. Мадагаскаре родится великий акушер.

Две замоскворецкие купчихи съедят от скуки один пуд гречневой крупы и заболеют (средство излечения: Ol. ricini[41] 300,0 pro dosi[42], Nux vomica[43] и диета). Ярмарки: в Стокгольме, Стокгольмской губ. (шведские спички, шведки, картон), и в Пинеге (снетки и деготь). Туман. Восх. сол. 5 ч. 39 м. Зах. его же 6 ч. 31 м. В сей день в 132 году Менелай познакомился в афинском клубе с Аяксами, а немцы выдумали обезьяну (1201 г.).

1) Спартанская похлебка.
2) Жареная селезенка селезня.
3) Вареный аист.
4) Потроха его же.
5) Пряничные лошадки.

16, Вторник, Mardi Dienstag

Сего дня на А. Б. В. ж. дороге кондуктора и стрелочники почему-то будут трезвы. День рождения Петра Боборыкина. Курские соловьи летят в Курск из-за границы. В некоторых местах Донской об-

---

[41] Примечания: 41
Касторовое масло (лат.).

[42] Примечания: 42
В один прием (лат.).

[43] Примечания: 43
Рвотный орех (лат.).

ласти начинаются посевы. Астроном Бредихин в математическом обществе сделает сообщение о двух евреях, виденных им на планете Сатурн, которые, по его мнению, бежали на эту планету от воинской повинности. В Тамбове извержение вулкана. Столкновение кометы с г. Лентовским. Снежище. Ярмарка: в Макарьеве, Костромской губ. (деревянные ложки. Выручено будет 7 р. 12 к.). Восх. сол. 5 ч. 36 м. Зах. его же 6 ч. 32 м. В сей день Архимед перевернул бы землю, если бы ему дали точку опоры (312).

1) Щи с щеглами.
2) Дубоносы фри.
3) Чижи под соусом.
4) Грудной чай с медом.
5) Мороженое из снегирей. (Сей обед в книге г-жи Ольги Молоховец называется «обедом певчих»)



17, Среда, Mercredi Mittwoch

В редакции «Калужских губ. ведомостей» произойдет прохождение Венеры через диск солнца. Именинники: гг. Потехин, Суворин и богатырь Алеша-Попович. Блиох почувствует угрызение совести, но краденого в сей день и в предбудущие не воротит. Московское общество акклиматизации присудит пекарю Филиппову медаль за разведение лучшей породы мышей и прусаков. На Московско-Брестской ж. д. произойдет столкнове-

ние… обер-кондуктора с начальником станции. Восх. сол. 5 ч. 33 м. Зах. его же 6 ч. 36 м. Абстракция. В Бердичеве произойдет преломление света. В сей день персидский царь Кардашон LX был побежден полководцем Кучелебой (803).

1) Консоме с подливкой.
2) Коза со смородиной.
3) Бараний бок с кашей.
4) Вермишель с макаронами.
5) Шоколад Иоганна Гоффа.



18, Четверг, Jeudi Donnerstag

Гладстон рассердится на короля ашантиев; король ашантиев скажет горячую речь. В «Донской пчеле» горячая передовая статья по поводу перехода израильтян через Чермное море. В Тирасполе борьба стихий. Именинник наш под-

писчик № 18 007. Великий океан очистится ото льда; открытие навигации. Ярмарка в Австралии. Холодно до чертиков. Восх. сол. 5 ч.30 м. Зах. его же 6 ч. 38 м. В сей день в г. Саратове, Саратовской губ., произошло убийство Коверлей (807; зри драму «Убийство Коверлей»).

1) Суточные щи с дупелями.
2) Расстегай из муки Нестле.
3) Гороховая колбаса с луком.
4) Баранья голова с бараньими мозгами.
5) Отличное бланманже.



19, Пятница, Vendredi Freitag

В Зоологическом саду умрут три зверя от «не тетки». В цирке Саламонского смятение умов. В г. Кинешме родится от одной благородной дамы шесть близнецов, из коих все шесть будут со временем профессорами черной магии. Землетрясение на луне. Ярмарок, к сожалению, нигде нет. Восх. сол. 5 ч. 27 м. Зах. его. же 6 ч. 41 м. Буран, метель и ветры. В сей день Ганнибал играл со

своим дядей Гамилькаром в шашки (303).

1) Ленивые щи по-швабски.
2) Кашалот с начинкой.
3) Уксус фри.
4) Пудинг из грибов.



20, Суббота, Samedi Sonnabend

Получ. кап. по выш. в тир. 5 % обл. англо-голл. займа, обл. шуйско-иван. и рязанско-козл. ж. д. Выйдет в тираж директор некоего банка. Варш. гор. кред. общ. обл. и акц. Поти-Тифл. ж. д. Отрезывание купонов в конторе Блиоха. День рождения г. Лохвицкого. Утром туман. В редакции «Костромских ведомостей» оттепель. Восх. сол. 5 ч. 24 м. Зах. его же 6 ч. 43 м. В сей день в 703 г. китайцы разбили шведов на о. Исландии.

1) Суп с начинкой.
2) Барашковые котлеты с начинкой.
3) Сыр бри с начинкой.
4) Раковое желе с начинкой.

21, Воскресенье, Dimanche Sonntag

Концерт в театре, концерт в Благородном собрании, концерт в манеже и т. д.: 23 концерта. День светлый. Благорастворение воздухов. Пахнет весной. Ярмарка: в Валдае (валдайские колокольчики, бубенчики). Король ашантиев будет обедать у Эдисона; Эдисон скажет свое мнение и подаст в отставку. На о. Формозе схватка инсургентов с эмигрантами. В Рыбинске недоумение. Восх. сол. 5 ч. 21 м. Зах. его же 6 ч. 45 м. В сей день Савонаролла предсказал московским присяжным поверенным рождение д-ра Лохвицкого (1708 г.). Конец недели. Выход 12 № «Будильника».

1) Чечевица с бобами.
2) Начинка.
3) Подливка.
4) Гарнир.
5) Компот из Адамовых яблок.



ПРИМЕЧАНИЯ К КАЛЕНДАРЮ

1) Ежедневные события: утро, полдень, вечер, концерты, отравление рыбой, пожар, скандал с конкой, передовые статьи, блестящее представление в цирке, интендантский процесс и плоская острота кн. Мещерского.

2) Г-же Ольге Молоховец: вы пишете нам, что наши обеды просто объедение, и просите у нас, чтобы мы позволили вам перепечатать эти обеды в своей «Подарок молодым хозяйкам». Сделайте одолжение!

3) Нашедшие в нашем календаре какую-либо неправду или желающие поделиться с нами плодами своего уменья предсказывать и предугадывать, благоволят обращаться с своими указаниями (письменно) в ред. «Будильника», на имя заведующего календарем.

4) Петербург. Редакция «Добряка». Главному повару. — Никуда не годится. Слишком пресно, протухло и неудобоваримо. Посолите и убавьте чесноку.

5) В редакцию «Руси». — Merci. Квас прелестен. Порекомендуем. Вы пишете, что квас без тараканов — иноземщина. Мы не согласны с вами. Процедить нужно. Прикажите помыть жбаны:

запах от них тлетворнее Запада!

Заведующий календарем «Будильника» — *Антоша Чехонте.*

22, Понедельник, Lundi Montag

Певцы, певицы, пьянисты, начальники хоров, театральные шарманщики и музыкальные подрядчики набивают свои чемоданы златом, вырученным за великий пост; великая радость объемлет их великие сердца. «Стрельне» — аревуар[44] до будущей зимы. Погода теплая: + 6 по Я. + 7,5 по Ц. и 42° по Ф. Секретарь редакции «Калужских ведомостей» потеряет свою шапку. Восх. сол. 5 ч. 18 м., зах. его же 6 ч. 48 м.

1) Ля-супе-деликатес.
2) Страсбургский пирог с капустой.
3) Лебединые шеи под соусом.
4) Ванилевое желе с соей.



---

[44] Примечания: 44
До свиданья (фр.).

23, Вторник, Mardi Dienstag

Пахнет весной и черт знает чем. Москва количеством лишних вод напоминает собой Венецию. Рекомендуем управе катание на лодках на Кузнецком мосту с благотворительной целью. День рождения Миши Евстигнеева. Именинницы наши подписчицы: № 19 012 и 13 444. Ярмарка в г. Красноборске, Вологодской губ. (щеколды и самоварные трубы). Восх. сол. 5 ч. 15 м., зах. его же 6 ч. 50 м. В сей день Диоген, в присутствии китайского посланника, учинил неблагопристойность (303).

1) Консоме с редькой.
2) Кайенский перец с изюмом.
3) Жареный пух.
4) Компот из форелей.



24, Среда, Mercredi Mittwoch

Донецкая Каменноугольная ж. д., возящая вместо каменного угля «зайцев», будет переиме-

нована в Донецкую-Зайцевскую. Родится 121 великий человек. Ярмарка в Велиже, Витебской губ. (оглобли, стамески и куклы). Зола, Щедрин и Боборыкин, разбитые архичудаком И. Н. Павловым, бросят писательство в займутся бакалейной торговлей. Восх. сол. 5 ч. 12 м., зах. его же 6 ч. 53 м. В г. Звенигороде, Московской губ., падение наук и искусств. В сей день россияне, на удивление всех иностранцев, выдумали самовар (1402).

1) Кислые щи с фазаном.
2) Майонез из золотых рыбок.
3) Суслики фри.
4) Квас à la «Русь» (раз двадцать процеженный).



25, Четверг, Jeudi Donnerstag

День хороший. Все будут счастливы, кроме кн. Мещерского и Баталина, которые всегда несчастливы. В г. Сызрани в сей день начнется период

свайных построек. «Русь» начнет печататься с титлами. Гг. Садовский, Музиль и Правдин переводятся в Петербург. В театрах полы метут и замки чистят. В г. Житомире, по случаю грязи, приостановилось движение… умов. Восх. сол. 5 ч. 9 м., зах. его же 6 ч. 55 м. В сей день в 132 г. в Португалии ничего особенного не произошло.

1) Щи с попугаями.
2) Язык с горохом.
3) Гусь лапчатый фри.
4) Сахарная вода.
5) Водица.

(Сей обед у г-жи Ольги Молоховец носит наименование «обеда адвокатов».)



26, Пятница, Vendredi Freitag

Тещи, жены, маменьки, тетеньки и бабушки пекут куличи и пасхи, кричат, ссорятся, требу-

ют у мужского пола денег и гонят всех из дома. Джентльмены, денди и кабалеро гуляют по Кузнецкому, ибо дома приборка. Утром морозец, но днем тепло. Именинники: поэт Хрущов-Сокольников, наш подписчик № 17 037 и покойник Державин. Ярмарка в сельце Трофимове, Лондонской губ. Секретарь редакции «Калужских ведомостей» найдет свою шапку, утерянную 22-го числа. Восх. сол. 5 ч. 6 м., зах. его же 6 ч. 57 м. В сей день Александр Пушкин и Виссарион Белинский, за неспособность к изучению российской словесности, получили по единице.

1) Уха из морских звезд.
2) Саланга по-китайски.
3) Акула фри.
4) Леденцы.



27, Суббота, Samedi Sonnabend

В кухнях вредными и невредными красками живописуют яйца. Нескончаемые приготовления к завтрашнему дню. В прачечных, портняжных

и у madames — дым коромыслом. Горе мужьям-колпакам и почтительным зятьям: зачахнут, бегаючи! Редакторы просмотрят последнюю корректуру и до вторника почиют на лаврах. В г. Кинешме, Костромской губ., за неимением товаров, ярмарки не будет. Сильная продажа копеечных марок. День рождения г. Гладстона. Восх. сол. 5 ч. 3 м., зах. его же 7 ч. В г. Архангельске метелица. В сей день Сирены завлекали своим пением царя Одиссея (812).

1) Рюмка водки.
2) Суточные щи с вчерашней кашей.
3) 2 рюмки водки.
4) Поросенок с хреном.
5) 3 рюмки водки.
6) Хрен, кайенский перец и соя.
7) 4 рюмки водки.
8) 8 бутылок пива. (Сей обед во всех поварских книжках называется «обедом журналистов».)

28, Воскресенье, Dimanche Sonntag

День сугубо светлый, блестящий, длиннейший, праздничнейший… Звон, поцелуи, гости, закуски, выпивка. Все гуляют, кроме почтальонов, которые… бегают. Почтамт разошлет 106 пуд. ви-

зитных карточек. Много пьяных, мало трезвых. Сильные отдыхают, слабые высовывают языки от утомления, расписываясь в передних сильных. Небо чисто, небо ясно. Поручик Ахахаев, христосуясь с купчихой Балдастовой, поцарапает последней своими усами губы, чем и произведет уродство. Восх. сол. 5 ч., зах. его же 7 ч. 2 м.

Вместо обеда полагается вседневное, грандиозное, колоссальное, хаотическое жевание и глотание яиц, окороков, куличей, закусок, вин, водок et caetera… Едят до изжоги, икоты и отрыжки. Некоторые заболевают расширением желудка.



ПРИМЕЧАНИЯ К КАЛЕНДАРЮ

1) Сотрудники «Будильника», в предупреждение могущих, произойти недоразумений, сим имеют честь уведомить, что они будут христосоваться только с хорошенькими, а заведующий «Календарем» — исключительно с одними блон-

динками.

2) В текущую неделю войны испанцев с австрийцами не будет.

3) Г-ну NN. — Вы пишете, что кашалот с начинкой не помещается на стол. Что ж? Купите себе стол побольше!

4) Петербург, редакция «Новостей». — Мясоед скоро. Плодите уток.

5) Такие-то дела, читатель!

Заведующий календарем «Будильника» — *Антоша Чехонте.*

ВЫДАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЯ, МЕТЕОРОЛОГИЯ, ПРОРОЧЕСТВА, ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ, КОММЕРЦИЯ, СОВЕТЫ, РЕЦЕПТЫ И ПР.

29, понедельник. — Второй день праздника. Изжога, икота, отрыжка. (Средства излечения: magnesia alba[45], ol. ricini, диета.) Отдыхают после вчерашних визитов и объедения. Не будет ни дождя, ни снега. На бульварах сильное движенье. В Зоологическом саду «праздник». Штык-юнкер Франторознов, рассматривая список расписавшихся вчера в его передней, не найдет имени поручика Ахахаева и даст себе слово погубить

---

[45] Примечания: 45
Магнезия (лат.).

последнего. Именинник поэт М. Ярон. Восх. сол. 4 ч. 47 м., зах. его же 7 ч. 5 м. В сей день писатель Вильям Шекспир воскликнул: О, женщины, женщины! (1640).

30, вторник. — Родится великий глупец; «Русский сатирический листок» подаст в отставку. Рабочие в типографиях и литографиях пьяны — как стельки, метранпажи — как сапожники. Именинник Кифа Мокиевич. Кречинский и Хлестаков выходят из «Нового времени», чтобы издавать собственную газету «Благонамеренные козлы». Концерт чуть не в каждом переулке. В Малом театре дают «Синичкина». Восх. сол. 4 ч. 54 м., зах. его же 7 ч. 7 м. В сей день произошло великое переселение народов (707), а Кюнер сочинил латинскую грамматику.

31, среда. — Кроме среды и ярмарки, в г. Орле, Орловской губернии, ничего не произойдет. Восх. сол. 4 ч. 51 м., зах. его же 7 ч. 10 м. В сей день Эфиальт предал персам отечество (803), князь Мещерский впервые изобрел «Гражданина», Цитович научился писать, родился г. Баталин.

Апрель

Месяц, имеющий 30 дней, 30 ночей, 720 часов, 43 200 минут, 2 592 000 секунд. Месяц дождливый, туманный и грязный. Вырастет трава, позеленеют

деревья, потеплеет. В коммерции затишье. Замуж выходить и жениться не возбраняется. Шапки дарятся дворникам и лакеям, а вместо шапок на головы накладываются шляпы. Шубы несутся в ссуду под залог. Концертов тьма-тьмущая; между ними преобладают, разумеется, кошачьи. В сей месяц родится очень много великих людей. Все будут счастливы и проживут до девяноста лет. Размножение блох. Пора подумать о даче!

1, четверг. — Можно надувать всех. Кто врет — тот следует обычаю. Мы изменяем сегодня себе и тоже врем. — «Жить на этом свете весьма приятно. Боборыкин и Маркевич великие писатели. Умер Лохвицкий. Курс с каждым днем повышается. Мы живем не для того, чтобы есть, а едим для того, чтобы жить»... И так далее. Это — день адвокатов, газет и И. А. Хлестакова. Тепло. Кто не врет, тому в Малом театре — «Синичкин», в Большом — «Арифа». Скучно. Многие Маши именинницы. Восх. сол. 4 ч. 48 м., зах. его же 7 ч. В сей день Лукулл проел и пропил 400 000 франков (43).

2, пятница. — Все обстоит благополучно. Титы — именинники и бушуют. День рождения г-жи Ментер. В г. Ярославле скандал: кто-то кого-то по мордасам. Прилетают вальдшнепы и дупеля. В Малом театре «Город упраздняется», в Большом

«Дева ада». Затмения солнца и луны, видимые единовременно во всех частях мира сего. Восх. сол. 4 ч. 45 м., зах. его же 7 ч. 14 м. Извержение Этны на Везувии. В сей день Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем, а Акакий Акакиевич сшил себе новую шинель (1842 г.).

3, суббота. — Азовское море потонет в таганрогской грязи, Черное море засыплется одесскою пылью. Именинники: редактор «Современных известий» г. Гиляров и покойный Н. И. Крылов. Г. Аверкиев начнет восемнадцатиактную драму, в стихах, «Битва русских с кабардинцами». Восх. сол. 4 ч. 42 м., зах. его же 7 ч. 17 м. Прохождение Венеры Медицейской через диск солнца. Луну видно только в четвертом часу утра. Ночи темные, звездные, тихие. В сей день Навуходоносор, будучи зверем, скушал пуд сена (813).

4, воскресенье. — Красная горка. Разгар дешевки. В пассаже толкотня ужасная. В сей день можно купить сорочку за 13 коп., ситец 2 коп. за арш., дюжину чепчиков за 35 к., женское платье за 1 р. и т. д. Уже можно венчаться. Выход 13 № «Будильника». Восх. сол. 4 ч. 39 м., зах. его же 7 ч. 20 м. Можно ходить без галош. В сей день Агафья Федосьевна откусила ухо у заседателя (1854 г.), Одиссей вздул женихов Пенелопы (1030 г.), а Со-

бакевич наступил на ногу губернатору.

5, понедельник. — Наводнение в прессе. Венки и фрак покойного Н. Г. Рубинштейна заложатся в ссуде. Именинник наш сотрудник, Агафопод Единицын (автор «Ракеты пяти чувств»). В Большом театре «Арифа», в Малом «Город упраздняется». Дождь утром, ясно в полдень, дождь вечером. Перемена климата ежечасная. Восх. сол. 4 ч. 36 м., зах. его же 7 ч. 22 м. В сей день Пифагор сочинил Пифагоровы штаны. (Это было тем более кстати, что в то время у Пифагора не было штанов.)

6, вторник. — Поминовение дедушек и бабушек. На кладбищах гулянья. Ярмарки нигде нет. Турки поступают по-свински. Гладстон в недоумении. В Монако мобилизация войск. На политическом горизонте дождевая туча. В Лондоне голод. Восх. сол. 4 ч. 33 м., зах. его же 7 ч. 25 м. Два мужа, разорившиеся на дешевке, вешаются. Вечная им память! Сара Бернар требует развода. В сей день Аливемелех, царь никомидийский, подрался с театральными барышниками.

7, середа. — Именинницы все Акулины. Сара Бернар выходит замуж за негра. В Большом театре «Дева ада», в Малом «Л. Г. Синичкин». В г. Славяносербске волнение среди композиторов. Восх. сол. в 4 ч. 30 м., зах. его же 7 ч. 37 м. Полнолуние.

Дождя не будет: можно ходить без галош. В сей день (в 1843 г.) скончалась Пульхерия Ивановна.

8, четверг. — Солнце вступает в знак зодиака «Лев» в 7 ч. 30 м. у. Именинницы все Павселины. В Охотном ряду охотники, ездившие вчера и позавчера на охоту, покупают дичь. В Большом театре «Арифа», в Малом «Город упраздняется». Лентовский утром едет в Америку, вечером обратно. Восх. сол. 4 ч. 27 м., зах. его же 7 ч. 30 м. В Красноярске поднесение благодарственного адреса артисту художеств, г. Юханцеву. В сей день на солнце появилось первое пятно (18 г.), а Архимед крикнул: Эврика!!!



9, пятница. — Через Москву-реку проходит минимум.

Передовая статья «Современных» пугает жупелом. В Большом театре «Дева ада», в Малом «Л. Г. Синичкин». В Славянске начало сезона. Восх. сол.

4 ч. 24 м., зах. его же 7 ч. 32 м.

В г. Волоколамске конец периода свайных построек. В сей день Ксантиппа вылила ушат помоев на умную голову Сократа, сказавшего: «Я знаю только то, что я ничего не знаю!»

10, суббота. — Все Африканы и Зиноны именинники.

Сара Бернар требует развода.

В г. Нахичевани смешение языков. В Большом театре «Арифа», в Малом «Город упраздняется». Ярмарка в Париже. (Сочинения Понсон-де-Терайля, кружева и эти дамы. Выручено будет 1 000 005 франков.) Восх. сол. 4 ч. 21 м., зах. его же 7 ч. 35 м. Радуга. Из рукава г. Геймана выскочит Вельзевул и испугает публику. В сей день родился первый портной (12 г.).

11, воскресенье. — Младенцы, отроки и юноши зубрят и бледнеют при мысли об экзаменах. Турки нанимают г. Лохвицкого. В редакции «Гражданина» введение телесного наказания. В Большом театре «Дева ада», в Малом «Л. Г. Синичкин». Сара Бернар выходит замуж за помощника секретаря китайского посольства. Восх. сол. 4 ч. 19 м., зах. его же 7 ч. 37 м. На юге цветет сирень. В сей день произошло рождение маркизы Помпадур.

Примечания

1) В прошлом нумере не было календаря по милости наших профессоров черной магии, которые были пьяны.

2) Заведующий календарем приглашает для совокупного бумагомарательства многозна-

ющего, трезвого и благомыслящего историка. Историк, принявший приглашение, благоволит обращаться письменно на имя заведующего. За каждое сообщенное им событие — пятак звонкою монетой.

3) Г-же Н. Н. Вы спрашиваете, что вам делать, чтобы муж ваш не торчал постоянно в кухне и не мешал вам стряпать? Вы вот что сделайте: рассчитайте кухарку... Наверное она у вас хорошенькая?

За заведующего календарем «Будильника» — *Г. Балдастов.*

«Свидание хотя и состоялось, но...»

Выдержав экзамен, Гвоздиков сел на конку и за шесть копеек (он ездил всегда «на верхотуре») доехал до заставы. От заставы до дачи, версты три, он пропер пехтурой. У ворот встретила его хозяйка дачи, молодая дамочка. Сынка этой дамочки он обучал арифметике, за что и получал стол, квартиру на даче и пять рублей в месяц деньгами.

— Ну что, как? — спросила его хозяйка, протягивая руку. — Благополучно? Выдержали экзамен?

— Выдержал.

— Браво, Егор Андреевич! Много получили?

— По обыкновению... Пять... Гм...

Гвоздиков получил не пять, а только три с плюсом, но... но почему же не соврать, если можно? Экзаменующиеся так же охотно врут, как и охотники. Войдя к себе в комнату, Гвоздиков на своем столе нашел маленькое письмецо с розовой облаточкой. Письмецо пахло резедой. Гвоздиков разорвал конверт, скушал облатку и прочел следующее:

«Так и быть. Будьте ровно в 8 часов около канавы, в которую вчера упала с головы ваша шляпа.

Я буду сидеть под деревом на скамеечке. И я вас люблю, только не будьте таким неповоротливым. Надо быть бойким. Жду вечера с нетерпением. Я вас ужасно люблю. Ваша С.

P. S. Maman уехала, и мы будем гулять до полночи. Ах, как я счастлива! Бабушка будет спать, не заметит».

Прочитав это письмо, Гвоздиков широко улыбнулся, высоко подпрыгнул и, торжествующий, зашагал по комнате.

— Любим! Любим!! Любим!!! Как я счастлив, черт возьми! О-о-о! Тру-ля-ля!

Гвоздиков прочитал письмо еще раз, поцеловал его, бережно сложил и спрятал в анатомический стол. Ему принесли обедать. Он, отуманенный письмом и забывший все на свете, съел все, что ему принесли: и суп, и мясо, и хлеб. Пообедав, он лег и замечтал о всякой всячине: о дружбе, о любви, о службе… Образ Сони носился перед его глазами.

«Как жаль, что у меня часов нет! — думал он. — Будь у меня часы, я мог бы высчитать, сколько осталось до вечера. Время, как назло, протянется чертовски медленно».

Когда ему надоело лежать и мечтать, он поднялся, пошагал и послал кухарку за пивом.

«Пока суть да дело, — подумал он, — а мы выпьем. Время быстрей покажется».

Принесли пиво. Гвоздиков сел, поставил перед собой рядком все шесть бутылок и, любовно поглядывая на них, принялся пить. Выпив три стакана, он почувствовал, что в его груди и голове зажгли по лампе: стало так тепло, светло, хорошо.

«Она составит мне мое счастие! — подумал он, принимаясь за другую бутылку. — Она… она именно та, о которой я мечтал… О да!»

После второй бутылки он почувствовал, что в его голове потушили лампу, и стало темновато. Но зато как весело стало! Хорошо жить на этом свете после второй бутылки! Принимаясь за третью бутылку, Гвоздиков махал перед своим носом рукой и клялся, что счастливее его никого нет на этом свете. Клятву давал он самому себе и верил этой клятве безапелляционно.



— Я знаю, что́ она во мне полюбила! — забормотал он. — Знаю-с! Она полюбила во мне недюжинного человека! Так-то! Знает, кого полюбить и за что полюбить… Недюжинного человека! Я не какой-нибудь там… этакий… Я Гвозд… Я…

Принимаясь за четвертую бутылку, он воскликнул:..

— Да-с! Не какой-нибудь! Полюбила она во мне… гения! Ге-ни-я! Мирового гения! Кто я? И что я? Вы думаете — Гвоздиков? Да, я Гвоздиков, но какой Гвоздиков? Как вы думаете?

Дойдя до половины четвертой бутылки, он ударил кулаком по столу, взъерошил волосы и сказал:

— Я им покажу, кто я таков!

Пусть только кончу курс! Дайте мне только позаниматься! Я жрец науки…

Она полюбила во мне жреца науки. И я докажу, что она права! Вы мне не верите? Прочь! И она не верит? Она? Соня? Прочь и ее в таком случае! Я докажу! Сейчас же начну заниматься!.. Допью только стакан… Все вы подлецы!

Гвоздиков рассердился, допил стакан, достал с полки лекции, открыл и начал читать с середины: «При… причиной вывиха нижней челюсти может также служить па… падение, удар при открытом рте…»

— Чепуха! Челюсть… Удар. То да се… Чепуха!

Гвоздиков закрыл лекции и принялся за пятую бутылку. Выпив, наконец, пятую и шестую, он пригорюнился и задумался о ничтожестве вселенной вообще и человека в частности… Думая, он машинально ставил пробку на горлышко бутылки и целился в нее щелчком, стараясь ударить ею в зеленое пятнышко, мелькавшее перед его глазами. Черные, зеленые и синие пятнышки забегали перед его глазами, когда он попал пробкой в зеленое пятно. Одно из пятен, буро-красное с зелеными иглами, улыбаясь, полетело к его глазам и испустило из себя что-то вроде клея… Гвоздиков почувствовал, что у него слипаются

глаза…

«У меня в глазах кто-то… пищит! — подумал он. — Надо выйти на воздух, а то я ослепну. Надо по… погулять. Здесь душно. Печи все топят… О, о-ослы!!! Пищат и печи топят! Дураки!» Гвоздиков надел шляпу и вышел из комнаты. На дворе уже стемнело. Был десятый час. На небе мерцали звездочки. Луны не было, и ночь обещала быть темна. На Гвоздикова пахнуло майской свежестью леса. Встретили его все атрибуты любовного rendez-vous[46]: и шепот листьев, и песнь соловья, и… даже задумчивая, белеющаяся во мраке «она». Он, сам того не замечая, дошел до места, о котором упоминалось в письме.

Она поднялась со скамьи и пошла к нему навстречу.

— Жорж! — сказала она, чуть дыша. — Я здесь.

Гвоздиков остановился, прислушался и начал смотреть вверх, на верхушки деревьев. Ему показалось, что его имя произнесли где-то вверху.

— Жорж, это я! — повторила она, ближе подойдя к нему.

— А?

— Это я.

---

[46] Примечания: 46
Свидания (фр.).

— Что? Кто тут? Кого?

— Это я, Жорж… Идите… Сядемте.

Жорж протер глаза и уставился на нее…

— Чего надо?

— Смешной! Не узнаете, что ли? Неужели вы ничего не видите?

— А-а-а-а… Позвольте… Вы какое же имеете пра… пра… ввво в ночное время ходить по чужому саду? Милостивый государь! Отвечайте, милостивый государь, в противном же случае я вввам дам… в мор… мор…

Жорж протянул вперед руку и схватил ее за плечо. Она захохотала.

— Какой вы смешной! Ха-ха-ха… Как вы хорошо представлять умеете! Ну, пойдемте. Давайте болтать…

— Кого болтать? Что? Вы почему? А я почему? Смеетесь?

Она громче захохотала, взяла его под руку и потянулась вперед. Он попятился назад. Он изображал из себя упрямого коренника, а она бьющуюся вперед пристяжную.

— Мне… мне спать хочется… Пустите… — забормотал он. — Я не желаю заниматься пустяками…

— Ну, будет, будет… Отчего вы опоздали на полчаса? Занимались?

— Занимался… Я всегда занимаюсь… При… чи… ной вывиха нижней челюсти может быть падение, удар при открытом рте. Челюсти вышибают все больше в трактирах, в кабаках… Я хочу пива… Трехгорного.

Он и она дотащились до скамьи и сели. Он подпер лицо кулаками, уперся локтями в колена и зафыркал. Шляпа сползла с его головы и упала на ее руки. Она нагнулась и посмотрела ему в лицо.

— Что с вами? — тихо спросила она.

— И не ваше, не ваше дело… Никто не имеет права вмешиваться в мои дела… Все они дураки и вы… дураки.

Немного помолчав, Гвоздиков прибавил:

— И я дурак…

— Вы получили письмо? — спросила она.

— Получил… От Сонь… ки… От Сони… Вы — Соня? Ну и что ж? Глупо… Слово «нетерпение» в слоге «не» пишется не чрез «ять», а чрез «е». Грамотеи! Черт бы вас взял совсем!..

— Вы пьяны, что ли?

— Нннет… Но я справедлив! Какое вы имеете пра… пр… пр… От пива нельзя быть пьяным… А? Который?

— А зачем же вы, бессовестный, чепуху мелете, если вы не пьяный?

— Ннет… Именительный — меня, родительный — тебя, дательный, именительный… Processus condyloideus et musculus sterno-cleido-mastoideus[47].

Гвоздиков захохотал, свесил голову к коленям…

— Вы спите? — спросила она.

Ответа не последовало. Она заплакала и начала ломать руки.

— Вы спите, Егор Андреевич? — повторила она.

В ответ на это послышался громкий сиплый храп. Соня поднялась.

— Мер-р-зкий!!! — проворчала она. — Негодный! Так вот ты какой? Так на же, вот тебе! На тебе! На тебе!

И Соня своей маленькой ручкой раз пять коснулась до затылка Гвоздикова, и как коснулась! Ноги ее заходили по его шляпе. Мстительны женщины!

На другой день Гвоздиков послал Соне письмо следующего содержания:

«Прошу прощения. Не мог вчера явиться, потому что был ужасно болен. Назначьте другое

---

[47] Примечания: 47

Яремный отросток и грудно-ключично-сосковая мышца (лат.).

время, хоть сегодняшний вечер, например.

Любящий Егор Гвоздиков».

Ответ на это письмо был таков:

«Шляпа ваша валяется около беседки. Можете ее взять там. Пиво пить приятнее, чем любить, а потому пейте пиво. Не хочу вам мешать.

Уже не ваша С.

P. S. Не отвечайте мне. Я вас ненавижу».

Корреспондент

Музыкантов было восемь человек. Главе их, Гурию Максимову, было заявлено, что если музыка не будет играть неумолкаемо, то музыканты не увидят ни одной рюмки водки и благодарность за труд получат с великой натяжкой. Танцы начались ровно в восемь часов вечера. В час ночи барышни обиделись на кавалеров; полупьяные кавалеры обиделись на барышень, и танцы расстроились. Гости разделились на группы. Старички заняли гостиную, в которой стоял стол с сорока четырьмя бутылками и со столькими же тарелками; барышни забились в уголок, зашептали о безобразиях кавалеров и стали решать вопрос: как это так выходит, что невеста с первого же раза начинает говорить на жениха «ты»? Кавалеры заняли другой угол и заговорили все разом, каждый про свое. Гурий, первая и плохая скрипка и дирижер, заиграл со своими семью черняевский марш… Играл он неумолкаемо и останавливался лишь только тогда, когда хотел выпить водки или подтянуть брюки. Он был сердит: вторая и самая плохая скрипка была донельзя пьяна и чертовски фантазировала, а флейтист ежеминут-

но ронял на пол флейту, не смотрел в ноты и без причины смеялся. Шум поднялся страшный. С маленького столика попадали бутылки… Кто-то ударил по спине немца Карла Карловича Фюнф… С криком и со смехом выскочило несколько человек с красными физиономиями из спальной; за ними погнался встревоженный лакей. Дьякон Манафуилов, желая блеснуть перед пьяной и почтеннейшей публикой своим остроумием, наступил кошке на хвост и держал ее до тех пор, пока лакей не вырвал из-под его ног охрипшей кошки и не заметил ему, что «это одна только глупость». Городской голова вообразил, что у него пропали часы; он страшно перепугался, вспотел и начал браниться, доказывая, что его часы стоят сто рублей. У невесты разболелась голова… В прихожей уронили что-то тяжелое, раздался треск. В гостиной, около бутылок, старички вели себя не по-старчески. Они вспоминали свою молодость и болтали черт знает что. Рассказывали анекдотцы, прохаживались насчет любовных похождений хозяина, острили, хихикали, причем хозяин, видимо довольный, сидел, развалясь на кресле, и говорил: «И вы тоже хороши, сукины сыны; знаю я вас хорошо и любашкам вашим не раз презенты подносил»… Пробило два часа.

Гурий в седьмой раз заиграл испанскую серенаду. Старички вошли в азарт.



— Погляди, Егорий! — зашамкал один старичок,

обращаясь к хозяину и указывая в угол. — Что это там за егоза сидит?

В углу, возле этажерки с книгами, смиренно, поджав ноги под себя, сидел маленький старичок в темно-зеленом поношенном сюртуке со светлыми пуговицами и от нечего делать перелистывал какую-то книжку. Хозяин посмотрел в угол, подумал и усмехнулся.

— Это, братцы мои, — сказал он, — газетчик. Нешто вы его не знаете? Великолепный человек! Иван Никитич, — обратился он к старичку со светлыми пуговицами, — что же ты там сидишь? Подходи сюда!

Иван Никитич встрепенулся, поднял свои голубые глазки и страшно сконфузился.

— Это, господа, сам писатель, журналист! — продолжал хозяин. — Мы пьем, а они, видите ли, сидят в уголку, по-умному думают, да на нас с усмешкой посматривают. Стыдно, брат. Иди выпей — грех, ведь!

Иван Никитич поднялся, смиренно подошел к столу и налил себе рюмочку водки.

— Дай бог вам… — пробормотал он, медленно выпивая рюмку, — чтоб все… этак хорошо… обстоятельно.

— Закуси, брат! Кушай!

Иван Никитич замигал глазками и скушал сардинку. Толстяк, с серебряною медалью на шее, подошел к нему сзади и высыпал на его голову горсть соли.

— Солоней будет, червячки не заведутся! — сказал он.

Публика захохотала. Иван Никитич замотал головой и густо покраснел.

— Да ты не обижайся! — сказал толстяк. — Зачем обижаться? Это шутка с моей стороны. Чудак ты этакой! Смотри, я и себе насыплю! — Толстяк взял со стола солонку и сыпнул себе соли на голову.

— И ему, ежели хочешь, посыплю. Чего обижаться? — сказал он и посолил хозяйскую голову. Публика захохотала. Иван Никитич тоже улыбнулся и скушал другую сардинку.

— Что ж ты, политикан, не пьешь? — сказал хозяин. — Пей! Давай пить со мной! Нет, со всеми выпьем!

Старички поднялись и окружили стол. Рюмки наполнились коньяком. Иван Никитич кашлянул и осторожно взялся за рюмку.

— С меня бы довольно, — проговорил он, обращаясь к хозяину. — Я уже и так пьян-с. Ну, дай бог вам, Егор Никифорыч, чтобы… все… хорошо и

благополучно. Да чего вы все на меня так смотрите? Чудной нешто я человек? Хи-хи-хи-с. Ну, дай бог вам! Егор Никифорыч, батюшка, будьте столь достолюбезны и снисходительны, прикажите Гурию, чтоб Григорий барабанить перестал. Замучил совсем, хам. Так барабанит, что в животе бурлит… За ваше здоровье!

— Пущай барабанит, — сказал хозяин. — Нешто музыка без барабана может существовать? И того не понимаешь, а еще сочинения сочиняешь. Ну, теперь со мной выпей!

Иван Никитич икнул и засеменил ножками. Хозяин налил два стакана.

— Пей, приятель, — сказал он, — а прятаться не смей. Будешь писать, что у Л-ва все пьяны были, так про себя пропишешь. Ну? Желаю здравствовать. Да ну же, умница! Экой ты ведь конфузный какой! Пей!

Иван Никитич кашлянул, высморкнулся и чокнулся с хозяином.

— Желаю вам зла-погибели и бед всяческих… избежать! — сострил купчик; старший зять хозяина захохотал.

— Ура-а-а газетнику! — крикнул толстяк, обхватил Ивана Никитича и поднял его на воздух. Подскочили другие старички, и Иван Никитич

очутился выше своей головы, на руках, головах и плечах почтеннейшей и пьяной т-й интеллигенции.

— Кач… ка-ча-а-ай! Качай его, шельмеца! Неси егозу! Тащи его, темно-зеленого прохвоста! — закричали старички и понесли Ивана Никитича в залу. В зале к старичкам присоединились кавалеры и начали подбрасывать под самый потолок бедного газетчика. Барышни захлопали в ладоши, музыканты замолкли и положили свои инструменты, лакеи, взятые шика ради из клуба, заудивлялись «безобразности» и преглупо захихикали в свои аристократические кулаки. У Ивана Никитича отскочили от сюртука две пуговицы и развязался ремень. Он пыхтел, кряхтел, пищал, страдал, но… блаженно улыбался. Он ни в каком случае не ожидал такой чести для себя, «нолика», как он выражался, «между человеками еле видимого и едва заметного»…

— Гаа-га-га-га! — заорал жених и, пьяный как стелька, вцепился в ноги Ивана Никитича. Иван Никитич закачался, выскользнул из рук т-й интеллигенции и ухватился за шею толстяка с серебряною медалью.

— Убьюсь, — забормотал он, — убьюсь! Позвольте-с! Чуточку-с! Вот так-с… Ох, нет, не так-с!

Жених выпустил ноги, и он повис на шее толстяка. Толстяк мотнул головой, и Иван Никитич упал на пол, застонал и с хихиканьем поднялся на ноги. Все хохотали, даже цивилизованные лакеи из нецивилизованного клуба снисходительно морщили носы и улыбались. Лицо Ивана Никитича сильно поморщилось от блаженной улыбки, из влажных голубых глаз его посыпались искорки, а рот покривился набок, причем верхняя губа покривилась направо, а нижняя вытянулась и искривилась налево.



— Господа почтенные! — заговорил он слабым тенорком, расставя руки и поправляя ремешок, — господа почтенные! Дай бог вам всего того, чего

вы от бога желаете. Спасибо ему, благодетелю, ему… вот ему, Егору Никифоровичу… Не пренебрег мелким человечиком. Встретились это мне позавчера в Грязном переулке, да и говорят: «Приходи же, Иван Никитич. Смотри же, непременно приходи. Весь город будет, ну и ты, сплетня всероссийская, приходи!» Не пренебрегли, дай бог им здоровья. Осчастливили вы меня своею лаской искреннею, не забыли газетчика, старикашку рваного. Спасибо вам. И не забывайте, господа почтенные, нашего брата. Наш брат — человек маленький, это действительно, но душа у него не вредная. Не пренебрегайте, не брезгуйте, он чувствовать будет! Между людьми мы маленькие, бедненькие, а между тем соль мира есмы, и богом для полезности отечественной созданы, и всю вселенную поучаем, добро превозносим, зло человеческое поносим…

— Чего мелешь-то? — закричал хозяин. — Замолол, шут Иванович! Ты речь читай!

— Речь, речь! — заголосили гости.

— Речь? Эк-эк-гем. Слушаю-с. Позвольте подумать-с!

Иван Никитич начал думать. Кто-то всучил ему в руки бокал шампанского. Немного подумав, он вытянул шею, поднял вдруг бокал и начал

тенорком, обращаясь к Егору Никифоровичу:

— Речь моя, милостивые государыни и милостивые государи, будет коротка и длиннотою своею не будет соответствовать настоящему, весьма трогательному для нас, событию. Эк-эк-гем. Великий поэт сказал: блажен, кто смолоду был молод! В истине сего я не сомневаюсь и даже полагаю, что не ошибусь, если прибавлю к нему в мыслях еще кое-что и языком воспроизведу следующее обращение к молодым виновникам сего торжества и события: да будут наши молодые молоды не только теперь, когда они по естеству своему физически молоды еще, но и в старости своей, ибо блажен тот, кто смолоду был молод, но в стократ блаженнее тот, кто молодость свою сохранил до самой могилы. Да будут они, виновники настоящего словоблудия моего, в старости своей стары телом, но молоды душою, то есть живопарящим духом. Да не оскудевают до самой доски гробовой идеалы их, в чем истинное блаженство человеков и состоит. Жизнь их обоюдная да сольется во едино чистое, доброе и высокочестное, и да послужит нежно любящая… хи-хи-хи-с… так сказать, октавой для своего мужа, мужа крепкого в мыслях, и да составят они собою сладкозвучную гармонию! Виват, живио

и ура-а-а!

Иван Никитич выпил шампанское, стукнул каблуком об пол и победителем посмотрел на окружающих.

— Ловко, ловко, Иван Никитич! — закричали гости.

Жених подошел, шатаясь, к Ивану Никитичу, попытался расшаркаться, но не расшаркался, чуть не упал, схватил оратора за руку и сказал:

— Боку… боку мерси[48] Ваша речь очен-н-но о-чень хороша и не лишена некоторой тен-тенденции.

Иван Никитич подпрыгнул, обнял жениха и поцеловал его в шею. Жених страшно сконфузился и, чтобы скрыть замешательство, начал обнимать тестя.

— Ловко вы объяснять чувства можете! — сказал толстяк с медалью. — У вас такая фигура, что… никак не ожидал! Право… извините-с!

— Ловко? — запищал Иван Никитич. — Ловко? Хе-хе-хе. То-то. Сам знаю, что ловко! Огня только мало, ну да где его взять, огня-то этого? Время уж не то, господа почтенные! Прежде, бывало, как скажешь что иль напишешь, так сам

---

[48] Примечания: 48
Премного благодарен (фр. merci beaucoup).

в умилительное состояние души приходишь и удивляешься таланту своему. Эх, было времечко! Выпить бы нужно, фра-дьяволо, за это времечко! Давайте, други, выпьем! Времечко было страсть какое авантажное!

Гости подошли к столу и взяли по рюмке. Иван Никитич преобразился. Он налил себе не рюмку, а стакан.

— Выпьем, господа почтенные, — продолжал он. — Обласкали вы меня, старика, почтите уж и время, в которое я великим человеком был! Славное было времечко! Mesdames, красоточки мои, чокнитесь с аспидом и василиском, который красоте вашей изумляется! Цок! Хе-хе-хе. Амурчики мои. Было время, сакрраменто[49]! Любил и страдал, побеждал и побеждаем неоднократно был. Ура-а-а!

— Было время, — продолжал вспотевший и встревоженный Иван Никитич, — было время, сударики! И теперь время хорошее, но для нашего брата, газетчика, то время лучше было, по той самой причине, что огня и правды в людях больше было. Прежде что ни писака был, то и богатырь, рыцарь без страха и упрека, мученик, страдалец

---

[49] Примечания: 49
Клянусь! (итал. sacramento).

и правдивый человек. А теперь? Взгляни, русская земля, на пишущих сынов твоих и устыдися! Где вы, истинные писатели, публицисты и другие ратоборцы и труженики на поприще… эк… эк… гем… гласности? Ниг-де!!! Теперь все пишут. Кто хочет, тот и пишет. У кого душа грязнее и чернее сапога моего, у кого сердце не в утробе матери, а в кузнице фабриковалось, у кого правды столько имеется, сколько у меня домов собственных, и тот дерзает теперь ступать на путь славных, — путь, принадлежащий пророкам, правдолюбцам да среброненавистникам. Сударь вы мои дорогие! Путь этот нонче шире стал, да ходить по нем некому. Где таланты истинные? Поди ищи: ей-богу, не сыщешь!.. Все ветхо стало да обнищало. Кто из прежних удальцов и молодцов жив остался, и тот теперь обнищал духом да зарапортовался. Прежде гнались за правдой, а нонче пошла погоня за словцом красным да за копейкой, чтоб ей пусто было! Дух странный повеял! Горе, друзья мои! И я тоже, окаянный, не устыдился седин своих и тоже стал за красным словцом гоняться! Нет, нет, да и норовлю в корреспонденцию что-нибудь этакое вковырнуть. Благодарю господа, творца неба и земли, не корыстолюбив я и от голода не дерзаю писать. Теперь кому кушать

хочется, тот и пишет, а пишет что хочет, лишь бы сбоку на правду похоже было. Хотите денежки из редакции получить? Желаете? Ну, коли хотите, то и валяйте, что в нашей Т. такого-то числа землетрясение было да баба Акулина, извините меня, mesdames, бесстыдника, намедни единым махом шестерых ребят родила… Сконфузились, красоточки! Простите великодушно невежду! Доктор сквернословия есмь и в древности по сему предмету неоднократно в трактирах диссертации защищал да на диспутах разнородных прощелыг побеждал. Простите, родные! Ох-хо-хо… так-то, пиши что хочешь, все с рук сойдет. Прежде не то было! Мы если и писали ложь, так по тупоумию и глупости своей, а орудием ложь не имели, потому что то, чему работали, святыней почитали и оной поклонялись!

— Зачем это вы светлые пуговицы носите? — перебил Ивана Никитича какой-то франт с четырьмя хохлами на голове.



— Светлые пуговки? Действительно, что они светлые… По привычке-с… В древности, лет 20 тому назад, я заказал портному сюртучишко; ну, а он, портной-то, по ошибке пришил вместо черных пуговок светлые. Я и привык к светлым пуговкам, потому что тот сюртучишко лет семь таскал… Ну, так вот-с, сударики мои, как прежде было. Слушают красоточки, голубчики, слушают меня старикашку, родненькие… Хи-хи-хи-с… Дай бог вам здоровия! Красавицы мои неземные! Жить бы вам сорок лет тому назад, когда молод был и пламенем огненным сердца зажигать в состоянии был. Рабом был бы, девицы, и на коленах дырки бы себе… Смеются, цветики!.. Ох, вы, мои… Почтили старца вниманием своим.

— Вы теперь пишете что-нибудь? — перебила расходившегося Ивана Никитича курносенькая барышня.

— Пишу ли? Как не писать? Не зарою, царица души моея, таланта своего до самой могилы! Пишу! Разве не читали? А кто, позвольте вас спросить, в семьдесят шестом году корреспонденцию в «Голосе» поместил? Кто? Не читали разве? Славная корреспонденция! В семьдесят седьмом году писал в тот же «Голос» — редакция уважаемой газеты нашла статью мою для печатания неудоб-

ной… Хе-хе-хе… Неудобной… Экася!.. Статья моя с душком была, знаете ли, с душком некоторым. «У нас, — пишу, — есть патриоты видимые, но темна вода во облацех касательно того, где патриотизм их помещается: в сердцах или карманах?» Хе-хе-хе… Душок-с… Далее: «Вчера, — пишу, — была отслужена соборная панихида по под Плевной убиенным. На панихиде присутствовали все начальствующие лица и граждане, за исключением господина исправляющего должность т — го полицеймейстера, который блистал своим отсутствием, потому что окончание преферанса нашел для себя более интересным, чем разделение с гражданами общероссийской радости». Не в бровь, а в глаз! Хо-хо-хо! Не поместили! А я уж постарался тогда, друзья мои! В прошедшем, семьдесят девятом, году посылал корреспонденцию в газету ежедневную «Русский курьер», в Москве издающуюся. Писал я, други мои, в Москву о школах уезда нашего, и корреспонденция моя была помещена, и теперь я даром «Курьера русского» получаю. Вона как! Удивляетесь? Гениям удивляйтесь, а не нолям! Нолик есмь! Эхе-хе-х! Пишу редко, господа почтенные, очень редко! Бедна наша Т. событиями, кои бы описать я мог, а ерундистики писать не хочется, самолюбив

больно, да и совести своей опасаюсь. Газеты вся Россия читает, а для чего России Т.? Для чего ей мелочами надоедать? Для чего ей знать, что в нашем трактире мертвое тело нашли? А прежде-то как я писал, прежде-то, во времена оны, во времена. Писал я тогда в «Северную пчелу», в «Сын отечества», в «Московские»… Белинского современником был, Булгарина единожды в скобочках ущипнул… Хе-хе-хе… Не верите? Ей-богу! Однажды стихотворение насчет воинственной доблести написал… А что я, други мои, потерпел в то время, так это одному только богу Саваофу известно… Вспоминаю себя тогдашнего и в умиление прихожу. Молодцом и удальцом был! Страдал и мучился за идеи и мысли свои; за поползновение к труду благородному мучения принимал. В сорок шестом году за корреспонденцию, помещенную мною в «Московских ведомостях», здешними мещанами так избит был, что три месяца после того в больнице на черных хлебах пролежал. Надо полагать, враг мой дорого мещанам за жестокосердие заплатил: так отдубасили раба божия, что даже и теперь последствия указать могу. А однажды это призывает меня, в 53-м году, городничий здешний, Сысой Петрович… Вы его не помните, и радуйтесь, что не помните. Воспоминание о сем

человеке есть горчайшее из всех воспоминаний. Призывает он меня и говорит: «Что это ты там в в „Пчеле“ накляузничал, а?» А как я там наклаузничал? Писал я, знаете ли, просто, что у нас шайка мошенников завелась и притоном своим трактирчик Гуськова имеет… Трактирчика этого теперь и следа уже нет, в 65-м году снят был и место свое бакалейному магазину господина Лубцоватского уступил. В конце корреспонденции я чуточку душка подпустил. Взял да и написал, знаете ли: «Не мешало бы, в силу упомянутых причин, полиции обратить внимание на трактир г. Г.». Заорал на меня и затопотал ногами Сысой Петрович: «Без тебя не знаю, что ли? Указывать ты мне, морда, станешь? Наставник ты мой, а?» Кричал, кричал, да и засадил меня, трепещущего, в холодную. Три дня и три ночи в холодной просидел, Иону с китом припоминая, унижения всяческие претерпевая… Не забыть мне сего до помрачения памяти моей! Ни один клоп, никакая, с позволения, вошка — никакое насекомое, еле видимое, не было никогда так уничижено, как унизил меня Сысой Петрович, царство ему небесное! А то как отец благочинный, отец Панкратий, коего я юмористически в мыслях своих отцом перочинным называл, где-то по складам

прочел про какого-то благочинного и вообразить изволил, что будто это про него написано и будто я по легкомыслию своему написал; а то вовсе не про него было написано и не я написал. Иду я однажды мимо собора, вдруг как свистнет меня кто-то сзади по спине да по затылку палкой, знаете ли; раз свистнет, да в другой раз, да и в третий… Тьфу ты, пропасть, что за комиссия? Оглядываюсь, а это отец Панкратий, духовник мой… Публично! За что? За какую вину? И это перенес я со смирением. Много терпел я, друзья мои!

Стоявший возле именитый купец Грыжев усмехнулся и похлопал по плечу Ивана Никитича.

— Пиши, — сказал он, — пиши! Почему не писать, коли можешь? А в какую газету писать станешь?

— В «Голос», Иван Петрович!

— Прочесть дашь?

— Хе-хе-хе… Всенепременно-с.

— Увидим, каких делов ты мастер. Ну, а что же ты писать станешь?

— А вот если Иван Степанович что-нибудь на прогимназию пожертвуют, то и про них напишу!

Иван Степанович, бритый и совсем не длинно-

полый купец, усмехнулся и покраснел.

— Что ж, напиши! — сказал он. — Я пожертвую Отчего не пожертвовать? Тысячу рублев могу…

— Нуте?

— Могу.

— Да нет?

— Ну вот еще. Разумеется, могу.

— Вы не шутите?.. Иван Степанович!

— Могу… Только вот что… Ммм… А если я пожертвую, да ты не напишешь?

— Как это можно-с? Слово твердо, Иван Степаныч.

— Оно-то так… Гм… Ну, а когда же ты напишешь?

— Очень скоро-с, даже очень скоро-с… Вы не шутите, Иван Степаныч?

— Зачем шутить? Ведь за шутки ты мне денег не заплатишь? Гм… Ну, а если ты не напишешь?

— Напишу-с, Иван Степаныч! Побей меня бог, напишу-с!

Иван Степанович наморщил свой большой лоснящийся лоб и начал думать. Иван Никитич засеменил ножками, заикал и впился своими сияющими глазками в Ивана Степановича.

— Вот что, Никита… Никитич… Иван, что ля? Вот что… Я дам… дам две тысячи серебра, и потом,

может быть, еще что-нибудь… этакое. Только с таким условием, братец ты мой, чтоб ты взаправду написал…

— Да ей-богу же напишу! — запищал Иван Никитич.

— Ты напиши, да прежде чем посылать в газету — дашь мне прочитать, а тогда я и две тысячи выложу, ежели хорошо будет написано…

— Слушаю-с… Эк… эк-гем… Слушаю и понимаю, благородный и великодушный человек! Иван Степанович! Будьте столь достолюбезны и снисходительны, не оставьте ваше обещание без последствий, да не будет оно одним только звуком! Иван Степанович! Благодетель! Господа почтенные! Пьяный я человек, но постигаю умом своим! Гуманнейший филантроп! Кланяюсь вам! Потщитесь! Послужите образованию народному, излейте от щедрот своих… Ох, господи!

— Ладно, ладно. Увидишь там.

Иван Никитич вцепился в полу Ивана Степановича.

— Великодушнейший! — завизжал он. — Присоедините длань свою к дланям великих… Подлейте масла в светильник, вселенную озаряющий! Позвольте выпить за ваше здоровье. Выпью, милостивый, выпью! Да здравств…

Иван Никитич закашлялся и выпил рюмку водки. Иван Степанович посмотрел на окружающих, мигнул глазами на Ивана Никитича и вышел из гостиной в залу. Иван Никитич постоял, немного подумал, погладил себя по лысине и чинно прошел, между танцующими, в гостиную.

— Оставайтесь здоровы, — обратился он к хозяину, расшаркиваясь. — Спасибо за ласки, Егор Никифорович! Век не забуду!

— Прощай, братец! Заходи и вдругорядь. В магазин заходи, коли время: с молодцами чайку попьешь. На женины именины приходи, коли желаешь, — речь скажешь. Ну, прощай, дружок!

Иван Никитич с чувством пожал протянутую руку, низко поклонился гостям и засеменил в прихожую, где, среди множества шуб и шинелей, терялась и его маленькая поношенная шинелька.

— На чаек бы с вашего благородия! — предложил ему любезно лакей, отыскивая его шинель.

— Голубчик ты мой! Мне и самому-то впору на чаек просить, а не токмо что давать…

— Вот она, ваша шинель! Это она, ваше полублагородие? Хоть муку сей! В этой самой шинели не по гостям ходить, а в свинюшнике препровождение иметь.

Сконфузившись и надевши шинель, Иван Никитич подсучил брюки, вышел из дома т-го богача и туза, Егора Л-ва, и направился, шлепая по грязи, к своей квартире.

Квартировал он на самой главной улице, во флигеле, за который платил шестьдесят рублей в год наследникам какой-то купчихи. Флигель стоял в углу огромнейшего, поросшего репейником, двора и выглядывал из-за деревьев так смиренно, как мог выглядывать… один только Иван Никитич. Он запер на щеколду ворота и, старательно обходя репейник, направился к своему серому флигелю. Откуда-то заворчала и лениво гавкнула на него собака.

— Стамеска, Стамеска, это я… свой! — пробормотал он. Дверь во флигеле была не заперта. Вычистивши щеточкой сапоги, Иван Никитич отворил дверь и вступил в свое логовище. Крякнув и снявши шинель, он помолился на икону и пошел по своим, освещенным лампадкою, комнатам. Во второй и последней комнате он опять помолился иконе и на цыпочках подошел к кровати. На кровати спала хорошенькая девушка лет 25.

— Маничка, — начал будить ее Иван Никитич, — Маничка!

— Вввввв…

— Проснись, дочь моя!

— А мня… мня… мня… мня.

— Маничка, а Маничка! Пробудись от сна!

— Кого там? Че… го, а? а?

— Проснись, ангел мой! Поднимись, кормилица моя, музыкантша моя… Дочь моя! Маничка!

Манечка повернулась на другой бок и открыла глаза.

— Чего вам? — спросила она.

— Дай мне, дружок, пожалуйста, два листика бумаги!

— Ложитесь спать!

— Дочь моя, не откажи в просьбе!

— Для чего вам?

— Корреспонденцию в «Голос» писать.

— Оставьте… Ложитесь спать! Там я вам ужинать оставила!

— Друг мой единственный!

— Вы пьяны? Прекрасно. Не мешайте спать!

— Дай бумаги! Ну что тебе стоит встать и уважить отца? Друг мой! Что же мне, на колена становиться, что ли?

— Аааа… черррт! Сейчас! Уходите отсюда!

— Слушаю.

Иван Никитич сделал два шага назад и спрятал

свою голову за ширмы. Манечка спрыгнула с кровати и плотно окуталась в одеяло.

— Шляется! — проворчала она. — Вот еще наказание-то! Матерь божия, скоро ли это кончится, наконец! Ни днем, ни ночью покоя! Ну, да и бессовестный же вы!..

— Дочь, не оскорбляй отца!

— Вас никто не оскорбляет! Нате!

Манечка вынула из своего портфеля два листа бумаги и швырнула их на стол.

— Мерси, Маничка! Извини, что обеспокоил!

— Хорошо!

Манечка упала на кровать, укрылась одеялом, съежилась и тотчас же заснула.

Иван Никитич зажег свечу и сел у стола. Немного подумав, он обмакнул перо в чернила, перекрестился и начал писать.

На другой день, в восемь часов утра, Иван Никитич стоял уже у парадных дверей Ивана Степановича и дрожащей рукой дергал за звонок. Дергал он целых десять минут и в эти десять минут чуть не умер от страха за свою смелость.

— Чево надоть? Звонишь! — спросил его лакей Ивана Степановича, отворяя дверь и протирая фалдой поношенного коричневого сюртука свои заспанные и распухшие глаза.

— Иван Степанович дома?

— Барин? А где ему быть-то? А чево надоть?

— Вот… я к нему.

— Из пошты, что ль? Спит он!

— Нет, от себя… Собственно говоря.

— Из чиновников?

— Нет… но… можно обождать?

— Отчего не можно? Можно! Идите в переднюю! Иван Никитич бочком вошел в переднюю и сел на диван, на котором валялись лакейские лохмотья.

— Аукрррмм… Кгмбррррр… Кто там? — раздалось в спальне Ивана Степановича. — Сережка! Пошел сюда!

Сережка вскочил и как сумасшедший побежал в хозяйскую спальню, а Иван Никитич испугался и начал застегиваться на все пуговицы.

— А? Кто? — доносилось до его ушей из спальни. — Кого? Языка у тебя, скотины, нету? Как? Из банка? Да говори же! Старик?

У Ивана Никитича застучало в сердце, помутилось в глазах и похолодело в ногах. Приближалась важная минута!

— Зови его! — послышалось из спальни. Явился вспотевший Сережка и, держась за ухо, повел Ивана Никитича к Ивану Степановичу. Иван

Степаныч только что проснулся: он лежал на своей двухспальной кровати и выглядывал из-под ситцевого одеяла. Возле него, под тем же самым одеялом, храпел толстяк с серебряною медалью. Ложась спать, толстяк не нашел нужным раздеться: кончики его сапогов выглядывали из-под одеяла, а серебряная медаль сползла с шеи на подушку. В спальне было и душно, и жарко, и накурено. На полу красовались осколки разбитой лампы, лужа керосина и клочья женской юбки.

— Чего тебе? — спросил Иван Степанович, глядя в лицо Ивана Никитича и морща лоб.

— Извиняюсь за причиненное беспокойство, — отчеканил Иван Никитич, вынимая из кармана бумагу. — Высокопочтенный Иван Степанович, позвольте…

— Да ты, послушай, соловьев не разводи, у меня им есть нечего: говори дело. Чего тебе?

— Я вот, с тою целью, чтоб эк… эк-гем почтительнейше преподнесть.

— Да ты кто таков?

— Я-с? Эк… эк… гем… Я-с? Забыли-с? Я корреспондент.

— Ты? Ах да. Теперь помню. Зачем же ты?

— Корреспонденцию обещанную на прочтение преподнесть пожелал…

— Уж и написал?

— Написал-с.

— Чего так скоро?

— Скоро-с? Я до самой сей поры писал!

— Гм… Да нет, ты… не так. Ты бы подольше пописал. Зачем спешить? Поди, братец, еще попиши.

— Иван Степанович! Ни место, ни время стеснить таланта не могут… Хоть год целый дайте мне — и то, ей-богу, лучше не напишу!

— А ну-ка, дай сюда!

Иван Никитич раскрыл лист и обеими руками поднес его к голове Ивана Степановича.

Иван Степанович взял лист, прищурил глаза и начал читать:



«У нас, в Т..., ежегодно воздвигается по нескольку зданий, для чего выписываются столичные архитекторы, получаются из-за границы строительные материалы, затрачиваются громадные капиталы — и все это, надо признаться, с целями меркантильными... Жалко! Жителей у нас 20 тысяч с лишком, Т. существует уже несколько столетий, здания воздвигаются; а нет даже и хижины, в которой могла бы приютиться сила, отрезывающая корни, глубоко пускаемые невежеством... Невежество...» Что это написано?

— Это-с? Horribile dictu[50].

— А что это значит?..

— Бог его знает, что это значит, Иван Степанович! Если пишется что-нибудь нехорошее или ужасное, то возле него и пишется в скобочках это выражение.

— «Невежество...» Мммм... «залегает у нас толстыми слоями и пользуется во всех слоях нашего общества полнейшим правом гражданства. Наконец-таки и на нас повеяло воздухом, которым дышит вся образованная Россия. Месяц тому назад мы получили от г. министра разрешение открыть в нашем городе прогимназию. Разрешение это было встречено у нас с неподдельным восторгом. Нашлись люди, которые не ограничились одним только изъявлением восторга, а пожелали еще также выказать свою любовь и на деле. Наше купечество, никогда не отвечающее отказом на приглашения — поддержать денежно какое-либо доброе начинание, и теперь также не кивнуло отрицательно головою...» Черррт! Скоро написал, а как важно! Ай да ты! Ишь! «Считаю нужным назвать здесь имена главных жертвователей. Вот их имена: Гурий Петрович Грыжев

---

[50] Примечания: 50
Страшно сказать... (лат.).

(2000), Петр Семенович Алебастров (1500), Авив Инокентиевич Потрошилов (1000) и Иван Степанович Трамбонов (2000). Последний обещал…» Кто это последний?

— Последний-с? Это вы-с!

— Так я по-твоему, значит, последний?

— Последний-с… То есть… эк… эк… гем… в смысле…

— Так я последний?

Иван Степаныч поднялся и побагровел.

— Кто последний? Я?

— Вы-с, только в каком смысле?!

— В таком смысле, что ты дурак! Понимаешь? Дурак! На тебе твою корреспонденцию!

— Ваше высокостеп… Батюшка Иван… Иван…

— Так я последний! Ах ты, прыщ ты этакой! Гусь! — из уст Ивана Степановича посыпались роскошные выражения, одно другого непечатнее…

Иван Никитич обезумел от страха, упал на стул и завертелся.

— Ах ты, сссвинья! Последний?! Иван Степанов Трамбонов последним никогда не был и не будет! Ты последний! Вон отсюда, чтобы и ноги твоей здесь не было!

Иван Степанович с остервенением скомкал

корреспонденцию и швырнул комком в лицо корреспондента газет московских и санкт-петербургских… Иван Никитич покраснел, поднялся и, махая руками, засеменил из спальной. В передней встретил его Сережка: с глупейшей улыбкой на глупом лице он отворил ему дверь. Очутившись на улице, бледный, как бумага, Иван Никитич побрел по грязи на свою квартиру. Часа через два Иван Степанович, уходя из дома, увидел в передней, на окне, фуражку, забытую Иваном Никитичем.

— Чья это шапка? — спросил он Сережку.

— Да того миздрюшки, что намедни прогнать изволили.

— Выбрось ее! Чево ей здесь валяться?

Сережка взял фуражку и, вышедши на улицу, бросил ее в самую жидкую грязь.

Сельские эскулапы

Земская больница. Утро.

За отсутствием доктора, уехавшего с становым на охоту, больных принимают фельдшера: Кузьма Егоров и Глеб Глебыч. Больных человек тридцать. Кузьма Егоров, в ожидании, пока запишутся больные, сидит в приемной и пьет цикорный кофе. Глеб Глебыч, не умывавшийся и не чесавшийся со дня своего рождения, лежит грудью и животом на столе, сердится и записывает больных. Записывание ведется ради статистики. Записывают имя, отчество, фамилию, звание, место жительства, грамотен ли, лета и потом, после приемки, род болезни и выданное лекарство.

— Черт знает что за перья! — сердится Глеб Глебыч, выводя в большой книге и на маленьких листочках чудовищные мыслете и азы. — Что это за чернила? Это деготь, а не чернила! Удивляюсь я этому земству! Велит больных записывать, а денег на чернила две копейки в год дает! — Подходи! — кричит он.

Подходят мужик с закутанным лицом и «бас» Михайло.

— Кто таков?

— Иван Микулов.

— А? Как? Говори по-русски!

— Иван Микулов.

— Иван Микулов! Не тебя спрашиваю! Отойди! Ты! Звать как?

Михайло улыбается.

— Нешто не знаешь? — спрашивает он.

— Чего же смеешься? Черт их знает! Тут некогда, время дорого, а они с шутками! Звать как?

— Нешто не знаешь? Угорел?

— Знаю, но должен спросить, потому что форма такая… А угореть неотчего… Не такой пьяница, как ваша милость. Не запоем пьем… Имя и фамилия?

— Зачем же я стану тебе говорить, ежели ты сам знаешь? Пять лет знаешь. Аль забыл на шестой?

— Не забыл, но форма! Понимаешь? Или ты не понимаешь русского языка? Форма!

— Ну, коли форма, так черт с тобой! Пиши! Михайло Федотыч Измученко…

— Не Измученко, а Измученков.

— Пущай будет Измученков… Как хочешь, лишь бы вылечил… Хоть Шут Иваныч… Все одно…

— Сословия какого?

— Бас.

— Лет сколько?

— А кто ж его знает! На крестинах не был, не знаю.

— Сорок будет?

— Может, и будет, а может, и не будет. Пиши как знаешь.

Глеб Глебыч смотрит некоторое время на Михаилу, думает и пишет 37. Потом, подумав, зачеркивает 37 и пишет 41.

— Грамотен?

— А нешто певчий может быть неграмотный? Голова!

— При людях ты должен мне «вы» говорить, а не кричать так. Следующий! Кто таков? Как звать?

— Микифор Пуголова, из Хапловой.

— Хапловских не лечим! Следующий!

— Сделайте такую божескую милость… Ваше высокоблагородие. Верстов двадцать пешком шел…

— Хапловских не лечим! Следующий! Отойди! Не курить здесь!

— Я не курю, Глеб Глебыч!



— А что это у тебя в руке?



— Это у меня палец завязан, Глеб Глебыч!

— А не цигарка? Хапловских не лечим! Следующий!..

Глеб Глебыч оканчивает записывание. Кузьма Егоров напивается кофе, и начинается прием. Первый берет на себя фармацевтическую часть — и идет в аптеку, второй — терапевтическую — и надевает клеенчатый фартук.

— Марья Заплаксина! — вызывает по книге Кузьма Егоров.

— Здесь, батюшка!

В приемную входит маленькая, в три погибели сморщенная, как бы злым роком приплюснутая, старушонка. Она крестится и почтительно кланяется эскулапствующему.

— Кгм… Затвори дверь!.. Что болит?

— Голова, батюшка.

— Так… Вся или только половина?

— Вся, батюшка… как есть вся…

— Головы так не кутай… Сними эту тряпку! Голова должна быть в холоде, ноги в тепле, корпус в посредственном климате… Животом страдаешь?

— Страдаю, батюшка…

— Так… А ну-ка потяни себя за нижнюю веку! Хорошо, довольно. У тебя малокровие… Я тебе капель дам… По десяти капель утром, в обед и вечером.

Кузьма Егоров садится и пишет рецепт: «Rp. Liquor ferri[51] 3 гр. того, что на окне стоит, а то, что на полке Иван Яковлич не велели без него распечатывать по десяти капель три раза в день Марьи Заплаксиной».

Старуха спрашивает, на чем принимать капли, кланяется и уходит. Кузьма Егоров бросает ре-

---

[51] Примечания: 51
Раствор железа (лат.).

цепт в аптеку через окошечко, сделанное в стене, и вызывает следующего больного.

— Тимофей Стукотей!

— Здесь!

В приемную входит Стукотей, тонкий и высокий, с большой головой, очень похожий издалека на палку с набалдашником.

— Что болит?

— Сердце, Кузьма Егорыч.

— В каком месте?

Стукотей показывает под ложечку.

— Так… Давно?

— С самой Святой… Давеча пешком шел, так разов десять садился… Знобит, Кузьма Егорыч… В жар бросает, Кузьма Егорыч.

— Гм… Еще что болит?

— Признаться сказать, Кузьма Егорыч, все болит, ну, а уж вы лечите одно сердце, а насчет другого прочего — не беспокойтесь… Другое пусть бабы лечат… Вы мне спиртику какого-нибудь дайте, чтоб к сердцу не подкатывало. К сердцу все это так подкатывает, подкатывает, а потом как подхватит, значит, вот в это самое место, как подхватит, так и… того… Спинищу дерет… В голове точно камень… И кашель тоже.

— Аппетит есть?

— Ни боже мой…

Кузьма Егоров подходит к Стукотею, нагинает его и давит ему кулаком под ложечку.

— Этак больно?

— Ой… ой… ввв… Больно!

— А этак больно?

— Ввв… Смерть!!!

Кузьма Егоров задает ему несколько вопросов, думает и зовет на помощь Глеба Глебыча. Начинается консилиум.

— Покажи язык! — обращается Глеб Глебыч к больному.

Больной широко раскрывает рот и вываливает язык.

— Высунь больше!

— Больше невозможно, Глеб Глебыч.

— На этом свете все возможно.

Глеб Глебыч смотрит некоторое время на больного, о чем-то мучительно думает, пожимает плечами и молча выходит из приемной.

— Должно быть, катар! — кричит он из аптеки.

— Дайте ему olei ricini[52] и ammonii caustici[53]! — кричит Кузьма Егоров. — Растирать живот утром

---

[52] Примечания: 52
Касторового масла (лат.).

[53] Примечания: 53
Нашатырного спирта (лат.).

и вечером! Следующий!

Больной выходит из приемной и идет к окошечку, ведущему из коридора в аптеку. Глеб Глебыч наливает треть чайного стакана касторки и подает Стукотею. Стукотей медленно выпивает, облизывается, закрывает глаза и трет палец о палец, то есть просит заесть чем-нибудь.

— Это тебе спирт! — кричит Глеб Глебыч, подавая ему склянку с нашатырным спиртом. — Растирать живот суконной тряпкой утром и вечером… Посуду возвратить! Не облокачиваться! Отойди!

К окошечку, закрывая рот шалью и ухмыляясь, подходит кухарка отца Григория, Пелагея.

— Что вам угодно-с? — спрашивает ее Глеб Глебыч.

— Кланялись вам, Глеб Глебыч, Лизавета Григорьевна и просили у вас мятных лепешек.

— С удовольствием-ссс… Для прекрасных особ женского пола на все готов-с!

Глеб Глебыч достает с полки банку с мятными лепешками и полбанки высыпает в платок Пелагее.

— Скажите им, — говорит он, — что Глеб Глебыч улыбался от чувств, когда лепешки давал. Письмо мое получили?

— Получили и порвали. Лизавета Григорьевна любовью не занимается.

— Какая же она гризетка! Скажите ей, что она гризетка!

— Михайло Измученков! — вызывает Кузьма Егоров.

В приемную входит «бас» Михайло.

— Михаилу Федотычу! Наше глубочайшее! Что болит?

— Горло, Кузьма Егорыч! Пришел к вам, собственно говоря, чтоб вы, с вашего позволения, относительно моего здоровья того… Не так больно, как убыточно… Через болезнь петь не могу, а регент за каждую обедню сорок копеек вычитает. За всенощную вчера четвертак вычел. Нонче у господ панихида была, певчим дадено было три рубля, и на мою долю чрез болезнь ничего не досталось. И, с вашего позволения, относительно глотки могу вам предположить, что очень уж дерет и хрипит. Точно у тебя в горле какой-то кот сидит и лапами того… Кгм… Кгм…

— От горячих напитков, стало быть?

— Не могу сказать, отчего собственно болезнь моя произошла, но могу выразиться вам, что, с вашего позволения, горячие напитки на теноров действуют, а на басов нисколько. Бас от напитков,

Кузьма Егорыч, гуще делается и представительнее… На бас действует простуда больше.

Из окошечка высовывается голова Глеба Глебыча.

— Чего старухе-то дать? — спрашивает Глеб Глебыч. — Железо, что на окне стояло, вышло. Я распечатаю то, что на полке.

— Нет, нет! Не приказывал Иван Яковлич! Сердиться будет.

— Чего же ей дать?

— Чего-нибудь!

«Дать чего-нибудь» на языке Глеба Глебыча значит: «дать соды».

— Горячих напитков употреблять не следует.

— Я и так уже три дня не употребляю… У меня от простуды… Действительно, водка хрипоту придает басу, но от хрипоты октава, Кузьма Егорыч, как вам известно, лучше… Без водки нельзя нашему брату… Что за певчий, ежели он водки не употребляет? Не певчий, а одна только, с вашего позволения, ирония!.. Не будь у меня такой должности, я и в рот бы ее, проклятой, не взял. Водка есть кровь сатаны…

— Вот что… Я дам вам порошок… Вы разведите его в бутылке и полощите себе горло утром и вечером.

— Глотать можно?

— Можно.

— Очень хорошо… Досадно бывает, ежели глотать нельзя. Полощешь, полощешь, да и выплюнешь — жалко! И вот о чем я хотел вас, собственно говоря, спросить… А к тому, как я животом слаб, и по этой самой причине, с вашего позволения, каждый месяц кровь себе пущаю и травку пью, то можно ли мне в законный брак вступить?

Кузьма Егоров некоторое время думает и говорит:

— Нет, не советую!

— Чувствительно вам благодарен. Славный вы у нас целитель, Кузьма Егорыч! Лучше докторов всяких! Ей-богу! Сколько душ за вас богу молится! И-и-и!.. Страасть!

Кузьма Егоров скромно опускает глазки и храбро прописывает bicarbonici, то есть соды.

Пропащее дело
(Водевильное происшествие)

Ужасно плакать хочется! Зареви я, так, кажется, легче бы стало.

Был восхитительный вечер. Я нарядился, причесался, надушился и донжуаном покатил к ней. Живет она на даче в Сокольниках. Она молода, прекрасна, получает в приданое 30 000, немножко образованна и любит меня, автора, как кошка.

Приехав в Сокольники, я нашел ее сидящей на нашей любимой скамье под высокими, стройными елями. Увидев меня, она быстро поднялась и, сияющая, пошла мне навстречу.

— Как вы жестоки! — заговорила она. — Можно ли так опаздывать? Ведь вы знаете, как я скучаю! Экой вы!

Я поцеловал ее хорошенькую ручку и, трепещущий, пошел вместе с ней к скамье. Я трепетал, ныл и чувствовал, что мое сердце воспалено и близко к разрыву. Пульс был горячечный.

И немудрено! Я приехал решить окончательно свою судьбу. Пан, мол, или пропал… Все зависело от этого вечера.

Погода была чудесная, но не до погоды мне было. Я не слушал даже певшего над нашими головами соловья, несмотря на то что соловья обязательно слушать на всяком мало-мальски порядочном rendez-vous[54].

— Чего же вы молчите? — спросила она, глядя мне в лицо.

— Так… Чудный вечер такой… Maman ваша здорова?

— Здорова.

— Гм… Так… Я, видите ли, Варвара Петровна, хочу с вами поговорить… Для того только я и приехал. Я молчал, молчал, но теперь… слуга покорный! Я не в состоянии молчать.

Варя нагнула голову и дрожащими пальчиками затерзала цветок. Она знала, о чем я хотел говорить. Я помолчал и продолжал:

— Для чего молчать? Как ни молчи, как ни робей, а рано или поздно придется дать волю… чувству и языку. Вы, может быть, оскорбитесь… может быть, не поймете, но… что ж?

Я умолк. Нужно было составить подходящую фразу.

«Да говори же! — протестовали ее глазки. —

---

[54] Примечания: 54
Свидании (фр.).

Мямля! Чего мучаешь?»

— Вы, конечно, давно уже догадались, — продолжал я, помолчав, — зачем я каждый день хожу сюда и своим присутствием мозолю ваши глаза. Как не догадаться? Вы, наверное, давно уже, со свойственною вам проницательностью, угадали во мне то чувство, которое… (Пауза.) Варвара Петровна!

Варя еще ниже нагнулась. Пальчики ее заплясали.

— Варвара Петровна!

— Ну?

— Я… Да что говорить?! Понятно и без того… Люблю, вот и все… Чего ж тут еще говорить? (Пауза.) Ужасно люблю! Я вас так люблю, как… Одним словом, соберите все на этом свете существующие романы, вычитайте все находящиеся в них объяснения в любви, клятвы, жертвы и… вы получите то, что… теперь в моей груди того… Варвара Петровна! (Пауза.) Варвара Петровна!!! Чего же вы-то молчите?!

— Что вам?

— Неужели… нет?

Варя подняла головку и улыбнулась.

«Ах, черт возьми!» — подумал я. Она улыбнулась, шевельнула губками и чуть слышно

проговорила: «Почему же нет?»

Я схватил отчаянно руку, отчаянно поцеловал, бешено схватил за другую руку… Она молодец! Пока я возился с ее руками, она положила свою головку мне на грудь, причем я в первый только раз уразумел, какою роскошью были ее чудные волосы.

Я поцеловал ее в голову, и в моей груди стало так тепло, как будто бы в ней поставили самовар. Варя подняла лицо, и мне ничего не оставалось, как только поцеловать ее в губки.

И вот, когда Варя была уже окончательно в моих руках, когда решение о выдаче мне тридцати тысяч готово уже было к подписанию, когда, одним словом, хорошенькая жена, хорошие деньги и хорошая карьера были для меня почти обеспечены, черту нужно было дернуть меня за язык…

Мне захотелось перед моей суженой порисоваться, блеснуть своими принципами и похвастать. Впрочем, сам не знаю, чего мне захотелось… Вышло страсть как скверно!

— Варвара Петровна! — начал я после первого поцелуя. — Прежде чем взять с вас слово быть моею женою, считаю священнейшим долгом, во избежание могущих произойти недоразумений, сказать вам несколько слов. Я буду короток…

Знаете ли вы, Варвара Петровна, кто я и что я? Да, я честен! Я труженик! Я… я горд! Мало того… У меня есть будущее. Но я беден. Я ничего не имею.

— Я это знаю, — сказала Варя. — Не в деньгах счастье.

— Да… Кто же говорит о деньгах? Я… я горд своею бедностью. Копейки, которые я получаю за свои литературные работы, я не променяю на те тысячи, которые… которыми…

— Понятно. Ну-с…

— Я привык к бедности. Мне она ничего. Я в состоянии неделю не обедать… Но вы! Вы! Неужели вы, которая не в состоянии пройти двух шагов, чтобы не нанять извозчика, надевающая каждый день новое платье, бросающая в стороны деньги, не знавшая никогда нужды, вы, для которой не модный цветок есть уже большое несчастье, — неужели вы согласитесь расстаться для меня с земными благами? Гм…

— У меня есть деньги. У меня приданое!

— Пустое! Для того чтобы прожить десяток, другой тысяч, достаточно только несколько лет… А потом? Нужда? Слезы? Верьте, дорогая моя, моему опыту! Знаю-с! Знаю, что говорю! Для того чтобы бороться с нуждою, нужно иметь сильную волю, нечеловеческий характер!

«Да и чепуху же я мелю!» — подумал я и продолжал:

— Подумайте, Варвара Петровна! Подумайте, на какой шаг вы решаетесь! Шаг бесповоротный! Есть у вас силы — идите за мной, нет сил бороться — откажите мне! О! Лучше пусть я буду лишен вас, чем… вы вашего покоя! Те сто рублей, которые дает мне ежемесячно литература, ничто! Их не хватит! Подумайте же, пока не поздно!

Я вскочил.

— Подумайте! Где бессилие — там слезы, упреки, ранние седины… Предупреждаю вас, потому что я честный человек. Чувствуете ли вы себя настолько сильной, чтобы разделить со мной жизнь, которая своею внешнею стороною не похожа на вашу, чужда вам? (Пауза.)



— У меня же есть приданое!

— Сколько? Двадцать, тридцать тысяч! Ха-ха! Миллион? И потом, кроме этого, позволю ли я себе присваивать то, что… Нет! Никогда! Я горд!

Я прошелся несколько раз около скамьи. Варя задумалась. Я торжествовал. Меня, значит, уважали, коли задумались.

— Итак, жизнь со мной и лишения или же жизнь без меня и богатство… Выбирайте. Есть силы? У моей Вари есть силы?

И говорил в таком роде очень долго. Я незаметно увлекся. Говорил я и в то же время чувствовал в себе раздвоение. Одна половина меня увлекалась тем, что я говорил, а другая мечтала: «А вот

подожди, матушка! Заживем на твои 30 000 так, что небу жарко станет! Надолго хватит!»

Варя слушала, слушала… Наконец она поднялась и протянула мне руку.

— Благодарю вас! — сказала она, и сказала таким голосом, который заставил меня вздрогнуть и взглянуть на ее глаза. На ее глазах и щеках сверкали слезы…

— Благодарю вас! Вы хорошо сделали, что были со мной откровенны. Я неженка… Я не могу… Не пара вам…

И зарыдала. Я опростоволосился… Всегда теряюсь, когда вижу плачущих женщин, а тут и подавно. Пока я думал, что предпринять, она заглушила рыданья и утерла слезы.

— Вы правы, — сказала она. — Если я пойду за вами, обману вас. Не мне быть вашей женой. Я богачка, неженка, езжу на извозчиках, кушаю бекасов и дорогие пирожки. Я никогда за обедом не ем супа и щей. Меня и мама стыдит постоянно… А не могу я без этого! Я не могу ходить пешком… Я утомляюсь… И потом платья… Все это вам придется на свой счет шить… Нет! Прощайте!

И, сделав трагический жест рукой, она ни к селу ни к городу произнесла:

— Я недостойна вас! Прощайте!

Она произнесла, повернулась и пошла восвояси. А я? Я стоял, как дурак, ничего не думал, глядел ей вслед и чувствовал, что земля колеблется подо мной. Когда я пришел в себя и вспомнил, где я и какую грандиозную пакость соорудил мне мой язык, я взвыл. Ее уже и след простыл, когда я захотел крикнуть ей: «Воротитесь!!!»

Посрамленный, не солоно хлебавший, отправился я домой. У заставы конки уже не было. Денег на извозчика у меня тоже не было. Пришлось домой отправляться пешком.

Дня через три поехал я в Сокольники. На даче мне сказали, что Варя чем-то больна и собирается с отцом в Петербург, к бабушке. Толку никакого не добился…

Теперь лежу я на кровати, кусаю подушку и бью себя по затылку. За душу скребут кошки. Читатель, как поправить дело? Как воротить свои слова назад? Что ей сказать или написать? Уму непостижимо! Пропало дело — и как глупо пропало!

Летающие острова
(соч. Жюля Верна, перевод А. Чехонте)

Глава I
Речь

— …Я кончил, джентльмены! — сказал мистер Джон Лунд, молодой член королевского географического общества, и, утомленный, опустился в кресло. Зала заседания огласилась яростнейшими аплодисментами, криками «браво» и дрогнула. Джентльмены начали один за другим подходить к Джону Лунду и пожимать его руку. Семнадцать джентльменов в знак своего изумления сломали семнадцать стульев и свихнули восемь длинных шей, принадлежавших восьми джентльменам, из которых один был капитаном «Катавасии», яхты в 100 009 тонн…

— Джентльмены! — проговорил тронутый мистер Лунд. — Считаю священнейшим долгом благодарить вас за то адское терпение, с которым вы прослушали мою речь, продолжавшуюся 40 часов, 32 минуты и 14 секунд! Том Бекас, — обратился он к своему старому слуге, — разбудите меня через пять минут. Я буду спать в то время,

когда джентльмены будут извинять меня за то, что я осмеливаюсь спать в их присутствии!!!

— Слушаю, сэр! — сказал старый Том Бекас.

Джон Лунд закинул назад голову и тотчас же заснул.

Джон Лунд был родом шотландец. Он нигде не воспитывался, ничему никогда не учился, но знал все. Он принадлежал к числу тех счастливых натур, которые до познания всего прекрасного и великого доходят своим умом. Восторг, который произвел он своею речью, был им вполне заслужен. В продолжение 40 часов он предлагал на рассмотрение господам джентльменам великий проект, исполнение которого стяжало впоследствии великую славу для Англии и показало, как далеко может иногда хватать ум человеческий! «Просверление луны колоссальным буравом» — вот что служило предметом речи мистера Лунда!

Глава II
Таинственный незнакомец

Сэр Лунд не проспал и трех минут. Чья-то тяжелая рука опустилась на его плечо, и он проснулся. Перед ним стоял джентльмен 48 ½ вершков роста, тонкий, как пика, и худой, как засушенная змея.

Он был совершенно лыс. Одетый во все черное, он имел на носу четыре пары очков, а на груди и на спине по термометру.

— Идите за мной! — гробовым голосом произнес лысый джентльмен.

— Куда?

— Идите за мной, Джон Лунд!

— А если я не пойду?

— Тогда я буду принужден просверлить луну раньше вас!

— В таком случае, сэр, я к вашим услугам.

— Ваш слуга последует за нами!

Мистер Лунд, лысый джентльмен и Том Бекас оставили залу заседания и все трое зашагали по освещенным улицам Лондона. Шли они очень долго.

— Сэр, — обратился Бекас к мистеру Лунду, — если наш путь так же длинен, как и этот джентльмен, то на основании законов трения мы лишимся своих подошв!

Джентльмены подумали и, через десять минут нашедши, что слова Бекаса остроумны, громко засмеялись.

— С кем я имею честь смеяться, сэр? — спросил Лунд лысого джентльмена.

— Вы имеете честь идти, смеяться и говорить

с членом всех географических, археологических и этнографических обществ, магистром всех существовавших и существующих наук, членом Московского артистического кружка, почетным попечителем школы коровьих акушеров в Саутгамптоне, подписчиком «Иллюстрированного беса», профессором желто-зеленой магии и начальной гастрономии в будущем Новозеландском университете, директором Безымянной обсерватории Вильямом Болваниусом. Я веду вас, сэр, в…

Джон Лунд и Том Бекас преклонили свои колени перед великим человеком, о котором они так много слышали, и почтительно опустили головы…

— Я веду вас, сэр, в свою обсерваторию, находящуюся в 20 милях отсюда. Сэр! Мне нужен товарищ в моем предприятии, значение которого вы в состоянии постигнуть только обоими полушариями вашего головного мозга. Мой выбор пал на вас. Вы после сорокачасовой речи навряд ли захотите вступать со мной в какие бы то ни было разговоры, а я, сэр, ничего так не люблю, как свой телескоп и продолжительное молчание. Язык вашего слуги, я надеюсь, свяжется вашим, сэр, приказанием. Да здравствует пауза!!! Я веду

вас… Вы ничего не имеете против этого?

— Ничего, сэр! Мне остается пожалеть только о том, что мы не скороходы и что мы имеем под ступнями подошвы, которые стоят денег и…

— Я вам куплю новые сапоги.

— Благодарю вас, сэр.

Кто из читателей воспылает желанием ближе познакомиться с мистером Вильямом Болваниусом, тот пусть прочтет его замечательное сочинение «Существовала ли луна до потопа? Если существовала, то почему же и она не утонула?». При этом сочинении приложена и запрещенная брошюра, написанная им за год перед смертью: «Способ стереть вселенную в порошок и не погибнуть в то же время». В этих сочинениях как нельзя лучше характеризуется личность этого замечательнейшего из людей.

Между прочим там описывается, как он прожил два года в австралийских камышах, где питался раками, тиной и яйцами крокодилов и в эти два года не видел ни разу огня. Будучи в камышах, он изобрел микроскоп, совершенно сходный с нашим обыкновенным микроскопом, и нашел спинной хребет у рыб вида «Riba». Воротившись из своего долгого путешествия, он поселился в нескольких милях от Лондона и всецело по-

святил себя астрономии. Будучи порядочным женоненавистником (он был три раза женат, а потому и имел три пары прекраснейших, ветвистых рогов) и не желая до поры до времени быть открытым, он жил аскетом. Обладая тонким, дипломатическим умом, он ухитрился сделать так, что обсерватория и труды его по астрономии были известны только одному ему. К сожалению и несчастью всех благомыслящих англичан, этот великий человек не дожил до нашего времени. В прошлом году он тихо скончался: купаясь в Ниле, он был проглочен тремя крокодилами.



Глава III

Таинственные пятна

Обсерватория, в которую ввел он Лунда и старого Тома Бекаса (следует длиннейшее и скучнейшее описание обсерватории, которое переводчик в видах экономии места и времени нашел нужным не переводить)... стоял телескоп, усовершенствованный Болваниусом. Мистер Лунд подошел к телескопу и начал смотреть на луну.

— Что вы там видите, сэр?

— Луну, сэр.

— А возле луны что вы видите, мистер Лунд?

— Я имею честь видеть одну только луну.

— А не видите ли вы бледных пятен, движущихся возле луны?

— Черт возьми, сэр! Называйте меня ослом, если я не вижу этих пятен! Что это за пятна?

— Это пятна, которые видны в один только мой телескоп. Довольно! Оставьте телескоп! Мистер Лунд и Том Бекас! Я должен, я хочу узнать, что это за пятна! Я буду скоро там! Я иду к этим пятнам! Вы следуете за мной!

— Ура! Да здравствуют пятна! — крикнули Джон Лунд и Том Бекас.

Глава IV
Скандал на небе

Через полчаса мистеры Вильям Болваниус, Джон Лунд и шотландец Том Бекас летели уже к таинственным пятнам на восемнадцати аэростатах. Они сидели в герметически закупоренном кубе, в котором находился сгущенный воздух и препараты для изготовления кислорода[55]. Начало этого грандиозного, доселе небывалого полета было совершено в ночь под 13-е марта 1870 года. Дул юго-западный ветер. Магнитная стрелка показывала (следует скучнейшее описание куба и 18 аэростатов)… В кубе царило глубокое молчание. Джентльмены кутались в плащи и курили сигары. Том Бекас, растянувшись на полу, спал, как у себя дома. Термометр[56] показывал ниже 0. В продолжение первых 20 часов не было сказано ни одного слова и особенного ничего не произошло. Шары проникли в область облаков.

---

[55] Примечания: 55

Химиками выдуманный дух. Говорят, что без него жить невозможно. Пустяки. Без денег только жить невозможно — примеч. переводчика

[56] Примечания: 56

Такой инструмент есть. — Примеч. переводчика.

Несколько молний погнались за шарами, но их не догнали, потому что они принадлежали англичанину. На третий день Джон Лунд заболел дифтеритом, а Тома Бекаса обуял сплин. Куб, столкнувшись с аэролитом, получил страшный толчок. Термометр показывал — 76.

— Как ваше здоровье, сэр? — прервал наконец молчание Болваниус, обратясь на пятый день к сэру Лунду.

— Благодарю вас, сэр! — отвечал тронутый Лунд. — Ваше внимание трогает меня. Я ужасно страдаю! А где мой верный Том?



— Он сидит теперь в углу, жует табак и старается походить на человека, женившегося сразу на десятерых.

— Ха, ха, ха, сэр Болваниус!

— Благодарю вас, сэр!

Не успел мистер Болваниус пожать руку молодому Лунду, как произошло нечто ужасное. Раздался страшный треск… Что-то треснуло, раздалась тысяча пушечных выстрелов, пронесся гул, неистовый свист. Медный куб, попав в среду разреженную, не вынес внутреннего давления,

треснул, и клочья его понеслись в бесконечное пространство.

Это была ужасная, единственная в истории вселенной минута!!!

Мистер Болваниус ухватился за ноги Тома Бекаса, этот последний ухватился за ноги Джона Лунда, и все трое с быстротою молнии понеслись в неведомую бездну. Шары отделились от них и, освобожденные от тяжести, закружились и с треском полопались.

— Где мы, сэр?

— В эфире.

— Гм... Если в эфире, то чем же мы дышать будем?



— А где сила вашей воли, сэр Лунд?

— Мистеры! — крикнул Бекас. — Честь имею

объявить вам, что мы почему-то летим не вниз, а вверх!

— Гм… Сто чертей! Значит, мы уже не находимся в области притяжения земли… Нас тянет к себе наша цель! Ураа! Сэр Лунд, как ваше здоровье?

— Благодарю вас, сэр! Я вижу наверху землю, сэр!

— Это не земля, а одно из наших пятен! Мы сейчас разобьемся о него!

Трррраx!!!

Глава V
Остров князя Мещерского

Первый пришел в чувство Том Бекас. Он протер глаза и начал обозревать местность, на которой лежали он, Болваниус и Лунд. Он снял чулок и принялся тереть им джентльменов. Джентльмены не замедлили очнуться.

— Где мы? — спросил Лунд.

— Вы на острове, принадлежащем к группе летающих! Ураа!

— Ураа! Посмотрите, сэр, вверх! Мы затмили Колумба!

Над островом летало еще несколько островов (следует описание картины, понятной одним

только англичанам)… Пошли осматривать остров. Он был шириной… длиной… (цифры и цифры… Бог с ними!) Тому Бекасу удалось найти дерево, соком своим напоминающее русскую водку. Странно, что деревья были ниже травы (?). Остров был необитаем. Ни одно живое существо не касалось доселе его почвы…

— Сэр, посмотрите, что это такое? — обратился мистер Лунд к сэру Болваниусу, поднимая какой-то сверток.

— Странно… Удивительно… Поразительно… — забормотал Болваниус.

Сверток оказался сочинениями какого-то князя Мещерского, писанными на одном из варварских языков, кажется, русском.

Как попали сюда эти сочинения?

— Пррроклятие! — закричал мистер Болваниус. — Здесь были раньше нас?! Кто мог быть здесь?!. Скажите — кто, кто? Пррроклятие! Оооо! Размозжите, громы небесные, мои великие мозги! Дайте мне сюда его! Дайте мне его! Я проглочу его, с его сочинениями!

И мистер Болваниус, подняв вверх руки, страшно захохотал. В глазах его блеснул подозрительный огонек. Он сошел с ума.

Глава VI
Возвращение

— Урааа!!! — кричали жители Гавра, наполняя собою все гаврские набережные. Воздух оглашался радостными криками, звоном и музыкой. Черная масса, грозившая всем смертью, опускалась не на город, а в залив… Корабли поспешили убраться в открытое море. Черная масса, столько дней закрывавшая собою солнце, при торжественных кликах народа и при громе музыки важно (pesamment) шлепнулась в залив и обрызгала всю набережную. Упав на залив, она утонула. Через минуту залив был уже открытым. Волны бороздили его по всем направлениям… На средине залива барахтались три человека. То были безумный Болваниус, Джон Лунд и Том Бекас. Их поспешили принять на лодки.

— Мы пятьдесят семь дней не ели! — пробормотал худой, как голодный художник, мистер Лунд и рассказал, в чем дело.

Остров князя Мещерского уже более не существует. Он, приняв на себя трех отважных людей, стал тяжелей и, вышедши из нейтральной по-

лосы, был притянут землей и утонул в Гаврском заливе…

Заключение

Джон Лунд занят теперь вопросом о просверлении луны. Близко уже то время, когда луна украсится дырой. Дыра будет принадлежать англичанам. Том Бекас живет теперь в Ирландии и занимается сельским хозяйством. Он разводит кур и сечет свою единственную дочь, которую воспитывает по-спартански. Ему не чужды и вопросы науки: он страшно сердится на себя за то, что забыл взять с Летающего острова семян от дерева, соком напоминающего русскую водку.

Скверная история
(Нечто романообразное)

Дело завязалось еще зимой.

Был бал. Гремела музыка, горели люстры, не унывали кавалеры и наслаждались жизнью барышни. В залах были танцы, в кабинетах картеж, в буфете выпивка, в читальне отчаянные объяснения в любви.

Леля Асловская, кругленькая розовенькая блондинка, с большими голубыми глазами, с длиннейшими волосами и с цифрой 26 в паспорте, назло всем, всему свету и себе, сидела особняком и злилась. Душу ее скребли кошки. Дело в том, что мужчины вели себя по отношению к ней больше чем по-свински. В последние два года в особенности поведение их было ужасное. Она заметила, что они перестали обращать на нее внимание. Они стали неохотно плясать с ней. Мало того. Идет, каналья, мимо — и не посмотрит даже, как будто бы она перестала уже быть красавицей. А если и взглянет какой-нибудь как-нибудь нечаянно, невзначай, то взглянет не с удивлением, не платонически, а так, как

глядят перед обедом на сдобный расстегай или поросенка.



А между тем в былые годы…

— И этак каждый вечер, каждый бал!!! — злилась Леля, кусая губы. — Я знаю, почему они не замечают меня, знаю! Они мстят! Мстят мне за то, что я их презираю! Но… но когда же, наконец, замуж? Разве так выйдешь замуж? Время не ждет ведь, не ждет! Негодяи вы этакие!

В описываемый вечер судьбе угодно было сжа-

литься над Лелей. Когда поручик Набрыдлов, вместо того чтобы плясать с нею обещанную третью кадриль, напился как стелька пьян и, проходя мимо нее, как-то глупо чмокнул губами и тем показал свое полное пренебрежение, она не вынесла… Злоба ее достигла апогея. Голубые глаза обволоклись влагой, губы задрожали.

Слезы готовы были брызнуть… Чтобы не показать профанам своих слез, она отвернулась к темным вспотевшим окнам и — о, чудный миг, это ты! — у одного из окон увидела прекрасного юношу, который не спускал с нее глаз. Юноша изображал из себя картину умилительную, колющую как раз в самое сердце. Поза его была — шик, глаза полны любви, удивления, вопросов, ответов; лицо грустное. Леля моментально ожила. Она приняла надлежащую позу и принялась за надлежащее наблюдение. Последнее показало, что юноша глядел не случайно, не так себе, а не спуская глаз, упиваясь и восхищаясь.

«Боже! — подумала Леля. — Хоть бы кто-нибудь догадался его представить! Что значит свежий мужчина! Сейчас заметил!»

Вскоре юноша завертелся, заходил по залам и начал приставать к мужчинам.

«Хочет познакомиться! Просит, чтоб предста-

вили!» — подумала, захлебываясь, Леля.

И подлинно. Минуток через десять актерик-любитель, с бритой шалопайской физиономией, внял просьбам юноши и, сильно шаркая ногами, представил его Леле. Юноша оказался «нашим», до чертиков талантливым художником, Ногтевым. Ногтев — юноша лет 24-х, брюнет, с страстными грузинскими глазами, с красивыми усиками и с бледными щеками. Он никогда ничего не пишет, но он художник. У него длинные волосы, эспаньолка, есть золотая палитра на часовой цепочке, золотые палитры вместо запонок, перчатки до локтей и неимоверно высокие каблуки. Малый добрый, но глупый, как гусь. Имеет благородного папашу, таковую же мамашу и богатую бабушку. Холост. Он несмело пожал Лелину руку, несмело сел и, севши, начал пожирать Лелю своими большими глазами. Заговорил он нескоро и несмело. Леля тарахтела, а он говорил только: «Да… нет… я, знаете ли…», говорил чуть дыша, отвечая невпопад, и то и дело в смущении почесывая (свой, а не Лелин) левый глаз. Леля духовно аплодировала. Она порешила, что художник втюрился, и торжествовала.

На другой день, после бала, Леля сидела в своей комнате у окна и, торжествуя, глядела на улицу.

По улице, перед ее окнами, взад и вперед блуждал Ногтев.

Ногтев блуждал и запускал глазенапа на ее окна. Он глядел, точно помирать собирался: грустно, томно, нежно, огненно. На третий день — то же самое. На четвертый был дождь, и его под окнами не было. (Ногтева убедил кто-то, что к его фигуре не идет зонтик.) На пятый день было сделано так, что он явился в дом Лелиных родителей с визитом. Знакомство затянулось гордиевым узлом: связалось до невозможности развязать.

Недели через четыре был опять бал. (Зри начало.)

Ногтев стоял у дверей, опершись плечами о косяк, и пожирал Лелю глазами. Леля, желая возбудить в нем ревность, кокетничала вдали с поручиком Набрыдловым, который был пьян, но не как стелька, а так, чуть-чуть, на первом взводе.

К Ногтеву боком подошел ее рара.

— Все рисуете-с? — спросил рара. — Художеством занимаетесь?

— Да.

— Тэк-с… Хорошее дело… Дай бог, дай бог… Гм… Бог талант, значит, такой послал. Тэк… У всякого свой талант…

Рара помолчал и продолжал:

— А вот вы, молодой человек, знаете ли, вот что вы сделайте, коли вы того… все рисуете. Вы весной к нам пожалуйте, в деревню. Презанимательные места там есть! Виды, я вам скажу, страсть! Рахваелю таких не доводилось рисовать. Очень рады будем. Да и дочка с вами так… сдружилась… Э-э-хме… хме… Ммолодые люди, ммолодые люди! Хе-хе-хе…

Художник поклонился и первого мая сего года, вместе со своими пожитками, покатил в имение Асловских. Его пожитки состояли из ненужного ящика с красками, жилетки-пике, пустого портсигара и двух сорочек. Принят он был с объятиями самыми распростертыми. Дали в его распоряжение две комнаты, двух холуев, лошадь и все, что пожелает, лишь бы только надежды подавал. Он воспользовался своим новым положением как нельзя лучше: ужасно много ел, много пил, долго спал, восхищался природой и не отрывал глаз от Лели. Леля была больше чем счастлива. Ей он был близок, был молод, хорош, был так робок… так любил! Он был так робок, что не умел подходить к ней, а глядел на нее все больше издалека, из-за портьеры или из-за кустика.

«Робкая любовь!» — думала Леля, вздыхая…

В одно прекрасное утро ее рара и Ногтев сидели в саду на скамье и беседовали. *Papá* прохаживался насчет прелестей семейного счастья, а Ногтев терпеливо внимал и глазами искал Лелиного торса.

— Вы у отца один сын? — спросил, между прочим, *papá*.

— Нет… У меня есть брат, Иван… Славный малый! Прелесть что за человек! Вы не знакомы с ним?

— Не имею чести…

— Жаль, что вы не знакомы. Он остряк такой, знаете ли, весельчак, душа человек! Литературой занимается. Все редакции его приглашают. В «Шуте» сотрудничает. Жаль, что не знакомы. Он рад был бы познакомиться… Вот что! Хотите, я напишу, чтоб он сюда приехал? А? Ей-богу! Веселей будет!

Сердце рара́ от этакого предложения точно дверью прищемило, но — нечего делать! — нужно было сказать: «Очень рад!»

Ногтев подпрыгнул в знак своего хорошего расположения и немедленно написал брату приглашение.

Брат Иван не замедлил явиться. Явился он не один, а вкупе со своим другом, поручиком На-

брыдловым, и огромнейшим беззубым, старым псом Туркой. Прихватил он их с собой для того, чтобы, как он выражался, дорогой разбойники не напали и выпить было бы с кем. Им отведены были три комнаты, два холуя и одна лошадь на двоих.

— Вы, господа, — сказал Иван хозяевам, — не беспокойтесь о нас! Нам ваших беспокойств не нужно. Нам ни перин, ни соусов, ни фортепианов — ничего не нужно! А вот ежели помилосердствуете насчет пивка и водочки, ну… тогда другое дело!

Если вы вообразите себе огромнейшего тридцатилетнего мордастого малого, в парусинной блузе, с паршивенькой бородкой, опухшими глазами и с галстухом в сторону, то вы избавите меня от описания Ивана. Это был несноснейший в мире человек.

Когда он был трезв, он был еще сносен: на кровати лежал и молчал. Пьяный же был он невыносим, как репейник на голом теле. Когда он пьян, он говорит не умолкая, причем сквернословит, не стесняясь ни женским, ни детским присутствием. Говорит он о вшах, клопах, штанах и черт знает о чем. Других тем, более новых, у него не водится. Papá, maman и Леля недоумевали

и краснели, когда Иван, сидя за обедом, начинал острить.

К несчастью, во все свое пребывание в имении Асловских ему ни разу не удалось быть трезвым. Набрыдлов же, маленький куценький поручик, во все лопатки старался походить на Ивана.

— Мы с ним не художники! — говорил он. — Куды нам! Мы мужички!

Иван и Набрыдлов первым делом из барских хором, где им показалось душно, перебрались во флигель к управляющему, который не прочь был выпить с порядочными людьми. Вторым делом, они поснимали сюртуки и защеголяли по двору и по саду без сюртуков. Леле то и дело приходилось в саду наталкиваться на валявшегося под деревом в дезабилье брата или поручика. Брат и поручик пили, ели, кормили пса печенкой, острили над хозяевами, гонялись по двору за кухарками, громко купались, мертвецки спали и благословляли судьбу, случайно загнавшую их в те места, где можно à la сыр в масле кататься.

— Послушай, ты! — сказал однажды Иван художнику, подмигивая пьяным глазом в сторону Лели. — Ежели ты за ней… то черт с тобой! Мы не тронем. Ты первый начал, тебе и книги в руки. Честь и место! Мы благородно… Желаем успеха!

— Отбивать не станем, нет! — подтвердил Набрыдлов. — Было бы свинством с нашей стороны.

Ногтев пожал плечами и устремил свои жадные очи на Лелю.

Когда надоедает тишина, хочется бури; когда надоедает сидеть чинно и благородно, хочется дебош устроить. Когда Леле надоела робкая любовь, она начала злиться. Робкая любовь — это басня для соловья. К великой досаде, в июне художник был так же робок, как и в мае. В хоромах шили приданое; рара денно и нощно мечтал о займе денег для свадьбы, а между тем их отношения не вылились еще в определенную форму. Леля заставляла художника по целым дням удить с собой рыбу. Но это не помогло. Он стоял возле нее с удочкой, молчал, заикался, пожирал ее глазами — и только. Ни одного сладко-ужасного слова! Ни одного признания!

— Называй меня… — сказал ему однажды *papá*… — Называй меня… Ты извини… что я говорю тебе «ты»… Я любя, знаешь. Называй меня папой… Это я люблю.

Художник стал сдуру величать *papá* папой, но и это не помогло. Он по-прежнему был нем там, где следовало возроптать на богов за то, что они дали

человеку один только язык, а не десять. Иван и Набрыдлов скоро подметили тактику Ногтева.

— Черт тебя знает! — возроптали они. — Сам сена не жрешь и другим не даешь! Этакая скотина! Трескай же, дуб, коли кусок сам тебе в рот лезет! Не хочешь, так мы возьмем! То-то!

Но всему на этом свете бывает конец. Будет конец и этой повести. Кончилась и неопределенность отношений художника с Лелей.

Развязка романа произошла в средине июня.

Был тихий вечер. В воздухе пахло. Соловей пел во всю ивановскую. Деревья шептались. В воздухе, выражаясь длинным языком российских беллетристов, висела нега… Луна, разумеется, тоже была. Для полноты райской поэзии не хватало только г. Фета, который, стоя за кустом, во всеуслышание читал бы свои пленительные стихи.

Леля сидела на скамье, куталась в шаль и задумчиво глядела сквозь деревья на речку.

«Неужели я так неприступна?» — думала она, и воображению ее представлялась она сама, величественная, гордая, надменная…



Размышления ее прервал подошедший *papá.*

— Ну, что? — спросил *papá.*. — Все то же?

— То же.

— Гм… Черрт. Когда же все это кончится? Ведь мне, матушка, прокормить этих лодырей дорого стоит! Пятьсот в месяц! Не шутка! На одного пса три гривенника в день на печенку сходит! Коли свататься, так свататься, а нет, так и к черту и с братцем и с псом! Что же он говорит, по крайней мере?

Говорил он с тобой? Объяснялся?

— Нет. Он, *papá*, такой застенчивый!

— Застенчивый… Знаем мы их застенчивость! Глаза отводит. Подожди, я его сейчас пришлю сюда. Покончи с ним, матушка! Нечего церемониться… Пора. Изволь-ка, матушка, того… Не молоденькая… Фокусы, небось, все уже знаешь!

Рара исчез. Минут через десять, робко пробираясь кустами сирени, показался художник.

— Вы меня звали? — спросил он Лелю.

— Звала. Подойдите сюда! Полно вам меня бегать! Садитесь!

Художник тихохонько подошел к Леле и тихохонько сел на краешек скамьи.

«Какой он хорошенький в темноте!» — подумала Леля и, обратясь к нему, сказала:

— Расскажите-ка что-нибудь! Отчего вы такой скрытный, Федор Пантелеич? Отчего вы все молчите? Отчего вы никогда не откроете предо мной свою душу? Чем я заслужила у вас такое недоверие? Мне обидно, право… Можно подумать, что мы с вами не друзья. Начинайте же говорить!

Художник откашлялся, прерывисто вздохнул и сказал:

— Мне вам многое нужно сказать, очень многое!

— В чем же дело стало?

— Боюсь, чтоб вы не обиделись. Елена Тимофеевна, вы не обидитесь?

Леля захихикала.

«Настала минута! — подумала она. — Как дрожит! Как он дрожит! Поймался, голубчик?»

У Лели самой затряслись поджилки. Ее охватил столь любезный каждому романисту трепет.

«Минут через десять начнутся объятия, поцелуи, клятвы… Ах!» — замечтала она и, чтобы подлить масла в огонь, своим обнаженным горячим локтем коснулась художника.

— Ну? В чем же дело? — спросила она. — Я не такая недотрога, как вы думаете… (Пауза.) Говорите же!.. (Пауза.) Скорей!!!

— Видите ли… Я, Елена Тимофеевна, ничего в жизни так не люблю, как художество… искусство, так сказать. Товарищи находят, что у меня талант и что из меня выйдет неплохой художник…

— О, это наверное! Sans doute[57]!

— Ну, да… Так вот… Люблю я свое искусство… Значит… Я предпочитаю жанр, Елена Тимофеевна! Искусство… Искусство, знаете ли… Чудная ночь!

— Да, редкая ночь! — сказала Леля и, извиваясь

---

[57] Примечания: 57
Без сомнения! (фр.).

змеей, съежилась в шали и полузакрыла глаза. (Молодцы женщины по части амурных деталей, страсть, какие молодцы!)

— Я, знаете ли, — продолжал Ногтев, ломая свои белые пальцы, — давно уже собирался поговорить с вами, да все… боялся. Думал, что вы рассердитесь… Но вы, если поймете меня, то… не рассердитесь. Вы тоже любите искусство!

— О… Ну да… Как же! Искусство ведь!

— Елена Тимофеевна! Вы знаете, зачем я здесь? Вы не можете догадаться?

Леля сильно сконфузилась и, якобы нечаянно, положила свою руку на его локоть…

— Это правда, — продолжал, помолчав, Ногтев. — Есть между художниками свиньи… Это правда… Они ни в грош не ставят женскую стыдливость… Но ведь я… я ведь не такой! У меня есть чувство деликатности. Женская стыдливость есть такая… такая стыдливость, которой неглижировать нельзя!

«Для чего он говорит мне это?» — подумала Леля и спрятала в шаль свои локти.

— Я не похож на тех… Для меня женщина — святыня! Так что вам бояться нечего… Я не такой, я такой, что не позволю себе чепуху выделывать… Елена Тимофеевна! Вы позволите? Да выслу-

шайте, я, ей-богу, ведь искренно, потому что я не для себя, а для искусства! У меня на первом плане искусство, а не удовлетворение скотских инстинктов!

Ногтев схватил ее за руку. Она подалась чуточку в его сторону.

— Елена Тимофеевна! Ангел мой! Счастье мое!

— Н… ну?

— Можно вас попросить?

Леля захихикала. Губы ее уже сложились для первого поцелуя.

— Можно вас попросить? Умоляю! Ей-богу, для искусства! Вы мне так понравились, так понравились! Вы та, которую именно мне и нужно! К черту других! Елена Тимофеевна! Друг мой! Будьте моей…

Леля вытянулась, готовая пасть в объятия. Сердце ее застучало.

— Будьте моей…

Художник схватил ее за другую руку. Она покорно склонила головку на его плечо. Слезы счастья блеснули на ее ресницах.

— Дорогая моя! Будьте моей… натурщицей!

Леля подняла голову.

— Что?!



— Будьте моей натурщицей!

Леля поднялась.

— Как? Кем?

— Натурщицей… Будьте!

— Гм… Только-то?

— Вы меня премного обяжете! Вы дадите мне возможность написать картину и… какую картину!

Леля побледнела. Слезы любви вдруг обратились в слезы отчаяния, злобы и других нехороших чувств.

— Так вот… что? — проговорила она, трясясь всем телом.

Бедный художник! Ярко-красное зарево окрасило одну из его белых щек, когда звуки звонкой пощечины понеслись, мешаясь с собственным эхом, по темному саду. Ногтев почесал щеку и остолбенел.

С ним приключился столбняк. Он почувствовал, что он проваливается сквозь всю вселенную… Из глаз посыпались молнии…

Леля, трепещущая, бледная как смерть, ошалевшая, сделала шаг вперед, покачнулась. По ней точно колесом проехали. Собравшись с силами, она неверной, больной походкой направилась к дому. Ноги ее подгибались, из глаз сыпались искры, руки тянулись к волосам с явным намерением вцепиться в оные…

До дома оставалось только несколько сажен, когда ей еще раз пришлось побледнеть. На ее пути, около беседки, увитой диким виноградом, стоял, широко растопырив руки, пьяный, мордастый Иван, непричесанный, с расстегнутой жилеткой. Он глядел в Лелино лицо, сардонически ухмылялся и осквернял воздух мефистофелевским «ха-ха». Он схватил Лелю за руку…

— Подите прочь! — прошипела Леля и отдер-

нула руку.

Скверная история!

Двадцать девятое июня
(Рассказ охотника, никогда в цель не попадающего)

Было четыре часа утра…

Степь обливалась золотом первых солнечных лучей и, покрытая росой, сверкала, точно усыпанная бриллиантовою пылью. Туман прогнало утренним ветром, и он остановился за рекой свинцовой стеной. Ржаные колосья, головки репейника и шиповника стояли тихо, смирно, только изредка покланиваясь друг другу и пошептывая. Над травой и над нашими головами, плавно помахивая крыльями, носились коршуны, кобчики и совы. Они охотились…

Аким Петрович Отлетаев, мировой судья, земский врач, я, зять Отлетаева Предположенский и волостной старшина Козоедов ехали все шестеро на отлетаевской коляске-розвальне на охоту. За коляской, вывалив языки, бежали четыре пса. Я и земский врач — народ худенький, остальные же толсты, как стоведерные бочки, а потому, несмотря на то что дедовская коляска была и широка и глубока, нам было до чертиков тесно. Я то и дело толкал локтем и ружейным прикладом

в живот Козоедова. Все мы толкались, пыхтели, морщились, всей душой ненавидели друг друга и с нетерпением ждали того времени, когда нам можно будет вылезть из коляски. Ехали мы подальше в степь пострелять куропаток, стрепетов, перепелов, болотной дичи и, если фортуна оглянется на нас, дрохв. Предводительствовал нами хозяин коляски и коней Отлетаев, по милости которого мы и ехали на охоту. Тела наши были сдавлены, но зато души были преисполнены радостями самого высшего качества!

Кто никогда не ездил и не шлялся на охоту, тому не понять этих радостей. Мы держали наши ружья и глядели на них так любовно, как маменьки глядят на своих сыночков, подающих большие надежды.

— А каков наш будет маршрут? — спросил я, когда мы отъехали от Отлетаевки верст на десять.

— Сейчас едем на Еланчик, — отвечал Отлетаев, — бекасов стрелять. Отсюда это верст восемь будет. Там же и перепелов на просе постреляем. Пострелявши перепелов, ночевать станем, а уж завтра чуть свет у нас самая-то настоящая стрельба начнется…

— А что, господа, как думаете, — спросил я, показывая пальцем на коршуна, который купался

далеко в небесной синеве, — можно ли попасть отсюда? Попадете?

— Не попадешь! — сказал Отлетаев. — Далеко очень! Впрочем, из моего ружья попадешь…

— И из вашего ружья не попадешь, — заметил Предположенский.

— Попадешь. Дробью не попадешь, не достанет, а пулей наверно…

— И пулей не попадешь.

— Уж это позвольте мне знать, попаду я или не попаду! Вы ружья моего не знаете, а я знаю… Вы отродясь не видали хороших ружей, а потому это вам и кажется таким странным. Я и дальше попадал…

Предположенский откинул назад голову и засмеялся.

— Чего же смеешься? — продолжал Отлетаев. — Не веришь, небось?

— Разумеется, не верю.

— Гм… Ружья моего, значит, не знаешь. Ружье замечательное! Недаром шестьсот целковых стоит…

— Сколь…ко? — спросил Предположенский и вытянул шею… — Сколько? Повторите, папаша!

— Шестьсот рублей… Чего же ты смеешься? Ты погляди на ружье, да потом и скаль зубы!

— Я вижу… Чьей фабрики?

— Марсельское. Фабрики Лепелье…

— Лепелье? Не слыхал что-то такой фабрики… Ружье как ружье… Рублей сто стоит… Не люблю, тесть, когда вы врете! Зачем врать? Я не понимаю, зачем врать?

— Ружье хорошее, — заметил мировой, — но шестисот не стоит. Вы переплатили, Аким Петрович!

— Он вовсе не переплачивал! — горячился Предположенский, — он врет! Врет, как школяр!

Отлетаев завертелся и покраснел.

— Не таковский, чтоб врать, — сказал он. — Так-то-с! Ты вот… ты вот так врешь! Ну да! Ты вот так и норовишь уколоть! С тобой ездить не следует. Я не знаю, зачем я с тобой поехал!..

— И не ездил бы… Зачем врать, не понимаю! Врет, как свинья!

— Сам свинья! Свинья и дурак вместе с тем…

Мы начали усовещевать Предположенского.

— Пусть он не врет! — оправдывался непокорный зять. — Моя душа возмущается, ежели кто врет… И свиньей пусть не бранится. Сам он свинья, вот что! А если ему неприятно, что я еду, так… шут с ним! Я могу и не ехать!

— Ну, полноте! Аким Петрович и не думал

вас оскорблять! Стоит ли поднимать бурю из-за пустяков?

Предположенский надулся, как объевшийся индюк, и умолк.

— Нельзя-с! — обратился, немного погодя, к Предположенскому Козоедов. — Нельзя-с! Он вам теперь, можно сказать, заместо родителев, тесть он вам, а вы грубости наносите… А грешно!

Зять взглянул презрительно на старшину и сардонически усмехнулся.

— Тебя спрашивают нешто? — спросил он. — Спрашивают? Молчи, коли… Сиди, ежели сидишь!.. Заместо родителев… Говорить еще не умеешь, а тоже лезешь… Гм… Суконное ры… Мужлан!

— Вот видите-с, какие вы! Не любите, коли люди покойно сидят. Я хотя и из простого звания произошел, хотя, могу сказать, и никакого образования не проходил, но могу сказать, что имею в груди, и в сердце, и в душе всякие чувства, а вы вот так нет, хоть вы и науки проходили по всем степеням… Так-то-с!



— Перестаньте, господа! — вмешался я. — Полно вам друг другу мораль читать! Давайте молчать...

Отлетаев с сопеньем вытащил из бокового кармана объемистый, сильно потертый портсигар и запустил в него свои толстые пальцы. Доктор и мировой протянули руки к его портсигару.

— Нет-с, извините-с! — сказал внушительно Отлетаев. — Дружба дружбой, а табачок врозь.

Мне самому не хватит… Дорога велика, а у меня папирос-то с собой только четыре десятка…

Доктор и мировой сильно сконфузились и, чтобы скрыть подальше от света белого свой конфуз, засвистали из «Мадам Анго». Отлетаев был глуп, как сорок тысяч братьев, и невежа страшная…

Мы его терпеть не могли. Сконфуженный доктор закурил собственную папироску и начал рассказывать анекдоты. Рассказал он их штук двадцать; из них только один не был сальным, остальные же так и таяли в наших ушах.

— А вы, батенька, мастер! — похвалил я доктора. — Не знал я, что вы такой юморист!

— Да-с… Кое-что знаем, — сказал доктор. — Ежели б я захотел в журналах сотрудничать, то миллионы бы имел. Больше вашего зарабатывал бы.

— Не сомневаюсь… Чего же не сотрудничаете?

— Не хочу!

— Почему же?

— Не хочу, вот и все! Совесть есть! Нешто человек с совестью может в ваших журналах писать? Никогда! Я даже не читаю никогда газет! Считаю болванами тех, кто выписывает их, тратит деньги.

— А я наоборот, — заметил мировой, — считаю

тех болванами, кто не тратит деньги на газеты…

— Доктор не в духе сегодня, — сказал я. — Не будем его трогать…

— Кто вам сказал, что я не в духе? Я в духе… Вы потому так заступаетесь за газеты, что в них пишете, а по-моему, они… тьфу! Яйца выеденного не стоят. Врут, врут и врут. Первые вруны и сплетники! Газетчики — те же адвокаты… Врут и не имеют совести!

— Я был адвокатом, — сказал мировой, — а совесть имел.

Предположенский и Козоедов переглянулись и ехидно улыбнулись.

— Я не про вас говорю… Я вообще… Вообще все мошенники… И газетчики, и адвокаты, и все…

Я, вместо того чтобы молчать, продолжал заступаться за газетчиков. Мировой продолжал заступаться за адвокатов… В коляске поднялся спор.

— А медицина-то ваша? — ухватился я. — Медицина?

Что она стоит? Небось не врете? Только денежки берете! Что такое доктор? Доктор есть предисловие гробокопателя… вот что-с! Впрочем, я не знаю, для чего я с вами спорю? Разве у вас есть логика? Вы кончили университет, но рас-

суждаете, как банщик…

— Говорите хладнокровно! Можно, полагаю, и без оскорблений!

— Газетчиков и адвокатов ругаем, — забасил Предположенский, — а самой настоящей-то врали и не видим… Потолкуйте-ка с тестюшкой, он любого адвоката по брехательной части за пояс заткнет…

И так далее. Слово за слово, гримаса за гримасой, сплетня за сплетней, и дело зашло черт знает куда…

Мы начали рассказывать все, что за зиму накопилось в наших душах друг против друга. Мы перещеголяли старых девок.

Между тем пока мы, не выспавшиеся, полупьяные, каверзили друг против друга, солнце поднималось все выше и выше… Туман исчез окончательно, и начался летний день. Было кругом тихо, славно.

Только мы одни нарушали тишину…

Подъехав к первому попавшемуся болотцу, мы вылезли из коляски и, сердитые, надутые, побрели в разные стороны. Водворять среди нас согласие взялся Козоедов. Он подбросил высоко вверх трехкопеечную монету, выстрелил в нее и попал. Мы все вместе подняли монету, сосчитали

на ней число следов от дроби и кое-как разговорились.

Предположенский согнал коростеля и убил. Мы его поздравили и крикнули «ура». Согласие было бы окончательно водворено, если бы не доктор. Доктор, пока мы поздравляли Предположенского с первым успехом, подошел к коляске, развязал кулек и принялся ублажать себя водочкой и закуской.

— Доктор! Что это вы там делаете? — крикнул Отлетаев.

— Ем и пью.

— Какое же вы имеете право распоряжаться?

— А что?

— Это для вас положено? Не понимаю этого, извините, свинства! Не мог подождать! Что это вы раскупорили? Батюшки! Это моя настойка! Какое вы имеете право, милостивый государь?

— Не кричите, пожалуйста! Потише!

— Ведь эту настойку я для себя взял! Слаб здоровьем, взял настойки, и… на поди! Раскупорили! Просили его! Заверните балык!

— Не заверну! Вам, неприличный и неделикатный человек, должно быть известно, что на охоте все общее… Какой вы, извините, невежа!

Доктор выпил рюмку настойки и назло Отле-

таеву отрезал себе огромнейший кусок балыка. Предположенский подскочил к коляске и, чтобы насолить тестю, выпил из горлышка половину настойки. У Отлетаева навернулись слезы.

— Это вы назло? — зашептал он, — хорошо же! Хорошо! Вот вы как. Мерси боку[58]...

Мировой, не знавший, в чем дело, подошел к коляске.



— А-а-а?.. Закусываете? — спросил он. — А не рано ли? Впрочем, одну пропустить не мешает... За ваше здоровье!

Мировой налил себе рюмку настойки и выпил.

---

[58] Примечания: 58
Очень благодарен (фр. merci beaucoup).

— Очень хорошо-с! Прекрасно-с! — крикнул уже Отлетаев.

— Что прекрасно? — спросил мировой.

— Ничего…

Отлетаев сел в коляску, бросил на траву кулек, иронически нам поклонился и ударил кучера Петра по спине.

— Поезжай! — крикнул он.

— Куда это вы? — удивились мы.

— Ежели я вам противен… необразован… Козоедов! Иди садись, голубчик! Где нам, мужикам, с господами учеными охотиться? Освободим их от своего присутствия! Иди, милый!

— Куда же вы? Что вы дурака корчите?

— Ежели я дурак, то зачем вам беспокоиться?.. Пущай! Я и есть дурак… Прощай-те-с… я домой.

— А мы же на чем поедем?

— На чем знаете… Коляска моя.

— Да ты, тестюшка, белены, что ли, объелся? — крикнул Предположенский.

Козоедов сел рядом с Отлетаевым и смиренно снял шляпу.

— Ты с ума сошел? — продолжал Предположенский. — Вылезай из коляски!

— Не вылезу. Прощай, зять! Ты человек образованный, гуманный, цивилизованный. А я…

Что я?

— А ты — дурак! Господа, что же это такое? Кто его раздразнил? Вы, доктор? Вы, черт вас возьми, вечно лезете со своим ученым носом не в свое дело!

— Я для вас не тесть… Прошу не орать, — обиделся доктор. — Коли будете орать, так и я уеду…

— И уезжайте! Велика потеря! Скажите пожалуйста!

Доктор пожал плечами, вздохнул и полез в коляску. Мировой махнул рукой и тоже полез в коляску.

— Мы вечно так, — вздохнул он. — Никогда у нас ничего не выходит…

— Погоняй! — крикнул Отлетаев.

Петр чмокнул губами, дернул вожжи, и коляска тронулась с места.

Я и Предположенский переглянулись.

— Стой! — крикнул я и побежал за коляской. — Стой!

— Стой! — заорал Предположенский. — Стой, скоты!

Коляска остановилась, и мы уселись.

— Я тебе все это припомню! — сказал, сверкая глазами, Предположенский и погрозил тестю кулаком. — Все! До смерти будешь помнить этот

день!

До самого дома мы ехали молча. В душах наших радости высшего качества сменились самыми скверными чувствами. Мы готовы были слопать друг друга и не слопали только потому, что не знали, с какого конца начать лопать. Когда мы подъехали к отлетаевскому дому, на террасе сидела мадам Отлетаева и пила кофе…

— Вы приехали? — удивилась она. — Что так рано?

Мы вылезли из коляски и молча направились к воротам.

— Куда же вы, господа? — закричала мадам Отлетаева. — А кофе пить? А обедать? Куда вы?

Мы повернулись к крыльцу и молча, внушительно погрозили нашими огромными кулаками. Предположенский плюнул по направлению к крыльцу, выругался и отправился спать в конюшню.

Дня через два Отлетаев, Предположенский, Козоедов, мировой, земский врач и я сидели в доме Отлетаева и играли в стуколку. Мы играли в стуколку и по обыкновению грызли друг друга…

Дня через три мы поругались насмерть, а через пять пускали вместе фейерверк…

Мы ссоримся, сплетничаем, ненавидим, презри-

раем друг друга, но разойтись мы не можем. Не удивляйтесь и не смейтесь, читатель! Поезжайте в Отлетаевку, поживите в ней зиму и лето, и вы узнаете, в чем дело…

Глушь — не столица… В Отлетаевке рак — рыба, Фома — человек и ссора — живое слово…

Нарвался

«Спать хочется! — думал я, сидя в банке. — Приду домой и завалюсь спать».

— Какое блаженство! — шептал я, наскоро пообедав и стоя перед своей кроватью. — Хорошо жить на этом свете! Важно!

Бесконечно улыбаясь, потягиваясь и нежась на кровати, как кот на солнце, я закрыл глаза и принялся засыпать. В закрытых глазах забегали мурашки; в голове завертелся туман, замахали крылья, полетели к небу из головы какие-то меха… с неба поползла в голову вата… Все такое большое, мягкое, пушистое, туманное. В тумане забегали маленькие человечки. Они побегали, покрутились и скрылись за туманом… Когда исчез последний человечек и дело Морфея было уже в шляпе, я вздрогнул.

— Иван Осипыч, сюда! — гаркнули где-то.

Я открыл глаза. В соседнем номере стукнули и откупорили бутылку. Я повернулся на другой бок и укрыл голову одеялом.

«Я вас любил, любовь еще, быть может»… — затянул баритон в соседнем номере.

— Отчего вы не заведете себе пианино? — спро-

сил другой голос.

— Черрти, — проворчал я. — Не дадут уснуть!

Откупорили другую бутылку и зазвонили посудой. Зашагал кто-то, звеня шпорами. Хлопнули дверью.

— Тимофей, скоро же ты самовар? Живей, брат! Тарелочек еще! Ну-с, господа? По христианскому обычаю. По маленькой. Мадемуазель-стриказель, бараньи ножки, же ву при[59]!

В соседнем номере начался кутеж. Я спрятал голову под подушку.

— Тимофей! Если придет высокий блондин в медвежьей шубе, то скажешь ему, что мы здесь…

Я плюнул, вскочил и постучал в стену. В соседнем номере притихли. Я опять закрыл глаза. Забегали мурашки, меха, вата… Но — увы! — через минуту опять заорали.

— Господа! — крикнул я умоляющим голосом. — Ведь это, наконец, свинство! Ведь вас просят! Я болен и спать хочу.

— Это вы нам?

— Вам.

— Что вам угодно?

— Не извольте кричать! Я спать хочу!

---

[59] Примечания: 59
Прошу вас (фр. je vous prie).

— Спите, вам никто не мешает; а если вы больны, так отправляйтесь к доктору! «У рыцарей любовь и честь»… — запел баритон.

— Как это глупо! — сказал я. — Очень глупо! Даже подло.

— Прошу не рассуждать! — послышался за стеной старческий голос.

— Удивительно! Повелитель какой нашелся! Птица важная! Да вы кто такой?

— Не рассуж-дать!!!

— Мужичье! Надулись водки и орут!

— Не рас-суж-дать!!! — раз десять повторил старческий, охрипший голос.

Я ворочался на кровати. Мысль, что я не сплю по милости праздных гуляк, приводила меня мало-помалу в ярость. Поднялась пляска…

— Если вы не замолчите, — крикнул я, захлебываясь от злости, — то я пошлю за полицией! Человек!!! Тимофей!

— Не рассуждать!!! — еще раз крикнул старческий голосок.

Я вскочил и, как сумасшедший, побежал к соседям. Мне захотелось во что бы то ни стало настоять на своем.

Там кутили… На столе стояли бутылки. За столом сидели какие-то личности с выпуклыми,

рачьими глазами. В глубине номера на диване полулежал лысый старичок… На его груди покоилась головка известной кокотки-блондинки. Он глядел на мою стену и дребезжал:

— Не рассуждать!!!

Я раскрыл рот, чтобы начать ругаться и… о ужас!!!

В старичке я узнал директора того банка, где я служу. Мигом слетели с меня и сон, и злость, и фанаберия… Я выбежал от соседей.



Целый месяц директор не глядел на меня и не сказал мне ни единого слова… Мы избегали друг

друга. Через месяц он боком подошел к моему столу и, нагнув голову, глядя на пол, проговорил:

— Я полагал… надеялся, что вы сами догадаетесь… Но вижу, что вы не намерены… Гм… Вы не волнуйтесь. Даже можете сесть… Я полагал, что… Нам двоим служить невозможно… Ваше поведение в номерах Булты́хина… Вы так испугали мою племянницу… Вы понимаете… Сдадите дела Ивану Никитичу…

И, подняв голову, он отошел от меня…

А я погиб.

Два скандала

— Стойте, черт вас возьми! Если эти козлы-тенора не перестанут рознить, то я уйду! Глядеть в ноты, рыжая! Вы, рыжая, третья с правой стороны! Я с вами говорю! Если не умеете петь, то за каким чертом вы лезете на сцену со своим вороньим карканьем? Начинайте сначала!

Так кричал он и трещал по партитуре своей дирижерской палочкой. Этим косматым господам дирижерам многое прощается. Да иначе и нельзя. Ведь если он посылает к черту, бранится и рвет на себе волосы, то этим самым он заступается за святое искусство, с которым никто не смеет шутить. Он стоит настороже, а не будь его, кто бы не пускал в воздух этих отвратительных полутонов, которые то и дело расстраивают и убивают гармонию? Он бережет эту гармонию и за нее готов повесить весь свет и сам повеситься. На него нельзя сердиться. Заступайся он за себя, ну тогда другое дело!

Большая часть его желчи, горькой, пенящейся, доставалась на долю рыжей девочки, стоявшей третьей с правого фланга. Он готов был проглотить ее, провалить сквозь землю, поломать и

выбросить в окно. Она рознила больше всех, и он ненавидел и презирал ее, рыжую, больше всех на свете. Если б она провалилась сквозь землю, умерла тут же на его глазах, если бы запачканный ламповщик зажег ее вместо лампы или побил ее публично, он захохотал бы от счастья.

— А, черт вас возьми! Поймите же, наконец, что вы столько же смыслите в пении и музыке, как я в китоловстве! Я с вами говорю, рыжая! Растолкуйте ей, что там не «фа-диез», а просто «фа»! Поучите этого неуча нотам! Ну, пойте одна! Начинайте! Вторая скрипка, убирайтесь вы к черту с вашим неподмазанным смычком!

Она, восемнадцатилетняя девочка, стояла, глядела в ноты и дрожала, как струна, которую сильно дернули пальцем. Ее маленькое лицо то и дело вспыхивало, как зарево. На глазах блестели слезы, готовые каждую минуту закапать на музыкальные значки с черными булавочными головками. Если бы шелковые золотистые волосы, которые водопадом падали на ее плечи и спину, скрыли ее лицо от людей, она была бы счастлива.

Ее грудь вздымалась под корсажем, как волна. Там, под корсажем и грудью, происходила страшная возня: тоска, угрызения совести, презрение

к самой себе, страх… Бедная девочка чувствовала себя виноватой, и совесть исцарапала все ее внутренности. Она виновата перед искусством, дирижером, товарищами, оркестром и, наверное, будет виновата и перед публикой… Если ее ошикают, то будут тысячу раз правы. Глаза ее боялись глядеть на людей, но она чувствовала, что на нее глядят все с ненавистью и презрением… В особенности он! Он готов швырнуть ее на край света, подальше от своих музыкальных ушей.

«Боже, прикажи мне петь как следует!» — думала она, и в ее сильном дрожащем сопрано слышалась отчаянная нотка.

Он не хотел понять этой нотки, а бранился и хватал себя за длинные волосы. Плевать ему на страдания, если вечером спектакль!

— Это из рук вон! Эта девчонка готова сегодня зарезать меня своим козлиным голосом! Вы не примадонна, а прачка! Возьмите у рыжей ноты!

Она рада бы петь хорошо, не фальшивить. Она и умела не фальшивить, была мастером своего дела. Но разве виновата она была, что ее глаза не повиновались ей? Они, эти красивые, но недобросовестные глаза, которые она будет проклинать до самой смерти, они, вместо того чтобы глядеть в ноты и следить за движениями его палочки,

смотрели в волосы и в глаза дирижера. Ее глазам нравились всклокоченные волосы и дирижерские глаза, из которых сыпались на нее искры и в которые страшно смотреть. Бедная девочка без памяти любила лицо, по которому бегали тучи и молнии. Разве виновата она была, что ее маленький ум, вместо того чтобы утонуть в репетиции, думал о посторонних вещах, которые мешают дело делать, жить, быть покойной…

Глаза ее устремлялись в ноты, с нот они перебегали на его палочку, с палочки на его белый галстух, подбородок, усики и так далее…

— Возьмите у нее ноты! Она больна! — крикнул наконец он. — Я не продолжаю!

— Да, я больна, — прошептала покорно она, готовая просить тысячу извинений…

Ее отпустили домой, и ее место в спектакле было занято другой, у которой хуже голос, но которая умеет критически относиться к своему делу, работать честно, добросовестно, не думая о белом галстухе и усиках.

И дома он не давал ей покоя. Приехав из театра, она упала на постель. Спрятав голову под подушку, она видела во мраке своих закрытых глаз его физиономию, искаженную гневом, и ей казалось, что он бьет ее по вискам своей палочкой. Этот

дерзкий был ее первою любовью!

И первый блин вышел комом.

На другой день после репетиции к ней приезжали ее товарищи по искусству, чтобы осведомиться об ее здоровье. В газетах и на афишах было напечатано, что она заболела. Приезжал директор театра, режиссер, и каждый засвидетельствовал ей свое почтительное участие. Приезжал и он.

Когда он не стоит во главе оркестра и не глядит на свою партитуру, он совсем другой человек. Тогда он вежлив, любезен и почтителен, как мальчик По лицу его разлита почтительная, сладенькая улыбочка. Он не только не посылает к черту, но даже боится в присутствии дам курить и класть ногу на ногу. Тогда добрей и порядочней его трудно найти человека.



Он приехал с очень озабоченным лицом и сказал ей, что ее болезнь — большое несчастие для искусства, что все ее товарищи и он сам готовы все отдать для того только, чтобы «notre petit rossignol»[60] был здоров и покоен О, эти болезни! Они многое отняли у искусства. Нужно сказать директору, что если на сцене будет по-прежнему сквозной ветер, то никто не согласится служить, всякий уйдет. Здоровье дороже всего на свете! Он

[60] Примечания: 60
Наш маленький соловей (фр.).

с чувством пожал ее ручку, искренно вздохнул, попросил позволения побывать у нее еще раз и уехал, проклиная болезни.

Славный малый! Но зато, когда она сказалась здоровой и пожаловала на сцену, он опять послал ее к «самому черному» черту, и опять по лицу его забегали молнии.

В сущности он очень порядочный человек. Она стояла однажды за кулисами и, опершись о розовый куст с деревянными цветами, следила за его движениями. Дух ее захватывало от восторга при виде этого человека. Он стоял за кулисами и, громко хохоча, пил с Мефистофелем и Валентином шампанское. Остроты так и сыпались из его рта, привыкшего посылать к черту. Выпивши три стакана, он отошел от певцов и направился к выходу в оркестр, где уже настраивались скрипки и виолончели. Он прошел мимо нее, улыбаясь, сияя и махая руками. Лицо его горело довольством. Кто осмелится сказать, что он плохой дирижер? Никто! Она покраснела и улыбнулась ему. Он, пьяный, остановился около нее и заговорил:

— Я раскис… — сказал он. — Боже мой! Мне так хорошо сегодня! Ха! ха! Вы сегодня все такие хорошие! У вас чудные волосы! Боже мой, неужели я до сих пор не замечал, что у этого соловья такая

чудная грива?

Он нагнулся и поцеловал ее плечо, на котором лежали волосы.

— Я раскис через это проклятое вино… Мой милый соловей, ведь мы не будем больше ошибаться? Будем со вниманием петь? Зачем вы так часто фальшивите? С вами этого не было прежде, золотая головка!

Дирижер совсем раскис и поцеловал ее руку. Она тоже заговорила…

— Не браните меня… Ведь я… я… Вы меня убиваете своей бранью… Я не перенесу… Клянусь вам!

И слезы навернулись на ее глазах. Она, сама того не замечая, оперлась о его локоть и почти повисла на нем.

— Ведь вы не знаете… Вы такой злой. Клянусь вам…

Он сел на куст и чуть не свалился с него. Чтобы не свалиться, он ухватился за ее талию.

— Звонок, моя крошка. До следующего антракта!

После спектакля она ехала домой не одна. С ней ехал пьяный, хохочущий от счастья, раскисший он! Как она счастлива! Боже мой! Она ехала, чувствовала его объятия и не верила своему счастию. Ей казалось, что лжет судьба! Но как бы там ни

было, а целую неделю публика читала в афише, что дирижер и его она больны... Он не выходил от нее целую неделю, и эта неделя показалась обоим минутой. Девочка отпустила его от себя только тогда, когда уж неловко было скрываться от людей и ничего не делать.

— Нужно проветрить нашу любовь, — сказал дирижер на седьмой день. — Я соскучился без своего оркестра.

На восьмой день он уже махал палочкой и посылал к черту всех, не исключая даже и «рыжей».

Эти женщины любят, как кошки. Моя героиня, сошедшись и начавши жить со своим пугалом, не отказалась от своих глупых привычек. Она по-прежнему, вместо того чтобы глядеть в ноты и на палочку, глядела на его галстух и лицо... На репетициях и во время спектакля она то и дело фальшивила и еще в большей степени, чем прежде. Зато же и бранил он ее! Прежде бранил он ее только на репетициях, теперь же мог это делать и дома, после спектакля, стоя перед ее постелью. Сентиментальная девчонка! Достаточно ей было, когда она пела, взглянуть на любимое лицо, чтобы отстать на целых четверть такта или вздрогнуть голосом. Когда она пела, она глядела на него со сцены, когда же не пела, она стояла

за кулисами и не отрывала глаз от его длинной фигуры. Во время антракта они сходились в уборной, где оба пили шампанское и смеялись над ее поклонниками. Когда оркестр играл увертюру, она стояла на сцене и глядела на него в маленькое отверстие в занавесе. В это отверстие актеры смеются над плешью первого ряда и по количеству видимых голов определяют величину сбора.

Отверстие в занавесе погубило ее счастье. Случился скандал.

В одну масленицу, когда театр бывает наименее пуст, давали «Гугенотов». Когда дирижер перед началом пробирался между пюпитрами к своему месту, она стояла уже у занавеса и с жадностью, с замиранием сердца глядела в отверстие.

Он состроил кисло-серьезную физиономию и замахал во все стороны своей палочкой. Заиграли увертюру. Красивое лицо его сначала было относительно покойно… Потом же, когда увертюра близилась к середине, по его правой щеке забегали молнии и правый глаз прищурился. Беспорядок слышался справа: там сфальшивила флейта и не вовремя закашлял фагот. Кашель может помешать начать вовремя. Потом покраснела и задвигалась левая щека. Сколько движения и огня в этом лице! Она глядела на него и чувство-

вала себя на седьмом небе, на верху блаженства.



— Виолончель к чертям! — пробормотал он сквозь зубы быстро, чуть слышно.

Эта виолончель знает ноты, но не хочет знать души! Можно ли поручать этот нежный и мягкозвучный инструмент людям, не умеющим чувствовать? По всему лицу дирижера забегали судороги, и свободная рука вцепилась в пюпитр, точно пюпитр виноват в том, что толстый виолончелист играет только ради денег, а не потому, что этого хочется его душе!

— Долой со сцены! — послышалось где-то вблизи…

Вдруг лицо дирижера просияло и засветилось счастьем. Губы его улыбнулись. Одно из трудных мест было пройдено первыми скрипками более чем блистательно. Это приятно дирижерскому сердцу. У моей рыжеволосой героини стало на душе тоже приятно, как будто бы она играла на первых скрипках или имела дирижерское сердце. Но это сердце было не дирижерское, хотя и сидел в нем дирижер. «Рыжая чертовка», глядя на улыбающееся лицо, сама заулыбалась… но не время было улыбаться. Случилось нечто сверхъестественное и ужасно глупое…

Отверстие вдруг исчезло перед ее глазом. Куда оно девалось? Наверху что-то зашумело, точно

подул ровный ветер… По ее лицу что-то поползло вверх… Что случилось? Она начала глазом искать отверстие, чтобы увидеть любимое лицо, но вместо отверстия она увидала вдруг целую массу света, высокую и глубокую… В массе света замелькало бесчисленное множество огней и голов, и между этими разнообразными головами она увидела дирижерскую голову. Дирижерская голова посмотрела на нее и замерла от изумления… Потом изумление уступило место невыразимому ужасу и отчаянию. Она, сама того не замечая, сделала полшага к рампе… Из второго яруса послышался смех, и скоро весь театр утонул в нескончаемом смехе и шиканье. Черт возьми! На «Гугенотах» будет петь барыня в перчатках, шляпе и платье самого новейшего времени!..

— Ха-ха-ха!

В первом ряду задвигались смеющиеся плеши… Поднялся шум… А его лицо стало старо и морщинисто, как лицо Эзопа! Оно дышало ненавистью, проклятиями… Он топнул ногой и бросил под ноги свою дирижерскую палочку, которую он не променяет на фельдмаршальский жезл. Оркестр секунду понес чепуху и умолк… Она отступила назад и, пошатываясь, поглядела в сторону… В стороне были кулисы, из-за которых смотрели

на нее бледные, злобные рыла… Эти звериные рыла шипели…

— Вы губите нас! — шипел антрепренер…

Занавес пополз вниз медленно, волнуясь, нерешительно, точно его спускали не туда, куда нужно… Она зашаталась и оперлась о кулису…

— Вы губите меня, развратная, сумасшедшая… о, чтобы черт тебя забрал, отвратительнейшая гадина!

Это говорил голос, который час тому назад, когда она собиралась в театр, шептал ей: «Тебя нельзя не любить, моя крошка! Ты мой добрый гений! Твой поцелуй стоит магометова рая!» А теперь? Она погибла, честное слово погибла!

Когда порядок в театре был водворен и взбешенный дирижер принялся во второй раз за увертюру, она была уже у себя дома. Она быстро разделась и прыгнула под одеяло. Лежа не так страшно умирать, как стоя или сидя, а она была уверена, что угрызения совести и тоска убьют ее… Она спрятала голову под подушку и, дрожа, боясь думать и задыхаясь от стыда, завертелась под одеялом… От одеяла пахло сигарами, которые курил он… Что-то он скажет, когда придет?

В третьем часу ночи пришел он. Дирижер был пьян. Он напился с горя и от бешенства. Ноги его

подгибались, а руки и губы дрожали, как листья при слабом ветре. Он, не скидая шубы и шапки, подошел к постели и постоял минуту молча. Она притаила дыхание.

— Мы можем спать покойно после того, как осрамились на весь свет! — прошипел он. — Мы, истинные артисты, умеем мириться со своею совестью! Истинная артистка! Ха! ха! Ведьма!

Он сдернул с нее одеяло и швырнул его к камину.

— Знаешь, что ты сделала? Ты посмеялась надо мной, чтоб черт забрал тебя! Ты знаешь это? Или ты не знаешь? Вставай!

Он рванул ее за руку. Она села на край кровати и спрятала свое лицо за спутавшимися волосами. Плечи ее дрожали.

— Прости меня!

— Ха! ха! Рыжая!

Он рванул ее за сорочку и увидел белое, как снег, чудное плечо. Но ему было не до плеч.

— Вон из моего дома! Одевайся! Ты отравила мою жизнь, ничтожная!

Она пошла к стулу, на котором беспорядочной кучей лежало ее платье, и начала одеваться. Она отравила его жизнь! Подло и гнусно с ее стороны отравлять жизнь этого великого человека! Она

уйдет, чтобы не продолжать этой подлости. И без нее есть кому отравлять жизни…

— Вон отсюда! Сейчас же!

Он бросил ей в лицо кофточку и заскрежетал зубами. Она оделась и встала около двери. Он замолчал. Но недолго продолжалось молчание. Дирижер, покачиваясь, указал ей на дверь. Она вышла в переднюю. Он отворил дверь на улицу.

— Прочь, мерзкая!

И, взяв ее за маленькую спину, он вытолкал ее.

— Прощай! — прошептала она кающимся голосом и исчезла в темноте.

А было туманно и холодно. С неба моросил мелкий дождь…

— К черту! — крикнул ей вослед дирижер и, не прислушиваясь к ее шлепанью по грязи, запер дверь. Выгнав подругу в холодный туман, он улегся в теплую постель и захрапел.

— Так ей и следует! — сказал он утром, проснувшись, но… он лгал! Кошки скребли его музыкальную душу, и тоска по рыжей защемила его сердце. Неделю ходил он, как полупьяный, страдая, поджидая ее и терзаясь неизвестностью. Он думал, что она придет, верил в это… Но она не пришла. Отравление человека, которого она любит больше жизни, не входит в ее программу. Ее

вычеркнули из списка артисток театра за «неприличное поведение». Ей не простили скандала. Об отставке ей не было сообщено, потому что никто не знал, куда она исчезла. Не знали ничего, но предполагали многое…

— Она замерзла или утопилась! — предполагал дирижер.

Через полгода забыли о ней. Забыл о ней и дирижер. На совести каждого красивого артиста много женщин, и чтобы помнить каждую, нужно иметь слишком большую память.

Все наказывается на этом свете, если верить добродетельным и благочестивым людям. Был ли наказан дирижер?

Да, был.

Пять лет спустя дирижер проезжал через город Х. В Х. прекрасная опера, и он остался в нем на день, чтобы познакомиться с ее составом. Остановился он в лучшем Hotel'е и в первое же утро после приезда получил письмо, которое ясно показывает, какою популярностью пользовался мой длинноволосый герой. В письме просили его продирижировать «Фауста». Дирижер Н. внезапно заболел, и дирижерская палочка вакантна. Не пожелает ли он, мой герой (просили его в письме), взять на себя труд воспользоваться случаем

и угостить своим искусством музыкальнейших обывателей города Х.? Мой герой согласился.

Он взялся за палочку, и «чужие» музыканты увидели лицо с молниями и тучами. Молний было много. И немудрено: репетиций не было, и пришлось начинать блистать своим искусством прямо со спектакля.

Первое действие прошло благополучно. То же случилось и со вторым. Но во время третьего произошел маленький скандал. Дирижер не имеет привычки смотреть на сцену или куда бы то ни было. Все его внимание обращено на партитуру.

Когда в третьем действии Маргарита, прекрасное, сильное сопрано, запела за прялкой свою песню, он улыбнулся от удовольствия: барыня пела прелестно. Но когда же эта самая барыня опоздала на осьмую такта, по лицу его пробежали молнии, и он с ненавистью поглядел на сцену. Но шах и мат молниям! Рот широко раскрылся от изумления, и глаза стали большими, как у теленка.

На сцене за прялкой сидела та рыжая, которую он когда-то выгнал из теплой постели и толкнул в темный, холодный туман. За прялкой сидела она, рыжая, но уже не совсем такая, какую он выгнал, а другая. Лицо было прежнее, но голос и тело

не те. Тот и другое были изящнее, грациознее и смелее в своих движениях.



Дирижер разинул рот и побледнел.

Палочка его нервно задвигалась, беспорядочно заболталась на одном месте и замерла в одном положении…

— Это она! — сказал он вслух и засмеялся.

Удивление, восторг и беспредельная радость овладели его душой. Его рыжая, которую он выгнал, не пропала, а стала великаном. Это приятно

для его дирижерского сердца. Одним светилом больше, и искусство в его лице захлебывается от радости!

— Это она! Она!

Палочка замерла в одном положении, и когда он, желая поправить дело, махнул ею, она выпала из его рук и застучала по полу… Первая скрипка с удивлением поглядела на него и нагнулась за палочкой. Виолончель подумала, что с дирижером дурно, замолкла и опять начала, но невпопад… Звуки завертелись, закружились в воздухе и, ища выхода из беспорядка, затянули возмутительную резь…

Она, рыжая Маргарита, вскочила и гневным взором измерила «этих пьяниц», которые… Она побледнела, и глаза ее забегали по дирижеру…

А публика, которой нет ни до чего дела, которая заплатила свои деньги, затрещала и засвистала…

К довершению скандала Маргарита взвизгнула на весь театр и, подняв вверх руки, подалась всем телом к рампе… Она узнала его и теперь ничего не видела, кроме молний и туч, опять появившихся на его лице.

— А, проклятая гадина! — крикнул он и ударил кулаком по партитуре.

Что сказал бы Гуно, если бы видел, как издеваются над его творением! О, Гуно убил бы его и был бы прав!

Он ошибся первый раз в жизни, и той ошибки, того скандала не простил он себе.

Он выбежал из театра с окровавленной нижней губой и, прибежав к себе в отель, заперся. Запершись, просидел он три дня и три ночи, занимаясь самосозерцанием и самобичеванием.

Музыканты рассказывают, что он поседел в эти трое суток и выдернул из своей головы половину волос…

— Я оскорбил ее! — плачет он теперь, когда бывает пьян. — Я испортил ее партию! Я — не дирижер!

Отчего же он не говорил ничего подобного после того, как выгнал ее?

Идиллия — увы и ах!

— Дядя мой прекраснейший человек! — говорил мне не раз бедный племянник и единственный наследник капитана Насечкина, Гриша. — Я люблю его всей душой… Зайдемте к нему, голубчик! Он будет очень рад!

И слезы навертывались на глазах Гриши, когда он говорил о дядюшке. К чести его сказать, он не стыдился этих хороших слез и плакал публично! Я внял его просьбам и неделю тому назад зашел к капитану. Когда я вошел в переднюю и заглянул в залу, я увидел умилительную картину. В большом кресле среди залы сидел старенький, худенький капитан и кушал чай. Перед ним на одном колене стоял Гриша и с умилением мешал ложечкой его чай.

Вокруг коричневой шеи старичка обвивалась хорошенькая ручка Гришиной невесты. Бедный племянник и невеста спорили о том, кто из них скорей поцелует дядюшку, и не жалели поцелуев для старичка.

— А теперь вы сами поцелуйтесь, наследники! — лепетал Насечкин, захлебываясь от счастья…

Между этими тремя созданиями существовала завиднейшая связь. Я, жестокий человек, замирал от счастья и зависти, глядя на них…

— Да-с! — говорил Насечкин. — Могу сказать: пожил на своем веку! Дай бог всякому. Одних осетров сколько поел! Страсть! Например, взять бы хоть того осетра, что в Скопине съели. Гм! И теперь слюнки текут…

— Расскажите, расскажите! — говорит невеста.

— Приезжаю это я в Скопин со своими тысячами, детки, и прямо… гм… к Рыкову… господину Рыкову. Человек… уу! Золотой господин! Джентльмен! Как родного принял… Какая, кажись бы, надобность ему, а… как с родным! Ей-богу! Кофеем потчевал… После кофею закуска… Стол… На столе распивочно и на вынос… Осетр… от угла до угла… Омары… икорка… Ресторант!

Я вошел в залу и прервал Насечкина. Это было аккурат в тот день, когда в Москве было получено первое телеграфическое известие о том, что скопинский банк лопнул.

— Детками наслаждаюсь! — сказал мне Насечкин после первых приветствий и, обратясь к деткам, продолжал хвастливым тоном: — И общество благородное… Чиноначальники, духовенство… иеромонахи, иереи… После каждой

рюмочки под благословение подходишь… Сам весь в орденах… Генералу нос утрет… Скушали осетра… Подали другого… Съели… Потом уха с стерлядкой… фазаны…

— На вашем месте я теперь икал и страдал бы изжогой от этих осетров, а вы хвастаетесь… — сказал я. — Много у вас пропало за Рыковым?

— Зачем пропало?

— Как зачем? Да ведь банк лопнул!

— Шутки! Стара песня… И прежде пугали…

— Так вам еще неизвестно? Батенька! Серапион Егорыч! Да ведь это… это… это… Читайте!

Я полез в карман и вытащил оттуда газетину. Насечкин надел очки и, недоверчиво улыбаясь, принялся читать. Чем более он читал, тем бледнее и длиннее делалась его физиономия.

— Ло… ло… лллопнул! — заголосил он и затрясся всеми членами. — Бедная моя головушка!

Гриша покраснел, прочитал газету, побледнел… Дрожащая рука его потянулась за шапкой… Невеста зашаталась…

— Господа! Да неужели вы только теперь об этом узнали? Ведь уж об этом вся Москва говорит. Господа! Успокойтесь!

Час спустя стоял я один-одинешенек перед капитаном и утешал его:

— Полно, Серапион Егорыч! Ну что ж? Деньги пропали, зато детки остались.

— Это правда… Деньги суета… Детки… Это точно.

Но увы! Через неделю я встретился с Гришей.

— Сходите, батенька, к дядюшке! — обратился я к нему. — Отчего вы к нему не сходите? Совсем бросили старика!

— А ну его к черту! Очень он мне нужен, старый черт! Дурак! Не мог найти другого банка!

— Все-таки сходите. Ведь он ваш дядя!

— Он? Ха-ха!.. Вы смеетесь? Откуда вы это взяли? Он троюродный брат моей мачехи! Десятая вода на киселе! Нашему слесарю двоюродный кузнец!

— Ну хоть невесту пошлите к нему!

— Да! Черт вас дернул показывать газету до свадьбы! До свадьбы не могли подождать со своими новостями!.. Теперь она рожу воротит. Тоже ведь на дядюшкин каравай рот разевала! Дура чертова… Разочарована теперь.

Так, сам того не желая, разрушил я теснейшее трио… завиднейшее трио!

Барон

Барон — маленький, худенький старикашка лет шестидесяти. Его шея дает с позвоночником тупой угол, который скоро станет прямым. У него большая угловатая голова, кислые глаза, нос шишкой и лиловатый подбородок. По всему лицу его разлита слабая синюха, вероятно, потому, что спирт стоит в том шкафу, который редко запирается бутафором. Впрочем, кроме казенного спирта, барон употребляет иногда и шампанское, которое можно найти очень часто в уборных, на донышках бутылок и стаканов. Его щеки и мешочки под глазами висят и дрожат, как тряпочки, повешенные для просушки. На лысине зеленоватый налет от зеленой подкладки ушастой меховой шапки, которую барон, когда не носит на голове, вешает на испортившийся газовый рожок за третьей кулисой. Голос его дребезжит, как треснувшая кастрюля. А костюм? Если вы смеетесь над этим костюмом, то вы, значит, не признаете авторитетов, что не делает вам чести. Коричневый сюртук без пуговиц, с лоснящимися локтями и подкладкой, обратившейся в бахрому, — замечательный сюртук. Он болтает-

ся на узких плечах барона, как на поломанной вешалке, но... что ж из этого следует? Зато он облекал когда-то гениальное тело величайшего из комиков. Бархатная жилетка с голубыми цветами имеет двадцать прорех и бесчисленное множество пятен, но нельзя же бросить ее, если она найдена в том нумере, в котором жил могучий Сальвини! Кто может поручиться, что этой жилетки не носил сам трагик? А найдена она была на другой день после отъезда великана-артиста; следовательно, можно поклясться, что она не фальшивая. Галстух, греющий шею барона, не менее замечательный галстух. Им можно похвастать, хотя и следовало бы его в чисто гигиенических и эстетических видах заменить другим, более прочным и менее засаленным. Он выкроен из останков того великого плаща, которым покрывал когда-то свои плечи Эрнесто Росси, беседуя в «Макбете» с ведьмами.

— От моего галстуха пахнет кровью короля Дункана! — говорит часто барон, ища в своем галстухе паразитов.

Над пестренькими, полосатыми брючками барона можете смеяться сколько вам угодно. Их не носило ранее ни одно авторитетное лицо, хотя актеры и шутят, что эти брючки сшиты из

паруса парохода, на котором Сара Бернар ездила в Америку. Они куплены у капельдинера № 16.

Зиму и лето барон ходит в больших калошах, чтобы сапоги были целей и чтобы не простудить своих ревматических ног на сквозном ветру, гуляющем по полу его суфлерской будки.

Барона можно видеть только в трех местах: в кассе, в суфлерской будке и за сценой в мужской уборной. Вне этих мест он не существует и едва ли мыслим. В кассе он ночью ночует, а днем записывает фамилии покупающих ложи и играет с кассиром в шашки. Старый и золотушный кассир — единственный человек, который слушает барона и отвечает на его вопросы. В суфлерской будке барон исполняет свои священные обязанности; там он зарабатывает себе кусок насущного хлеба. Эта будка выкрашена в блестящий, белый цвет только снаружи; внутри же стенки ее покрыты паутиной, щелями и занозами. В ней пахнет сыростью, копченой рыбой и спиртом. В антрактах барон торчит в мужской уборной. Новички, первый раз входящие в эту уборную, увидев барона, хохочут и аплодируют. Они принимают его за актера.

— Браво, браво! — говорят они. — Вы прелестно загримировались! Какая у вас смешная рожица!

А где вы достали такой оригинальный костюм?

Бедный барон! Люди не могут допустить, что он имеет собственную физиономию!

В уборной он наслаждается созерцанием светил или же, если нет светил, осмеливается вставлять в чужие речи свои замечания, которых у него очень много. Замечаний его никто не слушает, потому что они всем надоели и попахивают рутиной; их пускают мимо ушей без всяких церемоний. С бароном вообще не любят церемониться. Если он вертится перед носом и мешает, ему говорят: убирайтесь! Если он шепчет из своей будки слишком тихо или слишком громко, его посылают к черту и грозят ему штрафом или отставкой. Он служит мишенью для большинства закулисных острот и каламбуров. На нем смело можно пробовать свое остроумие: он не ответит.

Прошло уже двадцать лет с тех пор, как его начали дразнить «бароном», но за все эти двадцать лет он ни разу не протестовал против этого прозвища.

Заставить его переписать роль и не заплатить ему — тоже можно. Все можно! Он улыбается, извиняется и конфузится, когда наступают ему на ногу. Побейте его публично по морщинистым щекам, и, ручаюсь вам честным словом, он не

пойдет с жалобой к мировому. Оторвите от его замечательного, горячо любимого сюртука кусок подкладки, как это сделал недавно jeune premier[61], он только замигает глазками и покраснеет. Такова сила его забитости и смирения! Его никто не уважает. Пока он жив, его выносят, когда же умрет, его забудут немедленно. Жалкое он создание!

А между тем было когда-то время, когда он чуть было не сделался товарищем и братом людей, которым он поклонялся и которых любил больше жизни. (Он не мог не любить людей, которые бывают иногда Гамлетами и Францами Моор!) Он сам едва не стал артистом и, наверное, стал бы им, если бы не помешал ему один смешной пустяк. Таланта было много, желания — тоже, была на первых порах и протекция, но не хватило пустяка: смелости. Ему вечно казалось, что они, эти головы, которыми усеяны все пять ярусов, низ и верх, захохочут и зашикают, если он позволит себе показаться на сцене. Он бледнел, краснел и немел от ужаса, когда предлагали ему подебютировать.

— Я подожду немного, — говорил он.

---

[61] Примечания: 61
Первый любовник (фр.).

И он ждал до тех пор, пока не состарился, не разорился и не попал, по протекции, в суфлерскую будку.

Он стал суфлером, но это не беда. Теперь уж его не выгонят из театра за неимение билета: он должностное лицо. Он сидит впереди первого ряда, видит лучше всех и не платит за свое место ни копейки. Это хорошо. Он счастлив и доволен.

Обязанность свою исполняет он прекрасно. Перед спектаклем он несколько раз прочитывает пьесу, чтобы не ошибиться, а когда бьет первый звонок, он уже сидит в будке и перелистывает свою книжку. Усердней его трудно найти кого-либо во всем театре.

Но все-таки нужно выгнать его из театра.

Беспорядки не должны быть терпимы в театре, а барон производит иногда страшные беспорядки. Он скандалист.

Когда на сцене играют особенно хорошо, он отрывает глаза от своей книжки и перестает шептать. Очень часто он прерывает свое чтение криками: браво! превосходно! — и позволяет себе аплодировать в то время, когда не аплодирует публика. Раз даже он шикал, за что чуть было не потерял места.



Вообще поглядите на него, когда он сидит в своей вонючей будке и шепчет. Он краснеет, бледнеет, жестикулирует руками, шепчет громче, чем следует, задыхается.

Иногда бывает его слышно даже в коридорах, где около платья зевают капельдинеры. Он позволяет себе даже браниться из будки и подавать актеру советы.

— Правую руку вверх! — шепчет он часто. — У вас горячие слова, но лицо — лед! Это не ваша роль! Вы молокосос для этой роли! Вы бы погля-

дели в этой роли Эрнесто Росси! К чему же шарж? О, боже мой! Он все испортил своей мещанской манерой!

И подобные вещи шепчет он, вместо того чтобы шептать по книжке. Напрасно терпят этого чудака. Если бы его выгнали, то публике не пришлось бы быть свидетельницей скандала, который произошел на этих днях.

Скандал состоял в следующем.

Давали «Гамлета». Театр был полон. В наши дни Шекспир слушается так же охотно, как и сто лет тому назад. Когда дают Шекспира, барон находится в самом возбужденном состоянии. Он много пьет, много говорит и не переставая трет кулаками свои виски. За висками кипит жестокая работа. Старческие мозги взбудораживаются бешеной завистью, отчаянием, ненавистью, мечтами… Ему самому следовало бы поиграть Гамлета, хоть Гамлет и плохо вяжется с горбом и со спиртом, который забывает запирать бутафор. Ему, а не этим пигмеям, играющим сегодня лакеев, завтра сводников, послезавтра Гамлета! Сорок лет штудирует он этого датского принца, о котором мечтают все порядочные артисты и который дал лавровый венец не одному только Шекспиру. Сорок лет он штудирует, страдает, сго-

рает от мечты… Смерть не за горами. Она скоро придет и навсегда возьмет его из театра. Хоть бы раз в жизни ему посчастливилось пройтись по сцене в принцевой куртке, вблизи моря, около скал, где одна пустыня места.

Сама собой, готова довести
К отчаянью, когда посмотришь в бездну
И слышишь в ней далекий плеск волны.

Если даже мечты заставляют таять не по дням, а по часам, то каким огнем сгорел бы лысый барон, если бы мечта приняла форму действительности!

В описываемый вечер он готов был проглотить весь свет от зависти и злости. Гамлета дали играть мальчишке, говорящему жидким тенором, а главное — рыжему. Неужели Гамлет был рыж?

Барон сидел в своей будке, как на горячих угольях. Когда Гамлета не было на сцене, он был еще относительно покоен, когда же на сцену появлялся жидкий рыжеволосый тенор, он начинал вертеться, метаться, ныть. Шепот его походил больше на стон, чем на чтение. Руки его тряслись, страницы путались, подсвечники ставились то ближе, то дальше… Он впивался в лицо Гамлета

и переставал шептать… Ему страстно хотелось повыщипать из рыжей головы все волосы до единого. Пусть Гамлет будет лучше лыс, чем рыж! Шарж — так шарж, черт возьми!

Во втором действии он уж вовсе не шептал, а злобно хихикал, бранился и шикал. К его счастью, актеры хорошо знали свои роли и не замечали его молчания.

— Хорош Гамлет! — бранился он. — Нечего сказать! Ха-ха! Господа юнкера не знают своего места! Им следует за швейками бегать, а не на сцене играть! Если бы у Гамлета было такое глупое лицо, то едва ли Шекспир написал бы свою трагедию!

Когда ему надоело браниться, он начал учить рыжего актера. Жестикулируя руками и лицом, читая и стуча кулаками о книжку, он потребовал, чтобы актер следовал его советам. Ему нужно было спасти Шекспира от поругания, а для Шекспира он на все готов: хоть на сто тысяч скандалов!

Беседуя с актерами, рыжий Гамлет был ужасен. Он ломался, как тот «дюжий длинноволосый молодец» — актер, о котором сам Гамлет говорит: «Такого актера я в состоянии бы высечь». Когда он начал декламировать, барон не вынес. Задыхаясь

и стуча лысиной по потолку будки, он положил левую руку на грудь, а правой зажестикулировал. Старческий, надорванный голос прервал рыжего актера и заставил его оглянуться на будку:

Распаленный гневом,
В крови, засохшей на его доспехах,
С огнем в очах, свирепый ищет Пирр
Отца Приама.

И, высунувшись наполовину из будки, барон кивнул головой первому актеру и прибавил уже не декламирующим, а небрежным, потухшим голосом:

— Продолжай!



Первый актер продолжал, но не тотчас. Минуту он промедлил, и минуту в театре царило глубокое молчание. Это молчание нарушил сам барон,

когда, потянувшись назад, стукнулся головой о край будки. Послышался смех.

— Браво, барабанщик! — крикнули из райка.

Думали, что прервал Гамлета не суфлер, а старый барабанщик, дремавший в оркестре. Барабанщик шутовски раскланялся с райком, и весь театр огласился смехом. Публика любит театральные недоразумения, и если бы вместо пьес давали недоразумения, она платила бы вдвое больше.

Первый актер продолжал, и тишина была мало-помалу водворена.

Чудак же барон, услышавши смех, побагровел от стыда и схватил себя за лысину, забыв, вероятно, что на ней уже нет тех волос, в которые влюблялись когда-то красивые женщины. Теперь мало того, что над ним будет смеяться весь город и все юмористические журналы, его еще выгонят из театра! Он горел от стыда, злился на себя, а между тем все члены его дрожали от восторга: он сейчас декламировал!

«Не твое дело, старая, заржавленная щеколда! — думал он. — Твое дело быть только суфлером, если не хочешь, чтобы тебе дали по шее, как последнему лакею. Но это возмутительно, однако! Рыжий мальчишка решительно не хочет играть

по-человечески! Разве это место так ведется?»



И, впившись глазами в актера, барон опять начал бормотать советы. Он еще раз не вынес и еще раз заставил смеяться публику Этот чудак был слишком нервен. Когда актер, читая последний монолог второго действия, сделал маленькую передышку, чтобы молча покачать головой, из будки опять понесся голос, полный желчи, презрения, ненависти, но, увы! уже разбитый временем и бессильный:

Кровавый сластолюбец! Лицемер!

Бесчувственный, продажный, подлый изверг!

Помолчав секунд десять, барон глубоко вздохнул и прибавил уже не так громко:

Глупец, глупец! Куда как я отважен!

Этот голос был бы голосом Гамлета настоящего, не рыжего Гамлета, если бы на земле не было старости. Многое портит и многому мешает старость.

Бедный барон! Впрочем, не он первый, не он и последний.

Теперь его выгонят из театра. Согласитесь, что эта мера необходима.

Добрый знакомый

По зеркальному льду скользят мужские ботфорты и женские ботинки с меховой опушкой. Скользящих ног так много, что, будь они в Китае, для них не хватило бы бамбуковых палок. Солнце светит особенно ярко, воздух особенно прозрачен, щечки горят ярче обыкновенного, глазки обещают больше, чем следует… Живи и наслаждайся, человек, одним словом! Но…

«Дудки!» — говорит судьба в лице моего… доброго знакомого.

Я вдали от катка сижу на скамье под голым деревом и беседую с «ней». Я готов ее скушать вместе с ее шляпкой, шубкой и ножками, на которых блестят коньки, — так хороша! Страдаю и в то же время наслаждаюсь! О, любовь! Но… дудки…

Мимо нас проходит наш департаментский «отворяйло и запирайло», наш Аргус и Меркурий, пирожник и рассыльный, Спевсип Макаров. В руках его чьи-то калоши, мужские и женские, должно быть превосходительные. Спевсип делает мне под козырек и, глядя на меня с умилением и любовью, останавливается около самой скамьи.

— Холодно, ваше высокобл… бл… На чаишко

бы! Хе-хе-с…

Я даю ему двугривенный. Эта любезность трогает его донельзя. Он усиленно мигает глазками, оглядывается и говорит шепотом:

— Оченно мне жалко вас, обидно, ваше благородие!.. Страсть как жалко! Точно вы мне сынок… Человек вы золотой! Душа! Доброта! Смиренник наш! Когда намедни он, превосходительство то есь, накинулся на вас — тоска взяла! Ей-богу! Думаю, за что он его? Ты и лентяй, и молокосос, и тебя выгоню, то да се… За что? Когда вы вышли от него, так на вас лица вашего не было. Ей-богу… А я гляжу, и мне жалко… Ох, у меня всегда сердечность к чиновникам!

И, обратясь к моей соседке, Спевсип прибавляет:

— Уж больно они плохи у нас насчет бумаг-то. Не ихнее это дело в умственных бумагах… Шли бы по торговой части или… по духовной… Ей-богу! Ни одна бумага у них толком не выходит… Все зря! Ну и достается на орехи… Сам зael его совсем… Турнуть хочет… А мне жалко. Их благородие добрые…

Она смотрит мне в глаза с самым обидным состраданием!

— Ступай! — говорю я Спевсипу, задыхаясь…

Я чувствую, что у меня даже калоши покраснели. Осрамил, каналья! А в стороне, за голыми кустами, сидит ее папенька, слушает и глазеет на нас, чтобы я впредь до «титулярного» не смел и думать о… На другой стороне, за другими кустами, прохаживается ее маменька и наблюдает за «ней». Я чувствую эти четыре глаза… и готов подохнуть.

Месть

Был день бенефиса нашей ingénue[62].

В десятом часу утра у ее двери стоял комик. Он прислушивался и стучал по обеим половинкам двери своими большими кулаками. Ему необходимо было видеть ingénue. Она должна была вылезть из-под своего одеяла во что бы то ни стало, как бы ей ни хотелось спать…

— Отворите же, черт возьми! Долго ли еще мне придется коченеть на этом сквозном ветру? Если б вы знали, что в вашем коридоре двадцать градусов мороза, вы не заставили бы меня ждать так долго! Или, быть может, у вас нет сердца?

В четверть одиннадцатого комик услышал глубокий вздох. За вздохом последовал скачок с кровати, а за скачком шлепанье туфель.

— Что вам угодно? Кто вы?

— Это я…

Комику не нужно было называть себя. Его легко можно было узнать по голосу, шипящему и дребезжащему, как у больного дифтеритом.

— Подождите, я оденусь…

---

[62] Примечания: 62
Инженю (фр.).

Через три минуты его впустили. Он вошел, поцеловал у ingénue руку и сел на кровать.

— Я к вам по делу, — начал он, закуривая сигару. — Я хожу к людям только по делу, ходить же в гости я предоставляю господам бездельникам. Но к делу… Сегодня я играю в вашей пьесе графа… Вы, конечно, это знаете?

— Да.

— Старого графа. Во втором действии я появляюсь на сцену в халате. Вы, надеюсь, и это знаете… Знаете?

— Да.

— Отлично. Если я буду не в халате, то я согрешу против истины. На сцене же, как и везде, прежде всего — истина! Впрочем, mademoiselle, к чему я говорю это? Ведь, в сущности говоря, человек и создан для того только, чтобы стремиться к истине…

— Да, это правда…

— Итак, после всего сказанного вы видите, что халат мне необходим. Но у меня нет халата, приличного графу. Если я покажусь публике в своем ситцевом халате, то вы много потеряете. На вашем бенефисе будет лежать пятно.

— Я вам могу помочь?

— Да. После вашего у вас остался прекрасный

голубой халат с бархатным воротником и красными кистями. Прекрасный, чудный халат!

Наша ingénue вспыхнула… Глазки ее покраснели, замигали и заискрились, как стеклянные бусы, вынесенные на солнце.

— Вы мне одолжите этот халат на сегодняшний спектакль…

Ingénue заходила по комнате. Нечесаные волосы ее попадали беспорядочно на лицо и плечи… Она зашевелила губами и пальцами…

— Нет, не могу! — сказала она.

— Это странно… Гм… Можно узнать почему?

— Почему? Ах, боже мой, да ведь это так понятно! Могу ли я? Нет!.. нет! Никогда! Он нехорошо поступил со мной, он неправ… Это правда! Он поступил со мной, как последний негодяй… Я согласна с этим! Он бросил меня только потому, что я получаю мало жалованья и не умею обирать мужчин! Он хотел, чтобы я брала у этих господ деньги и носила эти подлые деньги к нему, — он хотел этого! Подло, гадко! На подобные притязания способны одни только бессовестные пошляки!

Ingénue повалилась в кресло, на котором лежала свежевыглаженная сорочка, и закрыла руками лицо. Сквозь ее маленькие пальчики комик

увидел блестящие точки: то окно отражалось в слезинках...



— Он ограбил меня! — продолжала она всхлипывая. — Грабь, если хочешь, но зачем же бросать? Зачем? Что я ему сделала? Что я тебе сделала? Что?

Комик встал и подошел к ней.

— Не будем плакать, — сказал он. — Слезы есть малодушие. И к тому же мы можем найти утешение во всякую минуту... Утешьтесь!.. Искусство — самый радикальный утешитель!

Но ничего не поделал радикальный утешитель.

За всхлипыванием последовала истерика.

— Это пройдет! — сказал комик. — Я подожду.

Он в ожидании, пока она придет в себя, походил по комнате, зевнул и лег на кровать. Ее постель женская, но она не так мягка, как те постели,

на которых спят ingénues порядочных театров. Комика заколола в бок какая-то пружина, и его лысину зачесали перья, кончики которых робко выглядывали из подушки, сквозь розовую наволочку. Края кровати были холодны, как лед. Но все это не мешало нахалу сладко потянуться. Черт возьми, от этих бабьих кроватей так хорошо пахнет!

Он лежал и потягивался, а плечи ingénue прыгали, из груди ее вылетали отрывистые стоны, пальцы корчились и рвали на груди фланелевую кофточку… Комик напомнил ей самую несчастную страницу одного из несчастнейших романов! Истерика продолжалась минут десять. Очнувшись, ingénue откинула назад волосы, обвела комнату глазами и продолжала говорить.

Когда дама говорит с вами, неловко лежать на кровати. Вежливость прежде всего. Комик крякнул, поднялся и сел.

— Он поступил со мной нечестно, — продолжала она, — но из этого не следует, что я должна отдавать вам халат. Несмотря на его подлый поступок, я еще продолжаю любить его, и халат единственная вещь, оставшаяся у меня после него! Когда я вижу халат, я думаю о нем и… плачу.

— Я ничего не имею против этих похвальных чувств, — сказал комик, — напротив, в наш реальный, чертовски практический век приятно встретить человека с таким сердцем и с такой душой. Если вы дадите мне на один вечер халат, то вы принесете жертву, согласен… Но, подумайте, как приятно жертвовать для искусства!

И, подумав немного, комик вздохнул и прибавил:

— Тем более, что я вам завтра же возвращу его…

— Ни за что!

— Но почему же? Ведь я же не съем его, возвращу! Какая вы, право.

— Нет, нет! Ни за что!

Ingénue забегала по комнате и замахала руками.

— Ни за что! Вы хотите лишить меня единственной дорогой для меня вещи! Я скорей умру, но не отдам! Я еще люблю этого человека!

— Вполне понимаю, но не постигаю только одного, сударыня: как можете вы менять халат на искусство?.. Вы — артистка!

— Ни за что! И не говорите!

Комик покраснел и поцарапал себя по лысине. Он помолчал немного и спросил:

— Не дадите?

— Ни за что!

— Гм… Тэкссс… Это по-товарищески… Так поступают только товарищи!

Комик вздохнул и продолжал:

— Жалко, черт возьми! Очень жаль, что мы товарищи только на словах, а не на деле. Впрочем, несогласие слова с делом очень характерно для нашего времени. Взгляните, например, на литературу! Очень жаль! В частности же нас, артистов, губит отсутствие солидарности, истинного товарищества. Ах, как нас губит это! Впрочем, нет! Это только показывает, что мы не артисты, не художники! Мы лакеи, а не артисты! Сцена дана нам только для того, чтобы показывать публике свои голые локти и плечи… чтобы глазки делать… щекотать инстинкты райка… Не дадите?

— Ни за какие деньги!

— Это последнее слово?

— Да…

— Прелестно…

Комик надел шапку, церемонно раскланялся и вышел из комнаты ingénue. Красный как рак, дрожащий от гнева, шипящий ругательствами, пошел он по улице, прямо к театру. Он шел и

стучал палкой по мерзлой мостовой. С каким наслаждением нанизал бы он своих подлых товарищей на эту сучковатую палку! Еще лучше, если бы он мог проколоть этой артистической палкой насквозь всю землю! Будь он астрономом, он сумел бы доказать, что это худшая из планет!

Театр стоит на конце улицы, в трехстах шагах от острога. Он выкрашен в краску кирпичного цвета. Краска все замазала, кроме зияющих щелей, показывающих, что театр деревянный. Когда-то театр был амбаром, в котором складывались кули с мукой. Амбар был произведен в театры не за какие-либо заслуги, а за то, что он самый высокий сарай в городе.

Комик пошел в кассу. Там, за грязным липовым столом, сидел его друг и приятель, кассир Штамм, немец, выдававший себя за англичанина. Кассир подслеповат, глуп и глух, но все это, однако, не мешает ему с должным вниманием выслушивать своих товарищей.

Комик вошел в кассу, нахмурил брови и остановился перед кассиром в позе боксера, скрестившего на груди руки. Он помолчал немного, покачал головой и воскликнул:

— Как прикажете назвать этих людей, мистер Штамм?!

Комик стукнул кулаком по столу и, негодующий, опустился на деревянную скамью. Не поток, а океан ядовитых, отчаянных, бешеных слов полился из его рта, окруженного давно уже не бритым пространством. Пусть посочувствует ему хоть кассир! Девчонка, сентиментальная кислятина, не уважила просьбы того, без которого рухнул бы этот дрянный сарай! Не сделать одолжения (не говорю уж, оказать услугу) первому комику, которого десять лет тому назад приглашали в столичный театр! Возмутительно!

Но, однако, в этом бедняжке-театре более чем холодно. В собачьей конуре не холодней. Старый кассир умно делает, что сидит в шубе и валяных калошах. На окне — лед, а по полу гуляет ветер, которому позавидовал бы даже Северный полюс. Дверь плохо притворяется, и края ее белы от инея. Черт знает что! И сердиться даже холодно.

— Она будет меня помнить! — закончил свою филиппику комик.

Он положил свои ноги на скамью и прикрыл их полой своей шубы, оставшейся ему в наследство двенадцать лет тому назад от одного приятеля-актера, умершего от чахотки. Он плотнее завернулся в шубу, умолк и начал дышать в шубу себе на грудь.

Язык молчал, но зато действовали мозги. Эти мозги искали способа. Нужно же отмстить этой дерзкой, неуважительной девчонке!

Комик не завернул глаз в шубу, а пустил их на волю: гляди, коли хочешь… Они же, кстати, и не мерзнут.

В кассе нет ничего интересного для глаз. У деревянной перегородки стол, перед столом скамья, на скамье — старый кассир в собачьей шубе и валенках. Все серо, обыденно, старо. И грязь даже старая. На столе лежит еще не початая книга билетов. Покупатели не идут. Они начнут ходить во время обеда. Кроме стола, скамьи, билетов и кучи бумаг в углу — больше ничего нет. Ужасная бедность и ужасная скука!

Впрочем, виноват: в кассе есть один предмет роскоши. Этот предмет валяется под столом вместе с ненужной бумагой, которую не выметают вон только потому, что холодно. Да и веник куда-то запропал.

Под столом валяется большой картонный лист, запыленный и оборванный. Кассир топчет его своими валенками и плюет на него без всякой церемонии. Этот-то лист и есть предмет роскоши. На нем крупными буквами написано: «На сегодняшний спектакль все билеты распроданы».

Ему за все время своего существования ни разу еще не приходилось висеть над окошком кассы, и никто из публики не может похвастать тем, что видел его. Хороший, но ехидный лист! Жаль, что он не находит себе употребления. Публика не любит его, но зато в него влюблены все артисты!

Глаза комика, гулявшие по стенам и по полу, не могли не натолкнуться на эту драгоценность. Комик не мастер соображать, но на этот раз он сообразил. Увидев картонный лист, он ударил себя по лбу и воскликнул:

— Идея! Прелестно!

Он нагнулся и потянул к себе повесть о распроданных билетах.

— Прекрасно! Бесподобно! Это обойдется ей дороже голубого халата с красными кистями!

Через десять минут картонный лист первый и последний раз за все время своего существования висел над окошечком и… лгал.

Он лгал, но ему поверили. Вечером наша ingénue лежала у себя в номере и рыдала на всю гостиницу.

— Меня не любит публика! — говорила она.

Один только ветер взял на себя труд посочувствовать ей. Он, этот добрый ветер, плакал в трубе и в вентиляциях, плакал на разные голоса и, ве-

роятно, искренно. Вечером же в портерной сидел комик и пил пиво. Пил пиво и — больше ничего.

Философские определения жизни



Жизнь нашу можно уподобить лежанию в бане на верхней полочке. Жарко, душно и туманно. Веник делает свое дело, банный лист липнет, и глазам больно от мыла. Отовсюду слышны возгласы: поддай пару! Тебе мылят голову и перебирают все твои косточки. Хорошо! (Сара Бернар).

* * *

Жизнь нашу можно уподобить сапогу порванному: вечно каши просит, но никто ему оной не дает. (Ж. Занд).

* * *

Жизнь нашу можно уподобить князю Мещер-

скому, который вечно толчется, вечно снует, восклицает, стонет и машет руками, вечно рождается и умирает, но никогда не видит плодов от дел своих. Вечно родит, но все рождаемое — мертворожденно. (Бокль).



* * *

Жизнь нашу можно уподобить безумцу, ведущему самого себя в квартал и пишущему на себя кляузу. (Коклен).

* * *

Жизнь наша подобна газете, которой уже объявлено второе предостережение. (Кант).

* * *

Жизнь нашу нельзя уподобить письму, которое не опасно читать вслух, но можно уподобить письму, боящемуся не дойти по адресу. (Дрэпер).

* * *

Жизнь наша подобна ящику в наборной, наполненному знаками препинания. (Конфуций).

* * *

Жизнь наша подобна старой деве, не теряющей надежды выйти замуж, и морде, покрытой прыщами и морщинами: некрасивая морда, но обижается, когда бьют ее. (Араби-паша).



* * *

Жизнь нашу, наконец, можно уподобить уху отмороженному, которое не отрезывают только потому, что надеются на его, уха, выздоровление. (Шарко).

Из разных философских сочинений повычерпнул *Антоша Чехонте*.

Мошенники поневоле
(Новогодняя побрехушка)

У Захара Кузьмича Дядечкина вечер. Встречают Новый год и поздравляют с днем ангела хозяйку Меланью Тихоновну.

Гостей много. Народ все почтенный, солидный, трезвый и положительный. Прохвоста ни одного. На лицах умиление, приятность и чувство собственного достоинства. В зале на большом клеенчатом диване сидят квартирный хозяин Гусев и лавочник Размахалов, у которого Дядечкины забирают по книжке. Толкуют они о женихах и дочерях.

— Нонче трудно найти человека, — говорит Гусев. — Который непьющий и обстоятельный… человек, который работающий… Трудно!

— Главное в доме — порядок, Алексей Василич! Этого не будет, когда в доме не будет того… который… в доме порядок…

— Порядка коли нет в доме, тогда… все этак… Глупостев много развелось на этом свете… Где быть тут порядку? Гм…

Около них на стульях сидят три старушки и

с умилением глядят на их рты. В глазах у них написано удивление «уму-разуму». В углу стоит кум Гурий Маркович и рассматривает образа. В хозяйской спальной шум. Там барышни и кавалеры играют в лото. Ставка — копейка. Около стола стоит гимназист первого класса Коля и плачет. Ему хочется поиграть в лото, а его не пускают за стол. Разве он виноват, что он маленький и что у него нет копейки?

— Не реви, дурак! — увещевают его. — Ну, чего ревешь? Хочешь, чтоб мамаша высекла?

— Это кто ревет? Колька? — слышится из кухни голос маменьки. — Мало я его порола, пострела… Варвара Гурьевна, дерните его за ухо!

На хозяйской постели, покрытой полинялым ситцевым одеялом, сидят две барышни в розовых платьях. Перед ними стоит малый лет двадцати трех, служащий в страховом обществе, Копайский, en face очень похожий на кота. Он ухаживает.

— Я не намерен жениться, — говорит он, рисуясь и оттягивая пальцами от шеи высокие, режущие воротнички. — Женщина есть лучезарная точка в уме человеческом, но она может погубить человека. Злостное существо!

— А мужчины? Мужчина не может любить.

Грубости всякие делает.

— Как вы наивны! Я не циник и не скептик, а все-таки понимаю, что мужчина завсегда будет стоять на высшей точке относительно чувств.

Из угла в угол, как волки в клетке, снуют сам Дядечкин и его первенец Гриша. У них души горят. За обедом они сильно выпили и теперь страстно желают опохмелиться… Дядечкин идет в кухню. Там хозяйка посыпает пирог толченым сахаром.



— Малаша, — говорит Дядечкин. — Закуску бы подать. Гостям закусить бы…

— Подождут… Сейчас выпьете и съедите все, а что я подам в двенадцать часов? Не помрете. Уходи… Не вертись перед носом!

— По рюмочке бы только, Малаша… Никакого тебе от этого дефицита не будет… Можно?

— Наказание! Уйди, тебе говорят! Ступай с гостями посиди! Чего в кухне толчешься?

Дядечкин глубоко вздыхает и выходит из кухни. Он идет поглядеть на часы. Стрелки показывают восемь минут двенадцатого. До желанного мига остается еще пятьдесят две минуты. Это ужасно! Ожидание выпивки самое тяжелое из ожиданий. Лучше пять часов прождать на морозе поезд, чем пять минут ожидать выпивки… Дядечкин с ненавистью глядит на часы и, походив немного, подвигает большую стрелку дальше на пять минут… А Гриша? Если Грише не дадут сейчас выпить, то он уйдет в трактир и там выпьет. Умирать от тоски он не согласен…

— Маменька, — говорит он, — гости сердятся, что вы закуски не подаете! Свинство одно только… Голодом морить!.. Дали бы по рюмке!

— Подождите… Мало осталось… Скоро уж… Не толчись в кухне.

Гриша хлопает дверью и идет в сотый раз поглядеть на часы. Большая стрелка безжалостна! Она почти на прежнем месте.

— Отстают! — утешает себя Гриша и указательным пальцем подвигает стрелку вперед на семь минут.

Мимо часов бежит Коля. Он останавливается перед ними и начинает считать время… Ему ужасно хочется поскорей дожить до того момента, когда крикнут «ура!». Стрелка своею неподвижностью колет его в самое сердце. Он взбирается на стул, робко оглядывается и похищает у вечности пять минут.

— Подите, поглядите, келер этиль[63]? — посылает одна из барышень Копайского. — Я умираю от нетерпения. Новый год ведь! Новое счастье!

Копайский шаркает обеими ногами и мчится к часам.

— Черт подери, — бормочет он, глядя на стрелки. — Как еще долго! А жрать страсть как хочется… Катьку беспременно поцелую, когда ура крикнут.

Копайский отходит от часов, останавливается. Подумав немного, он ворочается и укорачивает

---

[63] Примечания: 63
Который час? (фр. quelle heure est-il).

старый год на шесть минут. Дядечкин выпивает два стакана воды, но… горит душа! Он ходит, ходит, ходит… Жена то и дело гонит его из кухни. Бутылки, стоящие на окне, рвут его за душу. Что делать! Нет сил терпеть! Он опять хватается за последнее средство. Часы к его услугам. Он идет в детскую, где висят часы, и наталкивается на картину, неприятную его родительскому сердцу: перед часами стоит Гриша и двигает стрелку.

— Ты… ты… ты что это делаешь? А? Зачем ты стрелку подвинул? Дурак ты этакий! А? Зачем это? А?

Дядечкин кашляет, мнется, страшно морщится и машет рукой.

— Зачем? А-а-а… Да двигай же ее, штоб она сдохла, подлая! — говорит он и, оттолкнув сына от часов, подвигает стрелку.

До Нового года остается одиннадцать минут. Папаша и Гриша идут в зал и начинают приготовлять стол.

— Малаша! — кричит Дядечкин. — Сичас Новый год!

Меланья Тихоновна выбегает из кухни и идет проверить супруга… Она долго глядит на часы: муж не врет.

— Ну как тут быть? — шепчет она. — А ведь у

меня еще горошек для ветчины не сварился! Гм… Наказание. Как я им подам?

И, подумав немного, Меланья Тихоновна дрожащей рукой двигает большую стрелку назад. Старый год обратно получает двадцать минут.

— Подождут! — говорит хозяйка и бежит в кухню.

Гадальщики и гадальщицы

Старуха-нянюшка гадает папаше-интенданту.

— Дорога, — говорит она.

— Куда?

Нянюшка машет рукой на север. Лицо папаши бледнеет.

— Вы едете, — добавляет старуха, — а у вас на коленях мешок с деньгами. По лицу папаши пробегает сияние.

* * *

Чиноша сидит за столом и при свете двух свеч глядит в зеркало. Он гадает: какого роста, цвета и темперамента будет его новый, еще пока не назначенный начальник. Он глядит в зеркало час, другой, третий. В глазах его бегают мурашки, прыгают палочки, летают перья, а начальника нет как нет! Ничего не видно, ни начальников, ни подчиненных. Проходит четвертый час, пятый… Наконец ему надоедает ожидать нового начальника. Он встает, машет рукой и вздыхает.

— Место остается вакантным, значит, — говорит он. — А это нехорошо. Нет больше зла, чем

безначалие!

* * *

Барышня стоит на дворе за воротами и ждет прохожего. Ей нужно узнать, как будут звать ее суженого. Идет кто-то. Она быстро отворяет калитку и спрашивает:

— Как вас звать?

В ответ на свой вопрос она слышит мычанье и сквозь полуотворенную калитку видит большую темную голову… На голове рога.

«Пожалуй, верно, — думает барышня. — Разница только в морде».



* * *

Редактор ежедневной газеты садится погадать о судьбах своего детища.

— Оставьте! — говорят ему. — Охота вам себя расстраивать! Бросьте!

Редактор не слушает и глядит в кофейную гущу.

— Рисунков много, — говорит он. — Да черт их разберет… Это рукавицы… Это на ежа похоже… А вот нос… Точно у моего Макара… Теленок вот… Ничего не разберу!

* * *

Докторша гадает перед зеркалом и видит… гробы.

«Что-нибудь из двух, — думает она. — Или кто-нибудь умрет, или у моего мужа в этом году будет большая практика…»

Кривое зеркало
(Святочный рассказ)

Я и жена вошли в гостиную. Там пахло мохом и сыростью. Миллионы крыс и мышей бросились в стороны, когда мы осветили стены, не видавшие света в продолжение целого столетия. Когда мы затворили за собой дверь, пахнул ветер и зашевелил бумагу, стопами лежавшую в углах. Свет упал на эту бумагу, и мы увидели старинные письмена и средневековые изображения. На позеленевших от времени стенах висели портреты предков. Предки глядели надменно, сурово, как будто хотели сказать:

— Выпороть бы тебя, братец!

Шаги наши раздавались по всему дому. Моему кашлю отвечало эхо, то самое эхо, которое когда-то отвечало моим предкам…

А ветер выл и стонал. В каминной трубе кто-то плакал, и в этом плаче слышалось отчаяние. Крупные капли дождя стучали в темные, тусклые окна, и их стук наводил тоску.

— О, предки, предки! — сказал я, вздыхая значительно. — Если бы я был писателем, то, глядя

на портреты, написал бы длинный роман. Ведь каждый из этих старцев был когда-то молод и у каждого, или у каждой, был роман… и какой роман! Взгляни, например, на эту старушку, мою прабабушку. Эта некрасивая, уродливая женщина имеет свою в высшей степени интересную повесть. Видишь ли ты, — спросил я у жены, — видишь ли зеркало, которое висит там в углу?

И я указал жене на большое зеркало в черной бронзовой оправе, висевшее в углу около портрета моей прабабушки.

— Это зеркало обладает волшебными свойствами: оно погубило мою прабабушку. Она заплатила за него громадные деньги и не расставалась с ним до самой смерти. Она смотрелась в него дни и ночи, не переставая, смотрелась, даже когда пила и ела. Ложась спать, она всякий раз клала его с собой в постель и, умирая, просила положить его с ней вместе в гроб. Не исполнили ее желания только потому, что зеркало не влезло в гроб.

— Она была кокетка? — спросила жена.

— Положим. Но разве у нее не было других зеркал? Почему она так полюбила именно это зеркало, а не другое какое-нибудь? И разве у нее не было зеркал получше? Нет, тут, милая, кроется

какая-то ужасная тайна. Не иначе. Предание говорит, что в зеркале сидит черт и что у прабабушки-де была слабость к чертям. Конечно, это вздор, но несомненно, что зеркало в бронзовой оправе обладает таинственной силой.

Я смахнул с зеркала пыль, поглядел в него и захохотал. Хохоту моему глухо ответило эхо. Зеркало было криво и физиономию мою скривило во все стороны: нос очутился на левой щеке, а подбородок раздвоился и полез в сторону.

— Странный вкус у моей прабабушки! — сказал я.

Жена нерешительно подошла к зеркалу, тоже взглянула в него — и тотчас же произошло нечто ужасное. Она побледнела, затряслась всеми членами и вскрикнула. Подсвечник выпал у нее из рук, покатился по полу, и свеча потухла. Нас окутал мрак. Тотчас же я услышал падение на пол чего-то тяжелого: то упала без чувств моя жена.

Ветер застонал еще жалобней, забегали крысы, в бумагах зашуршали мыши. Волосы мои стали дыбом и зашевелились, когда с окна сорвалась ставня и полетела вниз. В окне показалась луна…

Я схватил жену, обнял и вынес ее из жилища предков. Очнулась она только на другой день

вечером.

— Зеркало! Дайте мне зеркало! — сказала она, приходя в себя. — Где зеркало?

Целую неделю потом она не пила, не ела, не спала, а все просила, чтобы ей принесли зеркало. Она рыдала, рвала волосы на голове, металась, и наконец, когда доктор объявил, что она может умереть от истощения и что положение ее в высшей степени опасно, я, пересиливая свой страх, опять спустился вниз и принес ей оттуда прабабушкино зеркало. Увидев его, она захохотала от счастья, потом схватила его, поцеловала и впилась в него глазами.

И вот прошло уже более десяти лет, а она все еще глядится в зеркало и не отрывается ни на одно мгновение.

— Неужели это я? — шепчет она, и на лице ее вместе с румянцем вспыхивает выражение блаженства и восторга. — Да, это я! Все лжет, кроме этого зеркала! Лгут люди, лжет муж! О, если бы я раньше увидела себя, если бы я знала, какая я на самом деле, то не вышла бы за этого человека! Он не достоин меня! У ног моих должны лежать самые прекрасные, самые благородные рыцари!..

Однажды, стоя позади жены, я нечаянно поглядел в зеркало и — открыл страшную тайну. В

зеркале я увидел женщину ослепительной красоты, какой я не встречал никогда в жизни. Это было чудо природы, гармония красоты, изящества и любви. Но в чем же дело? Что случилось? Отчего моя некрасивая, неуклюжая жена в зеркале казалась такою прекрасной? Отчего?

А оттого, что кривое зеркало покривило некрасивое лицо моей жены во все стороны, и от такого перемещения его черт оно стало случайно прекрасным. Минус на минус дало плюс.

И теперь мы оба, я и жена, сидим перед зеркалом и, не отрываясь ни на одну минуту, смотрим в него: нос мой лезет на левую щеку, подбородок раздвоился и сдвинулся в сторону, но лицо жены очаровательно — и бешеная, безумная страсть овладевает мною.

— Ха-ха-ха! — дико хохочу я.

А жена шепчет едва слышно:

— Как я прекрасна!

Два романа

I

РОМАН ДОКТОРА



Если ты достиг возмужалости и кончил науки, то recipe: feminam unam[64] и приданого quantum

---

[64] Примечания: 64
Бери: одну жену (лат.).

satis[65].

Я так и сделал: взял feminam unam (двух брать не дозволяется) и приданого. Еще древние порицали тех, которые, женясь, не берут приданого (Ихтиозавр, XII, 3).

Я прописал себе лошадей, бельэтаж, стал пить vinum gallicum rubrum[66] и купил себе шубу за 700 рублей. Одним словом, зажил lege artis[67].

Ее habitus[68] не плох. Рост средний. Окраска накожных покровов и слизистых оболочек нормальна, подкожноклетчатый слой развит удовлетворительно. Грудь правильная, хрипов нет, дыхание везикулярное. Тоны сердца чисты.

В сфере психических явлений заметно только одно уклонение: она болтлива и криклива. Благодаря ее болтливости я страдаю гиперестезией правого слухового нерва. Когда я смотрю на язык больного, я вспоминаю жену, и это воспоминание производит во мне сердцебиение. Прав был

---

[65] Примечания: 65
Сколько хочешь (лат.).

[66] Примечания: 66
Красное французское вино (лат.).

[67] Примечания: 67
По правилам искусства (лат.).

[68] Примечания: 68
Стан, осанка (лат.).

тот философ, который сказал: «Lingua est hostis hominum amicusque diaboli et feminarum»[69]. Тем же недостатком страдает и mater feminae — теща (из разряда mammalia[70]).

И когда они обе кричат 23 часа в сутки, я страдаю наклонностью к умопомешательству и самоубийству.

По свидетельству моих уважаемых товарищей, девять десятых женщин страдают болезнью, которую Шарко назвал гиперестезией центра, заведующего речью. Шарко предлагает ампутацию языка.

Этой операцией он обещает избавить человечество от одной из страшных болезней, но, увы! Бильрот, неоднократно делавший эту операцию, говорит в своих классических мемуарах, что женщины научались после операции говорить пальцами и этим образом речи действовали на мужей еще хуже: они гипнотизировали мужей (Memor. Acad., 1878). Я предлагаю другое лечение (смотри мою диссертацию). Не отвергая ампутации языка, предложенной Шарко, и давая полную веру словам такого авторитета, как Биль-

---

[69] Примечания: 69
«Язык — враг людей и друг дьявола и женщин» (лат.).

[70] Примечания: 70
Млекопитающих (лат.).

рот, я предлагаю ампутацию языка соединить с ношением рукавиц. Мои наблюдения показали, что глухонемые, носящие рукавицы только с одним пальцем, бессловесны даже и тогда, когда бывают голодны.

II

РОМАН РЕПОРТЕРА

Прямой носик, дивный бюстик, чудные волосы, прелестные глазки — ни одной опечатки! Прокорректировал и женился.

— Ты должна будешь принадлежать только одному мне! — сказал я ей, женясь. — Розничную продажу безусловно запрещаю! Помни!

На другой день после свадьбы я уже заметил в своей жене некоторую перемену. Волосы были жиже, щеки не так интересно-бледны, ресницы не адски черны, а рыжи. Движения уже были не так мягки, слова не так нежны. Увы! Жена есть невеста, наполовину зачеркнутая цензурой!

В первом полугодии я застал у нее фендрика, который лобызал ее (фендрики любят gratis'ные[71] удовольствия). Я объявил ей первое предостере-

[71] Примечания: 71
Даровые (лат.).

жение и во второй раз, строго-настрого, воспретил розничную продажу.

Во втором полугодии она подарила меня премией: у меня родился сынишка. Я поглядел на него, поглядел на себя в зеркало, опять поглядел на него и сказал жене:

— Сюжет заимствован, матушка! По роже вижу! Не обманешь!

Сказал и объявил ей второе предостережение с воспрещением попадаться мне на глаза в продолжение трех месяцев.

Но эти меры не подействовали. На втором году у моей жены был уже не один фендрик, а несколько. Видя ее нераскаяние и не желая делиться со своими сотрудниками, я объявил ей третье предостережение и выслал ее вместе с премией на родину под надзор родителей, где она находится доселе.

Гонорар родителям за кормление жены высылается ежемесячно.



Тайны ста сорока четырех катастроф, или Русский рокамболь

(Огромнейший роман в сжатом виде. Перевод с французского)

Глава I

Была полночь. Природа капризничала, как старая дева. Месяц зарылся в черные тучи и не глядел на землю. Осенний дождь с остервенением стучал в окна… Гнулись дубы и ломались сосны. Ветер стонал, как озлобленный, и рвал все и вся…

Стонущие и воющие от ветра телеграфные проволоки несли из Таганрога в Скопин следующую телеграмму: «Скопин. Кавалеру ордена Льва и Солнца Рыкову. Все погибло. Он донес. Я заключен в темницу. В таможне аресты. Ужасно! Напрасно Узембло не уступил ему этой женщины. Ответ не уплочен. М. Вальяно».

Прочитав эту телеграмму, Рыков побледнел, но пошагав немного, он улыбнулся. Лицо его прояснилось. Он позвонил…

Вошел слуга.

— Свентицкий еще не уехал? — спросил Ры-

ков.

— Никак нет-с!

— Позвать его!

Минут через десять в кабинет Рыкова вошел высокий статный мужчина лет сорока. На его лице рядом со следами когда-то бывшей красоты светились мужество, страдания и нежелание покориться судьбе. Вошедши в кабинет, он почтительно поклонился. Рыков подал ему телеграмму.

— Ну, что вы скажете? — сказал он, когда тот прочитал телеграмму. — По-видимому, дела наши очень плохи. По-видимому, и меня ожидает участь Вальяно. Он может донести и на меня. Как вы думаете?

— Прррроклятие! — пробормотал сквозь зубы Свентицкий. — Этот человек любит женщину, которую я люблю. Я настаиваю на том же, на чем и настаивал: он должен умереть!!!

— Браво! Узнаю в вас моего храброго друга! Итак, действуйте. Его деньги в моем банке. Это заставляет его несколько бояться меня. Не так ли? Ха-ха! Его богатство в моих руках. Во-вторых, мы во всякое время можем донести на его дядю Свиридова, служащего в Киеве. Пригрозите ему этим доносом. У Свиридова на рыльце целая пу-

ховая перина. В-третьих, мы знаем, где хранятся те деньги, которые стащил для него его другой дядя, казначей Московского воспитательного дома, Мельницкий. Эти деньги, триста тысяч, хранятся у одной из его… женщин. Дайте ему понять, что нам все известно. Крутые меры приберегите к концу. Поняли?

— О, нет! — застонал инженер. — Он должен умереть! Недостоин он Маргариты, которая — увы! — любит его! Умереть!!! Крови!!!

— Родители насильно выдают ее за Уэмбло?

— Да. Но она не послушает родителей. Для меня не страшен Уэмбло.

— Вальяно погубила любовь. Он тоже домогался Маргариты и погиб, как видите. Но из принципа не нужно уступать нашему общему врагу, хотя бы всем нам грозила участь Вальяно. Итак, действуйте… Пошлите телеграмму Уэмбло и Казакову. Пусть будут готовы. Вот вам пятьсот тысяч на расходы. Денежки славные, монастырские. Хе-хе… Будьте храбры и не унывайте, мой друг! Маргарита будет ваша! Где теперь наш враг?

— Он едет из Таганрога в Петербург. На пути он заедет к ней. Но… мы не допустим!

— И отлично. Адью, мой друг! Кланяйтесь нашим друзьям!..

По уходе Свентицкого Рыков застонал и схватил себя за волосы. По бледному лицу потекли слезы, подогнулись колени…

— Боже мой! — простонал он. — Прости меня! Эти люди — орудие в моих руках. Их преступлениями я добуду себе Маргариту! Я люблю ее больше жизни!..

Через пять минут дом Рыкова огласился рыданиями хозяина… Через шесть минут инженер Свентицкий катил на экстренном поезде к станции «Аневризма», где должны были ждать его Уэмбло и другие сообщники.

Глава II

В четыре часа той же ночи я, сидя в купе второго класса, мчался от станции «Аневризма» к станции «И вы не погибли?!». Я ехал со свидания. Уверения в любви и клятвы Маргариты звучали еще в моих ушах… Сладкие думы и мечты навеяли на меня дремоту… Я задремал, но не успел уснуть. Когда я закрыл глаза, в мое купе вошли две темные фигуры… Они постояли около меня и сели… Одна возле меня, другая vis-à-vis. Я начал разглядывать их. То были двое мужчин с длинными черными бородами. Оба были вооружены

с головы до ног. Из их карманов выглядывали револьверы, ножи и банки с ядами. На спинах покоились прекрасные винтовки. Из-за фалд пальто выглядывали топоры, привешенные к поясам. В руках обоих было по длинной казацкой пике. Я задрожал. Кто они? Рассматривая их, я скоро заметил, что бороды их фальшивы, и в носе одного из них узнал нос Уземблo.

«Аааа… Вы убить меня пришли? — подумал я. — Постой же!»

— Пока суть да дело, — пробормотал Уземблo другому на ухо, — давайте развратим его нравы…

И подав мне номер «Гражданина», заложенный в номер «Шута», Уземблo проворчал:

— Не желаете ли? Прелестные есть штучки!!! Почитайте-ка!

В купе было не особенно светло, но я сумел вкусить предложенные продукты. Нравов себе я не развратил чтением и после него ничего не почувствовал, кроме изжоги.

— Прелестные журналы! — сказал я. — Люблю прессу! Ужасно! И нельзя не любить. Карает! Однако, черт возьми, ужасно разит моими духами!.. Зашел я недавно к Брокару, спрашиваю у него хороших духов, и он черт знает чего мне дал…

Понюхайте-ка — какая гадость!

И я поднес к носу Уэмбло и его спутника, в котором я скоро узнал Свентицкого, флакон. Оба понюхали. Во флаконе был хлороформ. Мои враги задремали. Я дал им еще раз понюхать, и они оба крепко уснули. Скоро мы прибыли на станцию. На станции стоял встречный поезд, шедший к «Аневризме». Я взял в охапку моих врагов и снес их, уснувших, в один из вагонов встречного поезда… Злая насмешка! Уэмбло и Свентицкий уехали обратно. Утром я уже был в Петербурге. Гуляя по Невскому со своим другом Немировичем-Данченко, я встретился с отставным гвардии поручиком Миллером и инженером Казаковым.



Увидев меня, Казаков захохотал от радости:

уведомленный Свентицким, он шлялся по Невскому и искал погубить меня. Он нашел меня и потирал руки. Шедший с ним под руку Миллер тоже обрадовался, увидев меня. Я связан с ним теснейшими узами дружбы. Десять раз я спасал ему жизнь, и он был предан мне всей душой.

— Вечером прошу ко мне, — пригласил меня Казаков.

— Вечером я в «Аркадии»…

— Гм… Ну, а если вы по какому-либо случаю не будете сегодня в «Аркадии», то обещаете быть у меня?

— Обещаю.

В глазах Казакова засветилась радость. Он быстро простился с нами. Через двадцать минут горела «Аркадия», подожженная Казаковым. Этому злодею страстно хотелось, чтобы я был вечером у него, и он не остановился перед преступлением! Проходя мимо горевшей «Аркадии», я вытащил из пламени Родона, который за спасение жизни заплатил мне дружбой.

— Берегитесь Казакова! — шепнул мне Немирович-Данченко. — Он замышляет что-то недоброе. Если не верите мне как другу, то поверьте как глубокому психологу и физиономисту… Однако будем говорить тише… Нас подслушивает Ба-

талин.

Я оглянулся… Сзади нас шел Баталин и пронизывал нас насквозь своими взглядами.

— Меня гнетет страшное предчувствие! — прошептал Миллер.

Я поверил моим друзьям и вечером не пошел к Казакову. Вечером я посетил в темнице моего друга и собутыльника, редактора Федорова. Я застал его молящимся… Этот человек нес кару за чужие преступления! Мы обнялись. От него я отправился с Миллером к князю Мещерскому. Почтенный князь за весьма умеренную плату отлично гадает на картах и кофейной гуще. Застали мы его за составлением мелочей для своего «Добряка». Взяв в руки карты, он предсказал нам победу. Казаков же в то время, когда мы гадали, метался у себя на кровати и голосил:

— Ну, постой же, Миллер! Я покажу тебе! Это ты подговорил мою жертву не приходить ко мне! Пропали деньги, которые заплатил я за синильную кислоту!

Глава III

«Москва, Страстной бульвар. Его полублагородию отставному портупей-юнкеру Эженю

Львову-Кочетову. Поспешите прибыть на совещание. Он цел и невредим. Ждем. Продолжайте макать в разум. Ваш слог прелестен. Благодарный Свентицкий и Ко».

Кочетов, прочтя эту телеграмму, сел на поезд и покатил к «Аневризме». Ехал он в первом классе (билет был даровой) и утопал в мечтах. Он тоже любил Маргариту… Эта любовь погубила его. Прежде он был на «ты» с Рошфором и Араби-пашой, теперь же… благодаря этой любви, стоит в рядах моих врагов… О женщины, женщины!

На станции «Аневризма» был бал. Этот бал давался начальником станции, отцом моей Маргариты, для избранных друзей. Станция, будки, диски и сад, окружающий станцию, были иллюминованы. В комнатах гремела музыка. Она, моя Маргарита, прекрасная, чудная, дивная, прелестнейшая, как тысяча испанок, была царицей этого бала. Она освещала в тот вечер всю вселенную своей красотой и бриллиантами, которые всплошную покрывали ее упруго-гибкое тело. Я стоял в углу и пожирал ее глазами. Около меня стояли мой будущий посаженый отец Н. П. Ланин и редактор «Русских ведомостей» Соболевский, которого я имел в виду пригласить в шафера.

— Хорошо вам, ей-богу! — говорил я Ланину. —

Газета своя, шампанское свое… Хочешь читать — читай хоть целый день, хочешь пить — пей сколько влезет… Хорошо!

— Мм-да… — говорил Ланин, самодовольно улыбаясь и любуясь моей Маргаритой.

Впереди нас Лентовский дергал за рукав Родона и говорил ему:

— Едемте! Вам нужно играть! Ведь это свинство!

— Не могу я ехать, — говорил Родон, вздыхая. — Я не могу оставить моего друга, который спас мне жизнь!

В другом углу Узембло, юноша с испанским лицом, с ужасно черными, густыми бровями, Свентицкий и Казаков шептались. Они пожирали ее глазами и держали совет. В третьем углу сидел Евгений Львов и, глядя на мое лицо, составлял в уме своем передовую статью. Депутаты от Вальяно и Рыкова стояли около него и шептали ему что-то на ухо.

Посреди залы стоял Лютостанский и показывал нам фокусы: он делал из хлеба и колбасы маленьких еврейчиков и глотал их. С ней ходил Миллер. В полночь Миллер подошел ко мне и сказал, что она хочет говорить со мной. Я взял ее под руку, и мы пошли в сад. Мои враги бросились за нами,

но друзья мои не дремали. Миллер, Ланин и Соболевский стали у дверей и не пустили моих врагов в сад. Они уперлись в дверь плечами, и никакая сила не была в состоянии сдвинуть их с места.

— Сделайте вы полшага, и вы погибли! — крикнул Родон моим врагам.

Узембло заскрежетал зубами. Казаков поклялся убить своего друга Миллера.

В саду было тихо… Пел соловей. Где-то вдали журчал ручей. В беседке Немирович-Данченко точил кинжал на врагов своих и моих. По аллеям, как тень, слонялся Баталин и подслушивал. Я взял ее за талию…

— Тебя Узембло хочет убить, — простонала она. — Беги! Все вина и закуски отравлены… Рыков прислал им миллион… Вальяно выпущен из тюрьмы и едет сюда… О, ужас! Мы погибли!

Я закутался в плащ, поцеловал ее и бежал.

Через три дня я ехал к дяде Свиридову — сказать ему, что на него доносят мои враги.

Была ночь. Наш поезд мчался к Курску. Я сидел в купе и глядел в темное окно.

Дождевые капли и ветер производили на моем окне музыку. Я глядел в окно и думал о ней… Сладкие мечты о счастье наполняли мою душу. О, я был счастлив! Я был любим, и я был побе-

дителем!

Но враги мои не дремали. Близ станции «Чернь» они вытащили из насыпи трубу. Дождь и болото размыли насыпь, и мой поезд полетел в бездну. Так мстили мне мои враги за то, что я был счастлив!

Ряженые [72]

Вечер. По улице идет пестрая толпа, состоящая из пьяных тулупов и кацавеек. Смех, говор и приплясыванье. Впереди толпы прыгает маленький солдатик в старой шинелишке и с шапкой набекрень.

Навстречу толпе идет «унтер».

— Ты отчего же мне чести не отдаешь? — набрасывается унтер на маленького солдатика. — А? Почему? Постой! Который ты это? Зачем?

— Миленький, да ведь мы ряженые! — говорит бабьим голосом солдатик, и толпа вместе с унтером закатывается громким смехом.

* * *

В ложе сидит красивая полная барыня; лета ее определить трудно, но она еще молода и долго еще будет молодой. Одета она роскошно. На белых руках ее по массивному браслету, на груди бриллиантовая брошь. Около нее лежит тысячная шубка. В коридоре ожидает ее лакей

---

[72] Примечания: 72

Ряженые — есть еще одна юмореска на ту же тему и с тем же названием (1885).

с галунами, а на улице пара вороных и сани с медвежьей полостью. Сытое красивое лицо и обстановка говорят: «Я счастлива и богата». Но не верьте, читатель!

«Я ряженая, — думает она. — Завтра или послезавтра барон сойдется с Nadine и снимет с меня все это...»

* * *

За карточным столом сидит толстяк во фраке, с трехэтажным подбородком и белыми руками. Около его рук куча денег. Он проигрывает, но не унывает. Напротив, он улыбается. Ему ведь ничего не стоит проиграть тысячу, другую. В столовой несколько слуг приготовляют для него устриц, шампанское и фазанов. Он любит хорошо поужинать. После ужина он поедет в карете к ней. Она ждет его. Не правда ли, ему хорошо живется?

Он счастлив! Но посмотрите, какая чепуха шевелится в его ожиревших мозгах!

«Я ряженый. Наедет ревизия, и все узнают, что я только ряженый!..»

* * *

На суде адвокат защищает подсудимую... Это

хорошенькая женщина с донельзя печальным лицом, невинная! Видит бог, что она невинна! Глаза адвоката горят, щеки его пылают, в голосе слышны слезы… Он страдает за подсудимую, и если ее обвинят, он умрет с горя!.. Публика слушает его, замирает от наслаждения и боится, чтоб он не кончил. «Он поэт», — шепчут слушатели. Но он только нарядился поэтом!

«Дай мне истец сотней больше, я упек бы ее! — думает он. — В роли обвинителя я был бы эффектней!»



* * *

По деревне идет пьяный мужичонка, поет и визжит на гармонике. На лице его пьяное умиление. Он хихикает и подплясывает. Ему весело живется, не правда ли? Нет, он ряженый.

«Жрать хочется», — думает он.

* * *

Молодой профессор-врач читает вступительную лекцию. Он уверяет, что нет больше счастия, как служить науке. «Наука все! — говорит он, — она жизнь!» И ему верят… Но его назвали бы ряженым, если бы слышали, что он сказал своей жене после лекции. Он сказал ей:

— Теперь я, матушка, профессор. У профессора практика вдесятеро больше, чем у обыкновенного врача. Теперь я рассчитываю на двадцать пять тысяч в год.

* * *

Шесть подъездов, тысяча огней, толпа, жандармы, барышники. Это театр. Над его дверями, как в Эрмитаже у Лентовского, написано: «Сатира и мораль». Здесь платят большие деньги, пишут длинные рецензии, много аплодируют и редко шикают… Храм!

Но этот храм ряженый. Если вы снимете «Сатиру и мораль», то вам нетрудно будет прочесть: «Канкан и зубоскальство».

Мысли читателя газет и журналов

Не читайте *Уфимских губернских ведомостей*[73]: из них вы не почерпнете никаких сведений об Уфимской губернии.

Русская печать имеет в своем распоряжении множество источников света. Она имеет: комаровский *Свет*[74], *Зарю*[75], *Радугу*[76], *Свет и тени*[77], *Луч*[78], *Огонек*[79], *Рассвет*[80] et caet. Но почему же ей так темно?

Она имеет *Наблюдателя*[81], *Инвалида*[82] и *Сибирь*[83].

Печать имеет *Развлечение*[84], *Игрушечку*[85], но из этого не следует, что ей слишком весело…

Она имеет *Голос*[86] и *Эхо*[87] свои собствен-

---

[73] Примечания: 73

Еженедельная газета; выходила в Уфе с 1864 г. Редакторы — В. Буткевич, И. Гуревич.

Перепечатывала в основном статьи и сообщения московских и петербургских газет.

[74] Примечания: 74

Ежедневная политическая, экономическая и литературная газета; издавалась в Петербурге В. В. Комаровым с 1882 г.

[75] Примечания: 75

Политическая и литературная ежедневная газета. Издавалась в Киеве с 1880 г. Издатель — редактор П. А. Андреевский

[76] Примечания: 76

Иллюстрированный еженедельный журнал. Начал выходить в Москве

с 1883 г. Издатель-редактор Н. П. Гиляров-Платонов.

[77] Примечания: 77

Еженедельный художественный и карикатурный журнал. Издавался в Москве в 1878–1884 годах Н. Л. Пушкаревым. Чехов сотрудничал в нем в 1882 г.

[78] Примечания: 78

Еженедельный журнал политики, литературы и общественной жизни. Издавался в Петербурге с 1880 г.; в 1881–1890 годах редактором был реакционный публицист и беллетрист С. С. Окрейц. Чехов в «Визитных карточках» (1886) назвал его «Юдофоб Юдофобович Окрейц».

[79] Примечания: 79

Еженедельный иллюстрированный журнал литературы, науки и искусств, выходивший в Петербурге в 1879–1883 годах. Издатель — Г. Д. Гоппе; редактор — Н. П. Аловерт.

[80] Примечания: 80

Еженедельный журнал, орган русских евреев; издавался в Петербурге в 1879–1884 годах

[81] Примечания: 81

Ежемесячный «литературный, политический и ученый» журнал; издавался в Петербурге с 1882 г. А. П. Пятковским.

[82] Примечания: 82

«Русский инвалид», военная газета, выходившая в Петербурге с 1813 г.; с 1869 г. — орган Генерального штаба.

[83] Примечания: 83

Еженедельная газета, издавалась в Иркутске в 1873–1887 годах.

[84] Примечания: 84

Еженедельный литературный и юмористический журнал; выходил в Москве с 1859 г. В начале 1880-х годов издатель-редактор — Ф. Б. Миллер.

[85] Примечания: 85

Иллюстрированный журнал для детей; издавался еженедельно в Петербурге с 1880 г. Т. П. Пассек.

[86] Примечания: 86

Политическая и литературная ежедневная газета, выходившая в Петербурге. Издатели-редакторы — А. А. Краевский и В. А. Бильбасов. В феврале 1883 г. за либеральное направление газета была приостановлена, а в 1884 г. издание прекратилось.

[87] Примечания: 87

Ежедневная общественно-политическая и литературная газета; издавалась в Петербурге в 1882–1885 годах. В отделе «Газета газет» постоянно публиковала обзор столичных и провинциальных изданий.

ные… Да?

Что не долговечно, то не может кичиться своим *Веком*[88]…

Русь[89] имеет мало общего с *Москвой*[90].

Русская мысль[91] высылается… в плотной обложке.

Имеются и *Здоровье*[92] и *Врач*[93], а между тем — сколько могил!

---

[88] Примечания: 88

Ежемесячный литературный, ученый и политический журнал славянофильского толка. Начал издаваться в Петербурге М. А. Филипповым в 1882 г., но успеха не имел и в начале 1884 г. прекратил существование из-за недостатка подписчиков.

[89] Примечания: 89

Славянофильская газета; издавалась в Москве в 1880–1886 годах И. С. Аксаковым.

[90] Примечания: 90

Еженедельный литературно-художественный журнал; издавался в Москве в 1882–1883 годах Е. С. Сталинским. Журнал был рассчитан на демократического читателя, помещал красочные литографии из народного быта. В 1882 г. в «Москве» сотрудничал Чехов.

[91] Примечания: 91

Ежемесячный научный, литературный и политический журнал либеральной ориентации; издавался с 1880 г. в Москве В. М. Лавровым, редактор — С. А. Юрьев.

[92] Примечания: 92

Научно-популярная гигиеническая газета, издавалась в Петербурге с 1883 г. Ранее (с 1874 г.) под этим же названием выпускался журнал.

[93] Примечания: 93

Еженедельная медицинская газета, издавалась в Петербурге с 1880 г. К. Л. Риккер под ред. проф. В. А. Манассеина.

Двое в одном

Не верьте этим иудам, хамелеонам! В наше время легче потерять веру, чем старую перчатку, — и я потерял!

Был вечер. Я ехал на конке. Мне, как лицу высокопоставленному, не подобает ездить на конке, но на этот раз я был в большой шубе и мог спрятаться в куний воротник. Да и дешевле, знаете… Несмотря на позднее и холодное время, вагон был битком набит. Меня никто не узнал. Куний воротник делал из меня incognito. Я ехал, дремал и рассматривал сих малых…

«Нет, это не он! — думал я, глядя на одного маленького человечка в заячьей шубенке. — Это не он! Нет, это он! Он!»

Думал я, верил и не верил своим глазам…

Человечек в заячьей шубенке ужасно походил на Ивана Капитоныча, одного из моих канцелярских. Иван Капитоныч — маленькое, пришибленное, приплюснутое создание, живущее для того только, чтобы поднимать уроненные платки и поздравлять с праздником. Он молод, но спина его согнута в дугу, колени вечно подогнуты, руки запачканы и по швам… Лицо его точно дверью

прищемлено или мокрой тряпкой побито. Оно кисло и жалко; глядя на него, хочется петь «Лучинушку» и ныть. При виде меня он дрожит, бледнеет и краснеет, точно я съесть его хочу или зарезать, а когда я его распекаю, он зябнет и трясется всеми членами.

Приниженнее, молчаливее и ничтожнее его я не знаю никого другого. Даже и животных таких не знаю, которые были бы тише его…

Человечек в заячьей шубенке сильно напоминал мне этого Ивана Капитоныча: совсем он! Только человечек не был так согнут, как тот, не казался пришибленным, держал себя развязно и, что возмутительнее всего, говорил с соседом о политике. Его слушал весь вагон.

— Гамбетта помер! — говорил он, вертясь и махая руками. — Это Бисмарку на руку. Гамбетта ведь был себе на уме! Он воевал бы с немцем и взял бы контрибуцию, Иван Матвеич! Потому что это был гений. Он был француз, но у него была русская душа. Талант!

Ах ты, дрянь этакая!

Когда кондуктор подошел к нему с билетами, он оставил Бисмарка в покое.

— Отчего это у вас в вагоне так темно? — набросился он на кондуктора. — У вас свечей нет, что

ли? Что это за беспорядки? Проучить вас некому! За границей вам задали бы! Не публика для вас, а вы для публики! Черт возьми! Не понимаю, чего это начальство смотрит!

Через минуту он требовал от нас, чтобы мы все подвинулись.

— Подвиньтесь! Вам говорят! Дайте мадаме место! Будьте повежливей! Кондуктор! Подите сюда, кондуктор! Вы деньги берете, дайте же место! Это подло!

— Здесь курить не велено! — крикнул ему кондуктор.

— Кто это не велел? Кто имеет право? Это посягательство на свободу! Я никому не позволю посягать на свою свободу! Я свободный человек!

Ах ты, тварь этакая! Я глядел на его рожицу и глазам не верил. Нет, это не он! Не может быть! Тот не знает таких слов, как «свобода» и «Гамбетта».

— Нечего сказать, хороши порядки! — сказал он, бросая папиросу. — Живи вот с этакими господами! Они помешаны на форме, на букве! Формалисты, филистеры! Душат!

Я не выдержал и захохотал. Услышав мой смех, он мельком взглянул на меня, и голос его дрогнул. Он узнал мой смех и, должно быть, узнал

мою шубу. Спина его мгновенно согнулась, лицо моментально прокисло, голос замер, руки опустились по швам, ноги подогнулись. Моментально изменился! Я уже более не сомневался: это был Иван Капитоныч, мой канцелярский. Он сел и спрятал свой носик в заячьем меху.

Теперь я посмотрел на его лицо.

«Неужели, — подумал я, — эта пришибленная, приплюснутая фигурка умеет говорить такие слова, как „филистер“ и „свобода“? А? Неужели? Да, умеет. Это невероятно, но верно… Ах ты, дрянь этакая!»

Верь после этого жалким физиономиям этих хамелеонов!

Я уж больше не верю. Шабаш, не надуешь!

Радость

Было двенадцать часов ночи.

Митя Кулдаров, возбужденный, взъерошенный, влетел в квартиру своих родителей и быстро заходил по всем комнатам. Родители уже ложились спать. Сестра лежала в постели и дочитывала последнюю страничку романа. Братья-гимназисты спали.

— Откуда ты? — удивились родители. — Что с тобой?

— Ох, не спрашивайте! Я никак не ожидал! Нет, я никак не ожидал! Это… это даже невероятно!

Митя захохотал и сел в кресло, будучи не в силах держаться на ногах от счастья.

— Это невероятно! Вы не можете себе представить! Вы поглядите!

Сестра спрыгнула с постели и, накинув на себя одеяло, подошла к брату. Гимназисты проснулись.

— Что с тобой? На тебе лица нет!

— Это я от радости, мамаша! Ведь теперь меня знает вся Россия! Вся! Раньше только вы одни знали, что на этом свете существует коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров, а теперь вся

Россия знает об этом! Мамаша! О, господи!

Митя вскочил, побегал по всем комнатам и опять сел.

— Да что такое случилось? Говори толком!

— Вы живете, как дикие звери, газет не читаете, не обращаете никакого внимания на гласность, а в газетах так много замечательного! Ежели что случится, сейчас все известно, ничего не укроется! Как я счастлив! О, господи! Ведь только про знаменитых людей в газетах печатают, а тут взяли да про меня напечатали!

— Что ты? Где?

Папаша побледнел. Мамаша взглянула на образ и перекрестилась. Гимназисты вскочили и, как были, в одних коротких ночных сорочках, подошли к своему старшему брату.

— Да-с! Про меня напечатали! Теперь обо мне вся Россия знает! Вы, мамаша, спрячьте этот нумер на память! Будем читать иногда. Поглядите!

Митя вытащил из кармана нумер газеты, подал отцу и ткнул пальцем в место, обведенное синим карандашом.

— Читайте!

Отец надел очки.

— Читайте же!

Мамаша взглянула на образ и перекрестилась.

Папаша кашлянул и начал читать:

«29-го декабря, в одиннадцать часов вечера, коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров…»

— Видите, видите? Дальше!

«…коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров, выходя из портерной, что на Малой Бронной, в доме Козихина, и находясь в нетрезвом состоянии…»

— Это я с Семеном Петровичем… Все до тонкостей описано! Продолжайте! Дальше! Слушайте!

«…и находясь в нетрезвом состоянии, поскользнулся и упал под лошадь стоявшего здесь извозчика, крестьянина дер. Дурыкиной, Юхновского уезда, Ивана Дротова. Испуганная лошадь, перешагнув через Кулдарова и протащив через него сани с находившимся в них второй гильдии московским купцом Степаном Луковым, помчалась по улице и была задержана дворниками. Кулдаров, вначале находясь в бесчувственном состоянии, был отведен в полицейский участок и освидетельствован врачом. Удар, который он получил по затылку…»

— Это я об оглоблю, папаша. Дальше! Вы дальше читайте!

«…который он получил по затылку, отнесен к легким. О случившемся составлен протокол.

Потерпевшему подана медицинская помощь»...

— Велели затылок холодной водой примачивать. Читали теперь? А? То-то вот! Теперь по всей России пошло! Дайте сюда!

Митя схватил газету, сложил ее и сунул в карман.

— Побегу к Макаровым, им покажу... Надо еще Иваницким показать, Наталии Ивановне, Анисиму Васильичу... Побегу! Прощайте!

Митя надел фуражку с кокардой и, торжествующий, радостный, выбежал на улицу.

Библиография

Вышли из печати и продаются новые книги:

Об отмене пошлины на бамбуковые палки, вывозимые из Китая. Брошюра. Ц. 40 к.

Искусственное разведение ежей. Для фабрикующих рукавицы. Соч. отставного прапорщика Раздавилова. Ц. 15 коп. Издание общедоступное.

Путеводитель по Сибири и ее окраинам. С картой и портретом г. Юханцева. Сод. I. Лучшие рестораны. II. Портные, каретники, куаферы. III. Адресы «этих дам». IV. Указатель богатых невест. V. Из записной книжки Юханцева (анекдоты, сценки, посвящения).

Настольная книга для гг. интендантов и кассиров. Издание Буша и Макшеева. Ц. 3 р. 50 к.

Есть ли в России деньги и где они? Соч. Рыкова. Ц. 1 р.

Засаленный патриот. Ода. Посвящение самому себе. Соч. князя М. Е. Щерского. Благонамеренные же благоволят высылать по 1 р. за экземпляр.

Способ уловлять вселенную. Брошюра урядника Людоедова-Хватова. Ц. 60 к.

Единственное средство

(A propos процесса Петерб. общества взаимного кредита)

Было время, когда кассиры грабили и наше Общество. Страшно вспомнить! Они не обкрадывали, а буквально вылизывали нашу бедную кассу. Нутро нашей кассы было обито зеленым бархатом — и бархат украли. А один так увлекся, что вместе с деньгами утащил замок и крышку. За последние пять лет у нас перебывало девять кассиров, и все девять шлют нам теперь в большие праздники из Красноярска свои визитные карточки. Все девять!

— Это ужасно! Что делать? — вздыхали мы, когда отдавали под суд девятого. — Стыд, срам! Все девять подлецы!

И стали мы судить и рядить: кого взять в кассиры? Кто не мерзавец? Кто не вор? Выбор наш пал на Ивана Петровича, помощника бухгалтера: тихоня, богомольный и живет по-свински, не комфортабельно. Мы его выбрали, благословили на борьбу с искушениями и успокоились, но… не надолго!

На другой же день Иван Петрович явился в новом галстухе. На третий он приехал в правление на извозчике, чего раньше с ним никогда не было.

— Вы заметили? — шептались мы через неделю. — Новый галстух… Пенсне… Вчера на именины приглашал. Что-то есть. Богу стал чаще молиться. Надо полагать, совесть нечиста.

Сообщили свои сомнения его превосходительству.

— Неужели и десятый окажется канальей? — вздохнул наш директор. — Нет, это невозможно… Человек такой нравственный, тихий… Впрочем… пойдемте к нему!

Подошли к Ивану Петровичу и окружили его кассу.

— Извините, Иван Петрович, — обратился к нему директор умоляющим голосом. — Мы доверяем вам… Верим! М-да… Но, знаете ли… Позвольте обревизовать кассу! Уж вы позвольте!

— Извольте-с! Очень хорошо-с! — бойко ответил кассир. — Сколько угодно-с!

Начали считать. Считали, считали и недосчитались четырехсот рублей… И этот?!

И десятый?! Ужасно! Это во-первых; а во-вторых, если он в неделю прожрал столько денег, то

сколько же украдет он в год, в два! Мы остолбенели от ужаса, изумления, отчаяния. Что делать? Ну, что? Под суд его? Нет, это старо и бесполезно. Одиннадцатый тоже украдет, двенадцатый тоже… Всех не отдашь под суд. Вздуть его? Нельзя, обидится. Изгнать и позвать вместо него другого? Но ведь одиннадцатый тоже украдет! Как быть? Красный директор и бледные мы глядели в упор на Ивана Петровича и, опершись о желтую решетку, думали… Мы думали, напрягали мозги и страдали… А он сидел и невозмутимо пощелкивал на счетах, точно не он украл… Мы долго молчали.

— Ты куда девал эти деньги? — обратился к нему наконец наш директор со слезами и дрожью в голосе.

— На нужды, ваше превосходительство!

— Гм… На нужды… Очень рад! Молчать! Я тт-тебе…

Директор прошелся по комнате и продолжал:

— Что же делать? Как уберечься от подобных… идолов? Господа, чего же вы молчите? Что делать? Не пороть же его, каналью! (Директор задумался.) Послушай, Иван Петрович… Мы взнесем эти деньги, не станем срамиться оглаской, черт с тобой, только ты откровенно, без экивок… Женский

пол любишь, что ли?

Иван Петрович улыбнулся и сконфузился.

— Ну, понятно, — сказал директор. — Кто их не любит? Это понятно… Все грешны… Все мы жаждем любви, сказал какой-то… философ… Мы тебя понимаем… Вот что… Ежели ты так уж любишь, то изволь: я дам тебе письмо к одной… Она хорошенькая. Езди к ней на мой счет. Хочешь? И к другой дам письмо… И к третьей дам письмо!.. Все три хорошенькие, говорят по-французски… пухленькие… Вино тоже любишь?



— Вина разные бывают, ваше превосходительство… Лиссабонского, например, я и в рот не возьму… Каждый напиток, ваше превосходитель-

ство, имеет, так сказать, свое значение…

— Не рассуждай… Каждую неделю буду присылать тебе дюжину шампанского. Жри, но не трать ты денег, не конфузь ты нас! Не приказываю, а умоляю! Театр тоже, небось, любишь?

И так далее… В конце концов мы порешили, помимо шампанского, абонировать для него кресло в театре, утроить жалованье, купить ему вороных, еженедельно отправлять его за город на тройке — все это в счет Общества. Портной, сигары, фотография, букеты бенефицианткам, меблировка — тоже общественные… Пусть наслаждается, только, пожалуйста, пусть не ворует! Пусть что хочет делает, только не ворует!

И что же? Прошел уже год, как Иван Петрович сидит за кассой, и мы не можем нахвалиться нашим кассиром. Все честно и благородно… Не ворует… Впрочем, во время каждой еженедельной ревизии недосчитываются 10–15 руб., но ведь это не деньги, а пустяки. Что-нибудь да надо же отдавать в жертву кассирскому инстинкту. Пусть лопает, лишь бы тысяч не трогал.

И мы теперь благоденствуем. Касса наша всегда полна. Правда, кассир обходится нам очень дорого, но зато он в десять раз дешевле каждого из девяти его предшественников. И могу вам

ручаться, что редкое общество и редкий банк имеют такого дешевого кассира! Мы в выигрыше, а посему странные чудаки будете вы, власть имущие, если не последуете нашему примеру!

Случаи Mania Grandiosa
(Вниманию газеты «Врач»)

Что цивилизация, помимо пользы, принесла человечеству и страшный вред, никто не станет сомневаться. Особенно настаивают на этом медики, не без основания видящие в прогрессе причину нервных расстройств, так часто наблюдаемых в последние десятки лет. В Америке и Европе на каждом шагу вы встретите все виды нервных страданий, начиная с простой невралгии и кончая тяжелым психозом. Мне самому приходилось наблюдать случаи тяжелого психоза, причины которого нужно искать только в цивилизации.

Я знаю одного отставного капитана, бывшего станового. Этот человек помешан на тему: «Сборища воспрещены». И только потому, что сборища воспрещены, он вырубил свой лес, не обедает с семьей, не пускает на свою землю крестьянское стадо и т. п. Когда его пригласили однажды на выборы, он воскликнул:

— А вы разве не знаете, что сборища воспрещены?

Один отставной урядник, изгнанный, кажется, за правду или за лихоимство (не помню, за что именно), помешан на тему: «А посиди-ка, братец!» Он сажает в сундук кошек, собак, кур и держит их взаперти определенные сроки. В бутылках сидят у него тараканы, клопы, пауки. А когда у него бывают деньги, он ходит по селу и нанимает желающих сесть под арест.

— Посиди, голубчик! — умоляет он. — Ну, что тобе стоит? Ведь выпущу! Уважь характеру!

Найдя охотника, он запирает его, сторожит день и ночь и выпускает на волю не ранее определенного срока.

Мой дядя, интендант, кушает гнилые сухари и носит бумажные подметки. Он щедро награждает тех из домашних, которые подражают ему.

Мой зять, акцизный, помешан на идее: «Гласность — фря!» Когда-то его отщелкали в газетах за вымогательство, и это послужило поводом к его умопомешательству. Он выписывает почти все столичные газеты, но не для того, чтобы читать их. В каждом полученном номере он ищет «предосудительное»; найдя таковое, он вооружается цветным карандашом и марает. Измарав весь номер, он отдает его кучерам на папиросы и чувствует себя здоровым впредь до получения

нового номера.

Исповедь

День был ясный, морозный… На душе было вольготно, хорошо, как у извозчика, которому по ошибке вместо двугривенного золотой дали. Хотелось и плакать, и смеяться, и молиться… Я чувствовал себя на шестнадцатом небе: меня, человека, переделали в кассира! Радовался я не потому, что хапать уже можно было. Я тогда еще не был вором и искрошил бы того, кто сказал бы мне, что я со временем цапну… Радовался я другому: повышению по службе и ничтожной прибавке жалованья — только всего.

Меня, впрочем, радовало и другое обстоятельство. Ставши кассиром, я тотчас же почувствовал на своем носу нечто вроде розовых очков. Мне вдруг стало казаться, что люди изменились. Честное слово! Все стали как будто бы лучше. Уроды стали красавцами, злые добрыми, гордые смиренными, мизантропы филантропами. Я как будто бы просветлел. Я увидел в человеке такие чудные качества, каких ранее и не подозревал. «Странно! — говорил я, глядя на людей и протирая глаза. — Или с ними что-нибудь поделалось, или же я ранее был глуп и не замечал всех этих

качеств. Прелесть что за люди!»

В день моего назначения изменился и З. Н. Казусов, один из членов нашего правления, человек гордый, надменный, игнорирующий мелкую рыбицу. Он подошел ко мне и — что с ним поделалось? — ласково улыбаясь, начал хлопать меня по плечу.

— Горды вы, батенька, не по летам, — сказал он мне. — Нехорошо! Отчего никогда не зайдете? Грешно, сударь! А у меня собирается молодежь, весело так бывает. Дочки все спрашивают: «Отчего это вы, папаша, не позовете Григория Кузьмича? Ведь он такой милый!» Да разве затащишь его? Впрочем, говорю, попробую, приглашу. Не ломайтесь же, батенька, приходите!

Удивительно! Что с ним? Не спятил ли он с ума? Был человек людоедом и вдруг… на тебе!

Придя в тот же день домой, я был поражен. Моя мамаша подала за обедом не два блюда, как всегда, а четыре. Вечером подала к чаю варенье и сдобный хлеб. На другой день опять четыре блюда, опять варенье. Гости были и шоколад пили. На третий день то же.

— Мамаша! — сказал я. — Что с вами? Чего ради вы так расщедрились, милая? Ведь жалованье мое не удвоили. Надбавка пустяшная.

Мамаша взглянула на меня с удивлением.

— Гм. Куда же тебе деньги девать? — спросила она. — Копить будешь, что ли?



Черт их разберет! Папаша заказал себе шубу, купил новую шапку, стал лечиться минеральными водами и виноградом (зимой?!). А дней через пять я получил письмо от брата. Этот брат терпеть не мог меня. Мы разошлись с ним из-за убеждений: ему казалось, что я эгоист, дармоед, не умею жертвовать собой, и он ненавидел меня за это. В письме я прочел следующее: «Милый брат! Я люблю тебя, и ты не можешь себе представить, какие адские муки доставляет мне наша

ссора. Давай помиримся! Протянем друг другу руки, и да восторжествует мир! Умоляю тебя! В ожидании ответа остаюсь любящий, целующий и обнимающий Евлампий». О, милый брат! Я ответил ему, что я лобызаю его и радуюсь. Через неделю я получил от него телеграмму: «Благодарю, счастлив. Вышли сто рублей. Весьма нужны. Обнимающий Е.» Выслал ему сто рублей…

Изменилась даже и она! Она не любила меня. Когда я однажды дерзнул намекнуть ей, что в моем сердце что-то неладно, она назвала меня нахалом и фыркнула мне в лицо. Встретив же меня через неделю после моего назначения, она улыбнулась, сделала на лице ямочки, сконфузилась…

— Что это с вами? — спросила она, глядя на меня. — Вы так похорошели. Когда это вы успели? Пойдемте плясать…

Душечка! Через месяц ее маменька была уж моей тещей: так я похорошел! К свадьбе нужны были деньги, и я взял из кассы триста рублей. Отчего не взять, если знаешь, что положишь обратно, когда получишь жалованье? Взял кстати и для Казусова сто рублей…

Просил взаймы… Ему нельзя не дать. Он у нас воротила и может каждую минуту спихнуть с места… (Редактор, найдя, что рассказ несколько

длинен, вычеркнул, в ущерб авторскому дивиденду, на этом самом месте восемьдесят три строки.)……..

За неделю до ареста по их просьбе я давал им вечер. Черт с ними, пусть полопают и пожрут, коли им этого так хочется! Я не считал, сколько человек было у меня на этом вечере, но помню, что все мои девять комнат были запружены народом. Были старшие и младшие… Были и такие, пред которыми гнулся в дугу даже сам Казусов. Дочери Казусова (старшая — моя обже[94]) ослепляли своими нарядами… Одни цветы, покрывавшие их, стоили мне более тысячи рублей! Было очень весело… Гремела музыка, сверкали люстры, лилось шампанское… Произносились длинные речи и короткие тосты… Один газетчик поднес мне оду, а другой балладу…

— У нас в России не умеют ценить таких людей, как Григорий Кузьмич! — прокричал за ужином Казусов. — Очень жаль! жаль Россию!

И все эти кричавшие, подносившие, лобызавшие шептались и показывали мне кукиш, когда я отворачивался… Я видел улыбки, кукиши, слышал вздохи…

---

[94] Примечания: 94
Она (фр. objet).

— Украл, подлец! — шептали они, злорадно ухмыляясь.

Ни кукиши, ни вздохи не помешали им, однако, есть, пить и наслаждаться…

Волки и страдающие диабетом не едят так, как они ели… Жена, сверкавшая бриллиантами и золотом, подошла ко мне и шепнула:

— Там говорят, что ты… украл. Если это правда, то… берегись! Я не могу жить с вором! Я уйду!

Говорила она это и поправляла свое пятитысячное платье… Черт их разберет! В этот же вечер Казусов взял с меня пять тысяч… Столько же взял взаймы и Евлампий…

— Если там шепчут правду, — сказал мне брат-принципист, кладя в карман деньги, — то… берегись! Я не могу быть братом вора!

После бала всех их я повез на тройках за город…

Был шестой час утра, когда мы кончили… Обессилев от вина и женщин, они легли в сани, чтобы ехать обратно… Когда сани тронулись, они крикнули мне на прощанье:

— Завтра ревизия!.. Merci!

Милостивые государи и милостивые государыни! Я попался… Попался, или, выражаясь

длиннее: вчера я был порядочен, честен, лобызаем во все части, сегодня же я жулик, мошенник, вор… Кричите же теперь, бранитесь, трезвоньте, изумляйтесь, судите, высылайте, строчите передовые, бросайте каменья, но только… пожалуйста, не все! Не все!

На магнетическом сеансе

Большая зала светилась огнями и кишела народом. В ней царил магнетизер. Он, несмотря на свою физическую мизерность и несолидность, сиял, блистал и сверкал. Ему улыбались, аплодировали, повиновались… Перед ним бледнели.

Делал он буквально чудеса. Одного усыпил, другого окоченил, третьего положил затылком на один стул, а пятками на другой… Одного тонкого и высокого журналиста согнул в спираль. Делал, одним словом, черт знает что. Особенно сильное влияние имел он на дам.

Они падали от его взгляда, как мухи. О, женские нервы! Не будь их, скучно жилось бы на этом свете!

Испытав свое чертовское искусство на всех, магнетизер подошел и ко мне.

— Мне кажется, что у вас очень податливая натура, — сказал он мне. — Вы так нервны, экспрессивны… Не угодно ли вам уснуть?

Отчего не уснуть? Изволь, любезный, пробуй. Я сел на стул среди залы. Магнетизер сел на стул vis-a-vis, взял меня за руки и своими страшными змеиными глазами впился в мои бедные глаза.

Нас окружила публика.

— Тссс… Господа! Тссс… Тише!

Утихомирились… Сидим, смотрим в зрачки друг друга… Проходит минута, две… Мурашки забегали по спине, сердце застучало, но спать не хотелось…

Сидим. Проходит пять минут, семь.

— Он не поддается! — сказал кто-то. — Браво! Молодец мужчина!

Сидим, смотрим. Спать не хочется и даже не дремлется… От думского или земского протокола я давно бы уже спал… Публика начинает шептаться, хихикать… Магнетизер конфузится и начинает мигать глазами…

Бедняжка! Кому приятно потерпеть фиаско? Спасите его, духи, пошлите на мои веки Морфея!

— Не поддается! — говорит тот же голос. — Довольно, бросьте! Говорил же я, что все это фокусы!

И вот, в то время, когда я, вняв голосу приятеля, сделал движение, чтобы подняться, моя рука нащупала на своей ладони посторонний предмет… Пустив в ход осязание, я узнал в этом предмете бумажку. Мой папаша был доктором, а доктора одним осязанием узнают качество бумажки. По теории Дарвина я со многими другими способ-

ностями унаследовал от папаши и эту милую способность. В бумажке узнал я пятирублевку. Узнав, я моментально уснул.

— Браво, магнетизер!

Доктора, бывшие в зале, подошли ко мне, повертелись, понюхали и сказали:

— Н-да… Усыплен…

Магнетизер, довольный успехом, помахал над моей головой руками, и я, спящий, зашагал по зале.

— Тетанируйте его руку! — предложил кто-то. — Можете? Пусть его рука окоченеет.

Магнетизер (не робкий человек!) вытянул мою правую руку и начал производить над ней свои манипуляции: потрет, подует, похлопает. Моя рука не повиновалась. Она болталась, как тряпка, и не думала коченеть.

— Нет тетануса! Разбудите его, а то ведь вредно… Он слабенький, нервный…

Тогда моя левая рука почувствовала на своей ладони пятирублевку… Раздражение путем рефлекса передалось с левой на правую, и моментально окоченела рука.

— Браво! Поглядите, какая твердая и холодная! Как у мертвеца!

— Полная анестезия, понижение температуры

и ослабление пульса, — доложил магнетизер.

Доктора начали щупать мою руку.

— Да, пульс слабее, — заметил один из них. — Полный тетанус. Температура много ниже…

— Чем же это объяснить? — спросила одна из дамочек.

Доктор значительно пожал плечами, вздохнул и сказал:

— Мы имеем только факты! Объяснений — увы! — нет…

Вы имеете факты, а я две пятирублевки. Мои дороже… Спасибо магнетизму и за это, а объяснений мне не нужно.

Бедный магнетизер! И зачем ты со мной, с аспидом, связался?

P. S. Ну, не проклятие ли? Не свинство ли?

Сейчас только узнал, что пятирублевки вкладывал в мой кулак не магнетизер, а Петр Федорыч, мой начальник…

— Это, — говорит, — я тебе для того сделал, чтобы узнать твою честность…

Ах, черт возьми!

— Стыдно, брат… Нехорошо… Не ожидал…

— Но ведь у меня дети, ваше превосходительство… Жена… Мать… При нонешней дороговизне…

— Нехорошо… А еще тоже газету свою издавать хочешь… Плачешь, когда на обедах речи читаешь… Стыдно… Думал, что ты честный человек, а выходит, что ты… хапен зи гевезен[95]…

Пришлось возвратить ему две пятирублевки. Что ж делать? Реноме дороже денег.

— На тебя я не сержусь! — говорит начальник. — Черт с тобой, натура уж у тебя такая… Но она! Она! У-ди-вительно! Она! кротость, невинность, бланманже и прочее! А? Ведь и она польстилась на деньги! Тоже уснула!

Под словом «она» мой начальник подразумевает свою супругу, Матрену Николаевну…

---

[95] Примечания: 95

Тургенев еще в 1853 г. в повести «Два приятеля» употребил в речи персонажа выражение «хабен зи гевезен» (нем. haben Sie gewesen) — бессмысленное сочетание двух немецких глаголов, бытовавшее в чиновничьей среде как обозначение взятки (по ассоциации с русским «хапать»). «Одно только, чай, досадно: теперь уж нельзя хабен зи гевезен, — и Михей Михеич представил рукой, как будто поймал что-то в воздухе и сунул себе в боковой карман» (Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем. В 28 т. Т. 6. Сочинения. М.—Л.: АН СССР, 1963. С. 51, 510). У Чехова то же иносказание сделано более прозрачным.

Ушла

Пообедали. В стороне желудков чувствовалось маленькое блаженство, рты позевывали, глаза начали суживаться от сладкой дремоты. Муж закурил сигару, потянулся и развалился на кушетке. Жена села у изголовья и замурлыкала… Оба были счастливы.

— Расскажи что-нибудь… — зевнул муж.

— Что же тебе рассказать? Мм… Ах, да! Ты слышал? Софи Окуркова вышла замуж за этого… как его… за фон Трамба! Вот скандал!

— В чем же тут скандал?

— Да ведь Трамб подлец! Это такой негодяй… такой бессовестный человек! Без всяких принципов! Урод нравственный! Был у графа управляющим — нажился, теперь служит на железной дороге и ворует… Сестру ограбил… Негодяй и вор, одним словом. И за этакого человека выходить замуж?! Жить с ним?! Удивляюсь! Такая нравственная девушка и… на́ тебе! Ни за что бы не вышла за такого субъекта! Будь он хоть миллионер! Будь красив, как не знаю что, я плюнула бы на него! И представить себе не могу мужа-подлеца!

Жена вскочила и, раскрасневшаяся, негодующая, прошлась по комнате. Глазки загорелись гневом. Искренность ее была очевидна…

— Этот Трамб такая тварь! И тысячу раз глупы и пошлы те женщины, которые выходят за таких господ!

— Тэк-с… Ты, разумеется, не вышла бы… Н-да… Ну, а если бы ты сейчас узнала, что я тоже… негодяй? Что бы ты сделала?

— Я? Бросила бы тебя! Не осталась бы с тобой ни на одну секунду! Я могу любить только честного человека! Узнай я, что ты натворил хоть сотую долю того, что сделал Трамб, я… мигом! Adieu тогда!

— Тэк… Гм… Какая ты у меня… А я и не знал… Хе-хе-хе… Врет бабенка и не краснеет!

— Я никогда не лгу! Попробуй-ка сделать подлость, тогда и увидишь!

— К чему мне пробовать? Сама знаешь… Я еще почище твоего фон Трамба буду… Трамб — комашка сравнительно. Ты делаешь большие глаза? Это странно… (Пауза.) Сколько я получаю жалованья?

— Три тысячи в год.

— А сколько стоит колье, которое я купил тебе неделю тому назад? Две тысячи… Не так ли? Да

вчерашнее платье пятьсот… Дача две тысячи… Хе-хе-хе. Вчера твой рара́ выклянчил у меня тысячу…

— Но, Пьер, побочные доходы ведь…

— Лошади… Домашний доктор… Счеты от модисток. Третьего дня ты проиграла в стуколку сто рублей…

Муж приподнялся, подпер голову кулаками и прочел целый обвинительный акт. Подойдя к письменному столу, он показал жене несколько вещественных доказательств…

— Теперь ты видишь, матушка, что твой фон Трамб — ерунда, карманный воришка сравнительно со мной… Adieu! Иди и впредь не осуждай!

Я кончил. Быть может, читатель еще спросит:

— И она ушла от мужа?

Да, ушла… в другую комнату.

В цирульне

Утро. Еще нет и семи часов, а цирульня Макара Кузьмича Блесткина уже отперта. Хозяин, малый лет двадцати трех, неумытый, засаленный, но франтовато одетый, занят уборкой. Убирать, в сущности, нечего, но он вспотел, работая. Там тряпочкой вытрет, там пальцем сколупнет, там клопа найдет и смахнет его со стены.

Цирульня маленькая, узенькая, поганенькая. Бревенчатые стены оклеены обоями, напоминающими полинялую ямщицкую рубаху. Между двумя тусклыми, слезоточивыми окнами — тонкая, скрипучая, тщедушная дверца, над нею позеленевший от сырости колокольчик, который вздрагивает и болезненно звенит сам, без всякой причины. А поглядите вы в зеркало, которое висит на одной из стен, и вашу физиономию перекосит во все стороны самым безжалостным образом! Перед этим зеркалом стригут и бреют. На столике, таком же неумытом и засаленном, как сам Макар Кузьмич, все есть: гребенки, ножницы, бритвы, фиксатуара на копейку, пудры на копейку, сильно разведенного одеколону на копейку. Да и вся цирульня не стоит больше

пятиалтынного.

Над дверью раздается взвизгиванье больного колокольчика, и в цирульню входит пожилой мужчина в дубленом полушубке и валенках. Его голова и шея окутаны женской шалью.

Это Эраст Иваныч Ягодов, крестный отец Макара Кузьмича. Когда-то он служил в консистории в сторожах, теперь же живет около Красного пруда и занимается слесарством.



— Макарушка, здравствуй, свет! — говорит он Макару Кузьмичу, увлекшемуся уборкой.

Целуются. Ягодов стаскивает с головы шаль, крестится и садится.

— Даль-то какая! — говорит он, кряхтя. — Шутка ли? От Красного пруда до Калужских ворот.

— Как поживаете-с?

— Плохо, брат. Горячка была.

— Что вы? Горячка!

— Горячка. Месяц лежал, думал, что помру. Соборовался. Теперь волос лезет. Доктор постричься приказал. Волос, говорит, новый пойдет, крепкий. Вот я и думаю в уме: пойду-ка к Макару. Чем к кому другому, так лучше уж к родному. И сделает лучше, и денег не возьмет. Далеконько немножко, оно правда, да ведь это что ж? Та же прогулка.

— Я с удовольствием. Пожалуйте-с!

Макар Кузьмич, шаркнув ногой, указывает на стул. Ягодов садится и глядит на себя в зеркало, и видимо доволен зрелищем: в зеркале получается кривая рожа с калмыцкими губами, тупым, широким носом и с глазами на лбу. Макар Кузьмич покрывает плечи своего клиента белой простыней с желтыми пятнами и начинает визжать ножницами.

— Я вас начисто, догола! — говорит он.

— Натурально. На татарина чтоб похож был, на бомбу. Волос гуще пойдет.

— Тетенька как поживают-с?

— Ничего, живет себе. Намедни к майорше принимать ходила. Рубль дали.

— Так-с. Рубль. Придержите ухо-с!

— Держу… Не обрежь, смотри. Ой, больно! Ты меня за волосья дергаешь.

— Это ничего-с. Без этого в нашем деле невозможно. А как поживают Анна Эрастовна?

— Дочка? Ничего, прыгает. На прошлой неделе, в среду, за Шейкина просватали. Отчего не приходил?

Ножницы перестают визжать. Макар Кузьмич опускает руки и спрашивает испуганно:

— Кого просватали?

— Анну.

— Это как же-с? За кого?

— За Шейкина, Прокофия Петрова. В Златоустенском переулке его тетка в экономках. Хорошая женщина. Натурально, все мы рады, слава богу. Через неделю свадьба. Приходи, погуляем.

— Да как же это так, Эраст Иваныч? — говорит Макар Кузьмич, бледный, удивленный, и пожимает плечами. — Как же это возможно? Это… это

никак невозможно! Ведь Анна Эрастовна… ведь я… ведь я чувства к ней питал, я намерение имел. Как же так?

— Да так. Взяли и просватали. Человек хороший.

На лице у Макара Кузьмича выступает холодный пот. Он кладет на стол ножницы и начинает тереть себе кулаком нос.

— Я намерение имел… — говорит он. — Это невозможно, Эраст Иваныч! Я… я влюблен и предложение сердца делал… И тетенька обещали. Я всегда уважал вас, все равно как родителя… стригу вас всегда задаром… Всегда вы от меня одолжение имели и, когда мой папаша скончался, вы взяли диван и десять рублей денег и назад мне не вернули. Помните?

— Как не помнить! Помню. Только какой же ты жених, Макар? Нешто ты жених? Ни денег, ни звания, ремесло пустяшное…

— А Шейкин богатый?

— Шейкин в артельщиках. У него в залоге лежит полторы тысячи. Так-то, брат… Толкуй не толкуй, а дело уж сделано. Назад не воротишь, Макарушка. Другую себе ищи невесту… Свет не клином сошелся. Ну, стриги! Что же стоишь?

Макар Кузьмич молчит и стоит недвижим,

потом достает из кармана платочек и начинает плакать.

— Ну, чего! — утешает его Эраст Иваныч. — Брось! Эка, ревет, словно баба! Ты оканчивай мою голову, да тогда и плачь. Бери ножницы!

Макар Кузьмич берет ножницы, минуту глядит на них бессмысленно и роняет на стол. Руки у него трясутся.

— Не могу! — говорит он. — Не могу сейчас, силы моей нет! Несчастный я человек! И она несчастная! Любили мы друг друга, обещались, и разлучили нас люди недобрые без всякой жалости. Уходите, Эраст Иваныч! Не могу я вас видеть.

— Так я завтра приду, Макарушка. Завтра дострижешь.

— Ладно.

— Поуспокойся, а я к тебе завтра, пораньше утром.

У Эраста Иваныча половина головы выстрижена догола, и он похож на каторжника. Неловко оставаться с такой головой, но делать нечего. Он окутывает голову и шею шалью и выходит из цирульни. Оставшись один, Макар Кузьмич садится и продолжает плакать потихоньку.

На другой день рано утром опять приходит

Эраст Иваныч.

— Вам что угодно-с? — спрашивает его холодно Макар Кузьмич.

— Достриги, Макарушка. Полголовы еще осталось.

— Пожалуйте деньги вперед. Задаром не стригу-с.

Эраст Иваныч, не говоря ни слова, уходит, и до сих пор еще у него на одной половине головы волосы длинные, а на другой — короткие. Стрижку за деньги он считает роскошью и ждет, когда на остриженной половине волосы сами вырастут. Так и на свадьбе гулял.

Современные молитвы

Аполлону. — Проваливай!

Эвтерпе, музе музыки. — Молит тебя кончивший курс в консерватории и бравший уроки у Рубинштейна! Нет ли у тебя, матушка, где-нибудь на примете местечка тапера в богатом купеческом доме? Научи меня также сочинять тридцатикопеечные польки и кадрили! A propos: не можешь ли ты спихнуть с места нашу первую скрипку? Пора бы мне перестать быть второй… *Голос из публики:* Комаринска…ва!!! Наяривай!

Урании, музе астрономии (молящийся робко оглядывается, конфузится и тихо): — А все-таки она вертится! (Громко): Нельзя ли обложить сбором планеты и кометы? Разведай-ка и постарайся! Процент получишь. *Голос из публики:* А все-таки она не вертится!



Полигимнии, музе пения. — Хочется мне, муза, перебраться из оперы в буфф, да как-то, знаешь, неловко… А в буффе дороже платят и слава тамошняя ахтительней… Возьми от меня щепетильность! Испорти голоса моих товарищей, дабы я был лучше их, посели среди них интригу и сокруши рецензентов! *Голос из публики:* Спойте что-нибудь, молодой человек!

Каллиопе, музе эпической поэзии. — Убавь во мне поэтического жара, отними у меня темы, учетвери цензуру; отколоти меня, делай что хочешь со мной, но только прибавь мне по копейке

на строчку. Вразуми, о муза, платящих!

Мельпомене, музе театра. — Отдай нам наши бенефисы, бесстыдница! Купчих побольше! Антрепризу!

Эрате, музе эротической поэзии. — С тех пор, как я стал тебе молиться, Эраточка, ни одно мое стихотворение не было похерено. Все прошли! Тралала! Тралала! Нет поэта модней меня! Но… все-таки недоволен: поэзию-декольте не всюду пускают. Вразуми невежд! *Голос из публики:* Да здравствует Салон де варьете!

Терпсихоре, музе танцев. — Наполни первые ряды плешивыми, беззубыми старцами, разожги их холодную кровь! Упраздни драму, комедию и трагедию и реставрируй древнюю славу балета! *Голос из публики:* Канкан! Выходи на середину! Пст! Пст!

Талии, музе комедии. — Не нужно мне славы Островского… Нет! Не сошьешь сапог из бессмертия! Дай ты мне силу и мощь Виктора Александрова, пишущего по десяти комедий в вечер! Денег-то сколько, матушка!

Клио, музе истории. — *(Голос из публики)*: Мимо! Не замечай нас! Чего глазищи вытаращила? Не видала никогда безобразий, что ли?

Бахусу и Венере. — Вашшшу руку! Mercі-с! Честь

и место!

На гвозде

По Невскому плелась со службы компания коллежских регистраторов и губернских секретарей. Их вел к себе на именины именинник Стручков.

— Да и пожрем же мы сейчас, братцы! — мечтал вслух именинник. — Страсть как пожрем! Женка пирог приготовила. Сам вчера вечером за мукой бегал. Коньяк есть, воронцовская… Жена, небось, заждалась!

Стручков обитал у черта на куличках. Шли, шли к нему и наконец пришли. Вошли в переднюю. Носы почувствовали запах пирога и жареного гуся.

— Чувствуете? — спросил Стручков и захихикал от удовольствия. — Раздевайтесь, господа! Кладите шубы на сундук! А где Катя? Эй, Катя! Сбор всех частей прикатил! Акулина, поди помоги господам раздеться!

— А это что такое? — спросил один из компании, указывая на стену.

На стене торчал большой гвоздь, а на гвозде висела новая фуражка с сияющим козырьком и кокардой. Чиновники поглядели друг на друга и побледнели.

— Это его фуражка! — прошептали они. — Он… здесь?!

— Да, он здесь, — пробормотал Стручков. — У Кати… Выйдемте, господа! Посидим где-нибудь в трактире, подождем, пока он уйдет.

Компания застегнула шубы, вышла и лениво поплелась к трактиру.

— Гусем у тебя пахнет, потому что гусь у тебя сидит! — слиберальничал помощник архивариуса. — Черти его принесли! Он скоро уйдет?



— Скоро. Больше двух часов никогда не сидит. Есть хочется! Перво-наперво мы водки выпьем и килечкой закусим… Потом повторим, братцы… После второй сейчас же пирог. Иначе аппетит пропадет… Моя женка хорошо пироги делает. Щи будут…

— А сардин купил?

— Две коробки. Колбаса четырех сортов… Жене, должно быть, тоже есть хочется… Ввалился, черт!

Часа полтора посидели в трактире, выпили для блезиру по стакану чаю и опять пошли к Стручкову. Вошли в переднюю. Пахло сильней прежнего. Сквозь полуотворенную кухонную дверь чиновники увидели гуся и чашку с огурцами. Акулина что-то вынимала из печи.

— Опять неблагополучно, братцы!

— Что такое?

Чиновные желудки сжались от горя: голод не тетка, а на подлом гвозде висела кунья шапка.

— Это Прокатилова шапка, — сказал Стручков. — Выйдемте, господа! Переждем где-нибудь… Этот недолго сидит.

— И у этакого сквернавца такая хорошенькая жена! — послышался сиплый бас из гостиной.

— Дуракам счастье, ваше превосходительство! — аккомпанировал женский голос.

— Выйдемте! — простонал Стручков.

Пошли опять в трактир. Потребовали пива.

— Прокатилов — сила! — начала компания утешать Стручкова. — Час у твоей посидит, да зато тебе… десять лет блаженства. Фортуна, брат! Зачем огорчаться? Огорчаться не надо.

— Я и без вас знаю, что не надо. Не в том дело! Мне обидно, что есть хочется!

Через полтора часа опять пошли к Стручкову. Кунья шапка продолжала еще висеть на гвозде. Пришлось опять ретироваться.

Только в восьмом часу вечера гвоздь был свободен от постоя и можно было приняться за пирог! Пирог был сух, щи теплы, гусь пережарен — все перепортила карьера Стручкова! Ели, впрочем, с аппетитом.

Роман адвоката
(Протокол)

Тысяча восемьсот семьдесят седьмого года, февраля десятого дня, в городе С.-Петербурге, Московской части, 2 участка, в доме второй гильдии купца Животова, что на Лиговке, я, нижеподписавшийся, встретил дочь титулярного советника Марью Алексееву Барабанову, 18 лет, вероисповедания православного, грамотную. Встретив оную Барабанову, я почувствовал к ней влечение. Так как на основании 994 ст. Улож. о наказ. незаконное сожительство влечет за собой, помимо церковного покаяния, издержки, статьею оною предусмотренные (смотри: дело купца Солодовникова 1881 г. Сб. реш. Касс. де-парт.), то я и предложил ей руку и сердце. Я женился, но не долго жил с нею. Я разлюбил ее. Записав на свое имя все ее приданое, я начал шататься по трактирам, ливадиям, эльдорадам и шатался в продолжение пяти лет. А так как на основании 54 ст. X т. Гражданского Судопроизводства пятилетняя безвестная отлучка дает право на развод, то я и имею честь покорнейше просить, ваше п-во,

ходатайствовать о разведении меня с женою.

Что лучше?
(Праздные рассуждения штык-юнкера Крокодилова)

В кабак могут ходить взрослые и дети, а в школу только дети.

Алкоголь замедляет обмен веществ, способствует отложению жира, веселит сердце человека. На все сие школа не способна. Ломоносов сказал: «Науки юношей питают, отраду старцам подают»[96]. Князь же Владимир неоднократно повторял: «Веселие Руси питие есть». Кому же из них двоих верить? Очевидно — тому, кто старше.



[96] Примечания: 96

Неточная цитата из оды М. В. Ломоносова «На день восшествия на всероссийский престол ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны 1747 года».

Акцизные дивиденды дает отнюдь не школа.

Польза просвещения находится еще под сомнением, вред же, им приносимый, очевиден.

Для возбуждения аппетита употребляют отнюдь не грамоту, а рюмку водки.

Кабак везде есть, а школа далеко не везде.

Всего сего достаточно, чтобы сделать вывод: кабаков не упразднять, а относительно школ подумать.

Всей грамоты отрицать нельзя. Отрицание это было бы безумством. Ибо полезно, если человек умеет прочитать: «Питейный дом».

Благодарный
(Психологический этюд)

— Вот тебе триста рублей! — сказал Иван Петрович, подавая пачку кредиток своему секретарю и дальнему родственнику Мише Бобову. — Так и быть, возьми… Не хотел давать, но… что делать? Бери… В последний раз… Мою жену благодари. Если бы не она, я тебе не дал бы… Упросила.

Миша взял деньги и замигал глазками. Он не находил слов для благодарности. Глаза его покраснели и подернулись влагой. Он обнял бы Ивана Петровича, но… начальников обнимать так неловко!

— Жену благодари, — сказал еще раз Иван Петрович. — Она упросила. Ты ее так разжалобил своей слезливой рожицей… Ее и благодари.

Миша попятился назад и вышел из кабинета. Он пошел благодарить свою дальнюю родственницу, супругу Ивана Петровича. Она, маленькая, хорошенькая блондиночка, сидела у себя в кабинете на маленькой кушеточке и читала роман. Миша остановился перед ней и произнес:

— Не знаю, как и благодарить вас!

Она снисходительно улыбнулась, бросила книжку и милостиво указала ему на место около себя. Миша сел.

— Как мне благодарить вас? Как? Чем? Научите меня! Марья Семеновна! Вы мне сделали более чем благодеяние! Ведь на эти деньги я справлю свою свадьбу с моей милой, дорогой Катей!

По Мишиной щеке поползла слеза. Голос его дрожал.

— О, благодарю вас!

Он нагнулся и чмокнул в пухленькую ручку Марьи Семеновны.

— Вы так добры! А как добр ваш Иван Петрович! Как он добр, снисходителен! У него золотое сердце! Вы должны благодарить небо за то, что оно послало вам такого мужа! Моя дорогая, любите его! Умоляю вас, любите его!

Миша нагнулся и чмокнул в обе ручки разом. Слеза поползла и по другой щеке. Один глаз стал меньше.

— Он стар, некрасив, но зато какая у него душа! Найдите мне где-нибудь другую такую душу! Не найдете! Любите же его! Вы, молодые жены, так легкомысленны! Вы в мужчине ищете прежде всего внешности… эффекта… Умоляю вас!

Миша схватил ее локти и судорожно сжал их

между своими ладонями. В голосе его слышались рыдания.

— Не изменяйте ему! Изменить этому человеку значит изменить ангелу! Оцените его, полюбите! Любить такого чудного человека, принадлежать ему… да ведь это блаженство! Вы, женщины, не хотите понимать многое… многое… Я вас люблю страшно, бешено за то, что вы принадлежите ему! Целую святыню, принадлежащую ему… Это святой поцелуй… Не бойтесь, я жених… Ничего…

Миша, трепещущий, захлебывающийся, потянулся от ее уха к щечке и прикоснулся к ней своими усами.

— Не изменяйте ему, моя дорогая! Ведь вы его любите? Да? Любите?

— Да.

— О, чудная!

Минуту Миша восторженно и умиленно глядел в ее глаза. В них он прочел благородную душу…

— Чудная вы… — продолжал он, протянув руку к ее талии. — Вы его любите… Этого чудного… ангела… Это золотое сердце… сердце…

Она хотела освободить свою талию от его руки, завертелась, но еще более завязла… Головка ее — неудобно сидеть на этих кушетках! — нечаянно упала на Мишину грудь.

— Его душа… сердце… Где найти другого такого человека? Любить его… Слышать биения его сердца… Идти с ним рука об руку… Страдать… делить радости… Поймите меня! Поймите меня!..

Из Мишиных глаз брызнули слезы… Голова судорожно замоталась и склонилась к ее груди. Он зарыдал и сжал Марью Семеновну в своих объятиях…

Ужасно неудобно сидеть на этих кушетках! Она хотела освободиться из его объятий, утешить его, успокоить…

Он так нервен! Она поблагодарит его за то, что он так расположен к ее мужу… Но никак не встанешь!

— Любите его… Не изменяйте ему… Умоляю вас! Вы… женщины… так легкомысленны… не понимаете…

Миша не сказал более ни слова… Язык его заболтался и замер…

Через пять минут в ее кабинет зачем-то вошел Иван Петрович… Несчастный! Зачем он не пришел ранее? Когда они увидели багровое лицо начальника, его сжатые кулаки, когда услышали его глухой, задушенный голос, они вскочили…

— Что с тобой? — спросила бледная Марья Семеновна.

Спросила, потому что надо же было говорить!

— Но… но ведь я искренно, ваше превосходительство! — пробормотал Миша. — Честное слово, искренно!

Совет

Дверь самая обыкновенная, комнатная. Сделана она из дерева, выкрашена обыкновенной белой краской, висит на простых крючьях, но… отчего она так внушительна? Так и дышит олимпийством! По ту сторону двери сидит… впрочем, это не наше дело.

По сю сторону стоят два человека и рассуждают:

— Мерси-с!

— Это вам-с, детишкам на молочишко. За труды ваши, Максим Иваныч. Ведь дело три года тянется, не шутка… Извините, что мало… Старайтесь только, батюшка! (Пауза.) Хочется мне, благодетель, благодарить Порфирия Семеныча… Они мой главный благодетель и от них всего больше мое дело зависит… Поднести бы им в презент не мешало… сотенки две-три…

— Ему… сотенки?! Что вы? Да вы угорели, родной! Перекреститесь! Порфирий Семеныч не таковский, чтоб…

— Не берут? Жаль-с… Я ведь от души, Максим Иваныч… Это не какая-нибудь взятка… Это приношение от чистоты души… за труды непо-

сильные… Я ведь не бесчувственный, понимаю их труд… Кто нонче из-за одного жалованья такую тяготу на себя берет? Гм… Так-то-с… Это не взятка-с, а законное, так сказать, взятие…

— Нет, это невозможно! Он такой человек… такой человек!

— Знаю я их, Максим Иваныч! Прекрасный они человек! И сердце у них предоброе, душа филантропная… гуманическая… Ласковость такая… Глядит на тебя и всю твою психологию воротит… Молюсь за них денно и нощно… Только дело вот слишком долго тянется! Ну, да это ничего… И за все добродетели эти хочется мне благодарить их… Рубликов триста, примерно…

— Не возьмет… Натура у него другая! Строгость! И не суйтесь к нему… Трудится, беспокоится, ночей не спит, а касательно благодарности или чего прочего — ни-ни… Правила такие. И то сказать, на что ему ваши деньги? Сам миллионщик!

— Жалость какая… А мне так хотелось обнаружить им свои чувства! (Тихо.) Да и дело бы мое подвинулось… Ведь три года тянется, батюшка! Три года! (Громко.) Не знаю, как и поступить… В уныние впал я, благодетель мой… Выручьте, батюшка! (Пауза.) Сотни три я могу… Это точно. Хоть сию минуту…

— Гм… Да-с… Как же быть? (Пауза.) Я вам вот что посоветую. Коли уж желаете благодарить его за благодеяния и беспокойства, то… извольте, я ему скажу… Доложу… Я ему посоветовать могу…

— Пожалуйста, батюшка! (Продолжительная пауза.)

— Мерси-с… Он уважит… Только вы не триста рублей… С этими паршивыми деньгами и не суйтесь… Для него это нуль, ничтожество… газ… Вы ему тысячу…

— Две тысячи! — говорит кто-то по ту сторону двери.

Занавес падает. Да не подумает о сем кто-либо худо!

Вопросы и ответы



Вопросы
1) Как узнать ее мысли?
2) Где может читать неграмотный?
3) Любит ли меня жена?
4) Где можно стоя сидеть?

Ответы
1) Сделайте у нее обыск.
2) В сердцах.
3) Чья?
4) В участке.

Крест

В гостиную, наполненную народом, входит поэт.

— Ну что, как ваша миленькая поэма? — обращается к нему хозяйка. — Напечатали? Гонорар получили?

— И не спрашивайте… Крест получил.

— Вы получили крест? Вы, поэт?! Разве поэты получают кресты?

— От души поздравляю! — жмет ему руку хозяин. — Станислав или Анна? Очень рад… рад очень… Станислав?

— Нет, красный крест…

— Стало быть, вы гонорар пожертвовали в пользу Общества Красного креста?

— Ничего не пожертвовал.

— А вам к лицу будет орден… А ну-ка, покажите! Поэт лезет в боковой карман и достает оттуда рукопись…

— Вот он…

Публика глядит в рукопись и видит красный крест… но такой крест, который не прицепишь к сюртуку.

Женщина без предрассудков
(Роман)

Максим Кузьмич Салютов высок, широкоплеч, осанист. Телосложение его смело можно назвать атлетическим. Сила его чрезвычайна. Он гнет двугривенные, вырывает с корнем молодые деревца, поднимает зубами гири и клянется, что нет на земле человека, который осмелился бы побороться с ним. Он храбр и смел. Не видели, чтобы он когда-нибудь чего-нибудь боялся. Напротив, его самого боятся и бледнеют перед ним, когда он бывает сердит. Мужчины и женщины визжат и краснеют, когда он пожимает их руки: больно!!! Его прекрасный баритон невозможно слушать, потому что он заглушает… Сила-человек! Другого подобного я не знаю.

И эта чудовищная, нечеловеческая, воловья сила походила на ничто, на раздавленную крысу, когда Максим Кузьмич объяснялся в любви Елене Гавриловне! Максим Кузьмич бледнел, краснел, дрожал и не был в состоянии поднять стула, когда ему приходилось выжимать из своего большого рта: «Я вас люблю!» Сила стушевывалась, и боль-

шое тело обращалось в большой пустопорожний сосуд.

Он объяснялся в любви на катке. Она порхала по льду с легкостью перышка, а он, гоняясь за ней, дрожал, млел и шептал. На лице его были написаны страдания… Ловкие, поворотливые ноги подгибались и путались, когда приходилось вырезывать на льду какой-нибудь прихотливый вензель… Вы думаете, он боялся отказа? Нет, Елена Гавриловна любила его и жаждала предложения руки и сердца… Она, маленькая, хорошенькая брюнеточка, готова была каждую минуту сгореть от нетерпения. Ему уже тридцать, чин его невелик, денег у него не особенно много, но зато он так красив, остроумен, ловок! Он отлично пляшет, прекрасно стреляет… Лучше его никто не ездит верхом. Раз он, гуляя с нею, перепрыгнул через такую канаву, перепрыгнуть через которую затруднился бы любой английский скакун!..

Нельзя не любить такого человека!

И он сам знал, что его любят. Он был уверен в этом. Страдал же он от одной мысли… Эта мысль душила его мозг, заставляла его бесноваться, плакать, не давала ему пить, есть, спать… Она отравляла его жизнь. Он клялся в любви, а она

в это время копошилась в его мозгу и стучала в его виски.

— Будьте моей женой! — говорил он Елене Гавриловне. — Я вас люблю! бешено, страшно!!!

И сам в то же время думал:

«Имею ли я право быть ее мужем? Нет, не имею! Если бы она знала, какого я происхождения, если бы кто-нибудь рассказал ей мое прошлое, она дала бы мне пощечину! Позорное, несчастное прошлое! Она, знатная, богатая, образованная, плюнула бы на меня, если бы знала, что я за птица!»

Когда Елена Гавриловна бросилась ему на шею и поклялась ему в любви, он не чувствовал себя счастливым.

Мысль отравила все… Возвращаясь с катка домой, он кусал себе губы и думал:

«Подлец я! Если бы я был честным человеком, я рассказал бы ей все… все! Я должен был, прежде чем объясняться в любви, посвятить ее в свою тайну! Но я этого не сделал, и я, значит, негодяй, подлец!»

Родители Елены Гавриловны согласились на брак ее с Максимом Кузьмичом. Атлет нравился им: он был почтителен и как чиновник подавал большие надежды. Елена Гавриловна чувствова-

ла себя на эмпиреях. Она была счастлива. Зато бедный атлет был далеко не счастлив! До самой свадьбы его терзала та же мысль, что и во время объяснения…

Терзал его и один приятель, который, как свои пять пальцев, знал его прошлое… Приходилось отдавать приятелю почти все свое жалованье.

— Угости обедом в Эрмитаже! — говорил приятель. — А то всем расскажу. Да двадцать пять рублей дай взаймы!

Бедный Максим Кузьмич похудел, осунулся… Щеки его впали, кулаки стали жилистыми. Он заболел от мысли. Если бы не любимая женщина, он застрелился бы…

«Я подлец, негодяй! — думал он. — Я должен объясниться с ней до свадьбы! Пусть плюнет на меня!»

Но до свадьбы он не объяснился: не хватило храбрости.

Да и мысль, что после объяснения ему придется расстаться с любимой женщиной, была для него ужаснее всех мыслей!..

Наступил свадебный вечер. Молодых повенчали, поздравили, и все удивлялись их счастью. Бедный Максим Кузьмич принимал поздравления, пил, плясал, смеялся, но был страшно

несчастлив. «Я себя, скота, заставлю объясниться! Нас повенчали, но еще не поздно! Мы можем еще расстаться!»

И он объяснился…

Когда наступил вожделенный час и молодых проводили в спальню, совесть и честность взяли свое. Максим Кузьмич, бледный, дрожащий, не помнящий родства, еле дышащий, робко подошел к ней и, взяв ее за руку, сказал:

— Прежде чем мы будем принадлежать… друг другу, я должен… должен объясниться.

— Что с тобой, Макс?! Ты… бледен! Ты все эти дни бледен, молчалив… Ты болен?

— Я… должен тебе все рассказать, Леля… Сядем… Я должен тебя поразить, отравить твое счастье… но что ж делать? Долг прежде всего… Я расскажу тебе свое прошлое…

Леля сделала большие глаза и ухмыльнулась…

— Ну, рассказывай… Только скорей, пожалуйста. И не дрожи так.

— Ро… родился я в Там… там… бове… Родители мои были не знатны и страшно бедны… Я тебе расскажу, что я за птица. Ты ужаснешься. Постой… Увидишь… Я был нищим… Будучи мальчиком, я продавал яблоки… груши.

— Ты?!

— Ты ужасаешься? Но, милая, это еще не так ужасно. О, я несчастный! Вы проклянете меня, если узнаете!

— Но что же?

— Двадцати лет… я был… был… простите меня! Не гоните меня! Я был… клоуном в цирке!

— Ты?! Клоуном?

Салютов в ожидании пощечины закрыл руками свое бледное лицо… Он был близок к обмороку…

— Ты… клоуном?!

И Леля повалилась с кушетки… вскочила, забегала…

Что с ней? Ухватилась за живот. По спальной понесся и посыпался смех, похожий на истерический…

— Ха-ха-ха… Ты был клоуном? Ты? Максинька… Голубчик! Представь что-нибудь! Докажи, что ты был им! Ха-ха-ха! Голубчик!

Она подскочила к Салютову и обняла его…

— Представь что-нибудь! Милый! Голубчик!

— Ты смеешься, несчастная? Презираешь?

— Сделай что-нибудь! И на канате умеешь ходить? Да ну же!

Она осыпала лицо мужа поцелуями, прижалась к нему, залебезила… Не заметно было, чтобы она сердилась… Он, ничего не понимающий, счаст-

ливый, уступил просьбе жены.

Подойдя к кровати, он сосчитал три и стал вверх ногами, опираясь лбом о край кровати…



— Браво, Макс! Бис! Ха-ха! Голубчик! Еще!

Макс покачнулся, прыгнул, как был, на пол и заходил на руках…

Утром родители Лели были страшно удивлены.

— Кто это там стучит наверху? — спрашивали они друг друга. — Молодые еще спят… Должно быть, прислуга шалит… Возятся-то как! Экие мерзавцы!

Папаша пошел наверх, но прислуги не нашел там.

Шумели, к великому его удивлению, в комнате молодых… Он постоял около двери, пожал плечами и слегка приотворил ее… Заглянув в спальную, он съежился и чуть не умер от удивления: среди спальни стоял Максим Кузьмич и выделывал в воздухе отчаяннейшие salto mortale; возле него стояла Леля и аплодировала. Лица обоих светились счастьем.

Брак по расчету
(Роман в 2-х частях)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

В доме вдовы Мымриной, что в Пятисобачьем переулке, свадебный ужин. Ужинает 23 человека, из коих восемь ничего не едят, клюют носом и жалуются, что их «мутит». Свечи, лампы и хромая люстра, взятая напрокат из трактира, горят до того ярко, что один из гостей, сидящих за столом, телеграфист, кокетливо щурит глаза и то и дело заговаривает об электрическом освещении — ни к селу ни к городу. Этому освещению и вообще электричеству он пророчит блестящую будущность, но, тем не менее, ужинающие слушают его с некоторым пренебрежением.

— Электричество… — бормочет посаженый отец, тупо глядя в свою тарелку. — А по моему взгляду, электрическое освещение одно только жульничество. Всунут туда уголек и думают глаза отвести! Нет, брат, уж ежели ты даешь мне освещение, то ты давай не уголек, а что-нибудь существенное, этакое что-нибудь зажигательное, чтобы было за что взяться! Ты давай огня — по-

нимаешь? — огня, который натуральный, а не умственный.

— Ежели бы вы видели электрическую батарею, из чего она составлена, — говорит телеграфист, рисуясь, — то вы иначе бы рассуждали.

— И не желаю видеть. Жульничество… Народ простой надувают… Соки последние выжимают. Знаем мы их, этих самых… А вы, господин молодой человек, — не имею чести знать вашего имени-отчества, — чем за жульничество вступаться, лучше бы выпили и другим налили.

— Я с вами, папаша, вполне согласен, — говорит хриплым тенором жених Апломбов, молодой человек с длинной шеей и щетинистыми волосами. — К чему заводить ученые разговоры? Я не прочь и сам поговорить о всевозможных открытиях в научном смысле, но ведь на это есть другое время! Ты какого мнения, машер[97]? — обращается жених к сидящей рядом невесте.

Невеста Дашенька, у которой на лице написаны все добродетели, кроме одной — способности мыслить, вспыхивает и говорит:

— Они хочут свою образованность показать и всегда говорят о непонятном.

---

[97] Примечания: 97
Дорогая (фр. ma chère).

— Слава богу, прожили век без образования и вот уж, благодарить бога, третью дочку за хорошего человека выдаем, — говорит с другого конца стола мать Дашеньки, вздыхая и обращаясь к телеграфисту. — А ежели мы, по-вашему, выходим необразованные, то зачем вы к нам ходите? Шли бы к своим образованным!

Наступает молчание. Телеграфист сконфужен. Он никак не ожидал, что разговор об электричестве примет такой странный оборот. Наступившее молчание имеет характер враждебный, кажется ему симптомом всеобщего неудовольствия, и он находит нужным оправдаться.

— Я, Татьяна Петровна, всегда уважал ваше семейство, — говорит он, — а ежели я насчет электрического освещения, так это еще не значит, что я из гордости. Даже вот выпить могу… Я всегда от всех чувств желал Дарье Ивановне хорошего жениха. В наше время, Татьяна Петровна, трудно выйти за хорошего человека. Нынче каждый норовит вступить в брак из-за интереса, из-за денег…

— Это намек! — говорит жених, багровея и мигая глазами.

— И никакого тут нет намека, — говорит телеграфист, несколько струсив. — Я не говорю

о присутствующих. Это я так… вообще… Помилуйте!.. Все знают, что вы из любви… Приданое пустяшное…

— Нет, не пустяшное! — обижается Дашенькина мать. — Ты говори, сударь, да не заговаривайся! Кроме того, что мы тысячу рублей, мы три салопа даем, постелю и вот эту всю мебель! Поди-кась найди в другом месте такое приданое!

— Я ничего… Мебель, действительно, хорошая… но я в том смысле, что вот они обижаются, будто я намекнул…

— А вы не намекайте, — говорит невестина мать. — Мы вас по вашим родителям почитаем и на свадьбу пригласили, а вы разные слова… А ежели вы знали, что Егор Федорыч из интереса женится, то что же вы раньше молчали? Пришли бы да и сказали по-родственному: так и так, мол, на интерес польстился… А тебе, батюшка, грех! — обращается вдруг невестина мать к жениху, слезливо мигая глазами. — Я ее, может, вскормила, вспоила… берегла пуще алмаза изумрудного, деточку мою, а ты… ты из интереса…

— И вы поверили клевете? — говорит Апломбов, вставая из-за стола и нервно теребя свои щетинистые волосы. — Покорнейше вас благодарю! Мерси за такое мнение! А вы, господин

Блинчиков, — обращается он к телеграфисту, — вы хоть и знакомый мне, но я не позволю вам такие безобразия строить в чужом доме! Позвольте вам выйти вон!

— То есть как?

— Позвольте вам выйти вон! Желаю, чтобы и вы были таким честным человеком, как я! Одним словом, позвольте вам выйти вон!

— Да оставь! Будет тебе! — осаживают жениха его приятели. — Ну, стоит ли? Садись! Оставь!

— Нет, я желаю показать, что он не имеет никакой полной правы! Я по любви вступил в законный брак. Чего же вы сидите, не понимаю! Позвольте вам выйти вон!

— Я ничего… Я ведь… — говорит ошеломленный телеграфист, поднимаясь из-за стола. — Не понимаю даже… Извольте, я уйду… Только вы отдайте мне сначала три рубля, что вы у меня на пикейную жилетку заняли. Выпью вот еще и… уйду, только вы сначала долг отдайте.

Жених долго шепчется со своими приятелями. Те по мелочам дают ему три рубля, он с негодованием бросает их телеграфисту, и последний, после долгих поисков своей форменной фуражки, раскланивается и уходит.

Так иногда может кончиться невинный разго-

вор об электричестве! Но вот кончается ужин… Наступает ночь. Благовоспитанный автор надевает на свою фантазию крепкую узду и накидывает на текущие события темную вуаль таинственности.

Розоперстая Аврора застает еще Гименея в Пятисобачьем переулке, но вот настает серое утро и дает автору богатый материал для

ЧАСТИ ВТОРОЙ И ПОСЛЕДНЕЙ

Серое осеннее утро. Еще нет и восьми часов, а в Пятисобачьем переулке необычайное движение. По тротуарам бегают встревоженные городовые и дворники; у ворот толпятся озябшие кухарки с выражением крайнего недоумения на лицах… Во все окна глядят обыватели. Из открытого окна прачечной, нажимая друг друга висками и подбородками, глядят женские головы.

— Не то снег, не то… и не разберешь, что оно такое, — слышатся голоса.

В воздухе от земли до крыш кружится что-то белое, очень похожее на снег. Мостовая бела, уличные фонари, крыши, дворницкие скамьи у ворот, плечи и шапки прохожих — все бело.

— Что случилось? — спрашивают прачки у бегущих дворников.

Те в ответ машут руками и бегут дальше… Они и сами не знают, в чем дело. Но вот, наконец, медленно проходит один дворник и, беседуя сам с собой, жестикулирует руками. Очевидно, он побывал на месте происшествия и знает все.

— Что, родименький, случилось? — спрашивают у него прачки из окна.

— Неудовольствие, — отвечает он. — В доме Мымриной, что вчерась была свадьба, жениха обсчитали. Вместо тысячи — девятьсот дали.

— Ну, а он что?

— Осерчал. Я, говорит, того, говорит… Распорол в сердцах перину и выпустил пух в окно… Ишь, сколько пуху! Снег словно!

— Ведут! Ведут! — слышатся голоса. — Ведут!

От дома вдовы Мымриной движется процессия. Впереди идут два городовых с озабоченными лицами… Сзади них шагает Апломбов в триковом пальто и в цилиндре. На лице у него написано: «Я честный человек, но надувать себя не позволю!»

— Ужо правосудие покажет вам, что я за человек! — бормочет он, то и дело оборачиваясь.

За ним идут плачущие Татьяна Петровна и Дашенька. Шествие замыкается дворником с книгой и толпой мальчишек.

— О чем плачешь, молодуха? — обращаются

прачки к Дашеньке.

— Перины жалко! — отвечает за нее мать. — Три пуда, голубчики! И пух-то ведь какой! Пушинка к пушинке — ни одного перышка! Наказал бог на старости лет!

Процессия поворачивает за угол, и Пятисобачий переулок успокаивается. Пух летает до вечера.

Коллекция

Как-то на днях я зашел к своему приятелю, журналисту Мише Коврову. Он сидел у себя на диване, чистил ногти и пил чай. Предложил и мне стакан.

— Я без хлеба не пью, — сказал я. — Пошли за хлебом!

— Ни за что! Врага, изволь, угощу хлебом, а друга никогда.

— Странно… Почему же?

— А вот почему… Иди сюда!

Миша подвел меня к столу и выдвинул один ящик:

— Гляди!

Я поглядел в ящик и не увидел решительно ничего.

— Ничего не вижу… Сор какой-то… Гвозди, тряпочки, какие-то хвостики…

— Вот именно на это-то и погляди! Десять лет собирал эти тряпочки, веревочки и гвоздички! Знаменательная коллекция.

И Миша сгреб в руки весь сор и высыпал его на газетный лист.

— Видишь эту обгоревшую спичку? — сказал

он, показывая мне обыкновенную, слегка обуглившуюся спичку. — Это интересная спичка. В прошлом году я нашел ее в баранке, купленной в булочной Севастьянова. Чуть было не подавился. Жена, спасибо, была дома и постучала мне по спине, а то бы так и осталась в горле эта спичка. Видишь этот ноготь? Три года тому назад он был найден в бисквите, купленном в булочной Филиппова. Бисквит, как видишь, был без рук, без ног, но с ногтями. Игра природы! Эта зеленая тряпочка пять лет тому назад обитала в колбасе, купленной в одном из наилучших московских магазинов. Сей засушенный таракан купался когда-то в щах, которые я ел в буфете одной железнодорожной станции, а этот гвоздь — в котлете, на той же станции. Этот крысиный хвостик и кусочек сафьяна были оба найдены в одном и том же филипповском хлебе. Кильку, от которой остались теперь одни только косточки, жена нашла в торте, который был поднесен ей в день ангела. Этот зверь, именуемый клопом, был поднесен мне в кружке пива в одной немецкой биргалке… А вот этот кусочек гуано я чуть было не проглотил, уписывая в одном трактире расстегай. И так далее, любезный.

— Дивная коллекция!

— Да. Весит она полтора фунта, не считая всего того, что я по невниманию успел проглотить и переварить. А проглотил я, наверное, фунтов пять-шесть.

Миша взял осторожно газетный лист, минуту полюбовался коллекцией и высыпал ее обратно в ящик. Я взял в руки стакан, начал пить чай, но уж не просил послать за хлебом.

Репка
(Перевод с детского)

Жили-были себе дед да баба. Жили-были и породили Сержа. У Сержа уши длинные и вместо головы репка. Вырос Серж большой-пребольшой… Потянул дед за уши; тянет-потянет, вытянуть в люди не может. Кликнул дед бабку.

Бабка за дедку, дедка за репку, тянут-потянут и вытянуть не могут. Кликнула бабка тетку-княгиню.

Тетка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку, тянут-потянут, вытянуть в люди не могут. Кликнула княгиня кума-генерала.

Кум за тетку, тетка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку, тянут-потянут, вытянуть не могут. Не вытерпел дед. Выдал он дочку за богатого купца. Кликнул он купца с сторублевками.

Купец за кума, кум за тетку, тетка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку, тянут-потянут и вытянули голову-репку в люди.

И Серж стал статским советником.



Баран и барышня
(Эпизодик из жизни «милостивых государей»)

На сытой, лоснящейся физиономии милостивого государя была написана смертельнейшая скука. Он только что вышел из объятий послеобеденного Морфея и не знал, что ему делать. Не хотелось ни думать, ни зевать… Читать надоело еще в незапамятные времена, в театр еще рано, кататься лень ехать… Что делать? Чем бы развлечься?

— Барышня какая-то пришла! — доложил Егор. — Вас спрашивает!

— Барышня? Гм… Кто же это? Все одно, впрочем, — проси…

В кабинет тихо вошла хорошенькая брюнетка, одетая просто… даже очень просто. Она вошла и поклонилась.

— Извините, — начала она дрожащим дискантом. — Я, знаете ли… Мне сказали, что вас… вас можно застать только в шесть часов… Я… я… дочь надворного советника Пальцева.

— Очень приятно! Сссадитесь! Чем могу быть полезен? Садитесь, не стесняйтесь!

— Я пришла к вам с просьбой… — продолжала барышня, неловко садясь и теребя дрожащими руками свои пуговки. — Я пришла… попросить у вас билет для бесплатного проезда на родину. Вы, я слышала, даете… Я хочу ехать, а у меня… я небогата. Мне от Петербурга до Курска…

— Гм… Так-с… А для чего вам в Курск ехать? Здесь нешто не нравится?

— Нет, здесь нравится, но, знаете ли… родители. Я к родителям. Давно уж у них не была… Мама, пишут, больна…

— Гм. Вы здесь служите или учитесь?

Барышня рассказала, где и у кого она служила, сколько получала жалованья, много ли было работы.

— Тэк… Служили… Да-с, нельзя сказать, чтоб ваше жалованье было велико… Нельзя сказать… Негуманно было бы не давать вам бесплатного билета… Гм… К родителям едете, значит… Ну, а небось в Курске и амурчик есть, а? Амурашка? Хе, хе, хо… Женишок? Покраснели? Ну, что ж! Дело хорошее… Езжайте себе. Вам уж пора замуж… А кто он?

— В чиновниках…

— Дело хорошее… Езжайте в Курск… Говорят, что уже в ста верстах от Курска пахнет щами и

ползают тараканы… Хе, хе, хо… Небось, скука в этом Курске? Да вы скидайте шляпу! Вот так, не стесняйтесь! Егор, дай нам чаю! Небось, скучно в этом… ммм… как его. Курске?

Барышня, не ожидавшая такого ласкового приема, просияла и описала милостивому государю все курские развлечения… Она рассказала, что у нее есть брат-чиновник, дядя-учитель, кузены-гимназисты… Егор подал чай… Барышня робко потянулась за стаканом и, боясь чамкать, начала бесшумно глотать… Милостивый государь глядел на нее и ухмылялся. Он уж не чувствовал скуки…

— Ваш жених хорош собой? — спросил он. — А как вы с ним сошлись?

Барышня конфузливо ответила на оба вопроса. Она доверчиво подвинулась к милостивому государю и, улыбаясь, рассказала, как здесь, в Питере, сватались к ней женихи и как она им отказала… Говорила она долго. Кончила тем, что вынула из кармана письмо от родителей и прочла его милостивому государю. Пробило восемь часов.

— А у вашего отца неплохой почерк… С какими он закорючками пишет! Хе, хе… Но, однако, мне пора. В театре уж началось. Прощайте, Марья Ефимовна!

— Так я могу надеяться? — спросила барышня, поднимаясь.

— На что-с?

— На то, что вы мне дадите бесплатный билет…

— Билет? Гм… У меня нет билетов! Вы, должно быть, ошиблись, сударыня… Хе, хе, хе… Вы не туда попали, не на тот подъезд… Рядом со мной, подлинно, живет какой-то железнодорожник, а я в банке служу-с! Егор, вели заложить! Прощайте, ma chère[98] Марья Семеновна! Очень рад… рад очень…

Барышня оделась и вышла. У другого подъезда ей сказали, что он уехал в половине восьмого в Москву.

---

[98] Примечания: 98
Дорогая (фр.).

Патриот своего отечества

Маленький немецкий городок. Имя этого городка носит одна из известнейших целебных вод. В нем больше отелей, чем домов, и больше иностранцев, чем немцев.

Хорошее пиво, хорошеньких служанок и чудный вид вы можете найти в отеле, стоящем на краю (левом) города, на высокой горе, в тени прелестнейшего садика.

В один прекрасный вечер на террасе этого отеля, за белым мраморным столиком, сидело двое русских. Они пили пиво и играли в шашки. Оба старательно лезли «в дамки» и беседовали об успехах лечения. Оба приехали сюда лечиться от большого живота и ожирения печени.

Сквозь листву пахучих лип глядела на них немецкая луна… Маленький кокетливый ветерок нежно теребил российские усы и бороды и вдувал в уши русских толстячков чуднейшие звуки. У подножия горы играла музыка. Немцы праздновали годовщину какого-то немецкого события. Мотивы не доносились до вершины горы — далеко! Доносилась одна только мелодия. Мелодия меланхолическая, самая разнемецкая, плакучая,

тягучая. Слушаешь ее — и сладко ныть хочется…

Русские лезли «в дамки» и задумчиво внимали. Оба были в блаженнейшем настроении духа. Шепот лип, кокетливый ветерок, мелодия со своей меланхолией — все это, вместе взятое, развезло их русские души.

— При этакой обстановке, Тарас Иваныч, хорошо тово… любить, — сказал один из них. — Влюбиться в какую-нибудь да по темной аллейке пройтись…

— М-да…

И наши русские завели речь о любви, о дружбе… Сладкие мгновения! Кончилось тем, что оба незаметно, бессознательно оставили в покое шашки, подперли свои русские головы кулаками и задумались.

Мелодия становилась все слышнее и слышнее. Скоро она уступила свое место мотиву. Стали слышны не только трубы и контрабасы, но и скрипки.

Русские поглядели вниз и увидели факельную процессию. Процессия двигалась вверх. Скоро сквозь липы блеснули красные огни факелов, послышалось стройное пение, и музыка загремела над самыми ушами русских. Молодые девушки, женщины, солдаты, бурши, старцы в мгновение

наполнили длинную стройную аллею, осветили весь сад и страшно загалдели… Сзади несли бочонки с пивом и вином. Сыпали цветы и жгли разноцветные бенгальские огни.

Русские умилились духом. И им захотелось участвовать в процессии. Они взяли свои бутылки и смешались с толпой. Процессия остановилась на полянке за отелем. Вышел на средину какой-то старичок и сказал что-то. Ему аплодировали. Какой-то бурш взобрался на стол и произнес трескучую речь. За ним — другой, третий, четвертый. Говорили, взвизгивали, махали руками…

Петр Фомич умилился. В груди его стало светло, тепло, уютно. При виде говорящей толпы самому хочется говорить. Речь заразительна. Петр Фомич протискался сквозь толпу и остановился около стола. Помахав руками, он взобрался на стол. Еще раз помахал руками. Лицо его побагровело. Он покачнулся и закричал коснеющим, пьяным языком: «Ребята! Не… немцев бить!»

Счастье его, что немцы не понимают по-русски!

Умный дворник

Посреди кухни стоял дворник Филипп и читал наставление. Его слушали лакеи, кучер, две горничные, повар, кухарка и два мальчика-поваренка, его родные дети. Каждое утро он что-нибудь да проповедовал, в это же утро предметом речи его было просвещение.

— И живете вы все как какой-нибудь свинячий народ, — говорил он, держа в руках шапку с бляхой. — Сидите вы тут сиднем и кроме невежества не видать в вас никакой цивилизации. Мишка в шашки играет, Матрена орешки щелкает, Никифор зубы скалит. Нешто это ум? Это не от ума, а от глупости. Нисколько нет в вас умственных способностей! А почему?

— Оно действительно, Филипп Никандрыч, — заметил повар. — Известно, какой в нас ум? Мужицкий. Нешто мы понимаем?

— А почему в вас нет умственных способностей? — продолжал дворник. — Потому что нет у вашего брата настоящей точки. И книжек вы не читаете, и насчет писаний нет у вас никакого смысла. Взяли бы книжечку, сели бы себе да почитали. Грамотны небось, разбираете печатное.

Вот ты, Миша, взял бы книжечку да прочел бы тут. Тебе польза, да и другим приятность. А в книжках обо всех предметах распространение. Там и об естестве найдешь, и о божестве, о странах земных. Что из чего делается, как разный народ на всех языках. И идолопоклонство тоже. Обо всем в книжках найдешь, была бы охота. А то сидит себе около печи, жрет да пьет. Чисто как скоты неподобные! Тьфу!

— Вам, Никандрыч, на часы пора, — заметила кухарка.

— Знаю. Не твое дело мне указывать. Вот, к примеру скажем, хоть меня взять. Какое мое занятие при моем старческом возрасте? Чем душу свою удовлетворить?

Лучше нет, как книжка или ведомости. Сейчас вот пойду на часы. Просижу у ворот часа три. И вы думаете, зевать буду или пустяки с бабами болтать? Не-ет, не таковский! Возьму с собой книжечку, сяду и буду читать себе в полное удовольствие. Так-то.

Филипп достал из шкапа истрепанную книжку и сунул ее за пазуху.

— Вот оно, мое занятие. Сызмальства привык. Ученье свет, неученье тьма — слыхали, чай? То-то…

Филипп надел шапку, крякнул и, бормоча, вышел из кухни. Он пошел за ворота, сел на скамью и нахмурился, как туча.

— Это не народ, а какие-то химики свинячие, — пробормотал он, все еще думая о кухонном населении.

Успокоившись, он вытащил книжку, степенно вздохнул и принялся за чтение.

«Так написано, что лучше и не надо, — подумал он, прочитав первую страницу и покрутив головой. — Умудрит же господь!»

Книжка была хорошая, московского издания: «Разведение корнеплодов. Нужна ли нам брюква». Прочитав первые две страницы, дворник значительно покачал головой и кашлянул.

— Правильно написано!

Прочитав третью страничку, Филипп задумался. Ему хотелось думать об образовании и почему-то о французах. Голова у него опустилась на грудь, локти уперлись в колена. Глаза прищурились.



И видел Филипп сон. Все, видел он, изменилось: земля та же самая, дома такие же, ворота прежние, но люди совсем не те стали. Все люди мудрые, нет ни одного дурака, и по улицам ходят все французы и французы. Водовоз, и тот рассуждает: «Я, признаться, климатом очень недоволен и желаю на градусник поглядеть», а у самого в руках толстая книга.

— А ты почитай календарь, — говорит ему Филипп.

Кухарка глупа, но и она вмешивается в умные разговоры и вставляет свои замечания. Филипп идет в участок, чтобы прописать жильцов, — и странно, даже в этом суровом месте говорят только об умном и везде на столах лежат книжки. А вот кто-то подходит к лакею Мише, толкает его и кричит:

«Ты спишь? Я тебя спрашиваю: ты спишь?»

— На часах спишь, болван? — слышит Филипп чей-то громовый голос. — Спишь, негодяй, скотина?

Филипп вскочил и протер глаза; перед ним стоял помощник участкового пристава.



— А? Спишь? Я оштрафую тебя, бестия! Я покажу тебе, как на часах спать, морда! Через два часа дворника потребовали в участок. Потом он

опять был в кухне. Тут, тронутые его наставлениями, все сидели вокруг стола и слушали Мишу, который читал что-то по складам.

Филипп, нахмуренный, красный, подошел к Мише, ударил рукавицей по книге и сказал мрачно:

— Брось!

Жених

Человек с сизым носом подошел к колоколу и нехотя позвонил. Публика, дотоле покойная, беспокойно забегала, засуетилась… По платформе затарахтели тележки с багажом. Над вагонами начали с шумом протягивать веревку… Локомотив засвистел и подкатил к вагонам. Его прицепили. Кто-то, где-то, суетясь, разбил бутылку. Послышались прощания, громкие всхлипывания, женские голоса…

Около одного из вагонов второго класса стояли молодой человек и молодая девушка. Оба прощались и плакали.

— Прощай, моя прелесть! — говорил молодой человек, целуя девицу в белокурую головку. — Прощай! Я так несчастлив! Ты оставляешь меня на целую неделю! Для любящего сердца ведь это целая вечность! Про… щай. Утри свои слезки… Не плачь…

Из глаз девушки брызнули слезы; одна слезинка упала на губу молодого человека.

— Прощай, Варя! Кланяйся всем… Ах, да! Кстати… Если увидишь там Мракова, то отдай ему вот эти… вот эти… Не плачь, душечка… Отдай ему вот

эти двадцать пять рублей…

Молодой человек вынул из кармана четвертную и подал ее Варе.

— Потрудись отдать… Я ему должен… Ах, как тяжело!

— Не плачь, Петя. В субботу я непременно… приеду… Ты же не забывай меня…

Белокурая головка склонилась на грудь Пети.

— Тебя? Тебя забыть?! Разве это возможно?

Ударил второй звонок. Петя сжал в своих объятиях Варю, замигал глазами и заревел, как мальчишка. Варя повисла на его шее и застонала. Вошли в вагон.

— Прощай! Милая! Прелесть! Через неделю!

Молодой человек в последний раз поцеловал Варю и вышел из вагона. Он стал у окна и вынул из кармана платок, чтобы начать махать… Варя впилась в его лицо своими мокрыми глазами.

— Айдите в вагон! — скомандовал кондуктор. — Третий звонок! Праашу вас!

Ударил третий звонок. Петя замахал платком. Но вдруг лицо его вытянулось.

Он ударил себя по лбу и как сумасшедший вбежал в вагон.

— Варя! — сказал он, задыхаясь. — Я дал тебе для Мракова двадцать пять рублей… Голубчик…

Расписочку дай! Скорей! Расписочку, милая! И как это я забыл?

— Поздно, Петя! Ах! Поезд тронулся!

Поезд тронулся. Молодой человек выскочил из вагона, горько заплакал и замахал платком.

— Пришли хоть по почте расписочку! — крикнул он кивавшей ему белокурой головке.

«Ведь этакий я дурак! — подумал он, когда поезд исчез из вида. — Даю деньги без расписки! А? Какая оплошность, мальчишество! (Вздох.) К станции, должно быть, подъезжает теперь… Голубушка!»

Дурак
(Рассказ холостяка)

Прохор Петрович почесал затылок, понюхал табаку и продолжал:

— Две бутылки хересу в меня вылили. Сижу, пью и чувствую: ходят вокруг меня, улыбки ехидные строят и поздравляют. Около меня хозяйская дочка сидит, а я, пьяный дурак, чувствую, что мелю ерунду. Про семейную жизнь мелю, про утюги да горшки… После каждого слова поцелуй горячий… Тьфу! И вспоминать тошно. Просыпаюсь наутро, головешка трещит, во рту хлев свиной, а чувствую и понимаю, что я уже не прохвост, не мелюзга, а жених, самый настоящий — с кольцом на пальце! Иду к отцу-покойнику: так и так, мол, папаша милый, слово дал… венчаться хочу. Отец — известно, в смех… Не верит.

«Куда, говорит, тебе, молокососу, жениться? Ведь тебе и двадцати лет еще нет!»

— А подлинно молод я тогда был. Моложе снега первого… На голове кудри русые, в груди сердце пылкое, заместо живота этого шаровидного — талия тоненькая, женственная…

«Поживи еще да тогда и женись», — говорит отец.

— Я на дыбы… Известно, своя воля, балованный был. На своем стою.

«На ком же ты жениться хочешь?» — спрашивает. — «На Марьяшке Крыткиной»…

— Отец в ужас.

«На этой прощелыге? Да ты с ума сошел! Ведь ее отец мазурик, весь в долгу, как в шелку… Дурачат тебя! В сети свои тебя заманут хотят! Дурак!»

— А действительно, что я дураком был. Баран бараном… Бывало, постучишь себя по голове — в другой комнате слышно. Звонко! До тридцати лет ни одного умного слова не сказал. А дурак, как сами знаете, вечно в беде. Так и я… Никогда, бывало, из беды не выхожу: то одно, то другое… И поделом, не будь дураком… То бьют меня, то из домов и трактиров гонят… Семь раз из гимназии выгоняли… То женят… Ну-с… Отец бранится, кричит, чуть не дерется, а я на своем стою.

— Жениться хочу, да и шабаш! Кому какое дело? Никакой отец не может мне препятствовать, ежели у меня свое умозрение есть! Не маленький!

— Прибежала матушка-покойница. Ушам своим не верит, в обморок падает… Я на своем стою. Можно ли, думаю, мне не жениться, ежели я

желаю свое семейство иметь? А ведь Марьяша, думаю, красавица… Она-то не красавица, да мне уж так казалось. Хотелось, чтоб так казалось, в голову себе вбил дурацкую идею. Она горбатенькая, косенькая, худенькая… Да и дура вдобавок… Чучело заморское, одним словом. Крыткины от моей женитьбы интерес видели. Они бедняки были, ну, а я со средствами. У моего отца большое состояние было. Пошел отец к начальству:

«Батюшка, ваше превосходительство! Не велите вы моему аспиду в брак вступать! Сделайте божескую милость! Погибнет мальчик!»

— На мое несчастье, начальник мой с душком был. Мода тогда либеральная пошла только что, дух этот…

«Не могу, говорит, вмешиваться во внутреннюю жизнь моих подчиненных. И вам не советую посягать на свободу сына…» — «Да ведь он дурак, ваше превосходительство!»

— Начальство стук кулаком по столу!

«Кто бы он ни был, милостивый государь, а он имеет право располагать собой как ему угодно! Он свободный человек, милостивый государь! Когда вы, варвары, научитесь понимать жизнь?! Пришлите ко мне вашего сына!»

— Зовут меня. Я застегиваюсь на все пуговицы

и иду.

«Чего изволите-с?» — «Вот что, молодой человек! Ваши родители препятствуют вам поступить согласно влечениям вашего сердца. Это жестоко и гнусно с их стороны. Верьте, молодой человек, что симпатии порядочных людей всегда будут на вашей стороне. Если любите, то идите туда, куда влечет вас ваше сердце. А ежели ваши родители по невежеству будут препятствовать вам, то скажите мне. Я поступлю с ними по-своему. Я… я им покажу!»

— И, чтобы показать, что в нем сидит самый настоящий дух этот, он добавил:

«Буду у вас на свадьбе. Даже отцом посаженым могу быть. Завтра же поеду вашу невесту посмотреть».

— Кланяюсь и, ликуя, выхожу. Отец стоит тут же, чуть не плачет, а я ему из кармана кукиш показываю.

— На другой день поехал он невесту смотреть. Понравилась.

«Худа, говорит, но симпатия есть на лице. Доброта, говорит, какая-то на лице написана. Грации много. Вы счастливы, молодой человек!»

— Через три дня повез невесте подарки.

«Примите, говорит, от старика, желающего вам

счастья».

— И прослезился даже… На пятый день сговор был. На сговоре он пунш пил и два бокала шампанского выкушал. Доброта!

«Славная, говорит, у тебя бабенка! Худая, косая, а что-то французистое в ней есть! Огонь какой-то!»

— За три дня до свадьбы прихожу к невесте. С букетом, знаете ли…

«Где Марьяша?» — «Дома нету». — «А где она?»

— Тесть мой будущий молчит и ухмыляется. Теща тут же сидит и кофий внакладку пьет. (Раньше всегда вприкуску пила.)

«Да где же она? Чего вы молчите?» — «А ты что за допросчик такой? Ступай туда, откедова пришел! Вороти оглобли!»

— Приглядываюсь и вижу: мой тестюшка, как зюзя… Нахлестался, сволочь… «Нету! — говорит, а сам ухмыляется. — Ищи себе другую невесту, а Марьяшка… В гору пошла! Хе-хе-хе! К благодетелю пошла!» — «К какому?» — «А к тому самому… К твоему пузатому, превосходительству-то… Хе-хе-хе… Было б не привозить!»

— Я так и ахнул!..

Прохор Петрович громко высморкался, ухмыльнулся и добавил:

— Ахнул и с той поры умней стал…



Рассказ, которому трудно подобрать название

Был праздничный полдень. Мы, в количестве двадцати человек, сидели за большим столом и наслаждались жизнью. Наши пьяненькие глазки покоились на прекрасной икре, свежих омарах, чудной семге и на массе бутылок, стоявших рядами почти во всю длину стола. В желудках было жарко, или, выражаясь по-арабски, всходили солнца. Ели и повторяли. Разговоры вели либеральные… Говорили мы о… Могу я, читатель, поручиться за вашу скромность? Говорили не о клубнике, не о лошадях… нет! Мы решали вопросы. Говорили о мужике, уряднике, рубле… (не выдайте, голубчик!). Один вынул из кармана бумажечку и прочел стихи, в которых юмористически советуется брать с обывателя за смотрение двумя глазами десять рублей, а за смотрение одним — пять рублей, со слепых же ничего не брать. Любостяжаев (Федор Андреич), человек обыкновенно смирный и почтительный, на этот раз поддался общему течению. Он сказал: «Его превосходительство Иван Прохорыч

такая дылда… такая дылда!» После каждой фразы мы восклицали: «Pereat!»[99] Совратили с пути истины и официантов, заставив их выпить за фратернитэ[100]… Тосты были шипучие, забористые, самые возмутительные! Я, например, провозгласил тост за процветание ест… — могу я поручиться за вашу скромность?.. — естественных наук.

Когда подали шампанское, мы попросили губернского секретаря Оттягаева, нашего Ренана и Спинозу, сказать речь. Поломавшись малость, он согласился и, оглянувшись на дверь, сказал:

— Товарищи! Между нами нет ни старших, ни младших! Я, например, губернский секретарь, не чувствую ни малейшего поползновения показывать свою власть над сидящими здесь коллежскими регистраторами, и в то же время, надеюсь, здесь сидящие титулярные и надворные не глядят на меня, как на какую-нибудь чепуху. Позвольте же мне… Ммм… Нет, позвольте… Поглядите вокруг! Что мы видим?

Мы поглядели вокруг и увидели почтительно улыбающиеся холуйские физии.

---

[99] Примечания: 99
«Да погибнет!» (лат.).

[100] Примечания: 100
Братство (фр. fraternité).

— Мы видим, — продолжал оратор, оглянувшись на дверь, — муки, страдания. Кругом кражи, хищения, воровства, грабительства, лихоимства… Круговое пьянство… Притеснения на каждом шагу… Сколько слез! Сколько страдальцев! Пожалеем их, за… заплачем… (Оратор начинает слезоточить.) Заплачем и выпьем за…

В это время скрипнула дверь. Кто-то вошел. Мы оглянулись и увидели маленького человечка с большой лысиной и с менторской улыбочкой на губах. Этот человечек так знаком нам! Он вошел и остановился, чтобы дослушать тост.

— …заплачем и выпьем, — продолжал оратор, возвысив голос, — за здоровье нашего начальника, покровителя и благодетеля, Ивана Прохорыча Халчадаева! Урррааа!

— Урррааа! — загорланили все двадцать горл, и по всем двадцати сладкой струйкой потекло шампанское…

Старичок подошел к столу и ласково закивал нам головой. Он, видимо, был в восторге.

Братец

У окна стояла молодая девушка и задумчиво глядела на грязную мостовую. Сзади нее стоял молодой человек в чиновничьем вицмундире. Он теребил свои усики и говорил дрожащим голосом:

— Опомнись, сестра! Еще не поздно! Сделай такую милость! Откажи ты этому пузатому лабазнику, кацапу этакому! Плюнь ты на эту анафему толстомордую, чтоб ему ни дна, не покрышки! Ну, сделай такую милость!

— Не могу, братец! Я ему слово дала.

— Умоляю! Пожалей ты нашу фамилию! Ты благородная, личная дворянка, с образованием, а ведь он квасник, мужик, хам! Хам! Пойми ты это, неразумная! Вонючим квасом да тухлыми селедками торгует! Жулик ведь! Ты ему вчера слово дала, а он сегодня же утром нашу кухарку на пятак обсчитал! Жилы тянет с бедного народа!

Ну, а где твои мечтания? А? Боже ты мой, господи! А? Ты же ведь, послушай, нашего департаментского Мишку Треххвостова любишь, о нем мечтаешь! И он тебя любит…

Сестра вспыхнула. Подбородок ее задрожал,

глаза наполнились слезами. Видно было, что братец попал в самую чувствительную «центру».

— И себя губишь, и Мишку губишь… Запил малый! Эх, сестра, сестра! Польстилась ты на хамские капиталы, на сережечки да браслетики. Выходишь по расчету за дурмана какого-то… за свинство… За невежу выходишь… Фамилии путем подписать не умеет! «Митрий Неколаев». «Не»… слышишь?.. Неколаев… Ссскатина! Стар, грубый, сиволапый… Ну, сделай ты милость!

Голос братца дрогнул и засипел. Братец закашлялся и вытер глаза. И его подбородок запрыгал.

— Слово дала, братец… Да и бедность наша опротивела…

— Скажи, коли уж на то пошло! Не хотел пачкать себя в твоем мнении, а скажу… Лучше реноме потерять, чем сестру родную в погибели видеть… Послушай, Катя, я про твоего лабазника тайну одну знаю. Если ты узнаешь эту тайну, то сразу от него откажешься… Вот какая тайна… Ты знаешь, в каком пакостном месте я однажды с ним встретился? Знаешь? А?

— В каком?

Братец раскрыл рот, чтобы ответить, но ему помешали. В комнату вошел парень в поддевке, грязных сапогах и с большим кульком в руках.

Он перекрестился и стал у двери.

— Кланялся вам Митрий Терентьич, — обратился он к братцу, — и велели вас с воскресным днем проздравить-с… А вот это самое-с в собственные руки-с. Братец нахмурился, взял кулек, взглянул в него и презрительно усмехнулся.

— Что тут? Чепуха, должно быть… Гм… Голова сахару какая-то…

Братец вытащил из кулька голову сахару, снял с нее колпак и пощелкал по сахару пальцем.

— Гм… Чьей фабрики сахар? Бобринского? То-то… А это чай? Воняет чем-то… Сардины какие-то… Помада ни к селу ни к городу… изюм с сором… Задобрить хочет, подлизывается… Не-ет-с, милый дружок! Нас не задобришь! А для чего это он цикорного кофею всунул? Я не пью. Кофей вредно пить… На нервы действует… Хорошо, ступай! Кланяйся там!

Парень вышел. Сестра подскочила к брату, схватила его за руку… Брат сильно подействовал не нее своими словами. Еще бы слово и… несдобровать бы лабазнику!

— Говори же! Говори! Где ты его видел?

— Нигде. Я пошутил… Делай, как знаешь! — сказал братец и еще раз постукал пальцем по сахару.

Случай из судебной практики

Дело происходило в N…ском окружном суде, в одну из последних его сессий.

На скамье подсудимых заседал N…ский мещанин Сидор Шельмецов, малый лет тридцати, с цыганским подвижным лицом и плутоватыми глазками. Обвиняли его в краже со взломом, мошенничестве и проживательстве по чужому виду. Последнее беззаконие осложнялось еще присвоением не принадлежащих титулов. Обвинял товарищ прокурора. Имя сему товарищу — легион. Особенных примет и качеств, дающих популярность и солидный гонорарий, он за собой ведать не ведает: подобен себе подобным. Говорит в нос, буквы «к» не выговаривает, ежеминутно сморкается.

Защищал же знаменитейший и популярнейший адвокат. Этого адвоката знает весь свет. Чудные речи его цитируются, фамилия его произносится с благоговением…

В плохих романах, оканчивающихся полным оправданием героя и аплодисментами публики, он играет немалую роль. В этих романах фамилию его производят от грома, молнии и других не

менее внушительных стихий.

Когда товарищ прокурора сумел доказать, что Шельмецов виновен и не заслуживает снисхождения; когда он уяснил, убедил и сказал: «я кончил», — поднялся защитник. Все навострили уши. Воцарилась тишина. Адвокат заговорил и… пошли плясать нервы N…ской публики! Он вытянул свою смугловатую шею, склонил набок голову, засверкал глазами, поднял вверх руку, и необъяснимая сладость полилась в напряженные уши. Язык его заиграл на нервах, как на балалайке… После первых же двух-трех фраз его кто-то из публики громко ахнул и вынесли из залы заседания какую-то бледную даму. Через три минуты председатель принужден был уже потянуться к звонку и трижды позвонить. Судебный пристав с красным носиком завертелся на своем стуле и стал угрожающе посматривать на увлеченную публику. Все зрачки расширились, лица побледнели от страстного ожидания последующих фраз, они вытянулись… А что делалось с сердцами?!

— Мы — люди, господа присяжные заседатели, будем же и судить по-человечески! — сказал между прочим защитник. — Прежде чем предстать пред вами, этот человек выстрадал шестимесячное предварительное заключение. В

продолжение шести месяцев жена лишена была горячо любимого супруга, глаза детей не высыхали от слез при мысли, что около них нет дорогого отца! О, если бы вы посмотрели на этих детей! Они голодны, потому что их некому кормить, они плачут, потому что они глубоко несчастны… Да поглядите же! Они протягивают к вам свои ручонки, прося вас возвратить им их отца! Их здесь нет, но вы можете себе их представить. (Пауза.) Заключение… Гм… Его посадили рядом с ворами и убийцами… Его! (Пауза.) Надо только представить себе его нравственные муки в этом заключении, вдали от жены и детей, чтобы… Да что говорить?!

В публике послышались всхлипывания… Заплакала какая-то девушка с большой брошкой на груди. Вслед за ней захныкала соседка ее, старушонка.



Защитник говорил и говорил… Факты он миновал, а напирал больше на психологию.

— Знать его душу — значит знать особый, отдельный мир, полный движений. Я изучил этот мир… Изучая его, я, признаюсь, впервые изучил человека. Я понял человека… Каждое движение его души говорит за то, что в своем клиенте я имею честь видеть идеального человека…

Судебный пристав перестал глядеть угрожающе и полез в карман за платком. Вынесли из залы еще двух дам. Председатель оставил в покое звонок и надел очки, чтобы не заметили слезинки, навернувшейся в его правом глазу. Все полезли за платками. Прокурор, этот камень, этот лед, бесчувственнейший из организмов, беспокойно

завертелся на кресле, покраснел и стал глядеть под стол… Слезы засверкали сквозь его очки.

«Было б мне отказаться от обвинения! — подумал он. — Ведь этакое фиаско потерпеть! А?»

— Взгляните на его глаза! — продолжал защитник (подбородок его дрожал, голос дрожал, и сквозь глаза глядела страдающая душа). Неужели эти кроткие, нежные глаза могут равнодушно глядеть на преступление? О, нет! Они, эти глаза, плачут! Под этими калмыцкими скулами скрываются тонкие нервы! Под этой грубой, уродливой грудью бьется далеко не преступное сердце! И вы, люди, дерзнете сказать, что он виноват?!

Тут не вынес и сам подсудимый. Пришла и его пора заплакать. Он замигал глазами, заплакал и беспокойно задвигался…

— Виноват! — заговорил он, перебивая защитника. — Виноват! Сознаю свою вину! Украл и мошенства строил! Окаянный я человек! Деньги я из сундука взял, а шубу краденую велел свояченице спрятать… Каюсь! Во всем виноват!

И подсудимый рассказал, как было дело. Его осудили.

Загадочная натура

Купе первого класса.

На диване, обитом малиновым бархатом, полулежит хорошенькая дамочка. Дорогой бахромчатый веер трещит в ее судорожно сжатой руке, pince-nez то и дело спадает с ее хорошенького носика, брошка на груди то поднимается, то опускается, точно ладья среди волн. Она взволнована… Против нее на диванчике сидит губернаторский чиновник особых поручений, молодой начинающий писатель, помещающий в губернских ведомостях небольшие рассказы или, как сам он называет, «новэллы» — из великосветской жизни. Он глядит ей в лицо, глядит в упор, с видом знатока. Он наблюдает, изучает, улавливает эту эксцентрическую, загадочную натуру, понимает ее, постигает… Душа ее, вся ее психология у него как на ладони.

— О, я постигаю вас! — говорит чиновник особых поручений, целуя ее руку около браслета. — Ваша чуткая, отзывчивая душа ищет выхода из лабиринта… Да! Борьба страшная, чудовищная, но… не унывайте! Вы будете победительницей! Да!

— Опишите меня, Вольдемар! — говорит дамочка, грустно улыбаясь. — Жизнь моя так полна, так разнообразна, так пестра… Но главное — я несчастна! Я страдалица во вкусе Достоевского… Покажите миру мою душу, Вольдемар, покажите эту бедную душу! Вы — психолог. Не прошло и часа, как мы сидим в купе и говорим, а вы уже постигли меня всю, всю!

— Говорите! Умоляю вас, говорите!



— Слушайте. Родилась я в бедной чиновничьей семье. Отец добрый малый, умный, но… дух времени и среды… vous comprenez[101], я не виню моего бедного отца. Он пил, играл в карты… брал взятки. Мать же… Да что говорить! Нужда, борьба за кусок хлеба, сознание ничтожества… Ах, не

[101] Примечания: 101
Вы понимаете (фр.).

заставляйте меня вспоминать! Мне нужно было самой пробивать себе путь… Уродливое институтское воспитание, чтение глупых романов, ошибки молодости, первая робкая любовь… А борьба со средой? Ужасно! А сомнения? А муки зарождающегося неверия в жизнь, в себя?.. Ах! Вы писатель и знаете нас, женщин. Вы поймете… К несчастью, я наделена широкой натурой… Я ждала счастья, и какого! Я жаждала быть человеком! Да! Быть человеком — в этом я видела свое счастье!

— Чудная! — лепечет писатель, целуя руку около браслета. — Не вас целую, дивная, а страдание человеческое! Помните Раскольникова? Он так целовал.

— О, Вольдемар! Мне нужна была слава… шум, блеск, как для всякой — к чему скромничать? — недюжинной натуры. Я жаждала чего-то необыкновенного… не женского! И вот. И вот… подвернулся на моем пути богатый старик-генерал… Поймите меня, Вольдемар! Ведь это было самопожертвование, самоотречение, поймите вы! Я не могла поступить иначе. Я обогатила семью, стала путешествовать, делать добро. А как я страдала, как невыносимы, низменно-пошлы были для меня объятия этого генерала, хотя,

надо отдать ему справедливость, в свое время он храбро сражался. Бывали минуты… ужасные минуты! Но меня подкрепляла мысль, что старик не сегодня — завтра умрет, что я стану жить, как хотела, отдамся любимому человеку, буду счастлива… А у меня есть такой человек, Вольдемар! Видит бог, есть!

Дамочка усиленно машет веером. Лицо ее принимает плачущее выражение.

— Но вот старик умер… Мне он оставил кое-что, я свободна, как птица. Теперь-то и жить мне счастливо… Не правда ли, Вольдемар? Счастье стучится ко мне в окно. Стоит только впустить его, но… нет! Вольдемар, слушайте, заклинаю вас! Теперь-то и отдаться любимому человеку, сделаться его подругой, помощницей, носительницей его идеалов, быть счастливой… отдохнуть… Но как все пошло, гадко и глупо на этом свете! Как все подло, Вольдемар! Я несчастна, несчастна, несчастна!

На моем пути опять стоит препятствие! Опять я чувствую, что счастье мое далеко, далеко! Ах, сколько мук, если б вы знали! Сколько мук!

— Но что же? Что стало на вашем пути? Умоляю вас, говорите! Что же?

— Другой богатый старик…

Изломанный веер закрывает хорошенькое личико. Писатель подпирает кулаком свою многодумную голову, вздыхает и с видом знатока-психолога задумывается. Локомотив свищет и шикает, краснеют от заходящего солнца оконные занавесочки…

Хитрец

Шли два приятеля вечернею порой и дельный разговор вели между собой. Шли они по Невскому. Солнце уже зашло, но не совсем… Кое-где золотились еще домовые трубы и сверкали церковные кресты… В слегка морозном воздухе пахло весной…

— Весна близко! — говорил один приятель другому, стараясь взять его под руку. — Пакостница эта весна! Грязь везде, нездоровье, расходов много… Дачу нанимай, то да се… Ты, Павел Иваныч, провинциал и не поймешь этого… Тебе не понять. У вас в провинции, как выразился однажды какой-то писатель, благодушие одно только… Ни горя, ни печалей. Едите, пьете, спите и никаких вопросов не знаете. Не то, что мы… Подмерзать начало… замечаешь?.. Впрочем, и у вас не без горя… И у вас весной своя печаль. Хе-хе-хе. Теперь у вас, провинциалов, начинает кровь играть… страсти бушуют. Мы, столичные — люди каменные, льдяные, нет в нас пламени, и страстей мы не знаем, а вы вулканы, везувии! Пш! пш! Дышит! Хе-хе-хе… Ой, обожгусь! А признайся-ка, Павел Иваныч, сильно кровь играет?

— Не к чему ей играть… — угрюмо ответил Павел Иваныч.

— Да ну, полно, оставь! Ты холостой, не старый человек, отчего ж ей и не поиграть? Пусть себе играет, коли хочет!.. И напрасно ты конфузишься… Ничего тут конфузного нет… Так только! (Пауза.) А какую, брат, я недавно девочку видел, какую девочку! Пальчики оближешь! Губами сто раз чмокнешь, когда увидишь! Огонь! Формы! Честное слово… Хочешь, познакомлю? Полячка… Созей зовут… Хочешь, сведу к ней?

— Гм… Извини, Семен Петрович, а я тебе скажу, что этак дворянам не надлежит поступать! Не надлежит!!! Это бабье дело, кабацкое, а не твое, не дворянское!

— Что такое? Да ты… чего? — струсил Семен Петрович.

— Стыдно, брат! Твой отец-покойник предводителем у нас был, матушка в уважении… Стыдно! Я у тебя уже месяц гощу и одну за тобой черту заметил… Нет у тебя того знакомого, нет того встречного и поперечного, которому бы ты девочки не предлагал!.. То тому, то другому… И разговора у тебя другого нету… Подсватываньем занимаешься. А еще тоже женатый, почтенный, в действительные скоро полезешь, в превосходи-

тельные… Стыд, срам!.. Месяц живу у тебя, а ты мне уж десятую предлагаешь… Сваха!..

Семен Петрович сконфузился, завертелся, точно его на карманном воровстве поймали.

— Да я ничего… — залепетал он. — Я это так только… Хе-хе-хе… Какой же ты…

Прошли шагов двадцать молча.

— Несчастный я человек! — застонал вдруг Семен Петрович, багровея и мигая глазками. — Несчастный я! Это ты верно, что я сваха! Верно! И был таким и до самой гробовой доски таким буду, ежели хочешь знать! В аду за это самое гореть буду!

Семен Петрович отчаянно махнул правой рукой, а левой провел по глазам. Цилиндр его сполз на затылок, галоши сильнее заскребли по тротуару. Кончик носа налился кровью…

— Пропадом пропаду за свое поведение! И умру не своей смертью! Погибну! Чувствую, брат, свой порок и понимаю, но ничего я с собой не поделаю. Ведь для чего я всех женским полом пичкаю? Поневоле, брат! Ей-ей, поневоле! Ревнив я, как собака! Каюсь тебе, как другу моему… Ревность меня одолела! Женился я, сам знаешь, на молоденькой, на красавице… Каждый за ней ухаживает, то есть, может быть, на нее никто и

глядеть не хочет, но мне все кажется… Слепой курице, знаешь, все пшеница. Всякого шага боюсь… Намедни ты после обеда ей руку пожал только, а мне уж все показалось… ножом пырнуть тебя захотелось. Всего боюсь! Ну, и приходится поневоле хитрость употреблять. Как только замечу, что кто-нибудь начинает увиваться около, я сейчас и подъезжаю с девочкой: не хочешь ли, мол? Отвод, хитрость военная… Дурак я! Что я делаю! Стыд, срам! Каждый день по Невскому бегаю, вербую для приятелей этих шлепохвостых тварей… Вот этих подлянок! А сколько у меня на них денег сходит, ежели бы ты знал! Некоторые, приятели-то, поняли мою слабость и пользуются… На мой счет пробавляются, подлецы… Ах!

Семен Петрович взвизгнул и побледнел. По Невскому, мимо приятелей, прокатила коляска. В ней сидела молодая дамочка; vis-a-vis дамочки сидел мужчина.

— Видишь, видишь?! Жена едет. Ну, как тут не ревновать? А? Ведь это он уж третий раз с ней катается! Недаром! Недаром, шельмец! Видал, как он на нее поглядывает? Прощай… Побегу. Так не хочешь Созю? Нет? Не хочешь! Прощай… Так я ему ее… Созю-то…

Семен Петрович нахлобучил поглубже шляпу

и, стуча палкой, побежал, стараясь не потерять из виду коляски.

— Отец предводителем был, — вздохнул Павел Иваныч. — Матушка в уважении… И фамилия знатная, столбовая… А-а-ах! Измельчал народ!

Разговор

Особы обоего пола сидели в мягких креслах, кушали фрукты и, от нечего делать, бранили докторов. Порешили так, что если бы на этом свете вовсе не существовало докторов, то было бы прекрасно; по крайней мере люди не так бы часто болели и умирали.

— Впрочем, господа, иногда… впрочем… — заговорила в конце концов маленькая, тщедушная блондиночка, кушая грушу и краснея. — Иногда доктора бывают полезны… Нельзя отрицать их пользы в некоторых случаях. В семейной жизни, например. Представьте себе, что жена… Мужа моего нет здесь?

Блондинка окинула взором собеседников и, убедясь, что в гостиной нет ее мужа, продолжала:

— Представьте себе, что жена, в силу каких бы там ни было причин, не желает, чтобы, положим, он… не смел и подходить к ней. Представьте, что она не может, одним словом… любить мужа, потому что… одним словом, отдалась другому… любимому существу. Ну, что ей прикажете делать? Она отправляется к доктору и просит его, чтобы он… нашел причины. Доктор идет к мужу

и говорит ему, что если… одним словом, вы меня понимаете. У Писемского даже есть кое-что в этом роде… Доктор приходит к мужу и во имя здоровья жены приказывает ему отказаться от своих супружеских обязанностей. Vous comprenez[102]?

— А я ничего не имею против господ докторов, — сказал сидящий в стороне старичок, чиновник. — Милейший и, могу вас уверить, умнейший народ! Благодетели наши они, ежели вникнуть. Рассудите сами, сударыни мои… Вы вот, мадам, сейчас насчет супружеских обязанностей говорили, а я вам скажу насчет наших обязанностей. Мы тоже ведь любим спокойствие и вожделение душевное этакое, чтоб все хорошо было. Службу свою я знаю, но ежели, ваше, положим, превосходительство, вы изволите требовать что поверх службы, то извините-с, это уж атанде. Нам наш покой тоже дорог. Вы знаете нашего генерала? Душа человек! Великодушие! Все поступки, можно сказать, душевные. И не обидит тебя, руку тебе подаст, насчет семейства расспросит… Начальник, а равного с тобой поведения. Шуточки этак, прибауточки всякие, анекдотцы… Как отец, одним словом, короче говоря. Но раза

---

[102] Примечания: 102
Вы понимаете? (фр.).

три в год в этом великом человеке переворот бывает. Меняется! Совсем другим делается и… не дай тебе господи! Любит, знаете ли, реформы вводить. Это его струна, идея, как говорят социалисты. И когда вот он — раза три в год с ним это случается — начнет реформы вводить, не подходи к нему тогда! Как тигр или лев какой-нибудь! Красный ходит такой, потный, дрожит, говорит, что у него людей нет. Ходим все мы тогда бледные и… помираем от ужаса. И держит нас на службе до поздней ночи, мы пишем, бегаем, архив роем, справки… и не дай тебе господи, и злому татарину этого не пожелаю. В аду кромешном лучше. А намедни плакал, что его не понимают, что помощников настоящих у него нет… Плакал-с! А нешто нам приятно видеть, как начальник плачет?

Старичок умолк и отвернулся, чтобы не показать слез, заблестевших на его глазах.

— При чем же тут доктора? — спросила блондинка.

— А вот при чем-с… Постойте-с… Как только мы заприметим, стало быть, что начинается этот самый переворот, мы сейчас к доктору: «Иван Матвеич, голубчик! Благодетель, отец родной, выручи! На тебя только и надежда. Сделай божескую милость, спровадь ты его за границу! Жить

нет возможности»… Ну-с. Доктор-то старичок славный такой… Известно, сам в подчинении был и всю сладость вкусил. Идет к нашему, свидетельствует… «Печенки, — говорит, — не того… Что-то в них там не того, ваше превосходительство… Вы бы, говорит, за границу, водами пользоваться…» Ну, напугает печенками, а тот, известно, человек мнительный, болезней страшится… Сейчас за границу, а реформы — тю-тю! Вот-с!

— А вот ежели присяжным заседателем, положим… — начал купец. — К кому идти, ежели…

После купца стала говорить одна пожилая дама, сын которой недавно чуть было не пошел на военную службу.

И докторов стали хвалить; говорили, что без них никак нельзя, что если бы на этом свете не было докторов, то было бы ужасно. И решили в конце концов так, что если бы не было докторов, то люди болели бы и умирали гораздо чаще.



Рыцари без страха и упрека

На станции «Разбейся» в апартаментах г. начальника станции заседало большое общество. Тут были начальники станций, начальники дистанций, магазинов, депо и проч., отставные и неотставные, старые и молодые. Между форменными путейскими сюртуками виднелись цвета женских modes et robes[103], попадались и детские мордочки… Компания пила чай, играла в карты, музицировала и услаждала себя беседою. Говорили о случаях, случайно случившихся на той или другой линии. Рассказано было много, не написать всего. Один г. Укусилов говорил два часа. Извольте-ка написать! Буду по обычаю краток.

— Три вагона разбило! — кончил свою двухчасовую речь г. Укусилов. — Двое убитых, пять раненых, а что паче сего, то от лукавого: неофициально, то есть… Хе-хе-хмы… Из одной артели было шесть раненых… Призываю их… «Ежели!.. Да кто-нибудь! Да кому-нибудь!.. Говори, что ушибся!» Двум солдатикам по трешке дадено было для успокоения: молчи и не распространяйся!

---

[103] Примечания: 103
Модных нарядов (фр.).

Предостережений много принято было, а между тем не обошлось без худа. С места меня пугнули и судом пригрозили. Ты-де, мол, спал и телеграммы не дал. Начальнику станции, выходит, и спать нельзя… Народ бессовестный… Из-за пустяков семейного человека места лишили. В одном из вагонов начальнику движения из его усадьбы свежих раков везли, да при суматохе растеряли. Начальник мечтал в тот вечер раки а ла бордалез кушать. Воспитания нежного… И не будь этих самых раков подлых, не прилетело бы ко мне на станцию следствие и не потерял бы я места…

— Вы и теперь без места? — спросила поповна из соседнего села. (Она приехала на станцию попросить «по знакомству» для мамаши бесплатного проезда к тете.)

— Какое! Через неделю я служил уж на другой дороге, хоть и под судом числился.

— А вот-с… тоже случай, — начал г. Гарцунов, наливая себе водки. — Вы, конечно, знаете Ивана Михайлыча, что обер-кондуктором ездил. Бестия, я вам скажу! Честнейший человек, благороднейший, но мерзавец в своем роде, архаровец… То есть не мерзавец, а так себе… гений в своем роде, коршун… Приходит он однажды на «Живодерово» с поездом… С товарным он ездил. В

пассажирские его не производили, потому что женщин он не мог видеть равнодушно: припадок с ним делался. Приходит он с поездом… А на ту пору на платформе человек тридцать косарей стояло. Время рабочее, знаете ли, летнее…

«Куда идете, косарики? — спрашивает. — Давайте, говорит, я вас в товарном поезде до следующей станции довезу. По гривеннику, говорит, возьму с человека, только…»

— Тем это на руку, разумеется, того только и нужно. Получил с них Иван Михайлыч по гривеннику и засадил всех в служебный вагон. Поехали наши косари… От восторга песню запели. Паатеха! На ту пору я в вагоне ехал, поспеть на крестины хотел, к Илье, вот, Петровичу… Олечку ихнюю крестили…

«Зачем вы, говорю, Иван Михайлыч, их насажали? Ведь на станции контролер!» — «Нуте?» — «Сейчас помереть…»

— Иван Михайлыч задумался… Известно, не хотелось оконфузиться. Оно-то ничего, знаете, все даром возят, и всем это великолепно известно, но неловко как-то, знаете… Да и контролеры разные бывают… Иной черт такой попадется, что жизни не рад будешь… Бывает! По злобе больше доносят или отличиться перед начальством хочет…

«Поезд не остановишь, — говорит Иван Михайлыч, — а ссадить их, чертей, надо… Как быть?»

— А тут еще поезд нам встретился, с тремя фонарями на служебном вагоне. У них, у кондукторов, знак такой: ежели на служебном вагоне три фонаря, положим, два флага или что-нибудь другое условное, то на станции, значит, контролер. Мои слова подтвердились.

Иван Михайлыч думал и надумал. Па-атеха! Отворяет в вагоне дверь, берет господ косарей за шиворот и на всем ходу — марш! Прыгай! Запрыгали косари… Хе-хе-хе… Как снопы повалились.

«Прыгай! — кричит. — Прыгай наперед, и ничего тебе не будет! Прыгай, такой-сякой! Черт, дьявол!»

— Мы глядим и со смеху помираем. Все соскочили. Один только ногу себе сломал, а остальные все благополучно. Так и пропали ихние гривенники… Хе-хе-хе… Через неделю как-то узнали об этом скандале, выцарапали откуда-то косаря со сломанной ногой… Донес кто-то, шут возьми… Злоба людская. Косарю дали пять рублей, а Ивана Михайлыча с места долой… Хе-хе…

— И он без места теперь?

— В оперу, слышал, поступает. Баритон у него славный. Едет, бывало, в поезде, напьется и давай

петь. Звери заслушивались, птицы плакали! Талантливый человек, и говорить нечего…

Обер-верхи

ВЕРХ ЛЕГКОВЕРИЯ

На днях в Т. застрелился землевладелец К., местный воротила, человек богатый и семейный. Пуля была пущена в рот и засела в мозгу. В боковом кармане несчастного было найдено письмо следующего содержания:

«Сейчас я прочел в календаре, что в этом году не будет урожая. Неурожай принесет мне банкротство. Не желая доживать до такого позора, я заранее лишаю себя жизни и прошу никого не винить в моей смерти».

ВЕРХ РАССЕЯННОСТИ

Нам передают за достоверное, что на днях в одной из лечебниц имел место следующий прискорбный случай. Известный хирург М., ампутируя обе ноги у железнодорожного стрелочника, по рассеянности одну ногу отрезал у себя, а другую — у помогавшего ему фельдшера. Обоим подана медицинская помощь.

ВЕРХ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ

Я сын почетного потомственного гражданина, читаю «Гражданин», хожу в гражданском платье и пребываю со своею Анютой в гражданском браке…

ВЕРХ БЛАГОНАМЕРЕННОСТИ

Нам пишут, что на днях один из сотрудников «Киевлянина», некий Т., начитавшись московских газет, в припадке сомнения сделал у самого себя обыск. Не нашедши ничего предосудительного, он все-таки сводил себя в квартал.

Двадцать шесть
(Выписки из дневника)

2-го того же мес. Пообедав, размышлял о плачевном состоянии западноевропейских финансов. Пригласил в экономки.

18-го июня. Бунтовала за обедом. Переживает, по-видимому, душевный переворот. Боюсь, чтоб не амуры. Читал в «Голосе» передовую статью… Нельзя-с!!!

4-го декабря. Всю ночь хлопали калиткой. В пять часов утра видел канцеляриста Карявова выходящим из моего двора. На мой вопрос, зачем он здесь, Карявов смутился. На что-то покуситься хотел, шельма. Надо будет уволить.

28-го того же мес. Бунтовала весь день. Кой черт это шляется? Поймал в деле № 1302 мышь. Убил.

Новый год. Принимал поздравления. Преподнес ей для назидания душеполезную книгу. Весь день бунтовала. Находясь в унынии, писал сочинение: «О нападении печенегов на Уфимскую губернию». Видел видение.

4-го того же мес. Разорвала и книгу и мое сочи-

нение. Приказала воротить Карявова. Исполню, душенька! Вечером бунтовала, рвала мои бумаги, падала в гистерику и объявила, что на днях уезжает в Самарскую губ. лечиться от грудей. Не пущу!!!



6-го февраля. Уехала!!! Лежал целый день на ее кровати, плакал и так рассуждал: «Она здорова, следственно не лечиться поехала. Тут другая статья: амуры. Подозреваю, что увлечена одним из моих молокососов канцелярских. Но с кем и как? Узнаю завтра, ибо виновник попросится в отпуск, дабы к ней поехать. Он, шельма, подает мне прошение об отпуске, а я его… цап!!!» Ночью не хлопали калиткой, а все-таки спал плохо. Несмотря на уныние, размышлял о бедственном состоянии Франции. Видел два видения сразу. Господи, прости нас, грешных!

7-го февраля. Подано двадцать шесть прошений об отпуске. Все!!! Постой же. Просятся в Кронштадт. Так вот она где, эта Самарская губ.! Постой же…

8-го того же мес. Не менее скорблю. Пребываю в унынии. Разнес всех и вся. Вся канцелярия вспотела — не до любви ей теперь. Видел во сне Кронштадт.

14-го того же мес. Вчера, в воскресенье, Карявов ездил куда-то за город, сегодня же ходит по канцелярии и саркастически улыбается… Уволю.

25-го того же мес. Получил от нее письмо. Приказывает прислать денег и снова принять на службу Карявова. Исполню, душенька! Дожидайся! Вчера еще трое ездили за город… Чьей-то калиткой хлопают они теперь?

Закуска
(Приятное воспоминание)

Был пасхальный канун. За час до заутрени зашли за мной мои приятели. Они были во фраках и белых галстухах.

— Очень кстати, господа, — сказал я. — Вы поможете мне убрать стол. Я человек холостой, бабенции у меня не полагается, а посему… помощь дружеская. Плумбов, давай стол отодвинем!

Приятели двинулись к столу, и через какие-нибудь пять минут мой стол уже изображал собой аппетитнейшую картину. Окорок, колбасы, водки, вина, заливной поросенок… Убрав стол, мы взялись за цилиндры: пора! Но не тут-то было… Кто-то позвонил…

— Дома? — услышали мы чей-то хриплый голос. — Входи, Илья, не бойся!

Вошел Прекрасновкусов. За ним робко шагал маленький, чахлый человечек.

У обоих под мышками были портфели…

— Тссс… — сказал я приятелям. — Язык за зубами!

— Рекомендую! — сказал Прекрасновкусов,

указывая на чахлого человечка. — Илья Дробискулов! На днях к нам поступил, к нашему лику причислился… Да ты не конфузься, Илюша! Пора привыкнуть! А мы, знаете ли, шли, шли, взяли да и зашли. Дай, думаю, зайдем, праздничные возьмем, чтоб завтра не беспокоить…

Я сунул обоим по синенькой. Дробискулов сконфузился.

— Так-с, — продолжал Прекрасновкусов, заглянув себе в кулак. — Вы уж уходите? А не рано ли? Давайте-ка посидим минуту… отдохнем. Садись, Илья, не бойся! Привыкай! Закусок-то сколько, закусок! А? Закусок-то! Мне окорок напоминает один анекдот…

И Прекрасновкусов, пожирая глазами мои закуски, рассказал нам похабный анекдот. Прошло четверть часа. Чтобы выжить гостей, я послал своего Андрюшку на улицу прокричать «караул». Андрюшка вышел и кричал минут пять, но гости мои ни гугу… И внимания не обратили, как будто бы «караул» не их дело…

— А долго еще ждать разговенья! — сказал Прекрасновкусов. — Теперь еще грешно, а то бы мы, Илюша, того… по единой. А что, господа, не пропустить ли нам по одной? Ведь водка постная! А? Давайте-ка!

Идея пришлась моим приятелям по вкусу. Подошли к столу, налили и выпили. Закусили селедочкой, а на скоромное только взглянули. Прекрасновкусов похвалил водку и, желая узнать, какого она завода, выпил другую. Илюша сконфузился и тоже пожелал узнать… Выпили, но не узнали.

— Славная водка! — сказал Прекрасновкусов. — У моего дяди свой винокуренный завод был. Так вот у него, у дяди-то, была, так сказать…



И гость рассказал нам, как он с дядиной «обже»[104] на каланче свидание имел. Мои приятели окружили его и попросили рассказать еще что-

---

[104] Примечания: 104
«она» (фр. objet).

нибудь... Еще раз выпили. Дробискулов очень ловко захватил рукавом кусочек колбасы, взял его в носовой платок и, сморкаясь, незаметно положил в рот. Прекрасновкусов съел кусок пасхи из творога.

— А я и забыл, что она скоромная! — сказал он, глотая. — Надо ее запить...

Говорят, что в полночь звонили к заутрене, но мы не слышали этого звона. В полночь мы ходили вокруг стола и спрашивали себя: что бы еще выпить... этакое? Дробискулов сидел в углу и, конфузясь, глодал заливного поросенка. Прекрасновкусов бил кулаком по своему портфелю и говорил:

— Вы меня не любите, а я вот вас... ллюблю! Честное и блародное слово, ллюблю! Я куроцап, волк, коршун, птица хищная, но во мне все-таки есть настолько чувств и ума, чтоб понимать, что меня не следует любить. Я, например, вот взял праздничные... Ведь взял? А завтра я приду и скажу, что не брал... Разве можно любить меня после этого?

Дробискулов, покончив с поросенком, победил свою робость и сказал:

— А я? Меня еще можно любить... Я образованный человек... Я ведь не своим делом занялся.

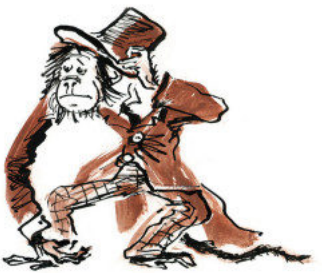
Не мое это дело! Я к нему и призвания никакого не имею… Так только, пур манже![105] Я… стихотворец… Н-да. В пьяном виде протоколы в стихах составляю. Я и гласность люблю. Не нравятся мне газеты только за то, что в них пристрастия много. Я не разбирал бы там, кто консерватор, кто либерал. Беспристрастие — первое дело! Консерватор нагадил — бей в морду; либерал напакостил — лупи в харю! Всех лупи! Моя мечта — газету издавать. Хе-хе… Сидел бы я себе в редакции, морду бы надувал да конвертики распечатывал. А в конвертиках всякое бывает… всякое… Хе-хе-хе… Я распечатал бы, прочел бы да и… цап его, сотрудника-то! Нешто не любопытно?

В три часа гости взяли свои портфели и ушли в трактир, беспорядков искать. От закуски моей остались одни только ножи, вилки да две ложки. Остальные шесть ложек исчезли…

---

[105] Примечания: 105
Ради хлеба! (фр. pour manger).

Съезд естествоиспытателей в Филадельфии (Статья научного содержания)



Первым читался реферат «О происхождении человека», посвященный памяти Дарвина. Ввиду того, что зала заседания соединена телефоном, реферат этот читался шепотом. Почтенный референт заявил, что он вполне соглашается с Дарвином. Виновата во всем обезьяна. Он сказал, что не будь обезьяны, не было бы людей, а где нет людей, там нет и преступников. Съезд единогласно порешил: выразить обезьяне свое неудовольствие и довести обо всем до сведения г. прокурора(!). Из возражений наиболее выдаются

следующие:

1. Французский делегат, вполне соглашаясь с мнением съезда, не находит, однако, способов уяснить себе возможность происхождения от обезьяны таких резких типов, как торжествующая свинья и плачущий крокодил. Заявляя об этом, почтенный оппонент демонстрировал перед съездом изображения торжествующей свиньи и плачущего крокодила. Съезд был приведен в тупик и постановил: отложить решение этого вопроса до следующей сессии и перед решением его заткнуть чем-нибудь телефонную трубку.

2. Германский делегат, он же и иностранный корреспондент газеты «Русь», склонен скорей думать, что человек произошел от обезьяны и попугая, от обоих вместе. Все человечество, по его мнению, гибнет от подражания иностранцам. (Из телефонной трубки слышен гул одобрения.)

3. Бельгийский делегат согласен со съездом только относительно, ибо, по его мнению, далеко не все народы произошли от обезьяны. Так, русский произошел от сороки, еврей от лисицы, англичанин от замороженной рыбы. Довольно оригинально доказывает он происхождение русского от сороки. Съезду, находившемуся под впечатлением бушевских и макшеевских про-

цессов, не трудно было согласиться с последним доказательством… («Times»).

Кот

Варвара Петровна проснулась и стала прислушиваться. Лицо ее побледнело, большие черные глаза стали еще больше и загорелись страхом, когда оказалось, что это не сон. В ужасе закрыла она руками лицо, приподнялась на локоть и стала будить своего мужа. Муж, свернувшись калачиком, тихо похрапывал и дышал на ее плечо.

— Алеша, голубчик… Проснись! Милый!.. Ах… это ужасно!

Алеша перестал храпеть и вытянул ноги. Варвара Петровна дернула его за щеку. Он потянулся, глубоко вздохнул и проснулся.

— Алеша, голубчик… Проснись. Кто-то плачет…

— Кто плачет? Что ты выдумываешь?

— Прислушайся-ка. Слышишь? Стонет кто-то… Это, должно быть, дитя к нам подкинули… Ах, не могу слышать!

Алеша приподнялся и стал слушать. В настежь открытое окно глядела серая ночь. Вместе с запахом сирени и тихим шепотом липы слабый ветерок доносил до кровати странные звуки… Не разберешь сразу, что это за звуки: плач ли то

детский, пение ли Лазаря, вой ли… не разберешь! Одно только было ясно: звуки издавались под окном, и не одним горлом, а несколькими… Были тут дисканты, альты, тенора…

— Да это, Варя, коты! — сказал Алеша. — Дурочка!

— Коты? Не может быть! А басы же кто?

— Это свинья хрюкает. Ведь мы, не забывай, на даче… Слышишь? Так и есть, коты… Ну, успокойся; спи себе с богом.

Варя и Алеша легли и потянули к себе одеяло. В окно потянуло утренней свежестью и стало слегка знобить. Супруги свернулись калачиками и закрыли глаза.

Через пять минут Алеша заворочался и повернулся на другой бок.

— Спать не дают, черт бы взял!.. Орут…

Кошачье пение, между тем, шло crescendo. К певцам присоединялись, по-видимому, новые певцы, новые силы, и легкий шорох внизу под окном постепенно обращался в шум, гвалт, возню… Нежное, как студень, piano достигало степени fortissimo, и скоро воздух наполнился возмутительными звуками.



Одни коты издавали отрывистые звуки, другие выводили залихватские трели, точно по нотам, с восьмыми и шестнадцатыми, третьи тянули длинную, однообразную ноту… А один кот, должно быть, самый старый и пылкий, пел каким-то неестественным голосом, не кошачьим, то басом, то тенором.

— Мал… мал… Ту… ту… ту… карррряу…

Если б не пшиканье, то и подумать нельзя было бы, что это коты поют… Варя повернулась на другой бок и проворчала что-то… Алеша вскочил, послал в воздух проклятие и запер окно. Но окно не толстая вещь: пропускает и звук, и свет, и электричество.

— Мне в восемь часов вставать надо, на службу ехать, — выругался Алеша, — а они ревут, спать не дают, дьяволы… Да замолчи хоть ты, пожалуйста. Баба! Нюнит над самым ухом! Хныкает тут! Чем же я виноват? Ведь они не мои!

— Прогони их! Голубчик!

Муж выругался, спрыгнул с кровати и пошел к окну… Ночь клонилась к утру.

Поглядев на небо, Алеша увидел одну только звездочку, да и та мерцала точно в тумане, еле-еле… В липе заворчали воробьи, испуганные шумом открывающегося окна. Алеша поглядел

вниз на землю и увидел штук десять котов. Вытянув хвосты, шипя и нежно ступая по травке, они дромадерами ходили вокруг хорошенькой кошечки, сидевшей на опрокинутой вверх дном лохани, и пели. Трудно было решить, чего в них было больше: любви ли к кошечке, или собственного достоинства? За любовью ли они пришли, или только за тем, чтобы достоинство свое показать? В отношениях друг к другу сквозила самая утонченная ненависть… По ту сторону палисадника терлась о решетку свинья с поросятами и просилась в садик.

— Пшли! — пшикнул Алеша. — Кшш! Вы, черти! Пш!.. Фюйть!

Но коты не обратили на него внимания. Одна только кошечка поглядела в его сторону, да и то мельком, нехотя. Она была счастлива и не до Алеши ей было…

— Пш… пш… анафемы! Тьфу, черт бы вас взял совсем! Варя, дай-ка сюда графин! Мы их окатим! Вот черти!

Варя прыгнула с кровати и подала не графин, а кувшин из рукомойника. Алеша лег грудью на подоконник и нагнул кувшин…

— Ах, господа, господа! — услышал он над своей головой чей-то голос. — Ах, молодежь, молодежь!

Ну можно ли так делать, а? Ах-ах-аххх… Молодежь!!!

И за сим последовал вздох. Алеша поднял вверх лицо и увидел плечи в ситцевом халате с большими цветами и сухие, жилистые пальцы. На плечах торчала маленькая седовласая головка в ночном колпаке, а пальцы грозили… Старец сидел у окна и не отрывал глаз от котов. Его глазки светились вожделением и были полны масла, точно балет глядели.

Алеша разинул рот, побледнел и улыбнулся…

— Почивать изволите, ваше-ство? — спросил он ни к селу ни к городу.

— Нехорошо-с, милостисдарь! Вы идете против природы, молодой человек! Вы подрываете… эээ… так сказать, законы природы! Нехорошо-с! Какое вам дело? Ведь это… эээ… организм? Как по-вашему? Организм? Надо понимать! Не хвалю, милостисдарь!

Алеша струсил, пошел на цыпочках к кровати и смиренно лег. Варя прикорнула возле него и притаила дыхание.

— Это наш… — прошептал Алеша… — Сам… И не спит. На котов любуется. Вот дьявол-то! Неприятно жить вместе с начальником.

— Ммолодой человек! — услышал через минуту

Алеша старческий голос. — Где вы? Пожалуйте сюда!

Алеша подошел к окну и обратил свое лицо к старцу.

— Видите вы этого белого кота? Как вы находите? Это мой! Манера-то, манера! Поступь!.. Поглядите-ка! Мяу, мяу… Васька! Васюшка, шельма! Усищи-то какие у паршака! Сибирский, шельма! Из мест отдаленных… хе-хе-хе… А кошечке быть… быть в беде! Хе-хе.

Всегда мой кот верх брал. Вы в этом сейчас убедитесь! Манера-то, манера!

Алеша сказал, что ему очень нравится шерсть. Старичок начал описывать образ жизни этого кота, его привычки, увлекся и рассказывал вплоть до солнечного восхода. Рассказывал со всеми подробностями, причмокивая и облизывая свои жилистые пальцы… Так и не удалось соснуть!

В первом часу следующей ночи коты опять затянули свою песню и опять разбудили Варю. Гнать котов прочь Алеша не смел. Среди них был кот его превосходительства, его начальника. Алеша и Варя до утра прослушали кошачий концерт.

Раз в год

Маленький трехоконный домик княжны имеет праздничный вид. Он помолодел точно. Вокруг него тщательно подметено, ворота открыты, с окон сняты решетчатые жалюзи. Свежевымытые оконные стекла робко заигрывают с весенним солнышком. У парадной двери стоит швейцар Марк, старый и дряхлый, одетый в изъеденную молью ливрею. Его колючий подбородок, над бритьем которого провозились дрожащие руки целое утро, свежевычищенные сапоги и гербовые пуговицы тоже отражают в себе солнце. Марк выполз из своей каморки недаром. Сегодня день именин княжны, и он должен отворять дверь визитерам и выкрикивать их имена. В передней пахнет не кофейной гущей, как обыкновенно, не постным супом, а какими-то духами, напоминающими запах яичного мыла. В комнатах старательно прибрано. Повешены гардины, снята кисея с картин, навощены потертые, занозистые полы. Злая Жулька, кошка с котятами и цыплята заперты до вечера в кухню.

Сама княжна, хозяйка трехоконного домика, сгорбленная и сморщенная старушка, сидит в

большом кресле и то и дело поправляет складки своего белого кисейного платья. Одна только роза, приколотая к ее тощей груди, говорит, что на этом свете есть еще молодость! Княжна ожидает визитеров-поздравителей. У нее должны быть: барон Трамб с сыном, князь Халахадзе, камергер Бурластов, кузен генерал Битков и многие другие… человек двадцать! Они приедут и наполнят ее гостиную говором. Князь Халахадзе споет что-нибудь, а генерал Битков два часа будет просить у нее розу… А она знает, как держать себя с этими господами! Неприступность, величавость и грация будут сквозить во всех ее движениях… Приедут, между прочим, купцы Хтулкин и Переулков: для этих господ положены в передней лист бумаги и перо. Каждый сверчок знай свой шесток. Пусть распишутся и уйдут…

Двенадцать часов. Княжна поправляет платье и розу. Она прислушивается: не звонит ли кто? С шумом проезжает экипаж, останавливается. Проходят пять минут.

«Не к нам!» — думает княжна.

Да, не к вам, княжна! Повторяется история прошлых годов. Безжалостная история! В два часа княжна, как и в прошлом году, идет к себе в спальную, нюхает нашатырный спирт и плачет.

— Никто не приехал! Никто!

Около княжны суетится старый Марк. Он не менее огорчен: испортились люди! Прежде валили в гостиную, как мухи, а теперь…

— Никто не приехал! — плачет княжна. — Ни барон, ни князь Халахадзе, ни Жорж Бувицкий… Оставили меня! А ведь не будь меня, что бы из них вышло? Мне обязаны они своим счастьем, своей карьерой — только мне. Без меня из них ничего бы не вышло.

— Не вышло бы-с! — поддакивает Марк.

— Я не прошу благодарности… Не нужна она мне! Мне нужно чувство! Боже мой, как обидно! Даже племянник Жан не приехал. Отчего он не приехал? Что я ему худого сделала? Я заплатила по всем его векселям, выдала замуж его сестру Таню за хорошего человека. Дорого мне стоит этот Жан! Я сдержала слово, данное моему брату, его отцу. Я истратила на него… сам знаешь…

— И родителям их вы, можно сказать, ваше сиятельство, заместо родителей были.

— И вот… вот она благодарность! О люди!

В три часа, как и в прошлом году, с княжной делается истерический припадок. Встревоженный Марк надевает свою шляпу с галунами, долго торгуется с извозчиком и едет к племяннику

Жану. К счастью, меблированные комнаты, в которых обитает князь Жан, не слишком далеко… Марк застает князя валяющимся на кровати. Жан только что воротился со вчерашней попойки. Его помятое мордастое лицо багрово, на лбу пот. В голове его шум, в желудке революция. Он рад бы уснуть, да нельзя: мутит. Его скучающие глаза устремлены на рукомойник, наполненный доверху сором и мыльной водой.

Марк входит в грязный номер и, брезгливо пожимаясь, робко подходит к кровати.

— Нехорошо-с, Иван Михалыч! — говорит он, укоризненно покачивая головой. — Нехорошо-с!

— Что нехорошо?

— Почему вы сегодня не пожаловали вашу тетушку с ангелом поздравить? Нешто это хорошо?

— Убирайся к черту! — говорит Жан, не отрывая глаз от мыльной воды.

— Нешто это тетушке не обидно? А? Эх, Иван Михалыч, ваше сиятельство! Чувств у вас никаких нету! Ну, с какой стати вы их огорчаете?

— Я не делаю визитов… Так и скажи ей. Этот обычай давно уже устарел… Некогда нам разъезжать. Разъезжайте сами, коли делать вам нечего, а меня оставьте. Ну, проваливай! Спать хочу…

— Спать хочу… Лицо-то, небось, воротите! Стыд-

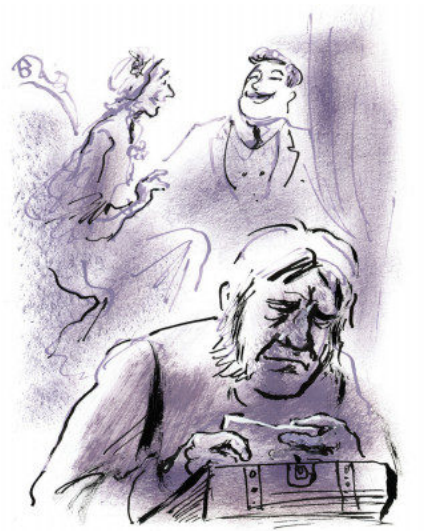
но в глаза глядеть!

— Ну… тсс… Дрянь ты этакая! Паршак!

Продолжительное молчание.

— А уж вы, батюшка, съездите, поздравьте! — говорит Марк ласково. — Оне плачут, мечутся на постельке… Уж вы будьте такие добрые, окажите им свое почтение… Съездите, батюшка!

— Не поеду. Незачем и некогда… Да и что я буду делать у старой девки?



— Съездите, ваше сиятельство! Уважьте, ба-

тюшка! Сделайте такую милость! Страсть как огорчены оне вашею, можно сказать, неблагодарностью и бесчувствием!

Марк проводит рукавом по глазам.

— Сделайте милость!

— Гм… А коньяк будет? — говорит Жан.

— Будет, батюшка, ваше сиятельство!

Князь подмигивает глазом.

— Ну, а сто рублей бует? — спрашивает он.

— Никак это невозможно! Самим вам небезызвестно, ваше сиятельство, капиталов у нас уж нет тех, что были… Разорили нас родственники, Иван Михалыч. Когда были у нас деньги, все хаживали, а теперь… Божья воля!

— В прошлом году я за визит с вас… сколько взял? Двести рублей взял. А теперь и ста нет? Шутки шутишь, ворона! Поройся-ка у старухи, найдешь… Впрочем, убирайся. Спать хочу.

— Будьте так благодушны, ваше сиятельство! Стары оне… слабы. Душа в теле еле держится. Пожалейте их, Иван Михалыч, ваше сиятельство!

Жан неумолим. Марк начинает торговаться. В пятом часу Жан сдается, надевает фрак и едет к княжне…

— Ma tante[106], — говорит он, прижимаясь к ее руке.

И, севши на софу, он начинает прошлогодний разговор.

— Мари Крыскина, ma tante, получила письмо из Ниццы… Муженек-то! А? Каков? Очень развязно описывает дуэль, которая была у него с одним англичанином из-за какой-то певицы… забыл ее фамилию…

— Неужели?

Княжна закатывает глаза, всплескивает руками и с изумлением, смешанным с долею ужаса, повторяет:

— Неужели?

— Да… На дуэлях дерется, за певицами бегает, а тут жена… чахни и сохни по его милости… Не понимаю таких людей, ma tante!

Счастливая княжна поближе подсаживается к Жану, и разговор их затягивается… Подается чай с коньяком.

И в то время как счастливая княжна, слушая Жана, хохочет, ужасается, поражается, старый Марк роется в своих сундучках и собирает кредитные бумажки. Князь Жан сделал большую

---

[106] Примечания: 106
Тетушка (фр.).

уступку. Ему нужно заплатить только пятьдесят рублей. Но, чтобы заплатить эти пятьдесят рублей, нужно перерыть не один сундучок!

Находчивость г. Родона

Десятого мая, в час пополудни, в саду «Эрмитаж» во время репетиции случился скандал. Гг. Чернов и Вальяно, куря сигары, заронили искру в чье-то кисейное платье, только что принесенное горничной и лежавшее на сцене на табурете. Платье, разумеется, загорелось. В какие-нибудь две минуты пламя охватило табурет, столы, перешло на кулисы и готово уже было пожрать весь театр. Можете себе вообразить панику задыхавшихся в дыму артистов и горе г. Лентовского! Артистки попадали в обморок. К несчастью, на сцене не было ни одного пожарного, не было воды. И вот, когда уже огненные языки зализали потолок и потянулись к оркестру, чтобы охватить весь театр, в голове г. Родона мелькнула идея.

— Эврика! — крикнул он. — Мы спасены! Друзья, за мной!

Артисты двинулись за ним в уборную. Он оделся и загримировался пожарным. Товарищи последовали его примеру, и скоро сцена наполнилась пожарными. Театр был спасен.

Депутат, или Повесть о том, как у Дездемонова 25 рублей пропало

Посвящается Л. И. Пальмину

— Тссс… Пойдемте в швейцарскую, здесь неудобно… Услышит…

Отправились в швейцарскую. Швейцара Макара, чтоб он не подслушал и не донес, поспешили услать в казначейство. Макар взял рассыльную книгу, надел шапку, но в казначейство не пошел, а спрятался под лестницей: он знал, что бунт будет. Первый заговорил Кашалотов, за ним Дездемонов, после Дездемонова Зрачков… Забушевали опасные страсти! По красным лицам забегали судороги, по грудям застучали кулаки…

— Мы живем во второй половине XIX столетия, а не черт знает когда, не в допотопное время! — заговорил Кашалотов. — Что дозволялось этим толстопузам прежде, того не позволят теперь! Нам надоело, наконец! Прошло уже то время, когда… И т. д…

Дездемонов прогремел приблизительно то же самое. Зрачков даже выругался неприлично… Все загалдели! Нашелся, впрочем, один благоразум-

ный. Этот благоразумный состроил озабоченное лицо, вытерся засморканным платочком и проговорил:

— Ну, стоит ли? Ах… Ну, положим, пусть… это правда; но с какой стати? Какою мерою мерите, такою и вам возмерится: и против вас бунтовать будут, когда вы будете начальниками. Верьте слову! Губите только себя.

Но не послушали благоразумного. Ему не дали договорить и оттиснули его к двери. Видя, что благоразумием ничего не возьмешь, он стал неблагоразумным и сам забурлил.

— Пора же наконец дать ему понять, что мы такие же люди, как и он! — сказал Дездемонов. — Мы, повторяю, не холуи, не плебеи! Мы не гладиаторы! Издеваться над собой мы не позволим! Он тыкает на нас, не отвечает на поклоны, морду воротит, когда доклад делаешь, бранится… Нынче и на лакеев тыкать нельзя, а не то что на благородных людей! Так и сказать ему!

— А намедни обращается ко мне и спрашивает: «В чем это у тебя рыло? Пойди к Макару, пусть он тебе шваброй вымоет!» Хороши шутки! А то однажды…

— Иду я с женой однажды, — перебил Зрачков, — встречается он… «А ты, говорит, губастый,

вечно с девками шляешься! Среди бела дня даже!» Это, говорю, моя жена, ваше-ство… И не извинился, а только губами чмокнул! Жена от этого самого оскорбления три дня ревмя ревела. Она не девка, а напротив… сами знаете…

— Одним словом, господа, жить так долее невозможно! Или мы, или он, а вместе служить нам ни в каком случае невозможно! Пусть или он уйдет, или мы уйдем! Лучше без должности жить, чем реноме свое в ничтожестве иметь! Теперь XIX столетие. У всякого свое самолюбие есть! Я хоть и маленький человек, а все-таки я не субъект какой-нибудь и у меня в душе свой жанр есть! Не позволю! Так и сказать ему! Пусть один из нас пойдет и скажет ему, что так невозможно! От нашего имени! Ступай! Кто пойдет? Так-таки прямо и сказать! Не бойтесь, ничего не будет! Кто пойдет? Тьфу, черт… охрип совсем…

Стали выбирать депутата. После долгих споров и пререканий, самым умным, красноречивым и самым смелым признан был Дездемонов. В библиотеке записан, пишет прекрасно, с барышнями образованными знаком — значит, умен: найдется, что и как сказать. А о смелости и толковать нечего. Всем известно, как он однажды потребовал у квартального извинения, когда тот в клубе

принял его за «человека»; не успел квартальный нахмуриться на это требование, как молва о смелости расплылась уже по миру и заняла умы…

— Ступай, Сеня! Не бойся! Так и скажи ему! Накося выкуси, мол! Не на тех наскочил, мол, ваше-ство! Шалишь! Ищи себе других холуев, а мы сам с усам, сами, ваше-ство, умеем фертикулясы выкидывать. Нечего тень наводить! Так-то… Ступай, Сеня… друг… Причешись только… Так и скажи…

— Вспыльчив я, господа… Наговорю, чего доброго. Шел бы Зрачков лучше!

— Нет, Сеня, ты иди… Зрачков молодец только против овец, да и то в пьяном виде… дурак он, а ты все-таки… Иди, душечка…

Дездемонов причесался, поправил жилет, кашлянул в кулак и пошел… Все притаили дыхание. Войдя в кабинет, Дездемонов остановился у двери и дрожащей рукой провел себя по губам: ну, как начать? Под ложечкой похолодело и перетянуло, точно поясом, когда он увидел лысину с знакомой черненькой бородавкой… По спине загулял ветерок… Это не беда, впрочем; со всяким от непривычки случается, робеть только не нужно… Смелей!

— Эээ… чего тебе?

Дездемонов сделал шаг вперед, шевельнул языком, но не издал ни одного звука: во рту что-то запуталось. Одновременно почувствовал депутат, что не в одном только рту идет путаница: и во внутренностях тоже… Из души храбрость пошла в живот, пробурчала там, по бедрам ушла в пятки и застряла в сапогах… А сапоги порванные… Беда!

— Эээ… чего тебе? Не слышишь?

— Гм… Я ничего… Я только так. Я, ваше-ство, слышал… слышал…

Дездемонов придержал язык, но язык не слушался и продолжал:

— Я слышал, что ее-ство разыгрывают в лотерею карету… Билетик, ваше-ство… Кгм… ваше-ство…

— Билет? Хорошо… У меня пять билетов осталось, только… Все пять возьмешь?

— Не… не… нет, ваше-ство… Один билетик… достаточно…

— Все пять возьмешь, я тебя спрашиваю?

— Очень хорошо-с, ваше-ство!

— По шести рублей… Но с тебя можно по пяти… Распишись… От души желаю тебе выиграть…

— Хе-хе-хи-с… Мерси-с, ваше-ство… Гм… Очень приятно…

— Ссступай!

Через минуту Дездемонов стоял среди швейцарской и, красный как рак, со слезами на глазах просил у приятелей 25 рублей взаймы.

— Отдал ему, братцы, 25 рублей, а это не мои деньги!

Это теща дала за квартиру заплатить… Дайте, господа! Прошу вас!

— Чего же ты плачешь? В карете ездить будешь…

— В карете… Карета… Людей пугать я каретой буду, что ли? Я не духовное лицо! Да куда я ее поставлю, если выиграю? Куда я ее дену?

Говорили долго, а пока они говорили, Макар (он грамотен) записывал, записав же… и т. д. Длинно, господа! Во всяком случае из сего проистекает мораль: не бунтуй!

О том, как я в законный брак вступил
(Рассказец)

Когда пунш был выпит, родители пошептались и оставили нас.

— Валяй! — шепнул мне папаша, уходя. — Наяривай!

— Но могу ли я объясняться ей в любви, — прошептал я, — ежели я ее не люблю?

— Не твое дело... Ты, дурак, ничего не понимаешь...

Сказав это, папаша измерил меня гневным взглядом и вышел из беседки. Чья-то старушечья рука показалась в притворенной двери и утащила со стола свечку. Мы остались в темноте.

«Ну, чему быть, того не миновать!» — подумал я и, кашлянув, сказал бойко:

— Обстоятельства мне благоприятствуют, Зоя Андреевна. Мы наконец одни и темнота способствует мне, ибо она скрывает стыд лица моего... Стыд сей от чувств происходит, коими моя душа пылает.

Но тут я остановился. Я услышал, как билось сердце Зои Желваковой и как стучали ее зубки.

Во всем ее организме происходило дрожание, которое было слышимо и чувствуемо через дрожание скамьи. Бедная девочка не любила меня. Она ненавидела меня, как собака палку, и презирала, ежели только можно допустить, что глупые презирать способны. Я теперь на орангуташку похож, безобразен, хоть и украшен чинами и орденами, тогда же я всем зверям подобен был: толстомордый, угреватый, щетинистый… От постоянного насморка и спиртуозов нос имел красный, раздутый. Ловкости моей не могли завидовать даже медведи. А касательно душевных качеств и говорить нечего. С нее же, с Зои-то, когда еще моей невестой не была, неправедную взятку взял. Я остановился, потому что мне жалко ее стало.

— Выйдемте в сад, — сказал я. — Здесь душно…

Вышли и пошли по аллейке. Родители, подслушивавшие за дверью, при нашем появлении юркнули в кусты. По Зоиному лицу забегал лунный свет. Глуп я был тогда, а сумел прочесть на этом лице всю сладость неволи! Я вздохнул и продолжал:

— Соловей поет, женушку свою забавляет… А кого-то я, одинокий, могу позабавить?

Зоя покраснела и опустила глазки. Это ей было

приказано так сактрисничать. Сели на скамью, лицом к речке. За речкой белела церковь, а позади церкви возвышался господина графа Кулдарова дом, в котором жил конторщик Больницын, любимый Зоею человек. Зоя, как села на скамью, так и вперила взгляд свой в этот дом… Сердце у меня съежилось и поморщилось от жалости. Боже мой, боже мой! Царство небесное нашим родителям, но… хоть бы недельку в аду они посидели!

— От одной особы все мое счастье зависит, — продолжал я. — Я питаю к этой особе чувства… обоняние… Я люблю ее, и ежели она меня не любит, то я, значит, погиб… помер… Эта особа есть вы. Можете вы меня любить? а? Любите?

— Люблю, — прошептала она.

Я, признаться, помертвел от этого ее слова. Думал я раньше, что она закандрычится и откажет мне, так как сильно другого любит. Надеялся я на это страсть как, а вышло насупротив… Не хватило у ней силы против рожна идти.

— Люблю, — повторила она и заплакала.

— Не может этого быть-с! — заговорил я, сам не зная, что говорю, и дрожа всем телом. — Разве это возможно? Зоя Андреевна, голубушка моя, не верьте! Ей же богу, не верьте! Не люблю я вас! Будь я трижды анафема проклят, ежели я

люблю! И вы меня не любите! Все это чепуха одна только…

Я вскочил и забегал около скамьи.

— Не надо! Все это одна только комедь! Женят нас насильно, Зоя Андреевна, ради имущественных интересов; какая же тут любовь? Мне легче камень осельный на шею, чем вас за себя взять, вот что! Какого ж черта! Какое они имеют полное право? Что мы для них? Крепостные? Собаки? Не женимся! На зло! Дряни этакие! Довольно уж мы им поблажку делали! Пойду сейчас и скажу, что не хочу жениться на вас, вот и все!

Лицо Зои вдруг перестало плакать и в мгновение ока высохло.

— Пойду и скажу! — продолжал я. — И вы тоже скажете. Вы скажете им, что вовсе меня не любите, а что любите Больницына. И я буду руку Больницына держать… Мне известно, как страстно вы его любите!

Зоя засмеялась от счастья и заходила рядом со мной.

— Да ведь и вы любите другую, — сказала она, потирая руки. — Вы любите мадмуазель Дэбе.

— Да, — говорю, — мадмуазель Дэбе. Она хоть не православная и не богатая, а я ее люблю за ум и душеспасительные качества… Пусть про-

клинают, а я женюсь на ней. Я люблю ее, может быть, больше, чем жизнь люблю! Я без нее жить не могу! Ежели я не женюсь на ней, то я и жить не захочу! Сейчас пойду… Пойдемте и скажем этим шутам. Спасибо вам, голубушка… Как вы меня утешили!



В душу мою хлынуло счастье, и стал я благодарить Зою, а Зоя меня. И оба мы, счастливые, благодарные, стали друг другу руки целовать, благородными друг друга называть… Я ей руки целую, а она меня в голову, в мою щетину. И, кажется, даже обнял ее, этикеты забыв. И, можно вам сказать, это объяснение в нелюбви было

счастливее любого любовного объяснения. Пошли мы, радостные, розовые и трепещущие, к дому, волю нашим родителям объявить. Идем и друг друга подбодряем.

— Пусть нас поругают, — говорю, — побьют, выгонят даже, да зато мы счастливы будем!

Входим в дом, а там у дверей стоят родители и ждут. Глядят на нас, видят, что мы счастливы, и давай махать лакею. Лакей подходит с шампанским. Я начинаю протестовать, махать руками, стучать… Зоя плачет, кричит… Шум поднялся, гвалт, и не удалось выпить шампанского.

Но нас все-таки поженили.

Сегодня мы празднуем нашу серебряную свадьбу. Четверть столетия вместе прожили! Сначала жутко приходилось. Бранил ее, лупцевал, принимался любить ее с горя… Детей имели с горя… Потом… ничего себе… попривыкли… А в настоящий момент стоит она, Зоечка, за моей спиной и, положив ручки на мои плечи, целует меня в лысину.

Из дневника помощника бухгалтера

1863 г. Май, 11. Наш шестидесятилетний бухгалтер Глоткин пил молоко с коньяком по случаю кашля и заболел по сему случаю белою горячкой. Доктора, со свойственною им самоуверенностью, утверждают, что завтра помрет. Наконец таки я буду бухгалтером! Это место мне уже давно обещано.

Секретарь Клещев пойдет под суд за нанесение побоев просителю, назвавшему его бюрократом. Это, по-видимому, решено.

Принимал декокт от катара желудка.

1865 г. Август, 3. У бухгалтера Глоткина опять заболела грудь. Стал кашлять и пьет молоко с коньяком. Если помрет, то место останется за мной. Питаю надежду, но слабую, ибо, по-видимому, белая горячка не всегда смертельна!

Клещев вырвал у армянина вексель и порвал. Пожалуй, дело до суда дойдет.

Одна старушка (Гурьевна) вчера говорила, что у меня не катар, а скрытый геморрой. Очень может быть!

1867 г. Июнь, 30. В Аравии, пишут, холера. Быть может, в Россию придет, и тогда откроется много

вакансий. Быть может, старик Глоткин помрет и я получу место бухгалтера. Живуч человек! Жить так долго, по-моему, даже предосудительно.

Что бы такое от катара принять? Не принять ли цитварного семени?

1870 г. Январь, 2. Во дворе Глоткина всю ночь выла собака. Моя кухарка Пелагея говорит, что это верная примета, и мы с нею до двух часов ночи говорили о том, как я, ставши бухгалтером, куплю себе енотовую шубу и шлафрок. И, пожалуй, женюсь. Конечно, не на девушке — это мне не по годам, а на вдове.

Вчера Клещев выведен был из клуба за то, что вслух неприличный анекдот рассказывал и смеялся над патриотизмом члена торговой депутации Понюхова. Последний, как слышно, подает в суд.

Хочу с катаром к доктору Боткину сходить. Говорят, хорошо лечит…

1878 г. Июнь, 4. В Ветлянке, пишут, чума. Народ так и валится, пишут. Глоткин пьет по этому случаю перцовку. Ну, такому старику едва ли поможет перцовка. Если придет чума, то уж наверное я буду бухгалтером.

1883 г. Июнь, 4. Умирает Глоткин. Был у него и со слезами просил прощения за то, что смерти его

с нетерпением ждал. Простил со слезами великодушно и посоветовал мне употреблять от катара желудевый кофий.

А Клещев опять едва не угодил под суд: заложил еврею взятый напрокат фортепьян. И несмотря на все это, имеет уже Станислава и чин коллежского асессора. Удивительно, что творится на этом свете!

Инбиря 2 золотника, калгана 1 ½ зол., острой водки 1 зол., семибратней крови 5 зол.; все смешав, настоять на штофе водки и принимать от катара натощак по рюмке.

Того же года. Июнь, 7. Вчера хоронили Глоткина. Увы! Не в пользу мне смерть сего старца! Снится мне по ночам в белой хламиде и кивает пальцем. И, о горе, горе мне, окаянному: бухгалтер не я, а Чаликов. Получил это место не я, а молодой человек, имеющий протекцию от тетки генеральши. Пропали все мои надежды!

1886 г. Июнь, 10. У Чаликова жена сбежала. Тоскует, бедный. Может быть, с горя руки на себя наложит. Ежели наложит, то я — бухгалтер. Об этом уже разговор. Значит, надежда еще не потеряна, жить можно и, пожалуй, до енотовой шубы уже недалеко. Что же касается женитьбы, то я не прочь. Отчего не жениться, ежели представится

хороший случай, только нужно посоветоваться с кем-нибудь; это шаг серьезный.

Клещев обменялся калошами с тайным советником Лирмансом. Скандал!

Швейцар Паисий посоветовал от катара сулему употреблять. Попробую.

Козел или негодяй?

Знойное «после обеда». На кушетке в гостиной полулежит барышня лет восемнадцати. По ее лицу гуляют мухи, у ног валяется открытая книга, рот полуоткрыт, дыхание чуть-чуть… Она спит.

В гостиную входит старичок из породы гоголевских мышиных жеребчиков. Увидев спящую девушку, он ухмыляется и подходит к ней на цыпочках.

— Какая… прелесть! — шепчет он, шамкая губами. — Спящая… хе-хе… красавица… Как жаль, что я не художник! Эта головка… эта ручка!

Старец наклоняется к ручке девушки, гладит ее своей закорузлой рукой и… чмок! Девушка глубоко вздыхает, открывает глаза и с недоумением смотрит на старца.

— Ах… это вы, князь? — бормочет она, пересиливая сон. — Pardon, я, кажется, уснула!

— Ну да, вы спите, — лепечет князь. — Вы и теперь спите, а я вам снюсь… Вы это во сне меня видите… Спите, спите… Я только снюсь вам…

Девушка верит и закрывает глаза.

— Как я несчастна! — шепчет она, засыпая. — Вечно мне снятся то козлы, то негодяи!

Князь слышит этот шепот, конфузится и на цыпочках стушевывается.

Смерть чиновника
(Случай)

В один прекрасный вечер не менее прекрасный экзекутор, Иван Дмитрич Червяков, сидел во втором ряду кресел и глядел в бинокль на «Корневильские колокола»[107]. Он глядел и чувствовал себя на верху блаженства. Но вдруг… В рассказах часто встречается это «но вдруг». Авторы правы: жизнь так полна внезапностей! Но вдруг лицо его поморщилось, глаза подкатились, дыхание остановилось… он отвел от глаз бинокль, нагнулся и… апчхи!!! Чихнул, как видите. Чихать никому и нигде не возбраняется. Чихают и мужики, и полицеймейстеры, и иногда даже и тайные советники. Все чихают. Червяков нисколько не сконфузился, утерся платочком и, как вежливый человек, поглядел вокруг себя: не обеспокоил ли он кого-нибудь своим чиханьем? Но тут уж пришлось сконфузиться. Он увидел, что старичок, сидевший впереди него, в первом ряду кресел, старательно вытирал свою лысину

---

[107] Примечания: 107

«Корневильские колокола» — оперетта французского композитора Робера Планкетта.

и шею перчаткой и бормотал что-то. В старичке Червяков узнал статского генерала Бризжалова, служащего по ведомству путей сообщения.

«Я его обрызгал! — подумал Червяков. — Не мой начальник, чужой, но все-таки неловко. Извиниться надо».

Червяков кашлянул, подался туловищем вперед и зашептал генералу на ухо:

— Извините, ваше-ство, я вас обрызгал… я нечаянно…

— Ничего, ничего…

— Ради бога, извините. Я ведь… я не желал!

— Ах, сидите, пожалуйста! Дайте слушать!

Червяков сконфузился, глупо улыбнулся и начал глядеть на сцену. Глядел он, но уж блаженства больше не чувствовал. Его начало помучивать беспокойство.

В антракте он подошел к Бризжалову, походил возле него и, поборовши робость, пробормотал:

— Я вас обрызгал, ваше-ство… Простите… Я ведь… не то чтобы…

— Ах, полноте… Я уж забыл, а вы все о том же! — сказал генерал и нетерпеливо шевельнул нижней губой.

«Забыл, а у самого ехидство в глазах, — подумал Червяков, подозрительно поглядывая на

генерала. — И говорить не хочет. Надо бы ему объяснить, что я вовсе не желал… что это закон природы, а то подумает, что я плюнуть хотел. Теперь не подумает, так после подумает!..»

Придя домой, Червяков рассказал жене о своем невежестве. Жена, как показалось ему, слишком легкомысленно отнеслась к происшедшему; она только испугалась, а потом, когда узнала, что Бризжалов «чужой», успокоилась.

— А все-таки ты сходи, извинись, — сказала она. — Подумает, что ты себя в публике держать не умеешь!

— То-то вот и есть! Я извинялся, да он как-то странно… Ни одного слова путного не сказал. Да и некогда было разговаривать.

На другой день Червяков надел новый вицмундир, подстригся и пошел к Бризжалову объяснить. Войдя в приемную генерала, он увидел там много просителей, а между просителями и самого генерала, который уже начал прием прошений. Опросив несколько просителей, генерал поднял глаза и на Червякова.

— Вчера в «Аркадии»[108], ежели припомните, ваше-ство, — начал докладывать экзекутор, — я

---

[108] Примечания: 108

«Аркадия» — название летнего сада с театром в Петербурге.

чихнул-с и… нечаянно обрызгал… Изв…

— Какие пустяки… Бог знает что! Вам что угодно? — обратился генерал к следующему просителю.

«Говорить не хочет! — подумал Червяков, бледнея. — Сердится, значит… Нет, этого нельзя так оставить… Я ему объясню…»

Когда генерал кончил беседу с последним просителем и направился во внутренние апартаменты, Червяков шагнул за ним и забормотал:

— Ваше-ство! Ежели я осмеливаюсь беспокоить ваше-ство, то именно из чувства, могу сказать, раскаяния!.. Не нарочно, сами изволите знать-с!

Генерал состроил плаксивое лицо и махнул рукой.

— Да вы просто смеетесь, милостисдарь! — сказал он, скрываясь за дверью.

«Какие же тут насмешки? — подумал Червяков. — Вовсе тут нет никаких насмешек! Генерал, а не может понять! Когда так, не стану же я больше извиняться перед этим фанфароном! Черт с ним! Напишу ему письмо, а ходить не стану! Ей-богу, не стану!»

Так думал Червяков, идя домой. Письма генералу он не написал. Думал, думал, и никак не выдумал этого письма. Пришлось на другой день

идти самому объяснять.

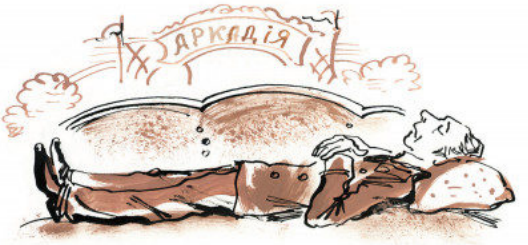
— Я вчера приходил беспокоить ваше-ство, — забормотал он, когда генерал поднял на него вопрошающие глаза, — не для того, чтобы смеяться, как вы изволили сказать. Я извинялся за то, что, чихая, брызнул-с… а смеяться я и не думал. Смею ли я смеяться? Ежели мы будем смеяться, так никакого тогда, значит, и уважения к персонам… не будет…

— Пошел вон!!! — гаркнул вдруг посиневший и затрясшийся генерал.

— Что-с? — спросил шепотом Червяков, млея от ужаса.

— Пошел вон!!! — повторил генерал, затопав ногами.

В животе у Червякова что-то оторвалось. Ничего не видя, ничего не слыша, он попятился к двери, вышел на улицу и поплелся… Придя машинально домой, не снимая вицмундира, он лег на диван и… помер.


АРКАДІЯ

Злой мальчик

Иван Иваныч Лапкин, молодой человек приятной наружности, и Анна Семеновна Замблицкая, молодая девушка со вздернутым носиком, спустились вниз по крутому берегу и уселись на скамеечке. Скамеечка стояла у самой воды, между густыми кустами молодого ивняка. Чудное местечко! Сели вы тут, и вы скрыты от мира — видят вас одни только рыбы да пауки-плауны, молнией бегающие по воде. Молодые люди были вооружены удочками, сачками, банками с червями и прочими рыболовными принадлежностями. Усевшись, они тотчас же принялись за рыбную ловлю.

— Я рад, что мы наконец одни, — начал Лапкин, оглядываясь. — Я должен сказать вам многое, Анна Семеновна… Очень многое… Когда я увидел вас в первый раз… У вас клюет… Я понял тогда, для чего я живу, понял, где мой кумир, которому я должен посвятить свою честную, трудовую жизнь… Это, должно быть, большая клюет… Увидя вас, я полюбил впервые, полюбил страстно! Подождите дергать… пусть лучше клюнет… Скажите мне, моя дорогая, заклинаю вас, могу ли я

рассчитывать — не на взаимность, нет! — этого я не стою, я не смею даже помыслить об этом, — могу ли я рассчитывать на… Тащите!

Анна Семеновна подняла вверх руку с удилищем, рванула и вскрикнула. В воздухе блеснула серебристо-зеленая рыбка.

— Боже мой, окунь! Ай, ах… Скорей! Сорвался!

Окунь сорвался с крючка, запрыгал по травке к родной стихии и… бултых в воду!

В погоне за рыбой Лапкин, вместо рыбы, как-то нечаянно схватил руку Анны Семеновны, нечаянно прижал ее к губам… Та отдернула, но уже было поздно: уста нечаянно слились в поцелуй. Это вышло как-то нечаянно. За поцелуем следовал другой поцелуй, затем клятвы, уверения… Счастливые минуты! Впрочем, в этой земной жизни нет ничего абсолютно счастливого. Счастливое обыкновенно носит отраву в себе самом или же отравляется чем-нибудь извне. Так и на этот раз. Когда молодые люди целовались, вдруг послышался смех. Они взглянули на реку и обомлели: в воде по пояс стоял голый мальчик. Это был Коля, гимназист, брат Анны Семеновны. Он стоял в воде, глядел на молодых людей и ехидно улыбался.

— А-а-а… вы целуетесь? — сказал он. — Хорошо же! Я скажу мамаше.

— Надеюсь, что вы, как честный человек. — забормотал Лапкин, краснея. — Подсматривать подло, а пересказывать низко, гнусно и мерзко… Полагаю, что вы, как честный и благородный человек…

— Дайте рубль, тогда не скажу! — сказал благородный человек. — А то скажу.

Лапкин вынул из кармана рубль и подал его Коле. Тот сжал рубль в мокром кулаке, свистнул и поплыл. И молодые люди на этот раз уже больше не целовались.

На другой день Лапкин привез Коле из города краски и мячик, а сестра подарила ему все свои коробочки из-под пилюль. Потом пришлось подарить и запонки с собачьими мордочками. Злому мальчику, очевидно, все это очень нравилось, и, чтобы получить еще больше, он стал наблюдать. Куда Лапкин с Анной Семеновной, туда и он. Ни на минуту не оставлял их одних.

— Подлец! — скрежетал зубами Лапкин. — Как мал, и какой уже большой подлец! Что же из него дальше будет?!



Весь июнь Коля не давал житья бедным влюбленным. Он грозил доносом, наблюдал и требовал подарков; и ему все было мало, и в конце концов он стал поговаривать о карманных часах. И что же? Пришлось пообещать часы.

Как-то раз за обедом, когда подали вафли, он вдруг захохотал, подмигнул одним глазом и спросил у Лапкина:

— Сказать? А?

Лапкин страшно покраснел и зажевал вместо вафли салфетку. Анна Семеновна вскочила из-за

стола и убежала в другую комнату.

И в таком положении молодые люди находились до конца августа, до того самого дня, когда, наконец, Лапкин сделал Анне Семеновне предложение. О, какой это был счастливый день! Поговоривши с родителями невесты и получив согласие, Лапкин прежде всего побежал в сад и принялся искать Колю. Найдя его, он чуть не зарыдал от восторга и схватил злого мальчика за ухо. Подбежала Анна Семеновна, тоже искавшая Колю, и схватила за другое ухо. И нужно было видеть, какое наслаждение было написано на лицах у влюбленных, когда Коля плакал и умолял их:

— Миленькие, славненькие, голубчики, не буду! Ай, ай, простите!

И потом оба они сознавались, что за все время, пока были влюблены друг в друга, они ни разу не испытывали такого счастья, такого захватывающего блаженства, как в те минуты, когда драли злого мальчика за уши.

3000 иностранных слов, вошедших в употребление русского языка

Адмиральский час. Час, названный так в честь вице-адмиралов и контр-адмиралов.

Актер. Истинный христианин, соблюдающий посты.

Бестия. Талантливый человек.

Ватер-клозет. По замечанию одного статского советника, кабинет задумчивости.

Гонорар. Произведение, получаемое от умножения числа строк на число, редко превышающее 5.

Институт урядников. Институт, в который не советую вам отдавать ваших дочерей. Прием во всякое время года. Принимаются куры, гуси и прочая живность.

Каналья. Бранное слово, употребляемое иногда в ласкательном смысле либеральными квартальными надзирателями.

Коллежский регистратор. Среди великих мира сего то же, что пескарь среди рыб.

Куроцап (от латинских слов: «curo» — забочусь и «sapor» — лакомый кусок). Блюститель, заботя-

щийся о куске обывателя.

Курс. Барометр, который легко можно испортить.

Обже. Чья-либо «она», живущая на иждивении «его».

Субъект. Ругательное слово.

Тра-ля-ля. Мужские панталоны на языке дачниц.

Человек без селезенки. Псевдоним, под которым, быть может, скрывается король Сандвичевых островов или испанский гранд. Но кто бы он ни был, он почтительнейше ставит точку.

Перепутанные объявления

С предлагаемыми объявлениями случился на праздниках маленький скандал, не имеющий, впрочем, особенной важности и не предусмотренный законодателем: набрав их и собирая в гранки, наборщик уронил весь шрифт на пол. Гранки смешались и вышла путаница, не имеющая, впрочем, уголовного характера. Вот что получилось по тиснении:

Трехэтажный дворник ищет места гувернантки.

«Цветы и змеи» Л. И. Пальмина с прискорбием извещают родных и знакомых о кончине супруга и отца своего камер-юнкера А. К. Пустоквасова.

С дозволения начальства сбежал пудель фабрики Сиу и Ко.

Жеребец вороной масти, скаковой, специалист по женским и нервным болезням, дает уроки фехтования.

Общество пароходства «Самолет» ищет места горничной.

Редакция журнала «Нива» имеет для рожениц отдельные комнаты. Секрет и удобства. Дети и нижние чины платят половину. Просят не тро-

гать руками.

Конкурсное правление по делам о несостоятельности купца Кричалова продает за ненадобностью рак желудка и костоеду.

По случаю ненастной погоды зубной врач Крахтер вставляет зубы. Панихиды ежедневно.

Новость! Студент-математик с золотою медалью, находясь в бедственном положении, предлагает почтеннейшей публике белье и приданое. Обеды и завтраки по разнообразнейшим меню.

С 1-го февраля будет выходить без предварительной цензуры акушерка Дылдина. Всякая подделка строго преследуется законом.

Добродетельный кабатчик
(Плач оскудевшего)

— Подай, голубчик, холодненькой закусочки… Ну и… водочки…

Надгробная эпитафия

Сижу теперь, тоскую и мудрствую.

Во время оно в родовой усадьбе моей были куры, гуси, индейки — птица глупая, нерассудительная, но весьма и весьма вкусная. На моем конском заводе плодились и размножались «ах, вы, кони мои, кони…», мельницы не стояли без дела, копи уголь давали, бабы малину собирали. На десятинах преизбыточествовали флора и фауна, хочешь — ешь, хочешь — зоологией и ботаникой занимайся. Можно было и в первом ряду посидеть, и в картишки поиграть, и содержаночкой похвастать…

Теперь не то, совсем не то!

Год тому назад, на Ильин день, сидел я у себя на террасе и тосковал. Передо мной стоял чайник, засыпанный рублевым чаем… На душе кошки скребли, реветь хотелось.

Я тосковал и не заметил, как подошел ко мне

Ефим Цуцыков, кабатчик, мой бывший крепостной. Он подошел и почтительно остановился возле стола.

— Вы бы приказали, барин, крышу выкрасить! — сказал он, ставя на стол бутылку водки. — Крыша железная, без краски ржавеет. А ржа, известно, ест… Дыры будут!

— За какие же деньги я выкрашу, Ефимушка? — говорю я. — Сам знаешь…

— Займите-с! Дыры будут, ежели… Да приказали бы еще, барин, сторожа в сад принанять… Деревья воруют!

— Ах, опять-таки нужны деньги!

— Я дам… Все одно, отдадите. Не в первый раз берете-то…

Отвалил мне Цуцыков пятьсот целковых, взял вексель и ушел. По уходе его я подпер голову кулаками и задумался о народе и его свойствах… Хотел даже в «Русь» статью писать…

— Благодетельствует мне, великодушничает… за что? За то, что я его… сек когда-то. Какое отсутствие злопамятности! Учитесь, иностранцы!

Через неделю загорелся у меня во дворе сарайчик. Первым прибежал на пожар Цуцыков. Он собственноручно разнес сарайчик и притащил свои брезенты, чтобы в случае чего укрыть ими

мой дом. Он дрожал, был красен, мокр, точно свое добро отстаивал.

— Теперь новый строить нужно, — сказал он мне после пожара. — У меня лесок есть, пришлю… Приказали бы, барин, прудик почистить… Вчерась карасей ловили и весь невод о водоросль разорвали… Триста рублей стоит… Возьмите! Не впервой берете-то…

И так далее… Почистили пруд, выкрасили все крыши, ремонтировали конюшни — и все это на деньги Цуцыкова.

Неделю тому назад приходит ко мне Цуцыков, становится у дверей и почтительно кашляет в кулак.

— И не узнаешь теперь вашей усадьбы-то, — говорит он. — Графу аль князю в пору жить… И пруды вычистили, и озимь посеяли, лошадушек завели…

— А все ты, Ефимушка! — говорю я, чуть не плача от умиления.

Встаю и самым искреннейшим образом обнимаю мужика…

— Бог даст, дела поправятся, все отдам, Ефимушка… С процентами. Дай мне еще раз обнять тебя!

— Все починили и благоустроили… Помог бог! Осталось теперь одно только: лисицу отседа

выкурить…

— Какую лисицу, Ефимушка?

— Известно какую…

И, помолчав немного, Цуцыков добавляет:

— Судебный пристав там приехал… Вы бутылки приберите-то… Неравно пристав увидит… Подумает, что у меня в имении только и дела, что пьянство… Фатеру прикажете вам в деревне нанять аль в город поедете?

Сижу теперь и мудрствую.



Дочь Альбиона

К дому помещика Грябова подкатила прекрасная коляска с каучуковыми шинами, толстым кучером и бархатным сиденьем. Из коляски выскочил уездный предводитель дворянства Федор Андреич Отцов. В передней встретил его сонный лакей.

— Господа дома? — спросил предводитель.

— Никак нет-с. Барыня с детями в гости поехали, а барин с мамзелью-гувернанткой рыбу ловят-с. С самого утра-с.

Отцов постоял, подумал и пошел к реке искать Грябова. Нашел он его версты за две от дома, подойдя к реке. Поглядев вниз с крутого берега и увидев Грябова, Отцов прыснул… Грябов, большой, толстый человек с очень большой головой, сидел на песочке, поджав под себя по-турецки ноги, и удил. Шляпа у него была на затылке, галстук сполз набок. Возле него стояла высокая, тонкая англичанка с выпуклыми рачьими глазами и большим птичьим носом, похожим скорей на крючок, чем на нос. Одета она была в белое кисейное платье, сквозь которое сильно просвечивали тощие, желтые плечи. На золотом поясе висели

золотые часики. Она тоже удила. Вокруг обоих царила гробовая тишина. Оба были неподвижны, как река, на которой плавали их поплавки.

— Охота смертная, да участь горькая! — засмеялся Отцов. — Здравствуй, Иван Кузьмич!

— А… это ты? — спросил Грябов, не отрывая глаз от воды. — Приехал?

— Как видишь… А ты все еще своей ерундой занимаешься! Не отвык еще?

— Кой черт… Весь день ловлю, с утра… Плохо что-то сегодня ловится. Ничего не поймал ни я, ни эта кикимора. Сидим, сидим и хоть бы один черт! Просто хоть караул кричи.

— А ты наплюй. Пойдем водку пить!

— Постой… Может быть, что-нибудь да поймаем. Под вечер рыба клюет лучше… Сижу, брат, здесь с самого утра! Такая скучища, что и выразить тебе не могу. Дернул же меня черт привыкнуть к этой ловле! Знаю, что чепуха, а сижу! Сижу, как подлец какой-нибудь, как каторжный, и на воду гляжу, как дурак какой-нибудь! На покос надо ехать, а я рыбу ловлю. Вчера в Хапоньеве преосвященный служил, а я не поехал, здесь просидел вот с этой стерлядью… с чертовкой с этой…

— Но… ты с ума сошел? — спросил Отцов, конфузливо косясь на англичанку. — Бранишься при

даме… и ее же…

— Да черт с ней! Все одно, ни бельмеса по-русски не смыслит. Ты ее хоть хвали, хоть брани — ей все равно! Ты на нос посмотри! От одного носа в обморок упадешь! Сидим по целым дням вместе, и хоть бы одно слово! Стоит, как чучело, и бельмы на воду таращит.

Англичанка зевнула, переменила червячка и закинула удочку.

— Удивляюсь, брат, я немало! — продолжал Грябов, — Живет дурища в России десять лет, и хоть бы одно слово по-русски!.. Наш какой-нибудь аристократишка поедет к ним и живо по-ихнему брехать научится, а они… черт их знает! Ты посмотри на нос! На нос ты посмотри!

— Ну, перестань… Неловко… Что напал на женщину?

— Она не женщина, а девица… О женихах, небось, мечтает, чертова кукла. И пахнет от нее какою-то гнилью… Возненавидел, брат, ее! Видеть равнодушно не могу! Как взглянет на меня своими глазищами, так меня и покоробит всего, словно я локтем о перила ударился. Тоже любит рыбу ловить. Погляди: ловит и священнодействует! С презрением на все смотрит… Стоит, каналья, и сознает, что она человек и что, стало быть, она

царь природы. А знаешь, как ее зовут? Уилька Чарльзовна Тфайс! Тьфу!.. и не выговоришь!

Англичанка, услышав свое имя, медленно повела нос в сторону Грябова и измерила его презрительным взглядом. С Грябова подняла она глаза на Отцова и его облила презрением. И все это молча, важно и медленно.

— Видал? — спросил Грябов, хохоча. — Нате, мол, вам! Ах ты, кикимора! Для детей только и держу этого тритона. Не будь детей, я бы ее и за десять верст к своему имению не подпустил… Нос точно у ястреба… А талия? Эта кукла напоминает мне длинный гвоздь. Так, знаешь, взял бы и в землю вбил. Постой… У меня, кажется, клюет…

Грябов вскочил и поднял удилище. Леска натянулась. Грябов дернул еще раз и не вытащил крючка.

— Зацепилась! — сказал он и поморщился. — За камень, должно быть… Черт возьми…

На лице у Грябова выразилось страдание. Вздыхая, беспокойно двигаясь и бормоча проклятья, он начал дергать за лесу. Дерганье ни к чему не привело. Грябов побледнел.

— Экая жалость! В воду лезть надо.

— Да ты брось!

— Нельзя… Под вечер хорошо ловится… Ведь

этакая комиссия, прости господи! Придется лезть в воду. Придется! А если бы ты знал, как мне не хочется раздеваться! Англичанку-то турнуть надо… При ней неловко раздеваться. Все-таки ведь дама!

Грябов сбросил шляпу и галстук.

— Мисс… эээ… — обратился он к англичанке. — Мисс Тфайс! Же ву при… [109] Ну, как ей сказать? Ну, как тебе сказать, чтобы ты поняла? Послушайте… туда! Туда уходите! Слышишь?

Мисс Тфайс облила Грябова презрением и издала носовой звук.

— Что-с? Не понимаете? Ступай, тебе говорят, отсюда! Мне раздеваться нужно, чертова кукла! Туда ступай! Туда!

Грябов дернул мисс за рукав, указал ей на кусты и присел: ступай, мол, за кусты и спрячься там… Англичанка, энергически двигая бровями, быстро проговорила длинную английскую фразу. Помещики прыснули.

— Первый раз в жизни ее голос слышу… Нечего сказать, голосок! Не понимает! Ну, что мне делать с ней?

— Плюнь! Пойдем водки выпьем!

---

[109] Примечания: 109
Я прошу вас (фр. Je vous prie).

— Нельзя, теперь ловиться должно… Вечер… Ну, что ты прикажешь делать? Вот комиссия! Придется при ней раздеваться…

Грябов сбросил сюртук и жилет и сел на песок снимать сапоги.

— Послушай, Иван Кузьмич, — сказал предводитель, хохоча в кулак. — Это уж, друг мой, глумление, издевательство.

— Ее никто не просит не понимать! Это наука им, иностранцам!

Грябов снял сапоги, панталоны, сбросил с себя белье и очутился в костюме Адама. Отцов ухватился за живот. Он покраснел и от смеха и от конфуза. Англичанка задвигала бровями и замигала глазами… По желтому лицу ее пробежала надменная, презрительная улыбка.



— Надо остынуть, — сказал Грябов, хлопая себя по бедрам. — Скажи на милость, Федор Андреич, отчего это у меня каждое лето сыпь на груди бывает?

— Да полезай скорей в воду или прикройся чем-нибудь! Скотина!

— И хоть бы сконфузилась, подлая! — сказал Грябов, полезая в воду и крестясь. — Брр… холодная вода… Посмотри, как бровями двигает! Не уходит… Выше толпы стоит! Хе-хе-хе… И за людей нас не считает!

Войдя по колена в воду и вытянувшись во весь свой громадный рост, он мигнул глазом и сказал:

— Это, брат, ей не Англия!

Мисс Тфайс хладнокровно переменила червячка, зевнула и закинула удочку. Отцов отвернулся. Грябов отцепил крючок, окунулся и с сопеньем вылез из воды. Через две минуты он сидел уже на песочке и опять удил рыбу.

Справка

Был полдень. Помещик Волдырев, высокий плотный мужчина с стриженой головой и с глазами навыкате, снял пальто, вытер шелковым платком лоб и несмело вошел в присутствие. Там скрипели…

— Где здесь я могу навести справку? — обратился он к швейцару, который нес из глубины присутствия поднос со стаканами. — Мне нужно тут справиться и взять копию с журнального постановления.

— Пожалуйте туда-с! Вот к энтому, что около окна сидит! — сказал швейцар, указав подносом на крайнее окно.

Волдырев кашлянул и направился к окну. Там за зеленым, пятнистым, как тиф, столом сидел молодой человек с четырьмя хохлами на голове, длинным угреватым носом и в полинялом мундире. Уткнув свой большой нос в бумаги, он писал. Около правой ноздри его гуляла муха, и он то и дело вытягивал нижнюю губу и дул себе под нос, что придавало его лицу крайне озабоченное выражение.

— Могу ли я здесь… у вас, — обратился к нему

Волдырев, — навести справку о моем деле? Я Волдырев… И кстати же мне нужно взять копию с журнального постановления от второго марта.

Чиновник умокнул перо в чернильницу и поглядел: не много ли он набрал? Убедившись, что перо не капнет, он заскрипел. Губа его вытянулась, но дуть уже не нужно было: муха села на ухо.

— Могу ли я навести здесь справку? — повторил через минуту Волдырев. — Я Волдырев, землевладелец…

— Иван Алексеич! — крикнул чиновник в воздух, как бы не замечая Волдырева. — Скажешь купцу Яликову, когда придет, чтобы копию с заявления в полиции засвидетельствовал! Тысячу раз говорил ему!

— Я относительно тяжбы моей с наследниками княгини Гугулиной, — пробормотал Волдырев. — Дело известное. Убедительно вас прошу заняться мною.

Все не замечая Волдырева, чиновник поймал на губе муху, посмотрел на нее со вниманием и бросил. Помещик кашлянул и громко высморкался в свой клетчатый платок. Но и это не помогло. Его продолжали не слышать. Минуты две длилось молчание. Болдырев вынул из кармана рублевую

бумажку и положил ее перед чиновником на раскрытую книгу. Чиновник сморщил лоб, потянул к себе книгу с озабоченным лицом и закрыл ее.



— Маленькую справочку... Мне хотелось бы только узнать, на каком таком основании наследники княгини Гугулиной... Могу ли я вас побеспокоить?

А чиновник, занятый своими мыслями, встал и, почесывая локоть, пошел зачем-то к шкапу.

Возвратившись через минуту к своему столу, он опять занялся книгой: на ней лежала рублевка.

— Я побеспокою вас на одну только минуту… Мне справочку сделать, только…

Чиновник не слышал; он стал что-то переписывать.

Болдырев поморщился и безнадежно поглядел на всю скрипевшую братию.

«Пишут! — подумал он, вздыхая. — Пишут, чтобы черт их взял совсем!»

Он отошел от стола и остановился среди комнаты, безнадежно опустив руки. Швейцар, опять проходивший со стаканами, заметил, вероятно, беспомощное выражение на его лице, потому что подошел к нему совсем близко и спросил тихо:

— Ну, что? Справлялись?

— Справлялся, но со мной говорить не хотят.

— А вы дайте ему три рубля… — шепнул швейцар.

— Я уже дал два.

— А вы еще дайте.

Волдырев вернулся к столу и положил на раскрытую книгу зеленую бумажку.

Чиновник снова потянул к себе книгу и занялся перелистыванием, и вдруг, как бы нечаянно, поднял глаза на Волдырева. Нос его залоснился,

покраснел и поморщился улыбкой.

— Ах… что вам угодно? — спросил он.

— Я хотел бы навести справку относительно моего дела… Я Волдырев.

— Очень приятно-с! По Гугулинскому делу-с? Очень хорошо-с! Так вам что же, собственно говоря?

Волдырев изложил ему свою просьбу.

Чиновник ожил, точно его подхватил вихрь. Он дал справку, распорядился, чтобы написали копию, подал просящему стул — и все это в одно мгновение. Он даже поговорил о погоде и спросил насчет урожая. И когда Волдырев уходил, он провожал его вниз по лестнице, приветливо и почтительно улыбаясь и делая вид, что он каждую минуту готов перед просителем пасть ниц. Волдыреву почему-то стало неловко и, повинуясь какому-то внутреннему влечению, он достал из кармана рублевку и подал ее чиновнику. А тот все кланялся и улыбался и принял рублевку, как фокусник, так что она только промелькнула в воздухе…

«Ну, люди…» — подумал помещик, выйдя на улицу, остановился и вытер лоб платком.

Мои чины и титулы

Я посланник. Каждое утро жена посылает меня на рынок за провизией.

Я надворный советник. Каждое утро перед уходом на рынок я советуюсь на дворе с дворником по поводу текущих вопросов.

Я городовой, потому что я живу в городе, а не в деревне.

Я дворянин — это несомненно. По вечерам я прогуливаюсь по двору, летом люблю спать на дворе, часто беседую с дворником и собаки мои называются дворняжками.

Я товарищ прокурора Ивана Иваныча, который иногда заходит ко мне и на основании всех статей X тома Свода законов пьет у меня пиво. Отношения наши самые товарищеские.

Я был особой IV, III, II и даже I классов, когда учился в гимназии.

Я следователь по особо важным делам. Не вынося посредственности, я обыкновенно следую примеру только того, кто совершает особенно важные дела…

Я кавалер, потому что имею Анну на шее… и какую Анну! Толстую, краснощекую, строптивую.

Я благочинный. Никто не ведет себя так благочинно, как я. Засвидетельствовать это могут наши дворники.

Я кассир, потому что имею кассу; бухгалтер, потому что веду лавочную, прачечную и записную книжки; письмоводитель, потому что веду переписку; сторож, потому что всегда сторожу свое добро, и звонарь, потому что часто звоню в мой колокольчик.

Я целовальник, потому что люблю целоваться.

Я тайный советник, потому что советуюсь с женой тайно от тещи.

Я сведущий человек по части выпивки и закуски.

Я батарейный командир, когда в моем распоряжении батарея бутылок.

Я человек без селезенки, когда ставлю точку.



Краткая анатомия человека

Одного семинариста спросили на экзамене: «Что такое человек?» Он отвечал: «Животное»… И, подумав немного, прибавил: «но… разумное»… Просвещенные экзаменаторы согласились только со второй половиной ответа, за первую же влепили единицу.

Человека как анатомическое данное составляют:

Скелет, или, как говорят фельдшера и классные дамы, «шкилет». Имеет вид смерти. Покрытый простынею, «пужает насмерть», без простыни же — не насмерть.

Голова имеется у всякого, но не всякому нужна. По мнению одних, дана для того, чтобы думать, по мнению других — для того, чтобы носить шляпу. Второе мнение не так рискованно… Иногда содержит в себе мозговое вещество. Один околоточный надзиратель, присутствуя однажды на вскрытии скоропостижно умершего, увидал мозг. «Это что такое?» — спросил он доктора. — «Это то, чем думают», — отвечал доктор. Околоточный презрительно усмехнулся…

Лицо. Зеркало души, но только не у адвокатов.

Имеет множество синонимов: морда, физиономия (у духовенства — физиогномия и лице), физия, физиомордия, рожество, образина, рыло, харя и проч.

Лоб. Его функции: стучать о пол при испрошении благ и биться о стену при неполучении этих благ. Очень часто дает реакцию на медь.

Глаза — полицеймейстеры головы. Блюдут и на ус мотают. Слепой подобен городу, из которого выехало начальство. В дни печалей плачут. В нынешние, беспечальные, времена плачут только от умиления.

Нос дан для насморков и обоняния. В политику не вмешивается. Изредка участвует в увеличении табачного акциза, чего ради и может быть причислен к полезным органам. Бывает красен, но не от вольнодумства — так полагают, по крайней мере, сведущие люди.

Язык. По Цицерону: hostis hominum et amicus diaboli feminarumque[110]. С тех пор как доносы стали писаться на бумаге, остался за штатом. У женщин и змей служит органом приятного времяпрепровождения. Самый лучший язык — вареный.

---

[110] Примечания: 110

Враг людей и друг дьявола и женщин (лат.).

Затылок нужен одним только мужикам на случай накопления недоимки. Орган для расходившихся рук крайне соблазнительный.

Уши. Любят дверные щели, открытые окна, высокую траву и тонкие заборы.

Руки. Пишут фельетоны, играют на скрипке, ловят, берут, ведут, сажают, бьют. У маленьких служат средством пропитания, у тех, кто побольше, — для отличия правой стороны от левой.

Сердце — вместилище патриотических и многих других чувств. У женщин — постоялый двор: желудочки заняты военными, предсердия — штатскими, верхушка — мужем. Имеет вид червонного туза.

Талия. Ахиллесова пятка читательниц «Модного света», натурщиц, швеек и прапорщиков-идеалистов. Любимое женское место у молодых женихов и у… продавцов корсетов. Второй наступательный пункт при любовно-объяснительной атаке. Первым считается поцелуй.

Брюшко. Орган не врожденный, а благоприобретенный. Начинает расти с чина надворного советника. Статский советник без брюшка — не действительный статский советник. (Каламбур?! Ха, ха!) У чинов ниже надворного советника называется брюхом, у купцов — нутром, у купчих

— утробой.

Микитки. Орган в науке не исследованный. По мнению дворников, находится пониже груди, по мнению фельдфебелей — повыше живота.

Ноги растут из того места, ради которого природа березу придумала. В большом употреблении у почталионов, должников, репортеров и посыльных.

Пятки. Местопребывание души у провинившегося мужа, проговорившегося обывателя и воина, бегущего с поля брани.

Знамение времени

В гостиной со светло-голубыми обоями объяснялись в любви.

Молодой человек приятной наружности стоял, преклонив одно колено, перед молодой девушкой и клялся.

— Жить я без вас не могу, моя дорогая! Клянусь вам! — задыхался он. — С тех пор как я увидел вас, я потерял покой! Дорогая моя, скажите мне… скажите… Да или нет?

Девушка открыла ротик, чтобы ответить, но в это время в дверях показалась голова ее брата.

— Лили, на минутку! — сказал брат.

— Чего тебе? — спросила Лили, выйдя к брату.

— Извини, моя дорогая, что я помешал вам, но… я брат, и моя священная обязанность предостеречь тебя. Будь поосторожнее с этим господином. Держи язык за зубами… Поберегись сказать что-нибудь лишнее.

— Но он делает мне предложение!

— Это твое дело… Объясняйся с ним, выходи за него замуж, но ради бога будь осторожна… Я знаю этого субъекта… Большой руки подлец! Сейчас же донесет, ежели что…

— Merci, Макс… А я и не знала!

Девушка воротилась в гостиную. Она ответила молодому человеку «да», целовалась с ним, обнималась, клялась, но была осторожна: говорила только о любви.

Новая болезнь и старое средство

Сечение по своим симптомам аналогично перемежающейся лихорадке (febris intermittens). Перед сечением больной бледен от спазма периферических сосудов. Зрачки его расширены. Нужно вообще заметить, что вид начальства раздражает вазомоторный центр и nervus oculomotorius. Больной чувствует озноб. Во время сечения мы замечаем повышение температуры и гиперестезию кожи. После сечения больной чувствует жар. Он весь в поту.

На основании этой аналогии я советую учащимся перед уходом в училище принимать хинин.



Майонез

Астрономы сильно обрадовались, когда открыли на солнце пятна. Случай беспримерного злорадства!

* * *

Чиновник брал взятку. В самый момент грехопадения вошел его начальник и подозрительно впился глазами в его кулак, в котором лежала благодарственная кредитка. Чиновник ужасно смутился.

— Послушайте! — обратился он к просителю, разжимая кулак. — Вы позабыли что-то у меня в кулаке!

* * *

Когда козел бывает свиньей?

— Повадился к нашим козам чей-то козел ходить, — рассказывал один помещик. — Мы взяли и побили его. Он продолжал все-таки ходить. Мы его выпороли и к хвосту его палку привязали. Но и это не помогло. Подлец все еще продолжал ла-

зить к нашим козам. Хорошо же! Мы его поймали, насыпали ему в нос табаку и вымазали скипидаром. После этой экзекуции он не ходил три дня, а потом опять начал ходить. Ну, не свинья ли он после этого?

* * *

Примерная находчивость.

Петербургский репортер N. Z., обозревая прошлогоднюю мануфактурную выставку, остановил между прочим свое внимание на одном павильоне и начал что-то записывать.

— Это не вы обронили четвертную? — обратился к нему хозяин павильона, подавая ему бумажку.

— Я уронил две четвертные! — нашелся репортер.

Экспонент изумился такой находчивости и подал ему другую четвертную.

Это не анекдот, а быль.

Толстый и тонкий

На вокзале Николаевской железной дороги встретились два приятеля: один толстый, другой тонкий. Толстый только что пообедал на вокзале, и губы его, подернутые маслом, лоснились, как спелые вишни. Пахло от него хересом и флердоранжем. Тонкий же только что вышел из вагона и был навьючен чемоданами, узлами и картонками. Пахло от него ветчиной и кофейной гущей. Из-за его спины выглядывала худенькая женщина с длинным подбородком — его жена, и высокий гимназист с прищуренным глазом — его сын.

— Порфирий! — воскликнул толстый, увидев тонкого. — Ты ли это? Голубчик мой! Сколько зим, сколько лет!

— Батюшки! — изумился тонкий. — Миша! Друг детства! Откуда ты взялся?



Приятели троекратно облобызались и устремили друг на друга глаза, полные слез. Оба были приятно ошеломлены.

— Милый мой! — начал тонкий после лобызания. — Вот не ожидал! Вот сюрприз! Ну, да погляди же на меня хорошенько! Такой же красавец, как и был! Такой же душонок и щеголь! Ах ты, господи! Ну, что же ты? Богат? Женат? Я уже

женат, как видишь… Это вот моя жена, Луиза, урожденная Ванценбах… лютеранка… А это сын мой, Нафанаил, ученик III класса. Это, Нафаня, друг моего детства! В гимназии вместе учились!

Нафанаил немного подумал и снял шапку.

— В гимназии вместе учились! — продолжал тонкий. — Помнишь, как тебя дразнили? Тебя дразнили Геростратом за то, что ты казенную книжку папироской прожег, а меня Эфиальтом за то, что я ябедничать любил. Хо-хо… Детьми были! Не бойся, Нафаня! Подойди к нему поближе… А это моя жена, урожденная Ванценбах… лютеранка.

Нафанаил немного подумал и спрятался за спину отца.

— Ну, как живешь, друг? — спросил толстый, восторженно глядя на друга. — Служишь где? Дослужился?

— Служу, милый мой! Коллежским асессором уже второй год и Станислава имею. Жалованье плохое… ну, да бог с ним! Жена уроки музыки дает, я портсигары приватно из дерева делаю. Отличные портсигары! По рублю за штуку продаю. Если кто берет десять штук и более, тому, понимаешь, уступка. Пробавляемся кое-как. Служил, знаешь, в департаменте, а теперь сюда переве-

ден столоначальником по тому же ведомству… Здесь буду служить. Ну, а ты как? Небось, уже статский? А?

— Нет, милый мой, поднимай повыше, — сказал толстый. — Я уже до тайного дослужился… Две звезды имею.

Тонкий вдруг побледнел, окаменел, но скоро лицо его искривилось во все стороны широчайшей улыбкой; казалось, что от лица и глаз его посыпались искры. Сам он съежился, сгорбился, сузился… Его чемоданы, узлы и картонки съежились, поморщились. Длинный подбородок жены стал еще длиннее; Нафанаил вытянулся во фрунт и застегнул все пуговки своего мундира…

— Я, ваше превосходительство… Очень приятно-с! Друг, можно сказать, детства и вдруг вышли в такие вельможи-с! Хи-хи-с.

— Ну, полно! — поморщился толстый. — Для чего этот тон? Мы с тобой друзья детства — и к чему тут это чинопочитание!

— Помилуйте… Что вы-с… — захихикал тонкий, еще более съеживаясь. — Милостивое внимание вашего превосходительства… вроде как бы живительной влаги… Это вот, ваше превосходительство, сын мой Нафанаил… жена Луиза, лютеранка, некоторым образом…

Толстый хотел было возразить что-то, но на лице у тонкого было написано столько благоговения, сладости и почтительной кислоты, что тайного советника стошнило. Он отвернулся от тонкого и подал ему на прощанье руку.

Тонкий пожал три пальца, поклонился всем туловищем и захихикал, как китаец: «хи-хи-хи». Жена улыбнулась. Нафанаил шаркнул ногой и уронил фуражку. Все трое были приятно ошеломлены.

Признательный немец

Я знал одного признательного немца.

Впервые встретил я его во Франкфурте-на-Майне. Он ходил по Dummstrasse[111] и водил обезьянку. На лице его были написаны голод, любовь к отечеству и покорность судьбе. Он жалобно пел, а обезьянка плясала. Я сжалился над ними и дал им талер.

— О, благодарю вас! — сказал мне немец, прижимая к груди талер. — Благодарю! До могилы я не забуду вашего подаяния!

Во второй раз встретил я этого немца во Франкфурте-на-Одере. Он ходил по Eselstrasse[112] и продавал жареные сосиски. Завидев меня, он прослезился, поднял глаза к небу и сказал:

— О, благодарю вас, мейн герр! Я никогда не забуду того талера, которым вы спасли от голода меня и мою покойную обезьяну! Ваш талер тогда дал нам комфорт!

В третий раз встретил я его в России (in diesem

---

[111] Примечания: 111
Глупой улице (нем.).

[112] Примечания: 112
Ослиной улице (нем.).

Russland). Здесь он преподавал русским детям древние языки, тригонометрию и теорию музыки. В свободное от уроков время он искал себе место директора железной дороги.

— О, я помню вас! — сказал он мне, пожимая мою руку. — Все русские люди нехорошие люди, но вы исключение. Я не люблю русских, но о вас и вашем талере буду помнить до могилы!

Больше мы с ним не встречались.

Список экспонентов, удостоенных чугунных медалей по русскому отделу на выставке в Амстердаме

1) Нижегородская ярмарочная комиссия и томская публика — за анонимные письма. 2) Полковник Грачев в Симферополе — за бесподобное направление и сочинительство. 3) Город Москва — за купца Кукина. 4) Уездный помпадур Шлитер в Оренбурге — за приготовление и учет фальшивых векселей. 5) Коллежские регистраторы в Петербурге — за эластические спинные хребты. 6) Консисторские чиновники — за цыганскую совесть. 7) Администрация театра в Ростове-на-Дону — за отменное тупоумие, выразившееся особенно рельефно в постановке живых картин в день тургеневских похорон. 8) Управа в Могилеве-на-Днестре — за подложные свидетельства. 9) Русский целковый — за сжимаемость при всех температурах. 10) Русские просители — за замазку. 11) Кондуктора К.-Х.-А. и Донецкой каменноугольной ж. д. — за зайцев. 12) Педагоги в Твери — за отменную нетенденциозность в оценке таких плохих писателей, как какой-нибудь

Тургенев. 13) Г-н Пчельников и его фактотум жидок Гершельман в Московской дирекции театров — за распорядительность, тактичность вообще и за циркуляр к балеринам в особенности. 14) Я — за то, что я

Человек без селезенки.



Мои остроты и изречения

Если я побил, положим, живущего со мной в одном квартале г. Крокодилова в то время, когда он брал с моего домохозяина взятку, то не значит ли это, что я побил его при исполнении им его служебных обязанностей?

* * *

У мужика Петра было 5 гусей, 6 уток и 10 кур. На свои именины он зарезал одного гуся и двух кур. Спрашивается, что у него осталось, если известно, что во время обеда заходила к нему одна личность, и что это за личность? Ответ: остались одни только перья.

* * *

Принц Гамлет сказал: «Если обращаться с каждым по заслугам, кто же избавится от пощечины?» Неужели это может относиться и к театральным рецензентам?

* * *

В России больше охотнорядских мясников, чем мяса.

* * *

Превышение власти и административный произвол дантиста заключаются в вырывании здорового зуба рядом с больным. Это сказал один околоточный, читая «Логику» Милля.

* * *

Очковая змея — и либералка и в то же время консерваторка. Либерализм ее заключается в ношении очков. Все же остальные ее качества следует отнести к консерватизму.

Дочь коммерции советника
(Роман)

Коммерции советник Механизмов имеет трех дочерей: Зину, Машу и Сашу. За каждой из них положено в банк по сто тысяч приданого. Впрочем, не в этом дело.

Саша и Маша особенного из себя ничего не представляют. Они отлично пляшут, вышивают, вспыхивают, мечтают, любят поручиков — и больше, кажется, ничего; но зато старшая, Зина, принадлежит к числу редких, недюжинных натур. Легче встретиться на жизненном пути с непьющим репортером, чем с этакой натурой.

Были именины Саши. Мы, соседи-помещики, нарядились в лучшие одежды, запрягли лучших коней и поехали с поздравлениями в имение Механизмова. Лет 20 тому назад на месте этого имения стоял кабак. Кабак рос, рос и вырос в прекраснейшую ферму с садами, прудами, фонтанами и бульдогообразными лакеями. Приехав и поздравив, мы тотчас же сели обедать. Подали суп жульен. Перед жульен мы выпили по две рюмки и закусили.

— Не выпить ли нам по третьей? — предложил Механизмов. — Бог троицу любит и тово… трес хвациунт консылиу[113]… Латынь, братцы! Яшка, подай-ка, свиная твоя морда, с того стола селедочку! Господа дворяне, ну-кася! Без церемониев! Митрий Петрыч, же ву при але машер[114]!

[113] Примечания: 113

Tres faciunt consilium (лат.) — трое составляют совет.

[114] Примечания: 114

Я вас прошу, начинайте, дорогуша! (искаж. фр. — je vous prie allez, ma chère).



— Ах, папа! — заметила Маша. — Зачем же ты пристаешь? Ты точно купец Водянкин... с угощениями.

— Знаю, что говорю! Твое дело — зась! Это я только при гостях позволяю им на себя тыкать! — зашептал мне через стол Механизмов. — Для цивилизации! А без гостей — ни-ни!

— Из хама не выйдет пана! — вздохнул сидев-

ший рядом со мной генерал с лентой. — Свиньей был, свинья и есть…

Механизмов мало-помалу напился, вспомнил свою кабацкую старину и задурил. Он икал, брался говорить по-французски, сквернословил…

— Перестань! — заметил ему его друг генерал. — Всякому безобразию есть свое приличие! Какой же ты… братец!

— Безображу не за твои деньги, а за свои! Сам «Льва и Солнца» имею! Господа, а сколько вы с меня взяли, чтоб меня в почетные мировые произвести?

На одном конце стола отчаянно заворочался и треснул чей-то стул. Мы поглядели по направлению треска и увидели два больших черных глаза, метавших молнии и искры на Механизмова. Эти два глаза принадлежали Зине, высокой, стройной брюнетке, затянутой во все черное. По ее бледному лицу бегали розовые пятна, а в каждом пятне сидела злоба.

— Прошу тебя, отец, перестать! — сказала Зина. — Я не люблю шутов!

Механизмов робко взглянул на ее глаза, завертелся, выпил залпом стакан коньяку и умолк.

«Эге! — подумали мы. — Эта не Саша и не Маша. С этой нельзя шутить… Натура недюжинная…

Тово-с…»

И я залюбовался разгневанным лицом. Признаюсь, я и ранее был неравнодушен к Зине. Она прекрасна, глядит, как Диана, и вечно молчит. А вечно молчащая дева, сами знаете, носит в себе столько тайн! Это бутыль с неизвестного рода жидкостью — выпил бы, да боишься: а вдруг яд?

После обеда я подошел к Зине и, чтобы показать ей, что есть люди, которые понимают ее, заговорил о среде заедающей, о правде, труде, женской свободе. С женской свободы под влиянием «шофе» переехал я на паспортную систему, денежный курс, женские курсы… Я говорил с жаром, с дрожью, раз десять порывался схватить ее за руку… Говорил, впрочем, искренно и складно, точно передовую статью вслух читал. А она слушала и глядела на меня. Глаза ее становились все шире и круглее… Щеки заметно побледнели под влиянием моей речи… Наконец в глазах ее почему-то мелькнул испуг.

— Неужели вы говорите все это искренно? — спросила она, почему-то млея от ужаса.

— Я… не искренно?!.. Вам? Мне… Да клянусь вам, что…

Она схватила меня за руку, нагнулась к моему лицу и, задыхаясь, прошептала:

— Будьте сегодня в десять часов вечера в мраморной беседке… Умоляю вас! Я вам все скажу! Все!

Прошептала и скрылась за дверью. Я замер…

«Полюбила! — подумал я, заглядывая на себя в зеркало. — Не устояла!»

Я — к чему скромничать? — обаятельный мужчина. Рослый, статный, с черной, как смоль, бородой… В голубых глазах и на смуглом лице выражение пережитого страдания. В каждом жесте сквозит разочарованность. И, кроме всего этого, я богат. (Состояние нажил я литературой.)

В десятом часу я уже сидел в беседке и умирал от ожидания. В моей голове и в груди шумела буря. В сладкой, мучительной истоме закрывал я глаза и во мраке своих орбит видел Зину… Рядом с ней во мраке торчала почему-то и одна ехидная картинка, виденная мной в каком-то журнале: высокая рожь, дамская шляпка, зонт, палка, цилиндр… Да не осудит читатель меня за эту картинку! Не у одного только меня такая клубничная душа. Я знаю одного поэта-лирика, который облизывается и причмокивает губами всякий раз, когда к нему, вдохновенному, является муза… Ежели поэт позволяет себе такие вольности, то нам, прозаикам, и подавно простительно.

Ровно в десять у дверей беседки показалась освещенная луной Зина. Я подскочил к ней и схватил ее за руку.

— Дорогая моя… — забормотал я. — Я люблю вас… Люблю бешено, страстно!

— Позвольте! — сказала она, садясь и медленно поворачивая ко мне свое бледное лицо. — Отстраните (sic!) вашу руку!

Это было сказано так торжественно, что быстро один за другим повыскакивали из моей головы и цилиндр, и палка, и женская шляпка, и рожь…

— Вы говорите, что вы меня любите… Вы тоже мне нравитесь. Я могу выйти за вас замуж, но прежде всего я должна спасти вас, несчастный. Вы на краю погибели. Ваши убеждения губят вас! Неужели, несчастный, вы этого не видите? И неужели вы смеете думать, что я соединю свою судьбу с человеком, у которого такие убеждения? Нет! Вы мне нравитесь, но я сумею пересилить свое чувство. Спасайтесь же, пока не поздно! На первый раз хоть вот… вот это прочтите! Прочтите и вы увидите, как вы заблуждаетесь!

И она сунула в мою руку какую-то бумагу. Я зажег спичку и в своей бедной руке увидел прошлогодний нумер «Гражданина». Минуту я сидел молча, неподвижно, потом вскочил и схватил

себя за голову.

— Батюшки! — воскликнул я. — Одна во всем Лохмотьевском уезде недюжинная натура, да и та… и та дура! Боже мой!

Через десять минут я уже сидел в бричке и катил к себе домой.

Опекун

Я поборол свою робость и вошел в кабинет генерала Шмыгалова. Генерал сидел у стола и раскладывал пасьянс «каприз де дам».

— Что вам, милый мой? — спросил он меня ласково, кивнув на кресло.

— Я к вам, ваше-ство, по делу, — сказал я, садясь и неизвестно для чего застегивая свой сюртук. — Я к вам по делу, имеющему частный характер, не служебный. Я пришел просить у вас руки вашей племянницы Варвары Максимовны.

Генерал медленно повернул ко мне свое лицо, со вниманием поглядел на меня и уронил на пол карты. Он долго шевелил губами и выговорил:

— Вы… тово?.. Вы рехнулись, что ли? Вы рехнулись, я вас спрашиваю? Вы… осмеливаетесь? — прошипел он, багровея. — Вы осмеливаетесь, мальчишка, молокосос?! Осмеливаетесь шутить… милостисдарь…

И, топнув ногою, Шмыгалов крикнул так громко, что даже дрогнули стекла.

— Встать!!! Вы забываете, с кем вы говорите! Извольте-с убираться и не показываться мне на глаза! Извольте выйти! Вон-с!

— Но я хочу жениться, ваше превосходительство!

— Можете жениться в другом месте, но не у меня! Вы еще не доросли до моей племянницы, милостисдарь! Вы ей не пара! Ни ваше состояние, ни ваше общественное положение не дают вам права предлагать мне такое… предложение! С вашей стороны это дерзость! Прощаю вам, мальчишка, и прошу вас больше меня не беспокоить!

— Гм… Вы уже пятерых женихов спровадили таким образом… Ну, шестого вам не удастся спровадить. Я знаю причину этих отказов. Вот что, ваше превосходительство… Даю вам честное и благородное слово, что, женившись на Варе, я не потребую от вас ни копейки из тех денег, которые вы растратили, будучи Вариным опекуном. Даю честное слово!

— Повторите, что вы сказали! — проговорил генерал каким-то неестественно-трескучим голосом, нагнувшись и подбежав ко мне рысцой, как раздразненный гусак. — Повтори! Повтори, негодяй!

Я повторил. Генерал побагровел и забегал.

— Этого еще недоставало! — задребезжал он, бегая и поднимая вверх руки. — Недоставало еще, чтобы мои подчиненные наносили мне страш-

ные, несмываемые оскорбления в моем же доме! Боже мой, до чего я дожил! Мне… дурно!

— Но уверяю вас, ваше превосходительство! Не только не потребую, но даже ни единым словом не намекну вам на то, что вы по слабости характера растратили Варины деньги! И Варе прикажу молчать! Честное слово! Чего же вы кипятитесь, комод ломаете? Не отдам под суд!

— Какой-нибудь мальчишка, молокосос… нищий… осмеливается говорить прямо в лицо такие мерзости! Извольте выйти, молодой человек, и помните, что я этого никогда не забуду! Вы меня страшно оскорбили! Впрочем… прощаю вам! Вы сказали эту дерзость по легкомыслию своему, по глупости… Ах, не извольте трогать у меня на столе своими пальцами, черт вас возьми! Не трогайте карт! Уходите, я занят!

— Я ничего не трогаю! Что вы выдумываете? Я даю честное слово, генерал! Даю слово, что даже не намекну! И Варе запрещу требовать с вас! Что же вам еще нужно? Чудак вы, ей-богу… Растратили вы десять тысяч, оставленные ее отцом… Ну что ж? Десять тысяч не велики деньги… Можно простить…

— Я ничего не растрачивал… да-с! Я вам сейчас докажу! Сейчас вот… Я докажу!

Генерал дрожащими руками выдвинул из стола ящик, вынул оттуда кипу каких-то бумаг и, красный как рак, начал перелистывать. Перелистывал он долго, медленно и без цели. Бедняга был страшно взволнован и сконфужен. К его счастью, в кабинет вошел лакей и доложил о поданном обеде.

— Хорошо… После обеда я вам докажу! — забормотал генерал, пряча бумаги. — Раз навсегда… во избежание сплетни… Дайте только пообедать… увидите! Какой-нибудь, прости господи… молокосос, шаромыжка… молоко на губах не обсохло… Идите обедать! Я после обеда… вам.

Мы пошли обедать. Во время первого и второго блюда генерал был сердит и нахмурен. Он с остервенением солил себе суп, рычал, как отдаленный гром, и громко двигался на стуле.

— Чего ты сегодня такой злой? — заметила ему Варя. — Не нравишься ты мне, когда ты такой… право…

— Как ты смеешь говорить, что я тебе не нравлюсь! — окрысился на нее генерал.

Во время третьего и последнего блюда Шмыгалов глубоко вздохнул и замигал глазами. По лицу его разлилось выражение пришибленности, забитости… Он стал казаться таким несчастным,

обиженным! На лбу и на носу его выступил крупный пот. После обеда генерал пригласил меня к себе в кабинет.



— Голубчик мой! — начал он, не глядя на меня и теребя в руках мою фалду. — Берите Варю, я согласен… Вы хороший, добрый человек… Согласен… Благословляю вас… ее и тебя, мои ангелы… Ты меня извини, что до обеда я бранил тебя здесь… сердился… Это ведь я любя… отечески… Но только тово… я истратил не десять тысяч, а тово… шестнадцать… Я и те, что тетка Наталья ей

оставила, ухнул… проиграл… Давай на радостях… шампанского стебанем… Простил?

И генерал уставил на меня свои серые, готовые заплакать и в то же время ликующие глаза. Я простил ему еще шесть тысяч и женился на Варе.

Хорошие рассказы всегда оканчиваются свадьбой!

В почтовом отделении

Хоронили мы как-то на днях молоденькую жену нашего старого почтмейстера Сладкоперцева. Закопавши красавицу, мы, по обычаю дедов и отцов, отправились в почтовое отделение «помянуть».

Когда были поданы блины, старик-вдовец горько заплакал и сказал:

— Блины такие же румяненькие, как и покойница. Такие же красавцы! Точь-в-точь!

— Да, — согласились поминавшие, — она у вас действительно была красавица… Женщина первый сорт!

— Да-с… Все удивлялись, на нее глядючи. Но, господа, любил я ее не за красоту и не за добрый нрав. Эти два качества присущественны всей женской природе и встречаются довольно часто в подлунном мире. Я ее любил за иное качество души. А именно-с: любил я ее, покойницу, дай бог ей царство небесное, за то, что она, при бойкости и игривости своего характера, мужу своему была верна. Она была верна мне, несмотря на то, что ей было только двадцать, а мне скоро уж шестьдесят стукнет! Она была верна мне, старику!

Дьякон, трапезовавший с нами, красноречивым мычанием и кашлем выразил свое сомнение.

— Вы не верите, стало быть? — обратился к нему вдовец.

— Не то что не верю, — смутился дьякон, — а так… Молодые жены нынче уж слишком тово… рандеву, соус провансаль…

— Вы сомневаетесь, а я вам докажу-с! Я в ней поддерживал ее верность разными способами, так сказать, стратегического свойства, вроде как бы фортификации. При моем поведении и хитром характере жена моя не могла изменить мне ни в каком случае. Я хитрость употреблял для охранения своего супружеского ложа. Слова такие знаю, вроде как бы пароль. Скажу эти самые слова и — баста, могу спать в спокойствии насчет верности…

— Какие же это слова?

— Самые простые. Я распространял по городу нехороший слух. Вам этот слух доподлинно известен. Я говорил всякому: «Жена моя Алена находится в сожительстве с нашим полицеймейстером Иваном Алексеичем Залихватским». Этих слов было достаточно. Ни один человек не осмеливался ухаживать за Аленой, ибо боялся полицеймейстерского гнева. Как, бывало, увидят

ее, так и бегут прочь, чтоб Залихватский чего не подумал. Хе-хе-хе. Ведь с этим усастым идолом свяжись, так потом не рад будешь, пять протоколов составит насчет санитарного состояния. К примеру, увидит твою кошку на улице и составит протокол, как будто это бродячий скот.

— Так жена ваша, значит, не жила с Иваном Алексеичем? — удивились мы протяжно.

— Нет-с, это моя хитрость. Хе-хе. Что, ловко надувал я вас, молодежь? То-то вот оно и есть.

Прошло минуты три в молчании. Мы сидели и молчали, и нам было обидно и совестно, что нас так хитро провел этот толстый красноносый старик.

— Ну, бог даст, в другой раз женишься! — проворчал дьякон.

Юристка

Дочь одного европейского министра юстиции, часто помогавшая своему папа в составлении всевозможных законопроектов, говорила своему отцу, будучи

18 лет: Запрети, папá, в своих законах этим негодным женихам приставать к девушкам! Когда они понадобятся, им скажут! Запрети также, кстати, молодым людям жениться ранее 35 лет. Ранние браки отнимают у нас лучших кавалеров!

20 лет: Можно, пожалуй, папá, позволить жениться и ранее 30 лет. Сделай уж им уступку! Так и быть…

22 лет: Ах да, кстати… Если увидишь министра внутренних дел, то попроси его, чтобы он предписал губернаторам брать с каждого холостяка штраф в размере 30–40 франков в год.

25 лет: Удивляюсь тебе, папá! Куда девался твой административный гений? Ты словно не замечаешь, что вокруг тебя делается! Как можно скорей проектируй штраф с холостяков в размере 1500 франков с каждого ежегодно! Надо же, наконец, принять меры!

28 лет: Ты, папа́, просто глуп... Ну, можно ли вести так дело? В уложении о наказаниях у тебя нет ни одной статьи против этих негодных холостяков! Назначь ежегодно поголовный штраф по крайней мере в 10 000 франков! К этому штрафу прибавь месяца 2 тюремного заключения с лишением некоторых особенных прав и преимуществ, и ты скоро не увидишь в нашем государстве ни одной засидевшейся девушки!



30 лет: Сто тысяч франков! Наконец двести

тысяч! Скорее! Год тюремного заключения… 30 горячих! А если вам не будут повиноваться, никто не помешает вам потребовать роту солдат! Скоррее… ввварвар!!!

35 лет: Смертная казнь через расстреляние! Умоляю, отец! Неужели ты не видишь, что я… готова повыцарапать всем глаза? Смертная казнь… Нет… пожизненное одиночное тюремное заключение! Это посильней будет! Да пиши же поскорей…

40 лет: Папочка… милый… ангел… Сходи к министру финансов и попроси его ассигновать сумму для выдачи ежегодных премий холостякам, намеревающимся жениться… Сходи, милый! Будь так добр! И запрети кстати молодым людям жениться на девушках, не достигших 35–40-летнего возраста… Папочка, голубчик!

Из дневника одной девицы

13-го октября. Наконец-то и на моей улице праздник! Гляжу и не верю своим глазам. Перед моими окнами взад и вперед ходит высокий, статный брюнет с глубокими черными глазами. Усы — прелесть! Ходит уже пятый день, от раннего утра до поздней ночи, и все на наши окна смотрит. Делаю вид, что не обращаю внимания.

15-го. Сегодня с самого утра проливной дождь, а он, бедняжка, ходит. В награду сделала ему глазки и послала воздушный поцелуй. Ответил обворожительной улыбкой. Кто он? Сестра Варя говорит, что он в нее влюблен и что ради нее мокнет на дожде. Как она неразвита! Ну, может ли брюнет любить брюнетку? Мама велела нам получше одеваться и сидеть у окон. «Может быть, он жулик какой-нибудь, а может быть, и порядочный господин», — сказала она. Жулик… quel[115]… Глупы вы, мамаша!

16-го. Варя говорит, что я заела ее жизнь. Виновата я, что он любит меня, а не ее! Нечаянно уронила ему на тротуар записочку. О, коварщик!

---

[115] Примечания: 115
Какой (фр.).

Написал у себя мелом на рукаве: «После». А потом ходил, ходил и написал на воротах vis-à-vis: «Я не прочь, только после». Написал мелом и быстро стер. Отчего у меня сердце так бьется?

17-го. Варя ударила меня локтем в грудь. Подлая, мерзкая завистница! Сегодня он остановил городового и долго говорил ему что-то, показывая на наши окна. Интригу затевает! Подкупает, должно быть… Тираны и деспоты вы, мужчины, но как вы хитры и прекрасны!

18-го. Сегодня, после долгого отсутствия, приехал ночью брат Сережа. Не успел он лечь в постель, как его потребовали в квартал.

19-го. Гадина! Мерзость! Оказывается, что он все эти двенадцать дней выслеживал брата Сережу, который растратил чьи-то деньги и скрылся.

Сегодня он написал на воротах: «Я свободен и могу». Скотина… Показала ему язык.

Начальник станции

Начальника станции «Дребезги» зовут Степаном Степанычем, а фамилия его Шептунов. С ним в минувшее лето случился маленький скандал. Этот скандал, несмотря на свою видимую ничтожность, обошелся ему очень дорого. Благодаря ему он потерял свою новую форменную фуражку и веру в человечество.

Летом поезд № 8 проходил через его станцию в 2 часа 40 минут ночи. Время самое неудобное. Вместо того чтобы спать, Степан Степаныч должен был гулять по платформе и торчать около телеграфистки почти до утра.

Его помощник, Алеутов, каждое лето ездил куда-то жениться, и бедному Шептунову одному приходилось дежурить. Большое свинство со стороны судьбы! Впрочем, он скучал не каждую ночь. Иногда ночью приходила к нему на станцию из соседнего княжеского имения жена управляющего Назара Кузьмича Куцапетова, Марья Ильинична. Дама эта была не особенно молода, не особенно красива, но, господа, в темноте и столб за городового примешь, да, кстати сказать, скука такая же не тетка, как и голод: все

сойдет!



Когда Куцапетова приходила на станцию, Шептунов брал ее обыкновенно под руку, спускался с нею вниз с платформы и шел к товарным вагонам. Там, у вагонов, в ожидании поезда № 8, он начинал свои клятвы и продолжал их вплоть до свистка.

Так в одну прекрасную ночь стоял он с Марьей Ильиничной у вагонов и ожидал поезд. По без-

облачному небу тихо, чуть заметно плыла луна. Она заливала своим светом станцию, поле, необозримую даль… Кругом было тихо, спокойно… Шептунов держал Марью Ильиничну за талию и молчал. Она тоже молчала. Оба были в каком-то сладостном, тихом, как лунный свет, забытьи…

— Какая чудная погода! — изредка вздыхал Шептунов. — Ты не озябла?

Вместо ответа она теснее и теснее прижималась к его форменному сюртуку.

В 2 часа 20 минут начальник станции поглядел на часы и сказал:

— Скоро поезд придет… Давай, Маша, глядеть на путь… Кто из нас первый увидит огни поезда, тот, значит, дольше любить будет… Давай глядеть…

Они вперили свой взгляд в глубокую даль. Кое-где на бесконечном пути ласково мигали огоньки. Поезда не было еще видно… Вглядываясь в даль, Шептунов увидел нечто другое… Он увидел две длинные тени, шагавшие через шпалы. Тени двигались прямо к нему и делались все больше и шире… Одна тень, по-видимому, исходила от человеческой фигуры, другая — от длинной палки, которую держала фигура…

Тень приближалась. Скоро послышалось, что насвистывали из «Мадам Анго».

— Не ходить по рельсам! Запрещено… — крикнул Шептунов. — Долой с рельсов!

— Не распоряжайся, сволочь! — послышался ответ.

Обруганный Шептунов рванулся вперед, но в это время Марья Ильинична ухватилась за его фалды.

— Ради бога, Степа! — зашептала она. — Это мой муж! Назарка!

Не успела она это сказать, как Куцапетов стоял уже перед оскорбленным начальником станции. Оскорбленный Шептунов вскрикнул, ударился головой о что-то железное и нырнул под вагон. Выползши на животе из-под вагона, он побежал по полотну. Прыгая через шпалы, спотыкаясь о рельсы, он, как сумасшедший, как собака, которой привязали к хвосту колючую палку, полетел к водокачалке…

«Какая у него, однако… палка!» — думал он, улепетывая.

Добежав до водокачалки, он остановился, чтобы перевести дух, но в это время послышались шаги. Оглянулся он и увидел сзади себя быстро двигавшуюся тень человека с тенью палки. Объятый паническим страхом, он побежал далее.

— Погодите! Постойте! — услышал он за собой

голос Куцапетова. — Стойте! Берегитесь! Поезд!

Шептунов поглядел вперед и увидел перед собой поезд с парой страшных, огненных глаз… Волосы его стали дыбом… Сердце застучало и вдруг замерло… Он собрал все свои силы и прыгнул, куда глаза глядят… Секунды четыре он летел в воздухе, потом упал на что-то твердое и покатое и покатился вниз, цепляясь за репейник.

«Насыпь, — подумал он. — Ну, это ничего. Лучше с насыпи скатиться, чем дворянину принять побои от хама».

Через минуту возле его правого уха ступил в лужу большой, тяжеловесный сапог. По спине у него заходили ощупывающие руки…

— Это вы? — услышал он голос Куцапетова. — Вы, Степан Степаныч?

— Пощадите! — простонал Шептунов.

— Что с вами, ангел мой? Чего вы испужались? Это я, Куцапетов! Неужели не узнали? Я бежал за вами, бежал… Кричал, кричал… Чуть было под поезд не попали, ангел мой… Маша, как увидела, что вы побегли, тоже испужалась и на платформе теперь без чувств лежит… Вы, может быть, испужались, что я вас сволочью назвал? Вы не обижайтесь… Я вас за стрелочника принял…

— Ах, не издевайтесь… Если мстить, то мстите

поскорей… Я в ваших руках… — простонал Шептунов. — Бейте… увечьте…

— Гм… Что с вами, батюшка? Ведь я к вам по делу шел, благодетель! Я и бежал за вами, чтобы о деле поговорить…

Куцапетов помолчал и продолжал:

— Дело важное-с… Маша моя говорила мне, что вы из-за удовольствия изволите с ней путаться. Я касательно этого ничего-с, потому что мне от Марьи Ильинишны приходится в общем сюжете кукиш с маслом, но ежели рассуждать по справедливости, то соблаговолите со мной договор сделать, потому что я муж, глава все-таки… по писанию. Князь Михайла Дмитрич, когда с ней путались, мне в месяц две четвертные выдавали. А вы сколько пожалуете? Уговор лучше денег. Да вы встаньте-с…

Шептунов поднялся. Чувствуя себя поломанным, исковерканным, он поплелся к насыпи…

— Сколько вы пожалуете? — продолжал Куцапетов. — С вас я четвертную возьму… И потом-с, хотел попросить у вас, нет ли у вас местечка моему племяннику…

Шептунов, ничего не слыша и не видя, кое-как доплелся до станции и повалился в постель. Проснувшись на другой день, он не нашел своей

форменной фуражки и одного погона.

Ему и до сих пор совестно.

Клевета

Учитель чистописания Сергей Капитоныч Ахинеев выдавал свою дочку Наталью за учителя истории и географии Ивана Петровича Лошадиных. Свадебное веселье текло как по маслу. В зале пели, играли, плясали. По комнатам, как угорелые, сновали взад и вперед взятые напрокат из клуба лакеи в черных фраках и белых запачканных галстуках. Стоял шум и говор. Учитель математики Тарантулов, француз Падекуа и младший ревизор контрольной палаты Егор Венедиктыч Мзда, сидя рядом на диване, спеша и перебивая друг друга, рассказывали гостям случаи погребения заживо и высказывали свое мнение о спиритизме. Все трое не верили в спиритизм, но допускали, что на этом свете есть много такого, чего никогда не постигнет ум человеческий. В другой комнате учитель словесности Додонский объяснял гостям случаи, когда часовой имеет право стрелять в проходящих. Разговоры были, как видите, страшные, но весьма приятные. В окна со двора засматривали люди, по своему социальному положению не имевшие права войти внутрь.

Ровно в полночь хозяин Ахинеев прошел в кухню поглядеть, все ли готово к ужину. В кухне от пола до потолка стоял дым, состоявший из гусиных, утиных и многих других запахов.



На двух столах были разложены и расставлены в художественном беспорядке атрибуты закусок и выпивок. Около столов суетилась кухарка Марфа, красная баба с двойным перетянутым животом.

— Покажи-ка мне, матушка, осетра! — сказал Ахинеев, потирая руки и облизываясь. — Запах-то какой, миазма какая! Так бы и съел всю кухню! Ну-кася, покажи осетра!

Марфа подошла к одной из скамей и осторож-

но приподняла засаленный газетный лист. Под этим листом, на огромнейшем блюде, покоился большой заливной осетр, пестревший каперсами, оливками и морковкой. Ахинеев поглядел на осетра и ахнул. Лицо его просияло, глаза подкатились. Он нагнулся и издал губами звук неподмазанного колеса. Постояв немного, он щелкнул от удовольствия пальцами и еще раз чмокнул губами.

— Ба! Звук горячего поцелуя… Ты с кем это здесь целуешься, Марфуша? — послышался голос из соседней комнаты, и в дверях показалась стриженая голова помощника классных наставников, Ванькина. — С кем это ты? А-а-а… очень приятно! С Сергей Капитонычем! Хорош дед, нечего сказать! С женским полонезом тет-а-тет!

— Я вовсе не целуюсь, — сконфузился Ахинеев, — кто это тебе, дураку, сказал? Это я тово… губами чмокнул в отношении… в рассуждении удовольствия. При виде рыбы.

— Рассказывай!

Голова Ванькина широко улыбнулась и скрылась за дверью. Ахинеев покраснел.

«Черт знает что! — подумал он. — Пойдет теперь, мерзавец, и насплетничает. На весь город осрамит, скотина…»

Ахинеев робко вошел в залу и искоса поглядел в сторону: где Ванькин? Ванькин стоял около фортепиано и, ухарски изогнувшись, шептал что-то смеявшейся свояченице инспектора.

«Это про меня! — подумал Ахинеев. — Про меня, чтоб его разорвало! А та и верит… и верит! Смеется! Боже ты мой! Нет, так нельзя оставить… нет… Нужно будет сделать, чтоб ему не поверили… Поговорю со всеми с ними, и он же у меня в дураках-сплетниках останется».

Ахинеев почесался и, не переставая конфузиться, подошел к Падекуа.

— Сейчас я в кухне был и насчет ужина распоряжался, — сказал он французу. — Вы, я знаю, рыбу любите, а у меня, батенька, осетр, вво! В два аршина! Хе-хе-хе… Да, кстати… чуть было не забыл… В кухне-то сейчас, с осетром с этим — сущий анекдот! Вхожу я сейчас в кухню и хочу кушанья оглядеть… Гляжу на осетра и от удовольствия… от пикантности губами чмок! А в это время вдруг дурак этот Ванькин входит и говорит… ха-ха-ха… и говорит: «А-а-а… вы целуетесь здесь?» С Марфой-то, с кухаркой! Выдумал же, глупый человек! У бабы ни рожи, ни кожи, на всех зверей похожа, а он… целоваться! Чудак!

— Кто чудак? — спросил подошедший Таран-

тулов.

— Да вон тот… Ванькин! Вхожу, это, я в кухню… — И он рассказал про Ванькина.

— Насмешил, чудак! А по-моему, приятней с барбосом целоваться, чем с Марфой. — прибавил Ахинеев, оглянулся и увидел сзади себя Мзду.

— Мы насчет Ванькина, — сказал он ему. — Чудачина! Входит, это, в кухню, увидел меня рядом с Марфой да и давай штуки разные выдумывать. «Чего, говорит, вы целуетесь?» Спьяна-то ему примерещилось. А я, говорю, скорей с индюком поцелуюсь, чем с Марфой. Да у меня и жена есть, говорю, дурак ты этакий. Насмешил!

— Кто вас насмешил? — спросил подошедший к Ахинееву отец-законоучитель.

— Ванькин. Стою я, знаете, в кухне и на осетра гляжу…

И так далее. Через какие-нибудь полчаса уже все гости знали про историю с осетром и Ванькиным.

«Пусть теперь им рассказывает! — думал Ахинеев, потирая руки. — Пусть! Он начнет рассказывать, а ему сейчас: „Полно тебе, дурак, чепуху городить! Нам все известно!“»

И Ахинеев до того успокоился, что выпил от радости лишних четыре рюмки. Проводив после

ужина молодых в спальню, он отправился к себе и уснул, как ни в чем не повинный ребенок, а на другой день он уже не помнил истории с осетром. Но, увы! Человек предполагает, а бог располагает. Злой язык сделал свое злое дело, и не помогла Ахинееву его хитрость! Ровно через неделю, а именно в среду после третьего урока, когда Ахинеев стоял среди учительской и толковал о порочных наклонностях ученика Высекина, к нему подошел директор и отозвал его в сторону.

— Вот что, Сергей Капитоныч, — сказал директор. — Вы извините… Не мое это дело, но все-таки я должен дать понять… Моя обязанность… Видите ли, ходят слухи, что вы живете с этой… с кухаркой… Не мое это дело, но… Живите с ней, целуйтесь… что хотите, только, пожалуйста, не так гласно! Прошу вас! Не забывайте, что вы педагог!

Ахинеев озяб и обомлел. Как ужаленный сразу целым роем и как ошпаренный кипятком, он пошел домой. Шел он домой и ему казалось, что на него весь город глядит, как на вымазанного дегтем… Дома ожидала его новая беда.

— Ты что же это ничего не трескаешь? — спросила его за обедом жена. — О чем задумался? Об амурах думаешь? О Марфушке стосковался? Все мне, махамет, известно! Открыли глаза люди

добрые! У-у-у… вварвар!

И шлеп его по щеке!.. Он встал из-за стола и, не чувствуя под собой земли, без шапки и пальто, побрел к Ванькину. Ванькина он застал дома.

— Подлец ты! — обратился Ахинеев к Ванькину. — За что ты меня перед всем светом в грязи выпачкал? За что ты на меня клевету пустил?

— Какую клевету? Что вы выдумываете!

— А кто насплетничал, будто я с Марфой целовался? Не ты, скажешь? Не ты, разбойник?

Ванькин заморгал и замигал всеми фибрами своего поношенного лица, поднял глаза к образу и проговорил:

— Накажи меня бог! Лопни мои глаза и чтоб я издох, ежели хоть одно слово про вас сказал! Чтоб мне ни дна, ни покрышки! Холеры мало!..

Искренность Ванькина не подлежала сомнению. Очевидно, не он насплетничал.

«Но кто же? Кто? — задумался Ахинеев, перебирая в своей памяти всех своих знакомых и стуча себя по груди. — Кто же?»

— Кто же? — спросим и мы читателя…

Сборник для детей

Предисловие. Милые и дорогие дети! Только тот счастлив в этой жизни, кто честен и справедлив. Мерзавцы и подлецы не могут быть счастливы, а потому будьте честны и справедливы. Не мошенничайте в картах не потому, что за это могут съездить подсвечником, а потому, что это нечестно; почитайте старших не потому, что за непочтение угощают березовой кашей, а потому, что этого требует справедливость. Привожу вам в назидание несколько сказок и повестей…

1. Наказанная скупость. Три приятеля, Иванов, Петров и Смирнов, зашли в трактир пообедать. Иванов и Петров были не скупы, а потому тотчас же потребовали себе по шестидесятикопеечному обеду. Смирнов же, будучи скуп, отказался от обеда. Его спросили о причине отказа.

— Я не люблю трактирных щей, — сказал он. — Да и к тому же у меня в кармане всего-навсего шесть гривен. Надо же и на папиросы себе оставить. Вот что: я скушаю яблоко.

Сказав это, Смирнов потребовал яблоко и стал есть его, с завистью поглядывая на друзей, евших щи и вкусных рябчиков. Но мысль, что он мало

потратился, утешала его. Каково же было его удивление, когда на поданном счете прочел он следующее: «2 обеда — 1 р. 20 к.; яблоко — 75 коп.». С этих пор он никогда не скупится и не покупает фруктов в трактирных буфетах.

2. Дурной пример заразителен. Червонец подружился с тестовским рублевым обедом и стал совращать его с пути истины.

— Друг мой! — говорил он рублевому обеду. — Погляди на меня! Я много меньше, но сколь я лучше тебя! Не говоря уже о том сиянии, которое я испускаю из себя, как я дорог! Номинальная моя стоимость равна 5 р. 15 к., а между тем люди дают за меня восемь с хвостиком!

И долго таким образом смущал он рублевый обед. Обед слушал-слушал и наконец совратился. Через несколько времени он говорил русскому кредитному рублю:

— Как жаль мне тебя, несчастный целковый! И как ты смешон! Моя номинальная стоимость равна рублю, а между тем за меня платят теперь в трактирах рубль с четвертаком, ты же… ты! о, стыд! ты дешевле своей стоимости! Ха, ха!

— Друг мой! — кротко заметил ему рубль. — Ты и друг твой, червонец, построили свое величие на моем унижении, и я рад, что мог служить вам!

Рублевому обеду стало стыдно.

3. Примерная неблагодарность. Один благочестивый человек в день своих именин созвал к себе во двор со всего города хромых, слепых, гнойных и убогих и стал угощать их обедом. Угощал он их постными щами, горохом и пирогами с изюмом. «Кушайте во славу божию, братья мои!» — говорил он нищим, упрашивая их есть. Те ели и не благодарили. Пообедав, убогие, хромые, слепые и гнойные наскоро помолились богу и вышли на улицу.

— Ну, что? Как угостил вас благочестивый человек? — обратился к одному из хромых стоявший неподалеку городовой.

Хромой махнул рукой и ничего не ответил. Тогда городовой с тем же вопросом обратился к одному из гнойных.

— Аппетит только испортил! — ответил гнойный, с досадой махнув рукой. — Сегодня нам предстоит еще обедать на похоронах купчихи Ярлыковой!

4. Достойное возмездие. Один злой мальчик имел дурную привычку писать на заборах неприличные слова. Он писал и думал, что не будет за это наказан. Но, дети, ни один злой поступок не проходит без наказания. Однажды, идя мимо

забора, злой мальчик взял мел и на самом видном месте написал: «Дурак! Дурак! Дурак!» Проходили мимо забора люди и читали. Прошел Умный, прочел и пошел далее. Прошел Дурак, прочел и отдал злого мальчика под суд за диффамацию.

— Отдаю его под суд не потому, что мне обидно это писанье, — сказал Дурак, — а из принципа!

5. Излишнее усердие. В одной газете завелись черви.

Тогда редактор призвал болотных птиц и сказал им: «Клюйте червей!» Птицы стали клевать и склевали не только червей, но и газету, и самого редактора.

6. Ложь до правды стоит. Персидский царь Дарий, умирая, призвал к себе сына своего Артаксеркса и сказал ему:

— Сын мой, я умираю! После моей смерти созови со всей земли мудрецов и предложи им на разрешение эту задачу. Решивших сделай своими министрами.

И, нагнувшись к уху сына, Дарий прошептал ему тайну задачи.

После смерти отца Артаксеркс созвал со всей земли мудрецов и, обратись к ним, сказал:

— Мудрецы! Отец поручил мне дать вам вот эту задачу на разрешение. Кто решит ее, тот будет

моим министром.

И Артаксеркс задал мудрецам задачу. Всех мудрецов было пять.

— Но кто же, государь, будет контролировать наши решения? — спросил царя один из мудрецов.

— Никто, — отвечал царь. — Я поверю вашему честному слову. Если вы скажете, что вы решили, я поверю, не проверяя вас.

Мудрецы сели за стол и стали решать задачу. В тот же день вечером один из мудрецов явился к царю и сказал:

— Я решил задачу.

— Отлично. Будь моим министром.

На другой день задача была решена еще тремя мудрецами. Остался за столом один только мудрец, именем Артозостр. Он не мог решить задачи. Прошла неделя, прошел месяц, а он все сидел за задачей и потел над ее разрешением. Прошел год, прошло два года. Он побледнел, похудел, осунулся, перепачкал сто стоп бумаги, но до решения было еще далеко.

— Вели его казнить, царь! — говорили четыре министра, решившие задачу. — Он, выдавая себя за мудреца, обманывал тебя.

Но царь не казнил Артозостра, а терпеливо

ждал. Через пять лет пришел к царю Артозостр, пал перед ним на колени и сказал:

— Государь! Эта задача неразрешима!

Тогда царь поднял мудреца, поцеловал его и сказал:

— Ты прав, мудрый! Эта задача действительно неразрешима. Но, решая ее, ты разрешил главную задачу, написанную на моем сердце: ты доказал мне, что на земле есть еще честные люди. А вы, — обратился он к четырем министрам, — жулики!

Те сконфузились и спросили:

— Теперь нам, стало быть, убираться отсюда?

— Нет, оставайтесь! — сказал Артаксеркс. — Вы хоть и жулики, но мне тяжело с вами расстаться. Оставайтесь.



И они, слава богу, остались.

7. И за зло нужно быть благодарным. «О Зевс великий! О сильный громовержец! — молился один поэт Зевсу. — Пошли мне для вдохновения музу! Молю тебя!» Зевс не учил древней истории. Немудрено поэтому, что он ошибся и вместо Мельпомены послал к поэту Терпсихору. Терпсихора явилась к поэту, и последний, вместо того чтобы работать в журналах и получать за это гонорар, поступил в танцкласс. Танцевал он сто дней и сто ночей напролет, пока не подумал:

«Меня не послушал Зевс. Он посмеялся надо мной. Я просил у него вдохновения, а он научил меня выкидывать коленце…»

И дерзкий написал на Зевса едкую эпиграмму. Громовержец разгневался и швырнул в него одну из своих молний. Так погиб поэт.

Заключение. Итак, дети, добродетель торжествует.

Экзамен
(Из беседы двух очень умных людей)

На днях явился в кабинет отца старший сын и заявил ему, что он желает выйти из-под его опеки и самостоятельно вступить в свет. Заявление это он мотивировал своим недавно наступившим совершеннолетием (ему исполнилось ровно 21 год).



— Хорошо, сын мой! — сказал отец, выслушав его. — Я согласен, но, прежде чем начать самостоятельную жизнь, ты должен выдержать у меня маленький житейский экзамен. Садись, я тебя проэкзаменую…

Сын сел. Отец нахмурился и начал:

— Чем пахнет во рту, когда ешь колбасу?

— Колбасной лавкой.

— Так, сын мой. Что жены мылят без мыла?

— Головы мужей.

— Что было бы, если бы люди ходили вверх ногами?

— Тогда Пироне шил бы шапки, а Поша шил бы сапоги…

— Совершенно верно. Отчего вода в море соленая?

— Оттого, что в нем плавают селедки…

— Старо, старо! Свое что-нибудь придумай!

— Оттого в море вода соленая, что… что… в нем купаются иногда юмористы.

— Пожалуй… Прежде спрашивали: от чего гуси плавают? Мы отвечали: от берега. Теперь ты ответь мне: от чего уплывают гуси лапчатые?



— От долгов, воинской повинности…

— Отчего не носят очков на затылке?

— Потому что очки разбиваются от подзатыльников.

— Почему человека нельзя назвать свиньей?

— Потому что он потащит к мировому.

— Какой чиж кончил курс в университете?

— Доктор Чиж.

— Кого можно назвать падшим созданием?

— Человека, упавшего с каланчи.

— Где можно взять взаймы денег?..

Сын поднял вверх голову и задумался.

— Не знаешь, сынок? Ну, не годишься же ты в свет. Поживи под моей опекой еще месяц!

Через месяц будет новый экзамен.



Либерал
(Новогодний рассказ)

Прекрасную и умилительную картину представляло собой человечество в первый день нового года. Все радовались, ликовали, поздравляли друг друга. Воздух оглашался самыми искренними и сердечными пожеланиями. Все были счастливы и довольны…

Один только губернский секретарь Понимаев был недоволен. В новогодний полдень он стоял на одной из столичных улиц и протестовал. Обняв правой рукой фонарный столб, а левой отмахиваясь неизвестно от чего, он бормотал вещи непростительные и предусмотренные… Возле него стояла его жена и тащила его за рукав. Лицо ее было заплакано и выражало скорбь.

— Идол ты мой! — говорила она. — Наказание ты мое! Глаза твои бесстыжие, махамет! Иди, тебе говорю! Иди, покедова не прошло время, и распишись! Иди, пьяная образина!

— Ни в каком случае! Я образованный человек и не желаю подчиняться невежеству! Иди сама расписывайся, если хочешь, а меня оставь!.. Не

желаю быть в рабстве.

— Иди! Ежели ты не распишешься, то горе тебе будет! Выгонят тебя, подлеца моего, и тогда я с голоду, значит, сдыхай? Иди, собака!

— Ладно… И погибну… За правду? Да хоть сейчас!

Понимаев поднял руку, чтобы отмахнуться от жены, и описал ею в воздухе полукруг… Шедший мимо околоточный надзиратель в новой шинели остановился на секунду и, обратясь к Понимаеву, сказал:

— Стыдитесь! Ведите себя по примеру прочих!

Понимаеву стало совестно. Он стыдливо замигал глазами и отдернул от фонарного столба руку. Жена воспользовалась этим моментом и потащила его за рукав вдоль по улице, старательно обходя все, за что можно ухватиться. Минут через десять, не более, она дотащила своего мужа до подъезда начальника.

— Ну, иди, Алеша! — сказала она нежно, введя мужа на крыльцо. — Иди, Алешечка! Распишись только, да и уходи назад. А я тебе за это коньяку к чаю куплю. Не буду тебя ругать, когда ты выпивши… Не губи ты меня, сироту!

— Ааа… гм… Это, стало быть, его дом? Отлично! Очень хорошо-с! Ррраспишемся, черт возьми! Так

распишемся, что долго будет помнить! Все ему напишу на этой бумаге! Напишу, какого я мнения! Пусть тогда гонит! А ежели выгонит, то ты виновата! Ты!

Понимаев покачнулся, пхнул плечом дверь и с шумом вошел в подъезд. Там около двери стоял швейцар Егор с свежевыбритой, новогодней физиономией. Около столика с листом бумаги стояли Везувиев и Черносвинский, сослуживцы Понимаева. Высокий и тощий Везувиев расписывался, а Черносвинский, маленький рябенький человечек, дожидался своей очереди. У обоих на лицах было написано: «С Новым годом, с новым счастьем!» Видно было, что они расписывались не только физически, но и нравственно. Увидев их, Понимаев презрительно усмехнулся и с негодованием запахнулся в шубу.

— Разумеется! — заговорил он. — Разумеется! Как не поздравить его пр-во? Нельзя не поздравить! Ха, ха! Надо выразить свои рабские чувства!

Везувиев и Черносвинский с удивлением поглядели на него. Отродясь они не слыхали таких слов!

— Разве это не невежество, не лакейство? — продолжал Понимаев. — Брось, не расписывайся!

Вырази протест!

Он ударил кулаком по листу и смазал подпись Везувиева.

— Бунтуешь, ваше благородие! — сказал Егор, подскочив к столу и подняв лист выше головы. — За это, ваше благородие, вашего брата… знаешь как?

В это время дверь отворилась и в подъезд вошел высокий пожилой мужчина в медвежьей шубе и золотой треуголке. Это был начальник Понимаева, Велелептов. При входе его Егор, Везувиев и Черносвинский проглотили по аршину и вытянулись. Понимаев тоже вытянулся, но усмехнулся и крутнул один ус.

— А! — сказал Велелептов, увидев чиновников. — Вы… здесь? М-да… друзья… Понятно. (очевидно, что его пр-во был слегка навеселе). Понятно… И вас также… Спасибо, что не забыли… Спасибо… М-да… Приятно видеть… Желаю вам… А ты, Понимаев, уж назюзюкался? Это ничего, не конфузься… Пей, да дело разумей… Пейте и веселитесь…

— Всяк злак на пользу человека, ваше-ство! — рискнул вставить Везувиев.

— Ну да, понятно… Как ты сказал? Где злак? Ну, идите себе… с богом. Или нет… Вы были уже

у Никиты Прохорыча? Не были еще? Отлично. Я дам вам книги… отнесите к нему… Он дал мне почитать «Странник» за два года… Так вот его надо отнести… Пойдемте, я вам дам… Скиньте шубы!

Чиновники сняли шубы и пошли за Велелептовым. Сначала они вошли в приемную, а потом в большую, роскошно убранную залу, где за круглым столом сидела сама генеральша. По обе стороны ее сидели две молодые дамы, одна в белых перчатках, другая в черных. Велелептов оставил в зале чиновников и пошел к себе в кабинет. Чиновники сконфузились.

Минут десять стояли они молча, не двигаясь и не зная, куда девать свои руки. Дамы говорили по-французски и то и дело вскидывали на них глаза… Мука! Наконец из кабинета показался Велелептов, держа в обеих руках по большой связке книг.

— Вот, — сказал он. — Отдайте ему и поблагодарите… Это «Странник». Я читал иногда по вечерам… А вам… спасибо, что не забыли… пришли почтить… Чиновников моих рассматриваете? — обратился Велелептов к дамам. — Хе, хе… Смотрите, смотрите. Это вот Везувиев, это Черносвинский… а это мой Понимаев. Вхожу однажды в дежурную, а он, этот Понимаев, там машину

представляет. Каков? Пш! пш! пш! Свистит этак, ногами топочет… Натурально так выходило… М-да… А ну-ка, изобрази! Представь-ка нам.



Дамы вперили в Понимаева глаза и заулыбались. Он закашлялся.

— Не умею… Забыл, ваше-ство… — пробормотал он. — Не могу и не желаю.

— Не желаешь? — удивился Велелептов. — А? Жаль. Шаль, что не можешь уважить старика… Прощай… Обидно… Ступай.

Везувиев и Черносвинский затолкали в бок

Понимаева. Да и сам он испугался своего отказа. В глазах его помутилось... Черные перчатки смешались с белыми, лица покосились, мебель запрыгала, и сам Велелептов обратился в большой кивающий палец. Постояв немного и пробормотав что-то, Понимаев прижал к груди «Странник» и вышел на улицу. Там он увидел свою жену, бледную, дрожавшую от холода и ужаса. Везувиев и Черносвинский стояли уже возле нее и, сильно жестикулируя руками, говорили ей что-то ужасное и сразу в оба уха. «Что теперь будет?!» — читалось в их фигурах и движениях. Понимаев, безнадежно взглянув на жену, поплелся с книгами за приятелями.

Воротясь домой, он не обедал и чаю не пил... Ночью его разбудил кошмар.

Он поднялся и поглядел в темноту. Черные и белые перчатки, бакены Велелептова — все это заплясало перед его глазами, закружилось, и он вспомнил минувшее.

— Скотина я, скотина! — проворчал он. — Протестуй ты, осел, ежели хочешь, но не смей не уважать старших! Что стоило тебе представить машину?

Более он не мог уснуть. Всю ночь до самого утра промучили его угрызения совести, тоска и всхли-

пывания жены. Поглядевшись утром в зеркало, он увидел не себя, а чью-то другую физиономию, бледную, истощенную, печальную…

— Не пойду на службу! — решил он. — Все одно. Один конец!

Весь второй день нового года он посвятил хождению из угла в угол.

Ходил он, вздыхал и думал:

— У кого бы это револьвер достать? Чем этак жить, так лучше уж… право. Пулю в лоб, и конец…

На третий день он бежал от тоски на службу.

«Что-то будет?!» — думали все чиновники, поглядывая на него из-за чернильниц.

То же самое думал и Понимаев.

— Что ж? — шепнул он Везувиеву. — Пусть гонит! Ему же скверно будет, ежели руки на себя наложу.

В 11 часов приехал Велелептов. Проходя мимо Понимаева и взглянув на его бледное, сильно похудевшее, испуганное лицо, он остановился, покачал головой и сказал:

— А здорово ты тогда хватил, братец! До сих пор рожа в свои рамки не вошла. Надо быть, друг, поумеренней… Нехорошо… Долго ли здоровье потерять?

И, похлопав Понимаева по плечу, Велелептов прошел далее.

«Только-то?» — подумало все присутствие.

Понимаев засмеялся от удовольствия. Даже пискнул по-птичьи — так ему было приятно! Но скоро лицо его изменилось… Он нахмурился и осклабился презрительной улыбкой.

— Счастье твое, что я тогда был выпивши! — проворчал он вслух вслед Велелептову. — Счастье твое, а то бы… Помнишь, Везувиев, как я его отщелкал?

Придя со службы домой, Понимаев обедал с большим аппетитом.

Завещание старого, 1883-го года

Любезнейший сын мой, 1884-й год!

Находясь в здравом рассудке и при полной памяти, несколько, впрочем, «под шефе» (был, знаешь, у Саврасенкова и хватил перед отъездом У бутылки финьшампань; но «шефе» не возбраняет стряпать нотариальные акты никому, даже нотариусам), завещаю тебе следующее:

1) Весь земной шар с его пятью частями света, океанами, Кордильерами, газетами, компрачикосами, Парижем, кокотками обоих полов и всех возрастов, Северным полюсом, персидским порошком, театром Мошнина, мазью Иванова, Шестеркиным, обанкротившимися помещиками, одеколоном, крокодилами, Окрейцем и проч.

2) Денег тебе не завещаю, ибо оных не имею. За все мое годовое пребывание на земном шаре не видал их нигде, даже в кассе такой богатой дороги, как Лозово-Севастопольская. Нечто похожее на деньги видел я только в ссудных кассах, за голенищами господ кабатчиков, в сундуке таганрогского турка Вальяно и в карманах московских официантов.

3) Купно с старыми калошами завещаю тебе

то, что завещали мне деды и прадеды (начиная с 1800 года) и что придется тебе, вероятно, оставить твоим внукам и правнукам:

a) Хор песенников и рожечников.

b) Композиторов полек и вальсов.

c) Рассказчика Гулевича (автора), его фрак, цилиндр и манеры.

Если сумеешь продать это старье старьевщикам-татарам, то тебя назовут по крайней мере благодетелем человечества.

4) Окончи дело Корсова с Закжевским и в угоду московским барыням начни другое.

5) Расставь в этом завещании знаки препинания, а если сам не умеешь, то поручи это сделать кому-нибудь из сотрудников «Будильника».

6) В качестве секретаря беру с собою в Лету поэта и экс-редактора Сталинского.

7) Беру с собою и шубу художника Ч., чем делаю великое одолжение господам эстетикам.

8) Больше я тебе ничего не завещаю.

……Твой отец, 1883 год.

……С подлинным верно:

…… Брат моего брата.

Орден

Учитель военной прогимназии, коллежский регистратор Лев Пустяков, обитал рядом с другом своим, поручиком Леденцовым. К последнему он и направил свои стопы в новогоднее утро.

— Видишь ли, в чем дело, Гриша, — сказал он поручику после обычного поздравления с Новым годом. — Я не стал бы тебя беспокоить, если бы не крайняя надобность. Одолжи мне, голубчик, на сегодняшний день твоего Станислава. Сегодня, видишь ли, я обедаю у купца Спичкина. А ты знаешь этого подлеца Спичкина: он страшно любит ордена и чуть ли не мерзавцами считает тех, у кого не болтается что-нибудь на шее или в петлице. И к тому же у него две дочери… Настя, знаешь, и Зина… Говорю, как другу… Ты меня понимаешь, милый мой. Дай, сделай милость!

Все это проговорил Пустяков заикаясь, краснея и робко оглядываясь на дверь. Поручик выругался, но согласился.

В два часа пополудни Пустяков ехал на извозчике к Спичкиным и, распахнувши чуточку шубу, глядел себе на грудь. На груди сверкал золотом и отливал эмалью чужой Станислав.

«Как-то и уважения к себе больше чувствуешь! — думал учитель, покрякивая. — Маленькая штучка, рублей пять, не больше стоит, а какой фурор производит!»

Подъехав к дому Спичкина, он распахнул шубу и стал медленно расплачиваться с извозчиком. Извозчик, как показалось ему, увидев его погоны, пуговицы и Станислава, окаменел. Пустяков самодовольно кашлянул и вошел в дом. Снимая в передней шубу, он заглянул в залу. Там за длинным обеденным столом сидели уже человек пятнадцать и обедали. Слышался говор и звяканье посуды.

— Кто это там звонит? — послышался голос хозяина. — Ба, Лев Николаич! Милости просим. Немножко опоздали, но это не беда… Сейчас только сели.

Пустяков выставил вперед грудь, поднял голову и, потирая руки, вошел в залу. Но тут он увидел нечто ужасное. За столом, рядом: с Зиной, сидел его товарищ по службе, учитель французского языка Трамблян. Показать французу орден — значило бы вызвать массу самых неприятных вопросов, значило бы осрамиться навеки, обесславиться… Первою мыслью Пустякова было сорвать орден или бежать назад; но орден был

крепко пришит, и отступление было уже невозможно. Быстро прикрыв правой рукой орден, он сгорбился, неловко отдал общий поклон и, никому не подавая руки, тяжело опустился на свободный стул, как раз против сослуживца-француза.

«Выпивши, должно быть!» — подумал Спичкин, поглядев на его сконфуженное лицо.

Перед Пустяковым поставили тарелку супу. Он взял левой рукой ложку, но, вспомнив, что левой рукой не подобает есть в благоустроенном обществе, заявил, что он уже отобедал и есть не хочет.

— Я уже покушал-с… Мерси-с… — пробормотал он. — Был я с визитом у дяди, протоиерея Елеева, и он упросил меня… тово… пообедать.

Душа Пустякова наполнилась щемящей тоской и злобствующей досадой: суп издавал вкусный запах, а от паровой осетрины шел необыкновенно аппетитный дымок. Учитель попробовал освободить правую руку и прикрыть орден левой, но это оказалось неудобным.

«Заметят… И через всю грудь рука будет протянута, точно петь собираюсь. Господи, хоть бы скорее обед кончился! В трактире ужо пообедаю!»

После третьего блюда он робко, одним глазком

поглядел на француза. Трамблян, почему-то сильно сконфуженный, глядел на него и тоже ничего не ел. Поглядев друг на друга, оба еще более сконфузились и опустили глаза в пустые тарелки.



«Заметил, подлец! — подумал Пустяков. — По роже вижу, что заметил! А он, мерзавец, кляузник. Завтра же донесет директору»

Съели хозяева и гости четвертое блюдо, съели, волею судеб, и пятое…

Поднялся какой-то высокий господин с широкими волосистыми ноздрями, горбатым носом и от природы прищуренными глазами. Он погладил себя по голове и провозгласил:

— Э-э-э… эп… эп… эпредлагаю эвыпить за про-

цветание сидящих здесь дам!

Обедающие шумно поднялись и взялись за бокалы. Громкое «ура» пронеслось по всем комнатам. Дамы заулыбались и потянулись чокаться. Пустяков поднялся и взял свою рюмку в левую руку.

— Лев Николаич, потрудитесь передать этот бокал Настасье Тимофеевне! — обратился к нему какой-то мужчина, подавая бокал. — Заставьте ее выпить!

На этот раз Пустяков, к великому своему ужасу, должен был пустить в дело и правую руку. Станислав с помятой красной ленточкой увидел наконец свет и засиял. Учитель побледнел, опустил голову и робко поглядел в сторону француза. Тот глядел на него удивленными, вопрошающими глазами. Губы его хитро улыбались и с лица медленно сползал конфуз…

— Юлий Августович! — обратился к французу хозяин. — Передайте бутылочку по принадлежности!

Трамблян нерешительно протянул правую руку к бутылке и… о, счастье! Пустяков увидал на его груди орден. И то был не Станислав, а целая Анна! Значит, и француз сжульничал! Пустяков засмеялся от удовольствия, сел на стул и разва-

лился… Теперь уже не было надобности скрывать Станислава! Оба грешны одним грехом, и некому, стало быть, доносить и бесславить…

— А-а-а… гм!.. — промычал Спичкин, увидев на груди учителя орден.

— Да-с! — сказал Пустяков. — Удивительное дело, Юлий Августович! Как было мало у нас перед праздниками представлений! Сколько у нас народу, а получили только вы да я! Уди-ви-тель-ное дело!

Трамблян весело закивал головой и выставил вперед левый лацкан, на котором красовалась Анна 3-й степени.

После обеда Пустяков ходил по всем комнатам и показывал барышням орден. На душе у него было легко, вольготно, хотя и пощипывал под ложечкой голод.

«Знай я такую штуку, — думал он, завистливо поглядывая на Трамбляна, беседовавшего со Спичкиным об орденах, — я бы Владимира нацепил. Эх, не догадался!»

Только эта одна мысль и помучивала его. В остальном же он был совершенно счастлив.

Контракт 1884 года с человечеством

Тысяча восемьсот восемьдесят четвертого года, января 1-го дня, мы, нижеподписавшиеся, Человечество с одной стороны и Новый, 1884 год — с другой, заключили между собою договор, по которому: 1) Я, Человечество, обязуюсь встретить и проводить Новый, 1884 год с шампанским, визитами, скандалами и протоколами. 2) Обязуюсь назвать его именем все имеющиеся на земном шаре календари. 3) Обязуюсь возлагать на него великие надежды. 4) Я, Новый, 1884 год, обязуюсь не оправдать этих надежд. 5) Обязуюсь иметь не более 12 месяцев. 6) Обязуюсь дать всем Касьянам, желающим быть именинниками, двадцать девятое февраля. 7) В случае неисполнения одною из сторон какого-либо из пунктов платится 10 000 рублей неустойки кредитными бумажками по гривеннику за рубль. 8) Договор этот с обеих сторон хранить свято и ненарушимо; подлинный договор иметь Человечеству, а копию — Новому, 1884 году.

Новый, 1884 год руку к сему приложил.

Человечество.

Договор этот явлен у меня, Человека без селе-

зенки, временного нотариуса, в конторе моей, находящейся у черта на куличках, не имеющим чина Новым, 1884 годом, живущим в календаре губернского секретаря А. Суворина, и Человечеством, живущим под луной, лично мне известными и имеющими законную правоспособность к совершению актов.

Городского сбора взыскано 18 руб. 14 коп., на «Корневильские колокола» 3 руб. 50 коп., в пользу раненных в битве Б. Маркевича с Театрально-литературным комитетом 1 руб. 12 коп.

.....Нотариус: *Человек без селезенки.*

М. П.

75 000

Ночью, часов в 12, по Тверскому бульвару шли два приятеля. Один — высокий, красивый брюнет в поношенной медвежьей шубе и цилиндре, другой — маленький, рыженький человек в рыжем пальто с белыми костяными пуговицами. Оба шли и молчали. Брюнет слегка насвистывал мазурку, рыжий угрюмо глядел себе под ноги и то и дело сплевывал в сторону.

— Не посидеть ли нам? — предложил наконец брюнет, когда оба приятеля увидели темный силуэт Пушкина и огонек над воротами Страстного монастыря.

Рыжий молча согласился, и приятели уселись.

— У меня есть к тебе маленькая просьба, Николай Борисыч, — сказал брюнет после некоторого молчания. — Не можешь ли ты, друг, дать мне взаймы рублей десять-пятнадцать? Через неделю отдам…

Рыжий молчал.

— Я не стал бы тебя и беспокоить, если бы не нужда. Скверную штуку сыграла со мной сегодня судьба… Жена дала мне сегодня утром заложить свой браслет… Нужно ей за свою сестренку в гим-

назию заплатить… Я, знаешь, заложил и вот… при тебе сегодня в стуколку нечаянно проиграл…

Рыжий задвигался и крякнул.

— Пустой ты человек, Василий Иваныч! — сказал он, покрививши рот злой усмешкой. — Пустой человек! Какое ты право имел садиться с барынями играть в стуколку, если ты знал, что эти деньги не твои, а чужие? Ну, не пустой ли ты человек, не фат ли? Постой, не перебивай… Дай я тебе раз навсегда выскажу… К чему эти вечно новые костюмы, эта вот булавка на галстухе? Для тебя ли, нищего, мода? К чему этот дурацкий цилиндр? Тебе, живущему на счет жены, платить пятнадцать рублей за цилиндр, когда отлично, не в ущерб ни моде, ни эстетике, ты мог бы проходить в трехрублевой шапке! К чему это вечное хвастанье своими несуществующими знакомствами? Знаком и с Хохловым, и с Плевако, и со всеми редакторами! Когда ты сегодня лгал о своих знакомствах, у меня за тебя глаза и уши горели! Лжешь и не краснеешь! А когда ты играешь с этими барынями, проигрываешь им женины деньги, ты так пошло и глупо улыбаешься, что просто… пощечины жалко!

— Ну оставь, оставь… Ты не в духе сегодня…

— Ну, пусть это фатовство есть мальчишество,

школьничество… Я согласен допустить это, Василий Иваныч… ты еще молод… Но не допущу я… не пойму одной вещи. Как мог ты, играя с теми куклами… сподличать? Я видел, как ты, сдавая, достал себе из-под низу пикового туза!

Василий Иваныч покраснел, как школьник, и начал оправдываться. Рыжий настаивал на своем. Спорили громко и долго. Наконец оба мало-помалу умолкли и задумались.

— Это правда, я сильно завертелся, — сказал брюнет после долгого молчания. — Правда… Весь я потратился, задолжался, растратил кое-что чужое и теперь не знаю, как выпутаться. Знаешь ли ты то невыносимое, скверное чувство, когда все тело чешется и когда у тебя нет средства от этой чесотки? Нечто вроде этого чувства я испытываю теперь. Весь по уши залез в дебри. Совестно и людей и самого себя… Делаю массу глупостей, гадостей, из самых мелких побуждений, и в то же время никак не могу остановиться… Скверно! Получи я наследство или выиграй, так бросил бы, кажется, все на свете и родился бы снова… А ты, Николай Борисыч, не осуждай меня… не бросай камня… Вспомни пальмовского Неклюжева…

— Помню я твоего Неклюжева, — сказал рыжий. — Помню… Сожрал чужие деньги, нало-

пался и после обеда захотел покейфовать: перед девчонкой расхныкался!.. До обеда, небось, не похныкал… Стыдно писателям идеализировать подобных подлецов! Не будь у этого Неклюжева счастливой наружности и галантных манер, не влюбилась бы в него купеческая дочка и не было бы раскаяния… Вообще подлецам судьба дает счастливые наружности… Все ведь вы купидоны. Вас любят, в вас влюбляются… Вам страшно везет по части женщин!

Рыжий встал и заходил около скамьи.

— Твоя жена, например… честная, благородная женщина… за что она могла полюбить тебя? За что? И сегодня вот, целый вечер, в то время, когда ты врал и ломался, не отрывала от тебя глаз хорошенькая блондинка… Вас, Неклюжевых, любят, вам жертвуют, а тут всю жизнь работаешь, бьешься как рыба об лед… честен, как сама честность, и — хоть бы одна счастливая минута! А еще тоже… помнишь? Был я женихом твоей жены Ольги Алексеевны, когда она еще не знала тебя, был немножко счастлив, но подвернулся ты и… я пропал…

— Рррревность! — усмехнулся брюнет. — А я и не знал, что ты так ревнив!

По лицу Николая Борисыча пробежало чувство

досады и гадливости… Он машинально, сам того не сознавая, протянул вперед руку и… махнул ею. Звук пощечины нарушил тишину ночи… Цилиндр слетел с головы брюнета и покатился по утоптанному снегу. Все это произошло в одну секунду, неожиданно, и вышло глупо, нелепо. Рыжему тотчас же стало стыдно этой пощечины. Он уткнул лицо в полинялый воротник своего пальто и зашагал по бульвару. Дойдя до Пушкина, он оглянулся на брюнета, постоял минуту неподвижно и, словно испугавшись чего-то, побежал к Тверской…

Василий Иваныч долго просидел молча и не двигаясь. Мимо него прошла какая-то женщина и со смехом подала ему его цилиндр. Он машинально поблагодарил, поднялся и пошел.

«Сейчас зуденье начнется, — думал он через полчаса, взбираясь по длинной лестнице к себе на квартиру. — Достанется мне от супруги за проигрыш! Всю ночь будет проповедь читать! Черт бы ее взял совсем! Скажу, что потерял деньги…»

Дойдя до своей двери, он робко позвонил. Его впустила кухарка.

— Проздравляем вас! — сказала ему кухарка, ухмыляясь во все лицо.

— С чем это?

— А вот увидите-с! Смилостивился бог!

Василий Иванович пожал плечами и вошел в спальную.

Там за письменным столом сидела его жена Ольга Алексеевна, маленькая блондиночка с папильотками в волосах. Она писала. Перед ней лежало несколько уже готовых, запечатанных писем. Увидев мужа, она вскочила и бросилась ему на шею.

— Ты пришел? — заговорила она. — Какое счастье! Ты не можешь себе представить, какое счастье! Со мной истерика была, Вася, от такой неожиданности. На, читай!

И она, прыгнув к столу, взяла газету и поднесла ее к лицу мужа.

— Читай! Мой билет выиграл 75 000! Ведь у меня есть билет! Честное слово, есть! Я скрывала его от тебя, потому что… потому что… ты бы заложил его. Николай Борисыч, когда был женихом, подарил мне этот билет, а потом не захотел его взять обратно. Какой хороший человек этот Николай Борисыч! Теперь мы ужасно богаты! Ты теперь исправишься, не будешь вести беспорядочную жизнь. Ведь ты кутил и обманывал меня от недостатков, от бедности. Я это понимаю. Ты умный, порядочный…

Ольга Алексеевна прошлась по комнате и засмеялась.

— Вот неожиданность! Ходила я, ходила из угла в угол, бранила тебя за твое распутство, ненавидела и потом села от тоски газету читать… И вдруг вижу!.. Написала всем письма… сестрам, матери… То-то обрадуются, бедные! Но куда же ты?

Василий Иваныч заглянул в газету… Ошеломленный, бледный, не слушая жены, он простоял некоторое время молча, что-то придумывая, потом надел свой цилиндр и вышел из дому.

— На Большую Дмитровку, номера N N! — крикнул он извозчику.

В номерах он не застал того, кто ему был нужен. Знакомый ему номер был заперт.

«Она, должно быть, в театре, — подумал он, — а из театра… ужинать поехала… Подожду немного…»



И он остался ждать… Прошло полчаса, прошел час… Он прошелся по коридору и поговорил с сонным лакеем… Внизу на номерных часах пробило три… Наконец, потеряв терпение, он начал медленно спускаться вниз к выходу… Но судьба сжалилась над ним…

У самого подъезда он встретился с высокой, тощей брюнеткой, окутанной в длинное боа. За ней по пятам следовал какой-то господин в синих очках и мерлушковой шапке.

— Виноват, — обратился Василий Иваныч к даме. — Могу ли я обеспокоить вас на одну минуту?

Дама и мужчина нахмурились.

— Я сейчас, — сказала дама мужчине и пошла с Василием Ивановичем к газовому рожку. — Что вам нужно?

— Я к тебе… к вам, Надин, по делу, — начал, заикаясь, Василий Иваныч. — Жаль, что с тобою этот господин, а то я бы тебе все рассказал…

— Да что такое? Мне некогда!

— Завела себе новых обожателей, да и некогда! Хороша, нечего сказать! За что ты прогнала меня от себя под Рождество? Ты не захотела со мной жить, потому что… потому что я тебе не доставлял достаточно средств к жизни… Вот ты

и неправа, оказывается… Да… Помнишь ты тот билет, что я подарил тебе на именины? На, читай! Он выиграл 75 000!

Дама взяла в руки газету и жадными, словно испуганными глазами стала искать телеграммы из Петербурга… И она нашла…

В это же самое время другие глаза, заплаканные, тупые от горя, почти безумные, глядели в шкатулку и искали билета… Всю ночь искали эти глаза и не нашли. Билет был украден, и Ольга Алексеевна знала, кто украл его.

В эту же самую ночь рыжий Николай Борисыч ворочался с боку на бок и старался уснуть, но не уснул до самого утра. Ему было стыдно той пощечины.

Марья Ивановна

В роскошно убранной гостиной, на кушетке, обитой темно-фиолетовым бархатом, сидела молодая женщина лет двадцати трех. Звали ее Марьей Ивановной Однощекиной.

— Какое шаблонное, стереотипное начало! — воскликнет читатель. — Вечно эти господа начинают роскошно убранными гостиными! Читать не хочется!

Извиняюсь перед читателем и иду далее. Перед дамой стоял молодой человек лет двадцати шести, с бледным, несколько грустным лицом.

— Ну, вот, вот… Так я и знал, — рассердится читатель. — Молодой человек и непременно двадцати шести лет! Ну, а дальше что? Известно что… Он попросит поэзии, любви, а она ответит прозаической просьбой купить браслет. Или же наоборот, она захочет поэзии, а он… И читать не стану!

Но я все-таки продолжаю. Молодой человек не отрывал глаз от молодой женщины и шептал:

— Я люблю тебя, чудная, даже и теперь, когда от тебя веет холодом могилы!

Тут уж читатель выйдет из терпения и начнет

браниться:

— Черт их подери! Угощают публику разной чепухой, роскошно убранными гостиными да какими-то Марьями Ивановнами с могильным холодом!

Кто знает, может быть, вы и правы в своем гневе, читатель. А может быть, вы и неправы. Наш век тем и хорош, что никак не разберешь, кто прав, кто виноват. Даже присяжные, судящие какого-нибудь человечка за кражу, не знают, кто виноват: человечек ли, деньги ли, что плохо лежали, сами ли они, присяжные, виноваты, что родились на свет. Ничего не разберешь на этой земле!

Во всяком случае, если вы правы, то и я не виноват. Вы находите, что этот мой рассказ не интересен, не нужен. Допустим, что вы правы и что я виноват… Но тогда допустите хоть смягчающие вину обстоятельства.

В самом деле, могу ли я писать интересное и только нужное, если мне скучно и если вот уже две недели у меня перемежающаяся лихорадка?

— Не пишите, если у вас лихорадка.

Так-то так. Но, чтобы долго не разговаривать, представьте себе, что у меня лихорадка и дурное настроение; в это же самое время у другого

литератора тоже лихорадка, у третьего беспокойная жена и болят зубы, четвертый страдает меланхолией. Мы все четверо не пишем. Чем же прикажете наполнить номера газет и журналов? Не теми ли произведениями, которые вы, читатели, шлете ежедневно пудами в редакции наших газет и журналов? Из ваших тяжелых пудов едва ли можно выбрать маленький золотничок, да и то с великой натяжкой, с великим усилием.

Мы все, профессиональные литераторы, не дилетанты, а настоящие литературные поденщики, сколько нас есть, такие же люди-человеки, как и вы, как и ваш брат, как и ваша свояченица, у нас такие же нервы, такие же внутренности, нас мучает то же самое, что и вас, скорбей у нас несравненно больше, чем радостей, и если бы мы захотели, то каждый день могли бы иметь повод к тому, чтобы не работать. Каждый день, уверяю вас! Но если бы мы послушались вашего «не пишите», если бы мы все поддались усталости, скуке или лихорадке, то тогда хоть закрывай всю текущую литературу.

А ее нельзя закрывать ни на один день, читатель. Хотя она и кажется вам маленькой и серенькой, неинтересной, хотя она и не возбуждает в вас ни смеха, ни гнева, ни радости, но все

же она есть и делает свое дело. Без нее нельзя. Если мы уйдем и оставим наше поле хоть на минуту, то нас тотчас же заменят шуты в дурацких колпаках с лошадиными бубенчиками, нас заменят плохие профессора, плохие адвокаты да юнкера, описывающие свои нелепые любовные похождения по команде: левой! правой!

Я должен писать, несмотря ни на скуку, ни на перемежающуюся лихорадку. Должен, как могу и как умею, не переставая. Нас мало, нас можно пересчитать по пальцам. А где мало служащих, там нельзя проситься в отпуск, даже на короткое время. Нельзя и не принято.

— Но все-таки могли бы сюжет избрать посерьезнее! Ну что толку в этой Марье Ивановне, право? Мало ли кругом таких явлений, мало ли кругом вопросов, которые.

Вы правы, много и явлений и вопросов, но укажите, что собственно вам нужно. Если вы так возмущены, то укажите, заставьте меня окончательно поверить, что вы правы, что вы в самом деле очень серьезный человек и что ваша жизнь очень серьезна. Укажите же, будьте определенны, иначе я могу подумать, что вопросов и явлений, о которых вы говорите, нет вовсе, что вы просто милый малый, которому иногда нравится от

нечего делать потолковать о серьезном.

Но пора, однако, кончить рассказ.

Долго стоял молодой человек перед прекрасной женщиной. Наконец он снял сюртук, стащил с себя сапоги и прошептал:

— Прощай, до завтра!

Затем он растянулся на диване и укрылся плюшевым одеялом.

— При даме?! — изумится читатель. — Да это чушь, чепуха! Это возмутительно! Городовой! Цензура!

Да постойте, не спешите, серьезный, строгий, глубокомысленный читатель. Дама в роскошно убранной гостиной была написана масляными красками на холсте и висела над диваном. Теперь можете возмущаться сколько вам угодно.

И как это терпит бумага! Если печатают такой вздор, как «Марья Ивановна», то, очевидно, потому, что нет более ценного материала. Это очевидно. Садитесь же поскорее, излагайте ваши глубокие, великолепные мысли, напишите целые три пуда и пошлите в какую-нибудь редакцию. Садитесь поскорей и пишите! Пишите и посылайте поскорей!

И вам возвратят назад.

Комик

Комик Иван Акимович Воробьев-Соколов заложил руки в карманы своих широких панталон, повернулся к окну и устремил свои ленивые глаза на окно противоположного дома. Прошло минут пять в молчании…

— Ску-ка! — зевнула ingénue Марья Андреевна. — Что же вы молчите, Иван Акимыч? Коли пришли и помешали зубрить роль, то хоть разговаривайте! Несносный вы, право…

— Гм… Собираюсь сказать вам одну штуку, да как-то неловко… Скажешь вам спроста, без деликатесов… по-мужицки, а вы сейчас и осудите, на смех поднимете… Нет, не скажу лучше! Удержу язык мой от зла…

«О чем же это он собирается говорить? — подумала ingénue. — Возбужден, как-то странно смотрит, переминается с ноги на ногу. Уж не объясниться ли в любви хочет? Гм… Беда с этими сорванцами! Вчера первая скрипка объяснялась, сегодня всю репетицию резонер провздыхал… Перебесились все от скуки!»

Комик отошел от окна и, подойдя к комоду, стал рассматривать ножницы и баночку от губной

помады.

— Тэк-ссс… Хочется сказать, а боюсь… неловко… Вам скажешь спроста, по-российски, а вы сейчас: невежа! мужик! то да се… Знаем вас… Лучше уж молчать…

«А что ему сказать, если он в самом деле начнет объясняться в любви? — продолжала думать ingénue. — Он добрый, славный такой, талантливый, но… мне не нравится. Некрасив уж больно… Сгорбившись ходит, и на лице какие-то волдыри… Голос хриплый… И к тому же эти манеры… Нет, никогда!»

Комик молча прошелся по комнате, тяжело опустился в кресло и с шумом потянул к себе со стола газету.

Глаза его забегали по газете, словно ища чего-то, потом остановились на одной букве и задремали.



— Господи… хоть бы мухи были! — проворчал он. — Все-таки веселей…

«Впрочем, у него глаза недурны, — продолжала думать ingénue. — Но что у него лучше всего, так это характер, а у мужчины не так важна красота, как душа, ум… Замуж еще, пожалуй, можно пойти за него, но так жить с ним… ни за что! Как он, однако, сейчас на меня взглянул… Ожег! И чего он робеет, не понимаю!»

Комик тяжело вздохнул и крякнул. Видно было, что ему дорого стоило его молчание. Он стал

красен, как рак, и покривил рот в сторону… На лице его выражалось страдание…

«Пожалуй, с ним и так жить можно, — не переставала думать ingénue. — Содержание он получает хорошее… Во всяком случае, с ним лучше жить, чем с каким-нибудь оборвышем капитаном. Право, возьму и скажу ему, что я согласна! Зачем обижать его, бедного, отказом? Ему и так горько живется!»

— Нет! Не могу! — закряхтел комик, поднимаясь и бросая газету. — Ведь этакая у меня разанафемская натура! Не могу себя побороть! Бейте, браните, а уж я скажу, Марья Андреевна!

— Да говорите, говорите. Будет вам юродствовать!

— Матушка! Голубушка! Простите великодушно… ручку целую коленопреклоненно…

На глазах комика выступили слезы с горошину величиной.

— Да говорите… противный! Что такое?

— Нет ли у вас, голубушка… рюмочки водочки? Душа горит! Такие во рту после вчерашнего перепоя окиси, закиси и перекиси, что никакой химик не разберет! Верите ли? Душу воротит! Жить не могу!

Ingénue покраснела, нахмурилась, но потом

спохватилась и выдала комику рюмку водки… Тот выпил, ожил и принялся рассказывать анекдоты.

Нечистые трагики и прокаженные драматурги

(Ужасно-страшно-возмутительно-отчаянная тррра-гедия)



Действий много, картин еще больше.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Мих. Вал. Лентовский, мужчина и антрепренер.

Тарновский, раздирательный мужчина; с чертями, китами и крокодилами на «ты»; пульс 225, температура 42,8°.

Публика, дама приятная во всех отношениях;

кушает все, что подают.

Карл XII, король шведский; манеры пожарного.

Баронесса, брюнетка не без таланта; не отказывается от пустяковых ролей.

Генерал Эренсверд, ужасно крупный мужчина с голосом мастодонта.

Делагарди, обыкновенный мужчина; читает роль с развязностью… суфлера. Стелла, сестра антрепренера.

Бурль, мужчина, вывезенный на плечах Свободина.

Ганзен.

Прочие.

ЭПИЛОГ[116]

Кратер вулкана. За письменным столом, покрытым кровью, сидит Тарновский; на его плечах вместо головы череп; во рту горит сера; из ноздрей выскакивают презрительно улыбающиеся зеленые чертики. Перо макает он не в чернильницу, а в лаву, которую мешают ведьмы. Страшно. В воздухе летают бегающие по спине мурашки.

---

[116] Примечания: 116

Я хотел было поставить: «Пролог» но редакция говорит, что тут чем невероятнее, тем лучше. Как им угодно! — Примеч. наборщ.

В глубине сцены висят на раскаленных крючьях трясущиеся поджилки. Гром и молния. Календарь Алексея Суворина (губернского секретаря) лежит тут же и с бесстрастностью судебного пристава предсказывает столкновение Земли с Солнцем, истребление вселенной и повышение цен на аптекарские товары. Хаос, ужас, страх… Остальное дополнит фантазия читателя.

Тарновский *(грызя перо)*. Что бы такое написать, черрт возьми? Никак не придумаю! «Путешествие на Луну» уже было… «Бродяга» тоже был… *(Пьет горящую нефть.)* Надо придумать еще что-нибудь… этакое, чтоб замоскворецким купчихам три дня подряд черти снились. *(Трет себе лобную кость.)* Гм… Шевелитесь же вы, великие мозги! *(Думает; гром и молния; слышен залп из тысячи пушек, исполненных по рисунку г. Шехтеля; из щелей выползают драконы, вампиры и змеи; в кратер падает большой сундук, из которого выходит Лентовский, одетый в большую афишу.)*

Лентовский. Здорово, Тарновский!

Тарновский

Ведьмы (вместе). Здравия желаем, ваше-ство!

Прочие

Лентовский. Ну что? Готова пьеса, черррт возьми? *(Машет дубинкой.)*

Тарновский. Никак нет, Михаил Валентиныч… Думаю вот, сижу и никак не придумаю. Уж слишком трудную задачу задали вы мне! Вы хотите, чтобы от моей пьесы стыла у публики кровь, чтобы в сердцах замоскворецких купчих произошло землетрясение, чтобы лампы тухли от моих монологов. Но, согласитесь, это выше сил даже такого великого драматурга, как Тарновский! *(Похвалив себя, конфузится.)*

Лентовский. Ппустяки, черрт возьми! Побольше пороху, бенгальского огня, трескучих монологов — вот и все! В интересах костюмировки возьмите, черррт возьми, высший круг… Измена… Тюрьма… Возлюбленная заключенного насилием выдается замуж за злодея… Роль злодея дадим Писареву… Далее — бегство из тюрьмы… выстрелы… Я не пожалею пороху… Далее — ребенок, знатное происхождение которого открывается только впоследствии… В конце концов опять выстрелы, опять пожар и торжество добродетели… Одним словом, стряпайте по шаблону, как стряпаются Рокамболи и графы Монте-Кристо… *(Гром, молния, иней, роса. Извержение вулкана. Лентовский выбрасывается*

наружу.)

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Публика, капельдинеры, Ганзен и прочие.

Капельдинеры *(стаскивая с публики шубы).* На чаек бы с вашей милости! *(Не получив на чаек, хватают публику за фалды.)* О, черная неблагодарность!!! *(Стыдятся за человечество.)*

Один из публики. Что, выздоровел Лентовский?

Капельдинер. Драться уж начал, значит выздоровел!

Ганзен *(одеваясь в уборной).* Удивлю же я их! Я покажу им! Во всех газетах заговорят!

Действие продолжается, но читатель нетерпелив: он жаждет 2-го действия, а посему — занавес!

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Дворец Карла XII. За сценой Вальц глотает шпаги и раскаленные уголья.

Гром и молния. Карл XII и его царедворцы.

Карл *(шагает по сцене и вращает белками).* Делагарди! Вы изменили отечеству! Отдайте вашу шпагу капитану и извольте шествовать в тюрьму!

Делагарди *(говорит несколько прочувствованных слов и уходит).*

Карл. Тарновский! Вы в вашей раздирательной пьесе заставили меня прожить лишних десять лет! Извольте отправляться в тюрьму! *(Баронессе.)* Вы любите Делагарди и имеете от него ребенка. В интересах фабулы я не должен знать этого обстоятельства и должен отдать вас замуж за нелюбимого человека. Выходите за генерала Эренсверда.

Баронесса *(выходя за генерала).* Ах!

Генерал Эренсверд. Я их допеку! *(Назначается смотрителем тюрьмы, в которой заключены Делагарди и Тарновский.)*

Карл. Ну, теперь я свободен вплоть до пятого действия. Пойду в уборную!

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ И ЧЕТВЕРТОЕ

Стелла *(играет по обыкновению недурно).* Граф,

я люблю вас!

Молодой граф. И я вас люблю, Стелла, но, заклинаю вас во имя любви, скажите мне, на кой черт припутал меня Тарновский к этой канители? На что я ему нужен? Какое отношение я имею к его фабуле?

Бурль. А все это Спрут наделал! По его милости я попал в солдаты. Он бил меня, гнал, кусал… И не будь я Бурль, если это не он написал эту пьесу! Он на все готов, чтобы только допечь меня!

Стелла *(узнав свое происхождение)*. Иду к отцу и освобожу его! *(На дороге к тюрьме встречается с Ганзеном. Ганзен выкидывает антраша.)*

Бурль. По милости Спрута я попал в солдаты и участвую в этой пьесе. Наверное, и Ганзена, чтобы допечь меня, заставил плясать этот Спрут! Ну подожди же! *(Падают мосты. Сцена проваливается. Ганзен делает прыжок, от которого становится дурно всем присутствующим старым девам.)*

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ И ШЕСТОЕ

Стелла *(знакомится в тюрьме с папашей и придумывает с ним план бегства)*. Я спасу тебя, отец… Но как бы сделать так, чтобы с нами не бежал и Тарновский? Убежав из тюрьмы, он на-

пишет новую драму!

Генерал Эренсверд *(терзает баронессу и заключенных)*. Так как я злодей, то я не должен ничем походить на человека! *(Ест сырое мясо.)*

Делагарди и **Стелла** *(бегут из тюрьмы).*

Все. Держи! Лови!

Делагарди. Как бы там ни было, а мы все-таки убежим и останемся целы! (Выстрел.) Плевать! *(Падает мертвый.)* И на это плевать! Автор убивает, он же и воскрешает! *(Является из уборной Карл и повелевает добродетели торжествовать над пороком. Всеобщее ликование. Улыбается луна, улыбаются и звезды.)*

Публика *(указывая Бурлю на Тарновского)*. Вот он, Спрут! Лови!

Бурль *(душит Тарновского. Тарновский падает мертвый, но тотчас же вскакивает. Гром, молния, иней, убийство Коверлей, великое переселение народов, кораблекрушение и сбор всех частей).*

Лентовский. А все-таки я не удовлетворен! *(Проваливается.)*

Perpetuum mobile

Судебный следователь Гришуткин, старик, начавший службу еще в дореформенное время, и доктор Свистицкий, меланхолический господин, ехали на вскрытие. Ехали они осенью по проселочной дороге. Темнота была страшная, лил неистовый дождь.

— Ведь этакая подлость, — ворчал следователь. — Не то что цивилизации и гуманности, даже климата порядочного нет. Страна, нечего сказать! Европа тоже, подумаешь… Дождь-то, дождь! Словно нанялся, подлец! Да вези ты, анафема, поскорей, если не хочешь, чтобы я тебе, подлецу этакому, негодяю, все зубы выбил! — крикнул он работнику, сидевшему на козлах.

— Странно, Агей Алексеич! — говорил доктор, вздыхая и кутаясь в мокрую шубу. — Я даже не замечаю этой погоды. Меня гнетет какое-то странное, тяжелое предчувствие. Вот-вот, кажется мне, стрясется надо мной какое-то несчастие. А я верю в предчувствия и… жду. Все может случиться. Трупное заражение… смерть любимого существа…

— Хоть при Мишке-то постыдитесь говорить

о предчувствиях, баба вы этакая. Хуже того, что есть, не может быть. Этакий дождь — чего хуже? Знаете что, Тимофей Васильич? Я более не в состоянии так ехать. Хоть убейте, а не могу. Нужно остановиться где-нибудь переночевать. Кто тут близко живет?

— Яван Яваныч Ежов, — сказал Мишка. — Сейчас за лесом, только мостик переехать.

— Ежов? Валяй к Ежову! Кстати, давно уж не был у этого старого грешника.

Проехали лес и мостик, повернули налево, потом направо и въехали в большой двор председателя мирового съезда, отставного генерал-майора Ежова.

— Дома! — сказал Гришуткин, вылезая из тарантаса и глядя на окна дома, которые светились. — Это хорошо, что дома. И напьемся, и наедимся, и выспимся… Хоть и дрянной человечишка, но гостеприимен, надо отдать справедливость.

В передней встретил их сам Ежов, маленький, сморщенный старик с лицом, собравшимся в колючий комок.

— Очень кстати, очень кстати, господа… — заговорил он. — А мы только что сели ужинать и буженину едим, тридцать три моментально. А у меня, знаете, товарищ прокурора сидит. Спаси-

бо ему, ангелу, заехал за мной. Завтра с ним на съезд ехать. У нас завтра съезд… тридцать три моментально…

Гришуткин и Свистицкий вошли в зал. Там стоял большой стол, уставленный закусками и винами. За одним прибором сидела дочь хозяина Надежда Ивановна, молодая брюнетка, в глубоком трауре по недавно умершем муже; за другим, рядом с ней, товарищ прокурора Тюльпанский, молодой человек с бачками и множеством синих жилок на лице.



— Знакомы? — говорил Ежов, тыча во всех пальцами. — Это вот прокурор, это — дочь моя…

Брюнетка улыбнулась и, прищурив глаза, подала новоприбывшим руку.

— Итак… с дорожки, господа! — сказал Ежов, наливая три рюмки. — Дерзайте, людие божии! И я выпью за компанию, тридцать три моментально. Ну-с, будемте здоровы…

Выпили. Гришуткин закусил огурчиком и принялся за буженину. Доктор выпил и вздохнул. Тюльпанский закурил сигару, попросив предварительно у дамы позволения, причем оскалил зубы так, что показалось, будто у него во рту по крайней мере сто зубов.

— Ну, что ж, господа? Рюмки-то ведь не ждут! А? Прокурор! Доктор! За медицину! Люблю медицину. Вообще люблю молодежь, тридцать три моментально. Что бы там ни говорили, а молодежь всегда будет идти впереди. Ну-с, будемте здоровы.

Разговорились. Говорили все, кроме прокурора Тюльпанского, который сидел, молчал и пускал через ноздри табачный дым. Было очевидно, что он считал себя аристократом и презирал доктора и следователя. После ужина Ежов, Гришуткин и товарищ прокурора сели играть в винт с бол-

ваном. Доктор и Надежда Ивановна сели около рояля и разговорились.

— Вы на вскрытие едете? — начала хорошенькая вдовушка. — Вскрывать мертвеца? Ах! Какую надо иметь силу воли, какой железный характер, чтобы не морщась, не мигнув глазом, заносить нож и вонзать его по рукоятку в тело бездыханного человека. Я, знаете ли, благоговею перед докторами. Это особенные люди, святые люди. Доктор, отчего вы так печальны? — спросила она.

— Предчувствие какое-то… Меня гнетет какое-то странное, тяжелое предчувствие. Точно ждет меня потеря любимого существа.

— А вы, доктор, женаты? У вас есть близкие?

— Ни души. Я одинок и не имею даже знакомых. Скажите, сударыня, вы верите в предчувствия?

— О, я верю в предчувствия.

И в то время, как доктор и вдовушка толковали о предчувствиях, Ежов и следователь Гришуткин то и дело вставали из-за карт и подходили к столу с закуской. В два часа ночи проигравшийся Ежов вдруг вспомнил о завтрашнем съезде и хлопнул себя по лбу.

— Батюшки! Что же мы делаем?! Ах мы беззаконники, беззаконники! Завтра чуть свет на

съезд ехать, а мы играем! Спать, спать, тридцать три моментально! Надька, марш спать! Объявляю заседание закрытым.

— Счастливы вы, доктор, что можете спать в такую ночь! — сказала Надежда Ивановна, прощаясь с доктором. — Я не могу спать, когда дождь барабанит в окна и когда стонут мои бедные сосны. Пойду сейчас и буду скучать за книгой. Я не в состоянии спать. Вообще, если в коридорчике на окне против моей двери горит лампочка, то это значит, что я не сплю и меня съедает скука…

Доктор и Гришуткин в отведенной для них комнате нашли две громадные постели, постланные на полу, из перин. Доктор разделся, лег и укрылся с головой. Следователь разделся и лег, но долго ворочался, потом встал и заходил из угла в угол. Это был беспокойнейший человек.

— Я все про барыньку думаю, про вдовушку, — сказал он. — Этакая роскошь! Жизнь бы отдал! Глаза, плечи, ножки в лиловых чулочках… огонь баба! Баба — ой-ой! Это сейчас видно! И этакая красота принадлежит черт знает кому — правоведу, прокурору! Этому жилистому дуралею, похожему на англичанина! Не выношу, брат, этих правоведов! Когда ты с ней о предчувствиях говорил, он лопался от ревности! Что говорить,

шикарная женщина! Замечательно шикарная! Чудо природы!

— Да, почтенная особа, — сказал доктор, высовывая голову из-под одеяла. — Особа впечатлительная, нервная, отзывчивая, такая чуткая. Мы вот с вами сейчас уснем, а она, бедная, не может спать. Ее нервы не выносят такой бурной ночи. Она сказала мне, что всю ночь напролет будет скучать и читать книжку. Бедняжка! Наверное, у ней теперь горит лампочка…

— Какая лампочка?

— Она сказала, что если около ее двери на окне горит лампочка, то это значит, что она не спит.

— Она тебе это сказала? Тебе?

— Да, мне.

— В таком случае я тебя не понимаю! Ведь ежели она это тебе сказала, то значит ты счастливейший из смертных! Молодец, доктор! Молодчина! Хвалю, друг! Хоть и завидую, но хвалю! Не так, брат, за тебя рад, как за правоведа, за этого рыжего каналью! Рад, что ты ему рога наставишь! Ну, одевайся! Марш!

Гришуткин, когда бывал пьян, всем говорил «ты».

— Выдумываете вы, Агей Алексеич! Бог знает что, право… — застенчиво отвечал доктор.

— Ну, ну… не разговаривай, доктор! Одевайся и валяй… Как, бишь, это поется в «Жизни за царя»? И на пути любви денек срываем мы как бы цветок… Одевайся, душа моя. Да ну же! Тимоша! Доктор! Да ну же, скотина!

— Извините, я вас не понимаю.

— Да что же тут не понимать! Астрономия тут, что ли? Одевайся и иди к лампочке, вот и все понятие.

— Странно, что вы такого нелестного мнения об этой особе и обо мне.

— Да брось ты философствовать! — рассердился Гришуткин. — Неужели ты можешь еще колебаться? Ведь это цинизм!

Он долго убеждал доктора, сердился, умолял, даже становился на колени и кончил тем, что громко выбранился, плюнул и повалился в постель. Но через четверть часа вдруг вскочил и разбудил доктора.

— Послушайте! Вы решительно отказываетесь идти к ней? — спросил он строго.

— Ах… зачем я пойду? Какой вы беспокойный человек, Агей Алексеич! С вами ездить на вскрытие — это ужасно!

— Ну так, черт вас возьми, я пойду к ней! Я… я не хуже какого-нибудь правоведа или бабы

доктора. Пойду!

Он быстро оделся и пошел к двери.

Доктор вопросительно поглядел на него, как бы не понимая, потом вскочил.

— Вы, полагаю, это шутите? — спросил он, загораживая Гришуткину дорогу.

— Некогда мне с тобой разговаривать… Пусти!

— Нет, я не пущу вас, Агей Алексеич. Ложитесь спать… Вы пьяны!

— По какому это праву ты, эскулап, меня не пустишь?

— По праву человека, который обязан защитить благородную женщину. Агей Алексеич, опомнитесь, что вы хотите делать! Вы старик! Вам шестьдесят семь лет!

— Я старик? — обиделся Гришуткин. — Какой это негодяй сказал тебе, что я старик?

— Вы, Агей Алексеич, выпивши и возбуждены. Нехорошо! Не забывайте, что вы человек, а не животное! Животному прилично подчиняться инстинкту, а вы царь природы, Агей Алексеич!

Царь природы побагровел и сунул руки в карманы.

— Последний раз спрашиваю: пустишь ты меня или нет? — крикнул он вдруг пронзительным голосом, точно кричал в поле на ямщика. — Ка-

налья!

Но тотчас же он сам испугался своего голоса и отошел от двери к окну. Он хотя был и пьян, но ему стало стыдно этого своего пронзительного крика, который, вероятно, разбудил всех в доме. После некоторого молчания к нему подошел доктор и тронул его за плечо. Глаза доктора были влажны, щеки пылали…

— Агей Алексеич! — сказал он дрожащим голосом. — После резких слов, после того, как вы, забыв всякое приличие, обозвали меня канальей, согласитесь, нам уже нельзя оставаться под одной крышей. Я вами страшно оскорблен… Допустим, что я виноват, но… в чем я, в сущности, виноват? Дама честная, благородная, и вдруг вы позволяете себе подобные выражения. Извините, мы более не товарищи.

— И отлично! Не надо мне таких товарищей.

— Я уезжаю сию минуту, больше оставаться я с вами не могу, и… надеюсь, мы больше не встретимся.

— Вы уедете на чем-с?

— На своих лошадях.

— А я на чем же уеду? Вы что же это! До конца хотите подличать? Вы меня привезли на ваших лошадях, на ваших же обязаны и увезти.

— Я вас довезу, если угодно. Только сейчас… Я сейчас еду. Я так взволнован, что больше не могу здесь оставаться.

Затем Гришуткин и Свистицкий молча оделись и вышли на двор. Разбудили Мишку, потом сели в тарантас и поехали.

— Циник… — бормотал всю дорогу следователь. — Если не умеешь обращаться с порядочными женщинами, то сиди дома, не бывай в домах, где женщины…

Себя ли это бранил он или доктора, трудно было понять. Когда тарантас остановился около его квартиры, он спрыгнул и, скрываясь за воротами, проговорил:

— Не желаю быть знакомым!

Прошло три дня. Доктор, окончив свою визитацию, лежал у себя на диване и, от нечего делать, читал в «Календаре для врачей» фамилии петербургских и московских докторов, стараясь отыскать самую звучную и красивую. На душе у него было тихо, хорошо, плавно, как на небе, в синеве которого неподвижно стоит жаворонок, и это благодаря тому, что в прошлую ночь он видел во сне пожар, что означало счастье. Вдруг послышался шум подъехавших саней (выпал снежок), и на пороге показался следователь Гришуткин.

Это был неожиданный гость. Доктор поднялся и поглядел на него сконфуженно и со страхом. Гришуткин кашлянул, потупил глаза и медленно направился к дивану.

— Я приехал извиниться, Тимофей Васильич, — начал он. — Я был по отношению к вам немножко нелюбезен и даже, кажется, сказал вам какую-то неприятность. Вы, конечно, поймете мое тогдашнее возбужденное состояние, вследствие наливки, выпитой у той старой канальи, и извините…

Доктор привскочил и, со слезами на глазах, пожал протянутую руку.

— Ах… помилуйте! Марья, чаю!

— Нет, не надо чаю… Некогда. Вместо чаю, если можно, прикажите квасу подать. Выпьем квасу и поедем труп вскрывать.

— Какой труп?

— Да все тот же унтер-офицерский, который тогда ездили вскрывать, да не доехали.

Гришуткин и Свистицкий выпили квасу и поехали на вскрытие.

— Конечно, я извиняюсь, — говорил дорогой следователь, — я тогда погорячился, но все же, знаете ли, обидно, что вы не наставили рогов этому прокурору… ккканалье.

Проезжая через Алимоново, они увидели около трактира ежовскую тройку…

— Ежов тут! — сказал Гришуткин. — Его лошади. Зайдемте, повидаемся… Выпьем зельтерской воды и кстати на сиделочку поглядим. Тут знаменитая сиделка! Баба ой-ой! Чудо природы!

Путники вылезли из саней и пошли в трактир. Там сидели Ежов и Тюльпанский и пили чай с клюквенным морсом.

— Вы куда? Откуда? — удивился Ежов, увидев Гришуткина и доктора.

— На вскрытие все ездим, да никак не доедем. В заколдованный круг попали. А вы куда?

— Да на съезд, батенька!

— Зачем так часто? Ведь вы третьего дня ездили!

— Кой черт, ездили… У прокурора зубы болели, да и я не в себе как-то был все эти дни. Ну, что пить будете? Присаживайтесь, тридцать три моментально. Водки или пива? Дай-ка нам, брат сиделочка, того и другого. Ах, что за сиделка!

— Да, знаменитая сиделка, — согласился следователь. — Замечательная сиделка. Баба ой-ой-ой!

Через два часа из трактира вышел докторский Мишка и сказал генеральскому кучеру, чтобы тот распряг и поводил лошадей.

— Барин велел… В карты засели! — сказал он и махнул рукой. — Теперь до завтраго отсюда не выберемся. Н-ну, и исправник едет! Стало быть, до послезавтра тут сидеть будем!

К трактиру подкатил исправник. Узнав ежовских лошадей, он приятно улыбнулся и вбежал по лесенке…

Месть женщины

Кто-то рванул за звонок. Надежда Петровна, хозяйка квартиры, в которой происходила описываемая история, вскочила с дивана и побежала отворить дверь.

«Должно быть, муж…» — подумала она.

Но, отворив дверь, она увидела не мужа. Перед ней стоял высокий, красивый мужчина в дорогой медвежьей шубе и золотых очках. Лоб его был нахмурен и сонные глаза глядели на мир божий равнодушно-лениво.

— Что вам угодно? — спросила Надежда Петровна.

— Я доктор, сударыня. Меня звали сюда какие-то… э-э-э… Челобитьевы… Вы Челобитьевы?

— Мы Челобитьевы, но… ради бога, извините, доктор. У моего мужа флюс и лихорадка. Он послал вам письмо, но вы так долго не приезжали, что он потерял всякое терпение и побежал к зубному врачу.

— Гм… Он мог бы сходить к зубному врачу и не беспокоя меня…

Доктор нахмурился. Прошла минута в молчании.

— Извините, доктор, что мы вас обеспокоили и заставили даром проехаться… Если бы мой муж знал, что вы приедете, то, верьте, он не побежал бы к дантисту… Извините…

Прошла еще одна минута в молчании. Надежда Петровна почесала себе затылок.

«Чего же он ждет, не понимаю?» — подумала она, косясь на дверь.

— Отпустите меня, сударыня! — пробормотал доктор. — Не держите меня. Время так дорого, знаете, что…

— То есть… Я, то есть… Я не держу вас…

— Но, сударыня, не могу же я уехать, не получив за свой труд!

— За труд? Ах, да… — залепетала Надежда Петровна, сильно покраснев. — Вы правы… За визит нужно заплатить, это верно… Вы трудились, ехали… Но, доктор… мне даже совестно… муж мой пошел из дому и взял с собой все наши деньги… Дома у меня теперь решительно ничего нет…

— Гм… Странно… Как же быть? Не дожидаться же мне вашего мужа! Да вы поищите, может быть, найдется что-нибудь… Сумма, в сущности, ничтожная…



— Но уверяю вас, что муж все унес… Мне совестно… Не стала бы я из-за какого-нибудь рубля переживать подобное… глупое положение…

— Странный у вас, у публики, взгляд на труд врачей… ей-богу, странный… Словно мы и не люди, словно наш труд не труд… Ведь я ехал к вам, терял время… трудился…

— Да я это очень хорошо понимаю, но, согласитесь, бывают же такие случаи, когда в доме нет ни копейки!

— Ах, да какое же мне дело до этих случаев? Вы, сударыня, просто… наивны и нелогичны… Не заплатить человеку… это даже нечестно… Пользуетесь тем, что я не могу подать на вас мировому и… так бесцеремонно, ей-богу… Больше,

чем странно!

Доктор замялся. Ему стало стыдно за человечество… Надежда Петровна вспыхнула. Ее покоробило…

— Хорошо! — сказала она резким тоном. — Постойте… Я пошлю в лавочку, и там, может быть, мне дадут денег… Я вам заплачу.

Надежда Петровна пошла в гостиную и села писать записку к лавочнику. Доктор снял шубу, вошел в гостиную и развалился в кресле. В ожидании ответа от лавочника, оба сидели и молчали. Минут через пять пришел ответ. Надежда Петровна вынула из записочки рубль и сунула его доктору. У доктора вспыхнули глаза.

— Вы смеетесь, сударыня, — сказал он, кладя рубль на стол. — Мой человек, пожалуй, возьмет рубль, но я… нет-с, извините-с!

— Сколько же вам нужно?

— Обыкновенно я беру десять… С вас же, пожалуй, я возьму и пять, если хотите.

— Ну, пяти вы от меня не дождетесь. У меня нет для вас денег.

— Пошлите к лавочнику. Если он мог дать вам рубль, то почему же ему не дать вам и пяти? Не все ли равно? Я прошу вас, сударыня, не задерживать меня. Мне некогда.

— Послушайте, доктор… Вы не любезны, если… не дерзки! Нет, вы грубы, бесчеловечны! Понимаете? Вы… гадки!

Надежда Петровна повернулась к окну и прикусила губу. На ее глазах выступили крупные слезы.

«Подлец! Мерзавец! — думала она. — Животное! Он смеет… смеет! Не может понять моего ужасного, обидного положения! Ну, подожди же… черт!»

И, немного подумав, она повернула свое лицо к доктору. На этот раз на лице ее выражалось страдание, мольба.

— Доктор! — сказала она тихим, умоляющим голосом. — Доктор! Если бы у вас было сердце, если бы вы захотели понять… вы не стали бы мучить меня из-за этих денег… И без того много муки, много пыток.

Надежда Петровна сжала себе виски и словно сдавила пружину: волосы прядями посыпались на ее плечи…

— Страдаешь от невежды мужа… выносишь эту жуткую, тяжелую среду, а тут еще образованный человек позволяет себе бросать упрек. Боже мой! Это невыносимо!

— Но поймите же, сударыня, что специальное

положение нашего сословия…

Но доктор должен был прервать свою речь. Надежда Петровна пошатнулась и упала без чувств на протянутые им руки… Голова ее склонилась к нему на плечо.

— Сюда, к камину, доктор… — шептала она через минуту. — Поближе… Я вам все расскажу… все…

Через час доктор выходил из квартиры Челобитьевых. Ему было и досадно, и совестно, и приятно…

«Черт возьми… — думал он, садясь в свои сани. — Никогда не следует брать с собой из дому много денег! Того и гляди, что нарвешься!»

Прощение

В прощальный день я, по христианскому обычаю и по добросердечию своему, прощаю всех…

Торжествующую свинью прощаю за то, что она… содержит в себе трихины.

Прощаю вообще все живущее, теснящее, давящее и душащее… как-то: тесные сапоги, корсет, подвязки и проч.

Прощаю аптекарей за то, что они приготовляют красные чернила.

Взятку — за то, что ее берут чиновники.

Березовую кашу и древние языки — за то, что они юношей питают и отраду старцам подают, а не наоборот.

«Голос» — за то, что он закрылся.

Статских советников — за то, что они любят хорошо покушать.

Мужиков — за то, что они плохие гастрономы.

Прощаю я кредитный рубль… Кстати: один секретарь консистории, держа в руке только что добытый рубль, говорил дьякону: «Ведь вот, поди ж ты со мной, отец дьякон! Никак я не пойму своего характера! Возьмем хоть вот этот рубль к примеру… Что он? Падает ведь, унижен,

осрамлен, очернился паче сажи, потерял всякую добропорядочную репутацию, а люблю его! Люблю его, несмотря на все его недостатки, и прощаю… Ничего, брат, с моим добрым характером не поделаешь!» Так вот и я…

Прощаю себя за то, что я не дворянин и не заложил еще имения отцов моих.

Литераторов прощаю за то, что они еще и до сих пор существуют.

Прощаю Окрейца за то, что его «Луч» не так мягок, как потребно.

Прощаю Суворина, планеты, кометы, классных дам, ее и, наконец, точку, помешавшую мне прощать до бесконечности.

Ванька



Был второй час ночи.

Коммерции советник Иван Васильевич Котлов вышел из ресторана «Славянский базар» и поплелся вдоль по Никольской, к Кремлю. Ночь была хорошая, звездная… Из-за облачных клочков и обрывков весело мигали звезды, словно им приятно было глядеть на землю. Воздух был тих и прозрачен.

«Около ресторана извозчики дороги, — думал

Котлов, — нужно отойти немного… Там дальше дешевле… И к тому же мне надо пройтись: я объелся и пьян».

Около Кремля он нанял ночного ваньку.

— На Якиманку! — скомандовал он.

Ванька, малый лет двадцати пяти, причмокнул губами и лениво передернул вожжами. Лошаденка рванулась с места и поплелась мелкой, плохенькой рысцой… Ванька попался Котлову самый настоящий, типичный… Поглядишь на его заспанное, толстокожее, угреватое лицо — и сразу определишь в нем извозчика.

Поехали через Кремль.

— Который теперь час будет? — спросил ванька.

— Второй, — ответил коммерции советник.

— Так-с… А теплей стало! Были холода, а теперь опять потеплело… Хромаешь, подлая! Э-э-э… каторжная!

Извозчик приподнялся и проехался кнутом по лошадиной спине.

— Зима! — продолжал он, поудобней усаживаясь и оборачиваясь к седоку. — Не люблю! Уж больно я зябкий! Стою на морозе и весь коченею, трясусь… Подуй холод, а у меня уж и морда распухла… Комплекцыя такая! Не привык!

— Привыкай… У тебя, братец, ремесло такое, что привыкать надо…

— Человек ко всему привыкнуть может, это действительно, ваше степенство… Да покеда привыкнешь, так раз двадцать замерзнешь… Нежный я человек, балованный, ваше степенство… Меня отец и мать избаловали. Не думали, что мне в извозчиках быть. Нежность на меня напускали. Царство им небесное! Как породили меня на теплой печке, так до десятого годка и не снимали оттеда. Лежал я на печке и пироги лопал, как свинья какая непутная… Любимый у них был… Одевали меня наилучшим манером, грамоте для нежности обучали. Бывалыча и босиком не пробеги: «Простудишься, миленькой!» Словно не мужик, а барин. Побьет отец, а мать плачет… Мать побьет — отцу жалко. Поедешь с отцом в лес за хворостом, а мать тебя в три шубы кутает, словно ты в Москву собрался аль в Киев…

— Разве богато жили?

— Обнаковенно жили, по-мужицки… День прошел — и слава богу. Богаты не были, да и с голоду, благодарить бога, не мерли. Жили мы, барин, в семействе… семейством, стало быть… Дед мой тогда жив был, да коло него два сына жили. Один сын, отец мой тоись, женатый был, другой неже-

натый. А я один паренечек был всего-навсего, всей семье на утеху — ну и баловали. Дед тоже баловал… У деда, знаешь, деньга была припрятана, и он воображение в себе такое имел, что я не пойду по мужицкой части… «Тебе, — говорит, — Петруха, лавку открою. Расти!» Напускали на меня нежность-то, напускали, холили-холили, а вышло потом такое недоумение, что совсем не до нежности… Дядя-то мой, дедов сын, а отцов брат, возьми и выкрадь у деда его деньги. Тыщи две было… Как выкрал, так с той поры и пошло разоренье… Лошадей продали, коров… Отец с дедом наниматься пошли… Известно, как это у нас в крестьянстве… А меня, раба божьего, в пастухи… Вот она, нежность-то!

— Ну, дядя-то твой? Он же что?

— Он ничего… как и следовает… Снял на большой дороге трахтир и зажил припеваючи. Годов через пять на богатой серпуховской мещанке женился. Тысяч восемь за ней взял… После свадьбы трахтир сгорел… Отчего, это самое, ему не гореть, ежели он в обчестве застрахован? Так и следовает… А после пожара уехал он в Москву и снял там бакалейную лавку… Таперь, говорят, богат стал и приступу к нему нет… Наши мужики, хабаровские, видели его тут, сказывали… Я не

видел… Фамилия его будет Котлов, а по имени и отечеству Иван Васильев… Не слыхали?

— Нет… Ну, поезжай скорей!

— Обидел нас Иван Васильев, ух как обидел! Разорил и по миру пустил… Не будь его, нешто я мерз бы тут при своей этой самой комплекцыи, при моей слабости? Жил бы я да поживал в своей деревушке… Эхх! Звонят вот к заутрене… Хочется мне господу богу помолиться, чтоб взыскал с него за всю мою муку… Ну, да бог с ним! Пусть его бог простит! Дотерпим!

— Направо к подъезду!

— Слушаю… Ну, вот и доехали… А за побасенку пятачишко следовало бы…

Котлов вынул из кармана пятиалтынный и подал его ваньке.

— Прибавить бы следовало! Вез ведь как! Да и почин…

— Будет с тебя!

Барин дернул звонок и через минуту исчез за резною дубовою дверью.

А извозчик вскочил на козлы и поехал медленно обратно… Подул холодный ветерок… Ванька поморщился и стал совать зябкие руки в оборванные рукава.

Он не привык к холоду… Балованный…

На охоте

Собачья выставка с ее борзыми и гончими напомнила мне один маленький эпизод, имевший большое влияние на мою жизнь.

В одно прекрасное утро я получил от дяди, помещика Екатеринославской губернии, письмо. Между прочим он писал:

«Если не приедешь ко мне на будущей неделе, то и племянником считать тебя не буду, отца твоего из поминальной книжки вычеркну… Поохотимся, — приезжай!»…

Надо было поехать.

Дядя встретил меня с распростертыми объятиями и, как это водится даже у самых гостеприимных охотников, не дав мне оправиться после долгой дороги и отдохнуть, повел меня на псарню показывать мне своих лошадей и собак. Собаки, по моему мнению, бывают большие, маленькие и средние, белые, черные и серые, злые и смирные; дядя же различал между ними крапчатых, темно-багряных, сохастовых, лещеватых, черноногих, черных в подпалинах, брудастых — совсем собачий язык, и мне кажется, что если бы собаки умели говорить, то говорили бы именно на таком

языке. Дядя показывал, целовал собак в морды и все требовал, чтобы я щупал собачьи морды, трогал лапы.

На другой день утром меня нарядили в полушубок и валенки и повезли на охоту.

Я вспоминаю теперь большой ольховый лес, седой от инея. Тишина в нем царит гробовая. От леса до горизонта тянется белое поле… И конца не видно этому полю. В лесу и по полю скачут на конях полушубки… У всех лица озабоченные, напряженные, словно всем этим полушубкам предстоит открыть что-то новое, необыкновенное… Дядя мой, красный как рак, скачет от одного полушубка к другому, отдает приказания, сыплет ругательства… Слышны трубные звуки… Эту картину вспоминаю я теперь. Помню также, как подъехал ко мне дядя и повел меня на окраину леса.

— Стой тут… Как зверь побежит на тебя из лесу, так и стреляй!

— Но ведь я, дядюшка, и ружья-то держать путем не умею!

— Пустяки… Приучайся. Ну, смотри же!.. Чуть только зверь — пли!!!

Сказавши это, дядя отъехал от меня, и я остался один. Полушубки поскакали в лес. Долго я ждал

зверя. Ждал я, а сам в это время думал о Москве, мечтал, дремал…

«А что если я убью зверя? — воображал я. — Убью я, а не они! То-то потеха будет!»

После долгого ожидания послышался наконец сдержанный собачий лай… По лесу понеслось ауканье… Я взвел курок и насторожил зрение и слух… У меня забилось сердце, и проснулся во мне инстинкт хищника-охотника. Затрещали недалеко от меня кусты, и я увидел зверя… Зверь, какой-то странный, на длинных ногах и с колючей мордой, несся прямо на меня. Я нажал пальцем, загремел выстрел, и все было кончено. Ура! Мой зверь подпрыгнул, упал и закорчился.

— Сюда! Ко мне! — закричал я. — Дядюшка!

Я указал на умирающего зверя. Дядя поглядел на него и схватил себя за голову.

— Это мой Скачок! — закричал он. — Моя собака!.. Моя горячо любимая собака!..

И, прыгнув с лошади, он припал к своему Скачку. А я поскорее в сани — и был таков.

Непреднамеренное убийство Скачка навсегда рассорило меня с дядей. Он перестал мне высылать содержание. Умирая же, три года тому назад, он приказал передать мне, что он и после смерти не простит мне убийства его любимой собаки. И

имение свое он завещал не мне, а какой-то даме, своей бывшей любовнице.

Репетитор

Гимназист VII класса Егор Зиберов милостиво подает Пете Удодову руку. Петя, двенадцатилетний мальчуган в сером костюмчике, пухлый и краснощекий, с маленьким лбом и щетинистыми волосами, расшаркивается и лезет в шкап за тетрадками. Занятие начинается.

Согласно условию, заключенному с отцом Удодовым, Зиберов должен заниматься с Петей по два часа ежедневно, за что и получает шесть рублей в месяц. Готовит он его во II класс гимназии. (В прошлом году он готовил его в I класс, но Петя порезался.)

— Ну-с… — начинает Зиберов, закуривая папиросу. — Вам задано четвертое склонение. Склоняйте fructus!

Петя начинает склонять.

— Опять вы не выучили! — говорит Зиберов, вставая. — В шестой раз задаю вам четвертое склонение, и вы ни в зуб толконуть! Когда же, наконец, вы начнете учить уроки?

— Опять не выучил? — слышится за дверями кашляющий голос, и в комнату входит Петин папаша, отставной губернский секретарь Удо-

дов. — Опять? Почему же ты не выучил? Ах ты, свинья, свинья! Верите ли, Егор Алексеич? Ведь и вчерась порол!

И, тяжело вздохнув, Удодов садится около сына и засматривает в истрепанного Кюнера. Зиберов начинает экзаменовать Петю при отце. Пусть глупый отец узнает, как глуп его сын! Гимназист входит в экзаменаторский азарт, ненавидит, презирает маленького краснощекого тупицу, готов побить его. Ему даже досадно делается, когда мальчуган отвечает впопад — так опротивел ему этот Петя!

— Вы даже второго склонения не знаете! Не знаете вы и первого! Вот вы как учитесь! Ну, скажите мне, как будет звательный падеж от meus filius[117]?

— От meus filius? Meus filius будет… это будет…

Петя долго глядит в потолок, долго шевелит губами, но не дает ответа.

— А как будет дательный множественного от dea[118]?

— Deabus… filiabus! — отчеканивает Петя.

Старик Удодов одобрительно кивает головой.

---

[117] Примечания: 117
Мой сын (лат.).

[118] Примечания: 118
Богиня (лат.).

Гимназист, не ожидавший удачного ответа, чувствует досаду.

— А еще какое существительное имеет в дательном abus? — спрашивает он.

Оказывается, что и «anima — душа» имеет в дательном abus, чего нет в Кюнере.

— Звучный язык латинский! — замечает Удодов. — Алон… трон… бонус… антропос… Премудрость! И все ведь это нужно! — говорит он со вздохом.

«Мешает, скотина, заниматься… — думает Зиберов. — Сидит над душой тут и надзирает. Терпеть не могу контроля!» — Ну-с, — обращается он к Пете. — К следующему разу по латыни возьмете то же самое. Теперь по арифметике… Берите доску. Какая следующая задача?

Петя плюет на доску и стирает рукавом. Учитель берет задачник и диктует:

— «Купец купил 138 арш. черного и синего сукна за 540 руб. Спрашивается, сколько аршин купил он того и другого, если синее стоило 5 руб. за аршин, а черное 3 руб.?» Повторите задачу.

Петя повторяет задачу и тотчас же, ни слова не говоря, начинает делить 540 на 138.

— Для чего же это вы делите? Постойте! Впрочем, так… продолжайте. Остаток получается?

Здесь не может быть остатка. Дайте-ка я разделю!

Зиберов делит, получает 3 с остатком и быстро стирает.

«Странно… — думает он, ероша волосы и краснея. — Как же она решается? Гм!.. Это задача на неопределенные уравнения, а вовсе не арифметическая»…

Учитель глядит в ответы и видит 75 и 63.

«Гм!.. странно… Сложить 5 и 3, а потом делить 540 на 8? Так, что ли? Нет, не то».

— Решайте же! — говорит он Пете.

— Ну, чего думаешь? Задача-то ведь пустяковая! — говорит Удодов Пете. — Экий ты дурак, братец! Решите уж вы ему, Егор Алексеич.

Егор Алексеич берет в руки грифель и начинает решать. Он заикается, краснеет, бледнеет.

— Эта задача, собственно говоря, алгебраическая, — говорит он. — Ее с иксом и игреком решить можно. Впрочем, можно и так решить. Я, вот, разделил… понимаете? Теперь, вот, надо вычесть… понимаете? Или, вот что. Решите мне эту задачу сами к завтраму… Подумайте.

Петя ехидно улыбается. Удодов тоже улыбается. Оба они понимают замешательство учителя. Ученик VII класса еще пуще конфузится, встает и

начинает ходить из угла в угол.

— И без алгебры решить можно, — говорит Удодов, протягивая руку к счетам и вздыхая. — Вот, извольте видеть…

Он щелкает на счетах, и у него получается 75 и 63, что и нужно было.

— Вот-с… по-нашему, по-неученому.

Учителю становится нестерпимо жутко. С замиранием сердца поглядывает он на часы и видит, что до конца урока остается еще час с четвертью — целая вечность!

— Теперь диктант.

После диктанта — география, за географией — закон божий, потом русский язык, — много на этом свете наук! Но вот, наконец, кончается двухчасовой урок. Зиберов берется за шапку, милостиво подает Пете руку и прощается с Удодовым.

— Не можете ли вы сегодня дать мне немного денег? — просит он робко. — Завтра мне нужно взносить плату за учение. Вы должны мне за шесть месяцев.

— Я? Ах, да, да… — бормочет Удодов, не глядя на Зиберова. — С удовольствием! Только у меня сейчас нету, а я вам через недельку… или через две…

Зиберов соглашается и, надев свои тяжелые, грязные калоши, идет на другой урок.



Наивный леший
(Сказка)

В лесу, на берегу речки, которую день и ночь сторожит высокий камыш, стоял в одно прекрасное утро молодой, симпатичный леший. Возле него на травке сидела русалочка, молоденькая и такая хорошенькая, что, знай я ее точный адрес, бросил бы все — и литературу, и жену, и науки — и полетел бы к ней... Русалочка была нахмурена и сердито теребила зеленую травку.

— Я прошу вас понять меня, — говорил леший, заикаясь и конфузливо мигая глазами. — Если вы поймете, то не будете так строги. Позвольте мне объяснить вам все с самого начала. 20 лет тому назад на этом самом месте, когда я просил у вас руки, вы сказали, что только в таком случае выйдете за меня замуж, если у меня не будет глупого выражения лица, а для этого вы посоветовали мне отправиться к людям и поучиться у них уму-разуму. Я, как вам известно, послушал вас и отправился к людям. Отлично. Придя к ним, я прежде всего оправился, какие есть специальности и ремесла. Один правовед сказал мне, что

самая лучшая и безвредная специальность — это лежать на диване, задрав вверх ноги, и плевать в потолок; но я, честный, глупый леший, не поверил ему! Прежде всего я попал по протекции в почтмейстеры. Ужасная, ma chère[119], должность! Письма обывателей до того скучны, что просто тошно делается!

— Зачем же вы их читали, если они скучны?

— Так принято… Да и к тому же нельзя без этого… Письма разные бывают… Иной подписывается «поручик такой-то», а под этим поручиком Лассаля понимать надо или Спинозу… Ну-с… потом поступил я по протекции в брандмейстеры… Тоже ужасная должность!

То и дело пожар… Сядешь, бывало, обедать или в винт играть — пожар. Ляжешь спать — пожар. А изволь-ка тут ехать на пожар, если еще и из естественной истории известно, что казенных лошадей нельзя кормить овсом. Раз я велел накормить лошадей овсом, и — что ж вы думаете? — ревизор так удивился, что мне даже совестно стало. Бросил…

Есть, ma chere, на земле люди, которые смотрят за тем, чтобы у ближних в головах и карманах

---

[119] Примечания: 119
Моя дорогая (фр.).

ничего лишнего не было. От брандмейстера к этой должности рукой подать. Я поступил. Вся моя служба на первых порах состояла в том, что я принимал от людей «благодарности»… Сначала мне это ужасно нравилось… В наш практический век такие чувства, как благодарность, могут не нравиться только камню и должны быть поощряемы… Но потом я совсем разочаровался. Люди ужасно испорчены… Они благодарят купонами 1889 года и даже пускают в ход фальшивые купоны. И к тому же — благодарят, а у самих в глазах никаких приятных чувств не выражается… Пошло! От этой должности к педагогии рукой подать. Поступил я в педагоги. Сначала мне повезло, и даже директор несколько раз мне руку пожимал. Ему ужасно нравилось мое глупое лицо. Но увы! Прочел я однажды в «Вестнике Европы» статью о вреде лесоистребления и почувствовал угрызения совести. Мне и ранее, откровенно говоря, было жаль употреблять нашу милую, зеленую березу для таких низменных целей, как педагогия.

Выразил я директору свое сомнение, и мое глупое выражение лица было сочтено за подложное. Я — фюйть! Потом поступил я в доктора. Сначала мне повезло. Дифтериты, знаете ли, тифы…

Хотя я и не увеличил процента смертности, но все-таки был замечен. В повышение меня назначили врачом в Московский воспитательный дом. Здесь, кроме рецептов и посещения палат, с меня потребовали реверансов, книксенов и уменья с достоинством ездить на запятках… Старший доктор Соловьев, тот самый, что в Одессе, на съезде, себя на эмпиреях чувствовал, требовал даже от меня, чтобы я делал ему глазки. Когда я сказал, что реверансы и глазки не преподаются на медицинском факультете, меня сочли за вольнодумца и не помнящего родства…



После неудачного докторства занялся я ком-

мерцией. Открыл булочную и стал булки печь. Но, ma chere, на земле так много насекомых, что просто ужас! Какой калач ни взломай, во всяком таракан или мокрица сидит.

— Ах, полно вам чепуху пороть! — воскликнула русалочка, выйдя из терпения. — Кой черт просил вас, дурака этакого, поступать в брандмейстеры и булки печь? Неужели вы, скотина вы этакая, не могли на земле найти что-нибудь поумнее и возвышеннее? Разве у людей нет наук, литературы?

— Я, знаете ли, хотел поступить в университет, да мне один акцизный сказал, что там все беспорядки. Был я и литератором… черти понесли меня в эту литературу! Писал я хорошо и даже надежды подавал, но, ma chere, в кутузках так холодно и так много клопов, что даже при воспоминании пахнет в воздухе клопами. Литературой я и кончил… В больнице помер… Литературный фонд похоронил меня на свой счет. Репортеры на десять рублей на моих похоронах водки выпили. Дорогая моя! Не посылайте меня вторично к людям! Уверяю вас, что я не вынесу этого испытания!

— Это ужасно! Мне жаль вас, но поглядитесь вы в реку! Ваше лицо стало глупее прежнего! Нет, ступайте опять! Займитесь науками, искусства-

ми… путешествуйте, наконец! Не хотите этого? Ну, так ступайте и последуйте тому совету, который дал вам правовед!

Леший начал умолять… Чего уж он только не говорил, чтобы избавиться от неприятной поездки! Он сказал, что у него нет паспорта, что он на замечании, что при теперешнем курсе тяжело совершать какие бы то ни было поездки, но ничто не помогло… Русалочка настояла на своем. И леший опять среди людей. Он теперь служит, дослужился уже до статского советника, но выражение его лица нисколько не изменилось: оно по-прежнему глупое.

Сон репортера

«Настоятельно прошу быть сегодня на костюмированном балу французской колонии. Кроме вас, идти некому. Дадите заметку, возможно подробнее. Если же почему-либо не можете быть на балу, то немедленно уведомьте — попрошу кого-нибудь другого. При сем прилагаю билет. Ваш… (следует подпись редактора).

P. S. Будет лотерея-аллегри. Будет разыграна ваза, подаренная президентом французской республики. Желаю вам выиграть».

Прочитав это письмо, Петр Семеныч, репортер, лег на диван, закурил папиросу и самодовольно погладил себя по груди и по животу. (Он только что пообедал.)

— Желаю вам выиграть, — передразнил он редактора. — А на какие деньги я куплю билет? Небось, денег на расходы не даст, ска-атина. Скуп, как Плюшкин… Взял бы он пример с заграничных редакций… Там умеют ценить людей. Ты, положим, Стэнли, едешь отыскивать Ливингстона. Ладно. Бери столько-то тысяч фунтов стерлингов! Ты, Джон Буль, едешь отыскивать «Жаннетту». Ладно. Бери десять тысяч! Ты идешь описывать

бал французской колонии. Ладно. Бери… тысяч пятьдесят… Вот как за границей! А он мне прислал один билет, потом заплатит по пятаку за строчку и воображает… Ска-а-тина!..

Петр Семеныч закрыл глаза и задумался. Множество мыслей, маленьких и больших, закопошилось в его голове. Но скоро все эти мысли покрылись каким-то приятным розовым туманом. Из всех щелей, дыр, окон медленно поползло во все стороны желе, полупрозрачное, мягкое. Потолок стал опускаться. Забегали человечки, маленькие лошадки с утиными головками, замахало чье-то большое мягкое крыло, потекла река… Прошел мимо маленький наборщик с очень большими буквами и улыбнулся… Все утонуло в его улыбке и… Петру Семенычу начало сниться.

Он надел фрак, белые перчатки и вышел на улицу. У подъезда давно уже ожидает его карета с редакционным вензелем. С козел соскакивает лакей в ливрее и помогает ему сесть в карету, подсаживает его, точно барышню-аристократку.

Через какую-нибудь минуту карета останавливается у подъезда Благородного собрания. Он, нахмурив лоб, сдает свое платье и с важностью идет вверх по богато убранной, освещенной лест-

нице. Тропические растения, цветы из Ниццы, костюмы, стоящие тысячи.

— Корреспондент… — пробегает шепот в многотысячной толпе. — Это он…

К нему подбегает маленький старичок с озабоченным лицом, в орденах.

— Извините, пожалуйста! — говорит он Петру Семенычу. — Ах, извините, пожалуйста!

И вся зала вторит за ним:

— Ах, извините, пожалуйста!

— Ах, полноте! Вы меня конфузите, право… — говорит репортер.

И он вдруг, к великому своему удивлению, начинает трещать по-французски. Ранее знал одно только «mercі», а теперь — на поди!

Петр Семеныч берет цветок и бросает сто рублей, и как раз в это время подают от редактора телеграмму: «Выиграйте дар президента французской республики и опишите ваши впечатления. Ответ на тысячу слов уплачен. Не жалейте денег». Он идет к аллегри и начинает брать билеты. Берет один… два… десять. Берет сто, наконец тысячу и получает вазу из севрского фарфора. Обняв обеими руками вазу, спешит дальше.



Навстречу ему идет дамочка с роскошными льняными волосами и голубыми глазами. Костюм у нее замечательный, выше всякой критики. За ней толпа.

— Кто это? — спрашивает репортер.

— А это одна знатная француженка. Выписана из Ниццы вместе с цветами.

Петр Семеныч подходит к ней и рекомендуется. Через минуту он берет ее под руку и ходит, ходит… Ему многое нужно разузнать от францу-

женки, очень многое… Она так прелестна!

«Она моя! — думает он. — А где я у себя в комнате поставлю вазу?» — соображает он, любуясь француженкой.

Комната его мала, а ваза все растет, растет и так разрослась, что не помещается даже в комнате. Он готов заплакать.

— А-а-а… так вы вазу любите больше, чем меня? — говорит вдруг ни с того, ни с сего француженка и — трах кулаком по вазе!

Драгоценный сосуд громко трещит и разлетается вдребезги. Француженка хохочет и бежит куда-то в туман, в облако. Все газетчики стоят и хохочут… Петр Семеныч, рассерженный, с пеной у рта, бежит за ними и вдруг, очутившись в Большом театре, падает вниз головой с шестого яруса.

Петр Семеныч открывает глаза и видит себя на полу, около своего дивана. У него от ушиба болят спина и локоть.

«Слава богу, нет француженки, — думает он, протирая глаза. — Ваза, значит, цела. Хорошо, что я не женат, а то, пожалуй, дети стали бы шалить и разбили вазу».

Протерев же глаза как следует, он не видит и вазы.

«Все это сон, — думает он. — Однако уже первый час ночи… Бал давно уже начался, пора ехать… Полежу еще немного и — марш!»

Полежав еще немного, он потянулся и… заснул — и так и не попал на бал французской колонии.

— Ну, что? — спросил у него на другой день редактор. — Были на балу? Понравилось?

— Так себе… Ничего особенного… — сказал он, делая скучающее лицо. — Вяло. Скучно. Я написал заметку в двести строк. Немножко браню наше общество за то, что оно не умеет веселиться. — И, сказавши это, он отвернулся к окну и подумал про редактора:

— Ска-атина!!!

Певчие

С легкой руки мирового, получившего письмо из Питера, разнеслись слухи, что скоро в Ефремово прибудет барин, граф Владимир Иваныч. Когда он прибудет — неизвестно.

— Яко тать в нощи, — говорит отец Кузьма, маленький, седенький попик в лиловой ряске. — А ежели он приедет, то и прохода здесь не будет от дворянства и прочего высшего сословия. Все соседи съедутся. Уж ты тово… постарайся, Алексей Алексеич… Сердечно прошу…

— Мне-то что! — говорит Алексей Алексеич, хмурясь. — Я свое дело сделаю. Лишь бы только мой враг ектению в тон читал. А то ведь он назло…

— Ну, ну… я умолю дьякона… умолю.

Алексей Алексеич состоит псаломщиком при ефремовской Трехсвятительской церкви. В то же время он обучает школьных мальчиков церковному и светскому пению, за что получает от графской конторы шестьдесят рублей в год. Школьные же мальчики за свое обучение обязаны петь в церкви. Алексей Алексеич — высокий, плотный мужчина с солидною походкой и бри-

тым жирным лицом, похожим на коровье вымя. Своею статностью и двухэтажным подбородком он более похож на человека, занимающего не последнюю ступень в высшей светской иерархии, чем на дьячка. Странно было глядеть, как он, статный и солидный, бухал владыке земные поклоны и как однажды, после одной слишком громкой распри с дьяконом Евлампием Авдиесовым, стоял два часа на коленях, по приказу отца благочинного. Величие более прилично его фигуре, чем унижение.

Ввиду слухов о приезде графа, он делает спевки каждый день утром и вечером. Спевки производятся в школе. Школьным занятиям они мало мешают. Во время пения учитель Сергей Макарыч задает ученикам чистописание и сам присоединяется к тенорам, как любитель.

Вот как производятся спевки. В классную комнату, хлопая дверью, входит сморкающийся Алексей Алексеич. Из-за ученических столов с шумом выползают дисканты и альты. Со двора, стуча ногами, как лошади, входят давно уже ожидающие тенора и басы. Все становятся на свои места. Алексей Алексеич вытягивается, делает знак, чтобы молчали, и издает камертоном звук.

— То-то-ти-то-том… До-ми-соль-до!

— Аааа-минь!

— Адажьо… адажьо… Еще раз…

После «аминь» следует «Господи помилуй» великой ектении. Все это давно уже выучено, тысячу раз пето, пережевано и поется только так, для проформы. Поется лениво, бессознательно. Алексей Алексеич покойно машет рукой и подпевает то тенором, то басом. Все тихо, ничего интересного. Но перед «Херувимской» весь хор вдруг начинает сморкаться, кашлять и усиленно перелистывать ноты. Регент отворачивается от хора и с таинственным выражением лица начинает настраивать скрипку. Минуты две длятся приготовления.

— Становитесь. Глядите в ноты получше… Басы, не напирайте… помягче…

Выбирается «Херувимская» Бортнянского, № 7. По данному знаку наступает тишина. Глаза устремляются в ноты, и дисканты раскрывают рты. Алексей Алексеич тихо опускает руку.

— Пиано… пиано… Ведь там «пиано» написано… Легче, легче!

— …ви… и… мы…

Когда нужно петь piano, на лице Алексея Алексеича разлита доброта, ласковость, словно он хорошую закуску во сне видит.

— Форте… форте! Напирайте!

И когда нужно петь forte, жирное лицо регента выражает сильный испуг и даже ужас.

«Херувимская» поется хорошо, так хорошо, что школьники оставляют свое чистописание и начинают следить за движениями Алексея Алексеича. Под окнами останавливается народ. Входит в класс сторож Василий, в фартуке, со столовым ножом в руке, и заслушивается.

Как из земли вырастает отец Кузьма с озабоченным лицом… После «отложим попечение» Алексей Алексеич вытирает со лба пот и в волнении подходит к отцу Кузьме.

— Недоумеваю, отец Кузьма! — говорит он, пожимая плечами. — Отчего это в русском народе понимания нет? Недоумеваю, накажи меня бог! Такой необразованный народ, что никак не разберешь, что у него там в горле: глотка или другая какая внутренность? Подавился ты, что ли? — обращается он к басу Геннадию Семичеву, брату кабатчика.

— А что?

— На что у тебя голос похож? Трещит, словно кастрюля. Опять, небось, вчерась трахнул за галстук? Так и есть! Изо рта, как из кабака… Эээх! Мужик, братец, ты! Невежа ты! Какой же ты пев-

чий, ежели ты с мужиками в кабаке компанию водишь? Эх, ты осел, братец!

— Грех, брат, грех. — бормочет отец Кузьма. — Бог все видит… насквозь…

— Оттого ты и пения нисколько не понимаешь, что у тебя в мыслях водка, а не божественное, дурак ты этакой.

— Не раздражайся, не раздражайся… — говорит отец Кузьма. — Не сердись… Я его умолю.

Отец Кузьма подходит к Геннадию Семичеву и начинает его умолять:

— Зачем же ты? Ты, тово, пойми у себя в уме. Человек, который поет, должен себя воздерживать, потому что глотка у него тово… нежная.

Геннадий чешет себе шею и косится на окно, точно не к нему речь.

После «Херувимской» поют «Верую», потом «Достойно и праведно», поют чувствительно, гладенько — и так до «Отче наш».

— А по-моему, отец Кузьма, — говорит регент, — простое «Отче наш» лучше нотного. Его бы и спеть при графе.

— Нет, нет… Пой нотное. Потому граф в столицах, к обедне ходючи, окроме нотного ничего. Небось, там в капеллах… Там, брат, еще и не такие ноты!..

После «Отче наш» опять кашель, сморканье и перелистыванье нот. Предстоит исполнить самое трудное: концерт. Алексей Алексеич изучает две вещи: «Кто Бог велий» и «Всемирную славу». Что лучше выучат, то и будут петь при графе. Во время концерта регент входит в азарт. Выражение доброты то и дело сменяется испугом. Он машет руками, шевелит пальцами, дергает плечами…

— Форте! — бормочет он. — Анданте! Разжимайте… разжимайте! Пой, идол! Тенора, не доносите! То-то-ти-то-том… Соль… си… соль, дурья твоя голова! Велий! Басы, ве… ве… лий…

Его смычок гуляет по головам и плечам фальшивящих дискантов и альтов. Левая рука то и дело хватает за уши маленьких певцов. Раз даже, увлекшись, он согнутым большим пальцем бьет под подбородок баса Геннадия. Но певчие не плачут и не сердятся на побои: они сознают всю важность исполняемой задачи.

После концерта проходит минута в молчании. Алексей Алексеич, вспотевший, красный, изнеможенный, садится на подоконник и окидывает присутствующих мутным, отяжелевшим, но победным взглядом. В толпе слушателей он, к великому своему неудовольствию, усматривает диакона Авдиесова. Диакон, высокий, плотный

мужчина, с красным рябым лицом и с соломой в волосах, стоит, облокотившись о печь, и презрительно ухмыляется.

— Ладно, пой! Выводи ноты! — бормочет он густым басом. — Очень нужно грахву твое пение! Ему хоть по нотам пой, хоть без нот. Потому — атеист…

Отец Кузьма испуганно озирается и шевелит пальцами.

— Ну, ну… — шепчет он. — Молчи, диакон. Молю…

После концерта поют «Да исполнятся уста наша», и спевка кончается. Певчие расходятся, чтобы сойтись вечером для новой спевки. И так каждый день.

Проходит месяц, другой…

Уже и управляющий получил уведомление о скором приезде графа. Но вот, наконец, с господских окон снимаются запыленные жалюзи и Ефремово слышит звуки разбитого, расстроенного рояля. Отец Кузьма чахнет и сам не знает, отчего он чахнет: от восторга ли, от испуга ли… Диакон ходит и ухмыляется.

В ближайший субботний вечер отец Кузьма входит в квартиру регента. Лицо его бледно, плечи осунулись, блеск лиловой рясы померк.

— Был сейчас у его сиятельства, — говорит он, заикаясь, регенту. — Образованный господин, с деликатными понятиями. Но, тово… обидно, брат… В каком часу, говорю, ваше сиятельство, прикажете завтра к литургии ударить? А они мне: «Когда знаете… Только нельзя ли как-нибудь поскорее, покороче… без певчих». Без певчих! Тово, понимаешь… без певчих…

Алексей Алексеич багровеет. Легче ему еще раз простоять два часа на коленях, чем этакие слова слышать! Всю ночь не спит он. Не так обидно ему, что пропали его труды, как то, что Авдиесов не даст ему теперь прохода своими насмешками. Авдиесов рад его горю. На другой день всю обедню он презрительно косится на клирос, где один, как перст, басит Алексей Алексеич. Проходя с кадилом мимо клироса, он бормочет:

— Выводи ноты, выводи! Старайся! Грахв красненькую на хор даст!

После обедни регент, уничтоженный и больной от обиды, идет домой. У ворот догоняет его красный Авдиесов.

— Постой, Алеша, — говорит диакон. — Постой, дура, не сердись! Не ты один, и я, брат, в накладе! Подходит сейчас после обедни к грахву отец Кузьма и спрашивает: «А какого вы понятия о

голосе диакона, ваше сиятельство? Не правда ли, совершеннейшая октава?» А грахв-то, знаешь, что выразил? Конплимент! «Кричать, говорит, всякий может. Не так, говорит, важен в человеке голос, как ум». Питерский дока! Атеист и есть атеист! Пойдем, брат сирота, с обиды тарарахнем точию по единой!

И враги, взявшись под руки, идут в ворота…

Жалобная книга
(Нечто современное. Сценка)

Лежит она, эта книга, в специально построенной для нее конторке на станции железной дороги. Ключ от конторки «хранится у станционного жандарма», на деле же никакого ключа не нужно, так как конторка всегда отперта. Раскрывайте книгу и читайте:

«Милостивый государь! Проба пера!?»

Под этим нарисована рожица с длинным носом и рожками. Под рожицей написано:

«Ты картина, я портрет, ты скотина, а я нет. Я — морда твоя».

«Подъезжая к сией станцыи и глядя на природу в окно, у меня слетела шляпа. И. Ярмонкин».

«Кто писал не знаю, а я дурак читаю».

«Оставил память начальник стола претензий Коловроев».

«Приношу начальству мою жалобу на Кондуктора Кучкина за его грубости в отношении моей жене. Жена моя вовсе не шумела, а напротив старалась чтоб все было тихо. А также и насчет жандарма Клятвина который меня Грубо за плечо

взял. Жительство имею в имении Андрея Ивановича Ищеева который знает мое поведение. Конторщик Самолучшев».

«Никандров социалист!»

«Находясь под свежим впечатлением возмутительного поступка… (зачеркнуто). Проезжая через эту станцию, я был возмущен до глубины души следующим… (зачеркнуто). На моих глазах произошло следующее возмутительное происшествие, рисующее яркими красками наши железнодорожные порядки… (далее все зачеркнуто, кроме подписи). Ученик 7-го класса Курской гимназии Алексей Зудьев».

«В ожидании отхода поезда обозревал физиогномию начальника станции и остался ею весьма недоволен. Объявляю о сем по линии. Неунывающий дачник».

«Я знаю кто это писал. Это писал М. Д.».



«Господа! Тельцовский шуллер!»

«Жандармиха ездила вчера с буфетчиком Костькой за реку. Желаем всего лучшего. Не унывай жандарм!»

«Проезжая через станцию и будучи голоден в рассуждении чего бы покушать я не мог найти постной пищи. Дьякон Духов».

«Лопай, что дают»…

«Кто найдет кожаный портсигар тот пущай отдаст в кассу Андрею Егорычу».

«Так как меня прогоняют со службы, будто я пьянствую, то объявляю, что все вы мошенники

и воры. Телеграфист Козьмодемьянский».

«Добродетелью украшайтесь».

«Катинька, я вас люблю безумно!»

«Прошу в жалобной книге не писать посторонних вещей. За начальника станции Иванов 7-й».

«Хоть ты и седьмой, а дурак».

Чтение
(Рассказ старого воробья)

Как-то раз в кабинете нашего начальника Ивана Петровича Семипалатова сидел антрепренер нашего театра Галамидов и говорил с ним об игре и красоте наших актрис.

— Но я с вами не согласен, — говорил Иван Петрович, подписывая ассигновки. — Софья Юрьевна сильный, оригинальный талант! Милая такая, грациозная… Прелестная такая…

Иван Петрович хотел дальше продолжать, но от восторга не мог выговорить ни одного слова и улыбнулся так широко и слащаво, что антрепренер, глядя на него, почувствовал во рту сладость.

— Мне нравится в ней… э-э-э… волнение и трепет молодой груди, когда она читает монологи. Так и пышет, так и пышет! В этот момент, передайте ей, я готов… на все!

— Ваше превосходительство, извольте подписать ответ на отношение херсонского полицейского правления касательно…

Семипалатов поднял свое улыбающееся лицо и увидел перед собой чиновника Мердяева.

Мердяев стоял перед ним и, выпучив глаза, подносил ему бумагу для подписи. Семипалатов поморщился: проза прервала поэзию на самом интересном месте.

— Об этом можно бы и после, — сказал он. — Видите ведь, я разговариваю! Ужасно невоспитанный, неделикатный народ! Вот-с, господин Галамидов… Вы говорили, что у нас нет уже гоголевских типов… А вот вам! Чем не тип? Неряха, локти продраны, косой… никогда не чешется… А посмотрите, как он пишет! Это черт знает что! Пишет безграмотно, бессмысленно… как сапожник! Вы посмотрите!

— М-да… — промычал Галамидов, посмотрев на бумагу. — Действительно… Вы, господин Мердяев, вероятно, мало читаете.

— Этак, любезнейший, нельзя! — продолжал начальник. — Мне за вас стыдно! Вы бы хоть книги читали, что ли.

— Чтение много значит! — сказал Галамидов и вздохнул без причины. — Очень много! Вы читайте и сразу увидите, как резко изменится ваш кругозор. А книги вы можете достать где угодно. У меня, например… Я с удовольствием. Завтра же я завезу, если хотите.

— Поблагодарите, любезнейший! — сказал

Семипалатов.

Мердяев неловко поклонился, пошевелил губами и вышел.

На другой день приехал к нам в присутствие Галамидов и привез с собой связку книг. С этого момента и начинается история. Потомство никогда не простит Семипалатову его легкомысленного поступка! Это можно было бы, пожалуй, простить юноше, но опытному действительному статскому советнику — никогда! По приезде антрепренера Мердяев был позван в кабинет.

— Нате вот, читайте, любезнейший! — сказал Семипалатов, подавая ему книгу. — Читайте внимательно.

Мердяев взял дрожащими руками книгу и вышел из кабинета. Он был бледен. Косые глазки его беспокойно бегали и, казалось, искали у окружающих предметов помощи. Мы взяли у него книгу и начали ее осторожно рассматривать.

Книга была «Граф Монте-Кристо».

— Против его воли не пойдешь! — сказал со вздохом наш старый бухгалтер Прохор Семеныч Будылда. — Постарайся как-нибудь, понатужься… Читай себе помаленьку, а там, бог даст, он забудет, и тогда бросить можно будет. Ты не пугайся… А главное — не вникай. Читай и не вникай в эту

умственность.

Мердяев завернул книгу в бумагу и сел писать. Но не писалось ему на этот раз. Руки у него дрожали и глаза косили в разные стороны: один в потолок, другой в чернильницу На другой день пришел он на службу заплаканный.

— Четыре раза уж начинал, — сказал он, — но ничего не разберу… Какие-то иностранцы…

Через пять дней Семипалатов, проходя мимо столов, остановился перед Мердяевым и спросил:

— Ну, что? Читали книгу?

— Читал, ваше превосходительство.

— О чем же вы читали, любезнейший? А ну-ка, расскажите!

Мердяев поднял вверх голову и зашевелил губами.

— Забыл, ваше превосходительство… — сказал он через минуту.

— Значит, вы не читали или, э-э-э… невнимательно читали! Авто-мма-тически! Так нельзя! Вы еще раз прочтите! Вообще, господа, рекомендую. Извольте читать! Все читайте! Берите там у меня на окне книги и читайте. Парамонов, подите, возьмите себе книгу! Подходцев, ступайте и вы, любезнейший! Смирнов — и вы! Все, господа!

Прошу!

Все пошли и взяли себе по книге. Один только Будылда осмелился выразить протест. Он развел руками, покачал головой и сказал:

— А уж меня извините, ваше превосходительство… Скорей в отставку… Я знаю, что от этих самых критик и сочинений бывает. У меня от них старший внук родную мать в глаза дурой зовет и весь пост молоко хлещет. Извините-с!

— Вы ничего не понимаете, — сказал Семипалатов, прощавший обыкновенно старику все его грубости.

Но Семипалатов ошибался: старик все понимал. Через неделю же мы увидели плоды этого чтения. Подходцев, читавший второй том «Вечного жида», назвал Будылду «иезуитом»; Смирнов стал являться на службу в нетрезвом виде. Но ни на кого не подействовало так чтение, как на Мердяева. Он похудел, осунулся, стал пить.

— Прохор Семеныч! — умолял он Будылду. — Заставьте вечно бога молить! Попросите вы его превосходительство, чтобы они меня извинили… Не могу я читать. Читаю день и ночь, не сплю, не ем… Жена вся измучилась, вслух читавши, но, побей бог, ничего не понимаю! Сделайте божескую милость!

Будылда несколько раз осмеливался докладывать Семипалатову, но тот только руками махал и, расхаживая по правлению вместе с Галамидовым, попрекал всех невежеством. Прошло этак два месяца, и кончилась вся эта история ужаснейшим образом.

Однажды Мердяев, придя на службу, вместо того, чтобы садиться за стол, стал среди присутствия на колени, заплакал и сказал:



— Простите меня, православные, за то, что я фальшивые бумажки делаю!

Затем он вошел в кабинет и, став перед Семипалатовым на колени, сказал:

— Простите меня, ваше превосходительство: вчера я ребеночка в колодец бросил!

Стукнулся лбом о пол и зарыдал…

— Что это значит?! — удивился Семипалатов.

— А это то значит, ваше превосходительство, — сказал Будылда со слезами на глазах, выступая вперед, — что он ума решился! У него ум за разум зашел! Вот что ваш Галамидка сочинениями наделал! Бог все видит, ваше превосходительство. А ежели вам мои слова не нравятся, то позвольте мне в отставку. Лучше с голоду помереть, чем этакое на старости лет видеть!

Семипалатов побледнел и прошелся из угла в угол.

— Не принимать Галамидова! — сказал он глухим голосом. — А вы, господа, успокойтесь. Я теперь вижу свою ошибку. Благодарю, старик!

И с этой поры у нас больше ничего не было. Мердяев выздоровел, но не совсем. И до сих пор при виде книги он дрожит и отворачивается.

Жизнеописания достопримечательных современников

I

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Милостивый государь, господин редактор!

На прошлой неделе в пятницу скончался раком в желудке мой старший брат Петр Гурьич Хрусталев, штабс-капитан, живший на 2-й Ямской в доме купца Чернобрюхова и называвший себя юмористически по случаю запоя «шнапс-капитаном». Будучи умирая, он подозвал меня к своему смертному одру и сказал жалостным голосом:

— Никифор! Мне капут и предел… Но я не унываю, ибо жизнь человеческая по естеству своему, как и все прочее, заключена в рамки. Так уж в природе испокон века ведется. Ежели бы все люди жили да не умирали, то не было бы для них места не только в домах, но и на крышах… Слушай! Ты знаешь, что всю мою жизнь я страдал от дурного качества, а именно от запоя. Кроме того, я имел склонность к литературе. Возьми эту тетрадь и после смерти моей отнеси в какую-нибудь

редакцию, дабы узнали люди, что я за человек и как я все понимаю. Попроси, чтоб напечатали крупным шрифтом.

Сказавши это, братец дал мне тетрадь и помер. На тетради этой написано: «Жизнеописания достопримечательных современников». В сочинениях я по невежеству мало понимаю, но «Жизнеописания» братца мне ужасно нравятся. Слогом своим и красноречием они похожи несколько на «Сторонние сообщения» г. Николая Базунова, помещаемые в «Новостях дня», а потому имею честь просить, ваше высокоблагородие, не побрезговать и исполнить волю почившего.

.....Его брат *Никифор Хрусталев*.

II

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ИВАНОВ

Знаменитый изобретатель подседно-копытной, колесной и иных мазей

Александр Иванович Иванов, сей великий подседно-копытный муж, родился в XIX веке от бедных, но благородных родителей, в неизвестном месте. По мнению весьма многих ученых

историков и философов, день и час его рождения совпадает с появлением на небе кометы 1848 года. Парижская же Академия наук отрицает это и днем его рождения называет 23-е марта 1849 г. — день, в который происходило извержение Везувия. Рассказывают, что А. И. в первую минуту своей жизни, взглянув на принимавшую его повитуху, горько заплакал и этим уже показал свое недовольство современной медициной. В первые же годы опытный глаз мог подметить в младенце его гениальные подседно-копытные и лишайные способности. В то время, когда его сверстники предавались детским забавам, он сидел где-нибудь в уголку и копался в разных жидких хозяйственных необходимостях. Так, он любил размешивать ваксу, лепить человечков из замазки, делать тесто из песочку и прочее подобное, говорящее не столько о пользе совершаемого, сколько о наклонностях и таланте совершающего. Любимое также его занятие было ходить босиком, подсучив брюки, по лужицам и прочим не сухим местам. Семи лет он был отдан родителями на обучение грамоте и числам. Научившись быстро читать, он показал еще новую особенность своего характера. А именно: он стал прилежно и внимательно читать объявления

Гюйо, Иоганна Гоффа и соотечественника нашего Леухина. Когда его спрашивали о причинах, по коим он предпочитает эти объявления всем прочим отраслям науки, то он скромно отвечал: «Я учусь». Научившись чтению, писанию по прописи и арифметике, он бросил науку и посвятил свою жизнь изысканию новых средств для излечения страждущих лошадей, а если хватит способностей, то и людей. Он смешивал песок с медом, мед с ваксой, ваксу с салом и мешал до тех пор эти и многие другие вещества, пока не получалась пертурбация, не имеющая ни запаха, ни вида, но зато годная на всякое употребление. Обмазавшись этою мазью и не умерев от этого, А. И. заключил весьма резонно, что эта мазь целительна и что ее следует продавать по 2 рубля за банку. Заключив таковое, он напечатал в газетах объявления, и с этих пор (1875 год) начинается слава его. Но где слава, там завистники и недоброжелатели. Мазь, могущая излечивать всякие болезни и в то же время употребляемая с успехом вместо помады, ваксы, дегтя и замазки, привела многие недалекие умы в смятение. Посыпались обвинения в шарлатанстве, нахальстве и эксплуатации невежеством. И, к стыду человечества, эти обвинения доходили иногда до того, что вели-

кий изобретатель неоднократно был привлекаем в качестве обвиняемого в камеру мирового судьи. Но в то же время не дремала и справедливость. Еще издревле известно, что добродетель торжествует, а порок побеждается. Покупатели толпами ходили к А. И. в его магазин, помещающийся на Страстном бульваре, и нарасхват покупали его мазь. Мало того, тысячи благодарственных адресов посыпались по адресу бессмертного целителя. В довершение всего Неаполитанская Академия наук избрала его в свои почетные члены и этим ясно показала, что мы не умеем ценить наших. В 1882 г. Варшавская кондитерская избрала его в свои почетные посетители. В 1883 г. «Венеция» и «Прага» провозгласили великого изобретателя своим почетным потомственным завсегдатаем, а в сем, 1884 г. за изобретенный им «Рафанистроль» он попал в мои «Жизнеописания достопримечательных современников». Ибо новою мазью его я не только пользовался от прыщей, но также лечился ею от запоя и употреблял ее от клопов и прочих паразитов.

.....Штабс-капитан *Хрусталев.*

Трифон

И не жаль мне прошлого ничуть.

Лермонтов

У Григория Семеновича Щеглова заломило в пояснице. Он проснулся и заворочался в постели.

— Настюша! — зашептал он, — возьми-ка, мать, спиртику и натри-ка мне спинозу!

Ответа не последовало. Щеглов зашарил около себя руками и не нашел никого. Постель, если не считать самого Щеглова, была пуста.

«Где же она?» — подумал он. — Настя! Настенька!

И на этот раз не последовало ответа. Послышалось только стучанье сторожа в колотушку да треск тухнувшей лампадки. Щеглов, предчувствуя недоброе, вытер на лбу холодный пот и вскочил с постели. Было три часа ночи — время, в которое Настя спала обыкновенно крепким сном ребенка. Не спать могли заставить ее только особенные причины. Щеглов быстро оделся и вышел на двор.

Луна, полная и солидная, как генеральская экономка, плыла по небу и заливала своим хорошим

светом небо, двор с бесконечными постройками, сад, темневший по обе стороны дома. Свет мягкий, ровный, ласкающий… На земле и на деревьях не было ни одного зеленого листка, сад глядел черно и сурово, но во всем чувствовался конец марта, начало весны. Щеглов окинул глазами двор. На большом пространстве не было видно никого, кроме теленка, который, запутавши одну ногу в веревку, неистово прыгал. Щеглов пошел в сад. Там было тихо, светло. От темных кустов веяло сырьем, как из погреба.

«А вдруг она в деревню ушла! — думал Григорий Семеныч, дрожа от беспокойства и холода. — Ежели ее в беседке нет, то придется в деревню посылать».

Щеглов знал за Настей две слабости: она часто с тоски уходила от него к родным в деревню и имела также привычку уходить ночью в беседку, где сидела в темноте и пела грустные песни.

«Я старый, дряхлый… — думал Григорий Семеныч. — Ей не сахар со мной…»

Подойдя к беседке, он услышал женский голос. Но этот голос не пел, а говорил… Говорил он что-то быстро, не останавливаясь, без запинки, словно жаловался…

— Брось ты этого старого черта! — перебил

женскую речь грубый мужской голос. — Сделай милость! В шелку только ходишь да с тарелки хрустальной ешь, а оно, того, дура, не понимаешь, грех ведь выходит… Эххх… Шалишь, Настюха! Бить бы тебя, да некому!

— Беспонятный ты, Триша! Коли б одна голова, ушла бы я от него за сто верст, а то ведь… тятька, вон, избу строить хочет… да брат на службе. Табаку послать или что…

Послышались всхлипыванья, затем поцелуи. По спине Щеглова от затылка до пяток пробежал мороз. В мужчине узнал он своего объездчика Трифона.

«Которую я из грязи вытащил, к себе приблизил и, можно сказать, облагодетельствовал, — ужаснулся он, — заместо как бы жены, и вдруг — с Тришкой, с хамом! А? В шелку водил, с собой за один стол, как барыню, а она… с Тришкой!»

У старика от гнева и с горя подогнулись колени. Он послушал еще немного и, больной, ошеломленный, поплелся к себе в дом.

«А мне наплевать! — думал он, ложась в постель. — Она воображает, может быть, что я без нее жить не могу! Ну, нет… Завтра же ее выгоню. Пусть себе там со своими мужиками мякину жует. А Тришку-подлеца… чтоб и духу не было!

Утром же расчет…»

Он укрылся одеялом и стал думать. Думы были мучительные, скверные, а когда воротилась из сада Настя и, как ни в чем не бывало, улеглась спать, его от мыслей бросило в лихорадку.

«Завтра же его прогоню. Впрочем, нет… не прогоню. Его прогонишь, а он на другое место — и ничего себе, словно и не виноват… Его бы наказать, чтоб всю жизнь помнил… Выпороть бы, как прежде… Разложить бы в конюшне и этак… в десять рук, семо и овамо… Ты его порешь, а он просит и молит, а ты стоишь около и только руки потираешь: „Так его! шибче! шибче!“ Ее около поставить и смотреть, как у ней на лице: — Ну, что, матушка? Ааа… то-то!»

Утром Настя, по обыкновению, разливала чай. Он сидел и наблюдал за ней. Лицо ее было покойно, глаза глядели ясно, бесхитростно.

«Я ей ничего не скажу, — думал он. — Пусть сама поймет… Я ее нравственно… нравственно страдать заставлю! Не буду с ней разговаривать, сердиться на нее буду, а она и поймет… Ну, а что, ежели она послушает подлеца Тришку и в самом деле уйдет?»

Была минута, когда последняя мысль до того испугала его, что он побледнел и сказал:

— Настенька, что ж ты, душенька, кренделечка не кушаешь? Для тебя ведь куплено!

В девятом часу приходил с докладом объездчик Трифон. Щеглову показалось, что мужик глядит на него с ненавистью, презрением, с каким-то победным нахальством.

«Мало прогнать… — подумал он, измеряя его взглядом. — Выпороть бы». — Ничего я тут не пойму! — начал он придираться, пробегая квитанции, поданные Трифоном. — Это какая цифра? 75 или 15? Дубина ты этакая! Закорючку не можешь даже, как следует, над семью поставить! Семь похоже на кочергу, а один — на кнутик с коротким хвостиком. Этого не знаешь? Ду-би-на… За это самое вашего брата прежде на конюшне драли!

— Мало ли чего прежде не было… — проворчал Трифон, глядя в потолок.

Щеглов искоса поглядел на Трифона. Мужик, показалось ему, ехидно улыбался и глядел еще с большим нахальством…

— Пошел вон!!! — взвизгнул Щеглов, не вынося трифоновской физиономии.

До вечера Щеглов ходил по двору и придумывал план наказания и мести. Многие планы перебывали в его голове, но что он ни придумывал, все

подходило под ту или другую статью уложения о наказаниях. После долгого, мучительного размышления оказалось, что он ничего не смел…

В третьем часу ночи, стоя возле беседки, он услышал разговор хуже вчерашнего. Трифон со смехом передавал Насте беседу свою с барином:

— Взять бы его, знаешь, за ворот, потрясти маленько этак — и душа вон.

Щеглов не вынес.

— Кого это, прохвост? — взвизгнул он. — Чья душа вон?

В беседке вдруг умолкли. Трифон конфузливо крякнул. Через минуту он нерешительно вышел из беседки и уперся плечом в косяк.

— Кто здесь кричит? Кто таков? А, это вы!.. — сказал он, увидев барина. — Вот кто!

Минута прошла в молчании…

— За это прежде нашего брата на конюшне пороли, а теперь не знаю, что будет… — сказал Трифон, усмехаясь и глядя на луну. — Чай, расчет дадут… Боязно!

Засмеялся и пошел по аллее к дому. Щеглов засеменил рядом с ним.

— Трифон! — забормотал он, хватая его за рукав, когда оба они подошли к садовой калитке. — Триша! Я тебе одно только слово скажу… Постой! Я

ведь ничего… Слово одно только… Послушай! Прошу и умоляю тебя, подлеца, на старости лет! Голубчик!

— Ну?

— Видишь ли… Я тебе четвертную дам и даже, ежели желаешь, жалованья прибавлю. Тридцать рублей дам, а ты… дай я тебя выпорю! Разик! Разик выпорю и больше ничего!

Трифон подумал немного, взглянул на луну и махнул рукой.

— Не согласен! — сказал он и поплелся в людскую…

Плоды долгих размышлений

Старшие — те же мертвецы: о них «aut bene, aut nihil».

* * *

Мы живем не для того, чтобы есть, а для того, чтобы не знать, что нам есть.



* * *

Нам нужно только то, что нам нужно…

* * *

Женщине легче найти многих мужей, чем одного…

* * *

Прочность и постоянство законов природы заключаются в том, что их не может обойти ни один адвокат (кроме Лохвицкого, конечно).

* * *

Водка бела, но красит нос и чернит репутацию.

* * *

Можно сказать: «Я друг этого дома», но нельзя сказать: «Я друг этого деревянного дома». Из этого следует, что, говоря о предметах, нужно скрывать их качества.

* * *

Поостерегись выписывать в пост «Иллюстрированный мир», иначе рискуешь оскоромиться кукишем с маслом.

Несколько мыслей о душе

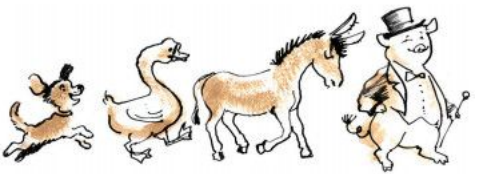
По мнению начитанных гувернанток и ученых губернаторш, душа есть неопределенная объективность психической субстанции. Я не имею причин не соглашаться с этим.

У одного ученого читаем: «Чтобы отыскать душу, нужно взять человека, которого только что распекало начальство, и перетянуть ремнем его ногу. Затем вскройте пятку и вы найдете искомое».

Я верую в переселение душ… Эта вера далась мне опытом. Моя собственная душа за все время моего земного прозябания перебывала во многих животных и растениях и пережила все те стадии и животные градации, о которых трактует Будда…

Я был щенком, когда родился, гусем лапчатым, когда вступил в жизнь. Определившись на государственную службу, я стал крапивным семенем. Начальник величал меня дубиной, приятели — ослом, вольнодумцы — скотиной. Путешествуя по железным дорогам, я был зайцем, живя в деревне среди мужичья, я чувствовал себя пиявкой. После одной из растрат я был некоторое время

козлом отпущения. Женившись, я стал рогатым скотом. Выбившись, наконец, на настоящую дорогу, я приобрел брюшко и стал торжествующей свиньей.



Говорить или молчать?
(Сказка)

В некотором царстве, в некотором государстве жили-были себе два друга: Крюгер и Смирнов. Крюгер обладал блестящими умственными способностями, Смирнов же был не столько умен, сколько кроток, смирен и слабохарактерен. Первый был разговорчив и красноречив, второй же — молчалив.

Однажды оба они ехали в вагоне железной дороги и старались победить одну девицу. Крюгер сидел около этой девицы и рассыпался перед ней мелким бесом, Смирнов же молчал, мигал глазами и с вожделением облизывался. На одной станции Крюгер вышел с девицей из вагона и долго не возвращался. Возвратившись же, мигнул глазом и прищелкнул языком.

— И как это у тебя, брат, ловко выходит! — сказал с завистью Смирнов. — И как ты все это умеешь! Не успел подсесть к ней, как уж и готово… Счастливчик!

— А ты чего же зеваешь? Сидел с ней три часа и хоть бы одно слово! Молчит, как бревно! Мол-

чанием, брат, ничего не возьмешь на этом свете! Ты должен быть боек, разговорчив! Тебе ничто не удается, а почему? Потому что ты тряпка!

Смирнов согласился с этими доводами и решил в душе изменить свой характер. Через час он, поборов робость, подсел к какому-то господину в синем костюме и стал с ним бойко разговаривать. Господин оказался очень словоохотливым человеком и тотчас же начал задавать Смирнову вопросы, преимущественно научного свойства. Он спросил его, как ему нравится земля, небо, доволен ли он законами природы и человеческого общежития, коснулся слегка европейского свободомыслия, положения женщин в Америке и проч. Смирнов отвечал умно, охотно и с восторгом. Но каково, согласитесь, было его удивление, когда господин в синем костюме, взяв его на одной станции за руку, ехидно улыбнулся и сказал:

— Следуйте за мной.

Смирнов последовал и исчез, неизвестно куда. Через два года он встретился Крюгеру бледный, исхудалый, тощий, как рыбий скелет.

— Где ты пропадал до сих пор?! — удивился Крюгер.

Смирнов горько улыбнулся и описал ему все пережитые им страдания.

— А ты не будь глуп, не болтай лишнего! — сказал Крюгер. — Держи язык за зубами — вот что!

Гордый человек
(Рассказ)

Дело происходило на свадьбе купца Синерылова.

Шафер Недорезов, высокий молодой человек, с выпученными глазами и стриженой головой, во фраке с оттопыренными фалдочками, стоял в толпе барышень и рассуждал:

— В женщине нужна красота, а мужчина и без красоты обойдется. В мужчине имеют вес ум, образование, а красота для него — наплевать! Ежели в твоем мозге нет образованности и умственных способностей, то грош тебе цена, хоть ты раскрасавец будь… Да-с… Не люблю красивых мужчин! Фи донк[120]!

— Это вы потому так объясняете, что сами некрасивы. А вон, посмотрите в дверь, в другую комнату, сидит мужчина! Вот это так настоящий красавец! Одни глаза чего стоят! Поглядите-ка! Прелесть! Кто он?

Шафер поглядел в другую комнату и презрительно усмехнулся. Там, развалясь, сидел на

---

[120] Примечания: 120
Фу! (фр. Fi donc!).

кресле красивый черноглазый брюнет. Положив ногу на ногу и играя цепочкой, брюнет щурил глаза и с достоинством поглядывал на гостей. На его губах играла презрительная улыбка.

— Ничего особенного! — сказал шафер. — Так себе… Даже урод, можно сказать. И лицо какое-то дурацкое… На шее кадык в два аршина.

— А все-таки душка!

— По-вашему, красивый, а по-моему — нет. А ежели красивый, то, значит, глупый человек, без образования. Кто он будет?

— Не знаем… Должно быть, не купеческого звания.

— Гм… Готов в лотерею пари держать, что глупый человек… Ногами болтает. Противно глядеть! Сичас я узнаю, что это за птица… какого он ума человек. Сичас.

Шафер кашлянул и смело пошел в другую комнату. Остановившись перед брюнетом, он еще раз кашлянул, немного подумал и начал:

— Как поживаете-с?

Брюнет поглядел на шафера и усмехнулся.

— Понемножечку, — сказал он нехотя.

— Зачем же понемножечку? Нужно всегда вперед идти.

— Зачем же непременно вперед?

— Да так. Все таперича вперед идет. И елехтричество, ежели взять, и телеграфы, финифоны там всякие, телефоны. Да-с! Прогресс, к примеру, возьмем… Что это слово обозначает? А то оно обозначает, что всякий должен вперед идти… Вот и вы идите вперед…

— Куда же мне, например, теперь идти? — усмехнулся брюнет.

— Мало ли куда идти? Была бы охота… Местов много… Да вот хоть бы к буфету, примерно… Не желаете ли? Для первого знакомства, по коньячишке… А? Для идеи…

— Пожалуй, — согласился брюнет.

Шафер и брюнет направились к буфету. Стриженый официант, во фраке и с белым запачканным галстухом, налил две рюмки коньяку. Шафер и брюнет выпили.

— Хороший коньяк, — сказал шафер, — но есть предметы посущественней. Давайте, для первого знакомства, выпьем красненького по стаканчику…

Выпили по стакану красного.

— Таперича как мы с вами познакомились, — сказал шафер, вытирая губы, — и, можно сказать, выпили…

— Не «таперича», а «теперь»… — поправил брю-

нет. — Говорить еще не умеете, а про телефоны объясняете. При такой необразованности, будь я на вашем месте, я молчал бы, не срамился… Таперича… таперича… Ха!

— Чего же вы смеетесь? — обиделся шафер. — Я это для смеху говорил «таперича», для шутки… Зубы-то нечего показывать! Это девицам ндравится, а я не люблю зубов-то… Кто вы будете? С какой стороны?

— Не ваше дело…

— Звание ваше какое? Фамилия?

— Не ваше дело… Я не такой дурак, чтоб всякому встречному свое звание объяснял… Я настолько гордый человек, что не очень-то распространяюсь с вашим братом. Я на вас мало обращаю внимания…

— Ишь ты… Гм… Так не скажете, как ваша фамилия?

— Не желаю… Ежели всякому балбесу имя свое произносить и рекомендоваться, то языка не хватит… И я настолько гордый человек, что вы для меня все едино, как официант… Невежество!

— Ишь ты… Какие вы благородные… Ну, мы сейчас узнаем, что вы за артист будете.

Шафер поднял вверх подбородок и направился к жениху, который в это время сидел с невестой

и, красный, как рак, моргал глазами…

— Никиша! — обратился шафер к жениху, кивая на брюнета. — Как фамилия этого артиста?

Жених отрицательно замотал головой.

— Не знаю, — сказал он. — Это не мой знакомый. Должно полагать, отец его пригласил. Ты у отца спроси.

— Да твой отец в кабинете в пьянственном недоумении… храпит, как зверь лютый. А вы не знаете его? — обратился шафер к невесте.

Невеста сказала, что не знает брюнета. Шафер пожал плечами и начал расспрашивать гостей. Гости заявили, что они первый раз в жизни видят брюнета.

— Жулик он, значит, — решил шафер. — Без билета сюда припожаловал и гуляет, будто у знакомых. Ладно! Мы ему покажем «таперича»!

Шафер подошел к брюнету и подбоченился.

— А билет у вас есть для входа? — спросил он. — Извольте показать ваш билет.

— Я настолько гордый человек, что не стану какому-нибудь субъекту свой билет показывать. Отойдите от меня… Чего пристал?

— Стало быть, у вас нет билета? А коли нет билета, значит, вы жулик. Теперь нам известно, с какой вы стороны и как ваше звание. Знаем

таперича... теперь, то есть, что вы за агент... Вы жулик — вот и все.

— Скажи мне эту грубость умный человек, я бы его по морде, а с вас, дураков, и спрашивать нечего.

Шафер забегал по комнатам, собрал человек шесть приятелей и с ними подошел к брюнету.

— Позвольте, милостивый государь, поглядеть ваш билет! — сказал он.

— Не желаю. Отстаньте, пока я не того...



— Не желаете билета показывать? Стало быть, вы без билета вошли? По какому праву? Вы жулик, значит? Извольте уходить отсюда! Пожалуйте-с! Милости просим! Мы вас сичас с лестницы…

Шафер и его приятели взяли под руки брюнета и повели его к выходу. Гости загалдели.

Брюнет громко заговорил о невежестве и о своем самолюбии.

— Пожалуйте-с! Милости просим, красивый мужчина! — бормотал торжествующий шафер, ведя его к двери. — Знаем мы вас, красавцев!

У самой двери на брюнета натянули его пальто, надели на него шапку и толкнули в спину.

Шафер хихикнул от удовольствия и стукнул его перстнем по затылку… Брюнет покачнулся, упал на спину и съехал вниз по лестнице.

— Прощайте! Кланяйтесь там! — торжествовал шафер.

Брюнет поднялся, похлопал по пальто и, подняв вверх голову, сказал:

— Дураки по-дурацкому и поступают. Я гордый человек и унижаться перед вами не стану, а пусть вам мой кучер объяснит, что я за человек. Пожалуйте сюда! Григорий! — крикнул он на улицу.

Гости спустились вниз. Через минуту в сени вошел со двора кучер.

— Григорий! — обратился к нему брюнет. — Кто я буду?

— Хозяин — Семен Пантелеич…

— А какое во мне звание, и как я до этого звания достиг?

— Почетный гражданин, а до звания этого вы достигли учением…

— Где я нахожусь и какая моя служба?

— Служите-с на фабрике купца Подщекина в механиках по технической части, а жалованья вам положено три тысячи…

— Теперь поняли? А вот вам и мой билет! Приглашал на свадьбу меня женихов отец, купец Синерылов, который теперь в пьяном виде…

— Голубчик мой! Милая ты моя душа! — заголосил шафер. — Чего же ты раньше этого не говорил?

— Гордый я человек… Самолюбие во мне… Прощайте-с!

— Ну, нет, стой… Грех, брат! Поворачивай оглобли, Семен Пантелеич! Теперь видно, что ты за человек такой… Пойдем, выпьем за твое образование… для идеи.

Гордый человек нахмурился и пошел наверх. Через две минуты он стоял уже у буфета и пил коньяк.

— Без гордости на этом свете не проживешь, — объяснял он. — Никому никогда не уступлю! Никому! Понимаю себе цену. Впрочем, вам, невежам, не понять!

Альбом

Титулярный советник Кратеров, худой и тонкий, как адмиралтейский шпиль, выступил вперед и, обратясь к Жмыхову, сказал:

— Ваше превосходительство! Движимые и тронутые всею душой вашим долголетним начальничеством и отеческими попечениями…

— Более чем в продолжение целых десяти лет, — подсказал Закусин.

— Более чем в продолжение целых десяти лет, мы, ваши подчиненные, в сегодняшний знаменательный для нас… тово… день подносим вашему превосходительству, в знак нашего уважения и глубокой благодарности, этот альбом с нашими портретами и желаем в продолжение вашей знаменательной жизни, чтобы еще долго-долго, до самой смерти, вы не оставляли нас…

— Своими отеческими наставлениями на пути правды и прогресса… — добавил Закусин, вытерев со лба мгновенно выступивший пот; ему, очевидно, очень хотелось говорить и, по всей вероятности, у него была готова речь. — И да развевается, — кончил он, — ваш стяг еще долго-долго на поприще гения, труда и общественного

самосознания!

По левой морщинистой щеке Жмыхова поползла слеза.

— Господа! — сказал он дрожащим голосом. — Я не ожидал, никак не думал, что вы будете праздновать мой скромный юбилей… Я тронут… даже… весьма… Этой минуты я не забуду до самой могилы, и верьте… верьте, друзья, что никто не желает вам так добра, как я… А ежели что и было, то для вашей же пользы…

Жмыхов, действительный статский советник, поцеловался с титулярным советником Кратеровым, который не ожидал такой чести и побледнел от восторга. Затем начальник сделал рукой жест, означавший, что он от волнения не может говорить, и заплакал, точно ему не дарили дорогого альбома, а, наоборот, отнимали… Потом, немного успокоившись и сказав еще несколько прочувствованных слов и дав всем пожать свою руку, он, при громких радостных кликах, спустился вниз, сел в карету и, провожаемый благословениями, уехал. Сидя в карете, он почувствовал в груди наплыв неизведанных доселе радостных чувств и еще раз заплакал.

Дома ожидали его новые радости. Там его семья, друзья и знакомые устроили ему такую овацию,

что ему показалось, что он в самом деле принес отечеству очень много пользы и что, не будь его на свете, то, пожалуй, отечеству пришлось бы очень плохо. Юбилейный обед весь состоял из тостов, речей, объятий и слез. Одним словом, Жмыхов никак не ожидал, что его заслуги будут приняты так близко к сердцу.

— Господа! — сказал он перед десертом. — Два часа тому назад я был удовлетворен за все те страдания, которые приходится переживать человеку, который служит, так сказать, не форме, не букве, а долгу. Я за все время своей службы непрестанно держался принципа: не публика для нас, а мы для публики. И сегодня я получил высшую награду! Мои подчиненные поднесли мне альбом... Вот! Я тронут.

Праздничные физиономии нагнулись к альбому и стали его рассматривать.

— А альбом хорошенький! — сказала дочь Жмыхова, Оля. — Я думаю, он рублей пятьдесят стоит. О, какая прелесть! Ты, папка, отдай мне этот альбом. Слышишь? Я его спрячу... Такой хорошенький.

После обеда Олечка унесла альбом к себе в комнату и заперла его в стол. На другой день она вынула из него чиновников и побросала их на

пол, и вместо них вставила своих институтских подруг. Форменные вицмундиры уступили свое место белым пелеринкам. Коля, сынок его превосходительства, подобрал чиновников и раскрасил их одежды красной краской. Безусым нарисовал он зеленые усы, а безбородым — коричневые бороды. Когда нечего уже было красить, он вырезал из карточек человечков, проколол им булавкой глаза и стал играть в солдатики. Вырезав титулярного советника Кратерова, он укрепил его на коробке из-под спичек и в таком виде понес его в кабинет к отцу.

— Папа, монумент! Погляди!

Жмыхов захохотал, покачнулся и, умилившись, поцеловал взасос Колину щечку.

— Ну, иди, шалун, покажи маме. Пусть и мама посмотрит.



Несообразные мысли

Один учитель древних языков, человек на вид суровый, положительный и желчный, но втайне фантазер и вольнодумец, жаловался мне, что всегда, когда он сидит на ученических extemporalia или на педагогических советах, его мучают разные несообразные и неразрешимые вопросы. То и дело, жаловался он, залезают в его голову вопросы вроде: «Что было бы, если бы вместо пола был потолок и вместо потолка пол? Что приносят древние языки: пользу или убыток? Каким образом учителя делали бы визиты директору, если бы последний жил на луне?» и т. д. Все эти и подобные вопросы, если они неотвязно сидят в голове, именуются в психиатрии «насильственными представлениями». Болезнь неизлечимая, тяжелая, но для наблюдателя интересная. На днях учитель явился ко мне и сказал, что его стал мучить вопрос: «Что было бы, если бы мужчины одевались по-женски?» Вопрос несообразный, сверхъестественный и даже неприличный, но нельзя сказать, чтобы на него трудно было ответить. Педагог ответил себе на него так: если бы мужчины одевались по-женски, то —

коллежские регистраторы носили бы ситцевые платья и, пожалуй, по высокоторжественным дням — барежевые. Корсеты они носили бы рублевые, чулки полосатые, бумажные; декольте не возбранялось бы только в своей компании…

почтальоны и репортеры, шагая через канавы и лужи, были бы привлекаемы за проступки против общественной нравственности;



московский Юрьев ходил бы в кринолине и ватном капоте;

классные сторожа Михей и Макар каждое утро

ходили бы к «самому» затягивать его в корсет;

чиновники особых поручений и секретари благотворительных обществ одевались бы не по средствам;

поэт Майков носил бы букольки, зеленое платье с красными лентами и чепец;

телеса И. С. Аксакова покоились бы в сарафане и душегрейке;

заправилы Лозово-Севастопольской дороги, по бедности, щеголяли бы в исподнице и т. д.

А вот и разговоры:

— Тюник, ваше-ство, выше всякой критики-с! Турнюр великолепен-с! Декольте несколько велико.

— По форме, братец! Декольте IV класса! А ну-ка, поправь мне внизу оборку! и т. д.

Самообольщение
(Сказка)

Один умный, всеми уважаемый участковый пристав имел одну дурную привычку, а именно: сидя в компании, он любил кичиться своими дарованиями, которых, надо отдать ему полную справедливость, было у него очень много. Он кичился своим умом, энергией, силой, образом мыслей и проч.

— Я силен! — говорил он. — Хочу — подкову сломаю, хочу — человека с кашей съем… Могу и Карфаген разрушить и гордиевы узлы мечом рассекать. Вот какой я!

Он кичился, и все ему удивлялись. К несчастью, пристав не кончил нигде курса и не читал прописей; он не знал, что самообольщение и гордость суть пороки, недостойные благородной души. Но случай вразумил его. Однажды зашел он к своему другу, старику брандмейстеру, и, увидев там многочисленное общество, начал кичиться. Выпив же три рюмки водки, он выпучил глаза и сказал:

— Глядите, ничтожные! Глядите и разумейте! Солнце, которое вот на небеси с прочими свети-

лами и облаками! Оно идет с востока на запад, и никто не может изменить его путь! Я же могу! Могу!

Старик брандмейстер подал ему четвертую рюмку и заметил дружески:

— Верю-с! Для человеческого ума нет ничего невозможного. Сей ум все превзошел. Может он и подковы ломать, и каланчу до неба выстроить, и с мертвого взятку взять… все может! Но, Петр Евтропыч, смею вам присовокупить, есть одно, чего не может побороть не только ум человеческий, но даже и ваша сила.

— Что же это такое? — презрительно усмехнулся самообольщенный.

— Вы можете все пересилить, но не можете пересилить самого себя. Да-с! «Гноти се автóн», — говорили древние… Познай самого себя… А вы себя ни познать, ни пересилить не можете. Против своей природы не пойдешь. Да-с!

— Нет, пойду! И себя пересилю!

— Ой, не пересилите! Верьте старику, не пересилите!

Поднялся спор. Кончилось тем, что старик брандмейстер повел гордеца в мелочную лавочку и сказал:

— Сейчас я вам докажу-с… У этого вот лавоч-

ника в этой шкатулке лежит десятирублевка. Если вы можете пересилить себя, то не берите этих денег…

— И не возьму! Пересилю!

Гордец скрестил на груди руки и при общем внимании стал себя пересиливать. Долго он боролся и страдал. Полчаса пучил он глаза, багровел и сжимал кулаки, но под конец не вынес, машинально протянул к шкатулке руку, вытащил десятирублевку и судорожно сунул ее к себе в карман.

— Да! — сказал он. — Теперь понимаю!

И с тех пор он уж никогда не кичился своей силой.



Дачница

Леля NN, хорошенькая двадцатилетняя блондинка, стоит у палисадника дачи и, положив подбородок на перекладину, глядит вдаль. Все далекое поле, клочковатые облака на небе, темнеющая вдали железнодорожная станция и речка, бегущая в десяти шагах от палисадника, залиты светом багровой, поднимающейся из-за кургана луны. Ветерок от нечего делать весело рябит речку и шуршит травкой… Кругом тишина… Леля думает… Хорошенькое лицо ее так грустно, в глазах темнеет столько тоски, что, право, неделикатно и жестоко не поделиться с ней ее горем.

Она сравнивает настоящее с прошлым. В прошлом году, в этом же самом душистом и поэтическом мае, она была в институте и держала выпускные экзамены. Ей припоминается, как классная дама m-lle Morceau, забитое, больное и ужасно недалекое созданье с вечно испуганным лицом и большим, вспотевшим носом, водила выпускных в фотографию сниматься.

— Ах, умоляю вас, — просила она конторщицу в фотографии, — не показывайте им карточек мужчин!

Просила она со слезами на глазах. Эта бедная ящерица, никогда не знавшая мужчин, приходила в священный ужас при виде мужской физиономии. В усах и бороде каждого «демона» она умела читать райское блаженство, неминуемо ведущее к неведомой, страшной пропасти, из которой нет выхода. Институтки смеялись над глупой Morceau, но, пропитанные насквозь «идеалами», они не могли не разделять ее священного ужаса. Они веровали, что там, за институтскими стенами, если не считать катарального папаши и братцев-вольноопределяющихся, кишат косматые поэты, бледные певцы, желчные сатирики, отчаянные патриоты, неизмеримые миллионеры, красноречивые до слез, ужасно интересные защитники… Гляди на эту кишащую толпу и выбирай!

В частности, Леля была убеждена, что, выйдя из института, она неминуемо столкнется с тургеневскими и иными героями, бойцами за правду и прогресс, о которых вперегонку трактуют все романы и даже все учебники по истории — древней, средней и новой…

В этом мае Леля уже замужем. Муж ее красив, богат, молод, образован, всеми уважаем, но, несмотря на все это, он (совестно сознаться перед

поэтическим маем!) груб, неотесан и нелеп, как сорок тысяч нелепых братьев.

Просыпается он ровно в десять часов утра и, надевши халат, садится бриться. Бреется он с озабоченным лицом, с чувством, с толком, словно телефон выдумывает. После бритья пьет какие-то воды, тоже с озабоченным лицом. Затем, одевшись во все тщательно вычищенное и выглаженное, целует женину руку и в собственном экипаже едет на службу в «Страховое общество». Что он делает в этом «обществе», Леля не знает. Переписывает ли он только бумаги, сочиняет ли умные проекты, или, быть может, даже вращает судьбами «общества» — неизвестно. В четвертом часу приезжает он со службы и, жалуясь на утомление и испарину, переменяет белье. Затем садится обедать. За обедом он много ест и разговаривает. Говорит все больше о высоких материях. Решает женский и финансовый вопросы, бранит за что-то Англию, хвалит Бисмарка. Достается от него газетам, медицине, актерам, студентам. «Молодежь ужжасно измельчала!» За один обед успеет сотню вопросов решить. Но, что ужаснее всего, обедающие гости слушают этого тяжелого человека и поддакивают. Он, говорящий нелепости и пошлости, оказывается умнее всех гостей и

может служить авторитетом.

— Нет у нас теперь хороших писателей! — вздыхает он за каждым обедом, и это убеждение вынес он не из книг. Он никогда ничего не читает — ни книг, ни газет. Тургенева смешивает с Достоевским, карикатур не понимает, шуток тоже, а прочитав однажды, по совету Лели, Щедрина, нашел, что Щедрин «туманно» пишет.

— Пушкин, ma chère[121], лучше… У Пушкина есть очень смешные вещи! Я читал… помню…

После обеда он идет на террасу, садится в мягкое кресло и, полузакрыв глаза, задумывается. Думает долго, сосредоточенно, хмурясь и морщась… О чем он думает, неведомо Леле. Она знает только, что после двухчасовой думы он нисколько не умнеет и несет все ту же чушь. Вечером игра в карты. Играет он аккуратно. Над каждым ходом долго думает и, в случае ошибки партнера, ровным, отчеканивающим голосом излагает правила карточной игры. После карт, по уходе гостей, он пьет те же воды и с озабоченным лицом ложится спать. Во сне он покоен, как лежачее бревно. Изредка только бредит, но и бред его нелеп.

---

[121] Примечания: 121
Моя дорогая (фр.).

— Извозчик! Извозчик! — услышала от него Леля на вторую ночь после свадьбы.

Всю ночь он бурчит. Бурчит у него в носу, в груди, животе…

Больше ничего не может сказать о нем Леля. Она стоит теперь у палисадника, думает о нем, сравнивает его со всеми знакомыми ей мужчинами и находит, что он лучше всех; но ей не легче от этого. Священный ужас m-lle Morceau обещал ей больше.

С женой поссорился
(Случай)

— Черт вас возьми! Придешь со службы домой голодный, как собака, а они черт знает чем кормят! Да и заметить еще нельзя! Заметишь, так сейчас рев, слезы! Будь я трижды анафема за то, что женился!

Сказавши это, муж звякнул по тарелке ложкой, вскочил и с остервенением хлопнул дверью. Жена зарыдала, прижала к лицу салфетку и тоже вышла. Обед кончился.

Муж пришел к себе в кабинет, повалился на диван и уткнул свое лицо в подушку.

«Черт тебя дернул жениться! — подумал он. — Хороша „семейная“ жизнь, нечего сказать! Не успел жениться, как уж стреляться хочется!»

Через четверть часа за дверью послышались легкие шаги…

«Да, это в порядке вещей… Оскорбила, надругалась, а теперь около двери ходит, мириться хочет. Ну, черта с два! Скорей повешусь, чем помирюсь!»

Дверь отворилась с тихим скрипом и не затво-

рилась. Кто-то вошел и тихими, робкими шагами направился к дивану.

«Ладно! Проси прощения, умоляй, рыдай… Кукиш с маслом получишь! черта пухлого! Ни одного слова не добьешься, хоть умри… Сплю вот и говорить не желаю!»

Муж глубже зарыл свою голову в подушку и тихо захрапел. Но мужчины слабы так же, как и женщины. Их легко раскислить и растеплить. Почувствовав за своей спиной теплое тело, муж упрямо придвинулся к спинке дивана и дернул ногой.

«Да… Теперь вот мы лезем, прижимаемся, подлизываемся… Скоро начнем в плечико целовать, на колени становиться. Не выношу этих нежностей!.. Все-таки… нужно будет ее извинить. Ей в ее положении вредно тревожиться. Помучу часик, накажу и прощу…»

Над самым ухом его тихо пролетел глубокий вздох. За ним другой, третий… Муж почувствовал на плече прикосновение маленькой ручки.

«Ну, бог с ней! Прощу в последний раз. Будет ее мучить, бедняжку! Тем более, что я сам виноват! Из-за ерунды бунт поднял…» — Ну, будет, моя крошка!

Муж протянул назад руку и обнял теплое тело.

— Тьфу!!!
Около него лежала его большая собака Дианка.

Русский уголь
(Правдивая история)

В одно прекрасное апрельское утро русский le comte[122] Тулупов ехал на немецком пароходе вниз по Рейну и от нечего делать беседовал с «колбасником». Его собеседник, молодой сухопарый немец, весь состоящий из надменно-ученой физиономии, собственного достоинства и туго накрахмаленных воротничков, отрекомендовался горным мастером Артуром Имбс и упорно не сворачивал с начатого и уже надоевшего графу разговора о русском каменном угле.

— Судьба нашего угля весьма плачевна, — сказал, между прочим, граф, испустив вздох ученого знатока. — Вы не можете себе представить: Петербург и Москва живут английским углем, Россия жжет в печах свои роскошные, девственные леса, а между тем недра нашего юга содержат неисчерпаемые богатства!

Имбс печально покачал головой, досадливо крякнул и потребовал карту России.

Когда лакей принес карту, граф провел ногтем

---

[122] Примечания: 122
Граф (фр.).

мизинца по берегу Азовского моря, поцарапал тем же ногтем возле Харькова и проговорил:

— Вот здесь… вообще… Понимаете? Весь юг!!!

Имбсу хотелось точнее узнать те именно места, где залегает наш уголь, но граф не сказал ничего определенного; он беспорядочно тыкал своим ногтем по всей России и раз даже, желая показать богатую углем Донскую область, ткнул на Ставропольскую губернию. Русский граф, по-видимому, плохо знал географию своей родины. Он ужасно удивился и даже изобразил на своем лице недоверие, когда Имбс сказал ему, что в России есть Карпатские горы.

— У меня у самого, знаете ли, есть в Донской области имение, — сказал граф. — Восемь тысяч десятин земли. Прекрасное имение! Угля в нем, представьте себе… eine zahllose… eine oceanische Menge![123] Миллионы в земле зарыты… пропадают даром… Давно уже мечтаю заняться этим вопросом… Подыскиваю случая… подходящего человека. У нас в России нет ведь специалистов! Полное безлюдье!

Заговорили вообще о специалистах. Говорили много и долго… Кончилось тем, что граф вскочил

---

[123] Примечания: 123
Бесчисленная… океанская масса! (нем.).

вдруг, как ужаленный, хлопнул себя по лбу и сказал:

— Знаете что? Я очень рад, что с вами встретился. Не хотите ли ехать ко мне в имение? А? Что вам здесь делать, в Германии? Здесь ученых немцев и без вас много, а у меня вы дело сделаете! И какое дело!.. Хотите? Соглашайтесь скорей!

Имбс нахмурился, походил по каюте из угла в угол и, рассудив и взвесив, дал согласие.

Граф пожал ему руку и крикнул шампанского…

— Ну, теперь я покоен, — сказал он. — У меня будет уголь…

Через неделю Имбс, нагруженный книгами, чертежами и надеждами, ехал уже в Россию, нецеломудренно мечтая о русских рублях. В Москве граф дал ему двести рублей, адрес имения и приказал ехать на юг.

— Езжайте себе и начинайте там… Я, может быть, осенью приеду. Пишите, как и что…

Прибыв в имение Тулупова, Имбс поселился во флигеле и на другой же день после приезда занялся «снабжением России углем». Через три недели он послал графу первое письмо. «Я уже ознакомился с углем вашей земли, — писал он после длинного робкого вступления, — и нашел,

что, благодаря своему низкому качеству, он не сто́ит того, чтобы его выкапывали из земли. Если бы он был втрое лучше, то и тогда бы не следовало трогать его. Помимо качества угля, меня поражает также полное отсутствие спроса. У вашего соседа, углепромышленника Алпатова, заготовлено пятнадцать миллионов пудов, а между тем нет никого, кто бы дал ему хотя бы по копейке за пуд. Донецкая Каменноугольная дорога, идущая через ваше имение, построена специально для перевозки каменного угля, но, как оказывается, ей за все время своего существования не удалось провезти еще ни одного пуда. Нужно быть нечестным или слишком легкомысленным, чтобы подать вам хотя бы каплю надежды на успех. Осмелюсь также добавить, что ваше хозяйство до того расстроено и распущено, что добывание угля и вообще какие бы то ни было нововведения являются роскошью». В конце концов немец просил графа порекомендовать его другим русским «Fürsten oder Grafen»[124] или же выслать ему «ein wenig»[125] на обратный путь в Германию. В ожидании милостивого ответа Имбс

---

[124] Примечания: 124
«Князьям или графам» (нем.).

[125] Примечания: 125
«Немного» (нем.).

занялся уженьем карасей и ловлей перепелов на дудочку.

Ответ на это письмо получил не Имбс, а управляющий, поляк Дзержинский. «А немцу скажите, что он ни черта не понимает, — писал граф в постскриптуме. — Я показывал его письмо одному горному инженеру (тайному советнику Млееву), и оно возбудило смех. Впрочем, я его не держу. Пусть себе уезжает. Деньги же на дорогу у него есть. Я дал ему 200 руб. Если он потратил на дорогу 50, то и тогда останется у него 150 руб.». Узнав о таком ответе, Имбс ужасно испугался. Он сел и покрыл своим немецким, расплывающимся почерком два листа почтовой бумаги. Он умолял графа простить его великодушно за то, что он скрыл от него в первом письме многое «очень важное». Со слезами на глазах и угрызаемый совестью он писал, что оставшиеся после дороги из Москвы 172 рубля он имел неосторожность проиграть в карты Дзержинскому. «Впоследствии я выиграл с него 250 р., но он не отдает мне их, хотя и получил с меня весь мой проигрыш, а потому осмеливаюсь прибегать к вашему всемогуществу, заставьте уважаемого господина Дзержинского уплатить мне хоть половину, чтобы я мог оставить Россию и не есть даром вашего хлеба». Много

воды утекло в море и много карасей и перепелов поймал Имбс, пока получил ответ на это второе письмо. Однажды, в конце июля, в его комнату вошел поляк и, севши на кровать, принялся припоминать вслух все ругательства, имеющиеся на немецком языке.

— Удивительный осел этот граф! — сказал он, хлопая фуражкой о край стола. — Пишет мне, что уезжает на днях в Италию, а не дает никаких распоряжений относительно вас. Куда мне вас девать? Водку вами закусывать, что ли? И на чертей ему дался этот уголь! Уголь ему нужен так же, как мне ваша физиономия, черт его возьми! И вы тоже хороши, нечего сказать! Глупый, объевшийся баловень наболтал вам от нечего делать, а вы ему поверили!

— Граф уезжает в Италию? — удивился Имбс, бледнея. — А денег мне прислал? Нет?! Как же я уеду отсюда? Ведь у меня ни копейки!.. Послушайте меня, уважаемый господин Дзержинский… Если вы не можете отдать мне вашего проигрыша, то не купите ли вы моих книг и чертежей? В России вы сбудете их за очень большую сумму!

— В России не нужны ваши книги и чертежи.

Имбс сел и задумался. Пока поляк наполнял воздух своею желчью, немец решал свой шкурный

вопрос и чувствовал всеми своими немецкими чувствами, как у него портилась в эти минуты кровь. Он похудел, обрюзг, и выражение надменной учености на лице уступило место выражению боли, безнадежности… Сознание безвыходного плена, вдали от рейнских волн и компании горных мастеров, заставило его плакать. Вечером он сидел у окна и глядел на луну… Кругом была тишина. Где-то вдали пиликала гармонийка и ныла жалобная русская песенка. Эти звуки защемили Имбса за сердце. Его охватила такая тоска по родине, по праву и справедливости, что он отдал бы всю жизнь за то только, чтобы очутиться в эту ночь дома…

«И здесь светит эта луна, и там она светит, а какая разница!» — думал он.

Всю ночь тосковал Имбс. Под утро он не вынес тоски и порешил уйти. Сложив свои «ненужные в России» книги и чертежи в котомку, он выпил натощак воды и ровно в четыре часа утра поплелся пешочком к северу. Он порешил идти в тот самый Харьков, который еще так недавно граф поцарапал на карте своим розовым ногтем. В Харькове надеялся он встретить немцев, которые могли бы дать ему денег на дорогу.



— Дорогой стащили с меня, сонного, сапоги, — рассказывал Имбс своим приятелям, сидя через месяц на том же пароходе. — Такова «русская честность»! Но в конце концов нужно отдать ей справедливость: от Славянска до Харькова русский кондуктор провез меня за сорок копеек — деньги, вырученные мною за мою пенковую трубку. Это нечестно, но зато очень дешево!

Письмо к репортеру

М. г.! Мне все известно! На этой неделе было шесть больших и четыре маленьких пожара. Застрелился молодой человек от пламенной любви к одной девице, эта же девица, узнав о его смерти, помешалась в мыслях. Повесился дворник Гускин от неумеренного употребления. Потонула вчерашнего числа лодка с двумя пассажирами и маленьким дитем… Бедное дите! В «Аркадии» какому-то купцу прожгли на спине дыру и чуть шеи не сломали. Поймали четырех прилично одетых жуликов, и произошло кораблекрушение товарного поезда. Все мне известно, милостивый государь! Столько разных приятных случаев, столько у вас теперь денег и вы мне ни копейки!.. Этак хорошие господа не делают!

……Ваш портной Змирлов.

……Сообщил *Человек без селезенки*.

Дачные правила

§§. Воспрещается жить на даче сумасшедшим, безумным, страдающим заразными болезнями, престарелым, малолетним и находящимся в строю нижним чинам, ибо нигде нет столько опасности сочетаться законным браком, как на чистом воздухе.

§§. Живи, плодись и размножайся.

§§. Если ты, сидя у гостеприимной соседки, выкушал три чашки чаю и после всего этого почувствовал вдруг в своих внутренностях брожение умов, то, не прибегая ни к каким фармацевтическим средствам, надевай шапку и иди.

§§. Купаясь в реке, не стой спиной к берегу, ибо на последнем в эту пору могут находиться дамы.

§§. Прыщи на губах от частых поцелуев излечиваются не столько мазями, сколько назиданиями родителей и опекунов.

§§. Если у тебя вскочил на левой щеке флюс, то всеми силами постарайся, чтобы такой же флюс вскочил у тебя и на правой, ибо ничто так не ласкает взора, как симметрия.

Примечание. Если у тебя флюс, то не позволяй жене бить тебя по щекам.

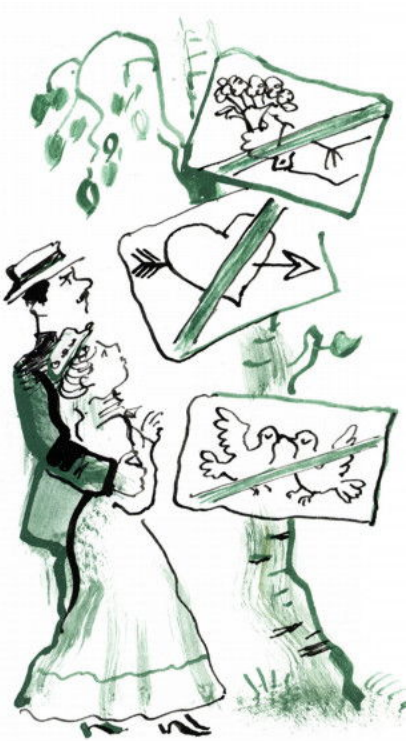
§§. Если папенька безвозмездно угощает тебя сигарами и старательно скрывает от тебя, что его движимое и недвижимое заложено, если маменька угощает тебя кофеем и сдобными финтифлюшками, если дочка поет «Месяц плывет» и не боится оставаться с тобой наедине, то беги за городовым: тебя хотят окрутить.

§§. Травы не мять, почвы не загрязнять и берез не ломать. Последнее может быть допускаемо только в интересах педагогии и правосудия.

§§. Если ты влюблен, то возьми: ½ фунта александрийского листа, штоф водки, ложку скипидару, ¼ фунта семибратней крови и ½ фунта жженых «Петербургских ведомостей», смешай все это и употреби в один прием. Причиненная этим средством болезнь заставит тебя выехать из дачи в город за врачебною помощью и тебе будет не до любви.

§§. Городовым и дворникам вменяется в обязанность наблюдать: a) чтобы объяснения в любви производились высоким слогом; b) чтобы в этих объяснениях не было выражений, клонящихся к ниспровержению дозволенного законом здравого смысла; c) чтобы воспитанники учебных заведений, объясняясь в любви только по-латыни или по-гречески, были в полной форме,

дорожили честью своего учебного заведения и, спрягая глагол «amo», не выходили из пределов, указанных Кюнером; d) чтобы особы ниже титулярного держали себя на приличной дистанции от дочерей особ не ниже V класса.



§§. Дачевладельцам и участковым приставам рекомендуется внушать молодым людям, что выражения вроде: «Я готов отдать за тебя весь мир! Ты для меня дороже жизни!» и проч. по меньшей мере неуместны, ибо они могут внушить дворникам и городовым превратные понятия о целях жизни и величии вселенной.

§§. Ложась спать, надевай, на случай могущего быть ночью дождя, калоши и укрывайся брезентом, радуясь, что и сквозь брезент можно выслушивать ропот жены, вопли озябнувших детей и полицейские свистки.

§§. В случае если ограбят тебя дачные мазурики, то поступай в городовые и мсти. Другого выхода нет.

§§. Дабы гарантировать свою дачу от нашествия родственников и друзей, распусти слух о своей неблагонадежности.

§§. Вообще: не ходи в светлых брюках, не пей после молока квасу, закаляй свой слух кошачьими концертами и высоким «штилем» старых дев, ешь задаром, пей нашаромыжку, люби на шереметьевский счет, пренебрегай стихиями, аккуратно плати праздничные, уважай родителей, люби начальство — и ты будешь счастлив.

Брожение умов
(Из летописи одного города)

Земля изображала из себя пекло. Послеобеденное солнце жгло с таким усердием, что даже Реомюр, висевший в кабинете акцизного, потерялся: дошел до 35,8° и в нерешимости остановился… С обывателей лил пот, как с заезженных лошадей, и на них же засыхал; лень было вытирать.

По большой базарной площади, в виду домов с наглухо закрытыми ставнями, шли два обывателя: казначей Почешихин и ходатай по делам (он же и старинный корреспондент «Сына отечества») Оптимов. Оба шли и по случаю жары молчали. Оптимову хотелось осудить управу за пыль и нечистоту базарной площади, но, зная миролюбивый нрав и умеренное направление спутника, он молчал.

На середине площади Почешихин вдруг остановился и стал глядеть на небо.

— Что вы смотрите, Евпл Серапионыч?

— Скворцы полетели. Гляжу, куда сядут. Туча тучей! Ежели, положим, из ружья выпалить, да ежели потом собрать… да ежели… В саду отца

протоиерея сели!

— Нисколько, Евпл Серапионыч. Не у отца протоиерея, а у отца дьякона Вратоадова. Если с этого места выпалить, то ничего не убьешь. Дробь мелкая и, покуда долетит, ослабнет. Да и за что их, посудите, убивать? Птица насчет ягод вредная, это верно, но все-таки тварь, всякое дыхание. Скворец, скажем, поет… А для чего он, спрашивается, поет? Для хвалы поет. Всякое дыхание да хвалит господа. Ой, нет! Кажется, у отца протоиерея сели!

Мимо беседующих бесшумно прошли три старые богомолки с котомками и в лапотках. Поглядев вопросительно на Почешихина и Оптимова, которые всматривались почему-то в дом отца протоиерея, они пошли тише и, отойдя немного, остановились и еще раз взглянули на друзей и потом сами стали смотреть на дом отца протоиерея.

— Да, вы правду сказали, они у отца протоиерея сели, — продолжал Оптимов. — У него теперь вишня поспела, так вот они и полетели клевать.

Из протопоповой калитки вышел сам отец протоиерей Восьмистишиев и с ним дьячок Евстигней. Увидев обращенное в его сторону внимание и не понимая, на что это смотрят люди,

он остановился и, вместе с дьячком, стал тоже глядеть вверх, чтобы понять.

— Отец Паисий, надо полагать, на требу идет, — сказал Почешихин. — Помогай ему бог!

В пространстве между друзьями и отцом протоиереем прошли только что выкупавшиеся в реке фабричные купца Пурова. Увидев отца Паисия, напрягавшего свое внимание на высь поднебесную, и богомолок, которые стояли неподвижно и тоже смотрели вверх, они остановились и стали глядеть туда же. То же самое сделал и мальчик, ведший нищего-слепца, и мужик, несший для свалки на площади бочонок испортившихся сельдей.

— Что-то случилось, надо думать, — сказал Почешихин. — Пожар, что ли? Да нет, не видать дыму! Эй, Кузьма! — крикнул он остановившемуся мужику. — Что там случилось?

Мужик что-то ответил, но Почешихин и Оптимов ничего не расслышали. У всех лавочных дверей показались сонные приказчики. Штукатуры, мазавшие лабаз купца Фертикулина, оставили свои лестницы и присоединились к фабричным. Пожарный, описывавший босыми ногами круги на каланче, остановился и, поглядев немного, спустился вниз. Каланча осиротела.

Это показалось подозрительным.

— Уж не пожар ли где-нибудь? Да вы не толкайтесь! Черт свинячий!

— Где вы видите пожар? Какой пожар? Господа, разойдитесь! Вас честью просят!

— Должно, внутри загорелось!

— Честью просит, а сам руками тычет. Не махайте руками! Вы хоть и господин начальник, а вы не имеете никакого полного права рукам волю давать!

— На мозоль наступил! А, чтоб тебя раздавило!

— Кого раздавило? Ребята, человека задавили!

— Почему такая толпа? За какой надобностью?

— Человека, ваше выскблаародие, задавило!

— Где? Рразойдитесь! Господа, честью прошу! Честью просят тебя, дубина!

— Мужиков толкай, а благородных не смей трогать! Не прикасайся!

— Нешто это люди? Нешто их, чертей, проймешь добрым словом? Сидоров, сбегай-ка за Акимом Данилычем! Живо! Господа, ведь вам же плохо будет! Придет Аким Данилыч, и вам же достанется! И ты тут, Парфен?! А еще тоже слепец, святой старец! Ничего не видит, а туда же, куда и люди, не повинуется! Смирнов, запиши Парфена!

— Слушаю! И пуровских прикажете записать? Вот этот самый, который щека распухши, — это пуровский!

— Пуровских не записывай покуда… Пуров завтра именинник!

Скворцы темной тучей поднялись над садом отца протоиерея, но Почешихин и Оптимов уже не видели их; они стояли и все глядели вверх, стараясь понять, зачем собралась такая толпа и куда она смотрит. Показался Аким Данилыч. Что-то жуя и вытирая губы, он взревел и врезался в толпу.

— Пожжаррные, приготовьсь! Рразойдитесь! Господин Оптимов, разойдитесь, ведь вам же плохо будет! Чем в газеты на порядочных людей писать разные критики, вы бы лучше сами старались вести себя посущественней! Добру-то не научат газеты!

— Прошу вас не касаться гласности! — вспылил Оптимов. — Я литератор и не дозволю вам касаться гласности, хотя, по долгу гражданина, и почитаю вас, как отца и благодетеля!

— Пожарные, лей!

— Воды нет, ваше высокоблаародие!

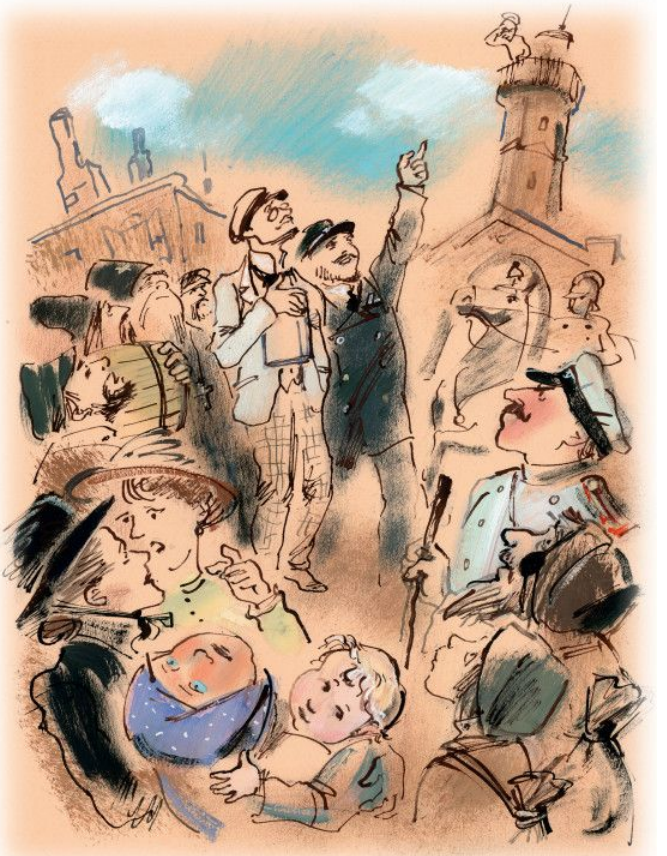
— Не рразговаривать! Поезжайте за водой! Живааа!

— Не на чем ехать, ваше высокоблагородие. Майор на пожарных лошадях поехали ихнюю тетеньку провожать!

— Разойдитесь! Сдай назад, чтоб тебя черти взяли… Съел? Запиши-ка его, черта!

— Карандаш потерялся, ваше высокоблаародие…

Толпа все увеличивалась и увеличивалась… Бог знает, до каких бы размеров она выросла, если бы в трактире Грешкина не вздумали пробовать полученный на днях из Москвы новый орган. Заслышав «Стрелочка», толпа ахнула и повалила к трактиру. Так никто и не узнал, почему собралась толпа, а Оптимов и Почешихин уже забыли о скворцах, истинных виновниках происшествия. Через час город был уже недвижим и тих, и виден был только один-единственный человек — это пожарный, ходивший на каланче…



Вечером того же дня Аким Данилыч сидел в

бакалейной лавке Фертикулина, пил лимонад-газес с коньяком и писал: «Кроме официальной бумаги, смею добавить, ваше-ство, и от себя некоторое присовокупление. Отец и благодетель! Именно только молитвами вашей добродетельной супруги, живущей в благорастворенной даче близ нашего города, дело не дошло до крайних пределов! Столько я вынес за сей день, что и описать не могу. Распорядительность Крушенского и пожарного майора Портупеева не находит себе подходящего названия. Горжусь сими достойными слугами отечества! Я же сделал все, что может сделать слабый человек, кроме добра ближнему ничего не желающий, и, сидя теперь среди домашнего очага своего, благодарю со слезами Того, кто не допустил до кровопролития. Виновные, за недостатком улик, сидят пока взаперти, но думаю их выпустить через недельку. От невежества преступили заповедь!»

Дачное удовольствие

Чиновник межевой канцелярии Чудаков и некто Косинусов тихо подплыли к женской купальне и, выбрав самую широкую щель, стали созерцать.

— Она наверное здесь, — прошептал Косинусов. — Но я ее не вижу.

— А я вижу… В правом углу лежит на простыне…

— Да, да… вижу… Черт возьми…

— А она полна!

— Не нахожу… Так себе, посредственно… в самой, что называется, пропорции. Как бы к ней пробраться, черт возьми?

— Не стоит, брат, связываться… Ну ее к черту!

— Никто не узнает… Я нырну, Миша…

— Башку о пол расколотишь… Не ныряй…

— Так я перелезу через купальню, коли так…

Косинусов поставил ногу на перекладину и полез.

Глаза Чудакова, не отрывавшегося от щели, загорелись завистью…

……

Но тут, чтобы не усугублять разочарования

читателя, поспешу окончить: дело шло о бутыли с настойкой, которой час тому назад, купаясь, растиралась мамаша Косинусова и которую она, выходя из купальни, забыла взять с собой. Мораль: и молодые люди могут быть пьяницами.



Идеальный экзамен
(Краткий ответ на все длинные вопросы)

Conditio sine qua non[126]: очень умный учитель и очень умный ученик. Первый ехиден и настойчив, второй неуязвим. Как идеальная пожарная команда приезжает за полчаса до пожара, так у идеального ученика готовы ответы за полчаса до вопроса. Для краткости и во избежание большого гонорара[127] излагаю суть в драматической форме.

Учитель. Вы сейчас сказали, что земля представляет собой шар. Но вы забываете, что на ней есть высокие горы, глубокие овраги, московские мостовые, которые мешают ей быть круглой!

Ученик. Они мешают ей быть круглой столько же, сколько ямочки на апельсине или прыщи на физиономии.

Учитель. А что значит физиономия?

Ученик. Физиономия есть зеркало души, которое так же легко разбивается, как и всякое другое

---

[126] Примечания: 126
Непременное условие (лат.).

[127] Примечания: 127
Не понимаю, что в нем хорошего!? — Автор.

зеркало.

Учитель. А что значит зеркало?

Ученик. Зеркало есть прибор, на котором женщина десять раз в день взвешивает свое оружие. Зеркало — это пробирная палатка для женщины.

Учитель *(ехидственно).* Боже мой, как вы умны! *(Подумав.)* Сейчас я задам вам один вопрос… (Быстро.) Что такое жизнь?

Ученик. Жизнь есть гонорар, получаемый не авторами, а их произведениями.

Учитель. А как велик этот гонорар?

Ученик. Он равен тому гонорару, который платят плохие редакции за очень плохие переводы.

Учитель. Так-с… А не можете ли вы сказать нам чего-нибудь о железных дорогах?

Ученик *(быстро и отчетливо).* Железной дорогой, в обширном значении этого слова, называется инструмент, служащий для транспортирования кладей, кровопускания и доставления неимущим людям сильных ощущений. Она состоит собственно из дороги и из железнодорожных правил. Последние суть следующие. Железнодорожные вокзалы подлежат санитарному надзору наравне с бойнями, железнодорожный же путь — наравне с кладбищами: в видах сохранения чистоты воздуха как те, так и другой должны

находиться на приличном расстоянии от населенных мест. Особь, транспортируемая по железной дороге, именуется пассажиром, прибыв же к месту своего назначения, переименовывается в покойника. Человек, едущий к тетке в Тамбов или к кузине в Саратов, в случае нежелания своего попасть волею судеб ad patres[128], должен заявить о своем нежелании, но не позже шести месяцев после крушения. Желающие писать завещания получают чернила и перья у обер-кондуктора за установленную плату. При столкновении поездов, схождении с рельсов и проч. пассажиры обязуются соблюдать тишину и держаться за землю. При столкновении двух поездов третий мешаться не должен…

Учитель. Довольно, постойте… Ну, а что такое справедливость?

Ученик. Справедливость есть железнодорожная такса, вывешенная на внутренней стене каждого вагона: за разбитое стекло 2 руб., за разорванную занавеску 3 руб., за оборванную обивку дивана 5 руб., за поломку же собственной персоны в случае крушения пассажир ничего не платит.

---

[128] Примечания: 128
К праотцам (лат.).

Учитель. Кто поливает московские улицы?

Ученик. Дождь.

Учитель. А кто получает за это деньги?

Ученик. *(Имя рек).*

Учитель. Ну-с. А что вы можете сказать о конно-железной дороге?

Ученик. Конно-железная, или попросту называемая конно-лошадиная дорога состоит из нутра, верхотуры и конно-железных правил. Нутро стоит пять копеек, верхотура три копейки, конно-железные же правила ничего. Первое дано человечеству для удобнейшего созерцания кондукторских нравов, вторая — для засматривания по утрам в декольтированные окна вторых этажей, третьи же для их исполнения. Правила эти суть следующие. Не конка для публики, а публика для конки. При входе кондуктора в вагон публика должна приятно улыбаться. Движение вперед, движение назад и абсолютный покой суть синонимы. Скорость равна отрицательной величине, изредка нулю и по большим праздникам двум вершкам в час. За схождение вагона с рельсов пассажир ничего не платит.

Учитель. Скажите, пожалуйста, для чего это два вагона при встрече друг с другом звонят в колокола и для чего это контролеры отрывают

уголки у билетов?

Ученик. То и другое составляет секрет изобретателей.

Учитель. Какой писатель вам больше всех нравится?

Ученик. Тот, который умеет вовремя поставить точку.

Учитель. Резонно… А не знаете ли вы, кто учинил бесчинство, мозолящее в настоящую минуту глаза читателя?

Ученик. Это составляет секрет редакции. Впрочем, для вас я, пожалуй. Я, если хотите, открою вам этот секрет… *(шепотом)*. Бесчинство учинил на старости лет

……*А. Чехонте.*

Водевиль

Обед кончился. Кухарке приказали прибирать со стола как можно тише и не стучать посудой и ногами… Детей поспешили увести в лес… Дело в том, что хозяин дачи, Осип Федорыч Клочков, тощий, чахоточный человек с впалыми глазами и острым носом, вытащил из кармана тетрадь и, конфузливо откашливаясь, начал читать водевиль собственного сочинения. Суть его водевиля не сложна, цензурна и кратка. Вот она. Чиновник Ясносердцев вбегает на сцену и объявляет своей жене, что сейчас пожалует к ним в гости его начальник, действительный статский советник Клещев, которому понравилась дочка Ясносердцевых, Лиза. Засим следует длинный монолог Ясносердцева на тему: как приятно быть тестем генерала! «Весь в звездах… весь в красных лампасах… а ты сидишь рядом с ним и — ничего! Словно ты и в самом таки деле не последняя шишка в круговороте мироздания!» Мечтая таким образом, будущий тесть замечает вдруг, что в комнатах сильно пахнет жареным гусем. Неловко принимать важного гостя, если в комнатах вонь, и Ясносердцев начинает делать

жене выговор. Жена, со словами: «На тебя не угодишь», поднимает рев. Будущий тесть хватает себя за голову и требует, чтобы жена перестала плакать, так как начальников не встречают с заплаканными глазами. «Дура! Утрись… мумия, Иродиада ты невежественная!» С женой истерика. Дочь заявляет, что она не в состоянии жить с такими буйными родителями, и одевается, чтобы уйти из дому. Чем дальше в лес, тем больше дров. Кончается тем, что важный гость застает на сцене доктора, прикладывающего к голове мужа свинцовые примочки, и частного пристава, составляющего протокол о нарушении общественной тишины и спокойствия. Вот и все. Тут же примазан жених Лизы, Гранский, кандидат прав, человек из «новеньких», говорящий о принципах и, по-видимому, изображающий из себя в водевиле доброе начало.

Клочков читал и искоса поглядывал: смеются ли? К его удовольствию, гости то и дело зажимали кулаками рты и переглядывались.

— Ну? Что скажете? — поднял глаза на публику Клочков, окончив чтение. — Как?

В ответ на это самый старший из гостей, Митрофан Николаич Замазурин, седой и лысый, как луна, поднялся и со слезами на глазах обнял

Клочкова.

— Спасибо, голубчик, — сказал он. — Утешил… Так хорошо ты это самое написал, что даже в слезы ударило… Дай я тебя еще раз… в объятия.

— Отлично! Замечательно! — вскочил Полумраков. — Талант, совсем талант! Знаешь что, брат? Бросай ты службу и изволь писать! Писать и писать! Подло зарывать талант в землю!

Начались поздравления, восторги, объятия… Послали за русским шампанским.

Клочков растерялся, раскраснелся и от избытка чувств заходил вокруг стола.

— Я в себе этот талант давно уже чувствую! — заговорил он, кашляя и махая руками. — Почти с самого детства… Излагаю я литературно, остроумие есть… сцену знаю, потому — в любителях лет десять терся… Что же еще нужно? Поработать бы только на этом поприще, поучиться… и чем я хуже других?

— Действительно, поучиться… — сказал Замазурин. — Это ты верно… Только вот что, голубчик… Ты меня извини, но я правду… Правда прежде всего… У тебя выведен Клещев, действительный статский советник… Это, друг, нехорошо… Оно-то, в сущности, ничего, но как-то, знаешь, неловко… Генерал, то да се… Брось, брат! Еще

наш рассердится, подумает, что ты это на него… Обидно старику станет… А от него мы акроме благодеяний… Наплюй!

— Это правда, — встревожился Клочков. — Нужно будет изменить… Я поставлю везде «ваше высокородие»… Или нет, просто так, без чина… Просто Клещев…

— И вот что еще, — заметил Полумраков. — Это, впрочем, пустяки, но тоже неудобно… глаза режет… У тебя там жених этот, Гранский, говорит Лизе, что ежели родители не захотят, чтоб она за него шла, то он против ихней воли пойдет. Оно-то, может быть, и ничего… может быть, родители и взаправду бывают свиньи в своем тиранстве, но в наш век, как бы этак выразиться… Достанется тебе, чего доброго!

— Да, немножко резко, — согласился Замазурин. — Ты как-нибудь замажь это место… Выкинь также рассуждение про то, как приятно быть тестем начальника. Приятно, а ты смеешься… Этим, брат, шутить нельзя… Наш тоже на бедной женился, так из этого следует, что он скверно поступил? Так, по-твоему? Нешто ему не обидно? Ну, положим, он сидит в театре и видит это самое… Нешто ему приятно? А ведь он же твою руку держал, когда ты с Салалеевым пособия про-

сил! «Он, говорит, человек больной, ему, говорит, деньги нужней, чем Салалееву»… Видишь?

— А ты ведь, признайся, здесь на него намекаешь! — мигнул глазом Булягин.

— И не думал! — сказал Клочков. — Накажи меня бог, совсем ни на кого не намекал!

— Да ну, ну… оставь, пожалуйста! Он, действительно, любит за женским полом бегать… Ты это верно за ним подметил… Только ты тово… частного пристава выпусти… Не нужно… И Гранского этого выпусти… Герой какой-то, черт его знает чем занимается, говорит с разными фокусами… Если б ты его осуждал, а то ты, напротив, сочувствуешь… Может быть, он и хороший человек, но… черт его разберет! Все можно подумать.

— А знаете, кто такой Ясносердцев? Эта наш Енякин… На него Клочков намекает. Титулярный советник, с женой вечно дерется и дочка… Он и есть… Спасибо, друг! Так ему, подлецу, и надо! Чтоб не зазнавался!

— Хоть этот, например, Енякин… — вздохнул Замазурин. — Дрянь человек, шельма, а все-таки он всегда тебя к себе приглашает, Настюшу у тебя крестил… Нехорошо, Осип! Выкинь! По-моему… бросил бы лучше! Заниматься этим делом… ей-богу… Разговоры сейчас пойдут: кто, как… почему…

И не рад потом будешь!

— Это верно… — подтвердил Полумраков. — Баловство, а из этого баловства такое может выйти, чего и в десять лет не починишь… Напрасно затеваешь, Осип… Не твое и дело… В Гоголи лезть да в Крыловы… Те, действительно, ученые были; а ты какое образование получил? Червяк, еле видим! Тебя всякая муха раздавить может… Брось, брат! Ежели наш узнает, то… Брось!

— Ты порви! — шепнул Булягин. — Мы никому не скажем… Ежели будут спрашивать, то мы скажем, что ты читал нам что-то, да мы не поняли…

— Зачем говорить? Говорить не нужно. — сказал Замазурин. — Ежели спросят, ну, тогда… врать не станешь… Своя рубашка ближе к телу… Вот этак вы понастроите разных пакостей, а потом за вас отдувайся! Мне это хуже всего! С тебя, с больного, и спрашивать не станут, а до нас доберутся… Не люблю, ей-богу!

— Потише, господа… Кто-то идет… Спрячь, Клочков!

Бледный Клочков быстро спрятал тетрадь, почесал затылок и задумался.

— Да, это правда… — вздохнул он. — Разговоры пойдут… поймут различно… Может быть, даже в моем водевиле есть такое, чего нам не видно, а

другие увидят… Порву… А вы же, братцы, пожалуйста, тово… никому не говорите…

Принесли русское шампанское… Гости выпили и разошлись.

Ярмарочное «итого»

В карманах одного московского первой гильдии купца, недавно возвратившегося из нижегородской ярмарки, найдена женою куча бумажек. Бумажки изорваны, помяты, письма на них потерты, но несмотря на это на них можно было разобрать следующее:

М. г. Семен Иванович! Побитый вами артист Хряпунов согласен помириться на ста рублях. Не берет ни копейки меньше. Жду ответа. Ваш адвокат Н. Ерзаев.

.....

Господин невежда купеческого звания! Будучи вами оскорблен по вашей необразованности, я подал жалобу господину мировому судье. Ежели вы сами не понимаете, то пусть правосудие и гласный суд укажут вам, какого я звания человек. Ваш адвокат Ерзаев говорил, что вы не согласны заплатить сто рублей. В таком случае я могу скинуть и возьму с вас за вашу подлость 75 руб. Только из снисхождения к вашему недалекому уму, к вашему животному, так сказать, инстинкту запрашиваю с вас так дешево, с образованных же людей я беру за оскорбление дороже.

…….Артист Хряпунов.

……

…по делу о взыскании с вас 539 р. 43 к. по оценке за разбитое зеркало и испорченное вами пианино в ресторане Глухарева…

……

…Помазывать синяки утром и вечером…

……

…А после того как сподобился подмоченный ситец за настоящий спустить должон я дрызнуть. Валяй под вечер к Федосье. Захвати музыканта Кузьму горчицей ему голову мазать да мамзелей штуки четыре. Выбирай какие попухлявей……

……..

…насчет векселя — на-кося выкуси! По гривеннику с моим удовольствием, а в отношении злостного банкротства бабушка надвое сказала……..

……..

Находясь в белой горячке от употребления излишних напитков (delirium tremens[129]), я ставил вам кровососные банки, чтобы привести вас в надлежащую умственность, за каковой труд про-

---

[129] Примечания: 129
лат. delirium tremens — белая горячка.

шу подателю сей записки уплатить три рубля. Фельдшер Егор Фряков.

.....

Сеня, ты не обижайся. Записал я тебя у мирового в свидетели насчет оскорбления в публичном месте в рассуждении того случая, когда нас били, а ты говоришь, что я зря. Не фордыбачься, потому ведь и тебе за загривок влетело. Не давай синякам сходить, растравляй.....

СЧЕТ

СЧЕТ

1 п. стерляжей ухи	1	р.	80	к.
1 бут. финь-шампань	8	»	—	»
За разбитый графин	5	»	—	»
Извощик за мамзелями	2	»	—	»
Щи для цыгана	—	»	60	»
За порванный фрак на официанте	10	»	—	»

.....

...Целую тибя несчетно раз и приходи по следующиму адресу Мебли. Комнаты Фаянсова номер 18 спросить Марфу Сивягину. Твоя любящия Анжелика.

.....С подлинным верно:

.....*Человек без селезенки.*

Невидимые миру слезы
(Рассказ)

— Теперь, господа особы, недурно бы поужинать, — сказал воинский начальник Ребротесов, высокий и тонкий, как телеграфный столб, подполковник, выходя с компанией в одну темную августовскую ночь из клуба. — В хороших городах, в Саратове, например, в клубах всегда ужин получить можно, а у нас, в нашем вонючем Червянске, кроме водки да чая с мухами, ни бельмеса не получишь. Хуже нет ничего, ежели ты выпивши и закусить нечем!

— Да, недурно бы теперь что-нибудь этакое… — согласился инспектор духовного училища Иван Иваныч Двоеточиев, кутаясь от ветра в рыженькое пальто. — Сейчас два часа и трактиры заперты, а недурно бы этак селедочку… грибочков, что ли… или чего-нибудь вроде этакого, знаете…

Инспектор пошевелил в воздухе пальцами и изобразил на лице какое-то кушанье, вероятно, очень вкусное, потому что все, глядевшие на лицо, облизнулись. Компания остановилась и начала думать. Думала-думала и ничего съедобного

не выдумала. Пришлось ограничиться одними только мечтаниями.

— Важную я вчера у Голопесова индейку ел! — вздохнул помощник исправника Пружина-Пружинский. — Между прочим… вы были, господа, когда-нибудь в Варшаве? Там этак делают… Берут карасей обыкновенных, еще живых… животрепещущих, и в молоко… День в молоке они, сволочи, поплавают, и потом как их в сметане на скворчащей сковороде изжарят, так потом, братец ты мой, не надо твоих ананасов! Ей-богу. Особливо, ежели рюмку выпьешь, другую. Ешь и не чувствуешь… в каком-то забытьи… от аромата одного умрешь!..

— И ежели с просоленными огурчиками. — добавил Ребротесов тоном сердечного участия. — Когда мы в Польше стояли, так, бывало, пельменей этих зараз штук двести в себя вопрешь… Наложишь их полную тарелку, поперчишь, укропцем с петрушкой посыплешь и… нет слов выразить!

Ребротесов вдруг остановился и задумался. Ему вспомнилась стерляжья уха, которую он ел в 1856 году в Троицкой лавре. Память об этой ухе была так вкусна, что воинский начальник почувствовал вдруг запах рыбы, бессознательно пожевал и

не заметил, как в калоши его набралась грязь.

— Нет, не могу! — сказал он. — Не могу дольше терпеть! Пойду к себе и удовлетворюсь. Вот что, господа, пойдемте-ка и вы ко мне! Ей-богу! Выпьем по рюмочке, закусим чем бог послал. Огурчика, колбаски… самоварчик изобразим… А? Закусим, про холеру поговорим, старину вспомним… Жена спит, но мы ее и будить не станем… потихоньку… Пойдемте!

Восторг, с которым было принято это приглашение, не нуждается в описании. Скажу только, что никогда в другое время Ребротесов не имел столько доброжелателей, как в эту ночь.



— Я тебе уши оборву! — сказал воинский начальник денщику, вводя гостей в темную переднюю. — Тысячу раз говорил тебе, мерзавцу, чтобы, когда спишь в передней, всегда курил благовонной бумажкой! Поди, дурак, самовар поставь и скажи Ирине, чтобы она тово… принесла из погреба огурцов и редьки… Да почисть селедочку… Луку в нее покроши зеленого да укропцем посыплешь этак… знаешь, и картошки

кружочками нарежешь. И свеклы тоже. Все это уксусом и маслом, знаешь, и горчицы туда… Перцем сверху поперчишь. Гарнир, одним словом… Понимаешь?

Ребротесов пошевелил пальцами, изображая смешение, и мимикой добавил к гарниру то, чего не мог добавить в словах…

Гости сняли калоши и вошли в темный зал.

Хозяин чиркнул спичкой, навонял серой и осветил стены, украшенные премиями «Нивы», видами Венеции и портретами писателя Лажечникова и какого-то генерала с очень удивленными глазами.

— Мы сейчас… — зашептал хозяин, тихо поднимая крылья у стола. — Соберу вот на стол и сядем… Маша моя что-то больна сегодня. Уж вы извините… Женское что-то… Доктор Гусин говорит, что это от постной пищи… Очень может быть! «Душенька, говорю, дело ведь не в пище! Не то, что в уста, а то, что из уст, говорю… Постное, говорю, ты кушаешь, а раздражаешься по-прежнему… Чем плоть свою удручать, ты лучше, говорю, не огорчайся, не произноси слов…» И слушать не хочет! «С детства, говорит, мы приучены».

Вошел денщик и, вытянувши шею, прошептал что-то хозяину на ухо. Ребротесов пошевелил

бровями…

— М-да… — промычал он. — Гм… тэк-с… Это, впрочем, пустяки… Я сейчас, в одну минуту… Маша, знаете ли, погреб и шкафы заперла от прислуги и ключи к себе взяла. Надо пойти взять…

Ребротесов поднялся на цыпочки, тихо отворил дверь и пошел к жене… Жена его спала.

— Машенька! — сказал он, осторожно приблизившись к кровати. — Проснись, Машуня, на секундочку!

— Кто? Это ты? Чего тебе?



— Я, Машенька, относительно вот чего… Дай, ангелочек, ключи и не беспокойся… Спи себе…

Я сам с ними похлопочу… Дам им по огурчику и больше расходовать ничего не буду… Побей меня бог. Двоеточиев, знаешь, Пружина-Пружинский и еще некоторые… Прекрасные все люди… уважаемые обществом… Пружинский даже Владимира четвертой степени имеет… Он уважает тебя так…

— Ты где это нализался?

— Ну, вот ты уже и сердишься… Какая ты, право… Дам им по огурчику, вот и все… И уйдут… Я сам распоряжусь, а тебя и не побеспокоим… Лежи себе, куколка… Ну, как твое здоровье? Был Гусин без меня? Даже вот ручку поцелую… И гости все уважают тебя так… Двоеточиев религиозный человек, знаешь… Пружина, казначей тоже. Все относятся к тебе так… «Марья, говорят, Петровна — это, говорят, не женщина, а нечто, говорят, неудобопонятное… Светило нашего уезда».

— Ложись! Будет тебе городить! Налижется там в клубе со своими шалаберниками, а потом и бурлит всю ночь! Постыдился бы! Детей имеешь!

— Я… детей имею, но ты не раздражайся, Манечка… не огорчайся… Я тебя ценю и люблю… И детей, бог даст, пристрою. Митю, вот, в гимназию повезу… Тем более что я их не могу прогнать… Неловко… Зашли за мной и попросили есть. «Дайте,

говорят, нам поесть»…

Двоеточиев, Пружина-Пружинский… милые такие люди… Сочувствуют тебе, ценят. По огурчику дать им, по рюмке и… пусть себе с богом… Я сам распоряжусь…

— Вот наказание! Ошалел ты, что ли? Какие гости в этакую пору? Постыдились бы они, черти рваные, по ночам людей беспокоить! Где это видано, чтоб ночью в гости ходили?.. Трактир им здесь, что ли? Дура буду, ежели ключи дам! Пусть проспятся, а завтра и приходят!

— Гм… Так бы и сказала… И унижаться бы перед тобой не стал… Выходит, значит, что ты мне не подруга жизни, не утешительница своего мужа, как сказано в Писании, а… неприлично выразиться… Змеей была, змея и есть…

— А-а… так ты еще ругаться, язва?

Супруга приподнялась и… воинский начальник почесал щеку и продолжал:

— Мерси… Правду раз читал я в одном журнале: «В людях ангел — не жена, дома с мужем — сатана»… Истинная правда… Сатаной была, сатана и есть…

— На же тебе!

— Дерись, дерись… Бей единственного мужа! Ну, на коленях прошу… Умоляю… Манечка!.. Про-

сти ты меня!.. Дай ключи! Манечка! Ангел! Лютое существо, не срами ты меня перед обществом! Варварка ты моя, до каких же пор ты будешь меня мучить? Дерись… Бей… Мерси… Умоляю, наконец!

Долго беседовали таким образом супруги… Ребротесов становился на колени, два раза плакал, бранился, то и дело почесывал щеку… Кончилось тем, что супруга поднялась, плюнула и сказала:

— Вижу, что конца не будет моим мучениям! Подай со стула мое платье, махамет!

Ребротесов бережно подал ей платье и, поправив свою прическу, пошел к гостям.

Гости стояли перед изображением генерала, глядели на его удивленные глаза и решали вопрос: кто старше — генерал или писатель Лажечников? Двоеточиев держал сторону Лажечникова, напирая на бессмертие, Пружинский же говорил:

— Писатель-то он, положим, хороший, спору нет… и смешно пишет и жалостно, а отправь-ка его на войну, так он там и с ротой не справится; а генералу хоть целый корпус давай, так ничего…

— Моя Маша сейчас… — перебил спор вошедший хозяин. — Сию минуту…

— Мы вас беспокоим, право… Федор Акимыч,

что это у вас со щекой? Батюшка, да у вас и под глазом синяк! Где это вы угостились?

— Щека? Где щека? — сконфузился хозяин. — Ах, да! Подкрадываюсь я сейчас к Манечке, хочу ее испугать, да как стукнусь в потемках о кровать! Ха-ха… Но вот и Манечка… Какая ты у меня растрепе, Манюня! Чистая Луиза Мишель!

В зал вошла Марья Петровна, растрепанная, сонная, но сияющая и веселая.

— Вот это мило с вашей стороны, что зашли! — заговорила она. — Если днем не ходите, то спасибо мужу, что хоть ночью затащил. Сплю сейчас и слышу голоса… «Кто бы это мог быть?» — думаю… Федя велел мне лежать, не выходить, ну, а я не вытерпела…

Супруга сбегала в кухню, и ужин начался.

— Хорошо быть женатым! — вздыхал Пружина-Пружинский, выходя через час с компанией из дома воинского начальника. — И ешь, когда хочешь, и пьешь, когда захочется… Знаешь, что есть существо, которое тебя любит… И на фортепьянах сыграет что-нибудь эдакое. Счастлив Ребротесов!

Двоеточиев молчал. Он вздыхал и думал. Придя домой и раздеваясь, он так громко вздыхал, что разбудил свою жену.

— Не стучи сапогами, жернов! — сказала жена. — Спать не даешь! Налижется в клубе, а потом и шумит, образина!

— Только и знаешь, что бранишься! — вздохнул инспектор. — А поглядела бы ты, как Ребротесовы живут! Господи, как живут! Глядишь на них и плакать хочется от чувств. Один только я такой несчастный, что ты у меня Ягой на свет уродилась. Подвинься!

Инспектор укрылся одеялом и, жалуясь мысленно на свою судьбу, уснул.

Идиллия

На быстром, как молния, лихаче вы подкатываете к подъезду, залитому светом… Минуя солидного швейцара с сверкающей булавой, вы заносите ногу на ступень, покрытую бархатным ковром, и через мгновение вас окутывает роскошь тропических растений. Стройные пальмы, латании и филодендроны отражаются в бесконечных зеркалах и, образуя океан зелени, уносят ваше воображение в страну Купера и Майн-Рида. Вы, очарованный, замираете; но вскоре неистовый вихрь бешеного вальса воскрешает вашу чуткую душу, и вы вновь чувствуете себя в Европе — в гнезде цивилизации… Огненные взоры неземных, поэтических созданий шлют вам любовь, обнаженные плечи манят вас в прошлое… Вы начинаете вспоминать… Детство, юность с ее розами, она… Странно! Час тому назад вы были убеждены, что вы не способны любить, что душа ваша умерла навсегда, навеки, что вам смешон этот лепет, смешон этот вальс… и что же? Сегодня ваша душа вновь живет тем, над чем хохотала вчера.

Утомленный вальсом, изнемогший, чувству-

ющий сладкую истому, вы садитесь за зеленый стол… Тут новая серия наслаждений… Проходит полчаса — и желтая бумажка, которую вы в начале игры положили перед собой, обращается в гору банковых билетов, акций, векселей… Чувство, знакомое Крезу и Ротшильду, охватывает вашу душу… Но это не все… Судьба, по-видимому, решила не останавливаться… Двое честных плебеев с лицами, изможденными трудами и страданиями, берут вас под руки и ведут… Вы чувствуете себя первосвященником, ведомым послушными жрецами… Проходит полная ожиданий минута — и две мощные руки спускают вас вниз по мраморной, украшенной статуями лестнице. Воздух оглашается звуком классического подзатыльника, и вы, катясь вниз, видите улыбку, которую шлет вам мраморная Венера…

Хирургия

Земская больница. За отсутствием доктора, уехавшего жениться, больных принимает фельдшер Курятин, толстый человек лет сорока, в поношенной чечунчовой жакетке и в истрепанных триковых брюках. На лице выражение чувства долга и приятности. Между указательным и средним пальцами левой руки — сигара, распространяющая зловоние.

В приемную входит дьячок Вонмигласов, высокий коренастый старик в коричневой рясе и с широким кожаным поясом. Правый глаз с бельмом и полузакрыт, на носу бородавка, похожая издали на большую муху. Секунду дьячок ищет глазами икону и, не найдя таковой, крестится на бутыль с карболовым раствором, потом вынимает из красного платочка просфору и с поклоном кладет ее перед фельдшером.

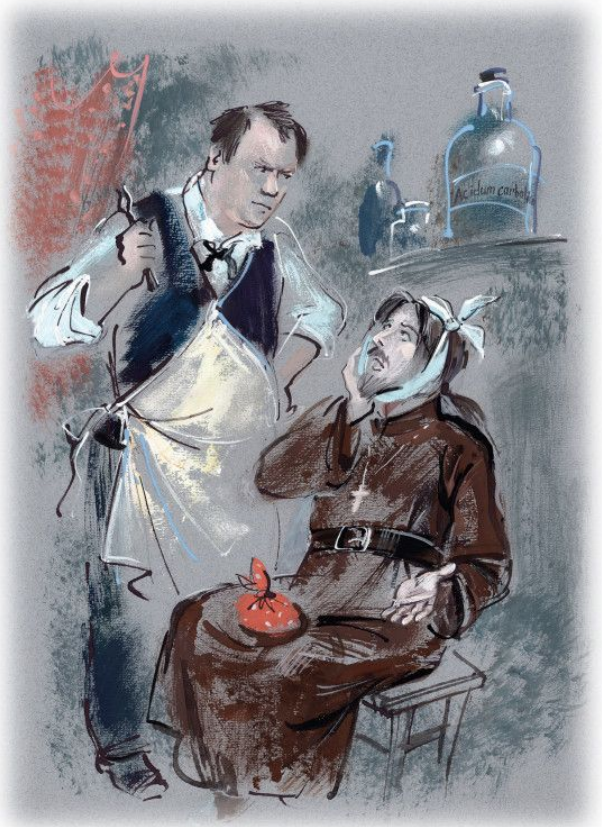
— А-а-а… мое вам! — зевает фельдшер. — С чем пожаловали?

— С воскресным днем вас, Сергей Кузьмич… К вашей милости… Истинно и правдиво в псалтыри сказано, извините: «Питие мое с плачем растворях». Сел намедни со старухой чай пить

и — ни боже мой, ни капельки, ни синь-порох, хоть ложись да помирай… Хлебнешь чуточку — и силы моей нету! А кроме того, что в самом зубе, но и всю эту сторону… Так и ломит, так и ломит! В ухо отдает, извините, словно в нем гвоздик или другой какой предмет: так и стреляет, так и стреляет! Согрешихом и беззаконновахом… Студными бо окалях душу грехми и в лености житие мое иждих… За грехи, Сергей Кузьмич, за грехп[130]! Отец иерей после литургии упрекает: «Косноязычен ты, Ефим, и гугнив стал. Поешь, и ничего у тебя не разберешь». А какое, судите, тут пение, ежели рта раскрыть нельзя, все распухши, извините, и ночь не спавши…

[130] Примечания: 130

«..грехп!..» — так в издательском файле. Возможно, ошибка… — примечание изготовителя файла.



— М-да… Садитесь… Раскройте рот!

Вонмигласов садится и раскрывает рот.

Курятин хмурится, глядит в рот и среди пожелтевших от времени и табаку зубов усматривает один зуб, украшенный зияющим дуплом.

— Отец диакон велели водку с хреном прикладывать — не помогло. Гликерия Анисимовна, дай бог им здоровья, дали на руку ниточку носить с Афонской горы да велели теплым молоком зуб полоскать, а я, признаться, ниточку-то надел, а в отношении молока не соблюл: бога боюсь, пост…

— Предрассудок… *(пауза).* Вырвать его нужно, Ефим Михеич!

— Вам лучше знать, Сергей Кузьмич. На то вы и обучены, чтоб это дело понимать как оно есть, что вырвать, а что каплями или прочим чем… На то вы, благодетели, и поставлены, дай бог вам здоровья, чтоб мы за вас денно и нощно, отцы родные… по гроб жизни…

— Пустяки… — скромничает фельдшер, подходя к шкапу и роясь в инструментах. — Хирургия — пустяки… Тут во всем привычка, твердость руки… Раз плюнуть… Намедни тоже, вот как и вы, приезжает в больницу помещик Александр Иваныч Египетский… Тоже с зубом… Человек образованный, обо всем расспрашивает, во все входит, как и что. Руку пожимает, по имени

и отчеству… В Петербурге семь лет жил, всех профессоров перенюхал… Долго мы с ним тут… Христом-богом молит: вырвите вы мне его, Сергей Кузьмич! Отчего же не вырвать? Вырвать можно. Только тут понимать надо, без понятия нельзя… Зубы разные бывают. Один рвешь щипцами, другой козьей ножкой, третий ключом… Кому как.

Фельдшер берет козью ножку, минуту смотрит на нее вопросительно, потом кладет и берет щипцы.

— Ну-с, раскройте рот пошире… — говорит он, подходя с щипцами к дьячку. — Сейчас мы его… тово… Раз плюнуть… Десну подрезать только… тракцию сделать по вертикальной оси… и все… (подрезывает десну) и все…

— Благодетели вы наши… Нам, дуракам, и невдомек, а вас господь просветил…

— Не рассуждайте, ежели у вас рот раскрыт…

— Этот легко рвать, а бывает так, что одни только корешки… Этот — раз плюнуть… (накладывает щипцы). Постойте, не дергайтесь… Сидите неподвижно… В мгновение ока… (делает тракцию). Главное, чтоб поглубже взять (тянет)… чтоб коронка не сломалась…

— Отцы наши… Мать пресвятая… Ввв…

— Не тово… не тово… как его? Не хватайте ру-

ками! Пустите руки! *(тянет).* Сейчас… Вот, вот… Дело-то ведь не легкое…

— Отцы… радетели… *(кричит).* Ангелы! Ого-го… Да дергай же, дергай! Чего пять лет тянешь?

— Дело-то ведь… хирургия… Сразу нельзя… Вот, вот…

Вонмигласов поднимает колени до локтей, шевелит пальцами, выпучивает глаза, прерывисто дышит… На багровом лице его выступает пот, на глазах слезы. Курятин сопит, топчется перед дьячком и тянет… Проходят мучительнейшие полминуты — и щипцы срываются с зуба. Дьячок вскакивает и лезет пальцами в рот. Во рту нащупывает он зуб на старом месте.

— Тянул! — говорит он плачущим и в то же время насмешливым голосом. — Чтоб тебя так на том свете потянуло! Благодарим покорно! Коли не умеешь рвать, так не берись! Света божьего не вижу…

— А ты зачем руками хватаешь? — сердится фельдшер. — Я тяну, а ты мне под руку толкаешь и разные глупые слова… Дура!

— Сам ты дура!

— Ты думаешь, мужик, легко зуб-то рвать? Возьмись-ка! Это не то, что на колокольню полез да в колокола отбарабанил! *(дразнит).* «Не уме-

ешь, не умеешь!» Скажи, какой указчик нашелся! Ишь ты… Господину Египетскому, Александру Иванычу, рвал, да и тот ничего, никаких слов… Человек почище тебя, а не хватал руками… Садись! Садись, тебе говорю!

— Света не вижу… Дай дух перевести… Ох! *(садится).* Не тяни только долго, а дергай. Ты не тяни, а дергай… Сразу!

— Учи ученого! Экий, господи, народ необразованный! Живи вот с этакими… очумеешь! Раскрой рот… *(накладывает щипцы).* Хирургия, брат, не шутка… Это не на клиросе читать… (делает тракцию). Не дергайся… Зуб, выходит, застарелый, глубоко корни пустил… (тянет). Не шевелись… Так… так… Не шевелись… Ну, ну… *(слышен хрустящий звук).* Так и знал!

Вонмигласов сидит минуту неподвижно, словно без чувств. Он ошеломлен… Глаза его тупо глядят в пространство, на бледном лице пот.

— Было б мне козьей ножкой… — бормочет фельдшер. — Этакая оказия!

Придя в себя, дьячок сует в рот пальцы и на месте больного зуба находит два торчащих выступа.

— Парршивый черт… — выговаривает он. — Насажали вас здесь, иродов, на нашу погибель!

— Поругайся мне еще тут… — бормочет фельдшер, кладя в шкап щипцы. — Невежа… Мало тебя в бурсе березой потчевали… Господин Египетский, Александр Иваныч, в Петербурге лет семь жил… образованность… один костюм рублей сто стоит… да и то не ругался… А ты что за пава такая? Ништо тебе, не околеешь!

Дьячок берет со стола свою просфору и, придерживая щеку рукой, уходит восвояси…

Хамелеон
(Сценка)

Через базарную площадь идет полицейский надзиратель Очумелов в новой шинели и с узелком в руке. За ним шагает рыжий городовой с решетом, доверху наполненным конфискованным крыжовником. Кругом тишина… На площади ни души… Открытые двери лавок и кабаков глядят на свет божий уныло, как голодные пасти; около них нет даже нищих.

— Так ты кусаться, окаянная? — слышит вдруг Очумелов. — Ребята, не пущай ее! Нынче не велено кусаться! Держи! А… а!

Слышен собачий визг. Очумелов глядит в сторону и видит: из дровяного склада купца Пичугина, прыгая на трех ногах и оглядываясь, бежит собака. За ней гонится человек в ситцевой крахмальной рубахе и расстегнутой жилетке. Он бежит за ней и, подавшись туловищем вперед, падает на землю и хватает собаку за задние лапы. Слышен вторично собачий визг и крик: «Не пущай!» Из лавок высовываются сонные физиономии, и скоро около дровяного склада, словно

из земли выросши, собирается толпа.

— Никак беспорядок, ваше благородие!.. — говорит городовой.

Очумелов делает полуоборот налево и шагает к сборищу. Около самых ворот склада, видит он, стоит вышеписанный человек в расстегнутой жилетке и, подняв вверх правую руку, показывает толпе окровавленный палец. На полупьяном лице его как бы написано: «Ужо я сорву с тебя, шельма!» да и самый палец имеет вид знамения победы. В этом человеке Очумелов узнает золотых дел мастера Хрюкина. В центре толпы, растопырив передние ноги и дрожа всем телом, сидит на земле сам виновник скандала — белый борзой щенок с острой мордой и желтым пятном на спине. В слезящихся глазах его выражение тоски и ужаса.

— По какому это случаю тут? — спрашивает Очумелов, врезываясь в толпу. — Почему тут? Это ты зачем палец?.. Кто кричал?

— Иду я, ваше благородие, никого не трогаю… — начинает Хрюкин, кашляя в кулак. — Насчет дров с Митрий Митричем, — и вдруг эта подлая ни с того, ни с сего за палец… Вы меня извините, я человек, который работающий… Работа у меня мелкая. Пущай мне заплотят, потому — я этим

пальцем, может, неделю не пошевельну… Этого, ваше благородие, и в законе нет, чтоб от твари терпеть… Ежели каждый будет кусаться, то лучше и не жить на свете…

— Гм!.. Хорошо… — говорит Очумелов строго, кашляя и шевеля бровями. — Хорошо… Чья собака? Я этого так не оставлю. Я покажу вам, как собак распускать! Пора обратить внимание на подобных господ, не желающих подчиняться постановлениям! Как оштрафуют его, мерзавца, так он узнает у меня, что значит собака и прочий бродячий скот! Я ему покажу Кузькину мать!.. Елдырин, — обращается надзиратель к городовому, — узнай, чья это собака, и составляй протокол! А собаку истребить надо. Немедля! Она наверное бешеная. Чья это собака, спрашиваю?

— Это, кажись, генерала Жигалова! — кричит кто-то из толпы.

— Генерала Жигалова? Гм!.. Сними-ка, Елдырин, с меня пальто… Ужас как жарко! Должно полагать, перед дождем… Одного только я не понимаю: как она могла тебя укусить? — обращается Очумелов к Хрюкину. — Нешто она достанет до пальца? Она маленькая, а ты ведь вон какой здоровила! Ты, должно быть, расковырял палец гвоздиком, а потом и пришла в твою голову идея,

чтоб сорвать. Ты ведь… известный народ! Знаю вас, чертей!

— Он, ваше благородие, цыганкой ей в харю для смеха, а она — не будь дура и тяпни… Вздорный человек, ваше благородие!

— Врешь кривой! Не видал, так, стало быть, зачем врать? Их благородие умный господин и понимают, ежели кто врет, а кто по совести, как перед богом… А ежели я вру, так пущай мировой рассудит. У него в законе сказано… Нынче все равны… У меня у самого брат в жандармах… ежели хотите знать…

— Не рассуждать!

— Нет, это не генеральская… — глубокомысленно замечает городовой. — У генерала таких нет. У него все больше легавые…

— Ты это верно знаешь?

— Верно, ваше благородие…



— Я и сам знаю. У генерала собаки дорогие, породистые, а эта — черт знает что! Ни шерсти, ни вида… подлость одна только… И этакую собаку держать?!.. Где же у вас ум? Попадись этакая собака в Петербурге или Москве, то знаете, что было бы? Там не посмотрели бы в закон, а моментально — не дыши! Ты, Хрюкин, пострадал и дела

этого так не оставляй… Нужно проучить! Пора…

— А может быть, и генеральская. — думает вслух городовой. — На морде у нее не написано… Намедни во дворе у него такую видел.

— Вестимо, генеральская! — говорит голос из толпы.

— Гм!.. Надень-ка, брат Елдырин, на меня пальто… Что-то ветром подуло… Знобит… Ты отведешь ее к генералу и спросишь там. Скажешь, что я нашел и прислал… И скажи, чтобы ее не выпускали на улицу… Она, может быть, дорогая, а ежели каждый свинья будет ей в нос сигаркой тыкать, то долго ли испортить. Собака — нежная тварь… А ты, болван, опусти руку! Нечего свой дурацкий палец выставлять! Сам виноват!..

— Повар генеральский идет, его спросим… Эй, Прохор! Поди-ка, милый, сюда! Погляди на собаку… Ваша?

— Выдумал! Этаких у нас отродясь не бывало!

— И спрашивать тут долго нечего, — говорит Очумелов. — Хрюкин виноват, что тронул ее, а она бродячая… Нечего тут долго и разговаривать… Ежели сказал, что бродячая, стало быть и бродячая… Истребить, вот и все.

— Это не наша, — продолжает Прохор. — Это генералова брата, что намеднись приехал. Наш

не охотник до борзых. Брат ихний охоч…

— Да разве братец ихний приехали? Владимир Иваныч? — спрашивает Очумелов, и все лицо его заливается улыбкой умиления. — Ишь ты, господи! А я и не знал! Погостить приехали?

— В гости…

— Ишь ты, господи… Соскучились по братце… А я ведь и не знал! Так это ихняя собачка? Очень рад… Возьми ее… Собачонка ничего себе… Шустрая такая… Цап этого за палец! Ха-ха-ха… Ну, чего дрожишь? Ррр… Рр… Сердится, шельма… цуцык этакий…

Прохор зовет собаку и идет с ней от дровяного склада… Толпа хохочет над Хрюкиным.

— Я еще доберусь до тебя! — грозит ему Очумелов и, запахиваясь в шинель, продолжает свой путь по базарной площади.

Из огня да в полымя

У регента соборной церкви Градусова сидел адвокат Калякин и, вертя в руках повестку от мирового на имя Градусова, говорил:

— Что ни говорите, Досифей Петрович, а вы виноваты-с. Я уважаю вас, ценю ваше расположение, но при всем том с прискорбием должен вам заметить, что вы были неправы. Да-с, неправы. Вы оскорбили моего клиента Деревяшкина… Ну, за что вы его оскорбили?

— Кой черт его оскорблял? — горячился Градусов, высокий старик с узким, мало обещающим лбом, густыми бровями и с бронзовой медалькой в петлице. — Я ему только мораль нравственную прочел, только! Дураков нужно учить! Ежели дураков не учить, то тогда от них прохода не будет.

— Но, Досифей Петрович, вы ему не наставление прочли. Вы, как заявляет он в своем прошении, публично тыкали на него, называли его ослом, мерзавцем и тому подобное… и даже раз подняли руку, как бы желая нанести ему оскорбление действием.

— Как же его не бить, ежели он того стоит? Не понимаю!

— Но поймите же, что вы не имеете на это никакого права!

— Я не имею права? Ну, уж это извините-с… Подите кому другому рассказывайте, а меня не морочьте, сделайте милость. Он у меня после того, как его из архиерейского хора честью по шее попросили, в моем хоре десять лет прослужил. Я ему благодетель, ежели желаете знать. Ежели он сердится, что я его из хора прогнал, то сам же он виноват. Я его за философию прогнал. Философствовать может только образованный человек, который курс кончил, а ежели ты дурак, не высокого ума, то ты сиди себе в уголку и молчи… Молчи да слушай, как умные говорят, а он, болван, бывало, так и норовит, чтоб что-нибудь этакое запустить. Тут спевка или обедня идет, а он про Бисмарка да про разных там Гладстонов. Верите ли, газету, каналья, выписывал! А сколько раз я его за русско-турецкую войну по зубам бил, так вы себе представить не можете! Тут нужно петь, а он наклонится к тенорам да и давай им рассказывать про то, как наши динамитом турецкий броненосец «Лютфи-Джелил» взорвали… Нешто это порядок? Конечно, приятно, что наши победили, но из этого не следует, что петь не надо… Можешь и после обедни поговорить. Свинья,

одним словом.

— Стало быть, вы и прежде его оскорбляли!

— Прежде он и не обижался. Чувствовал, что я это для его же пользы, понимал!.. Знал, что старшим и благодетелям грех прекословить, а как в полицию в писаря поступил — ну и шабаш, зазнался, перестал понимать. Я, говорит, теперь не певчий, а чиновник. На коллежского регистратора, говорит, экзамен держать буду. Ну и дурак, говорю… Поменьше бы ты, говорю, философию разводил да почаще бы нос утирал, так это лучше было бы, чем о чинах думать. Тебе, говорю, не чины свойственны, а убожество. И слушать не хочет! Да вот хоть бы взять этот случай — за что он на меня мировому подал? Ну, не хамово ли отродье? Сижу я в трактире Самоплюева и с нашим церковным старостой чай пью. Публики тьма, ни одного свободного места… Гляжу, и он сидит тут же, со своими писарями пиво трескает. Франт такой, морду поднял, орет… руками размахивает… Прислушиваюсь — про холеру говорит… Ну, что вы с ним тут поделаете? Философствует! Я, знаете ли, молчу, терплю… Болтай, думаю, болтай… Язык без костей… Вдруг на беду машина заиграла… Расчувствовался он, хам, поднялся и говорит своим приятелям: «Выпьем, говорит, за

процветание! Я, говорит, сын своего отечества и славянофил своей родины! Положу свою единственную грудь! Выходите, враги, на одну руку! Кто со мной не согласен, того я желаю видеть!» И как стукнет кулаком по столу! Тут уж я не вытерпел… Подхожу к нему и говорю деликатно: «Послушай, Осип… Ежели ты, свинья, ничего не понимаешь, то лучше молчи и не рассуждай. Образованный человек может умствовать, а ты смирись. Ты тля, пепел…»

Я ему слово, он мне десять… Пошло и пошло… Я ему, конечно, на пользу, а он по глупости… Обиделся — вот и подал мировому…

— Да, — вздохнул Калякин. — Плохо… Из-за каких-нибудь пустяков и черт знает что вышло. Человек вы семейный, уважаемый, а тут суд этот, разговоры, перетолки, арест… Покончить это дело нужно, Досифей Петрович. Есть у вас один выход, на который соглашается и Деревяшкин. Вы пойдете сегодня со мной в трактир Самоплюева в шесть часов, когда собираются там писаря, актеры и прочая публика, при которой вы оскорбили его, и извинитесь перед ним. Тогда он возьмет свое прошение назад. Поняли? Полагаю, что вы согласитесь, Досифей Петрович… Говорю вам, как другу… Вы оскорбили Деревяшкина, осрамили

его, а главное заподозрили его похвальные чувства и даже… профанировали эти чувства. В наше время, знаете ли, нельзя так. Надо поосторожней. Вашим словам придан оттенок этакий, как бы вам сказать, который в наше время, одним словом, не того… Сейчас без четверти шесть… Угодно вам идти со мной?

Градусов замотал головой, но когда Калякин нарисовал ему в ярких красках «оттенок», приданный его словам, и могущие быть от этого оттенка последствия, Градусов струсил и согласился.



— Вы, смотрите же, извинитесь как следует, по форме, — учил его адвокат по пути в трактир. — Подойдите к нему и на «вы»... «Извините... беру свои слова назад» и прочее тому подобное.

Придя в трактир, Градусов и Калякин нашли в нем целое сборище. Тут сидели купцы, актеры, чиновники, полицейские писаря — вообще вся «шваль», имевшая обыкновение собираться в трактире по вечерам, пить чай и пиво. Между писарями сидел и сам Деревяшкин, малый неопределенного возраста, бритый, с большими

неморгающими глазами, придавленным носом и такими жесткими волосами, что, при взгляде на них, являлось желание чистить сапоги… Его лицо было так счастливо устроено, что, раз взглянувши на него, можно было узнать все: что он и пьяница, и поет басом, и глуп, но не настолько, чтоб не считать себя очень умным человеком. Увидев входящего регента, он приподнялся и, как кот, пошевелил усами. Сборище, по-видимому предуведомленное о том, что будет публичное покаяние, навострило уши.

— Вот… Господин Градусов согласен! — сказал Калякин, входя.

Регент кое с кем поздоровался, громко высморкался, покраснел и подошел к Деревяшкину.

— Извините… — забормотал он, не глядя на него и пряча в карман платок. — При всем обществе беру свои слова назад.

— Извиняю! — пробасил Деревяшкин и, победоносно взглянув на всю публику, сел. — Я удовлетворен! Господин адвокат, прошу прекратить мое дело!

— Я извиняюсь, — продолжал Градусов. — Извините… Не люблю неудовольствий… Хочешь, чтоб я тебе «вы» говорил, изволь, буду… Хочешь, чтоб я тебя за умного почитал, изволь… Мне на-

плевать. Я, брат, не злопамятен. Шут с тобой…

— Да вы позвольте-с! Вы извиняйтесь, а не ругайтесь!

— Как же мне еще извиняться? Я извиняюсь! Только что вот не «выкнул», так это по забывчивости. Не на коленки же мне становиться… Извиняюсь и даже благодарю бога, что у тебя хватило ума это дело прекратить. Мне некогда по судам шляться… Век я не судился, судиться не буду и тебе не советую… вам то есть…

— Конечно! Не желаете ли выпить для сан-стефанского миру?

— И выпить можно… Только ты, брат, Осип, свинья… Это я не то что ругаюсь, а так… к примеру… Свинья, брат! Помнишь, как ты у меня в ногах валялся, когда тебя из архиерейского хора по шее? А? И ты смеешь на благодетеля жалобу подавать? Рыло ты, рыло! И тебе не стыдно? Господа посетители, и ему не стыдно?

— Позвольте-с! Это опять выходит ругательство!

— Какое ругательство? Я тебе только говорю, наставляю… Помирился и в последний раз говорю, я ругаться не думаю… Стану я с тобой, с лешим, связываться после того, как ты на своего благодетеля жалобу подал! Да ну тебя к черту! И

говорить с тобой не желаю! А ежели я тебя сейчас свиньей нечаянно обозвал, так ты и есть свинья… Вместо того, чтоб за благодетеля вечно бога молить, что он тебя десять лет кормил да нотам выучил, ты жалобу глупую подаешь да разных чертей адвокатов подсылаешь.

— Позвольте же, Досифей Петрович, — обиделся Калякин. — Не черти у вас были, а я был!.. Поосторожней, прошу вас!

— Да нешто я про вас? Ходите хоть каждый день, милости просим. Только мне удивительно, как это вы курс кончили, образование получили, а вместо того, чтоб этого индюка наставлять, руку его держите. Да я бы его на вашем месте в остроге сгноил! И потом, чего вы сердитесь? Ведь я извинялся? Чего же вам от меня еще нужно? Не понимаю! Господа посетители, вы будьте свидетелями, я извинялся, а извиняться в другой раз перед каким-нибудь дураком я не намерен!

— Вы сами дурак! — прохрипел Осип и в негодовании ударил себя по груди.

— Я дурак? Я? И ты можешь мне это говорить?..

Градусов побагровел и затрясся.

— И ты осмелился? На же тебе!.. И кроме того, что я тебе, подлецу, сейчас оплеуху дал, я еще на тебя мировому подам! Я покажу тебе, как

оскорблять! Господа, будьте свидетели! Господин околоточный, что же вы стоите там и смотрите? Меня оскорбляют, а вы смотрите? Жалованье получаете, а как за порядком смотреть, так и не ваше дело? А? Вы думаете, что на вас и суда нет?

К Градусову подошел околоточный, и — началась история.

Через неделю Градусов стоял перед мировым судьей и судился за оскорбление Деревяшкина, адвоката и околоточного надзирателя, при исполнении последним своих служебных обязанностей. Сначала он не понимал, истец он или обвиняемый, потом же, когда мировой приговорил его «по совокупности» к двухмесячному аресту, то он горько улыбнулся и проворчал:

— Гм… Меня оскорбили, да я же еще и сидеть должен… Удивление… Надо, господин мировой судья, по закону судить, а не умствуя. Ваша покойная маменька, Варвара Сергеевна, дай бог ей царство небесное, таких, как Осип, сечь приказывала, а вы им поблажку даете… Что ж из этого выйдет? Вы их, шельмов, оправдаете, другой оправдает. Куда же идти тогда жаловаться?

— Приговор может быть обжалован в двухнедельный срок… и прошу не рассуждать! Можете идти!

— Конечно… Нынче ведь на одно жалованье не проживешь, — проговорил Градусов и подмигнул значительно. — Поневоле, ежели кушать хочется, невинного в кутузку засадишь. Это так… И винить нельзя…

— Что-с?!

— Ничего-с… Это я так… насчет хапен зи гевезен… Вы думаете, как вы в золотой цепе, так на вас и суда нет? Не беспокойтесь… Выведу на чистую воду!

Закипело дело «об оскорблении судьи»; но вступился соборный протоиерей, и дело кое-как замяли.

Перенося свое дело в съезд, Градусов был убежден, что не только его оправдают, но даже Осипа посадят в острог. Так он думал и во время самого разбирательства. Стоя перед судьями, он вел себя миролюбиво, сдержанно, не говоря лишних слов. Раз только, когда председатель предложил ему сесть, он обиделся и сказал:

— Нешто в законах написано, чтоб регент рядом со своим певчим сидел?

А когда съезд утвердил приговор мирового судьи, он прищурил глаза…

— Как-с? Что-с? — спросил он. — Это как же прикажете понимать-с? Это вы о чем же-с?

— Съезд утвердил приговор мирового судьи. Если вы недовольны, то можете подавать в сенат.

— Так-с. Чувствительно вас благодарим, ваше превосходительство, за скорый и праведный суд. Конечно, на одно жалованье не проживешь, это я отлично понимаю, но извините-с, мы и неподкупный суд найдем.

Не стану приводить всего того, что Градусов наговорил съезду… В настоящее время он судится за «оскорбление съезда» и слушать не хочет, когда знакомые стараются объяснить ему, что он виноват… Он убежден в своей невинности и верует, что рано или поздно ему скажут спасибо за открытые им злоупотребления.

— Ничего с этим дураком не поделаешь! — говорит соборный настоятель, безнадежно помахивая рукой. — Не понимает!

Надлежащие меры

Маленький, заштатный городок, которого, по выражению местного тюремного смотрителя, на географической карте даже под телескопом не увидишь, освещен полуденным солнцем. Тишина и спокойствие. По направлению от думы к торговым рядам медленно подвигается санитарная комиссия, состоящая из городового врача, полицейского надзирателя, двух уполномоченных от думы и одного торгового депутата. Сзади почтительно шагают городовые… Путь комиссии, как путь в ад, усыпан благими намерениями. Санитары идут и, размахивая руками, толкуют о нечистоте, вони, надлежащих мерах и прочих холерных материях. Разговоры до того умные, что идущий впереди всех полицейский надзиратель вдруг приходит в восторг и, обернувшись, заявляет:

— Вот так бы нам, господа, почаще собираться да рассуждать! И приятно, и в обществе себя чувствуешь, а то только и знаем, что ссоримся. Да ей-богу!

— С кого бы нам начать? — обращается торговый депутат к врачу тоном палача, выбирающего

жертву. — Не начать ли нам, Аникита Николаич, с лавки Ошейникова? Мошенник, во-первых, и… во-вторых, пора уж до него добраться. Намедни приносят мне от него гречневую крупу, а в ней, извините, крысиный помет… Жена так и не ела!

— Ну что ж? С Ошейникова начинать, так с Ошейникова, — говорит безучастно врач.

Санитары входят в «Магазин чаю, сахару и кофию и прочих колоннеальных товаров А. М. Ошейникова» и тотчас же, без длинных предисловий, приступают к ревизии.

— М-да-с… — говорит врач, рассматривая красиво сложенные пирамиды из казанского мыла. — Каких ты у себя здесь из мыла вавилонов настроил! Изобретательность, подумаешь! Э… э… э! Это что же такое? Поглядите, господа! Демьян Гаврилыч изволит мыло и хлеб одним и тем же ножом резать!

— От этого холеры не выйдет-с, Аникита Николаич! — резонно замечает хозяин.

— Оно-то так, но ведь противно! Ведь и я у тебя хлеб покупаю.

— Для кого поблагородней, мы особый нож держим. Будьте покойны-с… Что вы-с…

Полицейский надзиратель щурит свои близорукие глаза на окорок, долго царапает его ногтем,

громко нюхает, затем, пощелкав по окороку пальцем, спрашивает:

— А он у тебя, бывает, не с стрихнинами?

— Что вы-с… Помилуйте-с… Нешто можно-с!

Надзиратель конфузится, отходит от окорока и щурит глаза на прейскурант Асмолова и К°. Торговый депутат запускает руку в бочонок с гречневой крупой и ощущает там что-то мягкое, бархатистое… Он глядит туда, и по лицу его разливается нежность.

— Кисаньки… кисаньки! Манюнечки мои! — лепечет он. — Лежат в крупе и мордочки подняли… нежатся… Ты бы, Демьян Гаврилыч, прислал мне одного котеночка!

— Это можно-с… А вот, господа, закуски, ежели желаете осмотреть… Селедки вот, сыр… балык, изволите видеть… Балык в четверг получил, самый лучшшшш… Мишка, дай-ка сюда ножик!

Санитары отрезывают по куску балыка и, понюхав, пробуют.

— Закушу уж и я кстати… — говорит как бы про себя хозяин лавки Демьян Гаврилыч. — Там где-то у меня бутылочка валялась. Пойти перед балыком выпить… Другой вкус тогда… Мишка, дай-ка сюда бутылочку.

Мишка, надув щеки и выпучив глаза, рас-

купоривает бутылку и со звоном ставит ее на прилавок.

— Пить натощак… — говорит полицейский надзиратель, в нерешимости почесывая затылок. — Впрочем, ежели по одной… Только ты поскорей, Демьян Гаврилыч, нам некогда с твоей водкой!

Через четверть часа санитары, вытирая губы и ковыряя спичками в зубах, идут к лавке Голорыбенко.

Тут, как назло, пройти негде… Человек пять молодцов, с красными, вспотевшими физиономиями, катят из лавки бочонок с маслом.

— Держи вправо!.. Тяни за край… тяни, тяни! Брусок подложи… а, черт! Отойдите, ваше благородие, ноги отдавим!

Бочонок застревает в дверях и — ни с места… Молодцы налегают на него и прут изо всех сил, испуская громкое сопенье и бранясь на всю площадь. После таких усилий, когда от долгих сопений воздух значительно изменяет свою чистоту, бочонок, наконец, выкатывается и почему-то, вопреки законам природы, катится назад и опять застревает в дверях. Сопенье начинается снова.

— Тьфу! — плюет надзиратель. — Пойдемте к

Шибукину. Эти черти до вечера будут пыхтеть.

Шибукинскую лавку санитары находят запертой.

— Да ведь она же была отперта! — удивляются санитары, переглядываясь. — Когда мы к Ошейникову входили, Шибукин стоял на пороге и медный чайник полоскал. Где он? — обращаются они к нищему, стоящему около запертой лавки.



— Подайте милостыньку, Христа ради, — сипит нищий, — убогому калеке, что милость ваша, господа благодетели… родителям вашим…

Санитары машут руками и идут дальше, за исключением одного только уполномоченного от думы, Плюнина. Этот подает нищему копейку

и, словно чего-то испугавшись, быстро крестится и бежит вдогонку за компанией.

Часа через два комиссия идет обратно. Вид у санитаров утомленный, замученный. Ходили они не даром: один из городовых, торжественно шагая, несет лоток, наполненный гнилыми яблоками.

— Теперь, после трудов праведных, недурно бы дрызнуть, — говорит надзиратель, косясь на вывеску «Ренсковый погреб вин и водок». — Подкрепиться бы.

— М-да, не мешает. Зайдемте, если хотите!

Санитары спускаются в погреб и садятся вокруг круглого стола с погнувшимися ножками. Надзиратель кивает сидельцу, и на столе появляется бутылка.

— Жаль, что закусить нечем, — говорит торговый депутат, выпивая и морщась. — Огурчика дал бы, что ли… Впрочем…

Депутат поворачивается к городовому с лотком, выбирает наиболее сохранившееся яблоко и закусывает.

— Ах… тут есть и не очень гнилые! — как бы удивляется надзиратель. — Дайка и я себе выберу! Да ты поставь здесь лоток… Какие лучше — мы выберем, почистим, а остальные можешь

уничтожить. Аникита Николаич, наливайте! Вот так почаще бы нам собираться да рассуждать. А то живешь-живешь в этой глуши, никакого образования, ни клуба, ни общества — Австралия, да и только! Наливайте, господа! Доктор, яблочек! Самолично для вас очистил!

.....

— Ваше благородие, куда лоток девать прикажете? — спрашивает городовой надзирателя, выходящего с компанией из погреба.

— Ло… лоток? Который лоток? П-понимаю! Уничтожь вместе с яблоками… потому — зараза!

— Яблоки вы изволили скушать!

— А-а… очень приятно! Послушш… поди ко мне домой и скажи Марье Власьевне, чтоб не сердилась… Я только на часок… к Плюнину спать… Понимаешь? Спать… объятия Морфея. Шпрехен зи деич, Иван Андреич.

И, подняв к небу глаза, надзиратель горько качает головой, растопыривает руки и говорит:

— Так и вся жизнь наша!

«Кавардак в Риме»

(Комическая странность в 3-х действиях, 5-ти картинах с прологом и двумя провалами)

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Граф Фалькони, очень толстый человек.

Графиня, его неверная жена.

Луна, приятная во всех отношениях планета.

Артур, художник-чревовещатель, поющий чревом.

Гессе, художник. Просят не смешивать со спичечным фабрикантом и коробочным сатириком Гессе.

Сиротка, в красных чулочках. Невинна и добродетельна, но не настолько, чтобы стесняться в выборе мужского костюма.

Лентовский, с ножницами. Разочарован.

Касса, старая дева.

Большой Сбор.... } ее дети

Маленький Сбор... }

Барабанщики, факиры, монахини, лягушки, бык из папье-маше, один лишний художник, тысяча надежд, злые гении и проч.

ПРОЛОГ

Начинается апофеозом по рисунку Шехтеля: **Касса**, бледная, тощая, держит на руках голодного сына своего, **Маленького Сбора**, и с мольбою глядит на публику. Лентовский заносит кинжал, стараясь убить **Маленького Сбора**, но это ему не удается, так как кинжал туп. Картина. Бенгальские огни, стоны. Через сцену пролетает вампир.

Лентовский. Убью тебя, о, ненавистный ребенок! Иван, подай мне сюда другой нож! *(Иван, похожий на Андраши, подает ему нож, но в это время спускается Злой гений.)*

Злой гений *(шепчет Лентовскому)*. Поставь «Кавардак в Риме» — и дело в шляпе: Маленький Сбор погибнет.

Лентовский *(хлопает себя по лбу)*. И как это я раньше не догадался! Григорий Александрович, ставьте «Кавардак в Риме»! *(Слышен голос Арбенина: «Шикарно!»)* С прроцессией, черт возьми! *(Засыпает в сладких надеждах.)*

ДЕЙСТВИЕ I

Сиротка *(сидит на камушке)*. Я влюблена в

Артура… Больше я вам ничего не могу сказать. Сама я маленькая, голос у меня маленький, роль маленькая, а если я говорю большие длинноты, так на то у вас уши и терпение есть. Я-то еще ничего, а вот подождите-ка, какой длиннотой угостит вас сейчас Тамарин! Еще и не так поморщитесь! *(Киснет.)*

Луна. Гм! *(Зевает и хмурится.)*

Рафаэли-Тамарин *(входит)*. Я сейчас вам расскажу… Дело, видите ли, вот в чем… *(набирает в себя воздуху и начинает длиннейший монолог. Два раза он садится, пять раз утирает пот, в конце концов хрипнет и, чувствуя в горле предсмертную агонию, умоляюще глядит на Лентовского).*

Лентовский *(звякая ножницами)*. Ужо надо будет урезать.

Луна *(хмурясь)*. Не удрать ли? Судя по первому действию, из оперетки одна только грусть выйдет.

Рафаэли *(покупает у Сиротки картину Артура за тысячу рублей)*. Выдам за свою картину.

Фалькони *(входит с графиней)*. В первом действии не нужны ни я, ни моя супруга, но тем не менее волею автора позвольте представиться… Моя супруга, изменщица… Прошу любить и жаловать. Если не смешно, то извините…

Графиня *(изменяет мужу)*. Беда быть женою ревнивого мужа! *(Изменяет мужу.)*

Гессе. Я лишний на сцене, а между тем стою здесь… Куда деть руки? *(Не зная, куда деть руки, ходит.)*

Сиротка *(взяв от Рафаэли деньги, едет в Рим к Артуру, в которого влюблена. Для неизвестной цели переодевается в мужское платье. За ней едут в Рим все).*

Луна. Какая смертоносная скучища… Не затмиться ли мне? *(Начинается затмение луны.)*

ДЕЙСТВИЯ II и III

Графиня *(изменяет мужу)*. Артур душка…

Сиротка. Поступлю к Артуру в ученики. *(Поступает и киснет. Ей подносят венок honoris causa*[131]*.)*

Артур. Я влюблен в графиню, но мне нужна не такая любовь… Я хочу любить тихо, платонически…

Графиня *(изменяет мужу)*. Какой хороший мальчишка *(заглядывается на Сиротку)*. Дай-ка я с ним поцелуюсь! *(Изменяет мужу и Артуру.)*

Артур. Я возмущен!

---

[131] Примечания: 131
Ради почета (лат.).

Сиротка *(переодевается в женское платье)*. Я женщина! *(Выходит за внезапно полюбившего ее Артура.)*

Публика. Это и все? Гм…

Процессия: толпа людей, одетых лягушками, несет бумажного быка и две бочки.

Оперетка *(проваливаясь)*. Уж сколько на этом самом месте разных разностей проваливалось!

Лентовский *(хватая проваливающуюся Оперетку за шиворот)*. Нет, стой! *(Начинает урезывать ее ножницами.)* Стой, матушка… Мы тебя еще починим… *(Урезав, пристально смотрит.)* Только испортил, черт возьми.

Оперетка. Уж чему быть, тому не миновать. *(Проваливается.)*

ЭПИЛОГ

Апофеоз. **Лентовский** на коленях. **Добрый гений**, защищая **Кассу** с ребенком, стоит перед ним в позе проповедника. В перспективе стоят новые оперетки и **Большой Сбор**.

Винт

В одну скверную осеннюю ночь Андрей Степанович Пересолин ехал из театра. Ехал он и размышлял о той пользе, какую приносили бы театры, если бы в них давались пьесы нравственного содержания. Проезжая мимо правления, он бросил думать о пользе и стал глядеть на окна дома, в котором он, выражаясь языком поэтов и шкиперов, управлял рулем. Два окна, выходившие из дежурной комнаты, были ярко освещены.

«Неужели они до сих пор с отчетом возятся? — подумал Пересолин. — Четыре их там дурака, и до сих пор еще не кончили! Чего доброго, люди подумают, что я им и ночью покоя не даю. Пойду подгоню их...» — Остановись, Гурий!

Пересолин вылез из экипажа и пошел в правление. Парадная дверь была заперта, задний же ход, имевший одну только испортившуюся задвижку, был настежь. Пересолин воспользовался последним и через какую-нибудь минуту стоял уже у дверей дежурной комнаты. Дверь была слегка отворена, и Пересолин, взглянув в нее, увидел нечто необычайное. За столом, завален-

ным большими счетными листами, при свете двух ламп, сидели четыре чиновника и играли в карты. Сосредоточенные, неподвижные, с лицами, окрашенными в зеленый цвет от абажуров, они напоминали сказочных гномов или, чего боже избави, фальшивых монетчиков… Еще более таинственности придавала им их игра. Судя по их манерам и карточным терминам, которые они изредка выкрикивали, то был винт; судя же по всему тому, что услышал Пересолин, эту игру нельзя было назвать ни винтом, ни даже игрой в карты. То было нечто неслыханное, странное и таинственное… В чиновниках Пересолин узнал Серафима Звиздулина, Степана Кулакевича, Еремея Недоехова и Ивана Писулина.

— Как же ты это ходишь, черт голландский, — рассердился Звиздулин, с остервенением глядя на своего партнера vis-à-vis. — Разве так можно ходить? У меня на руках был Дорофеев сам-друг, Шепелев с женой да Степка Ерлаков, а ты ходишь с Кофейкина. Вот мы и без двух! А тебе бы, садовая голова, с Поганкина ходить!

— Ну, и что ж тогда б вышло? — окрысился партнер. — Я пошел бы с Поганкина, а у Ивана Андреича Пересолин на руках.

«Мою фамилию к чему-то приплели… — пожал

плечами Пересолин. — Не понимаю!»

Писулин сдал снова и чиновники продолжали:

— Государственный банк…

— Два — казенная палата…

— Без козыря.

— Ты без козыря?! Гм!.. Губернское правленье — два… Погибать — так погибать, шут возьми! Тот раз на народном просвещении без одной остался, сейчас на губернском правлении нарвусь. Плевать!

— Маленький шлем на народном просвещении!

«Не понимаю!» — прошептал Пересолин.

— Хожу со статского… Бросай, Ваня, какого-нибудь титуляшку или губернского.

— Зачем нам титуляшку? Мы и Пересолиным хватим…

— А мы твоего Пересолина по зубам… по зубам… У нас Рыбников есть. Быть вам без трех! Показывайте Пересолиху! Нечего вам ее, каналью, за обшлаг прятать!

«Мою жену затрогали… — подумал Пересолин. — Не понимаю».

И, не желая долее оставаться в недоумении, Пересолин открыл дверь и вошел в дежурную. Если бы перед чиновниками явился сам черт с рогами

и с хвостом, то он не удивил бы и не испугал так, как испугал и удивил их начальник. Явись перед ними умерший в прошлом году экзекутор, проговори он им гробовым голосом: «Идите за мной, аггелы, в место, уготованное канальям», и дыхни он на них холодом могилы, они не побледнели бы так, как побледнели, узнав Пересолина. У Недоехова от перепугу даже кровь из носа пошла, а у Кулакевича забарабанило в правом ухе и сам собою развязался галстук. Чиновники побросали карты, медленно поднялись и, переглянувшись, устремили свои взоры на пол. Минуту в дежурной царила тишина…

— Хорошо же вы отчет переписываете! — начал Пересолин. — Теперь понятно, почему вы так любите с отчетом возиться… Что вы сейчас делали?

— Мы только на минутку, ваше-ство… — прошептал Звиздулин. — Карточки рассматривали… Отдыхали…

Пересолин подошел к столу и медленно пожал плечами. На столе лежали не карты, а фотографические карточки обыкновенного формата, снятые с картона и наклеенные на игральные карты. Карточек было много. Рассматривая их, Пересолин увидел себя, свою жену, много своих подчиненных, знакомых…

— Какая чепуха… Как же вы это играете?

— Это не мы, ваше-ство, выдумали… Сохрани бог… Это мы только пример взяли…

— Объясни-ка, Звиздулин! Как вы играли? Я все видел и слышал, как вы меня Рыбниковым били… Ну, чего мнешься? Ведь я тебя не ем? Рассказывай!

Звиздулин долго стеснялся и трусил. Наконец, когда Пересолин стал сердиться, фыркать и краснеть от нетерпения, он послушался. Собрав карточки и перетасовав, он разложил их по столу и начал объяснять:

— Каждый портрет, ваше-ство, как и каждая карта, свою суть имеет… значение. Как и в колоде, так и здесь 52 карты и четыре масти… Чиновники казенной палаты — черви, губернское правление — трефы, служащие по министерству народного просвещения — бубны, а пиками будет отделение государственного банка. Ну-с… Действительные статские советники у нас тузы, статские советники — короли, супруги особ IV и V класса — дамы, коллежские советники — валеты, надворные советники — десятки, и так далее. Я, например, — вот моя карточка, — тройка, так как, будучи губернский секретарь…

— Ишь ты. Я, стало быть, туз?

— Трефовый-с, а ее превосходительство — дама-с…

— Гм!.. Это оригинально… А ну-ка, давайте сыграем! Посмотрю…

Пересолин снял пальто и, недоверчиво улыбаясь, сел за стол. Чиновники тоже сели по его приказанию, и игра началась…

Сторож Назар, пришедший в семь часов утра мести дежурную комнату, был поражен. Картина, которую увидел он, войдя со щеткой, была так поразительна, что он помнит ее теперь даже тогда, когда, напившись пьян, лежит в беспамятстве. Пересолин, бледный, сонный и непричесанный, стоял перед Недоеховым и, держа его за пуговицу, говорил:



— Пойми же, что ты не мог с Шепелева ходить, если знал, что у меня на руках я сам-четверт. У Звиздулина Рыбников с женой, три учителя гимназии да моя жена, у Недоехова банковцы и три маленьких из губернской управы. Тебе бы нужно было с Крышкина ходить! Ты не гляди, что они с казенной палаты ходят! Они себе на уме!

— Я, ваше-ство, пошел с титулярного, потому,

думал, что у них действительный.

— Ах, голубчик, да ведь так нельзя думать! Это не игра! Так играют одни только сапожники. Ты рассуждай!.. Когда Кулакевич пошел с надворного губернского правления, ты должен был бросать Ивана Ивановича Гренландского, потому что знал, что у него Наталья Дмитриевна сам-третей с Егор Егорычем… Ты все испортил! Я тебе сейчас докажу. Садитесь, господа, еще один робер сыграем!

И, уславши удивленного Назара, чиновники уселись и продолжали игру.

Затмение Луны
(Из провинциальной жизни)

№ 1032 Циркулярно.

22 сентября в 10 часов вечера имеет быть затмение планеты луны. Так как подобное явление природы не только не предосудительно, но даже поучительно в том рассуждении, что даже и планеты законам природы часто повинуются, то в видах поощрения предлагаю вам, ваше благородие, сделать распоряжение о зажжении в этот вечер в вашем участке всех уличных фонарей, дабы вечерняя темнота не мешала начальствующим лицам и жителям обозревать оное затмение, а также прошу вас, милостивый государь, строго следить, чтобы на улицах не было по сему поводу сборищ, радостных криков и прочее. О лицах, превратно истолковывающих оное явление природы, если таковые окажутся (на что я, впрочем, зная здравомыслие обывателей, не надеюсь), прошу доносить мне.

.....Гнилодушин,

Верно: Секретарь Трясунов.

В ответ на отношение вашего высокоблагоро-

дия за № 1032 имею честь заявить, что в моем участке уличных фонарей не имеется, а посему затмение планеты луны произошло при полной темноте воздуха, но, несмотря на это, многими было видимо в надлежащей отчетливости. Нарушений общественной тишины и спокойствия, равно как превратных толкований и выражений неудовольствия, не было за исключением того случая, когда домашний учитель, сын дьякона, Амфилохий Бабельмандебский, на вопрос одного обывателя, в чем заключается причина сего потемнения планеты луны, начал внушать длинное толкование, явно клонящееся к разрушению понятий здравого смысла. В чем же заключалось его толкование, я не понял, так как он, объясняя по предметам науки, употреблял в своих словах много иностранных выражений.

.....Укуси-Каланчевский.

В ответ на отношение вашего высокоблагородия за № 1032 имею честь донести, что во вверенном мне участке затмения луны не было, хотя, впрочем, на небе и происходило некоторое явление природы, заключавшееся в потемнении лунного света, но было ли это затмение, доподлинно сказать не могу. Уличных фонарей по тщательном розыске оказалось в моем

участке только три, кои после омытия стекол и очищения внутренностей были зажжены, но все эти меры не имели надлежащей пользы, так как означенное потемнение происходило тогда, когда фонари вследствие дутия ветра и проникновения в разбитые стекла потухли и, следовательно, не могли прояснять означенной в отношении вашего высокоблагородия темноты. Сборищ не было, так как все обыватели спали за исключением одного только писца земской управы Ивана Авелева, который сидел на заборе и, глядя в кулак на потемнение, двухсмысленно улыбался и говорил: «По мне хоть бы и вовсе луны не было… Наплевать!» Когда же я ему заметил, что сии слова легкомысленны, он дерзко заявил: «А ты, мымра, чего за луну заступаешься? Нешто и ее ходил с праздником поздравлять?» Причем присовокупил безнравственное выражение в смысле простонародного ругательства, о чем и имею честь донести.

…….Глоталов.

С подлинным верно:

Человек без селезенки.

И прекрасное должно иметь пределы

В записной книжке одного мыслящего коллежского регистратора, умершего в прошлом году от испуга, было найдено следующее:

Порядок вещей требует, чтобы не только злое, но даже и прекрасное имело пределы. Поясню примерами:

Даже самая прекрасная пища, принятая через меру, производит в желудке боль, икоту и чревовещание.

Лучшим украшением человеческой головы служат волосы. Но кто не знает, что сии самые волосы, будучи длинны (не говорю о женщинах), служат признаком, по коему узнаются умы легкомысленные и вредоносные?

Один чиновник, сын благочестивых и добронравных родителей, считал за большое удовольствие снимать перед старшими шапку. Это прекрасное качество его души особенно бросалось в глаза, когда он нарочно ходил по городу и искал встречи со старшими только для той цели, чтобы лишний раз снять перед ними шапку и тем воздать должное. Натура его была до того почтительная и уважительная, что он снимал шапку

не только перед своим непосредственным и косвенным начальством, но даже и перед старшими возрастом. Следствием такого благородства души его было то, что ему каждую секунду приходилось обнажать свою голову. Однажды, встретясь в одно зимнее, холодное утро с племянником частного пристава, он снял шапку, застудил голову и умер без покаяния. Из этого явствует, что быть почтительным необходимо, но в пределах умеренности.

Не могу также умолчать и про науку. Наука имеет многие прекрасные и полезные качества, но вспомните, сколько зла приносит она, ежели предающийся ей человек переходит границы, установленные нравственностью, законами природы и прочим? Горе тому, который… Но умолчу лучше…

Фельдшер Егор Никитыч, лечивший мою тетеньку, любил во всем точность, аккуратность и правильность — качества, достойные души возвышенной. На всякое действие и на всякий шаг у него были нарочитые правила, опытом установленные, а в исполнении сих правил он отличался примерным постоянством. Однажды, придя к нему в пять часов утра, я разбудил его и, имея на лице написанную скорбь, воскликнул:

— Егор Никитыч, поспешите к нам! Тетенька истекает кровью!

Егор Никитыч встал, надел сапоги и пошел в кухню умываться. Умывшись с мылом и почистивши зубы, он причесался перед зеркалом и начал надевать брюки, предварительно почистив их и разгладив руками. Затем он почистил щеткой сюртук и жилетку, завел часы и аккуратненько прибрал свою постель. Покончив с постелью, он, как бы давая мне урок аккуратности, стал пришивать к пальто сорвавшуюся пуговку.

— Кровью истекает! — повторил я, изнемогая от понятного нетерпения.

— Сию минуту-с… Только вот богу помолюсь.

Егор Никитыч стал перед образами и начал молиться.

— Я готов… Только вот пойду на улицу, погляжу, какие надевать калоши — глубокие или мелкие?

Когда, наконец, мы вышли из его дома, он запер свою дверь, помолился набожно на восток и всю дорогу, идя тихо по тротуару, старался ступать на гладкие камни, боясь испортить обувь. Придя к нам, мы тетушку в живых уже не застали. Стало быть, и пунктуальность должна иметь пределы.

Писание, по-видимому, занятие прекрасное.

Оно обогащает ум, набивает руку и облагораживает сердце. Но много писать не годится. И литература должна иметь предел, ибо многое писание может произвести соблазн. Я, например, пишу эти строки, а дворник Евсевий подходит к моему окну и подозрительно посматривает на мое писание. В его душу я заронил сомнение. Спешу потушить лампу.

Маска

В Х-ом общественном клубе с благотворительной целью давали бал-маскарад, или, как его называли местные барышни, бал-парей[132].

Было 12 часов ночи. Не танцующие интеллигенты без масок — их было пять душ — сидели в читальне за большим столом и, уткнув носы и бороды в газеты, читали, дремали и, по выражению местного корреспондента столичных газет, очень либерального господина, — «мыслили».

Из общей залы доносились звуки кадрили «Вьюшки». Мимо двери, сильно стуча ногами и звеня посудой, то и дело пробегали лакеи. В самой же читальне царила глубокая тишина.

— Здесь, кажется, удобнее будет! — вдруг послышался низкий, придушенный голос, который, как казалось, выходил из печки. — Валяйте сюда! Сюда, ребята!

Дверь отворилась, и в читальню вошел широкий, приземистый мужчина, одетый в кучерской костюм и шляпу с павлиньими перьями, в маске. За ним следом вошли две дамы в масках и лакей

---

[132] Примечания: 132
Парадный бал (фр. bal paré).

с подносом. На подносе была пузатая бутыль с ликером, бутылки три красного и несколько стаканов.

— Сюда! Здесь и прохладнее будет, — сказал мужчина. — Становь поднос на стол. Садитесь, мамзели! Же ву при а ля тримонтран! А вы, господа, подвиньтесь… нечего тут!

Мужчина покачнулся и смахнул рукой со стола несколько журналов.

— Становь сюда! А вы, господа читатели, подвиньтесь; некогда тут с газетами да с политикой… Бросайте!

— Я просил бы вас потише, — сказал один из интеллигентов, поглядев на маску через очки. — Здесь читальня, а не буфет… Здесь не место пить.



— Почему не место? Нешто стол качается или потолок обвалиться может? Чудно?! Но… некогда разговаривать! Бросайте газеты… Почитали малость и будет с вас; и так уж умны очень, да и глаза попортишь, а главнее всего — я не желаю и все тут.

Лакей поставил поднос на стол и, перекинув салфетку через локоть, стал у двери. Дамы тотчас же принялись за красное.

— И как это есть такие умные люди, что для них газеты лучше этих напитков, — начал мужчина с

павлиньими перьями, наливая себе ликеру. — А по моему мнению, вы, господа почтенные, любите газеты оттого, что вам выпить не на что. Так ли я говорю? Ха-ха!.. Читают! Ну, а о чем там написано? Господин в очках! Про какие факты вы читаете? Ха-ха! Ну, да брось! Будет тебе кочевряжиться! Выпей лучше!

Мужчина с павлиньими перьями приподнялся и вырвал газету из рук у господина в очках. Тот побледнел, потом покраснел и с удивлением поглядел на прочих интеллигентов, те — на него.

— Вы забываетесь, милостивый государь! — вспыхнул он. — Вы обращаете читальню в кабак, вы позволяете себе бесчинствовать, вырывать из рук газеты! Я не позволю! Вы не знаете, с кем имеете дело, милостивый государь! Я директор банка Жестяков!..

— А плевать мне, что ты — Жестяков! А газете твоей вот какая честь...

Мужчина поднял газету и изорвал ее в клочки.

— Господа, что же это такое? — пробормотал Жестяков, обомлев. — Это странно, это... это даже сверхъестественно...

— Они рассердившись, — засмеялся мужчина. — Фу-ты, ну-ты, испугался! Даже поджилки трясутся. Вот что, господа почтенные! Шутки в

сторону, разговаривать с вами мне не охотно… Потому, как я желаю остаться тут с мамзелями один и желаю себе тут удовольствие доставить, то прошу не претикословить и выйти… Пожалуйте-с! Господин Белебухин, выходи к свиньям собачьим! Что рыло наморщил? Говорю, выходи, стало быть, и выходи! Живо у меня, а то, гляди, не ровен час, как бы в шею не влетело!

— То есть как же это? — спросил казначей сиротского суда Белебухин, краснея и пожимая плечами. — Я даже не понимаю… Какой-то нахал врывается сюда и… вдруг этакие вещи!

— Какое это такое слово нахал? — крикнул мужчина с павлиньими перьями, рассердившись, и стукнул кулаком по столу, так что на подносе запрыгали стаканы. — Кому ты говоришь? Ты думаешь, как я в маске, так ты можешь мне разные слова говорить? Перец ты этакий! Выходи, коли говорю! Директор банка, проваливай подобру-поздорову! Все уходите, чтоб ни одной шельмы тут не оставалось! Айда, к свиньям собачьим!

— А вот мы сейчас увидим! — сказал Жестяков, у которого даже очки вспотели от волнения. — Я покажу вам! Эй, позови-ка сюда дежурного старшину!

Через минуту вошел маленький рыженький

старшина с голубой ленточкой на лацкане, запыхавшийся от танцев.

— Прошу вас выйти! — начал он. — Здесь не место пить! Пожалуйте в буфет!

— Ты откуда это выскочил? — спросил мужчина в маске. — Нешто я тебя звал?

— Прошу не тыкать, а извольте выйти!

— Вот что, милый человек: даю тебе минуту сроку… Потому, как ты старшина и главное лицо, то вот выведи этих артистов под ручки. Мамзелям моим не ндравится, ежели здесь есть кто посторонний… Они стесняются, а я за свои деньги желаю, чтобы они были в натуральном виде.

— Очевидно, этот самодур не понимает, что он не в хлеву! — крикнул Жестяков. — Позвать сюда Евстрата Спиридоныча!

— Евстрат Спиридоныч! — понеслось по клубу. — Где Евстрат Спиридоныч?

Евстрат Спиридоныч, старик в полицейском мундире, не замедлил явиться.

— Прошу вас выйти отсюда! — прохрипел он, выпучивая свои страшные глаза и шевеля нафабренными усами.

— А ведь испугал! — проговорил мужчина и захохотал от удовольствия. — Ей-ей, испугал! Бывают же такие страсти, побей меня бог! Усы,

как у кота, глаза вытаращил… Хе-хе-хе!

— Прошу не рассуждать! — крикнул изо всей силы Евстрат Спиридоныч и задрожал. — Выйди вон! Я прикажу тебя вывести!

В читальне поднялся невообразимый шум. Евстрат Спиридоныч, красный как рак, кричал, стуча ногами. Жестяков кричал. Белебухин кричал. Кричали все интеллигенты, но голоса всех их покрывал низкий, густой, придушенный бас мужчины в маске. Танцы, благодаря всеобщей сумятице, прекратились, и публика повалила из залы к читальне.

Евстрат Спиридоныч для внушительности позвал всех полицейских, бывших в клубе, и сел писать протокол.

— Пиши, пиши, — говорила маска, тыча пальцем ему под перо. — Теперь что же со мной, с бедным, будет? Бедная моя головушка! За что же губите вы меня, сиротинушку? Ха-ха! Ну что ж? Готов протокол? Все расписавшись? Ну, теперь глядите!.. Раз… два… три!!!

Мужчина поднялся, вытянулся во весь рост и сорвал с себя маску. Открыв свое пьяное лицо и поглядев на всех, любуясь произведенным эффектом, он упал в кресло и радостно захохотал. А впечатление, действительно, произвел

он необыкновенное. Все интеллигенты растерянно переглянулись и побледнели, некоторые почесали затылки. Евстрат Спиридоныч крякнул, как человек, сделавший нечаянно большую глупость.

В буяне все узнали местного миллионера, фабриканта, потомственного почетного гражданина Пятигорова, известного своими скандалами, благотворительностью и, как не раз говорилось в местном вестнике, — любовью к просвещению.

— Что ж, уйдете или нет? — спросил Пятигоров после минутного молчания.

Интеллигенты молча, не говоря ни слова, вышли на цыпочках из читальни, и Пятигоров запер за ними двери.

— Ты же ведь знал, что это Пятигоров! — хрипел через минуту Евстрат Спиридоныч вполголоса, тряся за плечо лакея, вносившего в читальню вино. — Отчего ты молчал?

— Не велели сказывать-с!

— Не велели сказывать… Как засажу я тебя, анафему, на месяц, так тогда будешь знать «не велели сказывать». Вон!!! А вы-то хороши, господа, — обратился он к интеллигентам. — Бунт подняли! Не могли выйти из читальни на десять минуток! Вот теперь и расхлебывайте кашу. Эх,

господа, господа… Не люблю, ей-богу!

Интеллигенты заходили по клубу унылые, потерянные, виноватые, шепчась и точно предчувствуя что-то недоброе… Жены и дочери их, узнав, что Пятигоров «обижен» и сердится, притихли и стали расходиться по домам. Танцы прекратились.

В два часа из читальни вышел Пятигоров; он был пьян и пошатывался. Войдя в залу, он сел около оркестра и задремал под музыку, потом печально склонил голову и захрапел.

— Не играйте! — замахали старшины музыкантам. — Тсс!.. Егор Нилыч спит…

— Не прикажете ли вас домой проводить, Егор Нилыч? — спросил Белебухин, нагнувшись к уху миллионера.

Пятигоров сделал губами так, точно хотел сдунуть со щеки муху.

— Не прикажете ли вас домой проводить, — повторил Белебухин, — или сказать, чтоб экипажик подали?

— А? Ково? Ты… чево тебе?

— Проводить домой-с… Баиньки пора…

— До-домой желаю… Прроводи!

Белебухин просиял от удовольствия и начал поднимать Пятигорова. К нему подскочили дру-

гие интеллигенты и, приятно улыбаясь, подняли потомственного почетного гражданина и осторожно повели к экипажу.

— Ведь этак одурачить целую компанию может только артист, талант, — весело говорил Жестяков, подсаживая его. — Я буквально поражен, Егор Нилыч! До сих пор хохочу. Ха-ха… А мы-то кипятимся, хлопочем! Ха-ха! Верите? и в театрах никогда так не смеялся… Бездна комизма! Всю жизнь буду помнить этот незапамятный вечер!

Проводив Пятигорова, интеллигенты повеселели и успокоились.

— Мне руку подал на прощанье, — проговорил Жестяков, очень довольный. — Значит, ничего, не сердится.

— Дай-то бог! — вздохнул Евстрат Спиридоныч. — Негодяй, подлый человек, но ведь — благодетель!.. Нельзя!..

Господа обыватели
(Пьеса в двух действиях)

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Городская управа. Заседание.

Городской голова *(почавкав губами и медленно поковыряв у себя в ухе)*. В таком разе не угодно ли вам будет, господа, выслушать мнение брандмейстера Семена Вавилыча, который по этой части специалист? Пускай объяснит, а там мы рассудим!

Брандмейстер. Я так понимаю… *(сморкается в клетчатый платок)*. Десять тысяч, ассигнованные на пожарную часть, может быть, и большие деньги, но… *(вытирает лысину)* это одна только видимость. Это не деньги, а мечта, атмосфера. Конечно, и за десять тысяч можно иметь пожарную команду, но какую? Один смех только! Видите ли… Самое важное в жизни человеческой — это каланча, и всякий ученый вам это скажет. Наша же городская каланча, рассуждая категорически, совсем не годится, потому что мала. Дома высокие *(поднимает вверх руку)*, они кругом загоражива-

ют каланчу, и не только что пожар, но дай бог хоть небо увидеть. Я взыскиваю с пожарных, но разве они виноваты, что им не видно? Потом в отношении лошадином и в рассуждении бочек… *(расстегивает жилетку, вздыхает и продолжает речь в том же духе)*.

Гласные *(единогласно)*. Прибавить сверх сметы еще две тысячи!

(Городской голова делает минутный перерыв для вывода из залы заседания корреспондента.)

Брандмейстер. Хорошо-с. Теперь, стало быть, вы рассуждаете, чтобы каланча была возвышена на два аршина… Хорошо. Но ежели взглянуть с той точки и в том смысле, что тут заинтересованы общественные, так сказать, государственные интересы, то я должен заметить, господа гласные, что если за это дело возьмется подрядчик, то я должен вам иметь в виду, что это обойдется городу вдвое дороже, так как подрядчик будет соблюдать тут свой интерес, а не общественный. Если же строить хозяйственным способом, не спеша, то ежели кирпич, положим, по пятнадцати рублей за тысячу и доставка на пожарных лошадях и ежели (поднимает глаза к потолку, как бы мысленно считая) и ежели пятьдесят двенадцатиаршинных бревен в пять вершков…

(считает).

Гласные *(подавляющим большинством голосов)*. Поручить ремонт каланчи Семену Вавилычу, для каковой цели ассигновать на первый раз тысячу пятьсот двадцать три рубля сорок четыре копейки!

Брандмейстерша *(сидит среди публики и шепчет соседке)*. Не знаю, зачем это мой Сеня берет на себя столько хлопот! С его ли здоровьем заниматься постройками? Тоже, это весело — целый день рабочих по зубам бить! Наживет на ремонте какой-нибудь пустяк, рублей пятьсот, а здоровья себе испортит на тысячу. Губит его, дурака, доброта!

Брандмейстер. Хорошо-с. Теперь будем говорить о служебном персонале. Конечно, я, как лицо, можно сказать, заинтересованное *(конфузится)*, могу только заметить, что мне… мне все равно… Я человек уже не молодой, больной, не сегодня — завтра могу умереть. Доктор сказал, что у меня во внутренностях затвердение и что если я не буду оберегать своего здоровья, то внутри во мне лопнет жила и я помру без покаяния…

Шепот в публике. Собаке собачья и смерть.

Брандмейстер. Но я о себе не хлопочу. Пожил я, и слава богу. Ничего мне не нужно… Только

мне удивительно и… и даже обидно… *(машет безнадежно рукой)*. Служишь за одно только жалованье, честно, беспорочно… ни днем, ни ночью покою, не щадишь здоровья и… и не знаешь, к чему все это? Для чего хлопочу? Какой интерес? Я не про себя рассуждаю, а вообще… Другой не станет жить при таком иждивении… Пьяница пойдет на эту должность, а человек дельный, солидный скорей с голоду помрет, чем за такое жалованье станет тут хлопотать с лошадьми да с пожарными… *(пожав плечами)*. Какой интерес? Если бы увидели иностранцы, какие у нас порядки, то, я думаю, досталось бы нам на орехи во всех заграничных газетах. В Западной Европе, взять хоть, например, Париж, на каждой улице по каланче, и брандмейстерам каждогодно выдают пособие в размере годового жалованья. 7 Там можно служить!

Гласные. Выдать Семену Вавилычу в виде единовременного пособия за долголетнюю службу двести рублей!

Брандмейстерша *(шепчет соседке)*. Это хорошо, что он выпросил. Умник. Намедни мы были у отца протопопа, проиграли у него в стуколку сто рублей и теперь, знаете ли, так жалко! *(Зевает.)* Ах, так жалко! Пора бы уж домой идти, чай пить.


ПОЖАРНОЕ
ДЕПО

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Сцена у каланчи. Стража.

Часовой на каланче *(кричит вниз)*. Эй! На лесопильном дворе горит! Бей тревогу!

Часовой внизу. А ты только сейчас увидел? Народ уж полчаса как бежит, а ты, чудак, только сейчас спохватился? *(Глубокомысленно.)* Дурака хоть наверху поставь, хоть внизу — все равно *(бьет тревогу)*.

(Через три минуты в окне своей квартиры, находящейся против каланчи, показывается брандмейстер в дезабилье и с заспанными глазами.)

Брандмейстер. Где горит, Денис?

Часовой внизу *(вытягивается и делает под козырек)*. На лесопильном дворе, вашескородие!

Брандмейстер *(покачивает головой)*. Упаси бог! Ветер дует, сушь такая… *(машет рукой)*. И не дай бог! Горе да и только с этими несчастьями!.. *(погладив себя по лицу)*. Вот что, Денис. Скажи им, братец ты мой, чтоб запрягали и ехали себе, а я сейчас… немного погодя приеду… Одеться надо, то да се…

Часовой внизу. Да некому ехать, вашескоро-

дие! Все поуходили, один Андрей дома.

Брандмейстер *(испуганно)*. Где же они, мерзавцы?

Часовой внизу. Макар новые подметки ставил, теперь сапоги понес в слободку, к дьякону. Михайлу, ваше высокородие, вы сами изволили послать овес продавать. Егор на пожарных лошадях повез за реку надзирателеву свояченицу, Никита выпивши.

Брандмейстер. А Алексей?

Часовой внизу. Алексей пошел раков ловить, потому вы изволили ему давеча приказать, говорили, что завтра у вас к обеду гости будут.

Брандмейстер *(презрительно покачав головой)*. Изволь вот служить с таким народом! Невежество, необразованность… пьянство… Если бы увидели иностранцы, то досталось бы нам в заграничных журналах! Там, взять хоть Париж, пожарная команда все время скачет по улице, народ давит; есть пожар или нет, а ты скачи! Тут же горит лесопильный двор, опасность, а их никого дома нет, словно… черт их слопал! Нет, далеко еще нам до Европы! *(Поворачивается лицом в комнату, нежно.)* Машенька, приготовь мне мундир!

Свадьба с генералом
(Рассказ)

Отставной контр-адмирал Ревунов-Караулов, маленький, старенький и заржавленный, шел однажды с рынка и нес за жабры живую щуку. За ним двигалась его кухарка Ульяна, держа под мышкой кулек с морковью и пачку листового табаку, который почтенный адмирал употреблял «от клопов, тли (она же моль), тараканов и прочих инфузорий, живущих на теле человека и в его жилище».

— Дядюшка! Филипп Ермилыч! — услыхал он вдруг, поворачивая в свой переулок. — А я только что у вас был, целый час стучался! Как хорошо, что мы не разминулись!

Контр-адмирал поднял глаза и увидел перед собою своего племянника Андрюшу Нюнина, молодого человека, служащего в страховом обществе «Дрянь».

— У меня к вам есть просьба, — продолжал племянник, пожимая дядюшкину руку и приобретая от этого сильный рыбий запах. — Сядемте на скамеечку, дядюшка… Вот так… Ну-с, дело вот в чем…

Сегодня венчается мой хороший друг и приятель, некто Любимский… человек, между нами говоря, прелестнейший… Да вы, дядюшка, положите щуку! Что она будет вам шинель пачкать?

— Это ничего… Гадость рыба, грош цена, а между тем икра — удивление! Распороть ей брюхо, выпустить оттеда икру, смешать ее, знаешь, с толчеными сухариками, лучком, перцем и — приидите, насладимся!

— Человек прекраснейший… Служит оценщиком в ссудной кассе, но вы не подумайте, что это какой-нибудь замухрышка или валет… В ссудных кассах нынче и благородные дамы служат… Семейство, могу вас уверить… отец, мать и прочие… люди превосходные, радушные такие, религиозные… Одним словом, семья русская, патриархальная, от которой вы будете в восторге…

Женится Любимский на сиротке, по любви… Славные люди!.. Так вот не можете ли вы, дорогой дядечка, оказать честь этой семье и пожаловать сегодня к ним на свадебный ужин?

— Но ведь я тово… незнаком! Как я поеду?

— Это ничего не значит! Не к баронам и не к графам ведь ехать! Люди простые, без всяких этикетов… Русская натура: милости просим, все знакомые и незнакомые! И к тому же… я вам

откровенно… семья патриархальная, с разными предрассудками, причудами… Смешно даже… Ужасно ей хочется, чтобы на свадьбе присутствовал генерал! Тысячи рублей им не надо, а только посадите за их стол генерала! Согласен, грошовое тщеславие, предрассудок, но… но отчего же не доставить им этого невинного удовольствия? Тем более что и вам не будет там скучно… Нарочно для вас припасли бутылочку цимлянского и омаров жестяночку… Да и блеснете, откровенно говоря. Теперь ваш чин пропадает даром, как бы зарыт в землю, и никто не чувствует, что вы такого звания, а там, по крайней мере, всем понятно будет! Да ей-богу!

— Но прилично ли это будет для меня, Андрюша? — спросил контр-адмирал, задумчиво глядя на извозчика. — Я, знаешь, подумаю…

— Странно, о чем тут можно думать? Езжайте, вот и все! А что насчет приличия, то даже обидно… Точно я могу родного дядю повести в неприличное место!

— Пожалуй… Как знаешь…

— Так я за вами вечерком заеду… Этак часиков в одиннадцать, попоздней, чтобы как раз на ужин попасть… по-аристократически…

В 11 часов Нюнин заехал за дядюшкой. Реву-

нов-Караулов надел свой мундир и штаны с золотыми лампасами, нацепил ордена — и они поехали. Свадебный ужин уже начался, когда взятый из трактира напрокат лакей снимал с адмирала пальто с капюшоном, и мать жениха, г-жа Любимская, встречая его в передней, щурила на него глаза.

— Генерал? — вздыхала она, вопросительно глядя на Андрюшу, снимавшего пальто, и кланяясь. — Очень приятно, ваше превосходительство… Но какие неосанистые… завалященькие… Гм… Никакой строгости в виде и даже еполетов нету… Гм… Ну, все равно, не ворочаться же, какого бог дал… Так и быть, пожалуйте, ваше превосходительство! Слава богу, хоть орденов много…

Контр-адмирал поднял вверх свежевыбритый подбородок, внушительно кашлянул и вошел в зал… Тут его взорам представилась картина, способная размягчить и обратить в пепел даже камень. Посреди залы стоял большой стол, уставленный закусками и бутылками… За столом, на самом видном месте, сидел жених Любимский во фраке и белых перчатках. По его вспотевшему лицу плавала улыбка. Очевидно, его услаждали не столько предлежащие яства, сколько предвкушение предстоящих брачных наслаждений.

Около него сидела невеста с заплаканными глазами и с выражением крайней невинности на лице. Контр-адмирал сразу понял, что она добродетельна. Все остальные места были заняты гостями обоего пола.

— Контр-адмирал Ревунов-Караулов! — крикнул Андрюша.

Гости поглядели исподлобья на вошедших, почтительно вытерли губы и приподнялись.

— Позвольте представить, ваше превосходительство! Новобрачный Эпаминонд Саввич Любимский с супругою… Иван Иваныч Ять, служащий на телеграфе… Иностранец греческого звания по кондитерской части Харлампий Спиридоныч Дымба… Федор Яковлевич Наполеонов и… прочие. Садитесь, ваше-ство!

Контр-адмирал покачнулся, сел и тотчас же придвинул к себе селедку.

— Как вы его отрапортовали? — обратилась шепотом хозяйка к Андрюше, подозрительно и озабоченно поглядывая на сановного гостя. — Я просила генерала, а не этого… как его… котр… конр…

— Контр-адмирала… Но вы не понимаете, Настасья Тимофеевна. Поскольку действительный статский советник в гражданских чинах по та-

бели о рангах соответствует генерал-майору, постольку контр-адмирал соответствует действительному статскому советнику… Разница только в ведомствах, суть же — один черт… Одна цена.

— Да, да… — подтвердил Наполеонов. — Это верно…

Хозяйка успокоилась и поставила перед контр-адмиралом бутылку цимлянского.

— Кушайте, ваше-ство! Извините только, пожалуйста… У себя там вы привыкли к деликатности, а у нас так просто!

— Да-с… — начал контр-адмирал после продолжительного молчания. — В старину люди всегда жили просто и были довольны… Я человек, который в чинах, и то живу просто…

— Вы давно в отставке, ваше-ство?

— С 1865-го года… В старину все просто было… Но…

Адмирал сказал «но», перевел дух и в это время увидел молодого гардемарина, сидевшего против него.

— Вы тово… во флоте, стадо быть? — спросил он.

— Точно так, ваше-ство!..

— Ага… Так… Чай, теперь все пошло по-новому, не так, как при нас было… Белотелые все пошли,

пушистые… Впрочем, флотская служба всегда была трудная… Это не то, что пехота какая-нибудь или, положим, кавалерия… В пехоте ничего умственного нет. Там даже и мужику понятно, как и что… А вот у нас с вами, молодой человек, нет-с! Шутишь! У нас с вами есть над чем задуматься… Всякое незначительное слово имеет, так сказать, свое таинственное… ээ… недоумение… Например: марсовые к вантам, на фок и грот! Что это значит? Это значит, что которые приставлены для закрепления брамселей, должны непременно находиться в это время на марсах, иначе надо командовать: саленговые к вантам! Тут уж другой смысл… Хе-хе… Тонкость, что твоя математика! А вот ежели, идучи полным ветром… дай бог память… На брамсели и бом-брамсели! Тут марсовые, которые назначены для отдачи марселей и бом-брамселей, что есть духу бегут с марсов на салинги и бом-салинги, потом… дай бог память… расходятся по реям и раскрепляют означенные паруса, а в это время — понимаете? — в это самое время! — люди, которые внизу, становятся на брам и бом-брам-шкоты, фалы и брасы…

— За здоровье достоуважаемых гостей! — провозгласил жених.

— Да-с, — перебил контр-адмирал, поднима-

ясь и чокаясь. — Мало ли разных команд… Да вот хоть бы эту взять… дай бог память… брам и бом-брам-шкоты тянуть, фалы поднимаааай!!! Хорошо-с… Но что это значит и какой здесь смысл? Очень просто! Тянут, знаете ли, брам и бом-брам-шкоты и поднимают фалы… все вдруг! Причем уравнивают бом-брам-шкоты и бом-брам-фалы при подъеме, а в это время, глядя по надобности, потравливают брасы сих парусов, а когда уж, стало быть, шкоты натянуты и фалы все до места подняты, то брам и бом-брам-брасы вытягиваются и реи брасопятся соответственно направлению ветра…

— Дядюшка! — шепнул Андрюша. — Хозяйка просит вас поговорить о чем-нибудь другом. Это непонятно гостям и… скучно.

— Постой… Я рад, что молодого человека встретил… Молодой человек! Я всегда желал и… желаю… От души желаю! Дай бог… Мне приятно… Да-с… А вот ежели корабль лежит бейдевинд правым галсом под всеми парусами, исключая грота, то как надлежит командовать? Очень просто… дай бог память. Всех на вееерх, через фордевинд поворачивать! Ведь так? Хе-хе…

— Будет, дядюшка! — шепнул Андрюша.



Но дядюшка не унимался. Он выкрикивал команду за командой и каждый свой хриплый выкрик пояснял длинным комментарием. Приближался уж конец ужина, а между тем по его милости не было сказано еще ни одного длинного тоста, ни одной речи. Иван Иваныч Ять, у которого давно уже висела на языке цветистая речь, начал беспокойно вертеться на стуле, морщиться и шептаться с соседями. Раз, когда за десертом адмирал поперхнулся цимлянским и закашлялся, он воспользовался паузой, вскочил и начал:

— В сегодняшний, так сказать, день… Гм… в который мы, собравшись для чествования нашего любимого…

— Да-с… — перебил его адмирал. — И ведь все это надо помнить! Например… дай бог память… бейфуты и топенанты раздернуть, бакштаги с правой за марс!

— Мы люди темные, ваше превосходительство, — сказала хозяйка, — ничего этого самого не понимаем, а вы расскажите нам лучше что-нибудь касающее…

— Вы не понимаете, потому что… термины! Конечно! А молодой человек понимает… Да. Старину с ним вспомнил… А ведь приятно, молодой человек! Плывешь себе по морю, горя не знаючи, и…

Адмирал прослезился и заговорил дрожащим голосом:

— Например… дай бог память. Кливер поднимай, пошел браса, фока и грота-галсы садить!

Адмирал вытер глаза, всхлипнул и продолжал:

— Тут сейчас поднимают кливер-фалы, брасопят грот-марсель и прочие, что над оным, паруса в бейдевинд, а потом садят до места фока и грота-галсы, тянут шкоты и выбирают булиня… Пла… плачу… Рад…

— Генерал, а безобразите! — вспыхнула хозяйка. — Постыдились бы на старости лет! Мы вам не за то деньги платили, чтоб вы безобразили!

— Какие деньги? — вытаращил глаза контр-адмирал.

— Известно какие… Небось, уж получили через Андрея Ильича четвертную! А вам, Андрей Ильич, грех! Мы вас не просили такого нанимать…

Старик взглянул на вспыхнувшего Андрюшу, на хозяйку — и все понял. «Предрассудок» патриархальной семьи, о котором говорил ему Андрюша, предстал перед ним во всей его пакости… В один миг слетел с него хмель… Он встал из-за стола, засеменил в переднюю и, одевшись, вышел…

Больше уж он никогда не ходил на свадьбы.

К характеристике народов

(Из записок одного наивного члена Русского географического общества)

Французы замечательны своим легкомыслием. Они читают нескромные романы, женятся без позволения родителей, не слушаются дворников, не уважают старших и даже не читают «Московских ведомостей». Они до того безнравственны, что все французские консистории завалены бракоразводными делами. Сара Бернар, например, так часто разводится с мужьями, что один секретарь консистории по ее милости нажил себе два дома. Женщины поступают в опереточные актрисы и гуляют по Невскому, а мужчины пекут французские булки и поют «Марсельезу». Много альфонсов: Альфонс Додэ, Альфонс Ралле и другие…

Шведы воевали с Петром Великим и дали нашему соотечественнику Лапшину идею шведских спичек, но не научили его, как делать эти спички легко зажигающимися и годными для употребления. Ездят на шведках, слушают в ресторанах пение шведок и подмазывают колеса норвеж-

ским дегтем. Живут в местах отдаленных.

Греки занимаются по преимуществу торговлей. Продают губки, золотых рыбок, сантуринское вино и греческое мыло, не имеющие же торговых прав водят обезьян или занимаются преподаванием древних языков. В свободное от занятий время ловят рыбу около одесской и таганрогской таможен. Питаются недоброкачественной пищей, приготовляемой в греческих харчевнях, от нее же и умирают.



Между ними попадаются иногда и высокие люди: так, содержатель татарского ресторана в Москве Владос очень высокий и очень толстый человек.

Испанцы дни и ночи играют на гитарах, дерутся под окнами на дуэлях и ведут переписку

с звенигородским помещиком Константином Шиловским, сочинившим «Тигренка» и «Желаю быть испанцем». На государственную службу не принимаются, так как носят длинные волосы и пледы. Женятся по любви, но тотчас же после свадьбы закалывают своих жен от ревности, несмотря даже на увещания испанских околоточных, которых в Испании уважают. Занимаются приготовлением шпанских мушек.

Черкесы все до единого имеют титул «сиятельства». Едят шашлык, пьют кахетинское и дерутся в редакциях. Занимаются выделыванием старинного кавказского оружия, ни о чем никогда не думают и имеют длинные носы для удобнейшего вывода их из публичных мест, где они производят беспорядки.

Персы воюют с русскими клопами, блохами и тараканами, для каковой цели приготовляют персидский порошок. Воюют уже давно, однако же еще не победили и, судя по размерам купеческих перин и щелей в чиновничьих кроватях, победят едва ли скоро. Богатые персы сидят на персидских коврах, а бедные — на колах, причем первые испытывают гораздо большее удовольствие, чем вторые. Носят орден «Льва и Солнца», каковой орден имеют наш Юлий Шрейер, завоевавший себе

персидские симпатии, Рыков, оказавший России персидские услуги, и многие московские купцы за неослабную поддержку причин упомянутой войны с насекомыми.

Англичане очень дорого ценят время. «Время — деньги», говорят они, и потому своим портным вместо денег платят временем. Они постоянно заняты: говорят речи на митингах, ездят на кораблях и отравляют китайцев опиумом. У них нет досуга… Им некогда обедать, бывать на балах, ходить на рандеву, париться в бане. На рандеву вместо себя посылают они комиссионеров, которым дают неограниченные полномочия. Дети, рожденные от комиссионеров, признаются законными. Живет этот деловой народ в английских клубах, на английской набережной и в английском магазине. Питается английской солью и умирает от английской болезни.

Задача

Предлагаю на разрешение читателя задачу.

Я, моя жена и теща вышли в 2 часа ночи из дома, где все трое пировали на свадьбе у одного нашего дальнего родственника. На свадьбе мы, конечно, выпили и закусили.

— В моем положении я не могу пешком идти, — заявила жена. — Найми, Кирюша, извозчика.

— Бог знает что ты выдумываешь, Даша! — запротестовала теща. — При нонешней дороговизне, когда на хлеб к чаю нет… дров нету, а ты на извозчика! Не слушай ее, батюшка!

Но я, дорожа здоровьем жены и плода любви своей несчастной (читатель, конечно, уже догадался, что жена моя была в интересном положении) и находясь в том стадии блаженно-смиренномудрого подпития, когда пешее хождение служит прекрасной учебно-вспомогательной прогулкой для уразумения теории Коперника о вращении земли, я не послушался тещи и крикнул извозчика. Извозчик подкатил и… Но тут начинается самая задача.

Размеры извозчичьих санок вам известны. Я литератор, из чего явствует, что я тощ и легко-

весен. Моя жена — тоже тоща, но она все-таки шире меня, ибо ее поперечные размеры волею судеб увеличены. Теща же изображает из себя дистанцию огромного размера; поперечник ее равен длиннику; вес 7 пуд. 24 фунта.

— Втроем мы не усядемся на одного извозчика, — сказал я. — Нужно нанять еще другого.

— Ты, батюшка, с ума сошел, что ли? — зафордыбачилась теща. — За квартиру платить нечем, а ты захотел двух извозчиков! Не позволю! И благословения вам моего не будет! Прокляну!

— Но поймите же, мамаша, — сказал я наивозможно почтительным голосом, — втроем нам усесться никак невозможно. Если вы сядете, то, будучи, благодаря бога, полны, вы займете три четверти сиденья. Я-то, как худенький, пожалуй, еще могу сесть рядом с вами; Дашенька же, по случаю своего положения, рядом с вами усесться не может. Где же ей сесть?

— Как знаете, мучители мои! — замахала руками теща. — А нанимать другого извозчика нет вам моего благословения!

— Хорошо-с… — начал я вслух думать. — Я, как худощавый, сяду с вами, но тогда Дашеньке негде сесть; если же я сяду с Дашей — вам нет места… Хорошо-с… Постойте… Если, положим, мне с вами

сесть, а Дашу посадить к нам на колени, но… это физически невозможно: проклятые санки узки… Ну-с, а если, положим, я сяду с мамашей, а ты, Даша, на козлы рядом с извозчиком… Даша, хочешь рядом с извозчиком?

— Я благородная вдова, — рассердилась теща, — и не позволю, чтоб моя плоть и кровь сидела рядом с мужиком! Да и где это видано, чтоб дамы сидели на козлах?

— В таком случае мы вот как сделаем, — сказала моя находчивая жена. — Мамаша сядет как следует, а я сяду внизу у ее ног, съежусь, скорчусь и буду держаться за пустое местечко, что около нее; ты же, Кирюша, сядешь на козлы… Ты не благородный, тебе можно на козлы…

— Так-то так, — почесал я затылок, — но я выпивши и могу свалиться с козел…

— Нализался! — проворчала теща. — Ну, ежели боишься с козел упасть, так стань на запятки и крепко ручищами за спинку держись… Мы тихо поедем, не упадешь…

Как я ни был пьян, но с презрением отверг этот позорный проект: русский литератор и вдруг — на запятках?! Этого еще недоставало!.. Изнемогая от подпития и головоломки, за решением данной мне задачи, я уже готов был плюнуть и

отправиться домой пешком, как вдруг извозчик обернулся к нам и сказал:

— Вы этак сделайте…

И предложил нам проект, который и был принят.

В чем заключался этот проект?

P. S. Единовременное пособие для недогадливых: по проекту извозчика, я сидел рядом с тещей, жена же ко мне была так близко, что могла шепнуть мне на ухо. «Ты, Кирюша, толкаешь меня локтем. Подайся чуточку назад!» Извозчик сидел на своем месте. После этого угадать не трудно.

Решение задачи.

Я сидел рядом с тещей, спиной к извозчику и свесив ноги наружу через спинку санок. Жена стояла в санках на том месте, где должны были бы быть мои ноги, если бы я сидел по-человечески, и держалась за мои плечи.

Ночь перед судом
(Рассказ подсудимого)

— Быть, барин, беде! — сказал ямщик, оборачиваясь ко мне и указывая кнутом на зайца, перебегавшего нам дорогу.

Я и без зайца знал, что будущее мое отчаянное. Ехал я в С-ий окружной суд, где должен был сесть на скамью подсудимых за двоеженство. Погода была ужасная. Когда я к ночи приехал на почтовую станцию, то имел вид человека, которого облепили снегом, облили водой и сильно высекли, — до того я озяб, промок и обалдел от однообразной дорожной тряски. На станции встретил меня станционный смотритель, высокий человек в кальсонах с синими полосками, лысый, заспанный и с усами, которые, казалось, росли из ноздрей и мешали ему нюхать.

А понюхать, признаться, было что. Когда смотритель, бормоча, сопя и почесывая за воротником, отворил дверь в станционные «покои» и молча указал мне локтем на место моего успокоения, меня обдало густым запахом кислятины, сургуча и раздавленного клопа — и я едва не за-

дохнулся. Жестяная лампочка, стоявшая на столе и освещавшая деревянные некрашеные стены, коптила, как лучина.

— Да и вонь же у вас, синьор! — сказал я, входя и кладя чемодан на стол.

Смотритель понюхал воздух и недоверчиво покачал головой.

— Пахнет, как обыкновенно, — сказал он и почесался. — Это вам с морозу. Ямщики при лошадях дрыхнут, а господа не пахнут.

Я услал смотрителя и стал обозревать свое временное жилище. Диван, на котором мне предстояло возлечь, был широк, как двухспальная кровать, обит клеенкой и был холоден, как лед. Кроме дивана, в комнате были еще большая чугунная печь, стол с упомянутой лампочкой, чьи-то валенки, чей-то ручной саквояж и ширма, загораживавшая угол. За ширмой кто-то тихо спал. Осмотревшись, я постлал себе на диване и стал раздеваться. Нос мой скоро привык к вони. Снявши сюртук, брюки и сапоги, бесконечно потягиваясь, улыбаясь, ежась, я запрыгал вокруг чугунной печки, высоко поднимая свои босые ноги… Эти прыжки меня еще более согрели. Оставалось после этого растянуться на диване и уснуть, но тут случился маленький казус. Мой

взгляд нечаянно увал на ширмы и… представьте мой ужас! Из-за ширмы глядела на меня женская головка с распущенными волосами, черными глазками и оскаленными зубками. Черные брови ее двигались, на щеках играли хорошенькие ямочки — стало быть, она смеялась. Я сконфузился. Головка, заметив, что я ее увидел, тоже сконфузилась и спряталась. Словно виноватый, потупя взор, я смирнехонько направился к дивану, лег и укрылся шубой.

«Какая оказия! — подумал я. — Значит, она видела, как я прыгал! Нехорошо…»

И, припоминая черты хорошенького личика, я невольно размечтался. Картины одна другой краше и соблазнительнее затеснились в моем воображении и… и, словно в наказание за грешные мысли, я вдруг почувствовал на своей правой щеке сильную, жгучую боль. Я схватился за щеку, ничего не поймал, но догадался, в чем дело: запахло раздавленным клопом.

— Это черт знает что такое! — услышал я в то же время женский голосок. — Проклятые клопы, вероятно, хотят съесть меня!

Гм!.. Я вспомнил о своей хорошей привычке всегда брать с собой в дорогу персидский порошок. И на сей раз я не изменил этой привычке.

Жестянка с порошком была вытащена из чемодана в какую-нибудь секунду. Оставалось теперь предложить хорошенькой головке средство от «энциклопедии» и — знакомство готово. Но как предложить?

— Это ужасно!

— Сударыня, — сказал я возможно сладеньким голосом. — Насколько я понял ваше последнее восклицание, вас кусают клопы. У меня же есть персидский порошок. Если угодно, то…

— Ах, пожалуйста!

— В таком случае я сейчас… надену только шубу, — обрадовался я, — и принесу…

— Нет, нет. Вы через ширму подайте, а сюда не ходите!

— Я и сам знаю, что через ширму. Не пугайтесь: не башибузук какой-нибудь…

— А кто вас знает! Народ вы проезжий…

— Гм!.. А хоть бы и за ширму… Тут ничего нет особенного… тем более, что я доктор, — солгал я, — а доктора, частные пристава и дамские парикмахеры имеют право вторгаться в частную жизнь.

— Вы правду говорите, что вы доктор? Серьезно?

— Честное слово. Так позволите принести вам

порошок?

— Ну, если вы доктор, то пожалуй… Только зачем вам трудиться? Я могу мужа выслать к вам… Федя! — сказала брюнетка, понизив голос. — Федя! Да проснись же, тюлень! Встань и поди за ширму! Доктор так любезен, он предлагает нам персидского порошку.

Присутствие за ширмой «Феди» было для меня ошеломляющею новостью. Меня словно обухом ударило… Душу мою наполнило чувство, которое, по всей вероятности, испытывает ружейный курок, когда делает осечку: и совестно, и досадно, и жалко… На душе у меня стало так скверно и таким мерзавцем показался мне этот Федя, когда вышел из-за ширмы, что я едва не закричал караул. Федя изображал из себя высокого жилистого человека лет пятидесяти, с седыми бачками, со стиснутыми чиновничьими губами и с синими жилками, беспорядочно бегавшими по его носу и вискам. Он был в халате и туфлях.

— Вы очень любезны, доктор… — сказал он, принимая от меня персидский порошок и поворачивая к себе за ширмы. — Mercі… И вас застала пурга?

— Да! — проворчал я, ложась на диван и остервенело натягивая на себя шубу. — Да!

— Так-с… Зиночка, по твоему носику клопик бежит! Позволь мне снять его!

— Зиночка, при постороннем человеке… (вздох). Вечно ты… Ей-богу.

— Свиньи, спать не дают! — проворчал я, сердясь сам не зная чего.

Но скоро супруги утихли. Я закрыл глаза, стал ни о чем не думать, чтобы уснуть. Но прошло полчаса, час… и я не спал. В конце концов и соседи мои заворочались и стали шепотом браниться.



— Удивительно, даже персидский порошок ничего не берет! — проворчал Федя. — Так их много, этих клопов! — Доктор! Зиночка просит меня спросить вас: отчего это клопы так мерзко пахнут?

Мы разговорились. Поговорили о клопах, погоде, русской зиме, о медицине, в которой я так же мало смыслю, как в астрономии; поговорили об Эдисоне.

— Ты, Зиночка, не стесняйся… Ведь он доктор! — услышал я шепот после разговора об Эдисоне. — Не церемонься и спроси… Бояться нечего. Шервецов не помог, а этот, может быть, и поможет.

— Спроси сам! — прошептала Зиночка.

— Доктор, — обратился ко мне Федя, — отчего это у моей жены в груди теснение бывает? Кашель, знаете ли… теснит, точно, знаете ли, запеклось что-то…

— Это длинный разговор, сразу нельзя сказать… — попытался я увернуться.

— Ну, так что ж, что длинный? Время есть… все одно, не спим… Посмотрите ее, голубчик! Надо вам заметить, лечит ее Шервецов… Человек-то он хороший, но… кто его знает? Не верю я ему! Не верю! Вижу, вам не хочется, но будьте так добры! Вы ее посмотрите, а я тем временем пойду к смотрителю и прикажу самоварчик поставить.

Федя зашаркал туфлями и вышел. Я пошел за ширму. Зиночка сидела на широком диване, окруженная множеством подушек, и поддерживала свой кружевной воротничок.

— Покажите язык! — начал я, садясь около нее и хмуря брови.

Она показала язык и засмеялась. Язык был

обыкновенный, красный. Я стал щупать пульс.

— Гм!.. — промычал я, не найдя пульса.

Не помню, какие еще вопросы задавал я, глядя на ее смеющееся личико, помню только, что под конец моей диагностики я был уже таким дураком и идиотом, что мне было решительно не до вопросов.

Наконец, я сидел в компании Феди и Зиночки за самоваром; надо было написать рецепт, и я сочинил его по всем правилам врачебной науки:

Rp. Sic transit 0,05

Gloria mundi 1,0

Aquae destillatae 0,1[133]

Через два часа по столовой ложке.

Г-же Съеловой.

Д-р Зайцев.

Утром, когда я, совсем уже готовый к отъезду, с чемоданом в руке, прощался навеки с моими новыми знакомыми, Федя держал меня за пуговицу и, подавая десятирублевку, убеждал:

— Нет, вы обязаны взять! Я привык платить за всякий честный труд! Вы учились, работали!

---

[133] Примечания: 133

Так проходит 0,05 Мирская слава 1,0 Дистиллированной воды 01, (лат.).

Ваши знания достались вам потом и кровью! Я понимаю это!

Нечего было делать, пришлось взять десятирублевку.

Так в общих чертах провел я ночь перед днем суда. Не стану описывать те ощущения, которые я испытывал, когда передо мной отворилась дверь и судебный пристав указал мне на скамью подсудимых. Скажу только, что я побледнел и сконфузился, когда, оглянувшись назад, увидел тысячи смотрящих на меня глаз; и я прочел себе отходную, когда взглянул на серьезные, торжественно-важные физиономии присяжных…

Но я не могу описать, а вы представить себе, моего ужаса, когда я, подняв глаза на стол, покрытый красным сукном, увидел на прокурорском месте — кого бы вы думали? — Федю! Он сидел и что-то писал. Глядя на него, я вспомнил клопов, Зиночку, свою диагностику, и не мороз, а целый Ледовитый океан пробежал по моей спине… Покончив с писанием, он поднял на меня глаза. Сначала он меня не узнал, но потом зрачки его расширились, нижняя челюсть слабо отвисла… рука задрожала. Он медленно поднялся и вперил в меня свой оловянный взгляд. Я тоже поднялся, сам не знаю для чего, и впился в него глазами…

— Подсудимый, назовите суду ваше имя и проч., — начал председатель.

Прокурор сел и выпил стакан воды. Холодный пот выступил у него на лбу.

— Ну, быть бане! — подумал я.

По всем признакам, прокурор решил упечь меня. Все время он раздражался, копался в свидетельских показаниях, капризничал, брюзжал…

Но, однако, пора кончить. Пишу это в здании суда во время обеденного перерыва. Сейчас будет речь прокурора.

Что-то будет?

Картинки из недавнего прошлого

В правлении общественного банка, в кабинете директора за приличной закуской сидят сам директор Рыков и господин с седыми бакенами, Анной на шее и с сильным запахом флердоранжа. На бритой физиономии последнего плавает снисходительная улыбка, в движениях мягкость…

— Да, — говорит господин, сбрасывая пепел с сигары. — Такие-то дела! Тут роды у жены, потом поездка в Ниццу, там свадьба сестры… по горло! Насилу к вам собрался. Собирался, собирался и наконец таки я у вас, душа моя… Ну? Как живут мои векселя? Чай, скучают? Хе-хе. Срок им был в августе, а теперь уже декабрь. Как вам нравится подобная аккуратность? Хе-хе… Кому-кому, а уж служащему по финансам следовало бы быть аккуратнее… Pardon, извиняюсь!

— Что вы… помилуйте-с! Мы и забыли-с!.. Хе-хе…

— Там по векселям моим приходится, кажется, тысяч триста да процентов… если не вру, тысяч двадцать с хвостом. Так? Векселя, конечно, мы перепишем, душа моя Иван Гаврилыч, а вот как быть с процентами — ей-богу, не знаю… Сейчас

уплатить их вам я не могу, так их оставить тоже неудобно. Вы, голубчик, бухгалтерию знаете лучше меня и знаете все эти тонкости… Как быть?

— Очень просто-с! Векселя мы заменим новыми, а проценты, ваше-ство, припишем к капитальному долгу…

— Вы велики, моншер! Ну-с, теперь вторая просьба… Жена моя купила себе маленькую дачу… этакую ферму, знаете ли… с рассрочкой на три года. Завтра, душа моя, представьте, срок платежа. До зарезу нужно сорок четыре тысячи! Я знаю, вы мне не откажете, дорогой мой, но вот одно только неудобство… здесь в Скопине, кроме вас, никого нет у меня знакомого! Кто надпишет мне бланк?

— Это не суть важно, ваше-ство… Мы вам найдем бланконадписателя. Иван, поди сюда!

Входит сторож Иван.

— Подай чаю, — говорит ему Рыков, — да вот надпиши его-ству бланок!

Бланк надписывается, и довольный господин презентует Ивана двугривенным.

* * *

Заседание скопинской думы. Рассматриваются годовые отчеты банка. Рыков сидит рядом с

головою.

— Нам, господа, нужно выбрать кассира банка, — говорит голова. — Рекомендую Кичкина. Человек честный и порядочный…

— Отсутствующие не могут быть избираемы, — говорит Рыков, подозревающий в Кичкине человека «вредного».

— А где же Кичкин, братцы? — шепчутся друг с другом гласные, переглядываясь. — Нешто его нет?

— Нету… Он так устроил, что Кичкину понадобилось из города уехать, рельсы смотреть, и повестку ему вручили в тот самый раз, когда он на поезд садился…

— Хитер, шельма! Афонасова споил, Ивана подкупил, Егора в кабалу взял… Отчеты эти самые, положим, рассматривать… Да для че их глядеть? Один смех только! Жульничество!

— А вы, господин, потише-с! — шипит чуйка с красным носом и в новых сапогах гармоникой, по всем признакам клеврет Рыкова. — Сами должны, а такие слова говорите!

— Не я один должен, все должны ему!

— Все и молчите.

— Отчеты, господа, я полагаю утвердить без прений, — говорит голова. — В банке все обстоит

благополучно, а ежели газеты и пишут, то сами знаете, газеты на то и созданы духом нечистым, чтоб лжу бесовскую в людей вселять. Нахожу все верным и обстоятельным… Никто ничего не желает возразить?

Семен, Петр и Иона хотели бы возразить, но каждый из них должен по 30 000.

— В таком разе предлагаю, — продолжает голова, — выразить нашу благодарность И. Г. Рыкову за отличное ведение банковых дел!

— Благодарим! Благодарим!

Рыков кивает головой и уезжает восвояси.

* * *

Почтовая контора. Почтмейстер Перов, получающий ежемесячно от Рыкова 57 руб., беседует с «просителем» (в Скопине почтмейстер — начальство).

— Что вам угодно?

— Два месяца тому назад я послал письмо в редакцию «Нового времени», и письмо это оказывается не полученным. Могу ли я узнать о судьбе этого письма? Потом — я не получил 41 № «Вестника», где помещены корреспонденции из Скопина. Клуб тоже не получил этого нумера.

— Прошу не облокачиваться!



— Третьего дня мой знакомый не получил «Новостей», где тоже есть корреспонденция из Скопина. Потом-с — не можете ли вы объяснить, где то мое письмо, которое я послал в июле в Москву, в редакцию «Курьера»? Оно, представьте, тоже не получено!

— Теперь уже 3 часа, и прием всякого рода корреспонденций прекращен! Приходите завтра!

Либеральный душка

Каждый год на святках чернопупские губернские дамы и чиновники губернского правления дают с благотворительною целью любительский спектакль. Прошлогодний спектакль вышел неудачен, так как распорядительская часть была в руках старшего советника Чушкина, «бурбона», урезавшего наполовину пьесу и не дававшего воли рассказчикам. В этом же году любительский персонал запротестовал. Выбор пьесы дамы взяли на себя, внешняя же часть и выбор рассказчиков, певцов и распорядителей танцев были поручены чиновнику особых поручений Каскадову, человеку молодому, университетскому и либеральному.

— Кого же выбрать, господа? — рассуждал в одно декабрьское утро Каскадов, стоя посреди присутствия и подбоченясь. — Распорядителями танцев будут жандармский поручик Подлигайлов, ну… и я, конечно. Из мужчин петь… я, ну и, пожалуй, жандармский поручик Подлигайлов. У него баритон прелестный, но, между нами говоря, грубый… Кто же будет в антрактах рассказывать?

— Тлетворского назначьте… — сказал столоначальник Кисляев, чистя спичкой ногти. — В прошлом годе он, шельма, превосходно рассказывал… Одна рожа чего стоит! Пьет, каналья, но… ведь все таланты пьют! И Рафаэль, говорят, пил!

— Тлетворский? Ах да, помню… Рассказывает недурно, но манера… манера! Никифор, позови сюда Тлетворского!

Вошел высокий, сутуловатый брюнет с всклоченной гривой, большими красными руками и в рыжих панталонах.

— Садитесь, Тлетворский! — обратился к нему Каскадов, сморкаясь в раздушенный платок. — У нас, видите ли, опять затевается спектакль… Да вы садитесь!

Бросьте вы это, никому не нужное, китайское чинопочитание. Будем людьми! Нуте-с. В антрактах и после спектакля, по примеру прошлого года, предполагается чтение. Нуте-с…, а рассказчиков и чтецов у нас в Чернопупске совсем нет… Я, пожалуй, мог бы прочесть что-нибудь, ну… и жандармский поручик Подлигайлов читает недурно, но нам решительно некогда! Приходится опять к вам обратиться… Не возьметесь ли, голубчик?

— Пожалуй, — потупился Тлетворский. — Но ежели, Иван Матвеич, будут стеснять, как и в

прошлом году, то выйдет один только смех!

— Ни, ни… Свобода полная! Полнейшая, батенька! Читайте что хотите и как хотите! Потому-то я и взял на себя распорядительство, чтобы дать вам свободу! Иначе бы я не согласился… Не стесняйтесь ни выбором, ничем, одним словом! Вы прочтете что-нибудь… расскажете анекдот… стишки, вообще…

— Это можно… Из еврейского быта можно будет что-нибудь…

— Из еврейского? Превосходно! Прекрасно, душа моя! Впрочем… удобно ли это будет? Дело в том, батенька, что на вечере будет Медхер с дочерями… Выкрест, но все-таки неловко… Обидится… Вы что-нибудь другое…

— Ты хорошо про немцев рассказываешь, — пробормотал Кисляев.

— Пожалуй… — согласился Каскадов. — Возьмите немецкий быт… Только, тово… и это едва ли будет удобно… Ее превосходительство немка, урожденная баронесса фон Риткарт… Нельзя, милейший! Стеснять себя, конечно, не следует, но все-таки не мешает быть осторожным. Время такое, между нами говоря, всякий любит все на свой счет принимать… В прошлом году, например, вы рассказали, между прочим, анекдот из

армянского быта, где, помните, жители Нахичевани говорят: «Дайте нам ваш кишка, а когда, бог даст, у вас будет пожар, то мы вам два кишка дадим». Что тут обидного? А ведь обиделись!

— Страшно обиделись! — подтвердил Кисляев.

— «Знаем, говорят, про какой это он Нахичевань рассказывает!» А барышни при слове «кишка» краснели. Разберите вы тут, что прилично и что неприлично!

Осторожность и осторожность! Например, хоть русский народный быт взять… горбуновское что-нибудь… Великолепная вещь! Восторг! Но нельзя: его превосходительство находит, что это «издевательство над народом»! Он отчасти прав, но… ужасное время, между нами говоря! Черт знает какое время!

— Можно будет, знаете ли, прочесть что-нибудь некрасовское… «И на лбу роковые слова: продается с публичного торга!» Отлично!

— Ни, ни… ни! — растопырил руки Каскадов. — Вечер будет семейный… дамы, девицы, а вы — роковые слова! Что вы, батенька! И не думайте! И без крайностей можно обойтись! Вы что-нибудь этакое не тенденциозное, нейтральное… этакое что-нибудь легонькое…

— Что же легонькое? Нешто толстовскую

«Грешницу»?

— Тяжеловато, батенька! — поморщился Каскадов. — «Грешница», последний монолог из «Горе от ума»… все это шаблонно, заезжено и… полемично отчасти… Выберите что-нибудь другое… И, пожалуйста, не стесняйтесь! Выбирайте что хотите… что хотите!

Тлетворский поднял вверх глаза и задумался. Кисляев поглядел на него, вздохнул и презрительно покачал головой.

— Стало быть, ты безнравственный человек, — проворчал он, — ежели не можешь придумать что-нибудь нравственное!..

— Тут дело не в нравственности, Захар Ильич! — заступился Каскадов. — Тлетворский односторонен — это правда!

Тлетворский покраснел и почесал себе глаз.

— Зачем же вы меня зовете, ежели я безнравственный и односторонний? — проговорил он, поднимаясь и направляясь к двери. — Я не напрашиваюсь.

По уходе Тлетворского Каскадов зашагал.

— Не понимаю я таких людей, Захар Ильич! — заговорил он, ероша свою прическу. — Клянусь богом, не понимаю! Я сам не рутинер, не отсталый… либерал даже и страдаю за свой образ

мыслей, но не понимаю я таких крайностей, как этот господин! Я, ну и… жандармский поручик Подлигайлов слывем за вольнодумцев… общество косится на нас… Его превосходительство подозревает меня в сочувствии идеям… И я не отказываюсь от своих убеждений! Я либерал! Но… такие люди, как этот Тлетворский… не понимаю! Тут уж крайность, а крайних людей я, грешный человек, не выношу! Сам а не консерватор, но не выношу! Осуждайте меня, называйте рутинером… чем хотите, но не могу я протянуть руки господам à la Тлетворский!

Каскадов в изнеможении опустился в кресло в задумался.

— Прогнать, вот и все! — пробормотал Кисляев, прикладывая от нечего делать к манжетке печать. — Про-гнать… вот и… все!.. вот… и все!

Страшная ночь

Иван Петрович Панихидин побледнел, притушил лампу и начал взволнованным голосом:

— Темная, беспросветная мгла висела над землей, когда я, в ночь под Рождество 1883 года, возвращался к себе домой от ныне умершего друга, у которого все мы тогда засиделись на спиритическом сеансе. Переулки, по которым я проходил, почему-то не были освещены, и мне приходилось пробираться почти ощупью. Жил я в Москве, у Успения-на-Могильцах, в доме чиновника Трупова, стало быть, в одной из самых глухих местностей Арбата. Мысли мои, когда я шел, были тяжелы, гнетущи…

«Жизнь твоя близится к закату… Кайся…»

Такова была фраза, сказанная мне на сеансе Спинозой, дух которого нам удалось вызвать. Я просил повторить, и блюдечко не только повторило, но еще и прибавило: «Сегодня ночью». Я не верю в спиритизм, но мысль о смерти, даже намек на нее повергают меня в уныние. Смерть, господа, неизбежна, она обыденна, но, тем не менее, мысль о ней противна природе человека… Теперь же, когда меня окутывал непроницаемый

холодный мрак и перед глазами неистово кружились дождевые капли, а над головою жалобно стонал ветер, когда я вокруг себя не видел ни одной живой души, не слышал человеческого звука, душу мою наполнял неопределенный и неизъяснимый страх. Я, человек свободный от предрассудков, торопился, боясь оглянуться, поглядеть в стороны. Мне казалось, что если я оглянусь, то непременно увижу смерть в виде привидения.

Панихидин порывисто вздохнул, выпил воды и продолжал:

— Этот неопределенный, но понятный вам страх не оставил меня и тогда, когда я, взобравшись на четвертый этаж дома Трупова, отпер дверь и вошел в свою комнату. В моем скромном жилище было темно. В печи плакал ветер и, словно просясь в тепло, постукивал в дверцу отдушника.

«Если верить Спинозе, — улыбнулся я, — то под этот плач сегодня ночью мне придется умереть. Жутко, однако!»

Я зажег спичку… Неистовый порыв ветра пробежал по кровле дома. Тихий плач обратился в злобный рев. Где-то внизу застучала наполовину сорвавшаяся ставня, а дверца моего отдушника

жалобно провизжала о помощи…

«Плохо в такую ночь бесприютным», — подумал я.

Но не время было предаваться подобным размышлениям. Когда на моей спичке синим огоньком разгоралась сера и я окинул глазами свою комнату, мне представилось зрелище неожиданное и ужасное… Как жаль, что порыв ветра не достиг моей спички! Тогда, быть может, я ничего не увидел бы и волосы мои не стали бы дыбом. Я вскрикнул, сделал шаг к двери и, полный ужаса, отчаяния, изумления, закрыл глаза…

Посреди комнаты стоял гроб.

Синий огонек горел недолго, но я успел различить контуры гроба… Я видел розовый, мерцающий искорками, глазет, видел золотой, галунный крест на крышке. Есть вещи, господа, которые запечатлеваются в вашей памяти, несмотря даже на то, что вы видели их одно только мгновение. Так и этот гроб. Я видел его одну только секунду, но помню во всех малейших чертах. Это был гроб для человека среднего роста и, судя по розовому цвету, для молодой девушки. Дорогой глазет, ножки, бронзовые ручки — все говорило за то, что покойник был богат.

Опрометью выбежал я из своей комнаты и, не

рассуждая, не мысля, а только чувствуя невыразимый страх, понесся вниз по лестнице. В коридоре и на лестнице было темно, ноги мои путались в полах шубы, и как я не слетел и не сломал себе шеи — это удивительно. Очутившись на улице, я прислонился к мокрому фонарному столбу и начал себя успокаивать. Сердце мое страшно билось, дыхание сперло…

Одна из слушательниц припустила огня в лампе, придвинулась ближе к рассказчику, и последний продолжал:

— Я не удивился бы, если бы застал в своей комнате пожар, вора, бешеную собаку… Я не удивился бы, если бы обвалился потолок, провалился пол, попадали стены… Все это естественно и понятно. Но как мог попасть в мою комнату гроб? Откуда он взялся? Дорогой, женский, сделанный, очевидно, для молодой аристократки, — как мог он попасть в убогую комнату мелкого чиновника? Пуст он или внутри его — труп? Кто же она, эта безвременно покончившая с жизнью богачка, нанесшая мне такой странный и страшный визит? Мучительная тайна!

«Если здесь не чудо, то преступление», — блеснуло в моей голове.

Я терялся в догадках. Дверь во время моего

отсутствия была заперта и место, где находился ключ, было известно только моим очень близким друзьям.



Не друзья же поставили мне гроб. Можно было также предположить, что гроб был принесен ко мне гробовщиками по ошибке. Они могли обознаться, ошибиться этажом или дверью и внести гроб не туда, куда следует. Но кому не известно, что наши гробовщики не выйдут из комнаты,

прежде чем не получат за работу или, по крайней мере, на чай?

«Духи предсказали мне смерть, — думал я. — Не они ли уже постарались кстати снабдить меня и гробом?»

Я, господа, не верю и не верил в спиритизм, но такое совпадение может повергнуть в мистическое настроение даже философа.

«Но все это глупо, и я труслив, как школьник, — решил я. — То был оптический обман — и больше ничего! Идя домой, я был так мрачно настроен, что не мудрено, если мои больные нервы увидели гроб… Конечно, оптический обман! Что же другое?»

Дождь хлестал меня по лицу, а ветер сердито трепал мои полы, шапку. Я озяб и страшно промок. Нужно было идти, но… куда? Воротиться к себе — значило бы подвергнуть себя риску увидеть гроб еще раз, а это зрелище было выше моих сил. Я, не видевший вокруг себя ни одной живой души, не слышавший ни одного человеческого звука, оставшись один, наедине с гробом, в котором, быть может, лежало мертвое тело, мог бы лишиться рассудка. Оставаться же на улице под проливным дождем и в холоде было невозможно.

Я порешил отправиться ночевать к другу моему Упокоеву, впоследствии, как вам известно, застрелившемуся. Жил он в меблированных комнатах купца Черепова, что в Мертвом переулке.

Панихидин вытер холодный пот, выступивший на его бледном лице, и, тяжело вздохнув, продолжал:

— Дома я своего друга не застал. Постучавшись к нему в дверь и убедившись, что его нет дома, я нащупал на перекладине ключ, отпер дверь и вошел… Я сбросил с себя на пол мокрую шубу и, нащупав в темноте диван, сел отдохнуть. Было темно… В оконной вентиляции тоскливо жужжал ветер. В печи монотонно насвистывал свою однообразную песню сверчок. В Кремле ударили к рождественской заутрене. Я поспешил зажечь спичку. Но свет не избавил меня от мрачного настроения, а напротив. Страшный, невыразимый ужас овладел мною вновь… Я вскрикнул, пошатнулся и, не чувствуя себя, выбежал из номера.

В комнате товарища я увидел то же, что и у себя, — гроб!

Гроб товарища был почти вдвое больше моего, и коричневая обивка придавала ему какой-то особенно мрачный колорит. Как он попал сюда? Что это был оптический обман — сомневаться

уже было невозможно. Не мог же в каждой комнате быть гроб! Очевидно, то была болезнь моих нервов, была галлюцинация. Куда бы я ни пошел теперь, я всюду увидел бы перед собой страшное жилище смерти. Стало быть, я сходил с ума, заболевал чем-то вроде «гробомании», и причину умопомешательства искать было недолго: стоило только вспомнить спиритический сеанс и слова Спинозы…

«Я схожу с ума? — подумал я в ужасе, хватая себя за голову. — Боже мой! Что же делать?!»

Голова моя трещала, ноги подкашивались… Дождь лил как из ведра, ветер пронизывал насквозь, а на мне не было ни шубы, ни шапки. Ворочаться за ними в номер было невозможно, выше сил моих… Страх крепко сжимал меня в своих холодных объятиях. Волосы мои встали дыбом, с лица струился холодный пот, хотя я и верил, что то была галлюцинация.

— Что было делать? — продолжал Панихидин. — Я сходил с ума и рисковал страшно простудиться. К счастью, я вспомнил, что недалеко от Мертвого переулка живет мой хороший приятель, недавно только кончивший врач, Погостов, бывший со мной в ту ночь на спиритическом сеансе. Я поспешил к нему… Тогда он еще не был

женат на богатой купчихе и жил на пятом этаже дома статского советника Кладбищенского.

У Погостова моим нервам суждено было претерпеть еще новую пытку. Взбираясь на пятый этаж, я услышал страшный шум. Наверху кто-то бежал, сильно стуча ногами и хлопая дверьми.

— Ко мне! — услышал я раздирающий душу крик. — Ко мне! Дворник!

И через мгновение навстречу мне сверху вниз по лестнице неслась темная фигура в шубе и помятом цилиндре…

— Погостов! — воскликнул я, узнав друга моего Погостова. — Это вы? Что с вами?

Поравнявшись со мной, Погостов остановился и судорожно схватил меня за руку. Он был бледен, тяжело дышал, дрожал. Глаза его беспорядочно блуждали, грудь вздымалась…

— Это вы, Панихидин? — спросил он глухим голосом. — Но вы ли это? Вы бледны, словно выходец из могилы… Да полно, не галлюцинация ли вы?.. Боже мой… вы страшны…

— Но что с вами? На вас лица нет!

— Ох, дайте, голубчик, перевести дух… Я рад, что вас увидел, если это действительно вы, а не оптический обман. Проклятый спиритический сеанс… Он так расстроил мои нервы, что я, пред-

ставьте, воротившись сейчас домой, увидел у себя в комнате… гроб!

Я не верил своим ушам и попросил повторить.

— Гроб, настоящий гроб! — сказал доктор, садясь в изнеможении на ступень. — Я не трус, но ведь и сам черт испугается, если после спиритического сеанса натолкнется в потемках на гроб!

Путаясь и заикаясь, я рассказал доктору про гробы, виденные мною…

Минуту глядели мы друг на друга, выпуча глаза и удивленно раскрыв рты. Потом же, чтобы убедиться, что мы не галлюцинируем, мы принялись щипать друг друга.

— Нам обоим больно, — сказал доктор, — стало быть, сейчас мы не спим и видим друг друга не во сне. Стало быть, гробы, мой и оба ваши, — не оптический обман, а нечто существующее. Что же теперь, батенька, делать?

Простояв битый час на холодной лестнице и теряясь в догадках и предположениях, мы страшно озябли и порешили отбросить малодушный страх и, разбудив коридорного, пойти с ним в комнату доктора. Так мы и сделали. Войдя в номер, зажгли свечу, и в самом деле увидели гроб, обитый белым глазетом, с золотой бахромой и кистями. Коридорный набожно перекрестился.

— Теперь можно узнать, — сказал бледный доктор, дрожа всем телом, — пуст этот гроб или же… он обитаем?

После долгой, понятной нерешимости доктор нагнулся и, стиснув от страха и ожидания зубы, сорвал с гроба крышку. Мы взглянули в гроб и…

Гроб был пуст…

Покойника в нем не было, но зато мы нашли в нем письмо такого содержания:

«Милый Погостов! Ты знаешь, что дела моего тестя пришли в страшный упадок. Он залез в долги по горло. Завтра или послезавтра явятся описывать его имущество, и это окончательно погубит его семью и мою, погубит нашу честь, что для меня дороже всего. На вчерашнем семейном совете мы решили припрятать все ценное и дорогое. Так как все имущество моего тестя заключается в гробах (он, как тебе известно, гробовых дел мастер, лучший в городе), то мы порешили припрятать самые лучшие гробы. Я обращаюсь к тебе, как к другу, помоги мне, спаси наше состояние и нашу честь! В надежде, что ты поможешь нам сохранить наше имущество, посылаю тебе, голубчик, один гроб, который прошу спрятать у себя и хранить впредь до востребования. Без помощи знакомых и друзей мы

погибнем. Надеюсь, что ты не откажешь мне, тем более что гроб простоит у тебя не более недели. Всем, кого я считаю за наших истинных друзей, я послал по гробу и надеюсь на их великодушие и благородство.

Любящий тебя Иван Челюстин».

После этого я месяца три лечился от расстройства нервов, друг же наш, зять гробовщика, спас и честь свою, и имущество, и уже содержит бюро погребальных процессий и торгует памятниками и надгробными плитами. Дела его идут неважно, и каждый вечер теперь, входя к себе, я все боюсь, что увижу около своей кровати белый мраморный памятник или катафалк.

Не в духе

Становой пристав Семен Ильич Прачкин ходил по своей комнате из угла в угол и старался заглушить в себе неприятное чувство. Вчера он заезжал по делу к воинскому начальнику, сел нечаянно играть в карты и проиграл восемь рублей. Сумма ничтожная, пустяшная, но бес жадности и корыстолюбия сидел в ухе станового и упрекал его в расточительности.

— Восемь рублей — экая важность! — заглушал в себе Прачкин этого беса. — Люди и больше проигрывают, да ничего. И к тому же деньги дело наживное… Съездил раз на фабрику или в трактир Рылова, вот тебе и все восемь, даже еще больше!

— «Зима… Крестьянин, торжествуя…» — монотонно зубрил в соседней комнате сын станового, Ваня. — «Крестьянин, торжествуя… обновляет путь…»

— Да и отыграться можно. Что это там «торжествуя»?

— «Крестьянин, торжествуя, обновляет путь… обновляет…»

— «Торжествуя…» — продолжал размышлять

Прачкин. — Влепить бы ему десяток горячих, так не очень бы торжествовал. Чем торжествовать, лучше бы подати исправно платил… Восемь рублей — экая важность! Не восемь тысяч, всегда отыграться можно…

— «Его лошадка, снег почуя… снег почуя, плетется рысью как-нибудь…»

— Еще бы она вскачь понеслась! Рысак какой нашелся, скажи на милость! Кляча — кляча и есть… Нерассудительный мужик рад спьяну лошадь гнать, а потом как угодит в прорубь или в овраг, тогда и возись с ним… Поскачи только мне, так я тебе такого скипидару пропишу, что лет пять не забудешь!.. И зачем это я с маленькой пошел? Пойди я с туза треф, не был бы я без двух…

— «Бразды пушистые взрывая, летит кибитка удалая… бразды пушистые взрывая…»

— «Взрывая… Бразды взрывая… бразды…» Скажет же этакую штуку! Позволяют же писать, прости господи! А все десятка, в сущности, наделала! Принесли же ее черти не вовремя!

— «Вот бегает дворовый мальчик… дворовый мальчик, в салазки Жучку посадив… посадив…»

— Стало быть, наелся, коли бегает да балуется… А у родителей нет того в уме, чтоб мальчишку за дело усадить. Чем собаку-то возить, лучше бы

дрова колол или Священное писание читал… И собак тоже развели… ни пройти, ни проехать! Было бы мне после ужина не садиться… Поужинать бы, да и уехать…

— «Ему и больно и смешно, а мать грозит… а мать грозит ему в окно…»

— Грози, грози… Лень на двор выйти да наказать… Задрала бы ему шубенку да чик-чик! чик-чик! Это лучше, чем пальцем грозить… А то, гляди, выйдет из него пьяница… Кто это сочинил? — спросил громко Прачкин.

— Пушкин, папаша.

— Пушкин? Гм!.. Должно быть, чудак какой-нибудь. Пишут-пишут, а что пишут — и сами не понимают. Лишь бы написать!

— Папаша, мужик муку привез! — крикнул Ваня.

— Принять!

Но и мука не развеселила Прачкина. Чем более он утешал себя, тем чувствительнее становилась для него потеря. Так было жалко восьми рублей, так жалко, точно он в самом деле проиграл восемь тысяч. Когда Ваня кончил урок и умолк, Прачкин стал у окна и, тоскуя, вперил свой печальный взор в снежные сугробы… Но вид сугробов только растеребил его сердечную рану. Он напомнил ему

о вчерашней поездке к воинскому начальнику. Заиграла желчь, подкатило под душу. Потребность излить на чем-нибудь свое горе достигла степеней, не терпящих отлагательства. Он не вынес…

— Ваня! — крикнул он. — Иди, я тебя высеку за то, что ты вчера стекло разбил!

Масленичные правила дисциплины



§. Масленица получила свое название от русского слова «масло», которое в изобилии употребляется во время блинов, как чухонское, и после блинов, как oleum ricini[134].

§. По мнению Гатцука, Суворина и других календаристов, она начинается 28-го января и кончается 3-го февраля. Замоскворецкие же пупсики и железнодорожные бонзы начинают ее 1-го января и кончают 31-го декабря.

§. Перед масленицей сходи к мастеру и полуди

---

[134] Примечания: 134
Касторовое масло (лат.).

свой желудок.

§. Всю неделю помни, что ты невменяем и родства не помнящий, а посему остерегай себя от совершения великих дел, дабы не впасть в великие ошибки. Истребляй блины, интригуй вдову Попову, сокрушай Ланина, сбивай с окружающих тебя предметов зеленых чертиков, но не выбирай городских голов, не женись, не строй железных дорог, не пиши книг нравственного содержания и прочее.

§. Тратясь на муку, водку и зернистую икру, не забывай, что тебе предстоит еще ведаться с аптекарской таксой.

§. Если тебе ведением или неведением друзья твои или враги наставят фонарь, то не ходи в городскую управу и не предлагай там услуг в качестве уличного фонаря, а ложись спать и проспись.

§. Не все коту масленица, придет и великий пост. Если ты кот, то имей это в виду.

Капитанский мундир

Восходящее солнце хмурилось на уездный город, петухи еще только потягивались, а между тем в кабаке дяди Рылкина уже были посетители. Их было трое: портной Меркулов, городовой Жратва и казначейский рассыльный Смехунов. Все трое были выпивши.

— Не говори! И не говори! — рассуждал Меркулов, держа городового за пуговицу. — Чин гражданского ведомства, ежели взять которого повыше, в портняжном смысле завсегда утрет нос генералу. Взять таперича хотя камергера… Что это за человек? Какого звания? А ты считай… Четыре аршина сукна наилучшего фабрики Прюнделя с сыновьями, пуговки, золотой воротник, штаны белые с золотым лампасом, все груди в золоте, на вороте, на рукавах и на клапанах блеск! Таперича ежели шить на господ гофмейстеров, шталмейстеров, церемониймейстеров и прочих министерий… Ты как понимаешь? Помню это, шили мы на гофмейстера графа Андрея Семеныча Вонляревского. Мундир — не подходи! Берешься за него руками, а в жилках пульса — цик! цик! Настоящие господа ежели шьют, то не

смей их беспокоить. Снял мерку и шей, а ходить примеривать да прифасониваться никак невозможно. Ежели ты стоющий портной, то сразу по мерке сделай… С колокольни спрыгни, в сапоги попади — во как! А около нас был, братец ты мой, как теперь помню, жандармский корпус… Хозяин наш Осип Яклич и выбирал из жандармов, которые подходящие, чтоб заказчику под корпус подходили, для примерки. Ну-с, это самое… выбрали мы, братец ты мой, для графского мундира одного подходящего жандармика. Позвали… Надевай, харя, и чувствуй!.. Потеха! Надел он, это самое, мундир таперя, поглядел на груди — и что ж! Обомлел, знаешь, затрепетал, без чувств…

— А на исправников шили? — осведомился Смехунов.

— Эко-ся, важная птица! В Петербурге исправников этих, как собак нерезаных… Тут перед ними шапку ломают, а там — «посторонись, чево прешь!» Шили мы на господ военных да на особ первых четырех классов. Особа особе рознь… Ежели ты, положим, пятого класса, то ты — пустяки… Приходи через неделю и все готово — потому, окромя воротника и нарукавников, ничего… А ежели который четвертого класса, или третьего, или, положим, второго, тут уж хозяин

всем в зубы, и беги в жандармский корпус. Шили мы раз, братец ты мой, на персидского консула. Нашили мы ему на грудях и на спине золотых кренделей на полторы тыщи. Думали, что не отдаст; ан нет, заплатил… В Петербурге даже и в татарах благородство есть.

Долго рассказывал Меркулов. В девятом часу он, под влиянием воспоминаний, заплакал и стал горько жаловаться на судьбу, загнавшую его в городишко, наполненный одними только купцами и мещанами. Городовой отвел уже двоих в полицию, рассыльный уходил два раза на почту и в казначейство и опять приходил, а он все жаловался. В полдень он стоял перед дьячком, бил себя кулаком по груди и роптал:

— Не желаю я на хамов шить! Не согласен! В Петербурге я самолично на барона Шпуцеля и на господ офицеров шил! Отойди от меня, длиннополая кутья, чтоб я тебя не видел своими глазами! Отойди!

— Возмечтали вы о себе высоко, Трифон Пантелеич, — убеждал портного дьячок. — Хоть вы и артист в своем цехе, но бога и религию не должны забывать. Арий возмечтал, вроде как вы, и помер поносной смертью. Ой, помрете и вы!

— И помру! Пущай лучше помру, чем зипуны

шить!

— Мой анафема здесь? — послышался вдруг за дверью бабий голос, и в кабак вошла жена Меркулова Аксинья, пожилая баба с подсученными рукавами и перетянутым животом. — Где он, идол? — окинула она негодующим взором посетителей. — Иди домой, чтоб тебя разорвало, там тебя какой-то офицер спрашивает!

— Какой офицер? — удивился Меркулов.

— А шут его знает! Сказывает, заказать пришел.

Меркулов почесал всей пятерней свой большой нос, что он делал всякий раз, когда хотел выразить крайнее изумление, и пробормотал:

— Белены баба объелась… Пятнадцать годов не видал лица благородного и вдруг нынче, в постный день — офицер с заказом! Гм!.. Пойти поглядеть…

Меркулов вышел из кабака и, спотыкаясь, побрел домой. Жена не обманула его. У порога своей избы он увидел капитана Урчаева, делопроизводителя местного воинского начальника.

— Ты где это шатаешься? — встретил его капитан. — Целый час жду… Можешь мне мундир сшить?

— Ваше благор… Господи! — забормотал Мер-

кулов, захлебываясь и срывая со своей головы шапку вместе с клочком волос. — Ваше благородие! Да нешто впервой мне это самое? Ах, господи! На барона Шпуцеля шил… Эдуарда Карлыча… Господин подпоручик Зембулатов до сей поры мне десять рублей должен. Ах! Жена, да дай же его благородию стульчик, побей меня бог… Прикажете мерочку снять или дозволите шить на глазомер?

— Ну-с. Твое сукно и чтоб через неделю было готово… Сколько возьмешь?

— Помилуйте, ваше благородие… Что вы-с, — усмехнулся Меркулов. — Я не купец какой-нибудь. Мы ведь понимаем, как с господами. Когда на консула персидского шили, и то без слов…

Снявши с капитана мерку и проводив его, Меркулов целый час стоял посреди избы и с отупением глядел на жену. Ему не верилось…

— Ведь этакая, скажи на милость, оказия! — проворчал он наконец. — Где же я денег возьму на сукно? Аксинья, дай-ка, братец ты мой, мне в кредит те деньги, что за корову выручили!

Аксинья показала ему кукиш и плюнула. Немного погодя она работала кочергой, била на мужниной голове горшки, таскала его за бороду, выбегала на улицу и кричала: «Ратуйте, кто в

бога верует! Убил!..», но ни к чему не привели эти протесты. На другое утро она лежала в постели и прятала от подмастерий свои синяки, а Меркулов ходил по лавкам и, ругаясь с купцами, выбирал подходящее сукно.

Для портного наступила новая эра. Просыпаясь утром и обводя мутными глазами свой маленький мирок, он уже не плевал с остервенением… А что диковиннее всего, он перестал ходить в кабак и занялся работой. Тихо помолившись, он надевал большие стальные очки, хмурился и священнодейственно раскладывал на столе сукно.

Через неделю мундир был готов. Выгладив его, Меркулов вышел на улицу, повесил на плетень и занялся чисткой; снимет пушинку, отойдет на сажень, щурится долго на мундир и опять снимет пушинку — и этак часа два.

— Беда с этими господами! — говорил он прохожим. — Нет уж больше моей возможности, замучился! Образованные, деликатные — подикась угоди!

На другой день после чистки Меркулов помазал голову маслом, причесался, завернул мундир в новый коленкор и отправился к капитану.

— Некогда мне с тобой, остолопом, разговаривать! — останавливал он каждого встречного. —

Нешто не видишь, что мундир к капитану несу?

Через полчаса он воротился от капитана.

— С получением вас, Трифон Пантелеич! — встретила его Аксинья, широко ухмыляясь и застыдившись.

— Ну и дура! — ответил ей муж. — Нешто настоящие господа платят сразу? Это не купец какой-нибудь — взял да тебе сразу и вывалил! Дура…

Два дня Меркулов лежал на печи, не пил, не ел и предавался чувству самоудовлетворения, точь-в-точь как Геркулес по совершении всех своих подвигов. На третий он отправился за получкой.

— Их благородие вставши? — прошептал он, вползая в переднюю и обращаясь к денщику.

И, получив отрицательный ответ, он стал столбом у косяка и принялся ждать.

— Гони в шею! Скажи, что в субботу! — услышал он, после продолжительного ожидания, хрипенье капитана.

То же самое услышал он в субботу, в одну, потом в другую… Целый месяц ходил он к капитану, высиживал долгие часы в передней, и вместо денег получал приглашение убираться к черту и прийти в субботу. Но он не унывал, не роптал, а напротив… Он даже пополнел. Ему нравилось

долгое ожидание в передней, «гони в шею» звучало в его ушах сладкой мелодией.

— Сейчас узнаешь благородного! — восторгался он всякий раз, возвращаясь от капитана домой. — У нас в Питере все такие были…

До конца дней своих согласился бы Меркулов ходить к капитану и ждать в передней, если бы не Аксинья, требовавшая обратно деньги, вырученные за корову.

— Принес деньги? — встречала она его каждый раз. — Нет? Что же ты со мной делаешь, пес лютый? А?.. Митька, где кочерга?

Однажды под вечер Меркулов шел с рынка и тащил на спине куль с углем. За ним торопилась Аксинья.

— Ужо будет тебе дома на орехи! Погоди! — бормотала она, думая о деньгах, вырученных за корову.



Вдруг Меркулов остановился как вкопанный и радостно вскрикнул. Из трактира «Веселие», мимо которого они шли, опрометью выбежал какой-то господин в цилиндре, с красным лицом и пьяными глазами. За ним гнался капитан Урчаев с кием в руке, без шапки, растрепанный, разлохмаченный. Новый мундир его был весь в мелу, одна погона глядела в сторону.

— Я заставлю тебя играть, шулер! — кричал капитан, неистово махая кием и утирая со лба пот. — Я научу тебя, протобестия, как играть с порядочными людьми!

— Погляди-кась, дура! — зашептал Меркулов, толкая жену под локоть и хихикая. — Сейчас

видать благородного. Купец ежели что сошьет для своего мужицкого рыла, так и сносу нет, лет десять таскает, а этот уж истрепал мундир! Хоть новый шей!

— Поди попроси у него деньги! — сказала Аксинья. — Поди!

— Что ты, дура! На улице? И ни-ни…

Как ни противился Меркулов, но жена заставила его подойти к рассвирепевшему капитану и заговорить о деньгах.

— Пошел вон! — ответил ему капитан. — Ты мне надоел!

— Я, ваше благородие, понимаю-с… Я ничего-с… но жена… неразумная тварь. Сами знаете, какой ум в голове у ихнего бабьего звания…

— Ты мне надоел, говорят тебе! — взревел капитан, тараща на него пьяные, мутные глаза. — Пошел прочь!

— Понимаю, ваще благородие! Но я касательно бабы, потому, изволите знать, деньги-то коровьи. Отцу Иуде корову продали…

— Ааа… ты еще разговаривать, тля!

Капитан размахнулся и — трах! Со спины Меркулова посыпался уголь, из глаз — искры, из рук выпала шапка… Аксинья обомлела. Минуту стояла она неподвижно, как Лотова жена, обра-

щенная в соляной столб, потом зашла вперед и робко взглянула на лицо мужа… К ее великому удивлению, на лице Меркулова плавала блаженная улыбка, на смеющихся глазах блестели слезы…

— Сейчас видать настоящих господ! — бормотал он. — Люди деликатные, образованные… Точь-в-точь, бывало… по самому этому месту, когда носил шубу к барону Шпуцелю, Эдуарду Карлычу… Размахнулись и — трах! И господин подпоручик Зембулатов тоже… Пришел к ним, а они вскочили и изо всей мочи… Эх, прошло, жена, мое время! Не понимаешь ты ничего! Прошло мое время!

Меркулов махнул рукой и, собрав уголь, побрел домой.

У предводительши

Первого февраля каждого года, в день св. мученика Трифона, в имении вдовы бывшего уездного предводителя Трифона Львовича Завзятова бывает необычайное движение. В этот день вдова предводителя Любовь Петровна служит по усопшем имениннике панихиду, а после панихиды — благодарственное господу богу молебствие. На панихиду съезжается весь уезд. Тут вы увидите теперешнего предводителя Хрумова, председателя земской управы Марфуткина, непременного члена Потрашкова, обоих участковых мировых, исправника Кринолинова, двух становых, земского врача Дворнягина, пахнущего иодоформом, всех помещиков, больших и малых, и проч. Всего набирается человек около пятидесяти.

Ровно в 12 часов дня гости, вытянув физиономии, пробираются из всех комнат в залу. На полу ковры, и шаги бесшумны, но торжественность случая заставляет инстинктивно подниматься на цыпочки и балансировать при ходьбе руками. В зале уже все готово. Отец Евмений, маленький старичок, в высокой полинявшей камилавке, надевает черные ризы. Диакон Конкордиев,

красный как рак и уже облаченный, бесшумно перелистывает требник и закладывает в него бумажки. У двери, ведущей в переднюю, дьячок Лука, надув широко щеки и выпучив глаза, раздувает кадило. Зала постепенно наполняется синеватым, прозрачным дымком и запахом ладана. Народный учитель Геликонский, молодой человек, в новом мешковатом сюртуке и с большими угрями на испуганном лице, разносит на мельхиоровом подносе восковые свечи. Хозяйка Любовь Петровна стоит впереди около столика с кутьей и заранее прикладывает к лицу платок. Кругом тишина, изредка прерываемая вздохами. Лица у всех натянутые, торжественные…

Панихида начинается. Из кадила струится синий дымок и играет в косом солнечном луче, зажженные свечи слабо потрескивают. Пение, сначала резкое и оглушительное, вскоре, когда певчие мало-помалу приспособляются к акустическим условиям комнат, делается тихим, стройным… Мотивы все печальные, заунывные… Гости мало-помалу настраиваются на меланхолический лад и задумываются. В головы их лезут мысли о краткости жизни человеческой, о бренности, суете мирской… Припоминается покойный Завзятов, плотный, краснощекий,

выпивавший залпом бутылку шампанского и разбивавший лбом зеркала. А когда поют «Со святыми упокой» и слышатся всхлипыванья хозяйки, гости начинают тоскливо переминаться с ноги на ногу. У более чувствительных начинает почесываться в горле и около век. Председатель земской управы Марфуткин, желая заглушить неприятное чувство, нагибается к уху исправника и шепчет:

— Вчера я был у Ивана Федорыча… С Петром Петровичем большой шлем на без козырях взяли… Ей-богу… Ольга Андреевна до того взбеленилась, что у нее изо рта искусственный зуб выпал.

Но вот поется «Вечная память». Геликонский почтительно отбирает свечи, и панихида кончается. За сим следуют минутная суматоха, перемена риз и молебен. После молебна, пока отец Евмений разоблачается, гости потирают руки и кашляют, а хозяйка рассказывает о доброте покойного Трифона Львовича.

— Прошу, господа, закусить! — оканчивает она свой рассказ, вздыхая.

Гости, стараясь не толкаться и не наступать друг другу на ноги, спешат в столовую… Тут ожидает их завтрак. Этот завтрак до того роскошен,

что дьякон Конкордиев ежегодно, при взгляде на него, считает своею обязанностью развести руками, покачать в изумлении головой и сказать:

— Сверхъестественно! Это, отец Евмений, не столько похоже на пищу человеков, сколько на жертвы, приносимые богам.

Завтрак, действительно, необыкновенен. На столе есть все, что только могут дать флора и фауна, сверхъестественного же в нем разве только одно: на столе есть все, кроме… спиртных напитков. Любовь Петровна дала обет не держать в доме карт и спиртных напитков — двух вещей, погубивших ее мужа. И на столе стоят только бутылки с уксусом и маслом, словно на смех и в наказание завтракающим, всплошную состоящим из отчаянных пропойц и выпивох.

— Кушайте, господа! — приглашает предводительша. — Только, извините, водки у меня нет. Не держу…

Гости приближаются к столу и нерешительно приступают к пирогу. Но еда не клеится. В тыканье вилками, в резанье, в жевании видна какая-то лень, апатия… Видимо, чего-то не хватает.

— Чувствую, словно потерял что-то… — шепчет один мировой другому. — Такое же чувство было у меня, когда жена с инженером бежала… Не

могу есть!

Марфуткин, прежде чем начать есть, долго роется в карманах и ищет носовой платок.

— Да ведь платок в шубе! А я-то ищу, — вспоминает он громогласно и идет в переднюю, где повешены шубы.

Из передней возвращается он с маслеными глазками и тотчас же аппетитно набрасывается на пирог.

— Что, небось противно всухомятку трескать? — шепчет он отцу Евмению. — Ступай, батя, в переднюю, там у меня в шубе бутылка есть… Только смотри, поосторожней, бутылкой не звякни!

Отец Евмений вспоминает, что ему нужно приказать что-то Луке, и семенит в переднюю.

— Батюшка! Два слова… по секрету! — догоняет его Дворнягин.

— А какую я себе шубу купил, господа, по случаю! — хвастает Хрумов. — Стоит тысячу, а я дал… вы не поверите… двести пятьдесят! Только!

Во всякое другое время гости встретили бы это известие равнодушно, но теперь они выражают удивление и не верят. В конце концов все валят толпой в переднюю глядеть на шубу, и глядят до тех пор, пока докторский Микешка не выносит

тайком из передней пять пустых бутылок… Когда подают разварного осетра, Марфуткин вспоминает, что он забыл свой портсигар в санях, и идет в конюшню. Чтобы одному не скучно было идти, он берет с собою диакона, которому кстати же нужно поглядеть на лошадь…

Вечером того же дня Любовь Петровна сидит у себя в кабинете и пишет старинной петербургской подруге письмо:

«Сегодня, по примеру прошлых лет, — пишет она между прочим, — у меня была панихида по покойном. Были на панихиде все мои соседи. Народ грубый, простой, но какие сердца! Угостила я их на славу, но, конечно, как и в те годы, горячих напитков — ни капли. С тех пор, как он умер от излишества, я дала себе клятву водворить в нашем уезде трезвость и этим самым искупить его грехи. Проповедь трезвости я начала со своего дома. Отец Евмений в восторге от моей задачи и помогает мне словом и делом. Ах, ma chère[135] если б ты знала, как любят меня мои медведи! Председатель земской управы Марфуткин после завтрака припал к моей руке, долго держал ее у своих губ и, смешно замотав головой, заплакал:

---

[135] Примечания: 135
Моя дорогая (фр.).

много чувства, но нет слов! Отец Евмений, этот чудный старикашечка, подсел ко мне и, слезливо глядя на меня, лепетал долго что-то, как дитя. Я не поняла его слов, но понять искреннее чувство я умею. Исправник, тот красивый мужчина, о котором я тебе писала, стал передо мной на колени, хотел прочесть стихи своего сочинения (он у нас поэт), но… не хватило сил… покачнулся и упал… С великаном сделалась истерика… Можешь представить мой восторг! Не обошлось, впрочем, и без неприятностей. Бедный председатель мирового съезда Алалыкин, человек полный и апоплексический, почувствовал себя дурно и пролежал на диване в бессознательном состоянии два часа. Пришлось отливать его водой… Спасибо доктору Дворнягину: принес из своей аптеки бутылку коньяку и помочил ему виски, отчего тот скоро пришел в себя и был увезен…»

Жон репортера

Гостиная статского советника Шарамыкина окутана приятным полумраком. Большая бронзовая лампа с зеленым абажуром красит в зелень à la «украинская ночь» стены, мебель, лица… Изредка в потухающем камине вспыхивает тлеющее полено и на мгновение заливает лица цветом пожарного зарева; но это не портит общей световой гармонии. Общий тон, как говорят художники, выдержан.

Перед камином в кресле, в позе только что пообедавшего человека, сидит сам Шарамыкин, пожилой господин с седыми чиновничьими бакенами и с кроткими голубыми глазами. По лицу его разлита нежность, губы сложены в грустную улыбку. У его ног, протянув к камину ноги и лениво потягиваясь, сидит на скамеечке вице-губернатор Лопнев, бравый мужчина, лет сорока. Около пианино возятся дети Шарамыкина: Нина, Коля, Надя и Ваня. Из слегка отворенной двери, ведущей в кабинет г-жи Шарамыкиной, робко пробивается свет. Там за дверью, за своим письменным столом сидит жена Шарамыкина, Анна Павловна, председательница местного дам-

ского комитета, живая и пикантная дамочка, лет тридцати с хвостиком. Ее черные бойкие глазки бегают сквозь пенсне по страницам французского романа. Под романом лежит растрепанный комитетский отчет за прошлый год.

— Прежде наш город в этом отношении был счастливее, — говорит Шарамыкин, щуря свои кроткие глаза на тлеющие уголья. — Ни одной зимы не проходило без того, чтобы не приезжала какая-нибудь звезда. Бывали и знаменитые актеры и певцы, а нынче… черт знает что! — кроме фокусников да шарманщиков никто не наезжает. Никакого эстетического удовольствия… Живем, как в лесу. Да-с… А помните, ваше превосходительство, того итальянского трагика… как его?.. еще такой брюнет, высокий… Дай бог память. Ах, да! Луиджи Эрнесто де Руджиеро… Талант замечательный… Сила! Одно слово скажет, бывало, и театр ходором ходит. Моя Анюточка принимала большое участие в его таланте. Она ему и театр выхлопотала и билеты на десять спектаклей распродала… Он ее за это декламации и мимике учил. Душа человек! Приезжал он сюда… чтоб не соврать… лет двенадцать тому назад… Нет, вру. Меньше, лет десять… Анюточка, сколько нашей Нине лет?

— Десятый год! — кричит из своего кабинета Анна Павловна. — А что?

— Ничего, мамочка, это я так… И певцы хорошие приезжали, бывало… Помните вы tenore di grazia[136] Прилипчина? Что за душа человек! Что за наружность! Блондин… лицо этакое выразительное, манеры парижские… А что за голос, ваше превосходительство! Одна только беда: некоторые ноты желудком пел и «ре» фистулой брал, а то все хорошо. У Тамберлика, говорил, учился… Мы с Анюточкой выхлопотали ему залу в общественном собрании, и в благодарность за это он, бывало, нам целые дни и ночи распевал… Анюточку петь учил… Приезжал он, как теперь помню, в Великом посту, лет… лет двенадцать тому назад. Нет, больше… Вот память, прости господи! Анюточка, сколько нашей Надечке лет?

— Двенадцать!

— Двенадцать… ежели прибавить десять месяцев… Ну, так и есть… тринадцать!.. Прежде у нас в городе как-то и жизни больше было… Взять к примеру хоть благотворительные вечера. Какие прекрасные бывали у нас прежде вечера. Что за прелесть! И поют, и играют, и читают… После

---

[136] Примечания: 136
Лирического тенора (итал.).

войны, помню, когда здесь пленные турки стояли, Анюточка делала вечер в пользу раненых. Собрали тысячу сто рублей… Турки-офицеры, помню, без ума были от Анюточкина голоса, и все ей руку целовали. Хе, хе… Хоть и азиаты, а признательная нация. Вечер до того удался, что я, верите ли, в дневник записал. Это было, как теперь помню, в… семьдесят шестом… нет! в семьдесят седьмом. Нет! Позвольте, когда у нас турки стояли? Анюточка, сколько нашему Колечке лет?

— Мне, папа, семь лет! — говорит Коля, черномазый мальчуган с смуглым лицом и черными, как уголь, волосами.

— Да, постарели, и энергии той уж нет!.. — соглашается Лопнев, вздыхая. — Вот где причина… Старость, батенька! Новых инициаторов нет, а старые состарились… Нет уж того огня. Я, когда был помоложе, не любил, чтоб общество скучало… Я был первым помощником вашей Анны Павловны… Вечер ли с благотворительною целью устроить, лотерею ли, приезжую ли знаменитость поддержать — все бросал и начинал хлопотать. Одну зиму, помню, я до того захлопотался и набегался, что даже заболел… Не забыть мне этой зимы!.. Помните, какой спектакль сочинили мы с вашей Анной Павловной в пользу

погорельцев?



— Да это в каком году было?

— Не очень давно… В семьдесят девятом… Нет, в восьмидесятом, кажется! Позвольте, сколько вашему Ване лет?

— Пять! — кричит из кабинета Анна Павловна.

— Ну, стало быть, это было шесть лет тому назад… Да-с, батенька, были дела! Теперь уж не то! Нет того огня!

Лопнев и Шарамыкин задумываются. Тлеющее полено вспыхивает в последний раз и подерги-

вается пеплом.

Служебные пометки

В книге «входящих» под литерой Д, № 8, год 80–81, на полях и пустых местах имеются карандашные пометки, сделанные разными почерками. Так как все они носят печать мудрости и полны высокого значения, то надо думать, что они принадлежат лицам начальствующим. Выбираю самые лучшие и характерные:

«Так и быть. Дать отсрочку на 2 месяца и сказать ему, чтобы он в другой раз не смел входить в присутствие в калошах».

«На прошение губернского секретаря Осетрова об единовременном пособии могу ответить указанием на Римскую империю, погибшую от роскоши. Роскошь и излишества ведут к растлению нравов; а я желаю, чтобы все были нравственны. Впрочем, пусть Осетров сходит в вицмундире к купцу Хихикину и скажет ему, что его дело близится к концу».

«Птица узнается по перьям, хороший проситель по благодарности».

«Хотя по точному смыслу ст. 64, п. 1 Уст. о герб. сборе прошения о выдаче свидетельств о бедности не подлежат гербовому сбору, но тем не менее

объявить вдове Вониной, что в неприлеплении ею шестидесятикопеечной марки я усматриваю не столько понимание духа законов, сколько желание действовать самовольно помимо указаний надлежащего начальства. Если действительно не нужна была бы марка, то отлепили бы мы ее сами, она же распоряжаться не может. Отказать».

«Делицын, расписывайся поразборчивее! Ты не тайный советник…»

«Хотя в этом прошении и нет точных указаний на чувство благодарности, но тем не менее из некоторых пунктов явствует, что к нему было кое-что приложено… Где деньги?» Под этой фразой другим почерком написано: «Честь имею донести вашему высокородию, что деньги в количестве 75 руб. во время вашего отсутствия были отнесены Смирновым супруге вашей Евдокии Трифоновне. Лягавов».

На бумаге с заголовком «Совершенно секретно» написано: «Надписи вроде „секретно“ и „совершенно секретно“ мне не понятны. К чему из сих поучительных фактов делать тайну? Пусть бы все читали и казнились…»

«Сему рапорту о болезни не верю. Шулябин пишет, что он болен, а между тем мне известно, что он сидит теперь дома и под видом геморроя

пишет мещанам прошения.
Чтоб был завтра на службе!»

В бане
I

— Эй, ты, фигура! — крикнул толстый белотелый господин, завидев в тумане высокого и тощего человека с жиденькой бородкой и с большим медным крестом на груди. — Поддай пару!

— Я, ваше высокородие, не банщик, я цирульник-с. Не мое дело пар поддавать. Не прикажете ли кровососные баночки поставить?

Толстый господин погладил себя по багровым бедрам, подумал и сказал:

— Банки? Пожалуй, поставь. Спешить мне некуда.

Цирульник сбегал в предбанник за инструментом, и через какие-нибудь пять минут на груди и спине толстого господина уже темнели десять банок.

— Я вас помню, ваше благородие, — начал цирульник, ставя одиннадцатую банку. — Вы у нас в прошлую субботу изволили мыться, и тогда же еще я вам мозоли срезывал. Я цирульник Михайло… Помните-с? Тогда же вы еще изволили меня насчет невест расспрашивать.

— Ага… Так что же?

— Ничего-с… Говею я теперь и грех мне осуждать, ваше благородие, но не могу не выразить вам по совести. Пущай меня бог простит за осуждения мои, но невеста нынче пошла все непутящая, несмысленная. Прежняя невеста желала выйтить за человека, который солидный, строгий, с капиталом, который все обсудить может, религию помнит, а нынешняя льстится на образованность. Подавай ей образованного, а господина чиновника или кого из купечества и не показывай — осмеет! Образованность разная бывает… Иной образованный, конечно, до высокого чина дослужится, а другой весь век в писцах просидит, похоронить не на что. Мало ли их нынче таких? К нам сюда ходит один… образованный… Из телеграфистов… Все превзошел, депеши выдумывать может, а без мыла моется. Смотреть жалко!

— Беден, да честен! — донесся с верхней полки хриплый бас. — Такими людьми гордиться нужно. Образованность, соединенная с бедностью, свидетельствует о высоких качествах души. Невежа!

Михайло искоса поглядел на верхнюю полку… Там сидел и бил себя по животу веником тощий

человек с костистыми выступами на всем теле и состоящий, как казалось, из одних только кожи да ребер. Лица его не было видно, потому что все оно было покрыто свесившимися вниз длинными волосами. Видны были только два глаза, полные злобы и презрения, устремленные на Михайлу.

— Из энтих… из длинноволосых! — мигнул глазом Михайло. — С идеями… Страсть сколько развелось нынче такого народу! Не переловишь всех… Ишь, патлы распустил, шкилет! Всякий христианский разговор ему противен, все равно, как нечистому ладан. За образованность вступился! Таких вот и любит нынешняя невеста. Именно вот таких, ваше высокородие! Нешто не противно? Осенью зовет меня к себе одна священникова дочка. — «Найди, говорит, мне, Мишель», — меня в домах Мишелем зовут, потому, я дам завиваю, — «найди, говорит, мне, Мишель, жениха, чтоб был из писателей». А у меня, на ее счастье, был такой… Ходил он в трактир к Порфирию Емельянычу и все стращал в газетах пропечатать. Подойдет к нему человек за водку деньги спрашивать, а он сейчас по уху… «Как? С меня деньги? Да знаешь ты, кто я такой? Да знаешь ты, что я могу в газетах пропечатать, что ты душу загубил?» Плюгавый такой, оборванный. Прельстил я его поповскими

деньгами, показал барышнин портрет и сводил. Костюмчик ему напрокат достал… Не понравился барышне! «Меланхолии, говорит, в лице мало». И сама не знает, какого ей лешего нужно!

— Это клевета на печать! — послышался хриплый бас с той же полки. — Дрянь!

— Это я-то дрянь? Гм!.. Счастье ваше, господин, что я в эту неделю говею, а то бы я вам за «дрянь» сказал бы слово… Вы, стало быть, тоже из писателей?

— Я хотя и не писатель, но не смей говорить о том, чего не понимаешь. Писатели были в России многие и пользу принесшие. Они просветили землю, и за это самое мы должны относиться к ним не с поруганием, а с честью. Говорю я о писателях как светских, так равно и духовных.

— Духовные особы не станут такими делами заниматься.

— Тебе, невеже, не понять. Димитрий Ростовский, Иннокентий Херсонский, Филарет Московский и прочие другие святители церкви своими творениями достаточно способствовали просвещению.

Михайло покосился на своего противника, покрутил головой и крякнул.

— Ну, уж это вы что-то тово, сударь… — пробор-

мотал он, почесав затылок. — Что-то умственное… Недаром на вас и волосья такие. Недаром! Мы все это очень хорошо понимаем и сейчас вам покажем, какой вы человек есть. Пущай, ваше благородие, баночки на вас постоят, а я сейчас… Схожу только.

Михайло, подтягивая на ходу свои мокрые брюки и громко шлепая босыми ногами, вышел в предбанник.

— Сейчас выйдет из бани длинноволосый, — обратился он к малому, стоявшему за конторкой и продававшему мыло, — так ты, тово… погляди за ним. Народ смущает… С идеями… За Назаром Захарычем сбегать бы…

— Ты скажи мальчикам.

— Сейчас выйдет сюда длинноволосый, — зашептал Михайло, обращаясь к мальчикам, стоявшим около одежи. — Народ смущает. Поглядите за ним да сбегайте к хозяйке, чтоб за Назаром Захарычем послали — протокол составить. Слова разные произносит… С идеями…

— Какой же это длинноволосый? — встревожились мальчики. — Тут никто из таких не раздевался. Всех раздевалось шестеро. Тут вот два татара, тут господин раздевшись, тут из купцов двое, тут дьякон… а больше и никого. Ты, знать,

отца дьякона за длинноволосого принял?

— Выдумываете, черти! Знаю, что говорю!

Михайло посмотрел на одежу дьякона, потрогал рукой ряску и пожал плечами… По лицу его разлилось крайнее недоумение.

— А какой он из себе?

— Худенький такой, белобрысенький… Бородка чуть-чуть… Все кашляет.

— Гм!.. — пробормотал Михайло. — Гм!.. Это я, значит, духовную особу облаял… Комиссия отца Денисия! Вот грех-то! Вот грех! А ведь я говею, братцы! Как я теперь исповедаться буду, ежели я духовное лицо обидел? Господи, прости меня, грешного! Пойду прощения просить…

Михайло почесал затылок и, состроив печальное лицо, отправился в баню. Отца дьякона на верхней полке уже не было. Он стоял внизу у кранов и, сильно раскорячив ноги, наливал себе в шайку воды.

— Отец дьякон! — обратился к нему Михайло плачущим голосом. — Простите меня, Христа ради, окаянного!

— За что такое?

Михайло глубоко вздохнул и поклонился дьякону в ноги.

— За то, что я подумал, что у вас в голове есть

идеи!

II

— Удивляюсь я, как это ваша дочь, при всей своей красоте и невинном поведении, не вышла до сих пор замуж! — сказал Никодим Егорыч Потычкин, полезая на верхнюю полку.

Никодим Егорыч был гол, как и всякий голый человек, но на его лысой голове была фуражка. Боясь прилива к голове и апоплексического удара, он всегда парился в фуражке. Его собеседник Макар Тарасыч Пешкин, маленький старичок с тонкими синими ножками, в ответ на его вопрос пожал плечами и сказал:

— А потому она не вышла, что характером меня бог обидел. Смирен я и кроток очень, Никодим Егорыч, а нынче кротостью ничего не возьмешь. Жених нынче лютый — с ним и обходиться нужно сообразно.

— То есть, как же лютый? С какой это вы точки?

— Балованный жених... С ним как надо? Строгость нужна, Никодим Егорыч. Стесняться с ним не следовает, Никодим Егорыч. К мировому, по мордасам, за городовым послать — вот как надо!

Негодный народ. Пустяковый народ.

Приятели легли рядом на верхней полке и заработали вениками.

— Пустяковый… — продолжал Макар Тарасыч. — Натерпелся я от их, каналиев. Будь я характером посолиднее, моя Даша давно бы уже была замужем и деток рожала. Да-с… Старых девок теперь, в женском поле, сударь мой, ежели по чистой совести, половина на половину, пятьдесят процентов. И заметьте, Никодим Егорыч, каждая из этих самых девок в молодых годах женихов имела. А почему, спрашивается, не вышла? По какой причине? А потому, что удержать его, жениха-то, родители не смогли, дали ему отвертеться.

— Это верно-с.

— Мужчина нынче балованный, глупый, вольнодумствующий. Любит он все это на шерамыжку да с выгодой. Задаром он тебе и шагу не ступит. Ты ему удовольствие, а он с тебя же деньги требует. Ну, и женится тоже не без мыслей. Женюсь, мол, так деньгу зашибу. Это бы еще ничего, куда ни шло — ешь, лопай, бери мои деньги, только женись на моем дите, сделай такую милость, но бывает, что и с деньгами наплачешься, натерпишься горя-гореванского. Иной свата-

ется-сватается, а как дойдет до самой точки, до венца, то и назад оглобли, к другой идет свататься. Женихом хорошо быть, одно удовольствие. Его и накормят, и напоят, и денег взаймы дадут — чем не жизнь? Ну, и строит из себя жениха до старости лет, покуда смерть — и жениться ему не нужно. И уж лысина во всю голову, и седой весь, и колени гнутся, а он все жених. А то бывают, которые не женятся по глупости… Глупый человек сам не знает, что ему надобно, ну и перебирает: то ему нехорошо, другое неладно. Ходит-ходит, сватается-сватается, а потом вдруг ни с того ни с сего: «Не могу, говорит, и не желаю». Да вот хоть взять, к примеру, господина Катавасова, первого Дашиного жениха. Учитель гимназии, титулярный тоже советник… Науки все выучил, по-французски, по-немецки… математик, а на поверку вышел болван, глупый человек — и больше ничего. Вы спите, Никодим Егорыч?

— Нет, зачем же-с? Это я закрыл глаза от удовольствия…

— Ну, вот… Начал он около моей Даши ходить. А надо вам заметить, Даше тогда и двадцати годочков еще не было. Такая была девица, что просто всем на удивление. Финик! Полнота, формалистика в теле и прочее. Статский совет-

ник Цицеронов-Гравианский — по духовному ведомству служит — на коленях ползал, чтоб к нему в гувернантки пошла — не захотела! Начал Катавасов ходить к нам. Ходит каждый день и до полночи сидит, все с ней про разные науки там и физики… Книжки ей носит, музыку ее слушает. Все больше на книжки напирает. Даша-то моя сама ученая, книги ей вовсе не надобны, баловство одно только, а он — то прочти, другое прочти; надоел до смерти. Полюбил ее, вижу. И она, заметно, ничего. «Не нравится, говорит, он мне за то, что он, папаша, не военный». Не военный, а все-таки ничего. Чин есть, благородный, сытый, трезвый — чего же тут еще? Посватался. Благословили… Про приданое не спросил даже. Молчок… Словно он не человек, а дух бесплотный, и без приданого может. Назначили и день, когда венчать. И что же вы думаете? А? За три дня до свадьбы приходит ко мне в лавку этот самый Катавасов. Глаза красные, личность бледная, словно с перепугу, весь дрожит. Что угодно-с? — «Извините, говорит, Макар Тара-сыч, но я жениться на Дарье Макаровне не могу. Я, говорит, ошибся. Я, говорит, взирая на ее цветущую молодость и наивность, думал найти в ней почву, так сказать, свежесть, говорит, душевную, а она уже успела приобрести

склонности, говорит. Она наклонна, говорит, к мишуре, не знает труда, с молоком матери всосала…» И не помню, что она там всосала… Говорит, а сам плачет. А я? Я, сударь мой, побранился только, отпустил его. И к мировому не сходил и начальству его не жаловался, по городу не срамил. Пойди я к мировому, так, небось, испугался бы срама, женился бы. Начальство, небось, не поглядело бы, что она там всосала. Коли смутил девку, так и женись. Купец вон Клякин, — слышали? — даром что мужик, а поди-кася какую штуку того… У него жених тоже упорствовать стал, в приданом заметил что-то как будто не то, так он, Клякин-то, завел его в кладовую, заперся, вынул, знаете ли, из кармана большой револьвер с пулями, как следует заряженный, и говорит: «Побожись, говорит, перед образом, что женишься, а то, говорит, убью сию минуту, подлец этакой. Сию минуту!» Побожился и женился молодчик. Вот видите. А я бы так не способен. И драться даже не того… Увидал мою Дашу консисторский чиновник, хохол Брюзденко. Тоже из духовного ведомства. Увидал и влюбился. Ходит за ней красный как рак, бормочет разные слова, и изо рта у него жар пышет. Днем у нас сидит, а ночью под окнами ходит. И Даша его полюбила. Глаза его

хохлацкие ей понравились. В них, говорит, огонь и черная ночь. Ходил-ходил хохол и посватался. Даша, можно сказать, в восторге и восхищении, дала свое согласие. — «Я, говорит, папаша, понимаю, это не военный, но все же из духовного ведомства, а это все равно, что интендантство, и поэтому я его очень люблю». Девица, а тоже поди разбирает нынче: интендантство! Осмотрел хохол приданое, поторговался со мной и только носом покрутил — на все согласен, свадьбу бы только поскорей; но в тот самый день, как обручать, поглядел на гостей да как схватит себя за голову. «Батюшки, говорит, сколько у них родни! Не согласен! Не могу! Не желаю!» И пошел и пошел… Я уж и так и этак… Да ты, говорю, ваше высокородие, с ума сошел, что ли? Ведь больше чести, ежели родни много! Не соглашается! Взял шапку да и был таков.



Был и такой случай. Посватал мою Дашу лесничий Аляляев. Полюбил ее за ум и поведение… Ну и Даша его полюбила. Характер его положительный ей нравился. Человек он, действительно, хороший, благородный. Посватался и все, этак, обстоятельно. Приданое все до тонкостей осмотрел, все сундуки перерыл, Матрену поругал за то, что та салопа от моли не уберегла. И мне реестрик своего имущества доставил. Благородный чело-

век, грех про него что худое сказать. Нравился он мне, признаться, до чрезвычайности. Торговался он со мной два месяца. Я ему восемь тысяч даю, а он просит восемь с половиной. Торговались-торговались; бывало, сядем чай пить, выпьем по пятнадцати стаканов, и все торгуемся. Я ему двести накинул — не хочет! Так и разошлись из-за трехсот рублей. Уходил, бедный, и плакал… Уж больно любил Дашу! Ругаю теперь себя, грешный человек, истинно ругаю. Было б мне отдать ему триста или же попугать, на весь город посрамить, или завести бы в темную комнатку да по мордасам. Прогадал я, вижу теперь, что прогадал, дурака сломал. Ничего не поделаешь, Никодим Егорыч: характер у меня тихий!

— Смирны очень. Это верно-с. Ну, я пойду, пора… Голова тяжела стала…

Никодим Егорыч в последний раз ударил себя веником и спустился вниз. Макар Тарасыч вздохнул и еще усерднее замахал веником.

Разговор человека с собакой

Была лунная морозная ночь. Алексей Иваныч Романсов сбил с рукава зеленого чертика, отворил осторожно калитку и вошел во двор.

— Человек, — философствовал он, обходя помойную яму и балансируя, — есть прах, мираж, пепел… Павел Николаич губернатор, но и он пепел. Видимое величие его — мечта, дым… Дунуть раз и — нет его!

— Рррр… — донеслось до ушей философа.

Романсов взглянул в сторону и в двух шагах от себя увидел громадную черную собаку из породы степных овчарок и ростом с доброго волка. Она сидела около дворницкой будки и позвякивала цепью. Романсов поглядел на нее, подумал и изобразил на своем лице удивление. Затем он пожал плечами, покачал головой и грустно улыбнулся.

— Рррр… — повторила собака.

— Нне понимаю! — развел руками Романсов. — И ты… ты можешь рычать на человека? А? Первый раз в жизни слышу. Побей бог… Да нешто тебе не известно, что человек есть венец мироздания? Ты погляди… Я подойду к тебе… Гляди вот… Ведь я человек? Как, по-твоему? Человек я

или не человек? Объясняй!

— Рррр… Гав!

— Лапу! — протянул Романсов собаке руку. — Ллапу! Не даете? Не желаете? И не нужно. Так и запишем. А пока позвольте вас по морде… Я любя…

— Гав! Гав! Ррр… гав! Авав!

— Аааа… ты кусаться? Очень хорошо, ладно. Так и будем помнить. Значит, тебе плевать на то, что человек есть венец мироздания… царь животных? Значит, из этого следует, что и Павла Николаича ты укусить можешь? Да? Перед Павлом Николаичем все ниц падают, а тебе что он, что другой предмет — все равно? Так ли я тебя понимаю? Ааа… Так, стало быть, ты социалист? Постой, ты мне отвечай… Ты социалист?

— Ррр… гав! гав!

— Постой, не кусайся… О чем, бишь, я?.. Ах, да, насчет пепла. Дунуть и — нет его! Пфф! А для чего живем, спрашивается? Родимся в болезнях матери, едим, пьем, науки проходим, помираем… а для чего все это? Пепел! Ничего не стоит человек! Ты вот собака и ничего не понимаешь, а ежели бы ты могла… залезть в душу! Ежели бы ты могла в психологию проникнуть!

Романсов покрутил головой и сплюнул.

— Грязь… Тебе кажется, что я, Романсов, коллежский секретарь… царь природы. Ошибаешься! Я тунеядец, взяточник, лицемер!.. Я гад!

Алексей Иваныч ударил кулаком себя по груди и заплакал.

— Наушник, шептун… Ты думаешь, что Егорку Корнюшкина не через меня прогнали? А? А кто, позвольте вас спросить, комитетские двести рублей зажилил да на Сургучова свалил? Нешто не я? Гад, фарисей… Иуда! Подлипала, лихоимец… сволочь!

Романсов вытер рукавом слезы и зарыдал.

— Кусай! Ешь! Никто отродясь мне путного слова не сказал… Все только в душе подлецом считают, а в глаза кроме хвалений да улыбок — ни-ни! Хоть бы раз кто по морде съездил да выругал! Ешь, пес! Кусай! Рррви анафему! Лопай предателя!

Романсов покачнулся и упал на собаку.

— Так, именно так! Рви мордализацию! Не жалко! Хоть и больно, а не щади. На, и руки кусай! Ага, кровь течет! Так тебе и нужно, шмерцу! Так! Мерси, Жучка… или как тебя? Мерси… Рви и шубу. Все одно, взятка… Продал ближнего и купил на вырученные деньги шубу… И фуражка с кокардой тоже… Однако о чем, бишь, я?.. Пора

идти… Прощай, собачечка… шельмочка…



— Рррр.

Романсов погладил собаку и, дав ей еще раз укусить себя за икру, запахнулся в шубу и, пошатываясь, побрел к своей двери…

Проснувшись на другой день в полдень, Романсов увидел нечто необычайное. Голова, руки и ноги его были в повязках. Около кровати стояли заплаканная жена и озабоченный доктор.

О марте. Об апреле. О мае. Об июне и июле. Об августе.
(Филологические заметки)

О МАРТЕ

Месяц март получил свое название от Марса, который, если верить учебнику Иловайского, был богом войны. Формулярный список этого душки-военного затерян, а посему о личности его почти ничего не известно. Судя по характеру его амурных предприятий и кредиту, которым пользовался он у Бахуса, следует думать, что он, занимая должность бога войны, был причислен к армейской пехоте и имел чин не ниже штабс-капитана. Визитная карточка его была, вероятно, такова: «Штабс-капитан Марс, бог войны». Стало быть, март есть месяц военных и всех тех, кои к военному ведомству прикосновенность имеют: интендантов, военных врачей, батальных художников, институток и проч. Числится в штате о рангах третьим месяцем в году и имеет с дозволения начальства 31 день. Римляне в этом месяце праздновали так называемые Гилярии — торжество в честь Никиты Гилярова-Плато-

нова и богини Цибеллы. Цибеллой называлась богиня земли. Из ее метрической выписи явствует, что она была дочкой Солнца, женою Сатурна, матерью Юпитера, — одним словом, особой астрономической, имеющей право на казенную квартиру в Пулковской обсерватории. Изобрела тамбур, тромбон, свирель и ветеринарное искусство. Была, стало быть, и музыкантшей и коновалом — комбинация, современным музыкантшам неизвестная. В этом же месяце римляне праздновали и именины Венеры, богини любви, брака (законного и незаконного), красоты, турнюров и ртутных мазей. Родилась эта Венера из пены морской таким же образом, как наши барышни родятся из кисеи. Была женою хромого Вулкана, чеканившего для богов фальшивую монету и делавшего тонкие сети для ловли храбрых любовников. Состояла на содержании у всех богов и бескорыстно любила одного только Марса. Когда ей надоедали боги, она сходила на землю и заводила здесь интрижки с чиновниками гражданского ведомства: Энеем, Адонисом и другими. Покровительствует дамским парикмахерам, учителям словесности и доктору Тарновскому. В мартовский праздник ей приносили в жертву котов и гимназистов, начинающих влюбляться

обыкновенно с марта. У наших предков март назывался Березозолом. Карамзин думал, что наши предки жгли в марте березовый уголь, откуда, по его мнению, и произошло прозвище Березозол. Люди же, которых много секли, знают, что это слово происходит от слова «береза» и «зла», ибо никогда береза не работает так зло и энергично, как перед экзаменами. У нашего Нестора март был первым месяцем в году. У римлян тоже.

ОБ АПРЕЛЕ

Апрель получил свое название от латинского глагола 4-го спряжения aperire, что значит открывать, разверзать, ибо в этом месяце земля разверзается для того, чтобы выпустить из себя растения. Так у юноши разверзается подбородок, чтобы дать беспрепятственный пропуск желающей расти бороде. В царствование Нерона этот месяц был назван Neroneus за заслуги, оказанные Нероном отечеству, но потом, по недосмотру римской полиции и по охлаждении римского патриотизма, утерял это прозвище. Имеет 30 дней по числу иудиных сребреников. На памятниках древности этот месяц изображается брандахлыстом, пляшущим, подмигивающим левым глазом и с поднятыми фалдами. В руках

его кастаньеты, у ног свирель, из кармана глядит полуштоф. Очевидно, был пьяницей, знал много скабрезных анекдотов и жил на неопределенные средства. Обыкновенно перед его изображением ставилась статуя Венеры. На подножии этой статуи юный читатель мог бы усмотреть немало геометрических фигур, относящихся к подобию треугольников и к учению о пределах. Как Апрель, так и Венера в геометрии ничего не смыслили, а посему здесь следует усматривать аллегорию: для наслаждений любви можно попрать ногами даже геометрию — смысл, если принять во внимание близость экзаменов, губительный! Предки наши именовали апрель кветенем, или цветенем, в честь цветов, которые цветут в этом месяце в цветочных горшках Петербургской стороны и на физиономиях юнкеров.

Обычай надувать ближних в первый день апреля существует всюду, даже на берегу Маклая. О происхождении этого обычая толкуют различно. Одни говорят, что он получил свое начало в Ост-Индии, где индусы в этот день занимаются невинным надувательством: посылают друг друга в разные места под вымышленными предлогами и потом хохочут над обманутыми. Другие же ставят этот обычай в связь с отчетами,

которые в древности изготовляли чиновники консисторий к первому апреля. Ввиду того, что взаимное надувательство стало в наше время явлением обыденным, обычай этот утерял свою соль и стал постепенно стушевываться; в старину же, когда меньше врали, он был в большой моде. Рассказывают, что в один из первых апрелей труппа немецких актеров, дававших представления в Петербурге во времена Петра, пообещала «блистательное представление» и, когда в театр припожаловала публика, вывесила на занавесе транспарант с надписью «Первое апреля». Спектакля не было. Петр не рассердился на эту шутку и только, выходя из театра, проговорил: «Вольность комедьянтов!» Если эта труппа не забыла собрать перед спектаклем с публики деньги, то нужно пожалеть, что не все наши актеры-современники знакомы с этим историческим анекдотом.

О МАЕ

Месяц любви, сирени и белых ночей. Месяц, когда поэты обвиняют соловьев в незаконном сожительстве с розами и когда даже отставные, заржавленные фельдфебеля поддаются нежной страсти. Получил он свое название по приказанию Ромула от majores — старшин, или сенаторов,

которые за старостью лет заседали в римском сенате и посыпали песком деловые бумаги. Другие же говорят, что он назван в честь плеяды Майи, родившейся от Атланта. Маленький, но щекотливый вопрос: как мог Атлант стать отцом, если он должен был день и ночь, не отдыхая ни секунды, держать на плечах своды небесные? Оставляю этот вопрос открытым…

Сама Майя родила биржевого зайца и гешефтмахера Меркурия. У древних май был посвящен старости, и в этом месяце строжайше запрещалось вступать в брак. Всякого, женившегося в этом месяце, называли азинусом, стультусом и тряпкой. «Май — месяц любви, но не брака, — пишет Корнелий Непот. — Не раскисайте же, граждане, и не попадайте на удочку! Знайте, что майская любовь кончается в начале июня и то, что в мае казалось вашей разгоряченной фантазии эфиром, в июне будет казаться бревном» (XXVI, 7). По мнению россиян, кто женится в мае, тот будет весь век маяться — и это справедливо. У астрономов май занимает в эклиптике третье место и солнце вступает в знак Близнецов, у дачниц же он занимает первое место, так как военные выступают в лагери. Если лагери находятся близко к дачам, то знак Близнецов может служить

предостережением: не увлекайтесь в мае, чтобы зимою не иметь дела с двойнями! В мае родятся майские жуки, майоры и поэты à la Майков.

ОБ ИЮНЕ И ИЮЛЕ

В мае и в августе русские люди ходят в шубах и щелкают зубами; следовательно, русское лето состоит только из июня и июля. Среди дачных бурь и штилей, в вихре Цукк и Монбазонш, эти два месяца проходят так быстро, что пора уже считать их за один месяц, тем более, что оба они начинаются с ию, стоят в календаре рядышком и оба потогонны… Соединение двух месяцев в один повело бы за собой уменьшение расходов: 20-е число случилось бы однажды, а не дважды. Июнь получил свое название от слова junior, что значит юноша, гимназист, ибо в этом месяце гимназисты созревают и хотя, созревши, плода не дают, но тем не менее получают аттестаты зрелости.

У римлян июнь был посвящен Меркурию, богу второй гильдии, занимавшемуся коммерцией. Сей Меркурий считается покровителем содержателей ссудных касс, шулеров и купеческих саврасов. Давал богам деньги под проценты, плясал в салонах «кадрель» и пил по девяти самоваров в день; имел медаль за службу в благотворитель-

ных учреждениях, куда поставлял бесплатно дрова, наживая при этом «рупь нарупь»; любил Москву, где держал кабак, ел в балаганах голубей и издавал благонамеренно-ерническую газету.



В июне произошли следующие события: издан указ, воспрещавший продавать на базарах живых людей, и основано училище правоведения для разведения на Руси товарищей прокурора… В этом же месяце, по свидетельству Иловайского, в Париже происходили кровавые события (вероятно, дизентерия). Июль же, по протекции

Марка Антония, получил свое название от Юлия Цезаря, милого малого, перешедшего Рубикон и написавшего «De bello gallico» — произведение, по мнению учителей латинского языка, достойное 12 уроков в неделю.

Был посвящен его превосходительству г. директору небесной канцелярии, действительному статскому советнику и кавалеру Юпитеру. Будучи происхождения божеского, г. Юпитер, тем не менее, занимался одними только человеческими делами: играл в винт, пил горькую и прохаживался по части клубнички. Юным классикам не безызвестны его ухаживания за коровой Ио. Солнце в июле вступает в знак Льва, чего ради все кавалеры «Льва и Солнца» в июле именинники. Для писателей июль несчастный месяц. Смерть своим неумолимым красным карандашом зачеркнула в июле шестерых русских поэтов и одного Памву Берынду. У нас в России вследствие сильных июльских жаров князь Мещерский пишет записки, читаемые на провинциальных сценах Андреевым-Бурлаком. За июлем следует осень.

ОБ АВГУСТЕ

Месяц всякого рода плодов. Поселянин собирает в житницы плоды своего годового труда и кладет зубы на полку. Кабатчики получают долги, кулаки почивают от дел. Изобилие плодов земных поражает иностранца в такой степени, что у него делаются схватки: среднее яблоко стоит 50 коп., груша — рубль, а покупка арбуза влечет за собою карманную чахотку. Барыни едут ради виноградного лечения в Ялту, где виноград только вдвое дороже, чем в Гельсингфорсе… Август плодовит во всех отношениях. Тот ненастный вечер, в который дева шла в пустынных местах и держала в трепетных руках плод, был именно в августе. Плоды же злонравия поспевают у нас ежемесячно. У римлян август был шестым в году и назывался sextilis'ом, у нас же он восьмой и называется августом в честь римского императора Августа, основавшего, как известно, августинский орден и сочинившего романс «Ах, мейн либер Августин». В этом месяце солнце вступает в знак Девы, отчего природа приобретает вид томный, кислый, меланхолический. Все, что веселило взор летом, в августе наводит уныние. Листья желтеют, трава ржавеет, дачники чумеют и бегут с дач в города,

где поедаются живьем домовладельцами. Дни становятся короче, точно дневной свет поступает в ведение интендантского ведомства, печенки, ревматизмы и злые жены разыгрываются, как неподмазанные двери во время сквозного ветра. Светлые брюки, соломенные шляпы, пикейные жилетки, кители, крылатки — все это посыпается от моли вонючим нафталином и прячется на чертовски долгое время в мамашины или бабушкины сундуки. Одетые в чиновничьи капюшоны на вате, идут театральный, учебный и свадебный сезоны. Кто летом ленился, шалил и родителей не слушался, тот в августе учись или женись… Умнее всех оказываются в августе птицы и медведи. Первые собираются толпами и стараются улететь как можно подальше от зимы с ее увеселениями, рецензиями, единицами, сугробами, вторые же берут лапы в зубы, безмятежно засыпают и будут спать, несмотря ни на что; даже если Цукки согласится остаться на всю зиму в России, и тогда они не проснутся. В августе начинается так называемое «бабье лето», когда природа — совершенная баба: то улыбается, то куксит. У наших предков август назывался серпенем. «В первых числах сего серпения, — писали предки, — секретарь Обдиранский купно с делопроизводителем Облу-

панским заткнули за пояс Мамая»…

Оба лучше

— Непременно же, mes enfants[137], заезжайте к баронессе Шепплинг (через два «п»)… — повторила в десятый раз теща, усаживая меня и мою молодую жену в карету. — Баронесса — моя старинная приятельница… Навестите кстати и генеральшу Жеребчикову… Она обидится, если вы не сделаете ей визита…

Мы сели в карету и поехали делать послесвадебные визиты. Физиономия моей жены, казалось мне, приняла торжественное выражение, я же повесил нос и впал в меланхолию… Много несходств было между мной и женой, но ни одно из них не причиняло мне столько душевных терзаний, как несходство наших знакомств и связей. В списке жениных знакомых пестрели полковницы, генеральши, баронесса Шепплинг (через два «п»), граф Дерзай-Чертовщинов и целая куча институтских подруг-аристократок; с моей же стороны было одно сплошное моветонство: дядюшка, отставной тюремный смотритель, кузина, содержащая модную мастерскую, чиновники-сослуживцы — все

---

[137] Примечания: 137
Мои дети (фр.).

горькие пьяницы и забулдыги, из которых ни один не был выше титулярного, купец Плевков и проч. Мне было совестно… Чтобы избегнуть срама, следовало бы вовсе не ехать к моим знакомым, но не поехать значило бы навлечь на себя множество нареканий и неприятностей. Кузину еще, пожалуй, можно было похерить, визиты же к дяде и Плевкову были неизбежны. У дяди я брал деньги на свадебные расходы, Плевкову был должен за мебель.

— Сейчас, душончик, — стал я подъезжать к своей супруге, — мы приедем к моему дяде Пупкину. Человек старинного, дворянского рода… дядя у него викарием в какой-то епархии, но оригинал и живет по-свински; т. е. не викарий живет по-свински, а он сам, Пупкин… Везу тебя, чтобы дать тебе случай посмеяться… Болван ужасный…

Карета остановилась около маленького, трехоконного домика с серыми, заржавленными ставнями. Мы вышли из кареты и позвонили… Послышался громкий собачий лай, за лаем внушительное «цыц, проклятая!», визг, возня за дверью… После долгой возни дверь отворилась, и мы вошли в переднюю… Нас встретила моя кузина Маша, маленькая девочка в материнской кофте и с запачканным носом. Я сделал вид, что

не узнал ее, и пошел к вешалке, на которой рядом с дядюшкиной лисьей шубой висели чьи-то панталоны и накрахмаленная юбка. Снимая калоши, я робко заглянул в залу. Там за столом сидел мой дядюшка в халате и в туфлях на босую ногу. Надежда не застать его дома обратилась во прах… Прищурив глаза и сопя на весь дом, он вынимал проволокой из водочного графина апельсиновые корки. Вид имел он озабоченный и сосредоточенный, словно телефон выдумывал. Мы вошли… Увидав нас, Пупкин застыдился, выронил из рук проволоку и, подобрав полы халата, опрометью выбежал из залы…

— Я сейчас! — крикнул он.

— Ударился в бегство… — засмеялся я, сгорая со стыда и боясь взглянуть на жену. — Не правда ли, Соня, смешно? Оригинал страшный… А погляди, какая мебель! Стол о трех ножках, параличное фортепиано, часы с кукушкой… Можно подумать, что здесь не люди живут, а мамонты…

— Это что нарисовано? — спросила жена, рассматривая картины, висевшие вперемежку с фотографическими карточками.

— Это старец Серафим в Саровской пустыни медведя кормит… А это портрет викария, когда он еще был инспектором семинарии… Видишь,

«Анну» имеет… Личность почтенная… Я… (я высморкался).

Но ничего мне не было так совестно, как запаха… Пахло водкой, прокисшими апельсинами, скипидаром, которым дядя спасался от моли, кофейной гущей, что в общем давало пронзительную кислятину… Вошел мой кузен Митя, маленький гимназистик с большими оттопыренными ушами, и шаркнул ножкой… Подобрав апельсинные корки, он взял с дивана подушку, смахнул рукавом пыль с фортепиано и вышел… Очевидно, его прислали «прибрать»…

— А вот и я! — заговорил наконец дядя, входя и застегивая жилетку. — А вот и я! Очень рад… весьма! Садитесь, пожалуйста! Только не садитесь на диван: задняя ножка сломана. Садись, Сеня!

Мы сели… Наступило молчание, во время которого Пупкин поглаживал себя по колену, а я старался не глядеть на жену и конфузился.

— Мда… — начал дядя, закуривая сигару (при гостях он всегда курит сигары). — Женился ты, стало быть… Так-с… С одной стороны, это хорошо… Милое существо около, любовь, романсы; с другой же стороны, как пойдут дети, так пуще волка взвоешь! Одному сапоги, другому штанишки, за третьего в гимназию платить надо… и не

приведи бог! У меня, слава богу, жена половину мертвых рожала.

— Как ваше здоровье? — спросил я, желая переменить разговор.

— Плохо, брат! Намедни весь день провалялся… Грудь ломит, озноб, жар… Жена говорит: прими хинины и не раздражайся… А как тут не раздражаться? С утра приказал почистить снег у крыльца, и хоть бы тебе кто! Ни одна шельма ни с места… Не могу же я сам чистить! Я человек болезненный, слабый… Во мне скрытый геморрой ходит.

Я сконфузился и начал громко сморкаться.

— Или, может быть, у меня это от бани… — продолжал дядя, задумчиво глядя на окно. — Может быть! Был я, знаешь, в четверг в бане… часа три парился. А от пару геморрой еще пуще разыгрывается… Доктора говорят, что баня для здоровья нехорошо… Это, сударыня, неправильно… Я сызмальства привык, потому — у меня отец в Киеве на Крещатике баню держал… Бывало, целый день паришься… Благо не платить…

Мне стало невыносимо совестно. Я поднялся и, заикаясь, начал прощаться.

— Куда же это так? — удивился дядя, хватая меня за рукав. — Сейчас тетка выйдет! Закусим,

чем бог послал, наливочки выпьем!.. Солонинка есть, Митя за колбасой побежал… Экие вы, право, церемонные! Загордился, Сеня! Нехорошо! Венчальное платье не у Глаши заказал! Моя дочь, сударыня, белошвейную держит…

Шила вам, я знаю, мадам Степанид, да нешто Степанидка с нами сравняется! Мы бы и дешевле взяли…

Не помню, как я простился с дядей, как добрался до кареты… Я чувствовал, что я уничтожен, оплеван, и ждал каждое мгновение услышать презрительный смех институтки-жены…

«А какой мове-жанр ждет нас у Плевкова! — думал я, леденея от ужаса. — Хоть бы скорее отделаться, черт бы их взял совсем! И на мое несчастье — ни одного знакомого генерала! Есть один знакомый полковник в отставке, да и тот портерную держит! Ведь этакий я несчастный!» — Ты, Сонечка, — обратился я к жене плачущим голосом, — извини, что я возил тебя сейчас в тот хлев… Думал дать тебе случай посмеяться, понаблюдать типы. Не моя вина, что вышло так пошло, мерзко… Извиняюсь…

Я робко взглянул на жену и увидал больше, чем мог ожидать при всей моей мнительности. Глаза жены были налиты слезами, на щеках горел ру-

мянец не то стыда, не то гнева, руки судорожно щипали бахрому у каретного окна… Меня бросило в жар и передернуло…

«Ну, начинается мой срам!» — подумал я, чувствуя, как наливаются свинцом мои руки и ноги. — Но не виноват же я, Соня! — вырвался у меня вопль. — Как, право, глупо с твоей стороны! Свиньи они, моветоны, но ведь не я же произвел их в свои родичи!

— Если тебе не нравятся твои простяки, — всхлипнула Соня, глядя на меня умоляющими глазами, — то мои и подавно не понравятся… Мне совестно, и я никак не решусь тебе высказать. Голубчик, миленький… Сейчас баронесса Шепплинг начнет тебе рассказывать, что мама служила у нее в экономках и что мы с мамой неблагодарные, не благодарим ее за прошлые благодеяния теперь, когда она впала в бедность… Но ты не верь ей, пожалуйста! Эта нахалка любит врать… Клянусь тебе, что к каждому празднику мы посылаем ей голову сахару и фунт чаю!

— Да ты шутишь, Соня! — удивился я, чувствуя, как свинец оставляет мои члены и как по всему телу разливается живительная легкость. — Баронессе голову сахару и фунт чаю!.. Ах!

— А когда увидишь генеральшу Жеребчико-

ву, то не смейся над ней, голубчик! Она такая несчастная! Если она постоянно плачет и заговаривается, то это оттого, что ее обобрал граф Дерзай-Чертовщинов. Она будет жаловаться на свою судьбу и попросит у тебя взаймы; но ты… тово… не давай… Хорошо бы, если б она на себя потратила, а то все равно графу отдаст!

— Мамочка… ангел! — принялся я от восторга обнимать жену. — Зюмбумбунчик мой! Да ведь это сюрприз! Скажи ты мне, что твоя баронесса Шепплинг (через два «п») нагишом по улице ходит, то ты бы меня еще больше разодолжила! Ручку!

И мне вдруг стало жаль, что я отказался у дяди от солонины, не побренчал на его паралличном фортепиано, не выпил наливочки… Но тут мне вспомнилось, что у Плевкова подают хороший коньяк и поросенка с хреном.

— Валяй к Плевкову! — крикнул я во все горло вознице.

Мелюзга

«Милостивый государь, отец и благодетель!» — сочинял начерно чиновник Невыразимов поздравительное письмо. «Желаю как сей Светлый день, так и многие предбудущие провести в добром здравии и благополучии. А также и семейству жел…»

Лампа, в которой керосин был уже на исходе, коптила и воняла гарью. По столу, около пишущей руки Невыразимова, бегал встревоженно заблудившийся таракан. Через две комнаты от дежурной швейцар Парамон чистил уже в третий раз свои парадные сапоги, и с такой энергией, что его плевки и шум ваксельной щетки были слышны во всех комнатах.

«Что бы еще такое ему, подлецу, написать?» — задумался Невыразимов, поднимая глаза на закопченный потолок.

На потолке увидел он темный круг — тень от абажура. Ниже были запыленные карнизы, еще ниже — стены, выкрашенные во время оно в сине-бурую краску. И дежурная комната показалась ему такой пустыней, что стало жалко не только себя, но даже таракана…

«Я-то отдежурю и выйду отсюда, а он весь свой тараканий век здесь продежурит, — подумал он, потягиваясь. — Тоска! Сапоги себе почистить, что ли?»

И, еще раз потянувшись, Невыразимов лениво поплелся в швейцарскую. Парамон уже не чистил сапог. Держа в одной руке щетку, а другой крестясь, он стоял у открытой форточки и слушал…

— Звонют-с! — шепнул он Невыразимову, глядя на него неподвижными, широко раскрытыми глазами. — Уже-с!

Невыразимов подставил ухо к форточке и прислушался. В форточку, вместе со свежим весенним воздухом, рвался в комнату пасхальный звон. Рев колоколов мешался с шумом экипажей, и из звукового хаоса выделялся только бойкий теноровый звон ближайшей церкви да чей-то громкий, визгливый смех.

— Народу-то сколько! — вздохнул Невыразимов, поглядев вниз на улицу, где около зажженных плошек мелькали одна за другой человеческие тени. — Все к заутрене бегут… Наши-то теперь, небось, выпили и по городу шатаются. Смеху-то этого сколько, разговору! Один только я несчастный такой, что должен здесь сидеть в этакий день. И каждый год мне это приходится!

— А кто вам велит наниматься? Ведь вы не дежурный сегодня, а Заступов вас за себя нанял. Как людям гулять, так вы и нанимаетесь… Жадность!

— Какой черт жадность? Не из чего и жадничать: всего два рубля денег да галстук на придачу… Нужда, а не жадность! А хорошо бы теперь, знаешь, пойти с компанией к заутрене, а потом разговляться… Выпить бы этак, закусить да и спать завалиться… Сидишь ты за столом, свяченый кулич, а тут самовар шипит и сбоку какая-нибудь этакая обжешка[138]… Рюмочку выпил и за подбородочек подержал, а оно и чувствительно… человеком себя чувствуешь… Эхх… пропала жизнь! Вон какая-то шельма в коляске проехала, а ты тут сиди да мысли думай…

— Всякому свое, Иван Данилыч. Бог даст, и вы дослужитесь, в колясках ездить будете.

— Я-то? Ну, нет, брат, шалишь. Мне дальше титулярного не пойти, хоть тресни… Я необразованный.

— Наш генерал тоже без всякого образования, одначе…

— Ну, генерал, прежде чем этого достигнуть, сто тысяч украл… И осанка, брат, у него не та,

---

[138] Примечания: 138
От фр. objet (предмет).

что у меня… С моей осанкой недалеко уйдешь! И фамилия преподлейшая: Невыразимов! Одним словом, брат, положение безвыходное. Хочешь — так живи, а не хочешь — вешайся…

Невыразимов отошел от форточки и в тоске зашагал по комнатам. Рев колоколов становился все сильнее и сильнее. Чтобы слышать его, не было уже надобности стоять у окна. И чем явственнее слышался звон, чем громче стучали экипажи, тем темнее казались бурые стены и законченные карнизы, тем сильнее коптила лампа.

«Нешто удрать с дежурства?» — подумал Невыразимов.

Но бегство это не обещало ничего путного… Выйдя из правления и пошатавшись по городу, Невыразимов отправился бы к себе на квартиру, а на квартире у него было еще серее и хуже, чем в дежурной комнате… Допустим, что этот день он провел бы хорошо, с комфортом, но что же дальше? Все те же серые стены, все те же дежурства по найму и поздравительные письма…

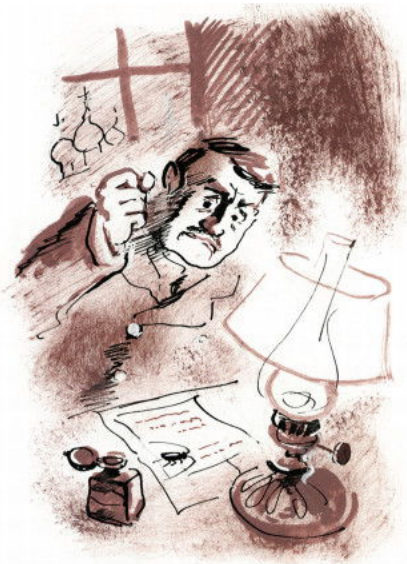
Невыразимов остановился посреди дежурной комнаты и задумался.

Потребность новой, лучшей жизни невыносимо больно защемила его за сердце. Ему страстно захотелось очутиться вдруг на улице, слиться

с живой толпой, быть участником торжества, ради которого ревели все эти колокола и гремели экипажи. Ему захотелось того, что переживал он когда-то в детстве: семейный кружок, торжественные физиономии близких, белая скатерть, свет, тепло… Вспомнил он коляску, в которой только что проехала барыня, пальто, в котором щеголяет экзекутор, золотую цепочку, украшающую грудь секретаря… Вспомнил теплую постель, Станислава, новые сапоги, виц-мундир без протертых локтей… вспомнил потому, что всего этого у него не было…

«Украсть нешто? — подумал он. — Украсть-то, положим, не трудно, но вот спрятать-то мудрено… В Америку, говорят, с краденым бегают, а черт ее знает, где эта самая Америка! Для того, чтобы украсть, тоже ведь надо образование иметь».

Звон утих. Слышался только отдаленный шум экипажей да кашель Парамона, а грусть и злоба Невыразимова становились все сильнее, невыносимей. В присутствии часы пробили половину первого.



«Донос написать, что ли? Прошкин донес, и в гору пошел…»

Невыразимов сел за свой стол и задумался. Лампа, в которой керосин совсем уже выгорел, сильно коптила и грозила потухнуть. Заблудившийся таракан все еще сновал по столу и не находил пристанища…

«Донести-то можно, да как его сочинишь! Надо со всеми экивоками, с подходцами, как Прошкин… А куда мне! Такое сочиню, что мне же потом

и влетит. Бестолочь, черт возьми меня совсем!»

И Невыразимов, ломая голову над способами, как выйти из безвыходного положения, уставился на написанное им черновое письмо.

Письмо это было писано к человеку, которого он ненавидел всей душой и боялся, от которого десять лет уже добивался перевода с шестнадцатирублевого места на восемнадцатирублевое…

— А… бегаешь тут, черт! — хлопнул он со злобой ладонью по таракану, имевшему несчастье попасться ему на глаза. — Гадость этакая!

Таракан упал на спину и отчаянно замотал ногами… Невыразимов взял его за одну ножку и бросил в стекло… В стекле вспыхнуло и затрещало…

И Невыразимову стало легче.

Праздничные
(Из записок провинциального хапуги)

Описываю по порядку:

Дом № 113. В квартире № 2 встретились с человеком образованным и по всем видимостям благонамеренным, но весьма странным. Давая нам праздничные, он сказал:

— Будучи состоятелен, я даю с удовольствием; но будучи в то же время человеком науки и привыкши понимать предметы и поступки чрез изучение причин и корней, я желал бы знать, существует ли нравственное право, по которому вы ходите по домам и берете праздничные, или же тут права нет и вы действуете à vol d'oiseau[139]?

Усматривая в сем вопросе полезную любознательность, я сел около стола с закуской и объяснил:

— Благодарность есть качество, свойственное душам возвышенным и благородным. Это качество человеку врождено и на нашей обязанности лежит всячески поддерживать его в обывателях и не давать ему заглохнуть. Обыва-

---

[139] Примечания: 139
Как вздумается? (фр.).

тель, давая праздничные, тем самым упражняет себя в чувстве благодарности. Упражнять вас в этом чувстве мы по-настоящему должны всегда, в будень и в праздник, но так как на нас лежит много других обязанностей и помимо взимания праздничных, то обыватель должен довольствоваться несколькими днями в году, уповая, что в будущем с упрощением человеческих отношений праздничные будут взиматься ежедневно.

Дом № 114. Домовладелец Швеин, давая десять рублей, сладко улыбался и пожимал горячо руку. Должно полагать, у канальи двор не чист или кто-нибудь без паспорта живет.

Дом № 115. Титулярная советница Перехудова, когда я вошел в гостиную, обиделась, что на мне грязные калоши. Впрочем, дала три рубля. Жилец Брюханский, на мое требование исполнить гражданский долг, отказался, ссылаясь на неимение денег. Тогда я объяснил ему:

— Каждый обыватель накануне праздника, прежде чем делать обычные затраты на предметы роскоши, обдумывает, кому сколько дать, и совещается на сей случай с членами своего семейства, после чего берет деньги и делит их на части, соответственно числу получателей. Если же у него денег нет, то он делает заем; ежели же

сделать займа почему-либо нельзя, то берет свое семейство и бежит в Египет… Удивляюсь я, как это вы можете еще со мной говорить!

Записал его фамилию.

Дом № 116. Генерал Брындин, живущий в квартире № 3, вынося нам 5 руб., сказал:

— Когда-то в своей губернии я боролся с этим злом и пострадал: в конце концов, мне дали по шапке. Непоборимое, знать, зло!.. Нате, берите! Черт с вами…

Генерал, а какие странные понятия о гражданском долге!

Красная горка

Так называется у нас Фомина неделя, у древних же россиян это имя носил праздник в честь весны, совпадавший по времени как раз с Фоминой неделей. Весна не чиновная особа и чествовать ее не за что, но древляне, кривичи, мерь и прочие наши прародители, не имея среди себя заслуженных статских советников и полицеймейстеров, поневоле должны были чествовать не людей, а времена года и другие отвлеченности. Так как от невежества мы ушли, но к цивилизации, слава богу, еще не дошли, а обретаемся на золотой середине, то этот языческий праздник сохранился и до нашего времени во всей своей полноте. Празднуется он на горах и пригорках, где прежде всего тает снег и показывается зеленая травка — отсюда и название праздника. Следовало бы по-настоящему назвать его зеленой горкой, но предки наши уродились в наших современников: придавать всему выдающемуся красную окраску было их страстью.

Девицы, весна, лучшие площади, самая вкусная рыба — все это называлось красным и находилось под подозрением. В наше время Красная горка

празднуется таким образом. Парни и девки с лицами, усыпанными в честь весны веснушками, собравшись где-нибудь на пригорке, устраивают хороводы и поют песни. Песни поются всякие, без разбора и без всякой системы. Одни поют: «А-ах ты, пташка тинарейка», другие же, послужившие в городе в коридорных или горничных, лупят «Наш Китай страна свободы» или «Когда супруг захочет вдруг» — смесь языческих воззрений с гуманитарными… Вперемежку с песнями дубасят в честь весны друг друга в спину, вспоминают после каждого слова родителей и говорят о недоимках. Дело кончается тем, что подъезжает к толпе урядник и, попрекнув невежеством, приглашает публику сдать назад. В древности же Красная горка праздновалась с разумением. Кавалеры и барышни, сомкнувшись в тесный grand-rond[140], начинали чинно и благородно петь песни — «веснянки», в которых воспевались Сварог, И. С. Аксаков, гром, весенний дождь и проч. Всякий, затягивавший шансонетку или начинавший играть на губах, с позором изгонялся. Содержание «веснянок» тогда могло считаться вполне цензурным: солнце, олицетворенное

[140] Примечания: 140
Большой круг (фр.).

под видом князя, едет к светлой княгине-весне, истребляя на пути ледяные препятствия; в конце концов, когда препятствия обойдены, солнце заключает в свои объятия освобожденную весну — и капитала нет и невинность не соблюдена, но тем не менее трогательно. Теперь же, когда гражданские браки запечатлены презрением всех благомыслящих людей, когда за присвоение не принадлежащего княжеского титула виновные наказуются по всей строгости законов, подобные песни ни печатаемы, ни распеваемы быть не могут.

В наше время на Красной горке обыватели идут на погосты и под видом поминовения родственников устраивают там целые пикники. Поминовения сопровождаются возлияниями и щедрой раздачей куличей, что весьма нравится сверхштатным дьяконам и вдовым псаломщикам, не знающим, «где главу преклонити» и где оскорбленному есть чувству уголок. Но ничем другим не угодила так россиянам Красная горка, как свадебным зудом. После восьминедельного запрещения обыватели входят в такой мариажный азарт, что девицы едва успевают ловить момент, а папаши — отсчитывать прилагательное… Выходят замуж все, в розницу и оптом, и

попадают в число мудрых дев не только достойные, но даже бракованные и уцелевшие после пожаров и наводнений… Такую свадебную эпидемию можно объяснить только атмосферными влияниями и долгим постом… Странно, у нас в пост жениться нельзя, а после Пасхи можно, у евреев же наоборот, в пост можно, после Пасхи нельзя; стало быть, евреи смотрят на брак, как на нечто постное.

В 20 верстах от Кронштадта есть возвышенность, усыпанная красным песком и именуемая Красной горкой. На ней была построена телеграфная станция, и на этой Красной горке женятся одни только телеграфисты. Кстати анекдот. Один немец, член нашей Академии наук, переводя что-то с русского на немецкий, фразу: «он женился на Красной горке», перевел таким образом: «Er heiratete die m-lle Krasnaja Gorka»[141].

[141] Примечания: 141
«Он женился на m-lle Красная Горка» (нем.).

Безнадежный
(Эскиз)

Председатель земской управы Егор Федорыч Шмахин стоял у окна и со злобой барабанил по стеклу пальцами. Медленность, с которой часы и минуты уходили в вечность, приводила его в злобное отчаяние… Два раза ложился он спать и просыпался, раза два принимался обедать, пил раз шесть чай, а день все еще только клонился к вечеру.

Вид, расстилавшийся перед глазами председателя, казался ему серым и скучным. Сквозь голые деревья запущенного сада виднелся крутой глинистый берег… На пол-аршина ниже его бежала выпущенная на волю река. Она спешила и рвалась, словно боялась, чтобы ее не вернули назад и не заключили опять в ледяные оковы. Изредка на глаза Шмахина попадалась запоздавшая белая льдинка, тоже спешившая без оглядки.

— Сесть бы на эту льдину да куда-нибудь… к черту.

По берегу, понурив голову, широко шагал сторож Андриан с длинной острогой в руках и, то и

дело останавливаясь, устремлял свой скучный взор на реку. Около деревьев ходила черная корова и обнюхивала прошлогодние листья… Вся эта маленькая картина вместе с Шмахиным и его усадьбой была покрыта, как большой мохнатой шапкой, тяжелыми, неподвижными облаками, но от нее так и веяло весной… Шмахину же было скучно и душно. Стоял он перед окном, глядел на постылую картину и вспоминал, что под вечер у непременного члена Ряблова составляется винт, что у Марьи Николаевны в этот день празднуется рождение ее Петечки… Поезжай он в одно из этих мест, он и не заметил бы, как прошло бы скучное время… Но как было ехать, если разлившаяся река затопила все дороги и если усадьба была окружена цепью зажор и оврагов, полных воды? Шмахин чувствовал себя, как в тюрьме… Долго стоял он перед окном… Наконец мысль, что у Ряблова сели уже без него винтить и что у Марьи Николаевны уже сидят за чаем и толкуют про холеру и Герат, стала невыносимой. — Тьфу! — послал он по адресу погоды, отошел от окна и сел за круглый стол.

На столе около лампы и пепельницы лежал альбом. Шмахин миллион раз уже видел этот альбом, но от скуки притянул его к себе и в миллион

первый раз стал рассматривать карточки. Пред его глазами замелькали сестрицы, полинявшие тетеньки, офицер с тонкой талией, бабушка в белом чепце, отец Ефимий с матушкой, какая-то актриса в трико, он сам, покойница-жена с болонкой на руках… Взор его на минуту остановился на жене… приподнятые брови, удивленные глаза, тяжелый шиньон, брошка на груди — все это вызвало в нем воспоминания…

— Тьфу!

Часы пробили половину седьмого. Шмахин поднялся с дивана, прошелся из угла в угол и без всякой цели остановился посреди комнаты.

«На станции ежели сидишь и ждешь, — подумал он, — то все-таки надеешься, что вот-вот поезд придет и ты поедешь, а тут и ждать нечего… без конца… хоть вешайся, черрт… Поужинать, что ли? Нет, рано еще, и трескать не хочется… Покурю покуда…»

Идя к жестянке с табаком, он взглянул в угол и на круглом столике заметил шашечную доску.

— Нешто в шашки поиграть? А?

Расставив на доске черные и белые костяшки, Шмахин сел у круглого столика и стал играть сам с собой. Партнерами были правая и левая руки.

— Ты так пошел… Гм… Постой, братец… А я

этак! Лладно-с… увидим-с…

Но левая рука знала, чего хочет правая, и скоро сам Шмахин потерял счет в руках и запутался.

— Илюшка! — крикнул он.

Вошел высокий, худой малый в потертом, засаленном сюртуке и в рваных сапогах с барскими голенищами.

— Ты что там делаешь? — спросил барин.

— Ничего-с… на сундуке сижу…

— Поди в шашки партию сыграем! Садись!

— Что вы-с?.. — ухмылялся Илюшка. — Нешто можно-с?..

— Поди, болван! садись!

— Ничего, мы постоим-с…

— Говорят — садись, ну, и садись! Ты думаешь, мне приятно, ежели ты будешь дубиной торчать?

Илюшка нерешительно и продолжая ухмыляться сел на край стула и застенчиво замигал глазами.

— Ходи!

Илюшка подумал и сделал мизинцем первый ход.

— Вы так пошли… — задумался Шмахин, прикрывая рукой подбородок. — Так-с… Ну, а я этак! Ходи, тля!

Илюшка сделал другой ход.

— Тэк-с… Понимаем, куда ты, харя, лезешь… Понимаем… Как, однако, от тебя луком воняет! Ты этак, а я… этак!

Игра затянулась… Шмахину повезло на первых же порах… он брал шашку за шашкой и лез уже в дамки, но соображать и вникать в игру мешала ему одна неотступная мысль…

«Приятно вести борьбу и победить человека равного, — думал он, — человека, который в общественном смысле стоит с тобой на одной точке… А какой мне интерес Илюшку побеждать? Победишь его или не победишь — один черт: никакого удовольствия… О, взял шашку и улыбается! Приятно барина обыгрывать! Еще бы! Луком воняет, а небось рад старшему напакостить!»

— Пошел вон! — крикнул Шмахин.

— Чево-с?

— Пошел вон!!! — крикнул Шмахин, багровея. — Расселся тут, тварь этакая!

Илюшка выронил из рук шашку, удивленно поглядел на барина и, пятясь назад, вышел из гостиной. Шмахин взглянул на часы: было только без десяти семь… До ужина и до ночи оставалось еще часов пять… В окна застучали крупные дождевые капли… В саду хрипло и тоскливо

промычала черная корова, а шум бегущей реки был так же монотонен и меланхоличен, как и час тому назад. Шмахин махнул рукой и, толкаясь о дверные косяки, поплелся без всякой цели в свой кабинет.

«Боже мой! — думал он. — Другие, ежели скучно, выпиливают, спиритизмом занимаются, мужиков касторкой лечат, дневники пишут, а один я такой несчастный, что у меня нет никакого таланта… Ну, что мне сейчас делать? Что? Председатель я земской управы, почетный мировой судья, сельский хозяин и… все-таки не найду, чем убить время. Разве почитать что-нибудь?»

Шмахин подошел к этажерке, заваленной книжным хламом. Тут были всевозможные судебные указатели, путеводители, растрепанный, но не обрезанный еще журнал «Садоводство», поваренная книга, проповеди, старые журналы… Шмахин нерешительно потянул к себе нумер «Современника» 1859 года и начал его перелистывать…

— «Дворянское гнездо»… Чье это? Ага! Тургенева! Читал… Помню… Забыл, в чем тут дело, стало быть, еще раз можно почитать… Тургенев отлично пишет… мда…

Шмахин разлегся на софе и стал читать… И его

тоскующая душа нашла успокоение в великом писателе. Через десять минут в кабинет вошел на цыпочках Илюшка, подложил под голову барина подушку и снял с его груди раскрытую книгу…

Барин храпел…

Упразднили!

Недавно, во время половодья, помещик, отставной прапорщик Вывертов, угощал заехавшего к нему землемера Катавасова. Выпивали, закусывали и говорили о новостях. Катавасов, как городской житель, обо всем знал: о холере, о войне и даже об увеличении акциза в размере одной копейки на градус. Он говорил, а Вывертов слушал, ахал и каждую новость встречал восклицаниями: «Скажите, однако! Ишь ты ведь! Ааа»...

— А отчего вы нынче без погончиков, Семен Антипыч? — полюбопытствовал он между прочим.

Землемер не сразу ответил. Он помолчал, выпил рюмку водки, махнул рукой и тогда уже сказал:

— Упразднили!

— Ишь ты! Ааа... Я газет-то не читаю и ничего про это не знаю. Стало быть, нынче гражданское ведомство не носит уже погонов? Скажите, однако! А это, знаете ли, отчасти хорошо: солдатики не будут вас с господами офицерами смешивать и честь вам отдавать. Отчасти же, признаться, и нехорошо. Нет уже у вас того вида, сановитости! Нет того благородства!

— Ну, да что! — сказал землемер и махнул рукой. — Внешний вид наружности не составляет важного предмета. В погонах ты или без погонов — это все равно, было бы в тебе звание сохранено. Мы нисколько не обижаемся. А вот вас так действительно обидели, Павел Игнатьич! Могу посочувствовать.

— То есть как-с? — спросил Вывертов. — Кто же меня может обидеть?

— Я насчет того факта, что вас упразднили. Прапорщик хоть и маленький чин, хоть и ни то ни се, но все же он слуга отечества, офицер… кровь проливал. За что его упразднять?

— То есть… извините, я вас не совсем понимаю-с… — залепетал Вывертов, бледнея и делая большие глаза. — Кто же меня упразднял?

— Да разве вы не слыхали? Был такой указ, чтоб прапорщиков вовсе не было. Чтоб ни одного прапорщика! Чтоб и духу их не было! Да разве вы не слыхали? Всех служащих прапорщиков велено в подпоручики произвести, а вы, отставные, как знаете. Хотите, будьте прапорщиками, а не хотите, так и не надо.

— Гм… Кто же я теперь такой есть?

— А бог вас знает, кто вы. Вы теперь — ничего, недоумение, эфир! Теперь вы и сами не разберете,

кто вы такой.

Вывертов хотел спросить что-то, но не смог. Под ложечкой у него похолодело, колени подогнулись, язык не поворачивался. Как жевал колбасу, так она и осталась у него во рту не разжеванной.

— Нехорошо с вами поступили, что и говорить! — сказал землемер и вздохнул. — Все хорошо, но этого мероприятия одобрить не могу. То-то, небось, теперь в иностранных газетах! А?

— Опять-таки я не понимаю… — выговорил Вывертов. — Ежели я теперь не прапорщик, то кто же я такой? Никто? Нуль? Стало быть, ежели я вас понимаю, мне может теперь всякий сгрубить, может на меня тыкнуть?

— Этого уж я не знаю. Нас же принимают теперь за кондукторов! Намедни начальник движения на здешней дороге идет, знаете ли, в своей инженерной шинели, по-нынешнему без погонов, а какой-то генерал и кричит: «Кондуктор, скоро ли поезд пойдет?» Вцепились! Скандал! Об этом в газетах нельзя писать, но ведь… всем известно! Шила в мешке не утаишь!

Вывертов, ошеломленный новостью, уж больше не пил и не ел. Раз попробовал он выпить холодного квасу, чтобы прийти в чувство, но квас остановился поперек горла и — назад.

Проводив землемера, упраздненный прапорщик заходил по всем комнатам и стал думать. Думал, думал и ничего не надумал. Ночью он лежал в постели, вздыхал и тоже думал.

— Да будет тебе мурлыкать! — сказала жена Арина Матвеевна и толкнула его локтем. — Стонет, словно родить собирается! Может быть, это еще и неправда. Ты завтра съезди к кому-нибудь и спроси. Тряпка!

— А вот как останешься без звания и титула, тогда тебе и будет тряпка. Развалилась тут, как белуга, и — тряпка! Не ты, небось, кровь проливала!

На другой день, утром, всю ночь не спавший Вывертов запряг своего каурого в бричку и поехал наводить справки. Решил он заехать к кому-нибудь из соседей, а ежели представится надобность, то и к самому предводителю. Проезжая через Ипатьево, он встретился там с протоиереем Пафнутием Амаликитянским. Отец протоиерей шел от церкви к дому и, сердито помахивая жезлом, то и дело оборачивался к шедшему за ним дьячку и бормотал: «Да и дурак же ты, братец! Вот дурак!»

Вывертов вылез из брички и подошел под благословение.

— С праздником вас, отец протоиерей! — поздравил он, целуя руку. — Обедню изволили служить-с?

— Да, литургию.

— Так-с… У всякого свое дело! Вы стадо духовное пасете, мы землю удобряем по мере сил. А отчего вы сегодня без орденов?

Батюшка вместо ответа нахмурился, махнул рукой и зашагал дальше.

— Им запретили! — пояснил дьячок шепотом.

Вывертов проводил глазами сердито шагавшего протоиерея, и сердце его сжалось от горького предчувствия: сообщение, сделанное землемером, казалось теперь близким к истине!

Прежде всего заехал он к соседу майору Ижице, и когда его бричка въезжала в майорский двор, он увидел картину. Ижица в халате и турецкой феске стоял посреди двора, сердито топал ногами и размахивал руками. Мимо него взад и вперед кучер Филька водил хромавшую лошадь.

— Негодяй! — кипятился майор. — Мошенник! Каналья! Повесить тебя мало, анафему! Афганец! Ах, мое вам почтение! — сказал он, увидев Вывертова. — Очень рад вас видеть. Как вам это нравится? Неделя уж, как ссадил лошади ногу, и молчит, мошенник! Ни слова! Не догляди я сам,

пропало бы к черту копыто! А? Каков народец? И его не бить по морде? Не бить? Не бить, я вас спрашиваю?

— Лошадка славная, — сказал Вывертов, подходя к Ижице. — Жалко! Вы, майор, за коновалом пошлите. У меня, майор, на деревне есть отличный коновал!

— Майор… — проворчал Ижица, презрительно улыбаясь. — Майор!.. Не до шуток мне! У меня лошадь заболела, а вы: майор! майор! Точно галка: крр!.. крр!

— Я вас, майор, не понимаю. Нешто можно благородного человека с галкой сравнивать?

— Да какой же я майор? Нешто я майор?

— Кто же вы?

— А черт меня знает, кто я! — сказал Ижица. — Уж больше года, как майоров нет. Да вы что же это? Вчера только родились, что ли?

Вывертов с ужасом поглядел на Ижицу и стал отирать с лица пот, предчувствуя что-то очень недоброе.

— Однако позвольте же… — сказал он. — Я вас все-таки не понимаю. Майор ведь чин значительный!

— Да-с!!!

— Так как же это? И вы… ничего?



Майор только махнул рукой и начал рассказывать ему, как подлец Филька сшиб лошади копыто, рассказывал длинно и в конце концов даже к самому лицу его поднес больное копыто с гноящейся ссадиной и навозным пластырем, но Вывертов не понимал, не чувствовал и глядел на все, как сквозь решетку. Бессознательно он простился, влез в свою бричку и крикнул с отчаянием:

— К предводителю! Живо! Лупи кнутом!

Предводитель, действительный статский советник Ягодышев, жил недалеко. Через какой-нибудь час Вывертов входил к нему в кабинет и кланялся. Предводитель сидел на софе и читал

«Новое время». Увидев входящего, он кивнул головой и указал на кресло.

— Я, ваше превосходительство, — начал Вывертов, — должен был сначала представиться вам, но, находясь в неведении касательно своего звания, осмеливаюсь прибегнуть к вашему превосходительству за разъяснением…

— Позвольте-с, почтеннейший, — перебил его предводитель. — Прежде всего не называйте меня превосходительством. Прошу-с!

— Что вы-с… Мы люди маленькие…

— Не в том дело-с! Пишут вот… (предводитель ткнул в «Новое время» и проткнул его пальцем) пишут вот, что мы, действительные статские советники, не будем уж более превосходительствами. За достоверное сообщают-с! Что ж? И не нужно, милостивый государь! Не нужно! Не называйте! И не надо!

Ягодышев встал и гордо прошелся по кабинету… Вывертов испустил вздох и уронил на пол фуражку.

«Уж ежели до них добрались, — подумал он, — то о прапорщиках да о майорах и спрашивать нечего. Уйду лучше…»

Вывертов пробормотал что-то и вышел, забыв в кабинете предводителя фуражку. Через два часа

он приехал к себе домой бледный, без шапки, с тупым выражением ужаса на лице. Вылезая из брички, он робко взглянул на небо: не упразднили ли уж и солнца? Жена, пораженная его видом, забросала его вопросами, но на все вопросы он отвечал только маханием руки…

Неделю он не пил, не ел, не спал, а как шальной ходил из угла в угол и думал. Лицо его осунулось, взоры потускнели… Ни с кем он не заговаривал, ни к кому ни за чем не обращался, а когда Арина Матвеевна приставала к нему с вопросами, он только отмахивался рукой и — ни звука… Уж чего только с ним не делали, чтобы привести его в чувство! Поили его бузиной, давали «на внутрь» масла из лампадки, сажали на горячий кирпич, но ничто не помогало, он хирел и отмахивался. Позвали, наконец, для вразумления отца Пафнутия. Протоиерей полдня бился, объясняя ему, что все теперь клонится не к уничижению, а к возвеличению, но доброе семя его упало на неблагодарную почву. Взял пятерку за труды, да так и уехал, ничего не добившись.

Помолчав неделю, Вывертов как будто бы заговорил.

— Что ж ты молчишь, харя? — набросился он внезапно на казачка Илюшку. — Груби! Издевай-

ся! Тыкай на уничтоженного! Торжествуй!

Сказал это, заплакал и опять замолчал на неделю. Арина Матвеевна решила пустить ему кровь. Приехал фельдшер, выпустил из него две тарелки крови, и от этого словно бы полегчало. На другой день после кровопролития Вывертов подошел к кровати, на которой лежала жена, и сказал:

— Я, Арина, этого так не оставлю. Теперь я на все решился… Чин я свой заслужил, и никто не имеет полного права на него посягать. Я вот что надумал: напишу какому-нибудь высокопоставленному лицу прошение и подпишусь: прапорщик такой-то… пра-пор-щик… Понимаешь? Назло! Пра-пор-щик… Пускай! Назло!

И эта мысль так понравилась Вывертову, что он просиял и даже попросил есть. Теперь он, озаренный новым решением, ходит по комнатам, язвительно улыбается и мечтает:

— Пра-пор-щик… Назло!

В номерах

— Послушайте, милейший! — набросилась на хозяина багровая и брызжущая жилица 47-го номера, полковница Нашатырина. — Или дайте мне другой номер, или же я совсем уеду из ваших проклятых номеров! Это вертеп! Помилуйте, у меня дочери взрослые, а тут день и ночь одни только мерзости слышишь! На что это похоже? День и ночь! Иной раз он такое выпалит, что просто уши вянут! Просто как извозчик! Хорошо еще, что мои бедные девочки ничего не понимают, а то хоть на улицу с ними беги. Он и сейчас что-то говорит! Вы послушайте!

— Я, братец ты мой, еще лучше случай знаю, — донесся хриплый бас из соседнего номера. — Помнишь ты поручика Дружкова? Так вот этот самый Дружков делает однажды клопштосом желтого в угол и по обыкновению, знаешь, высоко ногу задрал… Вдруг что-то: трррресь! Думали сначала, что он на бильярде сукно порвал, а как поглядели, братец ты мой, у него Соединенные Штаты по всем швам! Так высоко задрал, бестия, ногу, что ни одного шва не осталось… Ха-ха-ха. А тут в это время дамы были… между прочим,

жена этой слюни — подпоручика Окурина… Окурин взбеленился… Как он, мол, смеет вести себя неприлично при его жене? Слово за слово… знаешь, ведь, наших!.. Посылает Окурин к Дружкову секундантов, а Дружков не будь глуп и скажи… ха-ха-ха… и скажи: «Пусть он посылает не ко мне, а к портному, который шил мне эти штаны. Он ведь виноват!» — Ха-ха-ха… Ха-ха-ха!

Лиля и Мила, дочки полковницы, сидевшие у окна и подпиравшие кулаками пухлые щеки, потупили заплывшие глазки и вспыхнули.

— Теперь вы слышали? — продолжала Нашатырина, обращаясь к хозяину. — И это, по-вашему, ничего? Я, милостивый государь, полковница! Муж мой воинским начальником! Я не позволю, чтобы почти в моем присутствии какой-нибудь извозчик говорил такие мерзости!

— Он, сударыня, не извозчик, а штабс-капитан Кикин… Из благородных-с.

— Если он забыл свое благородство до такой степени, что выражается, как извозчик, то он заслуживает еще большего презрения! Одним словом, не рассуждайте, а извольте принять меры!

— Но что же я могу сделать, сударыня? Не вы одни жалуетесь, все жалуются, — да что же я с

ним сделаю? Придешь к нему в номер и начнешь стыдить: «Ганнибал Иваныч! Бога побойтесь! Совестно!», а он сейчас к лицу с кулаками и разные слова: «На-кося выкуси» и прочее. Безобразие! Проснется утром и давай ходить по коридору в одном, извините, нижнем. А то вот возьмет револьвер в пьяном виде и давай садить пули в стену. Днем винище трескает, ночью в карты режется… А после карт драка… От жильцов совестно!



— Что же вы не откажете этому негодяю?

— Да нешто выкуришь этакого? Задолжал за три месяца, уж мы и денег не просим, уходи только, сделай милость… Мировой присудил ему номер очистить, а он и на апелляцию и на кассацию, да так и тянет… Горе да и только! Господи, а человек-то какой! Молодой, красивый,

умственный… Когда не выпивши, лучше и человека не надо. Намедни пьян не был и весь день родителям письма писал.

— Бедные родители! — вздохнула полковница.

— Известно, бедные! Нешто приятно иметь такого лодыря? И ругают его, и из номеров гонят, и нет того дня, чтоб за скандалы не судился. Горе!

— Бедная, несчастная жена! — вздохнула полковница.

— Он, сударыня, не женат. Где уж ему! Была бы цела одна голова — и за то благодарить бога.

Полковница прошлась из угла в угол.

— Не женатый, вы говорите? — спросила она.

— Никак нет, сударыня.

Полковница опять прошлась из угла в угол и подумала немного.

— Гм!.. Не женат… — проговорила она в раздумье. — Гм!.. Лиля и Мила, не сидите у окна — сквозит! Как жаль! Молодой человек и так себя распустил! А все отчего? Влияния хорошего нет! Нет матери, которая бы… Не женат? Ну, вот… так и есть… Пожалуйста, будьте так добры, — продолжала полковница мягко, подумав, — сходите к нему и от моего имени попросите, чтобы он… воздержался от выражений… Скажите: полковница Нашатырина просила… С дочерями,

скажите, в 47-м номере живет… из своего имения приехала…

— Слушаю-с.

— Так и скажите: полковница с дочерями. Пусть хоть придет извиниться… Мы после обеда всегда дома. Ах, Мила, закрой окно!

— Ну, на что вам, мама, сдался этот… забулдыга? — протянула Лиля по уходе хозяина. — Нашли кого приглашать! Пьяница, буян, оборванец!

— Ах, не говори, ma chère![142]… Вы вечно так говорите, ну и… сидите вот! Что ж? Какой бы он ни был, а все же пренебрегать не следует… Всяк злак на пользу человека. Кто знает? — вздохнула полковница, заботливо оглядывая дочерей. — Может быть, тут ваша судьба. Оденьтесь же на всякий случай…

---

[142] Примечания: 142
Моя дорогая!.. (фр.).

Канитель

На клиросе стоит дьячок Отлукавин и держит между вытянутыми жирными пальцами огрызенное гусиное перо. Маленький лоб его собрался в морщины, на носу играют пятна всех цветов, начиная от розового и кончая темно-синим. Перед ним на рыжем переплете Цветной триоди лежат две бумажки. На одной из них написано «о здравии», на другой — «за упокой», и под обоими заглавиями по ряду имен. Около клироса стоит маленькая старушонка с озабоченным лицом и с котомкой на спине. Она задумалась.

— Дальше кого? — спрашивает дьячок, лениво почесывая за ухом. — Скорей, убогая, думай, а то мне некогда. Сейчас часы читать стану.

— Сейчас, батюшка… Ну, пиши… О здравии рабов божиих: Андрея и Дарьи со чады… Митрия, опять Андрея, Антипа, Марьи…

— Постой, не шибко… Не за зайцем скачешь, успеешь.

— Написал Марию? Ну, таперя Кирилла, Гордея, младенца новопреставленного Герасима, Пантелея… Записал усопшего Пантелея?

— Постой… Пантелей помер?

— Помер… — вздыхает старуха.

— Так как же ты велишь о здравии записывать? — сердится дьячок, зачеркивая Пантелея и перенося его на другую бумажку. — Вот тоже еще… Ты говори толком, а не путай. Кого еще за упокой?

— За упокой? Сейчас… постой… Ну, пиши… Ивана, Авдотью, еще Дарью, Егора… Запиши… воина Захара… Как пошел на службу в четвертом годе, так с той поры и не слыхать…

— Стало быть, он помер?

— А кто ж его знает? Может, помер, а может, и жив… Ты пиши…

— Куда же я его запишу? Ежели, скажем, помер, то за упокой, коли жив, то о здравии… Пойми вот вашего брата!

— Гм!.. Ты, родименький, его на обе записочки запиши, а там видно будет. Да ему все равно, как его ни записывай: непутящий человек… пропащий… Записал? Таперя за упокой Марка, Левонтия, Арину… ну, и Кузьму с Анной… болящую Федосью…

— Болящую-то Федосью за упокой? Тю!

— Это меня-то за упокой? Ошалел, что ли?

— Тьфу! Ты, кочерыжка, меня запутала! Не померла еще, так и говори, что не померла, а нечего

в за упокой лезть! Путаешь тут! Изволь вот теперь Федосью херить и в другое место писать… всю бумагу изгадил! Ну, слушай, я тебе прочту… О здравии Андрея, Дарьи со чады, паки Андрея, Антипия, Марии, Кирилла, новопреставленного младенца Гер… Постой, как же сюда этот Герасим попал? Новопреставленный, и вдруг — о здравии! Нет, запутала ты меня, убогая! Бог с тобой, совсем запутала!



Дьячок крутит головой, зачеркивает Герасима и переносит его в заупокойный отдел.

— Слушай! О здравии Марии, Кирилла, воина Захарии… Кого еще?

— Авдотью записал?

— Авдотью? Гм… Авдотью… Евдокию. — пересматривает дьячок обе бумажки. — Помню, записывал ее, а теперь шут ее знает… никак не найдешь… Вот она! За упокой записана!

— Авдотью-то за упокой? — удивляется старуха. — Году еще нет, как замуж вышла, а ты на нее уж смерть накликаешь!.. Сам вот, сердешный, путаешь, а на меня злобишься. Ты с молитвой пиши, а коли будешь в сердце злобу иметь, то бесу радость. Это тебя бес хороводит да путает…

— Постой, не мешай…

Дьячок хмурится и, подумав, медленно зачеркивает на заупокойном листе Авдотью. Перо на букве «д» взвизгивает и дает большую кляксу. Дьячок конфузится и чешет затылок.

— Авдотью, стало быть, долой отсюда… — бормочет он смущенно, — а записать ее туда… Так? Постой. Ежели ее туда, то будет о здравии, ежели же сюда, то за упокой… Совсем запутала баба! И этот еще воин Захария встрял сюда… Шут его принес… Ничего не разберу! Надо сызнова…

Дьячок лезет в шкапчик и достает оттуда осьмушку чистой бумаги.

— Выкинь Захарию, коли так… — говорит старуха. — Уж бог с ним, выкинь…

— Молчи!

Дьячок макает медленно перо и списывает с обеих бумажек имена на новый листок.

— Я их всех гуртом запишу, — говорит он, — а ты неси к отцу дьякону… Пущай дьякон разберет, кто здесь живой, кто мертвый; он в семинарии обучался, а я этих самых делов… хоть убей, ничего не понимаю.

Старуха берет бумажку, подает дьячку старинные полторы копейки и семенит к алтарю.

Жизнь прекрасна!
(Покушающимся на самоубийство)

Жизнь пренеприятная штука, но сделать ее прекрасной очень нетрудно. Для этого недостаточно выиграть 200 000, получить Белого Орла, жениться на хорошенькой, прослыть благонамеренным — все эти блага тленны и поддаются привычке. Для того, чтобы ощущать в себе счастье без перерыва, даже в минуты скорби и печали, нужно: а) уметь довольствоваться настоящим и б) радоваться сознанию, что «могло бы быть и хуже». А это нетрудно:

Когда у тебя в кармане загораются спички, то радуйся и благодари небо, что у тебя в кармане не пороховой погреб.

Когда к тебе на дачу приезжают бедные родственники, то не бледней, а торжествуя восклицай: «Хорошо, что это не городовые!»

Когда в твой палец попадает заноза, радуйся: «Хорошо, что не в глаз!»

Если твоя жена или свояченица играет гаммы, то не выходи из себя, а не находи себе места от радости, что ты слушаешь игру, а не вой шакалов

или кошачий концерт.

Радуйся, что ты не лошадь конножелезки, не коховская «запятая», не трихина, не свинья, не осел, не медведь, которого водят цыгане, не клоп… Радуйся, что ты не хромой, не слепой, не глухой, не немой, не холерный. Радуйся, что в данную минуту ты не сидишь на скамье подсудимых, не видишь пред собой кредитора и не беседуешь о гонораре с Турбой.

Если ты живешь в не столь отдаленных местах, то разве нельзя быть счастливым от мысли, что тебя не угораздило попасть в столь отдаленные?

Если у тебя болит один зуб, то ликуй, что у тебя болят не все зубы.

Радуйся, что ты имеешь возможность не читать «Гражданина», не сидеть на ассенизационной бочке, не быть женатым сразу на трех…

Когда ведут тебя в участок, то прыгай от восторга, что тебя ведут не в геенну огненную.

Если тебя секут березой, то дрыгай ногами и восклицай: «Как я счастлив, что меня секут не крапивой!»

Если жена тебе изменила, то радуйся, что она изменила тебе, а не отечеству.

И так далее. Последуй, человече, моему совету, и жизнь твоя будет состоять из сплошного

ликования.

На гулянье в Сокольниках

День 1 мая клонился к вечеру. Шепот сокольницких сосен и пение птиц заглушены шумом экипажей, говором и музыкой. Гулянье в разгаре. За одним из чайных столов Старого Гулянья сидит парочка: мужчина в лоснящемся цилиндре и дама в голубой шляпке. Пред ними на столе кипящий самовар, пустая водочная бутылка, чашки, рюмки, порезанная колбаса, апельсинные корки и проч. Мужчина пьян жестоко… Он сосредоточенно глядит на апельсинную корку и бессмысленно улыбается.

— Натрескался, идол! — бормочет дама сердито, конфузливо озираясь. — Ты бы, прежде чем пить, рассудил бы, бесстыжие твои глаза. Мало того, что людям противно на тебя глядеть, ты и себе самому всякое удовольствие испортил. Пьешь, например, чай, а какой у тебя теперь вкус? Для тебя теперь что мармелад, что колбаса — все равно… А я-то старалась, брала чего бы получше…

Бессмысленная улыбка на лице мужчины сменяется выражением крайней скорби.

— М-маша, куда это людей ведут?

— Никуда их не ведут, а они сами гуляют.

— А зачем городовой идет?

— Городовой? Для порядка, а может быть, и гуляет… Эка, до чего допился, уж ничего и не смыслит!

— Я… я ничего… Я художник… жанрист…

— Молчи! Натрескался, ну и молчи… Ты, чем бормотать, рассуди лучше… Кругом деревья зеленые, травка, птички на разные голоса… А ты без внимания, словно тебя и нет тут… Глядишь и как в тумане… Художники норовят теперь природу подмечать, а ты — как зюзя…

— Природа… — говорит мужчина и крутит головой.

— Пр-рирода… Птички поют… крокодилы ползают… львы… тигры…

— Мели, мели… Все люди как люди… под ручку гуляют, музыку слушают, один ты в безобразии. И когда это ты успел? Как это я недоглядела?..

— М-маша, — бормочет цилиндр, бледнея. — Скорей…

— Чего тебе?

— Домой желаю… Скорей…

— Погоди… Потемнеет, тогда и пойдем, а теперь совестно идти: качаться будешь… Люди смеяться станут… Сиди и жди…

— Н-не могу! Я… я домой…

Мужчина быстро поднимается и, качаясь, выходит из-за стола. Публика, сидящая на других столах, начинает посмеиваться… Дама конфузится…

— Убей меня бог, ежели еще хоть раз с тобой пойду, — бормочет она, поддерживая мужчину. — Один срам только… Добро бы законный был, а то так… с ветру…

— М-маша, где мы?

— Молчи! Постыдился бы, все люди пальцами показывают. Тебе-то, как с гуся вода, а мне-то каково? Добро бы законный был, а то… так… Даст рубль и месяц попрекает: «Я тебя кормлю! Я тебя содержу!» Очень мне нужно! Да плевать я хотела на твои деньги! Возьму и уйду к Павлу Иванычу…

— М-маша… домой… Извозчика найми…

— Ну, иди… Ступай по аллее прямо, а я пойду в сторонке… Мне с тобой совестно идти… Иди прямо!

Дама ставит своего «незаконного» лицом к выходу и дает ему легкий толчок в спину. Мужчина подается вперед и, покачиваясь, толкаясь о проходящих и скамьи, спешит вперед… Дама идет позади и следит за его движениями. Она сконфужена и встревожена.

— Палочек, сударь, не желаете ли? — обращается к шагающему мужчине человек с вязанкой палок и тростей. — Самые лучшие… перцовые… бамбук-с…

Мужчина глупо глядит на продавца палок, потом поворачивает назад и мчится в противоположную сторону. На лице у него выражение ужаса.

— Куда это тебя нелегкая несет? — останавливает его дама, хватая за рукав. — Ну, куда?

— Где Маша?.. М-маша ушла…

— А я-то кто?

Дама берет под руку мужчину и ведет его к выходу. Ей совестно.

— Убей меня бог, ежели хоть еще раз с тобой пойду… — бормочет она, вся красная от стыда. — Последний раз терплю такой срам… Накажи меня бог… Завтра же уйду к Павлу Иванычу!

Дама робко поднимает глаза на публику, в ожидании увидеть на лицах насмешливые улыбки. Но видит она одни только пьяные лица. Все качаются и клюют носами. И ей становится легче.

Женщина с точки зрения пьяницы



Женщина есть опьяняющий продукт, который до сих пор еще не догадались обложить акцизным сбором. На случай, если когда-нибудь догадаются, предлагаю смету крепости означенного продукта в различные периоды его существования, беря в основу не количество градусов, а сравнение его с более или менее известными напитками:

Женщина до 16 лет — дистиллированная вода.

16 лет — ланинская фруктовая.

От 17 до 20 — шабли и шато д’икем.

От 20 до 23 — токайское.

От 23 до 26 — шампанское.

26 и 27 лет — мадера и херес.

28 — коньяк с лимоном.

От 29 до 32 — ликеры.

От 32 до 35 — пиво завода «Вена».

От 35 до 40 — квас.

От 40 до 100 лет — сивушное масло.

Если же единицей меры взять не возраст, а семейное положение, то:

Жена — зельтерская вода.

Теща — огуречный рассол.

Прелестная незнакомка — рюмка водки перед завтраком.

Вдовушка от 23 до 28 лет — мускат-люнель и марсала.

Вдовушка от 28 и далее — портер.

Старая дева — лимон без коньяка.

Невеста — розовая вода.

Тетенька — уксус.

Все женщины, взятые вместе — подкисленное, подсахаренное, подкрашенное суриком и сильно разбавленное «кахетинское» братьев Елисеевых.

Последняя могиканша

Я и помещик отставной штаб-ротмистр Докукин, у которого я гостил весною, сидели в одно прекрасное весеннее утро в бабушкиных креслах и лениво глядели в окно. Скука была ужасная.

— Тьфу! — бормотал Докукин. — Такая тоска, что судебному приставу рад будешь!

«Спать улечься, что ли?» — думал я.

И думали мы на тему о скуке долго, очень долго, до тех пор, пока сквозь давно немытые, отливавшие радугой оконные стекла не заметили маленькой перемены, происшедшей в круговороте вселенной: петух, стоявший около ворот на куче прошлогодней листвы и поднимавший то одну ногу, то другую (ему хотелось поднять обе ноги разом), вдруг встрепенулся и, как ужаленный, бросился от ворот в сторону.

— Кто-то идет или едет… — улыбнулся Докукин. — Хоть бы гостей нелегкая принесла. Все-таки повеселее бы…

Петух не обманул нас. В воротах показалась сначала лошадиная голова с зеленой дугой, затем целая лошадь и, наконец, темная, тяжелая бричка с большими безобразными крыльями,

напоминавшими крылья жука, когда последний собирается лететь. Бричка въехала во двор, неуклюже повернула налево и с визгом и тарахтеньем покатила к конюшне. В ней сидели две человеческие фигуры: одна женская, другая, поменьше — мужская.

— Черт возьми… — пробормотал Докукин, глядя на меня испуганными глазами и почесывая висок. — Не было печали, так вот черти накачали. Недаром я сегодня во сне печь видел.

— А что? Кто это приехал?

— Сестрица с мужем, чтоб их…

Докукин поднялся и нервно прошелся по комнате.

— Даже под сердцем похолодело… — проворчал он. — Грешно не иметь к родной сестре родственных чувств, но — верите ли? — легче мне с разбойничьим атаманом в лесу встретиться, чем с нею. Не спрятаться ли нам? Пусть Тимошка соврет, что мы на съезд уехали.

Докукин стал громко звать Тимошку. Но поздно было лгать и прятаться. Через минуту в передней послышалось шушуканье: женский бас шептался с мужским тенорком.

— Поправь мне внизу оборку! — говорил женский бас. — Опять ты не те брюки надел!

— Синие брюки вы дяденьке Василию Антипычу отдали-с, а пестрые приказали мне до зимы спрятать, — оправдывался тенорок. — Шаль за вами нести или тут прикажете оставить?

Дверь наконец отворилась, и в комнату вошла дама лет сорока, высокая, полная, рассыпчатая, в шелковом голубом платье. На ее краснощеком весноватом лице было написано столько тупой важности, что я сразу как-то почувствовал, почему ее так не любит Докукин. Вслед за полной дамой семенил маленький, худенький человечек в пестром сюртучке, широких панталонах и бархатной жилетке, — узкоплечий, бритый, с красным носиком. На его жилетке болталась золотая цепочка, похожая на цепь от лампадки. В его одежде, движениях, носике, во всей его нескладной фигуре сквозило что-то рабски приниженное, пришибленное… Барыня вошла и, как бы не замечая нас, направилась к иконам и стала креститься.

— Крестись! — обернулась она к мужу.

Человечек с красным носиком вздрогнул и начал креститься.

— Здравствуй, сестра! — сказал Докукин, обращаясь к даме, когда та кончила молиться, и вздохнул.

Дама солидно улыбнулась и потянула свои губы к губам Докукина.

Человечек тоже полез целоваться.

— Позвольте представить… Моя сестра Олимпиада Егоровна Хлыкина… Ее муж Досифей Андреич. А это мой хороший знакомый…

— Очень рада, — сказала протяжно Олимпиада Егоровна, не подавая мне руки. — Очень рада…

Мы сели и минуту помолчали.

— Чай, не ждал гостей? — начала Олимпиада Егоровна, обращаясь к Докукину. — Я и сама не думала быть у тебя, братец, да вот к предводителю еду, так мимоездом…

— А зачем к предводителю едешь? — спросил Докукин.

— Зачем? Да вот на него жаловаться! — кивнула дама на своего мужа.

Досифей Андреич потупил глазки, поджал ноги под стул и конфузливо кашлянул в кулак.

— За что же на него жаловаться?

Олимпиада Егоровна вздохнула.

— Звание свое забывает! — сказала она. — Что ж? Жалилась я и тебе, братец, и его родителям, и к отцу Григорию его возила, чтоб наставление ему прочел, и сама всякие меры принимала, ничего же не вышло! Поневоле приходится господина

предводителя беспокоить…

— Но что же он сделал такое?

— Ничего не сделал, а звания своего не помнит! Он, положим, не пьющий, смиренный, уважительный, но что с того толку, ежели он не помнит своего звания! Погляди-ка, сгорбившись сидит, словно проситель какой или разночинец. Нешто дворяне так сидят? Сиди как следует! Слышишь?

Досифей Андреич вытянул шею, поднял вверх подбородок, вероятно, для того, чтобы сесть как следует, и пугливо, исподлобья поглядел на жену. Так глядят маленькие дети, когда бывают виноваты. Видя, что разговор принимает характер интимный, семейный, я поднялся, чтобы выйти. Хлыкина заметила мое движение.

— Ничего, сидите! — остановила она меня. — Молодым людям полезно это слушать. Хоть мы и не ученые, но больше вас пожили. Дай бог всем так пожить, как мы жили. А мы, братец, уж у вас и пообедаем заодно, — повернулась Хлыкина к брату. — Но небось сегодня у вас скоромное готовили. Чай, ты и не помнишь, что нынче среда… — Она вздохнула. — Нам уж прикажи постное изготовить. Скоромного мы есть не станем, это как тебе угодно, братец.

Докукин позвал Тимошку и заказал постный

обед.

— Пообедаем и к предводителю… — продолжала Хлыкина. — Буду его молить, чтоб он обратил внимание. Его дело глядеть, чтоб дворяне с панталыку не сбивались…

— Да нешто Досифей сбился? — спросил Докукин.

— Словно ты в первый раз слышишь, — нахмурилась Хлыкина. — И то, правду сказать, тебе все равно… Ты-то и сам не слишком свое звание помнишь… А вот мы господина молодого человека спросим. Молодой человек, — обратилась она ко мне, — по-вашему, это хорошо, ежели благородный человек со всякою шушвалью компанию водит?

— Смотря с кем… — замялся я.

— Да хоть бы с купцом Гусевым. Я этого Гусева и к порогу не допускаю, а он с ним в шашки играет да закусывать к нему ходит. Нешто прилично ему с писарем на охоту ходить? О чем он может с писарем разговаривать? Писарь не только что разговаривать, пискнуть при нем не смей, — ежели желаете знать, милостивый государь!

— Характер у меня слабый. — прошептал Досифей Андреич.

— А вот я покажу тебе характер! — погрози-

ла ему жена, сердито стуча перстнем о спинку стула. — Я не дозволю тебе нашу фамилию конфузить! Хоть ты и муж мне, а я тебя осрамлю! Ты должен понимать! Я тебя в люди вывела! Ихний род Хлыкиных, сударь, захудалый род, и ежели я, Докукина урожденная, вышла за него, так он это ценить должен и чувствовать! Он мне, сударь, не дешево стоит, ежели желаете знать! Что мне стоило его на службу определить! Спросите-ка у него! Ежели желаете знать, так мне один только его экзамен на первый чин триста рубликов стоил! А из-за чего хлопочу? Ты думаешь, тетеря, я из-за тебя хлопочу? Не думай! Мне фамилия рода нашего дорога! Ежели б не фамилия, так ты у меня давно бы на кухне сгнил, ежели желаешь знать!

Бедный Досифей Андреич слушал, молчал и только пожимался, не знаю, отчего — от страха или срама. И за обедом не оставляла его в покое строгая супруга. Она не спускала с него глаз и следила за каждым его движением.

— Посоли себе суп! Не так ложку держишь! Отодвинь от себя салатник, а то рукавом зацепишь! Не мигай глазами!

А он торопливо ел и ежился под ее взглядом, как кролик под взглядом удава. Ел он с женой постное и то и дело взглядывал с вожделением

на наши котлетки.

— Молись! — сказала ему жена после обеда. — Благодари братца.

Пообедав, Хлыкина пошла в спальню отдохнуть. По уходе ее Докукин схватил себя за волосы и заходил по комнате.

— Ну, да и несчастный же ты, братец, человек! — сказал он Досифею, тяжело переводя дух. — Я час посидел с ней — замучился; каково же тебе-то с ней дни и ночи… ах! Мученик ты, мученик несчастный! Младенец ты вифлеемский, Иродом убиенный!

Досифей замигал глазками и проговорил:

— Строги они, это действительно-с, но должен я за них денно и нощно бога молить, потому — кроме благодеяний и любви я от них ничего не вижу.

— Пропащий человек! — махнул рукой Докукин. — А когда-то речи в собраниях говорил, новую сеялку изобретал! Заездила ведьма человека! Эхх!

— Досифей! — послышался женский бас. — Где же ты? Поди сюда, мух от меня отгоняй!

Досифей Андреич вздрогнул и на цыпочках побежал в спальню…

— Тьфу! — плюнул ему вслед Докукин.

Дипломат
(Сценка)

Жена титулярного советника Анна Львовна Кувалдина испустила дух.

— Как же теперь быть-то? — начали совещаться родственники и знакомые. — Надо бы мужа уведомить. Он хоть не жил с нею, но все-таки любил покойницу. Намеднись приезжал к ней, на коленках ползал и все: «Анночка! Когда же наконец ты простишь мне увлечение минуты?» И все в таком, знаете, роде. Надо дать знать…

— Аристарх Иваныч! — обратилась заплаканная тетенька к полковнику Пискареву, принимавшему участие в родственном совещании. — Вы друг Михаилу Петровичу. Сделайте милость, съездите к нему в правление и дайте ему знать о таком несчастье!.. Только вы, голубчик, не сразу, не оглоушьте, а то как бы и с ним чего не случилось. Болезненный. Вы подготовьте его сначала, а потом уж…

Полковник Пискарев надел фуражку и отправился в правление дороги, где служил новоиспеченный вдовец. Застал он его за выведением

баланса.

— Михайлу Петровичу, — начал он, подсаживаясь к столу Кувалдина и утирая пот. — Здорово, голубчик! Да и пыль же на улицах, прости господи! Пиши, пиши… Я мешать не стану… Посижу и уйду. Шел, знаешь, мимо и думаю: а ведь здесь Миша служит! Дай зайду! Кстати же и тово… дельце есть.

— Посидите, Аристарх Иваныч… Погодите… Я через четверть часика кончу, тогда и потолкуем…

— Пиши, пиши. Я ведь так только, гуляючи. Два словечка скажу и — айда!

Кувалдин положил перо и приготовился слушать. Полковник почесал у себя за воротником и продолжал:

— Душно у вас здесь, а на улице чистый рай…

Солнышко, ветерочек этакий, знаешь ли… птички… Весна! Иду себе по бульвару, и так мне, знаешь ли, хорошо!.. Человек я независимый, вдовый… Куда хочу, туда и иду… Хочу — в портерную зайду, хочу — на конке взад и вперед проедусь, и никто не смеет меня остановить, никто за мной дома не воет… Нет, брат, и лучше житья, как на холостом положении… Вольно! Свободно! Дышишь и чувствуешь, что дышишь! Приду сейчас

домой и никаких… Никто не посмеет спросить, куда ходил… Сам себе хозяин… Многие, братец ты мой, хвалят семейную жизнь, по-моему же она хуже каторги… Моды эти, турнюры, сплетни, визг… то и дело гости… детишки один за другим так и ползут на свет божий… расходы… Тьфу!

— Я сейчас, — проговорил Кувалдин, берясь за перо. — Кончу и тогда…

— Пиши, пиши… Хорошо, если жена попадется не дьяволица, ну а ежели сатана в юбке? Ежели такая, что по целым дням стрекозит да зудит?.. Взвоешь! Взять хоть тебя к примеру… Пока холост был, на человека похож был, а как женился на своей, и захирел, в меланхолию ударился… Осрамила она тебя на весь город… из дому прогнала… Что ж тут хорошего? И жалеть такую жену нечего…

— В нашем разрыве я виноват, а не она, — вздохнул Кувалдин.

— Оставь, пожалуйста! Знаю я ее! Злющая, своенравная, лукавая! Что ни слово, то жало ядовитое, что ни взгляд, то нож острый… А что в ней, в покойнице, ехидства этого было, так и выразить невозможно!

— То есть как в покойнице? — сделал большие глаза Кувалдин.

— Да нешто я сказал: в покойнице? — спохватился Пискарев, краснея. — И вовсе я этого не говорил… Что ты, бог с тобой… Уж и побледнел! Хе-хе… Ухом слушай, а не брюхом!

— Вы были сегодня у Анюты?

— Заходил утром… Лежит… Прислугой помыкает… То ей не так подали, другое… Невыносимая женщина! Не понимаю, за что ты и любишь ее, бог с ней совсем… Дал бы бог, развязала бы она тебя, несчастного… Пожил бы ты на свободе, повеселился… на другой бы оженился… Ну, ну, не буду! Не хмурься! Я ведь так только, по-стариковски. По мне, как знаешь… Хочешь — люби, хочешь — не люби, а я ведь так… добра желаючи… Не живет с тобой, знать тебя не хочет… что ж это за жена? Некрасивая, хилая, злонравная… И жалеть не за что… Пущай бы…

— Легко вы рассуждаете, Аристарх Иваныч! — вздохнул Кувалдин. — Любовь — не волос, не скоро ее вырвешь.

— Есть за что любить! Акроме ехидства ты от нее ничего не видел. Ты прости меня, старика, а не любил я ее… Видеть не мог! Еду мимо ее квартиры и глаза закрываю, чтобы не увидеть… Бог с ней! Царство ей небесное, вечный покой, но… не любил, грешный человек!

— Послушайте, Аристарх Иваныч. — побледнел Кувалдин. — Вы уже во второй раз проговариваетесь… Умерла она, что ли?

— То есть кто умерла? Никто не умирал, а только не любил я ее, покойницу… тьфу! то есть не покойницу, а ее… Аннушку-то твою…

— Да она умерла, что ли? Аристарх Иваныч, не мучайте меня! Вы как-то странно возбуждены, путаетесь… холостую жизнь хвалите… Умерла? Да?

— Уж так и умерла! — пробормотал Пискарев, кашляя. — Как ты, брат, все сразу… А хоть бы и умерла! Все помрем, и ей, стало быть, помирать надо… И ты помрешь, и я…

Глаза Кувалдина покраснели и налились слезами…

— В котором часу? — спросил он тихо.

— Ни в котором… Уж ты и рюмзаешь! Да не умерла она! Кто тебе сказал, что она померла?

— Аристарх Иваныч, я… я прошу вас. Не щадите меня!

— С тобой, брат, и говорить нельзя, словно ты маленький. Ведь не говорил же я тебе, что она преставилась? Ведь не говорил? Чего же слюни распускаешь? Поди, полюбуйся — живехонька! Когда заходил к ней, с теткой бранилась… Тут отец Матвей панихиду служит, а она на весь

дом орет.

— Какую панихиду? Зачем ее служить?

— Панихиду-то? Да так… словно как бы вместо молебствия. То есть… никакой панихиды не было, а что-то такое… ничего не было.

Аристарх Иваныч запутался, встал и, отвернувшись к окну, начал кашлять.

— Кашель у меня, братец… Не знаю, где простудился…

Кувалдин тоже поднялся и нервно заходил около стола.

— Морочите вы меня, — сказал он, теребя дрожащими руками свою бородку. — Теперь понятно… все понятно. И не знаю, к чему вся эта дипломатия! Почему же сразу не говорить? Умерла ведь?

— Гм… Как тебе сказать? — пожал плечами Пискарев. — Не то чтобы умерла, а так… Ну вот ты уж и плачешь! Все ведь умрем! Не одна она смертная, все на том свете будем! Чем плакать-то при людях, взял бы лучше да помянул! Перекрестился бы!

Полминуты Кувалдин тупо глядел на Пискарева, потом страшно побледнел и, упавши в кресло, залился истерическим плачем… Из-за столов повскакивали его сослуживцы и бросились к

нему на помощь. Пискарев почесал затылок и нахмурился.

— Комиссия с такими господами, ей-богу! — проворчал он, растопыривая руки. — Ревет… ну, а отчего ревет, спрашивается? Миша, да ты в своем уме? Миша! — принялся он толкать Кувалдина. — Ведь не умерла же еще! Кто тебе сказал, что она умерла? Напротив, доктора говорят, что есть еще надежда! Миша! А Миша! Говорю тебе, что не померла! Хочешь, вместе к ней съездим? Как раз и к панихиде поспеем… то есть, что я? Не к панихиде, а к обеду. Мишенька! уверяю тебя, что еще жива! Накажи меня бог! Лопни мои глаза! Не веришь? В таком разе едем к ней… Назовешь тогда чем хочешь, ежели… И откуда он это выдумал, не понимаю? Сам я сегодня был у покойницы, то есть не у покойницы, а… тьфу!

Полковник махнул рукой, плюнул и вышел из правления. Придя в квартиру покойницы, он повалился на диван и схватил себя за волосы.

— Ступайте вы к нему сами! — проговорил он в отчаянии. — Сами его подготовляйте к известию, а меня уж избавьте! Не желаю-с! Два слова ему только сказал… Чуть только намекнул, поглядите, что с ним делается! Помирает! Без чувств! В другой раз ни за какие коврижки!.. Сами идите!..

О том, о сем

Одна из пьес московского драматурга М-да потерпела фиаско на первом же представлении. Прогуливаясь по театральному фойе и сумрачно поглядывая по сторонам, автор спросил встретившегося ему приятеля:

— Что вы думаете о моей пьесе?

— Я думаю, — отвечал приятель, — что вы гораздо лучше чувствовали бы теперь себя, если бы эта пьеса была написана не вами, а мною.

* * *

Один помещик, зазвав к себе своего старого друга, велел подать полубутылку старого цимлянского…

— Ну, как ты находишь вино? — спросил он друга, когда вино было выпито. — Каков букет, какова крепость! Сейчас видно, что ему пятьдесят лет…

— Да, — согласился приятель, косясь на полубутылку, — только оно слишком мало для своих лет…

* * *

Актер пристает к своему антрепренеру, моля о выдаче жалованья и грозя в противном случае умереть с голодухи.

— Полноте, батенька, врать-то… — говорит антрепренер. — По вашим розовым, пухлым щекам не видать, чтоб вы с голоду дохли…

— Да что вы на лицо-то глядите! Лицо-то ведь не мое, а хозяйкино! Хозяйка кормит меня в кредит!

* * *

Одному офицеру под Севастополем лопнувшей гранатой оторвало ногу. Он не пал духом и стал носить искусственную конечность. В минувшую русско-турецкую кампанию во время взятия Плевны ему оторвало другую ногу. Бросившиеся к нему на помощь солдаты и офицеры были крайне озадачены его спокойным видом…

— Вот дураки-то! — смеялся он. — Только заряд потеряли даром… Того не знают, что у меня в обозе есть еще пара хороших ног!

Финтифлюшки



Один российский самодур, некий граф Рубец-Откачалов, ужасно кичился древностью своего рода и доказывал, что род его принадлежит к самым древним… Не довольствуясь историческими данными и всем тем, что он знал о своих предках, он откопал где-то два старых, завалящих портрета, изображавших мужчину и женщину, и под одним велел подписать: «Адам Рубец-Откачалов», под другим — «Ева Рубец-Откачалова»…

* * *

Другого графа, возведенного в графское достоинство за свои личные заслуги, спросили, почему на его карете нет герба.

— А потому, — отвечал он, — что моя карета гораздо старее моего графства…

* * *

Управляющий имениями одного помещика доложил своему барину, что на его землях охотятся соседи, и просил разрешения не дозволять больше подобного своевольства…

— Оставь, братец! — махнул рукой помещик. — Мне много приятнее иметь друзей, нежели зайцев.

* * *

Очень рассеянный, но любивший давать отеческие советы, мировой судья спросил однажды у судившегося у него вора:

— Как это вы решились на воровство?

— С голода, ваше высокородие! Голод ведь и волка из лесу гонит!

— Напрасно, он должен работать! — строго заметил судья.

* * *

Прокурор окружного суда, узнав в одном из подсудимых своего товарища по школе, спросил его между прочим, не знает ли он, что сталось и с остальными его товарищами? — Исключая вас и меня, все в арестантских ротах, — отвечал подсудимый.

Угроза

У одного барина украли лошадь. На другой же день во всех газетах было напечатано следующее объявление: «Если лошадь не будет мне возвращена, то необходимость заставит меня прибегнуть к тем крайним мерам, к которым когда-то в подобном же случае прибег мой отец». Угроза подействовала. Вор, не зная, чего бояться, но предполагая нечто необыкновенно страшное, испугался и тайком возвратил лошадь. Барин, обрадованный таким исходом дела, признавался своим приятелям, что он очень счастлив тем, что ему не понадобилось последовать примеру своего отца.

— Что же, однако, сделал ваш отец? — спросили его.

— Вы спрашиваете, что сделал мой отец? Извольте, я вам скажу… Когда на постоялом дворе у него украли лошадь, он надел седло себе на спину и вернулся домой пешком. Клянусь, я сделал бы то же самое, если бы вор не был так добр и обязателен!

Ворона

Было не больше шести часов вечера, когда блуждавший по городу поручик Стрекачев, идя мимо большого трехэтажного дома, случайно бросил взгляд на розовые занавески бельэтажа.

— Тут мадам Дуду живет… — вспомнил он. — Давно уж я у нее не был. Не зайти ли?

Но прежде чем решить этот вопрос, Стрекачев вынул из кармана кошелек и робко взглянул в него. Увидел он там один скомканный, пахнущий керосином рубль, пуговицу, две копейки и — больше ничего.

— Мало… Ну, да ничего, — решил он. — Зайду так, посижу немножко.

Через минуту Стрекачев стоял уже в передней и полною грудью вдыхал густой запах духов и глицеринового мыла. Пахло еще чем-то, чего описать нельзя, но что можно обонять в любой женской, так называемой одинокой квартире: смесь женских пачулей с мужской сигарой. На вешалке висело несколько манто, ватер-пруфов и один мужской лоснящийся цилиндр. Войдя в залу, поручик увидел то же, что видел он и в прошлом году: пианино с порванными нотами,

вазочку с увядающими цветами, пятно на полу от пролитого ликера… Одна дверь вела в гостиную, другая в комнатку, где m-me Дуду спала или играла в пикет с учителем танцев Вронди, старцем, очень похожим на Оффенбаха. Если взглянуть в гостиную, то прямо видна была дверь и из нее выглядывал край кровати с кисейным розовым пологом. Там жили «воспитанницы» m-me Дуду, Барб и Бланш.

В зале никого не было. Поручик направился в гостиную и тут увидел живое существо. За круглым столом, развалясь на диване, сидел какой-то молодой человек с щетинистыми волосами и синими мутными глазами, с холодным потом на лбу и с таким выражением, как будто вылезал из глубокой ямы, в которой ему было и темно и страшно. Одет он был щегольски, в новую триковую пару, которая носила еще на себе следы утюжной выправки; на груди болтался брелок; на ногах лакированные штиблеты с пряжками, красные чулки. Молодой человек подпирал кулаками свои пухлые щеки и тускло глядел на стоявшую перед ним бутылочку зельтерской. Тут же на другом столе было несколько бутылок, тарелка с апельсинами.

Взглянув на вошедшего поручика, франт выта-

ращил глаза, разинул рот. Удивленный Стрекачев сделал шаг назад… Во франте с трудом узнал он писаря Филенкова, которого он не далее как сегодня утром распекал в канцелярии за безграмотно написанную бумагу, за то, что слово «капуста» он написал так: «копусста».

Филенков медленно поднялся и уперся руками о стол. Минуту он не спускал глаз с лица поручика и даже посинел от внутреннего напряжения.

— Ты как же это сюда попал? — строго спросил у него Стрекачев.

— Я, ваше благородие, — залепетал писарь, потупя взор, — на дне рождения-с… При всеобщей повинной военности, когда всех уравняли, которые…

— Я тебя спрашиваю, как ты сюда попал? — возвысил голос поручик. — И что это за костюм?

— Я, ваше благородие, чувствую свою виновность, но… ежели взять, что при всеобщей повинной… военной всеобщности всех уравняли, и к тому как я все-таки человек образованный, не могу на дне рождения мамзель Барб существовать в форме нижнего чина, то я и надел оный костюм соответственно своему домашнему обиходу, как я, значит, потомственный почетный гражданин.

Увидев, что глаза поручика становятся все сердитее, Филенков умолк и нагнул голову, словно ожидая, что его сейчас трахнут по затылку. Поручик раскрыл рот, чтобы произнести «пошел вон!», но в это время в гостиную вошла блондинка с поднятыми бровями, в капоте ярко-желтого цвета. Узнав поручика, она взвизгнула и бросилась к нему.

— Вася! Офицер!!!

Увидев, что Барб (это была одна из воспитанниц m-me Дуду) фамильярна с поручиком, писарь оправился и ожил. Растопырив пальцы, он выскочил из-за стола и замахал руками.

— Ваше благородие! — заговорил он, захлебываясь. — Со днем рождения имею честь поздравить любимого существа! В Париже такой не сыщешь! Именно-с! Огонь! Трех сотенных не пожалел, а сшил ей этот капот по случаю дня рождения любимого существа! Ваше благородие, шампанского! За новорожденную!

— А где Бланш? — спросил поручик.

— Сейчас выйдет, ваше благородие! — ответил писарь, хотя вопрос относился не к нему, а к Барб. — Сию минуту! Девица а ля компрене аревуар консоме! Намедни купец из Костромы приезжал, пятьсот отвалил… Легко ли дело, пять-

сот! Я тыщу дам, только спервоначалу характер мой уважь! Так ли я рассуждаю? Ваше благородие, пожалуйте-с!

Писарь подал поручику и Барб по стакану шампанского, а сам выпил рюмку водки. Поручик выпил, но тотчас же спохватился.

— Ты, я вижу, позволяешь себе лишнее, — сказал он. — Ступай-ка отсюда и скажи Демьянову, чтобы он тебя посадил на сутки.

— Ваше благородие, да, может, вы думаете, что я какой ни на есть свинья? Так вы думаете? Господи! Да ведь мой папаша потомственный почетный гражданин, орденов кавалер! Меня, ежели желаете знать, генерал крестил. А вы думаете, что я ежели писарь, то уж и свинья?.. Пожалуйте еще стаканчик… шипучечки… Барб, лупи! Не стесняйся, за все можем заплатить. При современной образованности всех уравняли. Генеральский или купеческий сын идет на службу все равно как мужик. Я, ваше благородие, был и в гимназии, и в реальном, и в коммерческом… Везде выгоняли! Барб, лупи! Бери радужную, посылай за дюжинкой! Ваше благородие, стаканчик!

Вошла m-me Дуду, высокая полная дама с ястребиным лицом. За ней семенил Вронди, похожий

на Оффенбаха. Немного погодя вошла и Бланш, маленькая брюнетка, лет 19-ти, со строгим лицом и с греческим носом, по-видимому, еврейка. Писарь выбросил еще одну радужную.

— Жарь на все! Жги! Позвольте мне эту вазу разбить! От чувств!

M-me Дуду начала рассказывать, что теперь всякая честная девушка может составить себе приличную партию и что девушкам пить неприлично, а если она и позволяет своим девочкам пить, то только потому, что надеется, что мужчины порядочные, а будь мужчины другие, она и сидеть бы им здесь не позволила.

От вина и соседства Бланш у поручика стала кружиться голова, и он забыл о писаре.

— Музыку! — кричал отчаянным голосом писарь. — Подавай музыку! На основании приказа за номером сто двадцатым предлагаю вам танцевать! Ти-ише! — продолжал орать во все горло писарь, думая, что это не он сам кричит, а кто-то другой. — Ти-ише! Я желаю, чтоб танцевали! Вы должны мой характер уважить! Качучу! Качучу!

Барб и Бланш посоветовались с m-me Дуду, старик Вронди сел за пианино. Танец начался. Филенков, топая в такт ногами, следил за движениями четырех женских ног и ржал от

удовольствия.

— Рви! Верно! Чувствуй! Отдирай, примерзло!

Немного погодя вся компания поехала в колясках в «Аркадию». Филенков ехал с Барб, поручик с Бланш, Вронди с m-me Дуду. В «Аркадии» заняли стол и потребовали ужин. Тут Филенков до того допился, что охрип и потерял способность махать руками. Он сидел мрачный и говорил, моргая глазами, как бы собираясь заплакать:

— Кто я? Нешто я человек? Я ворона! Потомственный почетный гражданин. — передразнил он себя. — Ворона ты, а не гра… гражданин.

Поручик, отуманенный вином, почти не замечал его. Раз только, увидев в тумане его пьяную физиономию, он нахмурил брови и сказал:

— Ты, я вижу, позволяешь себе очень…

Но тотчас же потерял способность соображать и чокнулся с ним.

Из «Аркадии» поехали в Крестовский сад. Тут m-me Дуду простилась с молодежью, сказав, что она вполне надеется на порядочность мужчин, и уехала с Вронди. Потом потребовали для освежения кофе с коньяком и ликеров. Потом квасу, и водки, и зернистой икры. Писарь вымазал себе лицо икрой и сказал:



— Я теперь араб или вроде как бы нечистый дух.

На другой день утром поручик, чувствуя в голове свинец, а во рту жар и сухость, отправился к себе в канцелярию. Филенков сидел на своем месте в писарской форме и дрожащими руками сшивал какие-то бумаги. Лицо его было сумрач-

но, не гладко, точно булыжник, щетинистые волосы глядели в разные стороны, глаза слипались… Увидев поручика, он тяжело поднялся, вздохнул и вытянулся во фронт. Поручик, злой и не опохмелившийся, отвернулся и занялся своим делом. Минут десять длилось молчание, но вот глаза его встретились с мутными глазами писаря, и в этих глазах прочел он все: красные занавесочки, раздирательный танец, «Аркадию», профиль Бланш…

— При всеобщей повинной военности… — забормотал Филенков, — когда даже… профессоров в солдаты берут… когда всех уравняли… и даже свобода гласности…

Поручик хотел распечь его, послать к Демьянову, но махнул рукой и сказал тихо:

— А ну тебя к черту!

И вышел из канцелярии.

Кулачье гнездо

Вокруг заброшенной барской усадьбы средней руки группируется десятка два деревянных, на живую нитку состроенных дач. На самой высокой и видной из них синеет вывеска «Трактир» и золотится на солнце нарисованный самовар. Вперемежку с красными крышами дач там и сям уныло выглядывают похилившиеся и поросшие ржавым мохом крыши барских конюшен, оранжерей и амбаров.

Майский полдень. В воздухе пахнет постными щами и самоварною гарью. Управляющий Кузьма Федоров, высокий пожилой мужик в рубахе навыпуск и в сапогах гармоникой, ходит около дач и показывает их дачникам-нанимателям. На лице его написаны тупая лень и равнодушие: будут ли наниматели или нет, для него решительно все равно. За ним шагают трое: рыжий господин в форме инженера-путейца, тощая дама в интересном положении и девочка-гимназистка.

— Какие, однако, у вас дорогие дачи, — морщится инженер. — Все в четыреста да в триста рублей… ужасно! Вы покажите нам что-нибудь подешевле.

— Есть и подешевле… Из дешевых только две остались… Пожалуйте!

Федоров ведет нанимателей через барский сад. Тут торчат пни да редеет жиденький ельник; уцелело одно только высокое дерево — это стройный старик тополь, пощаженный топором словно для того только, чтобы оплакивать несчастную судьбу своих сверстников. От каменной ограды, беседок и гротов остались одни только следы в виде разбросанных кирпичей, известки и гниющих бревен.

— Как все запущено! — говорит инженер, с грустью поглядывая на следы минувшей роскоши. — А где теперь ваш барин живет?

— Они не барин, а из купцов. В городе меблированные комнаты содержат… Пожалте-с!

Наниматели нагибаются и входят в маленькое каменное строение с тремя решетчатыми, словно острожными, окошечками. Их обдает сыростью и запахом гнили. В домике одна квадратная комнатка, переделенная новой тесовой перегородкой на две. Инженер щурит глаза на темные стены и читает на одной из них карандашную надпись: «В сей обители мертвых заполучил меланхолию и покушался на самоубийство поручик Фильдекосов».

— Здесь, ваше благородие, нельзя в шапке стоять, — обращается Федоров к инженеру.

— Почему?

— Нельзя-с. Здесь был склеп, господ хоронили. Ежели которую приподнять доску и под пол поглядеть, то гробы видать.

— Какие новости! — ужасается тощая дама. — Не говоря уж о сырости, тут от одной мнительности умрешь! Не желаю жить с мертвецами!

— Мертвецы, барыня, не тронут-с. Не бродяги какие-нибудь похоронены, а ваш же брат — господа. Прошлым летом здесь, в этом самом склепе, господин военный Фильдекосов жили и остались вполне довольны. Обещались и в этом году приехать, да вот что-то не едут.

— Он на самоубийство покушался? — спросил инженер, вспомнив о надписи на стене.

— А вы откуда знаете? Действительно, это было, сударь. И из-за чего-то вся канитель вышла! Не знал он, что тут под полом, царствие им небесное, покойники лежат, ну и вздумал, значит, раз ночью под половицу четверть водки спрятать. Поднял эту доску, да как увидал, что там гробы стоят, очумел. Выбежал наружу и давай выть. Всех дачников в сумление ввел. Потом чахнуть начал. Выехать не на что, а жить страшно. Под

конец, сударь, не вытерпел, руку на себя наложил. Мое то счастье, что я с него вперед за дачу сто рублей взял, а то так бы и уехал, пожалуй, от перепугу. Пока лежал да лечился, попривык… ничего… Опять обещался приехать: «Я, говорит, такие приключения смерть как люблю!» Чудак!

— Нет, уж вы нам другую дачу покажите.

— Извольте-с. Еще одна есть, только похуже-с.

Кузьма ведет дачников в сторону от усадьбы, к месту, где высится оборванная клуня… За клуней блестит поросший травою пруд и темнеют господские сараи.

— Здесь можно рыбу ловить? — спрашивает инженер.

— Сколько угодно-с… Пять рублей за сезон заплатите и ловите себе на здоровье. То есть удочкой в реке можно, а ежели пожелаете в пруду карасей ловить, то тут особая плата.

— Рыба пустяки, — замечает дама, — и без нее можно обойтись. А вот насчет провизии. Крестьяне носят сюда молоко?

— Крестьянам сюда не велено ходить, сударыня. Дачники провизию обязаны у нас на ферме забирать. Такое уж условие делаем. Мы не дорого берем-с. Молоко четвертак за пару, яйца, как обыкновенно, три гривенника за десяток, масло

полтинник… Зелень и овощь разную тоже у нас должны забирать.

— Гм… А грибы у вас есть где собирать?



— Ежели лето дождливое, то и гриб бывает. Собирать можно. Взнесете за сезон шесть рублей с человека и собирайте не только грибы, но даже и ягоды. Это можно-с. К нашему лесу дорога идет через речку. Желаете — вброд пойдете, не желаете — идите через лавы. Всего пятачок стоит через лавы перейтить. Туда пятачок и оттеда

пятачок. А ежели которые господа желают охотиться, ружьем побаловаться, то наш хозяин не прекословит.

Стреляй сколько хочешь, только фитанцию при себе имей, что ты десять рублей заплатил. И купанье у нас чудесное. Берег чистенький, на дне песок, глубина всякая: и по колено, и по шею. Мы не стесняем. За раз пятачок, а ежели за сезон, то четыре с полтиной.

Хоть целый день в воде сиди!

— А соловьи у вас поют? — спрашивает девочка.

— Намеднись за рекой пел один, да сынишка мой поймал, трактирщику продал. Пожалте-с!

Кузьма вводит нанимателей в ветхий сарайчик с новыми окнами. Внутри сарайчик разделен перегородками на три каморки. В двух каморках стоят пустые закрома.

— Нет, куда же тут жить! — заявляет тощая дама, брезгливо оглядывая мрачные стены и закрома. — Это сарай, а не дача. И смотреть нечего, Жорж… Тут, наверное, и течет и дует. Невозможно жить!

— Живут люди! — вздыхает Кузьма. — На бесптичье, как говорится, и кастрюля соловей, а когда нет дач, так и эта в добрую душу сойдет. Не

вы наймете, так другие наймут, а уж кто-нибудь да будет в ней жить. По-моему, эта дача для вас самая подходящая, напрасно вы, это самое… супругу свою слушаете. Лучше нигде не найтить. А я бы с вас и взял бы подешевле. Ходит она за полтораста, а я бы сто двадцать взял.

— Нет, милый, не идет. Прощайте, извините, что обеспокоили.

— Ничего-с. Будьте здоровы-с.

И, провожая глазами уходящих дачников, Кузьма кашляет и добавляет:

— На чаек бы следовало с вашей милости. Часа два небось водил. Полтинничка-то уже не пожалейте!



Кое-что об А. С. Даргомыжском

Вот две маленькие были об А. С. Даргомыжском, слышанные мною о нем от одного из его почитателей и хороших знакомых, Вл. П. Б-ва[143].

* * *

Случилось, что Александр Сергеевич и автор «Тарантаса» граф В. А. Соллогуб[144]по приезде в Москву остановились в одно и то же время на квартире г. Б.

Однажды в сумерках граф лежал на диване и что-то читал, а композитор стоял посреди комнаты и думал думу.

— Послушай, Александр Сергеич, — обратился литератор к композитору, — будь другом, поставь

---

[143] Примечания: 143

Имеется в виду В. П. Бегичев (1831–1891), инспектор репертуара и директор московских императорских театров, отец детской писательницы М. В. Киселевой. У Киселевых в Бабкине Чехов жил летом в 1884 и 1885 годах (подробнее см.: Чехов М. П. Антон Чехов и его сюжеты. М., 1923. с. 31–33. Чехов М. П. Вокруг Чехова. М., 1964. с. 150–151).

[144] Примечания: 144

В. А. Соллогуб (1813–1882), известный русский литератор; сотрудничал в журнале «Отечественные записки» времен В. Г. Белинского, позднее — в «Современнике». Первое издание повести «Тарантас» — СПб., 1845, второе — изд. А. С. Суворина, СПб., 1886.

поближе ко мне свечу, а то ничего не видно…

— В данную минуту мне приходится оригинальничать, — сказал Даргомыжский, принимая с комода свечу и ставя ее на столик перед В. А. Соллогубом. — Обыкновенно я ставлю свечи перед образами, теперь же приходится ставить свечу перед образиной…

* * *

В одно время мнительному А. С. казалось, что московское отделение Русского музыкального общества с Н. Г. Рубинштейном во главе питает к нему неприязненные чувства, и он стал избегать встреч с директором Общества, а при встречах на мнимую неприязнь отвечал холодом и сухостью. Заметив в приятеле такую перемену, Н. Г. Рубинштейн совершенно потерялся в догадках и в конце концов отнес ее на долю сплетен.

— Что мне делать! — недоумевал он однажды, беседуя с г. Б-ым. — Даргомыжский совсем от рук отбился. Холоден, сентябрем глядит, избегает меня… Что я ему сделал? За что он на меня сердится?

— А ты объяснись с ним, — посоветовал г. Б.

— Где же я могу с ним объясниться? И как? Он бегает меня!

— Погоди, я это устрою. Позову его к себе, а ты придешь и объяснишься с ним… Ты подойди к нему и, знаешь, этак дружески возьми его за руку и скажи: «Дорогой мой, откуда эта холодность? Ведь вы знаете, я вас всегда так любил, так уважал ваш талант…» и все в таком же роде, потом обоими его и поцелуй… по-дружески. Раскиснет!

Н. Г. Рубинштейн принял этот план целиком. Надо сказать, что покойный А. С. терпеть не мог целоваться с мужчинами.

— С женщиной еще так и сяк, — говаривал он, — с мужчиной же — ну тебя к черту!

Чтобы рассердить А. С. и вывести его из себя, достаточно было кому-либо из представителей непрекрасного пола подкрасться к нему и чмокнуть его в щеку…

— Дурак! — бранился он, вытирая рукавом место поцелуя. — Дурак! Болван!

Свидание было устроено.

— Дорогой мой! — начал Н. Г. Рубинштейн, беря за руку композитора. — Скажите, ради бога, за что вы на меня сердитесь? Что я вам сделал худого? Напротив, я всегда любил вас, уважал ваш талант…

И Н. Г. обнял А. С. и быстро поцеловал его в губы. Каково же было его удивление, когда А. С. вместо

того, чтобы раскиснуть, вырвался из объятий Н. Г. и, выбегая из комнаты, пустил по адресу директора Общества и г. Б-ва внушительного «дурака».

Впоследствии, когда мир был водворен, это свидание, устроенное г. Б. на потеху, долго смешило как Н. Г., так и самого А. С.

Бумажник

Три странствующих актера — Смирнов, Попов и Балабайкин шли в одно прекрасное утро по железнодорожным шпалам и нашли бумажник. Раскрыв его, они, к великому своему удивлению и удовольствию, увидели в нем двадцать банковых билетов, шесть выигрышных билетов 2-го займа и чек на три тысячи. Первым делом они крикнули «ура», потом же сели на насыпи и стали предаваться восторгам.

— Сколько же это на каждого приходится? — говорил Смирнов, считая деньги. — Батеньки! По пяти тысяч четыреста сорока пяти рублей! Голубчики, да ведь это умрешь от таких денег!

— Не так я за себя рад, — сказал Балабайкин, — как за вас, голубчики мои милые. Не будете вы теперь голодать да босиком ходить. Я за искусство рад… Прежде всего, братцы, поеду в Москву и прямо к Айе: шей ты мне, братец, гардероб… Не хочу пейзанов играть, перейду на амплуа фатов да хлыщей. Куплю цилиндр и шапокляк. Для фатов серый цилиндр.

— Теперь бы на радостях выпить и закусить, —

заметил jeune premier[145] Попов. — Ведь мы почти три дня питались всухомятку, надо бы теперь чего-нибудь этакого… А?..

— Да, недурно бы, голубчики мои милые… — согласился Смирнов. — Денег много, а есть нечего, драгоценные мои. Вот что, миляга Попов, ты из нас самый молодой и легкий, возьми-ка из бумажника рублевку и маршируй за провизией, ангел мой хороший… Воо-оон деревня! Видишь, за курганом белеет церковь? Верст пять будет, не больше… Видишь? Деревня большая, и ты все там найдешь… Купи водки бутылку, фунт колбасы, два хлеба и сельдь, а мы тебя подождем здесь, голубчик, любимый мой…

Попов взял рубль и собрался уходить. Смирнов со слезами на глазах обнял его, поцеловал три раза, перекрестил и назвал его голубчиком, ангелом, душой… Балабайкин тоже обнял и поклялся в вечной дружбе — и только после целого ряда излияний, самых чувствительных, трогательных, Попов спустился с насыпи и направил стопы свои к темневшей вдали деревеньке.

«Ведь этакое счастье! — размышлял он дорогой. — Не было ни гроша, да вдруг алтын. Махну

---

[145] Примечания: 145
Первый любовник (фр.).

теперь в родную Кострому, соберу труппу и выстрою там свой театр. Впрочем… за пять тысяч нынче и сарая путного не выстроишь. Вот если бы весь бумажник был мой, ну, тогда другое дело… Такой бы театрище закатил, такой, что мое почтение. Собственно говоря, Смирнов и Балабайкин — какие это актеры? Это бездарности, свиньи в ермолке, тупицы… Они деньги на пустяки изведут, а я бы пользу отечеству принес и себя бы обессмертил… Вот что я сделаю… Возьму и положу в водку яду. Они умрут, но зато в Костроме будет театр, какого не знала еще Россия. Кто-то, кажется, Мак-Магон, сказал, что цель оправдывает средства, а Мак-Магон был великий человек.»

Пока он шел и рассуждал так, спутники его Смирнов и Балабайкин сидели и вели такую речь:

— Наш друг Попов — славный малый, — говорил Смирнов со слезами на глазах, — люблю я его, глубоко ценю за талант, влюблен в него, но… знаешь ли? — эти деньги сгубят его. Он или пропьет их, или же пустится в аферу и свернет себе шею. Он так молод, что ему рано еще иметь свои деньги, голубчик ты мой хороший, родной мой…

— Да, — согласился Балабайкин и поцеловался со Смирновым. — К чему этому мальчишке день-

ги? Другое дело мы с тобой… Мы люди семейные, положительные… Для нас с тобой лишний рубль многое уж значит. (Пауза.) Знаешь что, брат? Не станем долго разговаривать и сентиментальничать: возьмем да и убьем его!.. Тогда тебе и мне придется по восьми тысяч. Убьем его, а в Москве скажем, что он под поезд попал… Я тоже люблю его, обожаю, но ведь интересы искусства, полагаю, прежде всего. К тому же он бездарен и глуп, как эта шпала.

— Что ты, что?! — испугался Смирнов. — Это такой славный, честный… Хотя с другой стороны, откровенно говоря, голубчик ты мой, свинья он порядочная, дурррак, интриган, сплетник, пройдоха… Если мы в самом деле убьем его, то он сам же будет благодарить нас, милый ты мой, дорогой. А чтобы ему не так обидно было, мы в Москве напечатаем в газетах трогательный некролог. Это будет по-товарищески.

Сказано — сделано. Когда Попов вернулся из деревни с провизией, товарищи обняли его со слезами на глазах, поцеловали, долго уверяли его, что он великий артист, потом вдруг напали на него и убили. Чтобы скрыть следы преступления, они положили покойника на рельсы… Разделив находку, Смирнов и Балабайкин, рас-

троганные, говоря друг другу ласковые слова, стали закусывать, в полной уверенности, что преступление останется безнаказанным… Но добродетель всегда торжествует, а порок наказывается. Яд, брошенный Поповым в бутылку с водкой, принадлежал к сильно действующим: не успели друзья выпить по другой, как уже бездыханные лежали на шпалах… Через час над ними с карканьем носились вороны.

Мораль: когда актеры со слезами на глазах говорят о своих дорогих товарищах, о дружбе и взаимной «солидарности», когда они обнимают и целуют вас, то не очень увлекайтесь.

Сапоги

Фортепианный настройщик Муркин, бритый человек с желтым лицом, табачным носом и с ватой в ушах, вышел из своего номера в коридор и дребезжащим голосом прокричал:

— Семен! Коридорный!

И, глядя на его испуганное лицо, можно было подумать, что на него свалилась штукатурка или что он только что у себя в номере увидел привидение.

— Помилуй, Семен! — закричал он, увидев бегущего к нему коридорного. — Что же это такое? Я человек ревматический, болезненный, а ты заставляешь меня выходить босиком! Отчего ты до сих пор не даешь мне сапог? Где они?

Семен вошел в номер Муркина, поглядел на то место, где он имел обыкновение ставить вычищенные сапоги, и почесал затылок: сапог не было.

— Где ж им быть, проклятым? — проговорил Семен. — Вечером, кажись, чистил и тут поставил… Гм!.. Вчерась, признаться, выпивши был… Должно полагать, в другой номер поставил. Именно так и есть, Афанасий Егорыч, в другой

номер! Сапог-то много, а черт их в пьяном виде разберет, ежели себя не помнишь… Должно, к барыне поставил, что рядом живет… к актрисе…

— Изволь я теперь из-за тебя идти к барыне, беспокоить! Изволь вот из-за пустяка будить честную женщину!

Вздыхая и кашляя, Муркин подошел к двери соседнего номера и осторожно постучал.

— Кто там? — послышался через минуту женский голос.

— Это я-с! — начал жалобным голосом Муркин, становясь в позу кавалера, говорящего с великосветской дамой. — Извините за беспокойство, сударыня, но я человек болезненный, ревматический… Мне, сударыня, доктора велели ноги в тепле держать, тем более что мне сейчас нужно идти настраивать рояль к генеральше Шевелицыной. Не могу же я к ней босиком идти!..

— Да вам что нужно? Какой рояль?

— Не рояль, сударыня, а в отношении сапог! Невежда Семен почистил мои сапоги и по ошибке поставил в ваш номер. Будьте, сударыня, столь достолюбезны, дайте мне мои сапоги!

Послышалось шуршанье, прыжок с кровати и шлепанье туфель, после чего дверь слегка отворилась и пухлая женская ручка бросила к ногам

Муркина пару сапог. Настройщик поблагодарил и отправился к себе в номер.

— Странно… — пробормотал он, надевая сапог. — Словно как будто это не правый сапог. Да тут два левых сапога! Оба левые! Послушай, Семен, да это не мои сапоги! Мои сапоги с красными ушками и без латок, а это какие-то порванные, без ушек!

Семен поднял сапоги, перевернул их несколько раз перед своими глазами и нахмурился.

— Это сапоги Павла Александрыча… — проворчал он, глядя искоса.

Он был кос на левый глаз.

— Какого Павла Александрыча?

— Актера… каждый вторник сюда ходит… Стало быть, это он вместо своих ваши надел… Я к ней в номер поставил, значит, обе пары: его и ваши. Комиссия!

— Так поди и перемени!

— Здравствуйте! — усмехнулся Семен. — Поди и перемени. А где ж мне взять его теперь? Уж час времени, как ушел… Поди, ищи ветра в поле!

— Где же он живет?

— А кто ж его знает! Приходит сюда каждый вторник, а где живет — нам неизвестно. Придет, переночует, и жди до другого вторника.

— Вот видишь, свинья, что ты наделал! Ну, что мне теперь делать! Мне к генеральше Шевелицыной пора, анафема ты этакая! У меня ноги озябли!

— Переменить сапоги недолго. Наденьте эти сапоги, походите в них до вечера, а вечером в театр… Актера Блистанова там спросите… Ежели в театр не хотите, то придется до того вторника ждать. Только по вторникам сюда и ходит…

— Но почему же тут два левых сапога? — спросил настройщик, брезгливо берясь за сапоги.

— Какие бог послал, такие и носит. По бедности… Где актеру взять?.. «Да и сапоги же, говорю, у вас, Павел Александрыч! Чистая срамота!» А он и говорит: «Умолкни, говорит, и бледней! В этих самых сапогах, говорит, я графов и князей играл!» Чудной народ! Одно слово, артист. Будь я губернатор или какой начальник, забрал бы всех этих актеров — и в острог.

Бесконечно кряхтя и морщась, Муркин натянул на свои ноги два левых сапога и, прихрамывая, отправился к генеральше Шевелицыной. Целый день ходил он по городу, настраивал фортепиано, и целый день ему казалось, что весь мир глядит на его ноги и видит на них сапоги с латками и с покривившимися каблуками! Кроме нрав-

ственных мук, ему пришлось еще испытать и физические: он натер себе мозоль.

Вечером он был в театре. Давали «Синюю Бороду». Только перед последним действием, и то благодаря протекции знакомого флейтиста, его пустили за кулисы. Войдя в мужскую уборную, он застал в ней весь мужской персонал. Одни переодевались, другие мазались, третьи курили. Синяя Борода стоял с королем Бобешем и показывал ему револьвер.

— Купи! — говорил Синяя Борода. — Сам купил в Курске по случаю за восемь, ну, а тебе отдам за шесть… Замечательный бой!

— Поосторожней… Заряжен ведь!

— Могу ли я видеть господина Блистанова? — спросил вошедший настройщик.

— Я самый! — повернулся к нему Синяя Борода. — Что вам угодно?

— Извините, сударь, за беспокойство, — начал настройщик умоляющим голосом, — но, верьте… я человек болезненный, ревматический. Мне доктора приказали ноги в тепле держать…

— Да вам, собственно говоря, что угодно?

— Видите ли-с… — продолжал настройщик, обращаясь к Синей Бороде. — Того-с… эту ночь вы изволили быть в меблированных комнатах купца Бухтеева… в 64 номере.

— Ну, что врать-то! — усмехнулся король Бобеш. — В 64 номере моя жена живет!

— Жена-с? Очень приятно-с… — Муркин улыбнулся. — Оне-то, ваша супруга, собственно мне и выдали ихние сапоги… Когда они, — настройщик указал на Блистанова, — от них ушли-с, я хватился своих сапог… кричу, знаете ли, коридорного, а коридорный и говорит: «Да я, сударь, ваши сапоги в соседний номер поставил!» Он по

ошибке, будучи в состоянии опьянения, поставил в 64 номер мои сапоги и ваши-с, — повернулся Муркин к Блистанову, — а вы, уходя вот от ихней супруги, надели мои-с…

— Да вы что же это? — проговорил Блистанов и нахмурился. — Сплетничать сюда пришли, что ли?

— Нисколько-с! Храни меня бог-с! Вы меня не поняли-с… Я ведь насчет чего? Насчет сапог! Вы ведь изволили ночевать в 64 номере?

— Когда?

— В эту ночь-с.

— А вы меня там видели?

— Нет-с, не видел-с, — ответил Муркин в сильном смущении, садясь и быстро снимая сапоги. — Я не видел-с, но мне ваши сапоги вот ихняя супруга выбросила… Это вместо моих-с.

— Так какое же вы имеете право, милостивый государь, утверждать подобные вещи? Не говорю уж о себе, но вы оскорбляете женщину, да еще в присутствии ее мужа!

За кулисами поднялся страшный шум. Король Бобеш, оскорбленный муж, вдруг побагровел и изо всей силы ударил кулаком по столу, так что в уборной по соседству с двумя актрисами сделалось дурно.

— И ты веришь? — кричал ему Синяя Борода. — Ты веришь этому негодяю? О-о! Хочешь, я убью его, как собаку? Хочешь? Я из него бифштекс сделаю! Я его размозжу!

И все, гулявшие в этот вечер в городском саду около летнего театра, рассказывают теперь, что они видели, как перед четвертым актом от театра по главной аллее промчался босой человек с желтым лицом и с глазами, полными ужаса. За ним гнался человек в костюме Синей Бороды и с револьвером в руке. Что случилось далее — никто не видел. Известно только, что Муркин потом, после знакомства с Блистановым, две недели лежал больной и к словам «я человек болезненный, ревматический» стал прибавлять еще «я человек раненый»…

Моя «она»

Она, как авторитетно утверждают мои родители и начальники, родилась раньше меня. Правы они или нет, но я знаю только, что я не помню ни одного дня в моей жизни, когда бы я не принадлежал ей и не чувствовал над собой ее власти. Она не покидает меня день и ночь; я тоже не выказываю поползновения удрать от нее, — связь, стало быть, крепкая, прочная… Но не завидуйте, юная читательница!.. Эта трогательная связь не приносит мне ничего, кроме несчастий. Во-первых, моя «она», не отступая от меня день и ночь, не дает мне заниматься делом. Она мешает мне читать, писать, гулять, наслаждаться природой… Я пишу эти строки, а она толкает меня под локоть и ежесекундно, как древняя Клеопатра не менее древнего Антония, манит меня к ложу. Во-вторых, она разоряет меня, как французская кокотка. За ее привязанность я пожертвовал ей всем: карьерой, славой, комфортом… По ее милости я хожу раздет, живу в дешевом номере, питаюсь ерундой, пишу бледными чернилами. Все, все пожирает она, ненасытная! Я ненавижу ее, презираю… Давно бы пора развестись с ней, но не развелся я до сих

пор не потому, что московские адвокаты берут за развод четыре тысячи… Детей у нас пока нет… Хотите знать ее имя? Извольте… Оно поэтично и напоминает Лилю, Лелю, Нелли…

Ее зовут — Лень.

Нервы

Дмитрий Осипович Ваксин, архитектор, воротился из города к себе на дачу под свежим впечатлением только что пережитого спиритического сеанса. Раздеваясь и ложась на свое одинокое ложе (мадам Ваксина уехала к Троице), Ваксин стал невольно припоминать все слышанное и виденное. Сеанса, собственно говоря, не было, а вечер прошел в одних только страшных разговорах. Какая-то барышня ни с того ни с сего заговорила об угадывании мыслей. С мыслей незаметно перешли к духам, от духов к привидениям, от привидений к заживопогребенным. Какой-то господин прочел страшный рассказ о мертвеце, перевернувшемся в гробу. Сам Ваксин потребовал блюдечко и показал барышням, как нужно беседовать с духами. Вызвал он, между прочим, дядю своего Клавдия Мироновича и мысленно спросил у него: «Не пора ли мне дом перевести на имя жены?» — на что дядя ответил: «Во благовременении все хорошо».

«Много таинственного и… страшного в природе. — размышлял Ваксин, ложась под одеяло. — Страшны не мертвецы, а эта неизвестность.»

Пробило час ночи. Ваксин повернулся на другой бок и выглянул из-под одеяла на синий огонек лампадки. Огонь мелькал и еле освещал киот и большой портрет дяди Клавдия Мироныча, висевший против кровати.

«А что, если в этом полумраке явится сейчас дядина тень? — мелькнуло в голове Ваксина. — Нет, это невозможно!»

Привидения — предрассудок, плод умов недозрелых, но тем не менее все-таки Ваксин натянул на голову одеяло и плотнее закрыл глаза. В воображении его промелькнул перевернувшийся в гробу труп, заходили образы умершей тещи, одного повесившегося товарища, девушки-утопленницы… Ваксин стал гнать из головы мрачные мысли, но чем энергичнее он гнал, тем яснее становились образы и страшнее мысли. Ему стало жутко.

«Черт знает что… Боишься, словно маленький… Глупо!»

«Чик… чик… чик», — стучали за стеной часы. В сельской церкви на погосте зазвонил сторож. Звон был медленный, заунывный, за душу тянущий… По затылку и по спине Ваксина пробежали холодные мурашки. Ему показалось, что над его головой кто-то тяжело дышит, точно дядя

вышел из рамы и склонился над племянником… Ваксину стало невыносимо жутко. Он стиснул от страха зубы и притаил дыхание. Наконец, когда в открытое окно влетел майский жук и загудел над его постелью, он не вынес и отчаянно дернул за сонетку.

— Дементрий Осипыч, was wollen Sie[146]? — послышался через минуту за дверью голос гувернантки.

— Ах, это вы, Розалия Карловна? — обрадовался Ваксин. — Зачем вы беспокоитесь? Гаврила мог бы…

— Хаврилу ви сами в город отпустил, а Глафира куда-то с вечера ушла… Никого нет дома. Was wollen Sie doch[147]?

— Я, матушка, вот что хотел сказать… Тово… Да вы войдите, не стесняйтесь! У меня темно…

В спальную вошла толстая краснощекая Розалия Карловна и остановилась в ожидательной позе.

— Садитесь, матушка… Видите ли, в чем дело. — «О чем бы ее спросить?» — подумал Ваксин, косясь на портрет дяди и чувствуя, как душа его

---

[146] Примечания: 146
Что вы хотите? (нем.).

[147] Примечания: 147
Что же вы хотите? (нем.).

постепенно приходит в покойное состояние. — Я, собственно говоря, вот о чем хотел просить вас… Когда завтра человек отправится в город, то не забудьте приказать ему, чтобы он… тово… зашел гильз купить… Да вы садитесь!

— Гильз? Хорошо! Was wollen Sie noch[148]?

— Ich will[149]… Ничего я не will, но… Да вы садитесь! Я еще что-нибудь надумаю…

— Неприлишно девице стоять в мужчинской комнат… Ви, я вижу, Деметрий Осипыч, шалюн… насмешкин… Я понимай… Из-за гильз шеловека не будят… Я понимай…

Розалия Карловна повернулась и вышла. Ваксин, несколько успокоенный беседой с ней и стыдясь своего малодушия, натянул на голову одеяло и закрыл глаза. Минут десять он чувствовал себя сносно, но потом в его голову полезла опять та же чепуха… Он плюнул, нащупал спички и, не открывая глаз, зажег свечу. Но и свет не помог. Напуганному воображению Ваксина казалось, что из угла кто-то смотрит и что у дяди мигают глаза.

— Позвоню ей опять, черрт бы ее взял… — по-

---

[148] Примечания: 148
Что вы еще хотите? (нем.).

[149] Примечания: 149
Я хочу. (нем.).

решил он. — Скажу ей, что я болен... Попрошу капель.

Ваксин позвонил. Ответа не последовало. Он позвонил еще раз, и словно в ответ на его звон, зазвонили на погосте.



Охваченный страхом, весь холодный, он выбежал опрометью из спальной и, крестясь, браня себя за малодушие, полетел босой и в одном нижнем к комнате гувернантки.

— Розалия Карловна! — заговорил он дрожа-

щим голосом, постучавшись в дверь. — Розалия Карловна! Вы… спите? Я… тово… болен… Капель!

Ответа не последовало. Кругом царила тишина…

— Я вас прошу… понимаете? Прошу! И к чему эта… щепетильность, не понимаю, в особенности, если человек… болен? Какая же вы, право, цирлих-манирлих. В ваши годы…

— Я вашей жена буду говорил… Не дает покой честный девушк… Когда я жил у барон Анциг и барон захотел ко мне приходить за спишки, я понимай… я сразу понимай, какие спишки, и сказала баронесс… Я честный девушк…

— Ах, на какого черта сдалась мне ваша честность? Я болен… и капель прошу. Понимаете? Я болен!

— Ваша жена честный, хороший женщин, и вы должны ее любить. Ja[150]! Она благородный! Я не желай быть ее враг!

— Дура вы, вот и все! Понимаете? Дура!

Ваксин оперся о косяк, сложил руки накрест и стал ждать, когда пройдет его страх. Вернуться в свою комнату, где мелькала лампадка и глядел из рамы дядюшка, не хватало сил, стоять же у

---

[150] Примечания: 150
Да! (нем.).

дверей гувернантки в одном нижнем платье было неудобно во всех отношениях. Что было делать? Пробило два часа, а страх все еще не проходил и не уменьшался. В коридоре было темно и из каждого угла глядело что-то темное. Ваксин повернулся лицом к косяку, но тотчас же ему показалось, что кто-то слегка дернул его сзади за сорочку и тронул за плечо…

— Черт подери… Розалия Карловна!

Ответа не последовало. Ваксин нерешительно открыл дверь и заглянул в комнату. Добродетельная немка безмятежно спала. Маленький ночник освещал рельефы ее полновесного, дышащего здоровьем тела. Ваксин вошел в комнату и сел на плетеный сундук, стоявший около двери. В присутствии спящего, но живого существа он почувствовал себя легче.

«Пусть спит, немчура… — думал он. — Посижу у нее, а когда рассветет, выйду… Теперь рано светает».

В ожидании рассвета, Ваксин прикорнул на сундуке, подложил руку под голову и задумался.

«Что значит нервы, однако! Человек развитой, мыслящий, а между тем… черт знает что! Совестно даже»…

Скоро, прислушавшись к тихому, мерному

дыханию Розалии Карловны, он совсем успокоился…

В шесть часов утра жена Ваксина, воротившись от Троицы и не найдя мужа в спальной, отправилась к гувернантке попросить у нее мелочи, чтобы расплатиться с извозчиком. Войдя к немке, она увидала картину: на кровати, вся раскинувшись от жары, спала Розалия Карловна, а на сажень от нее, на плетеном сундуке, свернувшись калачиком, похрапывал сном праведника ее муж. Он был бос и в одном нижнем. Что сказала жена и как глупа была физиономия мужа, когда он проснулся, предоставляю изображать другим. Я же, в бессилии, слагаю оружие.

Дачники

По дачной платформе взад и вперед прогуливалась парочка недавно поженившихся супругов. Он держал ее за талию, а она жалась к нему, и оба были счастливы. Из-за облачных обрывков глядела на них луна и хмурилась: вероятно, ей было завидно и досадно на свое скучное, никому не нужное девство. Неподвижный воздух был густо насыщен запахом сирени и черемухи. Где-то, по ту сторону рельсов, кричал коростель…

— Как хорошо, Саша, как хорошо! — говорила жена. — Право, можно подумать, что все это снится. Ты посмотри, как уютно и ласково глядит этот лесок! Как милы эти солидные, молчаливые телеграфные столбы! Они, Саша, оживляют ландшафт и говорят, что там, где-то, есть люди… цивилизация… А разве тебе не нравится, когда до твоего слуха ветер слабо доносит шум идущего поезда?

— Да… Какие, однако, у тебя руки горячие! Это оттого, что ты волнуешься, Варя… Что у нас сегодня к ужину готовили?

— Окрошку и цыпленка… Цыпленка нам на двоих довольно. Тебе из города привезли сардины и балык.

Луна, точно табаку понюхала, спряталась за облако. Людское счастье напомнило ей об ее одиночестве, одинокой постели за лесами и долами…

— Поезд идет! — сказала Варя. — Как хорошо!

Вдали показались три огненные глаза. На платформу вышел начальник полустанка. На рельсах там и сям замелькали сигнальные огни.

— Проводим поезд и пойдем домой, — сказал Саша и зевнул. — Хорошо нам с тобой живется, Варя, так хорошо, что даже невероятно!

Темное страшилище бесшумно подползло к платформе и остановилось. В полуосвещенных вагонных окнах замелькали сонные лица, шляпки, плечи…

— Ах! Ах! — послышалось из одного вагона. — Варя с мужем вышла нас встретить! Вот они! Варенька!.. Варечка! Ах!

Из вагона выскочили две девочки и повисли на шее у Вари. За ними показались полная пожилая дама и высокий, тощий господин с седыми бачками, потом два гимназиста, навьюченные багажом, за гимназистами гувернантка, за гувернанткой бабушка.

— А вот и мы, а вот и мы, дружок! — начал господин с бачками, пожимая Сашину руку. — Чай,

заждался! Небось, бранил дядю за то, что не едет! Коля, Костя, Нина, Фифа… дети! Целуйте кузена Сашу! Все к тебе, всем выводком, и денька на три, на четыре. Надеюсь, не стесним? Ты, пожалуйста, без церемонии.

Увидев дядю с семейством, супруги пришли в ужас. Пока дядя говорил и целовался, в воображении Саши промелькнула картина: он и жена отдают гостям свои три комнаты, подушки, одеяла; балык, сардины и окрошка съедаются в одну секунду, кузены рвут цветы, проливают чернила, галдят, тетушка целые дни толкует о своей болезни (солитер и боль под ложечкой) и о том, что она урожденная баронесса фон Финтих…

И Саша уже с ненавистью смотрел на свою молодую жену и шептал ей:

— Это они к тебе приехали… черт бы их побрал!

— Нет, к тебе! — отвечала она, бледная, тоже с ненавистью и со злобой. — Это не мои, а твои родственники!

И обернувшись к гостям, она сказала с приветливой улыбкой:

— Милости просим!

Из-за облака опять выплыла луна. Казалось, она улыбалась; казалось, ей было приятно, что у

нее нет родственников. А Саша отвернулся, чтобы скрыть от гостей свое сердитое, отчаянное лицо, и сказал, придавая голосу радостное, благодушное выражение:

— Милости просим! Милости просим, дорогие гости!

Вверх по лестнице

Провинциальный советник Долбоносов, будучи однажды по делам службы в Питере, попал случайно на вечер к князю Фингалову. На этом вечере он, между прочим, к великому своему удивлению, встретил студента-юриста Щепоткина, бывшего лет пять тому назад репетитором его детей. Знакомых у него на вечере не было, и он от скуки подошел к Щепоткину.

— Вы это… тово… как же сюда попали? — спросил он, зевая в кулак.

— Так же, как и вы…

— То есть, положим, не так, как я… — нахмурился Долбоносов, оглядывая Щепоткина. — Гм… тово… дела ваши как?

— Так себе… Кончил курс в университете и служу чиновником особых поручений при Подоконникове…

— Да? Это на первых порах недурно… Но… ээ… простите за нескромный вопрос, сколько дает вам ваша должность?

— Восемьсот рублей…

— Пф!.. На табак не хватит. — пробормотал Долбоносов, опять впадая в снисходительно-по-

кровительственный тон.

— Конечно, для безбедного прожития в Петербурге этого недостаточно, но кроме того ведь я состою секретарем в правлении Угаро-Дебоширской железной дороги… Это дает мне полторы тысячи…

— Дааа, в таком случае, конечно… — перебил Долбоносов, причем по лицу его разлилось нечто вроде сияния. — Кстати, милейший мой, каким образом вы познакомились с хозяином этого дома?

— Очень просто, — равнодушно отвечал Щепоткин. — Я встретился с ним у статс-секретаря Лодкина.

— Вы… бываете у Лодкина? — вытаращил глаза Долбоносов…

— Очень часто… Я женат на его племяннице…

— На пле-мян-ни-це? Гм… Скажите. Я, знаете ли… тово… всегда желал вам… пророчил блестящую будущность, высокоуважаемый Иван Петрович…

— Петр Иваныч…

— То есть, Петр Иваныч… А я, знаете ли, гляжу сейчас и вижу — что-то лицо знакомое… В одну секунду узнал… Дай, думаю, позову его к себе отобедать… Хе-хе. Старику-то, думаю, небось

не откажет! Отель «Европа», № 33… от часу до шести…

Стража под стражей
(Сценка)

Видали ли вы когда-нибудь, как навьючивают ослов? Обыкновенно на бедного осла валят все, что вздумается, не стесняясь ни количеством, ни громоздкостью: кухонный скарб, мебель, кровати, бочки, мешки с грудными младенцами, так что навьюченный азинус представляет из себя громадный, бесформенный ком, из которого еле видны кончики ослиных копыт. Нечто подобное представлял из себя и прокурор Хламовского окружного суда, Алексей Тимофеевич Балбинский, когда после третьего звонка спешил занять место в вагоне. Он был нагружен с головы до ног… Узелки с провизией, картонки, жестянки, чемоданчики, бутыль с чем-то, женская тальма и… черт знает чего только на нем не было! С его красного лица лился ручьями пот, ноги гнулись, в глазах светилось страдание. За ним с пестрым зонтичком шла его жена Настасья Львовна, маленькая весноватая блондинка с выдающеюся вперед нижнею челюстью и с выпуклыми глазами — точь-в-точь молодая щука, когда ее тянут

крючком из воды… Заняв после долгих странствований по вагонам место и свалив на скамьи багаж, прокурор вытер со лба пот и направился к выходу.

— Куда это ты? — спросила его жена.

— Хочу, душенька, в вокзал сходить… рюмку водки выпить…

— Нечего там выдумывать… Сиди…

Балбинский вздохнул и покорно сел.



— Возьми на руки эту корзину… Тут посуда…

Балбинский взял на руки большую корзину и с тоской взглянул на окно… На четвертой станции жена послала его в вокзал за горячей водой, и тут около буфета он встретился со своим приятелем, товарищем председателя Плинского окружного суда Фляжкиным, уговорившимся вместе с ним ехать за границу.

— Батенька, да что же это такое? — налетел на него Фляжкин. — Ведь это свинство по меньшей мере.

Уговорились вместе в одном вагоне ехать, а вас нелегкая в III класс понесла! Зачем вы в III классе едете? Денег у вас нет, что ли?

Балбинский махнул рукой и замигал глазами.

— Мне теперь все равно… — проворчал он, — хоть на тендере ехать. Гляжу, гляжу да, кажется, кончу тем, что с собой порешу… под поезд брошусь… Вы не можете себе, голубчик, представить, до чего заездила меня моя благоверная! То есть так заездила, что удивительно, как я еще жив до сих пор. Боже мой! Погода великолепная… воздух этот… ширь, природа… все условия для безмятежного жития. Одна мысль, что за границу едем, должна была бы, кажется, приводить в телячий восторг… Так нет! Нужно было злому року навязать мне на шею это сокровище! И ведь какая насмешка судьбы! Нарочно, чтоб избавиться от супруги, придумал я болезнь печенок… за границу хотел удрать… Всю зиму о свободе мечтал и во сне и наяву себя одиноким видел. И что же? Навязалась со мной ехать! Уж я и так и этак — ничего! «Поеду да поеду», хоть ты тресни! Ну, вот, поехали… Предлагаю ехать во II классе… Ни

за что! Как это, мол, можно так тратиться? Я ей все резоны представляю… Говорю, что и деньги у нас есть, и престиж наш падет, ежели мы будем в III классе ездить, что и душно, и вонь… не слушает! Бес экономии обуял… Теперь хоть этот багаж взять… Ну для чего мы такую массу с собой тащим? Для чего все эти узелки, картонки, сундучки и прочая дрянь? Мало того, что в багажный вагон десять пудов сдали, мы еще в нашем вагоне четыре скамьи заняли. Кондуктора то и дело просят расчистить место для публики, пассажиры сердятся, она с ними в пререкания вступает… Совестно! Верите ли? В огне горю! А отойти от нее — сохрани бог! Ни на шаг от себя не отпускает. Сиди около нее и на коленях громадную корзину держи. Сейчас вот за горячей водой послала. Ну, прилично ли прокурору суда с медным чайником ходить? Ведь тут в поезде, небось, свидетели и подсудимые мои едут! Пропал к черту престиж! А это, батенька, впредь мне наука! Чтоб знал, что значит личная свобода! Иной раз увлечешься и, знаете ли, ни за что ни про что человечину под стражу упечешь. Ну, теперь я понимаю… проникся… Понимаю, что значит быть под стражей! Ох, как понимаю!

— Небось, рады бы пойти на поруки? — усмех-

нулся Фляжкин.

— С восторгом! Верите ли? При всей своей бедности десять тысяч залога внес бы… Но однако бегу… Небось, уж горячку порет… Быть головомойке!

В Вержболово Фляжкин, гуляя рано утром по платформе, увидел в окне одного из вагонов III класса сонную физиономию Балбинского.

— На минуточку, — закивал ему прокурор. — Моя еще спит, не просыпалась. Когда она спит, я относительно свободен… Выйти-то из вагона нельзя, но зато корзинку можно пока на пол поставить… Хоть за это спасибо. Ах, да! Я вам не говорил? У меня радость!

— Какая?

— Две картонки и один мешочек у нас украли… Все-таки легче… Вчера съели гуся и все пирожки… Нарочно больше ел, чтоб меньше багажа осталось… Да и воздух же у нас в вагоне! Хоть топор вешай… Пфф… Не езда, а чистая мука…

Прокурор повернулся назад и поглядел со злобой на свою спавшую супругу.

— Варварка ты моя! — зашептал он. — Мучительница, Иродиада ты этакая! Скоро ли я, несчастный, избавлюсь от тебя, Ксантиппа? Верите ли, Иван Никитич? Иной раз закрою глаза и

мечтаю: а что, если бы да кабы она да попала бы ко мне в когти в качестве подсудимой? Кажется, в каторгу бы упек! Но… просыпается… Тссс…

Прокурор в мгновение ока состроил невинную физиономию и взял на руки корзину.

В Эйдкунене, идя за горячей водой, он глядел веселее.

— Еще две картонки украли! — похвастался он перед Фляжкиным. — И уже мы все калачи съели… Все-таки легче…

В Кенигсберге же он совсем преобразился. Вбежав утром в вагон к Фляжкину, он повалился на диван и залился счастливым смехом.

— Голубчик! Иван Никитич! Дай обнять! Извини, что я тебе «ты» говорю, но я так рад, так ехидно счастлив!

Я сво-бо-ден! Понимаешь? Сво-бо-ден! Жена бежала!

— То есть как бежала?

— Вышла ночью из вагона, и до сих пор ее нет. Бежала ли она, свалилась ли под вагон, или, быть может, на станции где-нибудь осталась. Одним словом, нет ее!.. Ангел ты мой!

— Но послушай же, — встревожился Фляжкин. — В таком случае телеграфировать надо!

— Храни меня создатель! То есть так я теперь

эту свободу чувствую, что описать тебе не могу! Пойдем по платформе пройдемся… на свободе подышим!

Приятели вышли из вагона и зашагали по платформе. Прокурор шагал и каждый свой вздох сопровождал восклицаниями: «Как хорошо! Как легко дышится! Неужели же есть такие люди, которым всегда так живется?»

— Знаешь что, брат? — решил он. — Я сейчас к тебе в вагон переберусь. Развалимся и заживем на холостую ногу.

И прокурор опрометью побежал в свой вагон за вещами. Минуты через две он вышел из своего вагона, но уже не сияющий, а бледный, ошеломленный, с медным чайником в руках. Он пошатывался и держался за сердце.

— Вернулась! — махнул он рукой, встретив вопросительный взгляд Фляжкина. — Оказывается, что ночью вагоны перепутала и по ошибке в чужой попала. Шабаш, брат.

Прокурор остановился веред Фляжкиным и вперил в него взгляд, полный тоски и отчаяния. На глазах его навернулись слезы. Минута прошла в молчании.

— Знаешь что? — сказал ему Фляжкин, нежно беря его за пуговицу. — Я на твоем месте… сам

бы бежал…

— То есть как?

— Беги — вот и все… А то ведь этак зачахнешь, на тебя глядючи!

— Бежать… бежать… — задумался прокурор. — А ведь это идея! Так я, братец, вот что сделаю: сяду на встречный поезд и айда! Скажу ей потом, что по ошибке сел. Ну, прощай… В Париже встретимся.

Мои жены
(Письмо в редакцию — Рауля Синей Бороды)

Милостивый государь!

Оперетка «Синяя Борода», возбуждающая в Ваших читателях смех и созидающая лавры гг. Лодию, Чернову и проч., не вызывает во мне ничего, кроме горького чувства. Чувство это не обида, нет, а сожаление… Искренно жаль, что печать и сцена стали за последние десятки лет подергиваться плесенью Адамова греха, лжи. Не касаясь сущности оперетки, не трогая даже того обстоятельства, что автор не имел никакого права вторгаться в мою частную жизнь и разоблачать мои семейные тайны, я коснусь только частностей, на которых публика строит свои суждения обо мне, Рауле Синей Бороде. Все эти частности — возмутительная ложь, которую и считаю нужным, м. г., опровергнуть через посредство Вашего уважаемого журнала, прежде чем возбужденное мною судебное преследование даст мне возможность изобличить автора в наглой лжи, а г. Лентовского в потворстве этому постыдному пороку и в укрывательстве. Прежде всего, м.

г., я отнюдь не женолюбец, каким автору угодно было выставить меня в своей оперетке. Я не люблю женщин. Я рад бы вовсе не знаться с ними, но виноват ли я, что homo sum et humani nihil a me alienum puto[151]?[152] Кроме права выбора, над человеком тяготеет еще «закон необходимости». Я должен был выбирать одно из двух: или поступать в разряд сорви-голов, которых так любят медики, печатающие свои объявления на первых страницах газет, или же сочетаться браком. Середины между этими двумя нелепостями нет. Как человек практический, я остановился на второй. Я женился. Да, я женился и во все время моей женатой жизни денно и нощно завидовал тому слизняку, который в себе самом содержит мужа, жену, а стало быть, и тещу, тестя, свекровь… и которому нет необходимости искать женского общества. Согласитесь, что все это не похоже на женолюбие. Далее автор повествует, что я отравлял своих жен на другой же день после свадьбы

[151] Примечания: 151

Замечу кстати, что, учась в гимназии, я имел по-латыни всегда пятерки.

[152] Примечания: 152

Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо (лат.).

— post primam noctem[153].

Чтобы не взводить на меня такой чудовищной небылицы, автору стоило только заглянуть в метрические книги или в мой послужной список, но он этого не сделал и очутился в положении человека, говорящего ложь. Я отравлял своих жен не на вторые сутки медового месяца, не pour plaisir[154], как хотелось бы автору, и не экспромтом. Видит бог, сколько нравственных мук, тяжких сомнений, мучительных дней и недель мне приходилось переживать прежде, чем я решался угостить одно из этих маленьких, тщедушных созданий морфием или фосфорными спичками! Не блажь, не плотоядность обленившегося и объевшегося рыцаря, не жестокосердие, а целый комплекс кричащих причин и следствий заставлял меня обращаться к любезности моего доктора. Не оперетка, а целая драматическая, раздирательная опера разыгрывалась в моей душе, когда я после мучительнейшей совместной жизни и после долгих жгучих размышлений посылал в лавочку за спичками. (Да простят мне женщины! Револьвер я считаю для них оружием

---

[153] Примечания: 153
После первой брачной ночи (лат.).

[154] Примечания: 154
Ради удовольствия (фр.).

слишком не по чину. Крыс и женщин принято отравлять фосфором.) Из нижеприведенной характеристики всех семи мною отравленных жен читателю и Вам, м. г., станет очевидным, насколько не опереточны были причины, заставлявшие меня хвататься за последний козырь семейного благополучия. Описываю моих жен в том же порядке, в каком они значатся у меня в записной книжке под рубрикой: «Расход на баню, сигары, свадьбы и цирюльню».

№ 1. Маленькая брюнетка с длинными кудрявыми волосами и большими, как у жеребенка, глазами. Стройна, гибка, как пружина, и красива. Я был тронут смирением и кротостью, которыми были налиты ее глаза, и уменьем постоянно молчать — редкий талант, который я ставлю в женщине выше всех артистических талантов! Это было недалекое, ограниченное, но полное правды и искренности существо. Она смешивала Пушкина с Пугачевым, Европу с Америкой, редко читала, ничего никогда не знала, всему всегда удивлялась, но зато за все время своего существования она не сказала сознательно ни одного слова лжи, не сделала ни одного фальшивого движения: когда нужно было плакать, она плакала, когда нужно было смеяться, она смеялась, не стес-

няясь ни местом, ни временем. Была естественна, как глупый, молодой барашек. Сила кошачьей любви вошла в поговорку, но, держу пари на что хотите, ни одна кошка не любила так своего кота, как любила меня эта крошечная женщина. Целые дни, от утра до вечера, она неотступно ходила за мной и, не отрывая глаз, глядела мне в лицо, словно на моем лбу были написаны ноты, по которым она дышала, двигалась, говорила… Дни и часы, в которые ее большие глаза не видали меня, считались безвозвратно потерянными, вычеркнутыми из книги жизни. Глядела она на меня молча, восторгаясь, изумляясь. Ночью, когда я храпел, как последний лентяй, она, если спала, то видела меня во сне, если же ей удавалось отогнать от себя сон, стояла в углу и молилась. Если бы я был романистом, то непременно постарался бы узнать, из каких слов и выражений состоят молитвы, которые любящие жены в часы мрака шлют к небу за своих мужей. Чего они хотят и чего просят? Воображаю, сколько логики в этих молитвах!

Ни у Тестова, ни в Ново-Московском никогда не едал я того, что умели приготовлять ее пальчики. Пересоленный суп она ставила на высоту смертного греха, а в пережаренном бифстексе

видела деморализацию своих маленьких нравов. Подозрение, что я голоден или недоволен кушаньем, было для нее одним из ужасных страданий… Но ничто не повергало ее в такое горе, как мои недуги. Когда я кашлял или делал вид, что у меня расстроен желудок, она, бледная, с холодным потом на лбу, ходила из угла в угол и ломала пальцы… Мое самое недолгое отсутствие заставляло ее думать, что я задавлен конкой, свалился с моста в реку, умер от удара… и сколько мучительных секунд сидит в ее памяти! Когда после приятельской попойки я возвращался домой «подшофе» и, благодушествуя, располагался на диване с романом Габорио, никакие ругательства, ни даже пинки не избавляли меня от глупого компресса на голову, теплого ватного одеяла и стакана липового чая!



Золотая муха только тогда ласкает взор и приятна, когда она летает перед вашими глазами минуту, другую и… потом улетает в пространство, но если же она начнет гулять по вашему лбу, щекотать лапками ваши щеки, залезать в нос — и все это неотступно, не обращая никакого внимания на ваши отмахивания, то вы, в конце концов, стараетесь поймать ее и лишить способности

надоедать. Жена моя была именно такой мухой. Это вечное заглядывание в мои глаза, этот постоянный надзор за моим аппетитом, неуклонное преследование моих насморков, кашля, легкой головной боли, заездили меня. В конце концов я не вынес… Да и к тому же ее любовь ко мне была ее страданием. Вечное молчание и голубиная кротость ее глаз говорили за ее беззащитность. Я отравил ее…

№ 2. Женщина с вечно смеющимся лицом, ямочками на щеках и прищуренными глазами. Симпатичная фигурка, одетая чрезвычайно дорого и с громадным вкусом. Насколько первая моя жена была тихоней и домоседкой, настолько эта была непоседа, шумна и подвижна. Романист назвал бы ее женщиной, состоящей из одних только нервов, я же нимало не ошибался, когда называл ее телом, состоящим из равных частей соды и кислоты. Это была бутылка добрых кислых щей в момент откупоривания. Физиология не знает организмов, которые спешат жить, а между тем кровообращение моей жены спешило, как экстренный поезд, нанятый американским оригиналом, и пульс ее бил 120 даже тогда, когда она спала. Она не дышала, а задыхалась, не пила, а захлебывалась. Спешила дышать, говорить,

любить… Жизнь ее сплошь состояла из спешной погони за ощущениями. Она любила пикули, горчицу, перец, великанов-мужчин, холодные души, бешеный вальс… От меня требовала она беспрестанной пушечной пальбы, фейерверков, дуэлей, походов на беднягу Бобеша… Увидав меня в халате, в туфлях и с трубкой в зубах, она выходила из себя и проклинала день и час, когда вышла за «медведя» Рауля. Втолковать ей, что я давно уже пережил то, что составляет теперь соль ее жизни, что мне теперь более к лицу фуфайка, нежели вальс, не было никакой возможности. На все мои аргументы она отвечала маханием рук и истерическими штуками. Volens-nolens[155], чтобы избежать визга и попреков, приходилось вальсировать, палить из пушек, драться… Скоро такая жизнь утомила меня, и я послал за доктором…

№ 3. Высокая стройная блондинка с голубыми глазами. На лице выражение покорности и в то же время собственного достоинства. Всегда мечтательно глядела на небо и каждую минуту испускала страдальческий вздох. Вела регулярную жизнь, имела своего «собственного бога»

---

[155] Примечания: 155
Волей-неволей (лат.).

и вечно говорила о принципах. Во всем, что касалось ее принципов, она старалась быть беспощадной…

— Нечестно, — говорила она мне, — носить бороду, когда из нее можно сделать подушку для бедного!

«Боже, отчего она страдает? Что за причина? — спрашивал я себя, прислушиваясь к ее вздохам. — О, эти мне гражданские скорби!»

Человек любит загадки — вот почему полюбил я блондинку. Но скоро загадка была разрешена. Как-то случайно попался на мои глаза дневник блондинки, и я наскочил в нем на следующий перл: «Желание спасти бедного рара́, запутавшегося в интендантском процессе, заставило меня принести жертву и внять голосу рассудка: я вышла за богатого Рауля. Прости меня, мой Поль!» Поль, как потом оказалось, служил в межевой канцелярии и писал очень плохие стихи. Дульцинеи своей он больше уж не видел… Вместе со своими принципами она отправилась ad patres[156].

---

[156] Примечания: 156
К праотцам (лат.).



№ 4. Девица с правильным, но вечно испуганным и удивленным лицом. Купеческая дочка. Вместе с 200 тыс. приданого внесла в мой дом и свою убийственную привычку играть гаммы и петь романс «Я вновь пред тобою…» Когда она не спала и не ела, она играла, когда не играла, то пела. Гаммы вытянули из меня все мои бедные жилы (я теперь без жил), а слова любимого романса «стою очарован» пелись с таким возмутительным визгом, что у меня в ушах облупилась вся штукатурка и развинтился слуховой аппарат. Я долго терпел, но рано или поздно сострадание к самому себе должно было взять верх: пришел доктор, и гаммы кончились…

№ 5. Длинноносая гладковолосая женщина с

строгим, никогда не улыбающимся лицом. Была близорука и носила очки. За неимением вкуса и суетной потребности нравиться, одевалась просто и странно: черное платье с узкими рукавами, широкий пояс… во всей одежде какая-то плоскость, утюжность — ни одного рельефа, ни одной небрежной складки! Понравилась она мне своею оригинальностью: была не дура. Училась она за границей, где-то у немцев, проглотила всех Боклей и Миллей и мечтала об ученой карьере. Говорила она только об «умном»… Спиритуалисты, позитивисты, материалисты так и сыпались с ее языка… Беседуя с нею в первый раз, я мигал глазами и чувствовал себя дуралеем. По лицу моему догадалась она, что я глуп, но не стала смотреть на меня свысока, а напротив, наивно стала учить меня, как мне перестать быть дуралеем… Умные люди, когда они снисходительны к невеждам, чрезвычайно симпатичны!

Когда мы возвращались из церкви в венчальной карете, она задумчиво глядела в каретное окно и рассказывала мне о свадебных обычаях в Китае.



В первую же ночь она сделала открытие, что мой череп напоминает монгольский; тут же кстати научила меня измерять черепа и доказала, что френология как наука никуда не годится. Я слушал, слушал… Дальнейшая наша жизнь состояла из слушанья… Она говорила, а я мигал глазами, боясь показать, что я ничего не понимаю… Если приходилось мне ночью проснуться, то я видел два глаза, сосредоточенные на потолке или на моем черепе…

— Не мешай мне… Я думаю… — говорила она, когда я начинал приставать к ней с нежностями.

Через неделю же после свадьбы в моей башке сидело убеждение: умные женщины тяжелы для нашего брата, ужасно тяжелы! Вечно чувство-

вать себя как на экзамене, видеть перед собою серьезное лицо, бояться сказать глупое слово, согласитесь, ужасно тяжело! Как вор, подкрался я к ней однажды и сунул ей в кофе кусочек цианистого кали. Спички недостойны такой женщины!

№ 6. Девочка, прельстившая меня своею наивностью и нетронутостью натуры. Это было милое, бесхитростное дитя, через месяц же после свадьбы оказавшееся вертушкой, помешанной на модах, великосветских сплетнях, манерах и визитах. Маленькая дрянь, сорившая напропалую моими деньгами и в то же время строго следившая за лавочными книжками. Тратила у модисток сотни и тысячи и распекала кухарку за копейки, перетраченные на щавеле. Частые истерики, томные мигрени и битье горничных по щекам считала гранд-шиком. Вышла за меня только потому, что я знатен, и изменила мне за два дня до свадьбы. Как-то травя в своей кладовой крыс, я кстати уж отравил и ее…

№ 7. Эта умерла по ошибке: выпила нечаянно яд, приготовленный мною для тещи. (Тещ отравляю я нашатырным спиртом.) Не случись такого казуса, она, быть может, была бы жива и доселе…

Я кончил… Думаю, м. г., что всего вышеписан-

ного достаточно для того, чтобы перед читателем открылась вся недобросовестность автора оперетки и г. Лентовского, попавшего впросак, вероятно, по неведению. Во всяком случае жду от г. Лентовского печатного разъяснения. Примите и проч.

Рауль Синяя Борода.

Ратификовал: А. Чехонте.

Надул
(Очень древний анекдот)

Во время оно в Англии преступники, присужденные к смертной казни, пользовалось правом при жизни предавать свои трупы анатомам и физиологам. Вырученные таким образом деньги они отдавали своим семьям или же пропивали. Один из них, уличенный в ужасном преступлении, позвал к себе ученого медика и, вдоволь поторговавшись с ним, продал ему собственную особу за две гинеи. Но получивши деньги, он вдруг принялся хохотать…

— Чего вы смеетесь?! — удивился медик.

— Вы купили меня, как человека, который должен быть повешен, — сказал, хохоча, преступник, — но я надул вас! Я буду сожжен! Ха-ха!

Интеллигентное бревно
(Сценка)

Архип Елисеич Помоев, отставной корнет, надел очки, нахмурился и прочел: «Мировой судья… округа…участка приглашает вас и т. д. и т. д. в качестве обвиняемого по делу об оскорблении действием крестьянина Григория Власова… Мировой судья П. Шестикрылов».

— Это от кого же? — поднял глаза Помоев на рассыльного.

— От г. мирового судьи-с, Петра Сергеича-с… Шестикрылова-с…

— Гм… От Петра Сергеича? Зачем же это он меня приглашает?

— Должно, на суд… Там написано-с…

Помоев прочел еще раз повестку, поглядел с удивлением на рассыльного и пожал плечами.

— Псс… в качестве обвиняемого… Забавник этот Петр Сергеич! Ну ладно, скажи: хорошо! Пусть только фриштик получше приготовит… Скажи: буду! Наталье Егоровне и деточкам кланяйся!

Помоев расписался и отправился в комнату, где жил брат его жены поручик Ниткин, приехавший

к нему в отпуск.

— Посмотри-кася, какую цидулу мне Петька Шестикрылов прислал, — сказал он, подавая Ниткину повестку. — К себе в четверг зовет… Поедешь со мной?

— Да он тебя не в гости зовет, — сказал Ниткин, прочитав повестку. — Он вызывает тебя на суд в качестве обвиняемого… Судить тебя будет…

— Меня-то? Псс… Молоко у него на губах еще не обсохло, чтоб меня судить… Мелко плавает… Это он так, в шутку…

— Вовсе не в шутку! Не понимаешь ты, что ли? Тут ясно сказано: в оскорблении действием… Ты Гришку побил, вот и суд.

— Чудак ты, ей-богу! Да как же он может меня судить, ежели мы с ним, можно сказать, друзья? Какой он мне судья, ежели мы вместе и в карты играли, и пили, и черт знает чего только ни делали? И какой он судья? Ха-ха! Петька — судья! Ха-ха!

— Смейся, смейся, а вот он как засадит тебя, не по дружбе, а на основании законов, под арест, так не до смеха будет!

— Ты очумел, брат! Какое тут основание законов, ежели он у меня Ваню крестил? Поедем к нему в четверг, вот и увидишь, какие там за-

коны…

— А я тебе советовал бы вовсе не ездить, а то и себя и его в неловкое положение поставишь… Пусть решает заочно…

— Нет, зачем заочно? Поеду, погляжу, как это он судить будет… Любопытно поглядеть, какой из Петьки судья вышел… Кстати же давно у него не был… неловко…

В четверг Помоев отправился с Ниткиным к Шестикрылову. Мирового застали они в камере за разбирательством.

— Здорово, Петюха! — сказал Помоев, подходя к судейскому столу и подавая руку. — Судишь помаленьку? Крючкотворствуешь? Суди, суди… я погожу, погляжу… Это, рекомендую, брат моей жены… Жена здорова?

— Да… здорова… Посидите там… в публике…

Пробормотавши это, судья покраснел. Вообще начинающие судьи всегда конфузятся, когда видят в своей камере знакомых; когда же им приходится судить знакомых, то они делают впечатление людей, проваливающихся от конфуза сквозь землю. Помоев отошел от стола и сел на передней скамье рядом с Ниткиным.

— Важности-то сколько у бестии! — зашептал он на ухо Ниткину. — Не узнаешь! И не улыб-

нется! В золотой цепи! Фу ты, ну ты! Словно и не он у меня на кухне сонную Агашку чернилами разрисовал. Потеха! Да нешто такие люди могут судить? Я тебя спрашиваю: могут такие люди судить? Тут нужен человек, который с чинами, солидный… чтоб, знаешь, страх внушал, а то посадили какого-то и — на, суди! Хе-хе…

— Григорий Власов! — вызвал мировой. — Господин Помоев!

Помоев улыбнулся и подошел к столу. Из публики вылез малый в поношенном сюртуке с высокой тальей, в полосатых брючках, надетых в короткие рыжие голенища, и стал рядом с Помоевым.

— Г-н Помоев! — начал мировой, потупя глаза. — Вы обвиняетесь в том, что-о-о… оскорбили действием вашего служащего… вот Григория Власова. Признаете вы себя виновным?

— Еще бы! Да ты давно таким серьезным стал? Хе-хе…

— Не признаете? — перебил его судья, ерзая от конфуза на стуле. — Власов, расскажите, как было дело!

— Очень просто-с! Я у них, изволите ли видеть, в лакеях состоял, в рассуждении, как бы камельдинер… Известно, наша должность каторжная,

ваше в-е… Они сами встают в девятом часу, а ты будь на ногах чуть свет… Бог их знает, наденут ли они сапоги, или щиблеты, или, может, целый день в туфлях проходят, но ты все чисть: и сапоги, и щиблеты, и ботинки… Хорошо-с… Зовут это они меня утром одеваться. Я, известно, пошел… Надел на них сорочку, надел брючки, сапожки… все, как надо… Начал надевать жилет… Вот они и говорят: «Подай, Гришка, гребенку. Она, говорят, в боковом кармане в сюртучке». Хорошо-с… Роюсь я это в боковом кармане, а гребенку словно черт слопал — нету! Рылся-рылся и говорю: «Да тут нет гребенки, Архип Елисеич!»



Они нахмурились, подошли к сюртуку и достали оттуда гребенку, но не из бокового кармана, как велели, а из переднего. «А это же что? Не гребенка?» — говорят, да тык меня в нос гребенкой. Так всеми зубцами и прошлись по носу. Целый день потом кровь из носу шла. Сами изволите видеть, весь нос распухши… У меня свидетели есть. Все видели.

— Что вы скажете в свое оправдание? — поднял мировой глаза на Помоева.

Помоев поглядел вопросительно на судью, потом на Гришку, опять на судью и побагровел.

— Как я должен это понимать? — пробормотал он. — За насмешку?

— Тут никакой над вами насмешки нет-с, — заметил Гришка, — а вам по чистой совести. Не давайте воли рукам.

— Молчи! — застучал Помоев палкой о пол. — Дурак! Шваль!

Мировой быстро снял цепь, выскочил из-за стола и побежал к себе в канцелярию.

— Прерываю заседание на пять минут! — крикнул он по дороге.

Помоев пошел за ним.

— Послушай, — начал мировой, всплескивая руками, — скандал ты мне устроить хочешь,

что ли? Или тебе приятно слушать, как твои же кухарки да лакеи в своих показаниях будут тебя чистить, осла этакого? Зачем ты приехал? Без тебя я не мог дела решить, что ли?

— Я же у него и виноват! — растопырил руки Помоев. — Сам комедию эту устроил и на меня же сердится! Посади этого Гришку под арест, и… и все!

— Гришку под арест! Тьфу! Каким дураком был ты, таким и остался! Ну, как же это можно Гришку под арест!

— Посади, вот и все! Не меня же сажать!

— Прежние времена теперь, что ли? Гришку он побил и Гришку же под арест! Удивительная логика! Да ты имеешь какое-нибудь понятие о теперешнем судопроизводстве?

— Отродясь я не судился и судьей не был, а так я понимаю, что явись ко мне с жалобой на тебя этот самый Гришка, я так бы его с лестницы спустил, что и внукам запретил бы жаловаться, а не то, чтобы еще позволять ему замечания свои хамские делать. Скажи просто, что насмеяться хочешь, прыть свою показать… вот и все! Жена, как прочла повестку да как увидала, что ты всем кухаркам и скотницам повестки прислал, удивилась. Не ожидала она от тебя таких штук. Нельзя

так, Петя! Так друзья не делают.

— Но пойми же ты мое положение!

И Шестикрылов принялся объяснять Помоеву свое положение.

— Ты посиди здесь, — кончил он, — а я пойду и заочно решу. Ради бога не выходи! Со своими допотопными понятиями, ты такое ляпнешь там, что, чего доброго, придется протокол составлять.

Шестикрылов пошел в камеру и занялся разбирательством. Помоев, сидя в канцелярии за одним из столиков и перечитывая от нечего делать свежеизготовленные исполнительные листы, слышал, как мировой склонял Гришку к миру. Гришка долго топорщился, но наконец согласился, потребовав за обиду десять рублей.

— Ну, слава богу! — сказал Шестикрылов, входя по прочтении приговора в канцелярию. — Спасибо, что дело так кончилось. Словно тысяча пудов с плеч свалилась. Заплатишь ты Гришке 10 рублей и можешь быть покоен.

— Я Гришке… десять… рублей?! — обомлел Помоев. — Да ты в уме?..

— Ну, да ладно, ладно, я за тебя заплачу, — махнул рукой Шестикрылов, поморщившись. — Я и сто рублей готов дать, только чтоб не заводить неудовольствий. И не дай бог знакомых судить.

Лучше, брат, чем Гришек бить, приезжай всякий раз ко мне и лупи меня! Это в тысячу раз легче. Пойдем к Наташе есть!

Через десять минут приятели сидели в апартаментах мирового и завтракали жареными карасями.

— Ну хорошо, — начал Помоев, выпивая третью, — ты Гришке 10 рублей присудил, а на сколько же ты его в арестантскую упек?

— Я его не упекал. За что же его?

— Как за что? — вытаращил глаза Помоев. — А за то, чтоб жалобы не подавал! Нешто он смеет на меня жалобы подавать?

Мировой и Ниткин принялись объяснять Помоеву, но он не понимал и стоял на своем.

— Что ни говори, а не годится Петька в судьи! — вздохнул он, беседуя с Ниткиным на обратном пути. — Человек он добрый, образованный, услужливый такой, но… не годится! Не умеет по-настоящему судить… Хоть жалко, а придется его на следующее трехлетье забастовать! Придется!..

Рыбье дело

(Густой трактат по жидкому вопросу)



Сегодняшнюю весьма передовую статью нашу мы посвящаем несчастным дачникам, имеющим привычку садиться на одном конце палки, у которой на другом привязана нитка и червяк... Мы даем (даром, заметьте!) целый трактат советов

рыболовам. Чтобы придать нашему труду побольше серьезности и учености, мы глубокомысленно делим его на параграфы и пункты.

1. Рыбу ловят в океанах, морях, озерах, реках, прудах, а под Москвою также в лужицах и канавах.

Примечание. Самая крупная рыба ловится в живорыбных лавках.

2. Ловить нужно вдали от населенных мест, иначе рискуешь поймать за ногу купающуюся дачницу или же услышать фразу: «Какую вы имеете полную праву ловить здесь рыбу? Или, может, по шее захотелось?»

3. Прежде чем закидывать удочку, нужно надеть на крючок приманку, какую угодно, судя по роду рыбы… Можешь ловить и без приманки, так как все равно ничего не поймаешь.

Примечание. Хорошенькие дачницы, сидящие на берегу с удочкой для того только, чтобы привлечь внимание женихов, могут удить и без приманки. Нехорошенькие же дачницы должны пускать в ход приманку: сто-двести тысяч или что-нибудь вроде…

4. Сидя с удочкой, не махай руками, не дрыгай ногами и не кричи караул, так как рыба не любит шума. Уженье не требует особенного искусства:

если поплавок неподвижен, то это значит, что рыба еще не клюет; если он шевелится, то торжествуй: твою приманку начинают пробовать; если же он пошел ко дну, то не трудись тащить, так как все равно ничего не вытащишь.

Эту сторону нашего трактата мы находим достаточно вычерпанной (на дне ничего не осталось). В следующий раз мы подробно уясним животрепещущий вопрос о том, какие породы рыб можно изловить животрепещущими в мутной московской воде.

В прошлом нумере «„Будильника“ на даче» мы с непостижимым глубокомыслием и невероятной ученостью «третировали» вопрос о способах ловить рыбу. Переходим теперь к той части нашего трактата, где говорится о рыбьих породах.

В окрестностях Москвы ловятся следующие породы рыб:

а) *Щука*. Рыба некрасивая, невкусная, но рассудительная, положительная, убежденная в своих щучьих правах. Глотает все, что только попадается ей на пути: рыб, раков, лягушек, уток, ребят… Каждая щука в отдельности съедает гораздо больше рыбы, чем все посетители Егоровского трактира. Сыта никогда не бывает и постоянно жалуется на упадок дел. Когда ей указывают на

ее жадность и на несчастное положение мелкой рыбешки, она говорит: «Поговори мне еще, так живо в моем желудке очутишься!» Когда же подобное указание делают ей старшие чином, она заявляет: «И-и, батюшка, да кто ж таперича рыбешку не ест? Так уж спокон века положено, чтоб мы, щуки, всегда сыты были». Когда ее пугают пропечатанием в газете, она говорит: «А мне плевать!»



b) *Головль*. Рыбий интеллигент. Галантен, ловок, красив и имеет большой лоб. Состоит членом многих благотворительных обществ, читает с чувством Некрасова, бранит щук, но тем не менее поедает рыбешек с таким же аппетитом, как я щука. Впрочем, истребление пескарей и уклеек считает горькою необходимостью, потребностью времени… Когда в интимных беседах его попрекают расхождением слова с делом, он вздыхает и говорит:

— Ничего не поделаешь, батенька! Не созрели еще пескари для безопасной жизни, и к тому же, согласитесь, если мы не станем их есть, то что же мы им дадим взамен?

c) *Налим*. Тяжел, неповоротлив и флегматичен, как театральный кассир. Славится своей громадной печенкой, из чего явствует, что он пьет горькую. Живет под корягами и питается всякой всячиной. По натуре хищен, но умеет довольствоваться падалью, червяками и травой. «Где уж нам со щуками да головлями равняться? Что есть, то и едим. И на том спасибо». Пойманный на крючок, вытаскивается из воды, как бревно, не изъявляя никакого протеста… Ему на все плевать…

б) *Окунь*. Красивая рыбка с достаточно острыми зубами. Хищен. Самцы состоят антрепренерами,

а самки дают концерты.

e) *Ерш.* Бойкий и шустрый индивидуй, воображающий, что он защищен от щук и головлей «льготами», данными ему природой, но тем не менее преисправно попадающий в уху.

f) *Карась.* Сидит в тине, дремлет и ждет, когда его съест щука. Сызмальства приучается, к мысли, что он хорош только в жареном виде. Поговорку «На то и щука в море, чтоб карась не дремал» понимает в смысле благоприятном для щуки…

— Денно и нощно должны мы быть готовы, чтоб угодить госпоже щуке… Без ихних благодеяниев…

g) *Пескарь*. Преисправный посетитель ссудных касс, плохих летних увеселений и передних. Служит на Московско-Курской дороге, подносит благодарственные адресы щукам и день и ночь работает, чтобы головли ходили в енотах.

h) *Плотва.* Маленькая, получахоточная рыбка, прозябающая в статистах или доставляющая плохие переводы в толстые журналы. В изобилии поедается щукой и окунем. Самки живут на содержании у налимов и линей.

i) *Линь.* Ленивая, слюнявая и вялая рыба в черно-зеленом вицмундире, дослуживающая до

пенсиона. Нюхает табак в одну ноздрю, объегоривает карасей и лечится от завалов.

k) *Уклейка.* Ловится на муху. Нищенка.

l) *Лещ.* Держит трактиры на большой дороге и занимается подрядами. Делает вид, что питается постной пищей. Съевши рыбку, быстро вытирает губы, чтобы «господа» не приметили.

Симулянты

Генеральша Марфа Петровна Печонкина, или, как ее зовут мужики, Печончиха, десять лет уже практикующая на поприще гомеопатии, в один из майских вторников принимает у себя в кабинете больных. Перед ней на столе гомеопатическая аптечка, лечебник и счета гомеопатической аптеки. На стене в золотых рамках под стеклом висят письма какого-то петербургского гомеопата, по мнению Марфы Петровны, очень знаменитого и даже великого, и висит портрет отца Аристарха, которому генеральша обязана своим спасением: отречением от зловредной аллопатии и знанием истины. В передней сидят и ждут пациенты, все больше мужики. Все они, кроме двух-трех, босы, так как генеральша велит оставлять вонючие сапоги на дворе.

Марфа Петровна приняла уже десять человек и вызывает одиннадцатого:

— Гаврила Груздь!

Дверь отворяется и, вместо Гаврилы Груздя, в кабинет входит Замухришин, генеральшин сосед, помещик из оскудевших, маленький старичок с кислыми глазками и с дворянской фуражкой

под мышкой. Он ставит палку в угол, подходит к генеральше и молча становится перед ней на одно колено.

— Что вы! Что вы, Кузьма Кузьмич! — ужасается генеральша, вся вспыхивая. — Бога ради!

— Покуда жив буду, не встану! — говорит Замухришин, прижимаясь к ручке. — Пусть весь народ видит мое коленопреклонение, ангел-хранитель наш, благодетельница рода человеческого! Пусть! Которая благодетельная фея даровала мне жизнь, указала мне путь истинный и просветила мудрование мое скептическое, перед тою согласен стоять не только на коленях, но и в огне, целительница наша чудесная, мать сирых и вдовых! Выздоровел! Воскрес, волшебница!

— Я… я очень рада… — бормочет генеральша, краснея от удовольствия. — Это так приятно слышать… Садитесь, пожалуйста! А ведь вы в тот вторник были так тяжело больны!

— Да ведь как болен! Вспомнить страшно! — говорит Замухришин, садясь. — Во всех частях и органах ревматизм стоял. Восемь лет мучился, покою себе не знал… Ни днем ни ночью, благодетельница моя! Лечился я и у докторов, и к профессорам в Казань ездил, и грязями разными лечился, и воды лил, и чего только я не

перепробовал! Состояние свое пролечил, матушка-красавица. Доктора эти, кроме вреда, ничего мне не принесли. Они болезнь мою вовнутрь мне вогнали. Вогнать-то вогнали, а выгнать — наука ихняя не дошла. Только деньги любят брать, разбойники, а ежели касательно пользы человечества, то им и горя мало. Пропишет какой-нибудь хиромантии, а ты пей. Душегубцы, одним словом. Если бы не вы, ангел наш, быть бы мне в могиле! Прихожу от вас в тот вторник, гляжу на крупинки, что вы дали тогда, и думаю: «Ну, какой в них толк? Не-Нештоэти песчинки, еле видимые, могут излечить мою громадную застарелую болезнь?» Думаю, маловер, и улыбаюсь, а как принял крупинку — моментально! словно и болен не был или рукой сняло. Жена глядит на меня выпученными глазами и не верит: «Да ты ли это, Кузя?» — «Я», говорю. И стали мы с ней перед образом на коленки и давай молиться за ангела нашего: «Пошли ты ей, господи, всего, что мы только чувствуем!»

Замухришин вытирает рукавом глаза, поднимается со стула и выказывает намерение снова стать на одно колено, но генеральша останавливает и усаживает его.

— Не меня благодарите! — говорит она, красная

от волнения и глядя восторженно на портрет отца Аристарха. — Не меня! Я тут только послушное орудие… Действительно, чудеса! Застарелый, восьмилетний ревматизм от одной крупинки скрофулозо!

— Изволили вы дать мне три крупинки. Из них одну принял я в обед — и моментально! Другую вечером, а третью на другой день, — и с той поры хоть бы тебе что! Хоть бы кольнуло где! А ведь помирать уже собрался, сыну в Москву написал, чтоб приехал! Умудрил вас господь, целительница! Теперь вот хожу, и словно в раю…

В тот вторник, когда у вас был, хромал, а теперь хоть за зайцем готов… Хоть еще сто лет жить. Одна только беда — недостатки наши. И здоров, а для чего здоровье, если жить не на что? Нужда одолела пуще болезни… К примеру взять хоть бы такое дело… Теперь время овес сеять, а как его посеешь, ежели семенóв[157] нет? Нужно бы купить, а денег… известно, какие у нас деньги…

— Я вам дам овса, Кузьма Кузьмич… Сидите, сидите! Вы так меня порадовали, такое удовольствие мне доставили, что не вы, а я должна вас благодарить!

---

[157] Примечания: 157
В издании стоит как «Семенов». Ошибка редактуры.

— Радость вы наша! Создаст же господь такую доброту! Радуйтесь, матушка, на свои добрые дела глядючи! А вот нам, грешным, и порадоваться у себя не на что… Люди мы маленькие, малодушные, бесполезные… мелкота… Одно звание только, что дворяне, а в материальном смысле те же мужики, даже хуже… Живем в домах каменных, а выходит один мираж, потому — крыша течет… Не на что тесу купить.

— Я дам вам тесу, Кузьма Кузьмич.

Замухришин выпрашивает еще корову, рекомендательное письмо для дочки, которую намерен везти в институт, и… тронутый щедротами генеральши, от наплыва чувств всхлипывает, перекашивает рот и лезет в карман за платком… Генеральша видит, как вместе с платком из кармана его вылезает какая-то, красная бумажка и бесшумно падает на пол.

— Во веки веков не забуду… — бормочет он. — И детям закажу помнить, и внукам… в род и род… Вот, дети, та, которая спасла меня от гроба, которая…

Проводив своего пациента, генеральша минуту глазами, полными слез, глядит на отца Аристарха, потом ласкающим, благоговеющим взором обводит аптечку, лечебники, счета, кресло, в ко-

тором только что сидел спасенный ею от смерти человек, и взор ее падает на оброненную пациентом бумажку. Генеральша поднимает бумажку, разворачивает ее и видит в ней три крупинки, те самые крупинки, которые она дала в прошлый вторник Замухришину.

— Это те самые… — недоумевает она. — Даже бумажка та самая… Он и не разворачивал даже! Что же он принимал, в таком случае? Странно… Не станет же он меня обманывать!

И в душу генеральши, в первый раз за все десять лет практики, западает сомнение… Она вызывает следующих больных и, говоря с ними о болезнях, замечает то, что прежде незаметным образом проскальзывало мимо ее ушей. Больные, все до единого, словно сговорившись, сначала славословят ее за чудесное исцеление, восхищаются ее медицинскою мудростью, бранят докторов-аллопатов, потом же, когда она становится красной от волнения, приступают к изложению своих нужд. Один просит землицы для запашки, другой дровец, третий позволения охотиться в ее лесах и т. д. Она глядит на широкую, благодушную физиономию отца Аристарха, открывшего ей истину, и новая истина начинает сосать ее за душу. Истина нехорошая, тяжелая…

Лукав человек!

Налим

Летнее утро. В воздухе тишина; только поскрипывает на берегу кузнечик да где-то робко мурлыкает орличка. На небе неподвижно стоят перистые облака, похожие на рассыпанный снег… Около строящейся купальни, под зелеными ветвями ивняка, барахтается в воде плотник Герасим, высокий, тощий мужик с рыжей курчавой головой и с лицом, поросшим волосами. Он пыхтит, отдувается и, сильно мигая глазами, старается достать что-то из-под корней ивняка. Лицо его покрыто потом. На сажень от Герасима, по горло в воде, стоит плотник Любим, молодой горбатый мужик с треугольным лицом и с узкими, китайскими глазками. Как Герасим, так и Любим, оба в рубахах и портах. Оба посипели от холода, потому что уж больше часа сидят в воде…

— Да что ты все рукой тычешь? — кричит горбатый Любим, дрожа как в лихорадке. — Голова ты садовая! Ты держи его, держи, а то уйдет, анафема! Держи, говорю!

— Не уйдет… Куда ему уйтить? Он под корягу забился… — говорит Герасим охрипшим, глухим басом, идущим не из гортани, а из глубины живо-

та. — Скользкий, шут, и ухватить не за что.

— Ты за зебры хватай, за зебры!

— Не видать жабров-то… Постой, ухватил за что-то… За губу ухватил. Кусается, шут!

— Не тащи за губу, не тащи — выпустишь! За зебры хватай его, за зебры хватай! Опять почал рукой тыкать! Да и беспонятный же мужик, прости царица небесная! Хватай!

— «Хватай»… — дразнит Герасим. — Командер какой нашелся… Шел бы да и хватал бы сам, горбатый черт… Чего стоишь?

— Ухватил бы я, коли б можно было… Нешто при моей низкой комплекцыи можно под берегом стоять? Там глыбоко!

— Ничего, что глыбоко… Ты вплавь…

Горбач взмахивает руками, подплывает к Герасиму и хватается за ветки. При первой же попытке стать на ноги, он погружается с головой и пускает пузыри.

— Говорил же, что глыбоко! — говорит он, сердито вращая белками. — На шею тебе сяду, что ли?

— А ты на корягу стань… Коряг много, словно лестница…

Горбач нащупывает пяткой корягу и, крепко ухватившись сразу за несколько веток, стано-

вится на нее… Совладавши с равновесием и укрепившись на новой позиции, он изгибается и, стараясь не набрать в рот воды, начинает правой рукой шарить между корягами. Путаясь в водорослях, скользя по мху, покрывающему коряги, рука его наскакивает на колючие клешни рака…

— Тебя еще тут, черта, не видали! — говорит Любим и со злобой выбрасывает на берег рака.

Наконец, рука его нащупывает руку Герасима и, спускаясь по ней, доходит до чего-то склизкого, холодного.

— Во-от он!.. — улыбается Любим. — Зда-аровый, шут… Оттопырь-ка пальцы, я его сичас… за зебры… Постой, не толкай локтем… я его сичас… сичас, дай только взяться… Далече, шут, под корягу забился, не за что и ухватиться… Не доберешься до головы… Пузо одно только и слыхать. Убей мне на шее комара — жжет! Я сичас… под зебры его… Заходи сбоку, пхай его, пхай! Шпыняй его пальцем!

Горбач, надув щеки, притаив дыхание, вытаращивает глаза и, по-видимому, уже залезает пальцами «под зебры», но тут ветки, за которые цепляется его левая рука, обрываются, и он, потеряв равновесие, — бултых в воду! Словно испуганные, бегут от берега волнистые круги и

на месте падения вскакивают пузыри. Горбач выплывает и, фыркая, хватается за ветки.

— Утонешь еще, черт, отвечать за тебя придется!.. — хрипит Герасим. — Вылазь, ну тя к лешему! Я сам вытащу!

Начинается ругань… А солнце печет и печет. Тени становятся короче и уходят в самих себя, как рога улитки… Высокая трава, пригретая солнцем, начинает испускать из себя густой, приторно-медовый запах. Уж скоро полдень, а Герасим и Любим все еще барахтаются под ивняком. Хриплый бас и озябший, визгливый тенор неугомонно нарушают тишину летнего дня.

— Тащи его за зебры, тащи! Постой, я его выпихну! Да куда суешься-то с кулачищем? Ты пальцем, а не кулаком — рыло! Заходи сбоку! Слева заходи, слева, а то вправе колдобина! Угодишь к лешему на ужин! Тяни за губу!

Слышится хлопанье бича. По отлогому берегу к водопою лениво плетется стадо, гонимое пастухом Ефимом. Пастух, дряхлый старик с одним глазом и покривившимся ртом, идет, понуря голову, и глядит себе под ноги. Первыми подходят к воде овцы, за ними лошади, за лошадьми коровы.

— Потолкай его из-под низу! — слышит он голос

Любима. — Просунь палец! Да ты глухой, че-ерт, что ли? Тьфу!

— Кого это вы, братцы? — кричит Ефим.

— Налима! Никак не вытащим! Под корягу забился! Заходи сбоку! Заходи, заходи!

Ефим минуту щурит свой глаз на рыболовов, затем снимает лапти, сбрасывает с плеч мешочек и снимает рубаху. Сбросить порты не хватает у него терпения, и он, перекрестясь, балансируя худыми, темными руками, лезет в портах в воду… Шагов пятьдесят он проходит по илистому дну, но затем пускается вплавь.

— Постой, ребятушки! — кричит он. — Постой! Не вытаскивайте его зря, упустите. Надо умеючи!..

Ефим присоединяется к плотникам, и все трое, толкая друг друга локтями и коленями, пыхтя и ругаясь, толкутся на одном месте. Горбатый Любим захлебывается, и воздух оглашается резким, судорожным кашлем.

— Где пастух? — слышится с берега крик. — Ефи-им! Пастух! Где ты? Стадо в сад полезло! Гони, гони из саду! Гони! Да где ж он, старый разбойник?

Слышатся мужские голоса, затем женский… Из-за решетки барского сада показывается барин

Андрей Андреич в халате из персидской шали и с газетой в руке… Он смотрит вопросительно по направлению криков, несущихся с реки, и потом быстро семенит к купальне…

— Что здесь? Кто орет? — спрашивает он строго, увидав сквозь ветви ивняка три мокрые головы рыболовов. — Что вы здесь копошитесь?

— Ры… рыбку ловим… — лепечет Ефим, не поднимая головы.

— А вот я тебе задам рыбку! Стадо в сад полезло, а он рыбку!.. Когда же купальня будет готова, черти? Два дня как работаете, а где ваша работа?

— Бу… будет готова… — кряхтит Герасим. — Лето велико, успеешь еще, вышескородие, помыться… Пфррр… Никак вот тут с налимом не управимся… Забрался под корягу и словно в норе: ни туда ни сюда…

— Налим? — спрашивает барин и глаза его подергиваются лаком. — Так тащите его скорей!

— Ужо дашь полтинничек… Удружим ежели… Здоровенный налим, что твоя купчиха… Стоит, вашескородие, полтинник… за труды. Не мни его, Любим, не мни, а то замучишь! Подпирай снизу! Тащи-ка корягу кверху, добрый человек… как тебя? Кверху, а не книзу, дьявол! Не болтайте ногами!

Проходит пять минут, десять… Барину становится невтерпеж.

— Василий! — кричит он, повернувшись к усадьбе. — Васька! Позовите ко мне Василия!

Прибегает кучер Василий. Он что-то жует и тяжело дышит.

— Полезай в воду, — приказывает ему барин, — помоги им вытащить налима… Налима не вытащат!

Василий быстро раздевается и лезет в воду.

— Я сичас… — бормочет он. — Где налим? Я сичас… Мы это мигом! А ты бы ушел, Ефим! Нечего тебе тут, старому человеку, не в свое дело мешаться! Который тут налим? Я его сичас… Вот он! Пустите руки!

— Да чего пустите руки? Сами знаем: пустите руки! А ты вытащи!

— Да нешто его так вытащишь? Надо за голову!

— А голова под корягой! Знамо дело, дурак!



— Ну, не лай, а то влетит! Сволочь!

— При господине барине и такие слова… — лепечет Ефим. — Не вытащите вы, братцы! Уж больно ловко он засел туда!

— Погодите, я сейчас… — говорит барин и начинает торопливо раздеваться. — Четыре вас дурака, и налима вытащить не можете!

Раздевшись, Андрей Андреич дает себе остынуть и лезет в воду. Но и его вмешательство не ведет ни к чему.

— Подрубить корягу надо! — решает, наконец, Любим. — Герасим, сходи за топором! Топор подайте!

— Пальцев-то себе не отрубите! — говорит барин, когда слышатся подводные удары топора о корягу. — Ефим, пошел вон отсюда! Постойте, я налима вытащу… Вы не тово…

Коряга подрублена. Ее слегка надламывают, и Андрей Андреич, к великому своему удовольствию, чувствует, как его пальцы лезут налиму под жабры.

— Тащу, братцы! Не толпитесь… стойте… тащу!

На поверхности показывается большая налимья голова и за нею черное аршинное тело. Налим тяжело ворочает хвостом и старается вырваться.

— Шалишь… Дудки, брат. Попался? Ага!

По всем лицам разливается медовая улыбка. Минута проходит в молчаливом созерцании.

— Знатный налим! — лепечет Ефим, почесывая под ключицами. — Чай, фунтов десять будет…

— Н-да… — соглашается барин. — Печенка-то так и отдувается. Так и прет ее из нутра. А… ах!

Налим вдруг неожиданно делает резкое движение хвостом вверх и рыболовы слышат сильный плеск… Все растопыривают руки, но уже поздно; налим — поминай как звали.

Из воспоминаний идеалиста

Десятого мая взял я отпуск на 28 дней, выпросил у нашего казначея ста рублей вперед и порешил во что бы то ни стало «пожить», пожить во всю ивановскую, так, чтобы потом в течение десяти лет жить одними только воспоминаниями.

А вы знаете, что значит «пожить» в лучшем смысле этого слова? Это не значит отправиться в летний театр на оперетку, съесть ужин и к утру вернуться домой навеселе. Это не значит отправиться на выставку, а оттуда на скачки и повертеть там кошельком около тотализатора. Если вы хотите пожить, то садитесь в вагон и отправляйтесь туда, где воздух пропитан запахом сирени и черемухи, где, лаская ваш взор своей нежной белизной и блеском алмазных росинок, наперегонку цветут ландыши и ночные красавицы. Там, на просторе, под голубым сводом, в виду зеленого леса и воркующих ручьев, в обществе птиц и зеленых жуков, вы поймете, что такое жизнь! Прибавьте к этому две-три встречи с широкополой шляпкой, быстрыми глазками и белым фартучком… Признаюсь, обо всем этом я мечтал, когда с отпуском в кармане, обласканный

щедротами казначея, перебирался на дачу.

Дачу я нанял, по совету одного приятеля, у Софьи Павловны Книгиной, отдававшей у себя на даче лишнюю комнату со столом, мебелью и прочими удобствами. Наем дачи совершился скорее, чем мог я думать. Приехав в Перерву и отыскав дачу Книги-ной, я взошел, помню, на террасу и… сконфузился. Терраска была уютна, мила и восхитительна, но еще милее и (позвольте так выразиться) уютнее была молодая полная дамочка, сидевшая за столом на террасе и пившая чай. Она прищурила на меня глазки.

— Что вам угодно?

— Извините, пожалуйста… — начал я. — Я… я, вероятно, не туда попал… Мне нужна дача Книгиной…

— Я Книгина и есть… Что вам угодно?

Я потерялся… Под квартирными и дачными хозяйками привык я разуметь особ пожилых, ревматических, пахнущих кофейной гущей, но тут… — «спасите нас, о неба херувимы!» — как сказал Гамлет, сидела чудесная, великолепная, изумительная, очаровательная особа. Я, заикаясь, объяснил, что мне нужно.

— Ах, очень приятно! Садитесь, пожалуйста! Мне ваш друг писал уже. Не хотите ли чаю? Вам

со сливками или с лимоном?

Есть порода женщин (чаще всего блондинок), с которыми достаточно посидеть две-три минуты, чтобы вы почувствовали себя, как дома, словно вы давным-давно знакомы. Такой именно была и Софья Павловна. Выпивая первый стакан, я уже знал, что она не замужем, живет на проценты с капитала и ждет к себе в гости тетю; я знал причины, какие побудили Софью Павловну отдать одну комнату внаймы. Во-первых, платить сто двадцать рублей за дачу для одной тяжело и, во-вторых, как-то жутко: вдруг вор заберется ночью или днем войдет страшный мужик! И ничего нет предосудительного, если в угловой комнате будет жить какая-нибудь одинокая дама или мужчина.

— Но мужчина лучше! — вздохнула хозяйка, слизывая варенье с ложечки. — С мужчиной меньше хлопот и не так страшно…

Одним словом, через какой-нибудь час я и Софья Павловна были уже друзьями.

— Ах, да! — вспомнил я, прощаясь с ней. — Обо всем поговорили, а о главном ни слова. Сколько же вы с меня возьмете? Жить я у вас буду только 28 дней… Обед, конечно… чай и прочее…

— Ну, нашли о чем говорить! Сколько можете, столько и дайте… Я ведь не из расчета отдаю

комнату, а так... чтоб людней было. 25 рублей можете дать?

Я, конечно, согласился, и дачная жизнь моя началась... Эта жизнь интересна тем, что день похож на день, ночь на ночь, и — сколько прелести в этом однообразии, какие дни, какие ночи! Читатель, я в восторге, позвольте мне вас обнять! Утром я просыпался и, нимало не думая о службе, пил чай со сливками.

В одиннадцать шел к хозяйке поздравить ее с добрым утром и пил у нее кофе с жирными, топлеными сливками. От кофе до обеда болтали. В два часа обед, но что за обед! Представьте себе, что вы, голодный, как собака, садитесь за стол, хватаете большую рюмку листовки и закусываете горячей солониной с хреном. Затем представьте себе окрошку или зеленые щи со сметаной и т. д. и т. д. После обеда безмятежное лежанье, чтение романа и ежеминутное вскакивание, так как хозяйка то и дело мелькает около двери — и «лежите! лежите!»... Потом купанье. Вечером до глубокой ночи прогулка с Софьей Павловной... Представьте себе, что в вечерний час, когда все спит, кроме соловья да изредка вскрикивающей цапли, когда слабо дышащий ветерок еле-еле доносит до вас шум далекого поезда, вы гуляете

в роще или по насыпи железной дороги с полной блондиночкой, которая кокетливо пожимается от вечерней прохлады и то и дело поворачивает к вам бледное от луны личико… Ужасно хорошо!

Не прошло и недели, как случилось то, чего вы давно уже ждете от меня, читатель, и без чего не обходится ни один порядочный рассказ… Я не устоял… Мои объяснения Софья Павловна выслушала равнодушно, почти холодно, словно давно уже ждала их, только сделала милую гримаску губами, как бы желая сказать:

— И о чем тут долго говорить, не понимаю!

28 дней промелькнули, как одна секунда. Когда кончился срок моего отпуска, я, тоскующий, неудовлетворенный, прощался с дачей и Соней. Хозяйка, когда я укладывал чемодан, сидела на диване и утирала глазки. Я, сам едва не плача, утешал ее, обещая наведываться к ней на дачу по праздникам и бывать у нее зимой в Москве.

— Ах… когда же мы, душа моя, с тобой посчитаемся? — вспомнил я. — Сколько с меня следует?

— Когда-нибудь после… — проговорил мой «предмет», всхлипывая.

— Зачем после? Дружба дружбой, а денежки врозь, говорит пословица, и к тому же я нисколько не желаю жить на твой счет. Не ломайся же,

Соня… Сколько тебе?

— Там… пустяки какие-то… — проговорила хозяйка, всхлипывая и выдвигая из стола ящичек. — Мог бы и после заплатить…

Соня порылась в ящичке, достала оттуда бумажку и подала ее мне.

— Это счет? — спросил я. — Ну, вот и отлично… и отлично… (я надел очки) расквитаемся и ладно… (я пробежал счет). Итого… Постой, что же это? Итого. Да это не то, Соня! Здесь «итого 212 р. 44 к.». Это не мой счет!

— Твой, Дудочка! Ты погляди!

— Но… откуда же столько? За дачу и стол 25 р. — согласен… За прислугу 3 р. — ну, пусть, и на это согласен…

— Я не понимаю, Дудочка, — сказала протяжно хозяйка, взглянув на меня удивленно, заплаканными глазами. — Неужели ты мне не веришь? Сочти в таком случае! Листовку ты пил… не могла же я подавать тебе к обеду водки за ту же цену! Сливки к чаю и кофе… потом клубника, огурцы, вишни… Насчет кофе тоже… Ведь ты не договаривался пить его, а пил каждый день! Впрочем, все это такие пустяки, что я, изволь, могу сбросить тебе 12 руб. Пусть останется только 200.

— Но… тут поставлено 75 руб. и не обозначено

за что… За что это?

— Как за что? Вот это мило!

Я посмотрел ей в личико. Оно глядело так искренне, ясно и удивленно, что язык мой уже не мог выговорить ни одного слова. Я дал Соне сто рублей и вексель на столько же, взвалил на плечи чемодан и пошел на вокзал.

Нет ли, господа, у кого-нибудь взаймы ста рублей?

Лошадиная фамилия

У отставного генерал-майора Булдеева разболелись зубы. Он полоскал рот водкой, коньяком, прикладывал к больному зубу табачную копоть, опий, скипидар, керосин, мазал щеку йодом, в ушах у него была вата, смоченная в спирту, но все это или не помогало, или вызывало тошноту. Приезжал доктор. Он поковырял в зубе, прописал хину, но и это не помогло. На предложение вырвать больной зуб генерал ответил отказом. Все домашние — жена, дети, прислуга, даже поваренок Петька предлагали каждый свое средство. Между прочим и приказчик Булдеева Иван Евсеич пришел к нему и посоветовал полечиться заговором.

— Тут, в нашем уезде, ваше превосходительство, — сказал он, — лет десять назад служил акцизный Яков Васильич. Заговаривал зубы — первый сорт. Бывало, отвернется к окошку, пошепчет, поплюет — и как рукой! Сила ему такая дадена…

— Где же он теперь?

— А после того как его из акцизных увольнили, в Саратове у тещи живет. Теперь только зубами

и кормится. Ежели у которого человека заболит зуб, то и идут к нему, помогает… Тамошних, саратовских на дому у себя пользует, а ежели которые из других городов, то по телеграфу. Пошлите ему, ваше превосходительство, депешу, что так, мол, вот и так… у раба божьего Алексия зубы болят, прошу выпользовать. А деньги за лечение почтой пошлете.

— Ерунда! Шарлатанство!

— А вы попытайте, ваше превосходительство. До водки очень охотник, живет не с женой, а с немкой, ругатель, но, можно сказать, чудодейственный господин!

— Пошли, Алеша! — взмолилась генеральша. — Ты вот не веришь в заговоры, а я на себе испытала. Хотя ты и не веришь, но отчего не послать? Руки ведь не отвалятся от этого.

— Ну, ладно, — согласился Булдеев. — Тут не только что к акцизному, но и к черту депешу пошлешь… Ох! Мочи нет! Ну, где твой акцизный живет? Как к нему писать?

Генерал сел за стол и взял перо в руки.

— Его в Саратове каждая собака знает, — сказал приказчик. — Извольте писать, ваше превосходительство, в город Саратов, стало быть… Его благородию господину Якову Васильичу… Васи-

льичу…

— Ну?

— Васильичу… Якову Васильичу… а по фамилии… А фамилию вот и забыл!.. Васильичу… Черт. Как же его фамилия? Давеча, как сюда шел, помнил… Позвольте-с…

Иван Евсеич поднял глаза к потолку и зашевелил губами. Булдеев и генеральша ожидали нетерпеливо.

— Ну, что же? Скорей думай!

— Сейчас… Васильичу… Якову Васильичу… Забыл! Такая еще простая фамилия… словно как бы лошадиная… Кобылин? Нет, не Кобылин. Постойте… Жеребцов нешто? Нет, и не Жеребцов. Помню, фамилия лошадиная, а какая — из головы вышибло…

— Жеребятников?

— Никак нет. Постойте… Кобылицын… Кобылятников… Кобелев…

— Это уж собачья, а не лошадиная. Жеребчиков?

— Нет, и не Жеребчиков….. Лошадинин. Лошаков… Жеребкин… Все не то!

— Ну, так как же я буду ему писать? Ты подумай!

— Сейчас. Лошадкин… Кобылкин… Коренной…

— Коренников? — спросила генеральша.

— Никак нет. Пристяжкин… Нет, не то! Забыл!

— Так зачем же, черт тебя возьми, с советами лезешь, ежели забыл? — рассердился генерал. — Ступай отсюда вон!

Иван Евсеич медленно вышел, а генерал схватил себя за щеку и заходил по комнатам.

— Ой, батюшки! — вопил он. — Ой, матушки! Ох, света белого не вижу!

Приказчик вышел в сад и, подняв к небу глаза, стал припоминать фамилию акцизного:

— Жеребчиков… Жеребковский… Жеребенко… Нет, не то! Лошадинский… Лошадевич… Жеребкович… Кобылянский…

Немного погодя его позвали к господам.

— Вспомнил? — спросил генерал.

— Никак нет, ваше превосходительство.

— Может быть, Конявский? Лошадников? Нет?

И в доме, все наперерыв, стали изобретать фамилии. Перебрали все возрасты, полы и породы лошадей, вспомнили гриву, копыта, сбрую… В доме, в саду, в людской и кухне люди ходили из угла в угол и, почесывая лбы, искали фамилию…

Приказчика то и дело требовали в дом.

— Табунов? — спрашивали у него. — Копытин? Жеребовский?

— Никак нет, — отвечал Иван Евсеич и, подняв вверх глаза, продолжал думать вслух. — Коненко… Конченко… Жеребеев… Кобылеев…

— Папа! — кричали из детской. — Тройкин! Уздечкин!

Взбудоражилась вся усадьба. Нетерпеливый, замученный генерал пообещал дать пять рублей тому, кто вспомнит настоящую фамилию, и за Иваном Евсеичем стали ходить целыми толпами…

— Гнедов! — говорили ему. — Рысистый! Лошадицкий!

Но наступил вечер, а фамилия все еще не была найдена. Так и спать легли, не послав телеграммы.

Генерал не спал всю ночь, ходил из угла в угол и стонал. В третьем часу утра он вышел из дому и постучался в окно к приказчику.

— Не Меринов ли? — спросил он плачущим голосом.



— Нет, не Меринов, ваше превосходительство, — ответил Иван Евсеич и виновато вздохнул.

— Да может быть, фамилия не лошадиная, а какая-нибудь другая!

— Истинно слово, ваше превосходительство, лошадиная… Это очень даже отлично помню.

— Экий ты какой, братец, беспамятный… Для меня теперь эта фамилия дороже, кажется, всего на свете. Замучился!

Утром генерал опять послал за доктором.

— Пускай рвет! — решил он. — Нет больше сил терпеть…

Приехал доктор и вырвал больной зуб. Боль утихла тотчас же, и генерал успокоился. Сделав свое дело и получив, что следует, за труд, доктор сел в свою бричку и поехал домой. За воротами в поле он встретил Ивана Евсеича… Приказчик стоял на краю дороги и, глядя сосредоточенно себе под ноги, о чем-то думал. Судя по морщинам, бороздившим его лоб, и по выражению глаз, думы его были напряженны, мучительны…

— Буланов… Чересседельников… — бормотал он. — Засупонин… Лошадский…

— Иван Евсеич! — обратился к нему доктор. — Не могу ли я, голубчик, купить у вас четвертей пять овса? Мне продают наши мужички овес, да уж больно плохой…

Иван Евсеич тупо поглядел на доктора, как-то дико улыбнулся и, не сказав в ответ ни одного слова, всплеснув руками, побежал к усадьбе с такой быстротой, точно за ним гналась бешеная собака.

— Надумал, ваше превосходительство! — закричал он радостно, не своим голосом, влетая в кабинет к генералу. — Надумал, дай бог здоровья

доктору! Овсов! Овсов фамилия акцизного! Овсов, ваше превосходительство! Посылайте депешу Овсову!

— На-кося! — сказал генерал с презрением и поднес к лицу его два кукиша. — Не нужно мне теперь твоей лошадиной фамилии! На-кося!

Не судьба!

Часу в десятом утра два помещика, Гадюкин и Шилохвостов, ехали на выборы участкового мирового судьи. Погода стояла великолепная. Дорога, по которой ехали приятели, зеленела на всем своем протяжении. Старые березы, насаженные по краям ее, тихо шептались молодой листвой. Направо и налево тянулись богатые луга, оглашаемые криками перепелов, чибисов и куличков. На горизонте там и сям белели в синеющей дали церкви и барские усадьбы с зелеными крышами.

— Взять бы сюда нашего председателя и носом его потыкать... — проворчал Гадюкин, толстый седовласый барин в грязной соломенной шляпе и с развязавшимся пестрым галстуком, когда бричка, подпрыгивая и звякая всеми своими суставами, объезжала мостик. — Наши земские мосты для того только и строятся, чтобы их объезжали. Правду сказал на прошлом земском собрании граф Дублеве, что земские мосты построены для испытания умственных способностей: ежели человек объехал мост, то, стало быть, он умный, ежели же взъехал на мостик и, как водится, шею

сломал, то дурак. А все председатель виноват. Будь у нас председателем другой кто-нибудь, а не пьяница, не соня, не размазня, не было бы таких мостов. Тут нужен человек с понятием, энергический, зубастый, как ты, например… Нелегкая тебя несет в мировые судьи! Баллотировался бы, право, в председатели!

— А вот погоди, как прокатят сегодня на вороных, — скромно заметил Шилохвостов, высокий рыжий человек в новой дворянской фуражке, — то поневоле придется баллотироваться в председатели.

— Не прокатят… — зевнул Гадюкин. — Нам нужны образованные люди, а университетских-то у нас в уезде всего-навсего один — ты! Кого же и выбирать, как не тебя? Так уж и решили… Только напрасно ты в мировые лезешь… В председателях ты нужнее был бы…

— Все равно, друг… И мировой получает 2400 и председатель 2400. Мировой знай сиди себе дома, а председатель то и дело трясись в бричке в управу… Мировому не в пример легче, и к тому же…

Шилохвостов не договорил… Он вдруг беспокойно задвигался и вперил взор вперед на дорогу. Затем он побагровел, плюнул и откинулся на задок.

— Так и знал! Чуяло мое сердце! — пробормотал он, снимая фуражку и вытирая со лба пот. — Опять не выберут!

— Что такое? Почему?

— Да нешто не видишь, что отец Онисим навстречу едет? Уж это как пить дать… Встретится тебе на дороге этакая фигура, можешь назад воротиться, потому — ни черта не выйдет. Это уж я знаю! Митька, поворачивай назад! Господи, нарочно пораньше выехал, чтоб с этим иезуитом не встречаться, так нет, пронюхал, что еду! Чутье у него такое!

— Да полно, будет тебе! Выдумываешь, ей-богу!

— Не выдумываю! Ежели священник на дороге встретится, то быть беде, а он каждый раз, как я еду на выборы, всегда норовит мне навстречу выехать. Старый, чуть живой, помирать собирается, а такая злоба, что не приведи создатель! Недаром уж двадцать лет за штатом сидит! И за что мстит-то? За образ мыслей! Мысли мои ему не нравятся! Были мы, знаешь, однажды у Ульева. После обеда, выпивши, конечно, сел я за фортепианы и давай без всякой, знаешь, задней мысли петь «Настоечка травная» да «Грянем в хороводе при всем честном народе», а он услыхал и говорит: «Не подобает судии быть с таким образом мыслей

касательно иерархии. Не допущу до избрания!» И с той поры каждый раз навстречу ездит… Уж я и ругался с ним и дороги менял — ничего не помогает! Чутьем слышит, когда я выезжаю… Что ж? Теперь надо ворочаться! Все равно не выберут! Это уж как пить дать… В прошлые разы не выбирали, — а почему? По его милости!

— Ну, полно, образованный человек, в университете кончил, а в бабьи предрассудки веришь…

— Не верю я в предрассудки, но у меня примета: как только начну что-нибудь 13-го числа или встречусь с этой фигурой, то всегда кончаю плохо. Все это, конечно, чепуха, вздор, нельзя этому верить, но… объясни, почему всегда так случается, как приметы говорят? Не объяснишь же вот! По-моему, верить не нужно, но на всякий случай не мешает подчиняться этим проклятым приметам. Вернемся! Ни меня, ни тебя, брат, не выберут, и вдобавок еще ось сломается или проиграемся… Вот увидишь!

С бричкой поравнялась крестьянская телега, в которой сидел маленький, дряхленький иерей в широкополом, позеленевшем от времени цилиндре и в парусинковой ряске. Поравнявшись с бричкой, он снял цилиндр и поклонился.

— Так нехорошо делать, батюшка! — замахал

ему рукой Шилохвостов. — Такие ехидные поступки неприличны вашему сану! Да-с! За это вы ответ должны дать на страшном судилище!.. Воротимся! — обратился он к Гадюкину. — Даром только едем…

Но Гадюкин не согласился вернуться…

Вечером того же дня приятели ехали обратно домой… Оба были багровы и сумрачны, как вечерняя заря перед плохой погодой.

— Говорил ведь я тебе, что нужно было вернуться! — ворчал Шилохвостов. — Говорил ведь. Отчего не послушался? Вот тебе и предрассудки! Будешь теперь не верить! Мало того, что на вороных, подлецы, прокатили, но еще и на смех подняли, анафемы! «Кабак, говорят, на своей земле держишь!» Ну, и держу! Кому какое дело? Держу, да!

— Ничего, через месяц в председатели будешь баллотироваться… — успокоил Гадюкин. — Тебя нарочно сегодня прокатили, чтоб в председатели тебя выбрать…

— Пой соловьем! Всегда ты меня, ехида, утешаешь, а сам первый норовишь черняков набросать! Сегодня ни одного белого не было, все черняки, стало быть, и ты, друг, черняка положил… Мерси…

Через месяц приятели по той же дороге ехали на выборы председателя земской управы, но уже ехали не в десятом часу утра, а в седьмом. Шилохвостов ерзал в бричке и беспокойно поглядывал на дорогу…

— Он не ожидает, что мы так рано выедем, — говорил он, — но все-таки надо спешить. Черт его знает, может быть, у него шпионы есть! Гони, Митька! Шибче!.. Вчера, брат, — обратился он к Гадюкину, — я послал отцу Онисиму два мешка овса и фунт чаю… Думал его лаской умилостивить, а он взял подарки и говорит Федору: «Кланяйся барину и поблагодари его за дар совершен, но, говорит, скажи ему, что я неподкупен. Не токмо овсом, но и золотом он не поколеблет моих мыслей». Каков? Погоди же… Поедешь и черта пухлого встретишь… Гони, Митька!

Бричка въехала в деревню, где жил отец Онисим. Проезжая мимо его двора, приятели заглянули в ворота. Отец Онисим суетился около телеги и торопился запрячь лошадь. Одной рукой он застегивал себе пояс, другой рукой и зубами надевал на лошадь шлею.

— Опоздал! — захохотал Шилохвостов. — Донесли шпионы, да поздно! Ха, ха! На-кося выкуси! Что, съел? Вот тебе и неподкупен! Ха, ха!

Бричка выехала из деревни, и Шилохвостов почувствовал себя вне опасности. Он заликовал.

— Ну, у меня, брат, таких мостов не будет! — начал бравировать будущий председатель, подмигивая глазом. — Я их подтяну, этих подрядчиков! У меня, брат, не такие школы будут! Чуть замечу, что который из учителей пьяница или социалист — айда, брат! Чтоб и духу твоего не было! У меня, брат, земские доктора не посмеют в красных рубахах ходить! Я, брат… ты, брат… Гони, Митька, чтоб другой какой поп не встретился!.. Ну, кажись, благополучно доеха… Ай!

Шилохвостов вдруг побледнел и вскочил, как ужаленный.

— Заяц! Заяц! — закричал он. — Заяц дорогу перебежал! Аа… черт подери, чтоб его разорвало!

Шилохвостов махнул рукой и опустил голову. Он помолчал немного, подумал и, проведя рукой по бледному, вспотевшему лбу, прошептал:

— Не судьба, знать, мне 2400 получать… Воротчай назад, Митька! Не судьба!

Необходимое предисловие

Молодая, только что повенчанная пара едет из церкви восвояси.

— Ну-ка, Варя, — говорит муж, — возьми-ка меня за бороду и рвани изо всех сил.

— Бог знает что ты выдумываешь!

— Нет, нет, пожалуйста! Прошу тебя! Возьми и рвани без всяких церемоний…

— Полно, для чего тебе это?

— Варя, я прошу… требую наконец! Если ты любишь меня, то возьмешь меня за бороду и дернешь… Вот моя борода, рви!



— Ни за что! Причинять боль человеку, которого я люблю больше жизни… нет, никогда!

— Но я прошу! — начинает сердиться новоиспеченный супруг. — Понимаешь? Я прошу и… требую!

Наконец, после долгих ломаний, недоумевающая жена запускает свои маленькие ручки в мужнину бороду и рвет ее, насколько хватает сил… Муж даже не морщится…

— Представь, а мне ведь нисколько не больно! — говорит он. — Ей-богу, не больно! А ну-ка, постой, теперь я тебя…

Муж берет жену за несколько волосков, что

около виска, и сильно дергает. Жена громко взвизгивает.

— Теперь, мой друг, — резюмирует муж, — ты видишь, что я во много раз сильнее и выносливее тебя. Это тебе необходимо знать на случай, если когда-нибудь в будущем полезешь на меня с кулаками или пообещаешь выцарапать мне глаза… Одним словом, жена да убоится мужа своего!

В вагоне
(Разговорная перестрелка)

— Сосед, сигарочку не угодно ли?

— Merci… Великолепная сигара! Почем такие за десяток?

— Право, не знаю, но думаю, что из дорогих… гаванна ведь! После бутылочки Эль-де-Пердри, которую я только что выпил на вокзале, и после анчоусов недурно выкурить такую сигару. Пфф!

— Какая у вас массивная брелока!

— М-да… Триста рубликов-с! Теперь, знаете ли, недурно бы после этой сигары рейнского выпить… Шлос-Иоганисберга, что ли, № 85 ½, десятирублевый… А? Или красного. Из красных я пью Кло-де-Вужо-вье-сеп или, пожалуй, Кло-де-Руа-Кортон. Впрочем, если уж пить бургонское, то не иначе как Шамбертен № 38 ¾. Из бургонских оно самое здоровое…

— Извините, пожалуйста, за нескромный вопрос: вы, вероятно, принадлежите к здешним крупным землевладельцам, или вы… банкир?

— Не-ет, какой банкир! Я пакгаузный надзиратель W-й таможни…

* * *

— Жена моя читает «Новости» и «Новое время», сам же я предпочитаю московские газеты. По утрам читаю газеты, а вечером приказываю которой-нибудь из дочерей читать вслух «Русскую старину» или «Вестник Европы». Признаться, я не охотник до толстых журналов, отдаю их знакомым читать, сам же угощаюсь больше иллюстрациями… Читаю «Ниву», «Всемирную»… ну, конечно, и юмористические…

— Неужели вы выписываете все эти газеты и журналы? Вероятно, вы содержите библиотеку?

— Нет-с, я приемщик в почтовом отделении…

* * *

— Конечно, лошадиному способу путей сообщения никогда не сравняться с железной дорогой, но и лошади, батенька, хорошая штука… Запряжешь, этак, пять-шесть троек, насажаешь туда бабенок и — ах вы, кони, мои кони, мчитесь сокола быстрей! Едешь, и только искры сыплются! Верст тридцать промчишься и назад… Лучшего удовольствия и выдумать нельзя, особливо зимой… Был, знаете ли, такой случай… Приказываю

я однажды людям запрячь десять троек… гости у меня были…

— Виноват… вероятно, у вас свой конский завод?

— Нет-с, я брандмейстер…

* * *

— Я не корыстолюбив, не люблю денег… тьфу на них!.. Много я из-за них, поганых, выстрадал, но все-таки говорил и буду говорить: деньги хорошая штука! Ну, что может быть приятнее, когда стоишь, этак, с глазу на глаз с обывателем и вдруг чувствуешь на ладони некоторое бумажное, так сказать, соприкосновение… Так и бегают по жилам искры, когда в кулаке бумаженцию чувствуешь…

— Вы, вероятно, доктор?

— Храни бог! Я становой…

* * *

— Кондуктор! Где я нахожусь?! В каком я обществе?! В каком я веке живу?!

— Да вы сами кто такой?

— Сапожных дел мастер Егоров…

* * *

— Что ни говорите, а тяжел наш писательский труд! (величественный вздох). Недаром collega Некрасов сказал, что в нашей судьбе что-то лежит роковое… Правда, мы получаем большие деньги, нас всюду знают… наш удел слава, но… все это суета… Слава, по выражению одного из моих коллег, есть яркая заплата на грязном рубище слепца. Так тяжело и трудно, что, верите ли, иной раз взял бы и променял славу, деньги и все на долю пахаря…

— А вы где изволите писать?

— Пишу в «Луче» статьи по еврейскому вопросу…

* * *

— Мой муж уходил каждую субботу к министру, и я оставалась одна… Вдруг в одну из суббот приезжают от графа Фикина и спрашивают мужа. «Нужен во что бы то ни стало! Хоть из земли выкапывайте, а давайте нам вашего мужа!» Такие, ей-богу… Где же, говорю, я возьму вам мужа? Сейчас он у министра, оттуда же, чего доброго, заедет к княгине Хронской-Запятой…

— Ааа… Сударыня, ваш супруг по какому министерству изволит служить?

— Он по парикмахерской части… В парикмахерах…

Мыслитель

Знойный полдень. В воздухе ни звуков, ни движений… Вся природа похожа на одну очень большую, забытую богом и людьми усадьбу. Под опустившейся листвой старой липы, стоящей около квартиры тюремного смотрителя Яшкина, за маленьким треногим столом сидят сам Яшкин и его гость, штатный смотритель уездного училища Пимфов. Оба без сюртуков; жилетки их расстегнуты; лица потны, красны, неподвижны; способность их выражать что-нибудь парализована зноем… Лицо Пимфова совсем скисло и заплыло ленью, глаза его посоловели, нижняя губа отвисла. В глазах же и на лбу у Яшкина еще заметна кое-какая деятельность; по-видимому, он о чем-то думает… Оба глядят друг на друга, молчат и выражают свои мучения пыхтеньем и хлопаньем ладонями по мухам. На столе графин с водкой, мочалистая вареная говядина и коробка из-под сардин с серой солью. Выпиты уже первая, вторая, третья…

— Да-с! — издает вдруг Яшкин, и так неожиданно, что собака, дремлющая недалеко от стола, вздрагивает и, поджав хвост, бежит в сторону. —

Да-с! Что ни говорите, Филипп Максимыч, а в русском языке очень много лишних знаков препинания!

— То есть, почему же-с? — скромно вопрошает Пимфов, вынимая из рюмки крылышко мухи. — Хотя и много знаков, но каждый из них имеет свое значение и место.

— Уж это вы оставьте! Никакого значения не имеют ваши знаки. Одно только мудрование… Наставит десяток запятых в одной строчке и думает, что он умный. Например, товарищ прокурора Меринов после каждого слова запятую ставит. Для чего это? Милостивый государь — запятая, посетив тюрьму такого-то числа — запятая, я заметил — запятая, что арестанты — запятая… тьфу! В глазах рябит! Да и в книгах то же самое… Точка с запятой, двоеточие, кавычки разные. Противно читать даже. А иной франт, мало ему одной точки, возьмет и натыкает их целый ряд… Для чего это?



— Наука того требует… — вздыхает Пимфов.

— Наука… Умопомрачение, а не наука… Для форсу выдумали… пыль в глаза пущать… Например, ни в одном иностранном языке нет этого ять, а в России есть… Для чего он, спрашивается? Напиши ты хлеб с ятем или без ятя, нешто не все равно?

— Бог знает что вы говорите, Илья Мартыныч! — обижается Пимфов. — Как же это можно хлеб через *е* писать? Такое говорят, что слушать даже неприятно.

Пимфов выпивает рюмку и, обиженно моргая

глазами, отворачивает лицо в сторону.

— Да и секли же меня за этот ять! — продолжает Яшкин. — Помню это, вызывает меня раз учитель к черной доске и диктует: «Лекарь уехал в город». Я взял и написал лекарь с *е*. Выпорол. Через неделю опять к доске, опять пиши: «Лекарь уехал в город». Пишу на этот раз с ятем. Опять пороть. За что же, Иван Фомич? Помилуйте, сами же вы говорили, что тут ять нужно! «Тогда, говорит, я заблуждался, прочитав же вчера сочинение некоего академика о ять в слове *лекарь*, соглашаюсь с академией наук. Порю же я тебя по долгу присяги»... Ну, и порол. Да и у моего Васютки всегда ухо вспухши от этого ять... Будь я министром, запретил бы я вашему брату ятем людей морочить.

— Прощайте, — вздыхает Пимфов, моргая глазами и надевая сюртук. — Не могу я слышать, ежели про науки...

— Ну, ну, ну... уж и обиделся! — говорит Яшкин, хватая Пимфова за рукав. — Я ведь это так, для разговора только... Ну, сядем, выпьем!

Оскорбленный Пимфов садится, выпивает и отворачивает лицо в сторону. Наступает тишина. Мимо пьющих кухарка Феона проносит лохань с помоями. Слышится помойный плеск и визг облитой собаки. Безжизненное лицо Пимфова

раскисает еще больше; вот-вот растает от жары и потечет вниз на жилетку. На лбу Яшкина собираются морщинки. Он сосредоточенно глядит на мочалистую говядину и думает… Подходит к столу инвалид, угрюмо косится на графин и, увидев, что он пуст, приносит новую порцию… Еще выпивают.

— Да-с! — говорит вдруг Яшкин.

Пимфов вздрагивает и с испугом глядит на Яшкина. Он ждет от него новых ересей.

— Да-с! — повторяет Яшкин, задумчиво глядя на графин. — По моему мнению, и наук много лишних!

— То есть, как же это-с? — тихо спрашивает Пимфов. — Какие науки вы находите лишними?

— Всякие… Чем больше наук знает человек, тем больше он мечтает о себе. Гордости больше… Я бы перевешал все эти… науки… Ну, ну… уж и обиделся! Экий какой, ей-богу, обидчивый, слова сказать нельзя! Сядем, выпьем!

Подходит Феона и, сердито тыкая в стороны своими пухлыми локтями, ставит перед приятелями зеленые щи в миске. Начинается громкое хлебание и чавканье. Словно из земли вырастают три собаки и кошка. Они стоят перед столом и умильно поглядывают на жующие рты. За щами

следует молочная каша, которую Феона ставит с такой злобой, что со стола сыплются ложки и корки. Перед кашей приятели молча выпивают.

— Все на этом свете лишнее! — замечает вдруг Яшкин.

Пимфов роняет на колени ложку, испуганно глядит на Яшкина, хочет протестовать, но язык ослабел от хмеля и запутался в густой каше… Вместо обычного «то есть, как же это-с?» получается одно только мычание.

— Все лишнее… — продолжает Яшкин. — И науки, и люди… и тюремные заведения, и мухи… и каша… И вы лишний… Хоть вы и хороший человек, и в бога веруете, но и вы лишний…

— Прощайте, Илья Мартыныч! — лепечет Пимфов, силясь надеть сюртук и никак не попадая в рукава.

— Сейчас вот мы натрескались, налопались, — а для чего это? Так… Все это лишнее… Едим и сами не знаем, для чего… Ну, ну… уж и обиделся! Я ведь это так только… для разговора! И куда вам идти? Посидим, потолкуем… выпьем!

Наступает тишина, изредка только прерываемая звяканьем рюмок да пьяным покрякиваньем… Солнце начинает уже клониться к западу, и тень липы все растет и растет. Приходит Фео-

на и, фыркая, резко махая руками, расстилает около стола коврик. Приятели молча выпивают по последней, располагаются на ковре и, повернувшись друг к другу спинами, начинают засыпать…

«Слава богу, — думает Пимфов, — сегодня не дошел до сотворения мира и иерархии, а то бы волосы дыбом, хоть святых выноси…»

Заблудшие

Дачная местность, окутанная ночным мраком. На деревенской колокольне бьет час. Присяжные поверенные Козявкин и Лаев, оба в отменном настроении и слегка пошатываясь, выходят из лесу и направляются к дачам.

— Ну, слава создателю, пришли. — говорит Козявкин, переводя дух. — В нашем положении пройти пехтурой пять верст от полустанка — подвиг. Страшно умаялся! И, как на зло, ни одного извозчика…

— Голубчик, Петя… не могу! Если через пять минут я не буду в постели, то умру, кажется…

— В по-сте-ли? Ну, это шалишь, брат! Мы сначала поужинаем, выпьем красненького, а потом уж и в постель. Мы с Верочкой не дадим тебе спать… А хорошо, братец ты мой, быть женатым! Ты не понимаешь этого, черствая душа! Приду я сейчас к себе домой утомленный, замученный… меня встретит любящая жена, попоит чайком, даст поесть и, в благодарность за мой труд, за любовь, взглянет на меня своими черненькими глазенками так ласково и приветливо, что забуду я, братец ты мой, и усталость, и кражу со взломом, и

судебную палату, и кассационный департамент… Хоррошо!

— Но… у меня, кажется, ноги отломались… Я едва иду… Пить страшно хочется…

— Ну, вот мы и дома.

Приятели подходят к одной из дач и останавливаются перед крайним окном.

— Дачка славная, — говорит Козявкин. — Вот завтра увидишь, какие здесь виды! Темно в окнах. Стало быть, Верочка уже легла, не захотела дожидаться. Лежит и, должно быть, мучится, что меня до сих пор нет… (пихает тростью окно, которое отворяется). Этакая ведь бесстрашная, ложится в постель и не запирает окон (снимает крылатку и бросает ее вместе с портфелем в окно). Жарко! Давай-ка затянем серенаду, посмешим ее… (поет): «Месяц плывет по ночным небесам… Ветерочек чуть-чуть дышит… ветерочек чуть колышет»… Пой, Алеша! Верочка, спеть тебе серенаду Шуберта? (поет): «Пе-еснь моя-я-я… лети-ит с мольбо-о-о-ю»… (голос обрывается судорожным кашлем). Тьфу! Верочка, скажи-ка Аксинье, чтобы она отперла нам калитку! (пауза). Верочка! Не ленись же, встань, милая! (становится на камень и глядит в окно). Верунчик, мумочка моя, веревьюнчик… ангелочек, жена моя бесподобная,

встань и скажи Аксинье, чтобы она отперла нам калитку! Ведь не спишь же! Мамочка, ей-богу, мы так утомлены и обессилены, что нам вовсе не до шуток. Ведь мы пешком от станции шли! Да ты слышишь или нет? А, черт возьми! (делает попытку влезть в окно и срывается). Может быть, гостю неприятны эти шутки! Ты, я вижу, Вера, такая же институтка, как была, все бы тебе шалить…

— А может быть, Вера Степановна спит! — говорит Лаев.

— Не спит! Ей, вероятно, хочется, чтобы я поднял шум и взбудоражил всех соседей! Я уже начинаю сердиться, Вера! А, черт возьми! Подсади меня, Алеша, я влезу! Девчонка ты, школьница и больше ничего!.. Подсади!

Лаев с пыхтеньем подсаживает Козявкина. Тот влезает в окно и исчезает во мраке комнаты.

— Верка! — слышит через минуту Лаев. — Где ты? Черррт… Тьфу, во что-то руку выпачкал! Тьфу!

Слышится шорох, хлопанье крыльев и отчаянный крик курицы.

— Вот те на! — слышит Лаев. — Вера, откуда у нас куры? Черт возьми, да тут их пропасть! Плетушка с индейкой… Клюется, п-подлая!

Из окна с шумом вылетают две курицы и, крича

во все горло, мчатся по улице.

— Алеша, да мы не туда попали! — говорит Козявкин плачущим голосом. — Тут куры какие-то… Я, должно быть, обознался… Да ну вас к черту, разлетались тут, анафемы!

— Так ты выходи поскорей! Понимаешь? Умираю от жажды!

— Сейчас… Найду вот крылатку и портфель…

— Ты спичку зажги!

— Спички в крылатке… Угораздило же меня сюда забраться! Все дачи одинаковые, сам черт не различит их в потемках. Ой, индейка в щеку клюнула! П-подлая…

— Выходи поскорее, а то подумают, что мы кур воруем!

— Сейчас… Крылатки никак не найду. Тряпья здесь валяется много, и не разберешь, где тут крылатка. Брось-ка мне спички!

— У меня нет спичек!

— Положение, нечего сказать! Как же быть-то? Без крылатки и портфеля никак нельзя. Надо отыскать их.

— Не понимаю, как это можно не узнать своей собственной дачи, — возмущается Лаев. — Пьяная рожа… Если б я знал, что будет такая история, ни за что бы не поехал с тобой. Теперь бы я был

дома, спал безмятежно, а тут изволь вот мучиться… Страшно утомлен, пить хочется… голова кружится!

— Сейчас, сейчас… не умрешь…

Через голову Лаева с криком пролетает большой петух. Лаев глубоко вздыхает и, безнадежно махнув рукой, садится на камень. Душа у него горит от жажды, глаза слипаются, голову клонит вниз… Проходит минут пять, десять, наконец, двадцать, а Козявкин все еще возится с курами.

— Петр, скоро ли ты?

— Сейчас. Нашел было портфель, да опять потерял.

Лаев подпирает голову кулаками и закрывает глаза. Куриный крик становится все громче. Обитательницы пустой дачи вылетают из окна и, кажется ему, как совы кружатся во тьме над его головой. От их крика в ушах его стоит звон, душой овладевает ужас.

«Сскотина!.. — думает он. — Пригласил в гости, обещал угостить вином да простоквашей, а вместо того заставил пройтись от станции пешком и этих кур слушать…»



Возмущаясь, Лаев сует подбородок в воротник, кладет голову на свой портфель и мало-помалу успокаивается. Утомление берет свое, и он начинает засыпать.

— Нашел портфель! — слышит он торжествующий крик Козявкина. — Найду сейчас крылатку и — баста, идем!

Но вот сквозь сон слышит он собачий лай. Лает сначала одна собака, потом другая, третья… и собачий лай, мешаясь с куриным кудахтаньем,

дает какую-то дикую музыку. Кто-то подходит к Лаеву и спрашивает о чем-то. Засим слышит он, что через его голову лезут в окно, стучат, кричат… Женщина в красном фартуке стоит около него с фонарем в руке и о чем-то спрашивает.

— Вы не имеете права говорить это! — слышит он голос Козявкина. — Я присяжный поверенный, кандидат прав Козявкин. Вот вам моя визитная карточка!

— На что мне ваша карточка! — говорит кто-то хриплым басом. — Вы у меня всех кур поразгоняли, вы подавили яйца! Поглядите, что вы наделали! Не сегодня-завтра индюшата должны были вылупиться, а вы подавили. На что же, сударь, сдалась мне ваша карточка?

— Вы не смеете меня удерживать! Да-с! Я не позволю!

«Пить хочется»… — думает Лаев, стараясь открыть глаза и чувствуя, как через его голову кто-то лезет из окна.

— Я — Козявкин! Тут моя дача, меня тут все знают!

— Никакого Козявкина мы не знаем!

— Что ты мне рассказываешь? Позвать старосту! Он меня знает!

— Не горячитесь, сейчас урядник приедет…

Всех дачников тутошних мы знаем, а вас отродясь не видели.

— Я уж пятый год в Гнилых Выселках на даче живу!

— Эва! Нешто это Выселки? Здесь Хилово, а Гнилые Выселки правее будут, за спичечной фабрикой. Версты за четыре отсюда.

— Черт меня возьми! Это, значит, я не той дорогой пошел!

Человеческие и птичьи крики мешаются с собачьим лаем, и из смеси звукового хаоса выделяется голос Козявкина:

— Вы не смеете! Я заплачу! Вы узнаете, с кем имеете дело!

Наконец, голоса мало-помалу стихают. Лаев чувствует, что его треплют за плечо.

Злоумышленник

Перед судебным следователем стоит маленький, чрезвычайно тощий мужичонко в пестрядинной рубахе и латаных портах. Его обросшее волосами и изъеденное рябинами лицо и глаза, едва видные из-за густых, нависших бровей, имеют выражение угрюмой суровости. На голове целая шапка давно уже нечесанных, путаных волос, что придает ему еще большую, паучью суровость. Он бос.

— Денис Григорьев! — начинает следователь. — Подойди поближе и отвечай на мои вопросы. Седьмого числа сего июля железнодорожный сторож Иван Семенов Акинфов, проходя утром по линии, на 141-й версте, застал тебя за отвинчиванием гайки, коей рельсы прикрепляются к шпалам. Вот она, эта гайка!.. С каковою гайкой он и задержал тебя. Так ли это было?

— Чаво?

— Так ли все это было, как объясняет Акинфов?

— Знамо, было.

— Хорошо; ну, а для чего ты отвинчивал гайку?

— Чаво?

— Ты это свое «чаво» брось, а отвечай на вопрос: для чего ты отвинчивал гайку?

— Коли б не нужна была, не отвинчивал бы, — хрипит Денис, косясь на потолок.

— Для чего же тебе понадобилась эта гайка?

— Гайка-то? Мы из гаек грузила делаем…

— Кто это — мы?

— Мы, народ… Климовские мужики, то есть.

— Послушай, братец, не прикидывайся ты мне идиотом, а говори толком. Нечего тут про грузила врать!

— Отродясь не врал, а тут вру… — бормочет Денис, мигая глазами. — Да нешто, ваше благородие, можно без грузила? Ежели ты живца или выползка на крючок сажаешь, то нешто он пойдет ко дну без грузила? Вру… — усмехается Денис. — Черт ли в нем, в живце-то, ежели поверху плавать будет! Окунь, щука, налим завсегда на донную идет, а которая ежели поверху плавает, то ту разве только шилишпер схватит, да и то редко… В нашей реке не живет шилишпер… Эта рыба простор любит.

— Для чего ты мне про шилишпера рассказываешь?

— Чаво? Да ведь вы сами спрашиваете! У нас и господа так ловят. Самый последний мальчишка

не станет тебе без грузила ловить. Конечно, который непонимающий, ну, тот и без грузила пойдет ловить. Дураку закон не писан…

— Так ты говоришь, что ты отвинтил эту гайку для того, чтобы сделать из нее грузило?

— А то что же? Не в бабки ж играть!

— Но для грузила ты мог взять свинец, пулю… гвоздик какой-нибудь…

— Свинец на дороге не найдешь, купить надо, а гвоздик не годится. Лучше гайки и не найтить… И тяжелая, и дыра есть.

— Дураком каким прикидывается! Точно вчера родился или с неба упал. Разве ты не понимаешь, глупая голова, к чему ведет это отвинчивание? Не догляди сторож, так ведь поезд мог бы сойти с рельсов, людей бы убило! Ты людей убил бы!

— Избави господи, ваше благородие! Зачем убивать? Нешто мы некрещеные или злодеи какие? Слава те господи, господин хороший, век свой прожили и не токмо что убивать, но и мыслей таких в голове не было… Спаси и помилуй, царица небесная… Что вы-с!

— А отчего, по-твоему, происходят крушения поездов? Отвинти две-три гайки, вот тебе и крушение!

Денис усмехается и недоверчиво щурит на сле-

дователя глаза.

— Ну! Уж сколько лет всей деревней гайки отвинчиваем и хранил господь, а тут крушение… людей убил… Ежели б я рельсу унес или, положим, бревно поперек ейного пути положил, ну, тогды, пожалуй, своротило бы поезд, а то… тьфу! гайка!

— Да пойми же, гайками прикрепляется рельса к шпалам!

— Это мы понимаем… Мы ведь не все отвинчиваем… оставляем… Не без ума делаем… понимаем…

Денис зевает и крестит рот.

— В прошлом году здесь сошел поезд с рельсов, — говорит следователь. — Теперь понятно, почему…

— Чего изволите?

— Теперь, говорю, понятно, отчего в прошлом году сошел поезд с рельсов… Я понимаю!

— На то вы и образованные, чтобы понимать, милостивцы наши… Господь знал, кому понятие давал… Вы вот и рассудили, как и что, а сторож тот же мужик, без всякого понятия, хватает за шиворот и тащит… Ты рассуди, а потом и тащи! Сказано — мужик, мужицкий и ум… Запишите также, ваше благородие, что он меня два раза по

зубам ударил и в груди.

— Когда у тебя делали обыск, то нашли еще одну гайку… Эту в каком месте ты отвинтил и когда?

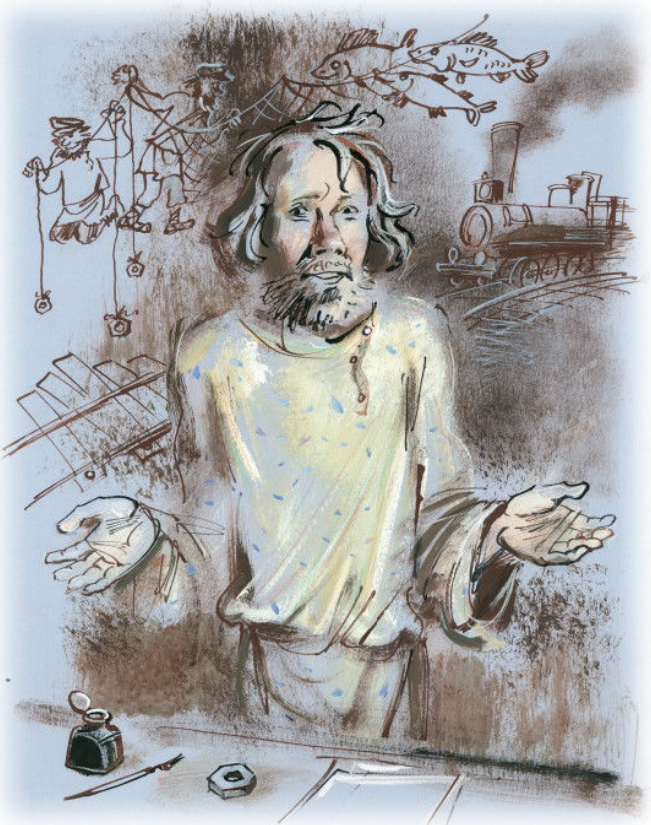
— Это вы про ту гайку, что под красным сундучком лежала?

— Не знаю, где она у тебя лежала, но только нашли ее. Когда ты ее отвинтил?

— Я ее не отвинчивал, ее мне Игнашка, Семена кривого сын, дал. Это я про ту, что под сундучком, а ту, что на дворе в санях, мы вместе с Митрофаном вывинтили.

— С каким Митрофаном?

— С Митрофаном Петровым… Нешто не слыхали? Невода у нас делает и господам продает. Ему много этих самых гаек требуется. На каждый невод, почитай, штук десять.



— Послушай… 1081 статья уложения о наказаниях говорит, что за всякое с умыслом учиненное

повреждение железной дороги, когда оно может подвергнуть опасности следующий по сей дороге транспорт и виновный знал, что последствием сего должно быть несчастье… понимаешь? знал! А ты не мог не знать, к чему ведет это отвинчивание… он приговаривается к ссылке в каторжные работы.

— Конечно, вы лучше знаете… Мы люди темные… нешто мы понимаем?

— Все ты понимаешь! Это ты врешь, прикидываешься!

— Зачем врать? Спросите на деревне, коли не верите… Без грузила только уклейку ловят, а на что хуже пескаря, да и тот не пойдет тебе без грузила.

— Ты еще про шилишпера расскажи! — улыбается следователь.

— Шилишпер у нас не водится… Пущаем леску без грузила поверх воды на бабочку, идет голавль, да и то редко.

— Ну, молчи…

Наступает молчание. Денис переминается с ноги на ногу, глядит на стол с зеленым сукном и усиленно мигает глазами, словно видит перед собой не сукно, а солнце. Следователь быстро пишет.

— Мне идтить? — спрашивает Денис после некоторого молчания.

— Нет. Я должен взять тебя под стражу и отослать в тюрьму.

Денис перестает мигать и, приподняв свои густые брови, вопросительно глядит на чиновника.

— То есть, как же в тюрьму? Ваше благородие! Мне некогда, мне надо на ярмарку; с Егора три рубля за сало получить…

— Молчи, не мешай.

— В тюрьму… Было б за что, пошел бы, а то так… здорово живешь. За что? И не крал, кажись, и не дрался… А ежели вы насчет недоимки сомневаетесь, ваше благородие, то не верьте старосте… Вы господина непременного члена спросите… Креста на нем нет, на старосте-то…

— Молчи!

— Я и так молчу. — бормочет Денис. — А что староста набрехал в учете, это я хоть под присягой… Нас три брата: Кузьма Григорьев, стало быть, Егор Григорьев и я, Денис Григорьев…

— Ты мне мешаешь… Эй, Семен! — кричит следователь. — Увести его!

— Нас три брата, — бормочет Денис, когда два дюжих солдата берут и ведут его из камеры. —

Брат за брата не ответчик… Кузьма не платит, а ты, Денис, отвечай… Судьи! Помер покойник барин-генерал, царство небесное, а то показал бы он вам, судьям… Надо судить умеючи, не зря… Хоть и высеки, но чтоб за дело, по совести…



Жених и папенька

(Нечто современное)

Сценка

— А вы, я слышал, женитесь! — обратился к Петру Петровичу Милкину на дачном балу один из его знакомых. — Когда же мальчишник справлять будете?

— Откуда вы взяли, что я женюсь? — вспыхнул Милкин. — Какой это дурак вам сказал?

— Все говорят, да и по всему видно… Нечего скрытничать, батенька… Вы думаете, что нам ничего не известно, а мы вас насквозь видим и знаем! Хе-хе-хе… По всему видно… Целые дни просиживаете вы у Кондрашкиных, обедаете там, ужинаете, романсы поете… Гуляете только с Настенькой Кондрашкиной, ей одной только букеты и таскаете… Все видим-с! Намедни встречается мне сам Кондрашкин-папенька и говорит, что ваше дело совсем уже в шляпе, что как только переедете с дачи в город, то сейчас же и свадьба… Что ж? Дай бог! Не так я за вас рад, как за самого Кондрашкина… Ведь семь дочек у бедняги! Семь! Шутка ли? Хоть бы одну бог при-

вел пристроить…

«Черт побери… — подумал Милкин. — Это уж десятый говорит мне про женитьбу на Настеньке. И из чего заключили, черт их возьми совсем! Из того, что ежедневно обедаю у Кондрашкиных, гуляю с Настенькой… Не-ет, пора уж прекратить эти толки, пора, а то того и гляди, что женят, анафемы!.. Схожу завтра объяснюсь с этим болваном Кондрашкиным, чтоб не надеялся попусту, и — айда!»

На другой день после описанного разговора Милкин, чувствуя смущение и некоторый страх, входил в дачный кабинет надворного советника Кондрашкина.

— Петру Петровичу! — встретил его хозяин. — Как живем-можем? Соскучились, ангел? Хе-хе-хе… Сейчас Настенька придет… На минутку к Гусевым побежала…

— Я, собственно говоря, не к Настасье Кирилловне, — пробормотал Милкин, почесывая в смущении глаз, — а к вам… Мне нужно поговорить с вами кое о чем… В глаз что-то попало…

— О чем же это вы собираетесь поговорить? — мигнул глазом Кондрашкин. — Хе-хе-хе… Чего же вы смущены так, милаша? Ах, мужчина, мужчина! Беда с вами, с молодежью! Знаю, о чем это вы

хотите поговорить! Хе-хе-хе… Давно пора.

— Собственно говоря, некоторым образом… дело, видите ли, в том, что я… пришел проститься с вами… Уезжаю завтра…

— То есть как уезжаете? — спросил Кондрашкин, вытаращив глаза.

— Очень просто… Уезжаю, вот и все… Позвольте поблагодарить вас за любезное гостеприимство… Дочери ваши такие милые… Никогда не забуду минут, которые…

— Позвольте-с… — побагровел Кондрашкин. — Я не совеем вас понимаю. Конечно, каждый человек имеет право уезжать… можете вы делать все, что вам угодно, но, милостивый государь, вы… отвиливаете… Нечестно-с!

— Я… я… я не знаю, как же это я отвиливаю?

— Ходил сюда целое лето, ел, пил, обнадеживал, балясы тут с девчонками от зари до зари точил, и вдруг, на тебе, уезжаю!

— Я… я не обнадеживал…

— Конечно, предложения вы не делали, да разве не видно было, к чему клонились ваши поступки? Каждый день обедал, с Настей по целым ночам под ручку… да нешто все это спроста делается? Женихи только ежедневно обедают, а не будь вы женихом, нешто я стал бы вас кормить?

Да-с! Нечестно! Я и слушать не желаю! Извольте делать предложение, иначе я… тово…

— Настасья Кирилловна очень милая… хорошая девица… Уважаю я ее и… лучшей жены не желал бы себе, но… мы не сошлись убеждениями, взглядами.

— В этом и причина? — улыбнулся Кондрашкин. — Только-то? Да душенька ты моя, разве можно найти такую жену, чтоб взглядами была на мужа похожа? Ах, молодец, молодец! Зелень, зелень! Как запустит какую-нибудь теорию, так ей-богу… хе-хе-хе… в жар даже бросает… Теперь взглядами не сошлись, а поживете, так все эти шероховатости и сгладятся… Мостовая, пока новая — ездить нельзя, а как пообъездят ее немножко, то мое почтение!

— Так-то так, но… я недостоин Настасьи Кирилловны…

— Достоин, достоин! Пустяки! Ты славный парень!

— Вы не знаете всех моих недостатков… Я беден…

— Пустое! Жалованье получаете и слава богу…

— Я… пьяница…

— Ни-ни-ни!.. Ни разу не видал пьяным!.. — замахал руками Кондрашкин. — Молодежь не

может не пить… Сам был молод, переливал через край. Нельзя без этого…

— Но ведь я запоем. Во мне наследственный порок!

— Не верю! Такой розан и вдруг — запой! Не верю!

«Не обманешь черта! — подумал Милкин. — Как ему, однако, дочек спихнуть хочется!»

— Мало того, что я запоем страдаю, — продолжал он вслух, — но я наделен еще и другими пороками. Взятки беру…

— Милаша, да кто же их не берет? Хе-хе-хе. Эка, поразил!

— И к тому же я не имею права жениться до тех пор, пока я не узнаю решения моей судьбы… Я скрывал от вас, но теперь вы должны все узнать… Я… я состою под судом за растрату…

— Под су-дом? — обомлел Кондрашкин. — Н-да… новость… Не знал я этого. Действительно, нельзя жениться, покуда судьбы не узнаешь… А вы много растратили?

— Сто сорок четыре тысячи.

— Н-да, сумма! Да, действительно, Сибирью история пахнет… Этак девчонка может ни за грош пропасть. В таком случае нечего делать, бог с вами…

Милкин свободно вздохнул и потянулся к шляпе.

— Впрочем, — продолжал Кондрашкин, немного подумав, — если Настенька вас любит, то она может за вами туда следовать. Что за любовь, ежели она жертв боится? И к тому же, Томская губерния плодородная. В Сибири, батенька, лучше живется, чем здесь. Сам бы поехал, коли б не семья. Можете делать предложение!

«Экий черт несговорчивый! — подумал Милкин. — За нечистого готов бы дочку выдать, лишь бы только с плеч спихнуть».

— Но это не все… — продолжал он вслух. — Меня будут судить не за одну только растрату, но и за подлог.

— Все равно! Одно наказание!

— Тьфу!

— Чего это вы так громко плюете?

— Так… Послушайте, я вам еще не все открыл… Не заставляйте меня высказывать вам то, что составляет тайну моей жизни… страшную тайну!

— Не желаю я знать ваших тайн! Пустяки!

— Не пустяки, Кирилл Трофимыч! Если вы услышите… узнаете, кто я, то отшатнетесь. Я… я беглый каторжник!!!

Кондрашкин отскочил от Милкина, как ужа-

ленный, и окаменел. Минуту он стоял молча, неподвижно и глазами, полными ужаса, глядел на Милкина, потом упал в кресло и простонал:

— Не ожидал… — промычал он. — Кого согрел на груди своей! Идите! Ради бога уходите! Чтоб я и не видел вас! Ох!

Милкин взял шляпу и, торжествуя победу, направился к двери…

— Постойте! — остановил его Кондрашкин. — Отчего же вас до сих пор еще не задержали?

— Под чужой фамилией живу… Трудно меня задержать…

— Может быть, вы и до самой смерти этак проживете, что никто и не узнает, кто вы… Постойте! Теперь ведь вы честный человек, раскаялись уже давно… Бог с вами, так и быть уж, женитесь!

Милкина бросило в пот… Врать дальше беглого каторжника было бы уже некуда, и оставалось одно только: позорно бежать, не мотивируя своего бегства… И он готов уж был юркнуть в дверь, как в его голове мелькнула мысль…

— Послушайте, вы еще не все знаете! — сказал он. — Я… я сумасшедший, а безумным и сумасшедшим брак возбраняется…

— Не верю! Сумасшедшие не рассуждают так логично…

— Стало быть, не понимаете, если так рассуждаете! Разве вы не знаете, что многие сумасшедшие только в известное время сумасшествуют, а в промежутках ничем не отличаются от обыкновенных людей?

— Не верю! И не говорите!

— В таком случае я вам от доктора свидетельство доставлю!

— Свидетельству поверю, а вам нет… Хорош сумасшедший!

— Через полчаса я принесу вам свидетельство… Пока прощайте…

Милкин схватил шляпу и поспешно выбежал. Минут через пять он уже входил к своему приятелю доктору Фитюеву, но, к несчастью, попал к нему именно в то время, когда он поправлял свою куафюру после маленькой ссоры со своей женой.

— Друг мой, я к тебе с просьбой! — обратился он к доктору. — Дело вот в чем… Меня хотят открутить во что бы то ни стало… Чтобы избегнуть этой напасти, я придумал показать себя сумасшедшим… Гамлетовский прием, в некотором роде… Сумасшедшим, понимаешь, нельзя жениться… Будь другом, дай мне удостоверение в том, что я сумасшедший!

— Ты не хочешь жениться? — спросил доктор.

— Ни за какие коврижки!

— В таком случае не дам я тебе свидетельства, — сказал доктор, трогаясь за свою куафюру. — Кто не хочет жениться, тот не сумасшедший, а напротив, умнейший человек… А вот когда захочешь жениться, ну тогда приходи за свидетельством… Тогда ясно будет, что ты сошел с ума…

Гость
(Сценка)

У частного поверенного Зельтерского слипались глаза. Природа погрузилась в потемки. Затихли ветерки, замолкли птичек хоры, и прилегли стада. Жена Зельтерского давно уже пошла спать, прислуга тоже спала, вся живность уснула, одному только Зельтерскому нельзя было идти в спальную, хотя на его веках и висела трехпудовая тяжесть. Дело в том, что у него сидел гость, сосед по даче, отставной полковник Перегарин. Как пришел он после обеда и как сел на диван, так с той поры ни разу не поднимался, словно прилип. Он сидел и хриплым, гнусавым голосом рассказывал, как в 1842 г. в городе Кременчуге его бешеная собака укусила. Рассказал и опять начал снова. Зельтерский был в отчаянии. Чего он только ни делал, чтобы выжить гостя! Он то и дело посматривал на часы, говорил, что у него голова болит, то и дело выходил из комнаты, где сидел гость, но ничто не помогало. Гость не понимал и продолжал про бешеную собаку.

«Этот старый хрыч до утра просидит! — злился

Зельтерский. — Такая дубина! Ну, уж если он не понимает обыкновенных намеков, то придется пустить в ход более грубые приемы».

— Послушайте, — сказал он вслух, — знаете, чем нравится мне дачная жизнь?

— Чем-с?

— Тем, что здесь можно жизнь регулировать. В городе трудно держаться какого-нибудь определенного режима, здесь же наоборот. В девять мы встаем, в три обедаем, в десять ужинаем, в двенадцать спим. В двенадцать я всегда в постели. Храни меня бог лечь позже: не отделаться на другой день от мигрени!

— Скажите… Кто как привык, это действительно. Был у меня, знаете ли, один знакомый, некто Клюшкин, штабс-капитан. Познакомился я с ним в Серпухове. Ну-с, так вот этот самый Клюшкин…

И полковник, заикаясь, причмокивая и жестикулируя жирными пальцами, начал рассказывать про Клюшкина. Пробило двенадцать, часовую стрелку потянуло к половине первого, а он все рассказывал. Зельтерского бросило в пот.

«Не понимает! Глуп! — злился он. — Неужели он думает, что своим посещением доставляет мне удовольствие? Ну как его выжить?»

— Послушайте, — перебил он полковника, —

что мне делать? У меня ужасно болит горло! Черт меня дернул зайти сегодня утром к одному знакомому, у которого ребенок лежит в дифтерите. Вероятно, я заразился. Да, чувствую, что заразился. У меня дифтерит!

— Случается! — невозмутимо прогнусавил Перегарин.

— Болезнь опасная! Мало того, что я сам болен, но могу еще и других заразить. Болезнь в высшей степени прилипчивая! Как бы мне вас не заразить, Парфений Саввич!

— Меня-то? Ге-ге! В тифозных гошпиталях живал — не заражался, а у вас вдруг заражусь! Хе-хе… Меня, батенька, старую кочерыжку, никакая болезнь не возьмет. Старики живучи. Был у нас в бригаде один старенький старичок, подполковник Требьен… французского происхождения. Ну-с, так вот этот Требьен…

И Перегарин начал рассказывать о живучести Требьена. Часы пробили половину первого.

— Виноват, я вас перебью, Парфений Саввич, — простонал Зельтерский. — Вы в котором часу ложитесь спать?

— Когда в два, когда в три, а бывает так, что и вовсе не ложусь, особливо ежели в хорошей компании просидишь или ревматизм разгуляется.

Сегодня, например, я часа в четыре лягу, потому до обеда выспался. Я в состоянии вовсе не спать. На войне мы по целым неделям не ложились. Был такой случай. Стояли мы под Ахалцыхом…

— Виноват. А вот я так всегда в двенадцать ложусь. Встаю я в девять часов, так поневоле приходится раньше ложиться.

— Конечно. Раньше вставать и для здоровья хорошо. Ну-с, так вот-с… стоим мы под Ахалцыхом…

— Черт знает что. Знобит меня, в жар бросает. Всегда этак у меня перед припадком бывает. Надо вам сказать, что со мною случаются иногда странные, нервные припадки. Часу этак в первом ночи… днем припадков не бывает… вдруг в голове начинается шум: жжж… Я теряю сознание, вскакиваю и начинаю бросать в домашних чем попало. Попадется под руку нож — я ножом, стул — я стулом. Сейчас знобит меня, вероятно, перед припадком. Всегда знобом начинается.

— Ишь ты… А вы полечились бы!

— Лечился, не помогает… Ограничиваюсь только тем, что занедолго до припадка предупреждаю знакомых и домашних, чтоб уходили, а леченье давно уже бросил…

— Пссс… Каких только на свете нет болезней! И

чума, и холера, и припадки разные…

Полковник покачал головой и задумался. Наступило молчание.

«Почитаю-ка ему свое произведение, — надумал Зельтерский. — Там у меня где-то роман валяется, в гимназии еще писал… Авось службу сослужит…»



— Ах, кстати, — перебил Зельтерский размышления Перегарина, — не хотите ли, я почитаю вам свое сочинение? На досуге как-то состряпал… Роман в пяти частях с прологом и эпилогом…

И, не дожидаясь ответа, Зельтерский вскочил

и вытащил из стола старую, заржавленную рукопись, на которой крупными буквами было написано: «Мертвая зыбь.

Роман в пяти частях».

«Теперь наверное уйдет, — мечтал Зельтерский, перелистывая грехи своей юности. — Буду читать ему до тех пор, пока не взвоет…»

— Ну, слушайте, Парфений Саввич…

— С удовольствием… я люблю-с…

Зельтерский начал. Полковник положил ногу на ногу, поудобней уселся и сделал серьезное лицо, очевидно, приготовился слушать долго и добросовестно… Чтец начал с описания природы. Когда часы пробили час, природа уступила свое место описанию замка, в котором жил герой романа граф Валентин Бленский.

— Пожить бы в этаком замке! — вздохнул Перегарин. — И как хорошо написано! Век бы сидел да слушал!

«Ужо погоди! — подумал Зельтерский. — Взвоешь!»

В половину второго замок уступил свое место красивой наружности героя… Ровно в два чтец тихим, подавленным голосом читал:

— «Вы спрашиваете, чего я хочу? О, я хочу, чтобы там, вдали, под сводами южного неба

ваша маленькая ручка томно трепетала в моей руке… Только там, там живее забьется мое сердце под сводами моего душевного здания… Любви, любви!..» Нет, Парфений Саввич… сил нет… Замучился!

— А вы бросьте! Завтра дочитаете, а теперь поговорим… Так вот-с, я не рассказал вам еще, что было под Ахалцыхом…

Измученный Зельтерский повалился на спинку дивана и, закрыв глаза, стал слушать…

«Все средства испробовал, — думал он. — Ни одна пуля не пробила этого мастодонта. Теперь до четырех часов будет сидеть… Господи, сто целковых дал бы теперь, чтобы сию минуту завалиться дрыхнуть… Ба! Попрошу-ка у него денег взаймы! Прелестное средство…»

— Парфений Саввич! — перебил он полковника. — Я опять вас перебью. Хочется мне попросить вас об одном маленьком одолжении… Дело в том, что в последнее время, живя здесь на даче, я ужасно истратился… Денег нет ни копейки, а между тем в конце августа мне предстоит получка…

— Однако… я у вас засиделся. — пропыхтел Перегарин, ища глазами фуражки. — Уж третий час… Так вы о чем же-с?

— Хотелось бы у кого-нибудь взять взаймы

рублей двести, триста… Не знаете ли вы такого человечка?

— Где ж мне знать? Однако… вам бай-бай пора… Будемте здоровы… Супруге вашей…

Полковник взял фуражку и сделал шаг к двери.

— Куда же вы?.. — заторжествовал Зельтерский. — А мне хотелось вас попросить… Зная вашу доброту, я надеялся…

— Завтра, а теперь к жене марш! Чай, заждалась друга сердешного… Хе-хе-хе… Прощайте, ангел… Спать!

Перегарин быстро пожал Зельтерскому руку, надел фуражку и вышел. Хозяин торжествовал.

Конь и трепетная лань

Третий час ночи. Супруги Фибровы не спят. Он ворочается с боку на бок и то и дело сплевывает, она, маленькая худощавая брюнеточка, лежит неподвижно и задумчиво смотрит на открытое окно, в которое нелюдимо и сурово глядится рассвет…

— Не спится! — вздыхает она. — Тебя мутит?

— Да, немножко.

— Не понимаю, Вася, как тебе не надоест каждый день являться домой в таком виде! Не проходит ночи, чтоб ты не был болен. Стыдно!

— Ну, извини… Я это нечаянно. Выпил в редакции бутылку пива, да в «Аркадии» немножко перепустил. Извини.

— Да что извинять? Самому тебе должно быть противно и гадко. Плюет, икает… Бог знает на что похож. И ведь это каждую ночь, каждую ночь! Я не помню, когда ты являлся домой трезвым.

— Я не хочу пить, да оно как-то само собой пьется. Должность такая анафемская. Целый день по городу рыскаешь. Там рюмку выпьешь, в другом месте пива, а там, глядь, приятель пьющий встретился… нельзя не выпить. А иной раз и све-

дения не получишь без того, чтоб с какой-нибудь свиньей бутылку водки не стрескать. Сегодня, например, на пожаре нельзя было с агентом не выпить.

— Да, проклятая должность! — вздыхает брюнетка. — Бросил бы ты ее, Вася!

— Бросить? Как можно!

— Очень можно. Добро бы ты писатель настоящий был, писал бы хорошие стихи или повести, а то так, репортер какой-то, про кражи да пожары пишешь. Такие пустяки пишешь, что иной раз и читать совестно. Хорошо бы еще, пожалуй, если б зарабатывал много, этак рублей двести-триста в месяц, а то получаешь какие-то несчастные пятьдесят рублей, да и то неаккуратно. Живем мы бедно, грязно. Квартира прачечной пропахла, кругом все мастеровые да развратные женщины живут. Целый день только и слышишь неприличные слова и песни. Ни мебели у нас, ни белья. Ты одет неприлично, бедно, так что хозяйка на тебя тыкает, я хуже модистки всякой. Едим мы хуже всяких поденщиков… Ты где-то на стороне в трактирах какую-то дрянь ешь, и то, вероятно, не на свой счет, я… одному только богу известно, что я ем. Ну, будь мы какие-нибудь плебеи, необразованные, тогда бы помирилась я с этим

житьем, а то ведь ты дворянин, в университете кончил, по-французски говоришь. Я в институте кончила, избалована.

— Погоди, Катюша, пригласят меня в «Куриную слепоту» отдел хроники вести, тогда иначе заживем. Я номер тогда возьму.

— Это уж ты мне третий год обещаешь. Да что толку, если и пригласят? Сколько бы ты ни получал, все равно пропьешь. Не перестанешь же водить компанию со своими писателями и актерами! А знаешь что, Вася? Написала бы я к дяде Дмитрию Федорычу в Тулу. Нашел бы он тебе прекрасное место где-нибудь в банке или казенном учреждении. Хорошо, Вася? Ходил бы ты, как люди, на службу, получал бы каждое 20-е число жалованье — и горя мало! Наняли бы мы себе дом-особнячок с двором, с сараями, с сенником. Там за двести рублей в год отличный дом можно нанять. Купили бы мебели, посуды, скатертей, наняли бы кухарку и обедали бы каждый день. Пришел бы ты со службы в три часа, взглянул на стол, а на нем чистенькие приборы, редиска, закуска разная. Завели бы мы себе кур, уток, голубей, купили бы корову. В провинции, если не роскошно жить и не пропивать, все это можно иметь за тысячу рублей в год. И дети бы наши не

умирали от сырости, как теперь, и мне бы не приходилось таскаться то и дело в больницу. Вася, богом молю тебя, поедем жить в провинцию!

— Там с дикарями от скуки подохнешь.

— А здесь разве весело? Ни общества у нас, ни знакомства… С чистенькими, мало-мальски порядочными людьми у тебя только деловое знакомство, а семейно ни с кем ты не знаком… Кто у нас бывает? Ну, кто? Эта Клеопатра Сергеевна. По-твоему, она знаменитость, фельетоны музыкальные пишет, а по-моему — она содержанка, распущенная женщина. Ну, можно ли женщине пить водку и при мужчинах корсет снимать? Пишет статьи, говорит постоянно о честности, а как взяла в прошлом году у меня рубль взаймы, так до сих пор не отдает. Потом, ходит к тебе этот твой любимый поэт. Ты гордишься, что знаком с такой знаменитостью, а рассуди ты по совести: стоит ли он этого?

— Честнейший человек!

— Но веселого в нем очень мало. Приходит к нам для того только, чтобы напиться… Пьет и рассказывает неприличные анекдоты. Третьего дня, например, нализался и проспал здесь на полу целую ночь. А актеры! Когда я была девушкой, то боготворила этих знаменитостей, с тех пор

же, как вышла за тебя, я не могу на театр глядеть равнодушно. Вечно пьяны, грубы, не умеют держать себя в женском обществе, надменны, ходят в грязных ботфортах. Ужасно тяжелый народ! Не понимаю, что веселого ты находишь в их анекдотах, которые они рассказывают с громким, хриплым смехом! И глядишь ты на них как-то заискивающе, словно одолжение делают тебе эти знаменитости, что знакомы с тобой… Фи!

— Оставь, пожалуйста!

— А там, в провинции, ходили бы к нам чиновники, учителя гимназии, офицеры. Народ все воспитанный, мягкий, без претензий. Напьются чаю, выпьют по рюмке, если подашь, и уйдут. Ни шуму, ни анекдотов, все так степенно, деликатно. Сидят, знаешь, на креслах и на диване и рассуждают о разных разностях, а тут горничная разносит им чай с вареньем и с сухариками. После чаю играют на рояле, поют, пляшут. Хорошо, Вася! Часу в двенадцатом легонькая закуска: колбаса, сыр, жаркое, что от обеда осталось… После ужина ты идешь дам провожать, а я остаюсь дома и прибираю.

— Скучно, Катюша!

— Если дома скучно, то ступай в клуб или на гулянье… Здесь на гуляньях души знакомой не

встретишь, поневоле запьешь, а там кого ни встретил, всякий тебе знаком. С кем хочешь, с тем и беседуй… Учителя, юристы, доктора — есть с кем умное слово сказать. Образованными там очень интересуются, Вася! Ты бы там одним из первых был…

И долго мечтает вслух Катюша… Серо-свинцовый свет за окном постепенно переходит в белый… Тишина ночи незаметно уступает свое место утреннему оживлению. Репортер не спит, слушает и то и дело приподнимает свою тяжелую голову, чтобы сплюнуть. Вдруг, неожиданно для Катюши, он делает резкое движение и вскакивает с постели… Лицо его бледно, на лбу пот…

— Чертовски меня мутит, — перебивает он мечтания Катюши. — Постой, я сейчас…

Накинув на плечи одеяло, он быстро выбегает из комнаты. С ним происходит неприятный казус, так знакомый по своим утренним посещениям пьющим людям. Минуты через две он возвращается бледный, томный… Его пошатывает… На лице его выражение омерзения, отчаяния, почти ужаса, словно он сейчас только понял всю внешнюю неприглядность своего житья-бытья. Дневной свет освещает перед ним бедность и грязь его комнаты, и выражение безнадежности

на его лице становится еще живее.

— Катюша, напиши дяде! — бормочет он.

— Да? Ты согласен? — торжествует брюнетка. — Завтра же напишу и даю тебе честное слово, что ты получишь прекрасное место! Вася, ты это… не нарочно?

— Катюша, прошу… ради бога…



И Катюша опять начинает мечтать вслух. Под звук своего голоса и засыпает она. Снится ей дом-особнячок, двор, по которому солидно шагают ее собственные куры и утки. Она видит, как из слухового окна глядят на нее голуби, и слышит, как мычит корова. Кругом все тихо: ни соседей-жильцов, ни хриплого смеха, не слышно даже этого ненавистного, спешащего скрипа перьев. Вася чинно и благородно шагает около палисадника к калитке. Это идет он на службу. И душу ее наполняет чувство покоя, когда ничего не желается, мало думается…

К полудню просыпается она в прекраснейшем настроении духа. Сон благотворно повлиял на нее. Но вот, протерев глаза, она глядит на то место, где так недавно ворочался Вася, и обхватывавшее ее чувство радости сваливается с нее, как тяжелая пуля. Вася ушел, чтобы возвратиться поздно ночью в нетрезвом виде, как возвращался он вчера, третьего дня… всегда… Опять она будет мечтать, опять на лице его мелькнет омерзение.

— Незачем писать дяде! — вздыхает она.

Утопленник
(Сценка)

На набережной большой, судоходной реки суматоха, какая обыкновенно бывает в летние полудни. Нагрузка и разгрузка барок в разгаре. Слышатся, не переставая, ругань и шипенье пароходов.

— Тирли… тирли… — стонут блоки-лебедки.

В воздухе стоит запах вяленой рыбы и дегтя… К агенту общества пароходства «Щелкопер», сидящему на берегу у самой воды и поджидающему грузоотправителя, подходит приземистая фигура, с страшно испитым, опухшим лицом, в рваном пиджаке и латаных полосатых брюках. На голове ее полинявшая фуражка с полупившимся козырьком и с пятном, оставшимся от когда-то бывшей кокарды… Гастух сполз с воротничка и ерзает по шее…

— Виват господину купцу! — хрипит фигура, делая под козырек. — Живьо! Не желаете ли, ваше высокостепенство, утопленника посмотреть?

— А где утопленник? — спрашивает агент.

— В действительности утопленника не суще-

ствует, но я могу вам его представить. Прыжок в воду и — пред вами гибель утопающего человека! Картина не столь печальная, сколько ироническая в смысле своих комедийных свойств… Позвольте, господин купец, представить!

— Я не купец.

— Виноват… Миль пардон… Нынче и купцы стали ходить в партикулярном, так что сам Ной не сумел бы отделить чистых от нечистых. Но тем лучше, что вы интеллигент… Мы поймем друг друга… Я тоже из благородных… Обер-офицерский сын и в свое время был представлен к чину XIV класса… Итак, милорд, артист художеств предлагает вам свои услуги… Один прыжок в воду, и перед вами картина.

— Нет, благодарю вас…

— Если вас тревожат соображения материального свойства, то спешу вас успокоить… С вас я возьму недорого… За утопление себя в сапогах — два рубля, без сапог — только рубль…

— Почему же такая разница!

— Потому что сапоги составляют самую дорогую часть одежды и сушить их весьма трудно. Ergo, вы позволяете заработать?

— Нет, я не купец и не люблю таких сильных ощущений…

— Гм… Вы, насколько я понимаю вас, вероятно, незнакомы с сущностью дела… Вы думаете, что я предлагаю вам нечто грубое, невежественное, но тут кроме юмористического и сатирического ничего не будет-с… Вы лишний раз улыбнетесь и — только… Ведь смешно видеть, как человек плавает в одежде и борется с волнами! И к тому же… дадите заработать.

— А вы бы, чем утопленников изображать, делом бы занялись.

— Делом… Каким же делом? Благородного занятия мне не дадут, благодаря склонности моей к алкоголизму, да и протекция необходима-с, а за простое, чернорабочее ремесло мешает мне взяться мое благородство.

— А вы наплюйте на ваше благородство.

— То есть как же это наплевать? — спрашивает фигура, гордо поднимая голову и усмехаясь. — Если птица понимает, что она птица, то как же благородному человеку не понимать своего звания? Я хоть и беден, оборван, нищ, но я горррд… Кровью своей горд!

— Однако гордость не мешает вам плавать в одежде…

— Краснею! Ваше замечание имеет свою долю горькой истины. Сейчас видно просвещенного

человека! Но прежде чем бросать камнем в грешника, вы должны выслушать… Точно, между нами есть много субъектов, которые, забыв свое достоинство, позволяют невежественным купцам мазать себе голову горчицей, мазаться в бане сажей и изображать дьявола, одеваться в бабье платье и выделывать непристойности, но я… я далек от всего этого! Сколько бы мне купец ни давал денег, я не позволю вымазать свою голову горчицей и другим, хотя бы благородным, веществом. В изображении же утопленника я не вижу ничего позорного… Вода предмет мокрый, чистый. От окунутия не запачкаешься, а напротив, еще чище станешь. И медицина не против этого. Впрочем, если вы не согласны, то я могу взять и дешевле… Извольте, я за рубль в сапогах…

— Нет, не нужно…

— Почему же-с?

— Не нужно, вот и все…

— Поглядели бы, как я захлебываюсь… Лучше меня по всей реке никто не умеет тонуть… Ежели б господа доктора убедились, как я делаю мертвое лицо, они бы меня возвысили… Извольте, я с вас только шесть гривен возьму! Почин дороже денег… С другого бы я и трех рублей не взял, но по лицу замечаю, что вы хороший господин. С

ученых я беру дешевле…

— Оставьте меня, пожалуйста!

— Как знаете!.. Вольному воля, спасенному рай, только напрасно вы не соглашаетесь… В другой раз захотите и десять рублей дать, да не найдете утопленника…

Фигура садится на берегу повыше агента и, громко сопя, начинает рыться в карманах…

— Гм… черрт… — бормочет она. — Где ж это мой табак? Знать, на пристани забыл… Заспорил с офицером о политике и куда-то сгоряча портсигар сунул… Нынче в Англии перемена министерства… Чудят люди! Позвольте, ваше высокоблагородие, папироску!

Агент подает фигуре папиросу. В это время на берегу показывается грузоотправитель-купец, которого поджидает агент. Фигура вскакивает, прячет папиросу в рукав и делает под козырек.

— Виват, ваше степенство! — хрипит он. — Живьо!

— Ааа… Это вы! — говорит агент купцу. — Долгонько заставили ждать себя! А тут без вас вот этот ферт меня замучил! Лезет со своими представлениями! Предлагает за шесть гривен утопленника представить…

— Шесть гривен? Ну это, брат, облопаешь-

ся, — говорит купец. — Красная цена четвертак. Вчерась нам тридцать человек на реке кораблекрушение представляли и всего-навсего пятерку взяли, а ты… ишь ты! Шесть гривен! Так и быть, бери три гривенника!

Фигура надувает щеки и презрительно усмехается.

— Три гривенника… Нынче кочан капусты эту цену стоит, а вы хотите утопленника. Жирно будет…

— Ну, не надо… Некогда с тобой тут…

— Так и быть уж, для почину… Только вы не рассказывайте купцам, что я так дешево взял.

Фигура снимает сапоги и, нахмурившись, задрав вверх подбородок, подходит к воде и делает неловкий прыжок… Слышится звук падения тяжелого тела в воду… Всплывши наверх, фигура нелепо размахивает руками, болтает ногами и старается изобразить на лице своем испуг… Но вместо испуга получается дрожь от холода…

— Тони! Тони! — кричит купец. — Будет плавать, тони!..

Фигура мигает глазами и, растопырив руки, погружается с головой. В этом и заключается все представление. «Утонув», фигура вылезает из воды и, получив свои три гривенника, мокрая

и дрожащая от холода, продолжает свой путь по берегу.



Свистуны

Алексей Федорович Восьмеркин водил по своей усадьбе приехавшего к нему погостить брата — магистра и показывал ему свое хозяйство. Оба только что позавтракали и были слегка навеселе.

— Это, братец ты мой, кузница… — пояснял Восьмеркин. — На этой виселице лошадей подковывают… А вот это, братец ты мой, баня… Тут в бане длинный диван стоит, а под диваном индейки сидят в решетах на яйцах… Как взглянешь на диван, так и вспомнишь толикая многая… Баню только зимой топлю… Важная, брат, штукенция! Только русский человек и мог выдумать баню! За один час на верхней полочке столько переживешь, чего итальянцу или немцу в сто лет не пережить… Лежишь, как в пекле, а тут Авдотья тебя веником, веником, чики-чики… чики-чики… Встанешь, выпьешь холодного квасу и опять чики-чики… Слезешь потом с полки, как сатана красный… А вот это людская… Тут мои вольнонаемники… Зайдем?

Помещик и магистр нагнулись и вошли в похилившуюся, нештукатуренную развалюшку

с продавленной крышей и разбитым окном. При входе их обдало запахом варева. В людской обедали… Мужики и бабы сидели за длинным столом и большими ложками ели гороховую похлебку. Увидев господ, они перестали жевать и поднялись.

— Вот они, мои… — начал Восьмеркин, окидывая глазами обедающих. — Хлеб да соль, ребята!

— Алалаблблбл…

— Вот они! Русь, братец ты мой! Настоящая Русь! Народ на подбор! И что за народ! Какому, прости господи, скоту немцу или французу сравняться? Супротив нашего народа все то свиньи, тля!

— Ну не говори… — залепетал магистр, закуривая для чистоты воздуха сигару. — У всякого народа свое историческое прошлое… свое будущее…

— Ты западник! Разве ты понимаешь? Вот то-то и жаль, что вы, ученые, чужое выучили, а своего знать не хотите! Вы презираете, чуждаетесь! А я читал и согласен: интеллигенция протухла, а ежели в ком еще можно искать идеалов, так только вот в них, вот в этих лодырях… Взять хоть бы Фильку…

Восьмеркин подошел к пастуху Фильке и потряс его за плечо. Филька ухмыльнулся и издал

звук «гы-ы»…

— Взять хоть бы этого Фильку. Ну, чего, дурак, смеешься? Я серьезно говорю, а ты смеешься… Взять хоть этого дурня… Погляди, магистр! В плечах — косая сажень! Грудища, словно у слона! С места, анафему, не сдвинешь! А сколько в нем силы-то этой нравственной таится! Сколько таится! Этой силы на десяток вас, интеллигентов, хватит… Дерзай, Филька! Бди! Не отступай от своего! Крепко держись! Ежели кто будет говорить тебе что-нибудь, совращать, то плюй, не слушай… Ты сильнее, лучше! Мы тебе подражать должны!

— Господа наши милостивые! — замигал глазами степенный кучер Антип. — Нешто он это чувствует? Нешто понимает господскую ласку? Ты в ножки, простофиля, поклонись и ручку поцелуй… Милостивцы вы наши! На что хуже человека, как Филька, да и то вы ему прощаете, а ежели человек чверезый, не баловник, так такому не жисть, а рай… дай бог всякому… И награждаете и взыскиваете.

— Ввво! Самая суть заговорила! Патриарх лесов! Понимаешь, магистр! «И награждаете и взыскиваете»… В простых словах идея справедливости!.. Преклоняюсь, брат! Веришь ли? Учусь у них! Учусь!

— Это верно-с… — заметил Антип.

— Что верно?

— Насчет ученья-с…

— Какого ученья? Что ты мелешь?

— Я насчет ваших слов-с… насчет учения-с… На то вы и господа, чтоб всякие учения постигать… Мы темень! Видим, что вывеска написана, а что она, какой смысл обозначает, нам и невдомек… Носом больше понимаем… Ежели водкой пахнет, то значит — кабак, ежели дегтем, то лавка…

— Магистр, а? Что скажешь? Каков народ? Что ни слово, то с закорючкой, что ни фраза, то глубокая истина!

Гнездо, брат, правды в Антипкиной голове! А погляди-ка на Дуняшку! Дуняшка, пошла сюда!

Скотница Дуняша, весноватая, с вздернутым носом, застыдилась и зацарапала стол ногтем.

— Дуняшка, тебе говорят, пошла сюда! Чего, дура, стыдишься? Не укусим!

Дуняша вышла из-за стола и остановилась перед барином.

— Какова? Так и дышит силищей! Видал ты таких у себя там, в Питере? Там у вас спички, жилы да кости, а эта, гляди, кровь с молоком! Простота, ширь! Улыбку погляди, румянец щек! Все это натура, правда, действительность, не так,

как у вас там! Что это у тебя за щеками набито?

Дуняша пожевала и проглотила что-то…

— А погляди-ка, братец ты мой, на плечищи, на ножищи! — продолжал Восьмеркин. — Небось, как бултыхнет этим кулачищем в спинищу своего любезного, так звон пойдет, словно из бочки… Что, все еще с Андрюшкой валандаешься? Смотри мне, Андрюшка, задам я тебе пфеферу. Смейся, смейся… Магистр, а? Формы-то, формы…

Восьмеркин нагнулся к уху магистра и зашептал… Дворня стала смеяться.

— Вот и дождалась, что тебя на смех подняли, непутящая. — заметил Антип, глядя с укоризной на Дуняшу. — Что, красней рака стала? Про путную девку не стали бы так рассказывать…

— Теперь, магистр, на Любку посмотри! — продолжал Восьмеркин. — Эта у нас первая запевала… Ты там ездишь меж своих чухонцев и собираешь плоды народного творчества… Нет, ты наших послушай! Пусть тебе наши споют, так слюной истечешь! Ну-кося, ребята! Ну-кося! Любка, начинай! Да ну же, свиньи! Слушаться!



Люба стыдливо кашлянула в кулак и резким, сиплым голосом затянула песню. Ей вторили остальные… Восьмеркин замахал руками, замигал глазами и, стараясь прочесть на лице магистра восторг, закудахтал.

Магистр нахмурился, стиснул губы и с видом глубокого знатока стал слушать.

— М-да… — сказал он. — Вариант этой песни имеется у Киреевского, выпуск седьмой, разряд

третий, песнь одиннадцатая… М-да… Надо записать…

Магистр вынул из кармана книжку и, еще больше нахмурившись, стал записывать… Пропев одну песню, «люди» начали другую… А похлебка между тем простыла, и каша, которую вынули из печи, перестала уже испускать из себя дымок.

— Так его! — притопывал Восьмеркин. — Так его! Важно! Преклоняюсь!

Дело, вероятно, дошло бы и до танцев, если бы не вошел в людскую лакей Петр и не доложил господам, что кушать подано.

— А мы, отщепенцы, отбросы, осмеливаемся еще считать себя выше и лучше! — негодовал плаксивым голосом Восьмеркин, выходя с братом из людской. — Что мы? Кто мы? Ни идеалов, ни науки, ни труда… Ты слышишь, они хохочут? Это они над нами!.. И они правы! Чуют фальшь! Тысячу раз правы и… и… А видал Дуняшку? Ше-ельма девчонка! Ужо, погоди, после обеда я позову ее…

За обедом оба брата все время рассказывали о самобытности, нетронутости и целости, бранили себя и искали смысла в слове «интеллигент».

После обеда легли спать. Выспавшись, вышли на крыльцо, приказали подать себе зельтерской и опять начали о том же…

— Петька! — крикнул Восьмеркин лакею. — Поди позови сюда Дуняшку, Любку и прочих! Скажи, хороводы водить! Да чтоб скорей! Живо у меня!

Отец семейства

Это случается обыкновенно после хорошего проигрыша или после попойки, когда разыгрывается катар. Степан Степаныч Жилин просыпается в необычайно пасмурном настроении. Вид у него кислый, помятый, разлохмаченный; на сером лице выражение недовольства: не то он обиделся, не то брезгает чем-то. Он медленно одевается, медленно пьет свое виши и начинает ходить по всем комнатам.

— Желал бы я знать, какая ссскотина ходит здесь и не затворяет дверей? — ворчит он сердито, запахиваясь в халат и громко отплевываясь. — Убрать эту бумагу! Зачем она здесь валяется? Держим двадцать прислуг, а порядка меньше, чем в корчме. Кто там звонил? Кого принесло?

— Это бабушка Анфиса, что нашего Федю принимала, — отвечает жена.

— Шляются тут… дармоеды!

— Тебя не поймешь, Степан Степаныч. Сам приглашал ее, а теперь бранишься.

— Я не бранюсь, а говорю. Занялась бы чем-нибудь, матушка, чем сидеть этак, сложа руки, и на спор лезть! Не понимаю этих женщин, клянусь

честью! Не по-ни-маю! Как они могут проводить целые дни без дела? Муж работает, трудится, как вол, как ссскотина, а жена, подруга жизни, сидит, как цацочка, ничего не делает и ждет только случая, как бы побраниться от скуки с мужем. Пора, матушка, оставить эти институтские привычки! Ты теперь уже не институтка, не барышня, а мать, жена! Отворачиваешься? Ага! Неприятно слушать горькие истины?

— Странно, что горькие истины ты говоришь только когда у тебя печень болит.

— Да, начинай сцены, начинай…

— Ты вчера был за городом? Или играл у кого-нибудь?

— А хотя бы и так? Кому какое дело? Разве я обязан отдавать кому-нибудь отчет? Разве я проигрываю не свои деньги? То, что я сам трачу, и то, что тратится в этом доме, принадлежит мне! Слышите ли? Мне!

И так далее, все в таком роде. Но ни в какое другое время Степан Степаныч не бывает так рассудителен, добродетелен, строг и справедлив, как за обедом, когда около него сидят все его домочадцы. Начинается обыкновенно с супа. Проглотив первую ложку, Жилин вдруг морщится и перестает есть.

— Черт знает что… — бормочет он. — Придется, должно быть, в трактире обедать.

— А что? — тревожится жена. — Разве суп не хорош?

— Не знаю, какой нужно иметь свинский вкус, чтобы есть эту бурду! Пересолен, тряпкой воняет… клопы какие-то вместо лука… Просто возмутительно, Анфиса Ивановна! — обращается он к гостье-бабушке… — Каждый день даешь прорву денег на провизию… во всем себе отказываешь, и вот тебя чем кормят! Они, вероятно, хотят, чтобы я оставил службу и сам пошел в кухню стряпать.

— Суп сегодня хорош… — робко замечает гувернантка.

— Да? Вы находите? — говорит Жилин, сердито щурясь на нее. — Впрочем, у всякого свой вкус. Вообще, надо сознаться, мы с вами сильно расходимся во вкусах, Варвара Васильевна. Вам, например, нравится поведение этого мальчишки (Жилин трагическим жестом указывает на своего сына Федю), вы в восторге от него, а я… я возмущаюсь. Да-с!

Федя, семилетний мальчик с бледным, болезненным лицом, перестает есть и опускает глаза. Лицо его еще больше бледнеет.

— Да-с, вы в восторге, а я возмущаюсь… Кто из нас прав, не знаю, но смею думать, что я, как отец, лучше знаю своего сына, чем вы. Поглядите, как он сидит! Разве так сидят воспитанные дети? Сядь хорошенько!

Федя поднимает вверх подбородок и вытягивает шею, и ему кажется, что он сидит ровнее. На глазах у него навертываются слезы.

— Ешь! Держи ложку как следует! Погоди, доберусь я до тебя, скверный мальчишка! Не сметь плакать! Гляди на меня прямо!

Федя старается глядеть прямо, но лицо его дрожит и глаза переполняются слезами.

— Ааа… ты плакать! Ты виноват, ты же и плачешь? Пошел, стань в угол, скотина!

— Но… пусть он сначала пообедает! — вступается жена.

— Без обеда! Такие мерз… такие шалуны не имеют права обедать!

Федя, кривя лицо и подергивая всем телом, сползает со стула и идет в угол.

— Не то еще тебе будет! — продолжает родитель. — Если никто не желает заняться твоим воспитанием, то, так и быть, начну я… У меня, брат, не будешь шалить да плакать за обедом! Болван! Дело нужно делать! Понимаешь? Дело

делать! Отец твой работает и ты работай! Никто не должен даром есть хлеба! Нужно быть человеком! Че-ло-ве-ком!

— Перестань, ради бога! — просит жена по-французски. — Хоть при посторонних не ешь нас… Старуха все слышит и теперь, благодаря ей, всему городу будет известно…

— Я не боюсь посторонних, — отвечает Жилин по-русски. — Анфиса Ивановна видит, что я справедливо говорю. Что ж, по-твоему, я должен быть доволен этим мальчишкой? Ты знаешь, сколько он мне стоит? Ты знаешь, мерзкий мальчишка, сколько ты мне стоишь? Или ты думаешь, что я деньги фабрикую, что мне достаются они даром? Не реветь! Молчать! Да ты слышишь меня или нет? Хочешь, чтоб я тебя, подлеца этакого, высек?

Федя громко взвизгивает и начинает рыдать.

— Это, наконец, невыносимо! — говорит его мать, вставая из-за стола и бросая салфетку. — Никогда не даст покойно пообедать! Вот где у меня твой кусок сидит!

Она показывает на затылок и, приложив платок к глазам, выходит из столовой.

— Оне обиделись… — ворчит Жилин, насильно улыбаясь. — Нежно воспитаны… Так-то, Анфиса

Ивановна, не любят нынче слушать правду… Мы же и виноваты!

Проходит несколько минут в молчании. Жилин обводит глазами тарелки и, заметив, что к супу еще никто не прикасался, глубоко вздыхает и глядит в упор на покрасневшее, полное тревоги лицо гувернантки.



— Что же вы не едите, Варвара Васильевна? — спрашивает он. — Обиделись, стало быть? Тэк-с… Не нравится правда. Ну, извините-с, такая у меня натура, не могу лицемерить… Всегда режу правду-матку (вздох). Однако я замечаю, что присутствие мое неприятно. При мне не могут ни говорить, ни кушать… Что ж? Сказали бы мне, я бы ушел… Я и уйду.

Жилин поднимается и с достоинством идет к двери. Проходя мимо плачущего Феди, он останавливается.

— После всего, что здесь произошло, вы ссс-вободны! — говорит он Феде, с достоинством закидывая назад голову. — Я больше в ваше воспитание не вмешиваюсь. Умываю руки! Прошу извинения, что, искренно, как отец, желая вам добра, обеспокоил вас и ваших руководительниц. Вместе с тем раз навсегда слагаю с себя ответственность за вашу судьбу…

Федя взвизгивает и рыдает еще громче. Жилин с достоинством поворачивает к двери и уходит к себе в спальную.

Выспавшись после обеда, Жилин начинает чувствовать угрызения совести. Ему совестно жены, сына, Анфисы Ивановны и даже становится невыносимо жутко при воспоминании о

том, что было за обедом, но самолюбие слишком велико, не хватает мужества быть искренним, и он продолжает дуться и ворчать…

Проснувшись на другой день утром, он чувствует себя в отличном настроении и, умываясь, весело посвистывает. Придя в столовую пить кофе, он застает там Федю, который при виде отца поднимается и глядит на него растерянно.

— Ну, что, молодой человек? — спрашивает весело Жилин, садясь за стол. — Что у вас нового, молодой человек? Живешь? Ну, иди, бутуз, поцелуй своего отца.

Федя, бледный, с серьезным лицом, подходит к отцу и касается дрожащими губами его щеки, потом отходит и молча садится на свое место.

Староста
(Сценка)

В одном из грязных трактирчиков уездного городишка N сидит за столом староста Шельма и ест жирную кашу. Он ест и после каждых трех ложек выпивает «последнюю».

— Так-то, душа ты моя, тяжело вести крестьянские дела! — говорит он трактирщику, застегивая под столом пуговки, которые то и дело расстегиваются. — Да, милаша! Крестьянские дела это такая политика, что Бисмарка мало. Чтобы вести их, нужно иметь особую умственность, сноровку. Почему вот меня мужики любят? Почему они ко мне, как мухи, льнут? А? По какой это причине я ем кашу с маслом, а другие адвокаты без масла? А потому, что в моей голове талант есть, дар.

Шельма выпивает с сопеньем рюмку и с достоинством вытягивает свою грязную шею. Не одна шея грязна у этого человека. Руки, сорочка, брюки, салфетка, уши… все грязно.

— Я не ученый. Зачем врать? Курсов я не кончал, во фраках по-ученому не ходил, но, брат, могу без скромности и всяких там репрессалий

сказать тебе, что и за миллион не найдешь другого такого юриста. То есть скопинского дела я тебе не решу и за Сарру Беккер не возьмусь, но ежели что по крестьянской части, то никакие защитники, никакие там прокуроры… никто супротив меня не годится. Ей-богу. Один только я могу крестьянские дела решать, а больше никто. Будь ты хоть Ломоносов, хоть Бетховен, но ежели в тебе нет моего таланта, то лучше и не суйся. К примеру взять хоть дело репловского старосты. Слыхал ты про это дело?

— Нет, не слыхал.



— Хорошее дело, политичное! Плевако бы осекся, а у меня выгорело. Да-с. Есть, братец ты мой, недалече от Москвы колокольный завод. На этом заводе, душа ты моя, служит старшим мастером наш репловский мужик Евдоким Петров. Служит он там уж лет двадцать. По пачпорту он, конечно, мужик, лапотник, кацап, но вид наружности у него совсем не мужицкий. За двадцать лет и обтесался и обшлифовался. Ходит, понимаешь, в триковом костюме, на руках кольцы, через все пузо золотая цепка перетянута — не подхо-

ди! Совсем не мужик. Еще бы, братец ты мой! Тыщи полторы жалованья, квартира, харчи, хозяин с ним запанибрата, так поневоле в баре полезешь. И физиомордия, знаешь, этакая тово… (говорящий выпивает) внушительная. Только вот, братец ты мой, вздумалось этому Евдокиму Петрову съездить в гости к себе на родину, то есть в наше Реплово. Жил-жил, да вдруг соскучился. Житье на колокольном заводе медовое, не с чего, кажись бы, старшему мастеру скучать, но, знаешь, дым отечества. Поезжай ты в Америку, сядь там по горло в сторублевки, а тебя все в твой трактир тянуть будет. Так вот и его, сердечного, потянуло. Ну-с. Отпросился у своего хозяина на недельку и поехал. Приезжает в Реплово. Первым делом идет к родственникам. «Тут, говорит, я когда-то жил. Тут вот пас стада отца моего, тут вот я спал и проч.»… воспоминания детства, одним словом. Ну, не без того, чтоб и похвастать: «Вот, братцы, глядите! Таким лапотником был, как и вы, а трудом и потом достиг степеней, богат и сыт. Трудитесь, мол… вы»… Косолапые сначала слушали величали, а потом и думают: «Так-то так, милый человек, все это оченно даже великолепно, только какой нам с тебя толк? Неделя уж, как у нас живешь, а хоть бы косушку»… Послали

к нему сотского. «Давай, Евдоким, сто рублей денег!» — «Почему такое?» — «Миру на водку… Мир за твое здоровье погулять хочет…»

А Евдоким человек степенный, божественный. Ни водки не пьет, ни табаку не курит и другим этого не дозволяет.

«На водку, говорит, и полушки не дам». — «Как так! По какому полному праву? Нешто ты не наш?» — «Что ж такое, что ваш? Недоимки за мной не значится… все как следовает. С какой же стати мне платить?»

И пошло, и пошло. Евдоким свое, мир ему свое. Озлобился мир. Знаешь дураков-то! Им не втолкуешь. Захотели погулять, так ты тут хоть на двунадесяти языках объясняй им, хоть из пушек пали, ничего не поймут. Выпить хочется, и шабаш! Да и досадно: богатый земляк и вдруг ни шерсти, ни молока! Стали придирки выдумывать, как из Евдокима сто рублей выцыганить. Думали всем миром, думали и ничего не выдумали. Ходят около избы и только пужают: мы тебя, да я тебя! А он сидит себе и в ус не дует. «Чист я, думает, и перед богом, и перед законом, и перед миром, чего ж мне бояться? Вольная я птица!» Хорошо. Видят мужики, что денег им не видать, как ушей своих, стали думать, как бы этой вольной

птице за неуважение крылья ощипать. Своего ума нет, посылают за мной. Приезжаю в Реплово. «Так и так, говорят, Денис Семеныч, денег не дает! Выдумай-ка закорючку!» Что ж, братец ты мой? Ничего выдумать нельзя, все как на ладони видно, все Евдокимовы права налицо. Никакой прокурор тут закорючки не выдумает, хоть три года он думай… сам черт не прицепится.

Шельма выпивает рюмку и подмигивает глазом.

— А я нашел, к чему прицепиться! — хихикает он. — Да-с! Угадай-ка, что я придумал! Во веки веков не угадаешь! «Вот что, говорю, ребята, выбирайте вы его в свои сельские старосты». Те смекнули и выбрали. Слушай же. Приносят Евдокиму старостову бляху. Тот смеется. «Шутите, говорит, не желаю я быть вашим старостой». — «А мы желаем!» — «А я не желаю! Завтра же уеду!» — «Нет, не уедешь. Права не имеешь. Староста не может, по закону, свое место бросать». — «Так я, — говорит Евдоким, — слагаю с себя это звание». — «Не имеешь права. Староста обязан пробыть на месте не менее трех лет и только по суду лишается сего звания. Уж раз тебя выбрали, так ни ты, ни мы… никто не может тебя отставить!»



Взвыл мой Евдоким. Летит, как угорелый, к волостному старшине. Тот с писарем ему все законы.

«По таким-то и таким-то статьям раньше трех лет не можешь оставить этого звания. Послужи три года, тогда и езжай!» — «Какое тут три года! И месяца мне ждать нельзя! Без меня хозяин как без рук! Он тысячные убытки терпит! Да и, кроме завода, у меня там дом, семейство!»

И прочее. Проходит месяц. Евдоким сует миру уж не сто, а триста рублей, только отпустите Христа ради. Те рады бы деньги взять, да уж по-

делать нечего, поздно. Едет Евдоким к господину непременному члену.

«Так и так, ваше высокоблагородие, по домашним обстоятельствам не могу служить. Отпустите, богом молю!» — «Не имею права. Нет законных причин для увольнения. Ты, во-первых, не болен и, во-вторых, нет опорачивающих обстоятельств. Ты должен служить».

А надо тебе сказать, там на всех тыкают. Волостной старшина или сельский староста не малая шишка в государстве, почище и поважнее любого канцелярского, а меж тем на него тыкают, словно на лакея. Каково-то Евдокиму в триковом костюме это тыканье слышать! Молит он непременного члена Христом богом.

«Не имею права, — говорит член. — Ежели не веришь, то спроси вот уездное присутствие. Все тебе скажут. Не только я, но даже и губернатор не может тебя уволить. Приговор мирского схода, ежели форма не нарушена, не подлежит кассации».

Едет Евдоким к предводителю, от предводителя к исправнику. Весь уезд объездил, и все ему одно и то же: «Служи, не имеем права». Что тут делать? А из завода письмо за письмом, депеша за депешей. Посоветовала родня Евдокиму послать за

мной. Так он — веришь ли? — не то что послал, а сам прискакал. Приехал и, ни слова не говоря, сует мне в руки красненькую. Одна, мол, надежда.

«Что ж? — говорю. — Извольте, за сто рублей устрою вам увольнение».

Взял сто рублей и устроил.

— Как? — спрашивает трактирщик.

— Угадай-ка. Ларчик просто открывается. В самом законе загадка разгадывается.

Шельма подходит к трактирщику и, хохоча, шепчет ему на ухо:

— Посоветовал ему украсть что-нибудь, под суд попасть. А? Какова закорючка? Сначала, братец ты мой, он опешил. «Как так украсть?» — «Да так, говорю, украдь у меня вот этот самый пустой портмонет, вот тебе и тюрьма на полтора месяца». Сначала он фордыбачился: доброе имя и прочее. «На чертей тебе, говорю, твое доброе имя? Нешто у тебя, говорю, формуляр, что ли? Отсидишь в тюрьме полтора месяца, тем дело и кончится, да зато опорачивающие обстоятельства у тебя будут, бляху снимут!» Подумал человечина, махнул рукой и украл у меня портмонет. Теперь он уж отсидел свой срок и за меня бога молит. Так вот, братец ты мой, какая умственность! Во всем вселенном шаре другой такой политики не

найдешь, как в крестьянских делах, и ежели кто может решать эти дела, так только я. Никто не может кассировать, а я могу. Да.

Шельма требует себе еще бутылку водки и начинает другой рассказ — о пропитии репловскими мужиками чужого хлеба на корню.

Унтер Пришибеев

— Унтер-офицер Пришибеев! Вы обвиняетесь в том, что 3-го сего сентября оскорбили словами и действием урядника Жигина, волостного старшину Аляпова, сотского Ефимова, понятых Иванова и Гаврилова и еще шестерых крестьян, причем первым трем было нанесено вами оскорбление при исполнении ими служебных обязанностей. Признаете вы себя виновным?

Пришибеев, сморщенный унтер с колючим лицом, делает руки по швам и отвечает хриплым, придушенным голосом, отчеканивая каждое слово, точно командуя:

— Ваше высокородие, господин мировой судья! Стало быть, по всем статьям закона выходит причина аттестовать всякое обстоятельство во взаимности. Виновен не я, а все прочие. Все это дело вышло из-за, царствие ему небесное, мертвого трупа. Иду это я третьего числа с женой Анфисой тихо, благородно, смотрю — стоит на берегу куча разного народа людей. По какому полному праву тут народ собрался? спрашиваю. Зачем? Нешто в законе сказано, чтоб народ табуном ходил? Кричу: разойдись! Стал расталкивать народ, чтоб

расходились по домам, приказал сотскому гнать взашей…

— Позвольте, вы ведь не урядник, не староста, — разве это ваше дело народ разгонять?

— Не его! Не его! — слышатся голоса из разных углов камеры. — Житья от него нету, вашескородие! Пятнадцать лет от него терпим! Как пришел со службы, так с той поры хоть из села беги. Замучил всех!

— Именно так, вашескородие! — говорит свидетель староста. — Всем миром жалимся. Жить с ним никак невозможно! С образами ли ходим, свадьба ли, или, положим, случай какой, везде он кричит, шумит, все порядки вводит. Ребятам уши дерет, за бабами подглядывает, чтоб чего не вышло, словно свекор какой… Намеднись по избам ходил, приказывал, чтоб песней не пели и чтоб огней не жгли. Закона, говорит, такого нет, чтоб песни петь.

— Погодите, вы еще успеете дать показание, — говорит мировой, — а теперь пусть Пришибеев продолжает. Продолжайте, Пришибеев!

— Слушаю-с! — хрипит унтер. — Вы, ваше высокородие, изволите говорить, не мое это дело народ раз гонять… Хорошо-с… А ежели беспорядки? Нешто можно дозволять, чтобы народ

безобразил? Где это в законе написано, чтоб народу волю давать? Я не могу дозволять-с. Ежели я не стану их разгонять, да взыскивать, то кто же станет? Никто порядков настоящих не знает, во всем селе только я один, можно сказать, ваше высокородие, знаю, как обходиться с людями простого звания, и, ваше высокородие, я могу все понимать. Я не мужик, я унтер-офицер, отставной каптенармус, в Варшаве служил, в штабе-с, а после того, изволите знать, как в чистую вышел, был в пожарных-с, а после того по слабости болезни ушел из пожарных и два года в мужской классической прогимназии в швейцарах служил… Все порядки знаю-с. А мужик — простой человек, он ничего не понимает и должен меня слушать, потому — для его же пользы. Взять хоть это дело к примеру… Разгоняю я народ, а на берегу на песочке утоплый труп мертвого человека. По какому такому основанию, спрашиваю, он тут лежит? Нешто это порядок? Что урядник глядит? Отчего ты, говорю, урядник, начальству знать не даешь? Может, этот утоплый покойник сам утоп, а может, тут дело Сибирью пахнет.



Может, тут уголовное смертоубийство... А урядник Жигин никакого внимания, только папироску курит. «Что это, говорит, у вас за указчик такой? Откуда, говорит, он у вас такой взялся? Нешто мы без него, говорит, не знаем нашего поведения?» Стало быть, говорю, ты не знаешь, дурак этакой, коли тут стоишь и без внимания. «Я, говорит, еще вчера дал знать становому приставу». Зачем же, спрашиваю, становому приставу? По какой статье свода законов? Нешто в таких делах, когда утопшие, или удавившие, и прочее тому подобное, — нешто в таких делах становой может? Тут, говорю, дело уголовное, гражданское... Тут, говорю, скорей посылать

эстафет господину следователю и судьям-с. И перво-наперво ты должен, говорю, составить акт и послать господину мировому судье. А он, урядник, все слушает и смеется. И мужики тоже. Все смеялись, ваше высокородие. Под присягой могу показать. И этот смеялся, и вот этот, и Жигин смеялся. Что, говорю, зубья скалите? А урядник и говорит: «Мировому, говорит, судье такие дела не подсудны». От этих самых слов меня даже в жар бросило. Урядник, ведь ты это сказывал? — обращается унтер к уряднику Жигину.

— Сказывал.

— Все слыхали, как ты это самое при всем простом народе: «Мировому судье такие дела не подсудны». Все слыхали, как ты это самое… Меня, ваше высокородие, в жар бросило, я даже сробел весь. Повтори, говорю, повтори, такой-сякой, что ты сказал! Он опять эти самые слова… Я к нему. Как же, говорю, ты можешь так объяснять про господина мирового судью? Ты, полицейский урядник, да против власти? А? Да ты, говорю, знаешь, что господин мировой судья, ежели пожелают, могут тебя за такие слова в губернское жандармское управление по причине твоего неблагонадежного поведения? Да ты знаешь, говорю, куда за такие политические слова тебя

угнать может господин мировой судья? А старшина говорит: «Мировой, говорит, дальше своих пределов ничего обозначить не может. Только малые дела ему подсудны». Так и сказал, все слышали… Как же, говорю, ты смеешь власть уничижать? Ну, говорю, со мной не шути шуток, а то дело, брат, плохо. Бывало, в Варшаве или когда в швейцарах был в мужской классической прогимназии, то как заслышу какие неподходящие слова, то гляжу на улицу, не видать ли жандарма: «Поди, говорю, сюда, кавалер», — и все ему докладываю. А тут, в деревне кому скажешь?.. Взяло меня зло. Обидно стало, что нынешний народ забылся в своеволии и неповиновении, я размахнулся и… конечно, не то чтобы сильно, а так, правильно, полегоньку, чтоб не смел про ваше высокородие такие слова говорить… За старшину урядник вступился. Я, стало быть, и урядника… И пошло… Погорячился, ваше высокородие, ну да ведь без того нельзя, чтоб не побить. Ежели глупого человека не побьешь, то на твоей же душе грех. Особливо, ежели за дело… ежели беспорядок…

— Позвольте! За непорядками есть кому глядеть. На это есть урядник, староста, сотский…

— Уряднику за всем не углядеть, да урядник и

не понимает того, что я понимаю…

— Но поймите, что это не ваше дело!

— Чего-с? Как же это не мое? Чудно-с… Люди безобразят, и не мое дело! Что ж мне хвалить их, что ли? Они вот жалятся вам, что я песни петь запрещаю… Да что хорошего в песнях-то? Вместо того чтоб делом каким заниматься, они песни… А еще тоже моду взяли вечера с огнем сидеть. Нужно спать ложиться, а у них разговоры да смехи. У меня записано-с!

— Что у вас записано?

— Кто с огнем сидит.

Пришибеев вынимает из кармана засаленную бумажку, надевает очки и читает:

— Которые крестьяне сидят с огнем: Иван Прохоров, Савва Никифоров, Петр Петров. Солдатка Шустрова, вдова, живет в развратном беззаконии с Семеном Кисловым. Игнат Сверчок занимается волшебством, и жена его Мавра есть ведьма, по ночам ходит доить чужих коров.

— Довольно! — говорит судья и начинает допрашивать свидетелей.

Унтер Пришибеев поднимает очки на лоб и с удивлением глядит на мирового, который, очевидно, не на его стороне. Его выпученные глаза блестят, нос становится ярко-красным. Глядит

он на мирового, на свидетелей и никак не может понять, отчего это мировой так взволнован и отчего из всех углов камеры слышится то ропот, то сдержанный смех. Непонятен ему и приговор: на месяц под арест!

— За что?! — говорит он, разводя в недоумении руками. — По какому закону?

И для него ясно, что мир изменился и что жить на свете уже никак невозможно.

Мрачные, унылые мысли овладевают им. Но выйдя из камеры и увидев мужиков, которые толпятся и говорят о чем-то, он по привычке, с которой уже совладать не может, вытягивает руки по швам и кричит хриплым, сердитым голосом:

— Наррод, расходись! Не толпись! По домам!

Женское счастье

Хоронили генерал-лейтенанта Запупырина. К дому покойника, где гудела похоронная музыка и раздавались командные слова, со всех сторон бежали толпы, желавшие поглядеть на вынос. В одной из групп, спешивших к выносу, находились чиновники Пробкин и Свистков. Оба были со своими женами.

— Нельзя-с! — остановил их помощник частного пристава с добрым, симпатичным лицом, когда они подошли к цепи. — Не-ельзя-с! Пра-ашу немножко назад! Господа, ведь это не от нас зависит! Прошу назад! Впрочем, так и быть, дамы могут пройти… пожалуйте, mesdames, но… вы, господа, ради бога…

Жены Пробкина и Свисткова зарделись от неожиданной любезности помощника пристава и юркнули сквозь цепь, а мужья их остались по сю сторону живой стены и занялись созерцанием спин пеших и конных блюстителей.

— Пролезли! — сказал Пробкин, с завистью и почти ненавистью глядя на удалявшихся дам. — Счастье, ей-богу, этим шиньонам! Мужскому полу никогда таких привилегий не будет, как

ихнему, дамскому. Ну, что вот в них особенного? Женщины, можно сказать, самые обыкновенные, с предрассудками, а их пропустили; а нас с тобой, будь мы хоть статские советники, ни за что не пустят.

— Странно вы рассуждаете, господа! — сказал помощник пристава, укоризненно глядя на Пробкина. — Впусти вас, так вы сейчас толкаться и безобразить начнете; дама же, по своей деликатности, никогда себе не позволит ничего подобного!

— Оставьте, пожалуйста! — рассердился Пробкин. — Дама в толпе всегда первая толкается. Мужчина стоит и глядит в одну точку, а дама растопыривает руки и толкается, чтоб ее нарядов не помяли. Говорить уж нечего!

Женскому полу всегда во всем фортуна. Женщин и в солдаты не берут, и на танцевальные вечера им бесплатно, и от телесного наказания освобождают… А за какие, спрашивается, заслуги? Девица платок уронила — ты поднимай, она входит — ты вставай и давай ей свой стул, уходит — ты провожай… А возьмите чины! Чтоб достигнуть, положим, статского советника, мне или тебе нужно всю жизнь протрубить, а девица в какие-нибудь полчаса обвенчалась со статским

советником — вот уж она и персона. Чтоб мне князем или графом сделаться, нужно весь свет покорить, Шипку взять, в министрах побывать, а какая-нибудь, прости господи, Варенька или Катенька, молоко на губах не обсохло, покрутит перед графом шлейфом, пощурит глазки — вот и ваше сиятельство… Ты сейчас губернский секретарь… Чин этот себе ты, можно сказать, кровью и потом добыл; а твоя Марья Фоминишна? За что она губернская секретарша? Из поповен и прямо в чиновницы. Хороша чиновница! Дай ты ей наше дело, так она тебе и впишет входящую в исходящие.

— Зато она в болезнях чад родит, — заметил Свистков.

— Велика важность! Постояла бы она перед начальством, когда оно холоду напускает, так ей бы эти самые чада удовольствием показались. Во всем и во всем им привилегия! Какая-нибудь девица или дама из нашего круга может генералу такое выпалить, чего ты и при экзекуторе не посмеешь сказать. Да… Твоя Марья Фомишна может смело со статским советником под ручку пройтись, а возьми-ка ты статского советника под руку! Возьми-ка попробуй! В нашем доме, как раз под нами, брат, живет какой-то профессор с

женой… Генерал, понимаешь, Анну первой степени имеет, а то и дело слышишь, как его жена чешет: «Дурак! дурак! дурак!»

А ведь баба простая, из мещанок. Впрочем, тут законная, так тому и быть… испокон века так положено, чтоб законные ругались, но ты возьми незаконных! Что эти себе дозволяют! Во веки веков не забыть мне одного случая. Чуть было не погиб, да так уж, знать, за молитвы родителей уцелел. В прошлом году, помнишь, наш генерал, когда уезжал в отпуск к себе в деревню, меня взял с собой, корреспонденцию вести… Дело пустяковое, на час работы. Отработал свое и ступай по лесу ходить или в лакейскую романсы слушать. Наш генерал — человек холостой. Дом — полная чаша, прислуги, как собак, а жены нет, управлять некому. Народ все распущенный, непослушный… и над всеми командует баба, экономка Вера Никитишна. Она и чай наливает, и обед заказывает, и на лакеев кричит… Баба, братец ты мой, скверная, ядовитая, сатаной глядит. Толстая, красная, визгливая… Как начнет на кого кричать, как поднимет визг, так хоть святых выноси. Не так руготня донимала, как этот самый визг. О господи! Никому от нее житья не было. Не только прислугу, но и меня, бестия, задирала…

Ну, думаю, погоди; улучу минутку и все про тебя генералу расскажу. Он погружен, думаю, в службу и не видит, как ты его обкрадываешь и народ жуешь, постой же, открою я ему глаза. И открыл, брат, глаза, да так открыл, что чуть было у самого глаза не закрылись навеки, что даже теперь, как вспомню, страшно делается. Иду я однажды по коридору, и вдруг слышу визг. Сначала думал, что свинью режут, потом же прислушался и слышу, что это Вера Никитишна с кем-то бранится: «Тварь! Дрянь ты этакая! Черт!» — Кого это? — думаю. И вдруг, братец ты мой, вижу, отворяется дверь и из нее вылетает наш генерал, весь красный, глаза выпученные, волосы, словно черт на них подул. А она ему вслед: «Дрянь! Черт!»



— Врешь!

— Честное мое слово. Меня, знаешь, в жар бросило. Наш убежал к себе, а я стою в коридоре и, как дурак, ничего не понимаю. Простая, необразованная баба, кухарка, смерд — и вдруг позволяет себе такие слова и поступки! Это значит, думаю,

генерал хотел ее рассчитать, а она воспользовалась тем, что нет свидетелей, и отчеканила его на все корки. Все одно, мол, уходить! Взорвало меня… Пошел я к ней в комнату и говорю: «Как ты смела, негодница, говорить такие слова высокопоставленному лицу? Ты думаешь, что как он слабый старик, так за него некому вступиться?» — Взял, знаешь, да и смазал ее по жирным щекам разика два. Как подняла, братец ты мой, визг, как заорала, так будь ты трижды неладна, унеси ты мое горе! Заткнул я уши и пошел в лес. Этак часика через два бежит навстречу мальчишка. «Пожалуйте к барину». Иду. Вхожу. Сидит, насупившись, как индюк, и не глядит.

— «Вы что же, говорит, это у меня в доме выстраиваете?» — «То есть как? — говорю. Ежели, говорю, это вы насчет Никитишны, ваше-ство, то я за вас же вступился». — «Не ваше дело, говорит, вмешиваться в чужие семейные дела!» — Понимаешь? Семейные! И как начал, брат, он меня отчитывать, как начал печь — чуть я не помер! Говорил-говорил, ворчал-ворчал, да вдруг, брат, как захохочет ни с того ни с сего. — «И как, говорит, это вы смогли?! Как это у вас хватило храбрости? Удивительно! Но надеюсь, друг мой, что все это останется между нами… Ваша горячность мне

понятна, но согласитесь, что дальнейшее пребывание ваше в моем доме невозможно…» — Вот, брат! Ему даже удивительно, как это я смог такую важную паву побить. Ослепила баба! Тайный советник, Белого Орла имеет, начальства над собой не знает, а бабе поддался… Ба-альшие, брат, привилегии у женского пола! Но… снимай шапку! Несут генерала… Орденов-то сколько, батюшки светы! Ну, что, ей-богу, пустили дам вперед, разве они понимают что-нибудь в орденах?

Заиграла музыка.

Стена

…люди, кончившие курс в специальных заведениях, сидят без дела или же занимают должности, не имеющие ничего общего с их специальностью, и таким образом высшее техническое образование является у нас пока непроизводительным.

(Из передовой статьи)

— Тут, ваше превосходительство, по два раза на день ходит какой-то Маслов, вас спрашивает… — говорил камердинер Иван, брея своего барина Букина. — И сегодня приходил, сказывал, что в управляющие хочет наниматься… Обещался сегодня в час прийти… Чудной человек!

— Что такое?

— Сидит в передней и все бормочет. Я, говорит, не лакей и не проситель, чтоб в передней по два часа тереться. Я, говорит, человек образованный… Хоть, говорит, твой барин и генерал, а скажи ему, что это невежливо людей в передней морить…

— И он бесконечно прав! — нахмурился Бу-

кин. — Как ты, братец, иногда бываешь нетактичен! Видишь, что человек порядочный, из чистеньких, ну и пригласил бы его куда-нибудь… к себе в комнату, что ли…

— Не важная птица! — усмехнулся Иван. — Не в генералы пришел наниматься, и в передней посидишь. Сидят люди и почище твоего носа, и то не обижаются… Коли ежели ты управляющий, слуга своему господину, то и будь управляющим, а нечего выдумки выдумывать, в образованные лезть… Тоже, поди ты, в гостиную захотел… харя немытая… Уж оченно много нониче смешных людей развелось, ваше превосходительство!

— Если сегодня еще раз придет этот Маслов, то проси…

Ровно в час явился Маслов. Иван повел его в кабинет.

— Вас граф ко мне прислал? — встретил его Букин. — Очень приятно познакомиться! Садитесь! Вот сюда садитесь, молодой человек, тут помягче будет… Вы уж тут были… мне говорили об этом, но, pardon[158], я вечно или в отлучке, или занят. Курите, милейший… Да, действительно, мне нужен управляющий… С прежним мы немножко не

---

[158] Примечания: 158
Извините (фр.).

поладили… Я ему не уважил, он мне не потрафил, пошли, знаете ли, контры… Хе-хе-хе… Вы ранее управляли где-нибудь именьем?

— Да, я у Киршмахера год служил младшим управляющим… Именье было продано с аукциона, и мне поневоле пришлось ретироваться… Опыта у меня, конечно, почти нет, но я кончил в Петровской земледельческой академии, где изучал агрономию… Думаю, что мои науки хоть немного заменят мне практику…

— Какие же там, батенька, науки? Глядеть за рабочими, за лесниками… хлеб продавать, отчетность раз в год представлять… никаких тут наук не нужно! Тут нужны глаз острый, рот зубастый, голосина… Впрочем, знания не мешают… — вздохнул Букин. — Ну-с, именье мое находится в Орловской губернии. Как, что и почему, узнаете вы вот из этих планов и отчетов, сам же я в имении никогда не бываю, в дела не вмешиваюсь, и от меня, как от Расплюева, ничего не добьетесь, кроме того, что земля черная, лес зеленый. Условия, я думаю, останутся прежние, то есть тысяча жалованья, квартира, провизия, экипаж и полнейшая свобода действий!

«Да он душка!» — подумал Маслов.

— Только вот что, батенька… Простите, но луч-

ше заранее уговориться, чем потом ссориться. Делайте там что хотите, но да хранит вас бог от нововведений, не сбивайте с толку мужиков и, что главнее всего, хапайте не более тысячи в год…

— Простите, я не расслышал последней фразы… — пробормотал Маслов.

— Хапайте не больше тысячи в год… Конечно, без хапанья нельзя обойтись, но, милый мой, мера, мера! Ваш предшественник увлекся и на одной шерсти стилтснул пять тысяч, и… и мы разошлись. Конечно, по-своему он прав… человек ищет, где лучше, и своя рубашка ближе к телу, но, согласитесь, для меня это тяжеленько. Так вот помните же: тысячу можно… ну, так и быть уж — две, но не дальше!

— Вы говорите со мной, словно с мошенником! — вспыхнул Маслов, поднимаясь. — Извините, я к таким беседам не привык…

— Да? Как угодно-с… Не смею удерживать…

Маслов взял шапку и быстро вышел.

— Что, папа, нанял управляющего? — спросила Букина его дочь по уходе Маслова.

— Нет… Уж больно малый… тово… честен…

— Что ж, и отлично! Чего же тебе еще нужно?

— Нет, спаси господи и помилуй от честных

людей… Если честен, то наверное или дела своего не знает, или же авантюрист, пустомеля… дурак. Избави бог… Честный не крадет, не крадет, да уж зато как царапнет залпом за один раз, так только рот разинешь… Нет, душечка, спаси бог от этих честных…

Букин подумал и сказал:

— Пять человек являлось и все такие, как этот. Черт знает, счастье какое! Придется, вероятно, прежнего управляющего пригласить…

После бенефиса
(Сценка)

Трагик Унылов и благородный отец Тигров сидели в 37 номере гостиницы «Вънецыя» и пожинали плоды бенефиса. Перед ними на столе стояли водка, плохое красное, полубутылка коньяку и сардины. Тигров, толстенький угреватый человек, созерцательно глядел на графин и угрюмо безмолвствовал. Унылов же пламенел. Держа в одной руке пачку ассигнаций, в другой карандаш, он ерзал на стуле, как на иголках, и изливал свою душу.

— Что меня утешает и бодрит, Максим, — говорил он, — так это то, что меня молодежь любит. Гимназистики, реалистики — мелюзга, от земли не видно, но ты не шути, брат! Сидят, бестии, на галерке, у черта на куличках, за тридцать копеек, но только их и слышно, клопов этаких. Первые критики и ценители! Иной с воробья ростом, под стол пешком ходит, а на морденку взглянешь — совсем Добролюбов. Как они вчера кричали! Уны-ло-ва! Унылова!!! Вообще, братец, не ожидал.

Шестнадцать раз вызвали! И «ам поше»[159] не дурно: 123 рубля 80 копеек! Выпьем!

— Ты же, Васечка, тово… — забормотал Тигров, конфузливо мигая глазами, — презентуй мне сегодня двадцать талеров. В Елец надо съездить. Там дядька помер. После него, может быть, осталось что-нибудь. Коли не дашь, придется пешедралом махать. Дашь?

— Гм… Но ведь ты не отдашь, Максим!

— Не отдам, Васечка… — вздохнул благородный отец. — Где ж мне взять? Уж ты так… по дружбе.

— Постой, может быть, мне не хватит. Покупки нужно будет сделать да заказать кое-что. Давай считать.

Унылов потянул к себе бумагу, в которой был завернут коньяк, и стал писать на ней карандашом.

— Тебе 20, сестре послать 25… Бедная женщина уж три года просит прислать что-нибудь. Обязательно пошлю! Это такая милая… хорошая. Пару себе новую сшить рублей в 30. За номер и за обед я еще подожду отдавать, успею. Табаку фунта три… щиблеты… Что еще? Выкупить фрак… часы. Куплю тебе новую шапку, а то в этой ты на

---

[159] Примечания: 159
Сунуть в карман (фр. empocher).

черта похож… Совестно с тобой по улице ходить. Постой, еще чего?

— Купи, Васечка, револьвер для «Блуждающих огней». Наш не стреляет.

— Да, правда. Антрепренер, подлец, ни за что не купит. Бутафории знать не хочет, антихрист этакий. Ну, стало быть, шесть-семь рублей на револьвер. Что еще?

— В баню сходи, с мылом помойся.

— Баня, мыло и прочее — рубль.

— Тут, Васечка, татарин ходит, отличное чучело лисицы продает. Вот купил бы!

— Да на что мне лисица?

— Так. На стол поставить. Проснешься утром, взглянешь, а у тебя на столе зверь стоит и… и так на душе весело станет!

— Роскошь! Лучше я себе портсигар новый куплю. Вообще, знаешь, следовало бы мне свой гардероб ремонтировать. Надо бы сорочек со стоячими воротниками купить. Стоячие воротники теперь в моде. Ах, да! Чуть было не забыл! Пикейную жилетку!

— Необходимо. В крыловских пьесах нельзя без пикейной жилетки. Щиблеты с пуговками… тросточка. Прачке будешь платить?

— Нет, погожу. Перчатки нужно белые, черные

и цветные. Что еще? Соды и кислоты. Касторки раза на три… бумаги, конвертов. Что еще?

Унылов и Тигров подняли на потолок глаза, наморщили лбы и стали думать.

— Персидского порошку! — вспомнил Унылов. — Житья нет от краснокожих. Что еще? Батюшки, пальто! Про самое главное-то мы и забыли, Максим! Как зимой без пальто? Пишу 40. Но… у меня не хватит! Наплевал бы ты на своего дядьку, Максим!

— Не могу. Единственный родственник и вдруг наплевать! Неверное после него осталось что-нибудь.

— Что? Пенковая трубка, тетушкин портрет? Ей-богу, наплюй!

— Не понимаю, что у тебя за эго… эгои… эгоистицизм такой, Васечка? — замигал глазами Тигров. — Будь у меня деньги, да нешто бы я пожалел? Сто… триста… тысячу… бери сколько хочешь! У меня после родителей десять тысяч осталось. Все актерам роздал!..

— Ладно, ладно, бери свои двадцать!

— Мерси. Карманы все порваны, некуда положить. Но, однако, шестой час уже, пора мне на вокзал.

Тигров тяжело поднялся и стал натягивать на

свое шаровидное тело маленькое, узкоплечее пальто.

— Ты же, Васечка, не говори нашим, что я уехал, — сказал он. — Наш подлец бунт поднимет, ежели узнает, что я уехал не сказавшись. Пусть думают, что я в запое. Проводил бы ты меня, Васечка, на вокзал, а то неровен час зайду по дороге в трактир и все твои талеры ухну. Знаешь мою слабость! Проводи, голубчик!

— Ладно.

Актеры оделись и вышли на улицу.

— Что бы такое купить? — бормотал Унылов, заглядывая по дороге в окна магазинов и лавок. — Погляди, Максим, какой чудный окорок! Будь полный сбор, накажи меня бог, купил бы. А знаешь, почему не было полного сбора? Потому что у купца Чудакова была свадьба. Все плутократы там были. Вздумали же, черти, не вовремя жениться! Погляди-ка, какой в окне цилиндр! Купить нешто? Впрочем, шут с ним.

Придя на вокзал, приятели уселись в зале первого класса и задымили сигарами.



— Черт возьми, — поморщился Унылов, — мне что-то пить захотелось. Давай пива выпьем. Челаэк, пива! Еще первого звонка не было, так что тебе нечего спешить. Ты же, карапуз, не долго езди. Сдери с мертвого дядьки малую толику и назад. Вот что, эээ… чеаэк! Не нужно пива! Дай бутылку Нюи! Выпьем с тобой на прощанье красненького… и езжай себе.

Через полчаса актеры оканчивали уж вторую бутылку. Подперев свою горячую голову кулаками, Унылов глядел любвеобильными глазами на жирное лицо Тигрова и бормотал коснеющим языком:

— Главное зло в нашем мире — это антрр… репрренер. Только тогда артист будет крепко стоять на ногах, когда он в своем деле будет дер… держаться коллективных начал…

— На паях.

— Да, на паях. Парршивое вино. Вот что, выпьем рейнвейнцу!

— Васечка… второй звонок.

— Начхай. С ночным поездом уедешь, а теперь я тебе… выскажу. Челаэк, бутылку рейнского! Антррепрр… енер видит в артисте вещь… мя-со для пушек. Он кулак. Ему не понять артиста. Взять хоть тебя. Ты человек без таланта, но… ты полезный актер. Тебя нужно ценить. Постой, не лезь целоваться, неловко!.. Я тебя за что люблю? За твою душу… истинно артистическое сердце. Максим, я тебе завтра пару заказываю. Все для тебя. И лисицу даже. Дай пожать руку!

Прошел час. Артисты все еще сидели и беседовали.

— Дай только бог встать мне на ноги, — говорил

Унылов, — и ты увидишь… Я покажу тогда, что значит сцена! Ты у меня двести в месяц получать будешь… Мне бы только на первый раз тысячу рублей… летний театр снять… Вот что, не съесть ли нам что-нибудь? Ты хочешь есть? Ты откровенно… Хочешь? Челаэк, пару жареных дупелей!

— Теперь не бывает-с дупелей, — сказал человек.

— Черрт возьми, у вас никогда ничего не бывает! В таком случае, болван, подай… какая у вас там есть дичь? Всю подай! Привыкли, подлецы, купцов кормить всякой дрянью, так думают, что и артист станет есть их дрянь! Неси все сюда! Подай также ликеры! Максим, сигар хочешь? Подашь и сигар.

Немного погодя к приятелям пристал комик Дудкин.

— Нашли, где пить! — удивился Дудкин. — Едем в «Бель-вю». Там теперь все наши…

— Счет! — крикнул Унылов.

— Тридцать шесть рублей двадцать копеек…

— Получай… без сдачи! Едем, Максим! Наплюй на дядьку! Пусть бедный Йорик остается без наследников! Давай сюда двадцать рублей! Завтра поедешь!

В «Бель-вю» приятели потребовали устриц и

рейнского.

— И сапоги тебе завтра куплю, — говорил Унылов, наливая Тигрову. — Пей! Кто любит искусство, тот… За искусство!

Пошли в ход искусство, коллективные начала, паи, единодушие, солидарность и прочие актерские идеалы… Поездка же в Елец, покупка чаю, табаку и одежи, выкуп заложенного и уплата сами собой улеглись в далекий… очень далекий ящик. Счет «Бель-вю» съел всю бенефисную выручку.

Записка

Старшина одного провинциального клуба, возвратясь после долгих странствий в родной город, нашел в клубе страшные беспорядки и, между прочим, не доискался в клубной читальне многих газет и журналов. Позвав к себе библиотекаршу (которая в то же время состояла и буфетчицей), он распек ее и приказал ей во что бы то ни стало узнать, где находятся пропавшие журналы и газеты. Библиотекарша через неделю подала старшине такую записку:

«врачь и техник у супруги Петра Нилыча под краватью, шут на кравати, а друг женщин тутже в спальной в шкафе.

руская мысль у квартального.

руский куриер у немца в портерной.

странник ежели не у купчихи Вихоркиной, то значит в буфете.

развлечение у отца Никандра в шкафчике, где водка.

жизни, зари и нови нет ни где, а наблюдатель и сибирь есть.

осколки в пасудной лавке Куликова.

руский еврей связанный висит на веревочке в

углу в читальне.

нувелиста барышни во время бала залапали и бросили под рояль.

инвалида вы велели употребить на обои.

семью и школу облили чирнилами.

официянт Карп гаварил, что он видел у своей жены в каком то месте пчелку.

нива у кабатчика.

стрекозу на свадбе у почместера видели, а где она теперь неизвестно.

ваза у вас под краватью.

у вице-губернатора дела нет, оно у его сикретаря.

свет продали жидам».

Общее образование
(Последние выводы зубоврачебной науки)

— Не повезло мне по зубной части, Осип Францыч! — вздыхал маленький поджарый человечек в потускневшем пальто, латаных сапогах и с серыми, словно ощипанными, усами, глядя с подобострастием на своего коллегу, жирного, толстого немца в новом дорогом пальто и с гаванкой в зубах. — Совеем не повезло! Собака его знает, отчего это так! Или оттого, что нынче зубных врачей больше, чем зубов… или у меня таланта настоящего нет, чума его знает! Трудно фортуну понять. Взять, к примеру, хоть вас. Вместе мы в уездном училище курс кончили, вместе у жида Берки Швахера работали, а какая разница! Вы два дома и дачу имеете, в коляске катаетесь, а я, как видите, яко наг, яко благ, яко нет ничего. Ну, отчего это так?

Немец Осип Францыч кончил курс в уездном училище и глуп, как тетерев, но сытость, жир и собственные дома придают ему массу самоуверенности. Говорить авторитетно, философствовать и читать сентенции он считает

своим неотъемлемым правом.

— Вся беда в нас самих, — вздохнул он авторитетно в ответ на жалобы коллеги. — Сам ты виноват, Петр Ильич! Ты не сердись, но я говорил и буду говорить: нас, специалистов, губит недостаток общего образования. Мы залезли по уши в свою специальность, а что дальше этого, до того нам и дела нет. Нехорошо, брат! Ах, как нехорошо! Ты думаешь, что как научился зубы дергать, так уж и можешь приносить обществу пользу? Ну, нет, брат, с такими узкими, односторонними взглядами далеко не пойдешь… ни-ни, ни в каком случае. Общее образование надо иметь!

— А что такое общее образование? — робко спросил Петр Ильич.

Немец не нашелся, что ответить, и понес чепуху, но потом, выпивши вина, разошелся и дал своему русскому коллеге уразуметь, что он понимает под «общим образованием». Пояснил он не прямо, а косвенно, говоря о другом.

— Главнее всего для нашего брата — приличная обстановка, — рассказывал он. — Публика только по обстановке и судит. Ежели у тебя грязный подъезд, тесные комнаты да жалкая мебель, то значит, ты беден, а ежели беден, то, стало быть, у тебя никто не лечится. Не так ли? Зачем я к тебе

пойду лечиться, если у тебя никто не лечится? Лучше я пойду к тому, у кого большая практика! А заведи ты себе бархатную мебель да понатыкай везде электрических звонков, так тогда ты и опытный, и практика у тебя большая. Обзавестись же шикарной квартирой и приличной мебелью — раз плюнуть. Нынче мебельщики подтянулись, духом пали. В кредит сколько хочешь, хоть на сто тысяч, особливо ежели подпишешься под счетом: «Доктор такой-то». И одеваться нужно прилично. Публика так рассуждает: если ты оборван и в грязи живешь, то с тебя и рубля довольно, а если ты в золотых очках, с жирной цепочкой, да кругом тебя бархат, то уж совестно давать тебе рубль, а надо пять или десять. Не так ли?

— Это верно… — согласился Петр Ильич. — Признаться сказать, я сначала завел себе обстановку. У меня все было: и бархатные скатерти, и журналы в приемной, и Бетховен висел около зеркала, но… черт его знает! Затмение дурацкое нашло. Хожу по своей роскошной квартире, и совестно мне отчего-то! Словно я не в свою квартиру попал или украл все это… не могу! Не умею сидеть на бархатном кресле, да и шабаш! А тут еще моя жена… простая баба, никак не хочет понять, как соблюдать обстановку. То щами или

гусем навоняет на весь дом, то канделябры начнет кирпичом чистить, то полы начнет мыть в приемной при больных… черт знает что! Верите ли, как продали всю эту обстановку с аукциона, так я словно ожил.

— Значит, не привык к приличной жизни… Что ж? Надо привыкать! Потом, кроме обстановки, нужна еще вывеска. Чем меньше человек, тем вывеска его должна быть больше. Не так ли? Вывеска должна быть громадная, чтобы даже за городом ее видно было. Когда ты подъезжаешь к Петербургу или к Москве, то, прежде чем увидишь колокольни, тебе станут видны вывески зубных врачей. А там, брат, врачи не нам с тобой чета.

На вывеске должны быть нарисованы золотые и серебряные круги, чтобы публика думала, что у тебя медали есть: уважения больше! Кроме этого, нужна реклама. Продай последние брюки, а напечатай объявление. Печатай каждый день во всех газетах. Ежели кажется тебе, что простых объявлений мало, то валяй с фокусами: вели напечатать объявление вверх ногами, закажи клише «с зубами» и «без зубов», проси публику не смешивать тебя с другими дантистами, публикуй, что ты возвратился из-за границы, что

бедных и учащихся лечишь бесплатно. Нужно также повесить объявление на вокзале, в буфетах… Много способов!

— Это верно! — вздохнул Петр Ильич.

— Многие также говорят, что, как ни обращайся с публикой, все равно… Нет, не все равно! С публикой надо уметь обращаться… Публика нынче хоть и образованная, но дикая, бессмысленная. Сама она не знает, чего хочет, и приноровиться к ней очень трудно. Будь ты хоть распрепрофессор, но ежели ты не умеешь подладиться под ее характер, то она скорей к коновалу пойдет, чем к тебе… Приходит ко мне, положим, барыня с зубом. Разве ее можно без фокусов принять? Ни-ни! Я сейчас нахмуриваюсь по-ученому и молча показываю на кресло: ученым, мол, людям некогда разговаривать. А кресло у меня тоже с фокусами: на винтах! Вертишь винты, а барыня то поднимается, то опускается. Потом начнешь в больном зубе копаться. В зубе чепуха, вырвать надо и больше ничего, но ты копайся долго, с расстановкой… раз десять зеркало всунь в рот, потому что барыни любят, если их болезнями долго занимаются. Барыня визжит, а ты ей: «Сударыня! Мой долг облегчить ваши ужасные страдания, а потому прошу относиться ко мне с доверием», и этак,

знаешь, величественно, трагически. А на столе перед барыней челюсти, черепа, кости разные, всевозможные инструменты, банки с адамовыми головами — все страшное, таинственное. Сам я в черном балахоне, словно инквизитор какой. Тут же около кресла стоит машина для веселящего газа. Машину-то я никогда не употребляю, но все-таки страшно! Зуб рву я огромнейшим ключом. Вообще, чем крупнее и страшнее инструмент, тем лучше. Рву я быстро, без запинки.

— И я рву недурно, Осип Францыч, но черт меня знает! Только что, знаете, сделаю тракцию и начну зуб тянуть, как откуда ни возьмись мысль: а что если я не вырву или сломаю? От мысли рука дрожит. И это постоянно!

— Зуб сломается, не твоя вина.

— Так-то так, а все-таки. Беда, ежели апломба нет! Хуже нет, ежели ты себе не веришь или сомневаешься. Был такой случай. Наложил я щипцы, тащу… тащу и вдруг, знаете, чувствую, что очень долго тащу. Пора бы уж вытащить, а я все тащу. Окаменел я от ужаса! Надо бы бросить да снова начать, а я тащу, тащу… ошалел! Больной видит по моему лицу — тово, что я швах, сомневаюсь, вскочил да от боли и злости как хватит меня табуретом! А то однажды ошалел

тоже и вместо больного здоровый зуб вырвал.

— Пустяки, со всяким случается. Рви здоровые зубы, до больного доберешься. А ты прав, без апломба нельзя. Ученый человек должен держать себя по-ученому. Публика ведь не понимает, что мы с тобой в университете не были. Для нее все доктора. И Боткин доктор, и я доктор, и ты доктор. А потому и держи себя как доктор. Чтоб поученей казаться и пыль пустить, издай брошюрку «О содержании зубов». Сам не сумеешь сочинить, закажи студенту. Он рублей за десять тебе и предисловие накатает и из французских авторов цитаты повыдергает. Я уж три брошюры выпустил. Еще что? Зубной порошок изобрети. Закажи себе коробочки со штемпелем, насыпь в них, чего знаешь, навяжи пломбу и валяй: «Цена 2 рубля, остерегаться подделок». Выдумай и эликсир. Наболтай чего-нибудь, чтоб пахло да щипало, вот тебе и эликсир. Цен круглых не назначай, а так: эликсир № 1 стоит 77 к., № 2–82 к. и т. д. Это потаинственнее. Зубные щетки продавай со своим штемпелем по рублю за штуку. Видал мои щетки?

Петр Ильич нервно почесал затылок и в волнении зашагал около немца…

— Вот поди же ты! — зажестикулировал он. —

Вот оно как! Но не умею я, не могу! Не то чтобы я это шарлатанством или жульничеством считал, а не могу, руки коротки! Сто раз пробовал, и ни черта не выходило. Вы вот сыты, одеты, дома имеете, а меня — табуретом! Да, действительно, плохо без общего образования! Это вы верно, Осип Францыч! Очень плохо!



ВРАЧЕБНЫЕ СОВЕТЫ



От *насморка* полезен настой из «трын-травы», пить который следует натощак, по субботам.

Головокружение может быть прекращено следующим образом: возьми две веревки и привяжи правое ухо к одной стене, а левое к другой, противоположной, вследствие чего твоя голова будет лишена возможности кружиться.

У *отравившегося* мышьяком старайся вызвать рвоту, для достижения чего полезно нюхать провизию, купленную в Охотном ряду.

При сильном и упорном *кашле* постарайся денька три-четыре не кашлять вовсе, и твоя хворь исчезнет сама собою.

Два газетчика
(Неправдоподобный рассказ)

Рыбкин, сотрудник газеты «Начихать вам на головы!», человек обрюзглый, сырой и тусклый, стоял посреди своего номера и любовно поглядывал на потолок, где торчал крючок, приспособленный для лампы. В руках у него болталась веревка.

«Выдержит или не выдержит? — думал он. — Оборвется, чего доброго, и крючком по голове… Жизнь анафемская! Даже повеситься путем негде!»

Не знаю, чем кончились бы размышления безумца, если бы не отворилась дверь и не вошел в номер приятель Рыбкина, Шлепкин, сотрудник газеты «Иуда предатель», живой, веселый, розовый.

— Здорово, Вася! — начал он, садясь. — Я за тобой… Едем! В Выборгской покушение на убийство, строк на тридцать… Какая-то шельма резала и не дорезала. Резал бы уж на целых сто строк, подлец! Часто, брат, я думаю и даже хочу об этом писать: если бы человечество было гуманно и

знало, как нам жрать хочется, то оно вешалось бы, горело и судилось во сто раз чаще. Ба! Это что такое? — развел он руками, увидев веревку. — Уж не вешаться ли вздумал?

— Да, брат… — вздохнул Рыбкин. — Шабаш… прощай! Опротивела жизнь! Пора уж…

— Ну, не идиотство ли? Чем же могла тебе жизнь опротиветь?

— Да так, всем… Туман какой-то кругом, неопределенность… безызвестность… писать не о чем. От одной мысли можно десять раз повеситься: кругом друг друга едят, грабят, топят, друг другу в морды плюют, а писать не о чем! Жизнь кипит, трещит, шипит, а писать не о чем! Дуализм проклятый какой-то…

— Как же не о чем писать? Будь у тебя десять рук, и на все бы десять работы хватило.

— Нет, не о чем писать! Кончена моя жизнь! Ну, о чем прикажешь писать? О кассирах писали, об аптеках писали, про восточный вопрос писали… до того писали, что все перепутали и ни черта в этом вопросе не поймешь. Писали о неверии, тещах, о юбилеях, о пожарах, женских шляпках, падении нравов, о Цукки… Всю вселенную перебрали, и ничего не осталось. Ты вот сейчас про убийство говоришь: человека зарезали… Эка

невидаль! Я знаю такое убийство, что человека повесили, зарезали, керосином облили и сожгли — все это сразу, и то я молчу. Наплевать мне! Все это уже было, и ничего тут нет необыкновенного. Допустим, что ты двести тысяч украл или что Невский с двух концов поджег, — наплевать и на это! Все это обыкновенно, и писали уж об этом. Прощай!

— Не понимаю! Такая масса вопросов… такое разнообразие явлений! В собаку камень бросишь, а в вопрос или явление попадешь…

— Ничего не стоят ни вопросы, ни явления. Например, вот я вешаюсь сейчас… По-твоему, это вопрос, событие; а по-моему, пять строк петита — и больше ничего. И писать незачем. Околевали, околевают и будут околевать — ничего тут нет нового… Все эти, брат, разнообразия, кипения, шипения очень уж однообразны… И самому писать тошно, да и читателя жалко: за что его, бедного, в меланхолию вгонять?

Рыбкин вздохнул, покачал головой и горько улыбнулся.

— А вот если бы, — сказал он, — случилось что-нибудь особенное, этакое, знаешь, зашибательное, что-нибудь мерзейшее, распереподлое, такое, чтоб черти с перепугу передохли, ну, тогда

ожил бы я! Прошла бы земля сквозь хвост кометы, что ли, Бисмарк бы в магометанскую веру перешел, или турки Калугу приступом взяли бы… или, знаешь, Нотовича в тайные советники произвели бы… одним словом, что-нибудь зажигательное, отчаянное, — ах, как бы я зажил тогда!

— Любишь ты широко глядеть, а ты попробуй помельче плавать. Вглядись в былинку, в песчинку, в щелочку… всюду жизнь, драма, трагедия! В каждой щепке, в каждой свинье драма!

— Благо у тебя натура такая, что ты и про выеденное яйцо можешь писать, а я… нет!

— А что ж? — окрысился Шлепкин. — Чем, по-твоему, плохо выеденное яйцо? Масса вопросов! Во-первых, когда ты видишь перед собой выеденное яйцо, тебя охватывает негодование, ты возмущен!!! Яйцо, предназначенное природою для воспроизведения жизни индивидуума… понимаешь! жизни!.. жизни, которая в свою очередь дала бы жизнь целому поколению, а это поколение тысячам будущих поколений, вдруг съедено, стало жертвою чревоугодия, прихоти! Это яйцо дало бы курицу, курица в течение всей своей жизни снесла бы тысячу яиц… — вот тебе, как на ладони, подрыв экономического строя, заедание будущего! Во-вторых, глядя на выеден-

ное яйцо, ты радуешься: если яйцо съедено, то, значит, на Руси хорошо питаются… В-третьих, тебе приходит на мысль, что яичной скорлупой удобряют землю, и ты советуешь читателю дорожить отбросами. В-четвертых, выеденное яйцо наводит тебя на мысль о бренности всего земного: жило и нет его! В-пятых. Да что я считаю? На сто нумеров хватит!

— Нет, куда мне! Да и веру я в себя потерял, в уныние впал… Ну его, все к черту!

Рыбкин стал на табурет в прицепил веревку к крючку.

— Напрасно, ей-богу напрасно! — убеждал Шлепкин. — Ты погляди: двадцать у нас газет и все полны! Стало быть, есть о чем писать! Даже провинциальные газеты, и те полны!

— Нет… Спящие гласные, кассиры… — забормотал Рыбкин, как бы ища за что ухватиться, — дворянский банк, паспортная система… упразднение чинов, Румелия… Бог с ними!

— Ну, как знаешь…

Рыбкин накинул себе петлю на шею и с удовольствием повесился. Шлепкин сел за стол и в один миг написал: заметку о самоубийстве, некролог Рыбкина, фельетон по поводу частых самоубийств, передовую об усилении кары, на-

лагаемой на самоубийц, и еще несколько других статей на ту же тему. Написав все это, он положил в карман и весело побежал в редакцию, где его ждали мзда, слава и читатели.

Психопаты
(Сценка)

Титулярный советник Семен Алексеич Нянин, служивший когда-то в одном из провинциальных коммерческих судов, и сын его Гриша, отставной поручик — личность бесцветная, живущая на хлебах у папаши и мамаши, сидят в одной из своих маленьких комнаток и обедают. Гриша, по обыкновению, пьет рюмку за рюмкой и без умолку говорит; папаша, бледный, вечно встревоженный и удивленный, робко заглядывает в его лицо и замирает от какого-то неопределенного чувства, похожего на страх.

— Болгария и Румелия — это одни только цветки, — говорит Гриша, с ожесточением ковыряя вилкой у себя в зубах. — Это что, пустяки, чепуха! А вот ты прочти, что в Греции да в Сербии делается, да какой в Англии разговор идет! Греция и Сербия поднимутся, Турция тоже… Англия вступится за Турцию.

— И Франция не утерпит… — как бы нерешительно замечает Нянин.

— Господи, опять о политике начали! — кашля-

ет в соседней комнате жилец Федор Федорыч. — Хоть бы больного пожалели!

— Да, и Франция не утерпит, — соглашается с отцом Гриша, словно не замечая кашля Федора Федорыча. — Она, брат, еще не забыла пять миллиардов! Она, брат… эти, брат, французы себе на уме! Того только и ждут, чтоб Бисмарку фернапиксу задать да в табакерку его чемерицы насыпать! А ежели француз поднимется, то немец не станет ждать — коммен зи гер[160], Иван Андреич, шпрехен зи дейч![161]… Хо-хо-хо! За немцами Австрия, потом Венгрия, а там, гляди, и Испания насчет Каролинских островов… Китай с Тонкином, афганцы… и пошло, и пошло, и пошло! Такое, брат, будет, что и не снилось тебе! Вот попомни мое слово! Только руками разведешь…

Старик Нянин, от природы мнительный, трусливый и забитый, перестает есть и еще больше бледнеет. Гриша тоже перестает есть. Отец и сын — оба трусы, малодушны и мистичны; душу обоих наполняет какой-то неопределенный, беспредметный страх, беспорядочно витающий в пространстве и во времени: что-то будет!!! Но

---

[160] Примечания: 160
Подойдите сюда (нем. kommen Sie her).

[161] Примечания: 161
Говорите ли вы по-немецки? (нем. sprechen Sie deutsch?).

что именно будет, где и когда, не знают ни отец, ни сын. Старик обыкновенно предается страху безмолвствуя, Гриша же не может без того, чтоб не раздражать себя и отца длинными словоизвержениями; он не успокоится, пока не напугает себя вконец.

— Вот ты увидишь! — продолжает он. — Ахнуть не успеешь, как в Европе пойдет все шиворот-навыворот. Достанется на орехи! Тебе-то, положим, все равно, тебе хоть трава не расти, а мне — пожалуйте-с на войну! Мне, впрочем, плевать… с нашим удовольствием.

Попугав себя и отца политикой, Гриша начинает толковать про холеру.

— Там, брат, не станут разбирать, живой ты или мертвый, а сейчас тебя на телегу и — айда за город! Лежи там с мертвецами! Некогда будет разбирать, болен ты или уже помер!

— Господи! — кашляет за перегородкой Федор Федорыч. — Мало того, что табаком начадили да сивухой навоняли, так вот хотят еще разговорами добить!

— Чем же, позвольте вас спросить, не нравятся вам наши разговоры? — спрашивает Гриша, возвышая голос.

— Не люблю невежества… Уж очень тошно.

— Тошно, так и не слушайте… Так-то, брат папаша, быть делам! Разведешь руками, да поздно будет. А тут еще в банках воруют, в земствах… Там, слышишь, миллион украли, там сто тысяч, в третьем месте тысячу… каждый день! Того дня нет, чтоб кассир не бегал.

— Ну, так что ж?

— Как что ж? Проснешься в одно прекрасное утро, выглянешь в окно, ан ничего нет, все украдено. Взглянешь, а по улице бегут кассиры, кассиры, кассиры… Хватишься одеваться, а у тебя штанов нет — украли! Вот тебе и что ж!

В конце концов Гриша принимается за процесс Мироновича.

— И не думай, не мечтай! — говорит он отцу. — Этот процесс во веки веков не кончится. Приговор, брат, решительно ничего не значит. Какой бы ни был приговор, а темна вода во облацех! Положим, Семенова виновата… хорошо, пусть, но куда же девать те улики, что против Мироновича? Ежели, допустим, Миронович виноват, то куда ты сунешь Семенову и Безака? Туман, братец… Все так бесконечно и туманно, что не удовлетворятся приговором, а без конца будут философствовать… Есть конец света? Есть… А что же за этим концом? Тоже конец… А что

же за этим вторым концом? И так далее… Так и в этом процессе… Раз двадцать еще разбирать будут и то ни к чему не придут, а только туману напустят… Семенова сейчас созналась, а завтра она опять откажется — знать не знаю, ведать не ведаю. Опять Карабчевский кружить начнет… Наберет себе десять помощников и начнет с ними кружить, кружить, кружить…

— То есть как кружить?

— Да так: послать за гирей водолазов под Тучков мост! Хорошо, а тут сейчас Ашанин бумагу: не нашли гири! Карабчевский рассердится… Как так не нашли? Это оттого, что у нас настоящих водолазов и хорошего водолазного аппарата нет! Выписать из Англии водолазов, а из Нью-Йорка аппарат! Пока там гирю ищут, стороны экспертов треплют. А эксперты кружат, кружат, кружат. Один с другим не соглашается, друг другу лекции читают… Прокурор не соглашается с Эргардом, а Карабчевский с Сорокиным… и пошло, и пошло! Выписать новых экспертов, позвать из Франции Шарко! Шарко приедет и сейчас: не могу дать заключения, потому что при вскрытии не была осмотрена спинная кость! Вырыть опять Сарру! Потом, братец ты мой, насчет волос… Чьи были волоса? Не могли же они сами на полу вырасти, а

чьи-нибудь да были же! Позвать для экспертизы парикмахеров! И вдруг оказывается, что один волос совсем похож на волос Монбазон! Позвать сюда Монбазон! И пошло, и пошло. Все завертится, закружится. А тут еще англичане-водолазы в Неве найдут не одну гирю, а пять. Ежели не Семенова убила, то настоящий убийца наверное туда десяток гирь бросил. Начнут гири осматривать. Первым делом: где они куплены? У купца Подскокова! Подать сюда купца! «Г-н Подскоков, кто у вас гири покупал?» — «Не помню». — «В таком случае назовите нам фамилии ваших покупателей!» Подскоков начнет припоминать да и вспомнит, что ты у него что-то когда-то покупал. Вот, скажет, покупали у меня товар такие-то и такие-то и между прочим титулярный советник Семен Алексеев Нянин! Подать сюда этого титулярного советника Нянина! Пожалуйте-с!

Нянин икает, встает из-за стола и, бледный, растерянный, нервно семенит по комнате.

— Ну, ну… — бормочет он. — Бог знает что!

— Да, подать сюда Нянина! Ты пойдешь, а Карабчевский тебя глазами насквозь, насквозь! «Где, спросит, вы были в ночь под такое-то число?» А у тебя и язык прильпе к гортани. Сейчас сличат те волосы с твоими, пошлют за Иванов-

ским, и пожалуйте, г. Нянин, на цугундер!

— То… то есть как же? Все знают, что не я убил! Что ты?

— Это все равно! Плевать на то, что не ты убил! Начнут тебя кружить и до того закружат, что ты встанешь на колени и скажешь: я убил! Вот как!

— Ну, ну, ну…

— Я ведь только к примеру. Мне-то все равно. Я человек свободный, холостой. Захочу, так завтра же в Америку уеду! Ищи тогда, Карабчевский! Кружи!

— Господи! — стонет Федор Федорыч. — Хоть бы у них глотки пересохли! Черти, да вы замолчите когда-нибудь или нет?

Нянин и Гриша умолкают. Обед кончился, и оба они ложатся на свои кровати. Обоих сосет червь.

На чужбине

Воскресные полдень. Помещик Камышев сидит у себя в столовой за роскошно сервированным столом и медленно завтракает. С ним разделяет трапезу чистенький, гладко выбритый старик французик, m-r Шампунь. Этот Шампунь был когда-то у Камышева гувернером, учил его детей манерам, хорошему произношению и танцам, потом же, когда дети Камышева выросли и стали поручиками, Шампунь остался чем-то вроде бонны мужского пола. Обязанности бывшего гувернера не сложны. Он должен прилично одеваться, пахнуть духами, выслушивать праздную болтовню Камышева, есть, пить, спать — и больше, кажется, ничего. За это он получает стол, комнату и неопределенное жалованье.

Камышев ест и, по обыкновению, празднословит.

— Смерть! — говорит он, вытирая слезы, выступившие после куска ветчины, густо вымазанного горчицей. — Уф! В голову и во все суставы ударило. А вот от вашей французской горчицы не будет этого, хоть всю банку съешь.

— Кто любит французскую, а кто русскую… —

кротко заявляет Шампунь.

— Никто не любит французской, разве только одни французы. А французу что ни подай — все съест: и лягушку, и крысу, и тараканов… брр! Вам, например, эта ветчина не нравится, потому что она русская, а подай вам жареное стекло и скажи, что оно французское, вы станете есть и причмокивать… По-вашему, все русское скверно.

— Я этого не говорю.

— Все русское скверно, а французское — о, сэ трэ жоли![162] По-вашему, лучше и страны нет, как Франция, а по-моему… ну, что такое Франция, говоря по совести? Кусочек земли! Пошли туда нашего исправника, так он через месяц же перевода запросит: повернуться негде! Вашу Францию всю в один день объездить можно, а у нас выйдешь за ворота — конца краю не видно! Едешь, едешь…

— Да, monsieur, Россия громадная страна.

— То-то вот и есть! По-вашему, лучше французов и людей нет. Ученый, умный народ. Цивилизация! Согласен, французы все ученые, манерные… это верно… Француз никогда не позволит себе невежества: вовремя даме стул подаст, раков не станет есть вилкой, не плюнет на пол, но… нет то-

---

[162] Примечания: 162
Это очень мило! (фр. c'est très joli).

го духу! Духу того в нем нет! Я не могу только вам объяснить, но, как бы это выразиться, во французе не хватает чего-то такого, этакого… (говорящий шевелит пальцами) чего-то такого… юридического. Я, помню, читал где-то, что у вас у всех ум приобретенный, из книг, а у нас ум врожденный. Если русского обучить как следует наукам, то никакой ваш профессор не сравняется.

— Может быть… — как бы нехотя говорит Шампунь.

— Нет, не может быть, а верно! Нечего морщиться, правду говорю! Русский ум — изобретательный ум! Только, конечно, ходу ему не дают, да и хвастать он не умеет… Изобретет что-нибудь и поломает или же детишкам отдаст поиграть, а ваш француз изобретет какую-нибудь чепуху и на весь свет кричит. Намедни кучер Иона сделал из дерева человечка: дернешь этого человечка за ниточку, а он и сделает непристойность. Однако же Иона не хвастает. Вообще… не нравятся мне французы! Я про вас не говорю, а вообще… Безнравственный народ! Наружностью словно как бы и на людей походят, а живут как собаки… Взять хоть, например, брак. У нас коли женился, так прилепись к жене и никаких разговоров, а у вас черт знает что. Муж целый день в кафе сидит,

а жена напустит полный дом французов и давай с ними канканировать.

— Это неправда! — не выдерживает Шампунь, вспыхивая. — Во Франции семейный принцип стоит очень высоко!

— Знаем мы этот принцип! А вам стыдно защищать. Надо беспристрастно: свиньи, так и есть свиньи… Спасибо немцам за то, что побили… Ей-богу, спасибо. Дай бог им здоровья…

— В таком случае, monsieur, я не понимаю, — говорит француз, вскакивая и сверкая глазами, — если вы ненавидите французов, то зачем вы меня держите?

— Куда же мне вас девать?

— Отпустите меня, и я уеду во Францию!

— Что-о-о? Да нешто вас пустят теперь во Францию? Ведь вы изменник своему отечеству! То у вас Наполеон великий человек, то Гамбетта… сам черт вас не разберет!

— Monsieur, — говорит по-французски Шампунь, брызжа и комкая в руках салфетку. — Выше оскорбления, которое вы нанесли сейчас моему чувству, не мог бы придумать и враг мой! Все кончено!!!

И, сделав рукой трагический жест, француз манерно бросает на стол салфетку и с достоинством

выходит.

Часа через три на столе переменяется сервировка и прислуга подает обед. Камышев садится за обед один. После предобеденной рюмки у него является жажда празднословия. Поболтать хочется, а слушателя нет…

— Что делает Альфонс Людовикович? — спрашивает он лакея.

— Чемодан укладывают-с.

— Экая дуррында, прости господи!.. — говорит Камышев и идет к французу.

Шампунь сидит у себя на полу среди комнаты и дрожащими руками укладывает в чемодан белье, флаконы из-под духов, молитвенники, помочи, галстуки… Вся его приличная фигура, чемодан, кровать и стол так и дышат изяществом и женственностью. Из его больших голубых глаз капают в чемодан крупные слезы.

— Куда же это вы? — спрашивает Камышев, постояв немного.

Француз молчит.

— Уезжать хотите? — продолжает Камышев. — Что ж, как знаете… Не смею удерживать… Только вот что странно: как это вы без паспорта поедете? Удивляюсь! Вы знаете, я ведь потерял ваш паспорт. Сунул его куда-то между бумаг, он и

потерялся… А у нас насчет паспортов строго. Не успеете и пяти верст проехать, как вас сцарапают.

Шампунь поднимает голову и недоверчиво глядит на Камышева.

— Да… Вот увидите! Заметят по лицу, что вы без паспорта, и сейчас: кто таков? Альфонс Шампунь! Знаем мы этих Альфонсов Шампуней! А не угодно ли вам по этапу в не столь отдаленные!

— Вы это шутите?

— С какой стати мне шутить! Очень мне нужно! Только смотрите, условие: не извольте потом хныкать и письма писать. И пальцем не пошевельну, когда вас мимо в кандалах проведут!

Шампунь вскакивает и, бледный, широкоглазый, начинает шагать по комнате.

— Что вы со мной делаете?! — говорит он, в отчаянии хватая себя за голову. — Боже мой! О, будь проклят тот час, когда мне пришла в голову пагубная мысль оставить отечество!

— Ну, ну, ну… я пошутил! — говорит Камышев, понизив тон. — Чудак какой, шуток не понимает! Слова сказать нельзя!

— Дорогой мой! — взвизгивает Шампунь, успокоенный тоном Камышева. — Клянусь вам, я привязан к России, к вам и к вашим детям… Оста-

вить вас для меня так же тяжело, как умереть! Но каждое ваше слово режет мне сердце!

— Ах, чудак! Если я французов ругаю, так вам-то с какой стати обижаться? Мало ли кого мы ругаем, так всем и обижаться? Чудак, право! Берите пример вот с Лазаря Исакича, арендатора… Я его и так, и этак, и жидом, и пархом, и свинячье ухо из полы делаю, и за пейсы хватаю… не обижается же!

— Но то ведь раб! Из-за копейки он готов на всякую низость!

— Ну, ну, ну… будет! Пойдем обедать! Мир и согласие!

Шампунь пудрит свое заплаканное лицо и идет с Камышевым в столовую. Первое блюдо съедается молча, после второго начинается та же история, и таким образом страдания Шампуня не имеют конца.

Циник

Полдень. Управляющий «Зверинца братьев Пихнау», отставной портупей-юнкер Егор Сюсин, здоровеннейший парень с обрюзглым, испитым лицом, в грязной сорочке и в засаленном фраке, уже пьян. Перед публикой вертится он, как черт перед заутреней: бегает, изгибается, хихикает, играет глазами и словно кокетничает своими угловатыми манерами и расстегнутыми пуговками. Когда его большая стриженая голова бывает наполнена винными парами, публика любит его. В это время он «объясняет» зверей не просто, а по новому, ему одному только принадлежащему, способу.

— Как объяснять? — спрашивает он публику, подмигивая глазом. — Просто или с психологией и тенденцией?

— С психологией и тенденцией!

— Bene[163]! Начинаю! Африканский лев! — говорит он, покачиваясь и насмешливо глядя на льва, сидящего в углу клетки и кротко мигающего глазами. — Синоним могущества, соединенного с

---

[163] Примечания: 163
Хорошо! (лат.).

грацией, краса и гордость фауны! Когда-то, в дни молодости, пленял своею мощью и ревом наводил ужас на окрестности, а теперь… Хо-хо-хо… а теперь, болван этакий, сидит в клетке… Что, братец лев? Сидишь? Философствуешь? А небось, как по лесам рыскал, так — куда тебе! — думал, что сильнее и зверя нет, что и черт тебе не брат, — ан и вышло, что дура судьба сильнее… хоть и дура она, а сильнее… Хо-хо-хо! Ишь ведь, куда черти занесли из Африки! Чай, и не снилось, что сюда попадешь! Меня тоже, братец ты мой, ух как черти носили! Был я и в гимназии, и в канцелярии, и в землемерах, и на телеграфе, и на военной, и на макаронной фабрике… и черт меня знает, где я только не был! В конце концов в зверинец попал… в вонь… Хо-хо-хо!



И публика, зараженная искренним смехом пьяного Сюсина, сама гогочет.

— Чай, хочется на свободу! — мигает глазом на льва малый, пахнущий краской и покрытый разноцветными жирными пятнами.

— Куда ему! Выпусти его, так он опять в клетку придет. Примирился. Хо-хо-хо… Помирать, лев, пора, вот что! Что уж тут, брат, тово… канителить? Взял бы да издох! Ждать ведь нечего! Что глядишь? Верно говорю!

Сюсин подводит публику к следующей клетке, где мечется и бьется о решетку дикая кошка.

— Дикая кошка! Прародитель наших васек и

марусек! Еще и трех месяцев нет, как поймана и посажена в клетку. Шипит, мечется, сверкает глазами, не позволяет подойти близко. День и ночь царапает решетку: выхода ищет! Миллион, полжизни, детей отдала бы теперь, чтобы только домой попасть. Хо-хо-хо… Ну, что мечешься, дура? Что снуешь? Ведь не выйдешь отсюда! Издохнешь, не выйдешь! Да еще привыкнешь, примиришься! Мало того, что привыкнешь, но еще нам, мучителям твоим, руки лизать будешь! Хо-хо-хо… Тут, брат, тот же дантовский ад: оставьте всякую надежду!

Цинизм Сюсина начинает мало-помалу раздражать публику.

— Не понимаю, что тут смешного! — замечает чей-то бас.

— Скалит зубы и сам не знает, с какой радости… — говорит красильщик.

— Это обезьяна! — продолжает Сюсин, подходя к следующей клетке. — Дрянь животное! Знаю, что вот ненавидит нас, рада бы, кажется, в клочки изорвать, а улыбается, лижет руку! Холуйская натура! Хо-хо-хо… За кусочек сахару своему мучителю и в ножки поклонится и шута разыграет… Не люблю таких!.. А вот это, рекомендую, газель! — говорит Сюсин, подводя публику

к клетке, где сидит маленькая, тощая газель с большими заплаканными глазами. — Эта уже готова! Не успела попасть в клетку, как уже готова развязка: в последнем градусе чахотки! Хо-хо-хо… Поглядите: глаза совсем человечьи — плачут! Оно и понятно. Молодая, красивая… жить хочется! Ей бы теперь на воле скакать да с красавцами нюхаться, а она тут на грязной соломе, где воняет псиной да конюшней. Странно: умирает, а в глазах все-таки надежда! Что значит молодость! а? Потеха с вами, с молодыми! Это ты напрасно надеешься, матушка! Так со своей надеждой и протянешь ножки. Хо-хо-хо…

— Ты, брат, тово… не донимай ее словами… — говорит красильщик, хмурясь. — Жутко!

Публика уже не смеется. Хохочет и фыркает один только Сюсин. Чем угрюмее становится публика, тем громче и резче его смех. И все почему-то начинают замечать, что он безобразен, грязен, циничен, во всех глазах появляется ненависть, злоба.

— А вот это сам журавль! — не унимается Сюсин, подходя к журавлю, стоящему около одной из клеток. — Родился в России, бывал перелетом на Ниле, где с крокодилами и тиграми разговаривал. Прошлое самое блестящее… Глядите: задумался,

сосредоточен! Так занят мыслями, что ничего не замечает… Мечты, мечты! Хо-хо-хо… «Вот, думает, продолблю всем головы, вылечу в окошко и — айда в синеву, в лазурь небесную! А в синеве-то теперь вереницы журавлей в теплые края летят и крл… крл… крл…» О, глядите: перья дыбом стали! Это, значит, в самый разгар мечтаний вспомнил, что у него крылья подрезаны, и… ужас охватил его, отчаяние. Хо-хо-хо… Натура непримиримая. Вечно этак перья будут дыбом торчать, до самой дохлой смерти. Непримиримый, гордый! А нам, тре-журавле, плевать на то, что ты непримиримый! Ты гордый, непримиримый, а я вот захочу и поведу тебя при публике за нос. Хо-хо-хо…

Сюсин берет журавля за клюв и ведет его.

— Не издеваться! — слышатся голоса. — Оставить! Черт знает что? Где хозяин? Как это позволяют пьяному… мучить животных!

— Хо-хо-хо… Да чем же я их мучу?..

— Тем… вот этим, разными этими… шутками… Не надо!

— Да ведь вы сами просили, чтоб я с психологией!.. Хо-хо-хо…

Публика вспоминает, что только за «психологией» и пришла она в зверинец, что она с нетерпением ждала, когда выйдет из своей ка-

морки пьяный Сюсин и начнет объяснения, и чтобы хоть чем-нибудь мотивировать свою злобу, она начинает придираться к плохой кормежке, тесноте клеток и проч.

— Мы их кормим, — говорит Сюсин, насмешливо щуря глаза на публику. — Даже сейчас будет кормление… помилуйте!

Пожав плечами, он лезет под прилавок и достает из нагретых одеял маленького удава.

— Мы их кормим. Нельзя! Те же актеры: не корми — околеют! Господин кролик, вене иси![164] Пожалуйте!

На сцену появляется белый красноглазый кролик.

— Мое почтение-с! — говорит Сюсин, жестикулируя перед его мордочкой пальцами. — Честь имею представиться! Рекомендую господина удава, который желает вас скушать! Хо-хо-хо… Неприятно, брат? Морщишься? Что ж, ничего не поделаешь! Не моя тут вина! Не сегодня, так завтра… не я, так другой… все равно. Философия, брат кролик! Сейчас вот ты жив, воздух нюхаешь, мыслишь, а через минуту ты — бесформенная масса! Пожалуйте. А жизнь, брат, так хороша!

---

[164] Примечания: 164
Идите сюда (фр. venez ici).

Боже, как хороша!

— Не нужно кормления! — слышатся голоса. — Довольно! Не надо!

— Обидно! — продолжает Сюсин, как бы не слыша ропота публики. — Личность, индивидуум, целая жизнь… имеет самочку, деточек и… и вдруг сейчас — гам! Пожалуйте! Как ни жаль, но что делать!

Сюсин берет кролика и со смехом ставит его против пасти удава. Но не успевает кролик окаменеть от ужаса, как его хватают десятки рук. Слышны восклицания публики по адресу общества покровительства животным. Галдят, машут руками, стучат. Сюсин со смехом убегает в свою каморку.

Публика выходит из зверинца злая. Ее тошнит, как от проглоченной мухи. Но проходит день-другой, и успокоенных завсегдатаев зверинца начинает потягивать к Сюсину, как к водке или табаку. Им опять хочется его задирательного, дерущего холодом вдоль спины цинизма.

Индейский петух
(Маленькое недоразумение)

— Чучело ты, чучело! Образина ты лысая! — говорила однажды Пелагея Петровна своему супругу, отставному коллежскому секретарю Маркелу Ивановичу Лохматову. — У всех мужья как мужья, одну только меня господь наказал сокровищем-лежебоком! У сестры Глашеньки муж и носки штопает, и кур кормит, и за провизией на рынок ходит. Прасковьи Ивановнин муж, и что это за человек! — только и ищет, чем бы жене своей угодить: то клопов из кроватей вываривает, то шубу выбивает, чтоб моль не поела, то рыбу чистит. Один только ты у меня, нечистый тебя знает, в кого уродился! День-деньской лежишь, как анафема, на диване и только и знаешь, что водку трескаешь да про Румелию балясы точишь!..

— Что же мне делать? — робко спросил Маркел Иваныч.

— Что делать! Да мало ли делов? Куда в хозяйстве ни сунься, везде дело. Взять хоть индейского петуха. Уж неделя, как тварь не пьет, не ест…

вот-вот издохнет, а тебе и горя мало, наказание ты мое! У, так и тресну по уху! А ведь петух-то какой! Гора, а не петух! За пять рублей другого такого не купишь!

— Что же мне тово… с петухом делать? Не к доктору же с ним идти!

— Зачем к доктору? Доктора не обучены птицам… Ты у людей порасспроси… Люди все знают… А то и сам бы, дуралей, своим умом пораскинул, как и что. В аптеку бы сходил. В аптеке много лекарств!

— Пожалуй, я схожу в аптеку, — согласился Лохматов. — Пожалуй.

— И сходи! Дайте, скажи, мне на десять копеек крепительного.



Маркел Иванович лениво поднялся с дивана, вздохнул и стал натягивать на себя панталоны (когда он сидит дома, Пелагея Петровна из экономии держит его в одном нижнем). Он был выпивши, в голове его от одного виска к другому перекатывалась тяжелая, свинцовая пуля, но мысль, что он идет сейчас делать дело, подбодрила его. Одевшись, он взял трость и степенно зашагал к аптеке.

— Вам что угодно? — спросил его в аптеке толстый лысый провизор с большими, пушистыми бакенами.

— Мне чего-нибудь этакого... — начал робко Маркел Иванович, почтительно глядя на пуши-

стые бакены. — У меня, собственно говоря, нет рецепта, и я сам не знаю, что мне нужно, может быть, вы мне посоветуете что-нибудь.

— Да, а что случилось?

— Дело в том, что уж неделя, как не пьет, не ест. Все время, знаете ли, слабит. Скучный такой, унылый, словно потерял что-нибудь или совесть нечиста.

Провизор приподнял углы губ, прищурился и обратился в слух. Фармацевты вообще любят, когда к ним обращаются за медицинскими советами.

— А… гм… — промычал он. — Жар есть?

— Этого я вам не могу сказать, не знаю… Уж вы будьте такие добрые, дайте чего-нибудь. Верите ли? Смотреть жалко! Был здоров, ходил по двору, а теперь на тебе! — ни с того ни с сего нахмурился, наершился и из сарая не выходит.

— В сарае нельзя… Теперь холодно.

— Хорошо, мы его в кухню возьмем… А жалко будет, ежели тово… околеет. Без него индейки жить не могут.

— Какие индейки? — вытаращил глаза провизор.

— Обыкновенные… с перьями.

— Да вы про кого говорите?

— Про индейского петуха.

На лице провизора изобразилось «тьфу!». Углы губ опустились, и по строгому лицу пробежала тучка.

— Я… не понимаю, — обиделся провизор.

— Не понимаете, какой это индейский петух? — в свою очередь не понял Лохматов. — Есть обыкновенные петухи, что с курами ходят, а то индейский… большой такой, знаете ли, с хоботом на носу… и еще так посвистишь ему, а он растопырит крылья, нахохлится и — блы-блы-блы…

— Мы индюков не лечим… — пробормотал провизор, обидчиво отводя глаза в сторону.

— Да их и лечить не нужно… Дать какого-нибудь пустяка и больше ничего… Ведь это не человек, а птица… и от пустяка поможет.

— Извините, мне некогда.

— Я знаю, что вам некогда, но сделайте такое одолжение! Что вам стоит дать чего-нибудь? Чего хотите, то и дайте, я не стану разговаривать. Будьте столь достолюбезны!

Просительный тон Маркела Ивановича тронул провизора. Он опять нахмурился, поднял углы губ и задумался.

— Вы говорите, что не пьет, не ест… что его слабит?

— Да-с… Крепительного чего-нибудь.

— Погодите, я сейчас.

Провизор отошел к шкафчику, достал оттуда какую-то книгу и погрузился в чтение. Лицо его приняло сократовское выражение и на лбу собралось так много морщин, что Маркел Иванович, глядя на него, побоялся, как бы от напряжения кожи не порвалась провизорская лысина.

— Я вам порошок дам, — сказал провизор, кончив чтение.

— Покорнейше вас благодарю. Только, извините за выражение, как я ему этот порошок дам? Ведь он не клюет! Ежели бы он понимал свою пользу, а то ведь птица глупая, нерассудительная. Положишь перед ним порошок, а он и без внимания.

— В таком случае я вам капель дам.

— Ну, капли другое дело. Капли насильно влить можно.

Провизор повернул голову в сторону и прокричал что-то по-немецки.

— Ja![165] — откликнулся маленький черненький фармацевт.

Лохматов направился туда, где возился этот

---

[165] Примечания: 165
Да! (нем.).

фармацевт, облокотился о стойку и стал ждать.

«Как он, собака, все это ловко! — думал он, следя за движениями пальцев фармацевта, делившего какой-то порошок на доли. — И на все ведь это нужна наука!»

Покончив с порошками, фармацевт взял флакон, наболтал в него коричневой жидкости, завернул в бумагу и подошел к Лохматову.

— Вам на десять копеек капель? — спросил он.

— Индейскому петуху.

— Что? — вытаращил глаза фармацевт.

— Индейскому петуху.

— С вами говорят по-человечески, — вспыхнул фармацевт, — вы и должны отвечать по-человечески.

— Как же вам еще отвечать? Говорю, что индейскому петуху, так, значит, и индейскому петуху. Не орлу же!

— Я это могу на свой счет принять! — нахохлился аптекарь.

— Зачем же на свой счет принять? Я сам заплачу.

— Но мне некогда с вами шутить!

Фармацевт отложил в сторону флакон с каплями, отошел в сторону и, сердито фыркая, стал что-то тереть в ступке.

Маркел Иванович подождал еще немного, потом пожал плечами, вздохнул и вышел из аптеки. Придя домой, он снял сюртук, панталоны и жилет, почесался, покряхтел и лег на диван.

— Ну, что? Был в аптеке? — набросилась на него Пелагея Петровна.

— Был… ну их к черту!

— Где же лекарство?

— Не дают! — махнул рукой Маркел Иванович и укрылся ватным одеялом.

— Уу… так и дам по уху!

Средство от запоя

В город Д., в отдельном купе первого класса, прибыл на гастроли известный чтец и комик г. Фениксов-Дикобразов 2-й. Все встречавшие его на вокзале знали, что билет первого класса был куплен «для форса» лишь на предпоследней станции, а до тех пор знаменитость ехала в третьем; все видели, что, несмотря на холодное, осеннее время, на знаменитости были только летняя крылатка да ветхая котиковая шапочка, но тем не менее, когда из вагона показалась сивая, заспанная физиономия Дикобразова 2-го, все почувствовали некоторый трепет и жажду познакомиться. Антрепренер Почечуев, по русскому обычаю, троекратно облобызал приезжего и повез его к себе на квартиру.

Знаменитость должна была начать играть дня через два после приезда, но судьба решила иначе; за день до спектакля в кассу театра вбежал бледный, взъерошенный антрепренер и сообщил, что Дикобразов 2-й играть не может.

— Не может! — объявил Почечуев, хватая себя за волосы. — Как вам это покажется? Месяц, целый месяц печатали аршинными буквами,

что у нас будет Дикобразов, хвастали, ломались, забрали абонементные деньги, и вдруг этакая подлость! А? Да за это повесить мало!

— Но в чем дело? Что случилось?

— Запил проклятый!

— Экая важность! Проспится.

— Скорей издохнет, чем проспится! Я его еще с Москвы знаю: как начнет водку лопать, так потом месяца два без просыпа. Запой! Это запой! Нет, счастье мое такое! И за что я такой несчастный! И в кого я, окаянный, таким несчастным уродился! За что… за что над моей головой всю жизнь висит проклятие неба? (Почечуев трагик и по профессии и по натуре: сильные выражения, сопровождаемые биением по груди кулаками, ему очень к лицу.) И как я гнусен, подл и презренен, рабски подставляя голову под удары судьбы! Не достойнее ли раз навсегда покончить с постыдной ролью Макара, на которого все шишки валятся, и пустить себе пулю в лоб? Чего же жду я? Боже, чего я жду?

Почечуев закрыл ладонями лицо и отвернулся к окну. В кассе, кроме кассира, присутствовало много актеров и театралов, а потому дело не стало за советами, утешениями и обнадеживаниями; но все это имело характер философский или

пророческий; дальше «суеты сует», «наплюйте» и «авось» никто не пошел. Один только кассир, толстенький, водяночный человек, отнесся к делу посущественней.

— А вы, Прокл Львович, — сказал он, — попробуйте полечить его.

— Запой никаким чертом не вылечишь!

— Не говорите-с. Наш парикмахер превосходно от запоя лечит. У него весь город лечится.

Почечуев обрадовался возможности ухватиться хоть за соломинку, и через какие-нибудь пять минут перед ним уже стоял театральный парикмахер Федор Гребешков. Представьте вы себе высокую, костистую фигуру со впалыми глазами, длинной жидкой бородой и коричневыми руками, прибавьте к этому поразительное сходство со скелетом, которого заставили двигаться на винтах и пружинах, оденьте фигуру в донельзя поношенную черную пару, и у вас получится портрет Гребешкова.

— Здорово, Федя! — обратился к нему Почечуев. — Я слышал, дружок, что ты того… лечишь от запоя. Сделай милость, не в службу, а в дружбу, полечи ты Дикобразова! Ведь, знаешь, запил!

— Бог с ним, — пробасил уныло Гребешков. — Актеров, которые попроще, купцов и чиновников

я, действительно, пользую, а тут ведь знаменитость, на всю Россию!

— Ну, так что ж?

— Чтоб запой из него выгнать, надо во всех органах и суставах тела переворот произвесть. Я произведу в нем переворот, а он выздоровеет и в амбицию. «Как ты смел, — скажет, — собака, до моего лица касаться?» Знаем мы этих знаменитых!

— Ни-ни… не отвиливай, братец! Назвался груздем — полезай в кузов! Надевай шапку, пойдем!

Когда через четверть часа Гребешков входил в комнату Дикобразова, знаменитость лежала у себя на кровати и со злобой глядела на висячую лампу. Лампа висела спокойно, но Дикобразов 2-й не отрывал от нее глаз и бормотал:

— Ты у меня повертишься! Я тебе, анафема, покажу, как вертеться! Разбил графин, и тебя разобью, вот увидишь! А-а-а… и потолок вертится… Понимаю: заговор! Но лампа, лампа! Меньше всех, подлая, но больше всех вертится! Постой же…

Комик поднялся и, потянув за собой простыню, сваливая со столика стаканы и покачиваясь, направился к лампе, но на полпути наткнулся на что-то высокое, костистое…

— Что такое?! — заревел он, поводя блуждающими глазами. — Кто ты? Откуда ты? А?

— А вот я тебе покажу, кто я… Пошел на кровать!

И не дожидаясь, когда комик пойдет к кровати, Гребешков размахнулся и трахнул его кулаком по затылку с такой силой, что тот кубарем полетел на постель. Комика, вероятно, раньше никогда не били, потому что он, несмотря на сильную хмель, поглядел на Гребешкова с удивлением и даже с любопытством.

— Ты… ты ударил? По… постой, ты ударил?

— Ударил. Нешто еще хочешь?

И парикмахер ударил Дикобразова еще раз, по зубам. Не знаю, что тут подействовало, сильные ли удары, или новизна ощущения, но только глаза комика перестали блуждать и в них замелькало что-то разумное. Он вскочил и не столько со злобой, сколько с любопытством стал рассматривать бледное лицо и грязный сюртук Гребешкова.

— Ты… ты дерешься? — забормотал он. — Ты… ты смеешь?

— Молчать!

И опять удар по лицу. Ошалевший комик стал было защищаться, но одна рука Гребешкова сда-

вила ему грудь, другая заходила по физиономии.

— Легче! Легче! — послышался из другой комнаты голос Почечуева. — Легче, Феденька!

— Ничего-с, Прокл Львович! Сами же потом благодарить станут!

— Все-таки ты полегче! — проговорил плачущим голосом Почечуев, заглядывая в комнату комика. — Тебе-то ничего, а меня мороз по коже дерет. Ты подумай: среди бела дня бьют человека правоспособного, интеллигентного, известного, да еще на собственной квартире… Ах!

— Я, Прокл Львович, бью не их, а беса, что в них сидит. Уходите, сделайте милость, и не беспокойтесь. Лежи, дьявол! — набросился Федор на комика. — Не двигайся! Что-о-о?

Дикобразовым овладел ужас. Ему стало казаться, что все то, что раньше кружилось и было им разбиваемо, теперь сговорилось и единодушно полетело на его голову.

— Караул! — закричал он. — Спасите! Караул!

— Кричи, кричи, леший! Это еще цветки, а вот погоди, ягодки будут! Теперь слушай: ежели ты скажешь еще хоть одно слово или пошевельнешься, убью! Убью и не пожалею! Заступиться, брат, некому! Не придет никто, хоть из пушки пали. А ежели смиришься и замолчишь, водочки

дам. Вот она, водка-то!

Гребешков вытащил из кармана полуштоф водки и блеснул им перед глазами комика. Пьяный, при виде предмета своей страсти, забыл про побои и даже заржал от удовольствия. Гребешков вынул из жилетного кармана кусочек грязного мыла и сунул его в полуштоф. Когда водка вспенилась и замутилась, он принялся всыпать в нее всякую дрянь. В полуштоф посыпались селитра, нашатырь, квасцы, глауберова соль, сера, канифоль и другие «специи», продаваемые в москательных лавочках. Комик пялил глаза на Гребешкова и страстно следил за движениями полуштофа. В заключение парикмахер сжег кусок тряпки, высыпал пепел в водку, поболтал и подошел к кровати.



— Пей! — сказал он, наливая полчайного стакана. — Разом!

Комик с наслаждением выпил, крякнул, но тотчас же вытаращил глаза. Лицо у него вдруг побледнело, на лбу выступил пот.

— Еще пей! — предложил Гребешков.

— Не… не хочу! По… постой…

— Пей, чтоб тебя!.. Пей! Убью!

Дикобразов выпил и, застонав, повалился на подушку.

Через минуту он приподнялся, и Федор мог

убедиться, что его специя действует.

— Пей еще! Пущай у тебя все внутренности выворотит, это хорошо. Пей!

И для комика наступило время мучений. Внутренности его буквально переворачивало. Он вскакивал, метался на постели и с ужасом следил за медленными движениями своего беспощадного и неугомонного врага, который не отставал от него ни на минуту и неутомимо колотил его, когда он отказывался от специи. Побои сменялись специей, специя побоями. Никогда в другое время бедное тело Фениксова-Дикобразова 2-го не переживало таких оскорблений и унижений, и никогда знаменитость не была так слаба и беззащитна, как теперь. Сначала комик кричал и бранился, потом стал умолять, наконец, убедившись, что протесты ведут к побоям, стал плакать. Почечуев, стоявший за дверью и подслушивавший, в конце концов не выдержал и вбежал в комнату комика.

— А ну тебя к черту! — сказал он, махая руками. — Пусть лучше пропадают абонементные деньги, пусть он водку пьет, только не мучь ты его, сделай милость! Околеет ведь, ну тебя к черту! Погляди: совсем ведь околел! Знал бы, ей-богу не связывался…

— Ничего-с… Сами еще благодарить будут, увидите-с… Ну, ты что еще там? — повернулся Гребешков к комику. — Влетит!

До самого вечера провозился он с комиком. И сам умаялся, и его заездил. Кончилось тем, что комик страшно ослабел, потерял способность даже стонать и окаменел с выражением ужаса на лице. За окаменением наступило что-то похожее на сон.

На другой день комик, к великому удивлению Почечуева, проснулся, — стало быть, не умер. Проснувшись, он тупо огляделся, обвел комнату блуждающим взором и стал припоминать.

— Отчего это у меня все болит? — недоумевал он. — Точно по мне поезд прошел. Нешто водки выпить? Эй, кто там? Водки!

В это время за дверью стояли Почечуев и Гребешков.

— Водки просит, стало быть, не выздоровел! — ужаснулся Почечуев.

— Что вы, батюшка, Прокл Львович? — удивился парикмахер. — Да нешто в один день вылечишь? Дай бог, чтобы в неделю поправился, а не то что в день. Иного слабенького и в пять дней вылечишь, а это ведь по комплекции тот же купец. Не скоро его проймешь.

— Что же ты мне раньше не сказал этого, анафема? — застонал Почечуев. — И в кого я несчастным таким уродился! И чего я, окаянный, жду еще от судьбы? Не разумнее ли кончить разом, всадив себе пулю в лоб, и т. д.

Как ни мрачно глядел на свою судьбу Почечуев, однако через неделю Дикобразов 2-й уже играл и абонементных денег не пришлось возвращать. Гримировал комика Гребешков, причем так почтительно касался к его голове, что вы не узнали бы в нем прежнего заушателя.

— Живуч человек! — удивлялся Почечуев. — Я чуть не помер, на его муки глядючи, а он как ни в чем не бывало, даже еще благодарит этого черта Федьку, в Москву с собой хочет взять! Чудеса, да и только!

Домашние средства

Чтобы масло не прогоркло, съешь его поскорей.

От клопов. Поймай клопа и объясни ему, что растительная пища по количеству содержащихся в ней азотистых веществ и жиров нисколько не уступает животной, и дружески посоветуй ему изменить режим. Если же и последние выводы науки на него не подействуют, то тебе остается только поднять вверх палец и воскликнуть: «Косней же в злодействах, кровопийца!» и отпустить негодяя. Рано или поздно добро восторжествует над злом.

От прусаков. Известно, что прусаки завезены к нам из Германии, а потому вполне законно и основательно ходатайствовать о высылке их административным порядком на место родины.

От блох. Женись. Все твои блохи перейдут на жену, так как известно, что блохи охотнее кушают дам, чем мужчин. Последнее зависит не столько от качеств той или другой крови, сколько от приспособленности женских костюмов к удобнейшему расквартированию насекомых: просторно и вместе с тем уютно.



От моли. Посади себе в шубу десятка по два тарантулов и скорпионов, отдав каждому из них по отдельному участку.

От ячменя на глазу. Покажи больному кукиш. Если же субъект, украшенный ячменем, старше тебя чином, то покажи ему кукиш в кармане.

От безденежья. Возьми Ротшильда, барона Гинцбурга и Полякова, посади их играть с тобой в стуколку и валяй в крупную. Чем крупнее ставка, тем лучше. Если ты проиграл, то не отдавай, так как у твоих партнеров и без того много денег, если же выиграл, то твое счастье.

От начальнического гнева. Возьми начальника, поведи в баню и подставь его голову под холодный душ. Ежели это не поможет, то обними начальника, поцелуй его, прослезись и скажи:

«Забудем все, что между нами было!» Если же и это не поможет, то похлопай начальника по животу и скажи: «Эх, дядя, дядя! Нам ли с тобой ссориться!» и проч.

От супружеской неверности. Возьми неверного супруга и повесь на его лбу вывеску: «Посторонним лицам строжайше воспрещается и проч…»

От сырости в доме. Посыпай стены детской присыпкой или оклей их газетной сушью…

Дорогая собака

Поручик Дубов, уже не молодой армейский служака, и вольноопределяющийся Кнапс сидели и выпивали.

— Великолепный пес! — говорил Дубов, показывая Кнапсу свою собаку Милку. — Замеча-тельная собака! Вы обратите внимание на морду! Морда одна чего стоит! Ежели на любителя наскочить, так за одну морду двести рублей дадут! Не верите? В таком случае вы ничего не понимаете…

— Я понимаю, но…

— Ведь сеттер, чистокровный английский сеттер! Стойка поразительная, а чутье… нюх! Боже, какой нюх! Знаете, сколько я дал за Милку, когда она была еще щенком? Сто рублей! Дивная собака! Ше-ельма, Милка! Ду-ура, Милка! Поди сюда, поди сюда… собачечка, песик мой…

Дубов привлек к себе Милку и поцеловал ее между ушей. На глазах у него выступили слезы.

— Никому тебя не отдам… красавица моя… разбойник этакий. Ведь ты любишь меня, Милка? Любишь?.. Ну, пошла вон! — крикнул вдруг поручик. — Грязными лапами прямо на мундир

лезешь! Да, Кнапс, полтораста рублей дал, за щенка! Стало быть, было за что! Одно только жаль: охотиться мне некогда! Гибнет без дела собака, талант свой зарывает… Потому-то и продаю. Купите, Кнапс! Всю жизнь будете благодарны! Ну, если у вас денег мало, то извольте, я уступлю вам половину… Берите за пятьдесят! Грабьте!

— Нет, голубчик… — вздохнул Кнапс. — Будь ваша Милка мужеского пола, то, может быть, я и купил бы, а то…

— Милка не мужеского пола? — изумился поручик. — Кнапс, что с вами? Милка не мужеского… пола?! Ха-ха! Так что же она по-вашему? Сука? Ха-ха… Хорош мальчик! Он еще не умеет отличить кобеля от суки!

— Вы мне говорите, словно я слеп или ребенок… — обиделся Кнапс. — Конечно, сука!

— Пожалуй, вы еще скажете, что я дама! Ах, Кнапс, Кнапс! А еще тоже в техническом кончили! Нет, душа моя, это настоящий, чистокровный кобель! Мало того, любому кобелю десять очков вперед даст, а вы… не мужеского пола! Ха-ха…

— Простите, Михаил Иванович, но вы… просто за дурака меня считаете… Обидно даже…

— Ну, не нужно, черт с вами… Не покупайте… Вам не втолкуешь! Вы скоро скажете, что у нее

это не хвост, а нога… Не нужно. Вам же хотел одолжение сделать. Вахрамеев, коньяку!

Денщик подал еще коньяку. Приятели налили себе по стакану и задумались. Прошло полчаса в молчании.

— А хоть бы и женского пола… — прервал молчание поручик, угрюмо глядя на бутылку. — Удивительное дело! Для вас же лучше. Принесет вам щенят, а что ни щенок, то и четвертная… Всякий у вас охотно купит. Не знаю, почему это вам так нравятся кобели! Суки в тысячу раз лучше. Женский пол и признательнее и привязчивее… Ну, уж если вы так боитесь женского пола, то извольте, берите за двадцать пять.

— Нет, голубчик… Ни копейки не дам. Во-первых, собака мне не нужна, а во-вторых, денег нет.

— Так бы и сказали раньше. Милка, пошла отсюда!

Денщик подал яичницу. Приятели принялись за нее и молча очистили сковороду.

— Хороший вы малый, Кнапс, честный… — сказал поручик, вытирая губы. — Жалко мне вас так отпускать, черт подери… Знаете что? Берите собаку даром!

— Куда же я ее, голубчик, возьму? — сказал

Кнапс и вздохнул. — И кто у меня с ней возиться будет?

— Ну, не нужно, не нужно… черт с вами! Не хотите, и не нужно… Куда же вы? Сидите!

Кнапс, потягиваясь, встал и взялся за шапку.

— Пора, прощайте… — сказал он, зевая.

— Так постойте же, я вас провожу.

Дубов и Кнапс оделись и вышли на улицу. Первые сто шагов прошли молча.

— Вы не знаете, кому бы это отдать собаку? — начал поручик. — Нет ли у вас таких знакомых? Собака, вы видели, хорошая, породистая, но… мне решительно не нужна!

— Не знаю, милый… Какие же у меня тут знакомые?

До самой квартиры Кнапса приятели не сказали больше ни одного слова. Только когда Кнапс пожал поручику руку и отворил свою калитку, Дубов кашлянул и как-то нерешительно выговорил:

— Вы не знаете, здешние живодеры собак принимают или нет?

— Должно быть, принимают… Наверное не могу сказать.

— Пошлю завтра с Вахромеевым… Черт с ней, пусть с нее кожу сдерут… Мерзкая собака! Отвра-

тительная! Мало того, что нечистоту в комнатах завела, но еще в кухне вчера все мясо сожрала, п-п-подлая… Добро бы, порода хорошая, а то черт знает что, помесь дворняжки со свиньей. Спокойной ночи!

— Прощайте! — сказал Кнапс.

Калитка хлопнула, и поручик остался один.

Контрабас и флейта
(Сценка)

В одну из репетиций флейтист Иван Матвеич слонялся между пюпитров, вздыхал и жаловался:

— Просто несчастье! Никак не найду себе подходящей квартиры! В номерах мне жить нельзя, потому что дорого, в семействах же и частных квартирах не пускают музыкантов.

— Перебирайтесь ко мне! — неожиданно предложил ему контрабас. — Я плачу за комнату двенадцать рублей, а если вместе жить будем, то по шести придется.

Иван Матвеич ухватился за это предложение обеими руками. Совместно он никогда ни с кем не жил, опыта на этот счет не имел, но рассудил a priori, что совместное житье имеет очень много прелестей и удобств: во-первых, есть с кем слово вымолвить и впечатлениями поделиться, во-вторых, все пополам: чай, сахар, плата прислуге. С контрабасистом Петром Петровичем он был в самых приятельских отношениях, знал его за человека скромного, трезвого и честного, сам он

был тоже не буен, трезв и честен — стало быть, пятак пара. Приятели ударили по рукам, и в тот же день кровать флейты уже стояла рядом с кроватью контрабаса.

Но не прошло и трех дней, как Иван Матвеич должен был убедиться, что для совместного житья недостаточно одних только приятельских отношений и таких «общих мест», как трезвость, честность и не буйный характер.

Иван Матвеич и Петр Петрович с внешней стороны так же похожи друг на друга, как инструменты, на которых они играют. Петр Петрович — высокий, длинноногий блондин с большой стриженой головой, в неуклюжем, коротко-хвостом фраке. Говорит он глухим басом; когда ходит, то стучит; чихает и кашляет так громко, что дрожат стекла. Иван же Матвеич изображает из себя маленького, тощенького человечка. Ходит он только на цыпочках, говорит жидким тенорком и во всех своих поступках старается показать человека деликатного, воспитанного. Приятели сильно расходятся и в своих привычках. Так, контрабас пил чай вприкуску, а флейта внакладку, что при общинном владении чая и сахара не могло не породить сомнений. Флейта спала с огнем, контрабас без огня. Первая каждое

утро чистила себе зубы и мылась душистым глицериновым мылом, второй же не только отрицал то и другое, но даже морщился, когда слышал шуршанье зубной щетки или видел намыленную физиономию.

— Да бросьте вы эту мантифолию! — говорил он. — Противно глядеть! Возится, как баба!

— Нет, я привык всегда перед сном читать.

Нежную, воспитанную флейту стало коробить на первых же порах. Ей особенно не понравилось, что контрабас каждый вечер, ложась спать, мазал себе живот какою-то мазью, от которой пахло до самого утра протухлым жареным гусем, а после мази целых полчаса, пыхтя и сопя, занимался гимнастикой, т. е. методически задирал вверх то руки, то ноги.

— Для чего это вы делаете? — спрашивала флейта, не вынося сопенья.

— После мази это необходимо. Нужно, чтоб мазь по всему телу разошлась... Это, батенька, ве-ли-ко-лепная вещь! Никакая простуда не пристанет. Помажьте-ка себе!

— Нет, благодарю вас.

— Да помажьте! Накажи меня бог, помажьте! Увидите, как это хорошо! Бросьте книгу!

— А что вы читаете?

— Тургенева.

— Знаю… читал… Хорошо пишет! Очень хорошо! Только, знаете ли, не нравится мне в нем это… как его… не нравится, что он много иностранных слов употребляет. И потом, как запустится насчет природы, как запустится, так взял бы и бросил! Солнце… луна… птички поют… черт знает что! Тянет, тянет…

— Великолепные у него есть места!..



— Еще бы, Тургенев ведь! Мы с вами так не напишем. Читал я, помню, «Дворянское гнездо»… Смеху этого — страсть! Помните, например, то место, где Лаврецкий объясняется в любви с этой… как ее?.. с Лизой…

В саду… помните? Хо-хо! Он заходит около нее и так и этак… со всякими подходцами, а она, шельма, жеманится, кочевряжится, канителит… убить мало!

Флейта вскакивала с постели и, сверкая глазами, надсаживая свой тенорок, начинала спорить, доказывать, объяснять…

— Да что вы мне говорите? — оппонировал контрабас. — Сам я не знаю, что ли? Какой образованный нашелся! Тургенев, Тургенев… Да что Тургенев? Хоть бы и вовсе его не было.

И Иван Матвеич, обессиленный, но не побежденный, умолкал. Стараясь не спорить, стиснув зубы, он глядел на своего укрывающегося одеялом сожителя, и в это время большая голова контрабаса казалась ему такой противной, глупой деревяшкой, что он дорого бы дал, если бы ему позволили стукнуть по ней хоть разик.

— Вечно вы спор поднимаете! — говорил контрабас, укладывая свое длинное тело на короткой кровати. — Ха-рак-тер! Ну, спокойной ночи. Ту-

шите лампу!



— Мне еще читать хочется...

— Вам читать, а мне спать хочется.

— Но, я полагаю, не следует стеснять свободу друг друга...

— Так вот и не стесняйте мою свободу... Тушите!

Флейта тушила лампу и долго не могла уснуть от ненависти и сознания бессилия, которое чувствует всякий, сталкиваясь с упрямством

невежды. Иван Матвеич после споров с контрабасом всякий раз дрожал, как в лихорадке. Утром контрабас просыпался обыкновенно рано, часов в шесть, флейта же любила спать до одиннадцати. Петр Петрович, проснувшись, принимался от нечего делать за починку футляра от своего контрабаса.

— Вы не знаете, где наш молоток? — будил он флейту. — Послушайте, вы! Соня!

Не знаете, где наш молоток?

— Ах… Я спать хочу!

— Ну и спите… Кто вам мешает? Дайте молоток и спите.

Но особенно солоно приходились флейте субботы. Каждую субботу контрабас завивался, надевал галстух бантом и уходил куда-то глядеть богатых невест. Возвращался он от невест поздно ночью, веселый, возбужденный, в подпитии.

— Вот, батенька, я вам скажу! — начинал он делиться впечатлениями, грузно садясь на кровать спящей флейты. — Да будет вам спать, успеете! Экий вы соня! Хо-хо-хо… Видал невесту… Понимаете, блондинка, с этакими глазами… толстенькая… Ничего себе, канашка. Но мать, мать! Жох старуха! Дипломатия! Без адвоката окрутит, коли захочет! Обещает шесть тысяч, а и трех не

даст, ей-богу! Но меня не надуешь, не-ет!

— Голубчик… спать хочу… — бормотала флейта, пряча голову под одеяло.

— Да вы слушайте! Какой вы свинья, ей-богу! Я у вас по-дружески совета прошу, а вы рожу воротите… Слушайте!

И бедная флейта должна была слушать до тех пор, пока не наступало утро и контрабас не принимался за починку футляра.

— Нет, не могу с ним жить! — жаловалась флейта на репетициях. — Верите ли? Лучше в слуховом окне жить, чем с ним… Совсем замучил!

— Отчего же вы от него не уйдете?

— Неловко как-то… Обидится… Чем я могу мотивировать свой уход? Научите, чем? Уж я все передумал!

Не прошло и месяца совместного жития, как флейта начала чахнуть и плакаться на судьбу. Но жизнь стала еще невыносимей, когда контрабас вдруг, ни с того ни с сего предложил флейте перебираться с ним на новую квартиру.

— Эта не годится… Укладывайтесь! Нечего хныкать! От новой квартиры до кухмистерской, где вы обедаете, немножко далеко, но это ничего, много ходить полезно.

Новая квартира оказалась сырой и темной,

но бедная флейта помирилась бы и с сыростью и с темнотой, если бы контрабас не изобрел на новоселье новых мук. Он в видах экономии завел у себя керосиновую кухню и стал готовить на ней себе обеды, отчего в комнате был постоянный туман. Починку футляра по утрам заменил он хрипеньем на контрабасе.

— Не чавкайте! — нападал он на Ивана Матвеича, когда тот ел что-нибудь. — Терпеть не могу, если кто чавкает над ухом! Идите в коридор да там и чавкайте!

Прошел еще месяц, и контрабас предложил перебираться на третью квартиру. Здесь он завел себе большие сапоги, от которых воняло дегтем, и в литературных спорах стал употреблять новый прием: вырывал из рук флейты книгу и сам тушил лампу. Флейта страдала, изнывала от желания стукнуть по большой стриженой голове, болела телом и душой, но церемонилась и деликатничала.

— Скажешь ему, что я не хочу с ним жить, а он и обидится! Не по-товарищески! Уж буду терпеть!

Но такая ненормальная жизнь не могла долго тянуться. Кончилась она для флейты престранным образом. Однажды, когда приятели возвращались из театра, контрабас взял под руку

флейту и сказал:

— Вы извините меня, Иван Матвеич, но я наконец должен вам сказать… спросить то есть… Скажите, что это вам так нравится жить со мной? Не понимаю! Характерами мы не сошлись, вечно ссоримся, опротивели друг другу… Не знаю, как вы, но я совсем очумел… Уж я и так и этак… и на квартиры перебирался, чтоб вы от меня ушли, и на контрабасе по утрам играл, а вы все не уходите! Уйдите, голубчик! Сделайте такую милость! Вы извините меня, но долее терпеть я не в состоянии.

Флейте этого только и нужно было.

Руководство для желающих жениться
(Секретно)

Так как предмет этой статьи составляет мужскую тайну и требует серьезного умственного напряжения, на которое весьма многие дамы не способны, то прошу отцов, мужей, околоточных надзирателей и проч. наблюдать, чтобы дамы и девицы этой статьи не читали. Это руководство не есть плод единичного ума, но составляет квинтэссенцию из всех существующих оракулов, физиономик, кабалистик и долголетних бесед с опытными мужьями и компетентнейшими содержательницами модных мастерских.

Введение. — Семейная жизнь имеет много хороших сторон. Не будь ее, дочери всю жизнь жили бы на шее отцов и многие музыканты сидели бы без хлеба, так как тогда не было бы свадеб. Медицина учит, что холостяки обыкновенно умирают сумасшедшими, женатые же умирают, не успев сойти с ума. Холостому завязывает галстук горничная, а женатому жена. Брак хорош также своею доступностью. Жениться можно богатым, бедным, слепым, юным, старым, здоро-

вым, больным, русским, китайцам… Исключение составляют только безумные и сумасшедшие, дураки же, болваны и скоты могут жениться сколько им угодно.



Руководство I. — Ухаживая за девицей, обращай внимание прежде всего на наружность, ибо по наружности узнается характер особы. В наружности различай: цвет волос и глаз, рост, походку и особые приметы. По цвету волос женщины делятся на блондинок, брюнеток, шатенок и проч. *Блондинки* обыкновенно благонравны, скромны, сентиментальны, любят папашу и мамашу, плачут над романами и жалеют животных. Характером они прямолинейны, в убеждениях строго консервативны, с буквой Ѣ не в ладу. К чужим любвям они относятся чутко, в своей же

собственной любви они холодны, как рыбы. В самую патетическую минуту блондинка может зевнуть и сказать: «Не забыть бы послать завтра за коленкором!» Выйдя замуж, они скоро киснут, толстеют и вянут. Плодовиты, чадолюбивы и плаксивы. Мужьям неверности не прощают, сами же изменяют охотно. Жены-блондинки обыкновенно мистичны, подозрительны и считают себя страдалицами. *Брюнетки* не так рассудительны, как блондинки. Они подвижны, непостоянны, капризны, вспыльчивы, часто ссорятся с мамашами и бьют по щекам горничных. Начинают «не обращать внимания» на гадких мужчин уже с 12 лет, учатся плохо, ненавидят классных дам, любят романы, причем пропускают описания природы и прочитывают объяснения в любви по пяти раз. Они пылки, страстны и любят с азартом, сломя голову, задыхаясь. Жена-брюнетка — это целая инквизиция. С одной стороны, такая страсть, что чертям тошно, с другой — капризы, наряды, бесшабашная логика, визг, писк. С изменою мужей мирятся скоро, платя им тою же монетою. *Шатенки* от блондинок не ушли и к брюнеткам не пришли. Составляют нечто среднее между теми и другими. Считают себя брюнетками. *Рыжие* лукавы, лживы, злы, коварны. Любви без

коварства не понимают. Обыкновенно бывают очень хорошо сложены и имеют на всем теле великолепную розовую кожу. Говорят, что черти и лешие обязательно женятся на рыжих. Где лживость, там трусость и малодушие. Достаточно хорошенько прикрикнуть на рыжую («Я тебе!»), чтобы она свернулась в калачик и полезла целоваться. Не забывай, что Мессалина и Нана были рыжие. *Прическа* при выборе жены имеет тоже не малое значение. Волоса гладко причесанные, прилизанные, с белым пробором означают простоватость, ограниченность желаний… Такая прическа наичаще бывает у швеек, лавочниц и купеческих дочек. Подстриженная прядь волос, спущенная на лоб, означает суетную мелочность, ограниченность ума и похотливость. Этою прядью стараются обыкновенно скрыть узкий лоб… Шиньон и вообще орнаменты из чужих волос говорят за безвкусие, отсутствие фантазии и о том, что в прическу вмешивалась мамаша. Волоса, зачесанные сзади наперед, предполагают в женщине желание нравиться не только спереди, но и сзади. Такая прическа, если она не вершится тяжелой вавилонской башней, означает вкус и легкость нрава. Вьющиеся волосы говорят за игривость и художественность натуры. Прическа

небрежная, всклоченная предполагает сомнение или душевную леность. Под стриженными волосами скрывается образ мыслей. Если женщина седа или лыса и в то же время желает выйти замуж, то, значит, у нее много денег. Чем меньше в прическе шпилек, тем женщина изобретательнее и тем вернее, что у нее не чужие волосы. *Теперь о цвете глаз.* Голубые глаза с поволокой означают верность, покорность и кротость. Голубые выпученные бывают наичаще у женщин-шулеров и продажных. Черные глаза означают страстность, вспыльчивость и коварство. Заметь, что у умных женщин редко бывают черные глаза. Серые бывают у щеголих, хохотуний и дурочек. Карие предполагают любовь к сплетням и зависть к чужим нарядам. *Рост* выбирай средний. Высокие женщины грубоваты и больно бьют, маленькие же в большинстве случаев бывают егозы и любят визжать, царапаться и подпускать шпильки. Горбатых избегай: эти злы и ехидны. *Походка* торопливая, с оглядками, говорит о ветрености и легкомыслии. Походка ленивая бывает у женщин, сердце которых уже занято, — тут ты не пообедаешь. Походка утичья, с перевальцем и виляньем турнюра, есть признак добродушия, податливости и иногда тупости. Походка гордели-

вая, лебединая бывает у этих дам и содержанок. Чем спесивее походка, тем, значит, старее и богаче содержатель. Такая походка у девиц означает самомнение и ограниченность. Если барыня не идет, а плывет, как пава, то поворачивай оглобли: она накормит, утешит, но непременно возьмет под башмак.



Особые приметы не многочисленны. Ямочки на щеках означают кокетство, тайные грешки и добродушие. Ямочки на щеках и прищуренные глаза обещают многое, но не для платониста. Усики говорят о бесплодии. Длинные ногти бывают у белоручек. Слившиеся брови означают,

что данная особь будет строгой матерью и бешеной тещей. Веснушки наичаще замечаются у рыжих чертовок, рабынь и дурочек. Пухленькие и сдобненькие барышни с одутлыми щеками и красными руками наивны, в слове еще делают четыре ошибки, но зато они скоро выучиваются печь вкусные пироги и шить мужу бархатные жилетки.

Руководство II. — Не моги жениться без приданого. Жениться без приданого все равно, что мед без ложки, Шмуль без пейсов, сапоги без подошв. Любовь сама по себе, приданое само по себе. Запрашивай сразу 200 000. Ошеломив цифрой, начинай торговаться, ломаться, канителить. Приданое бери обязательно до свадьбы. Не принимай векселей, купонов, акций и каждую сторублевку ощупай, обнюхай и осмотри на свет, ибо нередки случаи, когда родители дают за своими дочерями фальшивые деньги. Кроме денег, выторгуй себе побольше вещей. Жена, даже плохая, должна принести с собою: a) побольше мебели и рояль; b) одну перину на лебяжьем пуху и три одеяла: шелковое, шерстяное и бумажное; c) два меховых салопа, один для праздников, другой для будней; d) побольше чайной, кухонной и обеденной посуды; e) 18 сорочек из лучшего голландского

полотна, с отделкой; 6 кофт из такого же полотна с кружевной отделкой; 6 кофт из нансу; 6 пар панталон из того же полотна и столько же пар из английского шифона; 6 юбок из мадаполама с прошивками и обшивками; пеньюар из лучшей батист-виктории; 4 полупеньюара из батист-виктории; 6 пар панталон канифасовых. Простынь, наволочек, чепчиков, чулков, бумазейных юбок, подвязок, скатертей, платков и проч. должно быть в достаточном количестве. Все это сам осмотри, сочти, и чего недостанет, немедленно потребуй. Детского белья не бери, так как существует примета: есть белье — детей нет, дети есть — белья нет; f) вместо платьев, фасон коих скоро меняется, требуй материи в штуках; g) без столового серебра не женись.

Женившись, будь с женою строг и справедлив, не давай ей забываться и при каждом недоразумении говори ей: «Не забывай, что я тебя осчастливил!»

Ниночка
(Роман)

Тихо отворяется дверь, и ко мне входит мой хороший приятель Павел Сергеевич Вихленев, человек молодой, но старообразный и болезненный. Он сутуловат, длиннонос и тощ и в общем некрасив, но зато физиономия у него такая простецкая, мягкая, расплывчатая, что всякий раз при взгляде на нее является странное желание забрать ее в пять перстов и как бы осязать все мягкосердечие и душевную тестообразность моего приятеля. Как и все кабинетные люди, он тих, робок и застенчив, на этот же раз он, кроме того, еще бледен и чем-то сильно взволнован.

— Что с вами? — спрашиваю я, всматриваясь в его бледное лицо и слегка дрожащие губы. — Больны, что ли, или опять с женой не поладили? На вас лица нет!

Помявшись немного и покашляв, Вихленев машет рукой и говорит:

— Опять у меня с Ниночкой… комиссия! Такое, голубчик, горе, что всю ночь не спал и, как видите, чуть живой хожу… Черт меня знает! Других

никаким горем не проймешь, легко сносят и обиды, и потери, и болезни, а для меня пустяка достаточно, чтоб я раскис и развинтился!

— Но что случилось?

— Пустяки… маленькая семейная драма. Да я вам расскажу, если хотите. Вчера вечером моя Ниночка никуда не поехала, а осталась дома, захотела со мной вечер провести. Я, конечно, обрадовался. Вечером она обыкновенно уезжает куда-нибудь в собрание, а я только вечерами и бываю дома, можете же поэтому судить, как я тово… обрадовался. Впрочем, вы никогда не были женаты и не можете судить, как тепло и уютно чувствуешь себя, когда, придя с работы домой, застаешь то, для чего живешь… Ах!

Вихленев описывает прелести семейной жизни, вытирает со лба пот и продолжает:

— Ниночка захотела провести со мной вечерок… А вы ведь знаете, какой я! Человек я скучный, тяжелый, неостроумный. Какое со мной веселье? Вечно я со своими чертежами, фильтром да почвой. Ни поиграть, ни потанцевать, ни побалагурить… ни на что я не способен, а ведь Ниночка, согласитесь, молодая, светская… Молодость имеет свои права… не так ли? Ну, стал я ей показывать картинки, разные вещички, то

да се… рассказал кое-что… Кстати тут вспомнил, что у меня в столе лежат старые письма, а между этими письмами пресмешные попадаются! Во времена студенчества были у меня приятели: ловко писали, бестии! Читаешь — кишки порвешь. Вытащил я из стола эти письма и давай Ниночке читать. Прочел я ей одно письмо, другое, третье… и вдруг — стоп машина! В одном письме, знаете ли, попалась фраза: «Кланяется тебе Катя». Для ревнивой супруги такие фразы нож острый, а моя Ниночка — Отелло в юбке. Посыпались на мою несчастную голову вопросы: кто эта Катенька? да как? да почему? Я ей и рассказываю, что эта Катенька была чем-то вроде первой любви… что-то этакое студенческое, молодое, зеленое, чему никакого значения нельзя придавать. У всякого, говорю, юнца есть свои Катеньки, нельзя без этого… Не слушает моя Ниночка! Вообразила черт знает что и в слезы. После слез истерика. «Вы, кричит, гадки, мерзки! Вы скрываете от меня свое прошлое! Стало быть, кричит, у вас и теперь есть какая-нибудь Катька, да вы скрываете!» Убеждал, убеждал я ее, но ни к чему… Мужской логике никогда не совладать с женской. Наконец, прощения просил, на коленках… ползал, и хоть бы тебе что. Так и легли спать с истерикой: она

у себя, а я у себя на диване… Сегодня утром не глядит, дуется и выкает. Обещает переехать к матери. И наверное переедет, я знаю ее характер!

— М-да, неприятная история.

— Непонятны мне женщины! Ну, допустим, Ниночка молода, нравственна, брезглива, ее не может не коробить такая проза, как Катенька, допустим… но неужели простить трудно?.. Пусть я виноват, но ведь я просил прощения, на коленях ползал! Я, если хотите знать, даже… плакал!

— Да, женщины большая загадка.

— Голубчик мой, дорогой, вы имеете над Ниночкой большое влияние, она уважает вас, видит в вас авторитет. Умоляю вас, съездите к ней, употребите все ваше влияние и втолкуйте ей, как она неправа… Я страдаю, мой дорогой!.. Если эта история продолжится еще на день, то я не вынесу. Съездите, голубчик!..

— Но удобно ли это будет?

— Отчего же неудобно? Вы с ней друзья чуть ли не с детства, она верит вам… Съездите, будьте другом!



Слезные мольбы Вихленева меня трогают.

Я одеваюсь и еду к его жене. Застаю я Ниночку за ее любимым занятием: она сидит на диване, положив нога на ногу, щурит на воздух свои хорошенькие глазки и ничего не делает… Увидав меня, она прыгает с дивана и подбегает ко мне… Затем она оглядывается, быстро затворяет дверь и с легкостью перышка повисает на моей шее. (Да не подумает читатель, что здесь опечатка… Вот уже год прошел, как я разделяю с Вихленевым его

супружеские обязанности.)

— Ты что же это опять, бестия, выдумала? — спрашиваю я Ниночку, усаживая ее рядом с собой.

— Что такое?

— Опять ты для своего благоверного муку изобрела! Сегодня уж он был у меня и все рассказал про Катеньку.

— Ах… это! Нашел кому жаловаться!..

— Что у вас тут вышло?

— Так, пустяки… Вчера вечером скучно было… взяло зло, что некуда мне ехать, ну с досады и прицепилась к его Катеньке. Заплакала я от скуки, а как ты объяснишь ему этот плач?

— Но ведь это, душа моя, жестоко, бесчеловечно. Он и так нервен, а ты еще его своими сценами донимаешь.

— Ничего, он любит, когда я его ревную… Ничем так не отведешь глаз, как фальшивой ревностью. Но оставим этот разговор… Я не люблю, когда ты начинаешь разговор про моего тряпку… Он и так уж надоел мне… Давай лучше чай пить…

— Но все-таки ты перестань его мучить… На него, знаешь, глядеть жалко… Он так искренно и честно расписывает свое семейное счастье, и так верит в твою любовь, что даже жутко делается…

Уж ты как-нибудь пересиль себя, приласкайся, соври… Одного твоего слова достаточно, чтобы он почувствовал себя на седьмом небе.

Ниночка надувает губки и хмурится, но все-таки, когда немного погодя входит Вихленев и робко заглядывает мне в лицо, она весело улыбается и ласкает его взглядом.

— Как раз к чаю пришел! — говорит она ему. — Умный ты у меня, никогда не опаздываешь… Тебе со сливками или с лимоном?

Вихленев, не ожидавший такой встречи, умиляется. Он с чувством целует жене руку, обнимает меня, и это объятие выходит так нелепо и некстати, что я и Ниночка — оба краснеем…

— Блаженны миротворцы! — весело кудахтает счастливый муж. — Вам вот удалось убедить ее — почему? А потому, что вы человек светский, вращались в обществе, знаете все эти тонкости по части женского сердца! Ха-ха-ха! Я тюлень, байбак! Нужно слово сказать, а я десять… Нужно ручку поцеловать или что другое, а я ныть начинаю! Ха-ха-ха!

После чаю Вихленев ведет меня к себе в кабинет, берет за пуговицу и бормочет:

— Не знаю, как и благодарить вас, дорогой мой! Вы верите, я так страдал, мучился, а теперь так

счастлив, хоть отбавляй! И это уж не впервой вы вывозите меня из ужасного положения. Дружок мой, не откажите мне! У меня есть одна вещичка… а именно, маленький локомотив, что я сам сделал… я за него медаль на выставке получил… Возьмите его в знак моей признательности… дружбы!.. Сделайте мне такое одолжение!

Понятно, я всячески отнекиваюсь, но Вихленев неумолим, и я волей-неволей принимаю его дорогой подарок.

Проходят дни, недели, месяцы… и рано или поздно проклятая истина раскрывается перед Вихленевым во всем своем поганом величии. Узнав случайно истину, он страшно бледнеет, ложится на диван и тупо глядит в потолок… При этом не говорится ни одного слова. Душевная боль должна выразиться в каких-нибудь движениях, и вот он начинает мучительно ворочаться на своем диване с боку на бок. Этими движениями и ограничивается его тряпичная натура.

Через неделю, немного оправившись от поразившей его новости, Вихленев приходит ко мне. Оба мы смущены и не глядим друг на друга… Я начинаю ни к селу ни к городу нести ахинею о свободной любви, супружеском эгоизме, покорности судьбе.

— Я не о том. — перебивает он меня кротко. — Все это я отлично понимаю. В чувстве никто не виноват. Но меня интересует другая сторона дела, чисто практическая. Я, голубчик, жизни совсем не знаю, и где дело касается обрядностей, условий света, там я совсем швах. Вы, дорогой мой, поможете мне. Скажите, как теперь Ниночке быть! Продолжать ли ей жить у меня, или же вы сочтете лучшим, чтоб она к вам переехала?

Мы недолго совещаемся и останавливаемся на таком решении; Ниночка остается жить у Вихленева, я езжу к ней, когда мне вздумается, а Вихленев берет себе угловую комнату, где раньше была кладовая. Эта комната немного сыра и темна, ход в нее чрез кухню, но зато в ней можно отлично закупориться и не быть ни в чьем глазу спицей.

Писатель

В комнате, прилегающей к чайному магазину купца Ершакова, за высокой конторкой сидел сам Ершаков, человек молодой, по моде одетый, но помятый и, видимо, поживший на своем веку бурно. Судя по его размашистому почерку с завитушками, капулю и тонкому сигарному запаху, он был не чужд европейской цивилизации. Но от него еще больше повеяло культурой, когда из магазина вошел мальчик и доложил:

— Писатель пришел!

— А!.. Зови его сюда. Да скажи ему, чтоб калоши свои в магазине оставил.

Через минуту в комнатку тихо вошел седой, плешивый старик в рыжем, потертом пальто, с красным, помороженным лицом и с выражением слабости и неуверенности, какое обыкновенно бывает у людей, хотя и мало, но постоянно пьющих.

— А, мое почтение… — сказал Ершаков, не оглядываясь на вошедшего. — Что хорошенького, господин Гейним?



Ершаков смешивал слова «гений» и «Гейне», и они сливались у него в одно — «Гейним», как он и называл всегда старика.

— Да вот-с, заказик принес, — ответил Гейним. — Уже готово-с…

— Так скоро?

— В три дня, Захар Семеныч, не то что рекламу, роман сочинить можно. Для рекламы и часа довольно.

— Только-то? А торгуешься всегда, словно годовую работу берешь. Ну, показывайте, что вы

сочинили?

Гейним вынул из кармана несколько помятых, исписанных карандашом бумажек и подошел к конторке.

— У меня еще вчерне-с, в общих чертах-с… — сказал он. — Я вам прочту-с, а вы вникайте и указывайте в случае, ежели ошибку найдете. Ошибиться не мудрено, Захар Семеныч… Верите ли? Трем магазинам сразу рекламу сочинял… Это и у Шекспира бы голова закружилась.

Гейним надел очки, поднял брови и начал читать печальным голосом и точно декламируя:

— «Сезон 1885–86 г. Поставщик китайских чаев во все города Европейской и Азиатской России и за границу, З. С. Ершаков. Фирма существует с 1804 года». Все это вступление, понимаете, будет в орнаментах, между гербами. Я одному купцу рекламу сочинял, так тот взял для объявления гербы разных городов. Так и вы можете сделать, и я для вас придумал такой орнамент, Захар Семеныч: лев, а у него в зубах лира. Теперь дальше: «Два слова к нашим покупателям. Милостивые государи! Ни политические события последнего времени, ни холодный индифферентизм, все более и более проникающий во все слои нашего общества, ни обмеление Волги, на которое еще

так недавно указывала лучшая часть нашей прессы, — ничто не смущает нас. Долголетнее существование нашей фирмы и симпатии, которыми мы успели заручиться, дают нам возможность прочно держаться почвы и не изменять раз навсегда заведенной системе как в сношениях наших с владельцами чайных плантаций, так равно и в добросовестном исполнении заказов. Наш девиз достаточно известен. Выражается он в немногих, но многозначительных словах: добросовестность, дешевизна и скорость!!»

— Хорошо! Очень хорошо! — перебил Ершаков, двигаясь на стуле. — Даже не ожидал, что так сочините. Ловко! Только вот что, милый друг… нужно тут как-нибудь тень навести, затуманить, как-нибудь этак, знаешь, фокус устроить… Публикуем мы тут, что фирма только что получила партию свежих первосборных весенних чаев сезона 1885 года… Так? А нужно кроме того показать, что эти только что полученные чаи лежат у нас в складе уже три года, но, тем не менее, будто из Китая мы их получили только на прошлой неделе.

— Понимаю-с… Публика и не заметит противоречия. В начале объявления мы напишем, что чаи только что получены, а в конце мы так

скажем: «Имея большой запас чаев с оплатой прежней пошлины, мы без ущерба собственным интересам можем продавать их по прейскуранту прошлых лет… и т. д.» Ну-с, на другой странице будет прейскурант. Тут опять пойдут гербы и орнаменты… Под ними крупным шрифтом: «Прейскурант отборным ароматическим, фучанским, кяхтинским и байховым чаям первого весеннего сбора, полученным из вновь приобретенных плантаций»… Дальше-с: «Обращаем внимание истинных любителей на лянсинные чаи, из коих самою большою и заслуженною любовью пользуется „Китайская эмблема, или Зависть конкурентов“ 3 р. 50 к. Из розанистых чаев мы особенно рекомендуем „Богдыханская роза“ 2 р. и „Глаза китаянки“ 1 р. 80 к.» За ценами пойдет петитом о развеске и пересылке чая. Тут же о скидке и насчет премий: «Большинство наших конкурентов, желая завлечь к себе покупателей, закидывает удочку в виде премий. Мы с своей стороны протестуем против этого возмутительного приема и предлагаем нашим покупателям не в виде премии, а бесплатно все приманки, какими угощают конкуренты своих жертв. Всякий купивший у нас не менее чем на 50 р., выбирает и получает бесплатно одну из

следующих пяти вещей: чайник из британского металла, сто визитных карточек, план города Москвы, чайницу в виде нагой китаянки и книгу „Жених удивлен, или Невеста под корытом“, рассказ Игривого Весельчака».

Кончив чтение и сделав кое-какие поправки, Гейним быстро переписал рекламу начисто и вручил ее Ершакову. После этого наступило молчание… Оба почувствовали себя неловко, как будто совершили какую-то пакость.

— Деньги за работу сейчас прикажете получить или после? — спросил Гейним нерешительно.

— Когда хотите, хоть сейчас… — небрежно ответил Ершаков. — Ступай в магазин и бери чего хочешь на пять с полтиной.

— Мне бы деньгами, Захар Семеныч.

— У меня нет моды деньгами платить. Всем плачу чаем да сахаром: и вам, и певчим, где я старостой, и дворникам. Меньше пьянства.

— Разве, Захар Семеныч, мою работу можно равнять с дворниками да с певчими? У меня умственный труд.

— Какой труд! Сел, написал и все тут. Писанья не съешь, не выпьешь… плевое дело! И рубля не стоит.

— Гм… Как вы насчет писанья рассуждаете… —

обиделся Гейним. — Не съешь, не выпьешь. Того не понимаете, что я, может, когда сочинял эту рекламу, душой страдал. Пишешь и чувствуешь, что всю Россию в обман вводишь. Дайте денег, Захар Семеныч!

— Надоел, брат. Нехорошо так приставать.

— Ну, ладно. Так я сахарным песком возьму. Ваши же молодцы у меня его назад возьмут по восьми копеек за фунт. Потеряю на этой операции копеек сорок, ну, да что делать! Будьте здоровы-с!

Гейним повернулся, чтобы выйти, но остановился в дверях, вздохнул и сказал мрачно:

— Россию обманываю! Всю Россию! Отечество обманываю из-за куска хлеба! Эх!

И вышел. Ершаков закурил гаванку, и в его комнате еще сильнее запахло культурным человеком.

Пересолил

Землемер Глеб Гаврилович Смирнов приехал на станцию Гнилушки. До усадьбы, куда он был вызван для межевания, оставалось еще проехать на лошадях верст тридцать-сорок. (Ежели возница не пьян и лошади не клячи, то и тридцати верст не будет, а коли возница с мухой да кони наморены, то целых пятьдесят наберется.)

— Скажите, пожалуйста, где я могу найти здесь почтовых лошадей? — обратился землемер к станционному жандарму.

— Которых? Почтовых? Тут за сто верст путевой собаки не сыщешь, а не то что почтовых… Да вам куда ехать?

— В Девкино, имение генерала Хохотова.

— Что ж? — зевнул жандарм. — Ступайте за станцию, там на дворе иногда бывают мужики, возят пассажиров.

Землемер вздохнул и поплелся за станцию. Там, после долгих поисков, разговоров и колебаний, он нашел здоровеннейшего мужика, угрюмого, рябого, одетого в рваную сермягу и лапти.

— Черт знает какая у тебя телега! — поморщился землемер, влезая в телегу. — Не разберешь, где

у нее зад, где перед…

— Что ж тут разбирать-то? Где лошадиный хвост, там перед, а где сидит ваша милость, там зад…

Лошаденка была молодая, но тощая, с растопыренными ногами и покусанными ушами. Когда возница приподнялся и стегнул ее веревочным кнутом, она только замотала головой, когда же он выбранился и стегнул ее еще раз, то телега взвизгнула и задрожала, как в лихорадке. После третьего удара телега покачнулась, после же четвертого она тронулась с места.

— Этак мы всю дорогу поедем? — спросил землемер, чувствуя сильную тряску и удивляясь способности русских возниц соединять тихую, черепашью езду с душу выворачивающей тряской.

— До-о-едем! — успокоил возница. — Кобылка молодая, шустрая… Дай ей только разбежаться, так потом и не остановишь… Но-о-о, прокля… тая!

Когда телега выехала со станции, были сумерки. Направо от землемера тянулась темная, замерзшая равнина, без конца и краю… Поедешь по ней, так наверно заедешь к черту на кулички. На горизонте, где она исчезала и сливалась с небом, лениво догорала холодная осенняя заря…

Налево от дороги в темнеющем воздухе высились какие-то бугры, не то прошлогодние стоги, не то деревня. Что было впереди, землемер не видел, ибо с этой стороны все поле зрения застилала широкая, неуклюжая спина возницы. Было тихо, но холодно, морозно.

«Какая, однако, здесь глушь! — думал землемер, стараясь прикрыть свои уши воротником от шинели. — Ни кола ни двора. Не ровен час — нападут и ограбят, так никто и не узнает, хоть из пушек пали… Да и возница ненадежный… Ишь, какая спинища! Этакое дитя природы пальцем тронет, так душа вон! И морда у него зверская, подозрительная».

— Эй, милый, — спросил землемер, — как тебя зовут?

— Меня-то? Клим.

— Что, Клим, как у вас здесь? Не опасно? Не шалят?

— Ничего, бог миловал… Кому ж шалить?

— Это хорошо, что не шалят. Но на всякий случай все-таки я взял с собой три револьвера, — соврал землемер. — А с револьвером, знаешь, шутки плохи. С десятью разбойниками можно справиться…

Стемнело. Телега вдруг заскрипела, завизжала,

задрожала и, словно нехотя, повернула налево.

«Куда же это он меня повез? — подумал землемер. — Ехал все прямо и вдруг налево. Чего доброго, завезет, подлец, в какую-нибудь трущобу и… и… Бывают ведь случаи!»

— Послушай, — обратился он к вознице. — Так ты говоришь, что здесь не опасно? Это жаль… Я люблю с разбойниками драться. На вид-то я худой, болезненный, а силы у меня, словно у быка… Однажды напало на меня три разбойника… Так что ж ты думаешь? Одного я так трахнул, что… что, понимаешь, богу душу отдал, а два другие из-за меня в Сибирь пошли на каторгу. И откуда у меня сила берется, не знаю… Возьмешь одной рукой какого-нибудь здоровилу, вроде тебя, и… и сковырнешь.

Клим оглянулся на землемера, заморгал всем лицом и стегнул по лошаденке.

— Да, брат… — продолжал землемер. — Не дай бог со мной связаться. Мало того, что разбойник без рук, без ног останется, но еще и перед судом ответит… Мне все судьи и исправники знакомы. Человек я казенный, нужный… Я вот еду, а начальству известно… так и глядят, чтоб мне кто-нибудь худа не сделал. Везде по дороге за кустиками урядники да сотские понатыканы… По…

по… постой! — заорал вдруг землемер. — Куда же это ты въехал? Куда ты меня везешь?

— Да нешто не видите? Лес!

«Действительно, лес… — подумал землемер. — А я-то испугался! Однако не нужно выдавать своего волнения… Он уже заметил, что я трушу. Отчего это он стал так часто на меня оглядываться? Наверное, замышляет что-нибудь… Раньше ехал еле-еле, нога за ногу, а теперь ишь как мчится!»

— Послушай, Клим, зачем ты так гонишь лошадь?

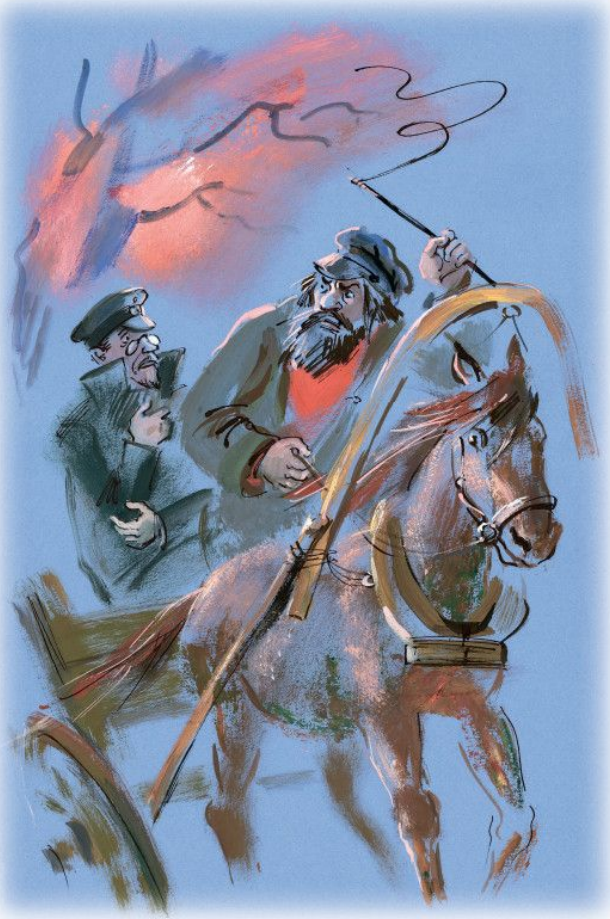
— Я ее не гоню. Сама разбежалась… Уж как разбежится, так никаким средством ее не остановишь… И сама она не рада, что у ней ноги такие.

— Врешь, брат! Вижу, что врешь! Только я тебе не советую так быстро ехать. Попридержи-ка лошадь… Слышишь? Попридержи!

— Зачем?

— А затем… затем, что за мной со станции должны выехать четыре товарища. Надо, чтоб они нас догнали… Они обещали догнать меня в этом лесу… С ними веселей будет ехать… Народ здоровый, коренастый… у каждого по пистолету… Что это ты все оглядываешься и движешься, как

на иголках? а? Я, брат, тово… брат. На меня нечего оглядываться… интересного во мне ничего нет… Разве вот револьверы только… Изволь, если хочешь, я их выну, покажу… Изволь…



Землемер сделал вид, что роется в карманах, и в это время случилось то, чего он не мог ожидать при всей своей трусости. Клим вдруг вывалился из телеги и на четвереньках побежал к чаще.

— Караул! — заголосил он. — Караул! Бери, окаянный, и лошадь и телегу, только не губи ты моей души! Караул!

Послышались скорые, удаляющиеся шаги, треск хвороста — и все смолкло… Землемер, не ожидавший такого реприманда, первым делом остановил лошадь, потом уселся поудобней на телеге и стал думать.

«Убежал… испугался, дурак… Ну, как теперь быть? Самому продолжать путь нельзя, потому что дороги не знаю, да и могут подумать, что я у него лошадь украл… Как быть?» — Клим! Клим!

— Клим!.. — ответило эхо.

От мысли, что ему всю ночь придется просидеть в темном лесу на холоде и слышать только волков, эхо да фырканье тощей кобылки, землемера стало коробить вдоль спины, словно холодным терпугом.

— Климушка! — закричал он. — Голубчик! Где ты, Климушка?

Часа два кричал землемер, и только после того, как он охрип и помирился с мыслью о ночевке в

лесу, слабый ветерок донес до него чей-то стон.

— Клим! Это ты, голубчик? Поедем!

— У..., убьешь!

— Да я пошутил, голубчик! Накажи меня господь, пошутил! Какие у меня револьверы! Это я от страха врал! Сделай милость, поедем! Мерзну!

Клим, сообразив, вероятно, что настоящий разбойник давно бы уж исчез с лошадью и телегой, вышел из лесу и нерешительно подошел к своему пассажиру.

— Ну, чего, дура, испугался? Я... я пошутил, а ты испугался... Садись!

— Бог с тобой, барин, — проворчал Клим, влезая в телегу. — Если б знал, и за сто целковых не повез бы. Чуть я не помер от страха...

Клим стегнул по лошаденке. Телега задрожала. Клим стегнул еще раз, и телега покачнулась. После четвертого удара, когда телега тронулась с места, землемер закрыл уши воротником и задумался. Дорога и Клим ему уже не казались опасными.

Без места

Кандидат прав Перепелкин сидел у себя в номере и писал:

Дорогой дядя Иван Николаевич!.. Черт бы тебя взял с твоими рекомендательными письмами и практическими советами! В тысячу раз лучше, благороднее и человечнее сидеть без дела и питаться надеждами на туманное будущее, чем ежели нужно купаться в холодной, вонючей грязи, в которую ты толкаешь меня своими письмами и советами. Тошнит меня нестерпимо, точно я рыбой отравился. Тошнота самая гнусная, мозговая, от которой не отделаешься ни водкой, ни сном, ни душеспасительными размышлениями. Знаешь, дядя, хотя ты и старик, но ты большая скотина. Отчего ты не предупредил меня, что мне придется переживать такие мерзости? Стыдно!

Описываю тебе по порядку все мои мытарства. Читай и казнись. Прежде всего я отправился с твоим рекомендательным письмом к Бабкову. Застал я его в правлении железнодорожного общества N. Это маленький, совершенно лысый старикашка с желто-серым лицом и бритым кривым ртом. Верхняя губа его глядит направо,

нижняя налево. Он сидит за отдельным столом и читает газету.

Вокруг него, как вокруг парнасского Аполлона, на высоких коммерческих табуретках за толстыми книгами сидят дамы. Одеты эти дамы шикарно: турнюры, веера, массивные браслеты. Как они умеют мирить внешний шик с нищенским женским жалованьем, понять трудно. Или они служат здесь от нечего делать, с жиру, по протекции папашей и дядюшек, или же тут бухгалтерия есть только дополнение, а подлежащее и сказуемое подразумевается. Потом я узнал, что они ни черта не делают; работа их валится на плечи разных сверхштатных служащих, безгласных мужчин, получающих по 10–15 рублей в месяц. Я подал Бабкову твое письмо. Он, не приглашая меня сесть, медленно надел допотопное пенсне, еще медленнее распечатал конверт и стал читать.

«Ваш дядюшка просит для вас места, — сказал он, почесывая лысину. — Вакансий у нас нет и едва ли скоро они будут, но во всяком случае постараюсь для вашего дядюшки… доложу директору нашего общества. Может быть, и найдем что-нибудь».

Я чуть не подпрыгнул от радости и готов уже был рассыпаться в песок благодарности, как

вдруг, братец ты мой, слышу такую фразу:

«Но, молодой человек, будь это место лично для вашего дядюшки, то я бы с него ничего не взял, а так как оно для вас, то тово… уверен, что вы поблагодарите… меня, как следует… Понимаете?..»



Ты предупреждал меня, что даром мне не дадут места, что я должен буду заплатить, но ты ни слова не сказал мне о том, что эти пакостные продажа и купля производятся так громко, публично, беззастенчиво… при дамах! Ах, дядя, дядя! Последние слова Бабкова до того меня огорошили, что я чуть не умер от тошноты. Мне стало совестно, точно я сам брал взятку. Я покраснел, залепетал какую-то чепуху и под конвоем двадца-

ти женских смеющихся глаз попятился к выходу. В передней догнала меня какая-то мрачная, испитая личность, которая шепнула мне, что и без Бабкова можно найти себе место.

«Дайте мне пять целковых, и я вас сведу к Сахару Медовичу. Они, хотя и не служат, но находят места. И берут они за это немного: половину жалованья за первый год».

Мне бы нужно было плюнуть, надсмеяться, а я поблагодарил, сконфузился и, как ошпаренный, пустился вниз по лестнице. От Бабкова я пошел к Шмаковичу. Это мягкий, пухлый толстячок с красной, благодушной физиономией и с маленькими маслеными глазками. Его глазки маслены до приторности, так что тебе кажется, что они вымазаны касторовым маслом. Узнав, что я твой племянник, он ужасно обрадовался и даже заржал от удовольствия. Бросил свое дело и принялся поить меня чаем. Душа человек! Все время глядел мне в лицо и искал сходства с тобой. Тебя вспоминал со слезами. Когда я напомнил ему о цели своего визита, он похлопал меня по плечу и сказал:

«Надоест еще о деле говорить… Дело не медведь, в лес не уйдет. Вы где обедаете? Ежели для вас безразлично, где ни обедать, так поедемте к

Палкину! Там и потолкуем».

При сем письме прилагаю палкинский счет. 76 рублей, которые ты там увидишь, съел и выпил твой друг Шмакович, оказавшийся большим гастрономом. Заплатил по счету, конечно, я. От Палкина Шмакович потащил меня в театр. Билеты купил я. Что еще? После театра твой подлец предложил мне проехаться за город, но я отказался, так как у меня деньги почти на исходе. Прощаясь со мной, Шмакович велел тебе кланяться и передать, что место он может мне выхлопотать не раньше, как через пять месяцев.

«Нарочно не дам вам места! — пошутил он, милостиво хлопая по моему животу. — И зачем вам, университетскому, так хочется служить в нашем обществе? Поступали бы, ей-богу, на казенную службу!» — «Я и без вас знаю про казенное место. Но дайте мне его!»

С третьим твоим письмом я отправился к твоему куму Халатову в правление Живодеро-Хамской железной дороги. Тут произошло нечто мерзопакостное, перещеголявшее и Бабкова и Шмаковича, обоих разом. Повторяю: ну тебя к черту! Тошно мне до безобразия, и виноват в этом ты. Твоего Халатова я не застал. Принял меня какой-то Одеколонов — тощая, сухожильная фигура

с рябой, иезуитской физией. Узнав, что я ищу места, он усадил меня и прочел мне целую лекцию о трудностях, с какими получаются теперь места. После лекции он пообещал мне доложить, похлопотать, замолвить и проч. Помня твою заповедь — совать деньги, где только возможно, и видя, что рябая физия не прочь от взятки, я, прощаясь, сунул в кулак… Берущая рука пожала мне палец, физия осклабилась, и опять посыпались обещания, но… Одеколонов оглянулся и увидел сзади себя посторонних, которые не могли не заметить рукопожатия. Иезуит смутился и забормотал:

«Место я вам обещаю, но… благодарностей не беру. Ни-ни! Возьмите обратно! Ни-ни! Вы обижаете…»

И он разжал кулак и отдал мне назад деньги, но не четвертную, которую я ему сунул, а трехрублевку. Каков фокус? У этих чертей в рукавах, должно быть, целая система пружин и ниток, иначе я не понимаю превращения моей бедной четвертной в жалкую трехрублевку.

Относительно чистеньким и порядочным показался мне объект четвертого рекомендательного письма — Грызодубов.

Это еще молодой человек, красивый, с благородной осанкой, щегольски одетый. Принял

меня он хотя и лениво, с видимой неохотой, но любезно. Из разговоров с ним я узнал, что он кончил в университете и тоже в свое время бился из-за куска хлеба, как рыба о лед. Отнесся он к моей просьбе очень сочувственно, тем более, что образованные служащие — его любимая мечта… Был я у него уже три раза, и за все три раза он не сказал мне ничего определенного. Он как-то мямлит, мнется, избегает прямых ответов, точно стесняется или не решается… Я дал тебе слово не сентиментальничать. Ты меня уверял, что у всех шулеров обыкновенно благородные осанки и самый рыцарский апломб… Может быть, это и правда, но сумей-ка ты отделить шулеров от порядочных. Так влопаешься, что небу жарко станет… Сегодня у Грызодубова я был в четвертый раз… Он по-прежнему мямлил и не говорил ничего определенного… Меня взорвало… Черт меня дернул вспомнить, что я дал тебе честное слово наделять всех без исключения деньгами, и меня словно кто под локоть толкнул… Как решаются окунуться в холодную воду или взлезть на высоту, так и я решился рискнуть и сунуть…

Эх, что будет, то будет! — решил я. — Раз в жизни можно испробовать.

Я решил рискнуть не столько ради места, сколь-

ко ради новизны ощущения. Хоть раз в жизни, мол, увидеть, как действует на порядочных людей «благодарность»! Но «ощущение» мое пошло к черту. Исполнил я неумело, аляповато… Вытащил из кармана депозитку и, краснея, дрожа всем телом, улучил минутку, когда Грызодубов на меня не глядел, и положил ее на стол… К счастью, Грызодубов положил в это время на стол какие-то книги и прикрыл ими депозитку… Итак, не удалось… Грызодубов депозитки не видел. Она затеряется между бумагами или ее украдут сторожа… Если же он ее увидит, то, наверное, оскорбится… Так-то, mon oncle[166]… И деньги пропали, и совестно… до боли совестно! А все ты со своими проклятыми практическими советами! Ты развратил меня… Прерываю письмо, ибо кто-то звонит… Иду отворить дверь…

Сейчас получил от Грызодубова письмо. Пишет, что есть в контроле товарных сборов вакансия на 60 руб. в месяц. Депозитку мою он, стало быть, видел.

---

[166] Примечания: 166
Дядюшка. (фр.).

Брак через 10–15 лет

На этом свете все совершенствуется: шведские спички, оперетки, локомотивы, вина Депре и человеческие отношения. Совершенствуется и брак. Каков он был и каков теперь, вы знаете. Каков он будет лет через 10–15, когда вырастут наши дети, угадать нетрудно. Вот вам схема романов этого близкого будущего.

В гостиной сидит девица лет 20–25. Одета она по последней моде: сидит сразу на трех стульях, причем один стул занимает она сама, два другие — ее турнюр. На груди брошка, величиной с добрую сковороду. Прическа, как и подобает образованной девице, скромная: два-три пуда волос, зачесанных кверху, и на волосах маленькая лестница для причесывающей горничной. Тут же на пианино лежит шляпа девицы. На шляпе искусно сделанная индейка на яйцах в натуральную величину.



Звонок. Входит молодой человек в красном фраке, узких брюках и в громадных, похожих на лыжи, башмаках.

— Честь имею представиться, — говорит молодой человек, расшаркиваясь перед девицей, — помощник присяжного поверенного Балалайкин!..

— Очень приятно... Чем могу быть полезна?

— Меня направило к вам «Общество заключения счастливых браков».

— Очень приятно... Садитесь!

Балалайкин садится и говорит:

— «Общество» указало мне на несколько невест, но думаю, что ваши условия для меня будут са-

мыми подходящими. Из этой вот записки, данной мне секретарем «Общества», видно, что вы приносите с собой мужу дом на Плющихе, 40 тысяч деньгами и тысяч на пять движимого имущества… Так ли это?

— Нет… За мною идет только 20 000, — кокетничает девица.

— В таком случае, сударыня, виноват… извините за беспокойство… честь имею кланяться…

— Нет, нет… я пошутила! — смеется девица. — В вашей записке все верно… Деньги, дом и движимое… В «Обществе» вам, конечно, говорили, что ремонт дома будет производиться на счет мужа… и… и. — я ужасно застенчива! — и деньги муж получает не все сразу, а с рассрочкой на три года…

— Нет, сударыня, — вздыхает Балалайкин, — нынче с рассрочкой никто не женится! Если уж вы так настаиваете на рассрочке, то извольте, я дам вам год…

Девица и Балалайкин начинают торговаться. Девица в конце концов сдается и довольствуется годом рассрочки.

— Теперь позвольте узнать ваши условия! — говорит она. — Вам сколько лет? Где служите?

— Собственно говоря, я не сам женюсь, а хлопочу за своего клиента… Я комиссионер…

— Но ведь я просила «Общество» не присылать ко мне комиссионеров! — обижается девица.

— Вы, сударыня, не сердитесь… Клиент мой человек пожилой, страдающий ревматизмом, сырой… Ходить по невестам, хлопотать у него нет сил, так что volens-nolens[167] ему приходится действовать через третье лицо. Но вы не беспокойтесь, я дорого не возьму…

— Условия вашего клиента?

— Мой клиент — мужчина 52 лет. Несмотря на такой возраст, он еще имеет людей, которые дают ему взаймы. Так, у него два портных, шьющих на него в кредит. В лавочках отпускают ему по книжке сколько угодно. Никто лучше его не может уходить от извозчиков в проходные ворота и т. д. Не стану распространяться в похвалах его деловитости, скажу только для полной характеристики, что он ухитряется даже в аптеке забирать в кредит.

— Он только и живет займами?

— Займы — это его главное занятие. Но, как натура широкая, не узкая, он не довольствуется одною только этою деятельностью… Без преувеличения можно сказать, что лучше его никто не

---

[167] Примечания: 167
Волей-неволей (лат.).

сбудет с рук фальшивого купона… Кроме того, он состоит опекуном своей племянницы, что дает ему около трех тысяч в год… Далее, в театрах он выдает себя за рецензента и таким образом получает от актеров бесплатные ужины и контрамарки… Два раза он судился за растрату и ныне еще под судом за подлог…

— Разве еще существует суд?

— Да, как остаток не совсем еще отжившей средневековой морали… Но можно надеяться, сударыня, пройдет еще год-два, и культурный человек расстанется и с этим устаревшим обрядом… Так какой ответ прикажете передать моему клиенту?

— Скажите, что я подумаю…

— О чем же думать, сударыня? Не смею советовать вам, но, желая вам добра, не могу не выразить своего удивления… Человек порядочный, блестящий во всех отношениях и… и вдруг вы не соглашаетесь сразу, зная, как гибельна может быть для вас проволочка. Ведь пока вы будете думать, он войдет в соглашение с другой невестой!

— Это правда… В таком случае я согласна.

— Давно бы так! Позволите получить с вас задаток?

Девица дает комиссионеру 10–20 рублей. Тот берет, расшаркивается и идет к двери.

— А расписку? — останавливает его девица.

— Mille pardons[168], сударыня! Я совсем забыл! Ха-ха…

Балалайкин пишет расписку, шаркает еще раз и уходит, девица же закрывает лицо и падает на диван.

— Как я счастлива! — восклицает она, охваченная новым, неведомым ей доселе чувством. — Как я счастлива! Я… люблю и любима!!!

Конец. Такова свадьба близкого будущего. А давно ли, читатель, невесты ходили в кринолинах, а женихи щеголяли в полосатых брюках и во фраках с искрой? Давно ли жених, прежде чем влюбиться в невесту, должен был переговорить с ее папашей и мамашей?

Соловьи, розы, лунные ночи, душистые записочки, романсы… все это ушло далеко-далеко… Шептаться в темных аллейках, страдать, жаждать первого поцелуя и проч. теперь также несвоевременно, как одеваться в латы и похищать сабинянок. Все совершенствуется!

---

[168] Примечания: 168
Тысяча извинений (фр.).

Ну, публика!

— Шабаш, не буду больше пить!.. Ни… ни за что! Пора уж за ум взяться. Надо работать, трудиться… Любишь жалованье получать, так работай честно, усердно, по совести, пренебрегая покоем и сном. Баловство брось… Привык, брат, задаром жалованье получать, а это вот и нехорошо… и нехорошо…

Прочитав себе несколько подобных нравоучений, обер-кондуктор Подтягин начинает чувствовать непреодолимое стремление к труду. Уже второй час ночи, но, несмотря на это, он будит кондукторов и вместе с ними идет по вагонам контролировать билеты.

— Вашш… билеты! — выкрикивает он, весело пощелкивая щипчиками.

Сонные фигуры, окутанные вагонным полумраком, вздрагивают, встряхивают головами и подают свои билеты.

— Вашш… билеты! — обращается Подтягин к пассажиру II класса, тощему, жилистому человеку, окутанному в шубу и одеяло и окруженному подушками. — Вашш… билеты!

Жилистый человек не отвечает. Он погружен в

сон. Обер-кондуктор трогает его за плечо и нетерпеливо повторяет:

— Вашш… билеты!

Пассажир вздрагивает, открывает глаза и с ужасом глядит на Подтягина.

— Что? Кто? а?

— Вам говорят по-челаэчески: вашш… билеты! Па-а-трудитесь!

— Боже мой! — стонет жилистый человек, делая плачущее лицо. — Господи, боже мой! Я страдаю ревматизмом… три ночи не спал, нарочно морфию принял, чтоб уснуть, а вы… с билетом! Ведь это безжалостно, бесчеловечно! Если бы вы знали, как трудно мне уснуть, то не стали бы беспокоить меня такой чепухой… Безжалостно, нелепо! И на что вам мой билет понадобился? Глупо даже!

Подтягин думает, обидеться ему или нет, — и решает обидеться.

— Вы здесь не кричите! Здесь не кабак! — говорит он.

— Да в кабаке люди человечней. — кашляет пассажир. — Изволь я теперь уснуть во второй раз! И удивительное дело: всю заграницу объездил, и никто у меня там билета не спрашивал, а тут, словно черт их под локоть толкает, то и дело,

то и дело!..

— Ну, и поезжайте за границу, ежели вам там нравится!

— Глупо, сударь! Да! Мало того, что морят пассажиров угаром, духотой и сквозняком, так хотят еще, черт ее подери, формалистикой добить. Билет ему понадобился! Скажите, какое усердие! Добро бы это для контроля делалось, а то ведь половина поезда без билетов едет!

— Послушайте, господин! — вспыхивает Подтягин. — Вы извольте подтвердить ваши доводы! И ежели вы не перестанете кричать и беспокоить публику, то я принужден буду высадить вас на станции и составить акт об этом факте!

— Это возмутительно! — негодует публика. — Пристает к больному человеку! Послушайте, да имейте же сожаление!

— Да ведь они сами ругаются! — трусит Подтягин. — Хорошо, я не возьму билета… Как угодно… Только ведь, сами знаете, служба моя этого требует… Ежели б не служба, то, конечно… Можете даже начальника станции спросить… Кого угодно спросите…

Подтягин пожимает плечами в отходит от больного. Сначала он чувствует себя обиженным и несколько третированным, потом же, пройдя

вагона два-три, он начинает ощущать в своей обер-кондукторской груди некоторое беспокойство, похожее на угрызения совести.

«Действительно, не нужно было будить больного, — думает он. — Впрочем, я не виноват… Они там думают, что это я с жиру, от нечего делать, а того не знают, что этого служба требует… Ежели они не верят, так я могу к ним начальника станции привести».

Станция. Поезд стоит пять минут. Перед третьим звонком в описанный вагон II класса входит Подтягин. За ним шествует начальник станции, в красной фуражке.

— Вот этот господин, — начинает Подтягин, — говорят, что я не имею полного права спрашивать с них билет, и… и обижаются. Прошу вас, господин начальник станции, объяснить им — по службе я требую билет или зря? Господин, — обращается Подтягин к жилистому человеку. — Господин! Можете вот начальника станции спросить, ежели мне не верите.

Больной вздрагивает, словно ужаленный, открывает глаза и, сделав плачущее лицо, откидывается на спинку дивана.

— Боже мой! Принял другой порошок и только что задремал, как он опять… опять! Умоляю вас,

имейте вы сожаление!

— Вы можете поговорить вот с господином начальником станции… Имею я полное право билет спрашивать или нет?

— Это невыносимо! Нате вам ваш билет! Нате! Я куплю еще пять билетов, только дайте мне умереть спокойно! Неужели вы сами никогда не были больны? Бесчувственный народ!

— Это просто издевательство! — негодует какой-то господин в военной форме. — Иначе я не могу понять этого приставанья!

— Оставьте… — морщится начальник станции, дергая Подтягина за рукав.

Подтягин пожимает плечами и медленно уходит за начальником станции.

«Изволь тут угодить! — недоумевает он. — Я для него же позвал начальника станции, чтоб он понимал, успокоился, а он… ругается».

Другая станция. Поезд стоит десять минут. Перед вторым звонком, когда Подтягин стоит около буфета и пьет сельтерскую воду, к нему подходят два господина, один в форме инженера, другой в военном пальто.

— Послушайте, г. обер-кондуктор! — обращается инженер к Подтягину. — Ваше поведение по отношению к больному пассажиру возму-

тило всех очевидцев. Я инженер Пузицкий, это вот… господин полковник. Если вы не извинитесь перед пассажиром, то мы подадим жалобу начальнику движения, нашему общему знакомому.

— Господа, да ведь я… да ведь вы… — оторопел Подтягин.

— Объяснений нам не надо. Но предупреждаем, если не извинитесь, то мы берем пассажира под свою защиту.

— Хорошо, я… я, пожалуй, извинюсь… Извольте…

Через полчаса Подтягин, придумав извинительную фразу, которая бы удовлетворила пассажира и не умалила его достоинства, входит в вагон.

— Господин! — обращается он к больному. — Послушайте, господин!

Больной вздрагивает и вскакивает.

— Что?

— Я тово… как его?.. Вы не обижайтесь…

— Ох… воды… — задыхается больной, хватаясь за сердце. — Третий порошок морфия принял, задремал и… опять! Боже, когда же, наконец, кончится эта пытка!

— Я тово… Вы извините.

— Слушайте… Высадите меня на следующей

станции… Более терпеть я не в состоянии. Я… я умираю…

— Это подло, гадко! — возмущается публика. — Убирайтесь вон отсюда! Вы поплатитесь за подобное издевательство! Вон!

Подтягин машет рукой, вздыхает и выходит из вагона. Идет он в служебный вагон, садится изнеможенный за стол и жалуется:

«Ну, публика! Извольте вот ей угодить! Извольте вот служить, трудиться! Поневоле плюнешь на все и запьешь… Ничего не делаешь — сердятся, начнешь делать — тоже сердятся… Выпить!»

Подтягин выпивает сразу полбутылки и больше уже не думает о труде, долге и честности.

Тряпка
(Сценка)

Был вечер. Секретарь провинциальной газеты «Гусиный вестник» Пантелей Диомидыч Кокин шел в дом фабриканта, коммерции советника Блудыхина, где в этот вечер имел быть любительский спектакль, а после оного танцы и ужин.

Секретарь был весел, счастлив и доволен. Будущее представлялось ему блестящим… Он воображал, как он, пахнущий духами, завитой и галантный, войдет в большую освещенную залу. На лицо он напустит меланхолию и равнодушие, в походку и в пожимание плечами вложит чувство собственного достоинства, говорить будет небрежно, нехотя, взгляду постарается придать выражение усталое, насмешливое, одним словом, будет держать себя как представитель печати! Проходящие мимо него кавалеры и барышни будут переглядываться и шептаться:

— Это из редакции. Недурен!

Он в «Гусином вестнике» только секретарь. Его дело не путать адресы, принимать подписку и глазеть, чтоб типографские не крали редак-

ционного сахара — только, но кому из публики известен круг его деятельности? Раз он из редакции, стало быть, он литератор, хранилище редакционных тайн. Боже, а как действуют на женщин редакционные тайны! Кокин, наверное, встретит на вечере Клавдию Васильевну. Он норовит пройти мимо нее раз пять и сделать вид, что не замечает ее. Когда она выйдет из терпения и первая окликнет его, он небрежно поздоровается с ней, слегка зевнет, взглянет на часы и скажет:

— Какая скука! Хоть бы скорей кончалась эта чепуха… Уже двенадцать часов, а мне еще нужно номер выпустить и просмотреть кое-какие статейки…

Клавдия Васильевна поглядит на него с благоговением, снизу вверх, как глядят на монументы. Очень возможно, что она спросит, кто это в последнем номере поместил такое язвительное стихотворение про актрису Кишкину-Брандахлыцкую? Тогда он поднимет глаза к потолку, таинственно промычит и скажет: «М-да»… Пусть думает она, что это он написал! За сим танцы, ужин, выпивка… После выпивки блаженное настроение, провожание Клавдии Васильевны до ее дома и мечты, мечты… Конечно, все это суетно,

мелочно, не серьезно, но ведь молодость имеет свои права, господа!

У освещенного подъезда Блудыхинского дома секретарь увидел два ряда экипажей. Двери отворял и затворял толстый швейцар с булавой. Верхнее платье принимали лакеи, одетые в синие фраки и красные жилетки. Антре[169] было великолепное, с цветами, коврами и зеркалами. Секретарь небрежно сбросил на руки лакея свою шубу, провел рукой по волосам, поднял с достоинством голову…

— Из редакции! — проговорил он, поравнявшись с двумя лакеями, которые стояли на нижней ступени антре и отрывали углы у билетов…

---

[169] Примечания: 169
Вход (фр. entrée).



— Нельзя! Нельзя! Не пускать! — послышался в это время сверху резкий, металлический голос. — Не пускать!

Кокин взглянул наверх. Там на верхней ступени стоял толстый человек во фраке и глядел прямо на него. Будучи уверен, что резкий голос не к нему относится, секретарь занес ногу на ступень, но в это время к ужасу своему заметил, что лакеи делают движение, чтобы загородить ему дорогу.

— Не пускать! — повторил толстяк.

— То есть… почему же меня не пускать? — обомлел Кокин. — Я из редакции!

— Потому-то и не пускать, что из редакции! — ответил толстяк, раскланиваясь с какой-то дамой. — Нельзя!

Секретарь ошалел, точно его оглоблей по голове съездили. Прежде всего он ужасно сконфузился. Как хотите, а густой запах виолет де парм, новые перчатки и завитая голова плохо вяжутся с унизительной ролью человека, которого не пускают и перед которым лакеи растопыривают руки, да еще при дамах, при прислуге!

Кроме стыда, недоумения и удивления, секретарь почувствовал в себе пустоту, разочарование, словно кто взял и отрезал в нем ножницами мечты о предстоящих радостях. Так должны чувствовать себя люди, которые вместо ожидаемой «благодарности» получают подзатыльник.

— Я не понимаю… я из редакции! — забормотал Кокин. — Пустите!

— Не велено-с! — сказал лакей. — Отойдите-с от лестницы, вы проходить мешаете.

— Странно! — пробормотал секретарь, стараясь улыбнуться с достоинством. — Очень странно… Гм.

Мимо него с веселым смехом и шурша модны-

ми платьями одна за другой проходили барышни и дамы… То и дело хлопала дверь, пролетал по передней сквозной ветер, и на лестницу всходила новая партия гостей…

«Почему же это не велено меня пускать? — недоумевал секретарь, все еще не придя в себя от неожиданного реприманда и даже не веря своим глазам. — Тот толстый сказал, что потому-то и не пускать, что я из редакции… Но почему же? Черт их подери… Не дай бог, знакомые увидят, что я здесь мерзну, спросят, в чем дело… Срам!»

Кокин сделал еще раз попытку ступить на лестницу, но его еще раз осадили… Он пожал плечами, высморкался, подумал, опять подошел к лакеям… его опять осадили. Наверху заиграл оркестр. У секретаря затрепетало под сердцем, захватило дух от желания поскорее очутиться в большой зале, держать высоко голову, играть терпением Клавдии Васильевны. Музыка сразу воскресила и взбудоражила в нем мечты, которыми он услаждал себя, идя на вечер…

— Послушайте, — крикнул он толстяку, который то появлялся наверху, то исчезал. — Отчего меня не пускают?

— Что-с? Из редакции никого не пускать!

— Но… но почему же? Вы объясните, по край-

ней мере!

— Г-н Блудыхин не велел! Не мое дело-с! Мне не велено, я и не пускаю!.. Позвольте пройти даме! Ты же смотри, Андрей, из редакции никого! Не велел хозяин!

Кокин пожал плечами и, чувствуя, как глупо и некстати это пожатие, отошел от лестницы… Что делать? Конечно, самое лучшее, что мог сделать в данном случае Кокин, это — побежать скорее в редакцию и сообщить редактору, что дурак Блудыхин сделал такое-то распоряжение. Редактор бы удивился, засмеялся и сказал: «Ну, не идиот ли? Нашел чем мстить за рецензии! Не понимает, осел, что если мы ходим на его вечера, то этим самым не он нам делает одолжение, а мы ему! Ах, да и дурак же, господи помилуй! Ну, погоди же, поднесу я тебе в завтрашнем номере гвоздику!»

Так бы отнесся к событию редактор… Ну, а дальше что? Дальше секретарь, как порядочный человек, должен был бы остаться дома и пренебречь Блудыхиным. Этого потребовали бы и его гордость и достоинство редакции. Но, господа, все это хорошо в теории, на практике же, когда куплены новые перчатки, заплачено цирульнику за завивку, когда там наверху ждали Клавдия Васильевна, закуска и выпивка, совсем нехорошо…

«Ждал этого вечера два месяца, мечтал, готовился! — думал Кокин. — Целых два месяца ходил по городу, нового сюртука искал… дал слово Клавдии и вдруг… Нет, это невозможно! Тут недоразумение какое-нибудь… Ей-богу, недоразумение! И в редакцию незачем ходить, стоит только с распорядителем поговорить…»

— Послушайте! — обратился Кокин к толстяку, — вы позвольте мне хоть наверх пойти… В залу я не войду, а поговорю только с распорядителем или с г. Блудыхиным!

— Идите, только знайте, что в залу вас ни за что не пустят!

«Боже мой! — думал Кокин, идя вверх по лестнице. — Эти две дамы, что идут, слышали его слова… Срам! Стыд! Уйти бы мне, ей-богу…»

Наверху, около входа в залу, стоял рыженький распорядитель с бантом на лацкане. Тут же за столиком сидела какая-то разодетая дама и продавала афишки.



— Скажите, пожалуйста, — обратился к ним секретарь плачущим голосом, — отчего это распорядились не пускать никого из редакции? За что?

— Сами вы, господа, виноваты! — отвечал рыженький. — Вам почетные билеты посылают, вас в первый ряд всегда сажают, а вы пасквили пишете…

— Господи, да ведь… Послушайте…

В это время за дверью послышались громкие аплодисменты и симпатичный голос княжны

Рожкиной, певшей «Я вновь пред тобою…». У секретаря затрепетало под сердцем. Муки Тантала были ему не по силам.

— Какие же пасквили? — обратился он к даме. — Положим, сударыня, в газете и были пасквили, но чем же я виноват? Виноват редактор, сотрудники, а я-то тут при чем? Я только секретарь… на манер бухгалтера. Я совсем не писатель… Ей-богу, я не писатель! Послушайте, я даже честное слово даю, что я не писатель!

— Мы ничего не можем для вас сделать, — вздохнула дама. — Это приказание самого Блудыхина… Впрочем… вы можете купить билет!

«Черт возьми, как же мне это раньше не пришло в голову?» — подумал Кокин и тотчас же вспомнил, что у него в кармане только сорок копеек, взятые им на случай, ежели Клавдия Васильевна захочет, чтоб ее провожали на извозчике. — В таком случае я поговорю с Блудыхиным! — сказал он.

— Подождите антракта…

Кокин стал ждать… За дверью трещали аплодисменты, пели знакомые женские голоса, смеялись… Там кипела жизнь! А бедный секретарь стоял перед дверью в позе кающегося грешника, a à la Генрих в Каноссе, и глядел на

дверь, как лошадь, которая чует близко присутствие овса, но не видит его… Долго он ждал антракта, но наконец за дверью задвигались стулья, зашумели, заговорили; распахнулась дверь, и в коридор повалила публика.

«А ведь счастье было так близко, так возможно! — подумал секретарь, заглянув в открывшуюся дверь. — Нет, я не могу даже допустить мысли, что меня не пустят…»

Скоро показался сам Блудыхин, розовый, сияющий… Кокин заходил около него, долго не решался заговорить с ним и наконец решился…

— Виноват-с… я побеспокою вас… Вы, Анисим Иваныч, приказали никого не впускать из редакции…

— Да, так что же?

— Я и пришел вот… Но я не понимаю! Вы согласитесь сами! Чем я виноват? Редакторы или сотрудники виноваты, их и не пускайте, но я… честное слово, не писатель!..

— Ааа… вы, стало быть, из редакции? — спросил Блудыхин, растопыривая ноги в виде буквы «А» и закидывая назад голову. — Вы, конечно, в претензии? Но послушайте! Пусть будет свидетельницей публика! Господа публика, будьте судьями! Вот господин корреспондент на меня в

прретензии за то, так сказать, что я… эээ… некоторым образом выказал прротест… Взгляд мой на печать, надеюсь, известен. Я всегда за печать! Но, господа… (Блудыхин состроил умоляющее лицо) господа, надо же иметь границы! Ругайте вы актеров, пьесу, обстановку, но зачем писать несообразности? Зачем? В последнем номере вашей газеты была великолепная статья… ве-лико-лепная! Но, описывая живую картину «Юдифь и Олоферн», в которой участвовала моя дочь, он… Бог знает что! Меч, говорит, который держала в руках Юдифь, так, говорит, длинен, что им можно зарезать только издали или же взлезши на крышу… При чем тут крыша? Моя дочь прочла и… заплакала! Это, господа, не критика! Не-ет-с, это не критика! Это личности! Придрался человек к мечу, просто чтоб насолить мне…

— Я… я с вами согласен! — залепетал Кокин, чувствуя на себе сотни глаз. — Я сам всегда против ругательств… Но, ей-богу… ну, при чем тут я? Я, честное слово, не писатель! Я секретарь… Я вам даже больше скажу, но… между нами, конечно… статью эту писал сам редактор… («К чему я, скотина, это говорю?» — подумал Кокин.) Но он хороший… честный человек. Если и написал что-нибудь этакое, то нечаянно… по легкомыслию…

Овечий тон секретаря умилил Блудыхина. Коммерции советник взял за пуговицу Кокина и принялся снова выкладывать перед ним свой взгляд на печать. В груди секретаря закопошилась сразу тысяча чувств. Ему было лестно, что с ним откровенничает такая важная птица, как Блудыхин; он чувствовал, что его сейчас, наверное, впустят в залу, что недоразумение уже кончено, что он опять может мечтать… но в то же время ему было страшно совестно, гнусно, мерзко… Он чувствовал, что благодаря своей тряпичности предал себя, редактора, «Гусиный вестник», предал публично, при знакомых, как самый последний Иуда! Ему бы нужно было наплевать, выругаться, посмеяться, а он просил, унижался, чуть ли не плакал… Ах!

Блудыхин говорил, говорил. Порисовавшись и поломавшись вдоволь, он уже взял секретаря под руку, и уже секретарь был у входа в Эдем, как послышался крик:

— Анисим Иваныч! Генерал приехал!

Блудыхин встрепенулся и, оставив Кокина, опрометью полетел вниз по лестнице. Секретарь постоял немного, походил, поправил галстух. Он уж ничего не ждал, не желал. Когда началось второе действие и он подошел к двери, распоря-

дитель не пустил его.

— Блудыхин нам ничего не сказал. Нельзя!

Через десять минут секретарь скреб своими большими калошами мерзлую землю. Он шел домой, но лучше, если бы он шел в прорубь! Ему было стыдно, противно. Противны были ему и его запах духов, и новые перчатки, и завитая голова. Так бы он и ударил себя по этой голове!

Моя беседа с Эдисоном
(От нашего собственного корреспондента)

Я был у Томаса Эдисона. Это очень милый, приличный малый. Все комнаты его завалены телефонами, микрофонами, фотофонами и прочими «фонами».

— Я русский! — отрекомендовался я Эдисону. — Много наслышан о ваших талантах. Хотя ваши изобретения и не вошли еще в программу наших средне-учебных заведений, но тем не менее ваше имя часто упоминается в газетных «смесях».

— Очень рад, но предупреждаю вас, что дать вам денег взаймы, ей-богу, не могу!

— Я и не прошу! — сконфузился я от такого неожиданного афронта.

— Вы извините, но я читал и слышал, что брать у всех взаймы — национальная особенность русских.

— Помилуйте, что вы!

Посидели, поболтали.

— Ну, что изобрели хорошенького? — спросил я. — Чай, чертову пропасть наизобретали всякой всячины! Например, это что за висюлька?

— Это гастрономофон… Вы ставите перед этим отверстием раскаленный уголь… закручиваете этот винтик, придавливаете эту штучку, отмыкаете ток и за сто, двести миль отсюда получаете отражение угля в увеличенном виде. На отражении вы можете варить и жарить все, что вам угодно…

— Аааа… скажите! А это что такое?

— Это вещь крайне необходимая для туристов. Рекомендую вашему вниманию. На наши деньги стоит рубль, на ваши — три рубля. Положим, вы уезжаете из России в Америку и оставляете дома жену. Путешествуете вы год, два, три… и чем вы можете поручиться, что дорогой вам не захочется иметь сына, которому вы могли бы оставить свое доброе имя? Тогда стоит только подойти к этой проволоке, проделать кое-какие манипуляции, и на другой же день вы получаете телеграмму: сын родился!

— Аааа… Но у нас, Томас Иваныч, это еще проще делается. Поедешь в Америку, а дома приятеля оставишь… Телеграммы, конечно, не получишь, но зато, когда домой возвратишься, найдешь у себя не одного, а трех-четырех: здравствуйте, папаша! У нас один доктор был командирован за границу с ученою целью. Приезжает обратно, а у

него девять дочек.

— И что же?

— И ничего! Объяснил себе как-то по-ученому: мерцательный эпителий, кровяное давление, то да се… А это что за мантифолия?

— Это пластинка для расследования мыслей. Стоит только приложить ее ко лбу испытуемого, пустить ток — и тайны разоблачены…

— Аааа… Впрочем, у нас это проще делается. Залезешь в письменный стол, распечатаешь письмо, два, три и — все как на ладони! У нас бишопизм в сильном ходу!

И таким образом я осмотрел все новые изобретения. Мои похвалы так понравились Эдисону, что, прощаясь со мной, он не вытерпел и сказал:

— Ну, так и быть уж, бог с вами! Нате вам взаймы!

Святая простота
(Рассказ)

К отцу Савве Жезлову, престарелому настоятелю Свято-Троицкой церкви в городе П., нежданно-негаданно прикатил из Москвы сын его Александр, известный московский адвокат. Вдовый и одинокий старик, узрев свое единственное детище, которого он не видал лет 12–15, с тех самых пор, как проводил его в университет, побледнел, затрясся всем телом и окаменел. Радостям и восторгам конца не было.

Вечером в день приезда отец и сын беседовали. Адвокат ел, пил и умилялся.

— А у тебя здесь хорошо, мило! — восторгался он, ерзая на стуле. — Уютно, тепло, и пахнет чем-то этаким патриархальным. Ей-богу, хорошо!

Отец Савва, заложив руки назад и, видимо, ломаясь перед старухой-кухаркой, что у него такой взрослый и галантный сын, ходил около стола и старался в угоду гостю настроить себя на «ученый» лад.

— Такие-то, брат, факты… — говорил он. — Вышло именно так, как я желал в сердце своем:

и ты и я — оба по образованной части пошли. Ты вот в университете, а я в киевской академии кончил, да… По одной стезе, стало быть… Понимаем друг друга… Только вот не знаю, как нынче в академиях. В мое время сильно на классицизм налегали и даже древнееврейский язык учили. А теперь?

— Не знаю. А у тебя, батя, бедовая стерлядь. Уже сыт, но еще съем.

— Ешь, ешь. Тебе нужно больше есть, потому что у тебя труд умственный, а не физический… гм… не физический. Ты университант, головой работаешь. Долго гостить будешь?

— Я не гостить приехал. Я, батя, к тебе случайно, на манер deus ex machina. Приехал сюда на гастроли, вашего бывшего городского голову защищать. Вероятно, знаешь, завтра у вас суд будет.

— Тэк-с… Стало быть, ты по судебной части? Юриспрудент?

— Да, я присяжный поверенный.

— Так… Помогай бог. Чин у тебя какой?

— Ей-богу, не знаю, батя.

«Спросить бы о жалованье, — подумал отец Савва, — но по-ихнему это вопрос нескромный. Судя по одежде и в рассуждении золотых часов, должно полагать, больше тысячи получает».

Старик и адвокат помолчали.

— Не знал я, что у тебя стерляди такие, а то бы я к тебе в прошлом году приехал, — сказал сын. — В прошлом году я тут недалеко был, в вашем губернском городе. Смешные у вас тут города!

— Именно смешные… хоть плюнь! — согласился отец Савва. — Что поделаешь! Далеко от умственных центров… предрассудки. Не проникла еще цивилизация…

— Не в том дело… Ты послушай, какой анекдот со мной вышел. Захожу я в вашем губернском городе в театр, иду в кассу за билетом, а мне и говорят: спектакля не будет, потому что еще ни одного билета не продано! А я и спрашиваю: как велик ваш полный сбор? Говорят, триста рублей! Скажите, говорю, чтоб играли, я плачу триста… Заплатил от скуки триста рублей, а как стал глядеть их раздирательную драму, то еще скучнее стало… Ха-ха…

Отец Савва недоверчиво поглядел на сына, поглядел на кухарку и хихикнул в кулак…

«Вот врет-то!» — подумал он.

— Где же ты, Шуренька, взял эти триста рублей? — спросил он робко.

— Как где взял? Из своего кармана, конечно…

— Гм… Сколько же ты, извини за нескромный

вопрос, жалованья получаешь?

— Как когда… В иной год тысяч тридцать заработаю, а в иной и двадцати не наберется… Годы разные бывают.

«Вот врет-то! Хо-хо-хо! Вот врет! — подумал отец Савва, хохоча и любовно глядя на посоловевшее лицо сына. — Брехлива молодость! Хо-хо-хо… Хватил — тридцать тысяч!»

— Невероятно, Сашенька! — сказал он. — Извини, но… хо-хо-хо…. тридцать тысяч! За эти деньги два дома построить можно…

— Не веришь?

— Не то что не верю, а так… как бы этак выразиться… ты уж больно тово… Хо-хо-хо… Ну, ежели ты так много получаешь, то куда же ты деньги деваешь?

— Проживаю, батя… В столице, брат, кусается жизнь. Здесь нужно тысячу прожить, а там пять. Лошадей держу, в карты играю… покучиваю иногда.

— Это так… А ты бы копил!

— Нельзя… Не такие у меня нервы, чтоб копить… (адвокат вздохнул). Ничего с собой не поделаю. В прошлом году купил я себе на Полянке дом за шестьдесят тысяч. Все-таки подмога к старости! И что ж ты думаешь? Не прошло и двух

месяцев после покупки, как пришлось заложить. Заложил и все денежки — фюйть! Овое в карты проиграл, овое пропил.

— Хо-хо-хо! Вот врет-то! — взвизгнул старик. — Занятно врет!

— Не вру я, батя.

— Да нешто можно дом проиграть или прокутить?



— Можно не то что дом, но и земной шар пропить. Завтра я с вашего головы пять тысяч сдеру, но чувствую, что не довезти мне их до Москвы. Такая у меня планида.

— Не планида, а планета, — поправил отец

Савва, кашлянув и с достоинством поглядев на старуху-кухарку. — Извини, Шуренька, но я сомневаюсь в твоих словах. За что же ты получаешь такие суммы?

— За талант…

— Гм… Может, тысячи три и получаешь, а чтоб тридцать тысяч, или, скажем, дома покупать, извини… сомневаюсь. Но оставим эти пререкания. Теперь скажи мне, как у вас в Москве? Чай, весело? Знакомых у тебя много?

— Очень много. Вся Москва меня знает.

— Хо-хо-хо! Вот врет-то! Хо-хо! Чудеса и чудеса, брат, ты рассказываешь.

Долго еще в таком роде беседовали отец и сын. Адвокат рассказал еще про свою женитьбу с сорокатысячным приданым, описал свои поездки в Нижний, свой развод, который стоил ему десять тысяч. Старик слушал, всплескивал руками, хохотал.

— Вот врет-то! Хо-хо-хо! Не знал я, Шуренька, что ты такой мастер балясы точить! Хо-хо-хо! Это я тебе не в осуждение… Мне занятно тебя слушать. Говори, говори.

— Но, однако, я заболтался, — кончил адвокат, вставая из-за стола. — Завтра разбирательство, а я еще дела не читал. Прощай.

Проводив сына в свою спальню, отец Савва предался восторгам.

— Каков, а? Видала? — зашептал он кухарке. — То-то вот и есть… Университант, гуманный, эмансипе, а не устыдился старика посетить. Забыл отца и вдруг вспомнил. Взял да и вспомнил. Дай, подумал, своего старого хрена вспомню! Хо-хо-хо… Хороший сын! Добрый сын! И ты заметила? Он со мной, как с ровней… своего брата ученого во мне видит. Понимает, стало быть. Жалко, дьякона мы не позвали, поглядел бы.

Изливши свою душу перед старухой, отец Савва на цыпочках подошел к своей спальной и заглянул в замочную скважину. Адвокат лежал на постели и, дымя сигарой, читал объемистую тетрадь. Возле него на столике стояла винная бутылка, которой раньше отец Савва не видел.

— Я на минуточку… поглядеть, удобно ли, — забормотал старик, входя к сыну. — Удобно? Мягко? Да ты бы разделся.

Адвокат промычал и нахмурился. Отец Савва сел у его ног и задумался.

— Так-с… — начал он после некоторого молчания. — Я все про твои разговоры думаю. С одной стороны, благодарю за то, что повеселил старика, с другой же стороны, как отец и… и образованный

человек, не могу умолчать и воздержаться от замечания. Ты, я знаю, шутил за ужином, но ведь, знаешь, как вера, так и наука осудили ложь даже в шутку. Кгм… Кашель у меня. Кгм… Извини, но я как отец. Это у тебя откуда же вино?

— Это я с собой привез. Хочешь? Вино хорошее, восемь рублей бутылка.

— Во-семь? Вот врет-то! — всплеснул руками отец Савва. — Хо-хо-хо! Да за что тут восемь рублей платить?

Хо-хо-хо! Я тебе самого наилучшего вина за рубль куплю. Хо-хо-хо!

— Ну, маршируй, старче, ты мне мешаешь… Айда!

Старик, хихикая и всплескивая руками, вышел и тихо затворил за собою дверь. В полночь, прочитав «правила» и заказав старухе завтрашний обед, отец Савва еще раз заглянул в комнату сына.

Сын продолжал читать, пить и дымить.

— Спать пора… раздевайся и туши свечку… — сказал старик, внося в комнату сына запах ладана и свечной гари. — Уже двенадцать часов… Ты это вторую бутылку? Ого!

— Без вина нельзя, батя… Не возбудишь себя, дела не сделаешь.

Савва сел на кровать, помолчал и начал:

— Такая, брат, история… М-да… Не знаю, буду ли жив, увижу ли тебя еще раз, а потому лучше, ежели сегодня преподам тебе завет мой… Видишь ли… За все время сорокалетнего служения моего скопил я тебе полторы тысячи денег. Когда умру, возьми их, но…

Отец Савва торжественно высморкался и продолжал:

— Но не транжирь их и храни… И, прошу тебя, после моей смерти пошли племяннице Вареньке сто рублей. Если не пожалеешь, то и Зинаиде рублей 20 пошли. Они сироты.

— Ты им пошли все полторы тысячи… Они мне не нужны, батя…

— Врешь?

— Серьезно… Все равно растранжирю.

— Гм… Ведь я их копил! — обиделся Савва. — Каждую копеечку для тебя складывал…

— Изволь, под стекло я положу твои деньги, как знак родительской любви, но так они мне не нужны… Полторы тысячи — фи!

— Ну, как знаешь… Знал бы я, не хранил, не лелеял… Спи!

Отец Савва перекрестил адвоката и вышел. Он был слегка обижен… Небрежное, безраз-

личное отношение сына к его сорокалетним сбережениям его сконфузило. Но чувство обиды и конфуза скоро прошло… Старика опять потянуло к сыну поболтать, поговорить «по-ученому», вспомнить былое, но уже не хватило смелости обеспокоить занятого адвоката. Он ходил, ходил по темным комнатам, думал, думал и пошел в переднюю поглядеть на шубу сына. Не помня себя от родительского восторга, он охватил обеими руками шубу и принялся обнимать ее, целовать, крестить, словно это была не шуба, а сам сын, «университант»… Спать он не мог.

Шило в мешке

На обывательской тройке, проселочными путями, соблюдая строжайшее инкогнито, спешил Петр Павлович Посудин в уездный городишко К, куда вызывало его полученное им анонимное письмо.

«Накрыть… Как снег на голову… — мечтал он, пряча лицо свое в воротник. — Натворили мерзостей, пакостники, и торжествуют, небось, воображают, что концы в воду спрятали… Ха-ха… Воображаю их ужас и удивление, когда в разгар торжества послышится: „А подать сюда Тяпкина-Ляпкина!“ То-то переполох будет! Ха-ха…»

Намечтавшись вдоволь, Посудин вступил в разговор со своим возницей. Как человек, алчущий популярности, он прежде всего спросил о себе самом:

— А Посудина ты знаешь?

— Как не знать! — ухмыльнулся возница. — Знаем мы его!

— Что же ты смеешься?

— Чудное дело! Каждого последнего писаря знаешь, а чтоб Посудина не знать! На то он здесь и поставлен, чтоб его все знали.

— Это так… Ну, что? Как он, по-твоему? Хорош?

— Ничего… — зевнул возница. — Господин хороший, знает свое дело… Двух годов еще нет, как его сюда прислали, а уж наделал делов.

— Что же он такое особенное сделал?

— Много добра сделал, дай бог ему здоровья. Железную дорогу выхлопотал, Хохрюкова в нашем уезде увольнил… Конца краю не было этому Хохрюкову… Шельма был, выжига, все прежние его руку держали, а приехал Посудин — и загудел Хохрюков к черту, словно его и не было… Во, брат! Посудина, брат, не подкупишь, не-ет! Дай ты ему хоть сто, хоть тыщу, а он не станет тебе приймать грех на душу… Не-ет!

«Слава богу, хоть с этой стороны меня поняли, — подумал Посудин, ликуя. — Это хорошо».

— Образованный господин… — продолжал возница, — не гордый… Наши ездили к нему жаловаться, так он словно с господами: всех за ручку, «вы, садитесь»… Горячий такой, быстрый… Слова тебе путем не скажет, а все — фырк! фырк! Чтоб он тебе шагом ходил, или как — ни боже мой, а норовит все бегом, все бегом! Наши ему и слова сказать не успели, как он: «Лошадей!!!» — да прямо сюда… Приехал и все обделал… ни копейки не взял. Куда лучше прежнего! Конечно, и прежний,

хорош был. Видный такой, важный, звончее его во всей губернии никто не кричал… Бывало, едет, так за десять верст слыхать; но ежели по наружной части или внутренним делам, то нынешний куда ловчее! У нынешнего в голове этой самой мозги во сто раз больше… Одно только горе… Всем хорош человек, но одна беда: пьяница!

«Вот так клюква!» — подумал Посудин.

— Откуда же ты знаешь, — спросил он, — что я… что он пьяница?

— Оно, конечно, ваше благородие, сам я не видал его пьяного, не стану врать, но люди сказывали. И люди-то его пьяным не видали, а слава такая про него ходит… При публике, или куда в гости пойдет, на бал, это, или в обчество, никогда не пьет. Дома хлещет… Встанет утром, протрет глаза и первым делом — водки! Камердин принесет ему стакан, а он уж другого просит… Так цельный день и глушит. И скажи ты на милость: пьет, и ни в одном глазе! Стало быть, соблюдать себя может. Бывало, как наш Хохрюков запьет, так не то что люди, даже собаки воют. Посудин же — хоть бы тебе нос у него покраснел! Запрется у себя в кабинете и локает… Чтоб люди не приметили, он себе в столе ящик такой приспособил, с трубочкой. Всегда в этом ящике водка… Нагнешь-

ся к трубочке, пососешь, и пьян… В карете тоже, в портфеле…

«Откуда они знают? — ужаснулся Посудин. — Боже мой, даже это известно! Какая мерзость…»

— А вот тоже насчет женского пола… Шельма! (возница засмеялся и покрутил головой). Безобразие, да и только! Штук десять у него этих самых… вертефлюх… Две у него в доме живут… Одна у него, эта Настасья Ивановна, как бы заместо распорядительши, другая — как ее, черт? — Людмила Семеновна, на манер писарши… Главнее всех Настасья. Эта что захочет, он все делает… Так и вертит им, словно лиса хвостом. Большая власть ей дадена. И его так не боятся, как ее… Ха-ха… А третья вертуха на Качальной улице живет… Срамота!

«Даже по именам знает, — подумал Посудин, краснея. — И кто же знает? Мужик, ямщик… который и в городе-то никогда не бывал!.. Какая мерзость… гадость… пошлость!»

— Откуда же ты все это знаешь? — спросил он раздраженным голосом.

— Люди сказывали… Сам я не видал, но от людей слыхивал. Да узнать нешто трудно? Камердину или кучеру языка не отрежешь… Да, чай, и сама Настасья ходит по всем переулкам да

счастьем своим бабьим похваляется. От людского глаза не скроешься… Вот тоже взял манеру этот Посудин потихоньку на следствия ездить… Прежний, бывало, как захочет куда ехать, так за месяц дает знать, а когда едет, так шуму этого, грому, звону и… не приведи создатель! И спереди его скачут, и сзади скачут, и с боков скачут. Приедет к месту, выспится, наестся, напьется, и давай по служебной части глотку драть. Подерет глотку, потопочет ногами, опять выспится и тем же порядком назад… А нынешний, как прослышит что, норовит съездить потихоньку, быстро, чтоб никто не видал и не знал… Па-а-теха! Выйдет неприметно из дому, чтоб чиновники не видали, и на машину… Доедет до какой ему нужно станции и не то что почтовых или что поблагородней, а норовит мужика нанять. Закутается весь, как баба, и всю дорогу хрипит, как старый пес, чтоб голоса его не узнали. Просто кишки порвешь со смеху, когда люди рассказывают… Едет, дурень, и думает, что его узнать нельзя. А узнать его, ежели которому понимающему человеку — тьфу! раз плюнуть.

— Как же его узнают?

— Оченно просто. Прежде, как наш Хохрюков потихоньку ездил, так мы его по тяжелым

рукам узнавали. Ежели седок бьет по зубам, то это, значит, и есть Хохрюков. А Посудина сразу увидать можно… Простой пассажир просто себя и держит, а Посудин не таковский, чтоб простоту соблюдать. Приедет, скажем, хоть на почтовую станцию, и начнет!.. Ему и воняет, и душно, и холодно… Ему и цыплят подавай, и фрухтов, и вареньев всяких… Так на станциях и знают: ежели кто зимой спрашивает цыплят и фрухтов, то это и есть Посудин. Ежели кто говорит смотрителю «милейший мой» и гоняет народ за разными пустяками, то и божиться можно, что это Посудин. И пахнет от него не так, как от людей, и ложится спать на свой манер… Ляжет на станции на диване, попрыщет около себя духами и велит около подушки три свечки поставить. Лежит и бумаги читает… Уж тут не то что смотритель, но и кошка разберет, что это за человек такой…

«Правда, правда. — подумал Посудин. — И как я этого раньше не знал!»

— А кому есть надобность, то и без фрухтов и без цыплят узнает. По телеграфу все известно… Как там ни кутай рыла, как ни прячься, а уж тут знают, что едешь. Ждут… Посудин еще у себя из дому не выходил, а тут уж — сделай одолжение, все готово! Приедет он, чтоб их на месте накрыть,

под суд отдать или сменить кого, а они над ним же и посмеются. Хоть ты, скажут, ваше сиятельство, и потихоньку приехал, а гляди: у нас все чисто!.. Он повертится, повертится да с тем и уедет, с чем приехал… Да еще похвалит, руки пожмет им всем, извинения за беспокойство попросит… Вот как! А ты думал как? Хо-хо, ваше благородие! Народ тут ловкий, ловкач на ловкаче!.. Глядеть любо, что за черти! Да вот, хоть нынешний случай взять… Еду я сегодня утром порожнем, а навстречу со станции летит жид буфетчик. «Куда, спрашиваю, ваше жидовское благородие, едешь?» А он и говорит: «В город N вино и закуску везу. Там нынче Посудина ждут». Ловко? Посудин, может, еще только собирается ехать или кутает лицо, чтоб его не узнали. Может, уж едет и думает, что знать никто не знает, что он едет, а уж для него, скажи пожалуйста, готово и вино, и семга, и сыр, и закуска разная… А? Едет он и думает: «Крышка вам, ребята!», а ребятам и горя мало! Пущай едет! У них давно уж все спрятано!

— Назад! — прохрипел Посудин. — Поезжай назад, ссскотина!

И удивленный возница повернул назад.

Mari d'elle

Подпраздничная ночь. Опереточная певица Наталья Андреевна Бронина, по мужу Никиткина, лежит у себя в спальной и всем своим существом предается отдыху. Она сладко дремлет и думает о своей маленькой дочери, живущей где-то далеко у бабушки или тетушки… Эта девочка для нее дороже публики, букетов, рецензий, поклонников… и она рада думать о ней до самого утра. Она счастлива, покойна и жаждет только одного, чтобы ей не помешали безмятежно валяться, дремать, мечтать о дочке.

Вдруг певица вздрагивает и широко открывает глаза: в передней раздается резкий, отрывистый звонок. Не проходит и десяти секунд, как дребезжит другой звонок, третий. Отворяется шумно дверь и в переднюю, стуча ногами, как лошадь, отдуваясь от холода и фыркая, кто-то входит.

— Черт возьми, некуда шубу повесить! — слышит артистка хриплый бас. — Известная артистка, посмотришь! Получает пять тысяч в год, а не может себе порядочной вешалки завести!

«Муж… — морщится певица. — И, кажется, привел с собой ночевать одного из своих приятелей…

Противно!»

Пропал покой. Когда в передней утихают громкое сморканье и установка калош, певица слышит в своей спальной осторожные шаги… Это вошел ее муж, mari d'elle, Денис Петрович Никиткин. От него несет холодом и запахом коньяка. Он долго ходит по спальной, тяжело дышит и, натыкаясь в потемках на стулья, чего-то ищет…



— Ну, чего тебе? — стонет певица, когда ей надоедает эта возня. — Ты меня разбудил.

— Я, душенька, спички ищу. Ты… ты, стало быть, не спишь? А я тебе поклон принес. Кланяется тебе этот… как его?.. рыжий, что постоянно тебе букеты подносит. Загвоздкин… Сейчас только что у него был.

— Зачем ты у него был?

— Да так… Посидели, потолковали… выпили. Как хочешь, Натали, а не нравится мне этот субъект. Ужасно не нравится! Такой болван, каких мало.

Богач, капиталист, тысяч шестьсот имеет, а нисколько в нем этого не заметно.

Для него деньги, что псу редька. И сам не трескает и другим не дает. Надо капитал в оборот пускать, а он за него держится, расстаться боится… А что толку в лежачем капитале? Лежачий капитал — это та же трава.

Mari d'elle нащупывает край кровати и, отдуваясь, садится у ног жены.

— Лежачий капитал — это вред… — продолжает он. — Почему в России дела хуже пошли? А потому, что у нас лежачих капиталов много, кредита боятся… Не то, что в Англии. В Англии, брат, нет таких гусей, как Загвоздкин… Там каждая копейка в оборот пускается… Да… В сундуках там не держат…

— Ну и отлично. Я спать хочу.

— Я сейчас… О чем, бишь, я? Да… По нынешним временам Загвоздкина повесить мало… Подлец и дурак… Дурак и больше ничего. Ежели б я без ручательства у него просил взаймы, а то ведь и ребенку видно, что тут никакого риска нет. Не понимает, осел! За десять тысяч он сто бы получил. Через год бы у него еще сто тысяч было! Просил, толковал… так и не дал, болван!

— Надеюсь, что ты не от моего имени у него взаймы просил!

— Гм… Странный вопрос… — обижается mari d'elle. — Во всяком случае он мне бы скорей дал десять тысяч, чем тебе. Ты женщина, а я все-таки мужчина, деловой человек. А какой проект я ему предлагал! Не воздушные шары, не химеры какие-нибудь, а дело, суть! Ежели на понимающего человека наскочить, так за одну идею могут тысяч двадцать дать! Ты даже поймешь, ежели тебе рассказать, в чем дело. Только ты тово… не разболтай… ни-ни… Да я, кажется, уже говорил тебе. Говорил я тебе про кишки?

— Мм… после…

— Говорил, кажется… Понимаешь, в чем дело? Теперь гастрономические магазины и колбасники получают кишки на месте и за дорогую цену.

Ну-с, а ежели привозить сюда кишки с Кавказа, где они нипочем, выбрасываются, то… как по-твоему? У кого колбасники будут покупать кишки: здесь в бойнях или у меня? Конечно, у меня! Ведь я буду продавать в десять раз дешевле! Теперь станем так рассуждать: ежегодно в столицах и в центрах покупается этих самых кишок на… положим, на пятьсот тысяч. Это минимум. Ну-с, а ежели…

— Завтра расскажешь… После…

— Да, правда… Тебе спать хочется, pardon… Сейчас уйду… Что ни говори, а с капиталом куда ни сунься, везде можно дело сделать… С капиталом даже на окурках можно миллион нажить… Взять хоть ваше театральное дело. Почему, например, Лентовский прогорел? Очень просто! С самого начала не так дело повел. Капитала нет, а он во всю ивановскую жарит, сломя голову… Нужно сначала капиталом заручиться, а потом потихоньку да полегоньку… Нынче на частном или народном театре отлично нажить можно… Ежели ставить настоящие пьесы, по дешевой цене пустить, да публике в жилку попасть, то в первый же год сто тысяч в карман положишь… Ты вот не понимаешь, а я верно говорю… Тоже ведь и ты лежачие капиталы любишь, не лучше

этого шута Загвоздкина… Копит и сама не знает для чего… Не слушаешься, не хочешь… Пустила бы в оборот, так не мыкалась бы по свету белому… Ведь для первого раза, чтоб частный театр устроить, довольно и пяти тысяч… Не так, конечно, как Лентовский, а скромно… потихоньку… Антрепренер у меня уже есть, помещение я присмотрел… денег только нет… Если б ты понимала, то давно бы уже рассталась со своими этими разными пятипроцентными… процентными, выигрышными…

— Нет, merci… Ты и так уж меня достаточно пощипал… Будет с меня, наказана…

— Если по-бабьи рассуждать, то конечно… — вздыхает Никиткин, поднимаясь. — Конечно!

— Будет с меня… Ну, ступай, не мешай мне спать… Надоело твои бредни слушать.

— Гм… Тэк-с… Конечно! Пощипал… обобрал… мы что сами даем, то помним, а что берем, того не помним.

— Я у тебя никогда ничего не брала.

— Так ли? А когда мы еще не были известной артисткой, то на чей счет мы жили? А кто, позвольте вас спросить, вытянул вас из нищеты и осчастливил? Этого вы не помните?

— Ну, ступай, спи. Поди проспись.

— Ежели я кажусь вам пьян… ежели я для такой персоны низок, то я могу вовсе уйти.

— И уходи. Отлично сделаешь.

— И уйду. Довольно уж я унижался. И уйду.

— Ах, боже мой! Да уходи же! Я буду очень рада!

— Ладно. Увидим.

Никиткин что-то бормочет про себя и, натыкаясь на стулья, выходит из спальной. Засим доносится из передней шепот, шарканье калош и звук запираемой двери. Mari d'elle всерьез обиделся и ушел.

«Слава богу, ушел… — думает певица. — Теперь спать можно». И, засыпая, она думает о своем mari d'elle: кто он и откуда взялось это наказание? Когда-то он жил в Чернигове и служил там бухгалтером. Как обыкновенный, серенький обыватель, а не mari d'elle, он был очень сносен: ходил на службу, получал жалованье, и все его проекты и затеи не шли дальше новой гитары, модных брюк и янтарного мундштука. Ставши же «мужем знаменитости», он совсем преобразился. Певица помнит, что когда впервые она объявила ему, что поступает на сцену, он долго ломался, возмущался, жаловался ее родителям, гнал ее из дому. Пришлось поступать на сцену без его поз-

воления. Потом же, узнав по газетам и от людей, что она берет хорошие куши, он «простил» ее, бросил бухгалтерию и стал ее прихвостнем. Диву давалась артистка, глядя на прихвостня: когда и где успел он приобрести новые вкусы, лоск и замашки? Где он узнал вкус устриц и бургонских вин? Кто научил его одеваться по моде, причесываться, говорить Натали вместо Наташа?

«Странно… — думает певица. — Прежде, бывало, получит жалованье и прячет, а теперь и ста рублей в день ему мало. Бывало, при гимназистах говорить боялся, чтоб глупости не сказать, а теперь даже с князьями фамильярничает… Дрянной человечишка!»

Но вот певица опять вздрагивает: опять в передней дребезжит звонок. Горничная, бранясь и сердито шлепая туфлями, идет отворять дверь. Опять кто-то входит и стучит, как лошадь.

«Вернулся? — думает певица. — Когда же наконец дадут мне покой? Это возмутительно!»

Артисткой овладевает злоба.

«Постой же… Я покажу тебе, как комедии играть! Ты у меня уйдешь! Я заставлю тебя уйти!»

Бронина вскакивает и босая бежит в маленький зал, где обыкновенно спит на диване ее mari. Застает она его в то время, когда он раздевается и

старательно складывает свою одежду на кресло.

— Ты же ушел! — говорит она, глядя на него блестящими, ненавидящими глазами. — Зачем же ты вернулся?

Никиткин молчит и только сопит…

— Ты же ушел! Изволь сию же минуту убираться! Сию же минуту! Слышишь?

Mari d'elle кашляет и, не глядя на жену, снимает помочи.

— Если ты, нахал, не уйдешь, то я уйду! — продолжает певица, топая босой ногой и сверкая глазами. — Я уйду! Слышишь ты, нахал… негодяй, лакей? Вон!

— Постыдилась бы хоть при посторонних… — бормочет муж.

Певица оглядывается и теперь только видит незнакомую ей актерскую физиономию… Физиономия, видевшая оголенные плечи и босые ноги артистки, сконфужена и готова провалиться…

— Рекомендую… — бормочет Никиткин. — Провинциальный антрепренер Безбожников.

Певица вскрикивает и убегает к себе в спальную.

— Вот-с… — говорит mari d'elle, растягиваясь на диване. — Все шло как по маслу. Милый, разлюбезный мой, хороший… Поцелуи и объятия…

А как только дело коснулось до денег, то… как видите… Великое дело деньги!.. Спокойной ночи.

Через минуту слышится храп.

Антрепренер под диваном
(Закулисная история)

Шел «Водевиль с переодеванием». Клавдия Матвеевна Дольская-Каучукова, молодая, симпатичная артистка, горячо преданная святому искусству, вбежала в свою уборную и начала сбрасывать с себя платье цыганки, чтобы в мгновение ока облечься в гусарский костюм. Во избежание лишних складок, чтобы этот костюм сидел возможно гладко и красиво, даровитая артистка решила сбросить с себя все до последней нитки и надеть его поверх одеяния Евы. И вот, когда она разделась и, пожимаясь от легкого холода, стала расправлять гусарские рейтузы, до ее слуха донесся чей-то вздох. Она сделала большие глаза и прислушалась. Опять кто-то вздохнул и даже как будто прошептал:

— Грехи наши тяжкие… Оxx…

Недоумевающая артистка осмотрелась и, не увидев в уборной ничего подозрительного, решила заглянуть на всякий случай под свою единственную мебель — под диван. И что же? Под диваном она увидела длинную человеческую

фигуру.

— Кто здесь?! — вскрикнула она, в ужасе отскакивая от дивана и прикрываясь гусарской курткой.

— Это я… я… — послышался из-под дивана дрожащий шепот. — Не пугайтесь, это я… Тсс!

В гнусавом шепоте, похожем на сковородное шипение, артистке не трудно было узнать голос антрепренера Индюкова.

— Вы?! — возмутилась она, красная как пион. — Как… как вы смели? Это, значит, вы, старый подлец, все время здесь лежали? Этого еще недоставало!

— Матушка… голуба моя! — зашипел Индюков, высовывая свою лысую голову из-под дивана. — Не сердитесь, драгоценная! Убейте, растопчите меня как змия, но не шумите! Ничего я не видел, не вижу и видеть не желаю. Напрасно даже вы прикрываетесь, голубушка, красота моя неописанная! Выслушайте старика, одной ногой уже в могиле стоящего! Не за чем иным тут валяюсь, как только ради спасения моего! Погибаю! Глядите: волосы на голове моей стоят дыбом! Из Москвы приехал муж моей Глашеньки, Прындин. Теперь ходит по театру и ищет погибели моей. Ужасно! Ведь, кроме Глашеньки, я ему, злодею

моему, пять тысяч должен!

— Мне какое дело? Убирайтесь сию же минуту вон, иначе я… я не знаю, что с вами, с подлецом, сделаю!

— Тсс! Душенька, тсс! На коленях прошу, ползаю! Куда же мне от него укрыться, ежели не у вас? Ведь он везде меня найдет, сюда только не посмеет войти! Ну, умоляю! Ну, прошу! Часа два назад я его видел! Стою это я во время первого действия за кулисами, гляжу, а он идет из партера на сцену.

— Стало быть, вы и во время драмы здесь валялись? — ужаснулась артистка. — И… и все видели?

Антрепренер заплакал:

— Дрожу! Трясусь! Матушка, трясусь! Убьет, проклятый! Ведь уж раз стрелял в меня в Нижнем… В газетах писали!

— Ах… это, наконец, невыносимо! Уходите, мне пора уже одеваться и на сцену выходить! Убирайтесь, иначе я… крикну, громко расплачусь… лампой в вас пущу!

— Тссс!.. Надежда вы моя… якорь спасения! Пятьдесят рублей прибавки, только не гоните! Пятьдесят!



Артистка прикрылась кучей платья и побежала к двери, чтобы крикнуть. Индюков пополз за ней на коленях и схватил ее за ногу повыше лодыжек.

— Семьдесят пять рублей, только не гоните! — прошипел он, задыхаясь. — Еще полбенефиса прибавлю!

— Лжете!

— Накажи меня бог! Клянусь! Чтоб мне ни дна, ни покрышки... Полбенефиса и семьдесят пять прибавки!

Дольская-Каучукова минуту поколебалась и отошла от двери.

— Ведь вы все врете… — сказала она плачущим голосом.

— Провались я сквозь землю! Чтоб мне царствия небесного не было! Да разве я подлец какой, что ли?

— Ладно, помните же… — согласилась артистка. — Ну, полезайте под диван.

Индюков тяжело вздохнул и с сопеньем полез под диван, а Дольская-Каучукова стала быстро одеваться. Ей было совестно, даже жутко от мысли, что в уборной под диваном лежит посторонний человек, но сознание, что она сделала уступку только в интересах святого искусства, подбодрило ее настолько, что, сбрасывая с себя немного спустя гусарское платье, она уже не только не бранилась, но даже и посочувствовала:

— Вы там выпачкаетесь, голубчик Кузьма Алексеич! Чего я только под диван ни ставлю!

Водевиль кончился. Артистку вызывали одиннадцать раз и поднесли ей букет с лентами, на которых было написано: «Оставайтесь с нами». Уходя после оваций к себе в уборную, она встретила за кулисами Индюкова. Запачканный, помятый и взъерошенный, антрепренер сиял и

потирал руки от удовольствия.

— Ха-ха… Вообразите, голубушка! — заговорил он, подходя к ней. — Посмейтесь над старым хрычом! Вообразите, то был вовсе не Прындин! Ха-ха… Черт его возьми, длинная рыжая борода меня с панталыку сбила… У Прындина тоже длинная рыжая борода… Обознался, старый хрен! Ха-ха… Напрасно только беспокоил вас, красавица…

— Но вы же смотрите, помните, что мне обещали, — сказала Дольская-Каучукова.

— Помню, помню, родная моя, но… голубушка моя, ведь то не Прындин был! Мы только насчет Прындина условились, а зачем я буду обещание исполнять, ежели это не Прындин? Будь то Прындин, ну, тогда, конечно, другое дело, а то ведь, сами видите, обознался… Чудака какого-то за Прындина принял!

— Как это низко! — возмутилась актриса. — Низко! Мерзко!

— Будь это Прындин, конечно, вы имели бы полное право требовать, чтоб я обещание исполнил, а то ведь черт его знает, кто он такой. Может, он сапожник какой или, извините, портной — так мне и платить за него? Я честный человек, матушка… Понимаю…

И отойдя, он все жестикулировал и говорил:

— Если бы то был Прындин, то, конечно, я обязан, а то ведь кто-то неизвестный… какой-то, шут его знает, рыжий человек, а вовсе не Прындин.

Восклицательный знак
(Святочный рассказ)

В ночь под Рождество Ефим Фомич Перекладин, коллежский секретарь, лег спать обиженный и даже оскорбленный.

— Отвяжись ты, нечистая сила! — рявкнул он со злобой на жену, когда та спросила, отчего он такой хмурый.

Дело в том, что он только что вернулся из гостей, где сказано было много неприятных и обидных для него вещей. Сначала заговорили о пользе образования вообще, потом же незаметно перешли к образовательному цензу служащей братии, причем было высказано много сожалений, упреков и даже насмешек по поводу низкого уровня. И тут, как это водится во всех российских компаниях, с общих материй перешли к личностям.

— Взять, например, хоть вас, Ефим Фомич, — обратился к Перекладину один юноша. — Вы занимаете приличное место… а какое образование вы получили?

— Никакого-с. Да у нас образование и не тре-

буется, — кротко ответил Перекладин. — Пиши правильно, вот и все…

— Где же это вы правильно писать-то научились?

— Привык-с… За сорок лет службы можно руку набить-с… Оно, конечно, спервоначалу трудно было, делывал ошибки, но потом привык-с… и ничего…

— А знаки препинания?

— И знаки препинания ничего… Правильно ставлю.

— Гм!.. — сконфузился юноша. — Но привычка совсем не то, что образование. Мало того, что вы знаки препинания правильно ставите… мало-с! Нужно сознательно ставить! Вы ставите запятую и должны сознавать, для чего ее ставите… да-с! А это ваше бессознательное… рефлекторное правописание и гроша не стоит. Это машинное производство и больше ничего.



Перекладин смолчал и даже кротко улыбнулся (юноша был сын статского советника и сам имел право на чин X класса), но теперь, ложась спать, он весь обратился в негодование и злобу.

«Сорок лет служил, — думал он, — и никто меня дураком не назвал, а тут, поди ты, какие критики нашлись! „Бессознательно!.. Лефректорно! Машинное производство“. Ах, ты, черт тебя возьми! Да я еще, может быть, больше тебя понимаю, даром что в твоих университетах не был!»

Излив мысленно по адресу критика все известные ему ругательства и согревшись под одеялом, Перекладин стал успокаиваться.

«Я знаю… понимаю… — думал он, засыпая. — Не поставлю там двоеточия, где запятую нужно, ста-

ло быть, сознаю, понимаю. Да… Так-то, молодой человек… Сначала пожить нужно, послужить, а потом уж стариков судить…»

В закрытых глазах засыпавшего Перекладина сквозь толпу темных, улыбавшихся облаков метеором пролетела огненная запятая. За ней другая, третья, и скоро весь безграничный темный фон, расстилавшийся перед его воображением, покрылся густыми толпами летавших запятых…

«Хоть эти запятые взять… — думал Перекладин, чувствуя, как его члены сладко немеют от наступавшего сна. — Я их отлично понимаю… Для каждой могу место найти, ежели хочешь… и… и сознательно, а не зря… Экзаменуй, и увидишь… Запятые ставятся в разных местах, где надо, где и не надо. Чем путаннее бумага выходит, тем больше запятых нужно. Ставятся они перед „который“ и перед „что“. Ежели в бумаге перечислять чиновников, то каждого из них надо запятой отделять… Знаю!»

Золотые запятые завертелись и унеслись в сторону. На их место прилетели огненные точки…

«А точка в конце бумаги ставится… Где нужно большую передышку сделать и на слушателя взглянуть, там тоже точка. После всех длинных мест нужно точку, чтоб секретарь, когда будет

читать, слюной не истек. Больше же нигде точка не ставится…»

Опять налетают запятые… Они мешаются с точками, кружатся — и Перекладин видит целое сонмище точек с запятой и двоеточий…

«И этих знаю… — думает он. — Где запятой мало, а точки много, там надо точку с запятой. Перед „но“ и „следственно“ всегда ставлю точку с запятой… Ну-с, а двоеточие? Двоеточие ставится после слов „постановили“, „решили“…»

Точки с запятой и двоеточия потухли. Наступила очередь вопросительных знаков. Эти выскочили из облаков и заканканировали…

«Эка невидаль: знак вопросительный! Да хоть тысяча их, всем место найду. Ставятся они всегда, когда запрос нужно делать или, положим, о бумаге справиться… „Куда отнесен остаток сумм за такой-то год?“ или — „Не найдет ли Полицейское управление возможным оную Иванову и проч.?“…»

Вопросительные знаки одобрительно закивали своими крючками и моментально, словно по команде, вытянулись в знаки восклицательные…

«Гм!.. Этот знак препинания в письмах часто ставится. „Милостивый государь мой!“ или „Ваше превосходительство, отец и благодетель!..“ А в

бумагах когда?»

Восклицательные знаки еще больше вытянулись и остановились в ожидании.

«В бумагах они ставятся, когда… тово… этого… как его? Гм!.. В самом деле, когда же их в бумагах ставят? Постой… дай бог память… Гм!..»

Перекладин открыл глаза и повернулся на другой бок. Но не успел он вновь закрыть глаза, как на темном фоне опять появились восклицательные знаки.

«Черт их возьми… Когда же их ставить нужно? — подумал он, стараясь выгнать из своего воображения непрошеных гостей. — Неужели забыл? Или забыл, или же… никогда их не ставил…»

Перекладин стал припоминать содержание всех бумаг, которые он написал за сорок лет своего служения; но как он ни думал, как ни морщил лоб, в своем прошлом он не нашел ни одного восклицательного знака.

«Что за оказия! Сорок лет писал и ни разу восклицательного знака не поставил… Гм!.. Но когда же он, черт длинный, ставится?»

Из-за ряда огненных восклицательных знаков показалась ехидно смеющаяся рожа юноши-критика. Сами знаки улыбнулись и слились в один

большой восклицательный знак.

Перекладин встряхнул головой и открыл глаза.

«Черт знает что… — подумал он. — Завтра к утрени вставать надо, а у меня это чертобесие из головы не выходит… Тьфу! Но… когда же он ставится? Вот тебе и привычка! Вот тебе и набил руку! За сорок лет ни одного восклицательного! А?»

Перекладин перекрестился и закрыл глаза, но тотчас же открыл их; на темном фоне все еще стоял большой знак…

«Тьфу! Этак всю ночь не уснешь». — Марфуша! — обратился он к своей жене, которая часто хвасталась тем, что кончила курс в пансионе. — Ты не знаешь ли, душенька, когда в бумагах ставится восклицательный знак?

— Еще бы не знать! Недаром в пансионе семь лет училась. Наизусть всю грамматику помню. Этот знак ставится при обращениях, восклицаниях и при выражениях восторга, негодования, радости, гнева и прочих чувств.

«Тэк-с… — подумал Перекладин. — Восторг, негодование, радость, гнев и прочие чувства…»

Коллежский секретарь задумался. Сорок лет писал он бумаги, написал он их тысячи, десятки тысяч, но не помнит ни одной строки, которая

выражала бы восторг, негодование или что-нибудь в этом роде.

«И прочие чувства… — думал он. — Да нешто в бумагах нужны чувства? Их и бесчувственный писать может…»

Рожа юноши-критика опять выглянула из-за огненного знака и ехидно улыбнулась. Перекладин поднялся и сел на кровати. Голова его болела, на лбу выступил холодный пот… В углу ласково теплилась лампадка, мебель глядела праздничнo, чистенько, от всего так и веяло теплом и присутствием женской руки, но бедному чиноше было холодно, неуютно, точно он заболел тифом. Знак восклицательный стоял уже не в закрытых глазах, а перед ним, в комнате, около женина туалета и насмешливо мигал ему…

— Пишущая машина! Машина! — шептало привидение, дуя на чиновника сухим холодом. — Деревяжка бесчувственная!

Чиновник укрылся одеялом, но и под одеялом он увидел привидение, прильнул лицом к женину плечу и из-за плеча торчало то же самое… Всю ночь промучился бедный Перекладин, но и днем не оставило его привидение. Он видел его всюду: в надеваемых сапогах, в блюдечке с чаем, в Станиславе…

«И прочие чувства… — думал он. — Это правда, что никаких чувств не было… Пойду сейчас к начальству расписываться… а разве это с чувствами делается? Так, зря… Поздравительная машина»…

Когда Перекладин вышел на улицу и крикнул извозчика, то ему показалось, что вместо извозчика подкатил восклицательный знак.

Придя в переднюю начальника, он вместо швейцара увидел тот же знак… И все это говорило ему о восторге, негодовании, гневе… Ручка с пером тоже глядела восклицательным знаком. Перекладин взял ее, обмакнул перо в чернила в расписался:

«Коллежский секретарь Ефим Перекладин!!!»

И, ставя эти три знака, он восторгался, негодовал, радовался, кипел гневом.

— На́ тебе! На́ тебе! — бормотал он, надавливая на перо.

Огненный знак удовлетворился и исчез.

Ряженые

Выходите на улицу и глядите на ряженых.

Вот солидно, подняв с достоинством голову, шагает что-то нарядившееся *человеком*. Это «что-то» толсто, обрюзгло и плешиво. Одето оно щегольски, по моде и тепло. На груди брелоки, на пальцах массивные перстни. Говорит оно чепуху, но с чувством, с толком, с расстановкой. Оно только что пообедало, напилось елисеевского пойла и теперь решает вопрос: отправиться ли к Адели, лечь ли спать, или же засесть за винт? Через три часа оно будет ужинать, через пять — спать. Завтра проснется в полдень, пообедает, напьется пойла и опять примется за тот же вопрос. Послезавтра тоже… Кто это?



Это — *свинья.*

Вот мчится в роскошных санях старушенция в костюме дамы благотворительницы. Нарядилась она умело: на лице тупая важность, в ногах болонка, на запятках лакей. В саквояже покоятся собранные ею для страждущего человечества 1013 р. 43 к. Из этих денег только 43 коп. получат бедные, остальные же 1013 р. пойдут на расходы по благотворению. Благотворительность она любит, ибо нигде нельзя так много с таким вкусом судачить, перебирать косточки ближних, дьяволить и вылезать сухой из воды, как на почве благотворительности… Хотите знать, кто эта благотворительница?

Это — *чертова перечница.*

Вот бежит *лисица*… Гримировка великолепная: даже рыльце в пушку. Глядит она медово, говорит тенорком, со слезами на глазах. Если послушать ее, то она жертва людской интриги, подвохов, неблагодарности. Она ищет сочувствия, умоляет, чтобы ее поняли, ноет, слезоточит. Слушайте ее, но не попадайтесь ей в лапы. Она обчистит, обделает под орех, пустит без рубахи, ибо она — *антрепренер*.

Вот шествует нарядившийся *рецензентом*. Этот загримировался неудачно. По его бесшабашному

лаю, хватанию за икры, скаленью зубов нетрудно узнать в нем — *цепного пса.*

Несколько поодаль от него прыгает нарядившийся *драматургом*. Этот что-то прячет под полой и робко озирается, словно стянул что-то… Он одет франтом, болтает по-французски и хвастает, что состоит в переписке с Сарду. Талант у него необычайный, печет драмы, как блины, и может писать двумя руками сразу. Но современники не признают его… Они знают, что под оболочкой драматурга скрывается — *закройщик модной мастерской.*

Вот идет субъект, загримировавшийся *забулдыгой*. На нем рваная шапчонка, порыжелое пальто и нечищеные калоши… Он косится на дома и ищет вывески «Питейный дом» или «Трактир». Ему нужно выпить… Пьет он каждые десять минут: днем водку, ночью пиво, утром содовую воду. Состояние «под шофе» — его норма. Только в пьяном виде он и может говорить умно, мыслить, зарабатывать себе кусок хлеба, любить ближнего, презирать. Трезвый же он вял, глуп, жесток. Живет он по-свински. У него ни кола ни двора. Обитает где-то у черта на куличках, на задворках, снимая у вдовы-чиновницы темную и сырую комнату. Семьи у него нет, да и трудно

представить его семейным. Умрет он под забором, но похоронят его с шиком, с некрологами и с речами, потому что он — *талант.*

А вот стоит нарядившийся *талантом.* Он сосредоточен, нахмурен и лаконичен. Не мешайте ему: думает или наблюдает. Раскусить его, что он за птица, трудно, потому что он редко снисходит до откровенности. Обыкновенно он не разборчив, но, встретив где-нибудь в ресторане или на вечере благоговеющего перед талантами юнца, он постарается выложить всю свою «программу»: все на этом свете не годится, все испошлилось, изгадилось, продалось, истрепалось; если человечеству угодно спастись, то оно должно поступать вот этак, не иначе. Тургенев, по его мнению, хорош, но… Толстой тоже хорош, но… Говоря же о своей «программе», он никогда не прибавляет этого «но». Все его не понимают, все подставляют ему ножку, но тем не менее он всюду сует свой нос, всюду нюхает, везде вертится как черт перед заутреней. Его выносят, не гонят, потому что на безрыбье и рак рыба и потому, что в России до конца дней можно быть «начинающим и подающим надежды». Своей работе он придает громадное значение и потому бережет себя, как зеницу ока. Он не пьет, часто ездит лечиться и оберегает себя

строгим комфортом. Дома, когда он сидит у себя в кабинете и творит «новое слово», все ходят на цыпочках. Храни бог, если в кабинете не 15 градусов, если за дверью звякнет блюдечко или запищит ребенок — он схватит себя за волосы и грудным голосом скажет: «Прррроклятие… Нечего сказать, хороша жизнь писательская!» Когда он пишет, он священнодействует: морщит лоб, кусает перо, пыхтит, сопит, то и дело зачеркивает… Чтобы выжать из мозгов мысль, остроту, удачное сравнение, он пускает в дело пресс в сорок лошадиных сил; чтобы быть реальным, художественным, он тянется к аршину, фотографии, манекенам. Работает он только для искусства… Впрочем, если г. Вольфу угодно будет предложить ему заказ в 10 листов по 300 руб. за лист, то он возблагодарит создателя… Вероятно, вы его уже узнали…

Это — *гусь лапчатый.*

Новогодние великомученики

На улицах картина ада в золотой раме. Если бы не праздничное выражение на лицах дворников и городовых, то можно было бы подумать, что к столице подступает неприятель. Взад и вперед, с треском и шумом снуют парадные сани и кареты. На тротуарах, высунув языки и тараща глаза, бегут визитеры… Бегут они с таким азартом, что ухвати жена Пантефрия какого-нибудь бегущего коллежского регистратора за фалду, то у нее в руках осталась бы не одна только фалда, но весь чиновничий бок с печенками и с селезенками…

Вдруг слышится пронзительный полицейский свист. Что случилось? Дворники отрываются от своих позиций и бегут к свистку…

— Разойдитесь! Идите дальше! Нечего вам здесь глядеть! Мертвых людей никогда не видали, что ли? Нарррод…

У одного из подъездов на тротуаре лежит прилично одетый человек в бобровой шубе и новых резиновых калошах… Возле его мертвецки бледного, свежевыбритого лица валяются разбитые очки. Шуба на груди распахнулась, и собравшаяся толпа видит кусочек фрака и Станислава третьей

степени. Грудь медленно и тяжело дышит, глаза закрыты…

— Господин! — толкает городовой чиновника. — Господин, не велено тут лежать! Ваше благородие!

Но господин — ни гласа, ни воздыхания… Повозившись с ним минут пять и не приведя его в чувство, блюстители кладут его на извозчика и везут в приемный покой…

— Хорошие штаны! — говорит городовой, помогая фельдшеру раздеть больного. — Должно, рублей шесть стоят. И жилетка ловкая… Ежели по штанам судить, то из благородных…

В приемном покое, полежав часа полтора и выпив целую склянку валерьяны, чиновник приходит в чувство… Узнают, что он титулярный советник Герасим Кузьмич Синклетеев.

— Что у вас болит? — спрашивает его полицейский врач.

— С Новым годом, с новым счастьем… — бормочет он, тупо глядя в потолок и тяжело дыша.

— И вас также… Но… что у вас болит? Отчего вы упали? Припомните-ка! Вы пили что-нибудь?

— Не… нет..

— Но отчего же вам дурно сделалось?

— Ошалел-с… Я… я визиты делал…

— Много, стало быть, визитов сделали?

— Не… нет, не много-с… От обедни пришедши… выпил я чаю и пошел к Николаю Михайлычу… Тут, конечно, расписался… Оттеда пошел на Офицерскую… к Качалкину… Тут тоже расписался… Еще помню, тут в передней меня сквозняком продуло… От Качалкина на Выборгскую сходил, к Ивану Иванычу… Расписался…

— Еще одного чиновника привезли! — докладывает городовой.

— От Ивана Иваныча, — продолжает Синклетеев, — к купцу Хрымову рукой подать… Зашел поздравить… с семейством… Предлагают выпить для праздника… А как не выпить? Обидишь, коли не выпьешь… Ну, выпил рюмки три… колбасой закусил… Оттеда на Петербургскую сторону к Лиходееву… Хороший человек…

— И все пешком?

— Пешком-с… Расписался у Лиходеева… От него пошел к Пелагее Емельяновне… Тут завтракать посадили и кофеем попотчевали. От кофею распарился, оно, должно быть, в голову и ударило… От Пелагеи Емельяновны пошел к Облеухову… Облеухова Василием звать, именинник… Не съешь именинного пирога — обидишь…

— Отставного военного и двух чиновников

привезли! — докладывает городовой.

— Съел кусок пирога, выпил рябиновой и пошел на Садовую к Изюмову… У Изюмова холодного пива выпил… в горло ударило… От Изюмова к Кошкину, потом к Карлу Карлычу… оттеда к дяде Петру Семенычу… Племянница Настя шоколатом попоила… Потом к Ляпкину зашел… Нет, вру, не к Ляпкину, а к Дарье Никодимовне… От нее уж к Ляпкину пошел… Ну-с, и везде хорошо себя чувствовал… Потом у Иванова, Курдюкова и Шиллера был, у полковника Порошкова был, и там себя хорошо чувствовал… У купца Дунькина был… Пристал ко мне, чтоб я коньяк пил и сосиску с капустой ел… Выпил я рюмки три… пару сосисок съел — и тоже ничего… Только уж потом, когда от Рыжова выходил, почувствовал в голове… мерцание… Ослабел… Не знаю, отчего…

— Вы утомились… Отдохните немного, и мы вас домой отправим…

— Нельзя мне домой… — стонет Синклетеев. — Нужно еще к зятю Кузьме Вавилычу сходить… к экзекутору, к Наталье Егоровне… У многих я еще не был…

— И не следует ходить.

— Нельзя… Как можно с Новым годом не поздравить? Нужно-с… Не сходи к Наталье Егоровне,

так жить не захочешь… Уж вы меня отпустите, г. доктор, не невольте…

Синклетеев поднимается и тянется к одежде.

— Домой езжайте, если хотите, — говорит доктор, — но о визитах вам думать даже нельзя…

— Ничего-с, бог поможет… — вздыхает Синклетеев. — Я потихонечку пойду…

Чиновник медленно одевается, кутается в шубу и, пошатываясь, выходит на улицу.

— Еще пятерых чиновников привезли! — докладывает городовой. — Куда прикажете положить?

Шампанское
(Мысли с новогоднего похмелья)



Не верьте шампанскому... Оно искрится, как алмаз, прозрачно, как лесной ручей, сладко, как нектар; ценится оно дороже, чем труд рабочего, песнь поэта, ласка женщины, но... подальше от него! Шампанское — это блестящая кокотка, мешающая прелесть свою с ложью и наглостью Гоморры, это позлащенный гроб, полный костей мертвых и всякия нечистоты. Человек пьет его только в часы скорби, печали и оптического

обмана.

Он пьет его, когда бывает богат, пресыщен, то есть когда ему пробраться к свету так же трудно, как верблюду пролезть сквозь игольное ушко.

Оно есть вино укравших кассиров, альфонсов, безуздых саврасов, кокоток.

Где пьяный разгул, разврат, объегориванье ближнего, торжество гешефта, там прежде всего ищите шампанского. Платят за него не трудовые деньги, а шальные, лишние, бешеные, часто чужие…

Вступая на скользкий путь, женщина всегда начинает с шампанского, — потому-то оно и шипит, как змея, соблазнившая Еву!

Пьют его обручаясь и женясь, когда за две-три иллюзии принимают на себя тяжелые вериги на всю жизнь.

Пьют его на юбилеях, разбавляя лестью и водянистыми речами, за здоровье юбиляра, стоящего обыкновенно уже одною ногою в могиле.

Когда вы умерли, его пьют ваши родственники от радости, что вы оставили им наследство.

Пьют его при встрече Нового года: с бокалами в руках кричат ему «ура» в полной уверенности, что ровно через 12 месяцев дадут этому году по шее и начихают ему на голову. Короче, где ра-

дость по заказу, где купленный восторг, лесть, словоблудие, где пресыщение, тунеядство и свинство, там вы всегда найдете вдову Клико. Нет, подальше от шампанского!

Визитные карточки

Передо мною на столе визитные карточки, которыми почтили меня на Новый год мои добрые знакомые. Прислали они мне их для того, чтобы почтальон сбил новые подметки и лишний раз подмигнул моей горничной. Один древний мудрец сказал: «Скажи мне, от кого ты получаешь визитные карточки, и я скажу, с кем ты знаком». Если кому интересно знать моих знакомых, то вот они — карточки:

Графская корона. Под нею буквы не то в готическом, не то в пошехонском стиле: «Потомственный почетный гражданин Клим Иванович Оболдеев».

Карточка с золотым ободком и загнутым углом. «Jean Pificoff». Этот Жан — здоровеннейший мужчина, говорящий хриплым басом, пахнущий уксусом и вечно ищущий по свету, где оскорбленному есть чувству… рюмка водки и рубль взаймы.

«Надворный советник и кавалер Геморрой Диоскорович Лодкин».

«Савватий Паникадилович Пищик-Заблудовский, член общества покровительства животным,

агент страхового от огня общества „Саламандра“, корреспондент журнала „Волна“, комиссионер по продаже швейных машин Зингера и Комп. и проч.».

«Франц Эмилиевич Антр-Ну-Суади[170], преподаватель бальных танцев и французского языка».

«Иеромонах Иеремия».

Княжеская корона. «Ученик VI класса Валентин Сысоевич Бумажкин».

Корона неопределенного свойства. «Действительный статский советник Эраст Кринолинович Стремглавов».

«Князь Агоп Минаевич Обшиавишили. Магазин южнобережных и кахетинских вин». Далее: помощник присяжного поверенного Митрофан Алексеевич Красных, Дизентерия Александровна Громоздкая, Никита Спевсипович Уехал… Диакон Петр Хлебонасущенский… Сотрудник журнала «Ребус» Иван Иванович Дьяволов… Редактор журнала «Луч» Юдофоб Юдофобович Окрейц и проч…

---

[170] Примечания: 170
Между нами будь сказано (фр. entre nous soit dit).

Письма

I. Открытое письмо к г. Окрейцу

М. г.! Просьбу Вашу — рекомендовать журнал «Луч» знакомым — я исполнил. Но так как все мои знакомые живут далеко от меня, то мне приходилось ездить к ним на извозчике или же рекомендовать им Ваш уважаемый журнал по городской почте. На извозчиков и на марки я истратил 8 руб. 85 коп. Думаю, что Вы будете настолько джентльмен, что поспешите выслать мне эти деньги.

Примите и проч.

Р. Смирнов.

Гор. Жиздра, д. Хилкиной.

II. Тоже открытое письмо к разным лицам

Я положительно популярен. В сражениях я никогда не бывал, мониторов не взрывал и телефонов не изобретал, но тем не менее я почему-то известен в Петербурге, Москве и даже в Гамбурге. В самое короткое время я получил множество приглашений и писем от следующих почтен-

ных лиц и учреждений: от банкирской конторы Клима, от Гамбургской лотереи, от Санкт-Петербургской мастерской учебных пособий, пять объявлений от редакции журнала «Новь», от «Живописного обозрения», от г. Леухина, от картографического магазина Ильина и от многих других лиц. Удивительно, откуда они могли узнать меня и мой адрес? Принося означенным лицам и учреждениям искреннюю мою благодарность за их лестное для меня внимание, я тем не менее прошу их прекратить эту беспрерывную и частую корреспонденцию, так как она причиняет мне массу неудобств: почтальоны обрывают звонок, а масса писем порождает в обывателях и блюстителях порядка недоумения, сомнения и подозрительность по отношению к моему образу мыслей.

III. Письмо в редакцию «Осколков»

Г-н редактор! Слышны жалобы на то, что мы не дозрели, что мы отстали от Западной Европы… И действительно, отстали на целых 12 дней! Но ведь так легко догнать: стоило бы только первый день нового года считать не первым января, а 13-м. Мы стали бы тогда наряду со всей Европой!

Неудобств для этого, казалось бы, никаких.

Экая важность, что дамы и девицы внезапно на 12 лишних дней постареют! Чиновники даже очень рады были бы: скорее жалованье получат. Конечно, для суеверных людей страшно начинать год с 13-го числа. Но разве цивилизация должна церемониться с суеверными людьми? А то, право, стыдно. Тогда, может быть, и курс совсем поднялся бы.

Примите и пр.

Подписчик № 11378.

IV. В редакцию «Радуги»

Будучи, как и дочь моя Зинаида, любителем сценических искусств, имею честь просить уважаемого г. Мансфельда сочинить мне для домашнего обихода четыре комедии, три драмы и две трагедии погамлетистее, на каковой предмет по изготовлении их вышлю три рубля. Сдачу прошу переслать почтовыми марками. При сем считаю долгом присовокупить, что мои соседи, выписывавшие произведения г. Мансфельда оптом и в розницу, весьма довольны и благодарят за дешевизну. Хвалят у нас и г. Метцля за его доброту. Видя, что в «Радугу» не помещаются все произведения г. Мансфельда, он исключительно для них только стал издавать еще «Эпоху». Какая

редкая доброта!

Примите и проч.

Полковник Кочкарев.

Пенза, 2-го января.

Художество

Хмурое зимнее утро.

На гладкой и блестящей поверхности речки Быстрянки, кое-где посыпанной снегом, стоят два мужика: куцый Сережка и церковный сторож Матвей. Сережка, малый лет тридцати, коротконогий, оборванный, весь облезлый, сердито глядит на лед. Из его поношенного полушубка, словно на линяющем псе, отвисают клочья шерсти. В руках он держит циркуль, сделанный из двух длинных спиц. Матвей, благообразный старик, в новом тулупе и валенках, глядит кроткими голубыми глазами наверх, где на высоком отлогом берегу живописно ютится село. В руках у него тяжелый лом.

— Что ж, это мы до вечера так будем стоять, сложа руки? — прерывает молчание Сережка, вскидывая свои сердитые глаза на Матвея. — Ты стоять сюда пришел, старый шут, или работать?

— Так ты тово… показывай… — бормочет Матвей, кротко мигая глазами…

— Показывай… Все я: я и показывай, я и делай. У самих ума нет! Мерять чиркулем, вот нужно что! Не вымерямши, нельзя лед ломать. Меряй!

Бери чиркуль!

Матвей берет из рук Сережки циркуль и неумело, топчась на одном месте и тыча во все стороны локтями, начинает выводить на льду окружность. Сережка презрительно щурит глаза и, видимо, наслаждается его застенчивостью и невежеством.

— Э-э-э! — сердится он. — И того уж не можешь! Сказано, мужик глупый, деревенщина! Тебе гусей пасти, а не Иордань делать! Дай сюда чиркуль! Дай сюда, тебе говорю!

Сережка рвет из рук вспотевшего Матвея циркуль и в одно мгновение, молодцевато повернувшись на одном каблуке, чертит на льду окружность. Границы для будущей Иордани уже готовы; теперь остается только колоть лед…

Но прежде чем приступить к работе, Сережка долго еще ломается, капризничает, попрекает:

— Я не обязан на вас работать! Ты при церкви служишь, ты и делай!

Он, видимо, наслаждается своим обособленным положением, в какое поставила его теперь судьба, давшая ему редкий талант — удивлять раз в год весь мир своим искусством. Бедному, кроткому Матвею приходится выслушать от него много ядовитых, презрительных слов. Принима-

ется Сережка за дело с досадой, с сердцем. Ему лень. Не успел он начертить окружность, как его уже тянет наверх в село пить чай, шататься, пустословить.



— Я сейчас приду… — говорит он, закуривая. — А ты тут пока, чем так стоять и считать ворон, принес бы на чем сесть, да подмети.

Матвей остается один.

Воздух сер и неласков, но тих. Из-за разбросанных по берегу изб приветливо выглядывает белая церковь.

Около ее золотых крестов, не переставая, кружатся галки. В сторону от села, где берег обрывается и становится крутым, над самой кручей стоит спутанная лошадь неподвижно, как каменная, — должно быть, спит или задумалась.

Матвей стоит тоже неподвижно, как статуя, и терпеливо ждет. Задумчиво-сонный вид реки, круженье галок и лошадь нагоняют на него дремоту. Проходит час, другой, а Сережки все нет. Давно уже река подметена и принесен ящик, чтоб сидеть, а пьянчуга не показывается. Матвей ждет и только позевывает. Чувство скуки ему незнакомо. Прикажут ему стоять на реке день, месяц, год, и он будет стоять.

Наконец Сережка показывается из-за изб. Он идет вразвалку, еле ступая. Идти далеко, лень, и он спускается не по дороге, а выбирает короткий путь, сверху вниз по прямой линии, и при этом вязнет в снегу, цепляется за кусты, ползет на спине — и все это медленно, с остановками.

— Ты что же это? — набрасывается он на Матвея. — Что без дела стоишь? Когда же колоть лед?

Матвей крестится, берет в обе руки лом и начинает колоть лед, строго придерживаясь начерченной окружности.

Сережка садится на ящик и следит за тяжелыми, неуклюжими движениями своего помощника.

— Легче у краев! Легче! — командует он. — Не умеешь, так не берись, а коли взялся, так делай. Ты!

Наверху собирается толпа. Сережка, при виде зрителей, еще больше волнуется.

— Возьму и не стану делать… — говорит он, закуривая вонючую папиросу и сплевывая. — Погляжу, как вы без меня тут. В прошлом годе в Костюкове Степка Гульков взялся по-моему Иордань строить. И что ж? Смех один вышел. Костюковские к нам же и пришли — видимо-невидимо! Изо всех деревень народу навалило.

— Потому окроме нас нигде настоящей Иордани…

— Работай, некогда разговаривать… Да, дед… Во всей губернии другой такой Иордани не найдешь. Солдаты сказывают, поди-ка поищи, в городах даже хуже. Легче, легче!

Матвей кряхтит и отдувается. Работа нелегкая. Лед крепок и глубок; нужно его скалывать и тотчас же уносить куски далеко в сторону, чтобы не

загромождать площади.

Но как ни тяжела работа, как ни бестолкова команда Сережки, к трем часам дня на Быстрянке уже темнеет большой водяной круг.

— В прошлом годе лучше было… — сердится Сережка. — И этого даже ты не мог сделать! Э, голова! Держат же таких дураков при храме божием! Ступай, доску принеси колышки делать! Неси круг, ворона! Да того… хлеба захвати где-нибудь… огурцов, что ли.

Матвей уходит и, немного погодя, приносит на плечах громадный деревянный круг, покрашенный еще в прежние годы, с разноцветными узорами. В центре круга красный крест, по краям дырочки для колышков. Сережка берет этот круг и закрывает им прорубь.

— Как раз… годится… Подновим только краску и за первый сорт… Ну, что ж стоишь? Делай аналой! Или того… ступай бревна принеси, крест делать…

Матвей, с самого утра ничего не евший и не пивший, опять плетется на гору. Как ни ленив Сережка, но колышки он делает сам, собственноручно. Он знает, что эти колышки обладают чудодейственной силою: кому достанется колышек после водосвятия, тот весь год будет

счастлив. Такая ли работа неблагодарна?

Но самая настоящая работа начинается со следующего дня. Тут Сережка являет себя перед невежественным Матвеем во всем величии своего таланта. Его болтовне, попрекам, капризам и прихотям нет конца. Сколачивает Матвей из двух больших бревен высокий крест, он недоволен и велит переделывать. Стоит Матвей, Сережка сердится, отчего он не идет; он идет, Сережка кричит ему, чтобы он не шел, а работал. Не удовлетворяют его ни инструменты, ни погода, ни собственный талант; ничто не нравится.

Матвей выпиливает большой кусок льда для аналоя.

— Зачем же ты уголок отшиб? — кричит Сережка и злобно таращит на него глаза. — Зачем же ты, я тебя спрашиваю, уголок отшиб?

— Прости, Христа ради.

— Делай сызнова!

Матвей пилит снова… и нет конца его мукам! Около проруби, покрытой изукрашенным кругом, должен стоять аналой; на аналое нужно выточить крест и раскрытое Евангелие. Но это не все. За аналоем будет стоять высокий крест, видимый всей толпе и играющий на солнце, как осыпанный алмазами и рубинами. На кресте

голубь, выточенный из льда. Путь от церкви к Иордани будет посыпан елками и можжевельником. Такова задача.



Прежде всего Сережка принимается за аналой. Работает он терпугом, долотом и шилом. Крест на аналое, Евангелие и епитрахиль, спускающаяся с аналоя, удаются ему вполне. Затем приступает к голубю. Пока он старается выточить на лице голубя кротость и смиренномудрие, Матвей, поворачиваясь как медведь, обделывает крест, сколоченный из бревен. Он берет крест и окунает его в прорубь. Дождавшись, когда вода замерзнет на кресте, он окунает его в другой раз, и так до

тех пор, пока бревна не покроются густым слоем льда… Работа нелегкая, требующая и избытка сил и терпения.

Но вот тонкая работа кончена. Сережка бегает по селу, как угорелый. Он спотыкается, бранится, клянется, что сейчас пойдет на реку и сломает всю работу. Это он ищет подходящих красок.

Карманы у него полны охры, синьки, сурика, медянки; не заплатив ни копейки, он опрометью выбегает из одной лавки и бежит в другую. Из лавки рукой подать в кабак. Тут выпьет, махнет рукой и, не заплатив, летит дальше. В одной избе берет он свекловичных бураков, в другой луковичной шелухи, из которой делает он желтую краску. Он бранится, толкается, грозит и… хоть бы одна живая душа огрызнулась! Все улыбаются ему, сочувствуют, величают Сергеем Никитичем, все чувствуют, что художество есть не его личное, а общее, народное дело. Один творит, остальные ему помогают. Сережка сам по себе ничтожество, лентяй, пьянчуга и мот, но когда он с суриком или циркулем в руках, то он уже нечто высшее, божий слуга.

Настает крещенское утро. Церковная ограда и оба берега на далеком пространстве кишат народом. Все, что составляет Иордань, стара-

тельно скрыто под новыми рогожами. Сережка смирно ходит около рогож и старается побороть волнение. Он видит тысячи народа: тут много и из чужих приходов; все эти люди в мороз, по снегу прошли немало верст пешком только затем, чтобы увидеть его знаменитую Иордань. Матвей, который кончил свое чернорабочее, медвежье дело, уже опять в церкви; его не видно, не слышно; про него уже забыли… Погода прекрасная… На небе ни облачка. Солнце светит ослепительно.

Наверху раздается благовест… Тысячи голов обнажаются, движутся тысячи рук, — тысячи крестных знамений!

И Сережка не знает, куда деваться от нетерпения. Но вот, наконец, звонят к «Достойно»; затем, полчаса спустя, на колокольне и в толпе заметно какое-то волнение. Из церкви одну за другою выносят хоругви, раздается бойкий, спешащий трезвон. Сережка дрожащей рукой сдергивает рогожи… и народ видит нечто необычайное. Аналой, деревянный круг, колышки и крест на льду переливают тысячами красок. Крест и голубь испускают из себя такие лучи, что смотреть больно… Боже милостивый, как хорошо! В толпе пробегает гул удивления и восторга; трезвон делается еще громче, день еще яснее. Хоругви

колышатся и двигаются над толпой, точно по волнам. Крестный ход, сияя ризами икон и духовенства, медленно сходит вниз по дороге и направляется к Иордани. Машут колокольне руками, чтобы там перестали звонить, и водосвятие начинается. Служат долго, медленно, видимо, стараясь продлить торжество и радость общей народной молитвы. Тишина.

Но вот погружают крест, и воздух оглашается необыкновенным гулом. Пальба из ружей, трезвон, громкие выражения восторга, крики и давка в погоне за колышками. Сережка прислушивается к этому гулу, видит тысячи устремленных на него глаз, и душа лентяя наполняется чувством славы и торжества.

Ночь на кладбище
(Святочный рассказ)

— Расскажите, Иван Иваныч, что-нибудь страшное!

Иван Иваныч покрутил ус, кашлянул, причмокнул губами и, придвинувшись к барышням, начал:

— Рассказ мой начинается, как начинаются вообще все лучшие русские сказания: был я, признаться, выпивши… Встречал я новый год у одного своего старинного приятеля и нализался, как сорок тысяч братьев. В свое оправдание должен я сказать, что напился я вовсе не с радости. Радоваться такой чепухе, как новый год, по моему мнению, нелепо и недостойно человеческого разума. Новый год такая же дрянь, как и старый, с тою только разницею, что старый год был плох, а новый всегда бывает хуже… По-моему, при встрече нового года нужно не радоваться, а страдать, плакать, покушаться на самоубийство. Не надо забывать, что чем новее год, тем ближе к смерти, тем обширнее плешь, извилистее морщины, старее жена, больше ребят, меньше денег…

Итак, напился я с горя… Когда я вышел от приятеля, то соборные часы пробили ровно два. Погода на улице стояла подлейшая… Сам черт не разберет, была то зима или осень. Темнота кругом такая, что хоть глаза выколи: глядишь-глядишь и ничего не видишь, словно тебя в жестянку с ваксой посадили. Порол дождь… Холодный и резкий ветер выводил ужасные нотки; он выл, плакал, стонал, визжал, точно в оркестре природы дирижировала сама ведьма. Под ногами жалобно всхлипывала слякоть; фонари глядели тускло, как заплаканные вдовы… Бедная природа переживала фридрих-гераус… Короче, была погода, которой порадовался бы тать и разбойник, но не я, смиренный и пьяненький обыватель. Меня повергла она в грустное настроение…

«Жизнь — канитель… — философствовал я, шлепая по грязи и пошатываясь. — Пустое, бесцветное прозябание… мираж… Дни идут за днями, годы за годами, а ты все такая же скотина, как и был… Пройдут еще годы, и ты останешься все тем же Иваном Ивановичем, выпивающим, закусывающим, спящим… В конце концов закопают тебя, болвана, в могилу, поедят на твой счет поминальных блинов и скажут: хороший был человек, но жалко, подлец, мало денег оставил!..»

Шел я с Мещанской на Пресню — дистанция для выпившего почтенная… Пробираясь по темным и узким переулкам, я не встретил ни одной живой души, не услышал ни одного живого звука. Боясь набрать в калоши, я сначала шел по тротуару, потом же, когда, несмотря на предосторожности, мои калоши начали жалобно всхлипывать, я свернул на дорогу: тут меньше шансов наткнуться на тумбу или свалиться в канаву…

Мой путь был окутан холодной, непроницаемой тьмой; сначала я встречал по дороге тускло горящие фонари, потом же, когда я прошел два-три переулка, исчезло и это удобство. Приходилось пробираться ощупью… Вглядываясь в потемки и слыша над собой жалобный вой ветра, я торопился. Душу мою постепенно наполнял неизъяснимый страх. Этот страх обратился в ужас, когда я стал замечать, что я заблудился, сбился с пути.

«Извозчик!» — закричал я.

Ответа не последовало… Тогда я порешил идти прямо, куда глаза глядят, зря, в надежде, что рано или поздно я выйду на большую улицу, где есть фонари и извозчики. Не оглядываясь, боясь взглянуть в сторону, я побежал… Навстречу мне дул резкий, холодный ветер, в глаза хлестал крупный

дождь… То я бежал по тротуарам, то по дороге… Как уцелел мой лоб после частых прикосновений к тумбам и фонарным столбам, мне решительно непонятно.

Иван Иваныч выпил рюмку водки, покрутил другой ус и продолжал:

— Не помню, как долго я бежал… Помню только, что в конце концов я споткнулся и больно ударился о какой-то странный предмет… Видеть его я не мог, а осязавши, я получил впечатление чего-то холодного, мокрого, гладко ошлифованного… Я сел на него, чтобы отдохнуть… Не стану злоупотреблять вашим терпением, а скажу только, что, когда, немного спустя, я зажег спичку, чтобы закурить папиросу, я увидел, что я сижу на могильной плите…

Я, не видевший тогда вокруг себя ничего, кроме тьмы, и не слышавший ни одного человеческого звука, увидев могильную плиту, в ужасе закрыл глаза и вскочил… Сделав шаг от плиты, я наткнулся на другой предмет… И представьте мой ужас! Это был деревянный крест…

«Боже мои, я попал на кладбище! — подумал я, закрывая руками лицо и опускаясь на плиту. — Вместе того, чтобы идти в Пресню, я побрел в Ваганьково!»

Не боюсь я ни кладбищ, ни мертвецов… Свободен я от предрассудков и давно уже отделался от нянюшкиных сказок, но, очутившись среди безмолвных могил темною ночью, когда стонал ветер и в голове бродили мысли одна мрачнее другой, я почувствовал, как волосы мои стали дыбом и по спине разлился внутренний холод…

«Не может быть! — утешал я себя. — Это оптический обман, галлюцинация…

Все это кажется мне оттого, что в моей голове сидят Депре, Бауэр и Арабажи… Трус!»

И в то время, когда я бодрил себя таким образом, я услышал тихие шаги… Кто-то медленно шел, но… то были не человеческие шаги… для человека они были слишком тихи и мелки…



«Мертвец», — подумал я.

Наконец этот таинственный «кто-то» подошел ко мне, коснулся моего колена и вздохнул… Засим я услышал вой… Вой был ужасный, могильный, тянущий за душу… Если вам страшно слушать нянек, рассказывающих про воющих мертвецов, то каково же слышать самый вой! Я отупел и окаменел от ужаса… Депре, Бауэр и Арабажи выскочили из головы, и от пьяного состояния не осталось и следа… Мне казалось, что если я от-

крою глаза и рискну взглянуть на тьму, то увижу бледно-желтое, костлявое лицо, полусгнивший саван…

«Боже, хоть бы скорее утро», — молился я.

Но, пока наступило утро, мне пришлось пережить один невыразимый и не поддающийся описанию ужас. Сидя на плите и слушая вой обитателя могилы, я вдруг услышал новые шаги… Кто-то, тяжело и мерно ступая, шел прямо на меня… Поравнявшись со мной, новый выходец из могилы вздохнул, и минуту спустя холодная, костлявая рука тяжело опустилась на мое плечо… Я потерял сознание.

Иван Иваныч выпил рюмку водки и крякнул.

— Ну? — спросили его барышни.

— Очнулся я в маленькой квадратной комнате… В единственное решетчатое окошечко слабо пробивался рассвет… «Ну, — подумал я, — это, значит, меня мертвецы к себе в склеп затащили». Но какова была моя радость, когда я услышал за стеной человеческие голоса:

«Где ты его взял?» — допрашивал чей-то бас.

«Около монументной лавки Белобрысова, ваше благородие, — отвечал другой бас, — где памятники и кресты выставлены. Гляжу, а он сидит и обнимает памятник, а около него чей-то пес

воет… Должно, выпивши…»

Утром, когда я проснулся, меня выпустили…

Неудача

Илья Сергеич Пеплов и жена его Клеопатра Петровна стояли у двери и жадно подслушивали. За дверью, в маленькой зале, происходило, по-видимому, объяснение в любви; объяснялись их дочь Наташенька и учитель уездного училища Щупкин.

— Клюет! — шептал Пеплов, дрожа от нетерпения и потирая руки. — Смотри же, Петровна, как только заговорят о чувствах, тотчас же снимай со стены образ и идем благословлять… Накроем… Благословение образом свято и ненарушимо… Не отвертится тогда, пусть хоть в суд подает.

А за дверью происходил такой разговор:

— Оставьте ваш характер! — говорил Щупкин, зажигая спичку о свои клетчатые брюки. — Вовсе я не писал вам писем!

— Ну да! Будто я не знаю вашего почерка! — хохотала, девица, манерно взвизгивая и то и дело поглядывая на себя в зеркало. — Я сразу узнала! И какие вы странные! Учитель чистописания, а почерк как у курицы! Как же вы учите писать, если сами плохо пишете?

— Гм!.. Это ничего не значит-с. В чистописании

главное не почерк, главное, чтоб ученики не забывались. Кого линейкой по голове ударишь, кого на колени… Да что почерк! Пустое дело! Некрасов писатель был, а совестно глядеть, как он писал. В собрании сочинений показан его почерк.

— То Некрасов, а то вы… (вздох). Я за писателя с удовольствием бы пошла. Он постоянно бы мне стихи на память писал!

— Стихи и я могу написать вам, ежели желаете.

— О чем же вы писать можете?

— О любви… о чувствах… о ваших глазах… Прочтете — очумеете… Слеза прошибет! А ежели я напишу вам поэтические стихи, то дадите тогда ручку поцеловать?

— Велика важность!.. Да хоть сейчас целуйте!

Щупкин вскочил и, выпучив глаза, припал к пухлой, пахнущей яичным мылом, ручке.

— Снимай образ! — заторопился Пеплов, толкнув локтем свою жену, бледнея от волнения и застегиваясь. — Идем! Ну!

И, не медля ни секунды, Пеплов распахнул дверь.

— Дети… — забормотал он, воздевая руки и слезливо мигая глазами. — Господь вас благословит, дети мои… Живите… плодитесь… размножай-

тесь…

— И… и я благословляю… — проговорила мамаша, плача от счастья. — Будьте счастливы, дорогие! О, вы отнимаете у меня единственное сокровище! — обратилась она к Щупкину. — Любите же мою дочь, жалейте ее…

Щупкин разинул рот от изумления и испуга. Приступ родителей был так внезапен и смел, что он не мог выговорить ни одного слова.

«Попался! Окрутили! — подумал он, млея от ужаса. — Крышка теперь тебе, брат! Не выскочишь!»

И он покорно подставил свою голову, как бы желая сказать: «Берите, я побежден!»

— Бла… благословляю… — продолжал папаша и тоже заплакал. — Наташенька, дочь моя… становись рядом… Петровна, давай образ…

Но тут родитель вдруг перестал плакать, и лицо у него перекосило от гнева.



— Тумба! — сердито сказал он жене. — Голова твоя глупая! Да нешто это образ?

— Ах, батюшки-светы!

Что случилось? Учитель чистописания несмело поднял глаза и увидел, что он спасен: мамаша впопыхах сняла со стены вместо образа портрет писателя Лажечникова. Старик Пеплов и его супруга Клеопатра Петровна, с портретом в руках, стояли сконфуженные, не зная, что им делать и что говорить. Учитель чистописания воспользовался смятением и бежал.

К сведению мужей
(Научная статья)

По мере того как прогрессировала человеческая мысль, вместе с другими насущными вопросами разрабатывались и способы покорения чужих жен. Эти способы могут служить прекрасным мерилом человеческого развития. Чем тоньше и грациознее способ, тем совершеннее человек — и наоборот. Оставляя в стороне способы, которые употребляются австралийскими дикарями и московским купечеством, все ныне употребляемые способы легко можно подвести под несколько определенных типов.

Самый обычный и употребительный — это *старый способ*, известный добродетельным людям по романам. Тут на первом плане томное выражение лица, загадочно-жгучий взор, провожание, «понимание друг друга без слов», просиживание по целым часам рядом на диване, романсы, записочки и прочая канитель. Барыня «терпит» около себя вздыхателя, смеется над ним вместе с мужем, но уехал муж — чичисбей, не зевай: барыня «фатально» падает и просит никому не

говорить. Этот способ очень любим и поощряется барынями лет 26–35. Он легок, а потому и употребляется чаще всего людьми неизобретательными, юными и нищими духом. В большом ходу он у младших межевых чиновников, мелких железнодорожников и отставных юнкеров.

Способ кузенов. Тут измена бывает непреднамеренная. Она происходит без предисловий, без приготовлений, а нечаянно, сама собою, где-нибудь на даче или в карете, под влиянием неосторожно выпитого шампанского или чудной лунной ночи.

Способ по теории нищей братии: просите и дастся вам. Не справляясь, нравитесь вы ей или нет, вы с первого же абцуга начинаете приставать к ней, как банный лист, как репейник… Вы не отходите от нее ни на один шаг и в этом отношении соперничаете с ее тенью: она от вас, вы за ней… Комплименты, любезности, объяснения в любви — ваша речь. Вы умоляете, клянетесь, обещаете застрелиться… Вам смеются в лицо, вас отталкивают, презирают, пугают гневом мужа, но тем не менее вы смело идете дальше. Улучив удобную минутку, вы падаете на колени, прижимаетесь к ее руке… Она вспыхивает, плюет, бьет вас по щеке, но вы не идете вспять… Как истый нищий,

вы продолжаете подавать ей шубку, прислуживать за ужином, заглядывать умоляюще в глаза… Вам, наконец, грубо отказывают от дома. Но и это не беда. У вас еще в запасе бомбардировка письмами и подсылка третьих лиц. И к тому же, где бы она ни была вне дома, она всюду видит вас: в театре, на скачках, в собрании… «Подайте милостыньку!» — умоляют ее ваши глаза. И так далее. Проходит полгода, год… и скала трогается. В конце концов к вам или привыкают, или же подают вам милостыню для того только, чтобы отвязаться… Главное, нужно помнить, что aqua cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo[171].

Способ ошеломляющий, когда вы берете жену приступом, во что бы то ни стало, не жалея ни смелости, ни нахальства. Тут действуете вы наудачу, напролом и… если не вылетите из окна третьего этажа, или не сломаете шеи, кувыркаясь вниз по крутой лестнице, то вас можно поздравить с полным успехом. Женщины вообще не против ошеломляющих моментов.

Способ à la граф Нулин, нередко практикуемый проезжими поручиками и адвокатами, едущими на съезд мировых судей. Из 100 случаев не удают-

---

[171] Примечания: 171

Капля долбит камень не силою, но частым падением (лат.).

ся только 5, да и то по не зависящим от редакции обстоятельствам.

Способ тонкий. Самый умный, ехидный и самый опасный для мужей. Понятен он только психологам и знатокам женского сердца. По этому способу вы, покоряя чью-нибудь жену, держите себя как можно дальше от нее. Почувствовав к ней влечение, род недуга, вы перестаете бывать у нее, встречаетесь с ней возможно реже, мельком… Тут вы действуете на расстоянии. Все дело в некоторого рода гипнотизации.

Она не должна видеть, но должна чувствовать вас, как кролик чувствует взгляд удава. Гипнотизируете вы ее не взглядом, а ядом вашего языка, причем самой лучшей передаточной проволокой может служить сам муж…

Вот вы встречаете мужа где-нибудь в клубе или в театре…

— А как поживает ваша супруга? — спрашиваете вы его между прочим. — Милейшая женщина! Ужасно она мне нравится! То есть черт знает, как нравится!

— Гм… Чем же это она вам так понравилась? — спрашивает довольный супруг.

— И вы еще спрашиваете?! Прелестнейшее, поэтическое создание… Впрочем, вы, мужья,

прозаики, не понимаете!.. Поймите, что это идеальная женщина! Я радуюсь за вас! Таких-то именно в наше время и нужно женщин… именно таких! Красавица, полная жизни и правды, искренняя и в то же время загадочная… Такие женщины, если полюбят, то уж любят сильно, всем пылом… и проч…

Супруг в тот же день, ложась спать, не утерпит, чтобы не сказать жене:

— Видал я Петра Иваныча… Ужасно тебя расхваливал. И красавица ты, и загадочная… и будто любить ты способна как-то особенно… С три короба наговорил… Ха-ха…

Немного спустя вы опять норовите встретиться с супругом.

— Кстати, милый мой… — говорите вы ему. — Заезжал ко мне вчера один художник… Получил он от какого-то князя заказ: написать за 2000 руб. головку типичной русской красавицы. Просил поискать для него натурщицу. Хотел было я направить его к вашей жене, да постеснялся… А ваша жена как раз бы подошла. Прелестная головка!

Нужно быть слишком нелюбезным супругом, чтобы не передать этого жене. Утром жена долго глядится в зеркало в думает:

«Откуда он взял, что у меня чисто русское лицо?!»

После этого, заглядывая в зеркало, она всякий раз думает о вас. Между тем нечаянные встречи ваши с ее мужем продолжаются. После одной из встреч муж приходит домой и начинает всматриваться в лицо жены.

— Что ты вглядываешься? — спрашивает она.

— Да тот чудак, Петр Иваныч, нашел, что будто у тебя один глаз темнее другого. Не нахожу этого, хоть убей!

Жена опять к зеркалу.

— Видал в театре Петра Иваныча, — говорит муж после восьмой или девятой встречи. — Просит извинения, что не может заехать к тебе: некогда! Чудак, ей-богу! Пристал ко мне, как с ножом к горлу: «Отчего ваша жена на сцену не поступает? С этакой, говорит, наружностью, с таким развитием и уменьем чувствовать грешно жить дома!» Ха-ха… Далась ты ему! «Не будь, говорит, я занят, отбил бы я у вас ее…» Что ж, говорю, отбивайте… «Вы, говорит, не понимаете ее! Ее понять нужно! Это, говорит, натура недюжинная, ищущая выхода!» Ха-ха… Ну, думаю, пожил бы ты с ней, так другое бы запел…

И бедной женой постепенно овладевает страст-

ная жажда встречи с вами. Вы единственный человек, который понял ее, и только вам может она рассказать многое… очень многое! Но вы упорно не едете и не попадаетесь ей на глаза. Не видела она вас давно, но ваш мучительно сладкий яд уже отравил ее. Муж, зевая, передает ей ваши слова, а ей кажется, что она слышит вас, видит блеск ваших глаз…

Наступает пора ловить момент. В один из вечеров приходит муж домой и говорит жене:

— Встретил я сейчас Петра Иваныча… Скучный такой… Жалуется, что тоска одолела. «С тоски, говорит, и домой не хожу, всю ночь по N-скому бульвару гуляю…» Чудак!

Жена вся в жару… Ей страстно хотелось бы пойти на N-ский бульвар и взглянуть хоть одним глазом на человека, который сумел так понять ее и который теперь почему-то в тоске. Кто знает? Поговори она теперь с ним, скажи ему слова два утешения, быть может, он перестал бы страдать…

«Но это дико… невозможно», — думает она.

Дождавшись, когда уснет муж, она поднимает свою горячую голову, прикладывает палец к губам и думает. Что, если она рискнет выйти сейчас из дому? После можно будет соврать

что-нибудь, сказать, что она бегала в аптеку, к зубному врачу…

— Пойду! — решает она.

План у нее уже готов: до бульвара на извозчике, на бульваре она пройдет мимо него, взглянет и — назад… Этим она не скомпрометирует ни себя, ни мужа… И она одевается, тихо выходит из дому и спешит к бульвару. На бульваре темно, пустынно… Но вот она видит чей-то силуэт. Это, должно быть, он… Дрожа всем телом, медленно приближается она к вам… вы идете к ней… Минуту вы стоите молча и глядите друг другу в глаза… Проходит еще минута молчания и… кролик беззаветно падает в пасть удава.

Первый дебют
(Рассказ)

Помощник присяжного поверенного Пятеркин возвращается на простой крестьянской телеге из уездного городишка К, куда ездил защищать лавочника, обвинявшегося в поджоге. На душе у него было гнусно, как никогда. Он чувствовал себя оскорбленным, провалившимся, оплеванным. Ему казалось, что истекший день, день его долгожданного и многообещавшего дебюта, искалечил на веки вечные его карьеру, веру в людей, мировоззрение.

Во-первых, его безобразно и жестоко надул обвиняемый. До суда лавочник так искренно мигал глазами и так чистосердечно, просто расписывал свою невинность, что все собранные против него улики в глазах психолога и физиономиста (каковыми считал себя юный защитник) имели вид бесцеремонных натяжек, придирок и предубеждений. На суде же лавочник оказался плутом и дрянью, и бедная психология пошла к черту.

Во-вторых, он, Пятеркин, казалось ему, вел себя на суде невозможно: заикался, путался в

вопросах, вставал перед свидетелями, глупо краснел. Язык его совсем не слушался и в простой речи спотыкался, как в скороговорках. Речь свою говорил он вяло, словно в тумане, глядя через головы присяжных. Говорил и все время казалось ему, что присяжные глядят на него насмешливо, презрительно.

В-третьих, что хуже всего, товарищ прокурора и гражданский истец, старый, матерый адвокат, вели себя не товарищески. Они, казалось ему, условились игнорировать защитника и если поднимали на него глаза, то только для того, чтобы поупражнять на нем свою развязность, поглумиться, эффектно окрыситься. В их речах слышались ирония и снисходительный тон. Говорили они и точно извинения просили, что защитник такой дурачок и барашек. Пятеркин в конце концов не вынес. Во время перерыва он подбежал к гражданскому истцу и, дрожа всем телом, наговорил ему кучу дерзостей. Потом, когда заседание кончилось, он нагнал на лестнице товарища прокурора и этому поднес пилюлю.

В-четвертых. Впрочем, если перечислять все то, что мутило и сосало теперь за сердце моего героя, то нужно в-пятых, шестых… до сотых включительно.

«Позор… мерзость! — страдал он, сидя в телеге и пряча свои уши в воротник. — Кончено! К черту адвокатура! Заберусь куда-нибудь в глушь, в уединение… подальше от этих господ… подальше от этих дрязг».

— Да езжай же, черт тебя возьми! — набросился он на возницу. — Что ты едешь, точно мертвого жениться везешь? Гони!

— Гони… гони… — передразнил возница. — Нешто не видишь, какая дорога? Черта погони, так и тот замучается. Это не погода, а наказание господне.

Погода была отвратительная. Она, казалось, негодовала, ненавидела и страдала заодно с Пятеркиным. В воздухе, непроглядном, как сажа, дул и посвистывал на все лады холодный влажный ветер. Шел дождь. Под колесами всхлипывал снег, мешавшийся с вязкою грязью. Буеракам, колдобинам и размытым мостикам не было конца.

— Зги не видать… — продолжал возница. — Этак мы и до утра не доедем. Придется на ночь у Луки остановиться.

— У какого Луки?

— Тут по дороге в лесу старик такой живет. Заместо лесника его держут. Да вот она и изба самая.

Послышался хриплый собачий лай, и между голыми ветками замелькал тусклый огонек. Каким бы вы ни были мизантропом, но если ненастною, глухою ночью вы увидите лесной огонек, то вас непременно потянет к людям. То же случилось и с Пятеркиным. Когда телега остановилась у избы, из единственного окошечка которой робко и приветливо выглядывал свет, ему стало легче.

— Здорово, старик! — сказал он ласково Луке, который стоял в сенях и обеими руками чесал себе живот. — Можно у тебя переночевать?

— Мо… можно. — проворчал Лука. — Тут уж есть двое… Пожалуйте в светелку…

Пятеркин нагнулся, вошел в светелку и… мизантропия воротилась к нему во всей своей силе. За маленьким столом, при свете сальной свечки, сидели два человека, имевших такое сильное влияние на его настроение: товарищ прокурора фон Пах и гражданский истец Семечкин. Подобно Пятеркину, они возвращались из N и тоже попали к Луке. Увидев входящего защитника, оба они приятно удивились и привскочили.

— Коллега! Какими судьбами? — заговорили они. — И вас загнало сюда ненастье? Милости просим! Присаживайтесь.

Пятеркин думал, что, увидев его, они отвер-

нутся, почувствуют неловкость и умолкнут, а потому такая дружеская встреча показалась ему по меньшей мере нахальством.

— Я не понимаю… — пробормотал он, с достоинством пожимая плечами. — После того, что между нами произошло, я… я даже удивляюсь!

Фон Пах удивленно поглядел на Пятеркина, пожал плечами и, повернувшись к Семечкину, продолжал прерванную беседу:

— Ну-с, читаю я дознание… А в дознании, батенька, противоречие на противоречии… Пишет, например, становой, что умершая крестьянка Иванова, когда ушла от гостей, была мертвецки пьяна и умерла, пройдя три версты пешком. Как она могла пройти три версты пешком, если была мертвецки пьяна? Ну, разве это не противоречие? А?

Пока фон Пах таким образом разглагольствовал, Пятеркин сел на скамью и принялся осматривать свое временное жилище… Лесной огонек поэтичен только издалека, вблизи же он — жалкая проза… Здесь освещал он маленькую, серую каморку с кривыми стенами и с закопченным потолком. В правом углу висел темный образ, из левого мрачным дуплом глядела неуклюжая печь. На потолке по балкам тянулся длинный

шест, на котором когда-то качалась колыбель. Ветхий столик и две узкие, шаткие скамьи составляли всю мебель. Было темно, душно и холодно. Пахло гнилью и сальной гарью.

«Свиньи… — подумал Пятеркин, косясь на своих врагов. — Оскорбили человека, втоптали его в грязь и беседуют теперь, как ни в чем не бывало».

— Послушай, — обратился он к Луке, — нет ли у тебя другой комнаты? Я здесь не могу быть.

— Сени есть, да там холодно-с.

— Чертовски холодно… — проворчал Семечкин. — Знал бы, напитков и карт с собой захватил. Чаю напиться, что ли? Дедусь, сочини-ка самоварчик!

Через полчаса Лука подал грязный самовар, чайник с отбитым носиком и три чашки.

— Чай у меня есть… — сказал фон Пах. — Теперь бы только сахару достать… Дед, дай-ка сахару!

— Эва! Сахару… — ухмыльнулся в сенях Лука. — В лесу сахару захотели! Тут не город.

— Что ж? Будем пить без сахару, — решил фон Пах.

Семечкин заварил чай и налил три чашки.

«И мне налили… — подумал Пятеркин. — Очень нужно! Наплевали в рожу и потом чаем угощают.

У этих людей просто самолюбия нет. Потребую у Луки еще чашку и буду одну горячую воду пить. Кстати же у меня есть сахар».

Четвертой чашки у Луки не оказалось. Пятеркин вылил из третьей чашки чай, налил в нее горячей воды и стал прихлебывать, кусая сахар. Услыхав громкое кусанье, его враги переглянулись и прыснули.

— Ей-богу, это мило! — зашептал фон Пах. — У нас нет сахару, у него нет чая… Ха-ха… Весело! Какой же, однако, он еще мальчик! Верзила, а настолько еще сохранился, что умеет дуться, как институтка… Коллега! — повернулся он к Пятеркину. — Вы напрасно брезгаете нашим чаем… Он не из дешевых… А если вы не пьете из амбиции, то ведь за чай вы могли бы заплатить нам сахаром!

Пятеркин промолчал.

«Нахалы… — подумал он. — Оскорбили, оплевали и еще лезут! И это люди! Им, стало быть, нипочем те дерзости, которые я наговорил им в суде… Не буду обращать на них внимание… Лягу…»

Около печи на полу был расстелен тулуп… У изголовья лежала длинная подушка, набитая соломой… Пятеркин растянулся на тулупе, поло-

жил свою горячую голову на подушку и укрылся шубой.

— Какая скучища! — зевнул Семечкин. — Читать холодно и темно, спать негде… Брр!.. Скажите мне, Осип Осипыч, если, например, Лука пообедает в ресторане и не заплатит за это денег, то что это будет: кража или мошенничество?

— Ни то, ни другое… Это только повод к гражданскому иску…

Поднялся спор, тянувшийся полтора часа. Пятеркин слушал и дрожал от злости… Раз пять порывался он вскочить и вмешаться в спор.

«Какой вздор! — мучился он, слушая их. — Как отстали, как нелогичны!»

Спор кончился тем, что фон Пах лег рядом с Пятеркиным, укрылся шубой и сказал:

— Ну, будет… Мы своим спором не даем спать господину защитнику. Ложитесь…

— Он, кажется, уже спит… — сказал Семечкин, ложась по другую сторону Пятеркина. — Коллега, вы спите?

«Пристают… — подумал Пятеркин. — Свиньи…»

— Молчит, значит спит… — промычал фон Пах. — Ухитрился уснуть в этом хлеву… Говорят, что жизнь юристов кабинетная… Не кабинетная,

а собачья… Ишь ведь куда черти занесли! А мне, знаете ли, нравится наш сосед… как его?.. Шестеркин, что ли? Горячий, огневой…

— М-да… Лет через пять хорошим адвокатом будет… Есть у мальчика манера… Еще на губах молоко не обсохло, а уж говорит с завитушками и любит фейерверки пускать… Только напрасно он в своей речи Гамлета припутал.

Близкое соседство врагов и их хладнокровный, снисходительный тон душили Пятеркина. Его распирало от злости и стыда.

— А с сахаром-то история… — ухмыльнулся фон Пах. — Сущая институтка! За что он на нас обиделся? Вы не знаете?

— А черт его знает…

Пятеркин не вынес. Он вскочил, открыл рот, чтобы сказать что-то, но мучения истекшего дня были уж слишком сильны: вместо слов из груди вырвался истерический плач.

— Что с ним? — ужаснулся фон Пах. — Голубчик, что с вами?

— Вы… вы больны? — вскочил Семечкин. — Что с вами? Денег у вас нет? Да что такое?

— Это низко… гадко! Целый день… целый день!

— Душенька моя, что гадко и низко? Осип Оси-

пыч, дайте воды! Ангел мой, в чем дело? Отчего вы сегодня такой сердитый? Вы, вероятно, защищали сегодня в первый раз? Да? Ну, так это понятно! Плачьте, милый... Я в свое время вешаться хотел, а плакать лучше, чем вешаться. Вы плачьте, оно легче будет.

— Гадко... мерзко!



— Да ничего гадкого не было! Все было так, как нужно. И говорили вы хорошо, и слушали вас хорошо. Мнительность, батенька! Помню, вышел я в первый раз на защиту. Штанишки рыжие, фра-

чишко музыкант одолжил. Сижу я, и кажется мне, что над моими штанишками публика смеется. И подсудимый-то, выходит, меня надул, и прокурор глумится, и сам-то я глуп. Чай, порешили уже адвокатуру к черту? Со всеми это бывает! Не вы первый, не вы последний. Недешево, батенька, первый дебют стоит!

— А кто издевался? Кто… глумился?

— Никто! Вам только казалось это! Всегда дебютантам это кажется. Вам не казалось ли также, что присяжные глядели вам в глаза презрительно? Да? Ну, так и есть. Выпейте, голубчик. Укройтесь.

Враги укрыли Пятеркина шубами и ухаживали за ним, как за ребенком, всю ночь. Страдания истекшего дня оказались пуфом.

У телефона

— Что вам угодно? — спрашивает женский голос.

— Соединить с «Славянским Базаром».

— Готово!

Через три минуты слышу звонок… Прикладываю трубку к уху в слышу звуки неопределенного характера: не то ветер дует, не то горох сыплется… Кто-то что-то лепечет…

— Есть свободные кабинеты? — спрашиваю я.

— Никого нет дома… — отвечает прерывистый детский голосок. — Папа и мама к Серафиме Петровне поехали, а у Луизы Францовны грипп.

— Вы кто? Из «Славянского Базара»?

— Я — Сережа… Мой папа доктор… Он принимает по утрам…

— Душечка, мне не доктор нужен, а «Славянский Базар»…

— Какой базар? (*смех*). Теперь я знаю, кто вы… Вы Павел Андреич… А мы от Кати письмо получили! (*смех*). Она на офицере женится… А вы когда же мне краски купите?

Я отхожу от телефона и минут через десять опять звоню…

— Соединить со «Славянским Базаром»! — прошу я.

— Наконец-то! — отвечает хриплый бас. — И Фукс с вами?

— Какой Фукс? Я прошу соединить со «Славянским Базаром»!!!

— Вы в «Славянском Базаре»! Хорошо, приеду… Сегодня же и кончим наше дело… Я сейчас… Закажите мне, голубчик, порцию селянки из осетрины… Я еще не обедал…

«Тьфу! Черт знает что! — думаю я, отходя от телефона. — Может быть, я с телефоном обращаться не умею, путаю… Постой, как нужно? Сначала нужно эту штучку покрутить, потом эту штуку снять и приложить к уху… Ну-с, потом? Потом эту штуку повесить на эти штучки и повернуть три раза эту штучку… Кажется, так!»

Я опять звоню. Ответа нет. Звоню с остервенением, рискуя отломать штучку. В трубке шум, похожий на беготню мышей по бумаге…

— С кем говорю? — кричу я. — Отвечайте же! Громче!

— Мануфактура. Тимофея Ваксина сыновья…

— Покорнейше благодарю… Не нужно мне вашей мануфактуры.

— Вы Сычов? Миткаль вам уж послан…

Я вешаю трубку и опять начинаю экзаменовать себя: не путаю ли я? Прочитываю «правила», выкуриваю папиросу и опять звоню. Ответа нет…

«Должно быть, в „Славянском Базаре“ телефон испортился, — думаю я. — Попробую поговорить с „Эрмитажем“…»

Вычитываю еще раз в правилах, как беседовать с центральной станцией, и звоню.

— Соедините с «Эрмитажем»! — кричу я. — С «Эрми-та-жем»!!!

Проходит пять минут, десять… Терпение начинает мало-помалу лопаться, но вот — ура! — слышится звонок.

— С кем говорю? — спрашиваю я.

— Центральная станция…

— Тьфу! Соедините с «Эрмитажем»? Ради бога!

— С Феррейном?

— С «Эр-ми-та-жем»!!!

— Готово…

«Ну, кажется, кончились мои мучения… — думаю я. — Уф, даже пот выступил!»

Звонок. Хватаюсь за трубку и взываю:

— Отдельные кабинеты есть?

— Папа и мама уехали к Серафиме Петровне, у Луизы Францовны грипп… Никого нет дома!



— Это вы, Сережа?



— Я… А вы кто? (*смех*)… Павел Андреич? Отчего вы у нас вчера не были? (смех). Папа китайские тени показывал… Надел мамину шляпу и представил Авдотью Николаевну…

Сережин голос вдруг обрывается и наступает тишина. Я вешаю трубку и звоню минуты три, до боли в пальцах.

— Соедините с «Эрмитажем»! — кричу я. — С рестораном, что на Трубной площади! Да вы слышите или нет?

— Отлично слышу-с… Но здесь не «Эрмитаж», а «Славянский Базар».

— Вы «Славянский Базар»?

— Точно так… «Славянский Базар»…

— Уф! Ничего не понимаю! У вас есть свободные кабинеты?

— Сейчас узнаю-с…

Проходит минута, другая. По трубке пробегает легкая голосовая дрожь. Я вслушиваюсь и ничего не понимаю…

— Отвечайте же: есть кабинеты?

— Да вам что нужно? — спрашивает женский голос.

— Вы из «Славянского Базара»?

— Из центральной станции…

(Продолжение до nec plus ultra[172])

[172] Примечания: 172
Донельзя, до крайних пределов (лат.).

Детвора

Папы, мамы и тети Нади нет дома. Они уехали на крестины к тому старому офицеру, который ездит на маленькой серой лошади. В ожидании их возвращения Гриша, Аня, Алеша, Соня и кухаркин сын Андрей сидят в столовой за обеденным столом и играют в лото. Говоря по совести, им пора уже спать; но разве можно уснуть, не узнав от мамы, какой на крестинах был ребеночек и что подавали за ужином? Стол, освещаемый висячей лампой, пестрит цифрами, ореховой скорлупой, бумажками и стеклышками. Перед каждым из играющих лежат по две карты и по кучке стеклышек для покрышки цифр. Посреди стола белеет блюдечко с пятью копеечными монетами. Возле блюдечка недоеденное яблоко, ножницы и тарелка, в которую приказано класть ореховую скорлупу. Играют дети на деньги. Ставка — копейка. Условие: если кто смошенничает, того немедленно вон. В столовой, кроме играющих, нет никого. Няня Агафья Ивановна сидит внизу в кухне и учит там кухарку кроить, а старший брат, Вася, ученик V класса, лежит в гостиной на диване и скучает.

Играют с азартом. Самый большой азарт написан на лице у Гриши. Это маленький, девятилетний мальчик с догола остриженной головой, пухлыми щеками и с жирными, как у негра, губами. Он уже учится в приготовительном классе, а потому считается большим и самым умным. Играет он исключительно из-за денег. Не будь на блюдечке копеек, он давно бы уже спал. Его карие глазки беспокойно и ревниво бегают по картам партнеров. Страх, что он может не выиграть, зависть и финансовые соображения, наполняющие его стриженую голову, не дают ему сидеть покойно, сосредоточиться. Вертится он, как на иголках. Выиграв, он с жадностью хватает деньги и тотчас же прячет их в карман. Сестра его Аня, девочка лет восьми, с острым подбородком и умными блестящими глазами, тоже боится, чтобы кто-нибудь не выиграл. Она краснеет, бледнеет и зорко следит за игроками. Копейки ее не интересуют. Счастье в игре для нее вопрос самолюбия. Другая сестра, Соня, девочка шести лет, с кудрявой головкой и с цветом лица, какой бывает только у очень здоровых детей, у дорогих кукол и на бонбоньерках[173], играет в лото ради

[173] Примечания: 173

Бонбоньéрка (фр. bonbonnière — «конфетница», от фр. bonbon — конфета) — красиво оформленная коробка для конфет.

процесса игры. По лицу ее разлито умиление. Кто бы ни выиграл, она одинаково хохочет и хлопает в ладоши. Алеша, пухлый, шаровидный карапузик, пыхтит, сопит и пучит глаза на карты. У него ни корыстолюбия, ни самолюбия. Не гонят из-за стола, не укладывают спать — и на том спасибо. По виду он флегма, во в душе порядочная бестия. Сел он не столько для лото, сколько ради недоразумений, которые неизбежны при игре. Ужасно ему приятно, если кто ударит или обругает кого. Ему давно уже нужно кое-куда сбегать, но он не выходит из-за стола ни на минуту, боясь, чтоб без него не похитили его стеклышек и копеек. Так как он знает одни только единицы и те числа, которые оканчиваются нулями, то за него покрывает цифры Аня. Пятый партнер, кухаркин сын Андрей, черномазый болезненный мальчик, в ситцевой рубашке и с медным крестиком на груди, стоит неподвижно и мечтательно глядит на цифры. К выигрышу и к чужим успехам он относится безучастно, потому что весь погружен в арифметику игры, в ее несложную философию: сколько на этом свете разных цифр, и как это они не перепутаются!

Выкрикивают числа все по очереди, кроме Сони и Алеши. Ввиду однообразия чисел практика

выработала много терминов и смехотворных прозвищ. Так, семь у игроков называется кочергой, одиннадцать — палочками, семьдесят семь — Семен Семенычем, девяносто — дедушкой и т. д. Игра идет бойко.

— Тридцать два! — кричит Гриша, вытаскивая из отцовской шапки желтые цилиндрики. — Семнадцать! Кочерга! Двадцать восемь — сено косим!

Аня видит, что Андрей прозевал 28. В другое время она указала бы ему на это, теперь же, когда на блюдечке вместе с копейкой лежит ее самолюбие, она торжествует.

— Двадцать три! — продолжает Гриша. — Семен Семеныч! Девять!

— Прусак, прусак! — вскрикивает Соня, указывая на прусака, бегущего через стол. — Ай!

— Не бей его, — говорит басом Алеша. — У него, может быть, есть дети…

Соня провожает глазами прусака и думает о его детях: какие это, должно быть, маленькие прусачата!

— Сорок три! Один! — продолжает Гриша, страдая от мысли, что у Ани уже две катерны[174].

---

[174] Примечания: 174

Катерна (итал. quaterna — четверка) — положение при игре в лото, когда из пяти клеток одного ряда заставлены кубиками уже четыре.

— Шесть!

— Партия! У меня партия! — кричит Соня, кокетливо закатывая глаза и хохоча.

У партнеров вытягиваются физиономии.

— Проверить! — говорит Гриша, с ненавистью глядя на Соню.

На правах большого и самого умного, Гриша забрал себе решающий голос. Что он хочет, то и делают. Долго и тщательно проверяют Соню, и к величайшему сожалению ее партнеров оказывается, что она не смошенничала. Начинается следующая партия.

— А что я вчера видела! — говорит Аня как бы про себя. — Филипп Филиппыч заворотил как-то веки, и у него сделались глаза красные, страшные, как у нечистого духа.

— Я тоже видел, — говорит Гриша. — Восемь! А у нас ученик умеет ушами двигать. Двадцать семь!

Андрей поднимает глаза на Гришу, думает и говорит:

— И я умею ушами шевелить…

— А ну-ка, пошевели!

Андрей шевелит глазами, губами и пальцами, и ему кажется, что его уши приходят в движение. Всеобщий смех.

— Нехороший человек этот Филипп Филиппыч, — вздыхает Соня. — Вчера входит к нам в детскую, а я в одной сорочке… И мне стало так неприлично!

— Партия! — вскрикивает вдруг Гриша, хватая с блюдечка деньги. — У меня партия! Проверяйте, если хотите!

Кухаркин сын поднимает глаза и бледнеет.

— Мне, значит, уж больше нельзя играть, — шепчет он.

— Почему?

— Потому что… потому что у меня больше денег нет.

— Без денег нельзя! — говорит Гриша.

Андрей на всякий случай еще раз роется в карманах. Не найдя в них ничего, кроме крошек и искусанного карандашика, он кривит рот и начинает страдальчески мигать глазами. Сейчас он заплачет…

— Я за тебя поставлю! — говорит Соня, не вынося его мученического взгляда. — Только смотри, отдашь после.

Деньги взносятся, и игра продолжается.

— Кажется, где-то звонят, — говорит Аня, делая большие глаза.

Все перестают играть и, раскрыв рты, глядят на

темное окно. За темнотой мелькает отражение лампы.

— Это послышалось.

— Ночью только на кладбище звонят… — говорит Андрей.

— А зачем там звонят?

— Чтоб разбойники в церковь не забрались. Звона они боятся.

— А для чего разбойникам в церковь забираться? — спрашивает Соня.

— Известно для чего: сторожей поубивать!

Проходит минута в молчании. Все переглядываются, вздрагивают и продолжают игру. На этот раз выигрывает Андрей.

— Он смошенничал, — басит ни с того ни с сего Алеша.

— Врешь, я не смошенничал!

Андрей бледнеет, кривит рот и хлоп Алешу по голове! Алеша злобно таращит глаза, вскакивает, становится одним коленом на стол и, в свою очередь, — хлоп Андрея по щеке! Оба дают друг другу еще по одной пощечине и ревут. Соня, не выносящая таких ужасов, тоже начинает плакать, и столовая оглашается разноголосым ревом. Но не думайте, что игра от этого кончилась. Не проходит и пяти минут, как дети опять хохочут

и мирно беседуют. Лица заплаканы, но это не мешает им улыбаться. Алеша даже счастлив: недоразумение было!

В столовую входит Вася, ученик V класса. Вид у него заспанный, разочарованный.

«Это возмутительно! — думает он, глядя, как Гриша ощупывает карман, в котором звякают копейки. — Разве можно давать детям деньги? И разве можно позволять им играть в азартные игры? Хороша педагогия, нечего сказать. Возмутительно!»

Но дети играют так вкусно, что у него самого является охота присоседиться к ним и попытать счастья.

— Погодите, и я сяду играть, — говорит он.

— Ставь копейку!

— Сейчас, — говорит он, роясь в карманах. — У меня копейки нет, но вот есть рубль. Я ставлю рубль.

— Нет, нет, нет… копейку ставь!

— Дураки вы. Ведь рубль во всяком случае дороже копейки, — объясняет гимназист. — Кто выиграет, тот мне сдачи сдаст.

— Нет, пожалуйста! Уходи!

Ученик V класса пожимает плечами и идет в кухню взять у прислуги мелочи. В кухне не ока-

зывается ни копейки.

— В таком случае разменяй мне, — пристает он к Грише, придя из кухни. — Я тебе промен заплачу. Не хочешь? Ну продай мне за рубль десять копеек.

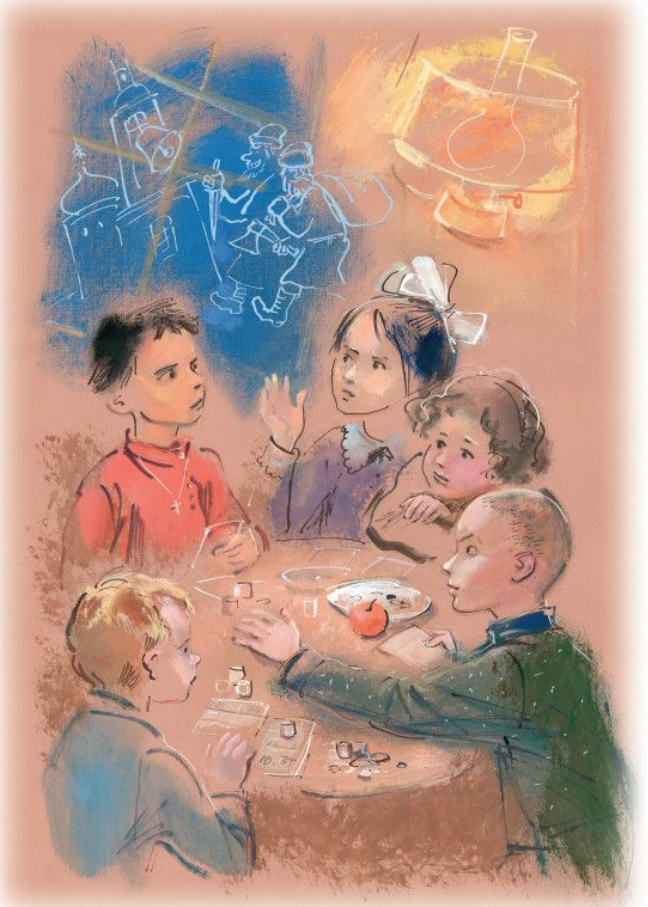
Гриша подозрительно косится на Васю: не подвох ли это какой-нибудь, не жульничество ли?

— Не хочу, — говорит он, держась за карман.

Вася начинает выходить из себя, бранится, называя игроков болванами и чугунными, мозгами.

— Вася, да я за тебя поставлю! — говорит Соня. — Садись!

Гимназист садится и кладет перед собой две карты. Аня начинает читать числа.



— Копейку уронил! — заявляет вдруг Гриша взволнованным голосом. — Постойте!

Снимают лампу и лезут под стол искать копейку. Хватают руками плевки, ореховую скорлупу, стукаются головами, но копейки не находят. Начинают искать снова и ищут до тех пор, пока Вася не вырывает из рук Гриши лампу и не ставит ее на место. Гриша продолжает искать в потемках.

Но вот, наконец, копейка найдена. Игроки садятся за стол и хотят продолжать игру.

— Соня спит! — заявляет Алеша.

Соня, положив кудрявую голову на руки, спит сладко, безмятежно и крепко, словно она уснула час тому назад. Уснула она нечаянно, пока другие искали копейку.

— Поди, на мамину постель ложись! — говорит Аня, уводя ее из столовой. — Иди!

Ее ведут все гурьбой, и через какие-нибудь пять минут мамина постель представляет собой любопытное зрелище. Спит Соня. Возле нее похрапывает Алеша. Положив на их ноги голову, спят Гриша и Аня. Тут же, кстати, заодно примостился и кухаркин сын Андрей. Возле них валяются копейки, потерявшие свою силу впредь до новой игры. Спокойной ночи!

Открытие

Навозну кучу разрывая,
Петух нашел жемчужное зерно…

Крылов

Инженер статский советник Бахромкин сидел у себя за письменным столом и, от нечего делать, настраивал себя на грустный лад. Не далее как сегодня вечером, на бале у знакомых, он нечаянно встретился с барыней, в которую лет 20–25 тому назад был влюблен. В свое время это была замечательная красавица, в которую так же легко было влюбиться, как наступить соседу на мозоль. Особенно памятны Бахромкину ее большие глубокие глаза, дно которых, казалось, было выстлано нежным голубым бархатом, и длинные золотисто-каштановые волосы, похожие на поле поспевшей ржи, когда оно волнуется в бурю перед грозой… Красавица была неприступна, глядела сурово, редко улыбалась, но зато, раз улыбнувшись, «пламя гаснущих свечей она улыбкой оживляла»… Теперь же это была худосочная, болтливая старушенция с кислыми глазами и

желтыми зубами… Фи!

«Возмутительно! — думал Бахромкин, водя машинально карандашом по бумаге. — Никакая злая воля не в состоянии так напакостить человеку, как природа. Знай тогда красавица, что со временем она превратится в такую чепуху, она умерла бы от ужаса…»

Долго размышлял таким образом Бахромкин и вдруг вскочил, как ужаленный…

— Господи Иисусе! — ужаснулся он. — Это что за новости? Я рисовать умею?!

На листе бумаги, по которому машинально водил карандаш, из-за аляповатых штрихов и каракуль выглядывала прелестная женская головка, та самая, в которую он был когда-то влюблен. В общем рисунок хромал, но томный, суровый взгляд, мягкость очертаний и беспорядочная волна густых волос были переданы в совершенстве…

— Что за оказия? — продолжал изумляться Бахромкин. — Я рисовать умею! Пятьдесят два года жил на свете, не подозревал в себе никаких талантов, и вдруг на старости лет — благодарю, не ожидал, — талант явился! Не может быть!

Не веря себе, Бахромкин схватил карандаш и около красивой головки нарисовал голову

старухи… Эта удалась ему так же хорошо, как и молодая…

— Удивительно! — пожал он плечами. — И как недурно, черт возьми! Каков? Стало быть, я художник! Значит, во мне призвание есть! Как же я этого раньше не знал? Вот диковина!

Найди Бахромкин у себя в старом жилете деньги, получи известие, что его произвели в действительные статские, он не был бы так приятно изумлен, как теперь, открыв в себе способность творить. Целый час провозился он у стола, рисуя головы, деревья, пожар, лошадей…

— Превосходно! Браво! — восхищался он. — Поучиться бы только технике, совсем бы отлично было.

Рисовать дольше и восхищаться помешал ему лакей, внесший в кабинет столик с ужином. Съевши рябчика и выпив два стакана бургонского, Бахромкин раскис и задумался… Вспомнил он, что за все 52 года он ни разу и не помыслил даже о существовании в себе какого-либо таланта… Правда, тяготение к изящному чувствовалось всю жизнь. В молодости он подвизался на любительской сцене, играл, пел, малевал декорации… Потом, до самой старости, он не переставал читать, любить театр, записывать на память

хорошие стихи… Острил он удачно, говорил хорошо, критиковал метко. Огонек, очевидно, был, но всячески заглушался суетою…

«Чем черт не шутит, — подумал Бахромкин, — может быть, я еще умею стихи и романы писать? В самом деле, что если бы я открыл в себе талант в молодости, когда еще не поздно было, и стал бы художником или поэтом? А?»

И перед его воображением открылась жизнь, не похожая на миллионы других жизней. Сравнивать ее с жизнями обыкновенных смертных совсем невозможно.

«Правы люди, что не дают им чинов и орденов… — подумал он. — Они стоят вне всяких рангов и капитулов…

Да и судить-то об их деятельности могут только избранные…»

Тут же, кстати, Бахромкин вспомнил случай из своего далекого прошлого… Его мать, нервная, эксцентричная женщина, идя однажды с ним, встретила на лестнице какого-то пьяного безобразного человека и поцеловала ему руку. «Мама, зачем ты это делаешь?» — удивился он. — «Это поэт!» — ответила она. И она, по его мнению, права… Поцелуй она руку генералу или сенатору, то это было бы лакейством, самоуничижением, ху-

же которого для развитой женщины и придумать нельзя, поцеловать же руку поэту, художнику или композитору — это естественно.

«Вольная жизнь, не будничная… — думал Бахромкин, идя к постели. — А слава, известность? Как я широко ни шагай по службе, на какие ступени ни взбирайся, а имя мое не пойдет дальше муравейника… У них же совсем другое… Поэт или художник спит или пьянствует себе безмятежно, а в это время незаметно для него в городах и весях зубрят его стихи или рассматривают картинки… Не знать их имен считается невоспитанностью, невежеством… моветонством…»

Окончательно раскисший Бахромкин опустился на кровать и кивнул лакею… Лакей подошел к нему и принялся осторожно снимать с него одежду за одеждой.

«М-да… необыкновенная жизнь… Про железные дороги когда-нибудь забудут, а Фидия и Гомера всегда будут помнить… На что плох Тредьяковский, и того помнят… Бррр… холодно!.. А что, если бы я сейчас был художником? Как бы я себя чувствовал?»

Пока лакей снимал с него дневную сорочку и надевал ночную, он нарисовал себе картину… Вот он, художник или поэт, темною ночью плетется

к себе домой… Лошадей у талантов не бывает; хочешь не хочешь, иди пешком… Идет он жалкенький, в порыжелом пальто, быть может, даже без калош… У входа в меблированные комнаты дремлет швейцар; эта грубая скотина отворяет дверь и не глядит… Там, где-то в толпе, имя поэта или художника пользуется почетом, но от этого почета ему ни тепло, ни холодно: швейцар не вежливее, прислуга не ласковее, домочадцы не снисходительнее… Имя в почете, но личность в забросе… Вот он, утомленный и голодный, входит наконец к себе в темный и душный номер… Ему хочется есть и пить, но рябчиков и бургонского — увы! — нет… Спать хочется ужасно, до того, что слипаются глаза и падает на грудь голова, а постель жесткая, холодная, отдающая гостиницей… Воду наливай себе сам, раздевайся сам… ходи босиком по холодному полу… В конце концов он, дрожа, засыпает, зная, что у него нет сигар, лошадей… что в среднем ящике стола у него нет Анны и Станислава, а в нижнем — чековой книжки…

Бахромкин покрутил головой, повалился в пружинный матрац и поскорее укрылся пуховым одеялом.

«Ну его к черту! — подумал он, нежась и сладко засыпая. — Ну его… к… черту. Хорошо, что я… в

молодости не тово... не открыл...»

Лакей потушил лампу и на цыпочках вышел.

Беседа пьяного с трезвым чертом

Бывший чиновник интендантского управления, отставной коллежский секретарь Лахматов, сидел у себя за столом и, выпивая шестнадцатую рюмку, размышлял о братстве, равенстве и свободе. Вдруг из-за лампы выглянул на него черт… Но не пугайтесь, читательница. Вы знаете, что такое черт? Это молодой человек приятной наружности, с черной, как сапоги, рожей и с красными выразительными глазами. На голове у него, хотя он и не женат, рожки. Прическа à la Капуль. Тело покрыто зеленой шерстью и пахнет псиной. Внизу спины болтается хвост, оканчивающийся стрелой… Вместо пальцев — когти, вместо ног — лошадиные копыта. Лахматов, увидев черта, несколько смутился, но потом, вспомнив, что зеленые черти имеют глупое обыкновение являться ко всем вообще подвыпившим людям, скоро успокоился.

— С кем я имею честь говорить? — обратился он к непрошенному гостю.

Черт сконфузился и потупил глазки.

— Вы не стесняйтесь, — продолжал Лахматов. — Подойдите ближе… Я человек без предрассудков,

и вы можете говорить со мной искренно… по душе. Кто вы?

Черт нерешительно подошел к Лахматову и, подогнув под себя хвост, вежливо поклонился.

— Я черт, или дьявол… — отрекомендовался он. — Состою чиновником особых поручений при особе его превосходительства директора адской канцелярии г. Сатаны!

— Слышал, слышал… Очень приятно. Садитесь! Не хотите ли водки? Очень рад… А чем вы занимаетесь?



Черт еще больше сконфузился…

— Собственно говоря, занятий у меня определенных нет… — ответил он, в смущении кашляя и сморкаясь в «Ребус». — Прежде, действительно, у нас было занятие… Мы людей искушали… совращали их с пути добра на стезю зла… Теперь же это занятие, антр-ну-суади[175], и плевка не стоит… Пути добра нет уже, не с чего совращать. И к тому же люди стали хитрее нас… Извольте-ка вы искусить человека, когда он в университете все науки кончил, огонь, воду и медные трубы прошел! Как я могу учить вас украсть рубль, ежели вы уже без моей помощи тысячи цапнули?

— Это так… Но, однако, ведь вы занимаетесь же чем-нибудь?

— Да… Прежняя должность наша теперь может быть только номинальной, но мы все-таки имеем работу… Искушаем классных дам, подталкиваем юнцов стихи писать, заставляем пьяных купцов бить зеркала… В политику же, в литературу и в науку мы давно уже не вмешиваемся… Ни рожна мы в этом не смыслим… Многие из нас сотрудничают в «Ребусе», есть даже такие, которые бросили ад и поступили в люди… Эти отставные

---

[175] Примечания: 175
Между нами будь сказано (фр. entre nous soit dit).

черти, поступившие в люди, женились на богатых купчихах и отлично теперь живут. Одни из них занимаются адвокатурой, другие издают газеты, вообще очень дельные и уважаемые люди!

— Извините за нескромный вопрос: какое содержание вы получаете?

— Положение у нас прежнее-с… — ответил черт. — Штат нисколько не изменился… По-прежнему квартира, освещение и отопление казенные… Жалованья же нам не дают, потому что все мы считаемся сверхштатными и потому что черт — должность почетная… Вообще, откровенно говоря, плохо живется, хоть по миру иди… Спасибо людям, научили нас взятки брать, а то бы давно уже мы переколели… Только и живем доходами… Поставляешь грешникам провизию, ну и… хапнешь… Сатана постарел, ездит все на Цукки смотреть, не до отчетности ему теперь…

Лахматов налил черту рюмку водки. Тот выпил и разговорился. Рассказал он все тайны ада, излил свою душу, поплакал и так понравился Лахматову, что тот оставил его даже у себя ночевать. Черт спал в печке и всю ночь бредил. К утру он исчез.

Глупый француз

Клоун из цирка братьев Гинц, Генри Пуркуа, зашел в московский трактир Тестова позавтракать.

— Дайте мне консоме! — приказал он половому.

— Прикажете с пашотом или без пашота?

— Нет, с пашотом слишком сытно… Две-три гренки, пожалуй, дайте…

В ожидании, пока подадут консоме, Пуркуа занялся наблюдением. Первое, что бросилось ему в глаза, был какой-то полный благообразный господин, сидевший за соседним столом и приготовлявшийся есть блины.

«Как, однако, много подают в русских ресторанах! — подумал француз, глядя, как сосед поливает свои блины горячим маслом. — Пять блинов! Разве один человек может съесть так много теста?»

Сосед между тем помазал блины икрой, разрезал все их на половинки и проглотил скорее, чем в пять минут…

— Челаэк! — обернулся он к половому. — Подай еще порцию! Да что у вас за порции такие? Подай

сразу штук десять или пятнадцать! Дай балыка… семги, что ли?

«Странно… — подумал Пуркуа, рассматривая соседа. — Съел пять кусков теста и еще просит! Впрочем, такие феномены не составляют редкости… У меня у самого в Бретани был дядя Франсуа, который на пари съедал две тарелки супу и пять бараньих котлет… Говорят, что есть также болезни, когда много едят…»

Половой поставил перед соседом гору блинов и две тарелки с балыком и семгой. Благообразный господин выпил рюмку водки, закусил семгой и принялся за блины. К великому удивлению Пуркуа, ел он их спеша, едва разжевывая, как голодный…

«Очевидно, болен… — подумал француз. — И неужели он, чудак, воображает, что съест всю эту гору? Не съест и трех кусков, как желудок его будет уже полон, а ведь придется платить за всю гору!»

— Дай еще икры! — крикнул сосед, утирая салфеткой масляные губы. — Не забудь зеленого луку!

«Но… однако, уж половины горы нет! — ужаснулся клоун. — Боже мой, он и всю семгу съел? Это даже неестественно… Неужели человеческий

желудок так растяжим?

Не может быть! Как бы ни был растяжим желудок, но он не может растянуться за пределы живота… Будь этот господин у нас во Франции, его показывали бы за деньги… Боже, уже нет горы!»

— Подашь бутылку Нюи… — сказал сосед, принимая от полового икру и лук. — Только погрей сначала… Что еще? Пожалуй, дай еще порцию блинов… Поскорей только…

— Слушаю… А на после блинов что прикажете?

— Что-нибудь полегче… Закажи порцию селянки из осетрины по-русски и… и… Я подумаю, ступай!

«Может быть, это мне снится? — изумился клоун, откидываясь на спинку стула. — Этот человек хочет умереть! Нельзя безнаказанно съесть такую массу! Да, да, он хочет умереть. Это видно по его грустному лицу. И неужели прислуге не кажется подозрительным, что он так много ест? Не может быть!»

Пуркуа подозвал к себе полового, который служил у соседнего стола, и спросил шепотом:

— Послушайте, зачем вы так много ему подаете?

— То есть, э… э… они требуют-с! Как же не пода-

вать-с? — удивился половой.

— Странно, но ведь он таким образом может до вечера сидеть здесь и требовать! Если у вас у самих не хватает смелости отказывать ему, то доложите метрдотелю, пригласите полицию!

Половой ухмыльнулся, пожал плечами и отошел.

«Дикари! — возмутился про себя француз. — Они еще рады, что за столом сидит сумасшедший, самоубийца, который может съесть на лишний рубль! Ничего, что умрет человек, была бы только выручка!»

— Порядки, нечего сказать! — проворчал сосед, обращаясь к французу. — Меня ужасно раздражают эти длинные антракты! От порции до порции изволь ждать полчаса! Этак и аппетит пропадет к черту, и опоздаешь… Сейчас три часа, а мне к пяти надо быть на юбилейном обеде.

— Pardon, monsieur[176], — побледнел Пуркуа, — ведь вы уж обедаете!

— Не-ет… Какой же это обед? Это завтрак… блины…

Тут соседу принесли селянку. Он налил себе полную тарелку, поперчил кайенским перцем и

---

[176] Примечания: 176
Извините, господин (фр.).

стал хлебать…

«Бедняга… — продолжал ужасаться француз. — Или он болен и не замечает своего опасного состояния, или же он делает все это нарочно… с целью самоубийства… Боже мой, знай я, что наткнусь здесь на такую картину, то ни за что бы не пришел сюда! Мои нервы не выносят таких сцен!»

И француз с сожалением стал рассматривать лицо соседа, каждую минуту ожидая, что вот-вот начнутся с ним судороги, какие всегда бывали у дяди Франсуа после опасного пари…

«По-видимому, человек интеллигентный, молодой… полный сил… — думал он, глядя на соседа. — Быть может, приносит пользу своему отечеству… и весьма возможно, что имеет молодую жену, детей… Судя по одежде, он должен быть богат; доволен… но что же заставляет его решаться на такой шаг?.. И неужели он не мог избрать другого способа, чтобы умереть? Черт знает как дешево ценится жизнь! И как низок, бесчеловечен я, сидя здесь и не идя к нему на помощь! Быть может, его еще можно спасти!»

Пуркуа решительно встал из-за стола и подошел к соседу.

— Послушайте, monsieur, — обратился он к нему

тихим, вкрадчивым голосом. — Я не имею чести быть знаком с вами, но тем не менее верьте, я друг ваш… Не могу ли я вам помочь чем-нибудь? Вспомните, вы еще молоды… у вас жена, дети…

— Я вас не понимаю! — замотал головой сосед, тараща на француза глаза.

— Ах, зачем скрытничать, monsieur? Ведь я отлично вижу! Вы так много едите, что… трудно не подозревать.

— Я много ем?! — удивился сосед. — Я?! Полноте… Как же мне не есть, если я с самого утра ничего не ел?

— Но вы ужасно много едите!

— Да ведь не вам платить! Что вы беспокоитесь? И вовсе я не много ем! Поглядите, ем, как все!

Пуркуа поглядел вокруг себя и ужаснулся. Половые, толкаясь и налетая друг на друга, носили целые горы блинов… За столами сидели люди и поедали горы блинов, семгу, икру… с таким же аппетитом и бесстрашием, как и благообразный господин.

«О, страна чудес! — думал Пуркуа, выходя из ресторана. — Не только климат, но даже желудки делают у них чудеса! О страна, чудная страна!»

Самый большой город

В памяти обывателей города Тима, Курской губ., хранится следующая, лестная для их самолюбия легенда.

Однажды какими-то судьбами нелегкая занесла в г. Тим английского корреспондента. Попал он в него проездом.

— Это какой город? — спросил он возницу, въезжая на улицу.

— Тим! — отвечал возница, старательно лавируя между глубокими лужами и буераками.

Англичанин в ожидании, пока возница выберется из грязи, прикорнул к облучку и уснул. Проснувшись через час, он увидел большую грязную площадь с лавочками, свиньями и с пожарной каланчой.

— А это какой город? — спросил он.

— Ти… Тим! Да ну же, проклятая! — отвечал возница, соскакивая с телеги и помогая лошаденке выбраться из ямы.

Корреспондент зевнул, закрыл глаза и опять уснул. Часа через два, разбуженный сильным толчком, он протер глаза и увидел улицу с белыми домиками. Возница, стоя по колени в грязи,

изо всех сил тянул лошадь за узду и бранился.

— А это какой город? — спросил англичанин, глядя на дома.

— Тим!

Остановившись немного погодя в гостинице, корреспондент сел и написал: «В России самый большой город не Москва и не Петербург, а Тим».

Блины

Вы знаете, что блины живут уже более тысячи лет, с самого, что называется, древле-славянского ab ovo[177]… Они появились на белый свет раньше русской истории, пережили ее всю от начала до последней странички, что лежит вне всякого сомнения, выдуманы так же, как и самовар, русскими мозгами… В антропологии они должны занимать такое же почтенное место, как трехсаженный папоротник или каменный нож; если же у нас до сих пор и нет научных работ относительно блинов, то это объясняется просто тем, что есть блины гораздо легче, чем ломать мозги над ними…

Поддаются времена и исчезают мало-помалу на Руси древние обычаи, одежды, песни; многое уже исчезло и имеет только исторический интерес, а между тем такая чепуха, как блины, занимает в современном российском репертуаре такое же прочное и насиженное место, как и 1000 лет тому назад. Не видно и конца им и в будущем…

Принимая во внимание почтенную давность

---

[177] Примечания: 177
С яйца, с момента возникновения. (лат.).

блинов и их необыкновенную, веками засвидетельствованную стойкость в борьбе с новаторством, обидно думать, что эти вкусные круги из теста служат только узким целям кулинарии и благоутробия… Обидно и за давность и за примерную, чисто спартанскую стойкость… Право, кухня и чрево не стоят тысячи лет.

Что касается меня, то я почти уверен, что многоговорящие старики-блины, помимо кулинарии и чревоугодия, имеют и другие конечные цели… Кроме тяжелого, трудно переваримого теста, в них скрыто еще что-то более высшее, символическое, быть может, даже пророческое. Но что именно?

Не знаю и знать не буду. Это составляло и составляет поднесь глубокую, непроницаемую женскую тайну, до которой добраться так же трудно, как заставить смеяться медведя… Да, блины, их смысл и назначение — это тайна женщины, такая тайна, которую едва ли скоро узнает мужчина. Пишите оперетку!

Со времен доисторических русская женщина свято блюдет эту тайну, передавая ее из рода в род не иначе, как только через дочерей и внучек. Если, храни бог, узнает ее хоть один мужчина, то произойдет что-то такое ужасное, чего даже

женщины не могут представить себе. Ни жена, ни сестра, ни дочь… ни одна женщина не выдаст вам этого секрета, как бы вы дороги ей ни были, как бы она низко ни пала. Купить или выменять секрет невозможно. Его женщина не проронит ни в пылу страсти, ни в бреду. Одним словом, это единственная тайна, которая сумела в течение 1000 лет не просыпаться сквозь такое частое решето, как прекрасная половина!..

Как пекут блины? Неизвестно… Об этом узнает только отдаленное будущее, мы же, не рассуждая и не спрашивая, должны есть то, что нам подают… Это тайна!

Вы скажете, что и мужчины пекут блины… Да, но мужские блины не блины. Из их ноздрей дышит холодом, на зубах они дают впечатление резиновых калош, а вкусом далеко отстают от женских… Повара должны ретироваться и признать себя побежденными…

Печенье блинов есть дело исключительно женское… Повара должны давно уже понять, что это есть не простое поливание горячих сковород жидким тестом, а священнодействие, целая сложная система, где существуют свои верования, традиции, язык, предрассудки, радости, страдания… Да, страдания… Если Некрасов говорил, что русская

женщина исстрадалась, то тут отчасти виноваты и блины…

Я не знаю, в чем состоит процесс печения блинов, но таинственность и торжественность, которыми женщина обставила это священнодействие, мне несколько известны… Тут много мистического, фантастического и даже спиритического… Глядя на женщину, пекущую блины, можно подумать, что она вызывает духов или добывает из теста философский камень…

Во-первых, ни одна женщина, как бы она развита ни была, ни за что не начнет печь блины 13-го числа или под 13-е, в понедельник или под понедельник. В эти дни блины не удаются. Многие догадливые женщины, чтобы обойти это, начинают печь блины задолго до масленицы, таким образом домочадцы получают возможность есть блины и в масленичный понедельник и 13-го числа.

Во-вторых, накануне блинов всегда хозяйка о чем-то таинственно шепчется с кухаркой. Шепчутся и глядят друг на друга такими глазами, как будто сочиняют любовное письмо… После шептания посылают обыкновенно кухонного мальчишку Егорку в лавочку за дрожжами… Хозяйка долго потом смотрит на принесенные

дрожжи, нюхает их и, как бы они идеальны ни были, непременно скажет:

— Эти дрожжи никуда не годятся. Поди, скверный мальчишка, скажи, чтобы тебе получше дали…

Мальчишка бежит и приносит новые дрожжи… За сим берется большая черепяная банка и наливается водой, в которой распускаются дрожжи и немного муки… Когда дрожжи распустились, барыня и кухарка бледнеют, покрывают банку старой скатертью и ставят ее в теплое место.

— Смотри же, не проспи, Матрена… — шепчет барыня. — И чтоб у тебя банка все время в тепле стояла!



За сим следует беспокойная, томительная ночь. Обе, кухарка и барыня, страдают бессонницей, если же спят, то бредят и видят ужасные сны… Как вы, мужчины, счастливы, что не печете блинов!

Не успеет засереть за окном хмурое утро, как барыня, босая, разлохмаченная и в одной сорочке бежит уже в кухню.

— Ну, что? Ну, как? — забрасывает она вопросами Матрену. — А? Отвечай!

А Матрена стоит уже у банки и сыплет в нее гречневую муку…

В-третьих, женщины строго следят за тем, чтобы кто-нибудь из посторонних или из домочадцев-мужчин не вошел в кухню в то время, когда там пекутся блины… Кухарки не пускают в это время даже пожарных. Нельзя ни входить, ни глядеть, ни спрашивать… Если же кто-нибудь заглянет в черепяную банку и скажет: «Какое хорошее тесто!», то тогда хоть выливай — не удадутся блины! Что говорят во время печения блинов женщины, какие читают они заклинания — неизвестно.

Ровно за полчаса до того момента, когда тесто поливается на сковороды, красная и уже замученная кухарка льет в банку немного горячей воды или же теплого молока. Барыня стоит тут же, что-то хочет сказать, но под влиянием священного ужаса не может выговорить. А домочадцы в это время, в ожидании блинов, шагают по комнатам и, глядя на лицо то и дело бегающей в кухню хозяйки, думают, что в кухне родят или же, по меньшей мере, женятся.

Но вот, наконец, шипит первая сковорода, за ней другая, третья… Первые три блина — это макулатура, которую может съесть Егорка… зато четвертый, пятый, шестой и т. д. кладутся на тарелку, покрываются салфеткой и несутся в

столовую к давно уже жаждущим и алчущим. Несет сама хозяйка, красная, сияющая, гордая… Можно думать, что у нее на руках не блины, а ее первенец.

Ну, чем вы объясните этот торжествующий вид? К вечеру барыня и кухарка от утомления не могут ни стоять, ни сидеть. Вид у них страдальческий… Еще бы, кажется, немного, и они прикажут долго жить…

Такова внешняя сторона священнодействия. Если бы блины предназначались исключительно только для низменного чревоугодия, то, согласитесь, тогда непонятны были бы ни эта таинственность, ни описанная ночь, ни страдания… Очевидно, что-то есть, и это «что-то» тщательно скрыто.

Глядя на дам, следует все-таки заключить, что в будущем блинам предстоит решение какой-либо великой, мировой задачи.

О бренности
(Масленичная тема для проповеди)

Надворный советник Семен Петрович Подтыкин сел за стол, покрыл свою грудь салфеткой и, сгорая нетерпением, стал ожидать того момента, когда начнут подавать блины… Перед ним, как перед полководцем, осматривающим поле битвы, расстилалась целая картина… Посреди стола, вытянувшись во фронт, стояли стройные бутылки. Тут были три сорта водок, киевская наливка, шатолароз, рейнвейн и даже пузатый сосуд с произведением отцов бенедиктинцев. Вокруг напитков в художественном беспорядке теснились сельди с горчичным соусом, кильки, сметана, зернистая икра (3 руб. 40 коп. за фунт), свежая семга и проч. Подтыкин глядел на все это и жадно глотал слюнки… Глаза его подернулись маслом, лицо покривило сладострастьем…

— Ну, можно ли так долго? — поморщился он, обращаясь к жене. — Скорее, Катя!

Но вот, наконец, показалась кухарка с блинами… Семен Петрович, рискуя ожечь пальцы, схватил два верхних, самых горячих блина и

аппетитно шлепнул их на свою тарелку. Блины были поджаристые, пористые, пухлые, как плечо купеческой дочки… Подтыкин приятно улыбнулся, икнул от восторга и облил их горячим маслом. Засим, как бы разжигая свой аппетит и наслаждаясь предвкушением, он медленно, с расстановкой обмазал их икрой. Места, на которые не попала икра, он облил сметаной… Оставалось теперь только есть, не правда ли? Но нет!.. Подтыкин взглянул на дела рук своих и не удовлетворился… Подумав немного, он положил на блины самый жирный кусок семги, кильку и сардинку, потом уж, млея и задыхаясь, свернул оба блина в трубку, с чувством выпил рюмку водки, крякнул, раскрыл рот…

Но тут его хватил апоплексический удар.

Иван Матвеич

Шестой час вечера. Один из достаточно известных русских ученых — будем называть его просто ученым — сидит у себя в кабинете и нервно кусает ногти.

— Это просто возмутительно! — говорит он, то и дело посматривая на часы. — Это верх неуважения к чужому времени и труду. В Англии такой субъект не заработал бы ни гроша, умер бы с голода! Ну, погоди же, придешь ты…

И, чувствуя потребность излить на чем-нибудь свой гнев и нетерпение, ученый подходит к двери, ведущей в женину комнату, и стучится.

— Послушай, Катя, — говорит он негодующим голосом. — Если увидишь Петра Данилыча, то передай ему, что порядочные люди так не делают! Это мерзость! Рекомендует переписчика и не знает, кого он рекомендует! Мальчишка аккуратнейшим образом опаздывает каждый день на два, на три часа. Ну, разве это переписчик? Для меня эти два-три часа дороже, чем для другого два-три года! Придет он, я его изругаю, как собаку, денег ему не заплачу и вышвырну вон! С такими людьми нельзя церемониться!

— Ты каждый день это говоришь, а между тем он все ходит и ходит.

— А сегодня я решил. Достаточно уж я из-за него потерял. Ты извини, но я с ним ругаться буду, извозчицки ругаться!

Но вот, наконец, слышится звонок. Ученый делает серьезное лицо, выпрямляется и, закинув назад голову, идет в переднюю. Там, около вешалки, уже стоит его переписчик Иван Матвеич, молодой человек лет восемнадцати, с овальным, как яйцо, безусым лицом, в поношенном, облезлом пальто и без калош. Он запыхался и старательно вытирает свои большие, неуклюжие сапоги о подстилку, причем старается скрыть от горничной дыру на сапоге, из которой выглядывает белый чулок. Увидев ученого, он улыбается той продолжительной, широкой, немножко глуповатой улыбкой, какая бывает на лицах только у детей и очень простодушных людей.

— А, здравствуйте, — говорит он, протягивая большую мокрую руку. — Что, прошло у вас горло?

— Иван Матвеич! — говорит ученый дрогнувшим голосом, отступая назад и складывая вместе пальцы обеих рук. — Иван Матвеич!

Затем он подскакивает к переписчику, хватает

его за плечо и начинает слабо трясти.

— Что вы со мной делаете?! — говорит он с отчаянием. — Ужасный, гадкий вы человек, что вы делаете со мной! Вы надо мной смеетесь, издеваетесь? Да?

Иван Матвеич, судя по улыбке, которая еще не совсем сползла с его лица, ожидал совсем другого приема, а потому, увидев дышащее негодованием лицо ученого, он еще больше вытягивает в длину свою овальную физиономию и в изумлении открывает рот.

— Что… что такое? — спрашивает он.

— И вы еще спрашиваете! — всплескивает руками ученый. — Знаете, как дорого для меня время, и так опаздываете! Вы опоздали на два часа!.. Бога вы не боитесь!

— Я ведь сейчас не из дому, — бормочет Иван Матвеич, нерешительно развязывая шарф. — Я у тетки на именинах был, а тетка верст за шесть отсюда живет… Если бы я прямо из дому шел, ну, тогда другое дело.

— Ну, сообразите, Иван Матвеич, есть ли логика в ваших поступках? Тут дело нужно делать, дело срочное, а вы по именинам да по теткам шляетесь! Ах, да развязывайте поскорее ваш ужасный шарф! Это, наконец, невыносимо!

Ученый опять подскакивает к переписчику и помогает ему распутать шарф.

— Какая вы баба… Ну, идите!.. Скорей, пожалуйста!

Сморкаясь в грязный, скомканный платочек и поправляя свой серенький пиджачок, Иван Матвеич идет через залу и гостиную в кабинет. Тут для него давно уже готово и место, и бумага, и даже папиросы.

— Садитесь, садитесь, — подгоняет ученый, нетерпеливо потирая руки. — Несносный вы человек… Знаете, что работа срочная, и так опаздываете. Поневоле браниться станешь. Ну, пишите… На чем мы остановились?

Иван Матвеич приглаживает свои щетинистые, неровно остриженные волосы и берется за перо. Ученый прохаживается из угла в угол, сосредоточивается и начинает диктовать:

— Суть в том… запятая… что некоторые, так сказать, основные формы… написали? — формы единственно обусловливаются самой сущностью тех начал… запятая… которые находят в них свое выражение и могут воплотиться только в них… С новой строки… Там, конечно, точка…. Наиболее самостоятельности представляют… представляют… те формы, которые имеют не столько

политический… запятая… сколько социальный характер…

— Теперь у гимназистов другая форма… серая… — говорит Иван Матвеич. — Когда я учился, при мне лучше было: мундиры носили.

— Ах, да пишите, пожалуйста! — сердится ученый. — Характер… написали? Говоря же о преобразованиях, относящихся к устройству… государственных функций, а не регулированию народного быта… запятая… нельзя сказать, что они отличаются национальностью своих форм… последние три слова в кавычках… Э-э… тово… Так что вы хотели сказать про гимназию?

— Что при мне другую форму носили.

— Ага… так… А вы давно оставили гимназию?

— Да я же вам говорил вчера! Я уж года три как не учусь… Я из четвертого класса вышел.

— А зачем вы гимназию бросили? — спрашивает ученый, заглядывая в писанье Ивана Матвеича.

— Так, по домашним обстоятельствам.

— Опять вам говорить, Иван Матвеич! Когда, наконец, вы бросите вашу привычку растягивать строки? В строке не должно быть меньше сорока букв!

— Что ж, вы думаете, я это нарочно? — оби-

жается Иван Матвеич. — Зато в других строках больше сорока букв… Вы сочтите. А ежели вам кажется, что я натягиваю, то вы можете мне плату убавить.

— Ах, да не в том дело! Какой вы неделикатный, право… Чуть что, сейчас вы о деньгах. Главное — аккуратность, Иван Матвеич, аккуратность главное! Вы должны приучать себя к аккуратности.

Горничная вносит в кабинет на подносе два стакана чаю и корзинку с сухарями… Иван Матвеич неловко, обеими руками берет свой стакан и тотчас же начинает пить. Чай слишком горяч. Чтобы не ожечь губ, Иван Матвеич старается делать маленькие глотки. Он съедает один сухарь, потом другой, третий и, конфузливо покосившись на ученого, робко тянется за четвертым… Его громкие глотки, аппетитное чавканье и выражение голодной жадности в приподнятых бровях раздражают ученого.

— Кончайте скорей… Время дорого.



— Вы диктуйте. Я могу в одно время и пить и писать… Я, признаться, проголодался.

— Еще бы, пешком ходите!

— Да… А какая нехорошая погода! В наших

краях в это время уж весной пахнет… Везде лужи, снег тает.

— Вы ведь, кажется, южанин?

— Из Донской области… А в марте у нас совсем уж весна. Тут мороз, все в шубах ходят, а там травка… везде сухо и тарантулов даже ловить можно.

— А зачем ловить тарантулов?

— Так… от нечего делать… — говорит Иван Матвеич и вздыхает. — Их ловить забавно. Нацепишь на нитку кусочек смолы, опустишь смолку в норку и начнешь смолкой бить тарантула по спине, а он, проклятый, рассердится, схватит лапками за смолу, и увязнет… А что мы с ними делали! Накидаем их, бывало, полный тазик и пустим к ним бихорку.

— Какого бихорку?

— Это такой паук есть, вроде тоже как бы тарантула. В драке он один может сто тарантулов убить.

— М-да… Однако будем писать… На чем мы остановились?

Ученый диктует еще строк двадцать, потом садится и погружается в размышление.

Иван Матвеич в ожидании, пока тот надумает, сидит и, вытягивая шею, старается привести в порядок воротничок своей сорочки. Галстук сидит

не плотно, запонки выскочили, и воротник то и дело расходится.

— М-да… — говорит ученый. — Так-с… Что, не нашли еще себе места, Иван Матвеич?

— Нет. Да где его найдешь? Я, знаете ли, надумал в вольноопределяющиеся идти. А отец советует в аптеку поступить.

— М-да… А лучше, если бы в университет поступили. Экзамен трудный, но при терпении и усидчивом труде можно выдержать. Занимайтесь, читайте побольше… Вы много читаете?

— Признаться, мало… — говорит Иван Матвеич, закуривая.

— Тургенева читали?

— Н-нет…

— А Гоголя?

— Гоголя? Гм!.. Гоголя… Нет, не читал!

— Иван Матвеич! И вам не совестно? Ай-ай! Такой хороший вы малый, так много в вас оригинального, и вдруг… даже Гоголя не читали! Извольте прочесть! Я вам дам! Обязательно прочтите! Иначе мы рассоримся!



Опять наступает молчание. Ученый полулежит на мягкой кушетке и думает, а Иван Матвеич, оставив в покое воротнички, все свое внимание обращает на сапоги. Он и не заметил, как под ногами от растаявшего снега образовались две большие лужи. Ему совестно.

— Что-то не клеится сегодня… — бормочет

ученый. — Иван Матвеич, вы, кажется, и птиц любите ловить?

— Это осенью… Здесь я не ловлю, а там, дома, всегда ловил…

— Так-с… хорошо-с… А писать все-таки нужно.

Ученый решительно встает и начинает диктовать, но через десять строк опять садится на кушетку.

— Нет уж, вероятно, отложим до завтрашнего утра, — говорит он. — Приходите завтра утром, только пораньше, часам к девяти. Храни вас бог опоздать.

Иван Матвеич кладет перо, встает из-за стола и садится на другой стул. Проходит минут пять в молчании, и он начинает чувствовать, что ему пора уходить, что он лишний, но в кабинете ученого так уютно, светло и тепло, и еще настолько свежо впечатление от сдобных сухарей и сладкого чая, что у него сжимается сердце от одной только мысли о доме. Дома — бедность, голод, холод, ворчун-отец, попреки, а тут так безмятежно, тихо и даже интересуются его тарантулами и птицами.

Ученый смотрит на часы и берется за книгу.

— Так вы дадите мне Гоголя? — спрашивает Иван Матвеич, поднимаясь.

— Дам, дам. Только куда же вы спешите, голубчик? Посидите, расскажите что-нибудь…

Иван Матвеич садится и широко улыбается. Почти каждый вечер сидит он в этом кабинете и всякий раз чувствует в голосе и во взгляде ученого что-то необыкновенно мягкое, притягательное, словно родное. Бывают даже минуты, когда ему кажется, что ученый привязался к нему, привык, и если бранит его за опаздывания, то только потому, что скучает по его болтовне о тарантулах и о том, как на Дону ловят щеглят.

Отрава

На земле весь род людской… и т. д.

(Из арии Мефистофеля)

Петр Петрович Лысов идеалист до конца ногтей, хотя и служит в банкирской конторе Кунст и К°. Он поет жиденьким тенором, играет на гитаре, помадится и носит светлые брюки, а все это составляет признаки, по которым идеалиста можно отличить от материалиста за десять верст. На Любочке, дочери отставного капитана Кадыкина, он женился по самой страстной любви… Верите ли, он так любил свою невесту, что если бы ему предложили выбирать между миллионом и Любочкой, то он, не думая, остановился бы на последней… Черту, конечно, такая идеальность не понравилась, и он не преминул вмешаться.

Накануне свадьбы (черт зачертил именно с этого времени) капитан Кадыкин позвал к себе в кабинет Лысова и, взяв его любовно за пуговицу, сказал:

— Надо тебе заметить, любезный друг Петя, что я некоторым образом тово… Уговор лучше денег… Чтобы потом, собственно говоря, не бы-

ло никаких неудовольствий, надо нам заранее уговориться… Ты знаешь, я ведь за Любочкой не тово… ничего я за Любочкой не даю!

— Ах, не все ли это равно? — вспыхнул идеалист. — И за кого вы меня принимаете? Я женюсь не на деньгах, а на девице!

— То-то… Я ведь это для чего тебе говорю? Для того, чтобы ты все-таки знал… Человек я, конечно, не бедный, имею состояние, но ведь, сам видишь, у меня кроме Любочки еще пятеро… Так-то, друг милый Петя… Охохоххх… (капитан вздохнул). Оно, конечно, и тебе трудно будет, ну, да что делать! Крепись как-нибудь… В случае, ежели что-нибудь этакое… детородность, там, или другое какое событие, то могу помогать… Понемножку могу… Даже сейчас могу…

— Выдумали, ей-богу! — махнул рукой Лысов.

— Сейчас я могу тебе четыреста рублей одолжить… Больше, извини, хотел бы дать, но хоть режь!

Кадыкин полез в стол, достал оттуда какую-то бумагу и подал ее Лысову.

— На, бери! — сказал он. — Ровно четыреста! Я бы и сам получил по этому исполнительному листу, да знаешь, возиться некогда, а ты когда захочешь, тогда и получишь… Прямо без всякого

стеснения ступай к доктору Клябову и получай… А ежели он зафордыбачится, то к судебному приставу…

Как ни отнекивался Лысов и как ни доказывал, что женится не на деньгах, а на девице, но кончил тем, что сложил вчетверо исполнительный лист и спрятал его в карман. На другой день, возвращаясь в карете с венчанья, Лысов держал Любочку за талию и говорил ей:

— Третьего дня ты плакала, что у нас в семейном очаге фортепиано не будет… Радуйся, Любубунчик! Я тебе за четыреста рублей пианино куплю…

После свадебного ужина, когда молодые остались одни, Лысов долго ходил из угла в угол, потом вдохновенно мотнул головой и сказал жене:

— Знаешь что, Люба? Не лучше ли нам подождать покупать пианино? А, как ты думаешь? Давай-ка мы сначала мебели купим! За четыреста рублей отличную меблировку можно завести! Так разукрасим комнаты, что чертям тошно будет! В ту комнату мы поставим диван и кресла с шелковой, знаешь, обивкой… Перед диваном, конечно, круглый стол с какой-нибудь этакой, черт ее побери, заковыристой лампой… Здесь вот мы поставим мраморный рукомойник… Ву

компрене[178]? Ха-ха… В этот промежуток мы втиснем гардероб или комод с туалетом… То есть, черт знает как хорошо все это выйдет!

— Нужно будет и занавески к окнам.

— Да, и занавески! Завтра же пойду к этому доктору! Только бы мне застать его, черта… Эти доктора народ жадный, имеют привычку чуть свет на практику выезжать… Уж ты извини, Люба, я завтра пораньше встану…

В восемь часов утра Лысов тихонько встал, оделся и отправился пешком к доктору Клябову. Без четверти в девять он уже стоял в докторской передней.

— Доктор дома? — спросил он горничную.

— Дома-с, но они спят и не скоро встанут-с.

От такого ответа лицо Лысова поморщилось и стало таким кислым, что горничная испугалась и сказала:

— Если он вам так нужен, то я могу его разбудить! Пожалуйте в кабинет!

Лысов снял шубу и вошел в кабинет…

«А хорошо живет каналья! — подумал он, садясь в кресло и оглядывая обстановку. — Одна софа, небось, рублей четыреста стоит…»

---

[178] Примечания: 178
Вы понимаете? (фр. Vous comprenez?).

Минут через десять послышался отдаленный кашель, потом шаги, и в кабинет вошел доктор Клябов, неумытый, заспанный.

— Что у вас? — спросил он, садясь против Лысова.

— Я, г. доктор, собственно говоря, не болен, — начал идеалист, мило улыбаясь, — а пришел к вам по делу… Видите ли, я вчера женился и… мне очень нужны деньги… Вы меня премного обяжете, если сегодня заплатите по этому исполнительному листу…

— По какому исполнительному листу? — вытаращил глаза доктор.

— А вот по этому… Я Лысов и женился на дочери Кадыкина. Я ему зять и он, то есть тесть, передал мне этот лист. То есть Кадыкин!

— Бог знает что! — махнул рукой Клябов, поднимаясь и делая плачущее лицо. — Я думал, что вы больны, а вы с ерундой какой-то… Это даже бессовестно с вашей стороны! Я сегодня в седьмом часу лег, а вы черт знает из-за чего будите! Порядочные люди уважают чужой покой… Мне даже совестно за вас!

— Виноват, я думал-с. — сконфузился Лысов, — я не знал-с…

И, видя, что доктор уходит, он поднялся и про-

бормотал:

— А когда же прикажете за получением приходить?

— Никогда… Я этому Кадыкину уж тысячу раз говорил, чтобы он оставил меня в покое! Надоели!

Тон и обращение доктора сконфузили Лысова, но и озлили.

— В таком случае, — сказал он, — извините, я должен буду обратиться к судебному приставу и… наложить запрещение на ваше имущество!..

— Сколько угодно! Этот ваш Затыкин, или — как его? — Кадыкин знает, что имущество не мое, а женино.

Выйдя от доктора, Лысов был красен и дрожал от злости.

«Невежа! — думал он. — Скотина! Живет так богато, имеет практику и долгов не платит! Ну, постой же…»

Вечером, вместо того чтобы ложиться спать, Лысов сел писать к доктору письмо… В этом письме он категорически и угрожая судебным приставом просил уведомить его, в какой день и час доктора можно застать дома. Не получив на другой день ответа, он послал еще одно письмо… Наконец, истратив попусту шесть городских

марок, он возмутился и пошел к судебному приставу…

Пока он таким образом писал письма и делал визиты судебному приставу, время шло, и натура человеческая работала… Лысову скоро стало казаться, что четыреста рублей ему необходимы крайне, позарез, что удивительно, как это он мог ранее без них обходиться. Не говоря уж о меблировке, которую можно отложить на будущее, этими деньгами нужно уплатить прежние должишки, портному, в лавочку… Когда дней через десять после свадьбы Любочка попросила у Лысова пять рублей для кухарки, то тот сказал:

— Это уж я из докторских ей дам, а сейчас у меня нет… Знаешь что? Схожу-ка я сегодня к доктору! Попрошу его, чтоб он хоть по частям выплачивал. На это он наверное согласится!..

Придя к доктору, он застал у него в приемной много больных. Пришлось ожидать очереди. Прочитав все газеты, лежавшие на столе, и истомившись до сухоты в горле и нытья под ложечкой, он наконец вошел в кабинет доктора.

— Вы опять! — поморщился Клябов.

Лысов сел и чистосердечно объяснил доктору, как Кадыкин подарил ему исполнительный лист и как нужны ему деньги.

— Вы можете мне по десяти рублей выплачивать… — кончил он. — Я и на это согласен!

— Вы, извините, просто психопат… — ухмыльнулся Клябов. — Кто же, скажите пожалуйста, принимает в подарок исполнительные листы?

— Я принял, потому что думал, что вы будете тово… добросовестны!

— Вот как! Не вам-с говорить о добросовестности! Вы знаете, откуда взялся этот долг? Когда я был студентом, то взял у вашего тестя только пятьдесят рублей, остальные же все проценты! И я не заплачу… По принципу не заплачу! Ни копейки!

Возвратился Лысов домой от доктора утомленный, злой.

— Не понимаю я твоего отца! — сказал он Любочке. — Ведь это низко, подло! Точно у него не нашлось для меня четырехсот рублей! Мне приданого не нужно, но я из принципа! Я теперь с твоим отцом и говорить не хочу… Скряга, грошовник! Назло вот поди и скажи ему, чтобы он взял свой глупый исполнительный лист и вместо него прислал мне четыреста рублей… Слышишь? Поди, так и скажи…

— Как же я ему скажу? Мне неловко, Петя.

— Аа… для тебя он, значит, дороже мужа!

По-твоему, он прав? Я не взял с него ничего приданого, и он же еще прав!

Любочка заморгала глазами и заплакала.

— Начинается… — пробормотал Лысов. — Этого еще недоставало! Ну, пожалуйста, матушка, без этих штук! У меня чтоб этого не было! Меня, брат, этим не убедишь… не проймешь! Я этого не люблю! Можешь у папеньки реветь, а здесь тебе не место! Слышишь?

И Лысов постучал по столу корешком книги… Этим стуком и завершился медовый месяц…

Шуточка

Ясный, зимний полдень… Мороз крепок, трещит, и у Наденьки, которая держит меня под руку, покрываются серебристым инеем кудри на висках и пушок над верхней губой. Мы стоим на высокой горе. От наших ног до самой земли тянется покатая плоскость, в которую солнце глядится, как в зеркало. Возле нас маленькие санки, обитые ярко-красным сукном.

— Съедемте вниз, Надежда Петровна! — умоляю я. — Один только раз! Уверяю вас, мы останемся целы и невредимы.

Но Наденька боится. Все пространство от ее маленьких калош до конца ледяной горы кажется ей страшной, неизмеримо глубокой пропастью. У нее замирает дух и прерывается дыхание, когда она глядит вниз, когда я только предлагаю сесть в санки, но что же будет, если она рискнет полететь в пропасть! Она умрет, сойдет с ума.

— Умоляю вас! — говорю я. — Не надо бояться! Поймите же, это малодушие, трусость!

Наденька наконец уступает, и я по лицу вижу, что ила уступает с опасностью для жизни. Я сажаю ее, бледную, дрожащую, в санки, обхваты-

ваю рукой и вместе с нею низвергаюсь в бездну.

Санки летят как пуля. Рассекаемый воздух бьет в лицо, ревет, свистит в ушах, рвет, больно щиплет от злости, хочет сорвать с плеч голову. От напора ветра нет сил дышать. Кажется, сам дьявол обхватил нас лапами и с ревом тащит в ад. Окружающие предметы сливаются в одну длинную, стремительно бегущую полосу… Вот-вот еще мгновение, и кажется — мы погибнем!

— Я люблю вас, Надя! — говорю я вполголоса.

Санки начинают бежать все тише и тише, рев ветра и жужжанье полозьев не так уже страшны, дыхание перестает замирать, и мы наконец внизу. Наденька ни жива ни мертва. Она бледна, едва дышит… Я помогаю ей подняться.

— Ни за что в другой раз не поеду, — говорит она, глядя на меня широкими, полными ужаса глазами. — Ни за что на свете! Я едва не умерла!

Немного погодя она приходит в себя и уже вопросительно заглядывает мне в глаза: я ли сказал те четыре слова, или же они только послышались ей в шуме вихря? А я стою возле нее, курю и внимательно рассматриваю свою перчатку.

Она берет меня под руку, и мы долго гуляем около горы. Загадка, видимо, не дает ей покою. Были сказаны те слова или нет? Да или нет? Да

или нет? Это вопрос самолюбия, чести, жизни, счастья, вопрос очень важный, самый важный на свете. Наденька нетерпеливо, грустно, проникающим взором заглядывает мне в лицо, отвечает невпопад, ждет, не заговорю ли я. О, какая игра на этом милом лице, какая игра! Я вижу, она борется с собой, ей нужно что-то сказать, о чем-то спросить, но она не находит слов, ей неловко, страшно, мешает радость…

— Знаете что? — говорит она, не глядя на меня.

— Что? — спрашиваю я.

— Давайте еще раз… прокатим.

Мы взбираемся по лестнице на гору. Опять я сажаю бледную, дрожащую Наденьку в санки, опять мы летим в страшную пропасть, опять ревет ветер и жужжат полозья, и опять при самом сильном и шумном разлете санок я говорю вполголоса.

— Я люблю вас, Наденька!

Когда санки останавливаются, Наденька окидывает взглядом гору, по которой мы только что катили, потом долго всматривается в мое лицо, вслушивается в мой голос, равнодушный и бесстрастный, и вся, вся, даже муфта и башлык ее, вся ее фигурка выражают крайнее недоумение. И на лице у нее написано:

«В чем же дело? Кто произнес те слова? Он, или мне только послышалось?»

Эта неизвестность беспокоит ее, выводит из терпения. Бедная девочка не отвечает на вопросы, хмурится, готова заплакать.

— Не пойти ли нам домой? — спрашиваю я.

— А мне… мне нравится это катанье, — говорит она, краснея. — Не проехаться ли нам еще раз?

Ей «нравится» это катанье, а между тем, садясь в санки, она, как и в те разы, бледна, еле дышит от страха, дрожит.

Мы спускаемся в третий раз, и я вижу, как она смотрит мне в лицо, следит за моими губами. Но я прикладываю к губам платок, кашляю и, когда достигаем середины горы, успеваю вымолвить:

— Я люблю вас, Надя!

И загадка остается загадкой! Наденька молчит, о чем-то думает… Я провожаю ее с катка домой, она старается идти тише, замедляет шаги и все ждет, не скажу ли я ей тех слов. И я вижу, как страдает ее душа, как она делает усилия над собой, чтобы не сказать:

— Не может же быть, чтоб их говорил ветер! И я не хочу, чтобы это говорил ветер!

На другой день утром я получаю записочку: «Если пойдете сегодня на каток, то заходите за

мной. Н.» И с этого дня я с Наденькой начинаю каждый день ходить на каток и, слетая вниз на санках, я всякий раз произношу вполголоса одни и те же слова:



— Я люблю вас, Надя!

Скоро Наденька привыкает к этой фразе, как к вину или морфию. Она жить без нее не может. Правда, лететь с горы по-прежнему страшно, но теперь уже страх и опасность придают особое

очарование словам о любви, словам, которые по-прежнему составляют загадку и томят душу. Подозреваются все те же двое: я и ветер… Кто из двух признается ей в любви, она не знает, но ей, по-видимому, уже все равно; из какого сосуда ни пить — все равно, лишь бы быть пьяным.

Как-то в полдень я отправился на каток один; смешавшись с толпой, я вижу, как к горе подходит Наденька, как ищет глазами меня… Затем она робко идет вверх по лесенке. Страшно ехать одной, о, как страшно! Она бледна, как снег, дрожит, она идет точно на казнь, но идет, идет без оглядки, решительно. Она, очевидно, решила, наконец, попробовать: будут ли слышны те изумительные сладкие слова, когда меня нет? Я вижу, как она, бледная, с раскрытым от ужаса ртом, садится в санки, закрывает глаза и, простившись навеки с землей, трогается с места… «Жжжж…» — жужжат полозья. Слышит ли Наденька те слова, я не знаю… Я вижу только, как она поднимается из саней изнеможенная, слабая. И видно по ее лицу, она и сама не знает, слышала она что-нибудь или нет. Страх, пока она катила вниз, отнял у нее способность слышать, различать звуки, понимать…

Но вот наступает весенний месяц март… Солнце становится ласковее. Наша ледяная гора темнеет,

теряет свой блеск и тает наконец. Мы перестаем кататься. Бедной Наденьке больше уж негде слышать тех слов, да и некому произносить их, так как ветра не слышно, а я собираюсь в Петербург — надолго, должно быть, навсегда.

Как-то перед отъездом, дня за два, в сумерки сижу я в садике, а от двора, в котором живет Наденька, садик этот отделен высоким забором с гвоздями… Еще достаточно холодно, под навозом еще снег, деревья мертвы, но уже пахнет весной и, укладываясь на ночлег, шумно кричат грачи. Я подхожу к забору и долго смотрю в щель. Я вижу, как Наденька выходит на крылечко и устремляет печальный, тоскующий взор на небо… Весенний ветер дует ей прямо в бледное, унылое лицо… Он напоминает ей о том ветре, который ревел нам тогда на горе, когда она слышала те четыре слова, и лицо у нее становится грустным, грустным, по щеке ползет слеза… И бедная девочка протягивает обе руки, как бы прося этот ветер принести ей еще раз те слова. И я, дождавшись ветра, говорю вполголоса:

— Я люблю вас, Надя!

Боже мой, что делается с Наденькой! Она вскрикивает, улыбается во все лицо и протягивает навстречу ветру руки, радостная, счастливая,

такая красивая.

А я иду укладываться…

Это было уже давно. Теперь Наденька уже замужем; ее выдали, или она сама вышла — это все равно, за секретаря дворянской опеки, и теперь у нее уже трое детей. То, как мы вместе когда-то ходили на каток и как ветер доносил до нее слова «Я вас люблю, Наденька», не забыто; для нее теперь это самое счастливое, самое трогательное и прекрасное воспоминание в жизни…

А мне теперь, когда я стал старше, уже непонятно, зачем я говорил те слова, для чего шутил…

Мой разговор с почтмейстером

— Скажите, пожалуйста, Семен Алексеич, — обратился я к почтмейстеру, получая от него денежный пакет на один (1) рубль, — зачем это к денежным пакетам прикладывают пять печатей?

— Нельзя без этого… — ответил Семен Алексеич, значительно пошевелив бровями.

— Почему же?

— А потому… Нельзя!

— Видите ли, насколько я понимаю, эти печати требуют жертв как со стороны обывателей, так и со стороны правительства. Увеличивая вес пакета, они тем самым бьют по карману обывателя, отнимая же у чиновников время для их прикладывания, они наносят ущерб казначейству. Если и приносят они кому-нибудь видимую пользу, то разве только сургучным фабрикантам…

— Надо же и фабрикантам чем-нибудь жить… — глубокомысленно заметил Семен Алексеич.

— Это так, но ведь фабриканты могли бы приносить пользу отечеству и на другом поприще… Нет, серьезно, Семен Алексеич, какой смысл имеют эти пять печатей? Нельзя же ведь думать, чтобы

они прикладывались зря! Имеют они значение символическое, пророческое, или иное какое? Если это не составляет государственной тайны, то объясните, голубчик!

Семен Алексеич подумал, вздохнул и сказал:

— М-да… Стало быть, без них нельзя, ежели их прикладывают!

— Почему же? Прежде, когда конверты были без подклейки, они, быть может, имели смысл как предохранительное средство от посягателей, теперь же…

— Вот видите! — обрадовался почтмейстер. — А нешто посягателей нет?

— Теперь же, — продолжал я, — у конвертов есть подклейка из гуммиарабика, который прочнее всякого сургуча. К тому же вы запаковываете пакеты во столько бумаг и тюков, что пробраться к ним трудно даже инфузории, а не то что вору. И от кого запечатывать, не понимаю! Публика у вас не ворует, а ежели который из ваших нижних чинов захочет посягнуть, так он и на печати не посмотрит. Сами знаете, печать снять и опять к месту приложить — раз плюнуть!

— Это верно… — вздохнул Семен Алексеич. — От своих воров не убережешься.

— Ну, вот видите! К чему же печати?

— Ежели во все входить… — протяжно произнес почтмейстер, — да обо всем думать, как, почему да зачем, так это мозги раскорячатся, а лучше делай так, как показано… Право!

— Это справедливо… — согласился я. — Но позвольте еще один вопрос… Вы специалист по почтовой части, а потому скажите, пожалуйста, отчего это, когда человек родится или женится, то не бывает таких процедур, как ежели он деньги отправляет или получает? Взять для примера хоть мою мамашу, которая посылала мне этот самый рубль. Вы думаете, ей это легко пришлось? Не-ет-с, легче ей еще пятерых детей произвесть, чем этот рубль посылать… Судите сами… Прежде всего ей нужно было пройти три версты на почту. На почте нужно долго стоять и ждать очереди. Цивилизация ведь не дошла еще на почте до стульев и скамей! Старушка стоит, а тут ей: «Погодите! Не толпитесь! Прошу не облокачиваться!»

— Без этого нельзя…

— Нельзя, но позвольте… Дождалась очереди, сейчас приемщик берет пакет, хмурится и бросает назад. «Вы, говорит, забыли написать „денежное“»… Моя старушенция идет с почты в лавочку, чтоб написать там «денежное», из лавочки опять на почту ждать очереди… Ну-с, приемщик опять

берет пакет, считает деньги и говорит: «Ваш сургуч?» А у моей мамаши этого сургуча даже в воображении нет. Дома его держать не приходится, а в лавочке, сами знаете, гривенник за палочку стоит. Приемщик, конечно, обижается и начинает суслить пакет казенным сургучом. Такие печатищи насуслит, что не лотами, а берковцами считать приходится. «Вашу, говорит, печатку!» А у моей мамаши, кроме наперстка да стальных очков — никакой другой мебели…

— Можно и без печатки…

— Но позвольте. Засим следуют весовые, страховые, за сургуч, за расписку, за… голова кружится! Чтобы рубль послать, непременно нужно с собой на всякий случай два иметь… Ну-с, рубль записывают в 20-ти книгах и, наконец, посылают… Получаете теперь вы его здесь, на своей почте. Вы первым делом его в 20-ти книгах записываете, пятью номерами номеруете и за десять замков прячете, словно разбойника какого или святотатца. Засим почтальон приносит мне от вас объявление, и я расписуюсь, что объявление получено такого-то числа. Почтальон уходит, а я начинаю ходить из угла в угол и роптать: «Ах, мамаша, мамаша! За что вы на меня прогневались? И за какую такую провинность вы мне этот

самый рубль прислали? Ведь теперь умрешь от хлопот!»

— А на родителей грех роптать! — вздохнул Семен Алексеич.

— То-то вот оно и есть! Грех, но как не возроптать? Тут дела по горло, а ты иди в полицию и удостоверяй личность и подпись… Хорошо еще, что удостоверение только 10–15 коп. стоит, — а что, если б за него рублей пять брали? И для чего, спрашивается, удостоверение? Вы, Семен Алексеич, меня отлично знаете… И в бане я с вами бывал, и чай пивали вместе, и умные разговоры разговаривали… Для чего же вам удостоверение моей личности?

— Нельзя, форма!.. Форма, сударь мой, это такой предмет, что… лучше и не связываться. Формалистика, одним словом!

— Но ведь вы меня знаете!

— Мало ли что! Я знаю, что это вы, ну… а вдруг это не вы? Кто вас знает! Может, вы инкогнито!

— И рассудили бы вы: какой мне расчет подделывать чужую подпись, чтоб украсть деньги? Ведь это подлог-с! Гораздо меньшее наказание, ежели я просто приду сюда к вам и хапну все пакеты из сундука… Нет-с, Семен Алексеич, за границей это дело проще поставлено. Там почта-

льон входит к вам и — «Вы такой-то? Получите деньги!»

— Не может этого быть… — покачал головой почтмейстер.

— Вот вам и не может быть! Там все зиждется на взаимном доверии… Я вам доверяю, вы мне… Намедни приходит ко мне квартальный надзиратель получать судебные издержки… Ведь я же не потребовал от него удостоверения личности, а так ему деньги отдал! Мы, обыватели, не требуем с вас, а вы…

— Ежели во все вникать, — перебил меня Семен Алексеич, грустно усмехаясь, — да ежели все решать, как, что, почему да зачем, так, по-моему, лучше…

Почтмейстер не договорил, махнул рукой и, подумав немного, сказал:

— Не нашего ума это дело!

Волк

Помещик Нилов, плотный, крепкий мужчина, славящийся на всю губернию своей необыкновенной физической силой, и следователь Куприянов, возвращаясь однажды вечером с охоты, завернули на мельницу к старику Максиму. До усадьбы Нилова оставалось только две версты, но охотники так утомились, что идти дальше не захотели и порешили сделать на мельнице продолжительный привал. Это решение имело тем больший смысл, что у Максима водились чай и сахар, а при охотниках имелся приличный запас водки, коньяку и разной домашней снеди.

После закуски охотники принялись за чай и разговорились.

— Что новенького, дед? — обратился Нилов к Максиму.

— Что новенького? — усмехнулся старик. — А то новенького, что собираюсь у вашей милости ружьеца попросить.

— На что тебе ружье?

— Чего-с? Оно, пожалуй, хоть и не надо. Я ведь это только так спрашиваю, для пущей важности… Все равно стрелять не вижу. Шут его знает, откуда

бешеный волк взялся. Второй уж день, как тут бегает… Вчера ввечеру около деревни жеребенка и двух собак зарезал, а нынче чуть свет выхожу я, а он, проклятый, сидит под ветлой и бьет себя лапой по морде. Я на него — «тю!», а он глядит на меня, как нечистая сила… Я в него камнем, а он заклацал зубами, засветил очами, как свечками, и подался к осиновому узлеску… Испугался я до смерти.

— Черт знает что… — пробормотал следователь. — Бешеный волк бегает, а мы тут шатаемся…

— Ну, так что же? Ведь мы с ружьями.

— Не станете же вы стрелять в волка дробью…

— Зачем стрелять? Можно просто прикладом уложить.

И Нилов стал доказывать, что нет ничего легче, как убить волка прикладом, и рассказал один случай, когда он одним ударом обыкновенной трости уложил на месте напавшую на него большую бешеную собаку.

— Вам хорошо рассуждать! — вздохнул следователь, с завистью поглядев на его широкие плечи. — Силища у вас — слава тебе господи, на десятерых хватит. Не то что тростью, вы и пальцем собаку уложите. Простой же смертный пока

соберется поднять палку, да пока наметит место, по которому ударить, да пока что, собака успеет его раз пять укусить. Неприятная история… Нет болезни мучительнее и ужаснее, как водобоязнь. Когда мне впервые довелось увидеть бешеного человека, я дней пять потом ходил, как шальной, и возненавидел тогда всех в мире собачников и собак. Во-первых, ужасна эта скоропостижность, экспромтность болезни… Идет человек здоровый, покойный, ни о чем не думает, и вдруг ни с того ни с сего — цап его бешеная собака! Человеком моментально овладевает ужасная мысль, что он погиб безвозвратно, что нет спасения… Засим можете себе вообразить томительное, гнетущее ожидание болезни, не оставляющее укушенного ни на одну минуту. За ожиданием следует сама болезнь… Ужаснее же всего, что эта болезнь неизлечима. Уж коли заболел, то пиши пропало. В медицине, насколько мне известно, нет даже намека на возможность излечения.

— А у нас на деревне лечат, барин! — сказал Максим. — Мирон кого угодно вылечит.

— Чепуха… — вздохнул Нилов. — Насчет Мирона все это одни только разговоры. Прошлым летом на деревне Степку искусала собака, и никакие Мироны не помогли… Как ни поили его

всякою дрянью, а все-таки взбесился. Нет, дедуся, ни черта не поделаешь. Случись со мною такая оказия, укуси меня бешеная собака, я бы себе пулю пустил в лоб.

Страшные рассказы о водобоязни имели свое действие. Охотники постепенно умолкли и продолжали пить молча. Каждый невольно задумался о роковой зависимости жизни и счастья человека от случайностей и пустяков, по-видимому, ничтожных, не стоящих, как говорится, яйца выеденного. Всем стало скучно и грустно.

После чаю Нилов потянулся и встал… Ему захотелось выйти наружу. Походив немного около закромов, он отворил маленькую дверцу и вышел. На дворе давно уже кончились сумерки и наступил настоящий вечер. От реки веяло тихим, непробудным сном.

На плотине, залитой лунным светом, не было ни кусочка тени; на середине ее блестело звездой горлышко от разбитой бутылки. Два колеса мельницы, наполовину спрятавшись в тени широкой ивы, глядели сердито, уныло…

Нилов вздохнул всей грудью и взглянул на реку… Ничто не двигалось. Вода и берега спали, даже рыба не плескалась… Но вдруг Нилову показалось, что на том берегу, повыше кустов ивняка,

что-то похожее на тень прокатилось черным шаром. Он прищурил глаза. Тень исчезла, но скоро опять показалась и зигзагами покатилась к плотине.



«Волк!» — вспомнил Нилов.

Но прежде чем в голове его мелькнула мысль о том, что нужно бежать назад, в мельницу, темный шар уже катился по плотине, не прямо на Нилова, а зигзагами.

«Если я побегу, то он нападет на меня сзади, — соображал Нилов, чувствуя, как на голове у него под волосами леденеет кожа. — Боже мой, даже палки нет! Ну, буду стоять и… и задушу его!»

И Нилов стал внимательно следить за движениями волка и за выражением его фигуры. Волк бежал по краю плотины, уже поравнялся с ним…

«Он мимо бежит!» — подумал Нилов, не спуская с него глаз.

Но в это время волк, не глядя на него и будто нехотя, издал жалобный, скрипучий звук, повернул к нему морду и остановился. Он точно соображал: напасть или пренебречь?

«Ударить по голове кулаком… — думал Нилов. — Ошеломить…»

Нилов так растерялся, что не понял, кто первый начал борьбу: он или волк? Он только понял, что настал какой-то особенно страшный, критический момент, когда понадобилось сосредоточить всю силу в правой руке и схватить волка за шею около затылка. Тут произошло нечто необыкновенное, чему трудно поверить и что самому Нилову казалось сном. Схваченный волк жалобно зарычал и рванулся с такой силой, что складка кожи, холодная и мокрая, сжатая рукою Нилова, заскользила между пальцами. Волк, стараясь высвободить свой затылок, поднялся на задние лапы. Тогда Нилов левой рукой схватил его за правую лапу, сжал ее у самой подмышки, потом быстро отнял свою правую руку от затылка волка и, сжавши ею левую подмышку, поднял волка на воздух. Все это было делом одного мгновения. Чтобы волк не укусил его за руки и чтобы не дать

его голове ворочаться, Нилов большие пальцы обеих рук вонзил в его шею около ключиц, словно шпоры… Волк уперся лапами в его плечи и, получив таким образом точку опоры, затрясся с страшной силой. Укусить руки Нилова до локтя он не мог, протянуть же морду к его лицу и плечам ему мешали пальцы, давившие его шею и причинявшие ему сильную боль…

«Скверно! — думал Нилов, оттягивая возможно дальше назад свою голову. — Слюна его попала мне на губу. Стало быть, все равно уже пропал, даже если и избавлюсь от него каким-нибудь чудом».

— Ко мне! — закричал он. — Максим! Ко мне!

Оба, Нилов и волк, головы которых были на одном уровне, глядели в глаза друг другу… Волк щелкал зубами, издавал скрипучие звуки и брызгал… Задние лапы его, ища опоры, ерзали по коленям Нилова… В глазах светилась луна, но не видно было ничего, похожего на злобу; они плакали и походили на человеческие.

— Ко мне! — закричал еще раз Нилов. — Максим!

Но на мельнице его не слышали. Он инстинктивно чувствовал, что от громкого крика может убавиться его сила, а потому кричал не громко…

«Буду пятиться назад. — решил он. — Дойду задом до дверей и там крикну».

Он начал пятиться, но не прошел и двух аршин, как почувствовал, что его правая рука слабеет и отекает. Затем вскоре наступил момент, когда он услышал свой собственный душу раздирающий крик и почувствовал острую боль в правом плече и влажную теплоту, разлившуюся вдруг по всей руке и по груди… Затем он слышал голос Максима, понял выражение ужаса на лице прибежавшего следователя…



Выпустил он из рук своего врага, когда у него насильно уж разжали пальцы и доказали ему, что волк убит… Отуманенный сильными ощущениями, чувствуя уж кровь на бедрах и в правом сапоге, близкий к обмороку, вернулся он на мельницу… Огонь, вид самовара и бутылок привели его в чувство и напомнили ему все только что пережитые им ужасы и опасность, которая для

него только что еще начиналась. Бледный, с широкими зрачками и с мокрой головой, он сел на мешки и в изнеможении опустил руки. Следователь и Максим раздели его и занялись раной. Рана оказалась солидной. Волк порвал кожу на всем плече и тронул даже мускулы.

— Отчего вы не бросили его в реку? — возмущался бледный следователь, останавливая кровотечение. — Отчего в реку вы его не бросили?

— Не догадался! Боже мой, не догадался!

Следователь начал было утешать и обнадеживать, но после тех густых красок, на которые он был так щедр, когда раньше описывал водобоязнь, всякие утешительные речи были бы неуместны, а потому он почел за лучшее молчать. Перевязавши кое-как рану, он послал Максима в усадьбу за лошадями, но Нилов не стал дожидаться экипажа и пошел домой пешком.

Утром часов в шесть он, бледный, непричесанный, похудевший от боли и бессонной ночи, приехал на мельницу.

— Дед, — обратился он к Максиму, — вези меня к Мирону! Скорей! Идем, садись в коляску!

Максим, тоже бледный и не спавший всю ночь, сконфузился, несколько раз оглянулся и сказал

шепотом:

— Не надо, барин, к Мирону ехать… И я, извините, лечить умею.

— Хорошо, только скорее, пожалуйста!

И Нилов нетерпеливо затопал ногами. Старик поставил его лицом к востоку, прошептал что-то и дал ему хлебнуть из кружки какой-то противной, теплой жидкости с полынным вкусом.

— А Степка умер… — пробормотал Нилов. — Допустим, что у народа есть средства, но… но почему же Степка умер? Ты все-таки свези меня к Мирону!

От Мирона, которому он не верил, он поехал в больницу к Овчинникову. Получив здесь пилюли из белладонны и совет лечь в постель, он переменил лошадей и, не обращая внимания на страшную боль в руке, поехал в город, к городским докторам…

Дня через четыре, поздно вечером, он вбежал к Овчинникову и повалился на диван.

— Доктор! — начал он, задыхаясь и вытирая рукавом пот с бледного, похудевшего лица. — Григорий Иваныч! Делайте со мной что хотите, но дольше оставаться я так не могу! Или лечите меня, или отравите, а так не оставляйте! Бога ради! Я сошел с ума!

— Вам нужно лечь в постель, — сказал Овчинников.

— Ах, подите вы с вашим лежаньем! Я вас спрашиваю толком, русским языком: что мне делать? Вы врач и должны мне помочь! Я страдаю! Каждую минуту мне кажется, что я начинаю беситься. Я не сплю, не ем, дело валится у меня из рук! У меня вот револьвер в кармане. Я каждую минуту его вынимаю, чтобы пустить себе пулю в лоб! Григорий Иваныч, ну да займитесь же мною бога ради! Что мне делать? Вот что, не поехать ли мне к профессорам?

— Это все равно. Поезжайте, если хотите.

— Послушайте, а если я, положим, объявлю конкурс, что если кто вылечит, то получит пятьдесят тысяч? Как вы думаете, а? Впрочем, пока напечатаешь, пока… то успеешь раз десять взбеситься. Я готов теперь все состояние отдать! Вылечите меня, и я дам вам пятьдесят тысяч! Займитесь же ради бога! Не понимаю этого возмутительного равнодушия! Поймите, что я теперь каждой мухе завидую… я несчастлив! Семья моя несчастна!

У Нилова затряслись плечи, и он заплакал…

— Послушайте, — начал утешать его Овчинников. — Я отчасти не понимаю этого вашего возбужденного состояния. Что вы плачете? И

зачем так преувеличивать опасность? Поймите, ведь у вас гораздо больше шансов не заболеть, чем заболеть. Во-первых, из ста укушенных заболевает только тридцать. Потом, что очень важно, волк кусал вас через одежду, значит, яд остался на одежде. Если же в рану и попал яд, то он должен был вытечь с кровью, так как у вас было сильное кровотечение. Относительно водобоязни я совершенно покоен, а если меня и беспокоит что-нибудь, так это только рана. При вашей небрежности легко может приключиться рожа или что-нибудь вроде.

— Вы думаете? Утешаете вы или серьезно?

— Честное слово, серьезно. Возьмите-ка, почитайте!

Овчинников взял с полки книгу и, пропуская страшные места, стал читать Нилову главу о водобоязни.

— Стало быть, вы напрасно беспокоитесь, — сказал он, кончив чтение. — Ко всему этому прибавьте еще, что нам с вами неизвестно, был ли то бешеный волк или здоровый.

— М-да… — согласился Нилов, улыбаясь. — Теперь понятно, конечно… Стало быть, все это чепуха?

— Разумеется, чепуха.

— Ну, спасибо, родной… — засмеялся Нилов, весело потирая руки. — Теперь, умница вы этакий, я покоен… Я доволен и даже счастлив, ей-богу… Нет, честное слово… даже.

Нилов обнял Овчинникова и поцеловал его три раза. Потом на него напал мальчишеский задор, к которому так склонны добродушные, физически сильные люди. Он схватил со стола подкову и хотел ее разогнуть, но, обессилев от радости и от боли в плече, он ничего не мог сделать; ограничился только тем, что обнял доктора левою рукой ниже талии, поднял его и пронес на плече из кабинета в столовую. Вышел он от Овчинникова веселый, радостный, и казалось даже, что с ним вместе радовались и слезинки, блестевшие на его широкой черной бороде. Спускаясь вниз по ступеням, он засмеялся басом и потряс перила крыльца с такой силой, что одна балясина выскочила и все крыльцо затрепетало под ногами Овчинникова.

«Какой богатырь! — думал Овчинников, с умилением глядя на его большую спину. — Какой молодец!»

Севши в коляску, Нилов опять стал с самого начала и с большими подробностями рассказывать о том, как он на плотине боролся с волком.

— Была игра! — кончил он, весело смеясь. — Будет о чем вспомнить в старости. Погоняй, Тришка!

В Париж!

Секретарь земской управы Грязнов и учитель уездного училища Лампадкин однажды под вечер возвращались с именин полицейского надзирателя Вонючкина. Идя под руку, они вместе очень походили на букву «Ю». Грязнов тонок, высок и жилист, одет в обтяжку и похож на палку, а Лампадкин толст, мясист, одет во все широкое и напоминает ноль. Оба были навеселе и слегка пошатывались.

— Рекомендована новая грамматика Грота, — бормотал Лампадкин, всхлипывая своими полными грязи калошами. — Грот доказывает ту теорию, что имена прилагательные в родительном падеже единственного числа мужеского рода имеют не *аго*, а *ого*... Вот тут и понимай! Вчера Перхоткина без обеда за *ого* в слове *золотого* оставил, а завтра, значит, должен буду перед ним глазами лупать... Стыд! Срам!

Но Грязнов не слушал ученых разговоров педагога. Все его внимание было обращено на грязный мостик перед трактиром Ширяева, где на этот раз происходило маленькое недоразумение. Дюжины две обывательских собак, сомкнувшись

цепью, окружали черную шершавую дворняжку и наполняли воздух протяжным, победным лаем. Дворняжка вертелась, как на иголках, скалила на врагов зубы и старалась поджать как можно дальше под живот свой ощипанный хвост. Случай не важный, но секретарь управы принадлежит к числу тех восприимчивых, легко воспламеняющихся натур, которые не могут равнодушно видеть, если кто ссорится или дерется. Поравнявшись с группой собак, он не утерпел, чтобы не вмешаться.

— Рви его! Куси, анафему! Фюйть! — начал он рычать и подсвистывать, примыкая к собачьей цепи. — Рррр… Так его! Жарь!

И, чтобы еще больше раззадорить собак, он нагнулся и дернул дворняжку за заднюю ногу. Та взвизгнула и, прежде чем Грязнов успел поднять руку, укусила его за палец. Тотчас же, словно испугавшись своей смелости, она перепрыгнула через цепь, мимоходом цапнула Лампадкина за икру и побежала вдоль по улице. Собаки за ней…

— Ах, ты, шут! — закричал ей вслед Грязнов, потрясая пальцем. — Чтоб тебя раздавило, чертова тварь! Лови! Бей!

— Лови! — раздались голоса, мешаясь со свистками. — Гони! Бей! Братцы, бешеная! Хвост

поджала и морду вниз держит! Самая она и есть бешеная! Тю!

Приятели дождались, когда собаки скрылись из виду, взялись под руки и пошли дальше. Придя домой (педагог за 7 руб. в месяц жил и столовался у секретаря), они уже забыли историю с дворняжкой… Сняв грязные брюки и развесив их для просушки на дверях, они занялись чаепитием. Настроение духа у обоих было отменное, философски-благодушное… Но часа через полтора, когда они с теткой, свояченицей и с четырьмя сестрами Грязнова сидели за столом и играли в фофана, вдруг неожиданно явился уездный врач Каташкин и несколько нарушил их покой.

— Ничего, ничего… я не дама! — начал пришедший, видя, как секретарь и педагог стараются скрыть под столом свои невыразимые и босые ноги. — Меня, господа, к вам прислали! Говорят, что вас обоих укусила собака!

— Как же, как же… укусила, — сказал Грязнов, ухмыляясь во все лицо. — Очень приятно! Садитесь, Митрий Фомич! Давно не видались, побей меня бог… Чаю не хотите ли? Глаша, водочку принеси! Вы чем закусывать будете: редькой или колбасой?

— Говорят, что собака бешеная! — продолжая

доктор, встревоженно глядя на приятелей. — Бешеная она или нет, но все-таки нельзя относиться так небрежно. Чем черт не шутит? Покажите-ка, где она вас укусила?

— А, да наплюйте! — махнул рукой секретарь. — Укусила чуть-чуть… за палец… От этого не сбесишься… Может, вы пиво пить будете? Глашка, беги к жидовке и скажи, чтоб в долг две бутылки пива дала!

Каташкин сел и, насколько у него хватало силы перекричать пьяных, начал пугать их водобоязнью… Те сначала ломались и бравировали, но потом струсили и показали ему укушенные места. Доктор осмотрел раны, прижег их ляписом и ушел. После этого приятели легли спать и долго спорили о том, из чего делается ляпис.

На другой день утром Грязнов сидел на самой верхушке высокого тополя и привязывал там скворечню. Лампадкин стоял внизу под деревом и держал молоток и веревочки. Садик секретаря был еще весь в снегу, но от каждой веточки и мокрой коры деревьев так и веяло весной.

— Грот доказывает еще ту теорию, — бормотал педагог, — что *ворота* не среднего рода, а мужеского. Гм… Значит, писать нужно не *красныя ворота*, а *красные*… Ну, это пусть он оближется!

Скорей в отставку подам, чем изменю насчет ворот свои убеждения.



И педагог раскрыл уже рот и величественно

поднял вверх молоток, чтобы начать громить ученых академиков, как в это время скрипнула садовая калитка, и в сад нежданно-негаданно, словно черт из люка, вошел уездный предводитель Позвоночников. Увидев его, Лампадкин от изумления побледнел и выронил молоток.

— Здравствуйте, милейший! — обратился к нему предводитель. — Ну, как ваше здоровье? Говорят, что вас и Грязнова вчера бешеная собака искусала!

— Может, она вовсе не бешеная! — пробормотал с верхушки тополя Грязнов. — Одни только бабьи разговоры!

— Может быть; а может быть, и бешеная! — сказал предводитель. — Так ведь нельзя рассуждать… На всякий случай нужно принять меры!

— Какие же меры-с? — тихо спросил педагог — Нас вчера прижигали-с!

— Сейчас мне говорил доктор, но этого недостаточно. Нужно что-нибудь более радикальное. В Париж бы ехали, что ли… Да так, вероятно, и придется вам сделать: езжайте в Париж!

Педагог выронил веревочки и окаменел, а секретарь от удивления едва не свалился с дерева…

— В Пари-иж? — протянул он. — Да что я там буду делать?

— Вы поедете к Пастеру… Конечно, это немножко дорого будет стоить, — но что делать? Здоровье и жизнь дороже… И вы успокоитесь, да и мы будем покойны… Я сейчас говорил с председателем Иваном Алексеичем. Он думает, что управа даст вам на дорогу… С своей стороны моя жена жертвует вам двести рублей… Что же вам еще нужно? Собирайтесь! А пачпорты я быстро вам выхлопочу…

— Сбесились, чудаки! — ухмыльнулся Грязнов по уходе предводителя. — В Париж! Ах, дурни, прости господи! Добро бы еще в Москву или в Киев, а то — на тебе!.. в Париж! И из-за чего? Хоть бы собака путевая, породистая какая, а то из-за дворняжки — тьфу! Скажи на милость, каких аристократов нашел: в Париж! Чтоб я пропал, ежели поеду!

Педагог долго в раздумье глядел на землю, потом весело заржал и сказал вдохновенным голосом:

— Знаешь, что, Вася? Поедем! Накажи меня господь, поедем! Ведь Париж, заграница… Европа!

— Чего я там не видел? Ну его!

— Цивилизация! — продолжал восторгаться Лампадкин. — Господи, какая цивилизация! Виды эти, разные Везувии… окрестности! Что ни

шаг, то и окрестности! Ей-богу, поедем!

— Да ты очумел, Илюшка! Что мы там с немцами делать будем?

— Там не немцы, а французы!

— Один шут! Что я с ними буду делать? На них глядючи, я со смеху околею! При моем характере я их всех там перебью! Поезжай только, так сам не рад будешь. И оберут и оскоромишься. А еще, чего доброго, вместо Парижа попадешь в такую поганую страну, что потом лет пять плевать будешь…

Грязнов наотрез отказался ехать, но тем не менее вечером того же дня приятели ходили, обнявшись, по городу и рассказывали встречным о предстоящей поездке. Секретарь был угрюм, зол и беспокоен, педагог же восторженно размахивал руками и искал, с кем бы поделиться своим счастьем…

— Все бы ничего, коли б не этот Париж! — утешал себя вслух Грязнов. — Не жизнь, а малина! Все жалостно на тебя смотрят, везде, куда ни придешь, закуска и выпивка, все деньги дают, но… Париж! За каким шутом я туда поеду? Прощай, братцы! — останавливал он встречных. — В Париж едем! Не поминай лихом! Может, и не увидимся больше.

Через пять дней на местной станции происходили торжественные проводы секретаря и педагога. Провожать собрались все интеллигенты, начиная с предводителя и кончая подслеповатым пасынком надзирателя Вонючкина. Предводительша снабдила путешественников двумя рекомендательными письмами, а мировиха дала им сто рублей с просьбой купить по образчику материи… Благопожеланиям, вздохам и стенаниям конца не было. Тетка, свояченица и четыре сестры Грязнова разливались в три ручья. Педагог, видимо, храбрился и не унывал, секретарь же, выпивший и расчувствовавшийся, все время надувался, чтобы не заплакать… Когда пробил второй звонок, он не вынес и разревелся…

— Не поеду! — рванулся он от вагона. — Пусть лучше сбешусь, чем к пастору ехать! Ну его!

Но его убедили, утешили и посадили в вагон. Поезд тронулся.

Если держаться строго хронологического порядка, то не дальше, как через четыре дня после проводов, сестры Грязнова, сидя у окошка и тоскуя, увидели вдруг идущего домой Лампадкина. Педагог был красен, выпачкан в грязи и то и дело ронял свой чемодан. Сначала девицы думали, что это привидение, но скоро, когда стук-

нула калитка и послышалось из сеней знакомое сопенье, явление потеряло свой спиритический характер. Сестры замерли от удивления и, вместо вопроса, обратили к пришедшему свои вытянувшиеся, побледневшие лица. Педагог замигал глазами и махнул рукой, потом заплакал и еще раз махнул рукой.

— Приехали это мы в Курск… — начал он, хрипло плача. — Вася мне и говорит: «На вокзале, говорит, дорого обедать, а пойдем, говорит, тут около вокзала трактир есть. Там и пообедаем». Мы взяли с собой чемоданы и пошли (педагог всхлипнул)… А в трактире Вася рюмку за рюмкой, рюмку за рюмкой… «Ты, кричит, меня на погибель везешь!» Шуметь начал… А как после водки херес стал пить, то… протокол составили. Дальше — больше и… все до копейки! Еле на дорогу осталось…

— Где же Вася? — встревожились девицы.

— В Ку… Курске… Просил, чтоб вы ему скорей на дорогу денег выслали…

Педагог мотнул головой, утер лицо и добавил:

— А Курск хороший город! Очень хороший! С удовольствием там день прожил…

Много бумаги
(Архивное изыскание)

«Имею честь покорнейше заявить 8-го сего ноября замечена болезнь на двух малчиках, которые ребята пришедши объяснили что в школе и протчии ребяты хворают глоткой жар и по всему телу сып, ходят они в Жаровскую земскую школу. Ноября 19-го дня 1885 г. Староста Ефим Кирилов».

«М. В. Д. N-ская Уездная Земская управа. Земскому Врачу Г. Радушному. Вследствие заявления старосты села Курносова от 19-го ноября, предлагаю Вам, м. г., отправиться в Курносово и озаботиться по правилам науки о скорейшем прекращении эпидемии болезни, по всем признакам, скарлатины. Из названного заявления явствует, что заболевания начались в Жаровской школе, на каковую и прошу обратить внимание. 4-го декабря 1885 г. За председателя: С. Паркин».

«Г. Приставу 2-го стана N-ского уезда. Вследствие отношения уездной земской управы за № 102 от 4-го декабря, которое при сем прилагаю, прошу Вас, м. г., сделать распоряжение о закрытии школы в селе Жарове впредь до прекращения

скарлатинной эпидемии. 13-го декабря 1885 г. Земский врач Радушный».

«М. В. Д. Пристава 2-го стана N-ского уезда. № 1011. В Жаровское земское училище. Земский Врач Г. Радушный 13-го декабря сего года сообщил мне, что в селе Жарове усмотрена им на детях эпидемия болезни скарлатины (или, как называют в народе, дифтерита). Во избежание проявления более грустных результатов от упомянутой болезни, которая прогрессивно увеличивается, и озабочиваясь необходимостью принять установленные законом меры к предупреждению и пресечению случаев развивающегося заболевания, я с своей стороны поставлен в необходимость покорнейше просить: не признаете ли вы возможным распустить учащихся в Жаровской земской школе до время совершенного прекращения свирепствующей болезни и о последующем уведомить меня для дальнейших распоряжений. Января 2-го дня 1886 года. Пристав Подпрунин».

«В дирекцию народных училищ Х-ской губернии. Г. Инспектору народных училищ. Учителя Жаровского училища Фортянского заявление. Честь имею довести до сведения Вашего Высокоблагородия, что вследствие отношения г. Пристава 2-го стана за № 1011 от 2-го января,

появилась в селе Жарове эпидемия скарлатины, о чем имею честь Вас известить. 12-го января 1886 г. Учитель Фортянский».

«Г. Приставу 2-го стана N-ского уезда. Ввиду того что скарлатинная эпидемия прекратилась уже месяц тому назад, к открытию временно закрытой школы в селе Жарове с моей стороны препятствий не имеется, о чем я уже два раза писал в управу, а теперь Вам пишу и покорнейше прошу обращаться впредь с вашими бумагами к уездному врачу, с меня же достаточно и одной земской управы. Я занят с утра до вечера и у меня нет времени отвечать на все Ваши канцелярские измышления. 26-го января. Земский врач Радушный».

«М. В. Д. Его Высокоблагородию Господину N-скому Исправнику Пристава 2-го стана. Рапорт. Имею честь препроводить при сем отношение г. Земского Врача Радушного от 26 января за № 31 на предмет рассмотрения Вашего Высокоблагородия о предании суду лекаря Радушного за неуместные и в высшей степени оскорбительные выражения, употребленные им в официально-служебной бумаге, как-то: „канцелярские измышления“. 8-го февраля дня 1886 г. Пристав Подпрунин».

Из частного письма г. исправника к приставу

2-го стана: «Алексей Мануилович, возвращаю Вам Ваш рапорт. Прекратите, пожалуйста, Ваши постоянные неудовольствия с доктором Радушным. Такой антагонизм по меньшей мере неудобен в положении полицейского чиновника, обязанного блюсти в сношениях прежде всего такт и умеренность. Что касается бумаги Радушного, то не нахожу в ней ничего особенного. О скарлатине в с. Жарове я уже слышал и в ближайшем училищном совете доложу о неправильных действиях учителя Фортянского, которого считаю главным виновником всей этой неприятной переписки».

«М. Н. П. Инспектор народных училищ Х-ской губернии, № 810. Г. Учителю Жаровского училища. На представление Ваше от 12-го января сего года, поставляю Вас в известность, что уроки во вверенном Вам училище должны быть немедленно прекращены и ученики распущены в отвращение дальнейшего распространения скарлатины. Февраля 22-го дня 1886 г. Инспектор народных училищ И. Жилеткин».

По прочтении всех документов, относящихся к эпидемии в селе Жарове (а их, кроме здесь напечатанных, имеется еще двадцать восемь), читателю станет понятным многое из следу-

ющего описания, помещенного в 36 № Х-ских Губернских ведомостей:

«…покончив с чрезмерною детскою смертностью, перейдем теперь к более веселому и отрадному. Вчера, в церкви Св. Михаила Архистратига происходило торжественное бракосочетание дочери известного бумажного фабриканта М. с потомственным почетным гражданином К. Венчание совершал протоиерей о. Клиопа Гвоздев в сослужении с прочим соборным духовенством. Пел хор Красноперова. Оба молодые сияли красотой и молодостью. Говорят, что г. К. получает в приданое около миллиона и, кроме того, еще имение Благодушное с конским заводом и с оранжереями, в коих произрастают ананасы и цветущие пальмы, переносящие ваше воображение далеко на юг. Молодые тотчас же после венца уехали за границу».

Как приятно быть бумажным фабрикантом!

Грач

Грачи прилетели и толпами уже закружились над русской пашней. Я выбрал самого солидного из них и начал с ним разговаривать. К сожалению, мне попался грач — резонер и моралист, а потому беседа вышла скучная. Вот о чем мы беседовали.

Я. — Говорят, что вы, грачи, живете очень долго. Вас, да еще щук, естествоиспытатели ставят образцом необыкновенного долголетия. Тебе сколько лет?

Грач. — Мне 376 лет.

Я. — Ого! Однако! Нечего сказать, пожил! На твоем месте, старче, я черт знает сколько статей накатал бы в «Русскую старину» и в «Исторический вестник»! Проживи я 376 лет, то воображаю, сколько бы написал я за это время рассказов, сцен, мелочишек! Сколько бы я перебрал гонорара! Что же ты, грач, сделал за все это время?

Грач. — Ничего, г. человек! Я только пил, ел, спал и размножался…

Я. — Стыдись! Мне и стыдно и обидно за тебя, глупая птица! Прожил ты на свете 376 лет, а так же глуп, как и 300 лет тому назад! Прогресса ни

на грош!

Грач. — Ум дается, г. человек, не многолетием, а воспитанием и образованием. Возьмите вы Китай… Прожил он гораздо больше меня, а между тем остался таким же балбесом, каким был и 1000 лет тому назад.



Я (продолжая изумляться). — 376 лет! Ведь

это что же такое! Целая вечность! За это время я успел бы на всех факультетах побывать, успел бы 20 раз жениться, перепробовал бы все карьеры и должности, дослужился бы до черт знает какого чина и наверное бы умер Ротшильдом! Ведь ты пойми, дура: один рубль, положенный в банк по 5 сложных процентов, обращается: через 283 года в миллион! Высчитай-ка! Стало быть, если бы ты 283 года тому назад положил в банк один рубль, то у тебя теперь был бы миллион! Ах, ты, дурак, дурак! И тебе не обидно, не стыдно, что ты так глуп?

Грач. — Нисколько… Мы глупы, но зато можем утешаться, что за 400 лет своей жизни мы делаем глупостей гораздо меньше, чем человек в свои 40… Да-с, г. человек! Я живу 376 лет, но ни разу не видел, чтобы грачи воевали между собой и убивали друг друга, а вы не помните года, в который не было бы войны… Мы не обираем друг друга, не открываем ссудных касс и пансионов без древних языков, не клевещем, не шантажируем, не пишем плохих романов и стихов, не издаем ругательных газет… Я прожил 376 лет и не видел, чтобы наши самки обманывали и обижали своих мужей, — а у вас, г. человек? Между нами нет лакеев, подхалимов, подлипал, христопродавцев…

Но тут моего собеседника окликнули его товарищи, и он, не докончив своей тирады, полетел через пашню.

Гриша

Гриша, маленький, пухлый мальчик, родившийся два года и восемь месяцев тому назад, гуляет с нянькой по бульвару. На нем длинный ватный бурнусик, шарф, большая шапка с мохнатой пуговкой и теплые калоши. Ему душно и жарко, а тут еще разгулявшееся апрельское солнце бьет прямо в глаза и щиплет веки.

Вся его неуклюжая, робко, неуверенно шагающая фигура выражает крайнее недоумение.

До сих пор Гриша знал один только четырехугольный мир, где в одном углу стоит его кровать, в другом — нянькин сундук, в третьем — стул, а в четвертом — горит лампадка. Если взглянуть под кровать, то увидишь куклу с отломанной рукой и барабан, а за нянькиным сундуком очень много разных вещей: катушки от ниток, бумажки, коробка без крышки и сломанный паяц. В этом мире, кроме няни и Гриши, часто бывают мама и кошка. Мама похожа на куклу, а кошка на папину шубу, только у шубы нет глаз и хвоста. Из мира, который называется детской, дверь ведет в пространство, где обедают и пьют чай. Тут стоит Гришин стул на высоких ножках и висят

часы, существующие для того только, чтобы махать маятником и звонить. Из столовой можно пройти в комнату, где стоят красные кресла. Тут на ковре темнеет пятно, за которое Грише до сих пор грозят пальцами. За этой комнатой есть еще другая, куда не пускают и где мелькает папа — личность в высшей степени загадочная! Няня и мама понятны: они одевают Гришу, кормят и укладывают его спать, но для чего существует папа — неизвестно. Еще есть другая загадочная личность — это тетя, которая подарила Грише барабан. Она то появляется, то исчезает. Куда она исчезает? Гриша не раз заглядывал под кровать, за сундук и под диван, но там ее не было…

В этом же новом мире, где солнце режет глаза, столько пап, мам и теть, что не знаешь, к кому и подбежать.

Но страннее и нелепее всего — лошади. Гриша глядит на их двигающиеся ноги и ничего не может понять. Глядит на няньку, чтобы та разрешила его недоумение, но та молчит.

Вдруг он слышит страшный топот… По бульвару, мерно шагая, двигается прямо на него толпа солдат с красными лицами и с банными вениками под мышкой. Гриша весь холодеет от ужаса и глядит вопросительно на няньку: не опасно

ли? Но нянька не бежит и не плачет, значит, не опасно. Гриша провожает глазами солдат и сам начинает шагать им в такт.

Через бульвар перебегают две большие кошки с длинными мордами, с высунутыми языками и с задранными вверх хвостами. Гриша думает, что и ему тоже нужно бежать, и бежит за кошками.

— Стой! — кричит ему нянька, грубо хватая его за плечи. — Куда ты? Нешто тебе велено шалить?

Вот какая-то няня сидит и держит маленькое корыто с апельсинами. Гриша проходит мимо нее и молча берет себе один апельсин.

— Это ты зачем же? — кричит его спутница, хлопая его по руке и вырывая апельсин. — Дурак!

Теперь Гриша с удовольствием бы поднял стеклышко, которое валяется под ногами и сверкает, как лампадка, но он боится, что его опять ударят по руке.

— Мое вам почтение! — слышит вдруг Гриша почти над самым ухом чей-то громкий, густой голос и видит высокого человека со светлыми пуговицами.

К великому его удовольствию, этот человек подает няньке руку, останавливается с ней и начинает разговаривать. Блеск солнца, шум

экипажей, лошади, светлые пуговицы — все это так поразительно ново и не страшно, что душа Гриши наполняется чувством наслаждения и он начинает хохотать.

— Пойдем! Пойдем! — кричит он человеку со светлыми пуговицами, дергая его за фалду.

— Куда пойдем? — спрашивает человек.

— Пойдем! — настаивает Гриша.

Ему хочется сказать, что недурно бы также прихватить с собой папу, маму и кошку, но язык говорит совсем не то, что нужно.

Немного погодя нянька сворачивает с бульвара и вводит Гришу в большой двор, где есть еще снег. И человек со светлыми пуговицами тоже идет за ними. Минуют старательно снеговые глыбы и лужи, потом по грязной, темной лестнице входят в комнату. Тут много дыма, пахнет жарким и какая-то женщина стоит около печки и жарит котлеты. Кухарка и нянька целуются и вместе с человеком садятся на скамью и начинают говорить тихо. Грише, окутанному, становится невыносимо жарко и душно.

«Отчего бы это?» — думает он, оглядываясь.

Видит он темный потолок, ухват с двумя рогами, печку, которая глядит большим, черным дуплом…

— Ма-а-ма! — тянет он.

— Ну, ну, ну! — кричит нянька. — Подождешь!

Кухарка ставит на стол бутылку, три рюмки и пирог. Две женщины и человек со светлыми пуговицами чокаются и пьют по нескольку раз, и человек обнимает то няньку, то кухарку. И потом все трое начинают тихо петь.

Гриша тянется к пирогу, и ему дают кусочек. Он ест и глядит, как пьет нянька… Ему тоже хочется выпить.

— Дай! Няня, дай! — просит он.

Кухарка дает ему отхлебнуть из своей рюмки. Он таращит глаза, морщится, кашляет и долго потом машет руками, а кухарка глядит на него и смеется.

Вернувшись домой, Гриша начинает рассказывать маме, стенам и кровати, где он был и что видел. Говорит он не столько языком, сколько лицом и руками. Показывает он, как блестит солнце, как бегают лошади, как глядит страшная печь и как пьет кухарка…

Вечером он никак не может уснуть. Солдаты с вениками, большие кошки, лошади, стеклышко, корыто с апельсинами, светлые пуговицы — все это собралось в кучу и давит его мозг. Он ворочается с боку на бок, болтает и в конце концов, не

вынося своего возбуждения, начинает плакать.

— А у тебя жар! — говорит мама, касаясь ладонью его лба. — Отчего бы это могло случиться?

— Печка! — плачет Гриша. — Пошла отсюда, печка!

— Вероятно, покушал лишнее… — решает мама.

И Гриша, распираемый впечатлениями новой, только что изведанной жизни, получает от мамы ложку касторки.

Сильные ощущения

Дело происходило не так давно в московском окружном суде. Присяжные заседатели, оставленные в суде на ночь, прежде чем лечь спать, завели разговор о сильных ощущениях. Их навело на это воспоминание об одном свидетеле, который стал заикой и поседел, по его словам, благодаря какой-то страшной минуте. Присяжные порешили, что, прежде чем уснуть, каждый из них пороется в своих воспоминаниях и расскажет что-нибудь. Жизнь человеческая коротка, но все же нет человека, который мог бы похвастать, что у него в прошлом не было ужасных минут.

Один присяжный рассказал, как он тонул; другой рассказал, как однажды ночью он, в местности, где нет ни врачей, ни аптекарей, отравил собственного ребенка, давши ему по ошибке вместо соды цинкового купороса. Ребенок не умер, но отец едва не сошел с ума. Третий, еще не старый, болезненный человек, описал два своих покушения на самоубийство: раз стрелялся, другой раз бросился под поезд.

Четвертый, маленький, щеголевато одетый толстяк, рассказал следующее:

«Мне было 22–23 года, не больше, когда я по уши влюбился в свою теперешнюю жену и сделал ей предложение… Теперь я с удовольствием высек бы себя за раннюю женитьбу, но тогда не знаю, что было бы со мной, если бы Наташа ответила мне отказом. Любовь была самая настоящая, такая, как в романах описывают, бешеная, страстная, и прочее. Мое счастье душило меня, и я не знал, куда мне уйти от него, и я надоел и отцу, и приятелям, и прислуге, рассказывая постоянно о том, как пылко я люблю. Счастливые люди — это самые надоедливые, самые скучные люди. Я надоедал страшно, даже теперь мне совестно…

Между приятелями был у меня тогда один начинающий адвокат. Теперь этот адвокат известен на всю Россию, тогда же он только что входил в силу и не был еще богат и знаменит настолько, чтобы при встрече со старым приятелем иметь право не узнавать, не снимать шляпы. Бывал я у него раз или два в неделю. Когда я приходил к нему, мы оба разваливались на диванах и начинали философствовать.

Как-то я лежал у него на диване и толковал о том, что нет неблагодарнее профессии, как адвокатская. Мне хотелось доказать, что суд после того, как допрос свидетелей окончен, легко

может обойтись без прокурора и без защитника, потому что тот и другой не нужны и только мешают. Если взрослый, душевно и умственно здоровый присяжный заседатель убежден, что этот потолок бел, что Иванов виновен, то бороться с этим убеждением и победить его не в силах никакой Демосфен. Кто может убедить меня, что у меня рыжие усы, если я знаю, что они черные? Слушая оратора, я, быть может, и расчувствуюсь и заплачу, но коренное убеждение мое, основанное большею частью на очевидности и на факте, нисколько не изменится. Мой же адвокат доказывал, что я молод еще и глуп и что я говорю мальчишеский вздор. По его мнению, очевидный факт оттого, что его освещают добросовестные, сведущие люди, становится еще очевиднее — это раз; во-вторых, талант — это стихийная сила, это ураган, способный обращать в пыль даже камни, а не то что такой пустяк, как убеждения мещан и купцов второй гильдии.



Человеческой немощи бороться с талантом так же трудно, как глядеть не мигая на солнце или остановить ветер. Один простой смертный силою слова обращает тысячи убежденных дикарей в христианство; Одиссей был убежденнейший человек в свете, но спасовал перед сиренами и т. д. Вся история состоит из подобных примеров, а в жизни они встречаются на каждом шагу, да так и должно быть, иначе умный и талантливый человек не имел бы никакого преимущества перед глупцом и бездарным.

Я стоял на своем и продолжал доказывать,

что убеждение сильнее всякого таланта, хотя, откровенно говоря, сам не мог точно определить, что такое именно убеждение и что такое талант. Вероятно, говорил я только, чтобы говорить.

— Взять хоть тебя… — сказал адвокат. — Ты убежден в настоящее время, что твоя невеста ангел и что нет во всем городе человека счастливее тебя. А я тебе говорю: достаточно мне 10–20 минут, чтобы ты сел за этот самый стол и написал отказ своей невесте.

Я засмеялся.

— Ты не смейся, я говорю серьезно, — сказал приятель. — Захочу, и через 20 минут ты будешь счастлив от мысли, что тебе не нужно жениться. У меня не бог весть какой талант, но ведь и ты не из сильных.

— А ну-ка, попробуй! — сказал я.

— Нет, зачем же? Я ведь это так только говорю. Ты мальчик добрый, и было бы жестоко подвергать тебя такому опыту. И к тому же я сегодня не в ударе.

Мы сели ужинать. Вино и мысли о Наташе, моя любовь наполнили всего меня ощущением молодости и счастья. Счастье мое было так безгранично велико, что сидевший против меня адвокат с его зелеными глазами казался мне

несчастным, таким маленьким, серењким.

— Попробуй же! — приставал я к нему. — Ну, прошу!

Адвокат покачал головой и поморщился. Я, видимо, уже начал надоедать ему.

— Я знаю, — сказал он, — после моего опыта ты мне спасибо скажешь и назовешь меня спасителем, но ведь нужно и о невесте подумать. Она тебя любит, твой отказ заставил бы ее страдать. А какая она у тебя прелесть! Завидую я тебе.

Адвокат вздохнул, выпил вина и стал говорить о том, какая прелесть моя Наташа. У него был необыкновенный дар описывать. Про женские ресницы или мизинчик он мог наговорить вам целую кучу слов. Слушал я его с наслаждением.

— Видел я на своем веку много женщин, — говорил он, — но даю тебе честное слово, говорю, как другу, твоя Наталья Андреевна — это перл, это редкая девушка. Конечно, есть и недостатки, их даже много, если хочешь, но все же она очаровательна.

И адвокат заговорил о недостатках моей невесты. Теперь я отлично понимаю, что это говорил он вообще о женщинах, об их слабых сторонах вообще, мне же тогда казалось, что он говорит только о Наташе. Он восторгался вздернутым

носом, вскрикиваниями, визгливым смехом, жеманством, именно всем тем, что мне так в ней не нравилось. Все это, по его мнению, было бесконечно мило, грациозно, женственно. Незаметно для меня он скоро с восторженного тона перешел на отечески назидательный, потом на легкий, презрительный… Председателя суда с нами не было, и некому было остановить расходившегося адвоката. Я не успевал рта разинуть, да и что я мог сказать? Приятель говорил не новое, давно уже всем известное, и весь яд был не в том, что он говорил, а в анафемской форме. То есть черт знает какая форма! Слушая его тогда, я убедился, что одно и то же слово имеет тысячу значений и оттенков, смотря по тому, как оно произносится, по форме, какая придается фразе. Конечно, я не могу передать вам ни этого тона, ни формы, скажу только, что, слушая приятеля и шагая из угла в угол, я возмущался, негодовал, презирал с ним вместе. Я поверил ему даже, когда он со слезами на глазах заявил мне, что я великий человек, что я достоин лучшей участи, что мне предстоит в будущем совершить что-то такое особенное, чему может помешать женитьба!

— Друг мой! — восклицал он, крепко пожимая мне руку. — Умоляю тебя, заклинаю: остановись,

пока не поздно. Остановись! Да хранит тебя небо от этой странной, жестокой ошибки! Друг мой, не губи своей молодости!

Хотите — верьте, хотите — нет, но в конце концов я сидел за столом и писал своей невесте отказ. Я писал и радовался, что еще не ушло время исправить ошибку. Запечатав письмо, я поспешил на улицу, чтобы опустить его в почтовый ящик. Со мной пошел и адвокат.

— И отлично! Превосходно! — похвалил он меня, когда мое письмо к Наташе исчезло во мраке почтового ящика. — От души тебя поздравляю. Я рад за тебя.

Пройдя со мной шагов десять, адвокат продолжал:

— Конечно, брак имеет и свои хорошие стороны. Я, например, принадлежу к числу людей, для которых брак и семейная жизнь — все.

И он уже описывал свою жизнь, и предо мною предстали все безобразия одинокой, холостой жизни.

Он говорил с восторгом о своей будущей жене, о сладостях обыкновенной, семейной жизни и восторгался так красиво, так искренно, что когда мы подошли к его двери, я уже был в отчаянии.

— Что ты делаешь со мной, ужасный чело-

век?! — говорил я, задыхаясь. — Ты погубил меня! Зачем ты заставил меня написать то проклятое письмо? Я люблю ее, люблю!

И я клялся в любви, я приходил в ужас от своего поступка, который уже казался мне диким и бессмысленным. Сильнее того ощущения, которое испытал я в то время, и представить, господа, невозможно. О, что я тогда пережил, что перечувствовал! Если бы нашелся добрый человек, который подсунул мне в ту пору револьвер, то я с наслаждением пустил бы себе пулю в лоб.

— Ну, полно, полно… — сказал адвокат, хлопая меня по плечу, и засмеялся. — Перестань плакать. Письмо не дойдет до твоей невесты. Адрес на конверте писал не ты, а я, и я его так запутал, что на почте ничего не поймут. Все это да послужит для тебя уроком: не спорь о том, чего не понимаешь.

Теперь, господа, предлагаю говорить следующему».

Пятый присяжный поудобней уселся и раскрыл уже рот, чтобы начать свой рассказ, как послышался бой часов на Спасской башне.

— Двенадцать… — сосчитал один из присяжных. — А к какому, господа, разряду вы отнесете ощущения, которые испытывает теперь наш подсудимый? Он, этот убийца, ночует здесь в суде

в арестантской, лежит или сидит, и, конечно, не спит и в течение всей бессонной ночи прислушивается к этому звону. О чем он думает? Какие грезы посещают его?

И присяжные как-то все вдруг забыли о «сильных ощущениях»; то, что пережил их товарищ, писавший когда-то письмо к своей Наташе, казалось не важным, даже не забавным; и уже никто не рассказывал, стали тихо, в молчании ложиться спать…

О женщинах

Женщина с самого сотворения мира считается существом вредным и злокачественным. Она стоит на таком низком уровне физического, нравственного и умственного развития, что судить ее и зубоскалить над ее недостатками считает себя вправе всякий, даже лишенный всех прав прохвост и сморкающийся в чужие платки губошлеп.

Анатомическое строение ее стоит ниже всякой критики. Когда какой-нибудь солидный отец семейства видит изображение женщины «о натюрель», то всегда брезгливо морщится и сплевывает в сторону. Иметь подобные изображения на виду, а не в столе или у себя в кармане, считается моветонством. Мужчина гораздо красивее женщины. Как бы он ни был жилист, волосат и угреват, как бы ни был красен его нос и узок лоб, он всегда снисходительно смотрит на женскую красоту и женится не иначе, как после строгого выбора. Нет того Квазимодо, который не был бы глубоко убежден, что парой ему может быть только красивая женщина.

Один отставной поручик, обокравший тещу и

щеголявший в женихах полусапожках, уверял, что если человек произошел от обезьяны, то сначала от этого животного произошла женщина, а потом уж мужчина. Титулярный советник Слюнкин, от которого жена запирала водку, часто говаривал: «Самое ехидное насекомое в свете есть женский пол».

Ум женщины никуда не годится. У нее волос долог, но ум короток; у мужчины же наоборот. С женщиной нельзя потолковать ни о политике, ни о состоянии курса, ни о чиншевиках. В то время, когда гимназист III класса решает уже мировые задачи, а коллежские регистраторы изучают книгу «30 000 иностранных слов», умные и взрослые женщины толкуют только о модах и военных.

Логика женщины вошла в поговорку. Когда какой-нибудь надворный советник Анафемский или департаментский сторож Дорофей заводят речь о Бисмарке или о пользе наук, то любо послушать их: приятно и умилительно; когда же чья-нибудь супруга, за неимением других тем, начинает говорить о детях или пьянстве мужа, то какой супруг воздержится, чтобы не воскликнуть: «Затарантила таранта! Ну, да и логика же, господи, прости ты меня грешного!» Изучать науки женщина неспособна. Это явствует уже из

одного того, что для нее не заводят учебных заведений. Мужчины, даже идиот и кретин, могут не только изучать науки, но даже и занимать кафедры, но женщина — ничтожество ей имя! Она не сочиняет для продажи учебников, не читает рефератов и длинных академических речей, не ездит на казенный счет в ученые командировки и не утилизирует заграничных диссертаций. Ужасно неразвита! Творческих талантов у нее — ни капли. Не только великое и гениальное, но даже пошлое и шантажное пишется мужчинами, ей же дана от природы только способность заворачивать в творения мужчин пирожки и делать из них папильотки.

Она порочна и безнравственна. От нее идет начало всех зол. В одной старинной книге сказано: «Mulier est malleus, per quem diabolus mollit et malleat Universum mundum»[179]. Когда диаволу приходит охота учинить какую-нибудь пакость или каверзу, то он всегда норовит действовать через женщин. Вспомните, что из-за Бель Элен вспыхнула Троянская война, Мессалина совратила с пути истины не одного паиньку…

---

[179] Примечания: 179

«Женщина — это молот, которым дьявол размягчает и молотит весь мир» (лат.).



Гоголь говорит, что чиновники берут взятки только потому, что на это толкают их жены. Это совершенно верно. Пропивают, в винт проигрывают и на Амалий тратят чиновники только жалованье... Имущества антрепренеров, казенных подрядчиков и секретарей теплых учреждений

всегда записаны на имя жены. Распущена женщина донельзя. Каждая богатая барыня всегда окружена десятками молодых людей, жаждущих попасть к ней в альфонсы. Бедные молодые люди!

Отечеству женщина не приносит никакой пользы. Она не ходит на войну, не переписывает бумаг, не строит железных дорог, а запирая от мужа графинчик с водкой, способствует уменьшению акцизных сборов.

Короче, она лукава, болтлива, суетна, лжива, лицемерна, корыстолюбива, бездарна, легкомысленна, зла… Только одно и симпатично в ней, а именно то, что она производит на свет таких милых, грациозных и ужасно умных душек, как мужчины… За эту добродетель простим ей все ее грехи. Будем к ней великодушны все, даже кокотки в пиджаках и те господа, которых бьют в клубах подсвечниками по мордасам.

Знакомый мужчина

Прелестнейшая Ванда, или, как она называлась в паспорте, почетная гражданка Настасья Канавкина, выписавшись из больницы, очутилась в положении, в каком она раньше никогда не бывала: без приюта и без копейки денег. Как быть?

Она первым делом отправилась в ссудную кассу и заложила там кольцо с бирюзой — единственную свою драгоценность. Ей дали за кольцо рубль, но... что купишь за рубль? За эти деньги не купишь ни модной, короткой кофточки, ни высокой шляпы, ни туфель бронзового цвета, а без этих вещей она чувствовала себя точно голой. Ей казалось, что не только люди, но даже лошади и собаки глядят на нее и смеются над простотой ее платья. И думала она только о платье, вопрос же о том, что она будет есть и где будет ночевать, не тревожил ее нисколько.

«Хоть бы мужчину знакомого встретить... — думала она. — Я взяла бы денег... Мне ни один не откажет, потому что...»

Но знакомые мужчины не встречались. Их не трудно встретить вечером в «Ренессансе», но в «Ренессанс» не пустят в этом простом платье и

без шляпы. Как быть? После долгого томления, когда уже надоело и ходить, и сидеть, и думать, Ванда решила пуститься на последнее средство: сходить к какому-нибудь знакомому мужчине прямо на квартиру и попросить денег.

«К кому бы сходить? — размышляла она. — К Мише нельзя — семейный… Рыжий старик теперь на службе…»

Ванда вспомнила о зубном враче Финкеле, выкресте, который месяца три назад подарил ей браслет и которому она однажды за ужином в Немецком клубе вылила на голову стакан пива. Вспомнив про этого Финкеля, она ужасно обрадовалась.

«Он наверное даст, лишь бы только мне дома его застать… — думала она, идя к нему. — А не даст, так я у него там все лампы перебью».

Когда она подходила к двери зубного врача, у нее уже был готов план: она со смехом взбежит по лестнице, влетит к врачу в кабинет и потребует 25 рублей… Но когда она взялась за звонок, этот план как-то сам собою вышел из головы. Ванда вдруг начала трусить и волноваться, чего с ней раньше никогда не бывало. Она бывала смела и нахальна только в пьяных компаниях, теперь же, одетая в обыкновенное платье, очутившись

в роли обыкновенной просительницы, которую могут не принять, она почувствовала себя робкой и приниженной. Ей стало стыдно и страшно.

«Может быть, он уж забыл про меня… — думала она, не решаясь дернуть за звонок. — И как я пойду к нему в таком платье? Точно нищая или мещанка какая-нибудь…»

И нерешительно позвонила.

За дверью послышались шаги; это был швейцар.

— Доктор дома? — спросила она.

Теперь ей приятнее было бы, если бы швейцар сказал «нет», но тот, вместо ответа, впустил ее в переднюю и снял с нее пальто. Лестница показалась ей роскошной, великолепной, но из всей роскоши ей прежде всего бросилось в глаза большое зеркало, в котором она увидела оборвашку без высокой шляпы, без модной кофточки и без туфель бронзового цвета. И Ванде казалось странным, что теперь, когда она была бедно одета и походила на швейку или прачку, в ней появился стыд и уж не было ни наглости, ни смелости, и в мыслях она называла себя уже не Вандой, а как раньше, Настей Канавкиной…

— Пожалуйте! — сказала горничная, провожая ее в кабинет. — Доктор сейчас… Садитесь.

Ванда опустилась в мягкое кресло.

«Так и скажу: дайте взаймы! — думала она. — Это прилично, потому что ведь он знаком со мной. Только вот если б горничная вышла отсюда. При горничной неловко… И зачем она тут стоит?»

Минут через пять отворилась дверь и вошел Финкель, высокий черномазый выкрест с жирными щеками и с глазами навыкате. Щеки, глаза, живот, толстые бедра — все это у него было так сыто, противно, сурово. В «Ренессансе» и в Немецком клубе он обыкновенно бывал навеселе, много тратил там на женщин и терпеливо сносил их шутки (например, когда Ванда вылила ему на голову пиво, то он только улыбнулся и погрозил пальцем); теперь же он имел хмурый, сонный вид и глядел важно, холодно, как начальник, и что-то жевал.

— Что прикажете? — спросил он, не глядя на Ванду.

Ванда поглядела на серьезное лицо горничной, на сытую фигуру Финкеля, который, по-видимому, не узнавал ее, и покраснела…

— Что прикажете? — повторил зубной врач уже с раздражением.

— Зу… зубы болят. — прошептала Ванда.

— Ага… Какие зубы? Где?

Ванда вспомнила, что у нее есть один зуб с дуплом.

— Внизу направо. — сказала она.

— Гм!.. Раскрывайте рот.

Финкель нахмурился, задержал дыхание и стал рассматривать больной зуб.

— Больно? — спросил он, ковыряя в зубе какой-то железкой.

— Больно… — солгала Ванда. — «Напомнить ему, — думала она, — так он наверное бы узнал… Но… горничная! Зачем она тут стоит?»

Финкель вдруг засопел, как паровоз, прямо ей в рот и сказал:

— Я не советую вам плюмбуровать его… Из етова зуба вам никакого пользы, все равно.

Поковыряв еще немножко в зубе и опачкав губы и десны Ванды табачными пальцами, он опять задержал дыхание и полез ей в рот с чем-то холодным… Ванда вдруг почувствовала страшную боль, вскрикнула и схватила за руку Финкеля.

— Ничего, ничего… — бормотал он. — Вы не пугайтесь… Из этим зубом вам все равно мало толку. Надо быть храброй.

И табачные, окровавленные пальцы поднесли к ее глазам вырванный зуб, а горничная подошла и подставила к ее рту чашку.

— Дома вы холодной водой рот полоскайте… — сказал Финкель, — и тогда кровь остановится…

Он стоял перед ней в позе человека, который ждет, когда же наконец уйдут, оставят его в покое.

— Прощайте… — сказала она, поворачиваясь к двери.

— Гм!.. А кто же мне заплатит за работу? — спросил смеющимся голосом Финкель.

— Ах, да… — вспомнила Ванда, покраснела и подала выкресту рубль, вырученный ею за кольцо с бирюзой.

Выйдя на улицу, она чувствовала еще больший стыд, чем прежде, но теперь уж ей было стыдно не бедности. Она уже не замечала, что на ней нет высокой шляпы и модной кофточки. Шла она по улице, плевала кровью, и каждый красный плевок говорил ей об ее жизни, нехорошей, тяжелой жизни, о тех оскорблениях, какие она переносила и еще будет переносить завтра, через неделю, через год — всю жизнь, до самой смерти…

— О, как это страшно! — шептала она. — Как ужасно, боже мой!

Впрочем, на другой день она уже была в «Ренессансе» и танцевала там. На ней была новая, громадная, красная шляпа, новая модная кофточ-

ка и туфли бронзового цвета. И ужином угощал ее молодой купец, приезжий из Казани.

Сказка

(Посвящается балбесу, хвастающему своим сотрудничеством в газетах)

Некая муха летала по всем комнатам и громко хвастала тем, что сотрудничает в газетах.

— Я писательница! Я публицистка! — жужжала она. — Расступитесь, невежи!

Слыша это, все комары, тараканы, клопы и блохи прониклись уважением к ее особе и многие даже пригласили ее к себе обедать и дали взаймы денег, а паук, боящийся гласности, забился в угол и решил не попадаться на глаза мухе…

— А в каких газетах вы сотрудничаете, Муха Ивановна? — спросил ее комар, который посмелее.

— Почти во всех! Есть даже газеты, которым я своим личным участием придаю окраску, тон и даже направление!.. Без меня многие газеты были бы лишены своего характера!

— Что же вы в газетах пишете, Муха Ивановна?

— Я веду там особый отдел…

— Какой?

— А вот какой!

И публицистка-муха указала на бесчисленные точки, которыми был покрыт засиженный мухами газетный лист.



Счастливчик

Со станции Бологое, Николаевской железной дороги, трогается пассажирский поезд. В одном из вагонов второго класса «для курящих», окутанные вагонными сумерками, дремлют человек пять пассажиров. Они только что закусили и теперь, прикорнув к спинкам диванов, стараются уснуть. Тишина.

Отворяется дверь, и в вагон входит высокая, палкообразная фигура в рыжей шляпе и в щегольском пальто, сильно напоминающая опереточных и жюль-верновских корреспондентов.

Фигура останавливается посреди вагона, сопит и долго щурит глаза на диваны.

— Нет, и это не тот! — бормочет она. — Черт знает что такое! Это просто возмутительно! Нет, не тот!

Один из пассажиров всматривается в фигуру и издает радостный крик:

— Иван Алексеевич! Какими судьбами? Это вы?

Палкообразный Иван Алексеевич вздрагивает, тупо глядит на пассажира и, узнав его, весело всплескивает руками.

— Га! Петр Петрович! — говорит он. — Сколько зим, сколько лет! А я и не знал, что вы в этом поезде едете.

— Живы, здоровы?

— Ничего себе, только вот, батенька, вагон свой потерял и никак теперь его не найду, этакая я идиотина! Пороть меня некому!

Палкообразный Иван Алексеевич покачивается и хихикает.

— Бывают же такие случаи! — продолжает он. — Вышел я после второго звонка коньяку выпить. Выпил, конечно. Ну, думаю, так как станция следующая еще далеко, то не выпить ли и другую рюмку. Пока я думал и пил, тут третий звонок… я, как сумасшедший, бегу и вскакиваю в первый попавшийся вагон. Ну, не идиотина ли я? Не курицын ли сын?

— А вы, заметно, в веселом настроении, — говорит Петр Петрович. — Подсаживайтесь-ка! Честь и место!

— Ни-ни… пойду свой вагон искать! Прощайте!

— В потемках вы, чего доброго, с площадки свалитесь. Садитесь, а когда подъедем к станции, вы и найдете свой вагон. Садитесь!

Иван Алексеевич вздыхает и нерешительно садится против Петра Петровича. Он, видимо,

возбужден и двигается, как на иголках.

— Куда едете? — спрашивает Петр Петрович.

— Я? В пространство. Такое у меня в голове столпотворение, что я и сам не разберу, куда я еду. Везет судьба, ну и еду. Ха-ха… Голубчик, видали ли вы когда-нибудь счастливых дураков? Нет? Так вот глядите! Перед вами счастливейший из смертных! Да-с! Ничего по моему лицу не заметно?

— То есть заметно, что… вы того… чуточку.

— Должно быть, у меня теперь ужасно глупое лицо! Эх, жалко, зеркала нет, поглядел бы на свою мордолизацию! Чувствую, батенька, что идиотом становлюсь. Честное слово! Ха-ха… Я, можете себе представить, брачное путешествие совершаю. Ну, не курицын ли сын?

— Вы? Разве вы женились?

— Сегодня, милейший! Повенчался и прямо на поезд.

Начинаются поздравления и обычные вопросы.

— Ишь ты… — смеется Петр Петрович. — То-то вы франтом таким разрядились.

— Да-с… Для полной иллюзии даже духами попрыскался. По уши ушел в суету! Ни забот, ни мыслей, а одно только ощущение чего-то

этакого… черт его знает, как его и назвать… благодушия, что ли? Отродясь еще так себя великолепно не чувствовал!

Иван Алексеевич закрывает глаза и крутит головой.

— Возмутительно счастлив! — говорит он. — Да вы сами посудите. Пойду я сейчас в свой вагон. Там, на диванчике, около окошка сидит существо, которое, так сказать, всем своим существом предано вам. Этакая блондиночка с носиком… с пальчиками… Душечка моя! Ангел ты мой! Пупырчик ты этакий! Филлоксера души моей! А ножка! Господи! Ножка ведь не то, что вот наши ножищи, а что-то этакое миниатюрное, волшебное… аллегорическое! Взял бы да так и съел эту ножку! Э, да вы ничего не понимаете! Ведь вы материалисты, сейчас у вас анализ, то да се! Сухие холостяки, и больше ничего! Вот когда женитесь, то вспомните! Где-то теперь, скажете, Иван Алексеевич? Да-с, так вот пойду я сейчас в свой вагон. Там уж меня с нетерпением ждут… предвкушают мое появление. Навстречу мне улыбка. Я подсаживаюсь и этак двумя пальчиками за подбородочек…

Иван Алексеевич крутит головой и закатывается счастливым смехом.



— Потом кладешь свою башку ей на плечико и обхватываешь рукой талию. Кругом, знаете ли, тишина… поэтический полумрак. Весь бы мир обнял в эти минуты. Петр Петрович, позвольте мне вас обнять!

— Сделайте одолжение.

Приятели при дружном смехе пассажиров

обнимаются, и счастливый новобрачный продолжает:

— А для большего идиотства или, как там в романах говорят, для большей иллюзии, пойдешь к буфету и опрокидонтом рюмочки две-три. Тут уж в голове и в груди происходит что-то, чего и в сказках не вычитаешь. Человек я маленький, ничтожный, а кажется мне, что и границ у меня нет… Весь свет собой обхватываю!

Пассажиры, глядя на пьяненького, счастливого новобрачного, заражаются его весельем и уж не чувствуют дремоты. Вместо одного слушателя около Ивана Алексеевича скоро появляется уж пять. Он вертится, как на иголках, брызжет, машет руками и болтает без умолку. Он хохочет, и все хохочут.

— Главное, господа, поменьше думать! К черту все эти анализы… Хочется выпить, ну и пей, а нечего там философствовать, вредно это или полезно… Все эти философии и психологии к черту!

Через вагон проходит кондуктор.

— Милый человек, — обращается к нему новобрачный, — как будете проходить через вагон № 209, то найдите там даму в серой шляпке с белой птицей и скажите ей, что я здесь!

— Слушаю. Только в этом поезде нет 209 №. Есть 219!

— Ну, 219! Все равно! Так и скажите этой даме: муж цел и невредим!

Иван Алексеевич хватает вдруг себя за голову и стонет:

— Муж… Дама… Давно ли это? Муж… Ха-ха… Пороть тебя нужно, а ты — муж! Ах, идиотина! Но она! Вчера еще была девочкой… козявочкой… Просто не верится!

— В наше время даже как-то странно видеть счастливого человека, — говорит один из пассажиров. — Скорей белого слона увидишь.

— Да, а кто виноват? — говорит Иван Алексеевич, протягивая свои длинные ноги с очень острыми носками. — Если вы не бываете счастливы, то сами виноваты! Да-с, а вы как думали? Человек есть сам творец своего собственного счастия. Захотите, и вы будете счастливы, но вы ведь не хотите. Вы упрямо уклоняетесь от счастья!

— Вот те на! Каким образом?

— Очень просто!.. Природа постановила, чтобы человек в известный период своей жизни любил. Настал этот период, ну и люби во все лопатки, а вы ведь не слушаетесь природы, все чего-то ждете. Далее… В законе сказано, что нормальный

индивидуй должен вступить в брак… Без брака счастья нет. Приспело время благоприятное, ну и женись, нечего канителить… Но ведь вы не женитесь, все чего-то ждете! Засим в писании сказано, что вино веселит сердце человеческое… Если тебе хорошо и хочется, чтобы еще лучше было, то, стало быть, иди в буфет и выпей. Главное — не мудрствовать, а жарить по шаблону! Шаблон великое дело!

— Вы говорите, что человек творец своего счастия. Какой к черту он творец, если достаточно больного зуба или злой тещи, чтоб счастье его полетело вверх тормашкой? Все зависит от случая. Случись сейчас с нами кукуевская катастрофа, вы другое бы запели…

— Чепуха! — протестует новобрачный. — Катастрофы бывают только раз в год. Никаких случаев я не боюсь, потому что нет предлога случаться этим случаям. Редки случаи! Ну их к черту! И говорить даже о них не хочу! Ну, мы, кажется, к полустанку подъезжаем.

— Вы теперь куда едете? — спрашивает Петр Петрович. — В Москву или куда-нибудь южнее?

— Здравствуйте! Как же это я, едучи на север, попаду куда-нибудь южнее?

— Но ведь Москва не на севере.

— Знаю, но ведь мы сейчас едем в Петербург! — говорит Иван Алексеевич.

— В Москву мы едем, помилосердствуйте!

— То есть как же в Москву? — изумляется новобрачный.

— Странно… Вы куда билет взяли?

— В Петербург.

— В таком случае поздравляю. Вы не на тот поезд попали.

Проходит полминуты молчания. Новобрачный поднимается и тупо обводит глазами компанию.

— Да, да, — поясняет Петр Петрович. — В Бологом вы не в тот поезд вскочили… Вас, значит, угораздило после коньяку во встречный поезд попасть.

Иван Алексеевич бледнеет, хватает себя за голову и начинает быстро шагать по вагону.

— Ах, я идиотина! — негодует он. — Ах, я подлец, чтобы меня черти съели! Ну, что я теперь буду делать? Ведь в том поезде жена! Она там одна, ждет, томится! Ах, я шут гороховый!

Новобрачный падает на диван и ежится, точно ему наступили на мозоль.

— Несчастный я человек! — стонет он. — Что же я буду делать? Что?

— Ну, ну… — утешают его пассажиры. — Пу-

стяки… Вы телеграфируйте вашей жене, а сами постарайтесь сесть по пути в курьерский поезд. Таким образом вы ее догоните.

— Курьерский поезд! — плачет новобрачный, «творец своего счастья». — А где я денег возьму на курьерский поезд? Все мои деньги у жены!

Пошептавшись, смеющиеся пассажиры делают складчину и снабжают счастливца деньгами.

В пансионе

В частном пансионе m-me Жевузем[180] бьет двенадцать. Пансионерки, вялые и худосочные, взявшись под руки, чинно прогуливаются по коридору. Классные дамы, желтые и весноватые, с выражением крайнего беспокойства на лицах, не отрывают от них глаз и, несмотря на идеальную тишину, то и дело выкрикивают: «Медам! Силянс!»[181]

В учительской комнате, в этой таинственной святая святых, сидят сама Жевузем и учитель математики Дырявин. Учитель давно уже дал урок, и ему пора уходить, но он остался, чтобы попросить у начальницы прибавки. Зная скупость «старой шельмы», он поднимает вопрос о прибавке не прямо, а дипломатически.

— Гляжу я на ваше лицо, Бьянка Ивановна, и вспоминаю прошлое… — говорит он вздыхая. — Какие прежде, в наше время, красавицы были! Господи, что за красавицы! Пальчики обсосешь!

---

[180] Примечания: 180
«Я вас люблю» (фр. Je vous aime).

[181] Примечания: 181
«Сударыни! Тише!» (фр. «Mesdames! Silence!»).

А теперь? Перевелись красавицы! Настоящих женщин нынче нет, а все какие-то, прости господи, трясогузки да кильки… Одна другой хуже…

— Нет, и теперь много красивых женщин! — картавит Жевузем.

— Где? Покажите мне: где? — горячится Дырявин. — Полноте, Бьянка Ивановна! По доброте своего сердца вы и белужью харю назовете красавицей, знаю я вас! Извините меня за эти кель-выражансы, но я искренно вам говорю. Нарочно вчера на концерте осматривал женщин: рожа на роже, кривуля на кривуле! Да взять вот хоть наш старший класс. Ведь все это бутоны, невесты, самые, можно сказать, сливки — и что же? Восемнадцать их штук, и хоть бы одна хорошенькая!

— Вот и неправда! Кого ни спросите, всякий вам скажет, что в моем старшем классе много хорошеньких. Например, Кочкина, Иванова 2-я, Пальцева… А Пальцева просто картинка! Я женщина, да и то на нее заглядываюсь…

— Удивительно… — бормочет Дырявин. — Ничего в ней нет хорошего…

— Прекрасные черные глаза! — волнуется Жевузем. — Черные, как тушь! Вы поглядите на нее: это… это совершенство! В древности с нее писали

бы богинь!

Дырявин отродясь не видал таких красавиц, как Пальцева, но жажда прибавки берет верх над справедливостью, и он продолжает доказывать «старой шельме», что в настоящее время красавиц нет…

— Только и отдыхаешь, когда взглянешь на лицо какой-нибудь пожилой дамы, — говорит он. — Правда, молодости и свежести не увидишь, но зато глаз отдохнет хоть на правильных чертах… Главное — правильность черт! А у вашей Пальцевой на лице не черты, а какая-то сметана… кислятина…

— Значит, вы не всматривались в нее. — говорит Жевузем. — Вы всмотритесь, да тогда и говорите…

— Ничего в ней нет хорошего, — угрюмо вздыхает Дырявин.

Жевузем вскакивает, идет к двери и кричит:

— Позвать ко мне Пальцеву! Вы всмотритесь в нее, — говорит она учителю, отходя от двери. — Вы обратите внимание на глаза и на нос… Лучшего носа во всей России не найти.

Через минуту в учительскую входит Пальцева, девочка лет семнадцати, смуглая, стройная, с большими черными глазами и с прекрасным

греческим носом.

— Подойдите поближе… — обращается к ней Жевузем строгим голосом. — М-г Дырявин вот жалуется мне, что вы… что вы невнимательны за уроками математики. Вы вообще рассеянны и… и…

— И по алгебре плохо занимаетесь… — бормочет Дырявин, рассматривая лицо Пальцевой.

— Стыдно, Пальцева! — продолжает Жевузем. — Нехорошо! Неужели вы хотите, чтобы я наказывала вас наравне с маленькими? Вы уже взрослая, и вы должны другим пример подавать, а не то что вести себя так дурно… Но… подойдите поближе!

Жевузем говорит еще очень много «общих мест». Пальцева рассеянно слушает ее и, шевеля ноздрями, глядит через голову Дырявина в окно…

«Отдай все — и мало, — думает математик, рассматривая ее. — Роскошь девочка! Ноздрями шевелит, пострел… Чует, что в июне на волю вырвется… Дай только вырваться, забудет она и эту Жевузешку, и болвана Дырявина, и алгебру… Не алгебра ей нужна! Ей нужен простор, блеск… нужна жизнь…»

Дырявин вздыхает и продолжает думать:

«Ох, эти ноздри! И месяца не пройдет, как вся моя алгебра пойдет к черту… Дырявин обратится в скучное, серое воспоминание… Встречусь ей, так она только ноздрями пошевелит и здравствуй не скажет. Спасибо хоть за то, что коляской не раздавит…»

— Хорошие успехи могут быть только при внимании и прилежании, — продолжает Жевузем, — а вы невнимательны… Если еще будут продолжаться жалобы, то я принуждена буду наказать вас… Стыдно!

«Не слушай, ангел, эту сухую лимонную корку, — думает Дырявин. — Нисколько не стыдно… Ты гораздо лучше всех нас вместе взятых».

— Ступайте! — строго говорит Жевузем.

Пальцева делает реверанс и выходит.

— Ну что? Всмотрелись теперь? — спрашивает Жевузем.

Дырявин не слышит ее вопроса и все еще думает.



— Ну? — повторяет начальница. — Плоха, по-вашему?

Дырявин тупо глядит на Жевузем, приходит в себя и, вспомнив о прибавке, оживляется.

— Хоть убейте, ничего хорошего не нахожу… — говорит он. — Вы вот уже в летах, а нос и глаза у вас гораздо лучше, чем у нее… Честное слово. Поглядите-ка на себя в зеркало!

В конце концов m-me Жевузем соглашается, и Дырявин получает прибавку.

На даче

«Я вас люблю. Вы моя жизнь, счастье — все! Простите за признание, но страдать и молчать нет сил. Прошу не взаимности, а сожаления. Будьте сегодня в восемь часов вечера в старой беседке… Имя свое подписывать считаю лишним, но не пугайтесь анонима. Я молода, хороша собой… чего же вам еще?»

Прочитав это письмо, дачник Павел Иваныч Выходцев, человек семейный и положительный, пожал плечами и в недоумении почесал себе лоб.

«Что за чертовщина? — подумал он. — Женатый я человек, и вдруг такое странное… глупое письмо! Кто это написал?»

Павел Иванович повертел перед глазами письмо, еще раз прочел и плюнул.

«„Я вас люблю“… — передразнил он. — Мальчишку какого нашла! Так-таки возьму и побегу к тебе в беседку!.. Я, матушка моя, давно уж отвык от этих романсов да флер-д’амуров… Гм! Должно быть, шальная какая-нибудь, непутевая… Ну, народ эти женщины! Какой надо быть, прости господи, вертихвосткой, чтобы написать такое

письмо незнакомому, да еще женатому мужчине! Сущая деморализация!»

За все восемь лет своей женатой жизни Павел Иваныч отвык от тонких чувств и не получал никаких писем, кроме поздравительных, а потому, как он ни старался хорохориться перед самим собою, вышеприведенное письмо сильно озадачило его и взволновало.

Через час после получения его он лежал на диване и думал:

«Конечно, я не мальчишка и не побегу на это дурацкое рандеву, но все-таки интересно было бы знать: кто это написал? Гм… Почерк, несомненно, женский… Письмо написано искренне, с душой, а потому едва ли это шутка… Вероятно, какая-нибудь психопатка или вдова… Вдовы вообще легкомысленны и эксцентричны. Гм… Кто бы это мог быть?»

Решить этот вопрос было тем более трудно, что во всем дачном поселке у Павла Ивановича не было ни одной знакомой женщины, кроме жены.

«Странно… — недоумевал он. — „Я вас люблю“… Когда же это она успела полюбить? Удивительная женщина! Полюбила так, с бухты-барахты, даже не познакомившись и не узнавши, что я за человек… Должно быть, слишком еще молода

и романтична, если способна влюбиться с двух-трех взглядов… Но… кто она?»

Вдруг Павел Иваныч вспомнил, что вчера и третьего дня, когда он гулял на дачном кругу, ему несколько раз встречалась молоденькая блондиночка в светло-голубом платье и с вздернутым носиком. Блондиночка то и дело взглядывала на него и, когда он сел на скамью, уселась рядом с ним…

«Она? — подумал Выходцев. — Не может быть! Разве субтильное, эфемерное существо может полюбить такого старого, потасканного угря, как я? Нет, это невозможно!»

За обедом Павел Иваныч тупо глядел на жену и размышлял:

«Она пишет, что она молода и хороша собой… Значит, не старуха… Гм… Говоря искренне, по совести, я еще не так стар и плох, чтобы в меня нельзя было влюбиться… Любит же меня жена! И к тому же, любовь зла — полюбишь и козла…»

— О чем ты задумался? — спросила его жена.

— Так… голова что-то болит… — соврал Павел Иваныч.

Он порешил, что глупо обращать внимание на такую безделицу, как любовное письмо, смеялся над ним и его авторшей, но — увы! — враг

человеческий силен. После обеда Павел Иваныч лежал у себя на кровати и вместо того, чтобы спать, думал:

«А ведь она, пожалуй, надеется, что я приду! Вот дура-то! То-то, воображаю, будет нервничать и турнюром своим дрыгать, когда меня не найдет в беседке!.. А я не пойду… Ну ее!»

Но, повторяю, враг человеческий силен.

«Впрочем, так разве, пойти из любопытства… — думал через полчаса дачник. — Пойти и поглядеть издалека, что это за штука… Интересно поглядеть! Смех да и только! Право, отчего не посмеяться, если подходящий случай представился?»

Павел Иваныч поднялся с постели и начал одеваться.

— Ты куда это так наряжаешься? — спросила его жена, заметив, что он надевает чистую сорочку и модный галстух.

— Так… хочу пройтись… Голова что-то болит… Кгм…

Павел Иваныч нарядился и, дождавшись восьмого часа, вышел из дому. Когда перед его глазами, на ярко-зеленом фоне, залитом светом заходящего солнца, запестрели фигуры разряженных дачников и дачниц, у него забилось сердце.

«Которая из них? — думал он, застенчиво косясь

на лица дачниц. — А блондиночки не видать… Гм… Если она писала, то, стало быть, уж в беседке сидит…»

Выходцев вступил на аллею, в конце которой из-за молодой листвы высоких лип выглядывала «старая беседка»… Он тихо поплелся к ней…

«Погляжу издалека… — думал он, нерешительно подвигаясь вперед. — Ну, что я робею? Ведь я же не иду на рандеву! Этакий… дурень! Смелей иди! А что, если б я вошел в беседку? Ну, ну… незачем!»

У Павла Иваныча еще сильнее забилось сердце… Невольно, сам того не желая, он вдруг вообразил себе полумрак беседки… В его воображении мелькнула стройная блондиночка в светло-голубом платье и с вздернутым носиком… Он представил себе, как она, стыдясь своей любви и дрожа всем телом, робко подходит к нему, горячо дышит и… вдруг сжимает его в объятиях.

«Не будь я женат, оно бы еще ничего… — думал он, гоня из головы грешные мысли. — Впрочем… раз в жизни не мешало бы испытать, а то так и умрешь, не узнавши, что это за штука… А жена… ну, что с ней сделается? Слава богу, восемь лет ни на шаг не отходил от нее… Восемь лет беспорочной службы! Будет с нее… Досадно даже… Возьму

вот, назло и изменю!»

Дрожа всем телом и задерживая одышку, Павел Иваныч подошел к беседке, увитой плющом и диким виноградом, и заглянул в нее… На него пахнуло сыростью и запахом плесени…

«Кажется, никого…» — подумал он, входя в беседку, и тут же увидел в углу человеческий силуэт…

Силуэт принадлежал мужчине… Вглядевшись в него, Павел Иваныч узнал в нем брата своей жены, студента Митю, жившего у него на даче.

— А, это ты?.. — промычал он недовольным голосом, снимая шляпу и садясь.

— Да, я… — ответил Митя.

Минуты две прошло в молчании.

— Извините меня, Павел Иваныч, — начал Митя, — но я просил бы вас оставить меня одного… Я обдумываю кандидатское сочинение, и… и присутствие кого бы то ни было мне мешает…

— А ты ступай куда-нибудь на темную аллейку… — кротко заметил Павел Иваныч. — На свежем воздухе легче думать, да и… того — мне хотелось бы тут на скамье соснуть. Здесь не так жарко…

— Вам спать, а мне сочинение обдумывать… — проворчал Митя. — Сочинение важней…

Опять наступило молчание… Павел Иваныч, который дал уже волю воображению и то и дело слышал шаги, вдруг вскочил и заговорил плачущим голосом:

— Ну, я прошу тебя, Митя! Ты моложе меня и должен уважить… Я болен и… и хочу спать… Уйди!

— Это эгоизм… Почему непременно вам здесь быть, а не мне? Из принципа не выйду…

— Ну, прошу! Пусть я эгоист, деспот, глупец… но я прошу тебя! Раз в жизни прошу! Уважь!

Митя покрутил головой.

«Какая скотина… — подумал Павел Иваныч. — Ведь при нем не состоится рандеву! При нем нельзя!»

— Послушай, Митя, — сказал он, — я прошу тебя в последний раз… Докажи, что ты умный, гуманный и образованный человек!

— Не понимаю, чего вы пристаете… — пожал плечами Митя. — Сказал: не выйду, ну, и не выйду. Из принципа здесь останусь…

В это время вдруг в беседку заглянуло женское лицо с вздернутым носиком…

Увидев Митю и Павла Иваныча, оно нахмурилось и исчезло…

«Ушла! — подумал Павел Иваныч, со злобой

глядя на Митю. — Увидала этого подлеца и ушла! Все дело пропало!»

Подождав еще немного, Выходцев встал, надел шляпу и сказал:

— Скотина ты, подлец и мерзавец! Да! Скотина! Подло и… и глупо! Между нами все кончено!

— Очень рад! — проворчал Митя, тоже вставая и надевая шляпу. — Знайте, что вы сейчас вашим присутствием сделали мне такую пакость, какой я вам до самой смерти не прощу!

Павел Иваныч вышел из беседки и, не помня себя от злости, быстро зашагал к своей даче… Его не успокоил и вид стола, сервированного для ужина.

«Раз в жизни представился случай, — волновался он, — и то помешали! Теперь она оскорблена… убита!»

За ужином Павел Иваныч и Митя глядели в свои тарелки и угрюмо молчали. Оба всей душой ненавидели друг друга.

— Ты чего это улыбаешься? — набросился Павел Иваныч на жену. — Только одни дуры без причины смеются!

Жена поглядела на сердитое лицо мужа и прыснула…

— Что это за письмо получил ты сегодня

утром? — спросила она.

— Я?.. Я никакого… — сконфузился Павел Иваныч. — Выдумываешь… воображение…

— Ну да, рассказывай! Признайся, получил! Ведь это письмо я тебе послала! Честное слово, я! Ха-ха!

Павел Иваныч побагровел и нагнулся к тарелке.

— Глупые шутки, — проворчал он.

— Но что же делать! Сам ты посуди… Нам нужно было сегодня полы помыть, а как вас выжить из дому? Только таким способом и выживешь… Но ты не сердись, глупый. Чтобы тебе в беседке скучно не показалось, ведь я и Мите такое же письмо послала! Митя, ты был в беседке?

Митя ухмыльнулся и перестал глядеть с ненавистью на своего соперника.

От нечего делать
(Дачный роман)

Николай Андреевич Капитонов, нотариус, пообедал, выкурил сигару и отправился к себе в спальную отдыхать. Он лег, укрылся от комаров кисеей и закрыл глаза, но уснуть не сумел. Лук, съеденный им вместе с окрошкой, поднял в нем такую изжогу, что о сне и думать нельзя было.

«Нет, не уснуть мне сегодня, — решил он, раз пять перевернувшись с боку на бок. — Стану газеты читать».

Николай Андреич встал с постели, набросил на себя халат и в одних чулках, без туфель, пошел к себе в кабинет за газетами. Он и не предчувствовал, что в кабинете ожидало его зрелище, которое было гораздо интереснее изжоги и газет!

Когда он переступил порог кабинета, перед его глазами открылась картина: на бархатной кушетке, спустив ноги на скамеечку, полулежала его жена, Анна Семеновна, дама тридцати трех лет; поза ее, небрежная и томная, походила на ту позу, в какой обыкновенно рисуется Клеопатра египетская, отравляющая себя змеями. У

ее изголовья, на одном колене, стоял репетитор Капитоновых, студент-техник 1-го курса, Ваня Щупальцев, розовый, безусый мальчик лет 19–20. Смысл этой «живой» картины нетрудно было понять: перед самым входом нотариуса уста барыни и юноши слились в продолжительный, томительно-жгучий поцелуй.

Николай Андреевич остановился как вкопанный, притаил дыхание и стал ждать, что дальше будет, но не вытерпел и кашлянул. Техник оглянулся на кашель и, увидев нотариуса, отупел на мгновение, потом же вспыхнул, вскочил и выбежал из кабинета. Анна Семеновна смутилась.

— Пре-екрасно! Мило! — начал муж, кланяясь и расставляя руки. — Поздравляю! Мило и великолепно!

— С вашей стороны тоже мило… подслушивать! — пробормотала Анна Семеновна, стараясь оправиться.



— Merci! Чудно! — продолжал нотариус, широко ухмыляясь. — Так все это, мамочка, хорошо, что я готов сто рублей дать, чтобы еще раз поглядеть.

— Вовсе ничего не было… Это вам так показалось… Глупо даже…

— Ну да, а целовался кто?

— Целовались — да, а больше… не понимаю даже, откуда ты выдумал.

Николай Андреевич насмешливо поглядел на смущенное лицо жены и покачал

головой.

— Свеженьких огурчиков на старости лет захотелось! — заговорил он певучим голосом. — Надо-

ела белужина, так вот к сардинкам потянуло. Ах ты, бесстыдница! Впрочем, что ж? Бальзаковский возраст! Ничего не поделаешь с этим возрастом! Понимаю! Понимаю и сочувствую!

Николай Андреевич сел у окна и забарабанил пальцами по подоконнику.

— И впредь продолжайте… — зевнул он.

— Глупо! — сказала Анна Семеновна.

— Черт знает какая жара! Велела бы ты лимонаду купить, что ли. Так-то, сударыня. Понимаю и сочувствую. Все эти поцелуи, ахи да вздохи — фуй, изжога! — все это хорошо и великолепно, только не следовало бы, матушка, мальчика смущать. Да-с. Мальчик добрый, хороший… светлая голова и достоин лучшей участи. Пощадить бы его следовало.

— Вы ничего не понимаете. Мальчик в меня по уши влюбился, и я сделала ему приятное… позволила поцеловать себя.

— Влюбился… — передразнил Николай Андреич. — Прежде чем он в тебя влюбился, ты ему небось сто западней и мышеловок поставила.

Нотариус зевнул и потянулся.

— Удивительное дело! — проворчал он, глядя в окно. — Поцелуй я так же безгрешно, как ты сейчас, девушку, на меня черт знает что посып-

лется: Злодей! Соблазнитель! Развратитель! А вам, бальзаковским барыням, все с рук сходит. Не надо в другой раз лук в окрошку класть, а то околеешь от этой изжоги… Фуй! Погляди-ка скорей на твоего обже! Бежит по аллее бедный финик, словно ошпаренный, без оглядки. Чай, воображает, что я с ним из-за такого сокровища, как ты, стреляться буду. Шкодлив как кошка, труслив как заяц. Постой же, финик, задам я тебе фернапиксу! Ты у меня еще не этак забегаешь!

— Нет, пожалуйста, ты ему ничего не говори! — сказала Анна Семеновна. — Не бранись с ним, он нисколько не виноват.

— Я браниться не буду, а так только… шутки ради.

Нотариус зевнул, забрал газеты и, подобрав полы халата, побрел к себе в спальную. Повалявшись часа полтора и прочитавши газеты, Николай Андреич оделся и отправился гулять. Он ходил по саду и весело помахивал своей тросточкой, но, увидав издалека техника Щупальцева, он скрестил на груди руки, нахмурился и зашагал, как провинциальный трагик, готовящийся к встрече с соперником. Щупальцев сидел на скамье под ясенью и, бледный, трепещущий, готовился к тяжелому объяснению. Он храбрил-

ся, делал серьезное лицо, но его, как говорится, крючило. Увидав нотариуса, он еще больше побледнел, тяжело перевел дух и смиренно поджал под себя ноги. Николай Андреич подошел к нему боком, постоял молча и, не глядя на него, начал:

— Конечно, милостивый государь, вы понимаете, о чем я хочу говорить с вами. После того, что я видел, наши хорошие отношения продолжаться не могут. Да-с! Волнение мешает мне говорить, но… вы и без моих слов поймете, что я и вы жить под одной крышей не можем. Я или вы!

— Я вас понимаю, — пробормотал техник, тяжело дыша.

— Эта дача принадлежит жене, а потому здесь останетесь вы, а я… я уеду. Я пришел сюда не упрекать вас, нет! Упреками и слезами не вернешь того, что безвозвратно потеряно. Я пришел затем, чтобы спросить вас о ваших намерениях… (Пауза.) Конечно, не мое дело мешаться в ваши дела, но, согласитесь, в желании знать о дальнейшей судьбе горячо любимой женщины нет ничего такого… этакого, что могло бы показаться вам вмешательством. Вы намерены жить с моей женой?

— То есть как-с? — сконфузился техник, подгибая еще больше под скамью ноги. — Я… я не знаю.

Все это как-то странно.

— Я вижу, вы уклоняетесь от прямого ответа, — проворчал угрюмо нотариус. — Так я вам прямо говорю: или вы берете соблазненную вами женщину и доставляете ей средства к существованию, или же мы стреляемся. Любовь налагает известные обязательства, милостивый государь, и вы, как честный человек, должны понимать это! Через неделю я уезжаю, и Анна с семьей поступает под вашу ферулу. На детей я буду выдавать определенную сумму.

— Если Анне Семеновне угодно, — забормотал юноша, — то я… я, как честный человек, возьму на себя… но я ведь беден! Хотя…

— Вы благородный человек! — прохрипел нотариус, потрясая руку техника. — Благодарю! Во всяком случае даю вам неделю на размышление. Вы подумайте!

Нотариус сел рядом с техником и закрыл руками лицо.

— Но что вы сделали со мной! — простонал он. — Вы разбили мне жизнь… отняли у меня женщину, которую я любил больше жизни. Нет, я не перенесу этого удара!

Юноша с тоской поглядел на него и почесал себе лоб. Ему было жутко.

— Сами вы виноваты, Николай Андреич! — вздохнул он. — Снявши голову, по волосам не плачут. Вспомните, что вы женились на Анне только из-за денег… потом всю жизнь вы не понимали ее, тиранили… относились небрежно к самым чистым, благородным порывам ее сердца.

— Это она вам сказала? — спросил Николай Андреич, вдруг отнимая от лица руки.

— Да, она. Мне известна вся ее жизнь, и… и верьте, я полюбил в ней не столько женщину, сколько страдалицу.

— Вы благородный человек… — вздохнул нотариус, поднимаясь. — Прощайте и будьте счастливы. Надеюсь, что все, что тут было сказано, останется между нами.

Николай Андреич еще раз вздохнул и зашагал к дому.

На полдороге встретилась ему Анна Семеновна.

— Что, финика своего ищешь? — спросил он. — Ступай-ка погляди, в какой пот я его вогнал!.. А ты уж успела ему поисповедаться! И что это у вас, бальзаковских, за манера, ей-богу! Красотой и свежестью брать не можете, так с исповедью подъезжаете, с жалкими словами! Наврала с три короба! И на деньгах-то я женился, и не понимал

я тебя, и тиранил, и черт, и дьявол…

— Ничего я ему не говорила! — вспыхнула Анна Семеновна.

— Ну, ну… я ведь понимаю, вхожу в положение. Не бойся, не выговор делаю. Мальчика только жалко! Хороший такой, честный, искренний.

Когда наступил вечер и всю землю заволокло потемками, нотариус еще раз вышел на прогулку. Вечер был великолепный. Деревья спали и, казалось, никакая буря не могла разбудить их от молодого, весеннего сна. С неба, борясь с дремотой, глядели звезды. Где-то за садом лениво квакали лягушки и пискала сова. Слышались короткие, отрывистые свистки далекого соловья.

Николай Андреич, проходивший в потемках под широкой липой, неожиданно наткнулся на Щупальцева.

— Что вы тут стоите? — спросил он.

— Николай Андреич! — начал Щупальцев дрожащим от волнения голосом. — Я согласен на все ваши условия, но… все это как-то странно. — Вдруг вы ни с того ни с сего несчастны… страдаете и говорите, что ваша жизнь разбита…

— Да, так что же?

— Если вы оскорблены, то… то, хоть я и не признаю дуэли, я могу удовлетворить вас. Если дуэль

хоть немного облегчит вас, то, извольте, я готов… хоть сто дуэлей…

Нотариус засмеялся и взял техника за талию.

— Ну, ну… будет! Я ведь пошутил, голубчик! — сказал он. — Все это пустяки и вздор. Та дрянная и ничтожная женщина не стоит того, чтобы вы тратили из-за нее хорошие слова и волновались. Довольно, юноша! Пойдемте гулять.

— Я… я вас не понимаю.

— И понимать нечего. Дрянная, скверная бабенка и больше ничего!.. У вас вкуса нет, голубчик. Что вы остановились? Удивляетесь, что я такие слова про жену говорю? Конечно, мне не следовало бы говорить вам этого, но так как вы тут некоторым образом лицо заинтересованное, то с вами нечего скрытничать. Говорю вам откровенно: наплюйте! Игра не стоит свеч. Все она вам налгала и как «страдалица» гроша медного не стоит. Бальзаковская барыня и психопатка. Глупа и много врет. Честное слово, голубчик! Я не шучу…

— Но ведь она вам жена! — удивился техник.

— Мало ли чего! Был таким же, как вот вы, и женился, а теперь рад бы разжениться, да — тпррр… Наплюйте, милый! Любви-то ведь никакой, а одна только шалость, скука. Хотите шалить, так

вон Настя идет… Эй, Настя, куда идешь?

— За квасом, барин! — послышался женский голос.

— Это я понимаю, — продолжал нотариус, — а все эти психопатки, страдалицы… ну их! Настя дура, но в ней хоть претензий нет… Дальше пойдем?

Нотариус и техник вышли из сада, оглянулись и, оба разом вздохнувши, пошли по полю.

Роман с контрабасом

Музыкант Смычков шел из города на дачу князя Бибулова, где, по случаю сговора, «имел быть» вечер с музыкой и танцами. На спине его покоился огромный контрабас в кожаном футляре. Шел Смычков по берегу реки, катившей свои прохладные воды хотя не величественно, но зато весьма поэтично.

«Не выкупаться ли?» — подумал он.

Не долго думая, он разделся и погрузил свое тело в прохладные струи. Вечер был великолепный. Поэтическая душа Смычкова стала настраиваться соответственно гармонии окружающего. Но какое сладкое чувство охватило его душу, когда, отплыв шагов на сто в сторону, он увидел красивую девушку, сидевшую на крутом берегу и удившую рыбу. Он притаил дыхание и замер от наплыва разнородных чувств: воспоминания детства, тоска о минувшем, проснувшаяся любовь… Боже, а ведь он думал, что он уже не в состоянии любить! После того, как он потерял веру в человечество (его горячо любимая жена бежала с его другом, фаготом Собакиным), грудь его наполнилась чувством пустоты, и он стал

мизантропом.

«Что такое жизнь? — не раз задавал он себе вопрос. — Для чего мы живем? Жизнь есть миф, мечта… чревовещание…»

Но стоя пред спящей красавицей (нетрудно было заметить, что она спала), он вдруг, вопреки своей воле, почувствовал в груди нечто похожее на любовь. Долго он стоял перед ней, пожирая ее глазами…

«Но довольно… — подумал он, испустив глубокий вздох. — Прощай, чудное виденье! Мне уже пора идти на бал к его сиятельству…»

И, еще раз взглянув на красавицу, он хотел уже плыть назад, как в голове его мелькнула идея.

«Надо оставить ей о себе память! — подумал он. — Прицеплю ей что-нибудь к удочке. Это будет сюрпризом от „неизвестного“».

Смычков тихо подплыл к берегу, нарвал большой букет полевых и водяных цветов и, связав его стебельком лебеды, прицепил к удочке.

Букет пошел ко дну и увлек за собой красивый поплавок.

Благоразумие, законы природы и социальное положение моего героя требуют, чтобы роман кончился на этом самом месте, но — увы! — судьба автора неумолима: по не зависящим от автора

обстоятельствам роман не кончился букетом. Вопреки здравому смыслу и природе вещей, бедный и незнатный контрабасист должен был сыграть в жизни знатной и богатой красавицы важную роль.

Подплыв к берегу, Смычков был поражен: он не увидел своей одежды. Ее украли… Неизвестные злодеи, пока он любовался красавицей, утащили все, кроме контрабаса и цилиндра.

— Проклятие! — воскликнул Смычков. — О, люди, порождение ехидны! Не столько возмущает меня лишение одежды (ибо одежда тленна), сколько мысль, что мне придется идти нагишом и тем преступить против общественной нравственности.

Он сел на футляр с контрабасом и стал искать выхода из своего ужасного положения.

«Не идти же голым к князю Бибулову! — думал он. — Там будут дамы! Да и к тому же воры вместе с брюками украли и находившийся в них канифоль!»

Он думал долго, мучительно, до боли в висках.

«Ба! — вспомнил он наконец. — Недалеко от берега в кустарнике есть мостик… Пока настанет темнота, я могу просидеть под этим мостиком, а вечером, в потемках, проберусь до первой из-

бы…»

Остановившись на этой мысли, Смычков надел цилиндр, взвалил на спину контрабас и поплелся к кустарнику. Нагой, с музыкальным инструментом на спине, он напоминал некоего древнего, мифического полубога.

Теперь, читатель, пока мой герой сидит под мостом и предается скорби, оставим его на некоторое время и обратимся к девушке, удившей рыбу. Что сталось с нею? Красавица, проснувшись и не увидев на воде поплавка, поспешила дернуть за леску. Леска натянулась, но крючок и поплавок не показались из воды. Очевидно, букет Смычкова размок в воде, разбух и стал тяжел.

«Или большая рыба поймалась, — подумала девушка, — или же удочка зацепилась».

Подергав еще немного за леску, девушка решила, что крючок зацепился.

«Какая жалость! — подумала она. — А вечером так хорошо клюет! Что делать?»

И, недолго думая, эксцентричная девушка сбросила с себя эфирные одежды и погрузила прекрасное тело в струи по самые мраморные плечи. Не легко было отцепить крючок от букета, в который впуталась леска, но терпение и труд взяли свое. Через какие-нибудь четверть часа

красавица, сияющая и счастливая, выходила из воды, держа в руке крючок.

Но злая судьба стерегла ее. Негодяи, укравшие одежду Смычкова, похитили и ее платье, оставив ей только банку с червяками.

«Что же мне теперь делать? — заплакала она. — Неужели идти в таком виде? Нет, никогда! Лучше смерть! Я подожду, пока стемнеет; тогда, в темноте, я дойду до тетки Агафьи и пошлю ее домой за платьем… А пока пойду спрячусь под мостик».

Моя героиня, выбирая траву повыше и нагибаясь, побежала к мостику. Пролезая под мостик, она увидела там нагого человека с музыкальной гривой и волосатой грудью, вскрикнула и лишилась чувств.

Смычков тоже испугался. Сначала он принял девушку за наяду.

«Не речная ли это сирена, пришедшая увлечь меня? — подумал он, и это предположение польстило ему, так как он всегда был высокого мнения о своей наружности. — Если же она не сирена, а человек, то как объяснить это странное видоизменение? Зачем она здесь, под мостом? И что с ней?»

Пока он решал эти вопросы, красавица приходила в себя.

— Не убивайте меня! — прошептала она. — Я княжна Бибулова. Умоляю вас! Вам дадут много денег! Сейчас я отцепляла в воде крючок и какие-то воры украли мое новое платье, ботинки и все!

— Сударыня! — сказал Смычков умоляющим голосом. — И у меня также украли мое платье. К тому же они вместе с брюками утащили и находившийся в них канифоль!

Все играющие на контрабасах и тромбонах обыкновенно ненаходчивы; Смычков же был приятным исключением.

— Сударыня! — сказал он немного погодя. — Вас, я вижу, смущает мой вид. Но, согласитесь, мне нельзя уйти отсюда, на тех же основаниях, как и вам. Я вот что придумал: не угодно ли вам будет лечь в футляр моего контрабаса и укрыться крышкой? Это скроет меня от вас…

Сказавши это, Смычков вытащил из футляра контрабас. Минуту казалось ему, что он, уступая футляр, профанирует святое искусство, но колебание было непродолжительно. Красавица легла в футляр и свернулась калачиком, а он затянул ремни и стал радоваться, что природа одарила его таким умом.



— Теперь, сударыня, вы меня не видите, — сказал он. — Лежите здесь и будьте покойны. Когда станет темно, я отнесу вас в дом ваших родителей. За контрабасом же я могу прийти сюда и потом.

С наступлением потемок Смычков взвалил на плечи футляр с красавицей и поплелся к даче Бибулова. План у него был такой: сначала он дойдет до первой избы и обзаведется одеждой,

потом пойдет далее…

«Нет худа без добра… — думал он, взбудораживая пыль босыми ногами и сгибаясь под ношей. — За то теплое участие, которое я принял в судьбе княжны, Бибулов наверно щедро наградит меня».

— Сударыня, удобно ли вам? — спрашивал он тоном cavalier galant[182], приглашающего на кадриль. — Будьте любезны, не церемоньтесь и располагайтесь в моем футляре, как у себя дома!

Вдруг галантному Смычкову показалось, что впереди его, окутанные темнотою, идут две человеческие фигуры. Вглядевшись пристальней, он убедился, что это не оптический обман: фигуры действительно шли и даже несли в руках какие-то узлы…

«Не воры ли это? — мелькнуло у него в голове. — Они что-то несут! Вероятно, это наше платье!»

Смычков положил у дороги футляр и погнался за фигурами.

— Стой! — закричал он. — Стой! Держи!

Фигуры оглянулись и, заметив погоню, стали улепетывать… Княжна еще долго слышала быст-

---

[182] Примечания: 182
Учтивого кавалера (фр.).

рые шаги и крики «Стой!». Наконец все смолкло.

Смычков увлекся погоней, и, вероятно, красавице пришлось бы еще долго пролежать в поле у дороги, если бы не счастливая игра случая. Случилось, что в ту пору по той же дороге проходили на дачу Бибулова товарищи Смычкова, флейта Жучков и кларнет Размахайкин. Споткнувшись о футляр, оба они удивленно переглянулись и развели руками.

— Контрабас! — сказал Жучков. — Ба, да это контрабас нашего Смычкова! Но как он сюда попал?

— Вероятно, что-нибудь случилось со Смычковым, — решил Размахайкин. — Или он напился, или же его ограбили… Во всяком случае, оставлять здесь контрабас не годится. Возьмем его с собой.

Жучков взвалил себе на спину футляр, и музыканты пошли дальше.

— Черт знает какая тяжесть! — ворчал всю дорогу флейта. — Ни за что на свете не согласился бы играть на таком идолище… Уф!

Придя на дачу к князю Бибулову, музыканты положили футляр на месте, отведенном для оркестра, и пошли к буфету.

В это время на даче уже зажигали люстры и

бра. Жених, надворный советник Лакеич, красивый и симпатичный чиновник ведомства путей сообщения, стоял посреди залы и, заложив руки в карманы, беседовал с графом Шкаликовым. Говорили о музыке.

— Я, граф, — говорил Лакеич, — в Неаполе был лично знаком с одним скрипачом, который творил буквально чудеса. Вы не поверите! На контрабасе… на обыкновенном контрабасе он выводил такие чертовские трели, что просто ужас! Штраусовские вальсы играл!

— Полноте, это невозможно… — усумнился граф.

— Уверяю вас! Даже листовскую рапсодию исполнял! Я жил с ним в одном номере и даже, от нечего делать, выучился у него играть на контрабасе рапсодию Листа.

— Рапсодию Листа… Гм!.. вы шутите…

— Не верите? — засмеялся Лакеич. — Так я вам докажу сейчас! Пойдемте в оркестр!

Жених и граф направились к оркестру. Подойдя к контрабасу, они стали быстро развязывать ремни… и — о ужас!

Но тут, пока читатель, давший волю своему воображению, рисует исход музыкального спора, обратимся к Смычкову… Бедный музыкант, не

догнавши воров и вернувшись к тому месту, где он оставил футляр, не увидел драгоценной ноши. Теряясь в догадках, он несколько раз прошелся взад и вперед по дороге и, не найдя футляра, решил, что он попал не на ту дорогу…

«Это ужасно! — думал он, хватая себя за волосы и леденея. — Она задохнется в футляре! Я убийца!»

До самой полуночи Смычков ходил по дорогам и искал футляра, но под конец, выбившись из сил, отправился под мостик.

«Поищу на рассвете», — решил он.

Поиски во время рассвета дали тот же результат, и Смычков решил подождать под мостом ночи.

— Я найду ее! — бормотал он, снимая цилиндр и хватая себя за волосы. — Хотя бы год искать, но я найду ее!

И теперь еще крестьяне, живущие в описанных местах, рассказывают, что ночами около мостика можно видеть какого-то голого человека, обросшего волосами и в цилиндре. Изредка из-под мостика слышится хрипение контрабаса.



Список лиц, имеющих право на бесплатный проезд по русским железным дорогам

В вагоне I класса:

1) Все без исключения железнодорожные служащие, их помощники, помощницы и помощники помощников.

Примечание. Железнодорожные чины низшего порядка, имеющие замазанные носы и грязное платье (смазчики, рабочие депо и проч.), бесплатным проездом не пользуются.

2) Жены служащих, их родители, дети, внуки, правнуки, свояченицы, сестры, братья, тещи, тетки, кумовья, крестные родители, крестники, молочные братья, кузены, племянники, вообще родственники всех колен и линий, гувернантки, бонны, обже и альфонсины.

3) Станционные буфетчики, их жены и знакомые.

4) Помещики — соседи начальников станций, приезжающие на станцию играть в винт, их жены и родственники.

5) Гости служащих.

Примечание. В случае продолжительного прощания с гостями начальник станции имеет право задержать поезд на 10–20 минут.

6) Все без исключения знакомые поездного обер-кондуктора.

7) Кредиторы железнодорожных служащих.

В вагоне II класса:

1) Камердинеры служащих, их повара, кухарки, кучера, горничные и трубочисты.

2) Прислуга родственников и знакомых.

3) Родственники и знакомые прислуги.

4) Железнодорожные лошади, ослы и быки.

В вагоне III класса:

1) Пассажиры, уплатившие за I или II класс, но не нашедшие себе места в вагонах I и II классов, набитых бесплатными пассажирами.

Примечание. Названным пассажирам дозволяется ехать стоя. Правление же Либаво-Роменской дороги разрешает им также, буде угодно, лежать под скамьями или висеть на крючках.



Аптекарша

Городишко Б., состоящий из двух-трех кривых улиц, спит непробудным сном. В застывшем воздухе тишина. Слышно только, как где-то далеко, должно быть, за городом, жидким, охрипшим тенорком лает собака. Скоро рассвет.

Все давно уже уснуло. Не спит только молодая жена провизора Черномордика, содержателя б-ской аптеки. Она ложилась уже три раза, но сон упрямо не идет к ней — и неизвестно отчего. Сидит она у открытого окна, в одной сорочке, и глядит на улицу. Ей душно, скучно, досадно… так досадно, что даже плакать хочется, а отчего — опять-таки неизвестно. Какой-то комок лежит в груди и то и дело подкатывает к горлу… Сзади, в нескольких шагах от аптекарши, прикорнув к стене, сладко похрапывает сам Черномордик. Жадная блоха впилась ему в переносицу, но он этого не чувствует и даже улыбается, так как ему снится, будто все в городе кашляют и непрерывно покупают у него капли датского короля. Его не разбудишь теперь ни уколами, ни пушкой, ни ласками.

Аптека находится почти у края города, так что

аптекарше далеко видно поле. Она видит, как мало-помалу белеет восточный край неба, как он потом багровеет, словно от большого пожара. Неожиданно из-за отдаленного кустарника выползает большая, широколицая луна. Она красна (вообще луна, вылезая из-за кустов, всегда почему-то бывает ужасно сконфужена).

Вдруг среди ночной тишины раздаются чьи-то шаги и звяканье шпор. Слышатся голоса.

«Это офицеры от исправника в лагерь идут», — думает аптекарша.

Немного погодя показываются две фигуры в белых офицерских кителях: одна большая и толстая, другая поменьше и тоньше… Они лениво, нога за ногу, плетутся вдоль забора и громко разговаривают о чем-то. Поравнявшись с аптекой, обе фигуры начинают идти еще тише и глядят на окна.

— Аптекой пахнет… — говорит тонкий. — Аптека и есть! Ах, помню… На прошлой неделе я здесь был, касторку покупал. Тут еще аптекарь с кислым лицом и с ослиной челюстью. Вот, батенька, челюсть! Такой именно Сампсон филистимлян избивал.

— М-да… — говорит толстый басом. — Спит фармация! И аптекарша спит. Тут, Обтесов, апте-

карша хорошенькая.

— Видел. Мне она очень понравилась… Скажите, доктор, неужели она в состоянии любить эту ослиную челюсть? Неужели?

— Нет, вероятно, не любит, — вздыхает доктор с таким выражением, как будто ему жаль аптекаря. — Спит теперь мамочка за окошечком! Обтесов, а? Раскинулась от жары… ротик полуоткрыт… и ножка с кровати свесилась. Чай, болван аптекарь в этом добре ничего не смыслит… Ему, небось, что женщина, что бутыль с карболкой — все равно!

— Знаете что, доктор? — говорит офицер, останавливаясь. — Давайте-ка зайдем в аптеку и купим чего-нибудь! Аптекаршу, быть может, увидим.

— Выдумал — ночью!

— А что же? Ведь они и ночью обязаны торговать. Голубчик, войдемте!

— Пожалуй…

Аптекарша, спрятавшись за занавеску, слышит сиплый звонок. Оглянувшись на мужа, который храпит по-прежнему сладко и улыбается, она набрасывает на себя платье, надевает на босую ноту туфли и бежит в аптеку.

За стеклянной дверью видны две тени… Апте-

карша припускает огня в лампе и спешит к двери, чтобы отпереть, и ей уже не скучно, и не досадно, и не хочется плакать, а только сильно стучит сердце. Входят толстяк доктор и тонкий Обтесов. Теперь уж их можно рассмотреть. Толстобрюхий доктор смугл, бородат и неповоротлив. При каждом малейшем движении на нем трещит китель и на лице выступает пот. Офицер же розов, безус, женоподобен и гибок, как английский хлыст.

— Что вам угодно? — спрашивает их аптекарша, придерживая на груди платье.

— Дайте… эээ… на пятнадцать копеек мятных лепешек!

Аптекарша не спеша достает с полки банку и начинает вешать. Покупатели, не мигая, глядят на ее спину; доктор жмурится, как сытый кот, а поручик очень серьезен.

— Первый раз вижу, что дама в аптеке торгует, — говорит доктор.

— Тут ничего нет особенного… — отзывается аптекарша, искоса поглядывая на розовое лицо Обтесова. — Муж мой не имеет помощников, и я ему всегда помогаю.

— Тэк-с… А у вас миленькая аптечка! Сколько тут разных этих… банок! И вы не боитесь вращаться среди ядов! Бррр!

Аптекарша запечатывает пакетик и подает его доктору. Обтесов подает ей пятиалтынный. Проходит полминуты в молчании… Мужчины переглядываются, делают шаг к двери, потом опять переглядываются.

— Дайте на десять копеек соды! — говорит доктор.

Аптекарша опять, лениво и вяло двигаясь, протягивает руку к полке.

— Нет ли тут, в аптеке, чего-нибудь этакого… — бормочет Обтесов, шевеля пальцами, — чего-нибудь такого, знаете ли, аллегорического, какой-нибудь живительной влаги… зельтерской воды, что ли? У вас есть зельтерская вода?

— Есть, — отвечает аптекарша.

— Браво! Вы не женщина, а фея. Сочините-ка нам бутылочки три!

Аптекарша торопливо запечатывает соду и исчезает в потемках за дверью.

— Фрукт! — говорит доктор, подмигивая. — Такого ананаса, Обтесов, и на острове Мадейре не сыщете. А? Как вы думаете? Однако… слышите храп? Это сам господин аптекарь изволят почивать.

Через минуту возвращается аптекарша и ставит на прилавок пять бутылок. Она только что

была в погребе, а потому красна и немножко взволнованна.

— Тсс… тише, — говорит Обтесов, когда она, раскупорив бутылки, роняет штопор. — Не стучите так, а то мужа разбудите.

— Ну, так что же, если и разбужу?

— Он так сладко спит… видит вас во сне… За ваше здоровье!

— И к тому же, — басит доктор, отрыгивая после зельтерской, — мужья такая скучная история, что хорошо бы они сделали, если б всегда спали. Эх, к этой водице да винца бы красненького!

— Чего еще выдумали! — смеется аптекарша.

— Великолепно бы! Жаль, что в аптеках не продают спиритуозов! Впрочем… вы ведь должны продавать вино как лекарство. Есть у вас vinum gallicum rubrum[183]?

— Есть.

— Ну вот! Подавайте нам его! Черт его подери, тащите его сюда!

---

[183] Примечания: 183
Красное французское вино (лат.).



— Сколько вам?

— Quantum satis![184]… Сначала вы дайте нам в воду по унцу, а потом мы увидим… Обтесов, а? Сначала с водой, а потом уже per se[185]…

Доктор и Обтесов присаживаются к прилавку, снимают фуражки и начинают пить красное вино.

---

[184] Примечания: 184
Сколько потребуется!.. (лат.).

[185] Примечания: 185
Чистого… (лат.).

— А вино, надо сознаться, препаскуднейшее! Vinum plochissimum! Впрочем, в присутствии… эээ… оно кажется нектаром. Вы восхитительны, сударыня! Целую вам мысленно ручку.

— Я дорого дал бы за то, чтобы сделать это не мысленно! — говорит Обтесов. — Честное слово! Я отдал бы жизнь!

— Это уж вы оставьте… — говорит госпожа Черномордик, вспыхивая и делая серьезное лицо.

— Какая, однако, вы кокетка! — тихо хохочет доктор, глядя на нее исподлобья, плутовски. — Глазенки так и стреляют! Пиф! паф! Поздравляю: вы победили! Мы сражены!

Аптекарша глядит на их румяные лица, слушает их болтовню и скоро сама оживляется. О, ей уже так весело! Она вступает в разговор, хохочет, кокетничает и даже, после долгих просьб покупателей, выпивает унца два красного вина.

— Вы бы, офицеры, почаще в город из лагерей приходили, — говорит она, — а то тут ужас какая скука. Я просто умираю.

— Еще бы! — ужасается доктор. — Такой ананас… чудо природы и — в глуши! Прекрасно выразился Грибоедов: «В глушь! В Саратов!» Однако нам пора. Очень рад познакомиться… весьма! Сколько с нас следует?

Аптекарша поднимает к потолку глаза и долго шевелит губами.

— Двенадцать рублей сорок восемь копеек! — говорит она.

Обтесов вынимает из кармана толстый бумажник, долго роется в пачке денег и расплачивается.

— Ваш муж сладко спит… видит сны… — бормочет он, пожимая на прощанье руку аптекарши.

— Я не люблю слушать глупостей…

— Какие же это глупости? Наоборот… это вовсе не глупости… Даже Шекспир сказал: «Блажен, кто смолоду был молод!»

— Пустите руку!

Наконец покупатели, после долгих разговоров, целуют у аптекарши ручку и нерешительно, словно раздумывая, не забыли ли они чего-нибудь, выходят из аптеки.

А она быстро бежит в спальню и садится у того же окна. Ей видно, как доктор и поручик, выйдя из аптеки, лениво отходят шагов на двадцать, потом останавливаются и начинают о чем-то шептаться. О чем? Сердце у нее стучит, в висках тоже стучит, а отчего — она и сама не знает… Бьется сердце сильно, точно те двое, шепчась там, решают его участь.

Минут через пять доктор отделяется от Обтесова и идет дальше, а Обтесов возвращается. Он проходит мимо аптеки раз, другой… То остановится около двери, то опять зашагает… Наконец осторожно звякает звонок.

— Что? Кто там? — вдруг слышит аптекарша голос мужа. — Там звонят, а ты не слышишь! — говорит аптекарь строго. — Что за беспорядки!

Он встает, надевает халат и, покачиваясь в полусне, шлепая туфлями, идет в аптеку.

— Чего… вам? — спрашивает он у Обтесова.

— Дайте… дайте на пятнадцать копеек мятных лепешек.

С бесконечным сопеньем, зевая, засыпая на ходу и стуча коленями о прилавок, аптекарь лезет на полку и достает банку…

Спустя две минуты аптекарша видит, как Обтесов выходит из аптеки и, пройдя несколько шагов, бросает на пыльную дорогу мятные лепешки. Из-за угла навстречу ему идет доктор… Оба сходятся и, жестикулируя руками, исчезают в утреннем тумане.



— Как я несчастна! — говорит аптекарша, со злобой глядя на мужа, который быстро раздевается, чтобы опять улечься спать. — О, как я несчастна! — повторяет она, вдруг заливаясь горькими слезами. — И никто, никто не знает…

— Я забыл пятнадцать копеек на прилавке, — бормочет аптекарь, укрываясь одеялом. — Спрячь, пожалуйста, в конторку…

И тотчас же засыпает.

Лишние люди

Седьмой час июньского вечера. От полустанка Хилково к дачному поселку плетется толпа только что вышедших из поезда дачников — все больше отцы семейств, нагруженные кульками, портфелями и женскими картонками. Вид у всех утомленный, голодный и злой, точно не для них сияет солнце и зеленеет трава.

Плетется, между прочим, и Павел Матвеевич Зайкин, член окружного суда, высокий сутуловатый человек, в дешевой коломенке и с кокардой на полинялой фуражке. Он вспотел, красен и сумрачен.

— Каждый день изволите на дачу выезжать? — обращается к нему дачник в рыжих панталонах.

— Нет, не каждый, — угрюмо отвечает Зайкин. — Жена и сын живут тут постоянно, а я приезжаю раза два в неделю. Некогда каждый день ездить да и дорого.

— Это верно, что дорого, — вздыхают рыжие панталоны. — В городе до вокзала не пойдешь пешком, извозчик нужен, потом-с билет стоит сорок две копейки… газетку дорогой купишь, рюмку водки по слабости выпьешь. Все это копе-

ечный расход, пустяковый, а гляди — и наберется за лето рублей двести. Оно, конечно, лоно природы дороже стоит, не стану спорить-с… идиллия и прочее, но ведь при нашем чиновницком содержании, сами знаете, каждая копейка на счету. Потратишь неосторожно копеечку, а потом и не спишь всю ночь. Да-с… Я, милостивый государь, не имею чести знать вашего имени и отчества, получаю без малого две тысячи в год-с, состою в чине статского советника, а курю табак второго сорта и не имею лишнего рубля, дабы купить себе минеральной воды Виши, прописанной мне против печеночных камней.

— Вообще мерзко, — говорит Зайкин после некоторого молчания. — Я, сударь, держусь того мнения, что дачную жизнь выдумали черти да женщины. Чертом в данном случае руководила злоба, а женщиной крайнее легкомыслие. Помилуйте, это не жизнь, а каторга, ад! Тут душно, жарко, дышать тяжело, а ты мыкаешься с места на место, как неприкаянный, и никак не найдешь себе приюта. Там, в городе, ни мебели, ни прислуги… все на дачу увезли… питаешься черт знает чем, не пьешь чаю, потому что самовар поставить некому, не умываешься, а приедешь сюда, в это лоно природы, изволь идти пешком

по пыли, по жаре… тьфу! Вы женаты?

— Да-с… Трое деток, — вздыхают рыжие панталоны.

— Вообще мерзко… Просто удивительно, как это мы еще живы.

Наконец дачники доходят до поселка. Зайкин прощается с рыжими панталонами и идет к себе на дачу. Дома застает он мертвую тишину. Слышно только, как жужжат комары да молит о помощи муха, попавшая на обед к пауку. Окна завешены кисейными занавесочками, сквозь которые краснеют блекнущие цветы герани. На деревянных, некрашеных стенах, около олеографий, дремлют мухи. В сенях, в кухне, в столовой — ни души. В комнате, которая в одно и то же время называется гостиной и залой, Зайкин застает своего сына, Петю, маленького, шестилетнего мальчика. Петя сидит за столом и, громко сопя, вытянув нижнюю губу, вырезывает ножницами из карты бубнового валета.

— А, это ты, папа! — говорит он, не оборачиваясь. — Здравствуй!

— Здравствуй… А мать где?

— Мама? Она поехала с Ольгой Кирилловной на репетицию играть театр. Послезавтра у них будет представление. И меня возьмут… А ты пойдешь?

— Гм!.. Когда же она вернется?

— Она говорила, что вернется вечером.

— А где Наталья?

— Наталью взяла с собой мама, чтобы она помогала ей одеваться во время представления, а Акулина пошла в лес за грибами. Папа, отчего это, когда комары кусаются, то у них делаются животы красные?

— Не знаю… Оттого, что они сосут кровь. Стало быть, никого нет дома?

— Никого. Только я один дома.

Зайкин садится в кресло и минуту тупо глядит в окно…

— Кто же нам обедать подаст? — спрашивает он.

— Обедать сегодня не варили, папа! Мама думала, что ты сегодня не приедешь, и не велела варить обед. Она с Ольгой Кирилловной будет обедать на репетиции.

— Покорнейше благодарю, а ты же что ел?

— Я ел молоко. Для меня купили молока на шесть копеек. Папа, а зачем комары сосут кровь?

Зайкин вдруг чувствует, как что-то тяжелое подкатывает к его печени и начинает сосать ее. Ему становится так досадно, обидно и горько, что он тяжело дышит и дрожит; ему хочется

вскочить, ударить о пол чем-нибудь тяжелым и разразиться бранью, но тут он вспоминает, что доктора строго запретили ему волноваться, встает и, насилуя себя, начинает насвистывать из «Гугенотов».

— Папа, ты умеешь представлять в театре? — слышит он голос Пети.

— Ах, не приставай ко мне с глупыми вопросами! — сердится Зайкин. — Пристал, как банный лист! Тебе уже шесть лет, а ты все так же глуп, как и три года назад… Глупый, распущенный мальчишка! К чему, например, ты эти карты портишь? Как ты смеешь их портить?

— Эти карты не твои, — говорит Петя, оборачиваясь. — Мне Наталья их дала.

— Врешь! Врешь, дрянной мальчишка! — раздражается Зайкин все более и более. — Ты всегда врешь! Высечь тебя нужно, свиненка этакого! Я тебе уши оборву!

Петя вскакивает, вытягивает шею и глядит в упор на красное, гневное лицо отца. Большие глаза его сначала мигают, потом заволакивают влагой, и лицо мальчика кривится.

— Да ты что бранишься? — визжит Петя. — Что ты ко мне пристал, дурак? Я никого не трогаю, не шалю, слушаюсь, а ты… сердишься! Ну, за что ты

меня бранишь?

Мальчик говорит убедительно и так горько плачет, что Зайкину становится совестно.

«И правда, за что я к нему придираюсь?» — думает он.

— Ну, будет… будет, — говорит он, трогая мальчика за плечо. — Виноват, Петюха… прости. Ты у меня умница, славный, я тебя люблю.

Петя утирает рукавом глаза, садится со вздохом на прежнее место и начинает вырезывать даму. Зайкин идет к себе в кабинет. Он растягивается на диване и, подложив руки под голову, задумывается. Недавние слезы мальчика смягчили его гнев, и от печени мало-помалу отлегло. Чувствуются только утомление и голод.

— Папа! — слышит Зайкин за дверью. — Показать тебе мою насекомую коллекцию?

— Покажи.

Петя входит в кабинет и подает отцу длинный зеленый ящичек. Еще не поднося к уху, Зайкин слышит отчаянное жужжанье и царапанье лапок о стенки ящика.

Подняв крышку, он видит множество бабочек, жуков, кузнечиков и мух, приколотых ко дну ящика булавками. Все, за исключением двух-трех бабочек, еще живы и шевелятся.

— А кузнечик все еще жив! — удивляется Петя. — Вчера утром поймали его, а он до сих пор не умер!

— Кто это тебя научил прикалывать их? — спрашивает Зайкин.

— Ольга Кирилловна.

— Самое бы Ольгу Кирилловну приколоть так! — говорит Зайкин с отвращением. — Унеси отсюда! Стыдно мучить животных!

«Боже, как он мерзко воспитывается», — думает он по уходе Пети.

Павел Матвеевич забыл уже про утомление и голод и думает только о судьбе своего мальчика. За окнами, между тем, дневной свет мало-помалу тускнет… Слышно, как дачники компаниями возвращаются с вечернего купанья. Кто-то останавливается около открытого окна столовой и кричит: «Грибков не желаете ли?» — кричит и, не получив ответа, шлепает босыми ногами дальше… Но вот, когда сумерки сгущаются до того, что герань за кисейной занавеской теряет свои очертания и в окно начинает потягивать свежестью вечера, дверь в сенях с шумом открывается и слышатся быстрые шаги, говор, смех…

— Мама! — взвизгивает Петя.

Зайкин выглядывает из кабинета и видит свою

жену Надежду Степановну, здоровую, розовую, как всегда… С нею Ольга Кирилловна, сухая блондинка с крупными веснушками, и двое каких-то незнакомых мужчин: один молодой, длинный, с рыжей курчавой головой и с большим кадыком, другой — низенький, коренастый, с бритой актерской физиономией и сизым кривым подбородком.

— Наталья, ставь самовар! — кричит Надежда Степановна, громко шурша платьем. — Говорят, Павел Матвеевич приехал? Павел, где ты? Здравствуй, Павел! — говорит она, вбегая в кабинет и тяжело дыша. — Ты приехал? Очень рада… Со мной приехали двое наших любителей… пойдем, я тебя представлю… Вот тот, что подлинней, это Коромыслов… прекрасно поет, а другой, этот маленький… некий Смеркалов, настоящий актер… читает великолепно. Уф, утомилась! Сейчас у нас репетиция была… Великолепно идет! Мы ставим «Жильца с тромбоном» и «Она его ждет»… Послезавтра спектакль…

— Зачем ты их привезла? — спрашивает Зайкин.

— Необходимо, попочка! После чая нам нужно роли повторить и пропеть кое-что… Я с Коромысловым дуэт буду петь… Да, как бы не забыть!

Пошли, голубчик, Наталью взять сардин, водки, сыру и еще чего-нибудь. Они, вероятно, и ужинать будут… Ох, устала!

— Гм!.. У меня денег нет!

— Нельзя же, попочка. Неловко! Не заставляй меня краснеть!

Через полчаса Наталья посылается за водкой и закуской; Зайкин, напившись чаю и съевши целый французский хлеб, уходит в спальню и ложится на постель, а Надежда Степановна и ее гости, шумя и смеясь, приступают к повторению ролей. Павел Матвеевич долго слышит гнусавое чтение Коромыслова и актерские возгласы Смеркалова… За чтением следует длинный разговор, прерываемый визгливым смехом Ольги Кирилловны. Смеркалов, на правах настоящего актера, с апломбом и жаром объясняет роли…

Далее следует дуэт, а за дуэтом звяканье посуды… Зайкин сквозь сон слышит, как уговаривают Смеркалова прочесть «Грешницу» и как тот, поломавшись, начинает декламировать. Он шипит, бьет себя по груди, плачет, хохочет хриплым басом… Зайкин морщится и прячет голову под одеяло.

— Вам идти далеко и темно, — слышит он час спустя голос Надежды Степановны. — Почему вам

не остаться у нас ночевать? Коромыслов ляжет здесь, в гостиной, на диване, а вы, Смеркалов, на Петиной постели… Петю можно в кабинете мужа положить… Право, оставайтесь!

Наконец, когда часы бьют два, все смолкает… Отворяется в спальной дверь и показывается Надежда Степановна.

— Павел, ты спишь? — шепчет она.

— Нет, а что?

— Поди, голубчик, к себе в кабинет, ляг на диване, а тут, на твоей кровати, я Ольгу Кирилловну положу. Поди, милый! Я бы ее в кабинете положила, да она боится спать одной… Вставай же!

Зайкин поднимается, накидывает на себя халат и, взявши подушку, плетется в кабинет… Дойдя ощупью до своего дивана, он зажигает спичку и видит: на диване лежит Петя. Мальчик не спит и большими глазами глядит на спичку.

— Папа, отчего это комары не спят ночью? — спрашивает он.

— Оттого… оттого, — бормочет Зайкин, — оттого, что мы здесь с тобой лишние… Даже спать негде!

— Папа, а отчего это на лице у Ольги Кирилловны веснушки?

— Ах, отстань! Надоел!

Подумав немного, Зайкин одевается и выходит на улицу освежиться… Он глядит на серое утреннее небо, на неподвижные облака, слушает ленивый крик сонного коростеля и начинает мечтать о завтрашнем дне, когда он, поехав в город и вернувшись из суда, завалится спать… Вдруг из-за угла показывается человеческая фигура.

«Сторож, должно быть…» — думает Зайкин.

Но, вглядевшись и подойдя поближе, он узнает в фигуре вчерашнего дачника в рыжих панталонах.

— Вы не спите? — спрашивает он.

— Да, не спится что-то… — вздыхают рыжие панталоны. — Природой наслаждаюсь… Ко мне, знаете ли, приехала с ночным поездом дорогая гостья… мамаша моей жены. С нею прибыли мои племянницы… прекрасные девушки. Весьма рад, хотя и… очень сыро! А вы тоже изволите природой наслаждаться?

— Да, — мычит Зайкин, — и я тоже природой… Не знаете ли, нет ли тут где-нибудь поблизости какого-нибудь кабака или трактирчика?

Рыжие панталоны поднимают глаза к небу и глубокомысленно задумываются…



Словотолкователь для «барышень»

Если прилежная институтка любит заниматься физикой, то это будет физическая любовь.

* * *

Если молодые люди объясняются в любви на плоту, то это плотская любовь.

* * *

Если барышня любит не вас, а вашего брата, то это братская любовь.

* * *

Если кто любит прыскаться духами или вызывать духов, то это духовная любовь.

* * *

Если старая дева любит собак, кошек и прочих животных, то это животная любовь.

* * *

Гражданским браком называется союз двух любящих друг друга особ, имеющих звание потомственного почетного гражданина и потомственной почетной гражданки.

* * *

Мужьями называются такие мужчины, которые из чувства сострадания и по приказанию полиции помогают папашам кормить и одевать их дочерей.

* * *

Холостяками называются мужчины, стреляющие из холостых ружей.

* * *

Распутную жизнь ведут почтальоны и ямщики, когда ездят осенью в распутицу.

Rara avis[186]

Сочинитель уголовных романов беседует с полицейским сыщиком:

— Вы потрудитесь сводить меня в притон мошенников и бродяг…

— С удовольствием.

— Познакомите меня с двумя-тремя типами убийц…

— И это можно.

— Необходимо мне побывать также в тайных притонах разврата.

Далее сочинитель просит познакомить его с фальшивыми монетчиками, шантажистами, шулерами, червонными дамами, альфонсами, и на все сыщик отвечает:

— И это можно… Сколько хотите!

— Еще одна просьба, — просит в конце концов сочинитель. — Так как в своем романе я должен для контраста вывести две-три светлых личности, то вы потрудитесь также указать мне двух-трех идеально честных людей…

---

[186] Примечания: 186
Редкая птица (лат.).



Сыщик поднимает глаза к потолку и думает:
— Гм… — мычит он. — Хорошо, поищем!

Ты и вы
(Сценка)

Седьмой час утра. Кандидат на судебные должности Попиков, исправляющий должность судебного следователя в посаде N, спит сладким сном человека, получающего разъездные, квартирные и жалованье. Кровати он не успел завести себе, а потому спит на справках о судимости. Тишина. Даже за окнами нет звуков. Но вот в сенях за дверью начинает что-то скрести и шуршать, точно свинья вошла в сени и чешется боком о косяк. Немного погодя дверь с жалобным писком отворяется и опять закрывается. Минуты через три дверь вновь открывается и с таким страдальческим писком, что Попиков вздрагивает и открывает глаза.

— Кто там? — спрашивает он, встревоженно глядя на дверь.

В дверях показывается паукообразное тело — большая мохнатая голова с нависшими бровями и с густой, растрепанной бородой.

— Тут господин следователев живет, что ли? — хрипит голова.

— Тут. Чего тебе нужно?

— Поди скажи ему, что Иван Филаретов пришел. Нас сюда повестками вызывали.

— Зачем же ты так рано пришел? Я тебя к одиннадцати часам вызывал!

— А теперя сколько?

— Теперь еще и семи нет.

— Гм… И семи еще нет… У нас, вашескородие, нет часов… Стало быть, ты будешь следователь?

— Да, я… Ну, ступай отсюда, погоди там… Я еще сплю.

— Спи, спи… Я погожу. Погодить можно.

Голова Филаретова скрывается. Попиков поворачивается на другой бок, закрывает глаза, но сон уже больше не возвращается к нему. Повалявшись еще с полчаса, он с чувством потягивается и выкуривает папиросу, потом медленно, чтобы растянуть время, один за другим выпивает три стакана молока…

— Разбудил, каналья! — ворчит он. — Нужно будет сказать хозяйке, чтобы запирала на ночь дверь. — Ну что я буду делать спозаранку? Черт его подери… Допрошу его сейчас, потом не нужно будет допрашивать.

Попиков сует ноги в туфли, накидывает поверх нижнего белья крылатку и, зевая до боли в ску-

лах, садится за стол.

— Поди сюда! — кричит он.

Дверь снова пищит, и на пороге показывается Иван Филаретов. Попиков раскрывает перед собой «Дело по обвинению запасного рядового Алексея Алексеева Дрыхунова в истязании жены своей Марфы Андреевой», берет перо и начинает быстро судейским разгонистым почерком писать протокол допроса.

— Подойди поближе, — говорит он, треща по бумаге пером. — Отвечай на вопросы… Ты Иван Филаретов, крестьянин села Дунькина, Пустыревской волости, 42 лет?

— Точно так…

— Чем занимаешься?

— Мы пастухи… Мирской скот пасем…

— Под судом был?

— Точно так, был…

— За что и когда?

— Перед Святой из нашей волости троих в присяжные заседатели вызывали…

— Это не значит быть под судом…

— А кто его знает! Почитай, пять суток продержали…

Следователь запахивается в крылатку и, понизив тон, говорит:

— Вы вызваны в качестве свидетеля по делу об истязании запасным рядовым Алексеем Дрыхуновым своей жены. Предупреждаю вас, что вы должны говорить одну только сущую правду и что все, сказанное здесь, вы должны будете подтвердить на суде присягой. Ну, что вы знаете по этому делу?

— Прогоны бы получить, вашескородие, — бормочет Филаретов. — 23 версты проехал, а лошадь чужая, вашескородие, заплатить нужно…

— После поговоришь о прогонах.

— Зачем после? Мне сказывали, что прогоны надо требовать в суде, а то потом не получишь.

— Некогда мне с тобой о прогонах разговаривать! — сердится следователь. — Рассказывай, как было? Как Дрыхунов истязал свою жену?

— Что ж мне тебе рассказывать? — вздыхает Филаретов, мигая нависшими бровями. — Очень просто, драка была! Гоню я это, стало быть, коров к водопою, а тут по реке чьи-то утки плывут… Господские оне или мужицкие, Христос их знает, только это, значит, Гришка-подпасок берет камень и давай швырять… «Зачем, спрашиваю, швыряешь? Убьешь, говорю… Попадешь в какую ни на есть утку, ну и убьешь…»

Филаретов вздыхает и поднимает глаза к по-

толку.

— Человека и то убить можно, а утка тварь слабая, ее и щепкой зашибить можно… Я говорю, а Гришутка не слушается… Известно, дите молодое, рассудка — ни боже мой… «Что ж ты, говорю, не слушаешься? Уши, говорю, оттреплю! Дурак!»

— Это к делу не относится, — говорит следователь. — Рассказывайте только то, что дела касается…

— Слушаю… Только что, это самое, норовил я его за ухи схватить, как откуда ни возьмись Дрыхунов… Идет по бережку с фабричными ребятами и руками размахивает. Рожа пухлая, красная, глазищи наружу лба выперло, а сам так и качается… Выпивши, чтоб его разодрало! Люди еще из обедни не вышли, а он уж набарабанился и черта потешает. Увидал он, как я мальчишку за ухи хватаю, и давай кричать: «Не смей, говорит, христианскую душу за ухи трепать! А то, говорит, влетит!» А я ему честно и благородно… по-божески. «Проходи, говорю, мимо, пьяница этакая». Он осерчал, подходит и со всего размаху, вашескородие, трах меня по затылку!.. За что? По какому случаю? «Какой ты такой, спрашиваю, мировой судья, что имеешь полную праву меня бить?» А он и говорит: «Ну, ну, говорит, Ванюха, не оби-

ждайся, это я тебя по дружбе, для смеху. На меня, говорит, нынче такое просветление нашло… Я, говорит, так об себе понимаю, что я самый лучший человек есть… я, говорит, 20 рублев жалованья на фабрике получаю, и нет надо мной, акроме директора, никакого старшова… Плевать, говорит, желаю на всех прочих! И сколько, говорит, нынче много разного народу перебито, так это видимо-невидимо! Пойдем, говорит, выпьем!» — «Не желаю, говорю, с тобой пить… Люди еще из обедни не вышли, а ты — пить!» А тут которые прочие ребята, что с ним были, обступили меня, словно собаки, и тянут: «пойдем да пойдем!» Не было никакой моей возможности супротив всех идтить, вашескородие. Не хотел пить, а потом, чтоб их ободрало!

— Куда же вы пошли?

— У нас одно место! — вздыхает Филаретов. — Пошли мы на постоялый двор к Абраму Мойсеичу. Туда всякий раз ходим. Место такое каторжное, чтоб ему пусто! Чай, сам знаешь… Как поедешь по большой дороге в Дунькино, то вправе будет именье барина Северина Францыча, а еще правее Плахтово, а промеж них и будет постоялый двор. Чай, знаешь Северина Францыча?

— Нужно говорить вы… Нельзя тыкать! Если я

говорю тебе… вам вы, то вы и подавно должны быть вежливым!

— Оно конечно, вашескородие! Нешто мы не понимаем? Но ты слушай, что дальше… Приходим это к Абрамке… «Наливай, говорит, за мои деньги!»

— Кто говорит?

— Да этот самый… Дрыхунов то есть! «Наливай, кричит, такой-сякой, а то бочке дно вышибу! На меня, говорит, просветление нашло!» Выпили мы по стаканчику, потом малость погодили и еще выпили, да этаким манером в час времени стаканов, дай бог память, по восьми слопали! Мне что? Я пью, мне и горя мало: не мои деньги! Хоть тыщу стаканов подноси! Я, вашескородие, нисколько не виноват! Извольте Абрама Мойсеича допросить.

— Что же потом было?

— Ничего потом не было. Пока пили, это верно, была драка, а потом все благородно и по совести.

— Кто же дрался?

— Известно кто… «На меня, кричит, просветление нашло!» Кричит и норовит кого ни на есть по шее ударить. В азарт вошел. И меня бил, и Абрамку, и ребят… Поднесет стаканчик, даст тебе выпить и вдарит, что есть силы. «Пей, говорит, и

знай мою силу! Плевать на всех прочих!»

— А жену свою он бил?

— Марфу-то? И Марфе досталось… В самый раз, как это мы, стало быть, стали в кураж входить, приходит в кабак Марфа. «Ступай, говорит, домой, брат Степан приехал! Будет, говорит, тебе, разбойник, водку пить!» А он, не говоря худого слова, трах поперек ейной спины!

— За что же?

— А так, здорово живешь… «Пущай, говорит, чувствует… Я, говорит, 20 рублев получаю». А она баба слабая, тощая, так и перекрутнулась, даже глаза подкатила. Стала она нам на свое горе жалиться и бога призывать, а он опять… Учил, учил, и конца тому ученью не было!

— Отчего же вы не заступились? Обезумевший от водки человек убивает женщину, а вы не обращаете внимания!

— А какая нам надобность вступаться? Его жена, он и учит… Двое дерутся, третий не мешайся… Абрамка стал было его унимать, чтоб в кабаке не безобразил, а он Абрамку по уху. Абрамкин работник его… А он схватил его, поднял и оземь… Тогды тот сел на него верхом и давай в спину барабанить… Мы его из-под него за ноги вытащили.

— Кого его?

— Известно кого… На ком верхом сидел…

— Кто?

— Да этот самый, про кого сказываю.

— Тьфу! Говори, дурак, толком! Отвечай ты мне на вопросы, а не болтай зря!

— Я тебе, вашескородие, толком говорю… все, как есть, по совести. Дрыхунов учил бабу, это верно… Хоть под присягой.

Следователь слушает, выбирает кое-что из длинной и несвязной речи Филаретова и трещит пером… То и дело приходится зачеркивать…

— А я нисколько не виноват… — бормочет Филаретов. — Спроси, вашескородие, кого угодно. И баба того не стоит, чтоб из-за ней по судам ездить.

По прочтении протокола свидетель минуту тупо глядит на следователя и вздыхает.

— Горе с этими бабами! — хрипит он. — Прогоны, вашескородие, сам заплатишь или записочку дашь?

Муж

N-ский кавалерийский полк, маневрируя, остановился на ночевку в уездном городишке К. Такое событие, как ночевка гг. офицеров, действует всегда на обывателей самым возбуждающим и вдохновляющим образом. Лавочники, мечтающие о сбыте лежалой заржавленной колбасы и «самых лучших» сардинок, которые лежат на полке уже десять лет, трактирщики и прочие промышленники не закрывают своих заведений в течение всей ночи; воинский начальник, его делопроизводитель и местная гарниза надевают лучшие мундиры; полиция снует, как угорелая, а с дамами делается черт знает что!

N-ские дамы, заслышав приближение полка, бросили горячие тазы с вареньем и выбежали на улицу. Забыв про свое дезабилье и растрепанный вид, тяжело дыша и замирая, они стремились навстречу полку и жадно вслушивались в звуки марша. Глядя на их бледные, вдохновенные лица, можно было подумать, что эти звуки неслись не из солдатских труб, а с неба.

— Полк! — говорили они радостно. — Полк идет!

А на что понадобился им этот незнакомый, случайно зашедший полк, который уйдет завтра же на рассвете? Когда потом гг. офицеры стояли среди площади и, заложив руки назад, решали квартирный вопрос, все они сидели в квартире следовательши и взапуски критиковали полк. Им было уже бог весь откуда известно, что командир женат, но не живет с женой, что у старшего офицера родятся ежегодно мертвые дети, что адъютант безнадежно влюблен в какую-то графиню и даже раз покушался на самоубийство. Известно им было все. Когда под окнами мелькнул рябой солдат в красной рубахе, они отлично знали, что это денщик подпоручика Рымзова бегает по городу и ищет для своего барина в долг английской горькой. Офицеров видели они только мельком и в спины, но уже решили, что между ними нет ни одного хорошенького и интересного… Наговорившись, они вытребовали к себе воинского начальника и старшин клуба и приказали им устроить во что бы то ни стало танцевальный вечер.

Желание их было исполнено. В девятом часу вечера на улице перед клубом гремел военный оркестр, а в самом клубе гг. офицеры танцевали с N-скими дамами. Дамы чувствовали себя на

крыльях. Упоенные танцами, музыкой и звоном шпор, они всей душой отдались мимолетному знакомству и совсем забыли про своих штатских. Их отцы и мужья, отошедшие на самый задний план, толпились в передней около тощего буфета. Все эти казначеи, секретари и надзиратели, испитые, геморроидальные и мешковатые, отлично сознавали свою убогость и не входили в залу, а только издали поглядывали, как их жены и дочери танцевали с ловкими и стройными поручиками.

Между мужьями находился акцизный Кирилл Петрович Шаликов, существо пьяное, узкое и злое, с большой стриженой головой и с жирными, отвислыми губами. Когда-то он был в университете, читал Писарева и Добролюбова, пел песни, а теперь он говорил про себя, что он коллежский асессор и больше ничего. Он стоял, прислонившись к косяку, и не отрывал глаз от своей жены. Его жена, Анна Павловна, маленькая брюнетка лет тридцати, длинноносая, с острым подбородком, напудренная и затянутая, танцевала без передышки, до упада. Танцы утомили ее, но изнемогала она телом, а не душой. Вся ее фигура выражала восторг и наслаждение. Грудь ее волновалась, на щеках играли красные пятнышки,

все движения были томны, плавны; видно было, что, танцуя, она вспоминала свое прошлое, то давнее прошлое, когда она танцевала в институте и мечтала о роскошной, веселой жизни и когда была уверена, что у нее будет мужем непременно барон или князь.

Акцизный глядел на нее и морщился от злости… Ревности он не чувствовал, но ему неприятно было, во-первых, что, благодаря танцам, негде было играть в карты; во-вторых, он терпеть не мог духовой музыки; в-третьих, ему казалось, что гг. офицеры слишком небрежно и свысока обращаются со штатскими, а самое главное, в-четвертых, его возмущало и приводило в негодование выражение блаженства на женином лице…

— Глядеть противно! — бормотал он. — Скоро уже сорок лет, ни кожи, ни рожи, а тоже, поди ты, напудрилась, завилась, корсет надела! Кокетничает, жеманничает и воображает, что это у нее хорошо выходит… Ах, скажите, как вы прекрасны!

Анна Павловна так ушла в танцы, что ни разу не взглянула на своего мужа.



— Конечно, где нам, мужикам! — злорадствовал акцизный. — Теперь мы за штатом… Мы тюлени, уездные медведи! А она царица бала; она ведь настолько еще сохранилась, что даже офицеры ею интересоваться могут. Пожалуй, и влюбиться не прочь.

Во время мазурки лицо акцизного перекосило от злости. С Анной Павловной танцевал мазурку черный офицер с выпученными глазами и

с татарскими скулами. Он работал ногами серьезно и с чувством, делая строгое лицо, и так выворачивал колени, что походил на игрушечного паяца, которого дергают за ниточку. А Анна Павловна, бледная, трепещущая, согнув томно стан и закатывая глаза, старалась делать вид, что она едва касается земли, и, по-видимому, ей самой казалось, что она не на земле, не в уездном клубе, а где-то далеко-далеко — на облаках! Не одно только лицо, но уже все тело выражало блаженство… Акцизному стало невыносимо; ему захотелось насмеяться над этим блаженством, дать почувствовать Анне Павловне, что она забылась, что жизнь вовсе не так прекрасна, как ей теперь кажется в упоении…

— Погоди, я покажу тебе, как блаженно улыбаться! — бормотал он. — Ты не институтка, не девочка. Старая рожа должна понимать, что она рожа!

Мелкие чувства зависти, досады, оскорбленного самолюбия, маленького, уездного человеконенавистничества, того самого, которое заводится в маленьких чиновниках от водки и от сидячей жизни, закопошились в нем, как мыши… Дождавшись конца мазурки, он вошел в залу и направился к жене. Анна Павловна сидела в

это время с кавалером и, обмахиваясь веером, кокетливо щурила глаза и рассказывала, как она когда-то танцевала в Петербурге. (Губы у нее были сложены сердечком и произносила она так: «У нас, в Пютюрбюрге».)

— Анюта, пойдем домой! — прохрипел акцизный.

Увидев перед собой мужа, Анна Павловна сначала вздрогнула, как бы вспомнив, что у нее есть муж, потом вся вспыхнула; ей стало стыдно, что у нее такой испитой, угрюмый, обыкновенный муж…

— Пойдем домой! — повторил акцизный.

— Зачем? Ведь еще рано!

— Я прошу тебя идти домой! — сказал акцизный с расстановкой, делая злое лицо.

— Зачем? Разве что случилось? — встревожилась Анна Павловна.

— Ничего не случилось, но я желаю, чтоб ты сию минуту шла домой… Желаю, вот и все, и, пожалуйста, без разговоров.

Анна Павловна не боялась мужа, но ей было стыдно кавалера, который удивленно и насмешливо поглядывал на акцизного. Она поднялась и отошла с мужем в сторону.

— Что ты выдумал? — начала она. — Зачем мне

домой? Ведь еще и одиннадцати часов нет!

— Я желаю, и баста! Изволь идти — и все тут.

— Перестань выдумывать глупости! Ступай сам, если хочешь.

— Ну, так я скандал сделаю!

Акцизный видел, как выражение блаженства постепенно сползало с лица его жены, как ей было стыдно и как она страдала, — и у него стало как будто легче на душе.

— Зачем я тебе сейчас понадобилась? — спросила жена.

— Ты не нужна мне, но я желаю, чтоб ты сидела дома. Желаю, вот и все.

Анна Павловна не хотела и слушать, потом начала умолять, чтобы муж позволил ей остаться еще хоть полчаса; потом, сама не зная зачем, извинялась, клялась — и все это шепотом, с улыбкой, чтобы публика не подумала, что у нее с мужем недоразумение. Она стала уверять, что останется еще недолго, только десять минут, только пять минут; но акцизный упрямо стоял на своем.

— Как хочешь, оставайся! Только я скандал сделаю.

И, разговаривая теперь с мужем, Анна Павловна осунулась, похудела и постарела. Бледная,

кусая губы и чуть не плача, она пошла в переднюю и стала одеваться…

— Куда же вы? — удивлялись N-ские дамы. — Анна Павловна, куда же вы это, милочка?

— Голова заболела, — говорил за жену акцизный.

Выйдя из клуба, супруги до самого дома шли молча. Акцизный шел сзади жены и, глядя на ее согнувшуюся, убитую горем и униженную фигурку, припоминал блаженство, которое так раздражало его в клубе, и сознание, что блаженства уже нет, наполняло его душу победным чувством. Он был рад и доволен, и в то же время ему недоставало чего-то и хотелось вернуться в клуб и сделать так, чтобы всем стало скучно и горько и чтобы все почувствовали, как ничтожна, плоска эта жизнь, когда вот идешь в потемках по улице и слышишь, как всхлипывает под ногами грязь, и когда знаешь, что проснешься завтра утром — и опять ничего, кроме водки и кроме карт! О, как это ужасно!

А Анна Павловна едва шла… Она была все еще под впечатлением танцев, музыки, разговоров, блеска, шума; она шла и спрашивала себя: за что ее покарал так господь бог? Было ей горько, обидно и душно от ненависти, с которой она

прислушивалась к тяжелым шагам мужа. Она молчала и старалась придумать какое-нибудь самое бранное, едкое и ядовитое слово, чтобы пустить его мужу, и в то же время сознавала, что ее акцизного не проймешь никакими словами. Что ему слова? Беспомощнее состояния не мог бы придумать и злейший враг.

А музыка, между тем, гремела, и потемки были полны самых плясовых, зажигательных звуков.

Розовый чулок

Пасмурный, дождливый день. Небо надолго заволокло тучами, и дождю конца не предвидится. На дворе слякоть, лужи, мокрые галки, а в комнатах сумерки и такой холод, что хоть печи топи.

Иван Петрович Сомов шагает по своему кабинету из угла в угол и ворчит на погоду. Дождевые слезы на окнах и комнатные сумерки нагоняют на него тоску. Ему невыносимо скучно, а убить время нечем… Газет еще не привозили, на охоту идти нет возможности, обедать еще не скоро…

В кабинете Сомов не один. За его письменным столом сидит m-me Сомова, маленькая, хорошенькая дамочка в легкой блузе и в розовых чулочках. Она усердно строчит письмо. Проходя мимо нее, шагающий Иван Петрович всякий раз засматривает через ее плечо на писанье. Он видит крупные хромающие буквы, узкие и тощие, с невозможными хвостами и закорючками. Клякс, помарок и следов от пальцев многое множество. Переносов m-me Сомова не любит, и каждая строка ее, дойдя до края листка, со страшными корчами, водопадом падает вниз…

— Лидочка, кому это ты так много пишешь? —

спрашивает Сомов, видя, как его жена начинает строчить по шестому листку.

— К сестре Варе.

— Гм… длинно! Дай-ка скуки ради почитать!

— Возьми, читай, только тут ничего нет интересного…

Сомов берет исписанные листки и, продолжая шагать, принимается за чтение. Лидочка облокачивается о спинку кресла и следит за выражением его лица. После первой же странички лицо его вытягивается и выражает что-то похожее на оторопь… На третьей страничке Сомов морщится и медленно чешет затылок.

На четвертой он останавливается, пугливо взглядывает на жену и задумывается. Немного подумав, он со вздохом опять принимается за чтение… Лицо его выражает недоумение и даже испуг…

— Нет, это невозможно! — бормочет он, кончив чтение и швыряя листки на стол. — Решительно невозможно!

— Что такое? — пугается Лидочка.

— Что такое! Исписала шесть страничек, потратила на писанье битых два часа и… и хоть бы тебе что! Хоть бы одна мыслишка! Читаешь-читаешь, и какое-то затмение находит, словно на

чайных ящиках китайскую тарабарщину разбираешь! Уф!

— Да, это правда, Ваня… — говорит Лидочка, краснея. — Я небрежно писала…

— Кой черт небрежно? В небрежном письме смысл и лад есть, есть содержание, а у тебя… извини, даже названия подобрать не могу! Сплошная белиберда! Слова и фразы, а содержания ни малейшего. Все твое письмо похоже точь-в-точь на разговор двух мальчишек: «А у нас блины ноне!» — «А к нам солдат пришел!» Мочалу жуешь! Тянешь, повторяешься… Мысленки прыгают, как черти в решете: не разберешь, где что начинается, где что кончается… Ну, можно ли так?

— Если б я со вниманием писала, — оправдывается Лидочка, — тогда бы не было ошибок…

— Ах, об ошибках я уж и не говорю! Кричит бедная грамматика! Что ни строчка, то личное для нее оскорбление! Ни запятых, ни точек, а ять… бррр! Земля пишется не через *ять*, а через *е*! А почерк? Это не почерк, а отчаяние! Не шутя говорю, Лида… Меня и изумило и поразило это твое письмо… Ты не сердись, голубчик, но я, ей-богу, не думал, что в грамматике ты такая сапожница… А между тем ты по своему положению принадлежишь к образованному, интеллигентному

кругу, ты жена университетского человека, дочь генерала! Послушай, ты училась где-нибудь?

— А как же? Я в пансионе фон Мебке кончила…

Сомов пожимает плечами и, вздохнув, продолжает шагать. Лидочка, сознавая свое невежество и стыдясь, тоже вздыхает и потупляет глазки… Минут десять проходит в молчании…

— Послушай, Лидочка, ведь это, в сущности, ужасно! — говорит Сомов, вдруг останавливаясь перед женой и с ужасом глядя на ее лицо. — Ведь ты мать… понимаешь? мать! Как же ты будешь детей учить, если сама ничего не знаешь? Мозг у тебя хороший, но что толку в нем, если он не усвоил себе даже элементарных знаний? Ну, плевать на знания… знания дети и в школе получат, но ведь ты и по части морали хромаешь! Ты ведь иногда такое ляпнешь, что уши вянут!

Сомов опять пожимает плечами, запахивается в полы халата и продолжает шагать… Ему и досадно, и обидно, и в то же время жаль Лидочку, которая не протестует, а только глазами моргает… Обоим тяжело и горько… Оба и не замечают за горем, как бежит время и приближается час обеда…

Садясь обедать, Сомов, любящий поесть вкусно и покойно, выпивает большую рюмку водки

и начинает разговор на другую тему. Лидочка слушает его, поддакивает, но вдруг во время супа глаза ее наливаются слезами, и она начинает хныкать.

— Это мать виновата! — говорит она, вытирая слезы салфеткой. — Все советовали ей отдать меня в гимназию, а из гимназии я наверное бы пошла на курсы!

— На курсы… в гимназию… — бормочет Сомов. — Это уж крайности, матушка! Что хорошего быть синим чулком? Синий чулок… черт знает что! Не женщина и не мужчина, а так, середка на половине, ни то ни се… Ненавижу синих чулков! Никогда бы не женился на ученой…

— Тебя не разберешь… — говорит Лидочка. — Сердишься, что я неученая, и в то же время ненавидишь ученых; обижаешься, что у меня мыслей нет в письме, а сам против того, чтоб я училась…

— Ты к фразе придираешься, милочка, — зевает Сомов, наливая себе от скуки вторую рюмку…

Под влиянием выпитой водки и сытного обеда Сомов становится веселей, добрей и мягче… Он глядит, как его хорошенькая жена с озабоченным лицом приготовляет салат, и на него набегает порыв женолюбия, снисходительности, всепро-

щения.

«Напрасно я ее, бедняжку, обескуражил сегодня… — думает он. — Зачем я наговорил ей столько жалких слов? Она, правда, глупенькая у меня, нецивилизованная, узенькая, но… ведь медаль имеет две стороны и audiatur et altera pars[187]… Быть может, тысячу раз правы те, которые говорят, что женское недомыслие зиждется на призвании женском… Призвана она, положим, мужа любить, детей родить и салат резать, так на кой черт ей знания? Конечно!»

Вспоминается ему при этом, как умные женщины вообще тяжелы, как они требовательны, строги и неуступчивы и как, напротив, легко жить с глупенькой Лидочкой, которая ни во что не суется, многого не понимает и не лезет с критикой. С Лидочкой и покойно и не рискуешь нарваться на контроль…

«Бог с ними, с этими умными и учеными женщинами! С простенькими лучше и спокойнее живется», — думает он, принимая от Лидочки тарелку с цыпленком…

Вспоминает он, что у цивилизованного мужчины является иногда желание поболтать и

---

[187] Примечания: 187
Да будет выслушана и другая сторона. (лат.).

поделиться мыслями с умной и ученой женщиной…

«Что ж? — думает Сомов. — Захочется поболтать об умном, пойду к Наталье Андреевне… или к Марье Францовне… Очень просто!»

Страдальцы

Лизочка Кудринская, молоденькая дамочка, имеющая много поклонников, вдруг заболела, да так серьезно, что муж ее не пошел на службу и ее мамаше в Тверь была послана телеграмма. Историю своей болезни она рассказывает таким образом:

— Поехала я в Лесное к тете. Пожила я там неделю и потом со всеми отправилась к кузине Варе. Варин муж, вы знаете, бука и деспот (я застрелила бы такого мужа), но время мы провели там весело. Во-первых, я там участвовала в любительском спектакле. Шел «Скандал в благородном семействе». Хрусталев играл изумительно! Во время антракта я выпила холодной, ужасно холодной лимонной воды с немножечком коньяку… Лимонная вода с коньяком очень похожа на шампанское… Выпила и ничего не почувствовала. На другой день после спектакля ездила я верхом с этим Адольфом Иванычем. Было немножко сыро и меня продуло. Вероятно, я тогда же простудилась. Дня через три я поехала к себе домой посмотреть, как живет мой милый, мой хороший Вася, и кстати взять шелковое

платье, то самое, что цветочками. Васи, конечно, не застала дома. Пошла я в кухню сказать Прасковье, чтобы она поставила самовар, гляжу, а у ней на столе хорошенькие молоденькие репочки и морковочки, точно игрушечки. Я съела одну морковочку, ну, и репку. Очень немного съела, но представьте, вдруг у меня начинается резь… Спазмы, спазмы, спазмы… Ах, умираю! Прибегает со службы Вася. Натурально, хватает себя за волосы и бледнеет. Бегут за доктором… Понимаете? Умираю и умираю!

Спазмы начались в полдень, в третьем часу приезжал доктор, а в шесть Лизочка уснула и спала крепким сном до двух часов ночи.

Бьет два часа… Свет маленькой ночной лампы скудно пробивается сквозь голубой абажур. Лизочка лежит в постели. Ее белый кружевной чепчик резко вырисовывается на темном фоне красной подушки. На ее бледном лице и круглых, сдобных плечах лежат узорчатые тени от абажура. У ног сидит Василий Степанович, ее муж. Бедняга счастлив, что его жена наконец дома, и в то же время страшно напуган ее болезнью.

— Ну, как ты себя чувствуешь, Лизочка? — спрашивает он шепотом, заметив, что она проснулась.

— Мне лучше… — стонет Лизочка. — Спазмов уже не чувствую, но не спится… Не могу уснуть!

— Не пора ли тебе, мой ангел, переменить компресс?

Лизочка приподнимается медленно, со страдальческим выражением и грациозно склоняет голову набок. Василий Степаныч священнодейственно, едва касаясь пальцами горячего тела, переменяет компресс. Лизочка пожимается, смеется от холодной воды, которая щекочет ее, и опять ложится.

— Ты, бедный, не спишь! — стонет она.

— Могу ли я спать!

— Это у меня нервное, Вася. Я очень нервная женщина. Доктор прописал мне против желудка, но я чувствую, что он не понял моей болезни. Тут нервы, а не желудок, клянусь тебе, что это нервы. Одного только я боюсь, как бы моя болезнь не приняла дурного оборота.

— Нет, Лизочка, нет! Завтра же ты будешь здорова!

— Едва ли! За себя я не боюсь… мне все равно, даже я рада умереть, но мне тебя жаль! Вдруг ты овдовеешь и останешься один.

Васечка редко пользуется обществом жены и давно уже привык к одиночеству, но слова Ли-

зочки его тревожат.

— Бог знает что ты говоришь, мамочка! К чему эти мрачные мысли?

— Что ж? Поплачешь, погорюешь, а потом и привыкнешь. Даже женишься.

Муж хватает себя за голову.

— Ну, ну, не буду, — успокаивает его Лизочка. — Только ты должен быть ко всему готов.

«А вдруг я в самом деле умру!» — думает она, закрывая глаза.

И Лизочка рисует себе картину собственной смерти, как вокруг ее смертного одра теснятся мать, муж, кузина Варя с мужем, родня, поклонники ее «таланта», как она шепчет последнее «прости». Все плачут. Потом, когда она уже мертва, ее, интересно бледную, черноволосую, одевают в розовое платье (оно ей к лицу) и кладут в очень дорогой гроб на золотых ножках, полный цветов. Пахнет ладаном, трещат свечи. Муж не отходит от гроба, а поклонники таланта не отрывают от нее глаз: «Как живая! Она и в гробу прекрасна!» Весь город говорит о безвременно угасшей жизни. Но вот ее несут в церковь. Несут: Иван Петрович, Адольф Иваныч, Варин муж, Николай Семеныч и тот черноглазый студент, который научил ее пить лимонную воду с конья-

ком. Жаль только, что не играет музыка. После панихиды — прощание. Церковь полна рыданиями. Приносят крышку с кистями и… Лизочка навеки расстается с дневным светом. Слышно, как прибивают гвозди. Стук, стук, стук!

Лизочка вздрагивает и открывает глаза.

— Вася, ты здесь? — спрашивает она. — У меня такие мрачные мысли. Боже, неужели я так несчастна, что не усну? Вася, пожалей меня, расскажи мне что-нибудь!

— Что же тебе рассказать?

— Что-нибудь… любовное, — говорит томно Лизочка. — Или расскажи что-нибудь из еврейского быта…

Василий Степаныч, готовый на все, лишь бы только его жена была весела и не говорила о смерти, зачесывает над ушами пейсы, делает смешную физиономию и подходит к Лизочке.

— А вже не надо ли вам цасы поцинять? — спрашивает он.

— Надо, надо! — хохочет Лизочка и подает ему со столика свои золотые часы. — Починяй!

Вася берет часы, долго рассматривает механизм и, весь скорчившись, говорит:

— Нельжя их поцинять… Тут з одним колесом два жубцы нету.

В этом и заключается все представление. Лизочка хохочет и хлопает в ладоши.

— Отлично! — восклицает она. — Удивительно!

Знаешь, Вася? Ты ужасно глупо делаешь, что не участвуешь в любительских спектаклях! У тебя замечательный талант! Ты гораздо лучше Сысунова. У нас участвовал в «Я именинник» любитель, некий Сысунов. Первоклассный комический талант! Представь: нос толстый, как брюква, глаза зеленые, а ходит, как журавль… Мы все хохотали. Постой, я покажу тебе, как он ходит.

Лизочка прыгает с кровати и начинает шагать по полу уже без чепчика, босая.

— Мое почтение! — говорит она басом, подражая мужскому голосу. — Что хорошенького? Что нового под луной? Ха-ха-ха! — хохочет она.

— Ха-ха-ха! — вторит Вася.

И оба супруга, хохоча, забыв про болезнь, гоняются друг за другом по спальне. Беготня кончается тем, что Вася ловит жену за сорочку и жадно осыпает ее поцелуями. После одного особенно страстного объятия Лизочка вдруг вспоминает, что она серьезно больна…



— Какие глупости! — говорит она, делая серьезное лицо и укрываясь одеялом. — Вероятно, ты забыл, что я больна! Умно, нечего сказать!

— Извини… — конфузится муж.

— Болезнь примет дурной оборот, вот ты: будешь виноват. Недобрый! Нехороший!

Лизочка закрывает глаза и молчит. Прежние

томность и страдальческое выражение возвращаются к ней, опять слышатся легкие стоны. Вася переменяет компресс и довольный, что его жена дома, а не в бегах у тети, смиренно сидит у ее ног. Не спит он до самого утра. В десять часов приходит доктор.

— Ну, как мы себя чувствуем? — спрашивает он, щупая пульс. — Спали?

— Плохо, — отвечает за Лизочку муж. — Очень плохо!

Доктор отходит к окну и засматривается на прохожего трубочиста.

— Доктор, мне можно сегодня выпить кофе? — спрашивает Лизочка.

— Можно.

— А мне можно сегодня встать?

— Оно, пожалуй, можно, но… лучше полежите еще денек.

— Настроена она дурно… — шепчет Вася ему на ухо. — Мысли мрачные… мировоззрение какое-то… Я страшно за нее беспокоюсь!

Доктор садится за столик и, потерев ладонью лоб, прописывает Лизочке бромистого натрия, потом раскланивается и, пообещав побывать еще вечером, уезжает. Вася не идет на службу, а все сидит у ног жены… В полдень съезжаются по-

клонники таланта. Они встревожены, испуганы, привезли много цветов, французских книжек. Лизочка, одетая в белоснежный чепчик и легкую блузку, лежит в постели и смотрит загадочно, будто не верит в свое выздоровление. Поклонники таланта видят мужа, но охотно прощают ему его присутствие: их и его соединило у этого ложа одно несчастье!

В шесть часов вечера Лизочка засыпает и опять спит до двух часов ночи. Вася по-прежнему сидит у ее ног, борется с дремотой, переменяет компресс, изображает из еврейского быта, а утром, после второй страдальческой ночи, Лиза уже вертится перед зеркалом и надевает шляпку.

— Куда же ты, мой друг? — спрашивает Вася, глядя на нее умоляюще.

— Как? — удивляется Лизочка, делая испуганное лицо. — Разве ты не знаешь, что сегодня у Марьи Львовны репетиция?

Проводив ее, Вася, от нечего делать, от скуки, берет свой портфель и едет на службу. От бессонных ночей у него болит голова, так болит, что левый глаз не слушается и закрывается сам собою…

— Что это с вами, батюшка мой? — спрашивает его начальник. — Что такое?

Вася машет рукой и садится.

— И не спрашивайте, ваше сиятельство, — говорит он со вздохом. — Столько я выстрадал за эти два дня… столько выстрадал! Лиза больна!

— Господи! — пугается начальник, — Лизавета Павловна? Что с ней?

Василий Степаныч только разводит руками и поднимает глаза к потолку, как бы желая сказать: «На то воля провидения!»

— Ах, мой друг, я могу сочувствовать вам всей душой! — вздыхает начальник, закатывая глаза. — Я, душа моя, потерял жену… понимаю. Это такая потеря… такая потеря! Это ужясно… это ужясно! Надеюсь, теперь Лизавета Павловна здорова? Какой доктор лечит?

— Фон Штерк.

— Фон Штерк? Но вы бы лучше к Магнусу обратились или к Семандрицкому. На вас, однако, очень бледное лицо! Вы сами больной человек! Это ужясно!

— Да, ваше сиятельство… не спал… столько выстрадал… пережил!

— А приходил! Зачем же вы приходили, не понимаю? Разве можно себя заставлять? Разве так можно делать себе больно? Ходите домой и сидите там, пока не выздоровеете! Ходите, я приказываю вам! Усердие хорошее особенность

молодого чиновника, но не надо забывать, как говорили римляне, mens sana in corpore sano[188], то есть здоровая голова в здоровом корпусе!

Вася соглашается, кладет бумаги обратно в портфель и, простившись с начальником, едет домой спать.

[188] Примечания: 188
Здоровый дух в здоровом теле (лат.).

Пассажир 1-ГО класса

Пассажир первого класса, только что пообедавший на вокзале и слегка охмелевший, разлегся на бархатном диване, сладко потянулся и задремал. Подремав не больше пяти минут, он поглядел маслеными глазами на своего vis-à-vis, ухмыльнулся и сказал:

— Блаженныя памяти родитель мой любил, чтобы ему после обеда бабы пятки чесали. Я весь в него, с тою, однако, разницею, что всякий раз после обеда чешу себе не пятки, а язык и мозги. Люблю, грешный человек, пустословить на сытый желудок. Разрешаете поболтать с вами?

— Сделайте одолжение, — согласился vis-à-vis.

— После хорошего обеда для меня достаточно самого ничтожного повода, чтобы в голову полезли чертовски крупные мысли. Например-с, сейчас мы с вами видели около буфета двух молодых людей, и вы слышали, как один из них поздравлял другого с известностью. «Поздравляю, вы, говорит, уже известность и начинаете завоевывать славу». Очевидно, актеры или микроскопические газетчики. Но не в них дело. Меня, сударь, занимает теперь вопрос, что собственно

нужно разуметь под словом *слава* или *известность*? Как по-вашему-с? Пушкин называл славу яркой заплатой на рубище, все мы понимаем ее по-пушкински, то есть более или менее субъективно, но никто еще не дал ясного, логического определения этому слову. Дорого бы я дал за такое определение!

— На что оно вам так понадобилось?

— Видите ли, знай мы, что такое слава, нам, быть может, были бы известны и способы ее достижения, — сказал пассажир первого класса, подумав. — Надо вам заметить, сударь, что, когда я был помоложе, я всеми фибрами души моей стремился к известности. Популярность была моим, так сказать, сумасшествием. Для нее я учился, работал, ночей не спал, куска недоедал и здоровье потерял. И кажется, насколько я могу судить беспристрастно, у меня были все данные к ее достижению. Во-первых-с, по профессии я инженер. Пока живу, я построил на Руси десятка два великолепных мостов, соорудил в трех городах водопроводы, работал в России, в Англии, в Бельгии… Во-вторых, я написал много специальных статей по своей части. В-третьих, сударь мой, я с самого детства был подвержен слабости к химии; занимаясь на досуге этой наукой, я нашел

способы добывания некоторых органических кислот, так что имя мое вы найдете во всех заграничных учебниках химии. Все время я находился на службе, дослужился до чина действительного статского советника и формуляр имею не замаранный. Не стану утруждать вашего внимания перечислением своих заслуг и работ, скажу только, что я сделал гораздо больше, чем иной известный. И что же? Вот я уже стар, околевать собираюсь, можно сказать, а известен я столь же, как вон та черная собака, что бежит по насыпи.

— Почему знать? Может быть, вы и известны.

— Гм!.. А вот мы сейчас попробуем… Скажите, вы слыхали когда-нибудь фамилию Крикунова?

Vis-à-vis поднял глаза к потолку, подумал и засмеялся.

— Нет, не слыхал… — сказал он.

— Это моя фамилия. Вы, человек интеллигентный и пожилой, ни разу не слыхали про меня — доказательство убедительное! Очевидно, добиваясь известности, я делал совсем не то, что следовало. Я не знал настоящих способов и, желая схватить славу за хвост, зашел не с той стороны.

— Какие же это настоящие способы?

— А черт их знает! Вы скажете: талант? гениальность? недюжинность? Вовсе нет, сударь

мой… Параллельно со мной жили и делали свою карьеру люди сравнительно со мной пустые, ничтожные и даже дрянные. Работали они в тысячу раз меньше меня, из кожи не лезли, талантами не блистали и известности не добивались, а поглядите на них! Их фамилии то и дело попадаются в газетах и в разговорах! Если вам не надоело слушать, то я поясню примером-с. Несколько лет тому назад я делал в городе К. мост. Надо вам сказать, скучища в этом паршивом К. была страшная. Если бы не женщины и не карты, то я с ума бы, кажется, сошел. Ну-с, дело прошлое, сошелся я там, скуки ради, с одной певичкой. Черт ее знает, все приходили в восторг от этой певички, по-моему же, — как вам сказать? — это была обыкновенная, дюжинная натуришка, каких много. Девчонка пустая, капризная, жадная, притом еще и дура. Она много ела, много пила, спала до пяти часов вечера — и больше, кажется, ничего. Ее считали кокоткой, — это была ее профессия, — когда же хотели выражаться о ней литературно, то называли ее актрисой и певицей. Прежде я был завзятым театралом, а потому эта мошенническая игра званием актрисы черт знает как возмущала меня! Называться актрисой или даже певицей моя певичка не имела ни

малейшего права. Это было существо совершенно бесталанное, бесчувственное, можно даже сказать, жалкое. Насколько я понимаю, пела она отвратительно, вся же прелесть ее «искусства» заключалась в том, что она дрыгала, когда нужно было, ногой и не конфузилась, когда к ней входили в уборную. Водевили выбирала она обыкновенно переводные, с пением, и такие, где можно было щегольнуть в мужском костюме в обтяжку. Одним словом — тьфу! Ну-с, прошу внимания. Как теперь помню, происходило у нас торжественное открытие движения по вновь устроенному мосту. Был молебен, речи, телеграммы и прочее. Я, знаете ли, мыкался около своего детища и все боялся, как бы сердце у меня не лопнуло от авторского волнения. Дело прошлое и скромничать нечего, а потому скажу вам, что мост получился у меня великолепный! Не мост, а картина, один восторг! И извольте-ка не волноваться, когда на открытии весь город. «Ну, думал, теперь публика на меня все глаза проглядит. Куда бы спрятаться?» Но напрасно я, сударь мой, беспокоился — увы! На меня, кроме официальных лиц, никто не обратил ни малейшего внимания. Стоят толпой на берегу, глядят, как бараны, на мост, а до того, кто строил этот мост, им и дела

нет. И, черт бы их драл, с той поры, кстати сказать, возненавидел я эту нашу почтеннейшую публику. Но будем продолжать. Вдруг публика заволновалась: шу-шу-шу… Лица заулыбались, плечи задвигались. «Меня, должно быть, увидели», — подумал я. Как же, держи карман! Смотрю, сквозь толпу пробирается моя певичка, вслед за нею ватага шалопаев; в тыл всему этому шествию торопливо бегут взгляды толпы. Начался тысячеголосый шепот: «Это такая-то… Прелестна! Обворожительна!» Тут и меня заметили… Двое каких-то молокососов, должно быть, местные любители сценического искусства, — поглядели на меня, переглянулись и зашептали: «Это ее любовник!» Как это вам понравится? А какая-то плюгавая фигура в цилиндре, с давно не бритой рожей, долго переминалась около меня с ноги на ногу, потом повернулась ко мне со словами:

— Знаете, кто эта дама, что идет по тому берегу? Это такая-то… Голос у нее ниже всякой критики-с, но владеет она им в совершенстве!..



— Не можете ли вы сказать мне, — спросил я плюгавую фигуру, — кто строил этот мост?

— Право, не знаю! — отвечала фигура. — Инженер какой-то!

— А кто, — спрашиваю, — в вашем К. собор строил?

— И этого не могу вам сказать.

Далее я спросил, кто в К. считается самым лучшим педагогом, кто лучший архитектор, и на все мои вопросы плюгавая фигура ответила незнанием.

— А скажите, пожалуйста, — спросил я в заключение, — с кем живет эта певица?

— С каким-то инженером Крикуновым.

Ну, сударь мой, как вам это понравится? Но далее… Миннезенгеров и баянов теперь на белом

свете нет и известность делается почти исключительно только газетами. На другой же день после освящения моста с жадностью хватаю местный «Вестник» и ищу в нем про свою особу. Долго бегаю глазами по всем четырем страницам и наконец — вот оно! ура! Начинаю читать: «Вчера, при отличной погоде и при громадном стечении народа, в присутствии его превосходительства господина начальника губернии такого-то и прочих властей, происходило освящение вновь построенного моста» и т. д. В конце же: «На освящении, блистая красотой, присутствовала, между прочим, любимица к-ой публики, наша талантливая артистка такая-то. Само собою разумеется, что появление ее произвело сенсацию. Звезда была одета…» и т. д. Обо мне же хоть бы одно слово!

Хоть полсловечка! Как это ни мелко, но, верите ли, я даже заплакал тогда от злости!

Успокоил я себя на том, что провинция-де глупа, с нее и требовать нечего, а что за известностью нужно ехать в умственные центры, в столицы. Кстати в те поры в Питере лежала одна моя работка, поданная на конкурс. Приближался срок конкурса.

Простился я с К. и поехал в Питер. От К. до Питера дорога длинная, и вот, чтоб скучно не было,

я взял отдельное купе, ну… конечно, и певичку. Ехали мы и всю дорогу ели, шампанское пили и — тру-ла-ла! Но вот мы приезжаем в умственный центр. Приехал я туда в самый день конкурса и имел, сударь мой, удовольствие праздновать победу: моя работа была удостоена первой премии. Ура! На другой же день иду на Невский и покупаю на семь гривен разных газет. Спешу к себе в номер, ложусь на диван и, пересиливая дрожь, спешу читать. Пробегаю одну газетину — ничего! Пробегаю другую — ни боже мой! Наконец, в четвертой наскакиваю на такое известие: «Вчера с курьерским поездом прибыла в Петербург известная провинциальная артистка такая-то. С удовольствием отмечаем, что южный климат благотворно подействовал на нашу знакомку: ее прекрасная сценическая наружность…» — и не помню что дальше! Много ниже под этим известием самым мельчайшим петитом напечатано: «Вчера на таком-то конкурсе первой премии удостоен инженер такой-то». Только! И, вдобавок, еще мою фамилию переврали: вместо Крикунова написали Киркунов. Вот вам и умственный центр. Но это не все… Когда я через месяц уезжал из Питера, то все газеты наперерыв толковали о «нашей несравненной, божественной, высокота-

лантливой» и уж мою любовницу величали не по фамилии, а по имени и отчеству…

Несколько лет спустя я был в Москве. Вызван был я туда собственноручным письмом городского головы по делу, о котором Москва со своими газетами кричит уже более ста лет. Между делом я прочел там в одном из музеев пять публичных лекций с благотворительною целью. Кажется, достаточно, чтобы стать известным городу хотя на три дня, не правда ли? Но, увы! Обо мне не обмолвилась словечком ни одна московская газета. Про пожары, про оперетку, про спящих гласных, про пьяных купцов — про все есть, а о моем деле, проекте, о лекциях — ни гу-гу. А милая московская публика! Еду я на конке… Вагон битком набит: тут и дамы, и военные, и студенты, и курсистки — всякой твари по паре.

— Говорят, что Дума вызвала инженера по такому-то делу! — говорю я соседу так громко, чтобы весь вагон слышал. — Вы не знаете, как фамилия этого инженера?

Сосед отрицательно мотнул головой. Остальная публика поглядела на меня мельком и во всех взглядах я прочел «не знаю».

— Говорят, кто-то читает лекции в таком-то музее! — пристаю я к публике, желая завязать

разговор. — Говорят, интересно!

Никто даже головой не кивнул. Очевидно, не все слышали про лекции, а госпожи дамы не знали даже о существовании музея. Это бы все еще ничего, но представьте вы, сударь мой, публика вдруг вскакивает и ломит к окнам. Что такое? В чем дело?

— Глядите, глядите! — затолкал меня сосед. — Видите того брюнета, что садится на извозчика? Это известный скороход Кинг!

И весь вагон, захлебываясь, заговорил о скороходах, занимавших тогда московские умы.

Много и других примеров я мог бы привести вам, но, полагаю, и этих довольно. Теперь допустим, что я относительно себя заблуждаюсь, что я хвастунишка и бездарность, но, кроме себя, я мог бы указать вам на множество своих современников, людей замечательных по талантам и трудолюбию, но умерших в неизвестности. Все эти русские мореплаватели, химики, физики, механики, сельские хозяева — популярны ли они? Известны ли нашей образованной массе русские художники, скульпторы, литературные люди? Иная старая литературная собака, рабочая и талантливая, тридцать три года обивает редакционные пороги, исписывает черт знает сколько

бумаги, раз двадцать судится за диффамацию, а все-таки не шагает дальше своего муравейника! Назовите мне хоть одного корифея нашей литературы, который стал бы известен раньше, чем не прошла по земле слава, что он убит на дуэли, сошел с ума, пошел в ссылку, не чисто играет в карты!

Пассажир 1-го класса так увлекся, что выронил изо рта сигару и приподнялся.

— Да-с, — продолжал он свирепо, — и в параллель этим людям я приведу вам сотни всякого рода певичек, акробатов и шутов, известных даже грудным младенцам. Да-с!

Скрипнула дверь, пахнул сквозняк и в вагон вошла личность угрюмого вида, в крылатке, в цилиндре и синих очках. Личность оглядела места, нахмурилась и прошла дальше.

— Знаете, кто это? — послышался робкий шепот из далекого угла вагона. — Это N. N., известный тульский шулер, привлеченный к суду по делу Y-го банка.

— Вот вам! — засмеялся пассажир 1-го класса. — Тульского шулера знает, а спросите его, знает ли он Семирадского, Чайковского или философа Соловьева, так он вам башкой замотает… Свинство!

Прошло минуты три в молчании.

— Позвольте вас спросить, в свою очередь, — робко закашлял vis-a-vis, — вам известна фамилия Пушкова?

— Пушкова? Гм!.. Пушкова… Нет, не знаю!

— Это моя фамилия… — проговорил vis-à-vis, конфузясь. — Стало быть, не знаете? А я уже 35 лет состою профессором одного из русских университетов… член академии наук-с… неоднократно печатался…

Пассажир 1-го класса и vis-à-vis переглянулись и принялись хохотать.

В потемках

Муха средней величины забралась в нос товарища прокурора, надворного советника Гагина. Любопытство ли ее мучило, или, быть может, она попала туда по легкомыслию, или благодаря потемкам, но только нос не вынес присутствия инородного тела и подал сигнал к чиханию. Гагин чихнул, чихнул с чувством, с пронзительным присвистом и так громко, что кровать вздрогнула и издала звук потревоженной пружины. Супруга Гагина, Марья Михайловна, крупная, полная блондинка, тоже вздрогнула и проснулась. Она поглядела в потемки, вздохнула и повернулась на другой бок. Минут через пять она еще раз повернулась, закрыла плотнее глаза, но сон уже не возвращался к ней. Повздыхав и поворочавшись с боку на бок, она приподнялась, перелезла через мужа и, надев туфли, пошла к окну.

На дворе было темно. Видны были одни только силуэты деревьев да темные крыши сараев. Восток чуть-чуть побледнел, но и эту бледность собирались заволокнуть тучи. В воздухе, уснувшем и окутанном во мглу, стояла тишина. Молчал даже дачный сторож, получающий деньги за

нарушение стуком ночной тишины, молчал и коростель — единственный дикий пернатый, не чуждающийся соседства со столичными дачниками.

Тишину нарушила сама Марья Михайловна. Стоя у окна и глядя во двор, она вдруг вскрикнула. Ей показалось, что от цветника с тощим, стриженым тополем пробиралась к дому какая-то темная фигура. Сначала она думала, что это корова или лошадь, потом же, протерев глаза, она стала ясно различать человеческие контуры.

Засим ей показалось, что темная фигура подошла к окну, выходившему из кухни, и, постояв немного, очевидно в нерешимости, стала одной ногой на карниз и… исчезла во мраке окна.

«Вор!» — мелькнуло у нее в голове, и мертвенная бледность залила ее лицо.

И в один миг ее воображение нарисовало картину, которой так боятся дачницы: вор лезет в кухню, из кухни в столовую… серебро в шкапу… далее спальня… топор… разбойничье лицо… золотые вещи… Колена ее подогнулись и по спине побежали мурашки.

— Вася! — затеребила она мужа. — Базиль! Василий Прокофьич! Ах, боже мой, словно мертвый! Проснись, Базиль, умоляю тебя!

— Н-ну? — промычал товарищ прокурора, потянув в себя воздух и издавая жевательные звуки.

— Проснись, ради создателя! К нам в кухню забрался вор! Стою я у окна, гляжу, а кто-то в окно лезет. Из кухни проберется в столовую… ложки в шкапу! Базиль! У Мавры Егоровны в прошлом году так же вот забрались.

— Ко… кого тебе?

— Боже, он не слышит! Да пойми же ты, истукан, что я сейчас видела, как к нам в кухню полез какой-то человек! Пелагея испугается и… и серебро в шкапу!

— Чепуха!

— Базиль, это несносно! Я говорю тебе об опасности, а ты спишь и мычишь! Что же ты хочешь? Хочешь, чтоб нас обокрали и перерезали?

Товарищ прокурора медленно поднялся и сел на кровати, оглашая воздух зевками.

— Черт вас знает, что вы за народ! — пробормотал он. — Неужели даже ночью нет покоя? Будят из-за пустяков!

— Но клянусь тебе, Базиль, я видела, как человек полез в окно!

— Ну так что же? И пусть лезет… Это, по всей вероятности, к Пелагее ее пожарный пришел.

— Что-о-о? Что ты сказал?

— Я сказал, что это к Пелагее пожарный пришел.

— Тем хуже! — вскрикнула Марья Михайловна. — Это хуже вора! Я не потерплю в своем доме цинизма!

— Экая добродетель, посмотришь… Не потерплю цинизма… Да нешто это цинизм? К чему без толку заграничными словами выпаливать? Это, матушка моя, испокон веку так ведется, традицией освящено. На то он и пожарный, чтоб к кухаркам ходить.

— Нет, Базиль! Значит, ты не знаешь меня! Я не могу допустить мысли, чтоб в моем доме и такое… этакое… Изволь отправиться сию минуту в кухню и приказать ему убираться! Сию же минуту! А завтра я скажу Пелагее, чтобы она не смела позволять себе подобные поступки! Когда я умру, можете допускать в своем доме циничности, а теперь вы не смеете. Извольте идти!

— Черрт… — проворчал Гагин с досадой. — Ну, рассуди своим бабьим, микроскопическим мозгом, зачем я туда пойду?

— Базиль, я падаю в обморок!

Гагин плюнул, надел туфли, еще раз плюнул и отправился в кухню. Было темно, как в закупоренной бочке, и товарищу прокурора пришлось

пробираться ощупью. По дороге он нащупал дверь в детскую и разбудил няньку.

— Василиса, — сказал он, — ты брала вечером мой халат чистить.



Где он?

— Я его, барин, Пелагее отдала чистить.

— Что за беспорядки? Брать берете, а на место не кладете… Изволь теперь путешествовать без халата!

Войдя в кухню, он направился к тому месту, где на сундуке, под полкой с кастрюлями, спала кухарка.

— Пелагея! — начал он, нащупывая плечо и толкая. — Ты! Пелагея! Ну, что представляешься? Не спишь ведь! Кто это сейчас лез к тебе в окно?

— Гм!., здрасте! В окно лез!

Кому это лезть?

— Да ты того… нечего тень наводить! Скажи-ка лучше своему прохвосту, чтобы он подобру-поздорову убирался вон. Слышишь?

Нечего ему тут делать!

— Да вы в уме, барин? Здрасте… Дуру какую нашли… День-деньской мучаешься, бегаючи, покоя не знаешь, а ночью с такими словами. За четыре рубля в месяц живешь… при своем чае и сахаре, а кроме этих слов другой чести ни от кого не видишь… Я у купцов жила, да такого срама не видывала.

— Ну, ну… нечего Лазаря петь! Сию же минуту чтобы твоего солдафона здесь не было! Слышишь?

— Грех вам, барин! — сказала Пелагея, и в голосе ее послышались слезы. — Господа образованные… благородные, а нет того понятия, что, может, при горе-то нашем… при нашей несчаст-

ной жизни… — Она заплакала. — Обидеть нас можно. Заступиться некому.

— Ну, ну… мне ведь все равно! Меня барыня сюда послала. По мне хоть домового впусти в окно, так мне все равно.

Товарищу прокурора оставалось только сознаться, что он не прав, делая этот допрос, и возвратиться к супруге.

— Послушай, Пелагея, — сказал он, — ты брала чистить мой халат. Где он?

— Ах, барин, извините, забыла вам положить его на стул. Он висит около печки на гвоздике…

Гагин нащупал около печки халат, надел его и тихо поплелся в спальню.

Марья Михайловна по уходе мужа легла в постель и стала ждать. Минуты три она была покойна, но затем ее начало помучивать беспокойство.

«Как долго он ходит, однако! — думала она. — Хорошо, если там тот… циник, ну, а если вор?»

И воображение ее опять нарисовало картину: муж входит в темную кухню… удар обухом… умирает, не издав ни одного звука… лужа крови…

Прошло пять минут, пять с половиной, наконец шесть… На лбу у нее выступил холодный пот.

— Базиль! — взвизгнула она. — Базиль!

— Ну, что кричишь? Я здесь… — услышала она голос и шаги мужа. — Режут тебя, что ли?

Товарищ прокурора подошел к кровати и сел на край.

— Никого там нет, — сказал он. — Тебе примерещилось, чудачка… Ты можешь успокоиться: твоя дурища, Пелагея, так же добродетельна, как и ее хозяйка. Экая ты трусиха! Экая ты…

И товарищ прокурора начал дразнить свою жену. Он разгулялся и ему уже не хотелось спать.

— Экая трусиха! — смеялся он. — Завтра же ступай к доктору от галлюцинаций лечиться. Ты психопатка!

— Дегтем запахло… — сказала жена. — Дегтем или… чем-то таким, луком… щами…

— М-да… Что-то такое в воздухе… Спать не хочется! Вот что, зажгу-ка я свечку… Где у нас спички? И кстати покажу тебе фотографию прокурора судебной палаты. Вчера прощался с нами и дал всем по карточке. С автографом.

Гагин чиркнул о стену спичкой и зажег свечу. Но прежде чем он сделал шаг от кровати, чтобы пойти за карточкой, сзади него раздался пронзительный, душу раздирающий крик. Оглянувшись назад, он увидел два больших жениных глаза, обращенных на него и полных удивления, ужаса,

гнева…

— Ты снимал в кухне свой халат? — спросила она, бледнея.

— А что?

— Погляди на себя!

Товарищ прокурора поглядел на себя и ахнул. На его плечах, вместо халата, болталась шинель пожарного. Как она попала на его плечи? Пока он решал этот вопрос, жена его рисовала в своем воображении новую картину, ужасную, невозможную: мрак, тишина, шепот и проч., и проч…

Светлая личность
(Рассказ «идеалиста»)

Против моих окон, заслоняя для меня солнце, высится громадный рыжий домище с грязными карнизами и поржавленной крышей. Эта мрачная, безобразная скорлупа содержит в себе однако чудный, драгоценный орешек!

Каждое утро в одном из крайних окон я вижу женскую головку, и эта головка, я должен сознаться, заменяет для меня солнце! Я люблю ее не за красоту… В узеньких серых глазках, в крупных веснушках и в вечных папильотках из газетной бумаги нет ничего красивого. Люблю я ее за некоторые индивидуальные особенности ее возвышенного интеллекта.

Каждое утро я вижу, как молодая женщина в белой кофточке и в папильотках подходит к окну и с жадностью хватает газеты, лежащие на подоконнике. Я вижу, господа, как она развертывает газеты и с блеском в глазах спешит пробежать их скучные страницы… В это время покорнейше прошу наблюдать выражение ее лица. Это выражение бывает различно, смотря

по обстоятельствам… То лицо ее озаряется блаженной улыбкой, и она, сияющая, с блестящими глазами, начинает весело прыгать по комнате; то страшное, невыразимое отчаяние искажает черты ее лица, и она, схватив себя за голову, как безумная, шагает из угла в угол… Никогда я не вижу ее равнодушной… Дни идут за днями, и счастье чередуется с отчаянием… Сегодня она безумно счастлива, завтра она хватает себя за папильотки. И нет конца ее радостям и мукам!..

Я отчасти психолог и знаток человеческого сердца. Психические явления, наблюдаемые мною в окне, доступны моему пониманию, как таблица умножения. Когда по лицу молодой женщины плавает блаженная улыбка, в моей голове теснятся такие мысли:

«Гм… Очевидно, известия, сообщаемые сегодняшними газетами, благоприятны… Очень рад… Вероятно, мою незнакомку радует поведение

Цанкова[189] и последняя речь Гладстона[190]. Быть может, ее приятно волнует и многообещающее свидание Бисмарка с Кальноки[191]... Очень может также статься, что в сегодняшних номерах она узрела нарождение нового русского таланта... Во всяком случае я очень рад... Редким женщинам доступны радости такого высшего качества!»

И я в восторге начинаю шагать из угла в угол и восклицать:

— Чудное, редкое создание! Последнее слово женской эмансипации! О, побольше бы таких женщин! Такие именно женщины и нужны нам!

Когда же лицо незнакомки искажается отчаянием, я думаю:

«Ну, газет, стало быть, хоть и в руки не бери!

---

[189] Примечания: 189

Драган Цанков (1828–1911) в 1879–1880 годах был вождем оппозиции в Болгарии. 9 августа 1886 года офицерским заговором был низвергнут с престола и выслан за границу русский ставленник князь Александр Баттенбергский, правивший Болгарией с 1879 года. После свержения Александра Баттенбергского Цанков вошел во Временное правительство. Между тем бывший князь Александр вернулся в Софию, но, убедившись во враждебности к себе народа, отрекся от престола, назначив регентами Петко Каравелова, Стамбулова и Савву Муткурова. В результате этих событий произошел разрыв с русским правительством, которое до того пользовалось в Болгарии огромным влиянием. — Примеч. ред.

[190] Примечания: 190

Вильям Эварт Гладстон (1809–1898) — английский политический деятель; в июле 1886 года потерпел поражение на парламентских

выборах и уступил власть Солсбери. — Примеч. ред.

[191] Примечания: 191

Отто фон Бисмарк (1815–1898) — немецкий политический деятель, канцлер. — Примеч. ред.

Густав Кальноки (1832–1898) — австро-венгерский государственный деятель, глава Кабинета министров, в политическом отношении сильно зависевший от Бисмарка. Противодействовал русскому влиянию на Балканах. — Примеч. ред.

Дрянь дело! Вероятно, мою vis-a-vis возмутил Каравелов или Муткуров[192]... Думаю также, что двусмысленная игра утрирующей Австрии и поведение Милана[193] оскорбили ее честную натуру... Она страдает, но какую честь делает ей это страдание!»

Я шагаю, волнуюсь и восклицаю:

— Вот она, настоящая женщина! Ей доступна гражданская скорбь! Она может страдать за человечество!..

И я без ума от этой редкой женщины... Едва только наступает утро, я уже стою у своего окна и жду, когда в окнах vis-a-vis покажется незнакомка. Ночью я мечтаю и жду утра, днем шагаю из угла в угол... Да, господа, это необыкновенная женщина!

Летом, когда мои и ее окна были открыты, я не

---

[192] Примечания: 192

Петко Стойчев Каравелов — (1843–1903) — болгарский политик, один из вождей Либеральной партии, а позднее руководитель Демократической партии.

Сава Атанасов Муткуров (1852–1891) — болгарский военный деятель, первый генерал Болгарской армии.

**(в издании есть ссылка, но утеряно при печати примечание — добавлено изготовителем электронного файла)*

[193] Примечания: 193

Милан I Обренович (1854–1901) — король Сербии. Пособствуя австро-германским происках на Балканах, в 1885 году выступил против Болгарии, но потерпел поражение. Правление его отличалось авантюризмом; в 1889 году отрекся от престола. — Примеч. ред.

раз слышал истерический плач и счастливый смех… Однажды даже я слышал, как она, схватив себя за голову, в отчаянии и гневе прокричала:

— Негодяй! Мучитель!

И разорвала в клочки газету…

Жалею, что в моей квартире не живет Ауэрбах, Шпильгаген[194] или иной романист, ищущий «новых людей»[195]… Они воспользовались бы моей незнакомкой…

……

Я чувствую, что благоговение мое мало-помалу обращается в страстную любовь. Да, я люблю ее! Боже, какая пропасть разделяет меня от нее! Душа ее полна гражданской скорби, я же давно уже утерял свои идеалы и, затертый средою, живу пошлыми интересами толпы[196]…

Но тем не менее я, не будучи в силах преодолеть

---

[194] Примечания: 194

Бертольд Ауэрбах (1812–1882) и Фридрих Шпильгаген (1829–1911) — немецкие писатели. — Примеч. ред.

[195] Примечания: 195

Имеется в виду русская беллетристика 1870-х годов «с тенденцией», например Александр Шеллер-Михайлов и Даниил Мордовцев и др. — Примеч. ред.

[196] Примечания: 196

Душа ее полна гражданской скорби… живу пошлыми интересами толпы — здесь, как и в заглавии «Светлая личность», ощущается прямое пародирование либеральной фразеологии того времени. — Примеч. ред.

себя, иду к рыжему дому и звоню к дворнику. Два двугривенных развязывают дворницкий язык, и он на все мои расспросы рассказывает мне, что незнакомка живет в квартире № 5, имеет мужа и неисправно платит за квартиру. Муж ее каждое утро убегает куда-то и возвращается поздно вечером, пронося под мышкой четверть водки и кулек с провизией… Муж значится в паспорте сыном губернского секретаря[197], а незнакомка его женою…

……

После третьей бессонной ночи посылаю ей визитную карточку. Видел сегодня, как она, прочитав газету, ударила кулаком по подоконнику. О, вы, Каравеловы, Муткуровы, Салюсбери[198], кондуктора конножелезки[199], сахарозаводчи-

---

[197] Примечания: 197

Губернский секретарь — гражданский чин XII класса согласно «Табели о рангах». — Примеч. ред.

[198] Примечания: 198

Роберт Салюсбери (Солсбери) (1830–1903) — английский политический деятель, в 1885 и 1886 годах дважды возглавлял Кабинет министров. — Примеч. ред.

[199] Примечания: 199

…кондуктора конножелезки… — 24 сентября 1886 года московские газеты сообщали, что на Большой Пресне рабочий Прохоровской мануфактуры Григорий Аноров, в нетрезвом виде вскочивший на ходу в вагон конки, был вытолкнут оттуда кондуктором Иваном Потаповым и получил сильные ушибы. (см.: «Московские ведомости», 1886, № 264, 24 сентября и «Русские ведомости», 1886, № 262, 24 сентяб-

ря). — Примеч. ред.

ки[200]! Отчего я не в силах отплатить вам за все страдания, которые вы ей причиняете?..



.....

...Сегодня (10 сентября) муж ее спустил меня вниз по лестнице. Я счастлив. Ради нее я готов на все жертвы!.. Настоящее объяснение я откладываю на завтра...

.....

---

[200] Примечания: 200

...сахарозаводчики... — в сентябре 1886 года введено нормирование сахарного производства и обложение сахара, выпускаемого сверх нормы, дополнительным денежным сбором. Это позволило сахарозаводчикам резко повысить цены на сахар и послужило поводом для шумной кампании в печати. В течение сентября «сахарная» тема не сходила со страниц московской и петербургской печати. (см., например: «Московские ведомости», 1886, № 253, 13 сентября, № 263, 23 сентября; «Новости дня», 1886, № 260, 23 сентября; «Русские ведомости», 1886, № 254, 16 сентября, № 259, 21 сентября). — Примеч. ред.

11-е сентября. Придя сегодня к ней, я застаю ее за газетами. Пробежав наскоро две-три газеты, она вдруг падает на стул и издает стон…

— Дорогая моя, — говорю я ей, целуя ее руку. — Что волнует вас? Поделитесь со мной вашими скорбями и, верьте, я сумею оценить ваше доверие! Ну скажите, отчего вы сейчас плачете?

— Как же мне не плакать? — говорит моя незнакомка. — Вы посудите: сегодня нам нужно платить за квартиру, а мой балбес-муженек дал в газеты только 60 строчек! Ну, разве мы можем так жить? Вчера он написал ровно на 11 руб. 40 коп., а сегодня я едва насчитала три рубля! Ну не несчастна ли я? Нет, и злой татарке не пожелаю быть женой репортера! Он негодяй! мерзавец! Вместо того, чтобы работать, у Саврасенкова[201] сидит! Постой же, придешь ты!..

……

«О, женщины, женщины!»[202] — сказал Шекспир, и для меня теперь понятно состояние его души…

---

[201] Примечания: 201

К. Е. Саврасенков — владелец гостиницы и ресторана в Москве, на Тверском бульваре. — Примеч. ред.

[202] Примечания: 202

«О, женщины, женщины!» — имеются в виду слова принца Гамлета из пятой сцены первого акта в трагедии Вильяма Шекспира «Гамлет» в переводе Андрея Кронеберга. — Примеч. ред.

Длинный язык

Наталья Михайловна, молодая дамочка, приехавшая утром из Ялты, обедала и, неугомонно треща языком, рассказывала мужу о том, какие прелести в Крыму. Муж, обрадованный, глядел с умилением на ее восторженное лицо, слушал и изредка задавал вопросы…

— Но, говорят, жизнь там необычайно дорога? — спросил он между прочим.

— Как тебе сказать? По-моему, дороговизну преувеличили, папочка. Не так страшен черт, как его рисуют. Я, например, с Юлией Петровной имела очень удобный и приличный номер за двадцать рублей в сутки. Все, дружочек мой, зависит от уменья жить. Конечно, если ты захочешь поехать куда-нибудь в горы… например, на Ай-Петри… возьмешь лошадь, проводника, — ну, тогда, конечно, дорого. Ужас как дорого! Но, Васичка, какие там го-оры! Представь ты себе высокие-высокие горы, на тысячу раз выше, чем церковь… Наверху туман, туман, туман… Внизу громаднейшие камни, камни, камни… И пинии… Ах, вспомнить не могу!

— Кстати… без тебя тут я в каком-то журнале

читал про тамошних проводников-татар… Такие мерзости! Что, это в самом деле какие-нибудь особенные люди?

Наталья Михайловна сделала презрительную гримаску и мотнула головой.

— Обыкновенные татары, ничего особенного… — сказала она. — Впрочем, я видела их издалека, мельком… Указывали мне на них, но я не обратила внимания. Всегда, папочка, я чувствовала предубеждение ко всем этим черкесам, грекам… маврам!..

— Говорят, донжуаны страшные.

— Может быть! Бывают мерзавки, которые…

Наталья Михайловна вдруг вскочила, точно вспомнила что-то страшное, полминуты глядела на мужа испуганными глазами и сказала, растягивая каждое слово:

— Васичка, я тебе скажу, какие есть без-нравствен-ны-е! Ах, какие безнравственные! Не то чтобы, знаешь, простые или среднего круга, а аристократки, эти надутые бонтонши! Просто ужас, глазам своим я не верила! Умру и не забуду! Ну, можно ли забыться до такой степени, чтобы… ах, Васичка, я даже и говорить не хочу! Взять хотя бы мою спутницу Юлию Петровну… Такой хороший муж, двое детей… принадлежит к порядочному

кругу, корчит всегда из себя святую и — вдруг, можешь себе представить… Только, папочка, это, конечно, entre nous[203]… Даешь честное слово, что никому не скажешь?

— Ну, вот еще выдумала! Разумеется, не скажу.

— Честное слово? Смотри же! Я тебе верю…

Дамочка положила вилку, придала своему лицу таинственное выражение и зашептала:

— Представь ты себе такую вещь… Поехала эта Юлия Петровна в горы… Была отличная погода! Впереди едет она со своим проводником, немножко позади — я. Отъехали мы версты три-четыре, вдруг, понимаешь ты, Васичка, Юлия вскрикивает и хватает себя за грудь. Ее татарин хватает ее за талию, иначе бы она с седла свалилась… Я со своим проводником подъезжаю к ней… Что такое? В чем дело? «Ох, кричит, умираю! Дурно! Не могу дальше ехать!» Представь мой испуг! Так поедемте, говорю, назад! — «Нет, говорит, Natalie, не могу я ехать назад! Если я сделаю еще хоть один шаг, то умру от боли! У меня спазмы!» И просит, умоляет, ради бога, меня и моего Сулеймана, чтобы мы вернулись назад в город и привезли ей бестужевских капель, которые ей помогают.

---

[203] Примечания: 203
Между нами (фр.).



— Постой… Я тебя не совсем понимаю… — пробормотал муж, почесывая лоб. — Раньше ты говорила, что видела этих татар только издалека, а теперь про какого-то Сулеймана рассказываешь.

— Ну, ты опять придираешься к слову! — поморщилась дамочка, нимало не смущаясь. — Терпеть не могу подозрительности! Терпеть не могу! Глупо и глупо!

— Я не придираюсь, но… зачем говорить неправду? Каталась с татарами, ну, так тому и быть, бог с тобой, но… зачем вилять?

— Гм!.. вот странный! — возмутилась дамоч-

ка. — Ревнует к Сулейману! Воображаю, как это ты поехал бы в горы без проводника! Воображаю! Если не знаешь тамошней жизни, не понимаешь, то лучше молчи. Молчи и молчи! Без проводника там шагу нельзя сделать.

— Еще бы!

— Пожалуйста, без этих глупых улыбок! Я тебе не Юлия какая-нибудь… Я ее и не оправдываю, но я… пссс! Я хоть и не корчу из себя святой, но еще не настолько забылась. У меня Сулейман не выходил из границ… Не-ет! Маметкул, бывало, у Юлии все время сидит, а у меня как только бьет одиннадцать часов, сейчас: «Сулейман, марш! Уходите!» И мой глупый татарка уходит. Он у меня, папочка, в ежовых был… Как только разворчится насчет денег или чего-нибудь, я сейчас: «Ка-ак? Что-о? Что-о-о?» Так у него вся душа в пятки… Ха-ха-ха… Глаза, понимаешь, Васичка, черные-пречерные, как у-уголь, морденка татарская, глупая такая, смешная… Я его вот как держала! Вот!

— Воображаю… — промычал супруг, катая шарики из хлеба.

— Глупо, Васичка! Я ведь знаю, какие у тебя мысли! Я знаю, что ты думаешь… Но, я тебя уверяю, он у меня даже во время прогулок не выходил из границ. Например, едем ли в горы,

или к водопаду Учан-Су, я ему всегда говорю: «Сулейман, ехать сзади! Ну!» И всегда он ехал сзади, бедняжка… Даже во время… в самых патетических местах я ему говорила: «А все-таки ты не должен забывать, что ты только татарин, а я жена статского советника!» Ха-ха…

Дамочка захохотала, потом быстро оглянулась и, сделав испуганное лицо, зашептала:

— Но Юлия! Ах, эта Юлия! Я понимаю, Васичка, отчего не пошалить, отчего не отдохнуть от пустоты светской жизни? Все это можно… шали, сделай милость, никто тебя не осудит, но глядеть на это серьезно, делать сцены… нет, как хочешь, я этого не понимаю! Вообрази, она ревновала! Ну, не глупо ли? Однажды приходит к ней Маметкул, ее пассия… Дома ее не было… Ну, я зазвала его к себе… начались разговоры, то да се… Они, знаешь, препотешные! Незаметно этак провели вечер… Вдруг влетает Юлия… Набрасывается на меня, на Маметкула… делает нам сцену… фи! Я этого не понимаю, Васичка…

Васичка крякнул, нахмурился и заходил по комнате.

— Весело вам там жилось, нечего сказать! — проворчал он, брезгливо улыбаясь.

— Ну, как это глу-упо! — обиделась Наталья

Михайловна. — Я знаю, о чем ты думаешь! Всегда у тебя такие гадкие мысли! Не стану же я тебе ничего рассказывать. Не стану!

Дамочка надула губки и умолкла.

Ах, зубы!

У Сергея Алексеича Дыбкина, любителя сценических искусств, болят зубы.

По мнению опытных дам и московских зубных врачей, зубная боль бывает трех сортов: ревматическая, нервная и костоедная; но взгляните вы на физиономию несчастного Дыбкина, и вам ясно станет, что его боль не подходит ни к одному из этих сортов. Кажется, сам черт с чертенятами засел в его зуб и работает там когтями, зубами и рогами. У бедняги лопается голова, сверлит в ухе, зеленеет в глазах, царапает в носу. Он держится обеими руками за правую щеку, бегает из угла в угол и орет благим матом…

— Да помогите же мне! — кричит он, топая ногами. — Застрелюсь, черт вас возьми! Повешусь!

Кухарка советует ему пополоскать зубы водкой, мамаша — приложить к щеке тертого хрена с керосином; сестра рекомендует одеколон, смешанный с чернилами, тетенька вымазала ему десны йодом… Но от всех этих средств он провонял лекарствами, поглупел и стал орать еще громче… Остается одно только неиспробованное средство — пустить себе пулю в лоб или, вы-

пивши залпом три бутылки коньяку, обалдеть и завалиться спать… Но вот наконец находится умный человек, который советует Дыбкину съездить на Тверскую, в дом Загвоздкина, где живет зубной врач Каркман, рвущий зубы моментально, без боли и дешево — по своей цене. Дыбкин хватается за эту идею, как пьяный купец за перила, надевает пальто и мчится на извозчике по данному адресу. Вот Садовая, Тверская… Мелькают Сиу, Филиппов, Айе, Габай… Вот, наконец, вывеска: «Зубной врач Я. А. Каркман». Стоп! Дыбкин прыгает с извозчика и с воплем взбегает наверх по каменной лестнице. Давит он пуговку звонка с таким остервенением, что ломает свой изящный ноготь.

— Дома? Принимает? — спрашивает он горничную.

— Пожалуйте, принимают…

— Уф! Снимай пальто! Скоррей!

Еще минута, и, кажется, голова страдальца окончательно лопнет от боли. Как сумасшедший, или, вернее, как муж, которого добрая жена окатила кипятком, он вбегает в приемную, и… о ужас! Приемная битком набита публикой. Бежит Дыбкин к двери кабинета, но его хватают за фалды и говорят ему, что он обязан ждать очереди…

— Но я страдаю! — кипятится он. — Черт возьми, я переживаю ужасные минуты!

— Мало ли что! — говорят ему равнодушно. — Нам тоже не весело.

Мой герой в изнеможении падает в кресло, хватается за обе щеки и начинает ждать. Его лицо точно в уксусе вымыто, на глазах слезы…

— Это ужасно! — стонет он. — Ох, уми-ра-а-ю!

— Бедный молодой человек! — вздыхает сидящая возле него дама. — Я страдаю не меньше вас: меня родные дети выгнали из моего же собственного дома!

Никакая финансовая передовая статья, никакой спектакль с благотворительною целью не могут быть так возмутительно скучны, как ожидание в приемной. Проходит час, другой, третий, а бедный Дыбкин все еще сидит в кресле и стонет. Дома давно уже пообедали и скоро примутся за вечерний чай, а он все сидит. Зуб же с каждой минутой становится все злее и злее…

Но вот проходит мучительная вечность и наступает очередь Дыбкина. Он срывается с кресла и летит в кабинет.

— Бога ради! — стонет он, падая в кабинете в кресло и раскрывая рот. — Умоляю!

— Что-с? Что вам угодно? — спрашивает его хо-

зяин кабинета, длинноволосый блондин в очках.

— Рвите! Рвите! — задыхается Дыбкин.

— Кого рвать?

— А, боже мой! Зуб!

— Странно! — пожимает плечами блондин. — Мне, г. шутник, некогда, и я прошу вас сказать: что вам угодно?

Дыбкин раскрывает рот, как акула, и стонет:

— Рвите, рвите! Кто умирает, тому не до шуток! Рвите, бога ради!

— Гм… Если у вас болят зубы, то отправляйтесь к зубному врачу.

Дыбкин поднимается и, разинув рот, тупо глядит на блондина.

— Да-с, я адвокат!.. — продолжает блондин. — Если вам нужен зубной врач, то отправляйтесь к Каркману. Он живет этажом ниже…

— Э-та-жом ни-же? — поражается Дыбкин. — Черт же меня возьми совсем! Ах, я скотина! Ах, я подлец!

Согласитесь, что после такого пассажа ему остается только одно: пустить себе пулю в лоб… если же нет под руками револьвера, то выпить залпом три бутылки коньяку и т. д.

Месть

Лев Саввич Турманов, дюжинный обыватель, имеющий капиталец, молодую жену и солидную плешь, как-то играл на именинах у приятеля в винт. После одного хорошего минуса, когда его в пот ударило, он вдруг вспомнил, что давно не пил водки. Поднявшись, он на цыпочках, солидно покачиваясь, пробрался между столов, прошел через гостиную, где танцевала молодежь (тут он снисходительно улыбнулся и отечески похлопал по плечу молодого, жидкого аптекаря), затем юркнул в маленькую дверь, которая вела в буфетную. Тут, на круглом столике, стояли бутылки, графины с водкой… Около них, среди другой закуски, зеленея луком и петрушкой, лежала на тарелке наполовину уже съеденная селедка. Лев Саввич налил себе рюмку, пошевелил в воздухе пальцами, как бы собираясь говорить речь, выпил и сделал страдальческое лицо, потом ткнул вилкой в селедку и… Но тут за стеной послышались голоса.

— Пожалуй, пожалуй. — бойко говорил женский голос. — Только когда это будет?

«Моя жена, — узнал Лев Саввич. — С кем это

она?»

— Когда хочешь, мой друг… — отвечал за стеной густой, сочный бас. — Сегодня не совсем удобно, завтра я целешенький день занят…

«Это Дегтярев! — узнал Турманов в басе одного из своих приятелей. — И ты, Брут, туда же! Неужели и его уж подцепила? Экая ненасытная, неугомонная баба! Дня не может продышать без романа!»

— Да, завтра я занят, — продолжал бас. — Если хочешь, напиши мне завтра что-нибудь… Буду рад и счастлив… Только нам следовало бы упорядочить нашу корреспонденцию. Нужно придумать какой-нибудь фокус. Почтой посылать не совсем удобно. Если я тебе напишу, то твой индюк может перехватить письмо у почтальона; если ты мне напишешь, то моя половина получит без меня и наверное распечатает.

— Как же быть?

— Нужно фокус какой-нибудь придумать. Через прислугу посылать тоже нельзя, потому что твой Собакевич наверное держит в ежовых горничную и лакея… Что, он в карты играет?

— Да. Вечно, дуралей, проигрывает!

— Значит, в любви ему везет! — засмеялся Дегтярев. — Вот, мамочка, какой фортель я при-

думал… Завтра, ровно в шесть часов вечера, я, возвращаясь из конторы, буду проходить через городской сад, где мне нужно повидаться со смотрителем. Так вот ты, душа моя, постарайся непременно к шести часам, не позже, положить записочку в ту мраморную вазу, которая, знаешь, стоит налево от виноградной беседки…

— Знаю, знаю…

— Это выйдет и поэтично, и таинственно, и ново… Не узнает ни твой пузан, ни моя благоверная. Поняла?

Лев Саввич выпил еще одну рюмку и отправился к игорному столу. Открытие, которое он только что сделал, не поразило его, не удивило и нимало не возмутило. Время, когда он возмущался, устраивал сцены, бранился и даже дрался, давно уже прошло; он махнул рукой и теперь смотрел на романы своей ветреной супруги сквозь пальцы. Но ему все-таки было неприятно. Такие выражения, как индюк, Собакевич, пузан и пр., покоробили его самолюбие.

«Какая же, однако, каналья этот Дегтярев! — думал он, записывая минусы. — Когда встречается на улице, таким милым другом прикидывается, скалит зубы и по животу гладит, а теперь, подика, какие пули отливает! В лицо другом величает,

а за глаза я у него и индюк и пузан…»

Чем больше он погружался в свои противные минусы, тем тяжелее становилось чувство обиды…

«Молокосос… — думал он, сердито ломая мелок. — Мальчишка. Не хочется только связываться, а то я показал бы тебе Собакевича!»

За ужином он не мог равнодушно видеть физиономию Дегтярева, а тот, как нарочно, неотвязчиво приставал к нему с вопросами: выиграл ли он? отчего он так грустен? и проч. И даже имел нахальство, на правах доброго знакомого, громко пожурить его супругу за то, что та плохо заботится о здоровье мужа. А супруга как ни в чем не бывало глядела на мужа маслеными глазками, весело смеялась, невинно болтала, так что сам черт не заподозрил бы ее в неверности.

Возвратясь домой, Лев Саввич чувствовал себя злым и неудовлетворенным, точно он вместо телятины съел за ужином старую калошу. Быть может, он пересилил бы себя и забылся, но болтовня супруги и ее улыбки каждую секунду напоминали ему про индюка, гуся, пузана…

«По щекам бы его, подлеца, отхлопать… — думал он. — Оборвать бы его публично».

И он думал, что хорошо бы теперь побить Дег-

тярева, подстрелить его на дуэли как воробья… спихнуть с должности или положить в мраморную вазу что-нибудь неприличное, вонючее — дохлую крысу, например… Недурно бы женино письмо заранее выкрасть из вазы, а вместо него положить какие-нибудь скабрезные стишки с подписью «твоя Акулька» или что-нибудь в этом роде.

Долго Турманов ходил по спальной и услаждал себя подобными мечтами. Вдруг он остановился и хлопнул себя по лбу.

— Нашел, браво! — воскликнул он и даже просиял от удовольствия. — Это выйдет отлично! О-отлично!

Когда уснула его супруга, он сел за стол и после долгого раздумья, коверкая свой почерк и изобретая грамматические ошибки, написал следующее: «Купцу Дулинову. Милостивый Государь! Если к шести часам вечера сиводня 12-го сентября в мраморную вазу, что находица в городском саду налево от виноградной беседки, не будит положено вами двести рублей, то вы будете убиты и ваша галантирейная лавка взлетит на воздух». Написав такое письмо, Лев Саввич подскочил от восторга.

— Каково придумано, а? — бормотал он, поти-

рая руки. — Шикарно! Лучшей мести сам сатана не придумает! Естественно, купчина струсит и сейчас же донесет полиции, а полиция засядет к шести часам в кусты — и цап-царап его, голубчика, когда он за письмом полезет!.. То-то струсит! Пока дело выяснится, так успеет, каналья, и натерпеться и насидеться… Браво!

Лев Саввич прилепил марку к письму и сам снес его в почтовый ящик. Уснул он с блаженнейшей улыбкой и спал так сладко, как давно уже не спал. Проснувшись утром и вспомнивши свою выдумку, он весело замурлыкал и даже потрогал неверную жену за подбородочек. Отправляясь на службу и потом сидя в канцелярии, он все время улыбался и воображал себе ужас Дегтярева, когда тот попадет в западню…

В шестом часу он не выдержал и побежал в городской сад, чтобы воочию полюбоваться отчаянным положением врага.

«Ага!» — подумал он, встретив городового.

Дойдя до виноградной беседки, он сел под куст и, устремив жадные взоры на вазу, принялся ждать. Нетерпение его не имело пределов.

Ровно в шесть часов показался Дегтярев. Молодой человек был, по-видимому, в отличнейшем расположении духа. Цилиндр его ухарски си-

дел на затылке и из-за распахнувшегося пальто вместе с жилеткой, казалось, выглядывала сама душа. Он насвистывал и курил сигару…

«Вот сейчас узнаешь индюка да Собакевича! — злорадствовал Турманов. — Погоди!»

Дегтярев подошел к вазе и лениво сунул в нее руку… Лев Саввич приподнялся и впился в него глазами… Молодой человек вытащил из вазы небольшой пакет, оглядел его со всех сторон и пожал плечами, потом нерешительно распечатал, опять пожал плечами и изобразил на лице своем крайнее недоумение; в пакете были две радужные бумажки!

Долго осматривал Дегтярев эти бумажки. В конце концов, не переставая пожимать плечами, он сунул их в карман и произнес: «Merci!»

Несчастный Лев Саввич слышал это «Mercі». Целый вечер потом стоял он против лавки Дулинова, грозился на вывеску кулаком и бормотал в негодовании:

— Трррус! Купчишка! Презренный Кит Китыч! Трррус! Заяц толстопузый!.

Статистика

Некий философ сказал, что если бы почтальоны знали, сколько глупостей, пошлостей и нелепостей приходится им таскать в своих сумках, то они не бегали бы так быстро и наверное бы потребовали прибавки жалованья. Это правда. Иной почтальон, задыхаясь и сломя голову, летит на шестой этаж ради того, чтобы дотащить только одну строку: «Душка! Целую! Твой Мишка!», или же визитную карточку: «Одеколон Панталонович Подбрюшкин». Другой бедняга четверть часа звонится у двери, зябнет и томится, чтобы доставить по адресу скабрезное описание кутежа у капитана Епишкина. Третий, как угорелый, бегает по двору и ищет дворника, чтобы передать жильцу письмо, в котором просят «не попадаться, иначе я тебе в морду дам!» или же «поцеловать милых деточек, а Анюточку — с днем рожденья!» А поглядеть на них, так подумаешь, что они тащат самого Канта или Спинозу!

Один досужий Шпекин, любивший запускать глазенапа и узнавать «что новенького в Европе», составил некоторого рода статистическую табличку, являющуюся драгоценным вкладом в на-

уку. Из этого продукта долголетних наблюдений видно, что в общем содержание обывательских писем колеблется, смотря по сезону. Весною преобладают письма любовные и лечебные, летом — хозяйственные и назидательно-супружеские, осенью — свадебные и картежные, зимою — служебные и сплетнические. Если же взять письма оптом за целый год и пустить в ход процентный метод, то на каждые сто писем приходится:

семьдесят два таких, которые пишутся зря, от нечего делать, только потому, что есть под рукой бумага и марка. В таких письмах описывают балы и природу, жуют мочалу, переливают из пустого в порожнее, спрашивают: «Отчего вы не женитесь?», жалуются на скуку, ноют, сообщают, что Анна Семеновна в интересном положении, просят кланяться «всем! всем!», бранят, что у них не бываете, и проч.;

пять любовных, из коих только в одном делается предложение руки;

четыре поздравительных; пять, просящих взаймы до первой получки;

три ужасно надоедных, писанных женскою рукой и пахнущих женщиной; в этих рекомендуют «молодого человека» или просят достать что-нибудь вроде театральной контрамарки,

новой книжки и т. п.; в конце извинение за то, что письмо написано неразборчиво и небрежно;

два, посылаемых в редакцию со стихами;

одно «умное», в котором Иван Кузьмич высказывает Семену Семеновичу свое мнение о Болгарском вопросе или о вреде гласности;

одно, в котором муж именем закона требует, чтобы жена вернулась домой для «совместного сожития»;

два к портному с просьбой сшить новые брюки и подождать старый должок; одно, напоминающее о старом долге; три деловых и

одно ужасное, полное слез, мольбы и жалоб. «Сейчас умер папа» или «Застрелился Коля, поспешите!» и т. д.

Предложение
(Рассказ для девиц)

Валентин Петрович Передеркин, молодой человек приятной наружности, надел фрачную пару и лакированные ботинки с острыми, колючими носками, вооружился шапокляком и, едва сдерживая волнение, поехал к княжне Вере Запискиной…

Ах, как жаль, что вы не знаете княжны Веры! Это милое, восхитительное создание с кроткими глазами небесно-голубого цвета и с шелковыми волнистыми кудрями.

Волны морские разбиваются об утес, но о волны ее кудрей, наоборот, разобьется и разлетится в прах любой камень… Нужно быть бесчувственным балбесом, чтобы устоять против ее улыбки, против неги, которою так и дышит ее миниатюрный, словно выточенный бюстик. Ах, какою надо быть деревянной скотиной, чтобы не чувствовать себя на верху блаженства, когда она говорит, смеется, показывает свои ослепительно белые зубки!

Передеркина приняли…

Он сел против княжны и, изнемогая от волнения, начал:

— Княжна, можете ли вы выслушать меня?

— О да!

— Княжна… простите, я не знаю, с чего начать… Для вас это так неожиданно… Экспромтно… Вы рассердитесь…

Пока он полез в карман и доставал оттуда платок, чтобы отереть пот, княжна мило улыбалась и вопросительно глядела на него.

— Княжна! — продолжал он. — С тех пор, как я увидел вас, в мою душу… запало непреодолимое желание… Это желание не дает мне покоя ни днем, ни ночью, и… и если оно не осуществится, я… я буду несчастлив.

Княжна задумчиво опустила глаза. Передеркин помолчал и продолжал:

— Вы, конечно, удивитесь… вы выше всего земного, но… для меня вы самая подходящая…

Наступило молчание.

— Тем более, — вздохнул Передеркин, — что мое имение граничит с вашим… я богат…

— Но… в чем дело? — тихо спросила княжна.

— В чем дело? Княжна! — заговорил горячо Передеркин, поднимаясь. — Умоляю вас, не откажите… Не расстройте вашим отказом моих

планов. Дорогая моя, позвольте сделать вам предложение!

Валентин Петрович быстро сел, нагнулся к княжне и зашептал:

— Предложение в высшей степени выгодное!.. Мы в один год продадим миллион пудов сала! Давайте построим в наших смежных имениях салотопенный завод на паях!

Княжна подумала и сказала:

— С удовольствием…

А читательница, ожидавшая мелодраматического конца, может успокоиться.

Мой домострой

Утром, когда я, встав от сна, стою перед зеркалом и надеваю галстух, ко мне тихо и чинно входят теща, жена и свояченица. Они становятся в ряд и, почтительно улыбаясь, поздравляют меня с добрым утром. Я киваю им головой и читаю речь, в которой объясняю им, что глава дома — я.

— Я вас, ракалии, кормлю, пою, наставляю, — говорю я им, — учу вас, тумбы, уму-разуму, а потому вы обязаны уважать меня, почитать, трепетать, восхищаться моими произведениями и не выходить из границ послушания ни на один миллиметр, в противном случае. О, сто чертей и одна ведьма, вы меня знаете! В бараний рог согну! Я покажу вам, где раки зимуют! и т. д.

Выслушав мою речь, домочадицы выходят и принимаются за дело. Теща и жена бегут в редакции со статьями: жена в «Будильник», теща в «Новости дня» к Липскерову. Свояченица садится за переписку начисто моих фельетонов, повестей и трактатов. За получением гонорара посылаю я тещу. Если издатель платит туго, угощает «завтраками», то, прежде чем посылать за

гонораром, я три дня кормлю тещу одним сырым мясом, раздразниваю ее до ярости и внушаю ей непреодолимую ненависть к издательскому племени; она, красная, свирепая, клокочущая, идет за получкой, и — не было случая, чтобы она возвращалась с пустыми руками. На ее же обязанности лежит охранение моей особы от назойливости кредиторов. Если кредиторов много и они мешают мне спать, то я прививаю теще бешенство по способу Пастера и ставлю ее у двери: ни одна шельма не сунется!

За обедом, когда я услаждаю себя щами и гусем с капустой, жена сидит за пианино и играет для меня из «Боккачио», «Елены» и «Корневильских колоколов», а теща и свояченица пляшут вокруг стола качучу. Той, которая особенно мне угождает, я обещаю подарить книгу своего сочинения с авторским факсимиле и обещания не сдерживаю, так как счастливица в тот же день каким-нибудь поступком навлекает на себя мой гнев и таким образом теряет право на награду. После обеда, когда я кейфую на диване, распространяя вокруг себя запах сигары, свояченица читает вслух мои произведения, а теща и жена слушают.

— Ах, как хорошо! — обязаны они воскликнуть. — Великолепно! Какая глубина мысли!

Какое море чувства! Восхитительно!

Когда я начинаю дремать, они садятся в стороне и шепчутся так громко, чтобы я мог слышать:

— Это талант! Нет, это — необыкновенный талант! Человечество многое теряет, что не старается понять его! Но как мы, ничтожные, счастливы, что живем под одной крышей с таким гением!

Если я засыпаю, то дежурная садится у моего изголовья и веером отгоняет от меня мух.

Проснувшись, я кричу:

— Тумбы, чаю!

Но чай уже готов. Мне подносят его и просят с поклоном:

— Кушайте, отец и благодетель! Вот варенье, вот крендель… Примите от нас посильный дар…

После чая я обыкновенно наказываю за проступки против домашнего благоустройства. Если проступков нет, то наказание зачитывается в счет будущего. Степень наказания соответствует величине проступка.



Так, если я недоволен перепиской, качучей или вареньем, то виновная обязана выучить наизусть несколько сцен из купеческого быта, проскакать на одной ноге по всем комнатам и сходить за получением гонорара в редакцию, в которой я не работаю. В случае непослушания или выражения недовольства я прибегаю к более строгим мерам: запираю в чулан, даю нюхать нашатырный спирт и проч. Если же начинает бушевать теща, то я посылаю за городовым и дворником.

Ночью, когда я сплю, все три мои домочадицы не спят, ходят по комнатам и сторожат, чтобы воры не украли моих произведений.

Жилец

Брыкович, когда-то занимавшийся адвокатурой, а ныне живущий без дела у своей богатой супруги, содержательницы меблированных комнат «Тунис», человек молодой, но уже плешивый, как-то в полночь выбежал из своей квартиры в коридор и изо всей силы хлопнул дверью.

— О, злая, глупая, тупая тварь! — бормотал он, сжимая кулаки. — Связал же меня черт с тобой! Уф! Чтобы перекричать эту ведьму, надо быть пушкой!

Брыкович задыхался от негодования и злобы, и если бы теперь на пути, пока он ходил по длинным коридорам «Туниса», попалась ему какая-нибудь посудина или сонный коридорный, то он с наслаждением дал бы волю рукам, чтобы хоть на чем-нибудь сорвать свой гнев. Ему хотелось браниться, кричать, топать ногами… И судьба, точно понимая его настроение и желая подслужиться, послала ему навстречу неисправного плательщика, музыканта Халявкина, жильца 31-го номера. Халявкин стоял перед своей дверью и, сильно покачиваясь, тыкал ключом в замочную скважину. Он кряхтел, посылал кого-то

ко всем чертям; но ключ не слушался и всякий раз попадал не туда, куда нужно. Одною рукой он судорожно тыкал, в другой держал футляр со скрипкой. Брыкович налетел на него, как ястреб, и крикнул сердито:

— А, это вы? Послушайте, милостивый государь, когда же, наконец, вы уплатите за квартиру? Уж две недели, как вы не изволите платить, милостивый государь! Я велю не топить! Я вас выселю, милостивый государь, черт побери!

— Вы мне ме… мешаете… — ответил спокойно музыкант. — Аре… ревуар!

— Стыдитесь, господин Халявкин! — продолжал Брыкович. — Вы получаете сто двадцать рублей в месяц и могли бы исправно платить! Это недобросовестно, милостивый государь! Это подло в высшей степени!

Ключ, наконец, щелкнул, и дверь отворилась.

— Да-с, это нечестно! — продолжал Брыкович, входя за музыкантом в номер. — Предупреждаю вас, что если завтра вы не уплатите, то я завтра же подам мировому. Я вам покажу! Да не извольте бросать зажженные спички на пол, а то вы у меня тут пожару наделаете! Я не потерплю, чтобы у меня в номерах жили люди нетрезвого поведения.

Халявкин поглядел пьяными, веселыми глазка-

ми на Брыковича и ухмыльнулся.

— Ррешительно не понимаю, чего вы кипятитесь… — пробормотал он, закуривая папиросу и обжигая себе пальцы. — Не понимаю! Положим, я не плачу за квартиру; да, я не плачу, но вы-то тут при чем, скажите на милость? Какое вам дело? Вы тоже ничего не платите за квартиру, но ведь я же не пристаю к вам. Не платите, ну и бог с вами, — не нужно!

— То есть как же это так?

— Так… Хо… хозяин тут не вы, а ваша высокопочтеннейшая супруга… Вы тут… вы тут такой же жилец с тромбоном, как и прочие… Не ваши номера, стало быть, какая надобность вам беспокоиться? Берите с меня пример: ведь я не беспокоюсь? Вы за квартиру ни копейки не платите — и что же? Не платите — и не нужно. Я нисколько не беспокоюсь.

— Я вас не понимаю, милостивый государь! — пробормотал Брыкович и стал в позу человека оскорбленного, готового каждую минуту вступиться за свою честь.

— Впрочем, виноват! Я и забыл, что номера вы взяли в приданое… Виноват! Хотя, впрочем, если взглянуть с нравственной точки, — продолжал Халявкин, покачиваясь, — то вы все-таки не

должны кипятиться… Ведь они достались вам да… даром, за понюшку табаку… Они, ежели взглянуть широко, столько же ваши, сколько и мои… За что вы их при… присвоили? За то, что состоите супругом?.. Эка важность! Быть супругом вовсе не трудно. Батюшка мой, приведите ко мне сюда двенадцать дюжин жен, и я у всех буду мужем — бесплатно! Сделайте ваше такое одолжение!

Пьяная болтовня музыканта, по-видимому, кольнула Брыковича в самое больное место. Он покраснел и долго не знал, что ответить, потом подскочил к Халявкину и, со злобой глядя на него, изо всей силы стукнул кулаком по столу.

— Как вы смеете мне говорить это? — прошипел он. — Как вы смеете?

— Позвольте… — забормотал Халявкин, пятясь назад. — Это уж выходит fortissimo[204]. Не понимаю, чего вы обижаетесь! Я… я ведь это говорю не в обиду, а… в похвалу вам. Попадись мне дама с такими номерищами, так я с руками и ногами… сделайте такое одолжение!

— Но… но как вы смеете меня оскорблять? — крикнул Брыкович и опять стукнул кулаком по

---

[204] Примечания: 204
Очень сильно (итал.).

столу.

— Не понимаю! — пожал плечами Халявкин, уже не улыбаясь. — Впрочем, я пьян… может быть, и оскорбил. В таком случае простите, виноват! Мамочка, прости первую скрипку! Я вовсе не хотел обидеть…

— Это даже цинизм… — проговорил Брыкович, смягчившись от умильного тона Халявкина. — Есть вещи, о которых не говорят в такой форме…

— Ну, ну… не буду! Мамаша, не буду! Руку!

— Тем более что я не подавал повода… — продолжал Брыкович обиженным тоном, окончательно смягчившись, но руки не протянул. — Я не сделал вам ничего дурного.

— Действительно, не следовало бы по… поднимать этого щекотливого вопроса… Сболтнул спьяна и сдуру… Прости, мамочка! Действительно, скотина! Сейчас я намочу холодной водой голову и буду трезв.

— И без того мерзко, отвратительно живется, а тут вы еще с вашими оскорблениями! — говорил Брыкович, возбужденно шагая по номеру. — Никто не видит истины, и всякий думает и болтает, что хочет. Воображаю, что за глаза говорится тут в номерах! Воображаю! Правда, я не прав, я виноват: глупо с моей стороны было набрасываться

на вас в полночь из-за денег; виноват, но… надо же извинить, войти в положение, а… вы бросаете в лицо грязными намеками!

— Голубушка, да ведь пьян! Каюсь и чувствую. Честное слово, чувствую! Мамочка, и деньги отдам! Как только получу первого числа, так и отдам! Значит, мир и согласие?! Браво! Ах, душа моя, люблю образованных людей! Сам в консерва-то-серватории… не выговоришь, черт!.. учился…

Халявкин прослезился, поймал за рукав шагавшего Брыковича и поцеловал его в щеку.

— Эх, милый друг, пьян я, как курицын сын, а все понимаю! Мамаша, прикажи коридорному подать первой скрипке самовар! У вас тут такой закон, что после одиннадцати часов и по коридору не гуляй, и самовара не проси; а после театра страсть как чаю хочется!

Брыкович подавил пуговку звонка.

— Тимофей, подай господину Халявкину самовар! — сказал он явившемуся коридорному.

— Нельзя-с! — пробасил Тимофей. — Барыня не велели после одиннадцати часов самовар подавать.

— Так я тебе приказываю! — крикнул Брыкович, бледнея.

— Что ж тут приказывать, коли не велено. —

проворчал коридорный, выходя из номера. — Не велено, так и нельзя. Чего тут!..

Брыкович прикусил губу и отвернулся к окну.

— Положение-с! — вздохнул Халявкин. — М-да, нечего сказать… Ну, да меня конфузиться нечего, я ведь понимаю… всю душу насквозь. Знаем мы эту психологию. Что ж, поневоле будешь водку пить, коли чаю не дают! Выпьешь водочки, а?

Халявкин достал с окна водку, колбасу и расположился на диване, чтобы начать пить и закусывать. Брыкович печально глядел на пьянчугу и слушал его нескончаемую болтовню. Быть может, оттого, что при виде косматой головы, сороковушки и дешевой колбасы он вспомнил свое недавнее прошлое, когда он был также беден, но свободен, его лицо стало еще мрачнее, и захотелось выпить. Он подошел к столу, выпил рюмку и крякнул.

— Скверно живется! — сказал он и мотнул головой. — Мерзко! Вот вы меня сейчас оскорбили, коридорный оскорбил… и так без конца! А за что? Так, в сущности, ни за что…

После третьей Брыкович сел на диван и задумался, подперев руками голову, потом печально вздохнул и сказал:

— Ошибся! Ох, как ошибся! Продал я и моло-

дость, и карьеру, и принципы, — вот и мстит мне теперь жизнь. Отчаянно мстит!

От водки и печальных мыслей он стал очень бледен и, казалось, даже похудел. Он несколько раз в отчаянии хватал себя за голову и говорил: «О, что за жизнь, если бы ты знал!»

— А признайся, скажи по совести, — спросил он, глядя пристально в лицо Халявкину, — скажи по совести, как вообще… относятся ко мне тут? Что говорят студенты, которые живут в этих номерах? Небось, слыхал ведь…

— Слыхал…

— Что же?

— Ничего не говорят, а так… презирают.

Новые приятели больше уже ни о чем не говорили. Они разошлись только на рассвете, когда в коридоре стали топить печи.

— А ты ей ничего… не плати… — бормотал Брыкович, уходя. — Не плати ей ни копейки!.. Пусть…

Халявкин свалился на диван и, положив голову на футляр со скрипкой, громко захрапел.

В следующую полночь они опять сошлись…

Брыкович, вкусивший сладость дружеских возлияний, не пропускает уже ни одной ночи, и если не застает Халявкина, то заходит в другой ка-

кой-нибудь номер, где жалуется на судьбу и пьет, пьет и опять жалуется — и так каждую ночь.

Тссс!

Иван Егорович Краснухин, газетный сотрудник средней руки, возвращается домой поздно ночью нахмуренный, серьезный и как-то особенно сосредоточенный. Вид у него такой, точно он ждет обыска или замышляет самоубийство. Пошагав по своей комнате, он останавливается, взъерошивает волосы и говорит тоном Лаэрта, собирающегося мстить за свою сестру:

— Разбит, утомлен душой, на сердце гнетущая тоска, а ты изволь садиться и писать! И это называется жизнью?! Отчего еще никто не описал того мучительного разлада, который происходит в писателе, когда он грустен, но должен смешить толпу, или когда весел, а должен по заказу лить слезы? Я должен быть игрив, равнодушно-холоден, остроумен, но представьте, что меня гнетет тоска или, положим, я болен, у меня умирает ребенок, родит жена!

Говорит он это, потрясая кулаком и вращая глазами… Потом он идет в спальню и будит жену.

— Надя, — говорит он, — я сажусь писать… Пожалуйста, чтобы мне никто не мешал. Нельзя писать, если ревут дети, храпят кухарки… Рас-

порядись также, чтобы был чай и… бифштекс, что ли… Ты знаешь, я без чая не могу писать… Чай — это единственное, что подкрепляет меня в работе.

Вернувшись к себе в комнату, он снимает сюртук, жилетку и сапоги. Разоблачается он медленно, затем, придав своему лицу выражение оскорбленной невинности, садится за письменный стол.

На столе ничего случайного, будничного, но все, каждая самомалейшая безделушка, носит на себе характер обдуманности и строгой программы. Бюстики и карточки великих писателей, куча черновых рукописей, том Белинского с загнутой страницей, затылочная кость вместо пепельницы, газетный лист, сложенный небрежно, но так, чтобы видно было место, очерченное синим карандашом, с крупной надписью на полях: «Подло!» Тут же с десяток свежеочиненных карандашей и ручек с новыми перьями, очевидно, положенных для того, чтобы внешние причины и случайности, вроде порчи пера, не могли прерывать ни на секунду свободного, творческого полета…

Краснухин откидывается на спинку кресла и, закрыв глаза, погружается в обдумывание темы.

Ему слышно, как жена шлепает туфлями и колет лучину для самовара. Она еще не совсем проснулась, это видно из того, что самоварная крышка и нож то и дело валятся из рук. Скоро доносится шипение самовара и поджариваемого мяса.

Жена не перестает колоть лучину и стучать около печки заслонками, вьюшками и дверцами. Вдруг Краснухин вздрагивает, открывает испуганно глаза и начинает нюхать воздух.

— Боже мой, угар! — стонет он, страдальчески морща лицо. — Угар! Эта несносная женщина задалась целью отравить меня! Ну, скажите же, бога ради, могу ли я писать при такой обстановке?

Он бежит в кухню и разражается там драматическим воплем. Когда, немного погодя, жена, осторожно ступая на цыпочках, приносит ему стакан чаю, он по-прежнему сидит в кресле, с закрытыми глазами, и погружен в свою тему. Он не шевелится, слегка барабанит по лбу двумя пальцами и делает вид, что не слышит присутствия жены… На лице его по-прежнему выражение оскорбленной невинности.

Как девочка, которой подарили дорогой веер, он, прежде чем написать заглавие, долго кокетничает перед самим собой, рисуется, ломается… Он сжимает себе виски, то корчится и поджи-

мает под кресло ноги, точно от боли, то томно жмурится, как кот на диване… Наконец, не без колебания, протягивает он к чернильнице руку и с таким выражением, как будто подписывает смертный приговор, делает заглавие…

— Мама, дай воды! — слышит он голос сына.

— Тссс! — говорит мать. — Папа пишет! Тссс…

Папа пишет быстро-быстро, без помарок и остановок, едва успевая перелистывать страницы. Бюсты и портреты знаменитых писателей глядят на его быстро бегающее перо, не шевелятся и, кажется, думают: «Эка, брат, как ты насобачился!»

— Тссс! — скрипит перо.



— Тссс! — издают писатели, когда вздрагивают вместе со столом от толчка коленом.

Вдруг Краснухин выпрямляется, кладет перо и прислушивается… Он слышит ровный, монотонный шепот… Это в соседней комнате жилец, Фома Николаевич, молится богу.

— Послушайте! — кричит Краснухин. — Не угодно ли вам потише молиться? Вы мешаете

мне писать!

— Виноват-с… — робко отвечает Фома Николаевич.

— Тссс!

Исписав пять страничек, Краснухин потягивается и глядит на часы.

— Боже, уже три часа! — стонет он. — Люди спят, а я… один я должен работать!

Разбитый, утомленный, склонив голову набок, он идет в спальню, будит жену и говорит томным голосом:

— Надя, дай мне еще чаю! Я… ослабел!

Пишет он до четырех часов и охотно писал бы до шести, если бы не иссякла тема. Кокетничанье и ломанье перед самим собой, перед неодушевленными предметами, вдали от нескромного, наблюдающего ока, деспотизм и тирания над маленьким муравейником, брошенным судьбою под его власть, составляют соль и мед его существования. И как этот деспот здесь, дома, не похож на того маленького, приниженного, бессловесного, бездарного человечка, которого мы привыкли видеть в редакциях!

— Я так утомлен, что едва ли усну… — говорит он, ложась спать. — Наша работа, эта проклятая, неблагодарная, каторжная работа, утомляет не

так тело, как душу… Мне бы бромистого калия принять… Ох, видит бог, если б не семья, бросил бы я эту работу… Писать по заказу! Это ужасно!

Спит он до двенадцати или до часу дня, спит крепко и здорово… Ах, как бы еще он спал, какие бы видел сны, как бы развернулся, если бы стал известным писателем, редактором или хотя бы издателем!

— Он всю ночь писал! — шепчет жена, делая испуганное лицо. — Тссс!

Никто не смеет ни говорить, ни ходить, ни стучать. Его сон — святыня, за оскорбление которой дорого поплатится виновный!

— Тссс! — носится по квартире. — Тссс!

Драматург

В кабинет доктора входит тусклая личность с матовым взглядом и катаральной физиономией. Судя по размерам носа и мрачно-меланхолическому выражению лица, личность не чужда спиртных напитков, хронического насморка и философии.

Она садится в кресло и жалуется на одышку, отрыжку, изжогу, меланхолию и противный вкус во рту.

— Чем вы занимаетесь? — спрашивает доктор.

— Я — драматург! — заявляет личность не без гордости.

Доктор мгновенно проникается уважением к пациенту и почтительно улыбается.

— Ах, это такая редкая специальность… — бормочет он. — Тут такая масса чисто мозговой, нервной работы!

— По-ла-гаю…

— Писатели так редки… их жизнь не может походить на жизнь обыкновенных людей… а потому я просил бы вас описать мне ваш образ жизни, ваши занятия, привычки, обстановку… вообще, какой ценой достается вам ваша дея-

тельность…

— Извольте-с… — соглашается драматург. — Встаю я, сударь мой, часов этак в двенадцать, а иногда и раньше… Вставши, сейчас же выкуриваю папиросу и выпиваю две рюмки водки, а иногда и три… Иногда, впрочем, и четыре, судя по тому, сколько выпил накануне… Так-с… Если же я не выпиваю, то у меня начинает рябить в глазах и стучать в голове.

— Вероятно, вы вообще много пьете?

— Не-ет, где же много? Если пью натощак, то это просто зависит, как я полагаю, от нервов… Потом, одевшись, я иду в «Ливорно» или к Саврасенкову, где завтракаю… Аппетит вообще у меня плохой… Съедаю я за завтраком самую малость: котлетку или полпорции осетрины с хреном. Нарочно выпьешь рюмки три-четыре, а все аппетиту нет… После завтрака пиво или вино, сообразно с финансами…

— Ну, а потом?

— Потом иду куда-нибудь в портерную, из портерной опять в «Ливорно» на бильярде играть… Проходишь этак часов до шести и едешь обедать… Обедаю я мерзко… Верите ли, иной раз выпьешь рюмок шесть-семь, а аппетиту — ни-ни! Завидно бывает на людей глядеть: все суп едят, а я видеть

этого супа не могу и вместо того, чтоб есть, пиво пью… После обеда иду в театр…

— Гм… Театр, вероятно, вас волнует?

— Ужжасно! Волнуюсь и раздражаюсь, а тут еще приятели то и дело: выпьем да выпьем! С одним водку выпьем, с другим красного, с третьим пива, ан глядь — к третьему действию ты уж и на ногах еле стоишь… Черт их знает, эти нервы… После театра в Салон едешь или в маскарад к Рррродону… Из Салона или маскарада, сами понимаете, нескоро вырвешься… Коли утром дома проснулся, то и за это говори спасибо… Иной раз по целым неделям дома не ночуешь…

— Гм… жизнь наблюдаете?

— Нну, да… Раз даже до того расстроились нервы, что целый месяц дома не жил и даже адрес свой позабыл… Пришлось в адресном столе справляться… Вот, как видите, почти каждый день так!

— Ну-с, а пьесы когда вы пишете?

— Пьесы? Как вам сказать? — пожимает плечами драматург. — Все зависит от обстоятельств…

— Потрудитесь описать мне самый процесс вашей работы…

— Прежде всего, сударь мой, мне в руки случайно или через приятелей — самому-то мне некогда

следить! — попадается какая-нибудь французская или немецкая штучка. Если она годится, то я несу ее к сестре или нанимаю целковых за пять студента… Те переводят, а я, понимаете ли, подтасовываю под русские нравы: вместо иностранных фамилий ставлю русские и прочее… Вот и все… Но трудно! Ох, как трудно!

Тусклая личность закатывает глаза и вздыхает… Доктор начинает его выстукивать, выслушивать и ощупывать…

Оратор

В одно прекрасное утро хоронили коллежского асессора Кирилла Ивановича Вавилонова, умершего от двух болезней, столь распространенных в нашем отечестве: от злой жены и алкоголизма. Когда погребальная процессия двинулась от церкви к кладбищу, один из сослуживцев покойного, некто Поплавский, сел на извозчика и поскакал к своему приятелю Григорию Петровичу Запойкину, человеку молодому, но уже достаточно популярному. Запойкин, как известно многим читателям, обладает редким талантом произносить экспромтом свадебные, юбилейные и похоронные речи. Он может говорить когда угодно: спросонок, натощак, в мертвецки пьяном виде, в горячке. Речь его течет гладко, ровно, как вода из водосточной трубы, и обильно; жалких слов в его ораторском словаре гораздо больше, чем в любом трактире тараканов. Говорит он всегда красноречиво и длинно, так что иногда, в особенности на купеческих свадьбах, чтобы остановить его, приходится прибегать к содействию полиции.

— А я, братец, к тебе! — начал Поплавский, за-

став его дома. — Сию же минуту одевайся и едем. Умер один из наших, сейчас его на тот свет отправляем, так надо, братец, сказать на прощанье какую-нибудь чепуховину… На тебя вся надежда. Умри кто-нибудь из маленьких, мы не стали бы тебя беспокоить, а то ведь секретарь… канцелярский столп, некоторым образом. Неловко такую шишку без речи хоронить.

— А, секретарь! — зевнул Запойкин. — Это пьяница-то?

— Да, пьяница. Блины будут, закуска… на извозчика получишь. Поедем, душа! Разведи там, на могиле, какую-нибудь мантифолию поцицеронистей, а уж какое спасибо получишь!

Запойкин охотно согласился. Он взъерошил волосы, напустил на лицо меланхолию и вышел с Поплавским на улицу.

— Знаю я вашего секретаря, — сказал он, садясь на извозчика. — Пройдоха и бестия, царство ему небесное, каких мало.

— Ну, не годится, Гриша, ругать покойников.

— Оно конечно, aut mortuis nihil bene[205], но все-таки он жулик.

Приятели догнали похоронную процессию и

---

[205] Примечания: 205

О покойниках либо хорошо, либо ничего (лат.).

**(в издании ошибка: «О покойкиках…») — прим. изготовителя электронного файла*

присоединились к ней. Покойника несли медленно, так что до кладбища они успели раза три забежать в трактир и пропустить за упокой души по маленькой.

На кладбище была отслужена лития. Теща, жена и свояченица, покорные обычаю, много плакали. Когда гроб опускали в могилу, жена даже крикнула: «Пустите меня к нему!», но в могилу за мужем не пошла, вероятно, вспомнив о пенсии. Дождавшись, когда все утихло, Запойкин выступил вперед, обвел всех глазами и начал:

— Верить ли глазам и слуху? Не страшный ли сон сей гроб, эти заплаканные лица, стоны и вопли? Увы, это не сон, и зрение не обманывает нас! Тот, которого мы еще так недавно видели столь бодрым, столь юношески свежим и чистым, который так недавно на наших глазах, наподобие неутомимой пчелы, носил свой мед в общий улей государственного благоустройства, тот, который… этот самый обратился теперь в прах, в вещественный мираж. Неумолимая смерть наложила на него коснеющую руку в то время, когда он, несмотря на свой согбенный возраст, был еще полон расцвета сил и лучезарных надежд. Незаменимая потеря! Кто заменит нам его? Хороших чиновников у нас много, но Прокофий

Осипыч был единственный. Он до глубины души был предан своему честному долгу, не щадил сил, не спал ночей, был бескорыстен, неподкупен. Как презирал он тех, кто старался в ущерб общим интересам подкупить его, кто соблазнительными благами жизни пытался вовлечь его в измену своему долгу! Да, на наших глазах Прокофий Осипыч раздавал свое небольшое жалованье своим беднейшим товарищам, и вы сейчас сами слышали вопли вдов и сирот, живших его подаяниями. Преданный служебному долгу и добрым делам, он не знал радостей в жизни и даже отказал себе в счастии семейного бытия; вам известно, что до конца дней своих он был холост! А кто нам заменит его как товарища? Как сейчас вижу бритое, умиленное лицо, обращенное к нам с доброй улыбкой, как сейчас слышу его мягкий, нежно-дружеский голос. Мир праху твоему, Прокофий Осипыч! Покойся, честный, благородный труженик!

Запойкин продолжал, а слушатели стали шушукаться. Речь понравилась всем, выжала несколько слез, но многое показалось в ней странным. Во-первых, непонятно было, почему оратор называл покойника Прокофием Осиповичем, в то время как того звали Кириллом Ивановичем. Во-

вторых, всем известно было, что покойный всю жизнь воевал со своей законной женой, а стало быть не мог называться холостым; в-третьих, у него была густая рыжая борода, отродясь он не брился, а потому непонятно, чего ради оратор назвал его лицо бритым. Слушатели недоумевали, переглядывались и пожимали плечами.



— Прокофий Осипыч! — продолжал оратор, вдохновенно глядя в могилу. — Твое лицо было некрасиво, даже безобразно, ты был угрюм и суров, но все мы знали, что под сею видимой оболочкой бьется честное, дружеское сердце!

Скоро слушатели стали замечать нечто странное и в самом ораторе. Он уставился в одну точку, беспокойно задвигался и стал сам пожимать плечами. Вдруг он умолк, разинул удивленно рот и обернулся к Поплавскому.

— Послушай, он жив! — сказал он, глядя с ужасом.

— Кто жив!

— Да Прокофий Осипыч! Вон он стоит около памятника!

— Он и не умирал! Умер Кирилл Иваныч!

— Да ведь ты же сам сказал, что у вас секретарь помер!

— Кирилл Иваныч и был секретарь. Ты, чудак, перепутал! Прокофий Осипыч, это верно, был у нас прежде секретарем, но его два года назад во второе отделение перевели столоначальником.

— А, черт вас разберет!

— Что же остановился? Продолжай, неловко!

Запойкин обернулся к могиле и с прежним красноречием продолжал прерванную речь. У

памятника, действительно, стоял Прокофий Осипыч, старый чиновник с бритой физиономией. Он глядел на оратора и сердито хмурился.

— И как это тебя угораздило! — смеялись чиновники, когда вместе с Запойкиным возвращались с похорон. — Живого человека похоронил.

— Нехорошо-с, молодой человек! — ворчал Прокофий Осипыч. — Ваша речь, может быть, годится для покойника, но в отношении живого она — одна насмешка-с!

Помилуйте, что вы говорили? Бескорыстен, неподкупен, взяток не берет! Ведь про живого человека это можно говорить только в насмешку-с. И никто вас, сударь, не просил распространяться про мое лицо. Некрасив, безобразен, так тому и быть, но зачем всенародно мою физиономию на вид выставлять? Обидно-с!

Произведение искусства

Держа под мышкой что-то, завернутое в 223-й нумер «Биржевых ведомостей», Саша Смирнов, единственный сын у матери, сделал кислое лицо и вошел в кабинет доктора Кошелькова.

— А, милый юноша! — встретил его доктор. — Ну, как мы себя чувствуем? Что скажете хорошенького?

Саша заморгал глазами, приложил руку к сердцу и сказал взволнованным голосом:

— Кланялась вам, Иван Николаевич, мамаша и велела благодарить вас… Я единственный сын у матери, и вы спасли мне жизнь… вылечили от опасной болезни, и… мы оба не знаем, как благодарить вас.

— Полно, юноша! — перебил доктор, раскисая от удовольствия. — Я сделал только то, что всякий другой сделал бы на моем месте.

— Я единственный сын у своей матери… Мы люди бедные и, конечно, не можем заплатить вам за ваш труд, и… нам очень совестно, доктор, хотя, впрочем, мамаша и я… единственный сын у матери, убедительно просим вас принять в знак нашей благодарности… вот эту вещь, которая…

Вещь очень дорогая, из старинной бронзы… редкое произведение искусства.

— Напрасно! — поморщился доктор. — Ну, к чему это?

— Нет, уж вы, пожалуйста, не отказывайтесь, — продолжал бормотать Саша, развертывая сверток. — Вы обидите отказом и меня и мамашу… Вещь очень хорошая… из старинной бронзы… Досталась она нам от покойного папаши, и мы хранили ее, как дорогую память… Мой папаша скупал старинную бронзу и продавал ее любителям… Теперь мамаша и я этим же занимаемся…

Саша развернул вещь и торжественно поставил ее на стол. Это был невысокий канделябр старой бронзы, художественной работы. Изображал он группу: на пьедестале стояли две женские фигуры в костюмах Евы и в позах, для описания которых у меня не хватает ни смелости, ни подобающего темперамента. Фигуры кокетливо улыбались и вообще имели такой вид, что, кажется, если бы не обязанность поддерживать подсвечник, то они спрыгнули бы с пьедестала и устроили бы в комнате такой дебош, о котором, читатель, даже и думать неприлично.

Поглядев на подарок, доктор медленно почесал за ухом, крякнул и нерешительно высморкался.

— Да, вещь, действительно, прекрасная, — пробормотал он, — но… как бы выразиться, не того… нелитературна слишком… Это уж не декольте, а черт знает что…

— То есть почему же?

— Сам змий-искуситель не мог бы придумать ничего сквернее. Ведь поставить на столе такую фантасмагорию значит всю квартиру загадить!

— Как вы странно, доктор, смотрите на искусство! — обиделся Саша. — Ведь это художественная вещь, вы поглядите! Столько красоты и изящества, что душу наполняет благоговейное чувство и к горлу подступают слезы! Когда видишь такую красоту, то забываешь все земное… Вы поглядите, сколько движения, какая масса воздуху, экспрессии!

— Все это я отлично понимаю, милый мой, — перебил доктор, — но ведь я человек семейный, у меня тут детишки бегают, дамы бывают.

— Конечно, если смотреть с точки зрения толпы, — сказал Саша, — то, конечно, эта высокохудожественная вещь представляется в ином свете… Но, доктор, будьте выше толпы, тем более что своим отказом вы глубоко огорчите и меня и мамашу. Я единственный сын у матери… вы спасли мне жизнь… Мы отдаем вам самую дорогую

для нас вещь, и… и я жалею только, что у вас нет пары для этого канделябра…

— Спасибо, голубчик, я очень благодарен… Кланяйтесь мамаше, но, ей-богу, сами посудите, у меня тут детишки бегают, дамы бывают… Ну, впрочем, пусть остается! Ведь вам не втолкуешь.

— И толковать нечего, — обрадовался Саша. — Этот канделябр вы тут поставьте, вот около вазы. Эка жалость, что пары нет! Такая жалость! Ну, прощайте, доктор.

По уходе Саши доктор долго глядел на канделябр, чесал у себя за ухом и размышлял.

«Вещь превосходная, спора нет, — думал он, — и бросать ее жалко… Оставить же у себя невозможно… Гм!.. Вот задача! Кому бы ее подарить или пожертвовать?»

После долгого размышления он вспомнил про своего хорошего приятеля, адвоката Ухова, которому был должен за ведение дела.

— И отлично, — решил доктор. — Ему, как приятелю, неловко взять с меня деньги, и будет очень прилично, если я презентую ему вещь. Отвезу-ка я ему эту чертовщину! Кстати же он холост и легкомыслен…

Не откладывая дела в дальний ящик, доктор оделся, взял канделябр и поехал к Ухову.

— Здорово, приятель! — сказал он, застав адвоката дома. — Я к тебе… Пришел благодарить, братец, за твои труды… Денег не хочешь брать, так возьми хоть эту вот вещицу… вот, братец ты мой… Вещица — роскошь!

Увидев вещицу, адвокат пришел в неописанный восторг.

— Вот так штука! — захохотал он. — Ах, черт подери его совсем, придумают же, черти, такую штуку! Чудесно! Восхитительно! Где ты достал такую прелесть?

Излив свой восторг, адвокат пугливо поглядел на двери и сказал:

— Только ты, брат, убери свой подарок. Я не возьму…

— Почему? — испугался доктор.

— А потому… У меня бывают тут мать, клиенты… да и от прислуги совестно.

— Ни-ни-ни… Не смеешь отказываться! — замахал руками доктор. — Это свинство с твоей стороны! Вещь художественная… сколько движения… экспрессии… И говорить не хочу! Обидишь!

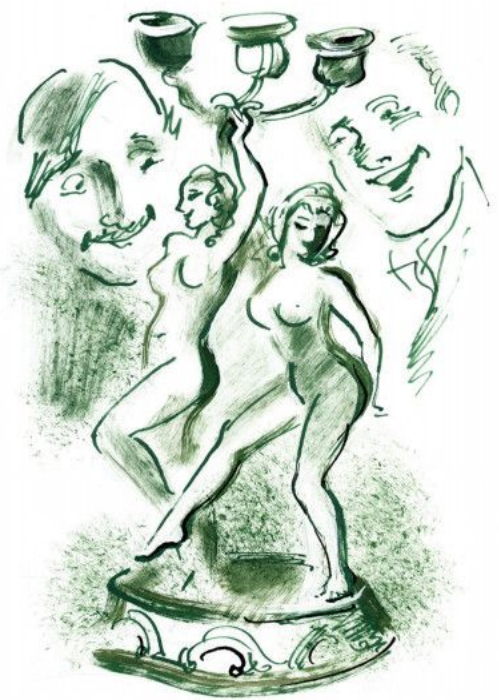
— Хоть бы замазано было, или фиговые листочки нацепить…

Но доктор еще пуще замахал руками, выскочил из квартиры Ухова и, довольный, что сумел сбыть

с рук подарок, поехал домой…

По уходе его адвокат осмотрел канделябр, потрогал его со всех сторон пальцами и, подобно доктору, долго ломал голову над вопросом: что делать с подарком?

«Вещь прекрасная, — рассуждал он, — и бросить жалко, и держать у себя неприлично. Самое лучшее — это подарить кому-нибудь… Вот что, поднесу-ка я этот канделябр сегодня вечером комику Шашкину. Каналья любит подобные штуки, да и кстати же у него сегодня бенефис…»



Сказано — сделано. Вечером тщательно завернутый канделябр был поднесен комику Шашкину. Весь вечер уборную комика брали приступом мужчины, приходившие полюбоваться на подарок; все время в уборной стоял восторженный гул и смех, похожий на лошадиное ржанье.

Если какая-нибудь из актрис подходила к двери и спрашивала: «Можно войти?», то тотчас же слышался хриплый голос комика:

— Нет, нет, матушка! Я не одет!

После спектакля комик пожимал плечами, разводил руками и говорил:

— Ну, куда я эту гадость дену? Ведь я на частной квартире живу! У меня артистки бывают! Это не фотография, в стол не спрячешь!

— А вы, сударь, продайте, — посоветовал парикмахер, разоблачая комика. — Тут в предместье живет старуха, которая покупает старинную бронзу… Поезжайте и спросите Смирнову… Ее всякий знает.

Комик послушался. Дня через два доктор Кошельков сидел у себя в кабинете и, приложив палец ко лбу, думал о желчных кислотах. Вдруг отворилась дверь и в кабинет влетел Саша Смирнов. Он улыбался, сиял и вся его фигура дышала счастьем… В руках он держал что-то завернутое в газету.

— Доктор! — начал он, задыхаясь. — Представьте мою радость! На ваше счастье, нам удалось приобрести пару для вашего канделябра!.. Мамаша так счастлива… Я единственный сын у матери… вы спасли мне жизнь…

И Саша, дрожа от чувства благодарности, поставил перед доктором канделябр. Доктор разинул рот, хотел было что-то сказать, но не сказал ничего: у него отнялся язык.

Кто виноват?

Мой дядя Петр Демьяныч, сухой, желчный коллежский советник, очень похожий на несвежего копченого сига, в которого воткнута палка, как-то, собираясь в гимназию, где он преподавал латинский язык, заметил, что переплет его синтаксиса изъеден мышами.

— Послушай, Прасковья, — сказал он, входя в кухню и обращаясь к кухарке. — Откуда это у нас мыши завелись? Помилуй, вчера цилиндр погрызли, сегодня синтаксис обезобразили… Этак, пожалуй, начнут одежу есть!

— А что ж мне делать? Не я их завела! — ответила Прасковья.

— Надо же что-нибудь сделать! Кошку бы ты завела, что ли…

— Кошка есть; да куда она годится?

И Прасковья указала на угол, где около веника, свернувшись калачиком, дремал худой, как щепка, белый котенок.

— Отчего же он не годится? — спросил Петр Демьяныч.

— Молодой еще и глупый. Почитай, ему еще и двух месяцев нет.

— Гм… Так его приучать надо! Чем так лежать, он лучше бы приучался.

Сказавши это, Петр Демьяныч озабоченно вздохнул и вышел из кухни. Котенок приподнял голову, лениво поглядел ему вслед и опять закрыл глаза.

Котенок не спал и думал. О чем? Не знакомый с действительной жизнью, не имея никакого запаса впечатлений, он мог мыслить только инстинктивно и рисовать себе жизнь по тем представлениям, которые получил в наследство вместе с плотью и кровью от своих прародителей тигров (зри Дарвина). Мысли его имели характер дремотных грез. Его кошачье воображение рисовало нечто вроде Аравийской пустыни, по которой носились тени, очень похожие на Прасковью, печку, на веник. Среди теней вдруг появлялось блюдечко с молоком; у блюдечка вырастали лапки, оно начинало двигаться и выказывать поползновение к бегству; котенок делал прыжок и, замирая от кровожадного сладострастия, вонзал в него когти. Когда блюдечко исчезало в тумане, появлялся кусок мяса, оброненный Прасковьей; мясо с трусливым писком бежало куда-то в сторону, но котенок делал прыжок и вонзал когти. Все, что ни мерещилось

молодому мечтателю, имело своим исходным пунктом прыжки, когти и зубы. Чужая душа — потемки, а кошачья и подавно, но насколько только что описанные картины близки к истине, видно из следующего факта: предаваясь дремотным грезам, котенок вдруг вскочил, поглядел сверкающими глазами на Прасковью, взъерошил шерсть и, сделав прыжок, вонзил когти в кухаркин подол. Очевидно, он родился мышеловом, вполне достойным своих кровожадных предков. Судьба предназначала его быть грозою подвалов, кладовых и закромов, и если б не воспитание… Впрочем, не будем забегать вперед.

Возвращаясь из гимназии, Петр Демьяныч зашел в мелочную лавку и купил за пятиалтынный мышеловку. За обедом он нацепил на крючок кусочек котлеты и поставил западню под диван, где сваливались ученические упражнения, употреблявшиеся Прасковьей на хозяйственные надобности. Ровно в шесть часов вечера, когда почтенный латинист сидел за столом и поправлял ученические тетрадки, под диваном вдруг раздалось «хлоп!», и такое громкое, что мой дядюшка вздрогнул и выронил перо. Немедля он пошел к дивану и достал мышеловку. Маленькая чистенькая мышь, величиною с наперсток, обнюхивала

проволоку и дрожала от страха.



— Ага-а! — пробормотал Петр Демьяныч и так злорадно поглядел на мышь, как будто собирался поставить ей единицу. — Пойма-а-алась, по-одлая! Постой же, я покажу тебе, как есть синтаксис!

Наглядевшись на свою жертву, Петр Демьяныч поставил мышеловку на пол и крикнул:

— Прасковья, мышь поймалась! Неси-ка сюда котенка!

— Сича-ас! — отозвалась Прасковья и через минуту вошла, держа на руках потомка тигров.

— И отлично! — забормотал Петр Демьяныч, потирая руки. — Мы его приучать будем… Ставь его против мышеловки… Вот так… Дай ему понюхать и поглядеть… Вот так…

Котенок удивленно поглядел на дядю, на кресла, с недоумением понюхал мышеловку, потом, испугавшись, вероятно, яркого лампового света и внимания, на него направленного, рванулся и в ужасе побежал к двери.

— Стой! — крикнул дядя, хватая его за хвост. — Стой, подлец этакий! Мыши, дурак, испугался! Гляди: это мышь! Гляди же! Ну? Гляди, тебе говорят!

Петр Демьяныч взял котенка за шею и потыкал его мордой в мышеловку.

— Гляди, стервец! Возьми-ка его, Прасковья, и держи… Держи против дверцы… Когда я выпущу мышь, ты его тотчас же выпускай… Слышишь? Тотчас же и выпускай! Ну?

Дядюшка придал своему лицу таинственное выражение и приподнял дверцу… Мышь нерешительно вышла, понюхала воздух и стрелой полетела под диван… Выпущенный котенок задрал вверх хвост и побежал под стол.

— Ушла! Ушла! — закричал Петр Демьяныч, делая свирепое лицо. — Где он, мерзавец? Под столом? Постой же…

Дядюшка вытащил котенка из-под стола и потряс его в воздухе…

— Каналья этакая. — забормотал он, трепля его за ухо. — Вот тебе! Вот тебе! Будешь другой раз зевать? Ккканалья.



На другой день Прасковья опять услышала возглас:

— Прасковья, мышь поймалась! Неси-ка сюда котенка!..

Котенок после вчерашнего оскорбления забился под печку и не выходил оттуда всю ночь. Когда Прасковья вытащила его и, принеся за шиворот в кабинет, поставила перед мышеловкой, он задрожал всем телом и жалобно замяукал.

— Ну, дай ему сначала освоиться! — командовал Петр Демьяныч. — Пусть глядит и нюхает. Гляди и приучайся! Стой, чтоб ты издох! — крикнул он,

заметив, как котенок попятился от мышеловки. — Выпорю! Дерни-ка его за ухо! Вот так… Ну, теперь ставь против дверцы…

Дядюшка медленно приподнял дверцу… Мышь юркнула под самым носом котенка, ударилась о руку Прасковьи и побежала под шкаф, котенок же, почувствовав себя на свободе, сделал отчаянный прыжок и забился под диван.

— Другую мышь упустил! — заорал Петр Демьяныч. — Какая же это кошка?! Это гадость, дрянь! Пороть! Около мышеловки пороть!

Когда была поймана третья мышь, котенок при виде мышеловки и ее обитателя затрясся всем телом и поцарапал руки Прасковьи… После четвертой мыши дядюшка вышел из себя, швырнул ногой котенка и сказал:

— Убери эту гадость! Чтоб сегодня же его не было в доме! Брось куда-нибудь! Ни к черту не годится!

Прошел год. Тощий и хилый котенок обратился в солидного и рассудительного кота. Однажды, пробираясь задворками, он шел на любовное свидание. Будучи уже близко у цели, он вдруг услыхал шорох, а вслед за этим увидел мышь, которая от водопойного корыта бежала к конюшне… Мой герой ощетинился, согнул дугой

спину, зашипел и, задрожав всем телом, малодушно пустился в бегство.

Увы! Иногда и я чувствую себя в смешном положении бегущего кота. Подобно котенку, в свое время я имел честь учиться у дядюшки латинскому языку. Теперь, когда мне приходится видеть какое-нибудь произведение классической древности, то вместо того, чтоб жадно восторгаться, я начинаю вспоминать ut consecutivum, неправильные глаголы, желто-серое лицо дядюшки, ablativus absolutus… бледнею, волосы мои становятся дыбом, и, подобно коту, я ударяюсь в постыдное бегство.

Человек
(Немножко философии)

Высокий стройный брюнет, молодой, но уже достаточно поживший, в черном фраке и белоснежном галстуке, стоял у двери и не без грусти смотрел на залу, полную ослепительных огней и вальсирующих пар.

«Тяжело и скучно быть человеком! — думал он. — Человек — это раб не только страстей, но и своих ближних. Да, раб! Я раб этой пестрой, веселящейся толпы, которая платит мне тем, что не замечает меня. Ее воля, ее ничтожные прихоти сковывают меня по рукам и ногам, как удав своим взглядом сковывает кролика. Труда я не боюсь, служить рад, но прислуживаться тошно! И, собственно, зачем я здесь? Чему служу? Эта вечная возня с цветами, с шампанским, которая сбивает меня с ног, с дамами и их мороженым... невыносимо!!! Нет, ужасна ты, доля человека! О, как я буду счастлив, когда перестану быть человеком!»

Не знаю, до чего бы еще додумался молодой пессимист, если бы к нему не подошла девушка

замечательной красоты. Лицо молодой красавицы горело румянцем и дышало решимостью. Она провела перчаткой по своему мраморному лбу и сказала голосом, который прозвучал, как мелодия:

— Человек, дайте мне воды!

Человек сделал почтительное лицо, рванулся с места и побежал.

То была она!

— Расскажите нам что-нибудь, Петр Иванович! — сказали девицы.

Полковник покрутил свой седой ус, крякнул и начал:

«Это было в 1843 году, когда наш полк стоял под Ченстоховом. А надо вам заметить, сударыни мои, зима в том году стояла лютая, так что не проходило ни одного дня, чтобы часовые не отмораживали себе носов или вьюга не засыпала бы снегом дорог. Трескучий морозище как стал в конце октября, так и продержался вплоть до самого апреля. В те поры, надо вам заметить, я не выглядел таким старым, прокопченным чубуком, как теперь, а был, можете себе представить, молодец-молодцом, кровь с молоком, красавец-мужчина, одним словом. Франтил я, как павлин, сорил деньгами направо и налево и закручивал свои усы, как ни один прапорщик в свете. Бывало, стоило мне только моргнуть глазом, звякнуть шпорой и крутнуть ус — и самая гордая красавица обращалась в послушного ягненка. Жаден я был до женщин, как паук до мух, и если бы, сударыни мои, я стал сейчас перечис-

лять вам полячек и жидовочек, которые в свое время висли на моей шее, то, смею вас уверить, в математике не хватило бы чисел… Прибавьте ко всему этому, что я состоял полковым адъютантом, отлично танцевал мазурку и был женат на прехорошенькой женщине, упокой господи ее душу. А какой я был сорванец, буйная головушка, вы и представить себе не можете. Если в уезде случалась какая-нибудь амурная кувырколлегия, если кто-нибудь вырывал жиду пейсы или бил по мордасам шляхтича, то так и знали, что это подпоручик Вывертов натворил.

В качестве адъютанта мне много приходилось рыскать по уезду. То я ездил овес или сено покупать, то продавал жидам и панам бракованных лошадей, а чаще всего, сударыни мои, под видом службы, скакал к панночкам на рандеву или к богатым помещикам поиграть в картишки. В ночь под Рождество, как теперь помню, я ехал из Ченстохова в деревню Шевелки, куда послали меня по служебным надобностям. Погода была, я вам доложу, нестерпимая… Мороз трещал и сердился, так что даже лошади крякали, а я и мой возница в какие-нибудь полчаса обратились в две сосульки… С морозом еще можно мириться, куда ни шло, но представьте себе, на полдороге

вдруг поднялась метель. Белый саван закружился, завертелся, как черт перед заутреней, ветер застонал, точно у него жену отняли, дорога исчезла… Не больше как в десять минут меня, возницу и лошадей облепило снегом.

— Ваше благородие, мы с дороги сбились! — говорит возница.

— Ах, черт возьми! Что же ты, болван, глядел? Ну, поезжай прямо, авось, наткнемся на жилье!

Ну-с, ехали мы, ехали, кружились-кружились, и этак к полночи наши кони уперлись в ворота имения, как теперь помню, графа Боядловского, богатого поляка. Поляки и жиды для меня все равно что хрен после обеда, но, надо правду сказать, шляхта гостеприимный народ и нет горячей женщин, как панночки…

Нас впустили… Сам граф Боядловский жил в ту пору в Париже, и нас принял его управляющий, поляк Казимир Хапцинский. Помню, не прошло и часа, как я уже сидел во флигеле управляющего, миндальничал с его женой, пил и играл в карты. Выиграв пять червонцев и напившись, я попросился спать. За неимением места во флигеле, мне отвели комнату в графских хоромах.

— Вы не боитесь привидений? — спросил управляющий, вводя меня в небольшую комнату,

прилегающую к громадной пустой зале, полной холода и потемок.

— А разве тут есть привидения? — спросил я, слушая, как глухое эхо повторяет мои слова и шаги.

— Не знаю, — засмеялся поляк, — но мне кажется, что это место самое подходящее для привидений и нечистых духов.

Я хорошо заложил за галстук и был пьян, как сорок тысяч сапожников, но, признаться, от таких слов меня обдало холодком. Черт побери, лучше сотня черкесов, чем одно привидение! Но делать было нечего, я разделся и лег… Моя свечка освещала стены еле-еле, а на стенах, можете себе представить, портреты предков, один страшнее другого, старинное оружие, охотничьи рога и прочая фантасмагория… Тишина стояла, как в могиле, только в соседней зале шуршали мыши и потрескивала рассохшаяся мебель. А за окном творилось что-то адское… Ветер отпевал кого-то, деревья гнулись с воем и плачем; какая-то чертовщинка, должно быть, ставня, жалобно скрипела и стучала по оконной раме. Прибавьте ко всему этому, что у меня кружилась голова, а с головой и весь мир… Когда я закрывал глаза, мне казалось, что моя кровать носилась по всему

пустому дому и играла в чехарду с духами. Чтобы уменьшить свой страх, я первым долгом потушил свечу, так как пустующие комнаты при свете гораздо страшней, чем в потемках…»

Три девицы, слушавшие полковника, придвинулись поближе к рассказчику и уставились на него неподвижными глазами.

«Ну-с, — продолжал полковник, — как я ни старался уснуть, сон бежал от меня. То мне казалось, что воры лезут в окно, то слышался чей-то шепот, то кто-то касался моего плеча — вообще чудилась чертовщина, какая знакома всякому, кто когда-нибудь находился в нервном напряжении. Но, можете себе представить, среди чертовщины и хаоса звуков я явственно различаю звук, похожий на шлепанье туфель. Прислушиваюсь — и что бы вы думали? — слышу я, кто-то подходит к моей двери, кашляет и отворяет ее…

— Кто здесь? — спрашиваю я, поднимаясь.

— Это я… не бойся! — отвечает женский голос.

Я направился к двери… Прошло несколько секунд, и я почувствовал, как две женские ручки, мягкие, как гагачий пух, легли мне на плечи.

— Я люблю тебя… Ты для меня дороже жизни, — сказал женский мелодический голосок.

Горячее дыхание коснулось моей щеки… Забыв

про метель, про духов, про все на свете, я обхватил рукой талию… и какую талию! Такие талии природа может изготовлять только по особому заказу, раз в десять лет… Тонкая, точно выточенная, горячая, эфемерная, как дыхание младенца! Я не выдержал, крепко сжал ее в объятиях… Уста наши слились в крепкий, продолжительный поцелуй и… клянусь вам всеми женщинами в мире, я до могилы не забуду этого поцелуя».

Полковник умолк, выпил полстакана воды и продолжал, понизив голос:

«Когда на другой день я выглянул в окно, то увидел, что метель стала еще больше… Ехать не было никакой возможности. Пришлось весь день сидеть у управляющего, играть в карты и пить. Вечером я опять был в пустом доме, и ровно в полночь я опять обнимал знакомую талию… Да, барышни, если б не любовь, околел бы я тогда от скуки. Спился бы, пожалуй».

Полковник вздохнул, поднялся и молча заходил по гостиной.

— Но… что же дальше? — спросила одна из барышень, замирая от ожидания.

— Ничего. На следующий день я был уже в дороге.

— Но… кто же была та женщина? — спросили

нерешительно барышни.

— Понятно, кто!

— Ничего не понятно.

— Это была моя жена!

Все три барышни вскочили, точно ужаленные.

— То есть… как же так? — спросили они.

— Ах, господи, что же тут непонятного? — сказал полковник с досадой и пожал плечами. — Ведь я, кажется, достаточно ясно выражался! Ехал я в Шевелки с женой… Ночевала она в пустом доме, в соседней комнате… Очень ясно!

— Ммм… — проговорили барышни, разочарованно опуская руки. — Начали хорошо, а кончили бог знает как… Жена… Извините, но это даже не интересно и… нисколько не умно.

— Странно! Значит, вам хотелось бы, чтоб это была не моя законная жена, а какая-нибудь посторонняя женщина! Ах, барышни, барышни! Если вы теперь так рассуждаете, то что же вы будете говорить, когда повыходите замуж?

Барышни сконфузились и замолчали. Они надулись, нахмурились и, совсем разочарованные, стали громко зевать… За ужином они ничего не ели, катали из хлеба шарики и молчали.

— Нет, это даже… бессовестно! — не выдержала одна из них. — Зачем же было рассказывать, если

такой конец? Ничего хорошего в этом рассказе нет… Даже дико!

— Начали так заманчиво и… вдруг оборвали… — добавила другая. — Насмешка, и больше ничего.

— Ну, ну, ну… я пошутил… — сказал полковник. — Не сердитесь, барышни, я пошутил. То была не моя жена, а жена управляющего…

— Да?!

Барышни вдруг повеселели, глазки их засверкали. Они придвинулись к полковнику и, подливая ему вина, засыпали его вопросами. Скука исчезла, исчез скоро и ужин, так как барышни стали кушать с большим аппетитом.



Новогодняя пытка
(Очерк новейшей инквизиции)

Вы облачаетесь во фрачную пару, нацепляете на шею Станислава, если таковой у вас имеется, прыскаете платок духами, закручиваете штопором усы — и все это с такими злобными, порывистыми движениями, как будто одеваете не себя самого, а своего злейшего врага.

— А, черррт подери! — бормочете вы сквозь зубы. — Нет покоя ни в будни, ни в праздники! На старости лет мычешься, как ссобака! Почтальоны живут покойнее!

Возле вас стоит ваша, с позволения сказать, подруга жизни, Верочка, и егозит:

— Ишь что выдумал: визитов не делать! Я согласна, визиты — глупость, предрассудок, их не следует делать, но если ты осмелишься остаться дома, то, клянусь, я уйду, уйду… навеки уйду! Я умру! Один у нас дядя, и ты… ты не можешь, тебе лень поздравить его с Новым годом? Кузина Леночка так нас любит, и ты, бесстыдник, не хочешь оказать ей честь? Федор Николаич дал тебе денег взаймы, брат Петя так любит всю нашу

семью, Иван Андреич нашел тебе место, а ты!.. ты не чувствуешь! Боже, какая я несчастная. Нет, нет, ты решительно глуп! Тебе нужно жену не такую кроткую, как я, а ведьму, чтоб она тебя грызла каждую минуту! Да-а! Бес-со-вест-ный человек! Ненавижу! Презираю! Сию же минуту уезжай! Вот тебе списочек… У всех побывай, кто здесь записан! Если пропустишь хоть одного, то не смей ворочаться домой!

Верочка не дерется и не выцарапывает глаз. Но вы не чувствуете такого великодушия и продолжаете ворчать… Когда туалет кончен и шуба уже надета, вас провожают до самого выхода и говорят вам вслед:

— Тирран! Мучитель! Изверг!

Вы выходите из своей квартиры (Зубовский бульвар, дом Фуфочкина), садитесь на извозчика и говорите голосом Солонина, умирающего в «Далиле»:

— В Лефортово, к Красным казармам!

У московских извозчиков есть теперь полости, но вы не цените такого великодушия и чувствуете, что вам холодно… Логика супруги, вчерашняя толчея в маскараде Большого театра, похмелье, страстное желание завалиться спать, послепраздничная изжога — все это мешается в сплошной

сумбур и производит в вас муть… Мутит ужасно, а тут еще извозчик плетется еле-еле, точно помирать едет…

В Лефортове живет дядюшка вашей жены, Семен Степаныч. Это — прекраснейший человек. Он без памяти любит вас и вашу Верочку, после своей смерти оставит вам наследство, но… черт с ним, с его любовью и с наследством! На ваше несчастье, вы входите к нему в то самое время, когда он погружен в тайны политики.

— А слыхал ты, душа моя, что Баттенберг задумал? — встречает он вас. — Каков мужчина, а? Но какова Германия!!!

Семен Степаныч помешан на Баттенберге. Он, как и всякий российский обыватель, имеет свой собственный взгляд на болгарский вопрос, и если б в его власти, то он решил бы этот вопрос как нельзя лучше…

— Не-ет, брат, тут не Муткурка и не Стамбулка виноваты! — говорит он, лукаво подмигивая глазом. — Тут Англия, брат! Будь я, анафема, трижды проклят, если не Англия!

Вы послушали его четверть часа и хотите раскланяться, но он хватает вас за рукав и просит дослушать. Он кричит, горячится, брызжет вам в лицо, тычет пальцами в ваш нос, цитирует цели-

ком газетные передовицы, вскакивает, садится… Вы слушаете, чувствуете, как тянутся длинные минуты, и, из боязни уснуть, таращите глаза… От обалдения у вас начинают чесаться мозги… Баттенберг, Муткуров, Стамбулов, Англия, Египет мелкими чертиками прыгают у вас перед глазами…

Проходит полчаса… час… Уф!

— Наконец-то! — вздыхаете вы, садясь через полтора часа на извозчика. — Уходил, мерзавец! Извозчик, езжай в Хамовники! Ах, проклятый, душу вытянул политикой!

В Хамовниках вас ожидает свидание с полковником Федором Николаичем, у которого в прошлом году вы взяли взаймы шестьсот рублей…

— Спасибо, спасибо, милый мой, — отвечает он на ваше поздравление, ласково заглядывая вам в глаза. — И вам того же желаю… Очень рад, очень рад… Давно ждал вас… Там ведь у нас, кажется, с прошлого года какие-то счеты есть. Не помню, сколько там… Впрочем, это пустяки, я ведь это только так… между прочим. Не желаете ли с дорожки?

Когда вы, заикаясь и потупив взоры, заявляете, что у вас, ей-богу, нет теперь свободных денег, и

слезно просите обождать еще месяц, полковник всплескивает руками и делает плачущее лицо.

— Голубчик, ведь вы на полгода брали! — шепчет он. — И разве я стал бы вас беспокоить, если бы не крайняя нужда? Ах, милый, вы просто топите меня, честное слово… После Крещенья мне по векселю платить, а вы… ах, боже мой милостивый! Извините, но даже бессовестно…

Долго полковник читает вам нотацию. Красный, вспотевший, вы выходите от него, садитесь в сани и говорите извозчику:

— К Нижегородскому вокзалу, сскотина!

Кузину Леночку вы застаете в самых растрепанных чувствах. Она лежит у себя в голубой гостиной на кушетке, нюхает какую-то дрянь и жалуется на мигрень.



— Ах, это вы, Мишель? — стонет она, наполовину открывая глаза и протягивая вам руку. — Это вы? Сядьте возле меня…

Минут пять лежит она с закрытыми глазами, потом поднимает веки, долго глядит вам в лицо и спрашивает тоном умирающей:

— Мишель, вы… счастливы?

Засим мешочки под ее глазами напухают, на ресницах показываются слезы… Она поднимается, прикладывает руку к волнующейся груди и говорит:

— Мишель, неужели… неужели все уже кончено? Неужели прошлое погибло безвозвратно! О нет!

Вы что-то бормочете, беспомощно поглядывае-

те по сторонам, как бы ища спасения, но пухлые женские руки, как две змеи, обволакивают уже вашу шею, лацкан вашего фрака уже покрыт слоем пудры. Бедная, все прощающая, все выносящая фрачная пара!

— Мишель, неужели тот сладкий миг уж не повторится более? — стонет кузина, орошая вашу грудь слезами. — Кузен, где же ваши клятвы, где обет в вечной любви?

Бррр!.. Еще минута, и вы с отчаяния броситесь в горящий камин, головой прямо в уголья, но вот на ваше счастье слышатся шаги и в гостиную входит визитер с шапокляком[206] и остроносыми сапогами… Как сумасшедший срываетесь вы с места, целуете кузине руку и, благословляя избавителя, мчитесь на улицу.

— Извозчик, к Крестовской заставе!

Брат вашей жены, Петя, отрицает визиты, а потому в праздники его можно застать дома.

— Ура-а! — кричит он, увидев вас. — Кого вижу! Как кстати ты пришел!

Он трижды целует вас, угощает коньяком, знакомит с двумя какими-то девицами, которые сидят у него за перегородкой и хихикают, скачет,

---

[206] Примечания: 206
Складная шляпа (фр. chapeau-claque).

прыгает, потом, сделав серьезное лицо, отводит вас в угол и шепчет:

— Скверная штука, братец ты мой… Перед праздниками, понимаешь ты, издержался и теперь сижу без копейки… Положение отвратительное. Только на тебя и надежда… Если не дашь до пятницы 25 рублей, то без ножа зарежешь…

— Ей-богу, Петя, у меня у самого карманы пусты! — божитесь вы.

— Оставь, пожалуйста! Это уж свинство!

— Но уверяю тебя…

— Оставь, оставь… Я отлично тебя понимаю! Скажи, что не хочешь дать, вот я все…

Петя обижается, начинает упрекать вас в неблагодарности, грозит донести о чем-то Верочке… Вы даете пять целковых, но этого мало. Даете еще пять, и вас отпускают с условием, что завтра вы пришлете еще 15.

— Извозчик, к Калужским воротам!

У Калужских живет ваш кум, мануфактур-советник Дятлов. Этот хватает вас в объятия и тащит вас прямо к закусочному столу.

— Ни-ни-ни! — орет он, наливая вам большую рюмку рябиновой. — Не смей отказаться! По гроб жизни обидишь! Не выпьешь — не выпущу! Сережка, запри-ка на ключ дверь!

Делать нечего, вы скрепя сердце выпиваете. Кум приходит в восторг.

— Ну, спасибо! — говорит он. — За то, что ты такой хороший человек, давай еще выпьем… Ни-ни-ни… ни! Обидишь! И не выпущу!

Надо пить и вторую.

— Спасибо другу! — восхищается кум. — За это самое, что ты меня не забыл, еще надо выпить!

И так далее… Выпитое у кума действует на вас так живительно, что на следующем визите (Сокольницкая роща, дом Курдюковой) вы хозяйку принимаете за горничную, а горничной долго и горячо пожимаете руку…

Разбитый, помятый, без задних ног возвращаетесь вы к вечеру домой. Вас встречает ваша, извините за выражение, подруга жизни…

— Ну, у всех были? — спрашивает она. — Что же ты не отвечаешь? А? Как? Что-о-о? Молчать! Сколько потратил на извозчика?

— Пя… пять рублей восемь гривен…

— Что-о-о? Да ты с ума сошел! Миллионер ты, что ли, что тратишь столько на извозчика? Боже, он сделает нас нищими!

Засим следует нотация за то, что от вас вином пахнет, что вы не умеете толком рассказать, какое на Леночке платье, что вы — мучитель,

изверг и убийца… Под конец, когда вы думаете, что вам можно уже завалиться и отдохнуть, ваша супруга вдруг начинает обнюхивать вас, делает испуганные глаза и вскрикивает.

— Послушайте, — говорит она, — вы меня не обманете! Куда вы заезжали, кроме визитов?

— Ни… никуда…

— Лжете, лжете! Когда вы уезжали, от вас пахло виолет-де-пармом, теперь же от вас разит опопанаксом! Несчастный, я все понимаю! Извольте мне говорить! Встаньте! Не смейте спать, когда с вами говорят! Кто она? У кого вы были?

Вы таращите глаза, крякаете и в обалдении встряхиваете головой.

— Вы молчите?! Не отвечаете? — продолжает супруга. — Нет? Уми…умираю! До…доктора! Замуучил! Уми-ра-аю!

Теперь, милый мужчина, одевайтесь и скачите за доктором. С Новым годом!

Нищий

— Милостивый государь! Будьте добры, обратите внимание на несчастного, голодного человека. Три дня не ел… не имею пятака на ночлег… клянусь богом! Восемь лет служил сельским учителем и потерял место по интригам земства. Пал жертвою доноса. Вот уж год, как хожу без места.

Присяжный поверенный Скворцов поглядел на сизое, дырявое пальто просителя, на его мутные, пьяные глаза, красные пятна на щеках, и ему показалось, что он раньше уже видел где-то этого человека.

— Теперь мне предлагают место в Калужской губернии, — продолжал проситель, — но у меня нет средств, чтобы поехать туда. Помогите, сделайте милость! Стыдно просить, но… вынуждают обстоятельства.

Скворцов поглядел на калоши, из которых одна была глубокая, а другая мелкая, и вдруг вспомнил.

— Послушайте, третьего дня, кажется, я встретил вас на Садовой, — сказал он, — но тогда вы говорили мне, что вы не сельский учитель, а студент, которого исключили. Помните?

— Не… нет, не может быть! — пробормотал проситель, смущаясь. — Я сельский учитель и, ежели желаете, могу документы показать.

— Будет вам лгать! Вы называли себя студентом и даже рассказали мне, за что вас исключили. Помните?

Скворцов покраснел и с выражением гадливости на лице отошел от оборвыша.

— Это подло, милостивый государь! — крикнул он сердито. — Это мошенничество! Я вас в полицию отправлю, черт бы вас взял! Вы бедны, голодны, но это не дает вам права так нагло, бессовестно лгать!

Оборвыш взялся за ручку двери и растерянно, как пойманный вор, оглядел переднюю.

— Я… я не лгу-с… — пробормотал он. — Я могу документы показать.

— Кто вам поверит? — продолжал возмущаться Скворцов. — Эксплуатировать симпатии общества к сельским учителям и студентам — ведь это так низко, подло, грязно! Возмутительно!

Скворцов разошелся и самым безжалостным образом распек просителя. Своею наглою ложью оборвыш возбудил в нем гадливость и отвращение, оскорбил то, что он, Скворцов, так любил и ценил в себе самом: доброту, чувствительное

сердце, сострадание к несчастным людям; своею ложью, покушением на милосердие «субъект» точно осквернил ту милостыню, которую он от чистого сердца любил подавать беднякам. Оборвыш сначала оправдывался, божился, но потом умолк и, пристыженный, поник головой.

— Сударь! — сказал он, прикладывая руку к сердцу. — Действительно, я… солгал! Я не студент и не сельский учитель. Все это одна выдумка! Я в русском хоре служил, и оттуда меня за пьянство выгнали. Но что же мне делать? Верьте богу, нельзя без лжи! Когда я говорю правду, мне никто не подает. С правдой умрешь с голоду и замерзнешь без ночлега! Вы верно рассуждаете, я понимаю, но… что же мне делать?

— Что делать? Вы спрашиваете, что вам делать? — крикнул Скворцов, подходя к нему близко. — Работайте, вот что делать! Работать нужно!

— Работать… Я и сам это понимаю, но где же работы взять?

— Вздор! Вы молоды, здоровы, сильны и всегда найдете работу, была бы лишь охота. Но ведь вы ленивы, избалованы, пьяны! От вас, как из кабака, разит водкой! Вы изолгались и истрепались до мозга костей и способны только на попро-

шайничество и ложь! Если вы и соблаговолите когда-нибудь снизойти до работы, то подавай вам канцелярию, русский хор, маркерство, где бы вы ничего не делали и получали бы деньги! А не угодно ли вам заняться физическим трудом? Небось не пойдете в дворники или фабричные! Вы ведь с претензиями!

— Как вы рассуждаете, ей-богу… — проговорил проситель и горько усмехнулся. — Где же мне взять физического труда? В приказчики мне уже поздно, потому что в торговле с мальчиков начинать надо, в дворники никто меня не возьмет, потому что на меня тыкать нельзя… а на фабрику не примут, надо ремесло знать, а я ничего не знаю.

— Вздор! Вы всегда найдете оправдание! А не угодно ли вам дрова колоть?

— Я не отказываюсь, но нынче и настоящие дровоколы сидят без хлеба.

— Ну, все тунеядцы так рассуждают. Предложи вам, так откажетесь. Не хотите ли у меня поколоть дрова?

— Извольте, поколю…

— Хорошо, посмотрим… Отлично… Увидим!

Скворцов заторопился и, не без злорадства, потирая руки, вызвал из кухни кухарку.

— Вот, Ольга, — обратился он к ней, — поведи этого господина в сарай, и пусть он дрова поколет.

Оборвыш пожал плечами, как бы недоумевая, и нерешительно пошел за кухаркой. По его походке видно было, что согласился он идти колоть дрова не потому, что был голоден и хотел заработать, а просто из самолюбия и стыда, как пойманный на слове. Заметно было также, что он сильно ослабел от водки, был нездоров и не чувствовал ни малейшего расположения к работе.

Скворцов поспешил в столовую. Там из окон, выходивших на двор, виден был дровяной сарай и все, что происходило на дворе. Стоя у окна, Скворцов видел, как кухарка и оборвыш вышли черным ходом на двор и по грязному снегу направились к сараю. Ольга, сердито оглядывая своего спутника и тыча в стороны локтями, отперла сарай и со злобой хлопнула дверью.

«Вероятно, мы помешали бабе кофе пить, — подумал Скворцов. — Экое злое создание!»



Далее он видел, как лжеучитель и лжестудент уселся на колоду и, подперев кулаками свои красные щеки, о чем-то задумался. Баба швырнула к его ногам топор, со злобой плюнула и, судя по выражению губ, стала браниться. Оборвыш нерешительно потянул к себе одно полено, поставил его между ног и несмело тяпнул по нем топором.

Полено закачалось и упало. Оборвыш потянул его к себе, подул на свои озябшие руки и опять тяпнул топором с такою осторожностью, как будто боялся хватить себя по калоше или обрубить пальцы. Полено опять упало.

Гнев Скворцова уже прошел, и ему стало немножко больно и стыдно за то, что он заставил человека избалованного, пьяного и, быть может, больного заниматься на холоде черной работой.

«Ну, ничего, пусть… — подумал он, идя из столовой в кабинет. — Это я для его же пользы».

Через час явилась Ольга и доложила, что дрова уже порублены.

— На, отдай ему полтинник, — сказал Скворцов. — Если он хочет, то пусть приходит колоть дрова каждое первое число… Работа всегда найдется.

Первого числа явился оборвыш и опять заработал полтинник, хотя едва стоял на ногах. С этого раза он стал часто показываться на дворе, в всякий раз для него находили работу: то он снег сгребал в кучи, то прибирал в сарае, то выбивал пыль из ковров и матрацев. Всякий раз он получал за свои труды копеек 20–40, и раз даже ему были высланы старые брюки.

Перебираясь на другую квартиру, Скворцов

нанял его помогать при укладке и перевозке мебели. В этот раз оборвыш был трезв, угрюм и молчалив; он едва прикасался к мебели, ходил понуря голову за возами и даже не старался казаться деятельным, а только пожимался от холода и конфузился, когда извозчики смеялись над его праздностью, бессилием и рваным благородным пальто. После перевозки Скворцов велел позвать его к себе.

— Ну, я вижу, мои слова на вас подействовали, — сказал он, подавая ему рубль. — Вот вам за труды. Я вижу, вы трезвы и не прочь поработать. Как вас зовут?

— Лушков.

— Я, Лушков, могу теперь предложить вам другую работу, почище. Вы можете писать?

— Могу-с.

— Так вот с этим письмом вы завтра отправитесь к моему товарищу и получите от него переписку. Работайте, не пьянствуйте, не забывайте того, что я говорил вам. Прощайте!

Скворцов, довольный тем, что поставил человека на путь истины, ласково потрепал Лушкова по плечу и даже подал ему на прощанье руку. Лушков взял письмо, ушел и уж больше не приходил на двор за работой.

Прошло два года. Однажды, стоя у театральной кассы и расплачиваясь за билет, Скворцов увидел рядом с собой маленького человечка с барашковым воротником и в поношенной котиковой шапке. Человечек робко попросил у кассира билет на галерку и заплатил медными пятаками.

— Лушков, это вы? — спросил Скворцов, узнав в человечке своего давнишнего дровокола. — Ну как? Что поделываете? Хорошо живется?

— Ничего… Служу теперь у нотариуса, получаю 35 рублей-с.

— Ну, и слава богу. И отлично! Радуюсь за вас. Очень, очень рад, Лушков! Ведь вы некоторым образом мой крестник. Ведь это я вас на настоящую дорогу толкнул. Помните, как я вас распекал, а? Чуть вы у меня тогда сквозь землю не провалились. Ну, спасибо, голубчик, что моих слов не забывали.

— Спасибо и вам, — сказал Лушков. — Не приди я к вам тогда, пожалуй, до сих пор назывался бы учителем или студентом. Да, у вас спасся, выскочил из ямы.

— Очень, очень рад.

— Спасибо за ваши добрые слова и за дела. Вы отлично тогда говорили. Я благодарен и вам, и вашей кухарке, дай бог здоровья этой доброй,

благородной женщине. Вы отлично говорили тогда, я вам обязан, конечно, по гроб жизни, но спасла-то меня, собственно, ваша кухарка Ольга.

— Каким это образом?

— А таким образом. Бывало, придешь к вам дрова колоть, она и начнет: «Ах ты, пьяница! Окаянный ты человек! И нет на тебя погибели!» А потом сядет против, пригорюнится, глядит мне в лицо и плачется: «Несчастный ты человек! Нет тебе радости на этом свете, да и на том свете, пьяница, в аду гореть будешь! Горемычный ты!» И все в таком роде, знаете. Сколько она себе крови испортила и слез пролила ради меня, я вам и сказать не могу. Но главное — вместо меня дрова колола! Ведь я, сударь, у вас ни одного полена не расколол, а все она! Почему она меня спасла, почему я изменился, глядя на нее, и пить перестал, не могу вам объяснить. Знаю только, что от ее слов и благородных поступков в душе моей произошла перемена, она меня исправила, и никогда я этого не забуду. Одначе пора, уже звонок подают.

Лушков поклонился и отправился на галерку.

Добрый немец

Иван Карлович Швей, старший мастер на сталелитейном заводе Функ и К°, был послан хозяином в Тверь исполнить на месте какой-то заказ. Провозился он с заказом месяца четыре и так соскучился по своей молодой жене, что потерял аппетит и раза два принимался плакать. Возвращаясь назад в Москву, он всю дорогу закрывал глаза и воображал себе, как он приедет домой, как кухарка Марья отворит ему дверь, как жена Наташа бросится к нему на шею и вскрикнет…

«Она не ожидает меня, — думал он. — Тем лучше. Неожиданная радость — это очень хорошо…»

Приехал он в Москву с вечерним поездом. Пока артельщик ходил за его багажом, он успел выпить в буфете две бутылки пива… От пива он стал очень добрым, так что, когда извозчик вез его с вокзала на Пресню, он все время бормотал:

— Ты, извозчик, хороший извозчик… Я люблю русских людей!.. Ты русский, и моя жена русский, и я русский… Мой отец немец, а я русский человек… Я желаю драться с Германией…

Как он и мечтал, дверь отворила ему кухарка Марья.

— И ты русский, и я русский… — бормотал он, отдавая Марье багаж. — Все мы русские люди и имеем русские языки… А где Наташа?

— Она спит.

— Ну, не буди ее… Тсс… Я сам разбужу… Я желаю ее испугать и буду сюрприз… Тссс!

Сонная Марья взяла багаж и ушла в кухню.

Улыбаясь, потирая руки и подмигивая глазом, Иван Карлыч на цыпочках подошел к двери, ведущей в спальную, и осторожно, боясь скрипнуть, отворил ее…

В спальне было темно и тихо…

«Я сейчас буду ее испугать», — подумал Иван Карлыч и зажег спичку.

Но — бедный немец! — пока на его спичке разгоралась синим огоньком сера, он увидел такую картину. На кровати, что ближе к стене, спала женщина, укрытая с головою, так что видны были одни только голые пятки; на другой кровати лежал громадный мужчина с большой рыжей головой и с длинными усами…

Иван Карлыч не поверил глазам своим и зажег другую спичку… Сжег он одну за другой пять спичек — и картина представлялась все такою же невероятной, ужасной и возмутительной. У немца подкосились ноги и одеревенела от холода

спина. Пивной хмель вдруг вышел из головы, и ему уже казалось, что душа перевернулась вверх ногами. Первою его мыслью и желанием было — взять стул и хватить им со всего размаха по рыжей голове, потом схватить неверную жену за голую пятку и швырнуть ее в окно так, чтобы она выбила обе рамы и со звоном полетела вниз на мостовую.

«О нет, этого мало! — решил он после некоторого размышления. — Сначала я буду срамить их, пойду позову полицию и родню, а потом буду убивать их...»

Он надел шубу и через минуту уже шел по улице. Тут он горько заплакал. Он плакал и думал о людской неблагодарности... Эта женщина с голыми пятками была когда-то бедной швейкой, и он осчастливил ее, сделав женою ученого мастера, который у Функа и К° получает 750 рублей в год! Она была ничтожной, ходила в ситцевых платьях, как горничная, а благодаря ему она ходит теперь в шляпке и перчатках, и даже Функ и К° говорит ей «вы»...

И он думал: как ехидны и лукавы женщины! Наташа делала вид, что выходила за Ивана Карлыча по страстной любви, и каждую неделю писала ему в Тверь нежные письма...

«О, змея, — думал Швей, идя по улице. — О, зачем я женился на русском человеке? Русский нехороший человек! Варвар, мужик! Я желаю драться с Россией, черт меня возьми!»

Немного погодя он думал:

«И удивительно, променяла меня на какого-то каналью с рыжей головой! Ну, полюби она Функа и К°, я простил бы ей, а то полюбила какого-то черта, у которого нет в кармане гривенника! О, я несчастный человек!»

Отерев глаза, Швей зашел в трактир.

— Дай мне бумаги и чернил! — сказал он половому. — Я желаю писать!

Дрожащею рукою он написал сначала письмо к родителям жены, живущим в Серпухове. Он писал старикам, что честный ученый мастер не желает жить с распутной женщиной, что родители свиньи и дочери их свиньи, что Швей желает плевать на кого угодно… В заключение он требовал, чтобы старики взяли к себе свою дочь вместе с ее рыжим мерзавцем, которого он не убил только потому, что не желает марать рук.

Затем он вышел из трактира и опустил письмо в почтовый ящик. До четырех часов утра блуждал он по городу и думал о своем горе. Бедняга похудел, осунулся и пришел к заключению, что

жизнь — это горькая насмешка судьбы, что жить — глупо и недостойно порядочного немца. Он решил не мстить ни жене, ни рыжему человеку. Самое лучшее, что он мог сделать, это — наказать жену великодушием.

«Пойду выскажу ей все, — думал он, идя домой, — а потом лишу себя жизни. Пусть будет счастлива со своим рыжим, а я мешать не буду…»

И он мечтал, как он умрет и как жена будет томиться от угрызений совести.

— Мое имущество я ей оставлю, да! — бормотал он, дергая за свой звонок. — Рыжий лучше меня, пусть-ка тоже заработает 750 рублей в год!

И на этот раз дверь отворила ему кухарка Марья, которая очень удивилась, увидев его.

— Позови Наталью Петровну, — сказал он, не снимая шубы. — Я желаю разговаривать…

Через минуту пред Иваном Карлычем стояла молодая женщина в одной сорочке, босая и с удивленным лицом… Плача и поднимая обе руки вверх, обманутый муж говорил:

— Я все знаю! Меня нельзя обмануть! Я собственными глазами видел рыжего скотину с длинными усами!

— Ты с ума сошел! — крикнула жена. — Что ты

так кричишь? Разбудишь жильцов!

— О, рыжий мошенник!

— Говорю же тебе, не кричи! Напился пьян и кричит! Ступай спать!

— Не желаю я спать с рыжим на одной кровати! Прощай!

— Да ты с ума сошел! — рассердилась жена. — Ведь у нас жильцы! В той комнате, где была наша спальня, слесарь с женой живет!

— А… а? Какой слесарь?

— Да рыжий слесарь с женой. Я их пустила за четыре рубля в месяц… Не кричи, а то разбудишь!

Немец выпучил глаза и долго смотрел на жену; потом нагнул голову и медленно свистнул.

— Теперь я понимаю… — сказал он.

Немного погодя немецкая душа опять уже приняла свое прежнее положение, и Иван Карлыч чувствовал себя прекрасно.

— Ты у меня русский, — бормотал он, — и кухарка русский, и я русский… Все имеем русские языки… Слесарь — хороший слесарь, и я желаю его обнимать… Функ и К° тоже хороший Функ и К°… Россия великолепная земля… С Германией я желаю драться…

Неосторожность

Петр Петрович Стрижин, племянник полковницы Ивановой, тот самый, у которого в прошлом году украли новые калоши, вернулся с крестин ровно в два часа ночи. Чтобы не разбудить своих, он осторожно разделся в передней, на цыпочках, чуть дыша, пробрался к себе в спальню и, не зажигая огня, стал готовиться ко сну.

Стрижин ведет жизнь трезвую и регулярную, выражение лица у него душеспасительное, книжки он читает только духовно-нравственные, но на крестинах от радости, что Любовь Спиридоновна благополучно разрешилась от бремени, он позволил себе выпить четыре рюмки водки и стакан вина, напоминавшего своим вкусом что-то среднее между уксусом и касторовым маслом. Горячие же напитки подобны морской воде или славе: чем больше пьешь, тем сильнее жаждешь… И теперь, раздеваясь, Стрижин чувствовал непреодолимое желание выпить.

«У Дашеньки, кажется, есть водка в шкапу, в правом углу, — думал он. — Если я выпью одну рюмку, то она не заметит».

После некоторого колебания, пересилив свой

страх, Стрижин направился к шкапу. Отворив осторожно дверцу, он нащупал в правом углу бутылку и рюмку, налил, поставил бутылку на место, потом перекрестился и выпил. И тотчас же произошло нечто вроде чуда. Со страшной силой, точно бомбу, Стрижина вдруг отбросило от шкапа к сундуку. В глазах его засверкало, дыхание сперло, по всему телу пробежало такое ощущение, как будто он упал в болото, полное пьявок. Ему показалось, что вместо водки он проглотил кусок динамита, который взорвал его тело, дом, весь переулок… Голова, руки, ноги — все оторвалось и полетело куда-то к черту, в пространство…

Минуты три он лежал на сундуке неподвижно, не дыша, потом поднялся и спросил себя:

— Где я?

Первое, что он ясно ощутил, придя в себя, это был резкий запах керосина.

— Батюшки мои, это я вместо водки керосину выпил! — ужаснулся он. — Святители угодники!

От мысли, что он отравился, его бросило и в холод и в жар. Что яд был действительно принят, свидетельствовали, кроме запаха в комнате, жжение во рту, искры в глазах, звон колоколов в голове и колотье в желудке. Чувствуя приближение смерти и не обманывая себя напрасными

надеждами, он пожелал проститься с близкими и отправился в спальню Дашеньки. (Будучи вдовым, он у себя в квартире держал вместо хозяйки свою свояченицу Дашеньку, старую деву.)

— Дашенька! — сказал он плачущим голосом, входя в спальню. — Дорогая Дашенька!

Что-то заворочалось в потемках и испустило глубокий вздох.

— Дашенька!

— А? Что? — быстро заговорил женский голос. — Это вы, Петр Петрович? Уже вернулись? Ну, что? Как назвали девочку? Кто был кумой?

— Кумой была Наталья Андреевна Великосветская, а кумом — Павел Иваныч Бессонницын… Я… я, Дашенька, кажется, умираю. А новорожденную назвали Олимпиадой в честь ихней благодетельницы… Я… я, Дашенька, выпил керосину…

— Вот еще! Нешто там подавали керосин?



— Признаться, я хотел, не спросясь вас, водки выпить, и… и бог наказал: по нечаянности я в потемках керосину выпил… Что мне делать?

Дашенька, услышав, что без ее разрешения отворяли шкап, оживилась… Она быстро зажгла свечку, прыгнула с постели и в одной сорочке, весноватая, костлявая, в папильотках, зашлепала босыми ногами к шкапу.

— Кто же это вам позволил? — спросила она строго, оглядывая внутренность шкапа. — Нешто

водка для вас поставлена?

— Я… я, Дашенька, пил не водку, а керосин… — пробормотал Стрижин, отирая холодный пот.

— А зачем вам керосин трогать? Разве это ваше дело? Для вас он поставлен? Или, по-вашему, керосин денег не стоит? А? Да вы знаете, почем теперь керосин? Знаете?

— Дорогая Дашенька! — простонал Стрижин. — Вопрос идет о жизни и смерти, а вы о деньгах!

— Напился пьяный и в шкап сует свой нос! — крикнула Дашенька, сердито хлопнув дверцей. — О, изверги, мучители! Страдалица я, несчастная, ни днем, ни ночью покою! Аспиды-василиски, ироды окаянные, чтоб вам на том свете так жилось! Завтра же съезжаю! Я девица и не позволю вам стоять передо мною в одном нижнем белье! Вы не смеете глядеть на меня, когда я не одета!

И пошла, и пошла… Зная, что рассерженную Дашеньку не уймешь ни мольбами, ни клятвами, ни даже пальбой из пушек, Стрижин махнул рукой, оделся и решил сходить к доктору. Но доктора легко найти только тогда, когда он не нужен. Избегав три улицы и позвонившись раз пять к доктору Чепхарьянцу и семь раз к доктору Бултыхину, Стрижин побежал в аптеку: авось поможет аптекарь. Тут, после долгого ожидания,

к нему вышел маленький, чернявый и кудрявый фармацевт, заспанный, в халате и с таким серьезным и умным лицом, что даже стало страшно.

— Вам что угодно? — спросил он тоном, каким могут говорить только очень умные и солидные фармацевты иудейского вероисповедания.

— Ради бога… прошу вас! — проговорил Стрижин, задыхаясь. — Дайте мне чего-нибудь… Я сейчас по нечаянности керосину выпил! Умираю!

— Прошу вас не волноваться и отвечать на вопросы, которые я буду вам задавать. Уже один тот факт, что вы волнуетесь, не дозволяет мне понимать вас. Вы выпили керосину? Да-а?

— Да, керосину! Спасите, пожалуйста!

Фармацевт хладнокровно и серьезно подошел к конторке, раскрыл книгу и погрузился в чтение. Прочитав две страницы, он пожал одним плечом, потом другим, состроил презрительную гримасу и, подумав, вышел в смежную комнату. Часы пробили четыре. И когда они показывали десять минут пятого, фармацевт вернулся с другой книгой и опять погрузился в чтение.

— Гм! — сказал он, как бы недоумевая. — Уже один тот факт, что вы чувствуете себя нехорошо, нужно, чтоб вы обратились не в аптеку, а

к врачу.

— Но я уже был у докторов! Не дозвонился!

— Гм… Вы нас, фармацевтов, не считаете за людей и беспокоите даже в четыре часа ночи, а каждая собаке, каждый кошке имеет покой… Вы ничего не желаете понимать, и, по-вашему, мы не люди и в нас нервы должен быть, как веровка.

Стрижин выслушал фармацевта, вздохнул и пошел домой.

«Стало быть, суждено умереть!» — думал он.

А во рту у него горело и пахло керосином, в желудке резало, в ушах раздавалось: бум, бум, бум! Каждую минуту ему казалось, что конец его уже близок, что сердце его уже не бьется…

Придя домой, он поспешил написать: «Прошу в моей смерти никого не винить», потом помолился богу, лег и укрылся с головой. До утра он не спал и ждал смерти, и все время ему мерещилось, как его могила покрывается молодою зеленью и как над нею щебечут птички…

А утром он сидел на кровати и, улыбаясь, говорил Дашеньке:

— Кто ведет правильную и регулярную жизнь, дорогая сестрица, того никакая отрава не возьмет. Вот хоть бы меня взять в пример. Был я на краю погибели, умирал, мучился, а теперь ниче-

го. Только во рту пожгло и в глотке саднит, а все тело здорово, слава богу… А отчего? Потому что регулярная жизнь.

— Нет, это значит — керосин плохой! — вздыхала Дашенька, думая о расходах и глядя в одну точку. — Значит, лавочник мне дал не лучшего, а того, что полторы копейки фунт. Страдалица я, несчастная, изверги-мучители, чтоб вам на том свете так жилось, ироды окаянные…

И пошла, и пошла…

Накануне поста

— Павел Васильич! — будит Пелагея Ивановна своего мужа. — А Павел Васильич! Ты бы пошел позанимался со Степой, а то он сидит над книгой и плачет. Опять чего-то не понимает!

Павел Васильич поднимается, крестит зевающий рот и говорит мягко:

— Сейчас, душенька!

Кошка, спящая рядом с ним, тоже поднимается, вытягивает хвост, перегибает спину и жмурится. Тишина. Слышно, как за обоями бегают мыши. Надев сапоги и халат, Павел Васильич, помятый и хмурый спросонок, идет из спальни в столовую; при его появлении другая кошка, которая обнюхивала на окне рыбное заливное, прыгает с окна на пол и прячется за шкаф.

— Просили тебя нюхать! — сердится он, накрывая рыбу газетной бумагой. — Свинья ты после этого, а не кошка…

Из столовой дверь ведет в детскую. Тут за столом, покрытым пятнами и глубокими царапинами, сидит Степа, гимназист второго класса, с капризным выражением лица и с заплаканными глазами. Приподняв колени почти до подбородка

и охватив их руками, он качается, как китайский болванчик, и сердито глядит в задачник.

— Учишься? — спрашивает Павел Васильич, подсаживаясь к столу и зевая. — Так, братец ты мой… Погуляли, поспали, блинов покушали, а завтра сухоядение, покаяние и на работу пожалуйте. Всякий период времени имеет свой предел. Что это у тебя глаза заплаканные? Зубренция одолела? Знать, после блинов противно науками питаться? То-то вот оно и есть.

— Да ты что там над ребенком смеешься? — кричит из другой комнаты Пелагея Ивановна. — Чем смеяться, показал бы лучше! Ведь он завтра опять единицу получит, горе мое!

— Ты чего не понимаешь? — спрашивает Павел Васильич у Степы.

— Да вот… деление дробей! — сердито отвечает тот. — Деление дроби на дробь…

— Гм… чудак! Что же тут? Тут и понимать нечего. Отзубри правило, вот и все… Чтобы разделить дробь на дробь, то для этой цели нужно числителя первой дроби помножить на знаменателя второй, и это будет числителем частного… Ну-с, засим знаменатель первой дроби…

— Я это и без вас знаю! — перебивает его Степа, сбивая щелчком со стола ореховую скорлупу. —

Вы покажите мне доказательство!

— Доказательство? Хорошо, давай карандаш. Слушай. Положим, нам нужно семь восьмых разделить на две пятых. Так-с. Механика тут в том, братец ты мой, что требуется эти дроби разделить друг на дружку… Самовар поставили?

— Не знаю.

— Пора уж чай пить… Восьмой час. Ну-с, теперь слушай. Будем так рассуждать. Положим, нам нужно разделить семь восьмых не на две пятых, а на два, то есть только на числителя. Делим. Что же получается?

— Семь шестнадцатых.

— Так. Молодец. Ну-с, штукенция в том, братец ты мой, что мы… что, стало быть, если мы делили на два, то… Постой, я сам запутался. Помню, у нас в гимназии учителем арифметики был Сигизмунд Урбаныч, из поляков. Так тот, бывало, каждый урок путался. Начнет теорему доказывать, спутается и побагровеет весь и по классу забегает, точно его шилом кто-нибудь в спину, потом раз пять высморкается и начнет плакать. Но мы, знаешь, великодушны были, делали вид, что не замечаем. «Что с вами, спрашиваем, Сигизмунд Урбаныч? У вас зубы болят?» И скажи, пожалуйста, весь класс из разбойников состоял,

из сорвиголов, но, понимаешь ты, великодушны были! Таких маленьких, как ты, в мое время не было, а все верзилы, этакие балбесы, один другого выше. К примеру сказать, у нас в третьем классе был Мамахин: господи, что за дубина! Понимаешь ты, дылда в сажень ростом, идет — пол дрожит, хватит кулачищем по спине — дух вон! Не то, что мы, даже учителя его боялись. Так вот этот самый Мамахин, бывало…

За дверью слышатся шаги Пелагеи Ивановны. Павел Васильич мигает на дверь и шепчет:

— Мать идет. Давай заниматься. Ну, так вот, братец ты мой, — возвышает он голос, — эту дробь надо помножить на эту. Ну-с, а для этого нужно числителя первой дроби пом…

— Идите чай пить! — кричит Пелагея Ивановна.

Павел Васильич и его сын бросают арифметику и идут пить чай. А в столовой уже сидит Пелагея Ивановна и с ней тетенька, которая всегда молчит, и другая тетенька, глухонемая, и бабушка Марковна — повитуха, принимавшая Степу. Самовар шипит и пускает пар, от которого на потолке ложатся большие волнистые тени. Из передней, задрав вверх хвосты, входят кошки, заспанные, меланхолические…

— Пей, Марковна, с вареньем, — обращается Пелагея Ивановна к повитухе, — завтра пост великий, наедайся сегодня!

Марковна набирает полную ложечку варенья, нерешительно, словно порох, подносит ко рту и, покосившись на Павла Васильича, ест; тотчас же ее лицо покрывается сладкой улыбкой, такой же сладкой, как само варенье.

— Варенье очень даже отличное, — говорит она. — Вы, матушка, Пелагея Ивановна, сами изволили варить?



— Сама. Кому же другому? Я все сама. Степочка, я тебе не жидко чай налила? Ах, ты уже выпил!

Давай, ангелочек мой, я тебе еще налью.

— Так вот этот самый Мамахин, братец ты мой, — продолжает Павел Васильич, поворачиваясь к Степе, — терпеть не мог учителя французского языка. «Я, кричит, дворянин и не позволю, чтоб француз надо мною старшим был! Мы, кричит, в двенадцатом году французов били!» Ну, его, конечно, пороли… си-ильно пороли! А он, бывало, как заметит, что его пороть хотят, прыг в окно и был таков! Этак дней пять-шесть потом в гимназию не показывается. Мать приходит к директору, молит Христом-богом: «Господин директор, будьте столь добры, найдите моего Мишку, посеките его, подлеца!» А директор ей: «Помилуйте, сударыня, у нас с ним пять швейцаров не справятся!»

— Господи, уродятся же такие разбойники! — шепчет Пелагея Ивановна, с ужасом глядя на мужа. — Каково-то бедной матери!

Наступает молчание. Степа громко зевает и рассматривает на чайнице китайца, которого он видел уж тысячу раз. Обе тетеньки и Марковна осторожно хлебают из блюдечек. В воздухе тишина и духота от печки… На лицах и в движениях лень, пресыщение, когда желудки до верха полны, а есть все-таки нужно. Убираются самовар,

чашки и скатерть, а семья все сидит за столом… Пелагея Ивановна то и дело вскакивает и с выражением ужаса на лице убегает в кухню, чтобы поговорить там с кухаркой насчет ужина. Обе тетеньки сидят в прежних позах, неподвижно, сложив ручки на груди, и дремлют, поглядывая своими оловянными глазками на лампу. Марковна каждую минуту икает и спрашивает:

— Отчего это я икаю? Кажется, и не кушала ничего такого… и словно бы не пила… Ик!

Павел Васильич и Степа сидят рядом, касаясь друг друга головами, и, нагнувшись к столу, рассматривают «Ниву» 1878 года.

— «Памятник Леонардо да Винчи перед галлереей Виктора Эмануила в Милане». Ишь ты… Вроде как бы триумфальные ворота… Кавалер с дамой… А там вдали человечки…

— Этот человечек похож на нашего гимназиста Нискубина, — говорит Степа.

— Перелистывай дальше… «Хоботок обыкновенной мухи, видимый в микроскоп». Вот так хоботок! Ай да муха! Что же, брат, будет, ежели клопа под микроскопом поглядеть? Вот гадость!

Старинные часы в зале сипло, точно простуженные, не бьют, а кашляют ровно десять раз. В столовую входит кухарка Анна и — бух хозяину

в ноги!

— Простите Христа ради, Павел Васильич! — говорит она, поднимаясь вся красная.

— Прости и ты меня Христа ради, — отвечает Павел Васильич равнодушно.

Анна тем же порядком подходит к остальным членам семьи, бухает в ноги и просит прощенья. Минует она одну только Марковну, которую, как неблагородную, считает недостойной поклонения.

Проходит еще полчаса в тишине и спокойствии… «Нива» лежит уже на диване, и Павел Васильич, подняв вверх палец, читает наизусть латинские стихи, которые он выучил когда-то в детстве. Степа глядит на его палец с обручальным кольцом, слушает непонятную речь и дремлет; трет кулаками глаза, а они у него еще больше слипаются.

— Пойду спать… — говорит он, потягиваясь и зевая.

— Что? Спать? — спрашивает Пелагея Ивановна. — А заговляться?

— Я не хочу.

— Да ты в своем уме? — пугается мамаша. — Как же можно не заговляться? Ведь во весь пост не дадут тебе скоромного!

Павел Васильич тоже пугается.

— Да, да, брат, — говорит он. — Семь недель мать не даст скоромного. Нельзя, надо заговеться.

— Ах, да мне спать хочется! — капризничает Степа.

— В таком случае накрывайте скорей на стол! — кричит встревоженно Павел Васильич. — Анна, что ты там, дура, сидишь? Иди поскорей, накрывай на стол!

Пелагея Ивановна всплескивает руками и бежит в кухню с таким выражением, как будто в доме пожар.

— Скорей! Скорей! — слышится по всему дому. — Степочка спать хочет! Анна! Ах боже мой, что же это такое? Скорей!

Через пять минут стол уже накрыт. Кошки опять, задрав вверх хвосты, выгибая спины и потягиваясь, сходятся в столовую… Семья начинает ужинать. Есть никому не хочется, у всех желудки переполнены, но есть все-таки нужно.

Беззащитное существо

Как ни силен был ночью припадок подагры, как ни скрипели потом нервы, а Кистунов все-таки отправился утром на службу и своевременно начал приемку просителей и клиентов банка. Вид у него был томный, замученный, и говорил он еле-еле, чуть дыша, как умирающий.

— Что вам угодно? — обратился он к просительнице в допотопном салопе, очень похожей сзади на большого навозного жука.

— Изволите ли видеть, ваше превосходительство, — начала скороговоркой просительница, — муж мой, коллежский асессор Щукин, проболел пять месяцев, и, пока он, извините, лежал дома и лечился, ему без всякой причины отставку дали, ваше превосходительство, а когда я пошла за его жалованьем, они, изволите видеть, вычли из его жалованья 24 рубля 36 коп.! За что? — спрашиваю. — «А он, говорят, из товарищеской кассы брал и за него другие чиновники ручались». Как же так? Нешто он мог без моего согласия брать? Это невозможно, ваше превосходительство. Да почему такое? Я женщина бедная, только и кормлюсь жильцами… Я слабая, беззащитная… От

всех обиду терплю и ни от кого доброго слова не слышу.

Просительница заморгала глазами и полезла в салоп за платком. Кистунов взял от нее прошение и стал читать.

— Позвольте, как же это? — пожал он плечами. — Я ничего не понимаю. Очевидно, вы, сударыня, не туда попали. Ваша просьба по существу совсем к нам не относится. Вы потрудитесь обратиться в то ведомство, где служил ваш муж.

— И-и, батюшка, я в пяти местах уже была, и везде даже прошения не взяли! — сказала Щукина. — Я уж и голову потеряла, да спасибо, дай бог здоровья зятю Борису Матвеичу, надоумил к вам сходить. «Вы, говорит, мамаша, обратитесь к господину Кистунову: он влиятельный человек, для вас все может сделать»... Помогите, ваше превосходительство!



— Мы, госпожа Щукина, ничего не можем для вас сделать… Поймите вы: ваш муж, насколько я могу судить, служил по военно-медицинскому ведомству, а наше учреждение совершенно частное, коммерческое, у нас банк. Как не понять этого!

Кистунов еще раз пожал плечами и повернулся к господину в военной форме, с флюсом.

— Ваше превосходительство, — пропела жалобным голосом Щукина, — а что муж болен был, у меня докторское свидетельство есть! Вот оно, извольте поглядеть!

— Прекрасно, я верю вам, — сказал раздраженно Кистунов, — но, повторяю, это к нам не относится. Странно и даже смешно! Неужели ваш муж не знает, куда вам обращаться?

— Он, ваше превосходительство, у меня ничего не знает. Зарядил одно: «Не твое дело! Пошла вон!» да и все тут… А чье же дело? Ведь на моей-то шее они сидят! На мое-ей!

Кистунов опять повернулся к Щукиной и стал объяснять ей разницу между ведомством военно-медицинским и частным банком. Та внимательно выслушала его, кивнула в знак согласия головой и сказала:

— Так, так, так… Понимаю, батюшка. В таком случае, ваше превосходительство, прикажите выдать мне хоть 15 рублей! Я согласна не все сразу.

— Уф! — вздохнул Кистунов, откидывая назад голову. — Вам не втолкуешь! Да поймите же, что обращаться к нам с подобной просьбой так же странно, как подавать прошение о разводе, например, в аптеку или в пробирную палатку. Вам недоплатили, но мы-то тут при чем?

— Ваше превосходительство, заставьте вечно бога молить, пожалейте меня, сироту, — заплакала Щукина. — Я женщина беззащитная, слабая… Замучилась до смерти… И с жильцами судись, и за мужа хлопочи, и по хозяйству бегай, а тут еще говею и зять без места… Только одна слава, что пью и ем, а сама еле на ногах стою… Всю ночь не спала.

Кистунов почувствовал сердцебиение. Сделав страдальческое лицо и прижав руку к сердцу, он опять начал объяснять Щукиной, но голос его оборвался…

— Нет, извините, я не могу с вами говорить, — сказал он и махнул рукой. — У меня даже голова закружилась. Вы и нам мешаете и время понапрасну теряете. Уф!.. Алексей Николаич, — обратился он к одному из служащих, — объясните вы, пожалуйста, госпоже Щукиной!

Кистунов, обойдя всех просителей, отправился к себе в кабинет и подписал с десяток бумаг, а Алексей Николаич все еще возился со Щукиной. Сидя у себя в кабинете, Кистунов долго слышал два голоса: монотонный, сдержанный бас Алексея Николаича и плачущий, взвизгивающий голос Щукиной…

— Я женщина беззащитная, слабая, я женщина

болезненная, — говорила Щукина. — На вид, может, я крепкая, а ежели разобрать, так во мне ни одной жилочки нет здоровой. Еле на ногах стою и аппетита решилась… Кофий сегодня пила, и без всякого удовольствия.

А Алексей Николаич объяснял ей разницу между ведомствами и сложную систему направления бумаг. Скоро он утомился, и его сменил бухгалтер.

— Удивительно противная баба! — возмущался Кистунов, нервно ломая пальцы и то и дело подходя к графину с водой. — Это идиотка, пробка! Меня замучила и их заездит, подлая! Уф… сердце бьется!

Через полчаса он позвонил. Явился Алексей Николаич.

— Что у вас там? — томно спросил Кистунов.

— Да никак не втолкуем, Петр Александрыч! Просто замучились. Мы ей про Фому, а она про Ерему…

— Я… я не могу ее голоса слышать… Заболел я… не выношу…

— Позвать швейцара, Петр Александрыч, пусть ее выведет.

— Нет, нет! — испугался Кистунов. — Она визг поднимет, а в этом доме много квартир, и про нас

черт знает что могут подумать… Уж вы, голубчик, как-нибудь постарайтесь объяснить ей.

Через минуту опять послышалось гуденье Алексея Николаича. Прошло четверть часа, и на смену его басу зажужжал сиплый тенорок бухгалтера.

— За-ме-чательно подлая! — возмущался Кистунов, нервно вздрагивая плечами. — Глупа, как сивый мерин, черт бы ее взял. Кажется, у меня опять подагра разыгрывается… Опять мигрень…

В соседней комнате Алексей Николаич, выбившись из сил, наконец, постучал пальцем по столу, потом себе по лбу.

— Одним словом, у вас на плечах не голова, — сказал он, — а вот что…

— Ну, нечего, нечего… — обиделась старуха. — Своей жене постучи… Скважина! Не очень-то рукам волю давай.

И, глядя на нее со злобой, с остервенением, точно желая проглотить ее, Алексей Николаич сказал тихим, придушенным голосом:

— Вон отсюда!

— Что-о? — взвизгнула вдруг Щукина. — Да как вы смеете? Я женщина слабая, беззащитная, я не позволю! Мой муж коллежский асессор! Скважина этакая! Схожу к адвокату Дмитрию Карлычу, так от тебя звания не останется! Троих

жильцов засудила, а за твои дерзкие слова ты у меня в ногах наваляешься! Я до вашего генерала пойду! Ваше превосходительство! Ваше превосходительство!

— Пошла вон отсюда, язва! — прошипел Алексей Николаич.

Кистунов отворил дверь и выглянул в присутствие.

— Что такое? — спросил он плачущим голосом.

Щукина, красная как рак, стояла среди комнаты и, вращая глазами, тыкала в воздух пальцами. Служащие в банке стояли по сторонам и, тоже красные, видимо замученные, растерянно переглядывались.

— Ваше превосходительство! — бросилась к Кистунову Щукина. — Вот этот, вот самый… вот этот… (она указала на Алексея Николаича) постучал себе пальцем по лбу, а потом по столу… Вы велели ему мое дело разобрать, а он насмехается! Я женщина слабая, беззащитная… Мой муж коллежский асессор, и сама я майорская дочь!

— Хорошо, сударыня, — простонал Кистунов, — я разберу… приму меры… Уходите… после!..

— А когда же я получу, ваше превосходительство? Мне нынче деньги надобны!

Кистунов дрожащей рукой провел себе по лбу,

вздохнул и опять начал объяснять:

— Сударыня, я уже вам говорил. Здесь банк, учреждение частное, коммерческое… Что же вы от нас хотите? И поймите толком, что вы нам мешаете.

Щукина выслушала его и вздохнула.

— Так, так… — согласилась она. — Только уж вы, ваше превосходительство, сделайте милость, заставьте вечно бога молить, будьте отцом родным, защитите. Ежели медицинского свидетельства мало, то я могу и из участка удостоверение представить… Прикажите выдать мне деньги!



У Кистунова зарябило в глазах. Он выдохнул весь воздух, сколько его было в легких, и в изнеможении опустился на стул.

— Сколько вы хотите получить? — спросил он

слабым голосом.

— 24 рубля 36 копеек.

Кистунов вынул из кармана бумажник, достал оттуда четвертной билет и подал его Щукиной.

— Берите и… и уходите!

Щукина завернула в платочек деньги, спрятала и, сморщив лицо в сладкую, деликатную, даже кокетливую улыбочку, спросила:

— Ваше превосходительство, а нельзя ли моему мужу опять поступить на место?

— Я уеду… болен… — сказал Кистунов томным голосом. — У меня страшное сердцебиение.

По отъезде его Алексей Николаич послал Никиту за лавровишневыми каплями, и все, приняв по 20 капель, уселись за работу, а Щукина потом часа два еще сидела в передней и разговаривала со швейцаром, ожидая, когда вернется Кистунов.

Приходила она и на другой день.

Выигрышный билет

Иван Дмитрич, человек средний, проживающий с семьей тысячу двести рублей в год и очень довольный своей судьбой, как-то после ужина сел на диван и стал читать газету.

— Забыла я сегодня в газету поглядеть, — сказала его жена, убирая со стола. — Посмотри, нет ли там таблицы тиражей?

— Да, есть, — ответил Иван Дмитрич. — А разве твой билет не пропал в залоге?

— Нет, я во вторник носила проценты.

— Какой номер?

— Серия 9499, билет 26.

— Так-с. Посмотрим-с… 9499 и 26.

Иван Дмитрич не верил в лотерейное счастие и в другое время ни за что не стал бы глядеть в таблицу тиражей, но теперь от нечего делать и — благо, газета была перед глазами — он провел пальцем сверху вниз по номерам серий. И тотчас же, точно в насмешку над его неверием, не дальше как во второй строке сверху резко бросилась в глаза цифра 9499! Не поглядев, какой номер билета, не проверяя себя, он быстро опустил газету на колени и, как будто кто плеснул ему на

живот холодной водой, почувствовал под ложечкой приятный холодок: и щекотно, и страшно, и сладко!

— Маша, 9499 есть! — сказал он глухо.

Жена поглядела на его удивленное, испуганное лицо и поняла, что он не шутит.

— 9499? — спросила она, бледнея и опуская на стол сложенную скатерть.

— Да, да… Серьезно есть!

— А номер билета?

— Ах, да! Еще номер билета. Впрочем, постой… погоди. Нет, каково? Все-таки номер нашей серии есть! Все-таки, понимаешь…

Иван Дмитрич, глядя на жену, улыбался широко и бессмысленно, как ребенок, которому показывают блестящую вещь. Жена тоже улыбалась: ей, как и ему, приятно было, что он назвал только серию и не спешит узнать номер счастливого билета. Томить и дразнить себя надеждой на возможное счастие — это так сладко, жутко!

— Наша серия есть, — сказал Иван Дмитрич после долгого молчания. — Значит, есть вероятность, что мы выиграли. Только вероятность, но все же она есть!

— Ну, теперь взгляни.

— Постой. Еще успеем разочароваться. Это во

второй строке сверху, значит, выигрыш в 75 000. Это не деньги, а сила, капитал! И вдруг я погляжу сейчас в таблицу, а там — 26! А? Послушай, а что если мы в самом деле выиграли?

Супруги стали смеяться и долго глядели друг на друга молча. Возможность счастья отуманила их, они не могли даже мечтать, сказать, на что им обоим нужны эти 75 000, что они купят, куда поедут. Думали они только о цифрах 9499 и 75 000, рисовали их в своем воображении, а о самом счастье, которое было так возможно, им как-то не думалось.

Иван Дмитрич, держа в руках газету, несколько раз прошелся из угла в угол и, только когда успокоился от первого впечатления, стал понемногу мечтать.

— А что, если мы выиграли? — сказал он. — Ведь это новая жизнь, это катастрофа! Билет твой, но если бы он был моим, то я прежде всего, конечно, купил бы тысяч за 25 какую-нибудь недвижимость вроде имения; тысяч 10 на единовременные расходы: новая обстановка… путешествие, долги заплатить и прочее… Остальные 40 тысяч в банк под проценты…

— Да, имение — это хорошо, — сказала жена, садясь и опуская на колени руки.

— Где-нибудь в Тульской или Орловской губернии… Во-первых, дачи не нужно, во-вторых, все-таки доход.

И в его воображении затолпились картины, одна другой ласковей, поэтичней, и во всех этих картинах он видел себя самого сытым, спокойным, здоровым, ему тепло, даже жарко! Вот он, поевши холодной, как лед, окрошки, лежит вверх животом на горячем песке у самой речки или в саду под липой… Жарко… Сынишка и дочь ползают возле, роются в песке или ловят в траве козявок. Он сладко дремлет, ни о чем не думает и всем телом чувствует, что ему не идти на службу ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. А надоело лежать, он идет на сенокос или в лес за грибами или же глядит, как мужики ловят неводом рыбу. Когда садится солнце, он берет простыню, мыло и плетется в купальню, где не спеша раздевается, долго разглаживает ладонями свою голую грудь и лезет в воду. А в воде, около матовых мыльных кругов суетятся рыбешки, качаются зеленые водоросли. После купанья чай со сливками и со сдобными кренделями… Вечером прогулка или винт с соседями.

— Да, хорошо бы купить имение, — говорит жена, тоже мечтая, и по лицу ее видно, что она

очарована своими мыслями.

Иван Дмитрич рисует себе осень с дождями, с холодными вечерами и с бабьим летом. В это время нужно нарочно подольше гулять по саду, огороду, по берегу реки, чтобы хорошенько озябнуть, а потом выпить большую рюмку водки и закусить соленым рыжиком или укропным огурчиком и — выпить другую. Детишки бегут с огорода и тащат морковь и редьку, от которой пахнет свежей землей… А после развалиться на диване и не спеша рассматривать какой-нибудь иллюстрированный журнал, а потом прикрыть журналом лицо, расстегнуть жилетку, отдаться дремоте…

За бабьим летом следует хмурое, ненастное время. Днем и ночью идет дождь, голые деревья плачут, ветер сыр и холоден. Собаки, лошади, куры — все мокро, уныло, робко. Гулять негде, из дому выходить нельзя, целый день приходится шагать из угла в угол и тоскливо поглядывать на пасмурные окна. Скучно!

Иван Дмитрич остановился и посмотрел на жену.

— Я, знаешь, Маша, за границу поехал бы, — сказал он.

И он стал думать о том, что хорошо бы поехать

глубокой осенью за границу, куда-нибудь в южную Францию, Италию… Индию!

— Я тоже непременно бы за границу поехала, — сказала жена. — Ну, посмотри номер билета!

— Постой! Погоди…

Он ходил по комнате и продолжал думать. Ему пришло на мысль: а что если в самом деле жена поедет за границу? Путешествовать приятно одному или же в обществе женщин легких, беззаботных, живущих минутой, а не таких, которые всю дорогу думают и говорят только о детях, вздыхают, пугаются и дрожат над каждой копейкой. Иван Дмитрич представил себе свою жену в вагоне со множеством узелков, корзинок, свертков; она о чем-то вздыхает и жалуется, что у нее от дороги разболелась голова, что у нее ушло много денег; то и дело приходится бегать на станцию за кипятком, бутербродами, водой… Обедать она не может, потому что это дорого…

«А ведь она бы меня в каждой копейке усчитывала, — подумал он, взглянув на жену. — Билет-то ее, а не мой! Да и зачем ей за границу ехать? Чего она там не видала? Будет в номере сидеть да меня не отпускать от себя… Знаю!»

И он первый раз в жизни обратил внимание на то, что его жена постарела, подурнела, вся

насквозь пропахла кухней, а сам он еще молод, здоров, свеж, хоть женись во второй раз.

«Конечно, все это пустяки и глупости, — думал он, — но… зачем бы она поехала за границу? Что она там понимает? А ведь поехала бы… Воображаю… А на самом деле для нее что Неаполь, что Клин — все едино. Только бы мне помешала. Я бы у нее в зависимости был. Воображаю, как бы только получила деньги, то сейчас бы их по-бабьи под шесть замков… От меня будет прятать… Родне своей будет благотворить, а меня в каждой копейке усчитает».

Вспомнил Иван Дмитрич родню. Все эти братцы, сестрицы, тетеньки, дяденьки, узнав про выигрыш, приползут, начнут нищенски клянчить, маслено улыбаться, лицемерить. Противные, жалкие люди! Если им дать, то они еще попросят; а отказать — будут клясть, сплетничать, желать всяких напастей.

Иван Дмитрич припоминал своих родственников, и их лица, на которые он прежде глядел безразлично, казались ему теперь противными, ненавистными.

«Это такие гадины!» — думал он.

И лицо жены стало казаться тоже противным, ненавистным. В душе его закипала против нее

злоба, и он со злорадством думал:

«Ничего не смыслит в деньгах, а потому скупа. Если бы выиграла, дала бы мне только сто рублей, а остальные — под замок».

И он уже не с улыбкою, а с ненавистью глядел на жену. Она тоже взглянула на него, и тоже с ненавистью и со злобой. У нее были свои радужные мечты, свои планы, свои соображения; она отлично понимала, о чем мечтает ее муж. Она знала, кто первый протянул бы лапу к ее выигрышу.

«На чужой-то счет хорошо мечтать! — говорил ее взгляд. — Нет, ты не смеешь!»

Муж понял ее взгляд; ненависть заворочалась у него в груди, и, чтобы досадить своей жене, он назло ей быстро заглянул на четвертую страницу газеты и провозгласил с торжеством:

— Серия 9499, билет 46! Но не 26!

Надежда и ненависть обе разом исчезли, и тотчас же Ивану Дмитричу и его жене стало казаться, что их комнаты темны, малы и низки, что ужин, который они съели, не насыщает, а только давит под желудком, что вечера длинны и скучны…

— Черт знает что, — сказал Иван Дмитрич, начиная капризничать. — Куда ни ступишь, везде бумажки под ногами, крошки, какая-то скорлупа.

Никогда не подметают в комнатах! Придется из дому уходить, черт меня подери совсем. Уйду и повешусь на первой попавшейся осине.

Житейские невзгоды

Лев Иванович Попов, человек нервный, несчастный на службе и в семейной жизни, потянул к себе счеты и стал считать снова. Месяц тому назад он приобрел в банкирской конторе Кошкера выигрышный билет 1-го займа на условиях погашения ссуды частями в виде ежемесячных взносов и теперь высчитывал, сколько ему придется заплатить за все время погашения и когда билет станет его полною собственностью.

— Билет стоит по курсу 246 рублей, — считал он. — Дал я задатку 10 руб., значит, осталось 236. Хорошо-с… К этой сумме нужно прибавить проценты за 1 месяц в размере 7 % годовых и ¼ % комиссионных, гербовый сбор, почтовые расходы за пересылку залоговой квитанции 21 коп., страхование билета 1 руб. 10 коп., за транзит 1 руб. 22 коп., за элеватор 74 коп., пени 18 коп…

За перегородкой на кровати лежала жена Попова, Софья Саввишна, приехавшая к мужу из Мценска просить отдельного вида на жительство. В дороге она простудилась, схватила флюс и теперь невыносимо страдала. Наверху за потолком какой-то энергический мужчина, вероятно

ученик консерватории, разучивал на рояли рапсодию Листа с таким усердием, что, казалось, по крыше дома ехал товарный поезд. Направо, в соседнем номере, студент-медик готовился к экзамену. Он шагал из угла в угол и зубрил густым семинарским басом:

— Хронический катарр желудка наблюдается также у привычных пьяниц, обжор, вообще у людей, ведущих неумеренный образ жизни…

В номере стоял удушливый запах гвоздики, креозота, йода, карболки и других вонючих веществ, которые Софья Саввишна употребляла против своей зубной боли.

— Хорошо-с, — продолжал считать Попов. — К 236 прибавить 14 руб. 81 коп., итого к этому месяцу остается 250 руб. 81 коп. Теперь, если я в марте уплачу 5 руб., то, значит, останется 240 руб. 81 коп. Хорошо-с. Теперь, считая за 1 месяц вперед 7 % годовых и ¼ % комиссионных…

— Аа-х! — застонала жена. — Да помоги же мне, Лев Иваныч! Умира-аю!

— Что же я, матушка, сделаю? Я не доктор… ¼ % комиссионных, ⅕ % куртажа, на каботаж 1 руб. 22 коп., за транзит 74 коп…

— Бесчувственный! — заплакала Софья Саввишна, высовывая свою опухшую физиономию

из-за ширмы. — Ты никогда мне не сочувствовал, мучитель! Слушай, когда я тебе говорю! Невежа!

— Стало быть, ¼ % комиссионных… за транзит 74 коп., за элеватор 18 коп., за упаковку 32 коп. — итого 17 руб. 12 коп.

— Хрронический катарр желудка, — зубрил студент, шагая из угла в угол, — наблюдается также у привычных пьяниц, обжор…

Попов встряхнул счеты, мотнул угоревшей головой и стал считать снова. Через час он сидел все на том же месте, таращил глаза в залоговую квитанцию и бормотал:

— Значит, в августе 1896 года останется 228 руб. 67 коп. Хорошо-с… В сентябре я взношу 5 руб., останется 223 руб. 67 коп. Ну-с, прибавляя за 1 месяц вперед 7 % годовых, ¼ % комиссионных…

— Варвар, подай нашатырный спирт! — взвизгнула Софья Саввишна. — Тиран! Убийца!

— Хрронический катарр желудка наблюдается также при стрррaданиях печени…

Попов подал жене спирт и продолжал:

— ¼ % комиссионных, за транзит 74 коп., издержки по аберрации 18 коп., пени 32 коп…

Наверху музыка было утихла, но через минуту пианист заиграл снова и с таким ожесточением, что в матрасе под Софьей Саввишной задвигалась

пружина. Попов ошалело поглядел на потолок и начал считать опять с августа 1896 года. Он глядел на бумаги с цифрами, на счеты и видел что-то вроде морской зыби; в глазах его рябило, мозги путались, во рту пересохло, и на лбу выступил холодный пот, но он решил не вставать, пока окончательно не уразумеет своих денежных отношений к банкирской конторе Кошкера.



— А-ах! — мучилась Софья Саввишна. — Всю правую сторону рвет. Владычица! О-ох, моченьки моей нет! А ему, аспиду, хоть трава не расти! Хоть

умри я, ему все равно! Несчастная я, страдалица! Вышла за идола, мученица!

— Но что же я могу сделать? Значит, в феврале 1903 года я буду должен 208 руб. 7 коп. Хорошо-с. Теперь, прибавляя 7 % годовых, ¼ % комиссионных, куртажа 74 коп.…

— Хрррронический катарр желудка наблюдается и при страданиях легких…

— Не муж ты, не отец своих детей, а тиран и мучитель! Подай скорей хоть гвоздичку, бесчувственный!

— Тьфу! ¼ % комиссионных… то есть что же я? За вычетом прибыли от купонов, с прибавлением 7 % годовых за месяц вперед, ¼ % комиссионных…

— Хрррронический катарр желудка наблюдается и при страданиях легких…

Часа три спустя Попов подвел последний итог. Оказалось, что за все время погашения придется заплатить банкирской конторе Кошкера 1 347 821 руб. 92 коп. и что если вычесть отсюда выигрыш в двести тысяч, то все же останется убытку больше миллиона. Увидев такие цифры, Лев Иванович медленно поднялся, похолодел… На лице у него выступило выражение ужаса, недоумения и оторопи, как будто у него выстре-

лили под самым ухом. В это время наверху за потолком к пианисту подсел товарищ, и четыре руки, дружно ударив по клавишам, стали нажаривать рапсодию Листа. Студент-медик быстрее зашагал, прокашлялся и загудел:

— Хрррронический катарр желудка наблюдается также у привычных пьяниц, обжоррр…

Софья Саввишна взвизгнула, швырнула подушку, застучала ногами. Боль ее, по-видимому, только что начинала разыгрываться…

Попов вытер холодный пот, опять сел за стол и, встряхнув счеты, сказал:

— Надо проверить. Очень возможно, что я немножко ошибся…

И он принялся опять за квитанцию и начал снова считать:

— Билет стоит по курсу 246 руб… Дал я задатку 10 руб., значит, осталось 236…

А в ушах у него стучало:

— Дыр… дыр… дыр…

И уже слышались выстрелы, свист, хлопанье бичей, рев львов и леопардов.

— Осталось 236! — кричал он, стараясь перекричать этот шум. — В июне я взношу 5 рублей! Черт возьми, 5 рублей! Черт вас дери, в рот вам

дышло, 5 рублей! Vive la France![207] Да здравствует Дерулед!

Наутро его свезли в больницу.

[207] Примечания: 207
Да здравствует Франция! (фр.).

Весной[208]
(Сцена-монолог)

Раннее утро. Из-за слухового окна показывается на крыше серый молодой кот с глубокой царапиной на носу. Некоторое время он презрительно жмурится, потом говорит:

— Пред вами счастливейший из смертных! О, любовь! О, сладкие мгновения! О, когда я буду дохлым и меня возьмут за хвост и бросят в помойную яму, даже тогда я не забуду первой встречи возле опрокинутой бочки, не забуду взгляда ее узких зрачков, ее бархатного, пушистого хвоста! За одно движение этого грациозного, неземного хвоста я готов отдать весь мир! Впрочем… к чему это я вам говорю? Вы никогда не понимали ни котов, ни гимназистов, ни старых дев. Вы, люди, мелки, ничтожны и не можете хладнокровно глядеть на кошачье счастье. Вы завистливо улыбаетесь и попрекаете меня моим счастьем: «Счастье котам!» Но ни одному из вас не приходит в голову спросить, какою ценою достается нам счастье. Так дайте же я вам расскажу, во что обходится ко-

---

[208] Примечания: 208
Первоначальное название «Монолог кота».

там счастье! Вы увидите, что в погоне за ним кот борется, рискует и терпит гораздо больше, чем человек! Слушайте же… Обыкновенно в 9 часов вечера наша кухарка выносит помои. Я выхожу за ней и пробегаю через весь двор по лужам. У котов не принято носить калоши, а потому волей-неволей приходится забыть на всю ночь о своем отвращении к сырости. В конце двора я прыгаю на забор и осторожно ступаю по его краю; внизу злорадно следит за мной сеттер, мой злейший враг, мечтающий, что я рано или поздно свалюсь с забора и позволю ему помять себя. Затем один хороший прыжок — и я иду уже по сараю. Отсюда с усилием карабкаюсь я по водосточной трубе высокого дома и шествую по узкому, скользкому карнизу. С карниза я прыгаю на соседний дом. Тут на крыше меня обыкновенно встречают мои соперники. О господа, если б вы знали, сколько шрамов, рубцов и шишек прячется за моею шерстью, то у вас волосы стали бы дыбом! В прошлом году у меня едва не вытек глаз, а третьего дня мои соперники спихнули меня с высоты двухэтажного дома. Но к делу. Я начинаю петь. В музыке мы, коты, теоретики и держимся новой школы, родоначальником которой считаем себя: не гонимся за мотивом, а стараемся петь громче

и дольше. Обыватели плохие теоретики, а потому не мудрено, что они не понимают нашего пения и швыряют в нас камнями, метлами, обливают помоями и натравляют на нас собак. Петь мне приходится около трех часов, а иногда и дольше, до тех пор, пока ветер не донесет до моего слуха нежное, призывающее «мяу». Как молния, мчу я на этот призыв, встречаю ее… Наши кошки, в особенности из чайных магазинов, добродетельны. Как бы они ни любили, они никогда не отдадутся без протеста. Нужно обладать настойчивостью и силой воли, чтобы добиться успеха. Она шипит, царапает вам нос, кокетливо жмурится; когда на ее глазах соперники задают вам выволочку, она мурлыкает, шевелит усами, бегает от вас по крышам, по заборам. Возня страшная, так что сладкий миг наступает обыкновенно не раньше 4–5 часов утра.



Теперь вам понятно, во что мне обходится счастье.

(Задирает вверх хвост и с достоинством шествует дальше.)

Тайна

Вечером первого дня Пасхи действительный статский советник Навагин, вернувшись с визитов, взял в передней лист, на котором расписывались визитеры, и вместе с ним пошел к себе в кабинет. Разоблачившись и выпив зельтерской, он уселся поудобней на кушетке и стал читать подписи на листе. Когда его взгляд достиг до середины длинного ряда подписей, он вздрогнул, удивленно фыркнул и, изобразив на лице своем крайнее изумление, щелкнул пальцами.

— Опять! — сказал он, хлопнув себя по колену. — Это удивительно! Опять! Опять расписался этот, черт его знает, кто он такой, Федюков! Опять!

Среди многочисленных подписей находилась на листе подпись какого-то Федюкова. Что за птица этот Федюков, — Навагин решительно не знал. Он перебрал в памяти всех своих знакомых, родственников и подчиненных, припоминал свое отдаленное прошлое, но никак не мог вспомнить ничего даже похожего на Федюкова. Страннее же

всего было то, что этот incognito[209] Федюков в последние тринадцать лет аккуратно расписывался каждое Рождество и Пасху. Кто он, откуда и каков он из себя, — не знали ни Навагин, ни его жена, ни швейцар.

— Удивительно! — изумлялся Навагин, шагая по кабинету. — Странно и непонятно! Какая-то кабалистика! Позвать сюда швейцара! — крикнул он. — Чертовски странно! Нет, я все-таки узнаю, кто он! Послушай, Григорий, — обратился он к вошедшему швейцару, — опять расписался этот Федюков! Ты видел его?

— Никак нет…

— Помилуй, да ведь он же расписался! Значит, он был в передней? Был?

— Никак нет, не был.

— Как же он мог расписаться, если он не был?

— Не могу знать.

— Кому же знать? Ты зеваешь там в передней! Припомни-ка, может быть, входил кто-нибудь незнакомый! Подумай!

— Нет, вашество, незнакомых никого не было. Чиновники наши были, к ее превосходительству баронесса приезжала, священники с крестом

---

[209] Примечания: 209
Неизвестный (лат.).

приходили, а больше никого не было…

— Что ж, он невидимкой расписался, что ли?

— Не могу знать, но только Федюкова никакого не было. Это я хоть перед образом…

— Странно! Непонятно! Уди-ви-тель-но! — задумался Навагин. — Это даже смешно. Человек расписывается уже тринадцать лет, и ты никак не можешь узнать, кто он. Может быть, это чья-нибудь шутка? Может быть, какой-нибудь чиновник вместе со своей фамилией подписывает, ради курьеза, и этого Федюкова?

И Навагин стал рассматривать подпись Федюкова.

Размашистая, залихватская подпись на старинный манер, с завитушками и закорючками, по почерку совсем не походила на остальные подписи. Находилась она тотчас же под подписью губернского секретаря Штучкина, запуганного и малодушного человечка, который наверное умер бы с перепуга, если бы позволил себе такую дерзкую шутку.

— Опять таинственный Федюков расписался! — сказал Навагин, входя к жене. — Опять я не добился, кто это такой!

M-me Навагина была спиритка, а потому все понятные и непонятные явления в природе объ-

ясняла очень просто.

— Ничего тут нет удивительного, — сказала она. — Ты вот не веришь, а я говорила и говорю: в природе очень много сверхъестественного, чего никогда не постигнет наш слабый ум! Я уверена, что этот Федюков — дух, который тебе симпатизирует… На твоем месте я вызвала бы его и спросила, что ему нужно.

— Вздор, вздор!

Навагин был свободен от предрассудков, но занимавшее его явление было так таинственно, что поневоле в его голову полезла всякая чертовщина. Весь вечер он думал о том, что incognito Федюков есть дух какого-нибудь давно умершего чиновника, прогнанного со службы предками Навагина, а теперь мстящего потомку; быть может, это родственник какого-нибудь канцеляриста, уволенного самим Навагиным, или девицы, соблазненной им…

Всю ночь Навагину снился старый, тощий чиновник в потертом вицмундире, с желтолимонным лицом, щетинистыми волосами и оловянными глазами; чиновник говорил что-то могильным голосом и грозил костлявым пальцем.

У Навагина едва не сделалось воспаление моз-

га. Две недели он молчал, хмурился и все ходил да думал. В конце концов он поборол свое скептическое самолюбие и, войдя к жене, сказал глухо:

— Зина, вызови Федюкова!

Спиритка обрадовалась, велела принести картонный лист и блюдечко, посадила рядом с собой мужа и стала священнодействовать. Федюков не заставил долго ждать себя…

— Что тебе нужно? — спросил Навагин.

— Кайся… — ответило блюдечко.

— Кем ты был на земле?

— Заблуждающийся…

— Вот видишь! — шепнула жена. — А ты не верил!

Навагин долго беседовал с Федюковым, потом вызывал Наполеона, Ганнибала, Аскоченского, свою тетку Клавдию Захаровну, и все они давала ему короткие, но верные и полные глубокого смысла ответы. Возился он с блюдечком часа четыре и уснул успокоенный, счастливый, что познакомился с новым для него, таинственным миром. После этого он каждый день занимался спиритизмом и в присутствии объяснял чиновникам, что в природе вообще очень много сверхъестественного, чудесного, на что нашим ученым давно бы следовало обратить внимание.

Гипнотизм, медиумизм, бишопизм, спиритизм, четвертое измерение и прочие туманы овладели им совершенно, так что по целым дням он, к великому удовольствию своей супруги, читал спиритические книги или же занимался блюдечком, столоверчениями и толкованиями сверхъестественных явлений. О его легкой руки занялись спиритизмом и все его подчиненные, да так усердно, что старый экзекутор сошел с ума и послал однажды с курьером такую телеграмму: «В ад, казенная палата. Чувствую, что обращаюсь в нечистого духа. Что делать? Ответ уплачен. Василий Кринолинский».

Прочитав не одну сотню спиритических брошюр, Навагин почувствовал сильное желание самому написать что-нибудь. Пять месяцев он сидел и сочинял и в конце концов написал громадный реферат под заглавием: «И мое мнение». Кончив эту статью, он порешил отправить ее в спиритический журнал.

День, в который предположено было отправить статью, ему очень памятен. Навагин помнит, что в этот незабвенный день у него в кабинете находились секретарь, переписывавший набело статью, и дьячок местного прихода, позванный по делу. Лицо Навагина сияло. Он любовно огля-

дел свое детище, потрогал меж пальцами, какое оно толстое, счастливо улыбнулся и сказал секретарю:

— Я полагаю, Филипп Сергеич, заказным отправить. Этак вернее… — И подняв глаза на дьячка, он сказал: — Вас я велел позвать по делу, любезный. Я отдаю младшего сына в гимназию, и мне нужно метрическое свидетельство, только нельзя ли поскорее.

— Очень хорошо-с, ваше превосходительство! — сказал дьячок, кланяясь. — Очень хорошо-с! Понимаю-с…

— Нельзя ли к завтрему приготовить?

— Хорошо-с, ваше превосходительство, будьте покойны-с! Завтра же будет готово! Извольте завтра прислать кого-нибудь в церковь перед вечерней. Я там буду. Прикажите спросить Федюкова, я всегда там…

— Как?! — крикнул генерал, бледнея.

— Федюкова-с.

— Вы… вы Федюков? — спросил Навагин, таращa на него глаза.

— Точно так, Федюков.

— Вы… вы расписывались у меня в передней?

— Точно так, — сознался дьячок и сконфузился. — Я, ваше превосходительство, когда мы с

крестом ходим, всегда у вельможных особ расписуюсь… Люблю это самое… Как увижу, извините, лист в передней, так и тянет меня имя свое записать…

В немом отупении, ничего не понимая, не слыша, Навагин зашагал по кабинету. Он потрогал портьеру у двери, раза три взмахнул правой рукой, как балетный jeune premier[210], видящий ее, посвистал, бессмысленно улыбнулся, указал в пространство пальцем.

— Так я сейчас пошлю статью, ваше превосходительство, — сказал секретарь.

Эти слова вывели Навагина из забытья. Он тупо оглядел секретаря и дьячка, вспомнил и, раздраженно топнув ногой, крикнул дребезжащим, высоким тенором:

— Оставьте меня в покое! А-ас-тавь-те меня в покое, говорю я вам! Что вам нужно от меня, не понимаю?

Секретарь и дьячок вышли из кабинета и были уже на улице, а он все еще топал ногами и кричал:

— Аставьте меня в покое! Что вам нужно от меня, не понимаю? А-ас-тавьте меня в покое!

---

[210] Примечания: 210
Первый любовник (фр.).

Удав и кролик[211]

Петр Семеныч, истасканный и плешивый субъект в бархатном халате с малиновыми кистями, погладил свои пушистые бакены и продолжал:

— А вот, mon cher[212], если хотите, еще один способ. Этот способ самый тонкий, умный, ехидный и самый опасный для мужей. Понятен он только психологам и знатокам женского сердца. При нем conditio sine qua non[213]: терпение, терпение и терпение. Кто не умеет ждать и терпеть, для того он не годится. По этому способу вы, покоряя чью-нибудь жену, держите себя как можно дальше от нее. Почувствовав к ней влечение, род недуга, вы перестаете бывать у нее, встречаетесь с ней возможно реже, мельком, причем отказываете себе в удовольствии беседовать с ней. Тут вы действуете на расстоянии. Все дело в некоторого рода гипнотизации. Она не должна видеть, но

---

[211] Примечания: 211

Рассказ является повторением основной части другого рассказа из этого же сборника под названием «К сведению мужей» — прим. изготовителя электронного файла.

[212] Примечания: 212

Мой милый (фр.).

[213] Примечания: 213

Непременное условие (лат.).

должна чувствовать вас, как кролик чувствует взгляд удава. Гипнотизируете вы ее не взглядом, а ядом вашего языка, причем самой лучшей передаточной проволокой может служить сам муж.

Например, я влюблен в особу N. N. и хочу покорить ее. Где-нибудь в клубе или в театре я встречаю ее мужа.

— А как поживает ваша супруга? — спрашиваю я его между прочим. — Милейшая женщина, доложу я вам! Ужасно она мне нравится! То есть черт знает как нравится!

— Гм… Чем же это она вам так понравилась? — спрашивает довольный супруг.

— Прелестнейшее, поэтическое создание, которое может тронуть и влюбить в себя даже камень! Впрочем, вы, мужья, прозаики и понимаете своих жен только в первый месяц после свадьбы… Поймите, что ваша жена идеальнейшая женщина! Поймите и радуйтесь, что судьба послала вам такую жену! Таких-то именно в наше время и нужно женщин… именно таких!

— Что же в ней такого особенного? — недоумевает супруг.

— Помилуйте, красавица, полная грации, жизни и правды, поэтичная, искренняя и в то же время загадочная! Такие женщины если раз по-

любят, то любят сильно, всем пылом…

И прочее в таком роде. Супруг в тот же день, ложась спать, не утерпит, чтобы не сказать жене:

— Видал я Петра Семеныча. Ужасно тебя расхваливал. В восторге. И красавица ты, и грациозная, и загадочная… и будто любить ты способна как-то особенно. С три короба наговорил… Ха-ха…

После этого, не видаясь с нею, я опять норовлю встретиться с супругом.

— Кстати, милый мой… — говорю я ему. — Заезжал вчера ко мне один художник. Получил он от какого-то князя заказ: написать за две тысячи рублей головку типичной русской красавицы. Просил меня поискать для него натурщицу. Хотел было я направить его к вашей жене, да постеснялся. А ваша жена как раз бы подошла! Прелестная головка! Мне чертовски обидно, что эта чудная модель не попадается на глаза художников! Чертовски обидно!

Нужно быть слишком нелюбезным супругом, чтобы не передать этого жене. Утром жена долго глядится в зеркало и думает:

«Откуда он взял, что у меня чисто русское лицо?»

После этого, заглядывая в зеркало, она всякий раз уж думает обо мне. Между тем нечаянные

встречи мои с ее мужем продолжаются. После одной из встреч муж приходит домой и начинает всматриваться в лицо жены.

— Что ты так вглядываешься? — спрашивает она.

— Да тот чудак, Петр Семеныч, нашел, что будто у тебя один глаз темнее другого. Не нахожу этого, хоть убей!

Жена опять к зеркалу. Она долго оглядывает себя и думает:

«Да, кажется, левый глаз несколько темнее правого… Нет, кажется, правый темнее левого… Впрочем, быть может, это ему так показалось!»

После восьмой или девятой встречи муж говорит жене:

— Видал в театре Петра Семеныча. Просит извинения, что не может заехать к тебе: некогда! Говорит, что очень занят. Кажется, уж месяца четыре он у нас не был… Я его распекать стал за это, а он извиняется и говорит, что не приедет к нам, пока не кончит какой-то работы.

— А когда же он кончит? — спрашивает жена.

— Говорит, что не раньше, как через год или два. А какая такая работа у этого свистуна, черт его знает. Чудак, ей-богу! Пристал ко мне, как с ножом к горлу: отчего ваша жена на сцену

не поступает? С этакой, говорит, благодарной наружностью, с таким развитием и уменьем чувствовать грешно жить дома. Она, говорит, должна бросить все и идти туда, куда зовет ее внутренний голос. Житейские рамки созданы не для нее. Такие, говорит, натуры, как она, должны находиться вне времени и пространства.

Жена, конечно, смутно понимает это витийство, но все-таки тает и захлебывается от восторга.

— Какой вздор! — говорит она, стараясь казаться равнодушной. — А еще что он говорил?

— Не будь, говорит, занят, отбил бы я у вас ее. Что ж, говорю, отбивайте, на дуэли драться не буду. Вы, кричит, не понимаете ее. Ее понять нужно! Это, говорит, натура недюжинная, могучая, ищущая выхода! Жалею, говорит, что я не Тургенев, а то давно бы я ее описал. Ха-ха… Далась ты ему! Ну, думаю, братец, пожил бы ты с ней годика два-три, так другое бы запел. Чудак!

И бедной женой постепенно овладевает страстная жажда встречи со мной. Я единственный человек, который понял ее, и только мне она может рассказать многое! Но я упорно не еду и не попадаюсь ей на глаза. Не видела она меня давно, но мой мучительно-сладкий яд уже отравил ее. Муж, зевая, передает ей мои слова, а ей

кажется, что она слышит мой голос, видит блеск моих глаз.

Наступает пора ловить момент. В один из вечеров приходит муж домой и говорит:

— Встретил я сейчас Петра Семеныча. Скучный такой, грустный, нос повесил.

— Отчего? Что с ним?

— Не разберешь. Жалуется, что тоска одолела. Я, говорит, одинок; нет, говорит, у меня ни близких, ни друзей, нет той души, которая поняла бы меня и слилась бы с моей душой. Меня, говорит, никто не понимает, и я хочу теперь только одного: смерти.

— Какие глупости! — говорит жена, а сама думает: «Бедный! Я его отлично понимаю! Я тоже одинока, меня никто не понимает, кроме него, кому же, как не мне, понять состояние его души?»

— Да, большой чудак. — продолжает муж. — С тоски, говорит, и домой не хожу, всю ночь по N-скому бульвару гуляю.

Жена вся в жару. Ей страстно хочется пойти на N-ский бульвар и взглянуть хотя одним глазом на человека, который сумел понять ее и который теперь в тоске. Кто знает? Поговори она теперь с ним, скажи ему слова два утешения, быть может, он перестал бы страдать. Скажи она, что у него

есть друг, который понимает его и ценит, он воскрес бы душой.

«Но это невозможно… дико, — думает она. — Об этом и думать даже не следует. Пожалуй, еще влюбишься чего доброго, а это дико… глупо».

Дождавшись, когда уснет муж, она поднимает свою горячую голову, прикладывает палец к губам и думает: что, если она рискнет выйти сейчас из дому? После можно будет соврать что-нибудь, сказать, что она бегала в аптеку, к зубному врачу.

«Пойду!» — решает она.

План у нее уже готов: из дома по черной лестнице, до бульвара на извозчике, на бульваре она пройдет мимо него, взглянет и назад. Этим она не скомпрометирует ни себя, ни мужа.



И она одевается, тихо выходит из дому и спешит к бульвару. На бульваре темно, пустынно. Голые деревья спят. Никого нет. Но вот она видит

чей-то силуэт. Это, должно быть, он. Дрожа всем телом, не помня себя, медленно приближается она ко мне… я иду к ней. Минуту мы стоим молча и глядим друг другу в глаза. Проходит еще минута молчания и… кролик беззаветно падает в пасть удава.

Обыватели

Десятый час утра. Иван Казимирович Ляшкевский, поручик из поляков, раненный когда-то в голову и теперь живущий пенсией в одном из южных губернских городов, сидит в своей квартире у настежь открытого окна и беседует с зашедшим к нему на минутку городовым архитектором Францем Степанычем Финкс. Оба высунули свои головы из окна и глядят в сторону на ворота, около которых на лавочке сидит домохозяин Ляшкевского, пухленький обыватель в расстегнутой жилетке, в широких синих панталонах и с отвислыми потными щечками. Обыватель о чем-то глубоко задумался и рассеянно ковыряет палочкой носок своего сапога.

— Удивительный, я вам скажу, народ! — ворчит Ляшкевский, со злобой глядя на обывателя. — Вот как сел на лавочку, так и будет, проклятый, сидеть сложа руки до самого вечера. Решительно ничего не делают, дармоеды и тунеядцы! Добро бы, у тебя, подлеца этакого, в банке деньги лежали или был свой хутор, где бы за тебя другие работали, а то ведь ни шиша за душой нет, ешь чужое, задолжал кругом, семью голодом моришь, шут бы тебя

взял! Просто, вы не поверите, Франц Степаныч, иной раз такая злость берет, что выскочил бы из окна и отхлестал бы его, каналью, плетью. Ну, отчего ты не работаешь? Зачем сидишь?

Обыватель равнодушно взглядывает на Ляшкевского, хочет что-то ответить, но не может; зной и лень парализовали его разговорную способность… Лениво зевнув, он крестит рот и поднимает глаза к небу, где, купаясь в горячем воздухе, летают голуби.

— Нельзя строго судить, мой почтеннейший, — вздыхает Финкс, вытирая платком свою большую лысую голову. — Войдите тоже в их положение: дела теперь тихие, всюду безработица, неурожаи, в торговле застой.

— А, боже мой, как вы рассуждаете! — возмущается Ляшкевский, сердито запахивая полы халата. — Допустим, что служить и торговать негде, но отчего он у себя дома не работает, черт бы его подрал! Послушай, разве у тебя дома нет работы? Погляди, скот! Крыльцо у тебя развалилось, тротуар ползет в канаву, забор подгнил.

Взял бы да и починил все это, а если не умеешь, то ступай на кухню жене помогать. Жена каждую минуту бегает то за водой, то помои выносит. Отчего бы тебе, подлецу, вместо нее не сбегать?

Да вы имейте еще в виду, Франц Степаныч, что у него десятины три сада и огород при доме, у него есть помещение для свиней и птицы, но все это пропадает даром, без всякой пользы. Сад бурьяном зарос и почти высох, а на огороде мальчишки в мячики играют. Ну, не скот ли? Я вам скажу, у меня при квартире только полдесятины, но у меня вы всегда найдете и редиску, и салат, и укроп, и лук, а этот мерзавец покупает все это на базаре.



— Русский человек, ничего не поделаешь! — говорит Финке, снисходительно улыбаясь. — У русского кровь такая... Очень, очень ленивые люди! Если б все это добро отдать немцам или полякам, то вы через год не узнали бы города.

Обыватель в синих панталонах подзывает к

себе девчонку с решетом, покупает у нее на копейку подсолнухов и начинает «лускать».

— Пся крев! — злится Ляшкевский. — Вот только этим и занимаются! Подсолнухи лускают да о политике говорят! О, черт подери!

Злобно оглядывая синие панталоны, Ляшкевский постепенно вдохновляется и входит в такой азарт, что на губах его выступает пена. Говорит он с польским акцентом, ядовито отчеканивая каждый слог; под конец мешочки под его глазами надуваются, он оставляет русских подлецов, мерзавцев и каналий в покое и, тараща глаза, кашляя от напряжения, начинает сыпать польскими ругательствами:

— Лайдаки, пся крев! Цоб их дьябли везли!

Обыватель отлично слышит эту брань, но, судя по выражению его помятой фигурки, она не трогает его. По-видимому, он давно уже привык к ней, как к жужжанью мух, и находит излишним протестовать. Финксу в каждый визит приходится слушать на тему о ленивых, никуда не годных обывателях и каждый раз аккуратно одно и то же.

— Однако… мне пора! — говорит он, вспомнив, что ему некогда. — Прощайте!

— Куда же вы?

— Я ведь к вам только на минутку зашел. В женской гимназии в подвале стена треснула, так меня просили прийти поскорее посмотреть. Надо сходить.

— Гм. А я велел Варваре самовар поставить! — удивляется Ляшкевский. — Погодите, напьемся чаю, тогда и пойдете.

Финкс послушно кладет шляпу на стол и остается пить чай. За чаем Ляшкевский доказывает, что обыватели погибли уже безвозвратно, что есть только один выход — забрать их всех огулом и под строгим конвоем отправить на казенные работы.

— Да помилуйте! — горячится он. — Вы спросите, чем живет вот этот гусь, что сидит! Он отдает мне свой дом под квартиру за семь рублей в месяц да на именины ходит — только этим и сыт, прохвост, цоб его дьябли везли! Нет ни заработков, ни доходов. Мало того, что они лентяи и дармоеды, но еще и мошенники. То и дело берут из городского банка деньги, а куда девают их? Пустятся в какую-нибудь аферу вроде отправки быков в Москву или устройства маслобойни по новому способу, а чтобы быков в Москву гнать или масло бить, надо иметь голову на плечах, ну, а у этих каналий на плечах тыквы. Конечно,

всякая афера к черту… Потратят зря деньги, запутаются и показывают потом банку кукиши. Что с них возьмешь? Дома заложены и перезаложены, другого имущества никакого — давно уже все съедено и пропито. Девять десятых измошенничались, подлецы! Задолжать и не отдать — это у них правило. Городской банк трещит по их милости!

— А я вчера у Егорова был, — перебивает Финкс поляка, желая переменить разговор. — Представьте, выиграл у него в пикет шесть с полтиной.

— Я за пикет остался, кажется, вам что-то должен, — вспоминает Ляшкевский. — Надо бы отыграться. Не хотите ли одну партийку?

— Разве только одну, — мнется Финкс. — Мне ведь в гимназию спешить нужно.



Ляшкевский и Финкс садятся у открытого окна и начинают партию в пикет. Обыватель в синих панталонах аппетитно потягивается, и со всего его тела сыплется на землю скорлупа подсолнухов. В это время из ворот vis-a-vis показывается другой обыватель, в желто-серой помятой коломенке и с длинной бородой. Он ласково щурит глаза на синие панталоны и кричит:

— С добрым утром, Семен Николаич! Имею честь вас с четвергом поздравить!

— И вас также, Капитон Петрович!

— Пожалуйте ко мне на лавочку! У меня холодок!

Синие панталоны кряхтя поднимаются и, переваливаясь с боку на бок, как утка, идут через улицу.

— Терц-мажор… — бормочет Ляшкевский, — Карты от дамы… пять и пятнадцать… О политике, подлецы, говорят… Слышите? Про Англию начали… У меня шесть червей.

— У меня семь пик. Карты мои.

— Да, карты ваши. Слышите? Биконсфильда ругают. Того не знают, свиньи, что Биконсфильд давно уже умер. Значит, у меня двадцать девять… Вам ходить…

— Восемь… девять… десять… Да, удивительный народ эти русские! Одиннадцать… двенадцать. Русская инертность — единственная на всем земном шаре.

— Тридцать… тридцать один. Взять бы, знаете, хорошую плетку, выйти да и показать им Биконсфильда. Ишь ведь как языками брешут! Брехать легче, чем работать. Стало быть, вы даму треф сбросили, а я-то и не сообразил.

— Тринадцать… четырнадцать… Невыносимо жарко! Каким надо быть чугуном, чтобы сидеть в

такую жару на лавочке на припеке! Пятнадцать.

За первой партией следует вторая, за второй третья… Финкс проигрывает, мало-помалу входит в картежный азарт и забывает про треснувшие стены гимназического подвала. Ляшкевский играет и то и дело поглядывает на обывателей. Ему видно, как те, усладивши друг друга беседой, идут в открытые ворота, проходят через грязный двор и садятся в жидкой тени под осиной. В первом часу жирная кухарка с бурыми икрами расстилает перед ними что-то вроде детской простыни с коричневыми пятнами и подает обед. Они едят деревянными ложками, отмахиваются от мух и продолжают о чем-то говорить.

— Это черт знает что такое! — возмущается Ляшкевский. — Я очень рад, что у меня нет ружья или револьвера, иначе бы я стрелял в этих кляч. У меня четыре валета — четырнадцать… Карты ваши… Ей-богу, у меня даже судороги в икрах делаются. Не могу равнодушно видеть этих архаровцев!

— Вы не волнуйтесь, вам вредно.

— Да помилуйте, тут камень выйдет из терпения!

Накушавшись, обыватель в синих панталонах, изнеможенный, изнуренный, спотыкаясь от

лени и излишней сытости, идет через улицу к себе и в бессилии опускается на свою лавочку. Он борется с дремотой и комарами и поглядывает вокруг себя с таким унынием, точно с минуты на минуту ожидает своей кончины. Его беспомощный вид окончательно выводит Ляшкевского из терпения. Поляк высовывается из окна и, брызжа пеной, кричит ему:

— Натрескался? А, мамочка! Прелесть! Налопался и теперь не знает, куда девать свой животик! Уйди ты, проклятый, с моих глаз! Провались!

Обыватель кисло взглядывает на него и вместо ответа шевелит только пальцами. Мимо него проходит знакомый гимназист с ранцем на спине. Остановив его, обыватель долго думает, о чем бы спросить, и спрашивает: — Ну, ну что?

— Ничего.

— Как же так ничего?

— Да так-таки и ничего.

— Гм… А какая наука самая трудная?

— Смотря для кого, — пожимает плечами гимназист.

— Так… А… как будет по-латынски дерево?

— Арбор.

— Ага… И все ведь это надо знать! — вздыхают синие панталоны. — Во все вникать нужно…

Дела, дела! Мамашенька здоровы?

— Ничего, благодарю вас.

— Так… Ну, ступай.

Проиграв два рубля, Финкс вспоминает про гимназию и приходит в ужас.

— Батюшки, уже три часа! — восклицает он. — Как, однако, я у вас засиделся! Прощайте, побегу!

— Пообедайте уж заодно у меня, тогда идите, — говорит Ляшкевский. — Успеете.

Финкс остается, но с условием, что обед будет продолжаться не долее десяти минут. Пообедав же, он минут пять сидит на диване и думает о треснувшей стене, потом решительно кладет голову на подушку и оглашает комнату пронзительным носовым свистом. Пока он спит, Ляшкевский, не признающий послеобеденного сна, сидит у окошка, смотрит на дремлющего обывателя и брюзжит:

— У, пся крев! И как это ты не околеешь от лени! Ни труда, ни нравственных и умственных интересов, а одни только растительные процессы… Гадость! Тьфу!

В шесть часов просыпается Финкс.

— Поздно уж в гимназию, — говорит он, потягиваясь. — Придется завтра сходить, а теперь… отыграться, что ли? Давайте еще одну партию…

Проводив в десятом часу вечера гостя, Ляшкевский долго глядит ему вслед и говорит:

— Прроклятый, целый день просидел без всякого дела… Только жалованье даром получают, черт бы их побрал… Немецкая свинья…

Он выглядывает в окно, но обывателя уже нет: ушел спать. Ворчать не на кого, и он впервые за весь день закрывает свой рот, но проходит минут десять, он не выдерживает охватывающей его тоски и начинает ворчать, толкая старое, ошарпанное кресло:

— Только место занимаешь, старая дрянь! Давно бы пора тебя сжечь, да все забываю приказать порубить. Безобразие!

А ложась спать, он нажимает ладонью пружину матраца, морщится и брюзжит:

— Про-кля-тая пружина! Она всю ночь будет мне бок резать. Завтра же велю распороть матрац и выбросить тебя, негодная рухлядь.

Засыпает он к полночи, и снится ему, что он обливает кипятком обывателей, Финкса, старое кресло…

Ненастье

В темные окна стучали крупные дождевые капли. Это был один из тех противных дачных дождей, которые обыкновенно, раз начавшись, тянутся долго, по неделям, пока озябнувший дачник, привыкнув, не погружается в совершенную апатию. Было холодно, чувствовалась резкая, неприятная сырость. Теща присяжного поверенного Квашина и его жена, Надежда Филипповна, одетые в ватерпруфы и шали, сидели в столовой за обеденным столом. На лице старухи было написано, что она, слава богу, сыта, одета, здорова, выдала единственную дочку за хорошего человека и теперь со спокойною совестью может раскладывать пасьянс; дочь ее, небольшая полная блондинка лет двадцати, с кротким малокровным лицом, поставив локти на стол, читала книгу; судя по глазам, она не столько читала, сколько думала свои собственные мысли, которых не было в книге. Обе молчали. Слышался шум дождя, и из кухни доносились протяжные зевки кухарки.

Самого Квашина не было дома. В дождливые дни он не приезжал на дачу, оставался в городе;

сырая дачная погода дурно влияла на его бронхит и мешала работать. Он держался того мнения, что вид серого неба и дождевые слезы на окнах отнимают энергию и нагоняют хандру. В городе же, где больше комфорта, ненастье почти не заметно.

После двух пасьянсов старуха смешала карты и взглянула на дочь.

— Я загадывала, будет ли завтра хорошая погода и приедет ли наш Алексей Степаныч, — сказала она. — Уж пятый день, как его нет… Наказал бог погодой…

Надежда Филипповна равнодушно поглядела на мать, встала и прошлась из угла в угол.

— Вчера барометр поднимался, — сказала она в раздумье, — а сегодня, говорят, опять падает.

Старуха разложила карты в три длинных ряда и покачала головой.

— Соскучилась? — спросила она, взглянув на дочь.

— Конечно!

— То-то я вижу. Как не соскучиться? Уж пятый день его нет. Бывало, в мае, самое большое два дня, ну три, а теперь — шутка ли? — пятый день! Я ему не жена и то соскучилась. А вчера, как сказали мне, что барометр поднимается, я для него, для Алексея Степаныча-то, велела цыпленка за-

резать и карасей почистить. Любит он. Покойный твой отец видеть рыбы не мог, а он любит. Всегда с аппетитом кушает.

— У меня за него сердце болит, — сказала дочь. — Нам скучно, а ведь ему, мама, еще скучнее.

— Еще бы! День-денской по судам, а ночью, как сыч, один в пустой квартире.

— И что ужасно, мама, он там один, без прислуги, некому самовар поставить или воды подать. Почему бы не нанять на летние месяцы лакея? Да и вообще к чему эта дача, если он не любит? Говорила ему — не нужно, так нет. «Для твоего, говорит, здоровья». А какое мое здоровье? Я и болею-то оттого, что он из-за меня такие муки терпит.

Глядя через плечо матери, дочь заметила ошибку в пасьянсе, нагнулась к столу и стала поправлять. Наступило молчание. Обе глядели в карты и воображали себе, как их Алексей Степаныч один-одинешенек сидит теперь в городе, в своем мрачном, пустом кабинете и работает, голодный, утомленный, тоскующий по семье…

— А знаешь что, мама? — сказала вдруг Надежда Филипповна, и глаза ее засветились. — Если завтра будет такая же погода, то я с утренним

поездом поеду к нему в город! По крайней мере я хоть об его здоровье узнаю, погляжу на него, чаем его напою.

И обе стали удивляться, как эта мысль, такая простая и легко исполнимая, раньше не приходила им в голову. До города всего полчаса езды, да потом на извозчике минут двадцать. Они поговорили еще немного и, довольные, легли спать, вместе в одной комнате.

— Охо-хо-хо… Господи, прости нас грешных! — вздохнула старуха, когда часы в зале пробили два. — Не спится!

— Ты не спишь, мама? — спросила дочь шепотом. — А я все об Алеше думаю. Как бы он своего здоровья не испортил в городе! Обедает он и завтракает бог знает где, в ресторанах да в трактирах.

— Я и сама об этом думала, — вздохнула старуха. — Спаси и сохрани, царица небесная. А дождь-то, дождь!

Утром дождь уже не стучал в окна, но небо по-вчерашнему было серо. Деревья стояли печальные и при каждом налете ветра сыпали с себя брызги. Следы человеческих ног на грязных тропинках, канавки и колеи были полны воды. Надежда Филипповна решила ехать.

— Кланяйся же ему, — говорила старуха, укутывая дочь. — Скажи, чтоб не очень-то по своим судам… И отдохнуть надо. Пускай, когда на улицу выходит, шею кутает: погода — спаси бог! Да возьми ему туда цыпленка; домашнее, хоть и холодное, а все же лучше, чем в трактире.

Дочь уехала, сказав, что вернется с вечерним поездом или завтра утром.

Но вернулась она гораздо раньше, перед обедом, когда старуха сидела у себя в спальне на сундуке и, подремывая, придумывала, что бы такое изжарить к вечеру для зятя.

Дочь, войдя к ней в комнату, бледная, расстроенная, и не сказав ни слова, не снимая шляпы, опустилась на постель и прислонилась головой к подушке.

— Да что с тобой? — изумилась старуха. — Отчего так скоро? Алексей Степаныч где?

Надежда Филипповна подняла голову и сухими, умоляющими глазами поглядела на мать.

— Он обманывает нас, мама! — проговорила она.

— Да что ты, Христос с тобой! — испугалась старуха, и с ее головы сполз чепец. — Кто станет нас с тобой обманывать? Помилуй, господи!

— Он обманывает нас, мама! — повторила дочь,

и подбородок у нее задрожал.

— Откуда ты взяла? — крикнула старуха, бледнея.

— Наша квартира заперта. Дворник говорит, что в эти пять дней Алеша ни разу домой не приходил. Он не дома живет! Не дома! Не дома!



Она замахала руками и громко заплакала, произнося только:

— Не дома! Не дома!

С нею сделалась истерика.

— Что же это такое? — бормотала старуха в ужасе. — Ведь он же писал третьего дня, что из дому не выходит! Ночует он где? Святители угодники!

Надежда Филипповна ослабела и не могла даже снять с себя шляпу. Точно ей дали дурману, она бессмысленно поводила глазами и судорожно хватала мать за руки.

— Нашла кому поверить: дворнику! — говорила старуха, суетясь около дочери и плача. — Экая ревнивая! Не станет он обманывать… Да и как он смеет обманывать? Разве мы какие-нибудь? Мы хоть и купеческого звания, а он не имеет права, потому что ты ему законная жена!

Мы жаловаться можем! Я за тобой двадцать тысяч дала! Ты не бесприданница!

И старуха сама разрыдалась и махнула рукой, и тоже ослабела, и легла на свой сундук. Обе они не заметили, как на небе показались голубые пятна, разредились облака, как в саду по мокрой траве осторожно скользнул первый луч, как повеселевшие воробьи запрыгали около луж, в которых отражались бегущие облака.

К вечеру приехал Квашин. Перед выездом из города он побывал у себя на квартире и узнал от дворника, что в его отсутствие приезжала жена.

— А вот и я! — сказал он весело, входя в комнату тещи и делая вид, как будто не замечает заплаканных, суровых лиц. — А вот и я! Пять суток не видались!

Он быстро поцеловал руки жене и теще и, с видом человека, который рад, что покончил с тяжелой работой, повалился в кресло.

— Уф! — сказал он, выпуская из легких весь воздух. — То есть вот как замучился! Едва сижу! Почти пять суток… день и ночь жил, как на бивуаках! На квартире ни разу не был, можете себе представить! Все время возился с конкурсом Шипунова и Иванчикова, пришлось работать у Галдеева, в его конторе, при магазине… Не ел, не пил, спал на какой-то скамейке, весь иззябся… Минуты свободной не было, некогда было даже у себя на квартире побывать. Так, Надюша, я и не был дома…

И Квашин, держась за бока, точно у него от работы болела поясница, искоса поглядел на жену и тещу, чтобы узнать, как подействовала его ложь, или, как он сам называл, дипломатия. Теща и жена поглядывали друг на друга с радостным изумлением, как будто нежданно-негаданно нашли драгоценность, которую потеряли… Лица у них сияли, глаза горели…

— Голубчик ты мой, — заговорила теща, вскакивая, — что же это я сижу? Чаю! Скорей чаю! Может, есть хочешь?

— Конечно, хочет! — сказала жена, срывая с своей головы платок, смоченный в уксусе. — Мама, подавайте скорей вино и закуску! Наталья, собирай на стол! Ах, боже мой, ничего не готово!

И обе испуганные, счастливые, засуетились, забегали по комнатам. Старуха не могла уже без смеха глядеть на дочь, которая оклеветала ни в чем не повинного человека, а дочери было совестно…

Скоро стол был накрыт. Квашин, от которого пахло мадерой и ликерами и который еле дышал от сытости, жаловался на голод, насильно жевал и все говорил про конкурс Шипунова и Иванчикова, а жена и теща не отрывали глаз от его лица и думали:

«Какой он у нас умный, ласковый! Какой он красивый!»

«Важно! — думал Квашин, ложась после ужина на большую пухлую перину. — Хоть и купчихи они, хоть Азия, а все же есть своеобразная прелесть, и день-два в неделю можно провести здесь со вкусом…»

Он укрылся, согрелся и проговорил, засыпая:

— Важно!

Драма

— Павел Васильич, там какая-то дама пришла, вас спрашивает, — доложил Лука. — Уж целый час дожидается…

Павел Васильевич только что позавтракал. Услыхав о даме, он поморщился и сказал:

— Ну ее к черту! Скажи, что я занят.

— Она, Павел Васильич, уже пять раз приходила. Говорит, что очень нужно вас видеть… Чуть не плачет.

— Гм… Ну, ладно, проси ее в кабинет.

Павел Васильевич не спеша надел сюртук, взял в одну руку перо, в другую — книгу и, делая вид, что он очень занят, пошел в кабинет. Там уже ждала его гостья — большая полная дама с красным, мясистым лицом и в очках, на вид весьма почтенная и одетая больше чем прилично (на ней был турнюр с четырьмя перехватами и высокая шляпка с рыжей птицей). Увидев хозяина, она закатила под лоб глаза и сложила молитвенно руки.

— Вы, конечно, не помните меня, — начала она высоким мужским тенором, заметно волнуясь. — Я… я имела удовольствие познакомиться с вами

у Хруцких… Я — Мурашкина…

— А-а-а… мм… Садитесь! Чем могу быть полезен?

— Видите ли, я… я… — продолжала дама, садясь и еще более волнуясь. — Вы меня не помните… Я — Мурашкина. Видите ли, я большая поклонница вашего таланта и всегда с наслаждением читаю ваши статьи… Не подумайте, что я льщу, — избави бог, — я воздаю только должное… Всегда, всегда вас читаю! Отчасти я сама не чужда авторства, то есть, конечно… я не смею называть себя писательницей, но… все-таки и моя капля меда есть в улье… Я напечатала разновременно три детских рассказа, — вы не читали, конечно… много переводила и… и мой покойный брат работал в «Деле»[214].

— Так-с… э-э-э… Чем могу быть полезен?

— Видите ли… (Мурашкина потупила глаза и зарумянилась.) Я знаю ваш талант… ваши взгляды, Павел Васильевич, и мне хотелось бы узнать ваше мнение, или, вернее… попросить совета. Я, надо вам сказать, pardon pour l’expression[215],

---

[214] Примечания: 214

«Дело» — журнал радикально-демократического направления, выходивший в 1866–1888 годах в Санкт-Петербурге. — Примеч. ред.

[215] Примечания: 215

Извините за выражение (фр.).

разрешилась от бремени драмой, и мне, прежде чем посылать ее в цензуру, хотелось бы узнать ваше мнение.

Мурашкина нервно, с выражением пойманной птицы, порылась у себя в платье и вытащила большую жирную тетрадищу.

Павел Васильевич любил только свои статьи, чужие же, которые ему предстояло прочесть или прослушать, производили на него всегда впечатление пушечного жерла, направленного ему прямо в физиономию. Увидев тетрадь, он испугался и поспешил сказать:

— Хорошо, оставьте… я прочту.

— Павел Васильевич! — сказала томно Мурашкина, поднимаясь и складывая молитвенно руки. — Я знаю, вы заняты… вам каждая минута дорога, и я знаю, вы сейчас в душе посылаете меня к черту, но… будьте добры, позвольте мне прочесть вам мою драму сейчас… Будьте милы!

— Я очень рад… — замялся Павел Васильевич, — но, сударыня, я… я занят… Мне… мне сейчас ехать нужно.

— Павел Васильевич! — простонала барыня, и глаза ее наполнились слезами. — Я жертвы прошу! Я нахальна, я назойлива, но будьте великодушны! Завтра я уезжаю в Казань, и мне

сегодня хотелось бы знать ваше мнение. Подарите мне полчаса вашего внимания… только полчаса! Умоляю вас!

Павел Васильевич был в душе тряпкой и не умел отказывать. Когда ему стало казаться, что барыня собирается зарыдать и стать на колени, он сконфузился и забормотал растерянно:

— Хорошо-с, извольте… я послушаю… Полчаса я готов.

Мурашкина радостно вскрикнула, сняла шляпку и, усевшись, начала читать. Сначала она прочла о том, как лакей и горничная, убирая роскошную гостиную, длинно говорили о барышне Анне Сергеевне, которая построила в селе школу и больницу. Горничная, когда лакей вышел, произнесла монолог о том, что ученье — свет, а неученье — тьма; потом Мурашкина вернула лакея в гостиную и заставила его сказать длинный монолог о барине-генерале, который не терпит убеждений дочери, собирается выдать ее за богатого камер-юнкера и находит, что спасение народа заключается в круглом невежестве. Затем, когда прислуга вышла, явилась сама барышня и заявила зрителю, что она не спала всю ночь и думала о Валентине Ивановиче, сыне бедного учителя, безвозмездно помогающем своему боль-

ному отцу. Валентин прошел все науки, но не верует ни в дружбу, ни в любовь, не знает цели в жизни и жаждет смерти, а потому ей, барышне, нужно спасти его.

Павел Васильевич слушал и с тоской вспоминал о своем диване. Он злобно оглядывал Мурашкину, чувствовал, как по его барабанным перепонкам стучал ее мужской тенор, ничего не понимал и думал: «Черт тебя принес… Очень мне нужно слушать твою чепуху!.. Ну, чем я виноват, что ты драму написала? Господи, а какая тетрадь толстая! Вот наказание!»

Павел Васильевич взглянул на простенок, где висел портрет его жены, и вспомнил, что жена приказала ему купить и привезти на дачу пять аршин тесьмы, фунт сыру и зубного порошку.

«Как бы мне не потерять образчик тесьмы, — думал он. — Куда я его сунул? Кажется, в синем пиджаке… А подлые мухи успели-таки засыпать многоточиями женин портрет. Надо будет приказать Ольге помыть стекло… Читает XII явление, значит, скоро конец первого действия. Неужели в такую жару, да еще при такой корпуленции, как у этой туши, возможно вдохновение? Чем драмы писать, ела бы лучше холодную окрошку да спала бы в погребе…»

— Вы не находите, что этот монолог несколько длинен? — спросила вдруг Мурашкина, поднимая глаза.

Павел Васильевич не слышал монолога. Он сконфузился и сказал таким виноватым тоном, как будто не барыня, а он сам написал этот монолог:

— Нет, нет, нисколько… Очень мило…

Мурашкина просияла от счастья и продолжала читать:

— «**Анна**. Вас заел анализ. Вы слишком рано перестали жить сердцем и доверились уму. — **Валентин**. Что такое сердце? Это понятие анатомическое. Как условный термин того, что называется чувствами, я не признаю его. — **Анна** *(смутившись)*. А любовь? Неужели и она есть продукт ассоциации идей? Скажите откровенно: вы любили когда-нибудь? — **Валентин** *(с горечью)*. Не будем трогать старых, еще не заживших ран *(пауза)*. О чем вы задумались? — **Анна**. Мне кажется, что вы несчастливы».

Во время XVI явления Павел Васильевич зевнул и нечаянно издал зубами звук, какой издают собаки, когда ловят мух. Он испугался этого неприличного звука и, чтобы замаскировать его, придал своему лицу выражение умилительного

внимания.



«XVII явление… Когда же конец? — думал он. — О, боже мой! Если эта мука продолжится еще десять минут, то я крикну караул… Невыносимо!»

Но вот наконец барыня стала читать быстрее и громче, возвысила голос и прочла: «Занавес».

Павел Васильевич легко вздохнул и собрался подняться, но тотчас же Мурашкина перевернула страницу и продолжала читать:

— «Действие второе. Сцена представляет сельскую улицу. Направо школа, налево больница.

На ступенях последней сидят поселяне и поселянки».

— Виноват… — перебил Павел Васильевич. — Сколько всех действий?

— Пять, — ответила Мурашкина и тотчас же, словно боясь, чтобы слушатель не ушел, быстро продолжала: «Из окна школы глядит **Валентин**. Видно, как в глубине сцены поселяне носят свои пожитки в кабак».

Как приговоренный к казни и уверенный в невозможности помилования, Павел Васильевич уж не ждал конца, ни на что не надеялся, а только старался, чтобы его глаза не слипались и чтобы с лица не сходило выражение внимания… Будущее, когда барыня кончит драму и уйдет, казалось ему таким отдаленным, что он и не думал о нем.

— Тру-ту-ту-ту… — звучал в его ушах голос Мурашкиной. — Тру-ту-ту… Жжжж…

«Забыл я соды принять, — думал он. — О чем, бишь, я? Да, о соде… У меня, по всей вероятности, катар желудка… Удивительно: Смирновский целый день глушит водку, и у него до сих пор нет катара… На окно какая-то птичка села… Воробей…»

Павел Васильевич сделал усилие, чтобы разо-

мкнуть напряженные, слипающиеся веки, зевнул, не раскрывая рта, и поглядел на Мурашкину. Та затуманилась, закачалась в его глазах, стала трехголовой и уперлась головой в потолок…

— «**Валентин**. Нет, позвольте мне уехать… — **Анна** (*испуганно*). Зачем? — **Валентин** (*в сторону*). Она побледнела! (*Ей*). Не заставляйте меня объяснять причин. Скорее я умру, но вы не узнаете этих причин. — Анна (после паузы). Вы не можете уехать…»

Мурашкина стала пухнуть, распухла в громадину и слилась с серым воздухом кабинета; виден был только один ее двигающийся рот; потом она вдруг стала маленькой, как бутылка, закачалась и вместе со столом ушла в глубину комнаты…

— «**Валентин** (*держа Анну в объятиях*). Ты воскресила меня, указала цель жизни! Ты обновила меня, как весенний дождь обновляет пробужденную землю! Но… поздно, поздно! Грудь мою точит неизлечимый недуг…»

Павел Васильевич вздрогнул и уставился посоловелыми, мутными глазами на Мурашкину; минуту глядел он неподвижно, как будто ничего не понимая…

— «Явление XI. Те же, **барон** и **становой** с понятыми… **Валентин**. Берите меня! — **Анна**. Я его!

Берите и меня! Да, берите и меня! Я люблю его, люблю больше жизни! — **Барон**. Анна Сергеевна, вы забываете, что губите этим своего отца…»

Мурашкина опять стала пухнуть… Дико осматриваясь, Павел Васильевич приподнялся, вскрикнул грудным, неестественным голосом, схватил со стола тяжелое пресс-папье и, не помня себя, со всего размаха ударил им по голове Мурашкиной…

— Вяжите меня, я убил ее! — сказал он через минуту вбежавшей прислуге.

Присяжные оправдали его.

Один из многих

За час до отхода поезда дачный отец семейства, держа в руках стеклянный шар для лампы, игрушечный велосипед и детский гробик, входит к своему приятелю и в изнеможении опускается на диван.

— Голубчик, милый мой… — бормочет он, зады-хаясь и бессмысленно поводя глазами. — У меня к тебе просьба. Христом богом молю… одолжи до завтрашнего дня револьвера. Будь другом.

— На что тебе револьвер?

— Нужно… Ох, боже мой! Дай-ка воды. Скорей воды!.. Нужно… Ночью придется ехать темным лесом, так вот я… на всякий случай… Одолжи, сделай милость!..

Приятель глядит на бледное, измученное лицо отца семейства, на его вспотевший лоб, безумные глаза и пожимает плечами.

— Ой, врешь, Иван Иваныч! — говорит он. — Какой там темный лес у черта? Вероятно, задумал что-нибудь! По лицу вижу, что задумал недоброе! Да что с тобой? Зачем это у тебя гроб? Послушай, тебе дурно!

— Воды… О боже мой… Постой, дай отдышать-

ся… Замучился, как собака. Во всем теле и в башке такое ощущение, как будто из меня все жилы вытянули и на вертеле изжарили… Не могу больше терпеть… Будь другом, ничего не спрашивай, не вдавайся в подробности… дай револьвера! Умоляю!

— Ну, полно! Иван Иваныч, что за малодушие? Отец семейства, статский советник! Стыдись!

— Тебе легко… стыдить других, когда живешь тут в городе и этих проклятых дач не знаешь… Еще воды дай… А если бы пожил на моем месте, не то бы запел… Я мученик! Я вьючная скотина, раб, подлец, который все еще чего-то ждет и не отправляет себя на тот свет! Я тряпка, болван, идиот! Зачем я живу? Для чего?

Отец семейства вскакивает и, отчаянно всплескивая руками, начинает шагать по кабинету.

— Ну, ты скажи мне, для чего я живу? — кричит он, подскакивая к приятелю и хватая его за пуговицу. — К чему этот непрерывный ряд нравственных и физических страданий! Я понимаю быть мучеником идеи, да! но быть мучеником черт знает чего, дамских юбок да детских гробиков, нет — слуга покорный! Нет, нет, нет! Довольно с меня! Довольно!

— Ты не кричи, соседям слышно!

— Пусть и соседи слышат, для меня все равно! Не дашь ты револьвера, так другой даст, а уж мне не быть в живых! Решено!

— Постой, ты мне пуговицу оторвал… Говори хладнокровно. Я все-таки не понимаю, чем же плоха твоя жизнь?

— Чем? Ты спрашиваешь: чем? Изволь, я расскажу тебе! Изволь! Выскажусь перед тобой, и, может быть, у меня на душе будет не так гнусно! Сядем… Я буду короток, потому что скоро на вокзал ехать, да еще нужно забежать к Тютрюмову взять у него две банки килек и фунт мармеладу для Марьи Осиповны, чтоб у нее на том свете черти язык вытянули! Ну, слушай… Возьмем для примера хоть сегодняшний день. Возьмем. Как ты знаешь, от десяти часов до четырех приходится трубить в канцелярии. Жарища, духота, мухи и несовместимейший, братец ты мой, хаос. Секретарь отпуск взял, Храпов жениться поехал, канцелярская мелюзга помешалась на дачах, амурах да любительских спектаклях. Все заспанные, уморенные, испитые, так что не добьешься никакого толка, ничего не поделаешь ни убеждениями, ни ораньем… Должность секретаря справляет субъект, глухой на левое ухо и влюбленный, едва отличающий входящую

от исходящей; дубина ничего не смыслит, и я сам все за него делаю. Без секретаря и Храпова никто не знает, где что лежит, куда что послать, а просители обалделые, все куда-то спешат и торопятся, сердятся, грозят, — такой кавардак со стихиями, что хоть караул кричи! Путаница и дым коромыслом… А работа анафемская: одно и то же, одно и то же, справка, отношение, справка, отношение — однообразно, как зыбь морская. Просто, понимаешь ли ты, глаза вон из-под лба лезут, а тут еще на мое горе начальство с супругой разводится и ишиасом страдает; так ноет и куксит, что житья никому нет. Невыносимо!

Отец семейства вскакивает и тотчас же опять садится.

— Все это пустяки, ты послушай, что дальше! — говорит он. — Выходишь из присутствия разбитый, измочаленный; тут бы обедать идти и спать завалиться, ан нет, помни, что ты дачник, то есть раб, дрянь, мочалка, и изволь, как курицын сын, сейчас же бежать по городу исполнять поручения. На наших дачах установился милый обычай: если дачник едет в город, то, не говоря уж о его супруге, всякая дачная мразь и тля имеет власть и право навязать ему тьму поручений. Супруга требует, чтобы я заехал к модистке и

выругал ее за то, что лиф вышел широк, а в плечах узко; Сонечке нужно переменить башмаки, свояченице пунцового шелку по образчику на 20 к. и три аршина тесьмы… Да вот постой, я тебе сейчас прочту.

Отец семейства вытаскивает из жилетного кармана скомканную записочку и с остервенением читает:

— «Шар для лампы; 1 фунт ветчинной колбасы; гвоздики и корицы на 5 коп.; касторового масла для Миши; 10 ф. сахарного песку; взять из дома медный таз и ступку для сахара; карболовой кислоты, персидского порошку на 20 копеек; 20 бутылок пива и 1 бутылку уксусной эссенции; корсет для m-lle Шансо № 82 у Гвоздева и взять дома Мишино осеннее пальто и калоши». Это приказ супруги и семейства. Теперь поручения милых знакомых и соседей, черт бы их съел! У Власиных завтра именинник Володя, ему нужно велосипед привезти; у Куркиных окочурился младенец, и я должен гробик купить; у Марьи Михайловны варят варенье, и по этому случаю я ежедневно должен ей таскать по полпуда сахару; подполковница Вихрина в интересном положении; я в этом не виноват ни сном, ни духом, но почему-то обязан заехать к акушерке и приказать

ей приехать тогда-то… А о таких поручениях, как письма, колбаса, телеграммы, зубной порошок — и говорить нечего. Пять записок у меня в карманах! Отказаться от поручений невозможно: неприлично, нелюбезно! Черт возьми! Навязать человеку пуд сахару и акушерку — это прилично, а отказаться — кель орер[216], последнее слово неприличия! Откажи я каким-нибудь Куркиным, первая супружница станет на дыбы: что скажет княгиня Марья Алексевна?!.. О! Ах! Не оберешься потом обмороков, ну его к черту! Этак, батенька, в промежутке между службой и поездом бегаешь по городу, как собака, высунув язык, бегаешь, бегаешь и жизнь проклянешь. Из магазина в аптеку, из аптеки к модистке, от модистки в колбасную, а там опять в аптеку. Тут спотыкаешься, там деньги потеряешь, в третьем месте заплатить забудешь и за тобой гонятся со скандалом, в четвертом месте даме на шлейф наступишь… тьфу! От такого моциона так осатанеешь и так тебя разломает, что потом всю ночь кости трещат и поджилки сводит. Ну-с, поручения исполнены, все куплено, теперь как прикажешь упаковать всю эту музыку? Как ты, например, уложишь вме-

---

[216] Примечания: 216
Какой ужас (фр. quelle horreur).

сте тяжелую медную ступку и толкач с ламповым шаром или карболку с чаем? Ну, вот и смекай. Как ты скомбинируешь воедино пивные бутылки и этот велосипед? Это, брат, египетская работа, задача для ума, ребус! Как там ни упаковывай, как ни увязывай, а в конце концов наверное что-нибудь расколотишь и рассыплешь, а на вокзале и в вагоне будешь стоять, растопырив-ши обе руки, раскорячившись и поддерживая подбородком какой-нибудь узел, весь в кульках, в картонках и в прочей дряни. А тронется поезд, публика начинает швырять во все стороны твой багаж: ты своими вещами чужие места занял. Кричат, зовут кондуктора, грозят высадить, а я-то что поделаю? Не бросать же мне вещи в окна! Сдайте в багаж! Легко сказать, да ведь для этого нужен ящик, нужно уложить всю эту дрянь, а где я каждый день могу брать ящик и как уложу шар со ступкой? Этак всю дорогу в вагоне стоит вой и скрежет зубовный, пока не доедешь. А по-годи, что сегодня пассажирки запоют мне за этот гробик! Уф! Дай-ка, брат, воды. Теперь слушай далее. Давать поручения принято, деньги же давать на расходы — на-кося, выкуси! Потратил я денег тьму, а получу половину. Я гробик этот пошлю Куркиным с горничной, а они теперь в

горе, стало быть не время им думать о деньгах. Так и не получу. Напоминать же о долге, да еще дамам, — не могу, хоть зарежь. Рубли еще так и сяк, хоть мнутся, да отдают, а копейки — пиши пропало. Ну-с, приезжаю я к себе на дачу. Тут бы выпить хорошенько от трудов праведных, пожрать да лечь — не правда ли? — но не тут-то было. Моя супружница уж давно стережет. Едва ты поел суп, как она цап-царап раба божьего, и не угодно ли вам пожаловать куда-нибудь на любительский спектакль или танцевальный круг. Протестовать не моги. Ты муж, а слово «муж» в переводе на дамский язык значит тряпка, идиот и бессловесное животное, на котором можно ездить и возить клади сколько угодно, не боясь вмешательства общества покровительства животных. Идешь и таращишь глаза на «Скандал в благородном семействе» или «Мотю», аплодируешь по приказанию супруги и чувствуешь, что ты вот-вот издохнешь. А на кругу гляди на танцы и подыскивай для супруги танцоров, а если недостает кавалера, то и сам изволь плясать кадриль. Танцуешь с какой-нибудь кривулей ивановной, улыбаешься по-дурацки, а сам думаешь: «Доколе, о господи?» Вернешься в полночь из театра или с бала, а уж ты не человек, а дохлятина, хоть брось.

Но вот ты наконец достиг цели: разоблачился и лег в постель. Закрывай глаза и спи… Отлично… Все так хорошо: и тепло, и ребята за стеной не визжат, и супруги нет около, и совесть чиста — лучше и не надо. Засыпаешь ты и вдруг… и вдруг слышишь: дззз… Комары! Комары, будь они трижды, анафемы, прокляты, комары!

Отец семейства вскакивает и потрясает кулаками.

— Комары! Это казнь египетская, инквизиция! Дззз… Дзюзюкает этак жалобно, печально, точно прощения просит, но так тебя подлец укусит, что потом целый час чешешься. Ты и куришь, и бьешь их, и с головой укрываешься — ничего не помогает! В конце концов плюнешь и отдашь себя на растерзание: жрите, проклятые! Не успеешь ты привыкнуть к комарам, как в зале супруга начинает со своими тенорами разучивать романсы. Днем спят, а по ночам к любительским концертам готовятся. О боже мой! Тенора — это такое мучение, что никакие комары не сравнятся.

Отец семейства делает плачущее лицо и поет:

— «Не говори, что молодость сгубила… Я вновь пред тобою стою очарован». О, по-о-одлые! Всю душу мою вытянули! Чтобы их хоть немного заглушить, я на такой фокус пускаюсь: стучу себе

пальцем по виску около уха. Этак стучу часов до четырех, пока не разойдутся. А только что они разошлись, как новая казнь: пожалует донна супруга и предъявляет на мою особу свои законные права. Она разлимонится там с луной да с своими тенорами, а я отдувайся. Веришь ли, до того напуган, что когда она входит ко мне ночью, меня в жар бросает и оторопь берет. Ох, дай-ка, брат, еще воды… Ну-с, этак, не поспавши, встанешь в шесть часов и марш на станцию к поезду. Бежишь, боишься опоздать, а тут грязь, туман, холод, бррр! А приедешь в город, заводи шарманку сначала. Так-то, брат… Жизнь, доложу я тебе, анафемская, и врагу такой жизни не пожелаю! Понимаешь, заболел! Одышка, изжога, вечно чего-то боюсь, желудок не варит… одним словом, не жизнь, а грусть одна! И никто не жалеет, не сочувствует, а как будто это так и надо. Даже смеются. Дачный муж, дачный отец семейства, ну, так значит так ему и нужно, пусть околевает. Но ведь пойми, я животное, жить хочу! Тут не водевиль, а трагедия! Послушай, если не даешь револьвера, то хоть посочувствуй!

— Я сочувствую.

— Вижу, как вы сочувствуете… Прощай… Поеду за кильками и на вокзал.

— Ты где на даче живешь? — спрашивает приятель.

— На Дохлой Речке…

— Да, я знаю это место… Послушай, ты не знаешь там дачницу Ольгу Павловну Финберг?

— Знаю… Знаком даже…

— Да что ты! — удивляется приятель, и лицо его принимает радостное, изумленное выражение. — А я не знал! В таком случае… голубчик, милый, не можешь ли исполнить одну маленькую просьбу? Будь другом, милый, Иван Иваныч! Ну, дай честное слово, что исполнишь!

— Что такое?

— Не в службу, а в дружбу. Умоляю, голубчик. Во-первых, поклонись Ольге Павловне, а во-вторых, свези ей одну вещичку. Она поручила мне купить ручную швейную машину, а доставить ей некому. Свези, милый!

Дачный отец семейства с минуту тупо глядит на приятеля, как бы ничего не понимая, потом багровеет и начинает кричать, топая ногами:

— Нате, ешьте человека! Добивайте его! Терзайте! Давайте машину! Садитесь сами верхом! Воды! Дайте воды! Для чего я живу? Зачем?

Скорая помощь

— Ребята, пустите с дороги, старшина с писарем идет!

— Герасиму Алпатычу, с праздником! — гудит толпа навстречу старшине. — Дай бог, чтоб, значит, Герасим Алпатыч, не вам, не нам, а как богу угодно.

Подгулявший старшина хочет что-то сказать, но не может. Он неопределенно шевелит пальцами, пучит глаза и надувает свои красные опухшие щеки с такой силой, как будто берет самую высокую ноту на большой трубе. Писарь, маленький, куцый человек с красным носиком и в жокейском картузе, придает своему лицу энергическое выражение и входит в толпу.

— Который тут утоп? — спрашивает он. — Где утоплый человек?

— Вот этот самый!

Длинный, тощий старик, в синей рубахе и лаптях, только что вытащенный мужиками из воды и мокрый с головы до пят, расставив руки и разбросав в стороны ноги, сидит у берега на луже и лепечет:

— Святители угодники… братцы православ-

ные… Рязанской губернии, Зарайского уезда… Двух сынов поделил, а сам у Прохора Сергеева… в штукатурах. Таперича, это самое, стало быть, дает мне семь рублев и говорит: ты, говорит, Федя, должен те-переча, говорит, почитать меня заместо родителя. Ах, волк те заешь!

— Ты откеда? — спрашивает писарь.

— Заместо, говорит, родителя… Ах, волк те заешь! Это за семь-то рублев?

— Вот этак лопочет и сам не знает по-каковски, — кричит сотский Анисим не своим голосом, мокрый по пояс и, видимо, встревоженный происшествием. — Дай я тебе объясню, Егор Макарыч! Ребята, постой, не галди! Я желаю все как есть Егору Макарычу… Идет он, значит, из Курнева… Да погоди, ребята, не болтай зря!

Идет он, значит, из Курнева, и понесла его нелегкая бродом. Человек, значит, выпивши, не в своем уме, полез сдуру в воду, а его с ног сшибло и зачало вертеть, как щепку. Кричит благим матом, а тут я с Ляксандрой… Чего такое? По какому случаю человек кричит? Видим, тонет… Что тут делать? Бросай, кричу, Ляксандра, к шуту гармонию, мужика спасать! Лезем прямо, как есть, а там вертит и крутит, вертит и крутит — спаси, царица небесная! Попали в самую вертячую…

Он его за рубаху, я за волосья. Тут прочий народ, который увидел, бежит на берег, крик подняли… каждому спасать душу желается… Замучились, Егор Макарыч! Не подоспей мы вовремя, совсем бы утоп ради праздника…

— Как тебя звать? — спрашивает писарь утопленника. — Какого происхождения?

Тот бессмысленно поводит глазами и молчит.

— Очумел! — говорит Анисим. — И как не очуметь? Почитай, полное брюхо воды. Милый человек, как тебя звать? Молчит! Какая в нем жизнь? Видимость одна, а душа небось наполовину вышла… Экое горе ради праздника! Что тут прикажешь делать? Помрет, чего доброго… Погляди, как рожа-то посинела!

— Послушай, ты! — кричит писарь, трепля утопленника за плечо. — Ты! Отвечай, тебе говорю! Какого ты происхождения? Молчишь, словно тебе весь мозух в голове водой залило. Ты!

— Это за семь-то рублей? — бормочет утопленник. — Поди ты, говорю, к псу… Мы не желаем…

— Чего ты не желаешь? Отвечай явственно!

Утопленник молчит и, дрожа всем телом от холода, стучит зубами.

— Одно только звание, что живой, — говорит Анисим, — а поглядеть, так и на человека не

похож. Капель бы ему каких…

— Капель… — передразнивает писарь. — Какие тут капли? Человек утоп, а он — капли! Откачивать надо! Что рты поразевали? Народ бесчувственный! Бегите скорей в волостное за рогожей да качайте!

Несколько человек срываются с места и бегут к деревне за рогожей. На писаря находит вдохновение. Он засучивает рукава, потирает ладонями бока и делает массу мелких телодвижений, свидетельствующих об избытке энергии и решимости.

— Не толпитесь, не толпитесь, — бормочет он. — Которые лишние, уходите! Поехали за урядником? А вы бы уходили, Герасим Алпатыч, — обращается он к старшине. — Вы назюзюкались, и в вашем интересном положении самое лучшее теперь сидеть дома.

Старшина неопределенно шевелит пальцами и, желая что-то сказать, так надувает лицо, что оно того и гляди лопнет и разлетится во все стороны.

— Ну, клади его, — кричит писарь, когда приносят рогожу. — Берите за руки и за ноги. Вот так. Теперь кладите.

— Поди ты, говорю, к псу, — бормочет утопленник, не сопротивляясь и как бы не замечая,

что его поднимают и кладут на рогожу. — Мы не желаем.

— Ничего, ничего, друг, — говорит ему писарь, — не пужайся. Мы тебя малость покачаем и, бог даст, придешь в чувство. Сейчас приедет урядник и составит протокол на основании существующих законов. Качай! Господи благослови!

Восемь дюжих мужиков, в том числе и сотский Анисим, берутся за углы рогожи; сначала они качают нерешительно, как бы не веря в свои силы, потом же, войдя мало-помалу во вкус, придают своим лицам зверское, сосредоточенное выражение и качают с жадностью и с азартом. Они вытягиваются, становятся на цыпочки, подпрыгивают, точно хотят вместе с утопленником взлететь на небо.

— Рраз! раз! раз! раз!

Вокруг них бегает куцый писарь и, вытягиваясь изо всех сил, чтобы достать руками рогожу, кричит не своим голосом:

— Шибче! Шибче! Все сразу, в такт! Раз! раз! Анисим, не отставай, прошу тебя убедительно! Раз!

Во время короткой передышки из рогожи показываются всклокоченная голова и бледное лицо с выражением недоумения, ужаса и физической

боли, но тотчас исчезают, потому что рогожа вновь летит вверх направо, стремительно опускается вниз и с треском взлетает вверх налево. Толпа зрителей издает одобрительные звуки:

— Так его! Потрудитесь для души! Спасибо!

— Молодчина, Егор Макарыч! Потрудись для души, — это правильно!

— А уж мы его, братцы, так не отпустим! Как, значит, станет на ноги, в ум придет, — ставь ведро за труды!

— Ах, в рот те дышло с маком! Гляди-кась, братцы, шмелевская барыня с приказчиком едет. Так и есть. Приказчик в шляпе.

Около толпы останавливается коляска, в которой сидит полная пожилая дама, в pince-nez и с пестрым зонтиком; спиной к ней, на козлах, рядом с кучером, сидит приказчик — молодой человек, в соломенной шляпе. У барыни лицо испугано.

— Что такое? — спрашивает она. — Что это делают?

— Утоплого человека откачиваем! С праздником! Маленько выпивши, потому, собственно, такое дело — нынче поперек всей деревни с образами ходили! Праздник!

— Боже мой! — ужасается барыня. — Они

утопленника откачивают! Что же это такое? Этьен, — обращается она к приказчику, — подите, ради бога, скажите им, чтобы они не смели этого делать. Они уморят его! Откачивать — это предрассудок! Нужно растирать и искусственное дыхание. Идите, я вас прошу!

Этьен прыгает с козел и направляется к качающим. Вид у него строгий.

— Что вы делаете? — кричит он сердито. — Нешто можно человека откачивать?

— А то как же его? — спрашивает писарь. — Ведь он утоплый!

— Так что же, что утоплый? Обмерших от утонутия надо не откачивать, а растирать. Так в каждом календаре написано. Будет вам, бросьте!

Писарь конфузливо пожимает плечами и отходит в сторону. Качающие кладут рогожу на землю и удивленно глядят то на барыню, то на Этьена. Утопленник уже с закрытыми глазами лежит на спине и тяжело дышит.

— Пьяницы! — сердится Этьен.

— Милый человек! — говорит Анисим, запыхавшись и прижимая руку к сердцу. — Степан Иваныч! Зачем такие слова? Нешто мы свиньи, не понимаем?

— Не смей качать! Растирать нужно! Берите

его, растирайте! Раздевайте скорей!

— Ребята, растирать!

Утопленника раздевают и под руководством Этьена начинают растирать. Барыня, не желающая видеть голого мужика, отъезжает поодаль.

— Этьен! — стонет она. — Этьен! Подите сюда! Вы знаете, как делается искусственное дыхание? Нужно переворачивать с боку на бок и давить грудь и живот.

— Поворачивайте его с боку на бок! — говорит Этьен, возвращаясь от барыни к толпе. — Да живот ему давите, только полегче.

Писарь, которому после кипучей, энергической деятельности становится как-то не по себе, подходит к утопленнику и тоже принимается растирать.

— Старайтесь, братцы, убедительно вас прошу! — говорит он. — Убедительно вас прошу!

— Этьен! — стонет барыня. — Подите сюда! Давайте ему нюхать жженые перья и щекочите… Велите щекотать! Скорей, ради бога!

Проходит пять, десять минут. Барыня глядит на толпу и видит внутри ее сильное движение. Слышно, как пыхтят работающие мужики и как распоряжаются Этьен и писарь. Пахнет жжеными перьями и спиртом. Проходит еще десять ми-

нут, а работа все продолжается. Но вот, наконец, толпа расступается, и из нее выходит красный и вспотевший Этьен. За ним идет Анисим.

— Надо было бы с самого начала растирать, — говорит Этьен. — Теперь уж ничего не поделаешь.

— Где уж тут поделать, Степан Иваныч! — вздыхает Анисим. — Поздно захватили!

— Ну, что? — спрашивает барыня. — Жив?

— Нет, помер, царство ему небесное, — вздыхает Анисим, крестясь. — О ту пору, как из воды вытащили, движимость в нем была и глаза раскрывши, а теперича закоченел весь.

— Как жаль!

— Значит, планида ему такая, чтоб не на суше, а в воде смерть принять. На чаек бы с вашей милости!

Этьен вскакивает на козла, и кучер, оглянувшись на толпу, которая сторонится от мертвого тела, бьет по лошадям. Коляска катит дальше.



Беззаконие

Совершая свою вечернюю прогулку, коллежский асессор Мигуев остановился около телеграфного столба и глубоко вздохнул. Неделю тому назад на этом самом месте, когда он вечером возвращался с прогулки к себе домой, его догнала бывшая его горничная Агния и сказала со злобой:

— Ужо, погоди! Такого тебе рака испеку, что будешь знать, как невинных девушек губить! И младенца тебе подкину, и в суд пойду, и жене твоей объясню…

И она потребовала, чтобы он положил в банк на ее имя пять тысяч рублей. Мигуев вспомнил это, вздохнул и еще раз с душевным раскаянием упрекнул себя за минутное увлечение, доставившее ему такую массу хлопот и страданий.

Дойдя до своей дачи, Мигуев сел на крылечко отдохнуть. Было ровно десять часов, и из-за облаков выглядывал кусочек луны. На улице и возле дач не было ни души: старые дачники уже ложились спать, а молодые гуляли в роще. Ища в обоих карманах спичку, чтобы закурить папиросу, Мигуев толкнулся локтем обо что-то

мягкое; от нечего делать он взглянул под свой правый локоть, и вдруг лицо его перекосило таким ужасом, как будто он увидел возле себя змею. На крылечке, у самой двери, лежал какой-то узел. Что-то продолговатое было завернуто во что-то, судя на ощупь, похожее на стеганое одеяльце. Один конец узла был слегка открыт, и коллежский асессор, сунув в него руку, осязал что-то теплое и влажное. В ужасе вскочил он на ноги и огляделся, как преступник, собирающийся бежать от стражи…

— Подкинула-таки! — со злобой процедил он сквозь зубы, сжимая кулаки. — Вот оно лежит… лежит беззаконие! О, господи!

От страха, злобы и стыда он оцепенел… Что теперь делать? Что скажет жена, если узнает? Что скажут сослуживцы? Его превосходительство наверное похлопает его теперь по животу, фыркнет и скажет: «Поздравляю… Хе-хе-хе… Седина в бороду, а бес в ребро… шалун, Семен Эрастович!» Весь дачный поселок узнает теперь его тайну, и, пожалуй, почтенные матери семейств откажут ему от дому. О подкидышах печатают во всех газетах, и таким образом смиренное имя Мигуева пронесется по всей России…

Среднее окно дачи было открыто, и явственно

слышалось из него, как Анна Филипповна, жена Мигуева, собирала стол к ужину; во дворе, сейчас же за воротами, дворник Ермолай жалобно побренкивал на балалайке… Стоило младенцу только проснуться и запищать, и тайна была бы обнаружена. Мигуев почувствовал непреодолимое желание торопиться.

— Скорее, скорее… — бормотал он. — Сию минуту, пока никто не видит. Занесу его куда-нибудь, положу на чужое крыльцо…

Мигуев взял в одну руку узел и тихо, мерным шагом, чтобы не казаться подозрительным, пошел по улице…

«Удивительно мерзкое положение! — думал он, стараясь придать себе равнодушный вид. — Коллежский асессор с младенцем идет по улице! О, господи, ежели кто увидит и поймет, в чем дело, я погиб… Положу-ка я его на это крыльцо… Нет, постой, тут окна открыты и, может быть, глядит кто-нибудь. Куда бы его? Ага, вот что, снесу-ка я его на дачу купца Мелкина… Купцы народ богатый и сердобольный; может быть, еще спасибо скажут и на воспитание его к себе возьмут».

И Мигуев решил снести младенца непременно к Мелкину, хотя купеческая дача находилась на крайней улице дачного поселка, у самой реки.

«Только бы он у меня не разревелся и не вывалился из узла, — думал коллежский асессор. — Вот уж именно: благодарю — не ожидал! Под мышкой несу живого человека, словно портфель. Человек живой, с душой, с чувствами, как и все… Ежели, чего доброго, Мелкины возьмут его на воспитание, то, пожалуй, из него выйдет какой-нибудь этакий… Пожалуй, выйдет из него какой-нибудь профессор, полководец, писатель… Ведь все бывает на свете! Теперь я несу его под мышкой, как дрянь какую-нибудь, а лет через 30–40, пожалуй, придется перед ним навытяжку стоять…»

Когда Мигуев проходил узким, пустынным переулочком мимо длинных заборов под густою, черною тенью лип, ему вдруг стало казаться, что он делает что-то очень жестокое и преступное.

«А ведь как это, в сущности, подло! — думал он. — Так подло, что подлее и придумать ничего нельзя… Ну, за что мы несчастного младенца швыряем с крыльца на крыльцо? Разве он виноват, что родился? И что он нам худого сделал? Подлецы мы… Любим кататься на саночках, а возить саночки приходится невинным деточкам… Ведь только вдуматься нужно во всю эту музыку! Я беспутничал, а ведь ребеночка ожидает лютая судьба… Подброшу я его Мелкиным, Мелкины

пошлют его в воспитательный дом, а там все чужие, все по-казенному… ни ласк, ни любви, ни баловства… Отдадут его потом в сапожники… сопьется, научится сквернословить, будет околевать с голоду… В сапожники, а ведь он сын коллежского асессора, благородной крови… Он плоть и кровь моя…»

Мигуев из тени лип вышел на дорогу, залитую лунным светом, и, развернув узел, поглядел на младенца.

— Спит, — прошептал он. — Ишь ты, нос у подлеца с горбинкой, отцовский… Спит и не чувствует, что на него глядит родной отец… Драма, брат… Ну, что ж, извини. Прости, брат… Так уж тебе, значит, на роду написано…

Коллежский асессор заморгал глазами и почувствовал, что по его щекам ползет что-то вроде мурашек… Он завернул младенца, взял его под мышку и зашагал дальше. Всю дорогу, до самой дачи Мелкина, в его голове толпились социальные вопросы, а в груди царапала совесть.

«Будь я путевым, честным человеком, — думал он, — наплевал бы на все, пошел бы с этим младенчиком к Анне Филипповне, стал бы перед ней на коленки и сказал: „Прости! Грешен! Терзай меня, но невинного младенца губить не будем.

Деточек у нас нет; возьмем его к себе на воспитание!“ Она добрая баба, согласилась бы… И было бы тогда мое дитя при мне… Эх!»

Он подошел к даче Мелкина и остановился в нерешимости… Ему представлялось, как он сидит у себя в зале и читает газету, а возле него трется мальчишка с горбатым носом и играет кистями его халата; в то же время в воображение лезли подмигивающие сослуживцы и его превосходительство, фыркающее, хлопающее по животу… В душе же, рядом с царапающею совестью, сидело что-то нежное, теплое, грустное…

Коллежский асессор осторожно положил младенца на ступень террасы и махнул рукой. Опять по его лицу сверху вниз поползли мурашки…

— Прости, брат, меня, подлеца! — пробормотал он. — Не поминай лихом!

Он сделал шаг назад, но тотчас же решительно крякнул и сказал:

— Э, была не была! Плевать я на все хотел! Возьму его, и пускай люди говорят, что хотят!

Мигуев взял младенца и быстро зашагал назад.

«Пускай говорят, что хотят, — думал он. — Пойду сейчас, стану на коленки и скажу: „Анна Филипповна!“ Она баба добрая, поймет… И будем мы воспитывать… Ежели он мальчик, то назовем

— Владимир, а ежели он девочка, то Анной. По крайности в старости будет утешение…»

И он сделал так, как решил. Плача, замирая от страха и стыда, полный надежд и неопределенного восторга, он вошел в свою дачу, направился к жене и стал перед ней на колени…

— Анна Филипповна! — сказал он, всхлипывая и кладя младенца на пол. — Не вели казнить, вели слово вымолвить… Грешен! Это мое дитя… Ты Агнюшку помнишь, так вот… нечистый попутал…

И не помня себя от стыда и страха, не дожидаясь ответа, он вскочил и, как высеченный, побежал на чистый воздух…

«Буду здесь на дворе, пока она не позовет меня, — думал он. — Дам ей прийти в чувство и одуматься…»

Дворник Ермолай с балалайкой прошел мимо, взглянул на него и пожал плечами. Через минуту он опять прошел мимо и опять пожал плечами.

— Вот история, скажи на милость, — пробормотал он усмехаясь. — Приходила сейчас, Семен Эрастыч, сюда баба, прачка Аксинья. Положила, дура, своего ребенка на крыльце, на улице, и покуда тут у меня сидела, кто-то взял да и унес ребенка… Вот оказия!

— Что? Что ты говоришь? — крикнул во все горло Мигуев.

Ермолай, по-своему объяснивший гнев барина, почесал затылок и вздохнул.

— Извините, Семен Эрастыч, — сказал он, — но таперича время дачное… без эстого нельзя… без бабы, то есть…

И, взглянув на вытаращенные, злобно удивленные глаза барина, он виновато крякнул и продолжал:

— Оно, конечно, грех, да ведь что поделаешь… Вы не приказывали во двор чужих баб пущать, оно точно, да ведь где ж своих-то взять. Прежде, когда жила Агнюшка, не пускал чужих, потому — своя была, а теперя, сама изволите видеть… без чужих не обойдешься… И при Агнюшке, это точно, беспорядков не было, потому…

— Пошел вон, мерзавец! — крикнул на него Мигуев, затопал ногами и пошел назад в комнаты.

Анна Филипповна, удивленная и разгневанная, сидела на прежнем месте и не спускала заплаканных глаз с младенца…

— Ну, ну… — забормотал бледный Мигуев, кривя рот улыбкой. — Я пошутил… Это не мой, а… а прачки Аксиньи. Я… я пошутил… Снеси его дворнику.



Злоумышленники[217]

(Рассказ очевидцев)

Когда половой перечислил ему те немногие кушанья, какие можно достать в трактире, он подумал и сказал:

— В таком случае дай нам две порции щей со свежей капустой и цыпленка, да спроси у хозяина, нет ли у вас тут красного вина…

Затем все видели, как он поглядел на потолок и сказал, обращаясь к половому:

— Удивительно, как много у вас мух!

Мы говорим *он*, потому что ни половые, ни хозяин, ни посетители трактира не знали, кто он, какого звания, откуда и зачем приехал в наш город. Это был солидный, достаточно уже пожилой господин, прилично одетый и, по-видимому, благонамеренный. По одежде его можно было принять даже за аристократа. Мы заметили на нем золотые часы, булавку с жемчужиной, а в касторовой шляпе его лежали перчатки с модными застежками, какие мы видели ранее у вице-губер-

---

[217] Примечания: 217

Рассказ написан по случаю солнечного затмения 7 (19) августа 1887 года.

натора. Обедая, он все время старался блеснуть перед нами своею воспитанностью: держал вилку в левой руке, утирался салфеткой и морщился, когда в рюмки падали мухи. Всякий знает, что там, где есть мухи, посуда не может быть чистой: не говоря уж о простых посетителях, даже такие лица, как исправник, становой и проезжие помещики, обедая в трактире, никогда не жалуются, если им подают тарелку или рюмку, загаженную мухами; он же не стал есть, прежде чем половой не помыл тарелки в горячей воде. Очевидно, форсил и старался показаться благороднее, чем он есть на самом деле.

Когда ему подали щи, к его столу подошла еще новая, столь же незнакомая личность с лысиной, с бритым лицом и в золотых очках. Этот новый господин был одет в шелковый костюм и тоже имел золотые часы. Все время он говорил по-французски, с любопытством осматривал кушанья и посетителей, так что нетрудно было узнать в нем иностранца. Кто он, откуда и зачем пожаловал в наш город, мы тоже не знали.

Съевши первую ложку щей, он, то есть тот, у которого была булавка с жемчужиной, покрутил головой и сказал насмешливо:

— Эти балбесы умудряются даже свежей ка-

пусте придавать запах тухлятины. Невозможно есть. Послушай, любезный, неужели у вас тут все живут по-свински? Во всем городе нельзя достать порцию мало-мальски приличных щей. Это удивительно!

Затем он стал говорить что-то по-французски своему товарищу-иностранцу. Из его речи мы помним только слово «кошон»[218]. Вытащив из щей прусака, он обратился к половому и сказал:

— Я не просил щей с прусаками. Болван.

— Сударь, — ответил половой, — ведь не я его в щи посадил, а он сам туда попал. А вы не извольте беспокоиться: тараканы не кусаются.

Потребовав после цыпленка лист бумаги и карандаш, он стал рисовать какие-то круги и писать цифры. Иностранец не соглашался и долго спорил с ним, мотая в знак несогласия головой. Лист, исписанный кругами и цифрами, до сих пор хранится у хозяина трактира; штатный смотритель уездных училищ, которому хозяин показывал этот лист, долго смотрел на круги, потом вздохнул и сказал: «Темна вода во облацех!» Расплачиваясь за обед, он, то есть тот, у которого была в галстуке жемчужина, дал половому новую

---

[218] Примечания: 218
«Свинья» (фр. cochon).

пятирублевую бумажку Настоящая это бумажка или фальшивая, нам неизвестно, так как посмотреть на нее мы не догадались.



— Послушай, в котором часу утра вы отворяете трактир? — спросил он у полового.

— С восходом солнца.

— Отлично. Завтра в пять часов утра мы придем пить чай. Приготовишь порцию, только без

мух. А тебе известно, что будет завтра утром? — спросил он, лукаво подмигнув глазом.

— Никак нет.

— А! Завтра утром вы будете поражены и ошеломлены.

Пригрозив таким образом, он, смеясь, сказал что-то иностранцу и вместе с ним вышел из трактира. Оба они ночевали у Марфы Егоровны, одинокой, благочестивой вдовы, которая нисколько не виновата и не могла быть соучастницей. Теперь она все время плачет, боясь, что ее заберут. Зная ее образ мыслей, мы удостоверяем, что она не виновата. К тому же, судите сами, разве она, пуская к себе постояльцев, могла знать заранее, какие у них мысли?

На другой день утром, ровно в пять часов, незнакомцы были уже в трактире. В этот раз они явились с портфелями, книгами и какими-то футлярами странной формы. В их речах и движениях были заметны волнение и спешка. Он, то есть не иностранец, сказал:

— С северо-запада идет туча. Как бы она нам не помешала!

Выпив стакан чаю, он позвал хозяина трактира и приказал ему поставить около трактира на площади стол и два стула. Хозяин, человек необ-

разованный, хотя предчувствовал недоброе, но исполнил это приказание. Незнакомцы забрали свои вещи и, выйдя из трактира, сели около стола на стулья. Расселись среди площади при всем народе — как это глупо! О чем-то говоря между собою, они разложили на столе бумаги, чертежи, черные стекла и какие-то трубки. Когда хозяин несмело подошел к ним и нагнулся к столу, то он, то есть тот, у которого была жемчужина, отстранил его рукой и сказал:

— Не суй своего толстого носа куда не следует.

Затем он взглянул на часы и, сказав что-то иностранцу, стал смотреть в темное стекло на солнце. Иностранец взял одну из трубок и стал смотреть туда же… Вскоре после этого произошло страшное, доселе невиданное несчастье. Мы все вдруг стали замечать, что небо и земля начали темнеть, как от приближающейся грозы. Когда же иностранец положил трубку и, что-то быстро записав, взял в руки темное стекло, мы услышали, как кто-то крикнул:

— Господа, солнце закрывается!

Действительно, что-то черное, очень похожее на сковороду, надвигалось на солнце и заслоняло его от земли. Видя, что уже нет половины солнца и что все-таки незнакомцы продолжают свои

странные действия, некоторые из нас обратились к городовому Власову и сказали ему:

— Городовой, что же ты не обращаешь внимания на беспорядок?

Он ответил:

— Солнце не в моем участке.

Благодаря такой халатности местных властей скоро мы увидели, что исчезло все солнце. Наступила ночь, а куда девался день, никому не известно. На небе появились звезды. От такого несвоевременного наступления ночи в нашем городе произошли следующие события. Все мы страшно испугались и пришли в смятение. Не зная, что делать, мы в ужасе бегали по площади и, толкая друг друга, кричали: «Городовой! Городовой!» Коровы, быки и лошади (в это время у нас была скотская ярмарка), задрав хвосты и ревя, в страхе носились по городу, пугая жителей. Собаки выли. Клопы в трактирных номерах, вообразив, что настала ночь, вылезли из щелей и принялись жалить спящих. Дьякон Фантасмагорский, который в это время вез к себе из огорода огурцы, ужаснувшись, выскочил из телеги и спрятался под мост, а его лошадь въехала с телегой в чужой двор, где огурцы были съедены свиньями. Акцизный Льстецов, ночевавший не дома, а у

соседки (в интересах правосудия мы не можем скрыть эту подробность), выскочил на улицу в одном нижнем белье и, вбежав в толпу, закричал диким голосом:

— Спасайся, кто может!



Многие дамы, разбуженные шумом, выскочили на улицу, не надев даже башмаков. Произошло еще много такого, что мы решимся рассказать только при закрытых дверях. Не испугались и сохранили присутствие духа одни только пожар-

ные, которые в это время крепко спали, что мы и спешим удостоверить. Все это произошло 7-го августа утром.

Незнакомцы же, напакостивши таким образом, уложили свои бумаги в портфели и, когда солнце показалось вновь, сели в коляску и укатили неизвестно куда. Кто они, мы до сих пор не знаем. Сообщаем их приметы. Он, то есть тот, у которого была булавка с жемчужиной: рост средний, лицо чистое, подбородок умеренный, на лбу морщины; иностранец: рост средний, телосложение полное, лицо бритое, чистое, подбородок умеренный, издали похож на помещика Карасевича; близорук, почему и носит очки.

Не австрийские ли это шпионы?

Перед затмением
(Отрывок из феерии)

Солнце и месяц сидят за горизонтом и пьют пиво.

Солнце *(задумчиво).* М-да, братец ты мой… Четвертную изволь, а больше не могу.

Месяц. Верьте совести, ваше сиятельство, самому дороже стоит. Извольте сами посудить: господам астрономам желательно, чтобы затмение началось в Царстве Польском в 5 часов утра и кончилось в Верхнеудинске в 12, стало быть, я должен буду участвовать в церемонии семь часов-с… Если положите мне по пяти целковых за час, то и то дешево-с. *(Хватает за шлейф мимо бегущее облако и сморкается в него.)* А вы не извольте скупиться, ваше сиятельство. Такое вам затмение устрою, что даже адвокатам завидно станет. Останетесь довольны-с…

Солнце *(после паузы).* Странно, что ты торгуешься… Ты забываешь, что я приглашаю тебя принять участие в церемонии, имеющей мировой характер, что это затмение даст тебе популярность…

Месяц *(со вздохом и с горечью).* Знаем мы эту популярность, ваше сиятельство! «Спрятался месяц за тучку» и больше ничего. Одна только диффамация… *(Пьет.)* Или: «На штыке у часового горит полночная луна». И тоже вот: «Месяц плывет по ночным небесам…» Отродясь не плавал, ваше сиятельство, за что же такая обида?

Солнце. М-да, действительно, отношение печати к тебе по меньшей мере странно… Но потерпи, братец… Придет время, и тебя оценит история…

По земле с грохотом проезжает ассенизация;

обе планеты хватают по тучке и зажимают ими носы.

Месяц. Не продохнешь… Порядки на земле, нечего сказать! Нестоющая планета! *(Пьет.)* Не забыть мне по гроб жизни, как меня господин Пушкин обругал. «Эта глупая луна на этом глупом небосклоне…»

Солнце. Конечно, обидно, но все-таки, брат, реклама! Я думаю, Иоганн Гофф и Кач дорого бы дали за то, чтоб их Пушкин выбранил нехорошими словами… Реклама — великая штука. Вот, погоди, будет затмение, и о тебе заговорят.



Месяц. Нет, уж это атанде, ваше сиятельство! В затмении ежели кому и будет слава, то только вам. Того не знают, что вы без меня как без рук… Кому вас заслонять без меня? Ежели какого адвоката позовете, то он с вас тысячи две сдерет. А я, так и быть уж, извольте за три красненьких.

Солнце *(подумав)*. Ну, ладно, только смотря не просить потом на чай. Пей! *(Наливает.)* Надеюсь, что ты постараешься…

Месяц. Это будьте покойны… Затмение выйдет по совести, первый сорт-с… С самого сотворения

мира лунный свет поставляю и никаких неудовольствиев… Все будет честно и благородно. Позвольте задаточек…

Солнце *(дает задаток)*. Я слышу, как выехали водовозы… Пора мне восходить… Ну, затмение я думаю устроить 7-го августа, утром… К этому времени ты будь готов… Ты заслонишь меня так, чтобы затмение было по возможности полное…

Месяц. А на какие места прикажете тень наводить?

Солнце *(подумав)*. Приятно было бы щегольнуть перед Западной Европой, но едва ли там оценят нашу затею… Тамошние дипломаты считают себя специалистами по части затмений, а потому удивить их трудно… Остается, стало быть, Россия… Так хотят и астрономы. Ну-с, наводи тень на Москву, но тоже с умом. Постарайся, чтобы затмение вышло тенденциозно. Ты покрой потемками только северную часть Москвы, а южную оставь… Пусть Замоскворечье, которое находится в южной части, увидит, как мы его игнорируем… Темное царство!

Месяц. Слушаю, ваше сиятельство.

Солнце. И к тому же купцы не поймут затмения… Многие из них вернулись из Нижнего и еще не проспались, а купчихи вообразят черт знает

что… Ну-с, тронем мы слегка Клин, Завидово, вообще места, где собрались астрономы, потом к Казани и т. д. Я еще подумаю… *(Пауза.)*

Месяц. Ваше сиятельство, скажите по совести, за каким лешим вы это затмение затеяли?

Солнце. Видишь ли… но, надеюсь, это между нами… я придумал затмение, чтобы восстановить свою популярность… В последнее время я замечал равнодушие публики… Обо мне как-то мало говорили и не замечали моего света. Я даже слышал, что солнце устарело, что оно — абсурд, что и без него легко обойтись… Многие отрицали меня даже в печати… Я думаю, что затмение заставит всех говорить обо мне. Это раз. Во-вторых, человечеству все приелось и надоело… Ему хочется разнообразия… Знаешь, когда купчихе надоедает варенье и пастила, она начинает жрать крупу; так, когда человечеству надоедает дневной свет, нужно угощать его затмением… Однако, пора мне восходить… Охотнорядские молодцы уже идут на рынок. Прощай…

Месяц. Еще одно слово, ваше сиятельство… *(Несмело.)* На случай затмения вы воздержались бы от этой штуки… *(Указывает на пивные бутылки.)* Не ровен час, будете подшофе, и как бы конфуза не вышло.

Солнце. Да, нужно будет воздержаться… *(Сообразив.)* Впрочем, если случится грех, выпью не в меру, то… мы небо покроем облаками, и нас никто не увидит… Однако прощай, пора… *(Восходит — увы! — закрытое облаками и туманами.)*

Месяц. Грехи наши тяжкие! *(Ложится и укрывается облаком; через минуту слышится храп.)*

Из записок вспыльчивого человека

Я человек серьезный, и мой мозг имеет направление философское. По профессии я финансист, изучаю, финансовое право и пишу диссертацию под заглавием: «Прошедшее и будущее собачьего налога». Согласитесь, что мне решительно нет никакого дела до девиц, романсов, луны и прочих глупостей.

Утро. Десять часов. Моя maman наливает мне стакан кофе. Я выпиваю и выхожу на балкончик, чтобы тотчас же приняться за диссертацию. Беру чистый лист бумаги, макаю перо в чернила и вывожу заглавие: «Прошедшее и будущее собачьего налога». Немного подумав, пишу: «Исторический обзор. Судя по некоторым намекам, имеющимся у Геродота и Ксенофонта, собачий налог ведет свое начало от…»

Но тут слышу в высшей степени подозрительные шаги. Гляжу с балкончика вниз и вижу девицу с длинным лицом и с длинной талией. Зовут ее, кажется, Наденька, или Варенька, что, впрочем, решительно все равно. Она что-то ищет, делает вид, что не замечает меня, и напевает: Помнишь ли ты тот напев, неги полный…

Я прочитываю то, что написал, хочу продолжать, но тут девица делает вид, что заметила меня, и говорит печальным голосом:

— Здравствуйте, Николай Андреич! Представьте, какое у меня несчастье! Вчера гуляла и потеряла больбошку с браслета!

Перечитываю еще раз начало своей диссертации, поправляю хвостик у буквы «б» и хочу продолжать, но девица не унимается.

— Николай Андреич, — говорит она, — будьте любезны, проводите меня домой. У Карелиных такая громадная собака, что я не решаюсь идти одна.

Делать нечего, кладу перо и схожу вниз. Наденька, или Варенька, берет меня под руку, и мы направляемся к ее даче.

Когда на мою долю выпадает обязанность ходить под руку с дамой или девицей, то почему-то всегда я чувствую себя крючком, на который повесили большую шубу; Наденька же, или Варенька, натура, между нами говоря, страстная (дед ее был армянин), обладает способностью нависать на вашу руку всею тяжестью своего тела и, как пиявка, прижиматься к боку. И так мы идем… Проходя мимо Карелиных, я вижу большую собаку, которая напоминает мне о собачьем налоге. Я

с тоской вспоминаю о начатом труде и вздыхаю.

— О чем вы вздыхаете? — спрашивает Наденька, или Варенька, и сама испускает вздох.

Тут я должен сделать оговорку. Наденька, или Варенька (теперь я припоминаю, что ее зовут, кажется, Машенькой), откуда-то вообразила, что я в нее влюблен, а потому считает долгом человеколюбия всегда глядеть на меня с состраданием и лечить словесно мою душевную рану.

— Послушайте, — говорит она, останавливаясь, — я знаю, отчего вы вздыхаете. — Вы любите, да! Но прошу вас именем нашей дружбы, верьте, та девушка, которую вы любите, глубоко уважает вас! За вашу любовь она не может платить вам тем же, но виновата ли она, что сердце ее давно уже принадлежит другому?

Нос Машеньки краснеет и пухнет, глаза наливаются слезами; она, по-видимому, ждет от меня ответа, но, к счастью, мы уже пришли… На террасе сидит Машенькина maman, женщина добрая, но с предрассудками; взглянув на взволнованное лицо дочери, она останавливает на мне долгий взгляд и вздыхает, как бы желая сказать: «Ах, молодежь, даже скрыть не умеете!» Кроме нее на террасе сидят несколько разноцветных девиц и между ними мой сосед по даче, отставной офи-

цер, раненный в последнюю войну в левый висок и в правое бедро. Этот несчастный, подобно мне, задался целью посвятить это лето литературному труду. Он пишет «Мемуары военного человека». Подобно мне, он каждое утро принимается за свою почтенную работу, но едва только успеет написать: «Я родился в…», как под балкончик является какая-нибудь Варенька, или Машенька, и раненый раб божий берется под стражу.

Все сидящие на террасе чистят для варенья какую-то пошлую ягоду. Я раскланиваюсь и хочу уходить, но разноцветные девицы с визгом хватают мою шляпу и требуют, чтобы я остался. Я сажусь. Мне подают тарелку с ягодой и шпильку. Начинаю чистить.

Разноцветные девицы говорят на тему о мужчинах. Такой-то хорошенький, такой-то красив, но не симпатичен, третий некрасив, но симпатичен, четвертый был бы недурен, если бы его нос не походил на наперсток, и т. д.

— А вы, m-r Nicolas, — обращается ко мне Варенькина maman, — некрасивы, но симпатичны… В вашем лице что-то есть… Впрочем, — вздыхает она, — в мужчине главное не красота, а ум…

Девицы вздыхают и потупляют взоры… Они тоже согласны, что в мужчине главное не кра-

сота, а ум. Я косо поглядываю на себя в зеркало, чтобы убедиться, насколько я симпатичен. Вижу косматую голову, косматую бороду, усы, брови, волосы на щеках, волосы под глазами — целая роща, из которой на манер каланчи выглядывает мой солидный нос. Хорош, нечего сказать!

— Впрочем, Nicolas, вы возьмете своими душевными качествами, — вздыхает Наденькина maman, как бы подкрепляя какую-то свою тайную мысль.

А Наденька страдает за меня, но в то же время сознание, что против сидит влюбленный в нее человек, доставляет ей, по-видимому, величайшее наслаждение. Покончив с мужчинами, девицы говорят о любви. После длинного разговора о любви одна из девиц встает и уходит. Оставшиеся начинают перемывать косточки ушедшей. Все находят, что она глупа, несносна, безобразна, что у нее лопатка не на месте.

Но вот, слава богу, идет наконец горничная, посланная моею maman, и зовет меня обедать. Теперь я могу оставить неприятное общество и идти продолжать свою диссертацию. Встаю и раскланиваюсь. Варенькина maman, сама Варенька и разноцветные девицы окружают меня и заявляют, что я не имею никакого права уходить, так

как дал им вчера честное слово обедать с ними, а после обеда идти в лес за грибами. Кланяюсь и сажусь… В душе моей кипит ненависть, я чувствую, что еще минута и — я за себя не ручаюсь, произойдет взрыв, но деликатность и боязнь нарушить хороший тон заставляют меня повиноваться дамам. И я повинуюсь.

Садимся обедать. Раненый офицер, у которого от раны в висок образовалось сведение челюстей, ест с таким видом, как будто бы он занузданы и имеет во рту удила. Я катаю шарики из хлеба, думаю о собачьем налоге и, зная свой вспыльчивый характер, стараюсь молчать. Наденька глядит на меня с состраданием. Окрошка, язык с горошком, жареная курица и компот. Аппетита нет, но я из деликатности ем. После обеда, когда я один стою на террасе и курю, ко мне подходит Машенькина maman, сжимает мои руки и говорит, задыхаясь:

— Но вы не отчаивайтесь, Nicolas… Это такое сердце… такое сердце!

Идем в лес по грибы… Варенька виснет на моей руке и присасывается к боку. Страдаю невыносимо, но терплю.

Входим в лес.

— Послушайте, m-r Nicolas, — вздыхает Наденька, — отчего вы так грустны? Отчего вы

молчите?

Странная девушка: о чем же я могу говорить с ней? Что у нас общего?

— Ну, скажите что-нибудь… — просит она.

Я начинаю придумывать что-нибудь популярное, доступное ее пониманию. Подумав, говорю:

— Лесоистребление приносит громадный вред России…

— Nicolas! — вздыхает Варенька, и нос ее краснеет. — Nicolas, я вижу, вы избегаете откровенного разговора… Вы как будто желаете казнить своим молчанием… Вам не отвечают на ваше чувство, и вы хотите страдать молча, в одиночку… это ужасно, Nicolas! — восклицает она, порывисто хватая меня за руку, и я вижу, как ее нос начинает пухнуть. — Что бы вы сказали, если бы та девушка, которую вы любите, предложила вам вечную дружбу?

Я бормочу что-то несвязное, потому что решительно не знаю, что сказать ей… Помилуйте: во-первых, никакой девушки я не люблю и, во-вторых, для чего бы мне могла понадобиться вечная дружба? В-третьих, я очень вспыльчив. Машенька, или Варенька, закрывает лицо руками и говорит вполголоса, как бы про себя:

— Он молчит… Очевидно, он хочет жертвы с

моей стороны. Не могу же я любить его, если я все еще люблю другого! Впрочем… я подумаю… Хорошо, я подумаю… Я соберу все силы моей души и, быть может, ценою своего счастья спасу этого человека от страданий!

Ничего не понимаю. Какая-то кабалистика. Идем дальше и собираем грибы. Все время молчим. На лице у Наденьки выражение душевной борьбы. Слышен лай собак: это мне напоминает о моей диссертации, и я громко вздыхаю. Сквозь стволы деревьев я вижу раненого офицера. Бедняга мучительно хромает направо и налево: справа у него раненое бедро, слева висит одна из разноцветных девиц. Лицо выражает покорность судьбе.

Из леса идем обратно на дачу пить чай, затем играем в крокет и слушаем, как одна из разноцветных девиц поет романс: «Нет, не любишь ты! Нет! Нет!..» При слове «нет» она кривит рот до самого уха.

— Charmant[219]! — стонут остальные девицы. — Charmant!

Наступает вечер. Из-за кустов выползает отвратительная луна. В воздухе тишина и неприятно

---

[219] Примечания: 219
Прелестно! (фр.).

пахнет свежим сеном. Беру шляпу и хочу уходить.

— Мне нужно вам сообщить кое-что, — значительно шепчет мне Машенька. — Не уходите.

Предчувствую что-то недоброе, но из деликатности остаюсь. Машенька берет меня под руку и ведет куда-то по аллее. Теперь уж вся фигура ее выражает борьбу. Она бледна, тяжело дышит и, кажется, намерена оторвать у меня правую руку. Что с ней?

— Послушайте… — бормочет она. — Нет, не могу… Нет…

Она хочет что-то сказать, но колеблется. Но вот по лицу ее я вижу, что она решилась. Сверкнув глазами, с опухшим носом, она хватает меня за руку и говорит быстро:

— Nicolas, я ваша! Любить вас не могу, но обещаю вам верность!

Затем она прижимается к моей груди и вдруг отскакивает.

— Кто-то идет… — шепчет она. — Прощай… Завтра в 11 часов буду в беседке… Прощай!

И она исчезает. Ничего не понимая, чувствуя мучительное сердцебиение, я иду к себе домой. Меня ждет «Прошедшее и будущее собачьего налога», но работать я уже не могу. Я взбешен.

Можно даже сказать, я ужасен. Черт возьми, я не позволю обращаться со мной, как с мальчишкой! Я вспыльчив, и шутить со мной опасно! Когда входит ко мне горничная звать меня к ужину, я кричу ей: «Подите вон!» Такая вспыльчивость обещает мало хорошего.

На другой день утром. Погода дачная, то есть температура ниже нуля, резкий, холодный ветер, дождь, грязь и запах нафталина, потому что моя maman повынимала из сундука свои салопы. Чертовское утро. Это как раз 7-е августа 1887 года, когда было затмение солнца. Надо вам заметить, что во время затмения каждый из нас может принести громадную пользу, не будучи астрономом. Так, каждый из нас может: 1) определить диаметр солнца и луны, 2) нарисовать корону солнца, 3) измерить температуру, 4) наблюдать в момент затмения животных и растения, 5) записать собственные впечатления и т. д. Это так важно, что я пока оставил в стороне «Прошедшее и будущее собачьего налога» и решил наблюдать затмение. Все мы встали очень рано. Весь предстоящий труд я поделил так: я определю диаметр солнца и луны, раненый офицер нарисует корону, все же остальное возьмут на себя Машенька и разноцветные девицы. Вот все мы собрались и ждем.

— Отчего бывает затмение? — спрашивает Машенька.

Я отвечаю:

— Солнечные затмения происходят в том случае, когда луна, обращаясь в плоскости эклиптики, помещается на линии, соединяющей центры солнца и земли.

— А что значит эклиптика?

Я объясняю. Машенька, внимательно выслушав, спрашивает:

— Можно ли сквозь копченое стекло увидеть линию, соединяющую центры солнца и земли?

Я отвечаю ей, что эта линия проводится умственно.

— Если она умственная, — недоумевает Варенька, — то как же на ней может поместиться луна?

Не отвечаю. Я чувствую, как от этого наивного вопроса начинает увеличиваться моя печень.

— Все это вздор, — говорит Варенькина maman. — Нельзя знать того, что будет, и к тому же вы ни разу не были на небе, почему же вы знаете, что будет с луной и солнцем? Все это фантазии.

Но вот черное пятно надвигается на солнце. Всеобщее смятение. Коровы, овцы и лошади, задрав хвосты и ревя, в страхе носились по полю.

Собаки выли. Клопы, вообразив, что настала ночь, вылезли из щелей и начали кусать тех, кто спал. Дьякон, который в это время вез к себе из огорода огурцы, ужаснувшись, выскочил из телеги и спрятался под мост, а его лошадь въехала с телегой в чужой двор, где огурцы были съедены свиньями. Акцизный, ночевавший не дома, а у одной дачницы, выскочил в одном нижнем белье и, вбежав в толпу, закричал диким голосом:

— Спасайся, кто может!

Многие дачницы, даже молодые и красивые, разбуженные шумом, выскочили на улицу, не надев башмаков. Произошло еще много такого, чего я не решусь рассказать.

— Ах, как страшно! — визжат разноцветные девицы. — Ах! Это ужасно!

— Mesdames, наблюдайте! — кричу я им. — Время дорого!

А сам я тороплюсь, измеряю диаметр… Вспоминаю о короне я ищу глазами раненого офицера. Он стоит и ничего не делает.

— Что же вы? — кричу я. — А корона?

Он пожимает плечами и беспомощно указывает мне глазами на свои руки. У бедняги на обе руки нависли разноцветные девицы, жмутся к нему от страха и мешают работать. Беру ка-

рандаш и записываю время с секундами. Это важно. Записываю географическое положение наблюдательного пункта. Это тоже важно. Хочу определить диаметр, но в это время Машенька берет меня за руку и говорит:

— Не забудьте же, сегодня в одиннадцать часов!

Я отнимаю свою руку и, дорожа каждой секундой, хочу продолжать наблюдения, но Варенька судорожно берет меня под руку и прижимается к моему боку. Карандаш, стекла, чертежи — все это валится на траву. Черт знает что! Пора же, наконец, понять этой девушке, что я вспыльчив, что я, вспылив, становлюсь бешеным и тогда не могу за себя ручаться!

Хочу я продолжать, но затмение уже кончилось!

— Взгляните на меня! — шепчет она нежно.

О, это уже верх издевательства! Согласитесь, что такая игра человеческим терпением может кончиться только худом. Не обвиняйте же меня, если случится что-нибудь ужасное! Я никому не позволю шутить, издеваться надо мною и, черт подери, когда я взбешен, никому не советую близко подходить ко мне, черт возьми совсем! Я готов на все!

Одна из девиц, вероятно, заметив по моему лицу, что я взбешен, говорит, очевидно, с той целью, чтобы успокоить меня:

— А я, Николай Андреевич, исполнила ваше поручение. Я наблюдала млекопитающих. Я видела, как перед затмением серая собака погналась за кошкой и потом долго виляла хвостом.



Так из затмения ничего не вышло. Иду домой. Благодаря дождю не выхожу на балкончик работать. Раненый офицер рискнул выйти на свой балкон и даже написал: «Я родился в…», и теперь я вижу в окно, как одна из разноцветных девиц тащит его к себе на дачу. Работать я не могу, потому что все еще взбешен и чувствую сердцебиение. В беседку я не иду. Это невежливо, но, согласитесь, не могу же я идти по дождю! В 12 часов получаю письмо от Машеньки; в письме упреки, просьба прийти в беседку и обращение на «ты»… В час получаю другое письмо, в два — третье… Надо идти. Но прежде чем идти, я должен подумать, о чем буду говорить с ней. Поступлю, как порядочный человек. Во-первых, я скажу ей, что она напрасно воображает, что я ее люблю. Впрочем, таких вещей не говорят женщинам. Сказать женщине: «я вас не люблю» — так же неделикатно, как сказать писателю: «вы плохо пишете». Лучше всего я выскажу Вареньке свой взгляд на брак. Надеваю теплое пальто, беру зонтик и иду к беседке. Зная свой вспыльчивый характер, боюсь, как бы не сказать чего-нибудь лишнего. Постараюсь сдерживать себя.

В беседке меня ждут. Наденька бледна и заплакана. Увидев меня, она радостно вскрикивает,

бросается ко мне на шею и говорит:

— Наконец-то! Ты играешь моим терпением. Послушай, я не спала всю ночь… Я все думала. Мне кажется, что когда я узнаю тебя поближе, то… полюблю тебя.

Я сажусь и начинаю излагать свой взгляд на брак. Сначала, чтобы не заходить далеко, быть по возможности кратким, я делаю маленький исторический обзор. Говорю о браке индусов и египтян, затем перехожу к позднейшим временам; несколько мыслей из Шопенгауэра. Машенька слушает со вниманием, но вдруг, по странной непоследовательности идей, находит нужным прервать меня.



— Nicolas, поцелуй меня! — говорит она.

Я смущен и не знаю, что сказать ей. Она повторяет свое требование. Делать нечего, я поднимаюсь и прикладываюсь к ее длинному лицу, причем ощущаю то же самое, что чувствовал в детстве, когда меня заставили однажды поцеловать на панихиде мою умершую бабушку. Не довольствуясь моим поцелуем, Варенька вскакивает и порывисто обнимает меня. В это время в дверях беседки показывается Машенькина maman… Она

делает испуганное лицо, говорит кому-то «тссс!» и исчезает, как Мефистофель в трюме.

Смущенный и взбешенный, я возвращаюсь к себе на дачу. Дома я застаю Варенькину maman, которая со слезами на глазах обнимает мою maman, а моя maman плачет и говорит:

— Я сама этого желала!

Затем — как вам это нравится? — Наденькина maman подходит ко мне, обнимает меня и говорит:

— Бог вас благословит! Ты же смотри, люби ее… Помни, что для тебя она приносит жертву…

И теперь меня женят. В то время как я пишу эти строки, над моей душой стоят шафера и торопят меня. Эти люди положительно не знают моего характера! Ведь я вспыльчив и не могу за себя ручаться! Черт возьми, вы увидите, что будет дальше! Везти под венец вспыльчивого, взбешенного человека — это, по-моему, так же неумно, как просовывать руку в клетку к разъяренному тигру. Увидим, увидим, что будет!

……

Итак, я женат. Все меня поздравляют, и Варенька все жмется ко мне и говорит:

— Пойми же, что ты теперь мой, мой! Скажи же, что ты меня любишь! Скажи!

И при этом у нее пухнет нос.

Узнал от шаферов, что раненый офицер ловким манером избежал Гименея. Он представил разноцветной девице медицинское свидетельство, что благодаря ране в висок он умственно ненормален, а потому по закону не имеет права жениться. Идея! Я тоже мог бы представить свидетельство. Мой дядя пил запоем, другой дядя был очень рассеян (однажды вместо шапки надел себе на голову дамскую муфту), тетка много играла на рояли и при встрече с мужчинами показывала им язык. К тому же еще мой в высшей степени вспыльчивый характер — очень подозрительный симптом. Но почему хорошие идеи приходят так поздно? Почему?

Сирена

После одного из заседаний N-ского мирового съезда судьи собрались в совещательной комнате, чтобы снять свои мундиры, минутку отдохнуть и ехать домой обедать. Председатель съезда, очень видный мужчина с пушистыми бакенами, оставшийся по одному из только что разобранных дел «при особом мнении», сидел за столом и спешил записать свое мнение. Участковый мировой судья Милкин, молодой человек с томным, меланхолическим лицом, слывущий за философа, недовольного средой и ищущего цели жизни, стоял у окна и печально глядел во двор. Другой участковый и один из почетных уже ушли. Оставшийся почетный, обрюзглый, тяжело дышащий толстяк, и товарищ прокурора, молодой немец с катаральным лицом, сидели на диванчике и ждали, когда кончит писать председатель, чтобы ехать вместе обедать. Перед ними стоял секретарь съезда Жилин, маленький человечек с бачками около ушей и с выражением сладости на лице. Медово улыбаясь и глядя на толстяка, он говорил вполголоса:

— Все мы сейчас желаем кушать, потому что

утомились и уже четвертый час, но это, душа моя Григорий Саввич, не настоящий аппетит. Настоящий, волчий аппетит, когда, кажется, отца родного съел бы, бывает только после физических движений, например, после охоты с гончими, или когда отмахаешь на обывательских верст сто без передышки. Тоже много значит и воображение-с. Ежели, положим, вы едете с охоты домой и желаете с аппетитом пообедать, то никогда не нужно думать об умном; умное да ученое всегда аппетит отшибает. Сами изволите знать, философы и ученые насчет еды самые последние люди и хуже их, извините, не едят даже свиньи. Едучи домой, надо стараться, чтобы голова думала только о графинчике да закусочке. Я раз дорогою закрыл глаза и вообразил себе поросеночка с хреном, так со мной от аппетита истерика сделалась. Ну-с, а когда вы въезжаете к себе во двор, то нужно, чтобы в это время из кухни пахло чем-нибудь этаким, знаете ли…

— Жареные гуси мастера пахнуть, — сказал почетный мировой, тяжело дыша.

— Не говорите, душа моя Григорий Саввич, утка или бекас могут гусю десять очков вперед дать. В гусином букете нет нежности и деликатности. Забористее всего пахнет молодой лук, когда, зна-

ете ли, начинает поджариваться и, понимаете ли, шипит, подлец, на весь дом. Ну-с, когда вы входите в дом, то стол уже должен быть накрыт, а когда сядете, сейчас салфетку за галстук и не спеша тянетесь к графинчику с водочкой. Да ее, мамочку, наливаете не в рюмку, а в какой-нибудь допотопный дедовский стаканчик из серебра или в этакий пузатенький с надписью «его же и монаси приемлют», и выпиваете не сразу, а сначала вздохнете, руки потрете, равнодушно на потолок поглядите, потом, этак не спеша, поднесете ее, водочку-то, к губам и — тотчас же у вас из желудка по всему телу искры…

Секретарь изобразил на своем сладком лице блаженство.

— Искры… — повторил он, жмурясь. — Как только выпили, сейчас же закусить нужно.

— Послушайте, — сказал председатель, поднимая глаза на секретаря, — говорите потише! Я из-за вас уже второй лист порчу.

— Ах, виноват-с, Петр Николаич! Я буду тихо, — сказал секретарь и продолжал полушепотом: — Ну-с, а закусить, душа моя Григорий Саввич, тоже нужно умеючи. Надо знать, чем закусывать. Самая лучшая закуска, ежели желаете знать, селедка. Съели вы ее кусочек с лучком и с горчич-

ным соусом, сейчас же, благодетель мой, пока еще чувствуете в животе искры, кушайте икру саму по себе или, ежели желаете, с лимончиком, потом простой редьки с солью, потом опять селедки, но всего лучше, благодетель, рыжики соленые, ежели их изрезать мелко, как икру, и, понимаете ли, с луком, с прованским маслом… объедение! Но налимья печенка — это трагедия!

— М-да… — согласился почетный мировой, жмуря глаза. — Для закуски хороши также, того… душоные белые грибы…

— Да, да, да… с луком, знаете ли, с лавровым листом и всякими специями. Откроешь кастрюлю, а из нее пар, грибной дух… даже слеза прошибает иной раз! Ну-с, как только из кухни приволокли кулебяку, сейчас же, немедля, нужно вторую выпить.

— Иван Гурьич! — сказал плачущим голосом председатель. — Из-за вас я третий лист испортил!

— Черт его знает, только об еде и думает! — проворчал философ Милкин, делая презрительную гримасу. — Неужели, кроме грибов да кулебяки, нет других интересов в жизни?

— Ну-с, перед кулебякой выпить, — продолжал секретарь вполголоса; он уже так увлекся, что,

как поющий соловей, не слышал ничего, кроме собственного голоса. — Кулебяка должна быть аппетитная, бесстыдная, во всей своей наготе, чтоб соблазн был. Подмигнешь на нее глазом, отрежешь этакий кусище и пальцами над ней пошевелишь вот этак, от избытка чувств. Станешь ее есть, а с нее масло, как слезы, начинка жирная, сочная, с яйцами, с потрохами, с луком…

Секретарь подкатил глаза и перекосил рот до самого уха. Почетный мировой крякнул и, вероятно, воображая себе кулебяку, пошевелил пальцами.

— Это черт знает что… — проворчал участковый, отходя к другому окну.



— Два куска съел, а третий к щам приберег, — продолжал секретарь вдохновенно. — Как только кончили с кулебякой, так сейчас же, чтоб аппетита не перебить, велите щи подавать… Щи должны быть горячие, огневые. Но лучше всего, благодетель мой, борщок из свеклы на хохлацкий манер, с ветчинкой и с сосисками. К нему подаются сметана и свежая петрушечка с укропцем. Великолепно также рассольник из потрохов и молоденьких почек, а ежели любите суп, то из супов наилучший, который засыпается кореньями и зеленями: морковкой, спаржей, цветной капустой и всякой тому подобной юриспруденцией.

— Да, великолепная вещь… — вздохнул председатель, отрывая глаза от бумаги, но тотчас же спохватился и простонал: — Побойтесь вы бога! Этак я до вечера не напишу особого мнения! Четвертый лист порчу!

— Не буду, не буду! Виноват-с! — извинился секретарь и продолжал шепотом: — Как только скушали борщок или суп, сейчас же велите подавать рыбное, благодетель. Из рыб безгласных самая лучшая — это жареный карась в сметане; только, чтобы он не пах тиной и имел тонкость, нужно продержать его живого в молоке целые сутки.

— Хорошо также стерлядку кольчиком, — сказал почетный мировой, закрывая глаза, во тотчас же, неожиданно для всех, он рванулся с места, сделал зверское лицо и заревел в сторону председателя: — Петр Николаич, скоро ли вы? Не могу я больше ждать! Не могу!

— Дайте мне кончить!

— Ну, так я сам поеду! Черт с вами!

Толстяк махнул рукой, схватил шляпу и, не простившись, выбежал из комнаты. Секретарь вздохнул и, нагнувшись к уху товарища прокурора, продолжал вполголоса:

— Хорош также судак или карпий с подливкой из помидоров и грибков. Но рыбой не насытишься, Степан Францыч; это еда несущественная, главное в обеде не рыба, не соусы, а жаркое. Вы какую птицу больше обожаете?

Товарищ прокурора сделал кислое лицо и сказал со вздохом:

— К несчастью, я не могу вам сочувствовать: у меня катар желудка.

— Полноте, сударь! Катар желудка доктора выдумали! Больше от вольнодумства да от гордости бывает эта болезнь. Вы не обращайте внимания. Положим, вам кушать не хочется или тошно, а вы не обращайте внимания и кушайте себе. Ежели,

положим, подадут к жаркому парочку дупелей, да ежели прибавить к этому куропаточку или парочку перепелочек жирненьких, то тут про всякий катар забудете, честное благородное слово. А жареная индейка? Белая, жирная, сочная этакая, знаете ли, вроде нимфы…

— Да, вероятно, это вкусно, — сказал прокурор, грустно улыбаясь. — Индейку, пожалуй, я ел бы.

— Господи, а утка? Если взять молодую утку, которая только что в первые морозы ледку хватила, да изжарить ее на противне вместе с картошкой, да чтоб картошка была мелко нарезана, да подрумянилась бы, да чтоб утиным жиром пропиталась, да чтоб…

Философ Милкин сделал зверское лицо и, по-видимому, хотел что-то сказать, но вдруг причмокнул губами, вероятно, вообразив жареную утку, и, не сказав ни слова, влекомый неведомою силой, схватил шляпу и выбежал вон.

— Да, пожалуй, я поел бы и утки… — вздохнул товарищ прокурора.

Председатель встал, прошелся и опять сел.

— После жаркого человек становится сыт и впадает в сладостное затмение, — продолжал секретарь. — В это время и телу хорошо и на душе умилительно. Для услаждения можете выкушать

рюмочки три запеканочки.

Председатель крякнул и перечеркнул лист.

— Я шестой лист порчу, — сказал он сердито. — Это бессовестно!

— Пишите, пишите, благодетель! — зашептал секретарь. — Я не буду! Я потихоньку. Я вам по совести, Степан Францыч, — продолжал он едва слышным шепотом, — домашняя самоделковая запеканочка лучше всякого шампанского. После первой же рюмки всю вашу душу охватывает обоняние, этакий мираж, и кажется вам, что вы не в кресле у себя дома, а где-нибудь в Австралии, на каком-нибудь мягчайшем страусе…

— Ах, да поедемте, Петр Николаич! — сказал прокурор, нетерпеливо дрыгнув ногой.

— Да-с, — продолжал секретарь. — Во время запеканки хорошо сигарку выкурить и кольца пускать, и в это время в голову приходят такие мечтательные мысли, будто вы генералиссимус или женаты на первейшей красавице в мире и будто эта красавица плавает целый день перед вашими окнами в этаком бассейне с золотыми рыбками. Она плавает, а вы ей: «Душенька, иди поцелуй меня!»

— Петр Николаич! — простонал товарищ прокурора.

— Да-с, — продолжал секретарь. — Покуривши, подбирайте полы халата и айда к постельке! Этак ложитесь на спинку, животиком вверх, и берите газетку в руки. Когда глаза слипаются и во всем теле дремота стоит, приятно читать про политику: там, глядишь, Австрия сплоховала, там Франция кому-нибудь не потрафила, там папа римский наперекор пошел — читаешь, оно и приятно.

Председатель вскочил, швырнул в сторону перо и обеими руками ухватился за шляпу. Товарищ прокурора, забывший о своем катаре и млевший от нетерпения, тоже вскочил.

— Едемте! — крикнул он.

— Петр Николаич, а как же особое мнение? — испугался секретарь. — Когда же вы его, благодетель, напишете? Ведь вам в шесть часов в город ехать!

Председатель махнул рукой и бросился к двери. Товарищ прокурора тоже махнул рукой и, подхватив свой портфель, исчез вместе с председателем. Секретарь вздохнул, укоризненно поглядел им вслед и стал убирать бумаги.

Мститель

Федор Федорович Сигаев вскоре после того, как застал свою жену на месте преступления, стоял в оружейном магазине Шмукс и К° и выбирал себе подходящий револьвер. Лицо его выражало гнев, скорбь и бесповоротную решимость.

«Я знаю, что мне делать… — думал он. — Семейные основы поруганы, честь затоптана в грязь, порок торжествует, а потому я, как гражданин и честный человек, должен явиться мстителем. Сначала убью ее и любовника, а потом себя…»

Он еще не выбрал револьвера и никого еще не убил, но его воображение уже рисовало три окровавленных трупа, размозженные черепа, текущий мозг, сумятицу, толпу зевак, вскрытие… С злорадством оскорбленного человека он воображал себе ужас родни и публики, агонию изменницы и мысленно уже читал передовые статьи, трактующие о разложении семейных основ.

Приказчик магазина — подвижная, французистая фигурка с брюшком и в белом жилете — раскладывал перед ним револьверы и, почтительно улыбаясь, шаркая ножками, говорил:

— Я советовал бы вам, мсье, взять вот этот прекрасный револьвер. Система Смит и Вессон. Последнее слово огнестрельной науки. Тройного действия, с экстрактором, бьет на шестьсот шагов, центрального боя. Обращаю, мсье, ваше внимание на чистоту отделки. Самая модная система, мсье… Ежедневно продаем по десятку для разбойников, волков и любовников. Очень верный и сильный бой, бьет на большой дистанции и убивает навылет жену и любовника. Что касается самоубийц, то, мсье, я не знаю лучшей системы…

Приказчик поднимал и опускал курки, дышал на стволы, прицеливался и делал вид, что задыхается от восторга. Глядя на его восхищенное лицо, можно было подумать, что сам он охотно пустил бы себе пулю в лоб, если бы только обладал револьвером такой прекрасной системы, как Смит и Вессон.

— А какая цена? — спросил Сигаев.

— Сорок пять рублей, мсье.

— Гм!.. Для меня это дорого!

— В таком случае, мсье, я предложу вам другой системы, подешевле. Вот, не угодно ли посмотреть? Выбор у нас громадный, на разные цены… Например, этот револьвер системы Лефоше стоит

только восемнадцать рублей, но… (приказчик презрительно поморщился)… но, мсье, эта система уже устарела. Ее покупают теперь только умственные пролетарии и психопатки. Застрелиться или убить жену из Лефоше считается теперь знаком дурного тона. Хороший тон признает только Смита и Вессон.

— Мне нет надобности ни стреляться, ни убивать, — угрюмо солгал Сигаев. — Я покупаю это просто для дачи… пугать воров…

— Нам нет дела, для чего вы покупаете, — улыбнулся приказчик, скромно опуская глаза. — Если бы в каждом случае мы доискивались причин, то нам, мсье, пришлось бы закрыть магазин. Для пуганья ворон Лефоше не годится, мсье, потому что он издает негромкий, глухой звук, а я предложил бы вам обыкновенный капсюльный пистолет Мортимера, так называемый дуэльный…

«А не вызвать ли мне его на дуэль? — мелькнуло в голове Сигаева. — Впрочем, много чести… Таких скотов убивают, как собак…»

Приказчик, грациозно поворачиваясь и семеня ножками, не переставая улыбаться и болтать, положил перед ним целую кучу револьверов. Аппетитнее и внушительнее всех выглядел Смит и Вессон. Сигаев взял в руки один револьвер этой

системы, тупо уставился на него и погрузился в раздумье. Воображение его рисовало, как он размозжает черепа, как кровь рекою течет по ковру и паркету, как дрыгает ногой умирающая изменница… Но для его негодующей души было мало этого. Кровавые картины, вопль и ужас его не удовлетворяли… Нужно было придумать что-нибудь более ужасное.

«Вот что, я убью его и себя, — придумал он, — а ее оставлю жить. Пусть она чахнет от угрызений совести и презрения окружающих. Это для такой нервной натуры, как она, гораздо мучительнее смерти…»



И он представил себе свои похороны: он, оскорбленный, лежит в гробу, с кроткой улыбкой на устах, а она, бледная, замученная угрызениями совести, идет за гробом, как Ниобея, и не знает, куда деваться от уничтожающих презрительных взглядов, какие бросает на нее возмущенная толпа…

— Я вижу, мсье, что вам нравится Смит и Вессон, — перебил приказчик его мечтания. — Если он кажется вам дорог, то извольте, я уступлю пять рублей… Впрочем, у нас еще есть другие системы, подешевле.

Французистая фигурка грациозно повернулась и достала с полок еще дюжину футляров с револьверами.

— Вот, мсье, цена тридцать рублей. Это недорого, тем более что курс страшно понизился, а таможенные пошлины, мсье, повышаются каждый час. Мсье, клянусь богом, я консерватор, но и я уже начинаю роптать! Помилуйте, курс и таможенный тариф сделали то, что теперь оружие могут приобретать только богачи! Беднякам осталось только тульское оружие и фосфорные спички, а тульское оружие — это несчастье! Стреляешь из тульского револьвера в жену, а попадаешь себе в лопатку…

Сигаеву вдруг стало обидно и жаль, что он будет мертв и не увидит мучений изменницы. Месть тогда лишь сладка, когда имеешь возможность видеть и осязать ее плоды, а что толку, если он будет лежать в гробу и ничего не сознавать.

«Не сделать ли мне так, — раздумывал он. — Убью его, потом побуду на похоронах, погляжу, а после похорон себя убью… Впрочем, меня до похорон арестуют и отнимут оружие… Итак: убью его, она останется в живых, я… я до поры до времени не убиваю себя, а пойду под арест. Убить себя я всегда успею. Арест тем хорош, что

на предварительном дознании я буду иметь возможность раскрыть перед властью и обществом всю низость ее поведения. Если я убью себя, то она, пожалуй, со свойственной ей лживостью и наглостью, во всем обвинит меня, и общество оправдает ее поступок и, пожалуй, посмеется надо мной; если же я останусь жив, то…»

Через минуту он думал:

«Да, если я убью себя, то, пожалуй, меня же обвинят и заподозрят в мелком чувстве… И к тому же, за что себя убивать? Это раз. Во-вторых, застрелиться — значит струсить. Итак: убью его, ее оставлю жить, сам иду под суд. Меня будут судить, а она будет фигурировать в качестве свидетельницы… Воображаю ее смущение, ее позор, когда ее будет допрашивать мой защитник! Симпатии суда, публики и прессы будут, конечно, на моей стороне…»

Он размышлял, а приказчик раскладывал перед ним товар и считал своим долгом занимать покупателя.

— Вот английские новой системы, недавно только получены, — болтал он. — Но предупреждаю, мсье, все эти системы бледнеют перед Смит и Вессон. На днях — вы, вероятно, уже читали — один офицер приобрел у нас револьвер

системы Смит и Вессон. Он выстрелил в любовника и — что же вы думаете? — пуля прошла навылет, пробила затем бронзовую лампу, потом рояль, а от рояля рикошетом убила болонку и контузила жену. Эффект блистательный и делает честь нашей фирме. Офицер теперь арестован… Его, конечно, обвинят и сошлют в каторжные работы! Во-первых, у нас еще слишком устарелое законодательство; во-вторых, мсье, суд всегда бывает на стороне любовника. Почему? Очень просто, мсье! И судьи, и присяжные, и прокурор, и защитник сами живут с чужими женами, и для них будет покойнее, если в России одним мужем будет меньше. Обществу было бы приятно, если бы правительство сослало всех мужей на Сахалин. О, мсье, вы не знаете, какое негодование возбуждает во мне современная порча нравов! Любить чужих жен теперь так же принято, как курить чужие папиросы и читать чужие книги. С каждым годом у нас торговля становится все хуже и хуже — это не значит, что любовников становится все меньше, а значит, что мужья мирятся со своим положением и боятся суда и каторги.

Приказчик оглянулся и прошептал:

— А кто виноват, мсье? Правительство!

«Идти на Сахалин из-за какой-нибудь свиньи

тоже неразумно, — раздумывал Сигаев. — Если я пойду на каторгу, то это даст только возможность жене выйти замуж вторично и надуть второго мужа. Она будет торжествовать… Итак: ее я оставлю в живых, себя не убиваю, его… тоже не убиваю. Надо придумать что-нибудь более разумное и чувствительное. Буду казнить их презрением и подниму скандальный бракоразводный процесс…»

— Вот, мсье, еще новая система, — сказал приказчик, доставая с полки дюжину. — Обращаю ваше внимание на оригинальный механизм замка…

Сигаеву, после его решения, револьвер был уже не нужен, а приказчик между тем, вдохновляясь все более и более, не переставал раскладывать перед ним свой товар. Оскорбленному мужу стало совестно, что из-за него приказчик даром трудился, даром восхищался, улыбался, терял время…

— Хорошо, в таком случае. — забормотал он, — я зайду после или… или пришлю кого-нибудь.

Он не видел выражения лица у приказчика, но, чтобы хотя немного сгладить неловкость, почувствовал необходимость купить что-нибудь. Но что же купить? Он оглядел стены магазина, выбирая что-нибудь подешевле, и остановил свой

взгляд на зеленой сетке, висевшей около двери.

— Это… это что такое? — спросил он.

— Это сетка для ловли перепелов.

— А что стоит?

— Восемь рублей, мсье.

— Заверните мне…

Оскорбленный муж заплатил восемь рублей, взял сетку и, чувствуя себя еще более оскорбленным, вышел из магазина.

Интриги

a) Выбор председателя Общества.

b) Обсуждение инцидента 2-го октября.

c) Реферат действит. члена д-ра М. Н. фон Брона.

d) Текущие дела Общества.

Доктор Шелестов, виновник инцидента 2-го октября, собирается на это заседание; он давно уже стоит перед зеркалом и старается придать своей физиономии томное выражение. Если он сейчас явится на заседание с лицом взволнованным, напряженным, красным или слишком бледным, то его враги могут вообразить, что он придает большое значение их интригам; если же его лицо будет холодно, бесстрастно, как бы заспанно, такое лицо, какое бывает у людей, стоящих выше толпы и утомленных жизнью, то все враги, взглянув на него, втайне проникнутся уважением и подумают:

Вознесся выше он главою непокорной
Наполеонова столпа!

Как человек, которого мало интересуют враги и их дрязги, он придет на заседание позже всех.

Он войдет в залу бесшумно, томно проведет рукой по волосам и, не поглядев ни на кого, сядет у самого краешка стола. Приняв позу скучающего слушателя, он чуть заметно зевнет, потянет к себе какую-нибудь газету, начнет читать… Все будут говорить, спорить, кипятиться, призывать друг друга к порядку, а он будет молчать и смотреть в газету. Но вот, наконец, когда его имя станет повторяться все чаще и чаще и жгучий вопрос накалится добела, он поднимет скучающие, утомленные глаза на коллег и скажет как бы нехотя:

— Меня вынуждают говорить… Я не готовился, господа, а потому, простите, моя речь будет недостаточно складна. Начну ab ovo[220]… В прошлом заседании некоторые уважаемые товарищи заявили, что я веду себя на консилиумах не так, как им хочется, и потребовали от меня объяснений. Находя объяснения излишними, а обвинение недобросовестным, я попросил исключить меня из числа членов Общества и удалился. Теперь же, когда на меня возводится новая серия обвинений, я, к прискорбию, вижу, что мне не обойтись без объяснений. Извольте, я объяснюсь.

Далее, небрежно играя карандашом или це-

---

[220] Примечания: 220
С самого начала (лат.).

почкой, он скажет, что, действительно, на консилиумах он иногда возвышает голос и обрывает коллег, не стесняясь присутствием посторонних; правда и то, что он однажды на консилиуме, в присутствии врачей и родных, спросил у больного: «Какой это дурак прописал вам опиум?» Редкий консилиум обходится, без инцидента… Но почему? Очень просто. На консилиумах его, Шелестова, всегда поражает в товарищах низкий уровень знаний. В городе врачей тридцать два, и большинство из них знает меньше, чем любой студент первого курса. За примерами ходить недалеко. Конечно, nomina sunt odiosa[221], но на заседании все люди свои, и к тому же, чтобы не казаться голословным, можно назвать имена. Например, всем известно, что уважаемый товарищ фон Брон проткнул зондом пищевод чиновнице Сережкиной…

В это время фон Брон вскочит, всплеснет руками и завопит:

— Коллега, это вы проткнули, а не я! Вы! И я это докажу вам!

Шелестов не обратит на него внимания и будет продолжать:

---

[221] Примечания: 221
Имена ненавистны (об именах умалчивают) (лат.).

— Всем также известно, что уважаемый коллега Жила у актрисы Семирамидиной принял блуждающую почку за абсцесс и сделал пробный прокол, отчего и последовал вскорости exitus letalis[222]. Уважаемый товарищ Бесструнко, вместо того чтобы вылущить ноготь на большом пальце левой ноги, вылущил здоровый ноготь на правой ноге. Не могу также не напомнить вам случая, когда уважаемый товарищ Терхарьянц с таким усердием катетеризовал у солдата Иванова евстахиевы трубы, что у больного лопнули обе барабанные перепонки. Припоминаю кстати, как этот же самый товарищ, извлекая зуб, вывихнул больному нижнюю челюсть и не вправил ее до тех пор, пока больной не согласился уплатить ему за вправление пять рублей. Уважаемый товарищ Курицын женат на племяннице аптекаря Груммер и находится с ним в стачке. Всем также известно, что секретарь нашего Общества, молодой товарищ Скоропалительный, живет с женою нашего достоуважаемого и почтенного председателя Густава Густавовича Прехтеля… От низкого уровня знаний я незаметно перешел к погрешностям этического свойства. Тем лучше.

---

[222] Примечания: 222
Смертельный исход (лат.).

Этика — наше больное место, господа, и, чтобы не казаться голословным, я назову вам уважаемого товарища Пузырькова, который, будучи на именинах у полковницы Трещинской, рассказывал, что будто бы с женою нашего председателя живет не Скоропалительный, а я! Это смеет говорить тот самый господин Пузырьков, которого я в прошлом году застал с женою уважаемого товарища Знобиша! Кстати о докторе Знобиш… Кто пользуется репутацией врача, у которого лечиться дамам не совсем безопасно? Знобиш… Кто женился на купеческой дочери из-за приданого? Знобиш! Что же касается нашего всеми уважаемого председателя, то он занимается втайне гомеопатией и получает деньги от пруссаков за шпионство. Прусский шпион — это уж ultima ratio![223]

Доктора, когда хотят казаться умными и красноречивыми, употребляют два латинские выражения: *nomina sunt odiosa* и *ultima ratio*. Шелестов будет говорить не только по латыни, но и по-французски и по-немецки — как угодно! Он будет выводить всех на чистую воду, срывать с интриганов маски; председатель утомится зво-

---

[223] Примечания: 223
Последний довод! (лат.).

нить, уважаемые товарищи повскакивают со своих мест, завопиют, замашут руками… Товарищи иудейского вероисповедания соберутся в кучу и загалдят:

— Гал-гал-гал-гал-гал…

Шелестов же, ни на что не глядя, будет продолжать:

— Что же касается всего Общества, то, при настоящем его составе и порядках, оно неминуемо должно погибнуть. Все в нем построено исключительно на интригах.

Интриги, интриги и интриги! Я, как одна из жертв этой сплошной, демонической интриги, считаю себя обязанным изложить следующее…

Он будет излагать, а его партия аплодировать и торжествующе потирать руки. И вот, среди невообразимого гвалта и раскатов грома, начинаются выборы председателя. Фон Брон и К° горой стоят за Прехтеля, но публика и благомыслящие врачи шикают им и кричат:

— Долой Прехтеля! Просим Шелестова! Шелестова!

Шелестов соглашается, но с условием, что Прехтель и фон Брон попросят у него извинения за инцидент 2-го октября. Опять подымается невообразимый шум, и опять уважаемые товарищи

иудейского вероисповедания собираются в кучку и — «гал-гал-гал...» Прехтель и фон Брон, возмущенные, кончают тем, что просят не считать их более членами Общества. И прекрасно!

Шелестов — председатель. Прежде всего он почистит авгиевы конюшни. Знобыша — вон! Терхарьянца — вон! Уважаемых товарищей иудейского вероисповедания — вон! Со своей партией он сделает то, что к январю в Обществе не останется ни одного интригана. В лечебнице Общества он прежде всего велит покрасить в амбулаторной стены и вывесить объявление: «Курить строго запрещается»; засим он прогонит фельдшера и фельдшерицу, лекарства будет забирать не у Груммера, а у Хрящамбжицкого, врачам предложит не делать ни одной операции без его наблюдения и т. п. А главное, он у себя на визитных карточках будет печатать: «Председатель Общества N-ских врачей».

Так мечтает Шелестов, стоя у себя дома перед зеркалом. Но вот часы бьют семь и напоминают ему, что пора уже ехать на заседание. Он пробуждается от сладких мечтаний и спешит придать своему лицу томное выражение, но — увы! — хочет он сделать лицо томным и интересным, а оно не слушается и становится кислым, тупым, как

у озябшего дворняжки-щенка; хочет он сделать его солидным, а оно вытягивается и выражает недоумение, и ему теперь кажется, что он похож не на щенка, а на гуся. Он опускает веки, щурит глаза, надувает щеки, морщит лоб, но — хоть плюнь! — выходит совсем не то, что хотелось бы. Таковы уж, должно быть, природные свойства этого лица, что с ним ничего не поделаешь. Лоб узенький, маленькие глазки бегают быстро, как у плутоватой торговки, нижняя челюсть как-то глупо и нелепо торчит вперед, а щеки и шевелюра имеют такой вид, точно «уважаемого товарища» минуту назад вытолкали из бильярдной.

Глядит Шелестов на это свое лицо, злится, и ему начинает казаться, что и оно интригует против него. Идет он в переднюю, одевается, и кажется ему, что интригуют и шуба, и калоши, и шапка.

— Извозчик, в лечебницу! — кричит он.

Дает он двугривенный, а интриганы-извозчики просят четвертак… Садится он в пролетку, едет, а холодный ветер бьет ему в лицо, мокрый снег застилает глаза, лошаденка плетется еле-еле. Все сговорилось и все интригует… Интриги, интриги и интриги!

Дорогие уроки

Для человека образованного незнание языков составляет большое неудобство. Воротов сильно почувствовал это, когда, выйдя из университета со степенью кандидата, занялся маленькой научной работкой.

— Это ужасно! — говорил он, задыхаясь (несмотря на свои 26 лет, он пухл, тяжел и страдает одышкой). — Это ужасно! Без языков я, как птица без крыльев. Просто хоть работу бросай.

И он решил во что бы то ни стало побороть свою врожденную лень и изучить французский и немецкий языки, и стал искать учителей.

В один зимний полдень, когда Воротов сидел у себя в кабинете и работал, лакей доложил, что его спрашивает какая-то барышня.

— Проси, — сказал Воротов.

И в кабинет вошла молодая, по последней моде, изысканно одетая барышня. Она отрекомендовалась учительницей французского языка Алисой Осиповной Анкет и сказала, что ее прислал к Воротову один из его друзей.

— Очень приятно! Садитесь! — сказал Воротов, задыхаясь и прикрывая ладонью воротник сво-

ей ночной сорочки. (Чтобы легче дышалось, он всегда работает в ночной сорочке.) — Вас прислал ко мне Петр Сергеич? Да, да… я просил его… Очень рад!

Договариваясь с m-lle Анкет, он застенчиво и с любопытством поглядывал на нее. Это была настоящая, очень изящная француженка, еще очень молодая. По лицу, бледному и томному, по коротким кудрявым волосам и неестественно тонкой талии ей можно было дать не больше 18 лет; взглянув же на ее широкие, хорошо развитые плечи, на красивую спину и строгие глаза, Воротов подумал, что ей, наверное, не меньше 23 лет, быть может, даже все 25; но потом опять стало казаться, что ей только 18. Выражение лица у нее было холодное, деловое, как у человека, который пришел говорить о деньгах. Она ни разу не улыбнулась, не нахмурилась, и только раз на ее лице мелькнуло недоумение, когда она узнала, что ее пригласили учить не детей, а взрослого, толстого человека.

— Итак, Алиса Осиповна, — говорил ей Воротов, — мы будем заниматься ежедневно от семи до восьми вечера. Что же касается вашего желания — получать по рублю за урок, то я ничего не имею возразить против. По рублю — так по

рублю…

И он еще спросил у нее, не хочет ли она чаю или кофе, хороша ли на дворе погода, и, добродушно улыбаясь, поглаживая ладонью сукно на столе, дружелюбно осведомился, кто она, где кончила курс и чем живет.

Алиса Осиповна с холодным, деловым выражением ответила ему, что она кончила курс в частном пансионе и имеет права домашней учительницы, что отец ее недавно умер от скарлатины, мать жива и делает цветы, что она, m-lle Анкет, до обеда занимается в частном пансионе, а после обеда, до самого вечера, ходит по хорошим домам и дает уроки.

Она ушла, оставив после себя легкий, очень нежный запах женского платья. Воротов долго потом не работал, а, сидя у стола, поглаживал ладонями зеленое сукно и размышлял.

«Очень приятно видеть девушек, зарабатывающих себе кусок хлеба, — думал он. — С другой же стороны, очень неприятно видеть, что нужда не щадит даже таких изящных и хорошеньких девиц, как эта Алиса Осиповна, и ей также приходится вести борьбу за существование. Беда!..»

Он, никогда не видавший добродетельных француженок, подумал также, что эта изящно

одетая Алиса Осиповна, с хорошо развитыми плечами и с преувеличенно тонкой талией, по всей вероятности, кроме уроков, занимается еще чем-нибудь.

На другой день вечером, когда часы показывали без пяти минут семь, пришла Алиса Осиповна, розовая от холода; она раскрыла Margot[224], которого принесла с собой, и начала без всяких предисловий:

— Французская грамматика имеет 26 букв. Первая буква называется *A*, вторая *B*...

— Виноват, — перебил ее Воротов, улыбаясь. — Я должен предупредить вас, мадмуазель, что лично для меня вам придется несколько изменить ваш метод. Дело в том, что я хорошо знаю русский, латинский и греческий языки... изучал сравнительное языковедение, и, мне кажется, мы можем, минуя Margot, прямо приступить к чтению какого-нибудь автора.

---

[224] Примечания: 224

David Margot. «Cours élémentaire et progressif de langue française» — распространенный в России учебник французского языка. Неоднократно переиздавался, начиная с 1860 года.



И он объяснил француженке, как взрослые люди изучают языки.

— Один мой знакомый, — сказал он, — желая изучить новые языки, положил перед собой французское, немецкое и латинское Евангелия, читал их параллельно, причем кропотливо разбирал каждое слово, и что ж? Он достиг своей цели меньше чем в один год. Сделаем и мы так. Возьмем какого-нибудь автора и будем читать.



Француженка с недоумением посмотрела на него. По-видимому, предложение Воротова показалось ей очень наивным и вздорным. Если бы это странное предложение было сделано малолетним, то, наверное, она рассердилась бы и крикнула, но так как тут был человек взрослый и очень толстый, на которого нельзя было кричать, то она только пожала плечами едва заметно и сказала:

— Как хотите.

Воротов порылся у себя в книжном шкапу и достал оттуда истрепанную французскую книгу.

— Это годится? — спросил он.

— Все равно.

— В таком случае давайте начинать.

Господи благослови. Начнем с заглавия… Mémoires.

— Воспоминания… — перевела m-lle Анкет.

— Воспоминания… — повторил Воротов.

Добродушно улыбаясь и тяжело дыша, он четверть часа провозился со словом mémoires и столько же со словом de, и это утомило Алису Осиповну. Она отвечала на вопросы вяло, путалась и, по-видимому, плохо понимала своего ученика и не старалась понять. Воротов предлагал ей вопросы, а сам между тем поглядывал на ее белокурую голову и думал:

«Ее волосы кудрявы не от природы, она завивается. Удивительно. Работает с утра до ночи и успевает еще завиваться».

Ровно в восемь часов она поднялась и, сказав сухое, холодное «au revoir, monsieur»[225], пошла из кабинета; и после нее остался все тот же нежный, тонкий, волнующий запах. Ученик опять

---

[225] Примечания: 225
До свиданья (фр.).

долго ничего не делал, сидел у стола и думал.

В следующие за тем дни он убедился, что его учительница — барышня милая, серьезная и аккуратная, но что она очень необразованна и учить взрослых не умеет; и он решил не тратить попусту времени, расстаться с ней и пригласить другого учителя. Когда она пришла в седьмой раз, он достал из кармана конверт с семью рублями и, держа его в руках, очень сконфузился и начал так:

— Извините, Алиса Осиповна, но я должен вам сказать… поставлен в тяжелую необходимость…

Взглянув на конверт, француженка догадалась, в чем дело, и в первый раз за все время уроков ее лицо дрогнуло и холодное, деловое выражение исчезло. Она слегка зарумянилась и, опустив глаза, стала нервно перебирать пальцами свою тонкую золотую цепочку. И Воротов, глядя на ее смущение, понял, как для нее дорог был рубль и как ей тяжело было бы лишиться этого заработка.

— Я должен вам сказать… — пробормотал он, смущаясь еще больше, и в груди у него что-то екнуло; он торопливо сунул конверт в карман и продолжал: — Извините, я… я оставлю вас на десять минут…

И делая вид, что он вовсе не хотел отказывать ей, а только просил позволения оставить ее ненадолго, он вышел в другую комнату и высидел там десять минут. И потом вернулся еще более смущенный; он сообразил, что этот его уход на короткое время она может объяснить как-нибудь по-своему, и ему было неловко.

Уроки начались опять.

Воротов занимался уж без всякой охоты. Зная, что из занятий не выйдет никакого толку, он дал француженке полную волю, уж ни о чем не спрашивал ее и не перебивал. Она переводила как хотела, по десяти страниц в один урок, а он не слушал, тяжело дышал и от нечего делать рассматривал то кудрявую головку, то шею, то нежные белые руки, вдыхал запах ее платья…

Он ловил себя на нехороших мыслях, и ему становилось стыдно, или же он умилялся и тогда чувствовал огорчение и досаду оттого, что она держала себя с ним так холодно, деловито, как с учеником, не улыбаясь и точно боясь, как бы он не прикоснулся к ней нечаянно. Он все думал: как бы так внушить ей доверие, познакомиться с нею покороче, потом помочь ей, дать ей понять, как дурно она преподает, бедняжка.

Алиса Осиповна явилась однажды на урок в

нарядном розовом платье, с маленьким декольте, и от нее шел такой аромат, что казалось, будто она окутана облаком, будто стоит только дунуть на нее, как она полетит или рассеется, как дым. Она извинилась и сказала, что может заниматься только полчаса, так как с урока пойдет прямо на бал.

Он смотрел на ее шею и на спину, оголенную около шеи, и, казалось ему, понимал, отчего это француженки пользуются репутацией легкомысленных и легко падающих созданий; он тонул в этом облаке ароматов, красоты, наготы, а она, не зная его мыслей и, вероятно, нисколько не интересуясь ими, быстро перелистывала страницы и переводила на всех парах:

— Он ходил на улице и встречал господина своего знакомого и сказал: «Куда вы устремляетесь, видя ваше лицо такое бледное, это делает мне больно».

Mémoires давно уже были кончены, и теперь Алиса переводила какую-то другую книгу. Раз она пришла на урок часом раньше, извиняясь тем, что в семь часов ей нужно ехать в Малый театр. Проводив ее после урока, Воротов оделся и тоже поехал в театр. Он поехал, как казалось ему, только затем, чтобы отдохнуть, развлечься, а об Алисе

у него не было и мыслей. Он не мог допустить, чтобы человек серьезный, готовящийся к ученой карьере, тяжелый на подъем, бросил дело и поехал в театр только затем, чтобы встретиться там с малознакомой, не умной, малоинтеллигентной девушкой…

Но почему-то в антрактах у него билось сердце, он, сам того не замечая, как мальчик бегал по фойе и по коридорам, нетерпеливо отыскивая кого-то; и ему становилось скучно, когда антракт кончался; а когда он увидел знакомое розовое платье и красивые плечи под тюлем, сердце его сжалось, точно от предчувствия счастья, он радостно улыбнулся и первый раз в жизни испытал ревнивое чувство.

Алиса шла с какими-то двумя некрасивыми студентами и с офицером. Она хохотала, громко говорила, видимо, кокетничала; такою никогда не видел ее Воротов. Очевидно, она была счастлива, довольна, искренна, тепла. Отчего? Почему? Оттого, быть может, что эти люди были близки ей, из того же круга, что и она… И Воротов почувствовал страшную пропасть между собой и этим кругом. Он поклонился своей учительнице, но та холодно кивнула ему и быстро прошла мимо; ей, по-видимому, не хотелось, чтобы ее кавалеры

знали, что у нее есть ученики и что она от нужды дает уроки.

После встречи в театре Воротов понял, что он влюблен… Во время следующих уроков, пожирая глазами свою изящную учительницу, он уже не боролся с собою, а давал полный ход своим чистым и нечистым мыслям. Лицо Алисы Осиповны не переставало быть холодным, ровно в восемь часов каждого вечера она спокойно говорила «au revoir, monsieur», и он чувствовал, что она равнодушна к нему и будет равнодушной и — положение его безнадежно.

Иногда среди урока он начинал мечтать, надеяться, строить планы, сочинял мысленно любовное объяснение, вспоминал, что француженки легкомысленны и податливы, но достаточно ему было взглянуть на лицо учительницы, чтобы мысли его мгновенно потухли, как потухает свеча, когда на даче во время ветра выносишь ее на террасу. Раз, он, опьянев, забывшись, как в бреду, не выдержал и, загораживая ей дорогу, когда она выходила после урока из кабинета в переднюю, задыхаясь и заикаясь, стал объясняться в любви:

— Вы мне дороги! Я… я люблю вас! Позвольте мне говорить!

А Алиса побледнела — вероятно, от страха, сооб-

ражая, что после этого объяснения ей уж нельзя будет ходить сюда и получать рубль за урок; она сделала испуганные глаза и громко зашептала:

— Ах, это нельзя! Не говорите, прошу вас! Нельзя!

И потом Воротов не спал всю ночь, мучился от стыда, бранил себя, напряженно думал. Ему казалось, что своим объяснением он оскорбил девушку, что она уже больше не придет к нему.

Он решил узнать утром в адресном столе ее адрес и написать ей извинительное письмо. Но Алиса пришла и без письма. Первую минуту она чувствовала себя неловко, но потом раскрыла книгу и стала переводить быстро и бойко, как всегда:

— О, молодой господин, не разрывайте эти цветы в моем саду, которые я хочу давать своей больной дочери…

Ходит она до сегодня. Переведены уже четыре книги, а Воротов не знает ничего, кроме слова «mémoires», и когда его спрашивают об его научной работке, то он машет рукой и, не ответив на вопрос, заводит речь о погоде.

Лев и солнце

В одном из городов, расположенных по сю сторону Уральского хребта, разнесся слух, что на днях прибыл в город и остановился в гостинице «Япония» персидский сановник Рахат-Хелам. Этот слух не произвел на обывателей никакого впечатления: приехал перс, ну и ладно. Один только городской голова, Степан Иванович Куцын, узнав от секретаря управы о приезде восточного человека, задумался и спросил:

— Куда он едет?

— Кажется, в Париж или в Лондон.

— Гм!.. Значит, важная птица?

— А черт его знает.

Придя из управы к себе домой и пообедав, городской голова опять задумался, и уж на этот раз думал до самого вечера. Приезд знатного перса сильно заинтриговал его. Ему казалось, что сама судьба послала ему этого Рахат-Хелама и что наконец наступило благоприятное время для того, чтобы осуществить свою страстную, заветную мечту. Дело в том, что Куцын имел две медали, Станислава 3-й степени, знак Красного Креста и знак «Общества спасания на водах», и, кроме того,

он сделал себе еще брелок (золотое ружье и гитара, которые перекрещивались), и этот брелок, продетый в мундирную петлю, похож был издали на что-то особенное и прекрасно сходил за знак отличия. Известно же, что чем больше имеешь орденов и медалей, тем больше их хочется, — и городской голова давно уже желал получить персидский орден Льва и Солнца, желал страстно, безумно. Он отлично знал, что для получения этого ордена не нужно ни сражаться, ни жертвовать в приют, ни служить по выборам, а нужен только подходящий случай. И теперь ему казалось, что этот случай наступил.

На другой день, в полдень, он надел все свои знаки отличия, цепь и поехал в «Японию». Судьба ему благоприятствовала. Когда он вошел в номер знатного перса, то последний был один и ничего не делал. Рахат-Хелам, громадный азиат с длинным, бекасиным носом, с глазами навыкате и в феске, сидел на полу и рылся в своем чемодане.

— Прошу извинить за беспокойство, — начал Куцын улыбаясь. — Честь имею рекомендоваться: потомственный почетный гражданин и кавалер Степан Иванович Куцын, местный городской голова. Почитаю своим долгом почтить в лице вашей персоны, так сказать, представителя

дружественной и соседственной нам державы.

Перс обернулся и пробормотал что-то на очень плохом французском языке, прозвучавшем как стук деревяшки о доску.

— Границы Персии, — продолжал Куцын заранее выученное приветствие, — тесно соприкасаются с пределами нашего обширного отечества, а потому взаимные симпатии побуждают меня, так сказать, выразить вам солидарность.

Знатный перс поднялся и опять пробормотал что-то на деревянном языке. Куцын, не знавший языков, мотнул головой в знак того, что не понимает.

«Ну как я с ним буду разговаривать? — подумал он. — Хорошо бы сейчас за переводчиком послать, да дело щекотливое, нельзя говорить при свидетелях. Переводчик разболтает потом по всему городу».

И Куцын стал вспоминать иностранные слова, какие знал из газет.

— Я городской голова… — пробормотал он. — То есть, лорд-мер… муниципале… Вуй? Компрене[226]?

Он хотел выразить на словах или мимикой

---

[226] Примечания: 226
Да? Понимаете? (искаж. фр. Oui? Comprenez-vous?).

свое общественное положение и не знал, как это сделать. Выручила его картина с крупною надписью: «Город Венеция», висевшая на стене. Он указал пальцем на город, потом себе на голову, и таким образом, по его мнению, получилась фраза: «Я городской голова». Перс ничего не понял, но улыбнулся и сказал:

— Каряшо, мусье… каряшо…

Полчаса спустя городской голова похлопывал перса то по колену, то по плечу и говорил:

— Компрене? Вуй? Как лорд-мер и муниципале… я предлагаю вам сделать маленький променаж[227]… Компрене? Променаж…

Куцын ткнул пальцем на Венецию и двумя пальцами изобразил шагающие ноги. Рахат-Хелам, не спускавший глаз с его медалей и, по-видимому, догадываясь, что это самое важное лицо в городе, понял слово «променаж» и любезно осклабился. Затем оба надели пальто и вышли из номера. Внизу, около двери, ведущей в ресторан «Япония», Куцын подумал, что недурно было бы угостить перса. Он остановился и, указывая ему на столы, сказал:

— По русскому обычаю, не мешало бы тово…

---

[227] Примечания: 227
Прогулка, (искаж. фр. promenade.).

пюре, антрекот… шампань и прочее… Компрене?

Знатный гость понял, и немного погодя оба сидели в самом лучшем кабинете ресторана, пили шампанское и ели.

— Выпьем за процветание Персии! — говорил Куцын. — Мы, русские, любим персов. Хотя мы и разной веры, но общие интересы, взаимные, так сказать, симпатии… прогресс… Азиатские рынки… мирные завоевания, так сказать…

Знатный перс ел и пил с большим аппетитом. Он ткнул вилкой в балык и, восторженно мотнув головой, сказал:

— Каряшо! Бьен![228]

— Вам нравится? — обрадовался городской голова. — Бьен? Вот и прекрасно. — И обратившись к лакею, он сказал: — Лука, распорядись, братец, послать его превосходительству в номер два балыка, которые получше!

Потом городской голова и персидский сановник поехали осматривать зверинец. Обыватели видели, как их Степан Иваныч, красный от шампанского, веселый, очень довольный, водил перса по главным улицам и по базару, показывая ему достопримечательности города, водил и на

---

[228] Примечания: 228
Хорошо! (фр. Bien!).

каланчу.

Между прочим, обыватели видели, как он остановился около каменных ворот со львами и указал персу сначала на льва, потом вверх, на солнце, потом себе на грудь, потом опять на льва и на солнце, а перс замотал головой, как бы в знак согласия, и, улыбаясь, показал свои белые зубы. Вечером оба сидели в гостинице «Лондон» и слушали арфисток, а где были ночью — неизвестно.

На другой день городской голова утром был в управе; служащие, очевидно, кое-что уже знали и догадывались, так как секретарь подошел к нему и сказал, насмешливо улыбаясь:

— У персов есть такой обычай: если к вам приезжает знатный гость, то вы должны собственноручно зарезать для него барана.

А немного погодя подали пакет, полученный по почте. Городской голова распечатал и увидел в нем карикатуру. Был нарисован Рахат-Хелам, а перед ним стоял на коленях сам городской голова и, простирая к нему руки, говорил:

В знак дружбы двух монархий —

России и Ирана,

Из уваженья к вам, почтеннейший посол,

Я сам себя б разрезал, как барана,
Но, извините, я — осел.



Городской голова испытал неприятное чувство, похожее на сосание под ложечкой, но ненадолго. В полдень он опять уже был у знатного перса, опять угощал его и, показывая ему достопримечательности города, опять подводил его к каменным воротам и опять указывал то на льва, то на солнце, то себе на грудь. Обедали в «Японии», после обеда, с сигарами в зубах, оба красные, счастливые, опять восходили на калан-

чу, и городской голова, очевидно желая угостить гостя редким зрелищем, крикнул сверху часовому, ходившему внизу:

— Бей тревогу!

Но тревоги не вышло, так как пожарные в это время были в бане.

Ужинали в «Лондоне», а после ужина перс уехал. Провожая его, Степан Иваныч три раза поцеловался с ним, по русскому обычаю, и даже прослезился. А когда поезд тронулся, он крикнул:

— Поклонитесь от нас Персии. Скажите ей, что мы ее любим!

Прошел год и четыре месяца. Был сильный мороз, градусов в тридцать пять, и дул пронзительный ветер. Степан Иваныч ходил по улице, распахнувши на груди шубу, и ему досадно было, что никто не попадается навстречу и не видит на его груди Льва и Солнца. Ходил он так до вечера, распахнувши шубу, очень озяб, а ночью ворочался с боку на бок и никак не мог уснуть.

На душе у него было тяжело, внутри жгло и сердце беспокойно стучало: ему хотелось теперь получить сербский орден Такова. Хотелось страстно, мучительно.

Без заглавия

В V веке, как и теперь, каждое утро вставало солнце и каждый вечер оно ложилось спать. Утром, когда с росою целовались первые лучи, земля оживала, воздух наполнялся звуками радости, восторга и надежды, а вечером та же земля затихала и тонула в суровых потемках. День походил на день, ночь на ночь. Изредка набегала туча и сердито гремел гром, или падала с неба зазевавшаяся звезда, или пробегал бледный монах и рассказывал братии, что недалеко от монастыря он видел тигра — и только, а потом опять день походил на день, ночь на ночь.

Монахи работали и молились богу, а их настоятель-старик играл на органе, сочинял латинские стихи и писал ноты. Этот чудный старик обладал необычайным даром. Он играл на органе с таким искусством, что даже самые старые монахи, у которых к концу жизни притупился слух, не могли удержать слез, когда из его кельи доносились звуки органа. Когда он говорил о чем-нибудь, даже самом обыкновенном, например, о деревьях, зверях или о море, его нельзя было слушать без улыбки или без слез, и казалось, что в душе его

звучали такие же струны, как и в органе. Если же он гневался, или предавался сильной радости, или начинал говорить о чем-нибудь ужасном и великом, то страстное вдохновение овладевало им, на сверкающих глазах выступали слезы, лицо румянилось, голос гремел, как гром, и монахи, слушая его, чувствовали, как его вдохновение сковывало их души; в такие великолепные, чудные минуты власть его бывала безгранична, и если бы он приказал своим старцам броситься в море, то они все до одного с восторгом поспешили бы исполнить его волю.

Его музыка, голос и стихи, в которых он славил бога, небо и землю, были для монахов источником постоянной радости. Бывало так, что при однообразии жизни им прискучивали деревья, цветы, весна, осень, шум моря утомлял их слух, становилось неприятным пение птиц, но таланты старика настоятеля, подобно хлебу, нужны были каждый день.

Проходили десятки лет, и все день походил на день, ночь на ночь. Кроме диких птиц и зверей, около монастыря не показывалась ни одна душа. Ближайшее человеческое жилье находилось далеко, и, чтобы пробраться к нему от монастыря или от него в монастырь, нужно было пройти

верст сто пустыней. Проходить пустыню решались только люди, которые презирали жизнь, отрекались от нее и шли в монастырь, как в могилу.

Каково же поэтому было удивление монахов, когда однажды ночью в их ворота постучался человек, который оказался горожанином и самым обыкновенным грешником, любящим жизнь. Прежде чем попросить у настоятеля благословения и помолиться, этот человек потребовал вина и есть. На вопрос, как он попал из города в пустыню, он отвечал длинной охотничьей историей: пошел на охоту, выпил лишнее и заблудился. На предложение поступить в монахи и спасти свою душу он ответил улыбкой и словами: «Я вам не товарищ».

Наевшись и напившись, он оглядел монахов, которые прислуживали ему, покачал укоризненно головой и сказал:

— Ничего вы не делаете, монахи. Только и знаете, что едите да пьете. Разве так спасают душу? Подумайте: в то время, как вы сидите тут в покое, едите, пьете и мечтаете о блаженстве, ваши ближние погибают и идут в ад. Поглядите-ка, что делается в городе! Одни умирают с голоду, другие, не зная, куда девать свое золото, топят

себя в разврате и гибнут, как мухи, вязнущие в меду. Нет в людях ни веры, ни правды! Чье же дело спасать их? Чье дело проповедовать? Не мне ли, который от утра до вечера пьян? Разве смиренный дух, любящее сердце и веру бог дал вам на то, чтобы вы сидели здесь в четырех стенах и ничего не делали?

Пьяные слова горожанина были дерзки и неприличны, но странным образом подействовали на настоятеля. Старик переглянулся со своими монахами, побледнел и сказал:

— Братья, а ведь он правду говорит! В самом деле, бедные люди по неразумию и слабости гибнут в пороке и неверии, а мы не двигаемся с места, как будто нас это не касается. Отчего бы мне не пойти и не напомнить им о Христе, которого они забыли?

Слова горожанина увлекли старика; на другой же день он взял свою трость, простился с братией и отправился в город. И монахи остались без музыки, без его речей и стихов.

Проскучали они месяц, другой, а старик не возвращался. Наконец после третьего месяца послышался знакомый стук его трости. Монахи бросились к нему навстречу и осыпали его вопросами, но он, вместо того чтобы обрадоваться

им, горько заплакал и не сказал ни одного слова. Монахи заметили: он сильно состарился и похудел; лицо его было утомлено и выражало глубокую скорбь, а когда он заплакал, то имел вид человека, которого оскорбили.

Монахи тоже заплакали и с участием стали расспрашивать, зачем он плачет, отчего лицо его так угрюмо, но он не сказал ни слова и заперся в своей келье. Семь дней сидел он у себя, ничего не ел, не пил, не играл на органе и плакал. На стук в его дверь и на просьбы монахов выйти и поделиться с ними своею печалью он отвечал глубоким молчанием.

Наконец он вышел. Собрав вокруг себя всех монахов, он с заплаканным лицом и с выражением скорби и негодования начал рассказывать о том, что было с ним в последние три месяца. Голос его был спокоен, и глаза улыбались, когда он описывал свой путь от монастыря до города. На пути, говорил он, ему пели птицы, журчали ручьи, и сладкие, молодые надежды волновали его душу; он шел и чувствовал себя солдатом, который идет на бой и уверен в победе; мечтая, он шел и слагал стихи и гимны и не заметил, как кончился путь.

Но голос его дрогнул, глаза засверкали, и весь он распалился гневом, когда стал говорить о го-

роде и людях. Никогда в жизни он не видел, даже не дерзал воображать себе то, что он встретил, войдя в город. Только тут, первый раз в жизни, на старости лет, он увидел и понял, как могуч дьявол, как прекрасно зло и как слабы, малодушны и ничтожны люди. По несчастной случайности, первое жилище, в которое он вошел, был дом разврата. С полсотни человек, имеющих много денег, ели и без меры пили вино. Опьяненные вином, они пели песни и смело говорили страшные, отвратительные слова, которых не решится сказать человек, боящийся бога; безгранично свободные, бодрые, счастливые, они не боялись ни бога, ни дьявола, ни смерти, а говорили и делали все, что хотели, и шли туда, куда гнала их похоть. А вино, чистое, как янтарь, подернутое золотыми искрами, вероятно, было нестерпимо сладко и пахуче, потому что каждый пивший блаженно улыбался и хотел еще пить. На улыбку человека оно отвечало тоже улыбкой и, когда его пили, радостно искрилось, точно знало, какую дьявольскую прелесть таит оно в своей сладости.



Старик, все больше распаляясь и плача от гнева, продолжал описывать то, что он видел. На столе, среди пировавших, говорил он, стояла полунагая блудница. Трудно представить себе и найти в природе что-нибудь более прекрасное и пленительное. Эта гадина, молодая, длинноволосая, смуглая, с черными глазами и с жирными губами, бесстыдная и наглая, оскалила свои белые, как снег, зубы и улыбалась, как будто хотела сказать: «Поглядите, какая я наглая, какая красивая!» Шелк и парча красивыми складками спускались с ее плеч, но красота не хотела прятаться под одеждой, а, как молодая зелень из весенней почвы, жадно пробивалась сквозь складки. Наглая женщина пила вино, пела песни и отдавалась всякому, кто только хотел.

Далее старик, гневно потрясая руками, описал конские ристалища, бой быков, театры, мастерские художников, где пишут и лепят из глины нагих женщин. Говорил он вдохновенно, красиво и звучно, точно играл на невидимых струнах, а монахи, оцепеневшие, жадно внимали его речам и задыхались от восторга… Описав все прелести дьявола, красоту зла и пленительную грацию отвратительного женского тела, старик проклял дьявола, повернул назад и скрылся за своею

дверью…

Когда он на другое утро вышел из кельи, в монастыре не оставалось ни одного монаха. Все они бежали в город.

Сапожник и нечистая сила

Был канун Рождества. Марья давно уже храпела на печи, в лампочке выгорел весь керосин, а Федор Нилов все сидел и работал. Он давно бы бросил работу и вышел на улицу, но заказчик из Колокольного переулка, заказавший ему головки две недели назад, был вчера, бранился и приказал кончить сапоги непременно теперь, до утрени.

— Жизнь каторжная! — ворчал Федор, работая. — Одни люди спят давно, другие гуляют, а ты вот, как Каин какой, сиди и шей черт знает на кого…

Чтоб не уснуть как-нибудь нечаянно, он то и дело доставал из-под стола бутылку и пил из горлышка и после каждого глотка крутил головой и говорил громко:

— С какой такой стати, скажите на милость, заказчики гуляют, а я обязан шить на них? Оттого, что у них деньги есть, а я нищий?

Он ненавидел всех заказчиков, особенно того, который жил в Колокольном переулке. Это был господин мрачного вида, длинноволосый, желтолицый, в больших синих очках и с сиплым голосом. Фамилия у него была немецкая, такая,

что не выговоришь. Какого он был звания и чем занимался, понять было невозможно. Когда две недели назад Федор пришел к нему снимать мерку, он, заказчик, сидел на полу и толок что-то в ступке. Не успел Федор поздороваться, как содержимое ступки вдруг вспыхнуло и загорелось ярким, красным пламенем, завоняло серой и жженными перьями, и комната наполнилась густым розовым дымом, так что Федор раз пять чихнул; и возвращаясь после этого домой, он думал: «Кто бога боится, тот не станет заниматься такими делами».

Когда в бутылке ничего не осталось, Федор положил сапоги на стол и задумался. Он подпер тяжелую голову кулаком и стал думать о своей бедности, о тяжелой беспросветной жизни, потом о богачах, об их больших домах, каретах, о сотенных бумажках… Как было бы хорошо, если бы у этих, черт их подери, богачей потрескались дома, подохли лошади, полиняли их шубы и собольи шапки! Как бы хорошо, если бы богачи мало-помалу превратились в нищих, которым есть нечего, а бедный сапожник стал бы богачом и сам бы куражился над бедняком-сапожником накануне Рождества.

Мечтая так, Федор вдруг вспомнил о своей ра-

боте и открыл глаза.

«Вот так история! — подумал он, оглядывая сапоги. — Головки у меня давно уж готовы, а я все сижу. Надо нести к заказчику!»

Он завернул работу в красный платок, оделся и вышел на улицу. Шел мелкий, жесткий снег, коловший лицо, как иголками. Было холодно, склизко, темно, газовые фонари горели тускло, и почему-то на улице пахло керосином так, что Федор стал перхать и кашлять. По мостовой взад и вперед ездили богачи, и у каждого богача в руках был окорок и четверть водки. Из карет и саней глядели на Федора богатые барышни, показывали ему языки и кричали со смехом:

— Нищий! Нищий!

Сзади Федора шли студенты, офицеры, купцы и генералы и дразнили его:

— Пьяница! Пьяница! Сапожник-безбожник, душа голенища! Нищий!

Все это было обидно, но Федор молчал и только отплевывался. Когда же встретился ему сапожных дел мастер Кузьма Лебедкин из Варшавы и сказал: «Я женился на богатой, у меня работают подмастерья, а ты нищий, тебе есть нечего», — Федор не выдержал и погнался за ним. Гнался он до тех пор, пока не очутился в Колокольном пере-

улке. Его заказчик жил в четвертом доме от угла, в квартире в самом верхнем этаже. К нему нужно было идти длинным темным двором и потом взбираться вверх по очень высокой скользкой лестнице, которая шаталась под ногами. Когда Федор вошел к нему, он, как и тогда, две недели назад, сидел на полу и толок что-то в ступке.

— Ваше высокоблагородие, сапожки принес! — сказал угрюмо Федор.

Заказчик поднялся и молча стал примерять сапоги. Желая помочь ему, Федор опустился на одно колено и стащил с него старый сапог, но тотчас же вскочил и в ужасе попятился к двери. У заказчика была не нога, а лошадиное копыто.

«Эге! — подумал Федор. — Вот она какая история!»

Первым делом следовало бы перекреститься, потом бросить все и бежать вниз; но тотчас же он сообразил, что нечистая сила встретилась ему в первый и, вероятно, в последний раз в жизни и не воспользоваться ее услугами было бы глупо. Он пересилил себя и решил попытать счастья. Заложив назад руки, чтоб не креститься, он почтительно кашлянул и начал:

— Говорят, что нет поганей и хуже на свете, как нечистая сила, а я так понимаю, ваше высокобла-

городие, что нечистая сила самая образованная. У черта, извините, копыта и хвост сзади, да зато у него в голове больше ума, чем у иного студента.

— Люблю за такие слова, — сказал польщенный заказчик. — Спасибо, сапожник! Что же ты хочешь?

И сапожник, не теряя времени, стал жаловаться на свою судьбу. Он начал с того, что с самого детства он завидовал богатым. Ему всегда было обидно, что не все люди одинаково живут в больших домах и ездят на хороших лошадях. Почему, спрашивается, он беден? Чем он хуже Кузьмы Лебедкина из Варшавы, у которого собственный дом и жена ходит в шляпке? У него такой же нос, такие же руки, ноги, голова, спина, как у богачей, так почему же он обязан работать, когда другие гуляют? Почему он женат на Марье, а не на даме, от которой пахнет духами? В домах богатых заказчиков ему часто приходится видеть красивых барышень, но они не обращают на него никакого внимания и только иногда смеются и шепчут друг другу: «Какой у этого сапожника красный нос!» Правда, Марья хорошая, добрая, работящая баба, но ведь она необразованная, рука у нее тяжелая и бьется больно, а когда приходится говорить при ней о политике или о чем-нибудь умном, то она

вмешивается и несет ужасную чепуху.

— Что же ты хочешь? — перебил его заказчик.

— А я прошу, ваше высокоблагородие, Черт Иваныч, коли ваша милость, сделайте меня богатым человеком!

— Изволь. Только ведь за это ты должен отдать мне свою душу! Пока петухи еще не запели, иди и подпиши вот на этой бумажке, что отдаешь мне свою душу.

— Ваше высокоблагородие! — сказал Федор вежливо. — Когда вы мне головки заказывали, я не брал с вас денег вперед. Надо сначала заказ исполнить, а потом уж деньги требовать.

— Ну, ладно! — согласился заказчик.

В ступке вдруг вспыхнуло яркое пламя, повалил густой розовый дым и завоняло жженными перьями и серой. Когда дым рассеялся, Федор протер глаза и увидел, что он уже не Федор и не сапожник, а какой-то другой человек, в жилетке и с цепочкой, в новых брюках, и что сидит он в кресле за большим столом. Два лакея подавали ему кушанья, низко кланялись и говорили:

— Кушайте на здоровье, ваше высокоблагородие!

Какое богатство! Подали лакеи большой кусок жареной баранины и миску с огурцами, потом

принесли на сковороде жареного гуся, немного погодя — вареной свинины с хреном. И как все это благородно, политично! Федор ел и перед каждым блюдом выпивал по большому стакану отличной водки, точно генерал какой-нибудь или граф. После свинины подали ему каши с гусиным салом, потом яичницу со свиным салом и жареную печенку, и он все ел и восхищался. Но что еще? Еще подали пирог с луком и пареную репу с квасом. «И как это господа не полопаются от такой еды!» — думал он. В заключение подали большой горшок с медом. После обеда явился черт в синих очках и спросил, низко кланяясь:

— Довольны ли вы обедом, Федор Пантелеич?

Но Федор не мог выговорить ни одного слова, так его распирало после обеда. Сытость была неприятная, тяжелая, и, чтобы развлечь себя, он стал осматривать сапог на своей левой ноге.

— За такие сапоги я меньше не брал, как семь с полтиной. Какой это сапожник шил? — спросил он.

— Кузьма Лебедкин, — ответил лакей.

— Позвать его, дурака!

Скоро явился Кузьма Лебедкин из Варшавы. Он остановился в почтительной позе у двери и спросил:

— Что прикажете, ваше высокоблагородие?

— Молчать! — крикнул Федор и топнул ногой. — Не смей рассуждать и помни свое сапожницкое звание, какой ты человек есть! Болван! Ты не умеешь сапогов шить! Я тебе всю харю побью! Ты зачем пришел?

— За деньгами-с.

— Какие тебе деньги? Вон! В субботу приходи! Человек, дай ему в шею!



Но тотчас же он вспомнил, как над ним самим мудрили заказчики, и у него стало тяжело на душе, и чтобы развлечь себя, он вынул из кар-

мана толстый бумажник и стал считать свои деньги. Денег было много, но Федору хотелось еще больше. Бес в синих очках принес ему другой бумажник, потолще, но ему захотелось еще больше, и чем дольше он считал, тем недовольнее становился.

Вечером нечистый привел к нему высокую, грудастую барыню в красном платье и сказал, что это его новая жена. До самой ночи он все целовался с ней и ел пряники. А ночью лежал он на мягкой, пуховой перине, ворочался с боку на бок и никак не мог уснуть. Ему было жутко.

— Денег много, — говорил он жене, — того гляди, воры заберутся. Ты бы пошла со свечкой поглядела!

Всю ночь не спал он и то и дело вставал, чтобы взглянуть, цел ли сундук. Под утро надо было идти в церковь к утрени. В церкви одинаковая честь всем, богатым и бедным. Когда Федор был беден, то молился в церкви так: «Господи, прости меня грешного!» То же самое говорил он и теперь, ставши богатым. Какая же разница? А после смерти богатого Федора закопают не в золото, не в алмазы, а в такую же черную землю, как и последнего бедняка. Гореть Федор будет в том же огне, где и сапожники. Обидно все это казалось

Федору, а тут еще во всем теле тяжесть от обеда и вместо молитвы в голову лезут разные мысли о сундуке с деньгами, о ворах, о своей проданной, загубленной душе.

Вышел он из церкви сердитый. Чтоб прогнать нехорошие мысли, он, как часто это бывало раньше, затянул во все горло песню. Но только что он начал, как к нему подбежал городовой и сказал, делая под козырек:

— Барин, нельзя господам петь на улице! Вы не сапожник!

Федор прислонился спиной к забору и стал думать: чем бы развлечься?

— Барин! — крикнул ему дворник. — Не очень-то на забор напирай, шубу запачкаешь!

Федор пошел в лавку и купил себе самую лучшую гармонию, потом шел по улице и играл. Все прохожие указывали на него пальцами и смеялись.

— А еще тоже барин! — дразнили его извозчики. — Словно сапожник какой…

— Нешто господам можно безобразить? — сказал ему городовой. — Вы бы еще в кабак пошли!

— Барин, подайте милостыньки Христа ради! — вопили нищие, обступая Федора со всех сторон. — Подайте!

Раньше, когда он был сапожником, нищие не обращали на него никакого внимания, теперь же они не давали ему проходу.

А дома встретила его новая жена, барыня, одетая в зеленую кофту и красную юбку. Он хотел приласкать ее и уже размахнулся, чтобы дать ей раза в спину, но она сказала сердито:

— Мужик! Невежа! Не умеешь обращаться с барынями! Коли любишь, то ручку поцелуй, а драться не дозволю.

«Ну, жизнь анафемская! — подумал Федор. — Живут люди! Ни тебе песню запеть, ни тебе на гармонии, ни тебе с бабой поиграть… Тьфу!»

Только что он сел с барыней пить чай, как явился нечистый в синих очках и сказал:

— Ну, Федор Пантелеич, я свое соблюл в точности. Теперь вы подпишите бумажку и пожалуйте за мной. Теперь вы знаете, что значит богато жить, будет с вас!

И потащил Федора в ад, прямо в пекло, и черти слетались со всех сторон и кричали:

— Дурак! Болван! Осел!

В аду страшно воняло керосином, так что можно было задохнуться.

И вдруг все исчезло. Федор открыл глаза и увидел свой стол, сапоги и жестяную лампочку.

Ламповое стекло было черно и от маленького огонька на фитиле валил вонючий дым, как из трубы. Около стоял заказчик в синих очках и кричал сердито:

— Дурак! Болван! Осел! Я тебя проучу, мошенника! Взял заказ две недели тому назад, а сапоги до сих пор не готовы! Ты думаешь, у меня есть время шляться к тебе за сапогами по пяти раз на день? Мерзавец! Скотина!

Федор встряхнул головой и принялся за сапоги. Заказчик еще долго бранился и грозил. Когда он, наконец, успокоился, Федор спросил угрюмо:

— А чем вы, барин, занимаетесь?

— Я приготовляю бенгальские огни и ракеты. Я пиротехник.

Зазвонили к утрени. Федор сдал сапоги, получил деньги и пошел в церковь.

По улице взад и вперед сновали кареты и сани с медвежьими полостями. По тротуару вместе с простым народом шли купцы, барыни, офицеры… Но Федор уж не завидовал и не роптал на свою судьбу. Теперь ему казалось, что богатым и бедным одинаково дурно. Одни имеют возможность ездить в карете, а другие — петь во все горло песни и играть на гармонике, а в общем всех ждет одно и то же, одна могила, и в жизни

нет ничего такого, за что бы можно было отдать нечистому хотя бы малую часть своей души.

В Москве



Я московский Гамлет. Да. Я в Москве хожу по домам, по театрам, ресторанам и редакциям и всюду говорю одно и то же:

— Боже, какая скука! Какая гнетущая скука!

И мне сочувственно отвечают:

— Да, действительно, ужасно скучно.

Это днем и вечером. А ночью, когда я, вернувшись домой, ложусь спать и в потемках спрашиваю себя, отчего же это в самом деле мне так мучительно скучно, в груди моей беспокойно поворачивается какая-то тяжесть, — и я припоминаю, как неделю тому назад в одном доме, когда я стал спрашивать, что мне делать от скуки, какой-то незнакомый господин, очевидно, не москвич, вдруг повернулся ко мне и сказал раздраженно:

— Ах, возьмите вы кусок телефонной проволоки и повесьтесь вы на первом попавшемся телеграфном столбе! Больше вам ничего не остается делать!

Да. И всякий раз ночью сдается мне, что я начинаю понимать, отчего мне так скучно. Отчего же? Отчего? Мне кажется, вот отчего…

Начать с того, что я ровно ничего не знаю. Когда-то я учился чему-то, но, черт его знает, забыл ли я все или знания мои никуда не годятся, но выходит так, что каждую минуту я открываю Америку. Например, когда говорят мне, что Москве нужна канализация или что клюква растет не на дереве, то я с изумлением спрашиваю:

— Неужели?

С самого рождения я живу в Москве, но ей-богу не знаю, откуда пошла Москва, зачем она, к чему, почему, что ей нужно. В Думе, на заседаниях, я вместе с другими толкую о городском хозяйстве, но я не знаю, сколько верст в Москве, сколько в ней народу, сколько родится и умирает, сколько мы получаем и тратим, на сколько и с кем торгуем… Какой город богаче: Москва или Лондон? Если Лондон богаче, то почему? А шут его знает! И когда в Думе поднимают какой-нибудь вопрос, я вздрагиваю и первый начинаю кричать: «Передать в комиссию! В комиссию!»

Я с купцами бормочу о том, что пора бы Москве завести торговые сношения с Китаем и с Персией, но мы не знаем, где эти Китай и Персия и нужно ли им еще что-нибудь, кроме гнилого и подмоченного сырца. Я от утра до вечера жру в трактире Тестова и сам не знаю, для чего жру. Играю роль в какой-нибудь пьесе и не знаю содержания этой пьесы. Иду слушать «Пиковую даму» и, только когда уже подняли занавес, вспоминаю, что я, кажется, не читал пушкинской повести или забыл ее.

Я пишу пьесу и ставлю ее, и только когда она проваливается с треском, я узнаю, что точно

такая же пьеса была уже раньше написана Вл. Александровым, а до него Федотовым, а до Федотова — Шпажинским. Я не умею ни говорить, ни спорить, ни поддерживать разговора. Когда в обществе говорят со мной о чем-нибудь таком, чего я не знаю, я начинаю просто мошенничать. Я придаю своему лицу несколько грустное, насмешливое выражение, беру собеседника за пуговицу и говорю: «Это, мой друг, старо» или: «Вы противоречите себе, мой милый… На досуге мы как-нибудь порешим этот интересный вопрос и споемся, а теперь скажите мне бога ради: вы были на „Имогене“?» В этом отношении я кое-чему научился у московских критиков. Когда при мне говорят, например, о театре и современной драме, я ничего не понимаю, но когда ко мне обращаются с вопросом, я не затрудняюсь ответом: «Так-то так, господа… Положим, все это так… Но идея же где? Где идеалы?» или же, вздохнув, восклицаю: «О, бессмертный Мольер, где ты?!» и, печально махнув рукой, выхожу в другую комнату. Есть еще какой-то Лопе де Вега, кажется, датский драматург. Так вот я и им иногда ошарашиваю публику. «Скажу вам по секрету, — шепчу я соседу, — эту фразу Кальдерон позаимствовал у Лопе де Вега…» И мне верят… Ступай-ка, проверь!

Оттого, что я ничего не знаю, я совсем некультурен. Правда, я одеваюсь по моде, стригусь у Теодора, и обстановка у меня шикарная, но все-таки я азиат и моветон. У меня письменный стол рублей в четыреста, с инкрустациями, бархатная мебель, картины, ковры, бюсты, тигровая шкура, но, гляди, отдушина в печке заткнута женской кофтой или нет плевальницы, и я вместе со своими гостями плюю на ковер. На лестнице у меня воняет жареным гусем, у лакея сонная рожа, в кухне грязь и смрад, а под кроватью и за шкафами пыль, паутина, старые сапоги, покрытые зеленой плесенью, и бумаги, от которых пахнет кошкой. Всегда у меня какой-нибудь скандал: или печи дымят, или удобства холодные, или форточка не затворяется, и, чтобы с улицы в кабинет не летел снег, я спешу заткнуть форточку подушкой. А то бывает, что я живу в меблированных комнатах. Лежишь себе в номере на диване и думаешь на тему о скуке, а в соседнем номере, направо, какая-то немка жарит на керосинке котлеты, а налево — девки стучат бутылками пива по столу. Из своего нумера изучаю я «жизнь», смотрю на все с точки зрения меблированных комнат и пишу уже только о немке, о девках, о грязных салфетках, играю одних только пьяниц

и оскотинившихся идеалистов и самым важным вопросом почитаю вопрос о ночлежных домах и умственном пролетариате. И ничего-то я не чувствую и не замечаю. Я очень легко мирюсь и с низкими потолками, и с тараканами, и с сыростью, и с пьяными приятелями, которые ложатся на мою постель прямо с грязными сапогами. Ни мостовые, покрытые желто-бурым киселем, ни сорные углы, ни вонючие ворота, ни безграмотные вывески, ни оборванные нищие — ничто не оскорбляет во мне эстетики. На узких извозчичьих санках я весь сжался, как кикимора, ветер пронизывает меня насквозь, извозчик хлещет меня кнутом через голову, паршивая лошаденка плетется еле-еле, но я не замечаю этого. Мне все нипочем! Говорят мне, что московские архитектора вместо домов понастроили каких-то ящиков из-под мыла и испортили Москву. Но я не нахожу, что эти ящики плохи. Мне говорят, что наши музеи обставлены нищенски, ненаучны и бесполезны. Но я в музеях не бываю. Жалуются, что в Москве была одна только порядочная картинная галлерея, да и ту закрыл Третьяков. Закрыл, ну, и пусть себе…



Но обратимся ко второй причине моей скуки: мне кажется, что я очень умен и необыкновенно важен. Вхожу ли я куда, говорю ли, молчу ли, читаю ли на литературном вечере, жру ли у Тестова — все это я делаю с превеликим апломбом. Не бывает спора, в который бы я не вмешался. Правда, я говорить не умею, но зато я умею иронически улыбаться, пожать плечами, воскликнуть. Я, ничего не знающий и некультурный азиат, в

сущности, всем доволен, но я делаю вид, что я ничем не доволен, и это мне так тонко удается, что временами я даже сам себе верю. Когда на сцене дают что-нибудь смешное, мне очень хочется смеяться, но я тороплюсь придать себе серьезный, сосредоточенный вид; не дай бог, засмеюсь, что скажут мои соседи? Сзади меня кто-то смеется, я сурово оглядываюсь: несчастный поручик, такой же Гамлет, как я, конфузится и, как бы извиняясь за свой нечаянный смех, говорит:

— Как пошло! Какой балаган!

А в антракте я громко говорю в буфете:

— Черт знает, что за пьеса! Это возмутительно!

— Да, балаганщина, — отвечает мне кто-то, — но, знаете ли, не без идеи…

— Полноте! Этот мотив давно уже разработан Лопе де Вегой, и, конечно, сравнения быть не может! Но какая скука! Какая гнетущая скука!

На «Имогене» оттого, что я удерживаю зевоту, мои челюсти хотят вывихнуться; глаза лезут на лоб от скуки, во рту сохнет… Но на лице у меня блаженная улыбка.

— Чем-то отрадным повеяло, — говорю я вполголоса. — Давно, давно уже я не испытывал такого высокого наслаждения!

Иногда у меня бывает желание пошалить, сыг-

рать в водевиле; и я охотно бы сыграл, и знаю, что это по нынешним унылым временам было бы очень кстати, но… что скажут в редакции «Артиста»?

Нет, боже меня сохрани!

На картинных выставках я обыкновенно щурюсь, значительно покачиваю головой и говорю громко:

— Кажется, все есть: и воздуху много, и экспрессия, и колорит… Но главное-то где? Где идея? В чем тут идея?



От журналов я требую честного направления и,

главным образом, чтобы статьи были подписаны профессорами или людьми, побывавшими в Сибири. Кто не профессор и кто не был в Сибири, тот не может быть истинным талантом. Я требую, чтобы М. Н. Ермолова играла одних только идеальных девиц, не старше 21 года. Я требую, чтобы классические пьесы в Малом театре ставили непременно профессора… Непременно! Я требую, чтобы даже самые маленькие актеры, прежде чем браться за роль, знакомились с литературой о Шекспире, так что когда актер говорит, например: «Спокойной ночи, Бернандо!», то все должны чувствовать, что он прочел восемь томов.

Я очень, очень часто печатаюсь. Не дальше как вчера я ходил в редакцию толстого журнала, чтобы справиться, пойдет ли мой роман (56 печатных листов).

— Право, не знаю, как быть, — сказал редактор, конфузясь. — Уж очень, знаете ли, длинно и… скучно.

— Да, — говорю я, — но зато честно!

— Да, вы правы, — соглашается редактор, еще больше конфузясь. — Конечно, я напечатаю…

Девицы и дамы, с которыми я знаком, также необыкновенно умны и важны. Все они одинаковы: одинаково одеваются, одинаково говорят,

одинаково ходят, и только та разница, что у одной губы сердечком, а у другой, когда она улыбается, рот широк, как у налима.

— Вы читали последнюю статью Протопопова? — спрашивают меня губы сердечком. — Это откровение!

— И вы, конечно, согласитесь, — говорит налимий рот, — что Иван Иваныч Иванов своею страстностью и силой убеждения напоминает Белинского. Он моя отрада.

Каюсь, была у меня она… Отлично помню наше объяснение в любви. Она сидит на диване. Губы сердечком. Одета скверно, «без претензий», причесана глупо-преглупо; беру ее за талию — корсет хрустит; целую в щеку — щека соленая. Она сконфужена, ошеломлена и озадачена: помилуйте, как сочетать честное направление с такою пошлостью, как любовь? Что сказал бы Протопопов, если бы он видел? О, нет, никогда! Оставьте меня! Я предлагаю вам свою дружбу! Но я говорю, что мне мало одной дружбы… Тогда она кокетливо грозит мне пальцем и говорит:

— Хорошо, я буду любить вас, но с условием, что вы высоко будете держать знамя.

И когда я держу ее в своих объятиях, она шепчет:

— Будем бороться вместе…

Потом, живя с нею, я узнаю, что и у нее тоже отдушина в печке заткнута кофтой, и что и у нее под кроватью бумаги пахнут кошкой, и что и она также мошенничает в спорах, и на картинных выставках, как попугай, лепечет о воздухе и экспрессии. И ей тоже подавай идею! Она втихомолку пьет водку и, ложась спать, мажет лицо сметаной, чтобы казаться моложе. В кухне у нее тараканы, грязные мочалки, вонь, и кухарка, когда печет пирог, прежде чем посадить его в печь, вынимает из своей головы гребенку и проводит ею борозды на верхней корке; она же, делая пирожные, слюнит изюминки, чтобы они крепче сидели в тесте. И я бегу! Бегу! Мой роман летит к черту, а она, важная, умная, презирающая, всюду ходит и пищит про меня:

— Он изменил своим убеждениям!

Третья причина скуки — это моя неистовая, чрезмерная зависть. Когда мне говорят, что такой-то написал очень интересную статью, что пьеса такого-то имела успех, что X выиграл 200 тысяч и что речь N произвела сильное впечатление, то глаза мои начинают коситься, я становлюсь совершенно косым и говорю:

— Я очень рад за него, но, знаете, ведь он в 74

году судился за кражу!

Душа моя обращается в кусок свинца, я ненавижу того, кто имел успех, всем своим существом и продолжаю:

— Он истязует свою жену и имеет трех любовниц и всегда кормит рецензентов ужинами. Вообще скотина порядочная… Повесть эта недурна, но, наверное, он где-нибудь ее украл. Бездарность вопиющая… Да и, говоря откровенно, я и в этой-то повести не нахожу ничего особенного…

Но зато, положим, если чья-нибудь пьеса провалилась, то я ужасно счастлив и спешу стать на сторону автора.

— Нет, господа, нет! — кричу я. — В пьесе есть что-то. Во всяком случае она литературна.

Знайте, что все злое, подлое, гнусное, что говорят о мало-мальски известных людях, распустил по Москве я. Пусть городской голова знает, что если ему удастся устроить, например, хорошие мостовые, то я возненавижу его и распущу слух, что он грабит проезжих на большой дороге!.. Если мне скажут, что у какой-нибудь газеты уже 50 тысяч подписчиков, то я везде стану говорить, что редактор поступил на содержание. Чужой успех — для меня срам, унижение, заноза в сердце… Какой уж тут может быть разговор об обществен-

ном, гражданском или политическом чувстве? Если когда и было во мне это чувство, то давно уже сожрала его зависть.

И так, ничего не знающий, некультурный, очень умный и необыкновенно важный, косой от зависти, с громадной печонкой, желтый, серый, плешивый, брожу я по Москве из дому в дом, задаю тон жизни и всюду вношу что-то желтое, серое, плешивое…

— Ах, какая скука! — говорю я с отчаянием в голосе. — Какая гнетущая скука!

Заразителен я, как инфлуэнца. Жалуюсь я на скуку, важничаю и от зависти клевещу на своих ближних и друзей, а глядишь — какой-нибудь подросток-студент уже прислушался, важно проводит рукою по волосам и, бросая от себя книгу, говорит:

— Слова, слова, слова… Боже, какая скука!

Глаза его косятся, он тоже становится косым, как я, и говорит:

— Наши профессора читают теперь лекции в пользу голодающих. Но я боюсь, что половину денег они положат себе в карман.

Я брожу, как тень, ничего не делаю, печонка моя растет и растет… А время между тем идет и идет, я старею, слабею; гляди, не сегодня-завтра

заболею инфлуэнцей и умру, и потащат меня на Ваганьково; будут вспоминать обо мне приятели дня три, а потом забудут, и имя мое перестанет быть даже звуком... Жизнь не повторяется, и уж коли ты не жил в те дни, которые были тебе даны однажды, то пиши пропало... Да, пропало, пропало!

А между тем ведь я мог бы учиться и знать все; если бы я совлек с себя азията, то мог бы изучить и полюбить европейскую культуру, торговлю, ремесла, сельское хозяйство, литературу, музыку, живопись, архитектуру, гигиену; я мог бы строить в Москве отличные мостовые, торговать с Китаем и Персией, уменьшить процент смертности, бороться с невежеством, развратом и со всякою мерзостью, которая так мешает нам жить; я бы мог быть скромным, приветливым, веселым, радушным; я бы мог искренно радоваться всякому чужому успеху, так как всякий, даже маленький успех есть уже шаг к счастью и к правде.

Да, я мог бы! Мог бы! Но я гнилая тряпка, дрянь, кислятина, я московский Гамлет. Тащите меня на Ваганьково!

Я ворочаюсь под своим одеялом с боку на бок, не сплю и все думаю, отчего мне так мучительно скучно, и до самого рассвета в ушах моих звучат

слова:

— Возьмите вы кусок телефонной проволоки и повесьтесь вы на первом попавшемся телеграфном столбе! Больше вам ничего не остается делать.

Отрывок

Действительный статский советник Козерогов, выйдя в отставку, купил себе небольшое имение и поселился в нем. Здесь, подражая отчасти Цинциннату, отчасти же профессору Кайгородову, он трудился в поте лица и записывал свои наблюдения над природой. После его смерти записки его вместе с прочим имуществом перешли по завещанию к его экономке Марфе Евлампиевне. Как известно, почтенная старушка снесла барскую усадьбу и на месте ее построила превосходный трактир с продажею крепких напитков. В этом трактире была особая «чистая» комната для проезжающих помещиков и чиновников, и на столе в комнате были положены записки покойного на случай, буде кому из проезжающих понадобится бумага. Один листок записок попал в мои руки; он, по-видимому, относится к самому началу сельскохозяйственной деятельности покойного и содержит в себе следующее:

«*3 марта.* Весенний прилет птиц уже начался: вчера видел воробьев. Привет вам, пернатые дети юга! В вашем сладостном чириканье как бы слышу пожелание: „Будьте счастливы, ваше

превосходительство!“

14 марта. Спросил сегодня у Марфы Евлампиевны: „Отчего это петух поет так часто?“ Она мне ответила: „Оттого, что у него горло есть“. А я ей: „У меня тоже есть горло, однако же я не пою!“ Как много в природе таинственного! Служа в Петербурге, я неоднократно ел там индюков, но живыми их видел впервые только вчера. Весьма замечательная птица.



22 марта. Приезжал становой пристав. Долго беседовали о добродетели — я сидя, он стоя. Между прочим, он спросил меня: „А желали бы вы, ваше превосходительство, чтобы к вам опять вернулась ваша молодость?“ Я ему ответил на это: „Нет, не желаю, потому что, будучи молодым, я не имел бы такого чина“. Он согласился со мной и уехал видимо растроганный.

16 апреля. Собственноручно вскопал на огороде две грядки и посеял на них манную крупу. Никому об этом не сказал, дабы сделать сюрприз моей Марфе Евлампиевне, которой я обязан многими счастливыми минутами в жизни. Вчера за чаем она горько роптала на свою комплекцию и говорила, что увеличивающаяся полнота уже мешает ей пройти в дверь в кладовую.

Я ей на это заметил: „Напротив, душенька, полнота форм ваших служит вам к украшению и к наибольшему моему расположению к вам“. Она вспыхнула, я же встал и обнял ее обеими руками, ибо одною рукой ее не обхватишь.

28 мая. Один старик, увидев меня около женской купальни, спросил меня: зачем я тут сижу? Я ответил ему: „Наблюдаю за тем, чтобы молодые люди сюда не ходили и здесь не сидели“. — „Давайте же вместе наблюдать“. Сказавши это,

старик сел рядом со мной, и мы стали говорить о добродетели».

История одного торгового предприятия

Андрей Андреевич Сидоров получил в наследство от своей мамаши четыре тысячи рублей и решил открыть на эти деньги книжный магазин. А такой магазин был крайне необходим. Город коснел в невежестве и в предрассудках; старики только ходили в баню, чиновники играли в карты и трескали водку, дамы сплетничали, молодежь жила без идеалов, девицы день-деньской мечтали о замужестве и ели гречневую крупу, мужья били своих жен, и по улицам бродили свиньи.

«Идей, побольше идей! — думал Андрей Андреевич. — Идей!»

Нанявши помещение под магазин, он съездил в Москву и привез оттуда много старых и новейших авторов и много учебников, и расставил все это добро по полкам. В первые три недели покупатели совсем не приходили. Андрей Андреевич сидел за прилавком, читал Михайловского и старался честно мыслить. Когда же ему невзначай приходило в голову, например, что недурно бы теперь покушать леща с кашей, то он тотчас же

ловил себя на этих мыслях: «Ах, как пошло!» Каждый день утром в магазин опрометью вбегала озябшая девка в платке и в кожаных калошах на босую ногу и говорила:

— Дай на две копейки уксусу!

И Андрей Андреевич с презрением отвечал ей:

— Дверью ошиблись, сударыня!

Когда к нему заходил кто-нибудь из приятелей, то он, сделав значительное и таинственное лицо, доставал с самой дальней полки третий том Писарева, сдувал с него пыль и с таким выражением, как будто у него в магазине есть еще кое-что, да он боится показать, говорил:

— Да, батенька… Это штучка, я вам доложу, не того… Да… Тут, батенька, одним словом, я должен заметить, такое, понимаете ли, что прочтешь да только руками разведешь… Да.

— Смотри, брат, как бы тебе не влетело!

Через три недели пришел первый покупатель. Это был толстый, седой господин с бакенами, в фуражке с красным околышем, по всем видимостям, помещик. Он потребовал вторую часть «Родного слова».

— А грифелей у вас нет? — спросил он.

— Не держу.

— Напрасно… Жаль. Не хочется из-за пустяка

ехать на базар…

«В самом деле, напрасно я не держу грифелей, — думал Андрей Андреевич по уходе покупателя. — Здесь, в провинции, нельзя узко специализироваться, а надо продавать все, что относится к просвещению и так или иначе способствует ему».

Он написал в Москву, и не прошло месяца, как на окне его магазина были уже выставлены перья, карандаши, ручки, ученические тетрадки, аспидные доски и другие школьные принадлежности. К нему стали изредка заходить мальчики и девочки, и был даже один такой день, когда он выручил рубль сорок копеек. Однажды опрометью влетела к нему девка в кожаных калошах; он уже раскрыл рот, чтобы сказать ей с презрением, что она ошиблась дверью, но она крикнула:

— Дай на копейку бумаги и марку за семь копеек!

После этого Андрей Андреевич стал держать почтовые и гербовые марки и кстати уж вексельную бумагу. Месяцев через восемь (считая со дня открытия магазина) к нему зашла одна дама, чтобы купить перьев.

— А нет ли у вас гимназических ранцев? — спросила она.

— Увы, сударыня, не держу!

— Ах, какая жалость! В таком случае покажите мне, какие у вас есть куклы, но только подешевле.

— Сударыня, и кукол нет! — сказал печально Андрей Андреевич.

Он, недолго думая, написал в Москву, и скоро в его магазине появились ранцы, куклы, барабаны, сабли, гармоники, мячи и всякие игрушки.

— Это все пустяки! — говорил он своим приятелям. — А вот погодите, я заведу учебные пособия и рациональные игры! У меня, понимаете ли, воспитательная часть будет зиждиться, что называется, на тончайших выводах науки, одним словом…

Он выписал гимнастические гири, крокет, трик-трак, детский бильярд, садовые инструменты для детей и десятка два очень умных, рациональных игр. Потом обыватели, проходя мимо его магазина, к великому своему удовольствию увидели два велосипеда: один большой, другой поменьше. И торговля пошла на славу. Особенно хороша была торговля перед Рождеством, когда Андрей Андреевич вывесил на окне объявление, что у него продаются украшения для елки.

— Я им еще гигиены подпущу, понимаете

ли, — говорил он своим приятелям, потирая руки. — Дайте мне только в Москву съездить! У меня будут такие фильтры и всякие научные усовершенствования, что вы с ума посойдете, одним словом. Науку, батенька, нельзя игнорировать. Не-ет!

Наторговавши много денег, он поехал в Москву и купил там разных товаров тысяч на пять, за наличные и в кредит. Тут были и фильтры, и превосходные лампы для письменных столов, и гитары, и гигиенические кальсоны для детей, и соски, и портмоне, и зоологические коллекции. Кстати же он купил на пятьсот рублей превосходной посуды и был рад, что купил, так как красивые вещи развивают изящный вкус и смягчают нравы. Вернувшись из Москвы домой, он занялся расстановкой нового товара по полкам и этажеркам. И как-то так случилось, что, когда он полез, чтобы убрать верхнюю полку, произошло некоторое сотрясение и десять томов Михайловского один за другим свалились с полки; один том ударил его по голове, остальные же попадали вниз прямо на лампы и разбили два ламповых шара.

— Как, однако, они… толсто пишут! — пробормотал Андрей Андреевич, почесываясь.

Он собрал все книги, связал их крепко веревкой и спрятал под прилавок. Дня через два после этого ему сообщили, что сосед бакалейщик приговорен в арестантские роты за истязание племянника и что лавка поэтому сдается. Андрей Андреевич очень обрадовался и приказал оставить лавку за собой. Скоро в стене была уже пробита дверь и обе лавки, соединенные в одну, были битком набиты товаром; так как покупатели, заходившие во вторую половину лавки, по привычке все спрашивали чаю, сахару и керосину, то Андрей Андреевич, недолго думая, завел и бакалейный товар.

В настоящее время это один из самых видных торговцев у нас в городе. Он торгует посудой, табаком, дегтем, мылом, бубликами, красным, галантерейным и москательным товаром, ружьями, кожами и окороками. Он снял на базаре ренсковый погреб и, говорят, собирается открыть семейные бани с номерами. Книги же, которые когда-то лежали у него на полках, в том числе и третий том Писарева, давно уже проданы по 1 р. 5 к. за пуд.



На именинах и на свадьбах прежние приятели, которых Андрей Андреевич теперь в насмешку величает «американцами», иногда заводят с ним речь о прогрессе, о литературе и других высших материях.

— Вы читали, Андрей Андреевич, последнюю книжку «Вестника Европы»? — спрашивают его.

— Нет, не читал-с… — отвечает он, щурясь и играя толстой цепочкой. — Это нас не касается. Мы более положительным делом занимаемся.

Из записной книжки старого педагога

«Рассуждают: семья должна идти рука об руку со школой. Да, но только в том случае, если семья благородная, а не купеческая или мещанская, ибо сближение с низшими может отдалить школу от совершенства. Впрочем, из человеколюбия не следует иногда лишать купцов и богатых мещан удовольствия — например, приглашать педагогов на пирог».

«При словах „предложение“ и „союз“ ученицы скромно потупляют глаза и краснеют, а при словах „прилагательное“ и „придаточное“ ученики с надеждою взирают на будущее».

«Так как в русском языке почти уже не употребляются фита, ижица и звательный падеж, то, рассуждая по справедливости, следовало бы убавить жалованье учителям русского языка, ибо с уменьшением букв и падежей уменьшилась и их работа».

«Наши педагоги убеждают своих учеников не тратить времени на чтение романов и газет, так как это мешает сосредоточению и развлекает. К тому же романы и газеты бесполезны. Но как ученики могут поверить своим руководителям, если

последние сами отдают много времени газетам и журналам? Врачу, исцелися сам! Что касается меня, то в этом отношении я совершенно чист: вот уж 30 лет, как я не прочел ни одной книги и газеты».

«Преподавая ученикам науки, следует преимущественнейше наблюдать за тем, чтобы ученики непременно отдавали свои книги в переплет, ибо корешком можно ударить по лбу лишь в том случае, если книга переплетена».

«Дети! Какое блаженство получать пенсию!»

Рыбья любовь

Как это ни странно, но единственный карась, живущий в пруде близ дачи генерала Панталыкина, влюбился по самые уши в дачницу Соню Мамочкину. Впрочем, что же тут странного? Влюбился же лермонтовский демон в Тамару, а лебедь в Леду, и разве не случается, что канцеляристы влюбляются в дочерей своих начальников? Каждое утро Соня Мамочкина приходила со своей тетей купаться. Влюбленный карась плавал у самого берега и наблюдал. От близкого соседства с литейным заводом «Кранделя сыновья» вода в пруде давно уже стала коричневой, но тем не менее карасю все было видно. Он видел, как по голубому небу носились белые облака и птицы, как разоблачались дачницы, как из-за прибрежных кустов поглядывали на них молодые люди, как полная тетя, прежде чем войти в воду, минут пять сидела на камне и, самодовольно поглаживая себя, говорила: «И в кого я такой слон уродилась? Даже глядеть страшно». Сняв с себя легкие одежды, Соня с визгом бросалась в воду, плавала, пожималась от холода, а карась тут как тут, подплывал к ней и начинал жадно целовать

ее ножки, плечи, шею…



Выкупавшись, дачницы уходили домой пить чай со сдобными булками, а карась одиноко плавал по громадному пруду и думал:

«Конечно, о шансах на взаимность не может быть и речи. Может ли она, такая прекрасная, полюбить меня, карася? Нет, тысячу раз нет! Не обольщай же себя мечтами, презренная рыба! Тебе остается только один удел — смерть! Но как умереть? Револьверов и фосфорных спичек в пруде нет. Для нашего брата, карасей, возможна только одна смерть — пасть щуки. Но где взять щуку? Была тут в пруде когда-то одна щука, да и

та издохла от скуки. О, я несчастный!»

И, помышляя о смерти, молодой пессимист зарывался в тину и писал там дневник…

Однажды перед вечером Соня и ее тетя сидели на берегу пруда и удили рыбу. Карась плавал около поплавков и не отрывал глаз от любимой девушки. Вдруг в мозгу его, как молния, сверкнула идея.

«Я умру от ее руки! — подумал он и весело заиграл своими плавниками. — О, это будет чудная, сладкая смерть!»

И, полный решимости, только слегка побледнев, он подплыл к крючку Сони и взял его в рот.

— Соня, у тебя клюет! — взвизгнула тетя. — Милая, у тебя клюет!

— Ах! Ах!

Соня вскочила и дернула изо всех сил. Что-то золотистое сверкнуло в воздухе и шлепнулось в воду, оставив после себя круги.

— Сорвалось! — вскрикнули обе дачницы, побледнев. — Сорвалось! Ах! Милая!

Посмотрели на крючок и увидели на ней рыбью губу.

— Ах, милая, — сказала тетя, — не нужно было так сильно дергать. Теперь бедная рыбка осталась без губы…

Сорвавшись с крючка, мой герой был ошеломлен и долго не понимал, что с ним; потом же, придя в себя, он простонал:

— Опять жить! Опять! О, насмешка судьбы!

Заметив же, что у него недостает нижней челюсти, карась побледнел и дико захохотал… Он сошел с ума.

Но я боюсь, как бы не показалось странным, что я хочу занять, внимание серьезного читателя судьбою такого ничтожного и неинтересного существа, как карась. Впрочем, что же тут странного? Описывают же дамы в толстых журналах никому не нужных пескарей и улиток. А я подражаю дамам. Быть может даже, я сам дама и только скрываюсь под мужским псевдонимом.

Итак, карась сошел с ума. Несчастный жив еще до сих пор. Караси вообще любят, чтобы их жарили в сметане, мой же герой любит теперь всякую смерть. Соня Мамочкина вышла замуж за содержателя аптекарского магазина, а тетя уехала в Липецк к замужней сестре. В этом нет ничего странного, так как у замужней сестры шестеро детей и все дети любят тетю.

Но далее. На литейном заводе «Кранделя сыновья» служит директором инженер Крысин. У него есть племянник Иван, который, как известно,

пишет стихи и с жадностью печатает их во всех журналах и газетах. В один знойный полдень молодой поэт, проходя мимо пруда, вздумал выкупаться. Он разделся и полез в пруд. Безумный карась принял его за Соню Мамочкину, подплыл к нему и нежно поцеловал его в спину. Этот поцелуй имел самые гибельные последствия: карась заразил поэта пессимизмом. Ничего не подозревая, поэт вылез из воды и, дико хохоча, отправился домой. Через несколько дней он поехал в Петербург; побыв там в редакциях, он заразил всех поэтов пессимизмом, и с того времени наши поэты стали писать мрачные, унылые стихи.



СОДЕРЖАНИЕ [229]

Письмо к ученому соседу.....5
«Стрекоза», 1880, № 10
Что чаще всего встречается в романах, повестях и т. п.....8
«Стрекоза», 1880, № 10
За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь.....9
«Стрекоза», 1880, № 19
Каникулярные работы институтки Наденьки N.....13
«Стрекоза», 1880, № 24
Папаша.....14
«Стрекоза», 1880, № 26
За яблочки.....19
«Стрекоза», 1880, № 33
Перед

---

[229] Примечания: 229

После названия рассказа указана первая публикация (название, год и номер журнала)

сва-
дьбой.....24
«Стрекоза», 1880, № 41
По-американ-
ски.....27
«Стрекоза», 1880, № 49
Жены артистов (Перевод... с португальского).....28
«Минута», 1880, № 7
Петров
день.....38
«Будильник», 1881, № 26
Темпераменты (По последним выводам науки).....49
«Зритель», 1881, № 5
В вагоне.....
.....52
«Зритель», 1881, № 9
Суд.....
.....56
«Зритель», 1881, № 14
Контора
объявлений
Антоши Ч.....58
«Зритель», 1881, № 15
И

то
и
се (Поэзия и проза)…….
61
«Зритель», 1881, № 1662
И
то
и
се
(Письма
и телеграммы)……62
«Зритель», 1881, № 23 и 24
Дополнительные вопросы к личным картам статистической переписи,
предлагаемые
Антошей Чехонте……66
«Будильник», 1882, № 5
Комические
рекламы и объявления……66
«Будильник», 1882, № 7
Задачи
сумасшедшего
математика……69
«Будильник», 1882, № 8
Забыл!!!……
……70

«Москва», 1882, № 8
Жизнь в вопросах и восклицаниях.....73
«Будильник», 1882, № 9
Исповедь, или Оля, Женя, Зоя (Письмо).....75
«Будильник», 1882, № 12
Встреча весны (Рассуждение).....80
«Москва», 1882, № 12
Календарь «Будильника» на 1882 год.....83
«Будильник», 1882: №№ 10, 11, 12, 14
«Свидание хотя и состоялось, но...».....96
«Москва», 1882, № 17
Корреспондент.....100
«Будильник», 1882, № 20, 21
Сельские эскулапы.....112
«Свет и тени», 1882, № 178 (22)

Пропащее дело (Водевильное происшествие).....117
«Спутник», 1882, № 11
Летающие острова (Соч. Жюля Верна, перевод А. Чехонте).....120
«Будильник», 1883, № 19
Скверная история (Нечто романообразное).....125
«Свет и тени», 1882, №№ 179, 180
Двадцать девятое июня (Рассказ охотника, никогда в цель не попадающего).....132
«Спутник», 1882, 12, 29 июня
Нарвался.....137
«Осколки», 1882, № 47
Два сканда-ла.....139
«Мирской толк», 1882, № 46
Идиллия — увы и ах!.....147
«Осколки», 1882, № 51
Барон.....149
«Мирской толк», 1882, № 47

Добрый знакомый.....154
«Осколки», 1882, № 52
Месть.....154
«Мирской толк», 1882, № 50
Философские определения жизни.....159
«Зритель», 1883, № 1
Мошенники поневоле (Новогодняя побрехушка).....160
«Зритель», 1883, № 1
Гадальщики и гадальщицы.....163
«Зритель», 1883, № 1
Кривое зеркало (Святочный рассказ).....164
«Зритель», 1883, № 2
Два романа.....166
«Осколки», 1883, № 2

Тайны ста сорока четырех катастроф, или Русский рокамболь (Огромнейший
роман в сжатом виде. Перевод с французского).....168
альманах «Литературная мысль», 1923, № 2
Ряженые.....
.....172
«Зритель», 1883, № 2
Мысли
читателя
газет и журналов.....174
«Осколки», 1883, № 3
Двое в одном.....
.....175
«Зритель», 1883, № 3
Радость.....
.....176
«Зритель», 1883, № 3
Библиография.....
.....178
«Мирской толк», 1883, № 2
Единственное средство (A propos процесса Петерб. общества
взаимного
креди-
та).....178

«Осколки», 1883, № 4
Случаи mania grandiosa (Вниманию газеты «Врач»).....180
«Осколки», 1883, № 4
Исповедь.....181
«Зритель», 1883, № 5
На магнетическом сеансе.....183
«Зритель», 1883, № 7
Ушла.....185
«Осколки», 1883, № 5
В цирульне.....186
«Зритель», 1883, № 10
Современные молитвы.....189
«Зритель», 1883, № 10
На гвозде.....190
«Осколки», 1883, № 6
Роман адвоката

(Протокол).....192
«Осколки», 1883, № 6
Что лучше? (Праздные рассуждения штык-юнкера Крокодилова).....192
«Осколки», 1883, № 6
Благодарный (Психологический этюд).....193
«Осколки», 1883, № 7
Совет.....195
«Осколки», 1883, № 7
Вопросы и ответы.....196
«Осколки», 1883, № 7
Крест.....196
«Осколки», 1883, № 7
Женщина без предрассудков (Роман).....196
«Зритель», 1883, № 11
Брак

по
расчету
(Роман
в 2-х частях).....199
«Зритель», 1883, № 12
Коллекция.....
.....202
«Зритель», 1883, № 13
Репка
(Перевод
с детского).....203
«Осколки», 1883, № 8
Баран и барышня (Эпизодик из жизни «милостивых государей»).....204
«Осколки», 1883, № 8
Патриот
своего
отече-
ства.....205
«Мирской толк», 1883, № 8
Умный дворник.....
.....206
«Зритель», 1883, № 16
Жених.....
.....208
«Осколки», 1883, № 10

Дурак (Рассказ холостяка).....209
«Зритель», 1883, № 18
Рассказ, которому трудно подобрать название.....211
«Осколки», 1883, № 11
Братец.....212
«Осколки», № 11
Случай из судебной практики.....213
«Зритель», 1883, № 20
Загадочная натура.....215
«Осколки», 1883, № 12
Хитрец.....217
«Осколки», 1883, № 13
Разговор.....218
«Осколки», 1883, № 13

Рыцари
без
страха
и упрека.....220
«Осколки», 1883, № 14
Обер-верхи.....
.....222
«Осколки», 1883, № 15
Двадцать шесть (Выписки из дневника).....222
«Осколки», 1883, № 17
Закуска
(Приятное
воспоминание).....223
«Осколки», 1883, № 17
Съезд естествоиспытателей в Филадельфии (Статья научного содержания)..225
«Осколки», 1883, № 18
Кот.....
.....226
«Осколки», 1883, № 20
Раз в год.....
.....229
«Стрекоза», 1883, № 25
Находчивость г. Родона (из цикла «Кое-что»).....232

«Будильник», 1883, № 19
Депутат, или Повесть о том, как у Дездемонова 25 рублей пропало…..232
«Осколки», 1883, № 22
О том, как я в законный брак вступил (Рассказец)……234
«Осколки», 1883, № 24
Из дневника помощника бухгалтера……236
«Осколки», 1883, № 25
Козел
или
него-
дяй?……238
«Осколки», 1883, № 30
Смерть
чиновника
(Случай)……238
«Осколки», 1883, № 27
Злой
маль-
чик……240
«Осколки», 1883, № 30
3000 иностранных слов, вошедших в употребление русского языка….242
«Осколки», 1883, № 30

Перепутанные объявления.....243
«Осколки», 1884, № 2
Добродетельный кабатчик (Плач оскудевшего).....243
«Осколки», 1883, № 32
Дочь Альбиона.....245
«Осколки», 1883, № 33
Справка.....248
«Осколки», 1883, № 36
Мои чины и титулы.....250
«Осколки», 1883, № 37
Краткая анатомия человека.....251
«Осколки», 1883, № 34
Знамение времени.....252
«Осколки», 1883, № 44

Новая
болезнь
и старое средство.....252
для журнала «Осколки», 1883. Рассказ не был издан из-за цензуры, остался в гранках.
Майонез.....
.....253
«Осколки», 1883, № 38
Толстый
и
тон-
кий.....253
«Осколки», 1883, № 40
Признательный
немец.....255
«Осколки», 1883, № 40
Список экспонентов, удостоенных чугунных медалей по русскому отделу
на
выставке
в Амстердаме.....256
«Осколки», 1883, № 42
Мои
остроты
и изречения.....257
«Осколки», 1883, № 42

Дочь коммерции советника (Роман).....257
«Осколки», 1883, № 42
Опекун.....260
«Осколки», 1883, № 43
В почтовом отделении.....262
«Осколки», 1883, № 44
Юристка.....263
«Осколки», 1883, № 44
Из дневника одной девицы.....264
«Осколки», 1883, № 44
Начальник станции.....264
«Осколки», 1883, № 45
Клевета.....267
«Осколки», 1883, № 46
Сборник для детей.....270

«Осколки», 1883, № 49
Экзамен (Из беседы двух очень умных людей)……272
«Новости дня», 1883, № 178
Либерал (Новогодний рассказ)……273
«Осколки», 1884, №
Завещание старого, 1883-го года……277
«Будильник», 1884, № 1
Орден……277
«Осколки», 1884, № 2
Контракт 1884 года с человечеством……280
«Осколки», 1884, № 2
75 000……280
«Будильник», 1884, № 2
Марья Иванов-на……284
«Будильник», 1884, № 13
Комик……

.....286
«Осколки», 1884, № 4
Нечистые трагики и прокаженные драматурги (Ужасно-страшно-возмутительно-отчаянная тррагедия).....288
«Будильник», 1884, № 4
Perpetuum mobile.....291
«Осколки», 1884, № 11
Месть женщины.....296
«Русский сатирический листок», 1884, № 4
Прощение.....298
«Осколки», 1884, № 7
Ванька.....299
«Русский сатирический листок», 1884, № 5
На охоте.....301
«Будильник», 1884, № 6
Репетитор.....302

«Осколки», 1884, № 6
Наивный
леший (Сказка)……304
«Осколки», 1884, № 7
Сон
репорте-
ра……306
«Будильник», 1884, № 7
Певчие……
……308
«Осколки», 1884, № 8
Жалобная книга (Нечто современное. Сценка)……311
«Осколки», 1884, № 10
Чтение
(Рассказ
старого воробья)……312
«Осколки», 1884, № 12
Жизнеописания достопримечательных современников……315
«Волна», 1884, № 12
Трифон……
……317
«Осколки», 1884, № 13
Плоды
долгих

размышлений.....319
«Осколки», 1884, № 15
Несколько
мыслей о душе.....320
«Осколки», 1884, № 15
Говорить
или
молчать? (Сказка).....320
«Красный архив», 1925, т. 1
Гордый
человек
(Рассказ).....321
«Московский листок», 1884, № 112
Альбом.....
.....324
«Осколки», 1884, № 18
Несообразные
мысли.....326
«Осколки», 1884, № 19
Самообольщение
(Сказка).....327
«Осколки», 1884, № 20
Дачни-
ца.....328
«Осколки», 1884, № 22
С

женой
поссорился (Случай)……329
«Осколки», 1884, № 23
Русский
уголь
(Правдивая история)……330
«Осколки», 1884, № 30
Письмо
к репортеру……333
«Осколки», 1884, № 23
Дачные
правила……333
«Осколки», 1884, № 21
Брожение умов (Из летописи одного города)……335
«Осколки», 1884, № 24
Дачное
удовольствие……338
«Осколки», 1884, № 24
Идеальный экзамен (Краткий ответ на все длинные вопросы)….339
«Будильник», 1884, № 23
Водевиль……
……340
«Осколки», 1884, № 26
Ярмарочное

«итого»……342
«Развлечение», 1884, № 36
Невидимые
миру слезы (Рассказ)…… 344
«Осколки», 1884, № 34
Идил-
лия……348
«Осколки», 1884, № 34
Хирур-
гия……348
«Осколки», 1884, № 32
Хамелеон
(Сценка)……352
«Осколки», 1884, № 36
Из
огня
да в полымя……354
«Развлечение», 1884, № 37
Надлежащие
меры……358
«Осколки», 1884, № 38
«Кавардак в Риме» (Комическая странность в 3-х действиях, 5-ти картинах
с
прологом
и двумя провалами)……361

«Будильник», 1884, № 38
Винт……
……363
«Осколки», 1884, № 39
Затмение Луны (Из провинциальной жизни)……366
«Осколки», 1884, № 39
И прекрасное должно иметь пределы……367
«Осколки», 1884, № 44
Маска……
……368
«Развлечение», 1884, юбилейный номер, 27 октября, под названием: «Noli me tangere!»
Господа обыватели (Пьеса в двух действиях)……372
«Осколки», 1884, № 45
Свадьба
с
генералом (Рассказ)……374
«Осколки», 1884, № 50
К характеристике народов (Из записок одного наивного члена
Русского
географического
общества)……378

«Осколки», 1884, № 46
Задача……
……380
«Осколки», 1884, №№ 46, 47
Ночь перед судом (Рассказ подсудимого)……381
«Осколки», 1886, № 5
Картинки
из
недавнего прошлого……385
«Осколки», 1884, № 48
Либеральный
душка……387
«Осколки», 1884, № 51
Страшная
ночь……389
«Развлечение», 1884, № 50
Не
в
ду-
хе……393
«Осколки», 1884, № 52
Масленичные
правила дисциплины……394
«Будильник», 1885, № 4
Капитанский

мундир.....395
«Осколки», 1885, № 4
У
предводитель-
ши.....399
«Осколки», 1885, № 6
Живая
хронология.....401
«Осколки», 1885, № 8
Служебные
пометки.....403
«Осколки», 1885, № 9
В бане.....
.....404
как два самостоятельных рассказа: «Осколки», 1885, № 10; «Будильник», 1883, № 42
Разговор
человека с собакой.....409
«Осколки», 1885, № 10
О марте. Об апреле. О мае. Об июне и июле. Об августе (Филологические
замет-
ки).....410
«Осколки», 1885, № 11, 14, 18, 30, 34
Оба
лучше.....414

«Осколки», 1885, № 13
Мелюзга.....417
«Осколки», 1885, № 12
Праздничные (Из записок провинциального хапуги).....419
«Осколки», 1885, № 12
Красная горка.....420
«Осколки», 1885, № 13
Безнадежный (Эскиз).....422
«Будильник», 1885, № 15
Упразднили!.....424
«Осколки», 1885, № 21
В номерах.....428
«Осколки», 1885, № 20
Канитель.....430
«Осколки», 1885, № 17
Жизнь прекрасна! (Покушающимся на самоубийство).....432
«Осколки», 1885, № 17

На гулянье в Сокольниках.....432
«Будильник», 1885, № 17
Женщина с точки зрения пьяницы.....434
«Будильник», 1885, № 17
Последняя могиканша.....435
«Петербургская газета», 1885, № 122
Дипломат (Сценка).....438
«Петербургская газета», 1885, № 135
О том, о сем.....440
«Осколки», 1885, № 20
Финтифлюшки.....441
«Осколки», 1885, № 22
Угроза.....442
«Осколки», 1885, № 21
Ворона.....442
«Осколки», 1885, № 22

Кулачье
гнездо.....446
«Петербургская газета», 1885, № 139
Кое-что
об А. С. Даргомыжском.....448
«Будильник», 1885, № 20
Бумаж-
ник.....449
«Будильник», 1885, № 20
Сапо-
ги.....451
«Петербургская газета», 1885, № 149
Моя
«она».....455
«Будильник», 1885, № 22
Нер-
вы.....455
«Осколки», 1885, № 23
Дачни-
ки.....458
«Осколки», 1885, № 24
Вверх
по лестнице.....459
«Осколки», 1885, № 24
Стража
под стражей (Сценка).....460

«Петербургская газета», 1885, 17 июня, № 163
Мои жены (Письмо в редакцию — Рауля Синей Бороды) … 463
«Будильник», 1885, № 24
Надул (Очень древний анекдот)……468
«Осколки», 1885, № 25
Интеллигентное бревно (Сценка)……469
«Петербургская газета», 1885, № 169
Рыбье дело (Густой трактат по жидкому вопросу)……472
«Будильник», 1885, №№ 23, 25
Симулянты……474
«Осколки», 1885, № 26
Налим……476
«Петербургская газета», 1885, № 177
Из воспоминаний идеалиста……480
«Будильник», 1885, № 26
Лошадиная фамилия……482

«Петербургская газета», 1885, № 183
Не
судь-
ба!.....485
«Осколки», 1885, № 28
Необходимое
предисловие.....487
«Осколки», 1885, № 29
В
вагоне
(Разговорная перестрелка).....488
«Осколки», 1885, № 30
Мысли-
тель.....490
«Осколки», 1885, № 32
Заблуд-
шие.....492
«Петербургская газета», 1885, № 191
Злоумышлен-
ник.....495
«Петербургская газета», 1885, № 200
Жених и папенька (Нечто современное).....499
«Петербургская газета», 1885, № 207
Гость
(Сценка).....502

«Петербургская газета», 1885, № 212
Конь и трепетная лань....504
«Петербургская газета», 1885, № 219
Утопленник (Сценка)....508
«Петербургская газета», 1885, № 226
Свисту-ны....510
«Осколки», 1885, № 34
Отец семейства....513
«Петербургская газета», 1885, № 233
Староста (Сценка)....516
«Петербургская газета», 1885, № 340
Унтер Пришибеев....520
«Петербургская газета», 1885, № 273
Женское счастье....523
«Осколки», 1885, № 37
Сте-на....525

«Осколки», 1885, № 38,
После
бенефиса (Сценка)……527
«Петербургская газета», 1885, № 261
Запис-
ка……530
«Осколки», 1885, № 39
Общее образование (Последние выводы зубо-врачебной науки)….531
«Петербургская газета», 1885, № 268
Врачебные
советы……534
«Будильник», 1885, № 39
Два газетчика (Неправдоподобный рас-сказ)……534
«Осколки», 1885, № 40
Психопаты
(Сценка)……536
«Петербургская газета», 1885, № 275
На
чуж-
бине……538
«Осколки», 1885, № 41
Ци-
ник……541
«Петербургская газета», 1885, № 345

Индейский петух (Маленькое недоразумение).....544
«Петербургская газета», 1885, № 282
Средство
от запоя.....546
«Осколки», 1885, № 43
Домашние
средства.....550
«Осколки», 1885, № 49
Дорогая
собака.....551
«Осколки», 1885, № 45
Контрабас
и флейта (Сценка).....553
«Петербургская газета», 1885, № 296
Руководство для желающих жениться (Секретно).....556
«Осколки», 1885, № 44
Ниночка
(Роман).....559
«Петербургская газета», 1885, № 303
Писа-
тель.....562
«Петербургская газета», 1885, № 310
Пересо-
лил.....565

«Осколки», 1885, № 46
Без
места.....568
«Петербургская газета», 1885, № 317
Брак
через 10–15 лет.....571
«Будильник», 1885, № 46
Ну,
публика!.....574
«Осколки», 1885, № 48
Тряпка
(Сценка).....576
«Петербургская газета», 1885, № 331
Моя беседа с Эдисоном (От нашего собственного
корреспондента).....581
«Осколки», 1885, № 49
Святая
простота
(Рассказ).....582
«Петербургская газета», 1885, № 338
Шило
в мешке.....586
«Осколки», 1885, № 50
Mari
d'elle.....588
«Петербургская газета», 1885, № 347

Антрепренер под диваном (Закулисная история).....592
«Осколки», 1885, № 51
Восклицательный знак (Святочный рассказ).....594
«Осколки», 1885, № 52
Ряженые.....
.....597
«Петербургская газета», 1886, № 1
Новогодние
великомученики.....599
«Осколки», 1886, № 1
Шампанское (Мысли с новогоднего похмелья).....601
«Осколки», 1886, № 1
Визитные
карточки.....602
«Осколки», 1886, № 1
Письма.....
.....603
«Осколки», 1886, №№ 1, 3
Художе-
ство.....604
«Петербургская газета», 1886, № 5
Ночь на кладбище (Святочный рассказ).....608

«Сверчок», 1886, № 1
Неуда-
ча.....611
«Осколки», 1886, № 2
К
сведению
мужей (Научная статья).....612
«Красная газета», 1927, № 294
Первый
дебют (Рассказ).....615
«Петербургская газета», 1886, № 12
У
телефо-
на.....619
«Будильник», 1886, № 3
Детво-
ра.....622
«Петербургская газета», 1886, № 19
Откры-
тие.....626
«Осколки», 1886, № 4
Беседа
пьяного
с трезвым чертом.....628
«Осколки», 1886, № 6
Глупый

француз.....630
«Осколки», 1886, № 7
Самый
большой город.....632
«Осколки», 1886, № 4
Бли-
ны.....633
«Петербургская газета», 1886, № 49
О бренности (Масленичная тема для пропове-
ди).....635
«Осколки», 1886, № 8
Иван
Матвеич.....636
«Петербургская газета», 1886, № 60
Отра-
ва.....640
«Осколки», 1886, № 10
Шуточ-
ка.....643
«Сверчок», 1886, № 10
Мой
разговор
с почтмейстером.....646
«Осколки», 1886, № 11
Волк.....
.....648

«Петербургская газета», 1886, № 74
В Париж!.....653
«Осколки», 1886, № 12
Много бумаги (Архивное изыскание).....657
«Осколки», 1886, № 13
Грач.....659
«Осколки», 1886, № 13
Гри-ша.....660
«Осколки», 1886, № 14
Сильные ощущения.....662
«Петербургская газета», 1886, № 107
О женщи-нах.....665
«Осколки», 1886, № 17
Знакомый мужчина.....667
«Осколки», 1886, № 18
Сказка (Посвящается балбесу, хвастающему своим

сотрудничеством
в газетах)……669
«Осколки», 1886, № 18
Счастлив-
чик……670
«Петербургская газета», 1886, № 121
В
панси-
оне……673
«Осколки», 1886, № 21
На
даче……676
«Будильник», 1886, № 20
От
нечего
делать (Дачный роман)……679
«Петербургская газета», 1886, № 142
Роман
с контрабасом……683
«Осколки», 1886, № 23
Список лиц, имеющих право на бесплатный проезд по русским железным
доро-
гам……688
«Осколки», 1886, № 23
Аптекар-

ша.....689
«Осколки», 1886, № 25
Лишние
люди.....693
«Петербургская газета», 1886, № 169
Словотолкователь
для «барышень».....697
«Осколки», 1886, № 28
Rara
avis.....697
«Осколки», 1886, № 29
Ты
и
Вы (Сценка).....698
«Петербургская газета», 1886, № 211
Муж.....
.....701
«Осколки», 1886, № 32
Розовый
чулок.....705
«Осколки», 1886, № 33
Страдаль-
цы.....707
«Петербургская газета», 1886, № 225
Пассажир
1-го класса.....711

«Новое время», 1886, № 3765
В потемках.....715
«Петербургская газета», 1886, № 253
Светлая личность (Рассказ «идеалиста»).....718
«Сверчок», 1886, № 37
Длинный язык.....722
«Осколки», 1886, № 39
Ах, зубы!.....724
«Сверчок», 1886, № 39
Месть.....726
«Осколки», 1886, № 41
Статистика.....728
«Осколки», 1886, № 42
Предложение (Рассказ для девиц).....729
«Сверчок», 1886, № 41
Мой Домострой.....730
«Будильник», 1886, № 42

Жи-
лец.....732
«Осколки», 1886, № 44
Тссс!.....735
«Осколки», 1886, № 46
Драма-
тург.....737
«Сверчок», 1886, № 46
Оратор.....
738
«Осколки», 1886, № 48
Произведение
искусства.....741
«Осколки», 1886, № 50
Кто
виноват?.....744
«Осколки», 1886, № 51
Человек
(Немножко философии).....747
«Осколки», 1886, № 52
То
была она!.....748
«Осколки», 1886, № 52
Новогодняя пытка (Очерк новейшей инквизи-
ции).....751
«Будильник», 1887, № 1

Ни-
щий.....754
«Петербургская газета», 1887, № 18
Добрый
немец.....758
«Осколки», 1887, №
Неосторож-
ность.....760
«Осколки», 1887, № 8
Накануне
поста.....763
«Петербургская газета», 1887, № 52
Беззащитное
существо.....766
«Осколки», 1887, № 9
Выигрышный
билет.....770
«Петербургская газета», 1887, № 66
Житейские
невзгоды.....773
«Осколки», 1887, № 13
Весной
(Сцена-монолог).....775
«Осколки», 1887, № 17
Тай-
на.....776

«Осколки», 1887, № 15
Удав
и кролик.....780
«Петербургская газета», 1887, № 106
Обыватели.....783
«Петербургская газета», 1887, № 134
Ненастье.....787
«Петербургская газета», 1887, № 154
Драма.....790
«Осколки», 1887, № 24
Один
из многих.....794
«Петербургская газета», 1887, № 161
Скорая
помощь.....798
«Петербургская газета», 1887, № 168
Беззаконие.....802
«Осколки», 1887, № 27
Злоумышленники
(Рассказ очевидцев).....805
«Осколки», 1887, № 32
Перед

затмением
(Отрывок из феерии).....808
«Будильник», 1887, № 31
Из
записок
вспыльчивого человека.....810
«Будильник», 1887, № 26,
Сире-
на.....817
«Петербургская газета», 1887, № 231
Мсти-
тель.....821
«Осколки», 1887, № 37
Интри-
ги.....824
«Осколки», 1887, № 43
Дорогие
уроки.....827
«Петербургская газета», 1887, № 308
Лев
и Солнце.....831
«Осколки», 1887, № 49
Без
заглавия.....835
«Новое время», 1888, № 4253
Сапожник

и нечистая сила.....838
«Петербургская газета», 1888, № 355
В Москве.....843
«Новое время», 1891, № 5667
Отрывок.....848
«Осколки», 1892, № 16
История одного торгового предприятия.....849
«Осколки», 1892, № 18
Из записной книжки старого педагога.....852
«Осколки», 1892, № 21
Рыбья любовь.....852
«Осколки», 1892, № 24

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Альбом.....324
Антрепренер под диваном (Закулисная история).....592
Аптекарша.....689
Ах, зубы!.....724
Баран и барышня (Эпизодик из жизни «милостивых государей»).....204
Барон.....149
Без заглавия.....835
Без места.....568
Беззаконие.....802
Беззащитное существо.....766
Безнадежный (Эскиз).....422

Беседа пьяного с трезвым чертом.....628
Библиография.....178
Благодарный (Психологический этюд).....193
Блины.....633
Брак по расчету (Роман в 2-х част.....199
Брак через 10–15 лет.....571
Братец.....212
Брожение умов (Из летописи одного города).....335
Бумажник.....449
В бане.....404
В вагоне.....52
В

вагоне
(Разговорная перестрелка).....488
В
Москве.....843
В
номерах.....428
В
панси-
оне.....673
В
Париж!.....653
В
потем-
ках.....715
В
почтовом
отделении.....262
В
ци-
рульне.....186
Вань-
ка.....299
Вверх
по лестнице.....459
Весной
(Сцена-монолог).....775

Визитные карточки.....602
Винт.....363
Водевиль.....340
Волк.....648
Вопросы и ответы.....196
Ворона.....442
Восклицательный знак (Святочный рассказ).....594
Врачебные советы.....534
Встреча весны (Рассуждение).....80
Выигрышный билет.....770
Гадальщики и гадальщицы.....163
Глупый француз.....630
Говорить или молчать? (Сказка).....320

Гордый человек (Рассказ).....321
Господа обыватели (Пьеса в двух действиях).....372
Гость (Сценка).....502
Грач.....659
Гриша.....660
Дачники.....458
Дачница.....328
Дачное удовольствие.....338
Дачные правила.....333
Два газетчика (Неправдоподобный рассказ).....534
Два романа.....166
Два скандала.....139
Двадцать девятое июня (Рассказ охотника, никогда в цель не попадающего)...132

Двадцать шесть (Выписки из дневника)..... 222
Двое
в одном.....175
Депутат, или Повесть о том, как у Дездемонова 25 рублей пропало.....232
Детво-
ра.....622
Дипломат
(Сценка).....438
Длинный
язык.....722
Добродетельный кабатчик (Плач оскудевшего).....243
Добрый
знакомый.....154
Добрый
немец.....758
Домашние
средства.....550
Дополнительные вопросы к личным картам статистической переписи, предлагаемые Антошей Чехонте.....66
Дорогая
собака.....551

Дорогие
уроки.....827
Дочь
Альбиона.....245
Дочь
коммерции
советника (Роман).....257
Дра-
ма.....790
Драма-
тург.....737
Дурак
(Рассказ
холостяка).....209
Единственное средство (A propos процесса Петерб. общества
взаимного
кредита).....178
Жалобная книга (Нечто современное. сценка).....311
Же-
них.....208
Жених и папенька (Нечто современное).....499
Женское
счастье.....523

Женщина
без предрассудков (Роман)……196
Женщина
с
точки зрения пьяницы……434
Жены артистов (Перевод… с португальского)……28
Живая
хронология……401
Жизнеописания достопримечательных современников……315
Жизнь
в
вопросах
и восклицаниях……73
Жизнь прекрасна! (Покушающимся на самоубийство)……432
Жилец……732
Житейские
невзгоды……773
За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь……9
За
яблочки……19
Заблуд-

шие.....492
За-
был!!!.....70
Завещание
старого, 1883-го года.....277
Загадочная
натура.....215
За-
ча.....380
Задачи
сумасшедшего
математика.....69
Закуска
(Приятное
воспоминание).....223
Запис-
ка.....530
Затмение Луны (Из провинциальной жизни).....366
Злой
мальчик.....240
Злоумышлен-
ник.....495
Злоумышленники
(Рассказ очевидцев).....805
Знакомый

мужчина.....667
Знамение времени.....252
И прекрасное должно иметь пределы.....367
И то и се (Письма и телеграммы).....62
И то и се (Поэзия и проза).....61
Иван Матвеич.....636
Идеальный экзамен (Краткий ответ на все длинные вопросы).....339
Идиллия.....348
Идиллия — увы и ах!.....147
Из воспоминаний идеалиста.....480
Из

дневника
одной девицы.....264
Из дневника помощника бухгалтера.....236
Из записной книжки старого педагога.....852
Из
записок
вспыльчивого
человека.....810
Из
огня
да
в полымя.....354
Индейский петух (Маленькое недоразумение).....544
Интеллигентное
бревно (Сценка).....469
Интриги.....
.....824
Исповедь.....
.....181
Исповедь, или Оля, Женя, Зоя (Письмо).....75
История одного торгового предприятия.....849

К
сведению
мужей
(Научная статья).....612
К характеристике народов (Из записок одного наивного члена Русского
географического
общества).....378
«Кавардак в Риме» (Комическая странность в 3-х действиях,
5-ти картинах с прологом и двумя провалами).....361
Календарь
«Будильника»
на 1882 год.....834
Каникулярные работы институтки Наденьки N.....13
Канитель.....
.....430
Капитанский
мундир.....395
Картинки
из
недавнего прошлого.....385
Клевета.....
.....267

Кое-что
об
А. С. Даргомыжском.....448
Козел
или
негодяй?.....238
Коллек-
ция.....202
Комик.....
.....286
Комические
рекламы и объявления.....66
Контора
объявлений
Антоши Ч.....58
Контрабас
и флейта (Сценка).....553
Контракт
1884
года с человечеством.....280
Конь
и
трепетная
лань.....504
Корреспон-
дент.....100

Кот.....
.....226
Красная
горка.....420
Краткая
анатомия
человека.....251
Крест.....
.....196
Кривое
зеркало
(Святочный рассказ).....164
Кто
вино-
ват?.....744
Кулачье
гнездо.....446
Лев
и
Солн-
це.....831
Летающие острова (Соч. Жюля Верна, перевод А. Чехонте)....120
Либерал
(Новогодний
рассказ).....273

Либеральный душка.....387
Лишние люди.....693
Лошадиная фамилия.....482
Майонез.....253
Марья Иванов-на.....284
Маска.....368
Масленичные правила дисциплины.....394
Мелюз-га.....417
Месть.....726
Месть.....154
Месть женщи-ны.....296
Много бумаги

(Архивное изыскание)……657
Мои жены (Письмо в редакцию — Рауля Синей Бороды)……..463
Мои
остроты
и изречения……257
Мои
чины
и титулы……250
Мой
Домо-
строй……730
Мой
разговор
с почтмейстером……646
Мошенники поневоле (Новогодняя побрехушка)……160
Моя
«она»……455
Моя беседа с Эдисоном (От нашего собственного корреспондента)……581
Мститель……
……821
Муж……
……701
Мысли

читателя
газет и журналов.....174
Мысли-
тель.....490
На
гвозде.....190
На
гулянье
в Сокольниках.....432
На
даче.....676
На
магнетическом
сеансе.....183
На
охоте.....301
На
чуж-
бине.....538
Надлежащие
меры.....358
Надул
(Очень
древний анекдот).....468
Наивный
леший (Сказка).....304

Накануне поста.....763
Налим.....476
Нарвался.....137
Находчивость г. Родона (из цикла «Кое-что»).....232
Начальник станции.....264
Не в духе.....393
Не судьба!.....485
Невидимые миру слезы (Рассказ)..... 344
Ненастье.....787
Необходимое предисловие.....487
Неосторожность.....760
Нервы.....455
Несколько мыслей о душе.....320

Несообразные
мысли.....326
Неуда-
ча.....611
Нечистые трагики и прокаженные драматурги
(Ужасно-страшно-возмутительно-отчаянная
трррагедия)....288
Ниночка
(Роман).....559
Ни-
щий.....754
Новая
болезнь и старое средство.....252
Новогодние
великомученики.....599
Новогодняя пытка (Очерк новейшей инквизиции).....751
Ночь на кладбище (Святочный рассказ).....608
Ночь перед судом (Рассказ подсудимого).....381
Ну,
публика!.....574
О бренности (Масленичная тема для проповеди).....635
О

женщи-
нах.....665
О марте. Об апреле. О мае. Об июне и июле. Об августе
(Филологические
заметки).....410
О том, как я в законный брак вступил (Рассказец).....234
О
том, о сем.....440
Оба
лучше.....414
Обер-вер-
хи.....222
Общее образование (Последние выводы зубоврачебной науки).....531
Обыватели.....783
Один
из многих.....794
Опекун.....260
Оратор.....
738
Орден.....277

От нечего делать (Дачный роман)……679
Отец семейства……513
Откры-тие……626
Отра-ва……640
Отры-вок……848
Папа-ша……14
Пассажир 1-го класса……711
Патриот своего отечества……205
Пев-чие……308
Первый дебют (Рассказ)……615
Перед затмением (Отрывок из феерии)……808
Перед свадьбой……24

Перепутанные объявления.....243
Пересолил.....565
Петров день.....38
Писатель.....562
Письма.....603
Письмо к репортеру.....333
Письмо к ученому соседу.....5
Плоды долгих размышлений.....319
По-американски.....27
После бенефиса (Сценка).....527
Последняя могиканша.....435

Праздничные (Из записок провинциального хапуги).....419
Предложение
(Рассказ для девиц).....729
Признательный
немец.....255
Произведение
искусства.....741
Пропащее дело (Водевильное происшествие).....117
Прощение.....298
Психопаты
(Сценка).....536
Радость.....176
Раз
в
год.....229
Разговор.....218
Разговор
человека с собакой.....409
Рассказ, которому трудно подобрать название.....211
Репети-

тор.....302
Репка
(Перевод
с детского).....203
Розовый
чулок.....705
Роман
адвоката
(Протокол).....192
Роман
с
контрабасом.....683
Руководство для желающих жениться (Секретно).....556
Русский
уголь
(Правдивая история).....330
Рыбье дело (Густой трактат по жидкому вопросу).....472
Рыбья
любовь..... 852
Рыцари
без
страха и упрека.....220
Ряженые.....
172

Ряженые…….. 597
С женой поссорился (Случай)……329
Самообольщение (Сказка)……327
Самый большой город…… 632
Сапоги……451
Сапожник и нечистая сила……838
Сборник для детей……270
Свадьба с генералом (Рассказ)……374
Светлая личность (Рассказ «идеалиста»)……718
«Свидание хотя и состоялось, но…»……96
Свистуны……510
Святая простота (Рассказ)……582

Сельские эскулапы.....112
Сильные ощущения.....662
Симулянты.....474
Сирена.....817
Сказка (Посвящается балбесу, хвастающему своим сотрудничеством в газетах).....669
Скверная история (Нечто романообразное).....125
Скорая помощь.....798
Словотолкователь для «барышень».....697
Служебные пометки.....403
Случаи mania grandiosa (Вниманию газеты «Врач»).....180
Случай из судебной практики.....213

Смерть
чиновника
(Случай).....238
Совет.....
.....195
Современные
молитвы.....189
Сон
репорте-
ра.....306
Список лиц, имеющих право на бесплатный проезд по русским
железным
дорогам.....688
Список экспонентов, удостоенных чугунных медалей по русскому отделу
на
выставке
в Амстердаме.....256
Справ-
ка.....248
Средство
от запоя.....546
Староста
(Сценка).....516
Статисти-

ка.....728
Сте-
на.....525
Страдаль-
цы.....707
Стража
под стражей (Сценка).....460
Страшная
ночь.....389
Суд.....
.....56
Счастлив-
чик.....670
Съезд естествоиспытателей в Филадельфии (Статья научного содержания)....225
Тай-
на.....776
Тайны ста сорока четырех катастроф, или Русский рокамболь (Огромнейший
роман в сжатом виде. Перевод с французского).....168
Темпераменты (По последним выводам науки).....49
То
была
она!.....748

Толстый
и тонкий.....253
Трифон.....
.....317
Тряпка
(Сценка).....576
Тссс!.....
.....735
Ты
и
Вы
(Сценка).....698
У
предводитель-
ши.....399
У
телефо-
на.....619
Угро-
за.....442
Удав
и кролик.....780
Умный
дворник.....206
Унтер
Пришибеев.....520

Упразднили!.....424
Утопленник (Сценка).....508
Ушла.....185
Философские определения жизни.....159
Финтифлюшки.....441
Хамелеон (Сценка).....352
Хирургия.....348
Хитрец..... 217
Художество.....604
Циник.....541
Человек (Немножко философии).....747
Чтение (Рассказ старого воробья).....312
Что лучше? (Праздные рассуждения штык-юнкера Крокодилова).....192

Что чаще всего встречается в романах, повестях и т. п.....8
Шампанское (Мысли с новогоднего похмелья).....601
Шило в мешке.....586
Шуточка.....643
Экзамен (Из беседы двух очень умных людей).....272
Юристка.....263
Ярмарочное «итого».....342
3000 иностранных слов, вошедших в употребление русского языка.....242
75 000.....280
Mari d'elle.....588
Perpetuum mobile.....291
Rara avis.....697

Антон Павлович Чехов

ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ

Иллюстрации
О. Граблевская

Дизайн обложки,
обработка иллюстраций,
верстка, подготовка к печати
М. Судакова

Сдано в печать 24.03.2021
Объем 44 печ. листа
Тираж 3000 экз.
Заказ №1064/21

Бумага матовая мелованная
Presto Silk

На основании п. 2.3 статьи 1 Федерального закона №436-ФЗ от 29.12.2010
не требуется знак информационной продукции, так как данное издание
классического произведения имеет значительную историческую, художественную
и культурную ценность для общества



ООО СЗКЭО
Телефон в Санкт-Петербурге: +7 (812) 365-40-44
E-mail: knigi@szko.ru
Интернет-магазин: www.сзкэо.рф

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт»,
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1, комплекс №3А,
www.pareto-print.ru



Всем любителям театра Антон Павлович Чехов известен как талантливый драматург, автор глубоких, мудрых пьес, которые неизменно собирают полные залы во многих странах мира. Однако существует и другой Чехов — блестящий фельетонист, мастер коротких рассказов. Именно с таких остроумных, полных юмора миниатюр и начиналась писательская деятельность Антоши Чехонте. Так внук крепостного крестьянина и будущий классик мировой литературы подписывал свои первые тексты. Он начал писать их еще в Таганрогской гимназии, которую окончил в 1879 году. В том же году Чехов уехал из родного Таганрога и стал студентом медицинского факультета в Московском университете.

В конце этого же 1879 года состоялся и писательский дебют Чехова. Его рассказ «Письмо к ученому соседу» был опубликован в еженедельном юмористическом журнале «Стрекоза». В последующие годы число таких маленьких шедевров выросло до нескольких сотен. По словам самого писателя в те времена он порой писал по рассказу в день. И хотя ушла в прошлое целая эпоха, в которой живут и действуют герои молодого Чехова, вряд ли в наши дни найдется человек, которого эти веселые миниатюры оставят равнодушным. Данное издание включает более 340 таких юмористических произведений А. П. Чехова. Они публиковались в отечественных журналах в период с 1880 по 1892 г.



Граблевская Ольга Венедиктовна, родилась в Санкт-Петербурге, окончила факультет книжной графики института им. И. Е. Репина, член Союза художников России. Оформила более сотни книг. Работы периодически экспонируются на коллективных и персональных выставках. В частности, в 2008 году в Михайловском театре состоялась персональная выставка, посвященная Морису Бежару. В 2014 году в Копенгагене, в Москве, в Пятигорске, в Санкт-Петербурге и др. — персональные выставки, посвященные 200-летнему юбилею М. Ю. Лермонтова. В 2001 году О. Граблевская стала лауреатом Международного конкурса карикатуристов, проходившем в Турции. Ольга Венедиктовна — штатный художник журнала «Костёр», сотрудничает со многими петербургскими издательствами. В 2013 году стала победителем Всероссийского конкурса иллюстраторов «Лермонтов 2014». В 2014 году пятигорским издательством «Снег» выпущен подарочный двухтомник М. Ю. Лермонтова со 150-ю иллюстрациями, выполненными О. Граблевской.

ISBN 978-5-9603-0479-5

Всем любителям театра Антон Павлович Чехов известен как талантливый драматург, автор глубоких, мудрых пьес, которые неизменно собирают полные залы во многих странах мира. Однако существует и другой Чехов — блестящий фельетонист, мастер коротких рассказов. Именно с таких остроумных, полных юмора миниатюр и начиналась писательская деятельность Антоши Чехонте. Так внук крепостного крестьянина и будущий классик мировой литературы подписывал свои первые тексты. Он начал писать их еще в Таганрогской гимназии, которую окончил в 1879 году. В том же году Чехов уехал из родного Таганрога и стал студентом медицинского факультета в Московском университете.

В конце этого же 1879 года состоялся и писательский дебют Чехова. Его рассказ «Письмо к ученому соседу» был опубликован в еженедельном юмористическом журнале «Стрекоза». В последующие годы число таких маленьких шедевров выросло до нескольких сотен. По словам самого писателя в те времена он порой писал по рассказу в день. И хотя ушла в прошлое целая эпоха, в которой живут и действуют герои молодого Чехова, вряд ли в наши дни найдется человек, которого эти веселые миниатюры оста-

вят равнодушным. Данное издание включает более 340 таких юмористических произведений А. П. Чехова. Они публиковались в отечественных журналах в период с 1880 по 1892 г.

Граблевская Ольга Венедиктовна, родилась в Санкт-Петербурге, окончила факультет книжной графики института им. И. Е. Репина, член Союза художников России. Оформила более сотни книг. Работы периодически экспонируются на коллективных и персональных выставках. В частности, в 2008 году в Михайловском театре состоялась персональная выставка, посвященная Морису Бежару. В 2014 году в Копенгагене, в Москве, в Пятигорске, в Санкт-Петербурге и др. — персональные выставки, по-священные 200-летнему юбилею М. Ю. Лермонтова. В 2001 году О. Граблевская стала лауреатом Международного конкурса карикатуристов, проходившем в Турции. Ольга Венедиктовна — штатный художник журнала «Костёр», сотрудничает со многими петербургскими издательствами. В 2013 году стала победителем Всероссийского конкурса иллюстраторов «Лермонтов 2014». В 2014 году пятигорским издательством «Снег» выпущен подарочный двухтомник М. Ю. Лермонтова со 150-ю иллюстрациями, выполненными О. Граблевской.